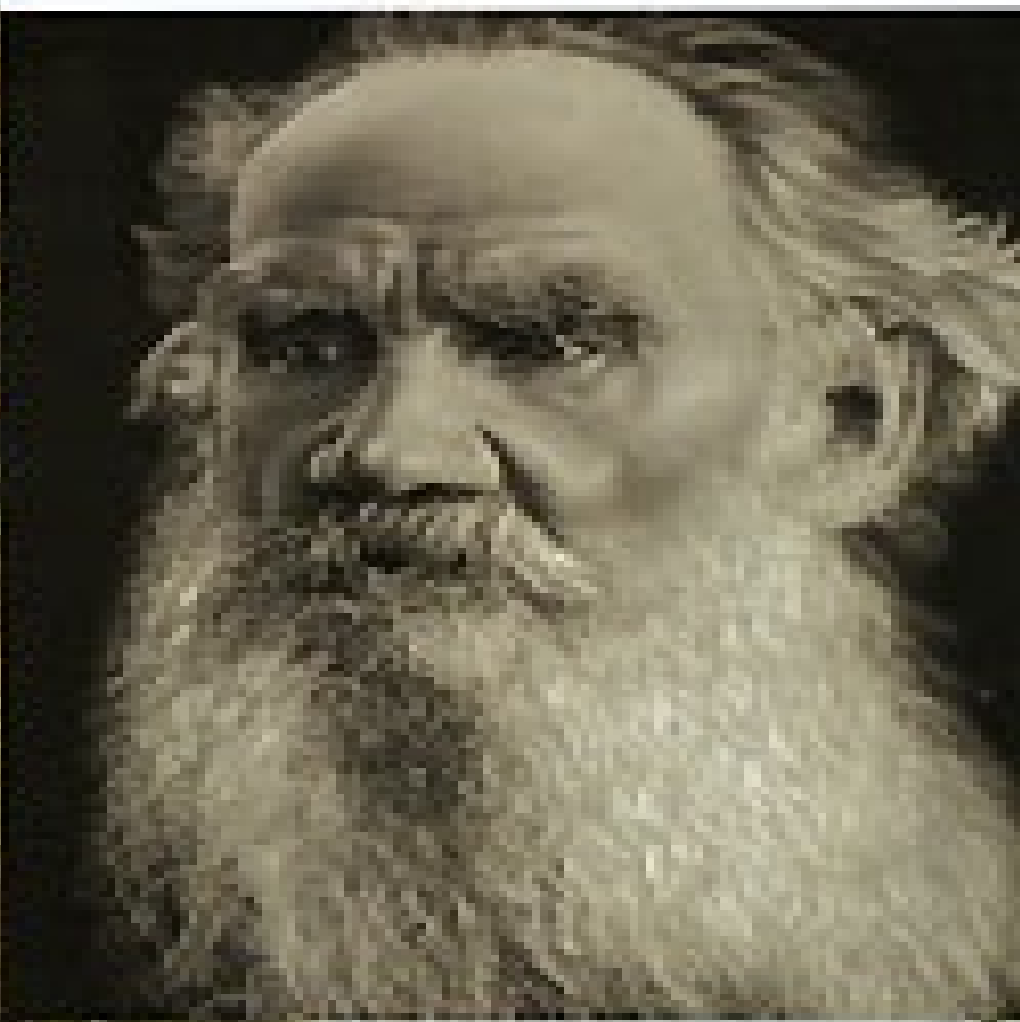


ЛЕВ ТОЛСТОЙ



Алексей
Зверев
Владимир
Мунинков



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Биография Льва Николаевича Толстого была задумана известным специалистом по зарубежной литературе, профессором А. М. Зверевым (1939–2003) много лет назад. Он воспринимал произведения Толстого и его философские воззрения во многом не так, как это было принято в советском литературоведении, — в каком-то смысле по-писательски более широко и полемически в сравнении с предшественниками-исследователями творчества русского гения. А. М. Зверев не успел завершить свой труд. Биография Толстого дописана известным литературоведом В. А. Тунимановым (1937–2006), с которым А. М. Зверева связывала многолетняя творческая и личная дружба. Но и В. А. Туниманову, к сожалению, не суждено было дожить до ее выхода в свет. В этой книге читатель встретится с непривычным, нешаблонным представлением о феноменальной личности Толстого, оставленным нам в наследство двумя замечательными исследователями литературы.

- [Зверев А., Туниманов В. Лев Толстой](#)
 - [Вступительная статья ТАЙНА НА КРАЮ «ЗАКАЗА»](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ «ЧЕТЫРЕ ЭПОХИ РАЗВИТИЯ»](#)
 - [«Любовное, таинственное детство»](#)
 - [«Пустыня отрочества»](#)
 - [«Испанские замки»](#)
 - [«Земля для всех одна»](#)
 - [«Какое-то недоконченное счастье»](#)
 - [«Война в настоящем ее выражении»](#)
 - [«Овраг»](#)
 - [«Странный человек»](#)
 - [Прочь от литературы](#)
 - [«Неимоверное счастье»](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЯСНАЯ ПОЛЯНА. ВЕРШИНЫ](#)
 - [Фарфоровая кукла](#)
 - [Лабиринт сцеплений](#)
 - [Подрезанная яблоня](#)
 - [«...и Аз воздам»](#)
 - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПЕРЕВОРОТ](#)

- [«Исповедь»](#)
 - [Год перевертыш](#)
 - [Шоссе](#)
 - [Москва](#)
 - [Кроткие глаза смерти](#)
 - [Семейные сцены. «Крейцера соната»](#)
 - [Голод](#)
 - [Трактат о непротвлении. «Несчастливая повесть»](#)
 - [Ванечка. Странная «любовь» Софьи Андреевны](#)
 - [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ](#)
 - [Духоборы. Коневская повесть](#)
 - [Отлучение](#)
 - [Южный берег Крыма](#)
 - [Дочери и сыновья](#)
 - [ЧАСТЬ ПЯТАЯ УХОД](#)
 - [«Хаджи-Мурат»](#)
 - [«Удирать, надо удирать»](#)
 - [ДРАМАТУРГИЯ ТОЛСТОГО](#)
 - [ПОСЛЕСЛОВИЕ](#)
 - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Л. Н. ТОЛСТОГО](#)
 - [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
-

Зверев А., Туниманов В. Лев Толстой

Вступительная статья ТАЙНА НА КРАЮ «ЗАКАЗА»



Левъ Толстой.

Это уже инстинкт — наступает сентябрь, и русские писатели, как птицы на юг, тянутся в Ясную Поляну. Повод-то внешний — «Писательские встречи» по случаю дня рождения Льва Николаевича, начавшиеся десять лет назад в самую отчаянную пору общего разбегания. А на самом деле — острая тоска по цельности, по живой, земной, крепкой, полной, как будто ускользающей, истекающей из нас сегодня жизни. Словно мы теряем ее плоть, и она остается где-нибудь в Михайловском, Спасском и вот в Ясной, и надо успеть застать ее.

Не знаю, как другие, а я ее больше чувствую даже не в наших здешних горячих спорах (они, наверное, таковы были бы и в другом месте), а когда смотрю скачки. Помню, как младшая дочь Владимира Ильича Толстого — нынешнего директора музея и праправнука Льва Николаевича — Катя (тогда еще совсем девочка) с пылающим лицом летела верхом на пони, упала на повороте, но успела догнать лошадь, снова вскочить в седло и прийти-таки к финишу первой. А потом, как Вронский на Фру-Фру, вышел на старт уже сам Владимир Ильич и тоже никому не уступил на финише. А еще помню, как я и его маленькие сыновья Андрей и Ванечка стояли на головах (ведь надо научить их этому высокому искусству), и их нетерпение (особенно Ванекино, который не умел переносить поражения и пускался в слезы) вызывает в памяти общее мнение полутора столетней давности о некоторой «дикости» (а надо бы сказать — подлинности) Толстых. Как же далека и таинственно жива и сильна эта кровь, как крепка родовая закваска, как громко стучит в бурном течении жизни сердце этого рода — Лев Николаевич. И это так прямо и принимаешь, как вполне физическое сердце, как неустанно трепещущее горячее тело. Не память и предание, тем более не художественный образ, а именно всю полноту жизни. Словно это мы сон и пустое искусство, а настоящая реальность — он. Словно он вобрал в себя всю плоть русской жизни со всеми ее детьми, женщинами, стариками, с ее молодой радостью, ее цветением и плодоношением, с ее угасанием и, наконец, самым таинством, чудом и ужасом смерти, а нам оставил только оболочку — внешние потрясения — революции, войны, тирании и демократии. Одни слова и понятия, которые мучают и так или иначе складывают нас, но как будто не совсем совпадают с реальностью, не заполняют ее. И мы все время ощущаем, что есть зазор между тем, что есть собственно жизнь, и тем, что мы ею называем. А в нем всё сходилось с непостижимой плотностью, и жизнь была его женою, его силой, его страданием, его религией, им самим. И этот опыт так огромен и духовно важен всем нам (не одному русскому, а всякому человеку в мире), что, не всмотревшись в него, мы не можем понять чего-то самого существенного, без чего человек не весь человек, а жизнь — не вся жизнь.

Это и заставляет нас каждую осень слетаться к его дому, как будто это и наш родовой дом, и вчитываться в каждую книгу о нем с ревностью и жадой, словно это наша домашняя жизнь, наша полнота существования и наше спасение. И дивишься отваге тех, кто берется писать эту жизнь. И вполне понимаешь их, потому что и ими движет тоже желание понять загадку великого целого и через него найти место и самому себе, и своим вопросам к миру.

Хотя, кажется, чего еще-то писать. Хватило бы сил прочесть прежнее. Книжки его, его дневники с их пугающей откровенностью, которая заставляет сжиматься, потому что обнаруживает и твою собственную тьму и греховность. Дневники Софьи Андреевны с их любовью, ужасом, стыдом, горем, желанием оправдания и прямою исповеди. Хватило бы сил прочесть дневники и воспоминания сыновей и дочерей, которые учились у отца не скрывать и самых болезненных чувств и переживаний. Да ведь и его литературные секретари В. Булгаков и Н. Гусев оставили мемуары. И врач Душан Маковицкий. И все великие современники, кто знал его и говорил с ним — Бунин и Чехов, Горький и Андреев, Крамской и Репин. И грамотные крестьяне, как М. Новиков и С. Семенов. А ведь еще П. Сергеев, А. Кони, А. Гольденвейзер (нет, надо остановиться, иначе перечислишь пол-России). И в «ЖЗЛ» уже была о Толстом большая книга В. Б. Шкловского.

Что же тогда побудило Зверева и Туниманова снова писать эту жизнь? А время и побудило. Современность и побудила. Чечня и голод, «катюши масловы» и «живые трупы» без меры, терпкие вопросы к себе после обманывающего дня и тонкий холод «арзамасского ужаса», прикрытый телевизионными «полями чудес» и встречами правителей в галстуках и без.

Толстого нельзя писать «по заказу». За него можно только ухватиться, чтобы проверить этим «компасом» меру отклонения нашего русского пути в нынешней исторической тьме, колебания полюсов и силу магнитных бурь. И написать только таким же открытым сердцем, потому что речь идет и о твоей жизни. Да и в первую очередь о твоей, потому что его жизнь измеряется уже иными весами, хотя еще и зависит от нашей молитвы и понимания. В таких случаях лучше идти прямо. И авторы не искали новых форм жанровой игры и эксперимента. На Толстом это не держится. Они просто прожили эту неподъемную жизнь от рождения до кончины, заглянув в родовую исток этой «дикий» природы и в инверсионный след этой жизни в нынешней культуре и мысли.

Авторы проведут с Львом Николаевичем детство и юность, повоюют в Чечне и Севастополе, перечитают все его книги, позабыв их «классичность», чтобы понять дружное неприятие, встречавшее даже «Войну и мир» и «Анну Каренину». Они поработают с ним на переписи и голоде, проживут школой и духоборами, пройдут все пути толстовских вопрошаний к Богу и миру с его утверждением, что у него «жизнь делает религию, а не религия жизнь». Постучатся они в ворота Троице-Сергиевой и Киево-Печерской Лавры, сходят к почаявцам и оптинцам, выпросят об Истине известных богословов и простых батюшек, чтобы в конце концов

увидеть правоту и неправду Определения Священного Синода о Толстом, принятого сто пять лет назад и сегодня остающегося камнем преткновения для большинства христиан, выросших в выветренном и гуманизированном понимании христианства. Они разделят с ним горький последний путь вплоть до одинокой могилы без креста на краю Заказа, где зарыта была в детских мечтах «зеленая палочка» всеобщего счастья.

Но ведь это есть во всех биографиях. Что же тут нового?

А новое именно в самой личности чтения, в спокойной страстности (если возможно такое сочетание), с которой авторы «освобождают» в Толстом человека из-под завала «внешней» жизни, из-под бремени толкований, чтобы увидеть за чужими и его собственными жестокими вопросами к себе, за непрерывной его пыткой наше земное, общее, что могло бы укрепить нас в верном самопонимании. Это одинаково касается изнуряющих толстовских вопросов и к человеку, и к Церкви. Они терпеливо ищут грань, за которой самоосуждение выговаривает себе опасное право судить других. И тут их анализ терпелив и бережен и не теряет здоровья. И они, кажется, понимают иронию К. Н. Леонтьева, который, живя в Оптиной пустыни, говорит после встречи с Толстым, что тот «безнадежен» и что он, Константин Николаевич, охотно написал бы на него «донос» в Петербург, чтобы его сослали в Сибирь и он бы не мучил людей и не искушал их своей пытливостью. А Лев Николаевич просит сделать это поскорее, потому что ищет страдания за правду.

Улыбка улыбкой, но тут все так тонко, что никаких страниц не хватит. И Леонтьев в своем здоровье прав. И Толстой безусловен. Он, может, и правда спрашивал «через край», но ведь человек по-настоящему и начинается и познается, когда «через край». Он узнал в преследовании своей души, что границы страданий и границы внутренней свободы очень близки. Что свобода по-настоящему и растет из страдания, что «материя» жизни тоньше и сложнее, чем ее хочет видеть человек, загораживаясь от бессмертия и Бога логикой и историей.

Самое дорогое в книге, что авторы заключают это не только из анализа дневников и писем, не только из богословских исканий своего героя, но и из его великих книг — из «Казаков» (где он проговаривается, что он всю жизнь какой-то «нелюбимый»), из «Анны Карениной» (с левинским восхищением православной твердостью А. С. Хомякова), из «Войны и мира» (с бессмертным «аустерлицким небом» и безуховским «все это во мне и всё это я»). Словно они читают не книги, а жизнь.

Толстой не зря боролся с «художественностью» и с «лит-т-тературой». Он и не писал этой чужой ему «лит-т-тературы». Жизнь уходила в книги, а

книги в жизнь без отчетливой границы, почему до сих пор и нельзя понять, «как это сделано». Он был и Лениным, и Брошкой, Пьером и Наташей Ростовой, умирающим Иваном Ильичом и Холстомером, мужиком и баринном, хозяином и работником, последним смертным и богом.

Кто знает портрет Льва Николаевича, литографированный Ю. И. Селиверстовым, тот скорее других поймет это, вспомнив, как маленький усталый Толстой идет по границе пашни и чистого листа, разрываясь на этой границе, к себе, реющему в небесах над бедными русскими полями, прекрасному, как Саваоф, восходящему над землей Человеку с прямым настагающим взглядом, от которого нет спасения и который сам есть спасение. Может быть, этот портрет лучше всего подтверждает мысль Зверева и Туниманова о том, что после Толстого мы все знаем, что «жизнь в самом важном своем содержании никогда не принадлежит этому миру или, во всяком случае, не принадлежит ему целиком». Это мысль небесная и без знания неба, без касания его этого не узнаешь и не скажешь.

По самому движению мысли авторов видно, как они сами за Толстым делаются спокойнее, тверже и выше мыслью, и следом за ними высится и сама книга, делаясь толстовским поступком. На наших глазах внутреннее и внешнее, вопрошающая душа и прямое житейское делание (война, работа на голоде, построение новой системы образования, борьба за духоборов, даже и простая пилка дров с московскими мужиками и косьба с яснополянскими) соединяются в редкое уже и в XIX веке, а в XXI и вовсе утраченное целое. Мы разнесли его крестьянскую работу на анекдоты («Пахать подано, ваше сиятельство!»), а у него были прекрасные сильные руки всё умеющего человека. И дети не отставали — дочь Маша лучше крестьянок месила тесто и пекла хлебы, доила коров, жала рожь и вязала снопы, да и плясала, как Наташа Ростова. А дочь Александра и воевала, как отец. Он получил за Севастополь, за великий и страшный четвертый бастион Анну «За храбрость», а она вернулась с Первой мировой полковником медицины с тремя Георгиями. Это не частности биографии — это урок единства мысли и делания.

Как кичился XIX век своим богатством «внутреннего мира» и как нарядно маялся от расхождения с «косным» внешним миром (из чего вышли все чеховские сестры и дяди вани). А он не давал в себе этим мирам разойтись, понимая вместе со своим Пьером и с Гёте, что «ничто не внутри, ничто не вовне. Ибо все, что внутри — вовне!». Почему и доискивался самого существа, последнего зерна жизни и торопился исследовать себя и мир, чтобы однажды сказать: «Я понял, Господи!» И показать другим, как надо понимать и складывать жизнь. Ведь он сам

складывал ее в единство на глазах у всех и требовал того же от детей, от друзей, от всякого заезжего собеседника, живя в стеклянном доме, видимый России и миру в каждом слове и поступке. Он, может быть, первый в нашей литературе показал простую и оттого труднее всего постижимую правду, которой жил русский человек, да с историей позабыл, — что всё вершится по воле самой жизни, что она соавтор и товарищ, что она мать и Бог, и надо слушать и слушаться ее, не рвать яблоки с древа познания и древа жизни, пока они зелены, и тогда в свой час они пойдут в руки сами.

И потому сама его жизнь вплоть до ухода была произведением, «текстом», который он писал вместе с жизнью, пока жизнь не взяла перо одна и не дописала последнюю главу за него. Тут была победа и тут была драма, так сильно написанная Зверевым и Тунимановым в покорности Толстому и в сопротивлении ему. Оказалось, что жизнь и мир не одно и то же. Что мир может поднять против жизни не только врагов, но и самых близких людей, а жизнь — машина железная, способная повалить и целостного человека. Но тут мы останавливаемся перед именем Бога, о котором мы еще не умеем говорить даже в книгах о Толстом, посвятившим Его поиску больше половины жизни.

За двадцать лет до смерти он записал в дневнике: «Господи, я назвал Тебя, и страдания мои кончились!»

Но назвать оказалось мало. Надо было принять Его, как закон и условие окончательно совершенного целого, как принял Его до Толстого еще более решительный в своих вопросах бедный библейский Иов. Но именно на этом пороге занавес опускается.

Уже из Астапова Лев Николаевич звал оптинского старца Иосифа, чтобы (будем думать так вместе с Буниным, вместе с владыкой Василием Родзянко, который исповедовал накануне смерти Александру Львовну Толстую) говорить именно об этом. Старец Иосиф был болен. Приехавший вместо него старец Варсонофий (оба они сегодня причислены к лику святых) не был допущен к умирающему, хотя им, наверно, было бы говорить легче всего, потому что отец Варсонофий (в миру Павел Иванович Плиханков) в первой жизни был казачьим полковником, и война научила его языку смерти и жизни. И тайна последней мысли об исцелении и воссоединении человека с Богом была унесена Толстым на край оврага у Заказа, где лежит «зеленая палочка» всеобщего счастья.

Теперь, следуя за авторами этой жесткой и честной книги, искать эту потерянную цельность предстоит нам. А он, как всегда, пойдет впереди...

Валентин Курбатов

ПРЕДИСЛОВИЕ

В январе 1903 года Толстой начал работать над своими «Воспоминаниями». Об этом его просил Павел Бирюков, ученик, последователь и первый русский биограф писателя. Материала, особенно о раннем периоде его жизни, Бирюкову не доставало, а частые беседы с Толстым все-таки не могли восполнить все пробелы. Биография составлялась для французского издания полного собрания сочинений Толстого; она должна была послужить введением, не перерастая границ пространного очерка. Бирюков тогда и не предполагал, что в итоге получатся четыре тома. Они будут опубликованы только через двадцать лет и надолго останутся основным источником для всех, кто решит писать о жизни Толстого впоследствии.

Рукопись, которой Толстой посвятил несколько лет, в итоге оказалась оборванной на полуслове: 1837 год, переезд из Ясной Поляны в Москву, лисица, вдруг показавшаяся близ дороги, азарт погони, огорчение сидящих в экипаже детей из-за того, что Жиран, серый борзой кобель, так ее и не достал. Был конспект, которому Толстой старался следовать, чтобы донести «всю настоящую правду». «...Только такая биография, как ни стыдно мне будет писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей», — считал он. Было, как всегда, страстное увлечение новым замыслом. Однако вскоре оно сменилось совсем другим чувством: не могу, «не берет».

Почему «не берет», Толстой понимал. Еще летом 1902 года он говорил Бирюкову, что предстоящая работа и страшна, и тягостна для него. Страшна тем, что надо будет — а это невероятно трудно — «избежать Харибды самовосхваления (посредством умолчания всего дурного) и Сциллы цинической откровенности о всей мерзости своей жизни»: после духовного перелома иных слов Толстой, оглядываясь на свою молодость, не находил. А тягостно из-за того, что он человек, «которого многие высоко ставят», — и напрасно: «...Он вон какой был негодяй, так уж... простым людям и Бог велел».

Тем не менее получилось шестьдесят страниц печатного текста, который Бирюков разбил на фрагменты, включенные затем в состав его книги. Этот текст, а также другие автобиографические записи появились и в сочинениях Толстого, вызвав ожидаемую реакцию: какая необыкновенная память! Она удержала даже ощущение гладкости мокрых краев корыта, в

котором, натерев тельце каким-то веществом с неприятным запахом — видимо, отрубями, — купала младенца няня, и зафиксировала, что тельце было худое, с отчетливо видимыми ребрами на груди.

Бунин в своей книге «Освобождение Толстого» писал, что «никому, может быть, во всей всемирной литературе не дано было с такой остротой чувствовать всякую плоть мира», что Толстой был рожден с необыкновенно острым ощущением обреченности, тленности этой плоти и пронес его через десятилетия, сохранив до конца. «Тайновидец плоти» — формула, найденная Мережковским еще при жизни Толстого, долгие годы воспринималась как бесспорная, хотя она содержит в себе очевидную несправедливость, поскольку предполагает противопоставление Достоевскому, этому «тайновидцу духа».

Однако Бунин, восторгаясь необыкновенно живой чувственной памятью Толстого, взял слово «память» в кавычки и заявил, что такой памяти не бывает ни у кого на свете. А значит, страницы, воссоздавшие самые ранние эпизоды этой биографии, с той минуты, когда в первом порыве к свободе захотелось выпростать спеленутые руки, но кто-то нагнувшийся над колыбелью в полутьме (или, кажется, их было двое) так и не внял надсадному крику, — значит, все эти страницы ни в коем случае нельзя воспринимать как фактически достоверные. Если это и воспоминания, то не о себе, а о чем-то длящемся мириады лет, пока на земле существует жизнь, и лишь воплотившемся в Толстом с какой-то особенной яркостью.

Для пишущих о Толстом в них, правда, есть подсказка поистине бесценная. Вот эта: Толстой осознает свою жизнь как путь. И, «рассматривая ее с точки зрения добра и зла», выделяет четыре периода: «поэтический» — он длился лишь первые четырнадцать лет; «ужасный» — от ранней юности до женитьбы в 1862 году; «нравственный» — но только по мирским понятиям, так как истинные духовные искания еще не начались, «но все интересы... ограничивались эгоистическими заботами»; наконец, тот, что начался после кризиса и перелома — тот, «в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть». Период обретения той свободы, которая, как записал он в 1908 году, несовместима ни с революцией, ни с конституцией, и «не может быть отнята никем, потому что она основана на исполнении высшего единого закона для всех людей», закона нестяжательства и любви.

Приступая к «Воспоминаниям» с тяжелым чувством, что обращение к прошедшему для него сушие муки ада, Толстой задумывал «историю жизни всех этих четырех периодов, совсем, совсем правдивую». Ее, «совсем

правдивой», нет по сей день, и, зная масштаб личности Толстого, она, наверно, просто невозможна. Возможны только приближения к ней.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ «ЧЕТЫРЕ ЭПОХИ РАЗВИТИЯ»

«Любовное, таинственное детство»

Сделанный в мае 1878 года набросок «Моя жизнь» — это там был фрагмент о купанье в гладком темном корыте и о первом, неосознанном ощущении несправедливости и жестокости, когда «я слаб, а они сильны» и оттого не позволяют выпростать руки, — выглядит как обособленная дневниковая запись. На нескольких страничках Толстой эскизно формулирует мысли, которые его одолевали десятки лет, с юности до старости. «Когда же я начался? Когда начал жить?» Не тогда ли, в младенчестве, было приобретено все самое главное, а последующий опыт прибавил лишь крохотную долю знания, какую-нибудь одну сотую? И что это такое — пространство, время, причина? Ведь они, конечно, лишь формы мышления, а «вся жизнь наша есть большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них».

Пристрастный, не всегда убедительный в частных суждениях, Бунин, однако, очень тонко уловил парадоксальную сущность Толстого, написав про уникальное понимание «плоти мира», про не имеющую аналогов приверженность этой «плоти» — времени, пространству, причине — и такую же неумную, неистовую страсть превзойти их, избавиться от подчинения «формам», от всего сиюминутного, мирского, земного.

Одержимость вечным, которое то смутным контуром, то отчетливым узором проступает за каждым мгновением текущего, проявилась у Толстого уже в детские годы. Он «начался» 28 августа 1828 года в Ясной Поляне; кожаный диван, на котором он родился, а потом рождались его дети, стоял в его кабинете как напоминание. И, если считаться с его воззрениями, конечно, он не «кончился» на станции Астапово восемьдесят два с небольшим года спустя. В сознании Толстого время всегда разомкнуто, а пространство — лишь случайная рамка, в которой пролегает путь, ведущий либо к гибели, либо в жизнь — через широкие ворота для тех, кому суждена гибель, через тесные для других, ищущих спасения. Евангельские слова о широких и тесных воротах внесены в его «Мысли мудрых людей на каждый день». По странному совпадению эта сентенция Толстого датирована 7 ноября. Это день его смерти.

Исходная и конечная точки пути становились, в его глазах, понятиями все более эфемерными по мере того, как приобретала законченную форму

принятая им для себя философская система. Но для творчества Толстого оба эти понятия — едва ли не ключевые. Мережковский был прав, утверждая, что до Толстого никто с такой верностью даже частных подробностей и с такой откровенностью не отобразил в литературе собственную жизнь, у которой есть точная хронология, конкретный пространственный ряд, последовательность взаимосвязанных событий. Следовало бы еще добавить: пожалуй, никто прежде не чувствовал так остро, что человек приходит в мир издалека, и с ним все, кто были до него — мать, отец, предки. Для Толстого, особенно в пору «Войны и мира» и последующих неудачных попыток создать роман о петровской эпохе, важнейшим смыслом наполнялась предыстория — труды и дни, характеры и обстоятельства давних или не слишком далеких времен.

*

Она была богатой, эта предыстория. В Толстом сошлась кровь Волконских, Голицыных, Трубецких, Еропкиных, Одоевских — самых родовитых русских семейств. Сами Толстые вели свою генеалогию с XVI века, от Ивана Ивановича Толстого, воеводы в Крапивне при Иване Грозном. Выдвинулись они позднее, при Петре, которого сначала не поддержали, приняв в спорах о престоле сторону царевны Софьи и даже оказавшись замешанными в стрелецком бунте. Но Петр Андреевич, который и стал в 1724 году первым графом Толстым, покаялся в заблуждениях юности. Из Великого Устюга он был призван в столицу, получил назначение послом в Стамбул, где по царскому поручению составлял подробное описание черноморских берегов, а для души перелагал по-русски Овидия.

Поднявший Россию на дыбы ценил его, но насчет его преданности не обольщался. Сохранилось, в записи графа Панина, такое суждение Петра о своем выдвиженце: «Голова, голова, кабы не так умна ты была, давно бы я отрубить тебя велел». За Петра это едва не сделал султан. Когда зимой 1710 года началась война, вскоре приведшая к катастрофе на реке Прут, российского посланника, которого прежде задабривали большими взятками, заточили в Семибашенный замок, где просидел он почти двадцать месяцев, готовый к самому скверному исходу. А недоверие Петра, как впоследствии выяснилось, было напрасным. Это Петр Андреевич, которого за оказанную услугу наградили чином действительного тайного советника и поместьем, выполнил очень непростое задание: уговорил

бежавшего в Неаполь царевича Алексея вернуться и предстать перед родительские гневные очи. Участвовал он и в дознании, присутствуя при пытках, а потом был в составе суда, постановившего казнить «злодея и губителя отца и отчества».

Дела графа шли в гору, он был приближен и обласкан. Рассказывали, что самодержец даже наградил его своим портретом, вырезанным на кости, написав при этом: «Посылаю тебе мою рожу своей работы». Но через два года после смерти великого деда российский трон достался сыну «злодея и губителя». А Меншиков, деятельно тому способствовавший, — ведь свою дочь он хотел обручить с малолетним Петром II — не упустил случая расправиться с ненавистным ему сенатором. Граф Петр Андреевич был лишен всех титулов и состояния, а кнута избежал только в силу преклонных лет. Казнь заменили вечной ссылкой на Соловки, в монастырь, служивший и политической тюрьмой. Иван, старший сын, последовал за ним, и оба вскоре умерли «под крепким караулом», означавшим, среди прочего, что кандалы запрещено снимать, даже когда содержащихся под стражей приводят в церковь.

Среди бумаг Толстого есть выписки из этого судебного дела, сделанные в архиве Министерства юстиции; они, надо думать, потребовались в связи с замыслом романа из петровского времени. В «Воспоминаниях», однако, нет ни слова о сановнике, у которого кабинет был увешан иконами, но в уголке, подальше от любопытных глаз, висела итальянская картина с изображением обнаженной пышнотелой девицы. О внуке его, Андрее Ивановиче, которого по малолетству не тронули, когда расправлялись с дедом, а заодно и с отцом, известно мало. Воевода в Свияжске, затем в Суздале, он, по семейным преданиям, отличался большой чувствительностью и обожал жену, которая вышла за него неполных четырнадцати лет и одарила двадцатью тремя чадами, часто умиравшими в очень нежном возрасте. Выжило одиннадцать. А некоторые из внуков Андрея Ивановича стали знаменитыми: Федор Петрович Толстой, гравер и медальер, вице-президент Академии художеств, и поэт Алексей Константинович.

Впрочем, прижизненной славой их обоих превзошел третий внук, Федор Иванович, прозванный Американцем, тот самый, которому посвящены вошедшие в пословицу строки Грибоедова: «Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист». Ребенком Толстой видел его в Ясной Поляне и запомнил это «прекрасное лицо, бронзовое, бритое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта, и такие же белые курчавые волосы». Человеком он был на самом

деле необыкновенным, «преступным и привлекательным», как написано в «Воспоминаниях». Отправился в 1803 году с Крузенштерном в кругосветное плавание на паруснике «Надежда», после ссоры с командиром экспедиции был, по слухам, высажен на острове и жил среди диких племен, где покрыл все тело татуировкой. Его двоюродная племянница Мария Каменская, которая в свое время была довольно известным литератором, вспоминает, как Американца, когда он бывал в Царском Селе у ее деда, упрашивали показать необыкновенные украшения на своем теле: снять перед дамами рубашку, а потом продемонстрировать кавалерам и все остальное. Его не приходилось долго упрашивать. И присутствующие могли рассмотреть на его груди большую пеструю птицу вроде попугая, а на плечах змей.

Каким-то образом Американец смог добраться до Петропавловска, откуда ему предстоял долгий путь в Петербург. А там все пошло так же, как прежде: кутежи, карты, женщины, полеты на воздушном шаре...

Он проявил исключительную храбрость при Бородине, где был с московским ополчением. Ему возвратили офицерский чин, он получил Георгия 4-й степени, но не остепенился. Вяземский, друг Пушкина, писал про Американца, что он «на свете нравственным загадка». А у самого Пушкина вышла с этим бретером история, которая в ту эпоху обычно заканчивалась дуэлью. Американец распространил слух, будто юного стихотворца высекли в тайной канцелярии, и поэт: решил «дерзкой обидой отплатить за тайные обиды человека, с которым расстался я приятелем». Из южной ссылки Пушкин «закидал... журнальной грязью» своего обидчика, сочинив эпиграмму, которую поместить в журналах не смог, но не огорчился этим, зная, что ее повторяют на всех углах:

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.

Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он — слава Богу —
Только что картежный вор.

Их помирили лишь после возвращения Пушкина из Михайловского, и

граф Федор даже был посредником в сватовстве поэта. Но былое приятельство кончилось. У «алеута» в ту пору не нашлось бы и двух-трех друзей. Одни его ненавидели, затаив обиду. Другие побаивались, но все-таки отдавали должное его незаурядности. Коротко с ним знакомый Вяземский писал, что его «душа есть пламень», а «ум холодный эгоист». Фаддей Булгарин, тоже знававший Американца, под старость вспоминал о нем «как о необыкновенном явлении даже в тогдашнее время, когда люди жили не по календарю или не под диктовку и ходили не по стрункам».

Годам к сорока у Американца произошел душевный переворот, вчерашний бесшабашный игрок вдруг сделался истовым богомольцем — по словам Льва Николаевича, «к старости так молился, что колени и руки себе ободрал». Поговаривали, что этот «дуэлист» убил на поединках одиннадцать противников, а теперь он захотел тихой семейной жизни. Еще раз шокировав свет, Американец в жены взял цыганку из табора Авдотью Тугаеву. Волочился он за нею давно, осыпал подарками, а как-то после крупного проигрыша, когда, кажется, осталось только застрелиться, она вернула ему все кольца и брильянты, которые пошли в уплату долга. Это решило участь Американца — вскоре сыграли свадьбу.

Молодые жили в Москве, в Староконюшенном переулке, в доме, где в середине 1840-х годов часто бывали старшие братья Толстого — Николай и Сергей. Брак оказался, мало сказать, неудачным, — из-за него жизнь Американца стала будничным кошмаром. У графини-цыганки обнаружился крутой характер в соединении с жадностью и душевной черствостью: дикие сцены, вздорные претензии, разрывы — все это было обыденностью. Дети один за другим умирали еще младенцами, и граф, кажется, всерьез полагал, что это расплата за его дуэли. Последней была страстно им обожаемая дочь Сарра, по свидетельству Пушкина, «так же почти сумасшедшая», как отец; прожившая свои семнадцать лет «в мечтательном мире, окруженная видениями», она сочиняла стихи по-немецки. Герцен находил, что у этой необыкновенной девушки был действительно поэтический дар.

Федора Ивановича Герцен видел в трагическом для несчастного отца 1838 году. В «Былом и думах» он запечатлел старика со сверкающими глазами и атлетическим телом. «Сколько энергии и силы было ему дано от природы. Он развил одни буйные страсти, одни дурные наклонности, и это не удивительно, всему порочному позволяют у нас развиваться долгое время беспрепятственно, а за страсти человеческие посылают в гарнизон или в Сибирь при первом шаге»...

В Ясную Поляну Американец, видимо, приезжал годом-другим

раньше и поразил воображение ее юных обитателей, одного из которых, Сережу, вылечил от зубной боли, воспользовавшись для этой цели батистовыми платками. А двадцать с лишним лет спустя в руки Льва Толстого попадет рукопись Полины, единственной дочери его самобытного родича, достигшей зрелых лет; она вышла замуж за Василия Перфильева, короткого приятеля Толстого в годы юности (считается, что это прототип Стивы Облонского в «Анне Карениной»), Поленька тоже была не без странностей: Толстой, случалось, именовал ее «чучелой» и как-то записал в дневнике, что «она противна» — видимо, своей манерностью, придирками к благодушному, слабовольному мужу, сюсюканьем с жившей у нее обезьянкой, которая бегала по комнатам, дергая за волосы гостей. Однако одаренности ей было не занимать. Рукопись, которая называлась «Графиня Ина», Толстой литературно обработал и помог напечатать в «Русском вестнике». Правдиво описанные автором эпизоды детства создавали красочную картину бешеных страстей, которые кипели под крышей дома в Староконюшенном, и «адских нравов» его владельцев.

Тогда же, пораженный этой рукописью. Толстой напишет своей двоюродной тетке, графине Александре Андреевне: «В вас есть общая нам толстовская дикость». И назовет Американца с его татуировками.

*

Дед, Илья Андреевич, как и отец, Николай Ильич, тоже не обделены были чертами, подходящими под определение «толстовская дикость», хотя «ночной разбойник» Федор Иванович в этом отношении дал бы сто очков вперед им обоим. «Воспоминания» содержат всего лишь несколько строк об Илье Андреевиче, который представлен как «человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но бестолково мотоватый, а главное — доверчивый». В семейной летописи сохранились свидетельства об игре в ломбер и вист, о не плативших должниках и каких-то безумных аферах, которые вконец разорили Илью Андреевича, пустившего по ветру большое имение жены в Белёвском уезде. Без малого в семьдесят лет пришлось ему, любителю пиров и катаний, хлопотать о должности с приличным жалованьем. «Брига-дер», как значится в подписанных им официальных бумагах, не служил уже давно, но, как писал он супруге, «что ж делать, друг сердечный, должно повиноваться рассудку».

Влиятельные знакомцы — а их у Ильи Андреевича, одного из старост московского Английского клуба, дежурившего 3 марта 1806 года, когда

давали обед в честь Багратиона, было немало, — выхлопотали для бывшего гвардейца Преображенского полка место губернатора в Казани. Он правил там пять лет, все так же проигрывая тысячи за карточным столом и благодушно не замечая, что кругом творятся «неимоверные злоупотребления», о которых писали Аракчееву доносчики. Дело кончилось нежданной ревизией, аракчеевским рапортом Кабинету министров и отстранением от должности в феврале 1820 года. Месяц спустя, не успев представить объяснений, граф, потрясенный сенатским рескриптом, умер. К этому времени все его имения были описаны, а доходы с них шли потерявшим терпение кредиторам.

Взятки он не брал, но не препятствовал мздоимцам из числа чиновников, да и графиня Пелагея Николаевна, таясь от мужа, случалось, выходила на заднее крыльцо, где ее ожидали с подношениями. Разразившаяся катастрофа оставила ее буквально без гроша. Правда, обеих дочерей уже устроили: одна была замужем за остзейским графом Остен-Сакеном, другая за богатым казанским помещиком Юшковым. Однако Пелагея Николаевна, урожденная княжна Горчакова, — в яснополянской зале висят на стенах портреты ее отца и матери — предпочла доживать свой век у младшего сына Николая, в Ясной Поляне, хотя, по свидетельству Толстого, не любила невестку, «считая ее недостойной моего отца и ревнуя его к ней».

Пелагея Николаевна была властной и капризной, всем давала понять, кто первое лицо в доме, изводила безответную горничную Гашу, презрительно к ней обращаясь «вы, моя милая». Эта Гаша была существом странным: ходила в рваной кофте, из которой клоками торчала вата, а подаренный ей добротный капот пожертвовала на подстилку собаке, своей любимице. Ко всякому зверю она относилась с нежностью, все для нее были божьи создания, даже мыши, с которыми она делилась своим ужином. Под старость, когда Пелагеи Николаевны давно уж не было на свете, Гаша стала жаловаться, что у нее в груди растет береза и дышать от этого трудно. Все дворовые псы были в день ее смерти.

Свою хозяйку она очень побаивалась, да и все в яснополянском доме знали, какой у Пелагеи Николаевны непростой нрав. Дети проходили мимо ее вольтеровского кресла с трепетом и всегда обращались к бабушке на «вы». Жил при ней некто Лев Степаныч, слепой старик, поразивший детское воображение невероятным слухом: вот, мышка подкралась к лампаде, говорил он, и в самом деле замечали, что мышь пьет из лампы масло. Обязанность Льва Степаныча состояла в том, чтобы рассказывать на ночь сказки. Престарелая дама слушала их, лежа на ложе с высокими

белыми подушками. Иногда в ее опочивальню допускались внуки. Так Толстой впервые узнал о Шехерезаде и о замечательной истории принца Камаральзамана. «Тысяча и одна ночь» во французском переводе была приобретена еще его дедом, есть в Яснополянской библиотеке и более позднее издание. А повесть о принце, которого колдунья обратила в лошадь, Толстой на старости лет любил рассказывать внукам.

Запомнилось еще, как ездили за орехами в соседний лес. Бабушку на руках выносили камердинеры, потом в «Заказе» нагибали для нее ветки, чтобы она пополняла лежавший на ее коленях мешок. И было что-то удивительно радостное в этой картине давно прошедшего — «бабушка, орешник, терпкий запах орехового листа, камердинеры, желтый кабриолет, солнце».

Николай Ильич 9 июля 1822 года женился на княжне Марии Николаевне Волконской. До свадьбы было несколько встреч в доме Трубецких на Покровке, известном всей Москве «доме-комоде».

Венчание происходило в церкви села Ясенева, к сожалению, не сохранившейся. Неподалеку располагалось подмосковное имение Трубецких Битца. Волконских и Трубецких, два очень знатных русских семейства, связывали многочисленные нити родства. Урожденной княжной Трубецкой была мать венчавшейся. Молчаливые укоры бабушки, которая, похоже, находила невестку недостаточно родовитой, по меньшей мере, были странны. Во время венчания упала и больно ушибла жениха подвешенная к потолку люстра. Николай Ильич всю жизнь оставался убежден, что то было дурное предзнаменование.

Со стороны Николая Ильича это был откровенный брак по расчету. Дела бывшего казанского губернатора оказались настолько расстроены, что наследник предпочел отказаться от наследства, так как иначе рисковал угодить в долговую тюрьму. Николаю Ильичу шел уже двадцать девятый год, а занимаемая им должность была более чем скромной, всего лишь смотрительский помощник военно-сиротского отделения при московском коменданте, то есть воспитатель солдатских сирот.

Разумеется, невесте не сообщили, что у Николая Ильича уже имеется сын-подросток, родившийся от связи с дворовой девушкой, — дело очень обыкновенное в тогдашнем аристократическом кругу. Мишеньку определили в почтальоны, но потом он сбился с пути, нищенствовал, был рад несколькими рублям, которыми его дарили, испытывая неловкое чувство, братья. Внешностью он походил на отца больше, чем все они.

Восемнадцати лет от роду Николай Ильич, имевший чин губернского секретаря, стал корнетом Иркутского гусарского полка, куда корнетом был

зачислен и Грибоедов. Шел 1812 год. Корнету не довелось воевать, пока Наполеон продвигался к Москве, а затем бежал к западным границам. К армии он присоединился только под Рождество и писал родителям, как его поразили ужасы войны: «Я видел места, верст на десять засеянные телами; вы не можете себе представить, какое их множество на дороге от Смоленска до местечка Красное; да это еще ничего, ибо я считаю убитых несравненно счастливее пленных и беглых французов, кои находятся в разоренных и пустых местах Польши; вы можете не поверить, что мы почти были свидетелями, как прикалывали казаки тех, кои, не имевшие более силы идти, упали от усталости».

В заграничной кампании Николай Ильич участвовал в переправе через Эльбу у Дрездена, потом под Лейпцигом в «битве народов» удостоился производства в ротмистры. Однажды его послали в Петербург с важными донесениями. На обратном пути курьера захватили в плен, из которого он освободился лишь при вступлении русских войск в Париж.

Бедствовать в плену графу не пришлось, так как имевшиеся при нем драгоценности его слуга успел спрятать у себя в сапогах, которые носил, не снимая. Вряд ли, состоя адъютантом генерала Горчакова, своего свойственника, граф испытывал такие уж суровые лишения и на войне, однако, как писал он из армии сестрам, «военное настроение» — не его стихия, намного приятнее «жить в неизвестности с милой женой», чем стать свидетелем «истребления рода человеческого».

Эти мечты стало возможным осуществить только после отставки в 1819 году, когда Николай Ильич был по болезни уволен из кавалергардов в чине подполковника. В Кавалергардском полку тогда служили Лунин, Пестель, Ивашев, но к поколению будущих декабристов, вернувшихся из европейских походов с вольнолюбивыми чаяниями, он себя отнести не мог. Николай Ильич отличался умеренностью и даже консервативностью. Однако аракчеевское время ощущал как несовместное с его чувством чести и служить не захотел: ни в конце царствования Александра, ни в начале николаевского правления. Принадлежа не к либералам, а, как свидетельствуют «Воспоминания», к числу «немного фрондирующих правительств», Николай Ильич, насколько возможно, пробовал избегать всякого общения с чиновниками, «никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бойкого, веселого и часто насмешливого тона». Воспитателем солдатских сирот он, скрепя сердце, стал от безвыходности и пробыл им недолго, всего полгода.

За княжной Волконской давали Ясную Поляну, к ней по смерти отца в феврале 1821 года перешли и другие имения, а также дома в Белокаменной.

Николаю Ильичу представился случай поправить наконец расстроенные дела, расплатившись с огромными долгами Ильи Андреевича. Танинька Ергольская, троюродная сестра, которая воспитывалась в доме Ильи Андреевича и с детства внушала юному графу самое нежное чувство, встретившее не только взаимность, а и глубокую, пожизненную любовь, была принесена в жертву прозаической необходимости. Осталось несколько сентиментальных стихотворений, которые граф писал в альбом своей Таниньке:

Что делать мне с тобой?
Люблю тебя я всей душой.
Любить век буду
И покорный слуга пребуду.

Напрасные клятвы — под венцом он стоял с княжной Волконской. Она не обольщалась относительно пламенности его чувств. Но ей шел уже тридцать второй год и слыла она «старой девушкой, дурною собой» — так ее аттестовал известный московский сплетник, почт-директор Булгаков. Пересуды, насмешки наверняка не остались тайной для Марии Николаевны, но что с того? Страсти к суженому не испытывала и она, ясно сознавая свои побудительные мотивы: ей нужна была семья. Таниньке, теперь уже Татьяне Александровне, она, нисколько не ревнуя к былому, как-то написала: «Говоря откровенно, счастье прочное и действительное зрелого возраста, стоит ли оно очаровательных иллюзий юности, где все бывает окрашено всеильным воображением?» Мария Николаевна не решилась бы ответить на этот вопрос категорическим «да», однако зрелый возраст предъявлял свои требования, а ее так воспитали, что веление долга неизменно брало верх над порывами романтической фантазии.

*

Личностью она была намного более сложной и яркой, чем ее не очень хорошо образованный, можно сказать, недалекий супруг.

Лев Толстой фактически не знал матери — она умерла, когда ему не было еще и двух лет. А в семье даже не осталось ни одного портрета. Под старость он пробовал вообразить, как она выглядела, всматривался в тот детский силуэт, на котором различим только резко обозначенный нос и

прядки непослушных волос, спадающие к плечам, — других изображений нет. Сестра Маша, осиротевшая, когда ей было всего несколько месяцев, считала, что их мать была маленькой, худощавой, с мелкими чертами лица — темно-серые глаза, глубокий взгляд. Видимо, кто-то ей подробно описал внешность Марии Николаевны.

В памяти Льва Николаевича сохранился «только ее духовный облик». «...Все, что я знаю о ней, все прекрасно», — писал он. Вот какие материнские черты он называет особенно ему милыми — скромность, которая заставляла ее скрывать, насколько она и в культурном, и в нравственном отношении превосходит мужа да и всех вокруг, кроме Татьяны Александровны, последовавшей в Ясную Поляну за сочинителем обращенных к ней чувствительных виршей; безразличие к чужим мнениям и способность никого не осуждать; наконец, правдивость чувства: ни следа аффектации и жеманства.

«Воспоминания» побудили Толстого мысленно перелистать семейный архив, по очень скудным свидетельствам восстановить главные события юности Марии Николаевны. Отыскались ее ученические тетради, а также набросок повести, в которой юная графиня Волконская описывает своего отца как человека «самого возвышенного духа, самых строгих правил и доброго чувствительного сердца, но исполненного самолюбия и не без суетной гордости». Отыскались и листки, озаглавленные «Дневная запись для собственной памяти», хроника впечатлений 1810 года, когда ее повезли в Петербург, чтобы показаться в большом свете.

Эти страницы говорят о натуре глубокой и цельной, а еще о том, сколь многое для нее, росшей без рано умершей матери, значил отец. Он дал дочери, своему единственному ребенку, очень хорошее по тому времени образование, особенно много времени стал уделять ей после своей отставки. Генерал от инфантерии князь Волконский был уволен по прошению и «с абшидом», то есть с пенсией и сохранением чинов, в 1799 году. После отставки он жил то в Ясной Поляне, то в Москве, где его знали как богатого вельможу, как реликт екатерининских времен.

Карьера его была впечатляющей: в гвардию он был записан семилетним мальчиком, участвовал в 1788 году во взятии Очакова, затем недолго исполнял должность русского посла в Берлине. Толстой приводит предание о стычке своего деда с Потемкиным, из-за которой приостановилось продвижение блестящего офицера по службе. Светлейший вздумал выдать за князя Волконского свою племянницу Варю Энгельгардт, в которую, по деликатному выражению одного мемуариста, дядюшка «изволил влюбляться», как и во всех ее сестер. На языке

Потемкина, пишет этот мемуарист, «влюбляться означало наслаждаться плотью», а «сошедшей с ложа сатрапа» подыскивался именитый жених, которого осыпали милостями за счет казны. Предложение сатрапа, пишет Толстой, встретило дерзкий и прямой ответ деда: «С чего он взял, чтобы я женился на его б...» Князь Голицын оказался сговорчивее. А деда уволили без почестей.

Достоверность этого эпизода сомнительна — не совпадают даты. Но что-то на самом деле произошло в 1790-е годы, в конце правления Екатерины, когда Потемкина уже не было в живых. На протяжении двух лет имя генерала Волконского не встречалось в официальных бумагах, а затем Павел назначил его военным губернатором в Архангельск. Комендантом города был служака, известный своей грубостью и нетерпимостью. Стычка с ним окончилась доносом в столицу и вмешательством императора, который выразил неудовольствие действиями князя. Волконский подал в отставку. И уехал в Ясную Поляну.

В память о своей северной службе князь назвал построенный им на реке Воронке охотничий домик Грумантом. Так именовался в ту пору Шпицберген. Вокруг домика выросла деревня, тоже звавшаяся Грумант, хотя жители предпочитали русское слово — Угрюмы. Они, само собой, не знали, что ваятель Самсон Суханов, тот, что сделал подножие московского памятника Минину и Пожарскому, когда-то в юности зимовал на Шпицбергене и сочинил популярную у поморов песню: «Грумант угрюмый, прости, на родину нас отпусти...»

Имение Ясная Поляна досталось Волконскому от отца, который его приобрел в 1763 году, а обустройством занялся уже князь Николай Сергеевич. Толстой считал, что у его деда, вероятно, «было очень тонкое эстетическое чувство». Соорудили две башенки при въезде в усадьбу — там любила проводить часы Мария Николаевна, рассматривая экипажи на оживленной киевской дороге, которая пролегла рядом. Произвели посадки, появилась широкая березовая аллея от ворот к барскому дому, знаменитый «прешпект». Сам дом достраивал Николай Ильич, прежде был только один каменный этаж.

Дом, где родился Лев Николаевич, не уцелел: замученный карточными долгами, Толстой продал его на своз, когда был в армии, в Чечне, а уже после смерти писателя совсем обветшавшую постройку, которая шестьдесят лет простояла без употребления в селе Долгое, что в восемнадцати верстах от Ясной, разобрали на дрова и кирпичи крестьяне. Сохранились только просторный флигель с фасадом на юго-восток — там, за вычетом московских зим, прошла вся писательская жизнь Толстого, —

кирпичное здание, где при старом князе была ковровая фабрика, парк, «аглицкий» сад, пруды и проложенные по склонам аллеи.

Дед Льва Николаевича жил в Ясной уединенно, собирая библиотеку, которая почти целиком состояла из французских классиков и книг по истории. Любитель музыки, он завел оркестр, игравший в саду под гигантским, в три обхвата вязом, пока князь совершал свой моцион. В Москве, где Волконскому принадлежали два больших дома на Воздвиженке, судьба свела и подружила князя с тем самым Сергеем Голицыным, который стал супругом бедной Вареньки Энгельгардт, подарившей ему десять детей. За одного из сыновей Голицына девочкой была просватана княжна Мария Волконская, однако жених умер незадолго до назначенной свадьбы. Толстой верил, что имя ему дали в память о нем. В действительности его звали не Лев, а Николай — как первенца Марии и Николая Толстых.

Если верить «Воспоминаниям», юное чувство княжны Марии Волконской и было «той поэтической любовью, которую девушки испытывают только один раз». А брак устраивали родные, то есть старый князь. В ту эпоху подобные браки никого не удивляли.

Однако восемь лет, прожитые Марией Николаевной в замужестве, похоже, были для нее счастливыми. Разница характеров не мешала ровному, плавному течению яснополянской жизни. Пошли дети, Маша, самая младшая, была уже пятой в семье. Николай Ильич проявил недюжинную энергию: гасил отцовские долги, продавал дома и поместья, прикупая новые. Делалось это на приданое жены, которая никогда не вмешивалась в его начинания.

Незадолго до свадьбы она выделила большую сумму для сестры своей компаньонки и близкой приятельницы Луизы Гениссѐн. Мари Гениссѐн вышла замуж за двоюродного брата Марии Николаевны князя Михаила Волконского — в семье этот союз считали постыдным, возмущались, узнав, что родовое наследство транжирится в угоду «мамзельке». Мария Николаевна была единственной из Волконских, кто присутствовал на венчании.

Впрочем, ни об одной мало-мальски серьезной ссоре между родителями Льву Николаевичу не было известно. Отец старался сдерживать таившуюся в нем, как во всех Толстых, «дикость», давая ей выход разве что на охоте, которую любил больше всего на свете, да в насмешках над слезливыми французскими романами — их читали вслух бабушке по вечерам в гостиной. Крестьяне запомнили, что бывал он с ними суров и даже жесток, но едва ли можно вполне принимать на веру их

поздние рассказы. Был случай, когда, встретив на улице в Туле беспутного мужика Еремку из Ясной, который тянул руку за подаванием, Николай Ильич тут же распорядился взять его в дворню, — нищих у него не будет.

Конечно, будучи человеком своего времени, он не печалился из-за того, что существует рабство. Мать тоже «давала себя обслуживать множеством слуг, как тогда было принято», хоть и была «добрая, тонкая, глубокая», — к старости Лев Николаевич находил такую психологию почти необъяснимой. Однако нежное чувство к матери он пронес до конца своих дней. Отдаляясь с течением времени, ее образ делался все более одухотворенным, о чем свидетельствует дневниковая запись 1906 года: прильнуть бы к родному существу, сделаться маленьким, спрятаться в руках матери. Потому что она «высшее мое представление о высшей любви, — но не холодной, божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа».

Сохранилась тетрадь с изречениями по-французски, которые Мария Николаевна выписывала в свои последние годы. Вот одно из них: «Незаметное и скрытое счастье не кажется счастьем большинству людей, как будто миндаль менее сладок оттого, что он заключен в толстую скорлупу». В Ясной Поляне это незаметное счастье создавалось прежде всего ее стараниями.

Из детей она, видимо, больше остальных любила старшего, Николеньку, вела журнал его поведения, дополненный бюллетенями, где слова «изрядно» и «порядочно» соседствуют с противоположными по смыслу: «дурно», «блажь», «большая лень». Мария Николаевна могла и прикрикнуть на сына, и выставить его из-за стола, когда он принимался «митрофанить», как герой «Недоросля». Блажь, однако, была, по ее мнению, извинительнее, чем умиления и слезы. «Излишняя чувствительность для мальчика совсем не годится».

Сама же она, хоть и мало была склонна к чувствительности, тем более излишней, однажды, в очередную отлучку мужа, занятого делами, посвятила ему наивные и трогательные стихи:

Дай Бог, мой друг, чтобы я скоро
С тобой увидеться могла
И сладостного разговора
Не долго б лишена была.

Дай Бог, чтобы во все то время,
Что проведешь ты без меня,

Печали ни малейшей бремя
Не угнетало бы тебя!

*

Меж тем несчастье было не за горами. Последние роды у Марии Николаевны были очень тяжелыми, после них она долго болела, но так и не оправилась. Говорили, что у нее горячка. 4 августа 1830 года Марии Николаевны не стало.

Находившиеся при умирающей свидетельствовали, что у нее появились признаки душевной болезни: занимаясь с Николенькой, она, случалось, держала книгу вверх ногами. Николай Ильич вел себя мужественно и благородно, хотя, как утверждает мемуаристка, «скорбь графа была основана скорее на сознании, чем на чувстве».

Правда, это сказано не без пристрастности. Утверждение принадлежит жившей по соседству помещице Огаревой, под старость уверявшей, что граф был в нее влюблен и назначал ей свидания в роще. Из ее слов следует, что это происходило, когда он еще не стал вдовцом. Льву Николаевичу хотелось думать, что все-таки позднее, после кончины матери. Ведь по своему Николай Ильич ее, конечно, любил, писал ей нежные письма. «Прощай, мой ангел, будь здорова, береги себя, береги себя из любви ко мне, из любви к младенцу, которого ты носишь под сердцем. Целую тебя миллион раз».

Под сердцем она тогда носила младенца Льва.

Заботы о детях взяли на себя тетушка Алин Остен-Сакен и в особенности — тетушка Ергольская, постаревшая Танинька. У обеих судьба не сложилась. Брак Александры Ильиничны оказался несчастливym: граф Остен-Сакен был подвержен припадкам патологической ревности и устраивал своей юной жене дикие сцены, для которых она не давала ни малейшего повода. Он вообразил, что вокруг одни враги, которые вознамерились погубить его семейное счастье. Вздумал бежать из дома, объявив Алин: если их настигнет погоня, они убьют друг друга. Что-то ему померещилось, когда они были в пути, и он в самом деле выстрелил — в супругу, не в себя. После перенесенного шока родился мертвый ребенок, и вместо дочери тетушка Алин долго воспитывала, сама не сразу об этом узнав, девочку, взятую у жены отцовского повара. Эта Пашенька последовала за Александрой Ильиничной в Ясную Поляну, где насмерть

перепуганная Алин доживала свой недолгий век, скрываясь от безумного мужа.

Алин стала очень набожной, любила ездить по монастырям, принимала у себя юродивых и странников, а старцу Леониду из Оптиной пустыни поклонялась как святому. Толстой помнил монахиню, подолгу жившую в их доме. Считали, что ее молитвами Мария Николаевна, грезившая о дочери после четырех сыновей, дождалась исполнения своей мечты. В благодарность монахиню пригласили крестной матерью Маши.

В практической жизни Алин, которая из грациозной девушки, обожавшей записывать в альбом меланхоличные французские стихи, превратилась в неопрятную, переставшую за собой следить женщину без возраста, не смыслила ровным счетом ничего. Назначенная по смерти брата опекуницей маленьких Толстых, она быстро запуталась в оставленных Николаем Ильичом бумагах и жаловалась тетеньке Ергольской на крючкотворов, которые всех их пустят по миру. Ее желанием было поскорее со всем этим покончить и вновь наслаждаться задушевыми беседами в Оптиной. Там она и умерла, когда Льву Николаевичу еще не исполнилось четырнадцати.

Воспитывала его главным образом Татьяна Александровна. «Нельзя было не любить ее за твердый, решительный, энергичный и вместе с тем самоотверженный характер», — пишет он о Ергольской в «Воспоминаниях» и рассказывает про «вспышки восторженной умиленной любви к ней», научившей его, еще в детстве, «прелести неторопливой, одинокой жизни», ход которой определялся для тетеньки двумя главными побуждениями: любовью ко всем, живым и ушедшим, и беспредельной добротой — тоже ко всем без исключения.

Марию Николаевну она приняла как сестру, ни намеком не выдав, что для нее значил Nicolas в их далекую юность, когда была она очень привлекательна со своей огромной косой и агатово-черными глазами. Было бы естественно, чтобы она заменила мать сиротам, которые ее обожали. И через шесть лет после смерти жены Николай Ильич сделал предложение своей Туанет. Осталась ее запись об этом событии, которое она сочла странным — «une etrange proposition». Выйти за Nicolas она отказалась. Но не покидать его детей обещала твердо — «пока я буду жива».

Лев Николаевич считал, что тетенька Ергольская поступила так, «потому что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами». К тому же ей тогда было сорок четыре года — слишком поздно, чтобы резко менять жизнь. Центром этой жизни всегда оставалось чувство к Nicolas. Но лучи от центра расходились далеко, озаряя весь

окружавший ее мир. Вот что подразумевал Толстой, говоря, что тетенька Туанет научила его «духовному наслаждению любви».

Сватаясь к Туанет, граф, должно быть, предчувствовал, что жить ему осталось недолго и пришло время беспокоиться будущим детей. Здоровье Николая Ильича было расстроено. Последним ударом стала тяжба из-за имения Пирогово, приобретенного им весной 1837 года.

Это была удачная, но не вполне законная покупка. Соседский помещик Темяшев, дальний родственник графа и очень богатый человек, прижил от крепостной дочь Дунечку, которой шел тогда восьмой год. Признать ее и воспитывать у себя Темяшев не решился, но хотел обеспечить Дуню на всю жизнь и предложил Николаю Ильичу такой план: она будет расти вместе с Толстыми, а по совершеннолетию получит от графа солидные деньги, которые должно принести Пирогово с его конным заводом. Имение он уступал графу фактически за бесценок. Составили купчую, где говорилось, что граф выплатил Темяшеву сто семьдесят тысяч с лишком, а остаток, примерно столько же, должен быть покрыт в известный срок. Дунечка уже давно жила в Ясной Поляне, стала подругой Маши, и относились к ней как к родной, хотя не очень любили: по воспоминаниям Толстого, была она милой, но неумной, да к тому же большой плаксой.

Едва Пирогово перешло к Толстым, как прежнего владельца хватил удар, а его сестра заявила права на наследство. Она составила прошение на имя московского генерал-губернатора, в котором утверждала, что брата ограбили, воспользовавшись его беспомощным состоянием. В Пирогово явился ее приказчик с требованием не исполнять никаких распоряжений нового барина, а сама она всеми способами пыталась прорваться к лежавшему при смерти брату, чтобы он подписал бумагу, которая аннулирует купчую. Темяшева пришлось увезти от ее домогательств в Тулу, туда же, чуть не загнав лошадей, примчался из Москвы Николай Ильич. Весь день 21 июля он, не передохнув с дороги, ходил по управам, а к вечеру решил навестить Темяшева. Из окон видели, как он, совсем рядом с домом, вдруг упал и не поднялся. Вызванные врачи уже ничем не смогли помочь.

Осмотрев тело, обнаружили, что при графе нет ни денег, ни векселей. Возникло подозрение, что кто-то его обокрал, а предварительно ему подмешали яд. Векселя вскоре принесла на московскую квартиру какая-то нищенка, а вот деньги так и не отыскились. Участниками возможного преступления были названы сопровождавшие Николая Ильича камердинеры Петруша и Матюша, но улики против них следствие не нашло и дело закрыло. Скорее всего, его и не было.

Похоронили графа рядом с женой, в часовне на кладбище села Кочаки поблизости от Ясной. Льву Николаевичу на всю жизнь запомнился день, когда служили панихиду в Москве. Было ему, по собственным словам, грустно, но он чувствовал в себе какую-то важность, новую значительность — ведь отныне он круглый сирота, и все про это знают и будут относиться к нему не так, как прежде. И только позднее пришло настоящее чувство утраты, о котором говорят «Воспоминания»: «Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему, пока он не умер».

*

Странная фраза там же, на страницах прерванной автобиографии, написанной в 1903–1906 годах: от детства остались только радостные воспоминания, «грустных, тяжелых не было». Память сохранила отчетливое сознание того, что мир загадочен и удивителен, удержала лишь «это истинное предчувствие или послечувствие всей глубины жизни». Тени едва различимы, повсюду солнце и радость. И никак не оторваться от этого «яркого, нежного, поэтического, любовного, таинственного детства».

Зная остроту толстовского переживания смерти, как не заподозрить, что происходит какая-то аберрация и сознание просто гонит прочь все драматическое, все жестокое, что было в эти ранние годы. Но ведь «Воспоминания» нельзя воспринимать как документ. Это художественный текст, в сущности, такой же, как автобиографическая трилогия, которую начинал писать Лев Толстой, — просто здесь сохранены реальные имена и события воссозданы в чуть большей степени соответствия реальной хронике. А в художественной вселенной Толстого детство неизменно представало как момент истины, когда человеку открывается его настоящая природа и предназначение на земле. Никогда больше нам не дано с такой ясностью, так достоверно ощутить, кто мы такие и зачем живем. С возрастом это чувство высшей правды человеческого существования притупляется либо пропадает вовсе. В детстве оно приходит естественно и не требует корректировок. Поэтому возвращение к детству для Толстого сопрягается с чувством, как много мы потеряли, когда окончилась эта пора, а сами картины детства приобретают у него оттенок идиллии.

На самом деле идиллии не было.

Был опустевший яснополянский дом, была тетушка Алин со своей восторженной религиозностью и вечным кисловатым запахом несвежего белья. Были любящая и жалостливая тетенька Ергольская, а с нею

приживалка Наталья Петровна. К ним в комнату бежали, когда охватывало чувство тоски и одиночества — а так бывало, — и тут же появлялись пряники или финики, и чудесное воспоминание осталось от этих поздних сидений в кресле, пока старушки, накинув платки поверх ночных рубашек, раскладывали пасьянс.

Потеряв сына, бабушка не прожила и года. Ей все грезилось, что Nicolas вернется, она его видела в соседней зале и принималась разговаривать с тенью. И для Татьяны Александровны это была страшная утрата, которая, как записано в ее дневнике, «растерзала мне сердце». Когда умирала бабушка, детей привели к ней попрощаться, и на всю жизнь запомнилась ее распухшая от водянки, белая, как подушка, рука, которую надо было поцеловать.

Первую зиму после смерти отца мальчики провели в Москве на Плющихе, с бабушкой, Алин и гувернерами, но считали дни, когда их наконец повезут домой, в Ясную. Оттуда в Москву вернулись только Николенька и Сережа, двух младших вместе с Машей и Дунечкой оставили на попечение тетеньки Ергольской. Прежний быт с роскошествами, от которых бабушка и не помышляла отказаться, стал не по средствам.

Толстой говорил, что от первых пяти лет жизни у него сохранились лишь какие-то случайные блики — то, что глаз будущего художника выхватил из забвения: парная, страшная вода и гладкие мокрые края корыта, немец-гувернер, пляшущий в хороводе, в котором почему-то оказалась незнакомая женщина, прачка. Более отчетливыми картины становятся лишь с пяти лет, когда его переселили в комнату старших мальчиков, не очень любезно принявших меньшого брата. Эти картины по-прежнему разрознены, но в них уже есть та необычайная зримость, вещественность, плотность, которая поразит читателей «Детства» и «Отрочества».

Вот вывозят на телеге соструненного большого волка, отпускают и потом несутся за ним вниз по полю все вместе — собаки и верховые, но волк уходит: садка не удалась, и отец, возвращаясь домой, сердито машет рукой. Вот лежит на кресле чернопегая Милка, отцовская любимица, и раскладывает карты бабушка в чепце с рюшем и бантом, а рядом золотая табакерка, из которой она берет щепотку. Вот обед в Ясной Поляне: большая зала, лакеи с тарелками, прижатыми к левой стороне груди, грубоватая скатерть работы собственных ткачей, очень вкусные пирожки, которыми почему-то обносят детей, но Петруша, тот камердинер, что потом был под подозрением, все-таки незаметно один подсунул — удивительный пирожок! И предобеденный ритуал, когда, чуточку робея, дети целуют руку

отца, белую, с красной полосой на тыльной стороне ладони. И шарады: первое — буква, второе — птица, а все вместе маленький домик, то есть «будка», хотя выходит «бутка». И святки. Как он был хорош с наведенными жженой пробкой усами и лицом турка, какая прелесть была турчанка-Маша. А в зале под аккомпанемент фортепьяно пели незамысловатые веселые куплеты.

Черeda лиц выплывает из бесконечно далекого прошлого: официант Тихон, когда-то игравший на флейте в оркестре дедушки, — он, случилось, потихоньку таскал табак из отцовского кожаного кисета, — няня Татьяна Филипповна, сжившаяся со своими питомцами, и ее брат-кучер, и ласковый буфетчик Василий Трубецкой. И конечно, Федор Иванович Рессель, тот самый немец, который шумел в хороводе и прыгал, высоко поднимая ноги.

Федор Иванович, будущий Карл Иваныч Мауер из «Детства» и «Отрочества», был личностью особенно замечательной. Толстой сам говорит, что описал его в этих повестях совершенно правдиво, да и в одном письме, обмолвившись, назвал своего воспитателя, уже давно покоившегося в могиле, не Федором, а Карлом. «Когда б вы знали мою историю и все, что я перенес в этой жизни! — сетует на судьбу Карл Иваныч, когда в „Отрочестве“ ему отказывают от места. — Я был сапожник, я был солдат, я был дезертир, я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль! и мне, как Сыну Божию, некуда приклонить свою голову». В повести бабушка, давно замыслившая избавиться от этого «немецкого мужика», возвела на него напраслину из-за невинной детской шалости с дробью, и его изгнали. А в действительности дело обстояло так. Кто-то из слуг, похоже, донес, что Федор Иванович попивает, и пришлось ему каяться перед добросердечной Алин. Пожурив, его вернули, и дни свои он окончил в Ясной, когда питомцы уже ее покинули: кто надолго, а кто навсегда.

Из «Отрочества» мы узнаем, что он был незаконный сын знатного человека и отчим относился к нему недоброжелательно. Узнаем, что он воевал, причем пошел в армию вместо сводного брата. Что он попал в плен под Ваграмом, потом был взят на канатную фабрику, где в него влюбилась молодая хорошенькая хозяйка. Что мать не узнала его после девяти лет разлуки, что его выследили и дома, назвали дезертиром, привели в полицию и оттуда он бежал. На счастье, встретился какой-то русский генерал, который выхлопотал ему паспорт и взял учителем к своим детям. А после всех этих злоключений «ваша маменька позвала меня к себе».

В этой истории слишком много ситуаций, знакомых по сказкам, где плен, и насильственная разлука с возлюбленной, и неузнавание, и клевета, и бегство из-под стражи — самые распространенные сюжетные ходы. Но

что-то похожее Федор Иванович, должно быть, вправду рассказывал своим воспитанникам, которые его полюбили всей душой, хотя иной раз и подтрунивали над привычками и понятиями неудачливого ветерана недавних наполеоновских войн. А он, столько перетерпев и потеряв родной дом, был к ним привязан, как к своим сыновьям. Уроки доброты первыми преподали Толстому тетенька Туанет и этот смешной немец, говоривший с сильным саксонским акцентом, а сносному русскому языку так и не выучившийся.

Лишь один эпизод омрачил нежные отношения воспитателя с детьми. У Федора Ивановича была собака, очень к нему привязанная. А он распорядился ее повесить, когда она сломала лапу. Объяснить такую жестокость питомцы Федора Ивановича были не в состоянии. Не понимали, как грубеют сердца, закаленные солдатской службой и войной.

К другому гувернеру, французу Сен-Томе, который велел называть себя по-русски Проспером Антоновичем, отношение было неприязненное, даже враждебное. В «Отрочестве» описано «смешанное чувство злобы и страха к этому человеку», испытанное героем. Причины понятны: Рессель воспитывал доверием и лаской, Сен-Томе полагался на принудительную дисциплину. Его грозное: «*A genoux, mauvais sujet!*» — «На колени, негодник!» — звучало после любой провинности. И розги поминались вовсе не для шуток.

Сен-Томе появился в доме Толстых сразу после смерти Николая Ильича. Его пригласила бабушка, с которой были оговорены условия: уроки французского и латыни, а также «уяснение нравственных обязанностей», которые пока что состоят в том, чтобы повиноваться воспитателю, имеющему «полную власть и неоспоримый авторитет». Этим «нравственным обязанностям» Сен-Томе учил мальчиков два года. Лев первым испытал на себе действие его педагогической системы и до конца дней не мог забыть унижения, пережитого в тот день, когда французский учитель запер его за какой-то мелкий проступок и грозил высесть. На полях рукописи Бирюкова, дочитав до страницы о Сен-Томе, Толстой пометил: «Едва ли этот случай не был причиной того ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которое испытываю всю свою жизнь».

Столкновения стали бы неизбежными и острыми, но Льва вместе с Дмитрием увезли в Ясную Поляну, куда Сен-Томе писал наставительные письма. Одну его заслугу, впрочем, Лев Николаевич признал: если память его не обманула, именно Сен-Томе первым распознал у него художественный дар. И объявил, что это «маленький Мольер».

Может быть, из-за того, что кончились уроки Сен-Томе, возвращение в

Ясную Поляну и доставило Льву такую радость. Наставник и ученик встретились вновь только летом 1840 года, причем вполне дружелюбно. Прослужив еще два года в московской Первой гимназии, он уехал на родину, где его след потерялся.

Просматривая готовые главы своей биографии, написанной Бирюковым, Толстой как-то заметил, что в ней «все факты идут одинаково, а у меня в воспоминании одни — как Монблан, а другие — как муравейные кучи». Последние детские годы в Ясной Поляне как будто и не оставили следа в его памяти. Запомнилось совсем немного. Засуха, лошади голодны, и мальчики тайком собирают для них овес на крестьянском поле — им не приходит в голову, что мужики сами недоедают. Чтение: былины, которые нравились необыкновенно, библейская история Иосифа, которая произвела огромное впечатление, «Черная курица», очаровательная сказка уже забытого тогда писателя Погорельского.

Еще запомнилось, как, гуляя, встретили приказчика, который вел кучера Кузьму в ригу, где секли. Вечером дети рассказали об этом тетеньке, и та упрекнула их: как же они не остановили, не побежали к ней. Телесные наказания в Ясной не разрешались ни при графе, ни позже. Но они все равно применялись. И убедившись в этом, двенадцатилетний Толстой растерялся. А возможно, впервые ощутил, что жизнь, эта «удивительная таинственность», скрывает в себе и жестокость.

Если так, то переживание должно было оказаться крайне болезненным. Как он писал в «Воспоминаниях», «мое чистое детское любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства» и «все эти люди казались мне исключительно хорошими». Толстой и в семьдесят пять лет считал, что такое постижение мира и людей включает в себе гораздо больше правды, чем противоположное, «когда я видел одни их недостатки». Но его зрение было так устроено, что недостатки, и слабости, и пороки не могли от него укрыться и воспринимались очень мучительно именно из-за того, что «любовное чувство», пробудившееся в самые ранние годы, не было растрчено за долгую жизнь, как не ослабло инстинктивное, «детское» неприятие всякой несправедливости, всякого насилия и уродства, — эта особенность объясняет творчество писателя и мыслителя Толстого, вероятно, лучше, чем все другое.

Маша и неразлучная с нею Дунечка воспитывались так же, как мальчики, но росли все-таки не вместе с ними — где-то рядом. Смерть отца и последовавшие перемены, разлучив старших с младшими, ничуть не отдалили их друг от друга. Они остались семьей в полном значении этого слова. И не беда, что разница между ними была заметна каждому.

Перед Николаем, которому в восемнадцать лет, когда скончалась тетюшка Алин, предстояло фактически стать главою этой семьи, меньший из братьев очень долго буквально благоговел. Николай был на пять лет старше Льва, и, видимо, все братья в детские годы считали его безусловным лидером. Толстой запомнил его «удивительным мальчиком и потом удивительным человеком», который обладал воображением, художественным чутьем, юмором — превосходно рисовал, выдумывал замечательно интересные истории и так их рассказывал, что казалась чистой правдой любая фантазия. С ним «хотелось быть, говорить, думать» — желание, которое не так уж часто сбывалось, пока в августе 1839 года тетенька Ергольская не привезла Митю и Левочку в Москву, где они провели всю осень.

В этот приезд произошло событие, которое для Льва стало первым толчком к сознательной религиозной жизни. Семья Толстых, как большинство аристократических семейств той поры, не отличалась набожностью: обряды исполняли, никакого вольномыслия не было, но лишь для Алин церковь стала смыслом бытия. Похоже, и детей растили так, что вера не являлась для них предметом серьезного размышления, хотя, конечно, сомнению не подвергалась. И вот один из московских приятелей Николеньки, навестивший Толстых гимназист старшего класса, вдруг объявил: Бога нет, все это сплошные выдумки. Поразительная новость! «Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное».

«Исповедь», один из ключевых текстов для понимания философии Толстого, как раз и начинается с этой страницы детских воспоминаний. Над «Исповедью» Толстой работал в начале 1880-х годов, когда переживал духовный перелом. Того гимназиста, Володеньки М., уже давно не было на свете: очень одаренный социолог и экономист Владимир Милютин, которым восхищался Белинский, покончил с собой, не дожив до тридцати лет. На первой странице «Исповеди» читаем: «Когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили», — не на студенческой скамье, а в проповедях и на уроках Закона Божьего, по которому предстояло экзаменоваться. О судьбе Милютина, близкого друга Салтыкова-Щедрина и видного петербургского либерала,

Толстой, начинающий литератор, который только что опубликовал «Детство» и «Отрочество», разумеется, знал. В старости он не раз вспоминал, как его изумило Володенькино заявление о том, что Бога нет, однажды заметил, что ничего нельзя придумать хуже для разведения атеизма, чем гимназии. Не только страх перед атеизмом, но и невозможность бездумно исполнять «сообщенное мне с детства вероучение» — вот истоки кризиса, который описан на страницах «Исповеди». А самое раннее его предвестие — понятно, что Толстой еще не мог этого осознавать, — тот самый день, когда ему в первый раз сказали о пустоте неба.

Еще один отрывок из «Воспоминаний»: «Николеньку я любил, а Сережей восхищался, как чем-то совсем мне чуждым, непонятным». Главу о братьях Толстой писал вскоре после смерти Сергея Николаевича, скончавшегося в 78 лет. Что-то загадочное младший брат в нем чувствовал всегда, их отношения нередко складывались так, что грозили разрывом, но в детстве Лев желал ему подражать. Сережа «был, что был, ничего не скрывал и ничем не хотел казаться», — качество, в глазах Льва Николаевича бесценное. Он был красив, замечательно пел, его непосредственность покоряла. Оттого все, что он делал, выглядело прекрасным, и Левочка тоже обзавелся своими цыплятами, когда Сереже вздумалось устроить собственный птичник, а в альбомах, по примеру брата, рисовал разноцветных петушков.

С Митенькой, который был всего на полтора года старше Льва, братьям иной раз было трудно общаться из-за его вспыльчивости и несдержанности. Тетенька Туанет надеялась, что это возрастное и со временем пройдет, но все-таки попросила Сен-Тома воздействовать на строптивого питомца. Тот написал ему письмо, в котором уговаривал учиться сдержанности, ведь «если в свете, в университете, на службе вы сохраните тот же характер, вы пропади». Предсказание, к сожалению, оказалось точным, и Толстой сам в этом убедился, но много позднее, когда стал студентом. А пока с ним рядом был почти сверстник — серьезный и вдумчивый, с чистыми помыслами, с решительным характером, способный доводить любое начатое им дело до конца. «И я любил его простой, ровной, естественной любовью и потому не замечал ее и не помню ее».

Он не помнил ни ссор, ни драк, хотя они наверняка случались. Из своего детства — поэтического, таинственного, нежного — он сохранил в памяти всепоглощающее чувство любви, как естественного состояния души, как естественного отношения ко всем людям. А еще — повесть о Фанфароновой горе, о муравейных братьях и о зеленой палочке: ее

рассказал младшим братьям десятилетний Николенька, и потом они все вместе придумали игру, состоявшую в том, что, загородившись ящиками, мальчики сидели в темноте под стульями, тесно друг к другу прижимались и испытывали особенное чувство умиления.

Николенька поведал им, что ему известна тайна, «как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были просто счастливы», и эту тайну он написал на зеленой палочке, которая зарыта у дороги на краю оврага в лесу, называвшемся Заказ. Приобщенные к этой тайне, сказал он, составляют муравейное братство, и когда-нибудь это будет братство всех людей, которые покончат с тем дурным, что в них есть, чтобы всюду под небесным сводом воцарились счастье и любовь. А на Фанфаронову гору он их поведет, когда каждый выполнит очень трудные условия: постоять в углу и не думать о белом медведе, в течение года не увидеть зайца, даже жареного, пройти, не оступаясь, по щелке между половицами.

Ни о чем другом, кроме белого медведя, конечно, не думалось, и желания не исполнились — Сережа не выучился лепить из воска лошадок, Митя и Левочка не смогли рисовать как настоящие живописцы. Никто не побывал на загадочной Фанфароновой горе. Но муравейные братья — скорей всего, Николенька что-то слышал про Моравских братьев, средневековую религиозную секту, которая отвергала неравенство людей и власть папы, — стали для Льва Николаевича прообразом общины людей, «льнущих любовно друг к другу». Два отрывка из трактата главного вдохновителя этой секты Петра Хельчицкого «Сеть веры» он взял для своего «Круга чтения», свода важнейших, по его представлениям, мыслей и моральных сентенций, который составил на склоне лет. Откроем «Воспоминания»: «Я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает».

Одновременно с воспоминаниями Толстой принялся писать статью, в которой обобщены самые главные его мысли. Для статьи долго не находилось точного названия. «Кто я?», «Изложение веры» — оба эти заголовка остались в черновых вариантах. В конце концов статья стала называться «Зеленая палочка».

«Пустыня отрочества»

Тетушка Алин тихо отошла в Оптиной пустыни 30 августа 1841 года. На могиле ее поставили памятник со стихами, сочиненными, по всей

видимости, младшим племянником: «В обителях жизни небесной твой сладок, завиден покой». В обителях земной жизни покой был нарушен при власти Советов, когда монастырское кладбище разорили. Лишь из почтения к Толстому, которого было приказано считать «зеркалом революции», памятник не вышвырнули, как прочие, на свалку, а перевезли в Кочаки, в фамильную усыпальницу.

Опека перешла к другой тетушке, Пелагее Ильиничне Юшковой. Она жила в Казани с мужем, отставным гвардейским полковником, бывшим сослуживцем Чаадаева. В юности полковник был увлечен Танинкой Ергольской и сделал ей предложение, но получил отказ: для нее не существовало никого, кроме Nicolas. Тетушка Пелагея не забыла эту историю, отношения с Татьяной Александровной у нее были неприязненные. Ехать вместе с детьми в Казань Ергольская отказалась категорически, как ни больно ей было с ними расставаться. Перебралась к сестре в Чернский уезд, взяв с собой воспитанницу Алин — Пашеньку. Та, убитая горем, мечтала об одном — стать монахиней, но уж слишком была слаба здоровьем. Через пять лет она умерла от чахотки.

В Ясной Поляне остался только управляющий. Водным путем, по Оке и Волге в Казань отправили с дворней и мастеровыми имущество, а семейство дождалось конца октября, когда установился санный путь. Ехали через Москву, Муром, Нижний. Так несколько лет повторялось каждую осень. Лев Николаевич вспоминал, что однажды прочел в пути «Монте-Кристо», восемь томов мелким шрифтом: какие тогда были хорошие, молодые глаза! Было это не ранее 1846 года, когда появилось отдельное издание.

Юшковы проявили радушие, но особой близости к ним никто из братьев не чувствовал. Отставной лейб-гвардеец стал тихим обывателем, жил бездеятельно, перемигивался со смазливymi горничными да бренчал на фортепьяно. Пелагея Ильинична не отличалась ни обходительностью, ни широтой души. Человеком она была не злым, но капризным и взбалмошным. Любила светскую жизнь, хотя монастыри тоже охотно посещала, выстаивала службы, раздавала по обителям заказы на шитье золотом, однако с крепостными вела себя просто грубо. Интересов у нее не было никаких, перестановка дивана становилась событием. Тетушка не делала тайны из того, что в семейной жизни она несчастлива: муж и в молодости не испытывал к ней большой любви, а теперь вовсе охладел. В итоге они разъехались и Пелагея Ильинична окончила свои дни в Ясной Поляне, у племянника. Толстой пишет, что считал ее очень глупой.

Главной целью переезда был Казанский университет. Николенька уже

учился в Московском, и его перевели в Казань на второй курс. Остальным надо было готовиться к поступлению.

С языками проблем не было, а по другим предметам братьев начал натаскивать еще в Ясной Поляне студент Михаил Поплонский. Занятия с ним Толстому не запомнились, осталась в памяти только характеристика, которую Поплонский дал каждому из них: «Сергей и хочет и может, Дмитрий хочет, но не может... Лев и не хочет, и не может». Что касается Митеньки, семинарист, считал Толстой, был не прав, но сказанное о нем самом находил «совершенной правдой». Что и подтвердилось.

Вступительные экзамены он выдержал, хотя и получил две единицы: по статистике и по истории — общей и русской. Выручили пятерки за французский и немецкий (хотя по латыни была двойка) да успехи в русской словесности, оцененные на четыре. Правда, пришлось держать дополнительные испытания по тем дисциплинам, которые не дались с первой попытки. Все это происходило весной и летом 1844 года. Сергей и Дмитрий годом раньше поступили на математическое отделение, где учился Николай. Лев выбрал другое — восточное.

Для этого ему пришлось овладеть начатками арабского и татарского языков — оба, судя по ведомости, были сданы с блеском. Надо полагать, эти занятия потребовали очень много времени и в Казани, и в Ясной Поляне, где он проводил лето. Казанские два с половиной года, до начала студенчества, остаются в биографии Толстого белым пятном: нет мемуаров, почти нет и его собственных свидетельств. Он не любил вспоминать это время. Мысль о «пустыне отрочества» — одна из самых важных во второй автобиографической повести.

Толстые жили на Поперечно-Казанской улице, на первом этаже и в мезонине дома, смотревшего на речку Казанку, на монастырь и прилегавшие к нему слободы. Весной часто гостили у Юшковых на Волге, в имении Паново. Купались и в большом пруду с островом. Был случай, когда Толстой чуть не утонул в этом пруду, — щеголяя перед барышнями, бросился одетым в воду, но не доплыл до берега. Его вытащили подоспевшие на помощь бабы, убиравшие сено.

На полях рукописи Бирюкова, там, где речь шла о первых годах учебы в Казани и тогдашнем образе жизни, который развращал ум и сердце, Толстой выразил свое несогласие с автором, пояснив: «Напротив, очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провел в среде, где можно было смолodu быть молодым». Но больше доверия вызывает другое его суждение об этом времени — из «Исповеди»: «Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно

один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть — все это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны».

Разумеется, надо учитывать, что значила для Толстого «Исповедь». Это был акт разрыва с собственным прошлым, в котором очень многое он теперь не мог вспомнить «без ужаса, омерзения и боли сердечной». Толстой строг к себе чрезмерно, до беспощадности. И все-таки правды тут больше, чем в других его словах — когда он уверял биографа, что его казанское отрочество было «праздной, роскошной, но не злой жизнью». Ведь и за тридцать лет до «Исповеди» Толстой, который всюду виден за Николенькой Иртеньевым из автобиографических повестей, называл свое отрочество пустыней.

О гордости, о корыстолюбии известные об этом времени факты позволяют говорить только предположительно, но любострастие на самом деле пробудилось тогда, в Казани. Братья привели его, четырнадцатилетнего, в дом терпимости — ритуал подобных визитов считался в этом кругу чуть ли не обязательным. Потом он рыдал, одеваясь, и, вероятно, над ним, так же как над Анатолием Нехлюдовым в «Записках маркера», посмеивались и поздравляли «с просвещением». Спустя более полувека Толстой вспоминал тот день с ужасом и в разговоре с Хрисанфом Абрикосовым, своим последователем, горько сожалел, что вокруг него, когда он вступил в опасный для мальчика возраст, не было нравственной среды. Вот что он записал в дневнике в 1900 году: «Мне не было внушено никаких нравственных начал — никаких; а кругом меня *большие* с уверенностью курили, пили, распутничали (в особенности распутничали) ... И многое дурное я делал — только из подражания большим».

*

Один его современник, входящий в казанский свет, писал, что среда там была пропитана «сословными предрассудками», более всего заботилась о внешнем лоске и разделяла «свое досуговое время между картами, танцами и сплетнями, присоединяя к этим развлечениям поистине беспримерное чревоугодие». Однако Толстому предстояло сдавать на приемных экзаменах

Закон Божий, и этот предмет побудил серьезнее, чем прежде, задуматься о том, что для него значит вера. Ошеломляющее заявление Володеньки М. не шло из головы. Вспоминалось, как из окон дома Милютиных в сентябре 1839 года наблюдали закладку храма Христа Спасителя: был парад, присутствовал император, а дети очень беспокоились о знакомой собаке, которая заблудилась среди камней на площадке и пропала. Можно представить себе, какими комментариями сопровождал происходившее радикально мыслящий гимназист.

По прошествии многих лет Толстой писал одной своей постоянной корреспондентке, что размышления казанских лет привели к такому выводу: религия «не подходила под мои теории», и, следовательно, надо было «разрушить ее». Этим он и попробовал заняться, подвергая катехизис проверке здравым смыслом, чтобы убедиться, что теологические догматы несостоятельны. Но в день экзаменов, бродя вокруг университета, он искренне молился, чтобы их выдержать. Возник внутренний конфликт. С ним было трудно существовать.

Первый вариант «Исповеди» Толстой начал с рассказа о том, чем была для него церковь в раннем детстве. Описал тетушку Алин и разные смешные случаи, связанные с ее фанатичной религиозностью: привела странницу, уложила в свою постель и потом не могла отмыться от насекомых. С аппетитом ела постную похлебку, рассуждая, насколько постное вкуснее скоромного, и пришла в ужас, когда на дне тарелки обнаружила куриную косточку. Дети снисходительно относились к ее чудачествам — ничего дурного она не делала. И к вере они тоже относились несерьезно. Так заведено: нужно причащаться, «утром и вечером прочитать все молитвы и кланяться в землю... Если этого не сделать, то Бог накажет, случится какое-нибудь несчастье, игрушку разобьешь или провинишься».

Бог был для маленьких Толстых как строгий учитель, отдающий простые и определенные приказания — отсюда и досюда. Против такого порядка вещей никто не бунтовал, но никто и не относился к нему как к жизненно важному установлению. В голову не приходило, что «приказы Его на всю жизнь».

В Казани Толстой впервые ощутил невозможность и дальше воспринимать религию всего лишь как ритуал, для чего-то поддерживаемый, но не налагающий моральных обязательств. Не чувствуя этих обязательств, он восстал против самого ритуала. Как сказано в той же редакции «Исповеди», он «с шестнадцати лет начал заниматься философией, и тотчас вся умственная постройка богословия разлетелась

прахом».

Возможно, период скепсиса относительно религии протекал бы у Толстого, как у многих его сверстников, безболезненно. Однако рядом был брат Митя, с которым в Казани начало происходить нечто противоположное — он, изумляя близких, вдруг сделался истово верующим. Братья сочли, что это дала себя знать неискоренимая «толстовская дикость», да так оно и было, если судить по внешним проявлениям. Неподалеку от их дома стоял острог, и Митя зачастил в тюремную церковь. Выстаивал всю долгую, особенно на Страстной неделе, службу и общался с колодниками, за что ему сделали выговор. Он постился, говел, терпеть не мог фривольных разговоров и шуточек в том духе, что напрасно ему так претят танцы, ведь и Давид плясал перед ковчегом. Митя жил аскетом, в его комнате не было ничего, кроме доставшихся от отца минералов, которые он разложил под стеклами в ящиках. Однажды, когда кто-то из гостей начал без спроса копаться в этой коллекции, Митя набросился на него с кулаками.

Единственным его настоящим другом стала приживалка Юшковых, уродливая и безропотная Любовь Сергеевна, незаконная дочь богатого барина, которую взяли в дом из жалости. Пробовали устроить ее судьбу, выдав за гувернера Федора Ивановича, но не получилось — тот, оставшись без места, к этому времени совсем опустился, ослабел настолько, что ходил под себя и предупреждал, чтобы к нему не приближались — скверный запах.

Любовь Сергеевна страдала водянкой, у нее было опухшее безобразное лицо без бровей, почти голый череп. Комната ее не проветривалась, но Митя сидел там часами, читал этой несчастной вслух и вел с нею долгие проникновенные беседы. Так продолжалось до самой ее смерти, последовавшей летом 1844 года. «Чудак, в высшей степени чудак», — говорил Николай, а два других брата откровенно смеялись над Митей, не сознавая, что ему безразличны их мнения. Под старость Толстой со стыдом вспоминал свою былую черствость. А о Мите вспоминал много лет спустя: «...очень слабый ум, большая чувственность и святое сердце. И все это свяжется таким узлом, что нельзя распутать — и разрывается жизнь».

Он думал, что произошедшему в Мите перелому способствовало чтение изданных в 1847 гоголевских «Выбранных мест», которые были получены от священника из острога. О литературных пристрастиях самого Льва Толстого в ту пору трудно судить. Его тогдашние дневники, тоже начинающиеся с 1847 года, дают на этот счет очень скудные сведения. В них преобладают сетования на «беспорядочную жизнь», которая есть

«следствие раннего разврата души». Эта самая ранняя дневниковая запись сделана в клинике, где ему пришлось утешиться лишь философскими выкладками: беспорядочная жизнь, из-за которой он здесь очутился, имеет и свои преимущества — вот он, наконец, в одиночестве, «никто не мешает», и прав был Руссо, писавший о духовной целительности уединения.

Стало быть, Руссо к этому времени уже прочитан, а он всю жизнь будет одним из любимых мыслителей Толстого. Прочитан Дюма: «Монте-Кристо» и «Три мушкетера» много лет спустя он назвал в числе книг, которые особенно его поразили в ту пору. Упомянуты и кавказские повести Бестужева-Марлинского, своими романтическими красотами покорившие столько юных сердец. Но скорее всего перечень должен быть более обширным. Известно, что в своем кругу Льва Толстого тогда называли Философом за склонность к размышлениям. А размышления питаются книгами.

Однако настоящая умственная работа началась позднее, казанские годы — только пролог. Казань в ту пору считалась русским Эльдorado для любителей беззаботного и привольного житья — с увеселениями, пирушками и маскарадами. Попечителем учебного округа был граф Мусин-Пушкин, большой гурман, превративший свой дом в подобие клуба, где студенты из родовых семей всегда были желанными гостями. Был свой салон у губернатора, и с этим салоном успешно соперничала гостиная Загоскиной, которая, по словам Толстого, собирала у себя «наиболее комильфотных молодых людей». В Родионовском институте благородных девиц, где Загоскина была директрисой, воспитывалась Маша Толстая.

По воспоминаниям современников, студент Лев Толстой на балах у Загоскиной держался скованно, танцевал неохотно и «вообще имел вид человека, мысли которого далеко от окружающего». Само собой, никто и не предполагал, кем в итоге станет этот застенчивый, угловатый юноша, видимо, считавший себя очень некрасивым, — он совсем не походил на блестящего кавалера, и Загоскина как-то даже сказала ему, что он истинный *sac de farine*, мешок с мукой.

Дневник его той поры ничего не говорит ни о балах, ни о прогулках к Архиерейскому саду, находившемуся в пяти верстах от города, на берегу озера Дикий кабан. Но на этих исписанных крупным почерком страницах уже попадаются сентенции о нравственном законе, без которого невозможны и положительные общественные установления, а также о правилах, призванных помочь «в усовершенствовании самого себя».

Иной раз с трудом верится, что подобные записи сделаны мальчиком,

которому только семнадцать лет. «Какая цель жизни человека?» — спрашивает он себя и приходит к заключению: она «есть всевозможное содействие к всестороннему развитию всего существующего». Вот для чего следует употребить свои душевные способности. И жизнь, его собственная жизнь, «будет вся стремлением деятельным и постоянным к этой одной цели». Он был бы несчастнейшим из людей, не сознавая «цели общей и полезной потому, что бессмертная душа, развившись, естественно перейдет в существо высшее и соответствующее ей».

Дальше следует программа, разработанная для самого себя на ближайшие два года — необъятная, неисполнимая, но какие широкие интересы! Ни больше ни меньше, как изучить, причем основательно, пять языков и как следует заняться русским. Изучить практическую медицину, и сельское хозяйство тоже, и географию, статистику, историю, и математику — гимназический курс, и основы естественных наук. Написать диссертацию. «Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи». Составить сочинения, то есть краткий свод важнейших данных по всем этим предметам.

Этот грандиозный план написан 17 апреля 1847 года. А пятью днями раньше студент Толстой подал прошение, чтобы его уволили «по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам»: и то и другое лишь благовидный предлог.

Настоящая причина заключалась в том, что зимой того же года Толстой провалил переходные экзамены и, видимо, не надеялся их пересдать.

*

Он учился уже на другом факультете, на юридическом. С восточными языками дело сразу не пошло, испытания по арабскому Толстой не выдержал в первую сессию. Казанский университет славился в те годы выдающимися знатоками восточных культур, но Толстой явно ошибся, выбирая факультет. Пришлось с потерей года перейти на юридическое отделение, которое считалось самым ретроградным.

Там преподавали главным образом немцы, магистры прав с кенигсбергскими дипломами, скверно говорившие по-русски: «Если кто-либо когда-либо учинит на лице беременной женщины неизгладимые обезображения, тот подвергается» и т. д. Они бубнили с кафедры, не отрываясь от тетрадки, и требовали, чтобы их лекции записывались

дословно. Кроме немцев был еще преподававший на всех факультетах историк Н. А. Иванов, гроза казанского студенчества. Последователь Карамзина, словно и не заметивший, что за полвека историческая наука серьезно продвинулась, Иванов любил с пафосом повествовать о деяниях великих личностей, к сонму которых, похоже, хотел быть причастен сам. Педант он был невозможный, не терпел никаких вольностей, мучил экзаменующихся и особенно нетерпимым становился, когда перед ним оказывался студент из числа аристократов. Иванов к этому сословию не принадлежал, но был женат на дальней родственнице Толстого графине Александре Сергеевне, и, видимо, не мог избавиться от комплекса мещанина во дворянстве.

Его нудных лекций Толстой старался не пропускать и предмет знал сносно. Однако это не помешало Иванову сначала изводить его во время аттестации по общей истории на восточном отделении, а затем, на юридическом, где сдавали русскую историю, записать в ведомости: «весьма ленив». Вероятно, от зоркого профессорского глаза не укрылось, что его свойственник, явившись в аудиторию, забирается на самую верхнюю скамью и дремлет над развернутой газетой.

С этим профессором у Толстого в итоге произошла стычка, кончившаяся карцером. Иванов придрался не то к прогулу, не то к нерадению, подал инспектору рапорт, и студент Толстой вместе с еще одним провинившимся, Назарьевым, провел ночь в комнате с железными дверями. Назарьев, товарищ по карцеру, оставил воспоминания об этой ночи. Граф поначалу вел себя отчужденно и все посматривал в окно, мимо которого он велел проезжать своему кучеру. Потом, заметив в руках Назарьева том карамзинской «Истории», набросился и на эту книгу, и на саму науку. Высказывался резко, сплеча: история — собрание басен и бесполезных мелочей, сухих цифр и неинтересных имен. «Все пригоняется к известной мерке», мудрый правитель вдруг предстает свирепым тираном, а историку и дела нет до причин. Храм наук, коли присмотреться, ничего не дает своим питомцам — на что они будут годны, возвратившись восвояси? Кому нужны?

Назарьева, своего однокурсника, Толстой знал мало, едва с ним кланялся. В университете преобладали разночинцы; оставаясь в меньшинстве, аристократы держались обособленно. Митя Толстой был исключением: он сошелся с оборванным, вечно голодающим студентом по фамилии Полубояринов, которого дразнили Полубезобедовым, и отошел от своего круга. Льву претил подобный демократизм, хотя на груди он, кажется, уже в эти годы носил медальон с портретом Руссо, плебея по

происхождению и ненавистника сословной спеси.

Общество, в котором вращался Лев, включало только людей с безупречной родословной. Ближе других стал ему Дмитрий Дьяков, бывший уланский офицер, с которым он познакомился у Загоскиной. Дьяков был пятью годами старше и, видимо, оказал немалое влияние на своего юного друга. Толстой говорил, что это прототип Нехлюдова в «Юности», а значит, к нему следует отнести признание рассказчика, который в первой редакции повести говорит, как сильно, «больше всего на свете», притягивала его эта личность. Потом это очарование прошло, но дружба с Дьяковым, жившим в своем имении Черемошня не очень далеко от Ясной Поляны, продолжалась десятилетия. Дьяков крестил детей Толстого Татьяну и Илью. Спустя годы Илья написал о своем крестном, что это был человек невероятной толщины, с прекрасным голосом, любитель романсов, которые он не раз пел у них в гостиной. Толстому запомнился стройный юноша, украшение салонов. Сестра Дмитрия Дьякова вскружила голову Толстому, когда, вернувшись из Севастополя, он встретился с нею в Москве.

Но пока другая девушка владела его чувствами — Зинаида Молодцова, подруга Маши, с которой она вместе воспитывалась у Загоскиной в Родионовском институте. О ней сохранилось не так много сведений. Все мемуаристы пишут, что она не была красавицей, зато отличалась грацией, живостью и мечтательным настроением. Сама Зинаида говорила впоследствии, что с Толстым ей «было интересно, но тяжело» — может быть, из-за его неуклюжести и робости.

Они виделись и у Юшковых, и, должно быть, на вечерах в доме Депрейса, казанского предводителя дворянства. Трудно сказать, насколько отчетливо понимал Толстой, что пришла первая влюбленность. Правда, еще в совсем ранние годы мелькнула, оставив о себе неясное и нежное воспоминание, Сонечка Колошина, его ровесница и четвероюродная сестра, будущая Сонечка Валахина из «Детства». Но то чувство было совсем ребяческим, а с Зинаидой дело обстояло по-другому — почти как у взрослых.

«Помнишь Архиерейский сад, Зинаида, боковую дорожку. На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего, мне кажется, я ничего не сказал. Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое... не свое, а наше счастье». Это запись из дневника за июнь 1851 года. Однако скорей всего событие относится к студенческим годам Толстого, ведь на странице «8 июня 1851» года сверху стоит «Записки», а обычно это слово появляется в толстовских

дневниках, если речь идет о минувшем.

Да и их, как оказалось, последняя встреча произошла незадолго до этого, в конце мая, когда Толстой ехал в армию на Кавказ и по пути остановился в Казани. На балу у Депрейсов они танцевали все мазурки, хотя Зинаида была уже почти просватана за чиновника Тиле. Свадьбу сыграли год спустя при крайне драматических обстоятельствах: у Зинаиды как раз в ту пору умерла любимая сестра, а жених еле поднялся после тифа.

В дневнике Толстого записано: «Я был так счастлив». Но тут же сделана оговорка: «Я не сказал бы, что это потому, что я влюблен. Я не знал этого... не чувствовал этой тяжести всех мелочных страстей, которая портит все наслаждение жизни». Пожалуй, это просто дань тогдашним литературным условностям, которые повелевали писать о естественном молодом чувстве с оттенком не то душевной апатии, не то высокомерной презрительности. «Мои отношения с Зинаидой остались на ступени чистого стремления двух душ друг к другу», — пишет Толстой в дневнике. Но через два месяца там же появляется совсем другое: планы вернуться к ней и сделать предложение остаются в силе. «Неужели никогда я не увижу ее?... Или, что еще жалче, увижу ее в чепце веселенькой и с тем же умным, открытым, веселым и влюбленным глазом», только уже принадлежащей другому. О замужестве Зинаиды Толстой узнал через год, на Кавказе, и отметил в дневнике: «Мне досадно, и еще более то, что это мало встревожило меня».

На Кавказе он написал стихотворение «Давно позабыл я о счастье...» («Зачем то мгновенье не мог ты продлить навсегда?») А в письме к сестре Маше, посланном по пути из Казани в Сызрань, Толстой признался: «Я так опьянен Зинаидой, что возымел смелость написать стихи». Жаль, что от этого письма уцелел только листок, так что стихи обрываются на второй строчке: «Я ощупал свою рану...»

Как знать, не было ли их прощание раной и для Зинаиды. Прошло тридцать пять лет, госпожа Тиле проводила зиму в Москве, и один из ее племянников спросил, не хотелось бы Зинаиде Модестовне возобновить знакомство с Толстым. Она ответила: зачем, ведь он ее помнит молодой, не надо «подменять ему это хорошее представление видом некрасивой, толстой старухи». Другой племянник, взявшийся составлять биографию писателя, беседовал с Зинаидой Модестовной, находившейся уже в преклонном возрасте, и отметил, что Толстого она вспоминает «с нежной какой-то грустью о промелькнувшем светлом видении юных дней».

Милая институтка, похоже, осталась для Толстого единственным светлым воспоминанием о казанской поре. Хотя был еще профессор

гражданского права Дмитрий Иванович Мейер, совсем не похожий на своих коллег-законоведов.

Молодой, одаренный, он собирал полную аудиторию, потому что умел увлечь студентов и отличался прогрессивными взглядами, служа «идеям правды и добра», как выразился в отклике на его посмертно вышедшую книгу Чернышевский. Один из его учеников, проникшись этими идеями, презрел материальный интерес и отказался от покупки крепостных.

На переводных экзаменах Мейер тоже поставил «весьма ленивому» Толстому самый низкий балл, однако дал возможность поправить дело, написав работу, в которой предстояло сопоставить «Наказ» Екатерины II с сочинением Монтескье «Дух законов». Этой работой, очевидно, не оконченной, Толстой был занят весной 1847 года, записывая в дневнике опасные по тому времени мысли. Например, такие: неверно, что надлежит следовать повелениям монарха, ибо «свобода при повиновении законов, не от народа происшедших, не есть свобода». Или: «По моему мнению, закон положительный, чтобы быть совершенен, должен быть тождествен закону нравственному». Монархическое правление обязано иметь своим основанием добродетель, однако «этого еще никогда не было». Следственно, не приходится ожидать, чтобы граждане возымели желание «жертвовать общему частным» и тем самым помогали прогрессу земледелия, ремесел и торговли. «Покуда будет существовать рабство», никакое процветание невозможно.

Все эти идеи выражены в старинной велеречивой манере, с забавной напыщенностью, с пиететом перед мечтаниями просветителей осмнадцатого века: пламенными и эфемерными. Сурово порицается деспотизм, при котором «безопасность граждан» не суть важна, поскольку господствует «произвол самодержца». Вскоре предстоит испытать эти превосходные умозаключения российскими реалиями.

Толстой уезжал в Ясную Поляну, чтобы стать помещиком, — в неполные девятнадцать лет.

«Испанские замки»

Делами Толстых, пока они были в Казани, занимался тульский дворянин А. С. Воейков, олицетворение «страстей деревенских», как он охарактеризован в одной незавершенной толстовской рукописи. Предстоял раздел обремененного долгами отцовского наследства. К апрелю 1847 года был подготовлен необходимый акт.

Братья съехались в родовое гнездо. Старшему, уже носившему эполеты, для этого потребовалось попросить отпуск. Он получил Никольское в Чернском уезде, обязавшись выплатить Льву некоторую сумму «для уравниения выгод». Злосчастное Пирогово досталось Сергею. Там выделялась доля и сестре Маше; осенью того же года она вышла замуж за своего дальнего родственника Валерьяна Толстого, который рядом с нею выглядел стариком — ей семнадцать, ему уже тридцать четыре.

Дмитрий стал хозяином Щербачевки в Курской губернии. Ясная Поляна осталась за Львом. К нему же отошло еще несколько небольших деревень. По прошествии нескольких лет почти все они были проданы для покрытия карточных долгов.

Но до тех пор, пока его не стало тянуть к игорному столу, он намеревался осуществить, насколько возможно, записанный в казанском дневнике грандиозный план, и более того, сделаться другим по существу — «жить положительно, т. е. быть практическим человеком».

Об этом он писал брату Сергею зимой 1848 года, не отрицая, что были поводы считать его «пустяшным малым», из которого ничего не выйдет, но дав клятвенное заверение; «Нет, я теперь совсем иначе переменялся, чем прежде менялся». И добавив: «Я вполне убежден теперь, что умозрением и философией жить нельзя».

Возможно, на него произвел впечатление пример Дмитрия. Тот, окончив курс, вознамерился служить по гражданской части, поехал с этой целью в Петербург, стал хлопотать о месте. Однако после первого же знакомства с чиновниками предпочел вернуться в свое поместье и стал совершенствовать крестьянский быт.

Жизнь он вел самую воздержанную, не знал ни вина, ни табака, ни женщин, одевался как схимник. Все его общество составлял некий отец Лука, ходивший в подряснике — видимо, был он из беглых монахов — и устроивший клумбы с необыкновенными цветами. Ему Дмитрий, должно быть, говорил о своих замыслах, потом изложенных в записке, которая сохранилась среди бумаг младшего брата. Суть ее, по словам Льва Николаевича, заключалась в том, что «владение крепостными по наследству представлялось необходимым условием, и все, что можно было сделать, чтобы это владение не было дурно, это то, чтобы заботиться не только о материальном, но о нравственном состоянии крестьян». Вот этим и занялся молодой граф, не сомневаясь, что желания и стремления мужиков известны ему достоверно.

В записке Дмитрия Николаевича утверждается, что все они без изъятия — он сам, хлебопашцы — рабы Божии, но он им глава, а стало

быть, «хранитель, защититель и руководитель на пути их земного звания». Они подчиненные, он начальник и призван показывать настоящий путь. У мужика десять десятин, у графа восемьсот, но крестьянский обиход простой, «мне же определено... участие в деле общественном, на что необходимо то количество, какое я имею». Кто, как не он, отвечает за благосостояние поселян, кому другому вознаградить убыток «при посещениях Божьих», то есть при напастях вроде пожара или засухи. Крестьяне его будут жить не бедно, но просто, и требовать «возвышения своего быта» им не резон, об этом в разумных пределах похлопочет их барин.

Дмитрий намеревался построить больницу для призрения стариков, основать школу и пригласить учителя грамоты для мальчишек, выделить избу, где найдут кров «сторонние нищие», назначить крестьянам пособия, если пала корова или не уродился хлеб.

Что осуществилось из его проектов, неизвестно. А вот в Ясной Поляне школа на самом деле была открыта — зимой 1849 года. Один из ее учеников, Ермил Базыкин, пережил Льва Николаевича, но даже в свои восемьдесят лет помнил, как в этой школе его учили азбуке и священной истории. Сам Лев Николаевич заходил в школу, когда через день, а когда ежедневно, и любил почудить после уроков: плавал с детьми на плоту по пруду, нырял, чтобы зачерпнуть со дна грязи, на охоте тявкал, подражая собакам. Вел уроки Фока Демидыч, дворовый человек, который при старом хозяине был музыкантом. Он считал, что в ученье кнутом добьешься больше, чем пряником, но молодой граф запретил наказывать нерадивых поркой.

Судя по всему, барину довольно быстро наскучила эта затея. Он вообще томился в Ясной, все думал вырваться, если не в столицы, так хоть в Тулу. Валерьяну Толстому перед женитьбой на Марии надо было окончить свои дела в Тобольске, где он служил при сибирском генерал-губернаторе, и в день его отъезда Лев вскочил к нему в тарантас — без шапки, в блузе, хоть уже наступила осень. Так бы и уехал, если бы не шапка. А ведь и полгода не прошло, как окончилось его казанское житье.

В деревню Толстой приехал, движимый верой в совершенствование, и, видимо, она сильно поколебалась уже в первые месяцы его яснополянской жизни. «Исповедь» в некоторой степени проясняет, что вызвало у него тогда ощущение духовного тупика или распутья. (Это было в первый, но далеко не в последний раз.) В Казани (вспомним: «сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне») он перестал становиться на молитву и говеть, не ходил по собственному побуждению в церковь. Однако плыть по

течению не мог. Ему очень хотелось стать лучше, чем он есть: физически, умственно и нравственно. Осуждая свои слабости с чрезмерной категоричностью, Толстой пишет в «Исповеди», что это было просто «стремление быть лучше перед людьми».

О том, как Лев Николаевич, возмещая почти заглухшее религиозное чувство, пробовал осуществить свой план «совершенствования вообще», косвенно свидетельствует одно из первых опубликованных его произведений, — повесть «Утро помещика». Принято считать, что она носит чисто автобиографический характер. На самом же деле Толстой всегда сохранял дистанцию между непосредственно пережитым и художественно воплощенным. С уверенностью можно говорить только о том, что требовался немалый запас жизненных впечатлений, чтобы описать неудачные опыты юного помещика князя Дмитрия Нехлюдова, который, решив посвятить себя служению общественному благу, вознамерился избавить своих крестьян от бедности, «дать довольство... исправить их пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравственность, заставить полюбить добро...».

«Утро помещика» Толстой начал писать в 1852 году на Кавказе, и, стало быть, отображенные в повести впечатления относятся как раз к тому времени, когда он только привыкал к новой для себя роли владельца Ясной Поляны. Повесть была частью большого, но так и не осуществленного замысла, который в дневниках именуется «русским помещичьим романом с целью». Герой этого ненаписанного романа «ищет осуществления идеала счастья и справедливости в деревенском быту» — совсем как Нехлюдов, который с радостным волнением думает, что он «должен делать добро, чтоб быть счастливым», а добро видит в форме бескорыстного труда для облегчения участи народа, будто бы «простого, восприимчивого, неиспорченного». В романе главную роль должна была сыграть Она, которая и наводит героя на мысль, «что счастье состоит не в идеале, а в постоянном жизненном труде, имеющем целью счастье других». Эта не по годам умудренная девушка должна явиться в минуту, когда герой, окунувшись в деревенский быт, испытывает разочарование. Примерно такое же, которое испытал Толстой на старости лет, вспоминая о своих либеральных начинаниях: единственное, что он из них вынес, — ощущение пропасти между мужиками и барством. «Ходил в простом платье, слышал: „Господишки“. В глаза: „Век за вас буду Богу молиться, благодетель“. А как отойдешь, ругают. И это естественно».

От замысла «романа с целью» осталось только «Утро помещика». Толстой много раз его переделывал, прежде чем опубликовал в декабре

1856 года. Благие намерения брата Мити нашли отражение в этой повести: во владениях Нехлюдова есть и больница, и школа, и построенный барином каменный дом. Иногда герой сам себе нравится до умиления — кто как не он кротостью и увещаниями искоренит грубость нравов, покончит с бедностью, утешит и поможет? Как раз в то время, когда Толстой обдумывал план помещичьего романа, он вновь перечитал Руссо, «Эмиля», и в главе о савойском викарии нашел места, очень созвучные настроению Нехлюдова. Он их выписал в дневник: цель жизни — добро, и единственное добро, «состоящее в довольстве совести», есть то, которое мы делаем ближнему.

Этой деятельности герой себя и посвятил, а в его воображении вставляли живые картины безоблачного будущего, которое станет ему наградой. Он делает общие распоряжения, заводит фермы, мастерские, лазареты. А Она — ведь обязательно будет и Она, любящая юная женщина с прелестными глазами и стройной ножкой, — идет по грязи, чтобы подать помощь несчастному мужику, и «дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, как на провидение».

Но мужики отчего-то не хотят переселяться из покосившегося, на ладан дышащего сруба с гниющей соломой по застрехе в новенькую затейливую избу. И устраивать ферму, покончив с извозом, которым занимались столько лет, тоже не хотят, хотя во французской книжке, изученной барином, преимущества фермы доказаны очень убедительно. А о школе думают с тяжелой тоской: мальчишка как-никак, но пособит, не отпускать бы его от хозяйства, да и есть ли толк в этой грамоте.

Прочитав повесть, Тургенев написал их общему с Толстым приятелю, критику Дружинину: «Пока будет существовать крепостное состояние, нет возможности сближения и понимания обеих сторон, несмотря на самую бескорыстную и честную готовность сближения». И действительно, для крестьян нехлюдовские затеи просто барская прихоть по незнанию. Мужики, которые помнят еще дедушку Нехлюдова, старого князя, который уж никак бы не допустил, чтобы имение описывали за просроченные платежи, убеждены, что Митрий Микалаич тоже, почудив, угомонится. И все пойдет по-старому: крепкие тесовые ворота и сытые тройки у работающих, заросшие бурьяном дворы и худые нечиненные крыши у опустившихся, с утра толкущиеся перед барским крыльцом старики с дрожащими от пьянства руками, больные бабы, которых выгнали из дома за то, что скверно работают, и другие женщины, которые ищут защиты от тяжелых кулаков свекра.

Нехлюдов приходит в отчаяние, каждый день видя забитых баб,

непролазную нищету и, главное, мужицкую косность, о которую разбиваются все его старания сделать лучше, исправить и облегчить. Ему вдруг становится жаль своей юности, растрачиваемой на благородные, но бесполезные попытки покончить и с долготерпением убогих, и с безответностью погибающих. Все мечты пошли прахом. Так не довольно ли жить грезами? У себя в комнатке, за купленной вскладчину бутылкой шампанского они с безусым другом, тоже идеалистом, толковали о деревне и о том, какое перед ними огромное поприще. Счастье? Но по-настоящему счастлив, должно быть, тот деревенский парень с кудрявой головой, который ходит на возах и в Киев, где угодники, и в Одессу на берег синего моря, а ночует на пахучем сене под открытым звездным небом. Ни постоянной заботы, ни вечной досады. Воля.

Реального Дмитрия Николаевича, брата Митю, подобные мысли, видимо, стали преследовать вскоре после того, как он начал эксперименты в Щербачевке. С ним, вспоминает Толстой, «случился необыкновенный переворот. Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам». Все это происходило уже в Москве, где Митя свел знакомство с дурной компанией. Он пробовал бороться с собой, записавшись в купцы третьей гильдии и открыв магазин на Маросейке. Однако дело было брошено, и опять пошли, как писал он братьям, «покупные удовольствия», не мешавшие философическим рассуждениям в том духе, что всему виной несогласие между «организацией общества» и «организацией человека как члена его».

Но «и в этой жизни, — пишет Толстой, — он был тем же серьезным, религиозным человеком, каким был во всем». Он выкупил из веселого дома и взял к себе проститутку, безответную рябую Машу, которая самоотверженно за ним ходила, когда обнаружилось, что у Мити чахотка и дни его сочтены. Он страстно хотел обуздать свою «дикость», но не хватило сил. Конец его оказался ужасным: в двадцать девять лет Митя умер в Орле. До последней минуты он отказывался поверить, что не выкарабкается из болезни. Лев Николаевич видел Митю за несколько дней до смерти, когда от его лица остались одни глаза — «те же прекрасные, серьезные, а теперь испытывающие». Запомнилось, что огромная кисть его высохшей руки была словно прикреплена прямо к локтю.

А Лев Николаевич охладел к деревенской жизни, может быть, еще раньше. Он уехал в Москву осенью 1848 года, а в Ясную наведывался, только когда совсем запутался в долгах или из чувства долга перед тетенькой Ергольской, которая после его долгих уговоров вернулась туда, чтобы стать хранительницей брошенного хозяином дома. Возможно, в эти

приезды из шкапа извлекался необыкновенный халат, который был сшит для молодого барина, решившего жить совсем просто: длинные полы на день пристегивались пуговицами внутрь, а ночью халат заменял своему хозяину постель. Начитавшись Руссо, барин хотел делом доказать, что реальные потребности человека невелики, тогда как его духовные порывы безмерны.

Эксперимент не получился, но бесследно он не прошел. В 1905 году один собеседник Толстого записал его слова: «Я совершил круг в своей жизни, откуда вышел, туда и возвращаюсь, чем начал, тем кончаю. Я начал тем, что сознавал, что грешу, живя на плечах и из трудов, из рук народа и воображая, что мы можем его учить. Рескин (английский философ, интересовавший Толстого многие годы. — Ред.) говорит, что не верит в нравственность человека, не добывающего себе хлеб своими руками. Как вы думаете?» И заканчивая разговор, добавил: «Хоть знать, что наша жизнь грешна, что так не следует жить...» А в 1848 году он, кажется, в первый раз подошел к этой мысли.

*

Зимой 1850 года Лев Толстой записал в дневнике: «Перестал я делать испанские замки и планы, для исполнения которых не достанет никаких сил человеческих». Вероятно, это какой-то неясный отзвук «Дон Кихота», потому что дальше Толстой рассуждает, как Санчо Панса: «Я не надеюсь больше одним своим рассудком дойти до чего-либо и не презираю больше форм, принятых всеми людьми. Прежде все, что обыкновенно, мне казалось недостойным меня; теперь же, напротив, я почти никакого убеждения не признаю хорошим и справедливым до тех пор, пока не вижу приложения и исполнения на деле оногo... Как мог я дать ход своему рассудку без всякой проверки, без всякого приложения? Одним словом, и самым простым, я перебесился и постарел». Ему шел двадцать второй год.

«Перебесился» — это, конечно, сказано сгоряча, в часы тяжелых терзаний после очередного проигрыша. Таких часов будет еще много. Однако усталость от «форм, принятых всеми людьми», на самом деле накапливается. Эти формы Толстой успел изучить вдоль и поперек.

Он поступил на службу в Тульское губернское правление, стал канцеляристом, но вскоре потерял к ней всякий интерес. Похоже, и вовсе не бывал в присутствии. Интересовало его совсем другое — в Туле был знаменитый на всю Россию цыганский хор, там, у цыган, дневал и ночевал

брат Сережа, без памяти влюбившийся в Машу Шишкину, семнадцатилетнюю красавицу, чье пение не его одного сводило с ума. Сережа пожертвовал для нее всем: карьерой, положением в свете, планами на будущее. Знакомая «толстовская дикость». Кончилось тем, что за большие деньги он выкупил Машу из хора и она уехала с ним в Пирогово. Хор навешал ее. Всю ночь на окраине горели костры, шла гульба и бередили душу гитары.

Сергей Николаевич не предчувствовал, какую мукой окажется для них с Машей семейный союз. Братья восприняли случившееся снисходительно — считали, что эта блажь не надолго. С Кавказа Лев Николаевич писал Сергею: «Хотя я знаю, что рано или поздно вы должны разойтись и что чем раньше, тем лучше это будет для тебя в некоторых отношениях, но все-таки когда *лопнет* не цепь, а тонкий волосок, который смыкает сердца любовников между вами, мне будет грустно за бедную *преступницу* Машу». Саму преступницу он в том же письме просил родить мальчика и назвать Львом. Но десять дней спустя, когда мальчик родился, из Тифлиса было послано такое письмо: «Поздравляю тебя... с сыном (хотя и выблядок, но все-таки сын) и с будущей женитьбой». Сергея тогда интересовала в этом смысле некая Канивальская, дочь генерал-майора. А сын его, как мимоходом, словно о пустяках, упомянуто в ответе Сергея Николаевича, «властию Божию помре».

Сестра Маша жалела «бедную девушку», которую в Пирогове держат чуть ли не под замком: «Птичка больше не поет, так как, увы, когда тяжело на сердце, не поется». Гостившая у Сергея целый месяц тетенька Ергольская вообще не видела Машу, но то, что ее никому не показывают, находила «доказательством деликатности». По прошествии двух лет Сергей отпустил Машу обратно в Тулу, но она продолжала к нему ездить. «Когда мы вместе, нам гадко, — писал он, — а врозь скучно, мне все хочется ее устроить, но нет капиталов». В итоге устроит он Машу самым естественным способом — обвенчавшись с нею. Но будет это много лет спустя, когда она родит ему троих детей.

Несколько строк о тогдашних «ночах цыганерства» мы встречаем в кавказском дневнике Льва Николаевича, от 1851 года: «Катины песни, глаза, улыбки, груди и нежные слова...» Должно быть, очень хороша была эта Катя, когда, сидя на коленях, нашептывала, как она его любит, а «оказывает расположение другим только потому, что хор того требует». И когда пела «Скажи, зачем».

Повесть из цыганского быта — один из самых ранних литературных замыслов Толстого, не воплотившийся, так же как не был завершен рассказ

«Святочная ночь», который он начал писать на Кавказе. В нем есть сцена у цыган и целый пассаж об их удивительной музыке. До «Живого труп» с его второй, цыганской картиной оставалось еще почти полвека, но эта бессмертная картина не была бы написана без нестершихся воспоминаний о тульском хоре, о Кате, о самозабвении, самоотречении, о безумствах Сережи, ярких шелковых платках запевалы Стешки, голубых казакиных гитаристов. О пронзительных интонациях и рыдающих аккордах.

Младшая дочь Толстого Александра, самый близкий ему человек в последние годы его жизни, несомненно с отцовских слов, описала в своей книге те далекие ночи: «Перебирая струны, стоя впереди хора, дирижер вдруг едва заметно поводит гитарой, и тихо, чуть слышно, одним дружным вздохом поднималась песня... Вдруг спокойно выплывали цыганки, одна, другая. Они шли, то простирая к кому-то руки, то падая вперед, то гордо откинув голову, снова опрокидываясь назад, дрожа плечами и отбивая чечетку. Гости кричали, возбуждение доходило до крайних пределов».

В Москве, где Толстой поселился в Николо-Песковском переулке на Арбате, шла такая же, «цыганерская», жизнь. Соседями Толстого оказались Перфильевы, давние его знакомцы: Васенька Перфильев, будущий московский губернатор, а пока что служащий провиантской комиссии, был женат на дочери Американца, полуцыганке; случались и встречи с ее матерью, совсем выжившей из ума. Разгульная и праздная повседневность затянула Толстого, кажется, совсем позабывшего свои казанские дерзновенные проекты. В его дневнике за июнь 1850 года читаем: «Зиму третьего года я жил... очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели: и жил так не потому, что, как говорят и пишут многие, в Москве все так живут, а просто потому, что такого рода жизнь мне нравилась». И на следующей странице: «Не могу преодолеть сладострастия, тем более что эта страсть слилась у меня с привычкой». А через полгода записал в дневнике как бы походя: «Вечером к девкам и в клуб».

Об этой привычке кое-что известно с подробностями, впрочем, скудными. Была Гаша, цыганка из тульского хора, которой Толстой слал поклонны, уже находясь в армии на Кавказе. Была другая Гаша, горничная тетеньки Туанет. Желая, чтобы в его биографии писали «и дурное», Толстой говорил о ней Бирюкову: «Она была невинна, я соблазнил ее, ее прогнали, и она погибла». Тут память подвела, на самом деле Гашу приютила его сестра Мария Николаевна.

Была еще одна горничная, Дуняша Михайлова; ее потом выдали за служившего в Ясной Поляне приказчика Орехова. Вновь открываем дневник: «У себя в деревне не иметь ни одной женщины, исключая

некоторых случаев, которые не буду искать, но не буду и упускать». Однако и это намерение не было исполнено: противно, гадко, да не удержался.

Иной раз Толстой принимается ругать себя немилосердно: «Живу совершенно скотски... занятия свои почти все оставил и духом совсем упал». Дает самому себе наставления — каждый день делать моцион, вечера проводить за книгами и никого не принимать, укротить «привычку», вспомнить про музыку. «При известных условиях жениться» или, может быть, еще лучше — «найти место выгодное для службы». Эта проблема становится все более насущной. Промотано невероятно много, огромные долги!

На полях рукописи Бирюкова Толстой написал об этом времени — «период кутежей, охоты, карт, цыган». Он установил для себя правила: играть только с теми, кто при деньгах, сдерживаться при проигрыше и не увлекаться, если везет. Но все напрасно, обуздать себя Толстой был не в состоянии. Однажды за вечер он просадил четыре тысячи — хорошо, что смог почти все вернуть. Висел на шее «орловский проклятый долг» — тоже карточный. Часть яснополянского леса уже продана, скоро придется продавать соседние деревни.

В Петербурге, куда Толстой отправился с приятелями лишь потому, что у тех нашлось свободное место в дилижансе, дела пошли совсем скверно. О том, что он «совсем иначе переменялся» и отныне будет «жить положительно», Толстой писал брату как раз из Петербурга. Но проведенные там пять зимних и весенних месяцев 1848 года оказались чем угодно, только не опытом деятельности, оказывающей «большое и доброе влияние».

Правда, он попытался сдать экзамены на кандидата, до чего не дошло дело в Казани. Два экзамена выдержал, хотя готовился неделю, не больше. А потом «переменял намерение» и на следующие экзамены просто не явился. Он сам затруднился бы объяснить причины.

Теперь явилась неожиданная мысль: пойти юнкером в кавалергардский полк. Началась венгерская кампания, гвардия выступала к западным границам, и Толстой возмечтал: за боевое отличие его произведут в офицеры без обязательного двухлетнего срока, вот все и устроится. Ничего не устроилось — юнкером он не стал и неизвестно, пытался ли. Известно другое: он, помимо карт, увлекся бильярдом, наделал новых долгов — знакомым, ресторатору, портному — и с той поры всегда вспоминал о Петербурге только как о городе, где в молодости «ошалел особенным, безнравственным ошалением». Пришлось продать Воротынку, деревню из родового наследства. Что поделать, писал он в письме Сергею, «надо было

мне поплатиться за свою свободу и философию, вот я и поплатился».

*

Слово «философия» тут употреблено, разумеется, с ироническим оттенком. Однако шальные эти годы были важны именно тем, что тогда-то и стали определяться взгляды Толстого, начала вырабатываться его жизненная позиция. Дневники, которые с 1850 года он вел систематически, содержат перечни собственных моральных изъянов, размышления о событиях, которые чаще всего воспринимаются как постыдные, и программы нравственного исправления. Познав столичную светскую жизнь, Толстой приходит к выводу, что все это не для него: праздность, распутство, уж тем более — участь «состарившихся на московских паркетах», как написано в «Святочной ночи» о «людях с известным рождением», которые порхают с бала на бал.

Он сам из тех, кого в «фамильном московском свете» принимают со всем радушием, он знает очарование залитой тысячью огней залы, где блеск брильянтов, голых плеч, черных фраков, пестрых мундиров и поначалу все кажется «так легко, светло, отрадно». Юному Сереже, который в «Святочной ночи» переживает первую влюбленность и первое падение, пытается привить здоровое понимание вещей умудренный опытом князь Корнаков. Вращаясь в свете, князь увидел «всю пустоту постоянных отношений людей, не связанных между собою ни общим интересом, ни благородным чувством». Возможно, Толстой не дописал рассказ как раз потому, что понял банальную литературность такого персонажа, как князь. Литературность, позаимствованную из модных тогда повестей о «большом свете». А вот герой рассказа во многом выражает стремления самого Толстого, запечатленные в дневниках того времени: Сережа склонен «не брать людей за то, чем они себя показывают, а допытываться их внутренних, скрытых побуждений и мыслей».

Это умение Толстой с упорством воспитывает в самом себе, главным образом на себя же и обращая пристальный взгляд. Он хочет понять не только свои слабости, но и скрытые побуждения, из-за которых они дают о себе знать снова и снова. Свои дурные свойства он видит вполне отчетливо. Это нерешительность, непостоянство, поверхностные понятия, а главное, *fausse honte*, боязнь сделать что-нибудь не так, как принято, страх выглядеть смешным — *fiert*, обостренное самолюбие, которое уже с юности Толстой осознает как одну из определяющих черт его личности. Но

прежде всего ему нужно понять, каким образом «наклонности» соединяются в некий душевный комплекс, который — это для него пока еще вне всяких сомнений — поддается исправлению. И в марте 1851 года появляется идея «франклиновского журнала».

Нет свидетельств, что он тогда уже прочел самого Франклина, американского политика и моралиста, который в «Автобиографии», написанной для наставления собственного сына, изложил систему избавления от порочных страстей и воспитания в себе добродетелей. Вряд ли Франклин мог бы увлечь его и впоследствии, потому что добродетели в этой философии сопрягаются со здравомыслием довольно пошлого свойства: поступай в согласии с критериями своей выгоды, особенно материальной, сдерживай в себе природу, слушаясь только велений разума, придумай правильную схему, которой надлежит следовать во всем от выбора спутницы жизни до ритуалов утреннего туалета. Франклин уподоблял человеческую жизнь усердиям огородника, занятого прополкой сорняков: основательной, грядка за грядкой, пока не останется ни одного. Вот так и он сам долгие годы полол у себя в душе, наблюдая, «как чистых строк становится все больше и больше», пока не пришел миг ликования при виде целой чистой страницы.

Толстому была важна не эта скопческая идиллия, а сама идея, что можно воспитывать себя тщательным объективным разбором своих желаний и поступков. Он с юности был убежден, что «земледельцу не достаточно выплоть поле, надо вспахать и посеять его», — так, словно возражая Франклину, он написал уже в первой своей повести. Очевидно, имя Франклина стало ему известно из романа «Семейство Холмских», написанного Дмитрием Бегичевым, приятелем Грибоедова. Роман был опубликован еще в 1832 году, а Толстому попался на глаза, потому что ему случалось кутить в Москве с племянником автора, коллежским секретарем, который служил в Сенате. Героиня романа рекомендует своему пасынку, для того чтобы достигнуть моральных высот, употребить методу Франклина и подробно описывает необходимые для такой цели таблицы, где «надобно означать обнаруженные в самом себе недостатки». Толстой попробовал обзавестись такими таблицами и тетрадями; они до нас не дошли. Остался дневник, где 8 марта 1851 он записал: «Составить журнал для слабостей». И остался набросок, в котором говорится: «Я обыкновенно вечером пишу франклиновский журнал».

Набросок относится к «Истории вчерашнего дня», первому литературному опыту Толстого. Эту «Историю» он начал писать в самом конце марта 1851 года и прервал ее на полуслове. Задача, которую он перед

собой поставил, определена так: «Написать нынешний день со всеми впечатлениями и мыслями, которые он породил». День был самый обыкновенный: с утра сеанс фехтования, потом гости и водка, урок гимнастики — струсил пройти по переплету, — Новотроицкий трактир (оттуда поедут к цыганам в «Святочной ночи»), визит к дальним родственникам Волконским. Никаких внешних стимулов описывать именно этот день не существовало. Были другие — литературные.

В составленном Толстым списке книг, которые произвели на него большое впечатление в возрасте от четырнадцати до двадцати лет, значатся и «Евгений Онегин», и «Герой нашего времени», и «Мертвые души», и «Записки охотника». Но практически никаких следов этого чтения в его «Истории» не осталось. Вероятно потому, что «История» — лишь проба пера, незрелая проза, попытка, которая ко многому не обязывает. Да и список составлялся десятки лет спустя, в 1891 году, когда просто могла подвести память.

Но достоверно известно, что именно в то время Толстой прочитал почти забытую теперь, а тогда очень популярную повесть Григоровича «Антон Горемыка», этот законченный образец «натуральной школы», столь милой сердцу Белинского своим состраданием простому народу и бичеванием социальных пороков. Поздравляя Григоровича с полувековым юбилеем литературной деятельности, Толстой в 1893 вспомнил «умиление и восторг, произведенные на меня, тогда шестнадцатилетнего мальчика», этим правдивым описанием «русского мужика, нашего кормильца». А поскольку и «Антон Горемыка», и первые шесть рассказов из «Записок охотника» напечатаны в «Современнике», который стараниями Некрасова, в 1847 году заступившего на редакторский пост, стал знаменем «передовых идей», следует сделать вывод, что установки этой литературы — либеральной, озабоченной «общественными вопросами» — юному Толстому были в достаточной мере знакомы, хотя и мало о себе напомнили, когда он сам попробовал писать.

Отчего? Это станет понятнее, если прочитать запись в его дневнике за 23 марта 1851 года, всего за день до того, как он задумал «Историю». Запись кончается такой фразой: «Делать отчетливые переводы». К переводу он приступил тогда же, в марте, снова за него взялся на Кавказе, но, правда, не довел и до середины. Выбрал он Лоренса Стерна, «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (у Толстого по-старинному — «сантиментальное»). В составленном в 1891 году перечне главных книг его ранней юности, это сочинение значится вторым, первая — Нагорная проповедь. А сорока годами ранее о Стерне он написал в дневнике: «Мой

любимый писатель».

Когда-то «нежный» Стерн, этот «оригинальный живописец чувствительности», вызывал почти такой же трепет у Карамзина и его поколения. Но к середине XIX века его забыли и в России, и у себя на родине, в Англии. Толстой, как будет ему свойственно всю жизнь, идет наперекор художественным вкусам, равно как идейным пристрастиям своего времени. Его не увлекает мысль написать нечто злободневное, пробуждающее гнев и слезы, что-нибудь по примеру Григоровича, у которого, как с пафосом писал Белинский, «благонамеренный помещик порет и истязует целую вотчину». Ему не интересны типические картины и характерные лица российской действительности, а также приемы их изображения. Талант Толстого, пока только пробуждающийся, повелевает описывать не типы, а личность, которая осознана как явление уникальное и постоянно меняющееся. Эта задача сформулирована на первой же странице «Истории», где сказано, что автор хотел бы коснуться множества «разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления». То есть ему любопытно наблюдать изменчивость, пластичность «души человеческой», выбрав всего один день и передав даже не события, которыми он заполнен, а «задушевную сторону жизни».

Стерн помог воплотить этот замысел. Дело не просто во влиянии, хотя оно несомненно и Толстой его не отрицал. Из «Сентиментального путешествия» он усвоил, что рассказ может обходиться без многозначительных и напряженных коллизий, строиться вокруг сущих мелочей, к тому же выбранных на первый взгляд просто по авторскому капризу, а не по степени их выразительности. У Стерна он позаимствовал и прием юмористического описания всякого рода странностей, которые проявляются тоже в мелочах — в обиходе, привычках, манерах, даже в позах и выражении лица, и способного сказать о человеке больше, чем он сам о себе. Но самый важный урок Стерна состоял в том, что он доказал возможность существования искусства, не подчинившегося тенденциям, которые преобладали и в стерновском XVIII веке, и уж особенно в русской словесности того времени, когда начал писать Толстой, — свободой от требований уравнивать красоту с моралью, а литературно значительное с социальным и злободневным.

После духовного перелома и сам Толстой долго пытался в своем творчестве следовать схожим требованиям. Но на старости лет он, по крайней мере дважды, доставал из яснополянских библиотечных шкафов томик Стерна, перечел и отметил в дневнике конца 1909 года появившееся

странное чувство: «Испытываю нечто особенное, новое, сложное, которое хочется выразить. И скорее художественное, образное». Начала и концы сомкнулись. В жизни Толстого это постоянно действующий закон.

Однако пока начало осталось без продолжения. О литературе как профессии он всерьез начнет размышлять нескоро. «История вчерашнего дня» — только шаг по одному из возможных путей, столь же альтернативному, каким была неудачная реформаторская деятельность в деревне или несостоявшееся юнкерство. Толстой недоволен своей жизнью и не знает, к чему себя применить. Он успел пропитаться «презрением к обществу», но все так же угнетен «беспрестанной борьбой внутренней». Так он записал в дневнике, когда эта борьба на какое-то время затихла.

Случилось это из-за стечения обстоятельств. Николай Толстой после университета поступил на военную службу, стал прапорщиком и был назначен в горную батарею на Кавказ. Он уже принимал участие в «экспедициях», иначе говоря, понюхал пороху в боевых столкновениях с немирными чеченцами и получил Анну 4-й степени. В России старший из Толстых не был три года, пока не подошел отпуск, который он провел у сестры Маши, в Покровском. Там семья собралась на Святки.

Когда Николаю надо было возвращаться, Лев объявил, что поедет с ним. Потом он объяснил в дневнике свой поступок тем, что надо было «бежать от долгов и, главное, привычек».

Из Ясной Поляны братья выехали 29 апреля 1851 года. Сделали остановку в Москве, о чем напоминает снятый тогда же дагеротип. На нем Николай запечатлен в мундире поручика. Мягкие волосы, тонкие руки, задумчивый взгляд. Впечатление воинственности скорее оставляет массивная фигура Льва. В его лице есть что-то очень серьезное, решительное, как у человека, твердо распланировавшего свою жизнь на годы вперед.

В действительности он и не представлял, как она повернется.

«Земля для всех одна»

Он не знал даже, поступит ли на военную службу или останется на гражданской: ведь он по-прежнему числился в Тульском губернском правлении, стало быть, предстояло хлопотать о переводе. Или об увольнении.

Сорваться с места его побудили только запутанность дел и отношений с приятелями, недовольство собой, желание перемены. И еще — растущее

преклонение перед братом Николенькой.

Уже с Кавказа Лев Николаевич писал Ергольской: «Говорю без притворной скромности, что Николенька во всех отношениях лучше нас всех». О старшем из братьев Толстых написал в своих воспоминаниях Фет, хорошо его узнавший после того, как, выйдя в отставку, Николай Николаевич поселился в своем имении Никольское-Вяземское в Чернском уезде: «замечательный человек», которого буквально обожали окружающие; от природы очень скромный, он никогда не заговаривал о своем военном прошлом, если эта тема не возникала сама собой, но когда она возникала, говорил о пережитом без всякой патетики, потому что «с одинаковой иронией смотрел и на высший, и на низший слой кавказской жизни». Растущую литературную известность брата, а особенно успехи Льва в салонах, Николай тоже воспринимал иронически, хотя было видно, как он его любит.

Между тем он и сам был немало одарен. Его очерк «Охота на Кавказе», опубликованный в некрасовском «Современнике», был высоко оценен самим Тургеневым, очень сожалевшим, что автор, кажется, совсем лишен тщеславия: значит, не станет писателем, хотя ему не занимать художественного чутья и силы воображения. Николай Толстой писал и после своего журнального дебюта, однако эти сочинения извлекли на свет только после его смерти, а издали уже в советское время.

Армейская жизнь огрубила его, развил скверное пристрастие к попойкам и полное небрежение ко всему, что касалось собственного благополучия. Он был храбрый офицер, азартный охотник, но в своем духовном развитии словно остановился, да к тому же пил все больше. Лев Николаевич записал в дневнике 1852 года: Николенька опять был нехорош, «на площади делал бесчинства. Жалко, что он не знает, какое большое для меня огорчение видеть его пьяным; я уверен, что так как это доставляет ему очень мало удовольствия, он удержался бы». Однако не удерживался.

В отставку старший Толстой вышел штабс-капитаном. Познакомившись с ним после прочтения «Охоты на Кавказе», Тургенев писал Полине Виардо, что это «прелестный малый, ленивый, флегматичный, неразговорчивый и в то же время очень добрый, нежный, с тонким вкусом и тонкими чувствами, существо поистине оригинальное». Как ни грустно, после выхода в отставку возобладала не оригинальность, а наоборот, обычная для того круга приверженность загулам и кутежам. Не сбылись мечты Льва Николаевича, писавшего Ергольской, как они с Николенькой будут «перебирать общие воспоминания о давно прошедшем времени» и добродушно выслушивать ее упреки за то, что они совсем

одичали.

В Ясной Николай Толстой почти не бывал, а приезжая в Москву, поселялся где-нибудь на окраине, едва ли не в лачуге, и вскоре оставался без гроша, все раздав каким-нибудь случайно встретившимся оборванцам. Стремительно прогрессировала его рано выявившаяся чахотка. Николаю Николаевичу пришлось уехать на юг Франции, в Йер, где в тяжелых страданиях он скончался на руках у Льва Николаевича осенью 1860 года (век спустя там же, в Йере, умрет в пансионате для нищих эмигрантов Георгий Иванов, один из лучших русских поэтов).

Впоследствии Лев Толстой говорил своему секретарю Николаю Гусеву: «Смерть Николеньки — самое сильное впечатление в моей жизни».

Кавказ сблизил братьев необыкновенно. Добирались до места долго, целый месяц, с остановкой в Казани, откуда почтовым трактом ехали до Саратова, а дальше в большой лодке с парусом плыли по Волге до Астрахани. Затем путь пролегал через калмыцкие степи в станицу Старогладковскую в Терской области, рядом с Кизляром. Дневник подводит первые итоги: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже».

Не было и намека на кавказскую величественную красоту, которую воспел Марлинский. Пустынная равнина, крытые камышом хаты, заброшенные сады вдоль речных берегов, мутный Терек, за которым начиналась территория немирных горцев. Отвратительная квартира, офицеры, чей образ жизни, как Толстой писал тетеньке, «вначале не показался мне привлекательным». Почти все они совсем необразованные люди. Впрочем, славные. Главное, все — начальники, просто сослуживцы — очень любят Николеньку.

Потекла жизнь, к которой привыкли в кавказской армии: ожидание приказа идти в набег, то есть рубить лес и разрушать чеченские редуты, а пока — пирушки, карты и девки. Батареей, где служил Николай Толстой, командовал подполковник Алексеев, не одобрявший такое поведение. Он был очень религиозен, часами простаивал на коленях перед образами и не выносил, когда в его присутствии пили водку. Лев Толстой находил много хорошего в этом «маленьком человечке... с хохольчиком, с усиками и бакенбардами» — так он описан в письме Ергольской. Во всяком случае, Алексеев был не ханжа, просто «добрый христианин». А Лев Николаевич сознавал, что религия приобретает для него серьезное значение — кажется, как никогда прежде.

Уже через две недели после прибытия на место службы брата, 12 июня 1851 года, он пишет в дневнике: ночь, бессонница, «я стал молиться Богу... Я желал чего-то высокого и хорошего; но чего, я передать не могу; хотя и

ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим... Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое испытал я вчера — это любовь к Богу. Любовь высокую, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное».

Он полон восторженной благодарности за «минуту блаженства, которая показала мне ничтожность и величие мое», горячо желает молиться, «постигнуть», чтобы преодолеть «порочную сторону жизни». И казнит себя за то, что неодолим «голос порока, тщеславия». Пережив высокий взлет, он все-таки заснул в мечтах о славе и о женщинах — «но я не виноват, я не мог».

Сколько еще ему выпадет таких минут как бы случайного просветления и ненависти к себе за слабость, которая приходит следом, одолевая призыв «чистого сердца»! Из пережитого на Кавказе они и запомнились больше всего, эти порывы и падения, кончающиеся мучительной рефлексией: кто же он такой по своей человеческой природе? Игра, сладострастие, тщеславие — три преобладающие дурные страсти, особенно игра, которая (это уже дневник 1852 года) «испортила мне лучшие года моей жизни и навек унесла от меня всю свежесть, смелость, веселость и предприимчивость молодости». Сумеет ли он когда-нибудь уничтожить эту страсть, научится ли «смотреть с серьезной точки на свое положение»? Так бы хотелось хотя бы ощутить вкус жизни без нее, контролировать себя, сопротивляться искушениям. Но все это пишется после страшного проигрыша, в ситуации почти безвыходной. А такое случается с ним не в первый раз.

Еще в начале июля 1851 года он «завлекся» и встал из-за карточного стола, имея 850 рублей долга — сумма громадная. Пришлось дать вексель поручику Кноррингу, которому в ту ночь неслыханно везло. Платить нечем, а поручик может предъявить вексель к взысканию, начальство произведет допрос, словом, Толстой в отчаянии. И вдруг приходит от Николеньки письмо, а в него вложен проклятый вексель: оказывается, чеченец на русской службе Садо Мисербиев, с которым Толстой подружился, выручил своего кунака, отыграв это долговое обязательство. В Ясную Поляну летит письмо тетеньке: сегодня, пишет Толстой, он бы вновь уверовал в Бога, «ежели бы с некоторых пор я не был твердо верующим».

Письмо отправлено из Тифлиса, куда Толстой отправился в конце октября 1851 года, окончательно решив, что нужно определяться в военные. Для этого требовалось подать прошение начальству Кавказского отдельного корпуса и представить указ об отставке со службы в губернском

правлении, где он формально числился. Только после этого да еще при условии, что будет сдан экзамен на звание юнкера, могло состояться производство. Экзамен он сдал без труда: он уже приобрел некоторый боевой опыт. Первое дело, в котором участвовал Толстой, значившийся волонтером, было еще в июне — обычный набег, а потом разграбление захваченного чеченского аула. Князь Барятинский, который командовал экспедицией, сквозь пальцы смотрел на мародерство. И, разумеется, даже не задавался вопросом, для чего эта десятилетиями тянущаяся кровавая война.

Толстой отнесся к ней по-иному. Об этом можно судить по его рассказу «Набег», в особенности по черновикам. Там описаны разговоры офицеров перед началом экспедиции: снова будут брать завалы, которые берут уже четвертый год подряд, каждый раз ценой больших жертв. Можно было бы их укрепить, и дело с концом, но этого не будет, ведь начальству нужно снова и снова докладывать об успехах, за которые полагаются награды. Причем отличия достаются большей частью тем, кто в свите, далеко от опасности. Таких тут называют «шелыганы».

Когда аул взят, неизбежны грабеж и насилия. Какой-то солдат стреляет в горянку с малышом на руках: что ее жалеть, она же басурманского племени. Когда-нибудь он будет в этом раскаиваться, вспомнив, что сам оставил дома бабу с сыном Алешкой. Только опоздают эти слезы.

Все эти страницы Толстой в окончательный вариант не включил, оправдавшись перед собой тем, что он не сатирик. Не включил и еще одну страницу — о том, как отряд идет под вечер по роскошному лугу и вдруг слышится в траве беззаботная песнь перепелки. «Она, верно, не знает и не думает, на чьей земле она поет: на русской ли земле или на земле непокорных горцев... Она думает, глупая, что земля одна для всех».

Волонтер, от лица которого ведется рассказ об экспедиции, думает точно так же: «Неужели тесно людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом?» Откуда это чувство злобы и желание мести, эта «страсть истребления себе подобных»? Ведь все недоброе в сердце должно исчезнуть, когда вокруг эта величественная природа с ее «примирительной красотой и силой». Но не исчезает. И, заслышав приближение русского отряда, который вытопчет кукурузное поле, спалит сено, а возможно, и саклю, где дрожат от страха дети, чеченец Джеми с отчаянным криком кидает шапку на землю и машет пучком зажженной соломы, давая сигнал, чтобы прятались все. А сам бежит с винтовкой в чащу, чтобы оттуда стрелять по уходящим солдатам и радоваться, когда кто-то из них падает замертво, как молоденький прапорщик Аланин,

которого повезут потом в развалившейся телеге, прикрыв тело грязной мешковиной.

«Набег» был написан через полтора года после событий, о которых в нем рассказано. Вероятно, он вобрал в себя и другие впечатления Толстого о войне. Сохранился формулярный список, где указано, что зимой 1852 года он в качестве уносного фейерверкера при четвертой батарее 20-й артиллерийской бригады был «при атаке и истреблении урочища Урус-Мартанского, многократно при рубке леса и переправах через горные реки», «в жарком и блистательном деле в Майор-Тупском лесу», при атаках неприятеля, который придерживался своей обычной тактики: позволял русским входить в аулы, зная, что задержаться в них они не осмелятся, потом преследовал отряды, когда начиналось отступление.

«Жаркое и блистательное дело» едва не закончилось для фейерверкера трагически. Стоял плотный туман, по батарее стреляли из укрепления и из зарослей, орудия русские наводили по слуху. Вдруг неприятельское ядро ударило в колесо пушки, раздробив обод. Не хватило каких-то сантиметров, чтобы получилось прямое попадание. Николай находился рядом, когда вторым ядром убило лошадь. Надо было ее бросить и спешить под прикрытие пехоты, однако Николай не хотел оставлять неприятелю сбрую. Ее сняли под сильным ружейным огнем. Только под вечер добрались до своих. Лев Толстой признался потом, что в тот день пережил страх, которого никогда еще не испытывал.

Его представление о Кавказе резко изменилось уже в первый год службы. Осенью 1852 года он начал писать очерки и остановился на первом же эпизоде. В очерке «Поездка в Мамакай-Юрт» он пишет, что издали Кавказ представлялся ему «поэмой на незнакомом языке», напоминающей Марлинского и Лермонтова, «воинственные черкесы, голубоглазые черкешенки, горы, скалы, снега, быстрые потоки, чинары», и конечно же «бурка, кинжал и шашка». Однако восприятие Кавказа сквозь «призму „героев нашего времени“, Бэл, Амалат-Беков и Мулла-Нуров», как оказалось, не имело ничего общего с действительностью. В черновой редакции «Набега» язвительно описан поручик Розенкранц, в котором сослуживцы Толстого узнавали офицера Пистелькорса, готового «совсем очечениться», обожавшего «ухватки чистокровного джигита» и любившего бравировать своим мнимым равнодушием к опасности. И тем не менее Толстой вовсе не сожалел о том, что Кавказ предстал совсем не таким, как у Марлинского: во многих отношениях «действительность была лучше воображаемого». Тогда он был уверен, что эта война, которая тлела и разгоралась еще с александровских времен, необходима России. В

черновом варианте «Набега» читаем: «Кто станет сомневаться, что в войне русских с горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне? Ежели бы не было этой войны, что бы обеспечивало все смежные богатые и просвещенные русские владения от грабежа, убийств, набегов народов диких и воинственных?» Конечно же он знал от старых служак о двух неудачных походах в аул Дарго, где обосновался вождь горцев Шамиль: и в 1842 году, и в 1845-м эти экспедиции закончились провалами, были тысячи погибших, осталось чувство позора и желание взять реванш.

Шамиля удалось захватить в плен только в 1859 году, а очаги сопротивления подавляли еще пять лет. К тому времени Толстой уже давно покинул армию, но пережитое на кавказской войне не изгладилось из его памяти. Полвека спустя будет написан «Хаджи-Мурат».

Хотя нужные бумаги из тульского правления так и не дошли до Тифлиса, разрешение служить при батарее он получил. Написал брату Сергею, что теперь никто не лишит его удовольствия «делать фрунт и провожать глазами мимо едущих офицеров и генералов». Однако его положение не позволяло рассчитывать ни на офицерский чин, ни на награды, хотя фейерверкера к ним представляли. Прапорщиком он стал, лишь прослужив на Кавказе два с половиной года. И тут же перевелся в Дунайскую армию.

О его душевном состоянии в эту пору можно судить по нескольким дневниковым записям. Например, от 5 февраля 1852-го, когда Толстой участвовал в экспедиции: «Я равнодушен к жизни, в которой слишком мало испытал счастья, чтобы любить ее; поэтому не боюсь смерти. Не боюсь и страданий; но боюсь, что не сумею хорошо перенести страданий и смерти». По окончании похода, когда был случай проверить эти сомнения делом, он укоряет сам себя: «Я был слаб и поэтому собою недоволен». Горцы вызывают у Толстого чувство сложное, но, во всяком случае, не имеющее ничего общего с ненавистью. Иначе разве написал бы он рассказ о Джеми, который, когда кончатся патроны, бросится на русские штыки с кинжалом в руке?

По словам Садо Мисербиева, Толстой записал в 1852 году две горские песни; эти записи — как выяснилось, достаточно точные и фонетически, и по подстрочному переводу — чеченцы считают литературными памятниками. Садо и еще один горец, Балта Исаев (от него Толстой и узнал историю Джеми), были его частыми гостями, когда бригада стояла в Старом Юрте, где устроили укрепленный лагерь. Станица Старогладковская с ее унылыми окрестностями и армянской лавкой на

центральной площади, поблизости от часовни и дома коменданта, во всех отношениях проигрывала чеченскому поселку, где на окраине громоздились огромные камни над горячими источниками, и женщины — красивые, хорошо сложенные, в небогатых, но ярких восточных нарядах — ногами стирали в этих источниках белье.

Однажды Толстой возмутился, увидев, как Садо, самозабвенного карточного игрока, бессовестно надувают, пользуясь тем, что тот не знает ни записи, ни счета. Сел за него играть, был в тот раз удачлив, и благодарный джигит назвал его своим кунаком — почти братом, с которым делят любую опасность и любую беду.

Он отдал Толстому, узнав, что его лошадь захромала, своего коня, выручил его в истории с Кноррингом, а однажды спас ему жизнь. Дело происходило летом 1853 года; Толстой был в отряде, сопровождавшем почту в крепость Грозную, и они с Садо в компании еще двух офицеров, решив обогнать обоз, двинулись верхней дорогой вдоль леса. Неожиданно появился большой отряд горцев и началось преследование. Под одним из офицеров пала лошадь, и он был жестоко изрублен, другого выбили из седла. Положение стало отчаянным, но Садо, целясь из карабина, который на самом деле был не заряжен, сумел отвлечь на себя внимание нападавших, пока не подоспел казачий пикет. «Едва не попался в плен», — записал в дневнике Толстой.

Садо прожил в Старом Юрте всю жизнь и умер древним стариком в 1901 году. Своими опасными проделками он прославился по всей Чечне. Отец, богатый человек, не давал ему ни гроша, и деньги, чтобы играть в карты, Садо добывал, выкрадывая лошадей. Толстому он подарил отделанную серебром саблю, которая стоила очень дорого, и смутил кунака, припасшего в подарок какое-то простенькое ружье за восемь рублей. Поклялся, что украдет самого лучшего скакуна хоть у самого имама, раз брат его кунака, Сергей, заядлый лошадиник. Долго скучал по Толстому после его отъезда. И остался в русской литературе, потому что его имя Толстой дал кунаку Хаджи-Мурата.

*

В станице Старогладковская жили гребенские казаки, переселенные на Кавказ с Донца еще при Петре. Они были кержаки, очень неохотно шедшие на царскую службу, потому что приходилось вступать в повседневный контакт с теми, кто держался иной, государством признанной веры. К тому

же Ермолов в 1819 году упразднил их самоуправление и вместо атамана назначил офицера, ведавшего всеми делами казачества.

С чеченцами за полтора века как-то сжились, хотя соседство никогда не было мирным. Станицу окружал укрепленный плетень над канавой, при въезде были ворота с рогатками и часовые. Она была не очень большой — всего тысяча двести жителей вместе с квартировавшими в Старогладковской солдатами. Воинское дело являлось обязательным. Все остальное время казаки проводили в своих садах — илистая почва не позволяла сеять хлеб, — на охоте или на Тереке.

Толстой с интересом наблюдал их быт. В черновых редакциях «Казаков», имевших подзаголовки «Кавказская повесть 1852 года», описывается станица, где «все... дышит какой-то полнотой, изяществом себя вполне удовлетворяющей жизни». Как-то особенно радостны, милы и казачки с их резкими голосами, и старик, несущий в сапетке серебристых, еще бьющихся шамаек, и разбредаящаяся по улицам скотина, и веселые лица детей. Мило все, не исключая лужи, которую столько лет обходят по краю у самого дома.

В «Казаках» процитирован Ермолов, который командовал Кавказским корпусом с 1816 года до своей опалы в 1827-м: «Кто десять лет прослужит на Кавказе, тот либо сопьется с кругу, либо женится на распутной женщине». А в дневнике это предсказание уточнено: «или с ума сойдет» — вспомнилось это после нового запоя Николеньки. Льву Николаевичу понятно, что он и сам под угрозой: «Мне кажется, что я от скуки рехнусь. Презираю все страсти и жизнь, а увлекаюсь страстишками и тешусь жизнью». Общение с казаками явилось противоядием. Особенно — общение с Епифаном Сехиным, которого читатели «Казаков» знают под именем Ерошки.

Это была незаурядная личность. Николай Толстой в «Охоте на Кавказе» рассказывает о нем, не изменяя его имени, и рассказывает восторженно. От него ли самого или от других станичников братья были наслышаны про бурную юность Епифана, который был конокрадом, мошенником, удальцом, переправлял за Терек чеченцам приглянувшихся им лошадей, но, случалось, и самих чеченцев приводил в Старогладковскую на аркане. «Он и в казематах сидел не однажды, — писал Николай Николаевич Толстой, — и в Чечне был несколько раз. Вся жизнь его составляет ряд самых странных приключений. Наш старик никогда не работал; самая служба его была не то, что мы теперь привыкли понимать под этим словом. Он был или переводчиком, или исполнял такие поручения, которые исполнить мог, разумеется, только он один: например,

привести какого-ни-будь абрека, живого или мертвого, из его собственной сакли в город, поджечь дом Бейбулата, известного в то время предводителя горцев, привести к начальнику отряда почетных стариков или аманатов...»

Когда Толстой попал в Старогладковской на постой к Сехину, тому было уже под девяносто, но сложения он был атлетического, на здоровье не жаловался и о скором своем конце не думал — жил, как привык, неделями пропадая на охоте, а потом, навеселе, разгуливая по улице с балалайкой. «Был милейший человек, простой, добродушный, веселый», — отзывался о нем Толстой, вспомнив былое, когда к нему, восьмидесятилетнему старику, наведалься в Ясную молодой казак, внук дяди Епишки.

Незадолго до революции писатель и журналист Гиляровский записал свои разговоры со стариком Синюхаевым, соседом Епифана Сехина. Про дядю Епишку этот старик рассказывал, что тот жил всю жизнь с собаками, ястребами да прирученным зверьем, никого не обижал ни словом, ни делом, всеми был уважаем — и казаками, и чеченцами, и ногайцами. Жена от него сбежала когда-то в незапамятные времена, и с тех пор Сехин жил один. В общественные дела не вникал, никому не услуживал, всем говорил «ты», а свое понимание жизни излагал так: «Бог у всех один. Все живем, потом умрем. Люди не звери, так и драться людям не надо. Вот зверя бей».

Когда у Епифана Сехина поселился приезжий барин, на него, ходившего не в форме, а в обычной рубашке, стали обращать внимание только потому, что был он прекрасный наездник и, собрав молодых, затевал с ними игры, а потом щедро одаривал. Епишка привязался к своему постояльцу настолько, что часто брал его с собой на охоту — честь, которой он не удостаивал никого больше. Сам он давно не садился на коня, но в праздники любил покрасоваться в лисьей папахе, расшитых серебром ноговицах и шелковом красном бешмете, подарке немирных гиреев.

Кое-что в записях Гиляровского наверняка навеяно толстовскими «Казаками». Есть упоминания о Епишке и в дневнике Толстого: «плут и шутник», «особенный характер». С ним легко пить, а охотиться просто замечательно, он, когда надо, отыщет и знахаря-ногайца, и сговорчивую казачку. Но, самое главное, он отменно понимает, что творится в душе его кунака. До чего верно он подметил, что «я какой-то *нелюбимый*».

Ощущение своей ненужности в мире изводит Толстого, побуждая разрабатывать одну за другой программы моральных правил, а затем с отвращением к себе признаваться, что они так и остались только на страницах дневника. Ему минуло 23 года, этот рубеж воспринимается как эпоха. «Много рассчитывал я на эту эпоху, но, к несчастью, я остаюсь все тем же, в несколько дней я не успел переделать все то, чего не оправдываю.

Резкие перевероты невозможны». Стало быть, все останется, как было: женщины, карты, ложный стыд, неумение держаться на должной высоте, когда рядом опасность. Следующая дата: «Мне 24 года; а я еще ничего не сделал. Я чувствую, что недаром вот уже 8 лет я борюсь с сомнением и страстями. Но на что я назначен?» Уж конечно, на что-то более достойное, чем занятия, о которых тоже записал в дневнике — «убил 3 бекасов».

Елишка живет не мудрствуя. «Охота и бражничанье — вот две страсти нашего старика: они были и теперь остаются его единственным занятием», — пишет в своем очерке брат Николай. А Лев Николаевич пересказывает в дневнике его воспоминания о том, как случилось погулять на свадьбе у немирных чеченцев, как на охоте поссорился с каким-то холопом Ильиным, выстрелил в него, просил потом у него прощения перед смертью. И, протягивая ружье становому, говорил: пусть убьют его самого.

Порой Толстому хочется вести в точности такую же — естественную и, как он думает, счастливую — жизнь. На пути в Тифлис он отправляет Ергольской письмо с уверениями, что внезапное решение ехать на Кавказ было ему внушено свыше, ибо здесь он стал лучше и, что бы с ним ни случилось дальше, все на благо. Однако год с небольшим спустя в дневнике записал совсем другое: дожидаться бы первого офицерского чина — стыдно ехать в Россию юнкером — и в отставку. «Я теперь испытываю в первый раз чувство чрезвычайно грустное и тяжелое — сожаление о пропащей без пользы и наслаждения молодости. А чувствую, что молодость прошла. Пора с нею проститься». Толстому всего двадцать четыре с половиной года. Только что закончилась еще одна экспедиция, в которой он участвовал, конца войне не видно. Меж тем так притягивает мысль «вступить опять в колею порядочной жизни — чтение, писание, порядок и воздержание. Из-за девок, которых не имею, и креста, которого не получу, живу здесь и убиваю лучшие года своей жизни. Глупо!»

Какая она будет, «порядочная жизнь», он еще не вполне ясно осознал. Офицерского чина Толстой не получит долго: то нет бумаг, то, как раз накануне раздачи чинов и Георгиев, не явился в назначенный час на службу, потому что засиделся за шахматами. То откажется от креста в пользу старого солдата, которому отличие нужнее: оно дает пожизненную пенсию.

Настоящее кажется с ходом времени все более однообразным и унылым, будущее неясно. Но уже велика вероятность, что ему предопределен путь писателя. 3 июля 1852 года Толстой отослал редактору «Современника» Некрасову Рукопись «Детства».

«Какое-то недоконченное счастье»

Вчерне она была завершена еще весной того же года в Тифлисе, потом дважды переделывалась и дополнялась. Епишка, видя, как барин целыми днями сидит над бумагами, советовал ему все это бросить: «Что кляузы писать? Гуляй лучше, будь молодец!» Да, для барина велико. Но... «Я не могу не работать, — так заканчивается его дневник 1852 года. — Слава Богу; но литература пустяки; и мне хотелось бы писать здесь устав и план хозяйства».

Однако «пустяки» затягивают, и не просто потому, что первая повесть уже появилась в лучшем русском журнале, а суд публики, сообщает автору Некрасов, «оказался как нельзя более в Вашу пользу». Весною 1852 года Толстой пишет «Набег», который сначала назывался «Письмо с Кавказа», а осенью его переделывает. Идея «Романа русского помещика» не оставлена. А повесть, ставшая его литературным дебютом, для Толстого лишь часть большого замысла, который, посылая «Детство» Некрасову, он назвал «Четыре эпохи развития». Вторая редакция «Детства» сначала носила похожее заглавие — «Четыре эпохи жизни».

Мысль описать эти четыре эпохи — детство, отрочество, юность и молодость, посетила Толстого еще в Москве. На Кавказ он взял с собой большую конторскую тетрадь с первыми набросками. Тетрадь заполнялась в Старогладковской и в Старом Юрте, но дальше набросков и отдельных сцен, которые потом были переписаны для «Детства», дело не пошло. Хотя как раз в этой тетради, на самой первой странице определена цель, ради которой затевалась вся автобиографическая трилогия: «Детство», и начатое вслед ему «Отрочество», которое потребовало полутора лет работы, и «Юность», оконченная уже в Ясной Поляне, когда Толстой вернулся с войны.

Вот эта цель: «Интересно было мне просмотреть свое развитие, главное же, хотелось мне найти в отпечатке своей жизни одно какое-нибудь начало — стремление, которое бы руководило меня, и вообразите, ничего не нашел, ровно: ничего, случай... судьба!»

Очевидно, эта страница написана до Кавказа, куда Толстой приехал с точно таким же настроением: непонятно, каким образом он тут оказался и зачем — случай, судьба. Кавказ что-то проясняет касательно стремления, которое должно руководить его жизнью, однако оно, как он полагает, будет чужеродно литературным амбициям. «Детство» напечатано и имеет успех, «Набег» ждет окончательной отделки, «Современник» интересуется

новыми вещами таинственного Л.Н., как обозначен в журнале никому неизвестный автор, который сообщил редактору адрес Николеньки, утаив свой. А в это время Л. Н. признается брату Сергею: «Я ничего так не боюсь, как сделаться журнальным писакой». И в дневнике размышляет о том же: что совестно «заниматься такими глупостями, как мои рассказы», а уж если одолел соблазн мараить бумагу, так следовало бы вернуться к «роману помещика», который полезен, поскольку там обдумываются проекты разумного устройства имения. Да и вообще «только была бы жизнь и добродетель, — а дело найдется».

Толстому не хочется уходить в литературу, и все-таки он в нее втягивается, как бы наперекор себе. Самолюбие исключает даже теоретическую возможность того, что его сочинения окажутся хуже, чем сочинения других, и оно же провоцирует неуверенность в собственном таланте. Впрочем, сама мысль, что теперь его станут сравнивать с известными литераторами, поставят на одну доску с ними, тоже почти оскорбительна. Толстой еще никого из этих литераторов не видел в глаза, однако прочитанное в том же «Современнике» внушило ему уверенность, что на таком фоне он явится некой незаконной кометой. Просматривая свои рукописи, он огорчается, обнаружив в них «рутинные способы выражения», «обычные приемы», которые говорят только о дурном вкусе. «Идти за веком» Толстой не намерен, цель в том, чтобы «идти вперед его».

Литературная позиция, определенная достаточно ясно хотя бы только для себя, — дело будущего, однако уже сейчас, на Кавказе, Толстому становится понятно, для чего имеет смысл писать. Разумеется, не для того, чтобы снискать известность «современными заметками», то есть фельетонной беллетристикой на злобу дня. И не с целью очутиться в той «свите талантов», которые пойдут по дороге, проложенной гениями, и будут исправно предлагать публике «литературные произведения, удовлетворяющие насущную потребность ее ежедневных досугов». Об этой свите, объявив, что время гениев кончилось, возмечтал Белинский, написавший в 1845 году вступление к нашумевшему сборнику «Физиология Петербурга», а воспитанием таких талантов как раз и занялся начавший выходить через два года некрасовский «Современник».

Для Толстого подобные призывы и словесность, которая стала их следствием, неприемлемы. В письме Сергею он пишет, что «заметки... нейдут ко мне», и вообще он желал бы издавать плоды своих вдохновений сам, без посредничества журналов. Там именно «литература», которая «пустяки», а Толстой к своему писательству подходит как к делу чрезвычайно ответственному: это либо нечто «хорошее и полезное»,

наподобие практической программы жизнеустройства, либо опыт самоанализа и самопознания. Не оставлена, даже не отложена на будущее задача, которая подсказала идею книги о четырех биографических эпохах; Толстому по-прежнему надо обнаружить в прошедшем и длящемся какое-то организующее «стремление». И оно уже не выглядит для него фантомом.

«Детство» становится прикосновением к истокам в надежде открыть в себе это «стремление», отчасти унаследованное, но в какой-то мере и воспитанное опытом ранних лет. Начинать в двадцать три года мемуарами необычно, однако если это и воспоминания, то очень специфического характера, и не только потому, что по сравнению с реальной семейной хроникой многое изменено, причем существенно. Сама композиция «Детства», менявшаяся от варианта к варианту, вовсе не схожа с той, которая принята в мемуарной прозе, где автор восстанавливает хронологию событий, имевших большое значение для его жизни, и постепенно прослеживает ее внутреннюю логику. У Толстого нет ни последовательности, ни постепенности, есть только центральный внутренний сюжет: отношения родителей героя, приближение трагической кульминации — смерти матери. Он не просто стягивает описание большого периода своей биографии в два дня — один деревенский, другой после переезда в Москву. Оба дня выстроены им так, чтобы обособились моменты, в которых повествователю, Николеньке Иртеньеву, приоткрывается драматизм жизни, заключенная в ней высшая тайна и те духовные начала, которые формируют его личность. Когда эти начала опознаны, уже просто невозможно говорить о случае и судьбе.

Незадолго до того, как отправить «Детство» Некрасову, Толстой пишет откровенное письмо тетеньке Ергольской: сетует на установившуюся за ним репутацию чудака и гордеца, утверждает, что сам он в ней неповинен, просто дает себя почувствовать «слишком большая разница в воспитании, чувствах, взглядах моих и тех людей, которых я здесь встречаю». И вот в чем разница: «Ежели во мне и есть что хорошее по милости Божьей, то только доброе сердце, чуткое и любящее, которое Богу угодно было дать мне и сохранить до сих пор».

Кавказские дневники пестрят горькими признаниями, что тщеславие и дурные страсти вновь оказались сильнее, чем высокие порывы души, что установленные для себя моральные правила снова не выдерживаются, что никак не удастся «быть лучше и приготовить себя к той жизни, которую я избрал». Но желание счастья не ослабевает, и счастье видится Толстому возможным, пока сердце остается добрым, чутким, любящим, каким оно и должно быть в человеке по самой его природе. Наполненное

многочисленными отзвуками собственной пока еще очень короткой биографии, «Детство» по существу превращается для Толстого в размышление о человеческой природе, какой она воплотилась в нем самом.

В конце жизни Толстой, не любивший говорить о собственных художественных сочинениях, сделал исключение для первой повести: «Когда я писал „Детство“, то мне казалось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил поэзию детства». А главной отличительной чертой этой повести он назвал необходимое литературе «целомудрие». Смысл этого определения как будто напрашивается: нежелание вторгаться в те стороны взрослой жизни, которые для ребенка загадочны и страшны. Но можно понять его и по-иному. Толстой «целомудрен» тем, что в его трактовке детство — единственная пора, когда все чистое и высокое, что в людях заложено от рождения, проступает с непреложностью, с отчетливостью, неизбежно пропадающей по мере того, как накапливается реальный опыт. Приходит скепсис, безверие, жесточенность, а поэзия исчезает бесследно или вспоминается лишь как наивная сказка. А для Толстого в этой сказке заключена главная правда о человеке.

Вряд ли, работая над «Детством», Толстой прочел «Сон Обломова», отрывок из будущего романа, напечатанный Гончаровым в 1849 году в одном мало кем замеченном сборнике. Но между этим отрывком и повестью Толстого объективно есть сходство, потому что для обоих писателей «поэзия детства» остается тем золотым запасом, который мало кому удастся сохранить. Есть, однако, и очень ясное различие. Гончаров написал идиллию или окрашенную ностальгией поэму, потому что план «Обломова» он уже продумал и было известно, каким грустным итогом завершится жизнь его героя. Для характеристики «Детства» оба эти слова — идиллия, ностальгия — не годятся.

Здесь нет ни умилений, ни печали о невозвратном. «Невинная веселость и беспредельная потребность любви» владеют душой Николеньки с его неиспорченным воображением, свежестью чувств и светлой верой в счастье, но «темные пятна» уже проступили среди грез и восторгов. Рассказчику кажется, что случилось это из-за неосознанной жестокости, с какой старшие мальчики наказали попавшего в их компанию тщедушного подростка, который не проявил в игре мужества и твердого характера. На самом деле это лишь мимолетный эпизод, а настоящим «темным пятном», которое никогда не сотрется и не позабудется, становится смерть матери, потрясающее мгновение, когда в безоблачный мир Николеньки входят страдание и ужас. А на последней странице — стоит он у заросшего крапивой холмика на сельском кладбище, где

похоронена экономка Наталья Савишна, бесконечно им любимая в младенчестве, и, вспоминая о ней, покоящейся неподалеку от матери, размышляет, как беспощадна жизнь: «Неужели провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них?..»

«Поэзия детства» не обрывается, не затухает, но никогда уже она не будет только радостью и чудесной фантазией. Подавляя в себе внутреннее сопротивление и страх, Николенька разглядывает безжизненное лицо — прозрачное, воскового цвета, окруженное лентами и кружевами — и отказывается верить, что это действительно *она*, потому что не может принять свершившееся как факт. Невыносима мысль, что разрушены «картины, цветущие жизнью и счастьем». Вопреки очевидности эти картины возвращаются, сознание действительности отступает перед непоколебимым детским убеждением, что смерти нет, и, глядя на лежащую в гробу, герой, сам этого не понимая, поскольку чувство собственного существования в эту минуту потеряно, «испытывал какое-то высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение». Словами выразить это Николенька, конечно, не в состоянии, да и автор еще не скоро найдет нужные слова: лишь в предсмертном письме матери прозвучало, что любовь не может уничтожиться, потому что душа существует любовью к близким, а душа бессмертна. Сказано об этом несколько книжно, с оттенками выпренности, невозможными у Толстого в эпоху творческого расцвета, однако уже наметилась — мысль, которая пройдет через все его творчество. С большой точностью передал эту мысль Бунин, написав, что для Толстого «сущность жизни вне временных и пространственных форм».

Сами эти формы, особенно пространственные, воссозданы начинающим писателем с пластичностью, не имеющей аналогов в тогдашней русской прозе. Обозначилось противоречие, повторявшееся и впоследствии, когда Толстой достиг своих вершин. Никому больше не дано было настолько органично и ярко передавать бесконечно изменчивые лики мира. И никто больше не умел с такой настойчивостью, даже одержимостью напоминать, что все кончается небытием, которое, однако, не синоним бесследного исчезновения, ибо жизнь в самом важном своем содержании никогда и не принадлежит этому миру или, во всяком случае, не принадлежит ему целиком.

Читателям «Детства», даже самым проницательным, было сложно уловить эту мысль, которая в ту пору оставалась только смутной догадкой и для Толстого. Но он твердо верил, что отрицание смерти естественно в силу природы человека, по крайней мере той, которую он распознавал в

самом себе. Оно столь же естественно, как доброта, или потребность в любви, или чувство родства со всем, что вокруг, и со всеми, кто рядом. С отцом, матерью, братьями, гувернером Карлом Ивановичем, с Натальей Савишной, которая прожила весь свой век при татан и ужасно обиделась, когда в награду за труды ей, крепостной, выписали вольную. Со странником и юродивым Гришей, ходившим в веригах, с девочкой Катенькой, испугавшейся, когда в чулане совершенно бессознательно Николенька схватил ее руку в коротеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губами. С березовой аллеей перед домом, верховыми лошадьми, гончим псом Жираном, даже с муравьями, которые деловито сновали по пробитым ими тропинкам среди зеленых травок, когда взятого на охоту Николеньку посадили отдыхать у корней дуба, между сухими листьями, обломанными хворостинками и желудями.

Печатаемая повесть, поначалу не слишком ему понравившуюся — какие-то на живую нитку сшитые эпизоды, отсутствие значительной, воспитательной мысли — Некрасов самовольно изменил заголовок, и в «Современнике» она появилась под названием «История моего детства». Получив сентябрьскую книжку журнала за 1852 год, Толстой был очень огорчен, и даже не столько цензурными изъятиями, сколько этой заменой, к которой ничто не вынуждало. «Кому какое дело до истории моего детства?» — написал он редактору. Его нетрудно понять, ведь предполагалось вовсе не перелистывание давних страниц собственной жизни, а аналитика особого эмоционального и душевного состояния, когда человеку еще в полной мере присущи доверие к жизни, ощущение, что все соединено в ней нерасторжимыми связями, и способность не сдерживать слез острой жалости, если эти скрепы ослабевают.

Некрасов всего этого не почувствовал, как, впрочем, и остальные, особенно — из семейного круга Толстого. Сразу же стали искать прототипы и реальные события, которые описал автор. Первым предположением было, что написал повесть, разумеется, Николенька, который о себе и говорит под собственным именем, для чего-то скрытым в журнале за инициалами Л. Н. Тетеньке Ергольской Лев Николаевич открыл истину. Но добавил, что, кроме старшего брата, никто не знает настоящего автора, и «я желаю, чтобы никто этого и не знал». Он скрывал свое авторство не из-за того, что страшился неуспеха, а потому что не хотел, чтобы повесть читали как историю именно его детства.

Но и Ергольская, прочитав «Детство», хвалила своего питомца прежде всего за то, как точно он все описал: и личность Ресселя, сразу узнающуюся в манерах Карла Ивановича, и экономку Прасковью Исаевну,

она же Наталья Савишна. Сережа, получавший «Современник», по первым же страницам отгадал, кто из братьев сочинил повесть. Он нашел ее отличной, только опасался, что понять и оценить повесть смогут исключительно те, кто там фигурируют в качестве персонажей: сами Толстые и гости яснополянского дома, бывавшие там при жизни Николая Ильича. Сестра Маша вспоминала, что повесть, когда она только что появилась, читал вслух в Покровском, ее имении, Тургенев, а они с гостившим у нее братом Сережей все гадали, кто сочинитель: Николенька? Левочка? — и решили, что Николенька. Память подвела Марию Николаевну — этого не могло быть уже по той причине, что с Тургеневым она познакомилась только через два года по выходе «Детства». Но характерно: и у нее нет ни тени сомнения, что все описано как раз так, как и происходило на самом деле.

Сам Толстой, вернувшись к детству, когда он принялся за «Воспоминания», говорил о первой своей повести совсем другое: он допустил ошибку, перемешав в ней события и лица, запомнившиеся из собственных ранних лет, с историей своих тогдашних знакомцев, и вышло «нехорошо, литературно, неискренне». Под старость он был сверх всякой меры строг к своим прежним писаниям, и эту оценку «Детства» нельзя принимать всерьез. Однако она существенна тем, что развеивает стойкие иллюзии, будто в этой повести, равно как в «Отрочестве» и «Юности», автор писал о самом себе и самых близких ему людях.

На деле было сложное соединение автобиографии, вымысла и отзвуков чужих историй, которые в силу разных причин особенно запомнились начинающему писателю. Это становится очевидным, если проследить, как от ранних вариантов к окончательному менялись и расстановка действующих лиц, и их отношения друг с другом. В ранней редакции был один штрих, в дальнейшем убранный: союз матери с отцом изображался как официально незаконный. Важная подробность. Она прямо указывает, что, работая над повестью, ее автор вспоминал драматическую хронику семейства, с которым были близки Толстые, — Исленьевых.

Александр Михайлович Исленьев, доживший почти до девяноста лет, приятельствовал с Николаем Ильичом еще в ранней молодости, когда был адъютантом будущего видного декабриста генерала Орлова. После восстания Исленьева, боевого офицера, дравшегося при Смоленске и Бородине, арестовали, он неделю просидел в Петропавловской крепости, но был выпущен за отсутствием улик. Служить новому императору он, как и Николай Ильич, не захотел, поселился у себя в Красном и отдался своей главной страсти — карточной игре. Была скандальная история, когда в

большой компании, к которой принадлежал и Толстой-Американец, он способствовал разорению очень богатого помещика Полторацкого, в один присест проигравшего неслыханную сумму — семьсот тысяч. Такое не могло остаться без внимания начальства. Исленьева выслали в Холмогоры, откуда он, правда, вскоре вернулся, чтобы снова играть.

Его семейная жизнь складывалась тяжело. Страстно влюбившись в Софью Завадовскую, дочь одного из фаворитов Екатерины II, он уговорил ее оставить своего сильно пьющего супруга, и они тайно обвенчались в Красном. По жалобе мужа, князя Козловского, брак признали недействительным, и дети, прижитые в этом союзе, носили искусственную фамилию Иславины. Князь предлагал их усыновить, потребовав, чтобы за каждого ему выплатили большие деньги, — Исленьев, конечно, отказался. Справедливость в какой-то мере восстановил Толстой, сделав своих персонажей Иртеньевыми.

С одним из Иславиных, Константином, он довольно много общался в Петербурге, а в первых редакциях «Детства» у рассказчика был еще один брат — Васенька, потом исчезнувший, так как вспоминать об этом Иславине, распущенном и безалаберном, Толстому, видимо, было неприятно. Но старика Исленьева, который нередко приезжал в Ясную и годы спустя, он любил — может быть, еще и потому, что чувствовал в нем ту же самую «дикость», какая отличала Толстых. Сосед и друг Александра Михайловича помещик Офросимов рассказывал о нем разное: бывало, что Исленьеву поразительно везло, и тогда «на простынях золото и серебро выносили», но случалось ему и проматывать целое состояние. Однажды он проиграл Красное, послав известие об этом с нарочным жене. Она не успела осушить слез, как прискакал новый вестник — имение отыграно.

Охотник, державший знаменитых на всю Тульскую губернию псов, ценитель цыганского пения, Исленьев был на «ты» с Николаем Ильичом, а потом стал родственником Льва Николаевича, женившегося на Соне Берс, которая по материнской линии приходилась Александру Михайловичу внучкой.

Отцу в «Детстве» посвящена особая глава, где Толстой попытался понять его характер и жизненные принципы. Напрасны гадания, что здесь взято от реального Николая Ильича, а что додумано, но нет сомнения в незримом присутствии Исленьева на этих полутора страницах. Они с Николаем Ильичом были людьми одного поколения и схожего душевного склада, а Толстой не стремился рисовать точные портреты, его интересовали определенные человеческие типы из числа тех, с которыми он чувствовал общность. И может быть, даже не к Исленьеву и не к отцу, а

в первую очередь к нему самому следует отнести рассуждение о человеке, знающем «ту крайнюю меру гордости и самонадеянности, которая, не оскорбляя других, возвышала его в мнении света».

Судя по дневникам того времени, таким или почти таким Толстой себя и воспринимал. В его письме к Ергольской, отправленном из Пятигорска, где он лечился после особенно бурного загула и продолжал работать над повестью, говорится, что уже миновала пора, когда его самолюбие тешили мысли о своей родовитости, уме и положении в свете, и теперь он научился ценить в себе самое главное — любящее сердце. Но непохоже, чтобы такие мысли действительно совсем прошли. Они могли бы даже обостриться в кавказской среде, где Толстой явно выделялся графским титулом, а еще больше серьезными интеллектуальными интересами — не зря же его называли не только гордецом, но и чудаком. А у него, пока тянулась однообразная армейская жизнь, преобладающим было одно желание — «добра, состоящего в довольстве совести». Так он записал в дневнике за несколько дней до того, как послал «Детство» Некрасову.

Епишка точно угадал, что он «какой-то *нелюбимый*», и, соглашаясь с этим, Толстой сам признает: «Не могу никому быть приятен, и все тяжелы для меня». Ему кажется, что дело в прямоте его суждений и оценок — их неприятно слушать другим и самому совестно за несдержанность, за резкость, — но в действительности тут более сложный психологический комплекс. Толстой нелюбим, потому что в кругу армейских он выглядит другим, да и в самом деле внутренне этому кругу чужд, но эта отчужденность мучит его не меньше, чем собственные слабости и срывы. Он уговаривает себя, что самое разумное стать проще, что простота — такая, как в Епишке или в сослуживце капитане Хилковском: «Славный старик! Прост (в хорошем значении слова) и храбр», — была бы высшим благом и для него. Однако такие усилия не увенчиваются чувством, что решение найдено, а значит, совесть больше не будет напоминать, как он далек от «добра». И тогда мысль Толстого устремляется в «любовное, таинственное детство», не просто сливаясь с трепетными воспоминаниями, а, создавая образ утраченной гармонии, когда вправду не было зазора между «добром» и реальной жизнью.

А в русскую литературу приходит новый писатель.

*

«Детство» еще предстояло переделывать, однако у Толстого уже

сложился план продолжения, которое должно было поведать историю «человека умного, чувствительного и заблудившегося» — историю его самого, от младенческих лет «до Тифлиса», то есть до осени 1851 года. Были намечены и главные мотивы этого большого романа: «В детстве теплота и верность чувства; в отрочестве скептицизм, сладострастие, самоуверенность, неопытность и гордость; в юности красота чувств, развитие тщеславия и неуверенность в самом себе; в молодости — эклектизм в чувствах, место гордости и тщеславия занимает самолюбие, узнание своей цены и назначения, многосторонность, откровенность».

Из этого замысла в итоге возникли «Отрочество» и «Юность», образовав вместе с «Детством» трилогию. Ее традиционно считают автобиографической, хотя это очень приблизительное определение. В этих трех повестях многие события, важные в жизни юного Толстого, даже и не упоминаются, а среда, в которой он рос, воссоздается неполно и «при особом освещении», когда не приходится говорить о реальной достоверности. Может быть, поэтому Толстой, начиная свои «Воспоминания», счел нужным оговорить, что трилогия была только литературой, а вот теперь он попробует описать действительность по-настоящему правдиво. Этого не получилось: «Воспоминания» — тоже литература, хотя и другого характера.

О действительности приходится судить по свидетельствам и фактам, не попавшим на страницы Толстого, да еще по некоторым подробностям, которые он помнил до глубокой старости, изредка делаясь ими с собеседниками. Один из них в 1906 году записал за Толстым: «На моем веку русский народ из молодого стал старым. В моем детстве народ ходил в домотканой одежде, петушки на спинах; когда привозили большую бочку с водой из Груманта, около нее сходилась дворня, там было место свидания; мать ходила к нижнему пруду смотреть на большую дорогу, шли коляски, волами тянутые возы...» Ни в трилогии, ни в «Воспоминаниях» обо всем этом нет ни слова.

Есть сжато изложенная история Натальи Савишны, тогда еще Наташки, которая осмелилась полюбить официанта Фоку и просилась за него замуж, а старый барин, увидев тут неблагодарность, сослал ее в степную деревню на скотный двор, — только по этой крохотной сценке можно предположить, что автору был известен обычай его отца ссылать в ка-кое-то дальнее Угрюмово провинившихся крестьян. Остались рассказы стариков о том, как в день рождения своего младшего сына Николай Ильич велел привести с полей всех баб с грудными детьми и сам выбрал из них кормилицу Левочке, а никаких послаблений не последовало, — едва ли для

Льва Николаевича осталась тайной эта красочная иллюстрация крепостных порядков, но как писателя она его по-чему-то не привлекла. Даже одна потрясшая его детскую душу прогулка по оврагу — вот о ней он в «Детстве», кажется, должен был написать непременно — не вошла в его повести. Дети нашли в овраге щенков, которых убили камнями деревенские мальчишки. Как они тогда плакали! Еще и семьдесят лет спустя Толстой помнил этих щенков, эти слезы. Но чутье художника подсказало, что, появившись они в «Детстве», повесть сразу приобрела бы дополнительную тональность, которая не ладит с основной.

Медальон с изображением Руссо, который Толстой носил в пятнадцать лет, на Кавказ, наверное, взят не был, однако «Исповедь» и «Новую Элоизу» он перечитал в Старогладковской еще раз, и след этого чтения вполне отчетлив, когда составляется план большого романа. Чувствительность женеvского писателя, нередко чрезмерная до экзальтации, едва ли могла безоглядно увлечь начинающего прозаика, который проникся верой, что «действительность лучше воображаемого». Однако присущий Руссо дар самоанализа, причем, насколько допустимо, не обходящего стороной факты неприятные или даже постыдные, оказывается для Толстого школой, которую необходимо пройти, чтобы стать писателем — настоящим и не похожим ни на кого другого. План «моего романа до Тифлиса» подчинен этой задаче постижения своей человеческой сущности. Как и Руссо, Толстой намерен выстроить книгу, выделяя в каждой «эпохе развития» некую доминирующую страсть, которой подчинены помыслы и поступки героя. Толстой обозначает эти страсти по-своему: «характеристические черты».

Поскольку такими чертами в детстве были признаны теплота и верность чувства, на страницах первой повести не могло найтись места ни для отцовского самоуправства, ни для убитых щенков. Отрочество, юность мыслились как время намного более сложное, соединяющее в себе разнохарактерные побуждения. Возможно, поэтому две следующие части трилогии дались Толстому труднее, чем ее начало, и результат не совсем его удовлетворил. Некрасову он жаловался, что стеснен «принужденной связью последующих частей с предыдущею», из-за чего пришлось, например, досказывать в «Отрочестве» печальную одиссею Карла Иваныча. Намеченный план повествования о пробудившемся скептицизме и чувстве гордости этого, конечно, не предусматривал.

План в итоге и не был реализован: молодость осталась неописанной, а заключительные части трилогии отклонились от первоначального замысла. Но не ослабел пафос самоанализа, основанного на пристальном

наблюдении за своими не всегда ясными душевными порывами и тревогами. По-прежнему интересным для Толстого остается главным образом постижение самого себя.

Оно — это, пожалуй, наиболее важный урок, который извлечен из размышлений о жизненном опыте описываемых лет, — становится верным только после того, как казавшееся исключительно своим и неповторимым обнаруживает некое созвучие пережитому многими поколениями или, может быть, даже всем человечеством. Юный Николенька эгоцентричен, как свойственно этому возрасту, поэтому мир в его восприятии обладает каким-то смыслом только в той мере, насколько предметы и образы значимы для подростка, в силу разных причин заметившего их и оценившего. Мимоходом упомянут Шеллинг, однако скептицизм героя вовсе не философский — это обычная, с годами проходящая сосредоточенность на одном себе, когда «существуют не предметы, а мое отношение к ним», и, увидев в окно клячу водовоза, думаешь не об ее незавидной участи, а о том, в какое животное или человека перейдет ее душа.

Николенька, само собой, убежден, что никому прежде не было дано испытать подобное воспарение ума, которое открывает великие истины для блага современников и потомков. Однако действительным открытием тогдашней уединенной жизни оказывается понимание, что есть мысли, которые издавна знакомы каждому человеку, пусть он не ведает о существовании основанных на них теорий, и что каждый, в сущности, повторяет путь, пройденный до него другими. Но только повторяет по-своему, и вот этой особенностью повторения, собственно, определяется его личность. Князь Дмитрий Нехлюдов, товарищ старшего брата по студенческой скамье, — ему суждено стать одним из главных толстовских персонажей вплоть до «Воскресения» и служить авторским «вторым я» — достраивает эту смутно угаданную Николенькой идею человеческого призвания в мире: надо поставить пределы самолюбию, побуждающему повсюду утверждать свою уникальность, надо почувствовать себя частицей всего людского рода и постоянно совершенствоваться. Вот дело, поистине придающее смысл нашему пребыванию на земле, — «исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым...»

Нехлюдов нехорош собой, застенчив, стыдлив, однако у него очень развитое самолюбие и твердо определившаяся склонность к философским вопросам: черты, близкие Толстому, каким он был или, во всяком случае, каким себя воспринимал в свою раннюю пору. Осталось свидетельство, относящееся еще к московскому периоду его жизни, до Казани. Товарищи

Николеньки собираются кутить; один из них, зачем-то заглянувший в комнату младшего брата, замечает на столе кипу листков, заполненных рассуждениями о симметрии. Пробежав их, он осведомляется, кто это написал, и с большим недоверием выслушивает признание смущенного автора. Не слишком ли умно для такого юнца?

В «Отрочестве» герой тоже пробует написать нечто о симметрии и сам восхищается той бездной мыслей, которая ему открылась. Рассказан этот эпизод с иронией над малолетним мудрецом, которому никак не вырваться из бесплодного круга анализа, так что он думает уже не о предмете, но о своих мыслях по поводу этого предмета, из-за чего все кончается «скептицизмом» и отрочество начинает осознаваться как пустыня.

Явление Нехлюдова посреди этой пустыни спасительно для Николеньки, потому что он *другой* — рядом с братом Володей, уже поддающимся пустым увлечениям, рядом с его приятелем адъютантом Дубковым, человеком неплохим, но явно ограниченным, старающимся только об одном — быть *comme il faut*, как повелевает мода. Сколько бы ни укорял себя Толстой за собственную непоследовательность и душевные изъязны, как бы он ни порывался сделаться проще и жить, как все живут вокруг него на Кавказе, уверенность, что он тоже *другой*, все равно его не покидала. Едва завершив вторую редакцию «Отрочества», Толстой делает в дневнике от 9 ноября 1853 запись, которая могла бы показаться нескромной, если бы за нею не скрывалось это ясное ощущение своей личности, которое далеко не то же самое, что повышенное самомнение: «Долго я обманывал себя, воображая, что у меня есть друзья, люди, которые понимают меня. Вздор! Ни одного человека еще я не встречал, который бы морально был так хорош, как я, который бы верил тому, что не помню в жизни случая, в котором бы я не увлекся добром, не готов был пожертвовать для него всем». Вот из-за этого неодолимого влечения к добру, убежден Толстой, он и остается таким одиноким, а самые его заветные стремления встречают только равнодушие или непонимание.

Здесь нет и следа позерства, отличавшего самозванных «героев нашего времени», над которыми Толстой, немало их повстречавший на Кавказе, иронизировал в наброске очерка о поездке в Мамакай-Юрт и в первых вариантах «Набега». К самому себе он неизменно строг и в дневниках, и в «Отрочестве». Среди «характеристических черт» человека в этой поре жизни, как его представлял Толстой, присматриваясь к собственным переживаниям, отмечены сладострастие и гордость — герою повести дано испытать, что они такое. Николенька чувствует не до конца ему понятное влечение к горничной Маше, которое он по неискушенности склонен

отождествлять с любовью; дневник проясняет, что на самом деле не было ничего, кроме пробудившейся физической страсти, и ее объектом оказалась «толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико)» по имени Матрена Васильевна. Один из ключевых эпизодов — столкновение Николеньки с французским гувернером Сен-Жеромом. Конфликт, который произошел у мальчика Толстого с учителем Сен-Тома, укрепил в нем, по собственному свидетельству, отвращение ко всякому насилию. А для Николеньки из «Отрочества» эта история оказывается жестоким, но необходимым уроком, после которого чувство гордости осознается как одно из коренных свойств его личности.

Нехлюдову, каким он появится и в «Юности», в рассказе «Люцерн», а много лет спустя на страницах «Воскресения», оно свойственно, во всяком случае, не меньше, чем Николеньке, который «невольнo усвоил и его направление». Фамилия эта, видимо, была знакома Толстому по Казани; в списке студентов-юристов III курса числился некто Нехлюдов, и его даже звали Дмитрий. Но сам Толстой, отвечая на вопросы своего биографа, указывал, что описанная в «Отрочестве» история дружбы воссоздает его отношения с Дмитрием Дьяковым, которые завязались в первый год студенчества и потом длились полвека. Дьяков был пятью годами старше Толстого — Нехлюдов для Николеньки тоже старший, — и Толстой всегда считал его близким себе человеком.

Тем не менее сомнительно, чтобы этот уланский офицер, добродушный, обходительный, но далекий от сложных моральных вопросов, на самом деле мог внушить юному Толстому такое благоговение, которое Николенька испытывает к Нехлюдову. В «Отрочестве», а особенно в «Юности», двух главных героев связывает родство душ, особенно очевидное в минуты, когда оба они увлечены «метафизическими рассуждениями» и чувствуют, как необъятны их духовные запросы, как воспаряет дух, «возносясь все выше и выше в области мысли». О Дьякове Толстой на склоне лет вспоминал как о человеке веселом и открытом, особенно цenia его откровенность, которую считал «очень драгоценной чертой». При первом доверительном разговоре Нехлюдов тоже скажет, что в Николеньке ему нравится откровенность — «удивительное, редкое качество». Однако «откровенность» и страсть к «метафизическим рассуждениям» — далеко не одно и то же, а Нехлюдов с Николенькой беседуют именно о «метафизике»: как уничтожить все пороки и несчастья, какой окажется будущая жизнь, подчиненная добру и благу. И в этих разговорах ласковый, кроткий Нехлюдов обнаруживает мало кем в нем замечаемую твердость нравственных принципов, доведенную до

педантизма, неуклонную строгость к себе и другим, не знающую сомнений религиозность — свойства, которые, разумеется, не позаимствованы у гипотетического прототипа, а представляют собой образец «красоты чувств», признаваемой одной из «характеристических черт» юности. И еще больше — приближение к тому нравственному идеалу, который Толстой принимает для себя как безусловный.

В «Юности», которую Толстой писал уже после Кавказа, герою предстоит знакомство с московским светом, довольно серьезное любовное увлечение, ссора с приятелем обожаемого брата Володи, экзамены, две исповеди — словом, он имеет право сказать о себе «я большой»: так и названа одна главка. Но эта насыщенность различными происшествиями почти не ощущается в рассказе Николеньки. Он целиком захвачен своим «душевым ощущением», своим меняющимся «взглядом на себя, на людей и на мир божий». Осенью 1853 года Толстой перечитал «Капитанскую дочку» и отметил в дневнике: «Должен сознаться, что теперь уже проза Пушкина стара — не слогом, но манерой изложения. Теперь... интерес подробностей чувства заменяет интерес самих событий. Повести Пушкина голы как-то». Слово «теперь» подразумевает целое «новое направление», однако Толстой, конечно, говорит прежде всего о собственных писательских особенностях. Они ярко проявились во многих эпизодах «Юности», хотя бы в описании прогулки и разговора с Варенькой, сестрой друга, в которую Николенька очень хотел бы влюбиться. Толстой все время обрывает нить этой серьезной беседы: герой, больше всего дорожа независимостью мнений, сначала из чувства противоречия остается безразличен к прелестям сада, которыми восторгаются очаровательная барышня и ее мать, затем начинает терзаться гипотетической возможностью своей измены Сонечке. Наконец, словно и вовсе позабыв о Вареньке, видит только фон события: перильца мостика — серенькие с полинявшей краской, — опустившийся к самой воде сук перекинутой березы, «чувство на лбу раздавленного комара». И вся эта неслучившаяся любовь останется в его памяти лишь неожиданно возникающей картиной мостика и отражений в темном пруду — ничем больше.

Как и прежде, интерес автора сосредоточен на «подробностях чувства» Николеньки и на его моральных испытаниях. События, как и биографическая канва, занимают автора только в той мере, насколько могут прояснить ту или иную особенность душевного склада и всей личности героя. Это метод Руссо в «Исповеди» оказался наиболее близким творческим целям Толстого. Однако Руссо все-таки придерживается реальной хроники своей жизни, зная, что пишет автобиографию. Толстой

от этой хроники далеко отступает: целая глава посвящена у него второй женитьбе отца, мачехе, с которой непросто смириться мальчикам Иртеньевым, ее страсти к нарядам, ее жеманству, даже ошибкам во французском языке — все это чистой воды вымысел. Он понадобился Толстому только для того, чтобы Николенька прошел через еще одно тяжелое испытание, увидев, насколько в нем сильна самолюбивая, нетерпимая гордость. Или открыв для себя сложные оттенки чувств, казавшихся простыми и понятными, как отцовская привязанность к молодой жене, сменившаяся тихой ненавистью и сдерживаемым отвращением.

Реконструкция действительно пережитого Толстым выборочна и тоже подчинена самоанализу, который для автора намного существеннее, чем полнота картины или истинность фактов. Описывается студенческая среда, появляются лица, известные по казанским годам биографии Толстого, есть сцена кутежа, а под конец повести — и сцена проваленного экзамена. Но автора неизменно заботят не эти события сами по себе, а их отголоски в самосознании героя, которого изводит неуверенность в себе и непомерно развившееся тщеславие — и то и другое названы в числе «характеристических черт» юности. Увидев, что среди студентов есть разные группы, Николенька не может примкнуть ни к аристократам, ни к противоположной партии, к большинству: с первыми он «дик и груб», со вторыми без всякой необходимости кичлив. Дело тут вовсе не в его политических чувствах, а в том, что ему не сродниться с аристократами, предав забвению «метафизику», и не позабыть о воспитании, о голландской рубашке и привычке к дрожкам, которой не прощает большинство. А в результате — все более знакомое Николеньке чувство своего одиночества, когда, кроме Нехлюдова, ни в ком не встретить понимания, — чувство, что он *другой*.

*

Оно подлинно, это чувство, Толстой сам его испытывал многократно: и в юности, и потом на Кавказе. Трилогия не была автобиографией в буквальном значении слова, однако ее герой поставлен в такие же обстоятельства моральной жизни, в которых формировалась личность Толстого, и воспринимает их так же, как они были осознаны начинающим писателем. «Я не знаю общества, в котором мне было бы легко», — констатирует Толстой в дневнике конца 1853 года. Николенька мог бы

повторить это о себе, сделав исключение для Дмитрия Нехлюдова.

Правда, герой едва ли бы повторил за автором, что он «обогнал свой век», из-за этого сделавшись, согласно дневнику Толстого, «одной из тех неуживчивых натур, которые никогда не бывают довольны». Николенька захвачен своими моральными порывами и правилами жизни, составленными так, чтобы больше уже не делать ничего постыдного. О своем соответствии веку или чуждости ему герой еще не задумывается, тогда как для Толстого это осознанная и трудная проблема. Тот же дневник 1853 года: «Отчего никто не любит меня? Я не дурак, не урод, не дурной человек, не невежда. Непостижимо. Или я не для этого круга?»

Запись сделана в Пятигорске, где была завершена первая редакция «Отрочества». Конкретный повод для нее — разочарование от встречи с сестрой и ее мужем, которая, вопреки ожиданиям, получилась холодной, точно не было общих нежных воспоминаний и ничего не значила разлука в два года. Брат Николай вышел в отставку и покидает Кавказ, брат Сергей запутался в долгах и сложных отношениях со своей цыганкой, а Маша, кажется, слишком увлечена «здешними собраниями», которые происходят в основном на пятигорском бульваре, где демонстрируются моды и составляются знакомства. «Так занята этими удовольствиями, что предпочитает их обществу брата», — жалуется Толстой в письме Сергею, не скрывая, как ему одиноко и грустно.

«Записки маркёра» были написаны за несколько дней сразу по возвращении из Пятигорска, и о тогдашнем душевном состоянии Толстого этот небольшой рассказ свидетельствует выразительнее, чем трудно ему дававшееся «Отрочество». Герою не случайно дана фамилия Нехлюдов, хотя имя изменено, здесь он Анатолий. Автор ясно ощущает, как ему близок этот тип человека, который был наделен прекрасными душевными задатками и благородными стремлениями, но погиб из-за собственных слабостей, «убил свои чувства, свой ум, свою молодость». Одиночество, какая-то незримая черта, которая пролегла между этим Нехлюдовым и миром, где он вращается, — болезненное и неотступное переживание героя, как неотступным было оно и для Толстого в те годы. А соблазн жить по заведенной мерке: вино, игра, продажные женщины, — перед которым капитулировал Нехлюдов, был манящим и для автора, так жестко судившего о своей молодости десятилетия спустя, когда, принявшись за «Исповедь», он не мог вспомнить то время «без ужаса, омерзения и боли сердечной».

Однако Толстого спасла решимость не останавливаться в своем моральном развитии, как поклялся, заканчивая описание своих ранних лет,

Николенька Иртеньев. И, кроме того, его поддерживало понимание, что в чем-то очень важном он действительно обогнал свой век, не озабоченный духовными запросами, которые для Толстого оставались главенствующими, в какие бы бездны падения его ни увлекала жизнь.

У Анатолия Нехлюдова слишком слабая воля, чтобы порыв к нравственному росту не ослабел, вопреки всем искушениям. Толстой отдавал себе отчет в том, что и ему грозит такой же плачевный итог, если исчезнет высший этический императив — желание добра. Поэтому история Нехлюдова, заканчивающаяся унижением, непереносимым для его гордости, а затем самоубийством, основана на реальном эпизоде из юности самого автора: Петербург, бильярдная, где промотано все до копейки, долги, безвыходность. Эту историю у него рассказывает маркёр, много на своем веку повидавший «амбициозных» господ, привычный к их нравам и ничуть не удивившийся стремительному падению юного князя, который с недоумением и болью говорит о собственной судьбе в предсмертном письме. Толстому нужен был этот взгляд не изнутри, а со стороны, взгляд искушенного, но в общем-то не очерстневшего человека «из простых», более зоркого, чем люди круга Нехлюдова с их рано погасшими глазами. Нет сатиры и нет морализирования, все подытожено одной фразой, последней: «Непостижимое создание человек!»

Ею заканчивает набросанную перед смертью страничку Нехлюдов, но, по всей логике рассказа, она принадлежит непосредственно автору. Перебирая в памяти все дальше отодвигающееся прошлое и погружаясь в такой же пристальный анализ «подробностей чувства» на страницах дневника, Толстой все время сознает, что в нем сталкиваются два несовместимых начала. Его переполняет восторг перед жизнью, перед чистой радостью незабытого детства, перед Кавказом, «в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи — война и свобода». И тут же появляется гнетущее опасение, что духовные силы, которые в нем заложены, пропадут втуне, что никогда ему не победить своих пороков и не преодолеть отчужденности от окружающих, что так ему и суждено остаться «нелюбимым». Николеньку, который смотрит в распахнутое окно на ночной сад и мечтает о любви, пронзило чувство, что в этом мире, где ему дорог каждый лунный отблеск на покрывшихся росой цветах и каждый скрип сросшихся старых берез, таится некий «странный смысл — смысл слишком большой красоты и какого-то недоконченного счастья». Ключевое слово в этом лиричном отрывке из «Юности» — счастье, но оно вправду недоконченное, пока омрачено стыдом за собственные слабости и срывы или неуверенностью в

себе, пусть она прикрыта смешным самомнением, или предчувствиями угроз, которые таит так хорошо известная — если не герою, так автору — человеческая непостижимость. С этим психологически сложным комплексом «недоконченного счастья» Толстой покидает Кавказ в первый месяц много в нем переменившего 1854 года.

«Война в настоящем ее выражении»

Путь его лежал на Дунай, в Молдавию и Валахию, где разгоралось пламя большой войны. Русская армия под командованием князя М. Д. Горчакова, дальнего родственника Толстых, вторглась в пределы Османской империи и весной 1854 года начала осаду Силистрии, турецкой крепости, которая считалась ключом, открывающим дорогу к Стамбулу. Официально было объявлено, что пробил час освобождения угнетаемых христианских народов и Россия берет на себя эту миссию. Затрепетали сердца славянофилов, мечтавших, что православный крест вновь увенчает купол оскверненной, ставшей мечетью константинопольской Софии. Князь Вяземский, в далеком прошлом вольнодумец и один из близких друзей Пушкина, сочинил, захлебываясь от казенных восторгов, «Песнь русского ратника»:

Мы накажем горделивых,
Отстоим от нечестивых
Наш поруганный алтарь!
Закипи, святая сеча!
Грянь, наш крик, побед предтеча:
Русский Бог и русский царь!

Сведущие в политике люди хорошо понимали опасности этой кампании. Они не ошиблись: уже вскоре под Евпаторией появились английские и французские военные корабли и ареной боевых действий стал Крым. Из своего лондонского изгнания Герцен, не обинуясь, высказал свое понимание событий, которое было всего ближе к истине, — Николай затеял войну, потому что собственного измученного народа он боялся больше, чем всех внешних врагов. Но время не располагало к трезвости мысли и оценки. Патриотическое воодушевление поначалу выглядело чуть ли не всеобщим. Похоже, ему отчасти поддался и кавказский юнкер.

Впрочем, главной причиной, которая побудила Толстого подать рапорт

о переводе в Дунайскую армию, была усталость от своего образа жизни, который ему «невыносимо надоел». Об этом он писал брату Сергею незадолго до прощания со станицей Старогладковской: «Вот уж год скоро, как я только о том и думаю, как бы положить в ножны меч свой, и не могу. Но так как я принужден воевать где бы то ни было, то нахожу более приятным воевать в Турции, чем здесь». Прощение было удовлетворено. 19 января 1854 года Толстой навсегда простился с Кавказом. Эти два с половиной года он потом будет вспоминать как «и мучительное, и хорошее время».

Мучительным оно было из-за постоянного чувства одиночества и несчастья. Но зато, напишет Толстой через пять лет в одном очень искреннем письме, «никогда, ни прежде, ^и ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал туда» — в область вечных вопросов и вечных сомнений.

«И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением... Я нашел простую, старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает, я нашел, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно».

Это истины Евангелия, которое Толстой перечитывал снова и снова, но не состоянии был уверовать ни в Искупителя, ни в таинства. Вот из-за чего так изводило его сознание, что он несчастлив, что «сердце сохнет с каждым годом» и ничего тут не поправить: «Я надеюсь еще и в короткие минуты как будто верю, но не имею религии и не верю». Что же, «у каждой души свой путь, и путь неизвестный, и только чувствуемый в глубине ее». Видно, он родился таким, что у него «жизнь делает религию, а не религия жизнь».

Дата под этим письмом Александре Толстой, двоюродной тетке, которая, хотя и была одиннадцатью годами старше Льва Николаевича, как раз в ту пору, кажется, пробуждала у него не только родственные чувства, — конец апреля 1859-го. Подводится духовный итог уходящей молодости, ясно осознана проблема, которая для Толстого останется главенствующей еще целых два десятилетия. Вправду ли надлежит подчинить свое бытие заповедям и нормам, которые сами по себе бесспорны, однако пришли не как результат пережитого и передуманного, а достались как готовое знание? Или верно другое: действительна лишь та вера, которую человек обрел, всматриваясь в собственный опыт, чтобы сделать из него твердые нравственные выводы, и они должны быть предельно честными, то есть обязывающими к реальному действию?

Но если так, тогда нужно, чтобы опыт был подлинным и полным. На Кавказе, пишет Толстой тетушке Александре, он впервые испытал

состояние «умственной экзальтации», потому что в первый раз ощущал свой опыт как подлинный. Праздный московский быт сменился испытаниями и лишениями, в соприкосновении с новым и непривычным порядком жизни обозначились другие горизонты. Все это и потребовало задуматься о главном, пробудив «страсть к истине, какая была в то время во мне». Дунайская армия и особенно Севастополь разожгли эту страсть еще сильнее.

*

Под Новочеркасском разыгралась метель, возок проплутал всю ночь, и в дневнике появилась запись: не написать ли об этом рассказ? Рассказ, так и озаглавленный — «Метель», будет написан лишь два года спустя, и Толстой прочтет его в салоне того самого князя Вяземского, который очень воодушевился при известии о начавшейся Восточной войне. А пока Толстому не до литературы. Он, не останавливаясь на ночлег, мчится в Ясную, где хочет сделать остановку перед тем, как ехать к новому месту назначения.

В Туле из «Русского инвалида» Толстой узнал, что произведен в прапорщики, причем со старшинством, исчисляемым еще с февраля прошедшего года. Ясная после трехлетнего отсутствия произвела впечатление, какого он не ожидал: дела в относительном порядке, съехавшиеся в родное гнездо братья от души ему рады. Обиход самый простой — набросав сена, спать ложатся прямо на полу. Огорчает лишь полученное по приезде письмо из редакции «Современника», где недовольны «Записками маркёра», которые «очень слабы по выполнению». Но потом Некрасов пожалеет, что поспешил с оценкой.

Две недели в Москве оставляют тягостное воспоминание: «Беспорядочен физически и морально и сделал слишком много расходов». Перед самым отъездом по настоянию княгини Горчаковой, одной из многочисленных его тетушек, Толстой посетил митрополита московского и коломенского Филарета, в миру В. М. Дроздова, авторитетного богослова, который когда-то полемизировал в печати с Пушкиным, убеждая его, что жизнь — не напрасный и не случайный дар. О чем этот маленький, сухонький старичок беседовал с Толстым, неизвестно, однако разговор был долгий и на прощание Филарет благословил своего гостя, подарив финифтяный образок, долго потом берегавшийся в яснополянском доме.

Было несколько счастливых минут у сестры Маши в ее имени

Покровское. Имение принадлежало Валериану Толстому, племяннику Американца и троюродному брату яснополянских Толстых. Маша вышла за него семнадцатилетней, он был вдвое ее старше. О том, что этот брак, в котором родилось подряд четверо детей, оказался несчастливым, братья и тетушка Туанет догадались не сразу, да и Маша долго не замечала — верней, не хотела замечать — униженности своего положения. Деспот в семье, сладострастник по натуре, Валериан после женитьбы продолжал навешать свою любимую наложницу-крепостную, которая подарила ему несколько отпрысков. Были и еще истории в том же роде. В конце концов Маша осознала, что ей предназначена роль старшей жены в серале, и разъехалась с супругом. Но эта драма разыграется позднее, а пока Толстого все умиляет в тихой Покровской жизни, где Маша, пока ее благоверный отсутствует под предлогом охотничьей экспедиции, занята французскими романами, рукоделием, воспитанием детей да верчением столов в обществе гувернантки мадемуазель Вергани.

Он заедет и к брату Дмитрию в его Щербачевку, а из Курска по тающему снежному пути отправится через Полтаву на юг. От Херсона началась непролазная грязь, в Кишинев Толстой прибыл измученным до полусмерти. Надо было проделать в тряской повозке немалый путь до Бухареста. После неизбежных проволочек его направили в распоряжение генерала Сержпутовского, который командовал артиллерией нескольких корпусов.

Под Силистрию, куда были стянуты главные русские силы, Толстой прибыл в самом конце мая. Осада длилась уже два месяца, предстоял штурм. Крепость обстреливали из пятисот орудий, русские траншеи подступали к самым бастионам. С поручениями своего генерала Толстой много раз бывал в этих траншеях; как-то пехотный офицер, решив пощекотать нервы «графчику» из штабных, нарочито медленно провел его вдоль линии огня, не прекращавшегося ни на минуту. «Я это испытание выдержал наружно хорошо, но ощущение было очень скверное», — много лет спустя запишет со слов Толстого один мемуарист. Следующей весной в Севастополе подобные испытания станут каждодневными.

Штурм назначили на ночь 6 июля. Уже развертывались колонны, когда явился петербургский курьер с повелением императора прекратить операцию и возвращаться в пределы России. Этого потребовали от Николая европейские державы — он подчинился, хотя уступкой не предотвратил вторжения в Крым. Армия считала полученный приказ настоящим несчастьем, а болгары из окрестных селений умоляли не бросать их на произвол янычар. Уйти с русскими смогли немногие, остальных турки

вырезали, исключая лишь молодых женщин, которых отобрали для гаремов.

Тетушке Ергольской Толстой написал о подавленном настроении в войсках, однако его дневник лишь очень скупое фиксирует хронику основных событий этой неудачной кампании. Толстой по-прежнему поглощен наблюдением за самим собой и мыслями о том, что он такое как личность.

Буквально на следующий день после несостоявшегося сражения у Силистрии в дневнике Толстого появляется пространная запись, в которой самоанализ достигает своей кульминации, подводя к заключениям, очень нелестным для аналитика. «Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет». Ни слова о том, что он теперь писатель, о котором говорят всерьез, ни намек на «умственную экзальтацию», которой увенчались кавказские годы. Только слабости и недостатки: «Я дурен собой, неловок, нечистоплотен... раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolerant) и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда... Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой».

Но и это еще не все. Ужасно, что самое главное свойство его несчастного характера — это честолюбие. Он так хочет для себя славы, что, принужденный выбирать между славой и добродетелью, обязательно выберет первую. Вскоре будет случай подтвердить это наблюдение. Сын Сержпутовского, артиллерийский поручик, был контужен, об этом доложили государю. Толстому стыдно признаться себе, как бы он хотел быть на месте счастливицы, чье имя теперь известно царю.

Ум и честность — пожалуй, других достоинств Толстой за собою не видит, однако «ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан», а честность оказывается ненадежной порукой, если понимать ее как стремление к добру. Слишком часто он от этого стремления отклоняется, и велика ли важность, что каждый раз испытывает при этом чувство недовольства собой?

В тот день, когда все это пишется, у Толстого лежит на столе том Лермонтова, открытый на «Герое нашего времени». Может быть, даже на той странице, когда перед дуэлью Печорин перебирает в памяти прошедшее и спрашивает себя: «Зачем я жил? для какой цели я родился?».

и чувствует в душе «силы необъятные», которые пропали втуне, потому что он «увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных». Ход мысли в этой записи журнала Печорина и в толстовском дневнике почти идентичен, даже в интонации есть что-то схожее. Различие в том, что для Толстого дневник — не литература, как, впрочем, и не исповедь в точном значении слова. По крайней мере, это не та запись случившегося и пережитого, по которой можно без каких-то существенных пропусков восстановить историю человека, заносящего в дневник все самое важное, что с ним приключилось на его веку.

Дневники этого времени Толстой ведет без оглядки на возможного читателя, — сознание, что любое его слово непременно станет общественным достоянием, придет лишь десятки лет спустя, и тогда будет заведен дневник «для одного себя», скрывааемый даже от самых близких. Однако и эти ранние дневники фиксируют не все подряд, подчас опуская события, очень важные для биографической хроники записывающего, и, наоборот, отмечая мелочи, которые на самом деле давали Толстому ощутить, какие разные начала в нем совместились, не образовав — пока не образовав — внутренне непротиворечивого единства. Самому себе Толстой интересен как раз в своей противоречивости, осознаваемой все более ясно, но не преодоленной, наперекор всем стараниям этого добиться.

Из Лермонтова, помимо «Героя нашего времени», в дневнике отмечено начало «Измаил-Бея», которое Толстому показалось «весьма хорошим», потому что напомнило ему о Кавказе, а Кавказ он полюбил, «хотя посмертной, но сильной любовью». О «Герое» только упомянуто — «перечитывал», — но все-таки та аналитическая дневниковая запись от 7 июля возвращает не к поэме, а именно к журналу Печорина, где Толстого, видимо, привлек очень ему в то время близкий тип человека, по своим высшим ценностям и главенствующим духовным устремлениям чужеродного эпохе, в которую ему выпало жить, а тем не менее раз за разом перенимающего установленные этой эпохой нормы социального поведения, несущего на себе ее очень отчетливые отпечатки, мучающегося своей несвободой от нее и не знающего, как от этой зависимости освободиться. С молодым Толстым — на Кавказе, в Севастополе, в первые годы после Крымской войны — происходило, в сущности, то же самое, и тогдашние дневники рассказывают прежде всего эту историю, а из реальных событий включают в себя только такие, которые могли бы приблизить к постижению ее смысла.

Из-под Силистрии обозы долго тянулись к Бухаресту и еще дальше в Кишинев, куда Толстой прибыл только в начале сентября. Дневниковые

записи этих месяцев варьируют привычные ноты: опять крупный карточный проигрыш — три тысячи, придется продать лошадь, — опять бесхарактерность и лень, опять, бросив рукописи и Шиллера, которого подарил знакомый румын-доктор, бегал за девками и «целый вечер шлопутничал». План общества, которое будет содействовать просвещению солдат, не кончается ничем путным, презрение к себе все сильнее, выхода не видно никакого. Но как раз в это время приходит известие, что на северных крымских берегах высадилась соединенная армия англичан, французов и турок и что, опрокинув на речке Альме дивизии князя Меншикова, союзники двинулись к Севастополю. Решение приходит немедленно: русский офицер Толстой должен быть на месте главных событий, когда отечество в опасности. Он приезжает в осажденный Севастополь 7 ноября.

*

До этого произошло два события, болезненно им пережитые: продажа дома, в котором он родился, — так пришлось расплачиваться за кавказское «шелопутство» — и запрет «Военного листка», журнала для солдат. Дом купил помещик-сосед Горохов и свез к себе в Долгое, за восемнадцать верст от Ясной. Николенька писал брату, стараясь его утешить: вид их родового поместья ничуть не испорчен, даже как-то и не чувствуется, что стало пустовато и голо. Непонятно, для чего Горохов сделал эту покупку. Дом так и простоял нежилым больше лолувека, а затем пошел на крестьянские-хозяйственные нужды.

Полторы тысячи, оставшиеся после выплаты долгов, пошли в дело, чтобы покрыть расходы по журналу. Идея была благородной: несколько офицеров решили печатать достоверные отчеты о ходе войны, воспитывать у нижних чинов истинное патриотическое чувство, внушать им «правильное понятие о вещах». Составили проспект, отредактированный Толстым, и послали его командующему, который со своим одобрением послал нужные бумаги в Петербург на высочайшее имя. Никто не сомневался в успехе этого плана, однако, выслушав доклад военного министра, царь наложил запретительную резолюцию и высказался в том духе, что для подобных надобностей существует «Русский инвалид», официозная газета, в которой, разумеется, исключались статьи, «не такие сухие и лживые, как в других журналах». Меж тем цель предприятия, как она очерчена в письме Толстого брату Сергею, именно в этом и состояла.

Пытаясь поправить дело, Толстой написал Некрасову, что хотел бы помещать приготовленные статьи в «Современнике», однако и тут ничего не получилось: из приглашенных им сотрудников никто не написал ни строки, а в одиночку ему было не справиться. Из того, что было задумано для «Военного листка», остался только один набросок, который нашли в архиве уже после смерти Толстого, — «Как умирают русские солдаты». Это конспективная запись эпизода, запомнившегося из кавказской поры: экспедиция, смертельно раненый рядовой Бандарчук — славный солдат, «вся рота им держалась», — непарадный героизм, когда спокойно и просто, без хвастовства, «без желания отуманиться», люди идут навстречу смерти, а прощаясь с жизнью, думают только о том, чтобы никакого, даже самого мелкого греха не осталось на душе. В Севастополе такие примеры он будет видеть ежедневно, убеждаясь, что не понапрасну главной чертой народа была им названа «великая простота и бессознательность силы».

Толстой чувствовал, что не может и не должен оставаться в стороне, когда эта бессознательная сила была востребована Россией, чтобы предотвратить бесчестье, поскольку военное поражение становилось неизбежным. Сергею Николаевичу он пишет, что просьбу о переводе в Севастополь подал из «патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно нашел на меня». Пройдет полвека, Толстой станет отзываться об этом чувстве крайне негативно: «Патриотизм — это внушение суеверия». Но молодым он смотрел на вещи по-другому.

В неудачном октябрьском сражении под Инкерманом погиб один из участников несостоявшегося «Военного листка». Толстой записывает в дневнике: «Мне как будто стало совестно перед ним». Запись сделана в Одессе, куда Толстой приехал 2 ноября. Пять дней спустя он был уже в Севастополе, где явился к начальнику артиллерии Кишинскому. Грустный, с обвислыми усами, тот сидел на бревнах у бастиона и задал новому офицеру всего один вопрос: «Зачем вы сюда приехали?» Но все-таки дал ему назначение в 11-ю артиллерийскую бригаду.

Батарея стояла в деревне Эски Орда, довольно далеко от места главных событий, однако и в Севастополе Толстому случалось бывать часто. А неделя, проведенная там сразу по приезде, дала ему ясно ощутить, какой героизм поминутно выказывают защитники крепости и как бездарно действует командование армии. О конфузе на Альме, об Инкермане сложили дерзкие песни, в которых говорилось про храбрость, с какой отступали, оставляя в степи раненых, про угодничество престарелого князя Меншикова, думавшего не о войсках, а о том, как бы ублажить великих князей Николая и Михаила — оба получили за Инкерман по Георгию, хотя

и не понюхали пороха. Создателем этих песен называли Толстого, хотя оба сражения произошли еще до его приезда в Крым. Сочинил их, скорее всего, полковник Меньков, будущий редактор «Русского инвалида», хотя какое-то авторское участие Толстого не исключено. А вот песня «Как четвертого числа», которая появилась сразу после сражения на Черной речке 4 августа 1855 года, — после него стало ясно, что Севастополь придется оставить в ближайшие дни, — действительно принадлежит ему.

Она пользовалась особенной популярностью. Толстой и на старости лет помнил забавный случай: шли они с одним капитаном-севастопольцем, и тот, напевая куплеты, приговаривал: молодец сочинитель, «как это он ловко подобрал, сукин сын!». Какие-то списки этого желчного и горестного рассказа про штурм Федюхиных высот, на которые двинулись полки, а пришли всего три роты, и то ненадолго, из Крыма быстро попали в Петербург, оттуда к Герцену, и он напечатал песню у себя в «Полярной звезде». В армии песня имела самое широкое хождение: ее знали солдаты, она с дополнениями и вариациями исполнялась на офицерских пирушках, и не для всех было тайной, кто ее автор.

Простонародная по языку, свободная по духу, песня выражала чувства, понятные всем, кто провел севастопольскую кампанию не в штабах и не на бульваре, где в дни страшных бомбардировок продолжал вечерами играть оркестр, а на бастионах и в ложементх под неприятельским смертельным огнем. Им хорошо была известна цена, уплаченная за амбициозные генеральские прожекты, которые убедительны на бумаге и несостоятельны на деле. Ненавистны стали сами эти имена — Ред, Сакен, Белевцев, кабинетные полководцы, способные лишь потрясать знаменами, зато получившие сабли с брильянтами за свою бездарность, обернувшуюся позором всей армии.

Не оглядываясь на цензуру, Толстой передал в своей песне то, что эта героическая и обреченная армия думала, о чем едва ли не вслух говорила в черные августовские дни 1855 года. До последнего никто из участников обороны Севастополя не верил, что при каких бы то ни было условиях город будет сдан врагу. Упорство и воодушевление защитников крепости потрясли Толстого. Он сообщает брату Сергею Николаевичу вскоре по приезде: «Дух в войсках выше всякого описания. Во времена Древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо: „Здорово, ребята!“ — говорил: „Нужно умирать, ребята, умрете?“ — и войска кричали: „Умрем, ваше превосходительство. Ура!“ И это не был эффект, а на лице каждого видно было, что, не шутя, а *взаправду*, и уж 22 000 исполнили это обещание». Адмирал Корнилов, герой севастопольской

кампании, тоже его исполнил.

Воодушевление было самое неподдельное. Раненые отказывались покидать позиции. Женщины под свист снарядов носили солдатам обед и воду, священники читали молитвы на бастионах. И, видя этот некрикливый будничный героизм, Толстой особенно ясно осознавал, что ничего иного не могут противопоставить отлично подготовленной неприятельской армии ни Меншиков, ни сменивший его на посту командующего Горчаков. Забитая, замученная «бессмысленным учением о носках и хватках», задавленная жестокой системой наказаний за малейшую провинность, полуголодная солдатская масса тянула на себе непосильное бремя заведомо безнадежной войны, а ее еще упрекали за мнимую трусость и нерадивость.

В ней начинал медленно вызревать протест. Уже в Одессе Толстой наслушался разговоров о преступной халатности, а то и об измене Липранди и Даненберга, из-за которых армии пришлось, не уступив противнику в бою, уходить по непролазной грязи и нести при этом огромные потери. Старики плакали навзрыд, молодые всерьез грозили расправой с обоими генералами. «Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты, — записал он в дневнике. — Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы... Энтузиазм, вызванный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства».

Эта вера не поколебалась и после печального завершения севастопольской обороны. Финал был предсказуем, но все равно Толстой не допускал и мысли о поражении, особенно после того, как его батарею перевели из резерва на передовую. Это случилось в конце марта 1855 года, и полтора месяца Толстой провел на Четвертом бастионе, который считался самым гибельным местом, потому что бомбардировки не прекращались там сутками напролет.

После четырех дней дежурства можно было неделю в безопасности отсыпаться у себя на Екатерининской, а потом снова предстояло по разбитым окопам, уступая дорогу носилкам с ранеными, возвращаться к батарее. Стреляли гранатами, когда артиллерия прикрывала вылазки из расположенных перед бастионом ложементов, или картечью, если на приступ шли французы. Как-то выпущенный противником снаряд угодил прямо в колесо лафета, но был туман, и Толстой, наводивший орудие, кажется, даже не сразу заметил, что был на волосок от смерти. К бастиону прискакал с приказом из штаба граф Олсуфьев, будущий флигель-

адъютант, и стал требовать, чтобы Толстой взял пакет, сделав перебежку по непрерывно простреливаемой полосе, а услышав приглашение пожаловать на батарею, развернулся и уехал. В траншее его не назначали, однако ордена Святой Анны четвертой степени с надписью «За храбрость» Толстой удостоился без протекции — он его заслужил.

Малахов курган обогатил его опытом, которого никогда бы не дали рутинные будни зимой в Эски Орде и потом на речке Бельбек. Там, пока жили в сколоченных солдатами бараках, болели малярией, желтея от хины и развлекаясь только картами, не отступала скука и накапливалось раздражение против самого себя: зачем он просил о переводе, если события, после которых «Россия должна или пасть, или совершенно преобразоваться», все равно происходят без его участия? Отношения с другими офицерами, не складывались. Они, видимо, считали, что Толстой просто барич, которого волей случая занесло на войну. Дошло до прямого столкновения, когда Толстой с его щепетильной честностью отказался присвоить остаток казенных денег, отпущенных на фураж и на ремонт, да еще уговаривал остальных последовать его примеру. Прежде такое никому и в голову не приходило, батарея привычно считалась доходной статьей. Кажется, за этот проступок Толстой даже получил нагоняй от своего начальства.

Штос, новый сокрушительный проигрыш («я себе до того гадов, что желал бы забыть про свое существование»), кутежи в Симферополе, поездки по крымским долинам, откуда бежали напуганные войной жители, — все осталось в прошлом. Теперь Толстому открылась «война в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти...»

Вот какой он ее увидел и описал в рассказе, начатом, по-видимому, еще осенью, а законченном на Четвертом бастионе и на Екатерининской, между дежурствами, — «Севастополь в декабре месяце»: смешение красивого города и грязного бивуака. Свистящие бомбы, люди, без суетливости и без следов энтузиазма на лицах делающие свое обыкновенное дело, которым стала повседневность бойни. Черные развалины, канавы, носилки. Не соприкасавшимся с нею напрямую, тем, кому война грезится «в правильном, красивом и блестящем строе», надо бы наведаться в севастьяпольский госпиталь, взглянуть на врачей с окровавленными по локоть руками, вдохнуть запах хлороформа, услышать бред и стоны покалеченных. Никогда больше не поверят они рассказам о гарцующих генералах, реющих знаменах и бодрой музыке полковых оркестров.

Дневник содержит удивительное признание: Толстому жаль уходить с

бастиона, он сроднился со своими солдатами и с моряками, даже в опасности он находит какую-то «постоянную прелесть», хотя горько думать, что, видно, его судьба — служить просто пушечным мясом, не более. Не хочется и думать, что его здесь не будет при штурме. Этого не случилось: хотя с бастиона его перевели в близкий тыл, на Бельбек, — так, после чтения «Севастополя в декабре месяце», решили при дворе, причем особенно постаралась тетушка Александрин, — он был и в деле на Черной речке, и при штурме 27 августа, когда командовал батареей. В Севастополе он встретил свой 27-й день рождения, плакал, видя город в огне и французские знамена на бастионах. Наблюдал эвакуацию по колышавшемуся мосту на Северной стороне. Был свидетелем взрыва заминированного форта, который решили не оставлять победителям, не подумав о судьбе пятисот русских раненых, которые там оставались.

Вся «эпопея Севастополя, героем которой был народ русский», прошла перед его глазами, и он сам был ее участником — обычным, рядовым, как тысячи других защитников, выказавших «простоту и упрямство», сознание своего достоинства и высокое чувство: Толстой считал, что эти «главные черты» и составляют их силу.

Однако не рядовым был строй его собственных чувств. И уж никак не обычным — видение происходившего.

Стихи Толстой писал очень редко, у него не было поэтического дарования, и с этой музой он общался, причем только в юности, лишь под воздействием очень сильных переживаний. Но его севастопольская эпопея начинается как раз со стихов, которые записаны в дневнике за 20 ноября, и при всем своем несовершенстве они достоверно передают ощущение душевного кризиса, пришедшее как раз в минуты патриотического подъема, рождавшего уверенность, что Севастополь непременно выстоит. Вот эти стихи:

Когда же, когда, наконец, перестану
Без цели и страсти свой век проводить,
И в сердце великую чувствовать рану,
И средства не знать, как ее заживить.

Далее говорится про грядущее ничтожество и томящую грусть, но за этими трафаретными поэтическими формулами все-таки без труда распознается одно из обычных для Толстого состояний острого недовольства собой и готовности все бросить, все решительно переменить,

какие бы потери ни повлек за собой подобный шаг. Видимо, и на бастионе это состояние не прошло или прошло не до конца. Мемуаристы запомнили какие-то странные поступки, которые едва ли объяснимы только «прелестью опасности», — они скорее наводят на мысль об инстинктивном подражании лермонтовскому Вуличу, фаталисту из «Героя нашего времени». Когда уже зажжен фитиль и сию секунду вылетит граната, Толстой, не наклонившись, пробегает перед наведенной пушкой. В другой раз он во время краткого затишья вдруг производит из своего орудия выстрел, и тотчас неприятельские бомбы начинают рваться рядом. Храбриться и красоваться не перед кем, это просто испытание самого себя. Или пренебрежение самим собой.

«Без цели и страсти...» А ведь цель как будто найдена — разве не кончается первый севастопольский рассказ восхищением героями, которые в тяжкие времена «не упали, а возвышались духом» и готовы были к смерти «не за город, а за родину», разве он сам не из их числа? И страсть для этого подвига нужна неподдельная, пусть она обходится без театральных жестов.

Но сознания такой цели и ощущения такой страсти Толстому недостаточно. Он должен оправдать именно свое бытие в мире, а если этого оправдания не находится, приходит безразличие к собственной судьбе. Карточная игра, которая затягивает долговую петлю, игра со смертью на бастионе — кажется, для него то и другое стоит в одном ряду. Начатый севастопольский рассказ отложен ради проекта реформирования армии, который Толстой лихорадочно составляет — и, не окончив, тоже забрасывает — в первые свои дни на бастионе: положение ужасное, повсюду зло, влекущее за собой угрозу существованию отечества, офицерство развращено, солдат угнетают, воспаляя в них ненависть к начальникам, генералитет — это преимущественно «люди без ума, образования и энергии». Полтора месяца спустя, едва закончив «Севастополь в декабре месяце», Толстой принимается за докладную записку, но прерывает ее на полуслове, и она не получает хода, а в ней положение и дух войска характеризуются как почти катастрофические. Хотя только что, на последней странице он повторил поразивший его рассказ о том, как Корнилов, объезжая укрепления, призывал умереть, не поступившись честью, и ему отвечали: «Умрем! ура!»

Все это выглядит непоследовательностью — патриотический порыв и тут же фатализм человека, словно бы нарочно ищущего смертельной угрозы. Твердая вера в русский героизм и крепнущее опасение, как бы среди солдат не возобладал уже достаточно распространенный тип

«отчаявшихся». Таких, кто, по словам Толстого в его недовершенном проекте военной реформы, «украдет у товарища, ограбит церковь, убежит с поля, перебежит к врагу, убьет начальника и никогда не раскается»

Поверхностный взгляд отметит тут явное противоречие, но в действительности его нет. Просто Толстому уже свойственно воспринимать события не так, как они видятся массе, и он стремится к постижению сложности, разнородности явлений, зная, что их истинный смысл откроется, только если охватить явление с самых разных сторон. Свой второй севастопольский рассказ, написанный летом, Толстой закончил декларацией, что его истинный герой, «который всегда был, есть и будет прекрасен», — правда. Одна лишь патетическая героика, равно как одно только негодование на безобразные армейские порядки, из-за которых дело идет к военной катастрофе и позору России, для Толстого никак не могли быть синонимами истины. Добивающемуся истины следовало прежде всего усвоить, что ни прямолинейной, ни упрощенной она не бывает.

Еще существеннее, что после всего пережитого в Севастополе истина для Толстого окончательно перестала соотноситься с войной. На Кавказе он себя убеждал, что война против горцев необходима, потому что надлежит защитить себя от набегов дикого племени, а Севастополь, когда поражение, по словам из его неоконченной докладной записки, означало бы «погибель всего того благого, что кровью приобрела Россия», оправдание войны могло бы показаться самоочевидным. Однако «Севастополь в мае» начинается сотни раз процитированным впоследствии рассуждением о невозможности, недопустимости войны как таковой, потому что «или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, они совсем не разумные существа, как у нас почему-то принято думать». И, какими бы непредсказуемыми путями ни двигалась затем его мысль, этим убеждением Толстой ни поступится никогда.

Война могла для него быть героикой, но не могла стать целью, а значит, и пробудить страсть. Его духовная энергия устремлялась в иное русло, цель, без которой он не мыслил своего существования, виделась в искании истины, которая сделалась бы всеобщей и бесспорной. «Быть хорошим и счастливым», достичь литературной славы, чтобы явилось «добро, которое я могу сделать своими сочиненьями», — все эти отмеченные дневником определения предстоящего пути все-таки относятся только к нему самому, а притязания Толстого, по существу, гораздо серьезнее. Он хотел бы облагодетельствовать весь человеческий род, считая непреложностью, что человек «стремится к жизни духовной» больше, чем к любым плотским радостям. И если желание духовной жизни

действительно преобладает у людей, то вот она цель, которой Толстой готов себя посвятить на десятилетия вперед: «...основание новой религии, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».

Мысль эта приходит к Толстому в первые же дни после перевода непосредственно в Севастополь, когда все происходящее вокруг менее всего располагает думать о блаженстве, да еще не потустороннем, а земном. Это характерное толстовское свойство: думать о вечном, искать главные ответы как раз в минуты, когда для остальных горизонт полностью заслонен длящимися драматическими событиями. Севастополь будет оставлен в конце августа, Толстой по горячему следу напишет эпилог печально закончившейся эпопеи, а важнейшая идея, которая из нее родилась, будет им словно бы забыта на долгие десятилетия. Однако Толстой к ней вернется и она овладеет его сознанием уже до самого конца жизни. Уже поэтому севастопольский год явился самой значительной вехой в первую эпоху его биографии.

*

Если же говорить о биографии писателя Толстого, этот год стал вехой, поскольку были созданы три севастопольских рассказа.

Их печатал «Современник», сталкиваясь с большими трудностями. Приходилось исключать целые фрагменты, помеченные красным цензорским карандашом, а то, наоборот, без ведома автора вписывать официально звучащую фразу, которая резко выпадала из общей тональности повествования. Положительное суждение нового государя о «Севастополе в декабре месяце» не успокоило главу Петербургского цензурного ведомства Мусина-Пушкина, который мог быть известен Толстому, так как до 1845 года состоял попечителем Казанского учебного округа. Из корректуры «Севастополя в мае» Мусин-Пушкин выбросил целую главу, исчеркал страницы своими возмущенными комментариями, а потом вообще запретил рассказ, и редакция добилась права его поместить в следующей книжке только при поддержке князя Вяземского, который только что занял пост товарища министра народного просвещения.

Узнав об этих перипетиях и о том, что рассказ появился в искаленном виде, Толстой отметил в дневнике, что он, «кажется, сильно на примете у синих», то есть у полиции. И дальше: «Сладеньким уж я никак

не могу быть, и тоже писать из пустого в порожнее — без мысли и, главное, без цели». Первая мысль была — совсем оставить литературу, однако к тому времени уже шла работа над «Севастополем в августе» и отказаться от нее Толстой не мог. Перед ним лежали рапорты офицеров, находившихся на разных фортах и бастионах, когда происходил штурм, да и запас собственных наблюдений был очень богатым. Форма, по сравнению с другими севастопольскими рассказами, особенно с первым из них, была изменена, и заключительная часть севастопольского триптиха больше напоминает традиционную прозу с хорошо разработанными характерами действующих лиц. Но пафос остался прежним — пафос неупрощенной правды, которая не могла понравиться приверженцам официальной версии. Не допускались негативные описания штабных офицеров, которые, надежно обеспечив собственное благополучие, получают за свое бездействие повышения и ордена, нельзя было говорить ни о разворованных обозах, ни о приписках в военной отчетности. Рассказ появился в январском «Современнике» за 1856 год сильно пощипанным, но автор, видимо, смирился, поняв, что это неизбежно. И даже — впервые — поставил под своей публикацией полную подпись: граф Л. Толстой.

Эта подпись стояла и на титуле первой книги Толстого «Военные рассказы». Она была издана в сентябре, причем удалось восстановить многое, чем вынужден был пожертвовать «Современник»: требования к книжным изданиям предъявлялись не настолько жесткие, как к периодике, а кроме того, дал себя почувствовать более либеральный дух нового царствования. При Николае I, особенно в последние годы, цензурный режим был непереносимым. Удивительно, каким образом рассказы Толстого, пусть изуродованные, вообще дошли до читающей публики.

Из них вычеркивали все, что, по официозным понятиям, могло бросить тень на героическое русское войско, однако невозможно было ни выбросить, ни переменить описание севастопольской обороны, правдивое в каждой подробности и как раз своей правдивостью опровергшее все казенного происхождения легенды, которыми было окружено это событие. Какими итогами только и может увенчаться Крымская война, знали все думающие, все не поступающиеся честностью русские наблюдатели этих событий. Тютчев, у которого не было ничего общего с фрондерами из числа разночинцев и демократов, после падения Севастополя писал жене: «Это только справедливо, так как было бы неестественно, чтобы тридцатилетнее господство глупости и злоупотреблений увенчалось торжеством и славой». В докладной записке Толстой подходил к тем же выводам, и рассказы содержат достаточно свидетельств в их обоснование. Однако обличение

неискоренимых пороков николаевского режима, которые привели к этой катастрофе, не было для него в рассказах ни основной, ни даже существенной задачей.

В них преобладала стилистика отчета или корреспонденции, перемежаемая ораторскими формулами, когда автор высказывал свои наиболее ответственные и важные мысли. Эти сентенции, касающиеся природы войны или «войны в настоящем ее выражении», уже не выглядели абстрактными выкладками, а наполнялись достоверным, убеждающим смыслом как раз оттого, что они опираются на абсолютно правдивое описание севастопольских будней. Толстой избежал и плоской фактологии очерка, когда достаточно просто зафиксировать, не делая попытки осмыслить, и риторики проповеди, предполагающей, что смысл, моральный урок ясны без воссоздания самих событий. У него рассказчик и рядом с многочисленными — описанными или просто упомянутыми — участниками обороны, и как бы вознесен над ними, над всей севастопольской панорамой. Наделенная трагическим величием, которое Толстой передал с беспрецедентной точностью и смелостью будничных подробностей, эта панорама поражает и широтой, и полным отсутствием патетики. Все подчинено принципу достоверности, стремление к правде главенствует в каждом эпизоде. И получается внешне безыскусный рассказ для близких. А за этим рассказом — правда о вечном, о важнейшем в человеческом опыте: о самозабвении героизма, бескорыстии подвига, об определяющих качествах русского характера — простоте и упорстве. О страдании и достоинстве. Об ужасе войны. О смерти.

Единственным предшественником Толстого, воссоздавшим войну в ее реальном облике, был высоко им ценимый Стендаль. У них обоих война воссоздана такой, как ее переживает и осознает рядовой участник — мечтатель Фабрицио из «Пармского монастыря», бежавший к своему кумиру Наполеону, чтобы очутиться сразу под Ватерлоо, или юнкер Пест, очень гордый тем, что, не струсив, провел ночь в блиндаже на Пятом бастионе, а потом оказавшийся в атакующей колонне, когда предстояло пустить в дело штыки. Фабрицио жаждет «победить или умереть с человеком, отмеченным судьбою», но тот бесконечный день при Ватерлоо запомнился ему только непрерывным грохотом пушек, из-за которого было так страшно и так больно ушам, стонами раненых, хрипом умирающей лошади — как она билась, запутавшись в собственных кишках! — причитаниями маркитантки над красавцем-кирасиром, когда ему отнимали ногу, бегством от едва его не зарубивших пруссаков. Историки литературы, оценив новаторство Стендаля, назовут созданную им в романе картину

Ватерлоо примером «ограниченного поля изображения», которое получается намного более правдивым, чем прежний взгляд с высоты птичьего полета. Так и у Толстого: подобно Фабрицио, Пест тоже видит и осознает только происходящее с ним самим или совсем рядом, и для него, самонадеянно себя считавшего после той ночи на бастионе чуть ли не героем, война оказывается каким-то непостижимым, ужасным, но неизбежным делом. Нужно куда-то бежать и зачем-то кричать, потому что бегут и кричат все, и не улавливается хотя бы общий контур сражения, но вдруг возникает в темноте чья-то фигура, и штык упирается во что-то мягкое, и вот уже солдат снимает с убитого француза сапоги. Он действует словно в забытии, но как только закончилась вылазка, в которой Пест невольно отличился, все для него вдруг выстраивается в логическую цепочку, и вот уже, беспардонно привирая, он сочиняет банальную историю про свое бесстрашие, точно бы настоящая правда войны постыдна, а необходимы одни легенды о ней, окрашенные скверной театральностью.

Тень Наполеона промелькнет и на страницах «Севастополя в мае». Калугин, офицер из кружка аристократов, вспоминает наполеоновского адъютанта, который с окровавленной головой прискакал к императору, передал приказание и упал замертво, успев перед смертью произнести всего одну фразу — пафосную, как в трагедии, написанной высоким стилем. Калугину лестно вообразить себя на месте этого адъютанта, однако он вовсе не намерен рисковать своей жизнью. Воюют другие: ротмистр Праскухин, не удостоенный чести считаться своим в генеральской свите, штабс-капитан Михайлов, в стоптанных сапогах и с наспех перевязанной головой. А блестящее офицерское общество «довольствуется» впечатлениями от променада у не тронутого бомбами павильона или убеждает себя, что живущие в землянках и неделями не переменяющие белье никак не могут считаться героями. И вся невыносимая пошлость этих разговоров по-французски перечеркнута всего одной репликой не названного по имени солдата, когда на цветущей долине между траншеей и бастионом убирают трупы: «Ишь, дух скверный!»

Бой окончен, Михайлов, томившийся предчувствием смерти, отделался легким ранением, а Праскухин погиб, и погибли еще очень многие, а другие с проклятиями и молитвами на пересохших губах ползают среди трупов или стонут на перепачканном кровью полу перевязочного пункта. Небо над Сапун-горою опять разгорается зарницами, и снова «потянул белый туман с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному

горизонту». Мир светится любовью и счастьем. Но не для тех, от кого остался «дух скверный» — и только.

Толстой был первым писателем, показавшим войну и «в настоящем ее выражении», и одновременно — этого не было даже у Стендаля — *sub specie aeternitatis*, под знаком вечности.

«Севастополь в августе». Штурм, последнее отчаянное сопротивление разрушенных бастионов, густой дым по всей линии укреплений, атака, задержавшая неприятельские колонны, французское знамя над Малаховым курганом. Но это не сам сюжет, а скорее фон и атмосфера, которыми усилена история двух офицеров, двух братьев, погибших в этом сражении, — от века повторяющаяся и всегда трагическая история прямого соприкосновения с жестокостью войны. «Прекрасные, радужные, великодушные мечты» рассыпаются, когда из военного училища, где на выпускном экзамене присутствовал государь, судьба переносит младшего Козельцова на севастьяпольскую батарею, а потом швыряет прямо под пули врага. От мальчика с русой косичкой — считают, что это примета счастья, — остается только что-то в шинели, ничком лежащее у заклепанной французами пушки.

День штурма станет последним и для старшего брата, уже давно не романтика, а того спокойного, терпеливого в труде и опасности человека, который, в глазах Толстого, воплощал в себе все лучшее в русском офицерстве. Его гибель описана без малейшего оттенка аффектации, с безыскусностью, которую Толстой сделал синонимом правды. Атака, бешеная стрельба, куда-то ударившиеся и что-то с ним сделавшие пули, а затем врач, который, бросив на него взгляд, отходит к другому раненому, и священник, протягивающий крест. А все предшествующее финальным эпизодам штурма — это просто тягостные и совсем не героические военные будни. Грязные комнаты с залепленными бумагой стеклами, неразорвавшиеся бомбы и осколки на подступах к бастиону, карточные игры и ссоры, безнадежность, когда «одна отрада есть уничтожение сознания». Ко всему привычный старший Козельцов уже не замечает, что такая жизнь, в сущности, равнозначна «отсутствию всего человеческого». Младшему не отпущено времени, чтобы с нею примириться, позабыв свои грезы о хорошенькой сестре милосердия, которая делает ему перевязку, и о слезах матери, молящейся за него перед чудотворной иконой в далеком уездном городе. На войне пуля не выбирает свою жертву. Толстой написал и об этом.

Однако налет фатализма, который чувствуется в рассказе, — и совсем не как чужеродная нота, потому что такое настроение посещало в

Севастополе самого автора, — все-таки не сказался на безусловной приверженности Толстого к правде о Крымской войне, которая, в его восприятии, выявила и прочность нравственных основ русского человека, таящего в душе «благородную искру», способную осветить «великие дела», и безотлагательную необходимость глубоких перемен всей русской жизни, чтобы не повторилось унижение капитуляцией. Чтобы больше не пришлось бессильно грозить одержавшему победу врагу, заглушая «невыносимую горечь в сердце», с которой участники севастопольской обороны покидали Севастополь.

«Овраг»

Через неделю после штурма Толстой написал Ергольской, что второй раз в жизни испытал такое тяжелое чувство в свой день рождения: восемнадцать лет назад в тот же день умерла Алин Остен-Сакен, а теперь — пал Севастополь. «Я плакал, когда увидел город объатым пламенем и французские знамена на наших бастионах...»

Война была проиграна, в России сменился император. Готовились переговоры о мире, который для побежденных оказался не столь унижительным, как можно было предполагать.

С мыслями о карьере военного было покончено. Два месяца Толстой пребывал «в лениво-апатически-безысходном, недовольном положении». Усугублялось оно новыми карточными долгами. 10 октября он записал в дневнике: «Моя карьера литература — писать и писать! С завтра работаю всю жизнь или бросаю все, правила, религию, приличия — все».

Отпуск ему вышел к концу этого месяца. На несколько дней Толстой заглянул в Ясную, дальше путь лежал в Петербург. Он прибыл туда утром 19 ноября и, оставив чемоданы в гостинице, тотчас направился к Тургеневу. Вечером они вместе обедали у Некрасова. Было решено, что гость переберется к Тургеневу, который занимал нижний этаж просторного дома на Фонтанке, у Аничкова моста. Некрасов и чета Панаевых — Иван Иванович вел вместе с Некрасовым «Современник», Авдотья Яковлевна публиковала в журнале свои рассказы под псевдонимом Н. Станицкий, писала в соавторстве с Некрасовым романы и была его гражданской женой — жили неподалеку, на Малой Конюшенной.

В Петербурге Толстого ждали давно. «Детство», «Отрочество», «Набег» и два севастопольских рассказа вызвали много толков о новом ярком даровании. Кто этот Л. Н. или Л. Н. Т., как были подписаны эти

произведения, долгое время знали только редакторы журнала, состоявшие с ним в переписке, да Тургенев. За полтора месяца до личного знакомства он послал Л. Н. Т. очень теплое письмо из Покровского, имения сестры Толстого Марии Николаевны. В ту пору Тургенев был ею серьезно увлечен: «Мила, умна, проста — глаз бы не отвел». Вера Ельцова, героиня его повести «Фауст», оконченной летом 1856 года, очень напоминает графиню Толстую.

С посвящением Тургеневу только что появился напечатанный в «Современнике» рассказ «Рубка леса», и Иван Сергеевич, благодаря за оказанную ему честь, признался: «Ничего еще во всей моей литературной карьере так не польстило моему самолюбию». Все обещало самую горячую встречу, и поначалу отношения между Тургеневым и Толстым складывались как нельзя лучше. Наблюдая своего постояльца, Тургенев старался быть снисходительным к некоторым его чертам, не придавать особого значения его «дикой рьяности и упорству буйволообразному».

Толстой казался ему человеком «милым и замечательным», «в высшей степени симпатичным и оригинальным». Да, он порой шокировал своими экстравагантными суждениями и поступками, но за четыре с лишним года армейской жизни кто не одичает? Заглянув однажды на Фонтанку, Фет разговаривал с хозяином квартиры полушепотом, чтобы не потревожить спящего в соседней комнате графа. «Вот все время так, — с усмешкой сказал Тургенев. — Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой».

Некрасов тоже закрывал глаза на какие-то странности поведения высоко им ценимого автора, даже находил, что он «выше своих писаний, а уж и они хороши». Толстой сразу объявил, что в Петербург он не надолго, однако Некрасов вознамерился удержать его в столице и связать обязательствами перед «Современником». По службе Толстой получил перевод в столичное ведомство, ведавшее изготовлением ракет; кажется, он ни разу там не появился до самой своей отставки. Решение стать профессиональным писателем было окончательным, и «Севастополь в августе» появился в январском номере «Современника» с полной подписью: «Граф Л. Толстой».

Сближение с Некрасовым оказалось, однако, непродолжительным. Как личность он был Толстому несимпатичен. Сам безоглядный игрок, Толстой раздражался из-за холодной расчетливости такого же заядлого картежника Некрасова, который зазывал его в Английский клуб, где за ломберными столами собирались люди богатые и беспечные — «там всегда можно выиграть». Постоянно подчеркиваемая Некрасовым любовь к простому

народу показалась Толстому притворной после того, как однажды он получил приглашение, запасшись мелочью, пройти перед церковью: оказывается, Некрасов чувствовал себя эпикурейцем, раздавая медяки столпившимся вокруг него нищим. Да и его союз с Панаевой, которая формально оставалась в законном браке, для Толстого с его старомодными понятиями о святости семейных уз выглядел довольно предосудительным.

Некрасов почувствовал это нерасположение, и вскоре тон его отзывов о Толстом переменился, хотя как писателем он им по-прежнему дорожил. Однако восторги — «какой умница! сокол... а может быть, и орел» — утихли, и уже два месяца спустя Некрасов пишет о Толстом тогдашнему своему приятелю критику Василию Боткину: «Черт знает, что у него в голове! Он говорит много тупоумного и даже гадкого. Жаль, если эти следы барского и офицерского влияния не переменятся в нем. Пропадает отличный талант. А что он говорил собственно, можешь найти в „Северной пчеле“». Эта газета, издаваемая Булгариным и Гречем, почиталась олицетворением официозности.

Фраза, конечно, сорвалась у Некрасова в минуту сильного негодования по какому-то частному поводу. Во всяком случае, он по-прежнему верил в талант Толстого, и прежде всего как художника, достигающего «правды, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе». Однако он все яснее осознавал, сколь многое их разделяет с молодым писателем, который «так заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать».

Впрочем, это начинают осознавать и другие петербургские литераторы, еще до встречи с Толстым составившие о нем мнение как о «своем» — единомышленнике. Дальний родственник поэт Алексей Толстой зовет его на завтрак, желая познакомить со своей будущей женой: «Он очень хороший человек». Возможно, приглашение было принято, но на том все и кончилось: Алексей Константинович, вспомнит Лев Николаевич под старость, тоже был хороший человек, сильный, красивый, только вот сочинитель плохой. Писатель и критик Александр Дружинин — очень влиятельный, авторитетный и для Толстого, о котором он вскоре напишет две статьи — в своем декабрьском дневнике 1855 года отмечает, что герой этого литературного сезона держится «башибузуком». Во всеуслышание объявляет, что Шекспир пустой фразер (а Дружинин как раз переводит «Короля Лира»), крайне непочтителен к Гомеру.

Благообразный, похожий на английского джентльмена Гончаров — Толстой испытывает к нему почтительное чувство и ценит его доброжелательство — тоже несколько удивлен высказываниями дерзкого

прапорщика, но его больше забавляет негодование передовых петербургских литераторов, спровоцированное его нападками на гениев. А Толстой не скрывает, что ему противно это слепое почитание авторитетов да и сами почитатели не близки. Исключение он делает только для Островского, потому что он «самостоятельный и простой».

Однако Островский, который, по мнению Толстого, «не шутя гениальный драматический писатель», живет в Москве, а в Петербург наезжает только от случая к случаю. Он — единственный из всего литературного сообщества, с кем Толстой перешел на «ты» после того, как их в январе познакомила поэтесса графиня Ростопчина. Помнилось впечатление от прочитанного еще на Кавказе «Банкрута», как сначала называлась комедия Островского «Свои люди — сочтемся». Услышав в авторском чтении «Доходное место», Толстой пришел в восторг: «мрачная глубина», «последнее и настоящее слово». Из всех, кто сплотился вокруг «Современника», Островский ему больше всего по душе, но жаль, что «сознание своей гениальности у него перешло свои границы» и он не в состоянии оценивать собственные творения аналитически. Остальные в этом отношении просто невозможны: убеждены, что свершают великое дело, а каждого, кто смотрит на литературу не так, как они, или почитает других кумиров, тут же записывают в ретрограды или корят закоснелым невежеством.

Но Толстой не из тех, кого легко превратить в раба преобладающих мнений. Поняв, что новые приятели вознамерились его воспитывать и просвещать, он восстает против этих попыток, чем вызывает их возмущение, которому, похоже, только рад. Шекспир для них икона — именно поэтому Толстой во всеуслышанье объявляет, что Шекспир был дюжинный драмодел. Поклоняются Герцену, к которому сам он через несколько лет поедет беседовать о самом насущном и важном, но сейчас им движет дух противоречия, и послушав какое-то его произведение, читавшееся в салоне родственника, вице-президента Академии художеств графа Федора Петровича, Толстой со всей страстью нападает на лондонского изгнанника, говорит горячо, доказательно, убежденно, а ведь, похоже, еще не держал в руках «Полярной звезды». Писатель Григорович, чей «Антон Горемыка» вызвал у юного Толстого такое умиление, запомнил обед в редакции «Современника», где все курили фимиам новому роману Жорж Санд, поборницы женских прав и передовых общественных идеалов. А Толстой вдруг сказал, что ее героинь, если бы они существовали в действительности, следовало бы возить по улицам в позорной колеснице.

Через день Тургенев пишет Боткину: «С Толстым я едва ли не

рассорился — нет, брат, невозможно, чтоб необразованность не отозвалась так или иначе... Он возмутил всех и показал себя в самом невыгодном свете». Панаев по другому случаю высказывается в таком же духе: «Человек не хочет знать никаких традиций — ни теоретических, ни исторических». Для Панаева это, разумеется, большой недостаток замечательно одаренного автора, который, впрочем, берет правдивостью и прелестными мыслями, а вот «писать совсем не умеет, периоды у него в два аршина, в выражении часто путаница». По простодушию (или по убеждению, что литературная школа, которую стремится создать «Современник», представляет собой эталон) Панаев и не догадывается, что он указал действительно самое существенное в таланте Толстого — его полную независимость от возобладавших тенденций, от бытующих представлений о прекрасном и должном.

Убедившись, что он с ними не сходится почти ни в чем, петербургские литераторы сочли, что всему виной скверное образование, барская спесь и офицерские замашки. Они, за немногими исключениями, еще не почувствовали, как велико его отвращение к «фразе», пусть отделанной до стилистического совершенства и плотно заполненной либеральными чаяниями. Им бы хотелось, чтобы он тоже стал и либерален, насколько позволяет цензура, и прогрессивен до мыслимых пределов, и европейски просвещен, и общественно полезен. Ведь в нашем отечестве, как объясняет ему Некрасов в письме через полгода после их первой встречи, «роль писателя — есть прежде всего роль учителя и, по возможности, заступника за безгласных и приниженных».

Однако у Толстого уже сложились собственные представления о том, для чего существует литература и в чем заключается роль писателя. С понятиями, которые насаждает «Современник», они совпадают не полностью, а случается, и вовсе не совпадают. Поэтому в отношениях появляется натянутость, грозящая конфликтами и даже разрывом. В одном несохранившемся письме Тургеневу — со дня знакомства прошло всего пять месяцев — Толстой, припомнив петербургские стычки и размолвки, сказал, что их с Иваном Сергеевичем словно бы разделил «овраг», о котором очень бы не хотелось думать. Тургенев принялся уверять, что, в сущности, происходили одни недоразумения, и, стало быть, про этот овраг можно позабыть. Но на самом деле овраг — тот, что пролег не только между ними, но между Толстым и всем кругом «Современника», — оказался глубоким. Довольно скоро выяснилось, что через него трудно проложить мостки.

Строптивость Толстого была тут вовсе не самой главной причиной. Позиция «Современника» так и не стала ему близкой. По его критериям, она выглядела узкой и утилитарной.

Видимо, слишком велики были ожидания, с которыми он ехал из Севастополя в Петербург. Весной 1856 года Толстой вместе с Тургеневым, Островским и Григоровичем подписал предложенный журналом контракт, который всех их обязывал, начиная со следующего года, публиковать свои произведения только в «Современнике», в обмен на часть дохода, приносимого изданием. Это «обязательное соглашение» действовало полтора года. Толстой начал им тяготиться гораздо раньше, чем оно с обоюдного согласия сторон было расторгнуто.

Огромных редакторских заслуг Некрасова и Панаева он, впрочем, никогда не отрицал и двадцать лет спустя писал Некрасову, что с журналом у него связано «очень много хороших молодых воспоминаний». И это не просто учтивость, ведь именно «Современник» открыл Толстого русским читателям.

Некрасов и Панаев приобрели этот основанный Пушкиным журнал в 1847, году. «Современник», прежде выходивший под редакцией ректора Петербургского университета Плетнева, который его унаследовал от самого основателя, к тому времени совсем захирел: всего чуть более двухсот подписчиков, бесцветная беллетристика, вялая критика. Оказавшись в новых руках, журнал преобразился. Теперь вся читающая Россия с нетерпением ждала следующий номер со статьей Белинского. В журнале печатался, до своей эмиграции, Герцен. Восхитившего его «Антон Горемыку» Григоровича Толстой прочел в «Современнике». Там же появилась повесть Дружинина «Поленька Сакс», о которой впоследствии Толстой говорил как о произведении, где нет ни одной фальшивой ноты. И самые значительные тургеневские рассказы из «Записок охотника», самые сильные лирические стихотворения Некрасова тоже были напечатаны в «Современнике».

Линия этого журнала с приходом новых редакторов ясно определилась и выдерживалась твердо: неприятие крепостничества во всех его проявлениях, обязательный общественный резонанс каждой крупной публикации, объединение всех лучших русских писателей, для которых не пустой звук понятия гуманности и блага. Сразу же начались и трудности с цензурой, хотя в первые годы нового «Современника» его цензором был

умеренно либеральный А. В. Никитенко. О том, какой титанической борьбы требовали и повести, и статьи, оставившие след в истории русской литературы, которую принудили, по выражению Герцена, жить «с замком на губах», Толстой должен был знать по собственному опыту: вынужденное изъятие истории Натальи Савишны из «Детства», изуродованный «Севастополь в мае», под которым Панаев даже не рискнул оставить инициалы автора, так что рассказ напечатали вообще без подписи.

Цензор А. Л. Крылов, законопослушный чиновник, в согласии с циркулярами, вымарывал из «Детства» все, что бросало тень на крепостные порядки или предположительно могло бы возбудить вольномыслие. С этими правилами ничего нельзя было поделаться, и в дальнейшем, посылая Панаеву рукописи из Севастополя, Толстой сам предлагал варианты на случай цензурного вмешательства. Но вот менять заглавие «Детство» на «Историю моего детства» цензор не требовал и не заставлял вместо толстовского определения «роман» дать другое — «повесть». Не по цензорским указаниям, а по редакторскому своеволию вместо «чугунной доски», в которую бьет караульщик, напечатали — «медная», а вместо «повалился на землю» — привычное «пал», словно речь шла о скотине.

Толстой написал Некрасову крайне резкое письмо, которое даже не решился отправить — оно сохранилось в бумагах брата Сергея Николаевича. Чувство у него было такое, словно он отец не очень красивого ребенка, которого к тому же обкорнал и изуродовал неумелый цирюльник. В сентябре 1853 года, посылая Некрасову рукопись «Набега», он выставил непременным условием «оставление ее в совершенно том виде, в каком она есть» (но цензура основательно пощипала и этот рассказ). У него, похоже, уже появилось подозрение, что с эстетическим чутьем и слухом в редакции «Современника» не совсем благополучно.

Толстой не знал, что как раз осенью 1853 года в редакции произошла серьезная перемена. Из Саратова в столицу приехал двадцатипятилетний семинарист, который уже кое-что тиснул в «Отечественных записках», журнале, который «Современник» считал своим конкурентом, однако — и по материальным соображениям, и по своей нечасто встречающейся амбициозности — подумывал о серьезной трибуне, втайне желая, чтобы она ему принадлежала безраздельно. Он явился к Панаеву и тут же его очаровал, а уже на следующий день этим чарам поддался и Некрасов. Провинциального учителя звали Николай Чернышевский. К моменту появления Толстого в Петербурге этот учитель занял положение главного критика и идейного вдохновителя журнала.

Понимая, как важно для журнала участие Толстого, Чернышевский отзывался о нем вполне корректно. В двух номерах «Современника» — декабрьском 1856 года и январском 1857-го — появились две его большие статьи о новом талантливом писателе, произведения которого отличаются «глубокое изучение человеческого сердца», понимание «диалектики души» и «чистота нравственного чувства». До этих статей было несколько мимолетных личных встреч; большого впечатления друг на друга они не произвели. Чернышевский как бы мимоходом замечает в письме находившемуся за границей Некрасову, что Толстой как будто «исправляется от своих недостатков и делается человеком порядочным». Толстой, побеседовав со своим критиком за ужином у Панаева, записал в дневнике: «Чернышевский мил».

Похвалы, которых в первой статье было намного больше, чем во второй, кажется, ненадолго притупили проницательность Толстого. К Чернышевскому можно было отнести много лестных эпитетов, но слово «мил» выглядит явно неуместным. Как и любое его выступление на страницах «Современника», статья о Толстом была подчинена определенным соображениям. Чернышевский сам признавался Некрасову, что писал ее так, чтобы она понравилась Толстому, «не слишком нарушая в то же время истину». А Тургеневу откровенно заявил: толстовские писания, в частности, «Юность», — это все «пошлости и глупости», «вздор», «размазня», и так будет продолжаться, «если он не бросит своей манеры копаться в дрязгах и не перестанет быть мальчишкой по взгляду на жизнь». Талант у него, конечно, есть, но оттого и досадно, что даровитый человек уподобляется бестолковому павлину, кичливо распуская хвост, «не прикрывающий его пошлой задницы».

Собственный (как он считал, просто исключаящий сколько-нибудь серьезные возражения) взгляд на жизнь Чернышевский изложил в цикле статей «Очерки гоголевского периода в русской литературе», печатавшемся в «Современнике», начиная с декабрьского номера 1855 года, и в диссертации, которая появилась шестью месяцами ранее. Суть этого взгляда сводилась к тому, что личность достигнет раскрепощения и полностью реализует свои возможности только при условии, что она подчинит себя высокому идеалу, каковым признавалась социальная революция. Все, что отвлекает от этих благородных порывов, подлежало сокрушительной критике и полному искоренению. Пустые и вредные иллюзии, вроде той, что человек живет не одними общественными, но и духовными интересами, надлежало преследовать беспощадно, поскольку сами по себе такие интересы лишены целесообразности и пользы.

Искусству предписывалось быть прежде всего полезным, то есть обличительным и назидательным. Произведение в обязательном порядке должно было затрагивать общественно значимые вопросы, наполняться практическими современными идеями. Только в этом случае оно приобретало и нравственную глубину, и художественную ценность. А иначе получалось только «говно со сливками». Так, подразумевая оппонентов Чернышевского, высказался Некрасов, находившийся под сильнейшим влиянием своего соредактора.

Оппоненты воздерживались от подобных «изящных» метафор, однако словечко «мертвечина» прилепилось к статьям Чернышевского накрепко, как и эпитет «клоповоняющий», которым удостоил их автора Григорович. Для журнала с приходом Чернышевского, а затем и Добролюбова, настали трудные времена. «Современник» покидали сотрудники, которым он в немалой степени был обязан своим литературным авторитетом. Ушел Дружинин. У него теперь было собственное издание — «Библиотека для чтения», в которой он поместил свою статью о «гоголевском периоде», где доказывал, что у Чернышевского утилитарные представления о литературе, что его попытки противопоставить «полезного» Гоголя «эстету» Пушкину не состоятельны да и сам этот взгляд на Гоголя узок до крайности. Исчезло со страниц «Современника» имя Боткина, который несколько лет назад опубликовал здесь свои замечательные «Письма об Испании» и несколько интересных критических обзоров. Участники «обязательного соглашения» явно им тяготились, ничего не присылали, и отдел изящной словесности мельчал на глазах. Панаев то и дело жаловался, что его режут без ножа, вынуждая заполнять очередной номер второсортной беллетристикой вроде бесцветных сочинений Авдотьи Яковлевны или тяжеловесной, топорно написанной повести о мордвинах Берви-Флеровского, будущего народника, которого Толстой знал еще по Казани.

Прочитав эту повесть, а также ядовитую статью Чернышевского о славянофильской «Русской беседе» в июньском номере 1856 года, Толстой отправил Некрасову письмо, на страницах которого выплеснул накопившееся раздражение против журнала, теряющего свой престиж и влияние. Повинен в этом, на его взгляд, был прежде всего тот господин с тоненьким, неприятным голоском, который сменил Дружинина в качестве критика и обозревателя, чтобы угощать публику «тупыми неприятностями» и своей неумной озлобленностью. С его нелегкой руки вошло в обыкновение считать, что современно мыслящему литератору подобает «быть возмущенным, желчным, злым», но ведь, по совести говоря, злость отличает только людей, которые «не в нормальном положении», —

особенно когда ее искусственно в себе разжигают, точно человек из всех сил старается говорить картаво. Дело тут, конечно, не просто в выборе слов. И вообще «это не словесный спор».

Некрасов ответил пространным письмом: согласился, что нехорошо притворяться злым, однако «перед человеком, который лопнул бы от искренней злости», он готов стать на колени, ибо «у нас ли мало к ней поводов»? Толстой хочет здорового отношения к жизни, но ведь «здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности». О русской действительности такого сказать невозможно, вот почему статьи Чернышевского целительны.

«Несловесному спору» предстояло продолжиться. Осенью Толстой был в Петербурге, заглянул в редакцию, которую тогда составляли Панаев с Чернышевским, и отметил в дневнике, что эта редакция ему противна. А Тургеневу он прямо написал, что, на его взгляд, «Современник» попал в плохие Руки. Видимо, столь же резко он выразился в письме и к Некрасову, находившемуся тогда в Риме, и Некрасову стало понятно, что с Толстым ему придется объясниться начистоту, пусть это грозит серьезной ссорой. Готовясь к этому разговору, он делится с Тургеневым своей обидой на открытого им автора: «Какого *нового* направления он хочет? Есть ли другое — живое и честное, кроме обличения и протеста? Больно видеть, что Толстой личное свое нерасположение к Чернышевскому, поддерживаемое Дружининым и Григоровичем, переносит на направление, которому сам доньше служил и которому служит всякий честный человек в России».

Некрасов заблуждался в одном — что Толстой в самом деле когда-то старался служить именно этому направлению. Тенденциозность станет отличительным свойством его произведений лишь десятки лет спустя, когда никого из ее приверженцев, составлявших редакцию «Современника», уже не будет на свете, и окажется она вовсе не такого свойства, чтобы порадовать Некрасова или тем более Чернышевского. А пока для Толстого в литературе существует одно непререкаемое условие — правда. И эта правда, как он ее понимает, вовсе не синоним обличения, протеста или демократически истолкованной честности. Правда, по его представлению, неотделима от поэзии, понятой как способность художника уловить и органически воссоздать всю полноту, многоликость, сложность жизни. С Чернышевским, для которого такие стремления равнозначны пустословию и безмыслию, Толстой, конечно, примириться не сможет.

Павел Анненков, еще один автор «Современника», покинувший журнал, когда в нем взяли верх новые веяния, четверть века спустя в своих воспоминаниях верно определил сущность расхождений между живой

литературой и концепциями, насаждаемыми Чернышевским, — тех расхождений, которые и привели к конфликту, оказавшемуся непреодолимым. С Чернышевским настала «эпоха *регламентации* убеждений, мнений и направлений... но при этом постоянно оказывалось, что менее всего поддавалось *регламентации* именно искусство, бывшее всегда, по самой природе своей, наименее послушным учеником теорий... Как ни строга была эта дисциплина, введенная критикой, но помешать обществу увлекаться не узаконенными образцами творчества она не могла. Тогда и явилось решение отодвинуть искусство вообще на задний план, пояснить происхождение его законов и любимых приемов немощью мысли, еще не окрепшей до способности понимать и излагать смысл жизненных явлений».

В статьях Чернышевского подобный подход к искусству был выражен наиболее последовательно, вплоть до заявлений, что литература, если вдуматься, вообще не так уж нужна, поскольку «образы фантазии — только бледная и почти всегда неудачная переделка действительности». Тургенев, соглашаясь, что вряд ли кому-нибудь придется по душе присущий этой критике «сухой и бесцеремонный тон», все-таки пытался убедить хотя бы одного себя в ее «полезности», но другие участники «обязательного соглашения» не приняли таких оправданий. Григорович сочинил пасквиль «Школа гостеприимства», в котором был изображен бездарный критик Чернушкин: за обедом он, рыгая «пережженным ромом», откровенно презрительно высказывается о литературе и цитирует свою статью, где доказывается «необходимость серьезных заложений в беллетристических писателях». Толстой, наслушавшись про «серьезные заложения» от Некрасова, решительно объявляет ему: «Я совершенно *игнорирую* и желаю *игнорировать* вечно, что такое постулаты и категорические *императивы*». Расчеты Чернышевского «получить над ним некоторую власть» — для его же и для журнального блага, — как и надежды Некрасова, что «блажь уходится», оказались эфемерными. Плохо они знали его натуру.

Боткин, ставший тогда Толстому ближе, чем другие литературные знакомцы, пробовал смягчить его неприятие «постулатов» и словесности, которая им послушно подчинялась. Воззрениям Чернышевского он симпатизировал ничуть не больше, чем Толстой, однако готов был признать, что время потребовало именно такой фигуры и сделало неизбежным «новый путь, который приняла наша журнальная беллетристика». Об этом он писал Толстому в конце 1857 года из Рима, где сполна наслаждался всем «успокоительным, умиряющим, гармоническим» — близким его душе гурмана от искусства и большого сибарита в делах

жителей. Он припомнил суждения входящего в моду Щедрина: в наш век никому дела нет до изящной литературы, никто теперь не станет перечитывать, к примеру, Гёте, — и согласился с ними: ценителям обличительных очерков, которые строчат Щедрин или Мельников-Печерский, перечитывать Гёте вправду незачем, они ни слова в нем не поймут. Ужасна эпоха, объявившая, что искусство ей не требуется, писал Боткин, но что поделаешь, после Крымской войны России пора осознать, как глубоко укоренились в ней «неспособность, безурядица и всяческое воровство». Общество возмущено открывшимися ему пороками, оскорбленное национальное чувство требует возмездия. Вот и получилось, что «рассказы Щедрина попали как раз в настоящую минуту».

«Всякий политический момент народной жизни вызывает и в литературе явления ему соответствующие, — заключал Боткин, — но из них остаются только те, которые стоят выше этих моментов». Поэзия никуда не исчезнет, пока не иссякли «внутренние, живые силы России», поддерживающие в ней способность творчества. Разве не доказывают это повести самого Толстого? Пусть их резонанс вовсе не так велик, как общественный отклик на щедринские обличения, но «где же поэтические произведения существуют для большинства»? Да и не к чему писателю беспокоиться, что о нем думает публика в своем нынешнем увлечении тенденциозной словесностью. «Напишите-ка Ваш Кавказский роман так, как Вы его начали, — и Вы увидите, как Щедрины и Мельниковы тотчас будут поставлены на свои места».

«Кавказский роман» — это «Казаки», которые будут окончены только через пять лет и подтвердят слова Боткина о том, какое место уготовано Толстому в русской литературе. «Казаками» подтвердилось. Однако само это письмо произвело не тот эффект, на который надеялся его писавший: у Толстого вдруг появился план чисто художественного журнала, который спасал бы «вечное и независимое от случайного, одностороннего и захватывающего политического влияния». В ответном письме он доказывает, что его идея хороша и осуществима. Публика уже устает от «направлений». Журнал станет «учителем вкуса, но только вкуса», а читатели с благодарностью воспримут эти уроки.

Лучше понимавший литературную ситуацию Боткин остудил этот энтузиазм. Затея с журналом не осуществилась, но мысль о нем возникла у Толстого не случайно. Это был результат его сближения с «бесценным триумvirатом», которое становилось все теснее по мере того, как он охладевал к «Современнику».

Помимо Боткина, «триумvirат» включал в себя Дружинина и

Анненкова, а само это определение впервые появилось еще в начале 1857 года в письме Толстого из Москвы к находившемуся в Петербурге Дружинину. Видимо, Толстой уже прочел в «Библиотеке для чтения» дружининскую статью с похвалами ему, а также Писемскому и Островскому, как писателям, оставшимся в стороне от «гоголевского» направления, как его трактовал Чернышевский.

В тот свой приезд в Москву Толстой довольно много общался со славянофилами и вынес впечатление, что они «тоже *не то*. Когда я схожусь с ними, я чувствую, как я бессознательно становлюсь туп, ограничен и ужасно честен, как всегда сам дурно говоришь по-французски с тем, кто дурно говорит». Славянофильский кружок составил непримиримую оппозицию «Современнику» и его сторонникам, и эта распря вскоре приняла крайние формы. Как раз в бытность Толстого в Москве случилась нашумевшая история, когда на заседании Общества истории и древностей российских граф Бобринский, который считал себя прогрессивно мыслящим человеком, принялся негодовать по поводу не в меру «выносливой спины» простонародья. Один из столпов славянофильства профессор Шевырев выразил свое возмущение такими непатриотическими речами. Дошло до драки, Шевырева пришлось нести домой на руках.

К Толстому славянофилы, особенно старик Аксаков, отнеслись радушно, сразу поверив в его дарование. Самому ему по прошествии нескольких лет они сделаются душевно более близкими, чем либералы и западники, но пока родства с ними он не чувствует. «Триумвират» какое-то время он считает наиболее приемлемым для себя литературным кружком. Впрочем, ненадолго.

Дружинин, душа этого кружка, обладал безупречным художественным чутьем и категорически отвергал всякие регламентации, насаждаемые Чернышевским. К тому же он был большой бонвиван, обожавший предаваться «чернокнижию», как на его языке именовались пиры в обществе гризеток, — Толстого, в молодости совсем не чуждого подобным развлечениям, это должно было привлекать. В своем дневнике Дружинин самым милым ему существом называет девицу, не знающую грамоты, зато умеющую любить — да так, что без трех, а то и четырех новых любовников каждый месяц обходиться она не в состоянии. Капризы этой Саши Жуковой, совершенно его очаровавшей, для Дружинина материя не менее важная, чем литературные споры или перевод шекспировского «Лира». Появившийся в Петербурге Толстой сразу ему понравился: «превосходнейший господин, истинный русский офицер, с превосходными рассказами, чуждыми фразы, и самым здравым, хотя и не розовым взглядом

на вещи».

В дневнике Дружинина мелькают записи, вполне добродушные, об обедах в шахматном клубе и в Hotel Napoleon, о кутежах Толстого с цыганами, о его мотовстве и «нравственном безобразии». Дружинин в рукописи читает «Юность», делая несколько замечаний, которые Толстой с благодарностью принимает. Пользуясь тем, что «обязательное соглашение» становится обязательным только с весны 1857 года, Толстой успевает напечатать у Дружинина свой рассказ «Разжалованный» (там же, в «Библиотеке для чтения», затем появятся «Три смерти»).

Осень 1856 года проходит у него в активном общении с «триумвиратом» — эпистолярном, а с ноября, по приезду в Петербург, и непосредственном. Литературная позиция Дружинина: не «дидактика», а «артистичность» должна главенствовать в искусстве, злоба дня проходит, не оставляя следа, а истина «в одних идеях вечной красоты, добра и правды» — в те годы не могла не импонировать Толстому. И сам Дружинин был ему симпатичен своими прекрасными манерами — чувствуется бывший гвардеец Финляндского полка, одного из лучших в русской армии, — обязательностью в делах, отменным знанием европейской, особенно английской литературы, даже своим эпикурейством.

Они часто появляются вместе в петербургских салонах, причем Толстому каждый раз становится неловко из-за того, что разговоры ведутся о предметах не слишком ему знакомых. На обедах у Дружинина такие разговоры продолжаются, и Толстой поначалу счастлив, что ему довелось наблюдать подобный «умственный швунг», то есть размах. Но швунг вскоре начинает его утомлять. «Все мне противны, особенно Дружинин, и противны за то, что мне хочется любить, дружбы, а они не в состоянии», — записывает он в ноябре в дневнике. А еще через месяц, по прочтении статьи Дружинина о своих же «Военных рассказах», вышедших отдельным изданием: «Его слабость, что никогда не усомнится, не вздор ли это все».

Иными словами, и у Дружинина Толстой обнаруживает своего рода регламентацию, а как только литературе принимаются навязывать теорию — не суть важно, какую именно, — он сразу ощущает, что тут вздор, и не больше. Некрасов сетует на его «неспособность к убеждению», но именно «убеждения», «направления», «тенденции» немедленно вызывают у Толстого реакцию отторжения. Творчество, считает он, должно быть прежде всего свободным от любой догматики. А Дружинин по-своему тоже догматичен, хотя и доказывает в «Библиотеке для чтения», что его журнал — это приют муз, свободных от обязательств перед «временными целями» и не старающихся воздействовать на общественную мораль.

Прошло три года, и в письме к Дружинину, который просил у него повесть для своего журнала, Толстой как бы подвел итог тогдашним их разговорам о литературе. Им к тому времени овладели совсем другие интересы, он подумывал вообще оставить литературные занятия. Этого, к счастью, не произошло, однако Дружинину он отказал твердо, правда деликатно: «Писать повести очень милые и приятные для чтения в 31 год, ей-богу, руки не поднимаются».

Между ним и «триумvirатом» — к тому времени уже распадавшимся — сохранились отношения приятельства. Но «овраг» пролег и здесь.

*

Завершив последний из севастопольских рассказов, Толстой месяц не брался за перо: закружила столичная жизнь. Но тут пришло известие о безнадежной болезни брата Дмитрия. Толстой примчался в Москву, оттуда в Орел. Положение, которое он застал, было ужасным — еще и полвека спустя, приступив к «Воспоминаниям», он ясно видел перед собой эту иссохшую руку, эти выпытывающие глаза на осунувшемся лице. Наблюдать агонию было выше его сил. Проклиная собственное малодушие, Толстой уехал на другой же день. Письмо о смерти брата он получил 2 февраля в Петербурге, в доме Якобса на Офицерской улице.

Утром того дня Толстой известил свою нежно любимую тетушку Александрин, которая считала своей обязанностью знакомить племянника с большим светом, что, по понятным причинам, он не сможет ее сопровождать на какой-то раут, где их ожидали. Но, к ее изумлению, Толстой там появился. Да еще сообщил ей, что перед этим заглянул в театр. Ее возмутила подобная бесчувственность. Оправдываясь, он сказал, что желает «проверить себя до тонкости».

В действительности он просто защищался от пустых и ненужных знаков сострадания. Утрату Толстой переживал очень тяжело, о чем свидетельствует то, что он вернулся к литературе. От него ждали нового военного очерка, а он написал «Метель». Герцен назвал ее «чудом», подразумевая «пластическую искренность» этого небольшого рассказа.

Об «искренности», пластике, поэзии, верности, хотя и некоторой избыточности деталей говорили, прочитав «Метель», и другие. Драматург Сухово-Кобылин, которого покорила «художественная живость типов», даже счел нужным после этого рассказа еще раз просмотреть отданную в печать «Свадьбу Кречинского». Но только Дружинин оценил в «Метели»

самое главное: в этом рассказе властвует «поэзия самых тяжелых моментов человеческого существования». Такой момент Толстой пережил совсем недавно, в Орле, у одра умирающего брата.

А реальное событие, которое нашло отзвук в этом рассказе, случилось двумя годами ранее. Толстой ехал с Кавказа в Ясную Поляну, чтобы затем проследовать в Дунайскую армию. В сотне верст от Новочеркасска его застал буран. Всю ночь возок плутал по степи, не встретив ни жилья, ни кочевья, ни оставленных на зиму стогов с их спасительным теплом. Выбрались к почтовой станции только под утро. Пережитое той вьюжной ночью запомнилось накрепко: бегущие вдоль саней белые высокие стены, то необъятно далекий, то вплотную подступающий горизонт, застилаемый метелью лунный свет, косые линии падающего снега, глохнувший звук колокольчика, сгорбленные фигуры ямщиков, которые палкой пытаются нащупать в пурге потерянную колею.

Эти картины разыгравшейся стихии воссозданы у Толстого с достоверностью и выразительностью, которых прежде достигал только Пушкин. Все и вправду напоминает о «Капитанской дочке»: вьюга, безлюдная белая степь, мелькающие сквозь неплотные тучи звезды, снег на спинах измученных лошадей. Мироздание безразлично к участи людей. Поэтому мужики из центральных губерний, которые здесь, на Дону, промышляют зимним извозом, об этом и не рассуждают. Просто кому-то суждено замерзнуть в эту ночь, спрятавшись под наваленным в санях тряпьем и доверившись лошади, которая, если будет на то высшая воля, учует дорогу, а кому-то суждено уцелеть, добраться до станции, где целовальник поднесет косушку. Осторожное вопрошание седока: «Ну, а как не выедем да лошади станут в снегу, что тогда?» — пресекается немедленно и строго: понятно, «что тогда» — прошлой зимою вот так же замерз в степи почтальон да и сейчас кто-то из ямщиков уже отстал, но барина они все равно доставят, будьте покойны...

Степан Тимофеевич, глава клана Аксаковых, прочитав «Метель», был в восторге, просил Тургенева передать автору, что рассказ превосходный. «Я могу судить об этом лучше многих: не один раз испытал я ужас зимних буранов». Для него «Метель» осталась только отменно выполненным, замечательно правдивым описанием — без философских метафор жизни и смерти в их сопряжении. А вот Дружинин отметил, что в этом рассказе «русская проза... по временам достигает тех пределов, к которым и хороший стих не всегда подходит». А «стих» для Дружинина — это больше чем особая ритмика и красочность художественной речи, это непременно прикосновение к высшим и вечным «моментам существования».

Засыпая или, может быть, замерзая, седок видит жаркий летний день в родном поместье, пруд, дворовых, которые тянут невод с золотистыми карасями, и старого буфетчика с лейкой — он тут всем командует. Потом вместо карасей вдруг появляется из мутной воды что-то белое, страшное, и по скошенным лопухам тащат к раките утопленника. Почему-то невозможно отвести глаз от очутившейся здесь же старой тетушки в шелковом платье, от ее лилового зонтика с бахромой, такого несообразного «с этой ужасной по своей простоте картиной смерти». Мысли путаются: уж лучше утонуть, чем замерзнуть, а впрочем, все равно, только бы не толкала в спину торчащая сзади палка. Вдруг проносится мимо, не услышав криков о помощи, пересевший на свежую тройку неунывающий ямщик, и тот приснившийся буфетчик говорит, что каждому надо сделать для себя комнатку из снега, в которой будет тепло. Но получается не комнатка, а белый коридор, по которому под руку с утопленником идет тетушка, держа в руках лиловый зонтик и гомеопатическую аптечку, и кто-то хватается за ноги, грозясь ограбить или убить, а ноги волокутся по снегу...

Не зная, кем и когда это написано, легко вообразить, что это отрывок из прозы Андрея Белого или сцена из фильма Ингмара Бергмана. Но это Толстой, только начинающий свою литературную деятельность, — и сразу как писатель, равнодушный к правилам, которые тогда считались обязательными для повестей: ясно выраженные авторские идеи, события, характеры и их столкновения. У него характеры едва намечены, а событие, в сущности, одно — метель, осознанная, если воспользоваться современным термином, как пограничная ситуация: человек, оказавшийся на самой грани между жизнью и смертью. Ощувив, что в буйстве стихии он только игрушка, этот человек вдруг возвращается к чему-то очень давнему, заглушенному, вытесненному рассудком, который не в состоянии примириться с тем, что жизнь может прерваться любой случайностью. И вспомнив «ужасную простоту» той картины смерти, почувствовав, что то же самое сейчас произойдет с ним самим, он постигает эти случайности — омут под сверкавшей на июльском солнце гладью пруда, метель, играющую в степи, — как напоминание о законе, общем для всех.

Толстого упрекали за избыток и однообразие подробностей, считая, что они затягивают действие. Однако именно подробностями, возвращающими к той главной мысли, которой подчинен рассказ, у него и создается сюжет. Это устойчивое свойство его повествования, начиная с «Детства». Первые повести находили сверх меры описательными, перегруженными незначительными штрихами. Константин Аксаков утверждал, что у Толстого описание «доходит иногда до невыносимой, до

приторной мелочности»; анализ, ставший «микроскопом», придает мимолетностям жизни «внесоразмерную величину». И даже Дружинин, восхищаясь поэзией «Метели», сожалел, что в ней слишком много «поэтических подробностей внешнего и внутреннего мира», — из-за этого получается не повесть, а «одни слабосвязанные эпизоды».

Тон таких комментариев понятен. Для критиков того времени образцом оставалась пушкинская повесть, в которой всегда есть изящно выстроенная фабула и чувствуется напряжение конфликта. А Толстой избрал другие приоритеты — прежде всего исчерпывающую полноту описания тех «мелочей», в которых порой как раз и проявляется самосознание человека. Особенно в переломные или в катастрофические моменты его жизни.

Новизна такой прозы, конечно, должна была восприниматься как промахи еще не окрепшего таланта. «Два гусара», посвященные сестре Марии и опубликованные в «Современнике» весной 1856 года, больше отвечали принятым эстетическим критериям, и Дружинин это отметил, написав, что явился уже не «этюд», а «прекрасная повесть в двух отделениях». И по своему духу, и по стилистике она действительно приближалась к пушкинскому эталону. Не случайно и героем в первом «отделении» был человек того, пушкинского времени: бесшабашный, дерзкий, пленяющий полным отсутствием расчетливости и эгоизма, сразу напоминающий Дениса Давыдова тем читателям, которые не знали семейной истории Толстого. А у тех, кто в нее был посвящен, в памяти возникало другое лицо — граф Федор Иванович, Американец.

Старшего Турбина тоже зовут Федор Иванович, и повадки у него в точности такие же — картежник, дуэлянт, соблазнитель. Увез приглянувшуюся ему барышню, у кого-то выиграл триста тысяч, кого-то убил на поединке, а надерзившего ему спустил за ноги из окна. Американец такими подвигами прославился на заре царствования Александра. Попав в город К. после крупного проигрыша где-то на почтовой станции, Федор Иванович Турбин присутствовал на балу у губернатора. Бал начинается старинным польским «Александр, Елисавета» — стало быть, события происходят в ту же эпоху. Да и напрямую говорится, что это «наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда... Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных».

Строки из Дениса Давыдова, избранные эпиграфом к «Двум гусарам», — знаменитое «Жомини да Жомини, а об водке ни полслова» — как бы задают тон всему рассказу. Турбин из тех, кто привык рубить сплеча, восстанавливая справедливость там, где она попорчена, и всегда ощущает

жизнь как непрекращающийся праздник. Правда, кончится она для него неудачной дуэлью с каким-то иностранцем, которого он публично высек арапником. Удадь, безоглядность, широта, бескорыстие — какой контраст «практическому» веку, олицетворяемому его сыном, чьи мечты не простираются дальше полковничьих эполет и готовой к услугам содержанки.

Сын не любит напоминаний об отце с его скандальными историями и неоплаченными долгами, но такое напоминание — случайная встреча со старухой-помещицей, которую когда-то очаровал и увез с бала его непутевый отец, — становится событием, скрепляющим повествование. Композиция очень проста: два любовных сюжета, разделенных двадцатью с лишним годами и контрастных по своей сути, — в первом властвует поэзия неумной страсти, во втором расчетливость холодного и циничного ума, которым унижена светлая душа героини. Два антагонистических человеческих типа — между отцом и сыном пролегает пропасть. Элегия ушедшей эпохи, «когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись из-за женщин и из другого угла кидались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки». Насмешка над новым веком деловитости, предусмотрительности и того «разумного эгоизма», который вскоре начнет проповедовать Чернышевский.

Однако повесть, как совершенно верно отметил Дружинин, не принадлежит к образцам литературной «дидактики», когда в персонажах олицетворяются «симпатии или антипатии к целому разряду смертных» — или к целым эпохам русской жизни. Помимо очевидной переклички двух любовных историй, наполняющихся диаметрально противоположным смыслом, в повести есть две сцены, которые не соприкасаются, подразумевая ход описываемых событий, но по настроению почти идентичны. После молниеносной победы над встретившейся на балу вдовой старший Турбин кутит с цыганами — ухарски, самозабвенно, как будто ничего больше и не будет в жизни, кроме этой ночи, когда сверкают смеющиеся страстные глаза Стешки, поющей «Дружбы нежное волнение». А четверть века спустя дочь той состарившейся вдовы лунной ночью сидит у распахнутого в сад окна и с грустью размышляет о том, как скучно, как ненужно все, чем заполнены ее деревенские будни, она мечтает о суженом, о счастье, и ее буквально переполняет любовь ко всему окружающему — к ночному небу с белыми волокнистыми тучами, к черным теням деревьев, и к слабеющим отблескам на траве, и к цветущей сирени.

Две ночи абсолютной гармоничности, неомраченной цельности

существования. Через двадцать лет, представляя «Двух гусар» французской публике, Тургенев в кратком предисловии напишет, что Толстого скорее следует отнести к гоголевской, а не к пушкинской школе. Мнение это настолько же устойчивое, насколько поверхностное. Ведь повесть написана совсем не для того, чтобы рядом со старшим Турбиным особенно чувствовались мелкость, убожество выродившегося поколения. Это только частная задача, а основная — поэзия «наивности», которая для него синоним любви, и поэзия верности человека своей природе и, говоря его словами, «деятельного участия в жизни».

Тем, кто чувствует органичность и высшую справедливость бытия, не нужно искать его оправдания, незачем строить планы переустройства жизни или возмущаться ее несовершенством. Эта философия, которую круг «Современника» презрительно квалифицировал как невежество и дикость, выражена впрямую в одном толстовском письме, относящемся к осени 1856 года: «Умышленно ищи всего хорошего, доброго, отворачивайся от дурного... не притворяясь, можно ужасно многое любить и горячо любить не только в России, но у самоедов». Письмо адресовано Егору Ковалевскому, знакомцу Толстого по Севастополю, впоследствии ставшему писателем, путешественником и общественным деятелем. Толстой доверительно рассказывает ему о не удавшихся попытках либеральным способом решить в Ясной Поляне земельный вопрос, о сомнениях касательно только что законченной «Юности», о влюбленности в одну «милейшую деревенскую барышню». И как бы ненароком поминает известных им обоим умников из литературного кружка, которые все только возмущаются всякими пороками, но ничего не делают, чтобы их исправить.

Из сопоставления дат видно, что в это время Толстой обдумывал рассказ, который был напечатан в журнале Дружинина под измененным названием — не «Разжалованный», а «Встреча в отряде с московским знакомым». Изменения названия потребовала цензура, она настояла и на сокращениях. Пришлось выкинуть фразу, важную для понимания замысла, закауфлировав причины, по которым оказался на Кавказе, надев солдатскую шинель, блестящий молодой аристократ, занимавший роскошно обставленную квартиру на Морской и имевший связь с восхитительной *madame D.* В напечатанном варианте речь идет просто о скверной истории с неким Метениным. Но в рукописи Гуськов, герой рассказа, говорит о том, из-за чего начались его бедствия, вполне откровенно: «Все дурное я принимал близко к сердцу, бесчестность, несправедливость, порок были мне отвратительны, и я прямо говорил свое мнение, и говорил неосторожно, слишком горячо и смело».

Портрет разжалованного Толстой пишет, испытывая к герою разве что «несимпатическое, тяжелое сострадание». Гуськов жалок, когда над ним издеваются офицеры, знающие о его трусости и за ничтожную промашку грозящие послать в секрет, где по-настоящему опасно. Он жалок в своем вытертом, негреющем полушубке, со своим пустым кисетом из тряпки, заискиванием перед адъютантом, ужасом перед чеченской пулей. Но Нехлюдов — так было в журнальной публикации — не может подавить в себе отвращения, когда видит не только душевную слабость, вынуждающую Гуськова к пошлой изворотливости и хитрости, а его непоколебимую уверенность, что просвещенной личности не место среди «людей без понятия об образовании». Недопустимо, чтобы эту личность приравнили к рядовому Антонову, отданному в солдаты за пьянство, — ведь Антонов «существо, ничем не отличающееся от животного». Недопустимо, что из-за куста могут застрелить не Антонова, а его, в котором бездна «высокого и хорошего». И какая несправедливость, что война, издавек казавшаяся чем-то вроде пикника и обещавшая скорое производство в офицеры, а значит, шанс вернуться в столицу, на самом деле оказалась тяжелыми буднями лагерной жизни. Уж конечно, все это не для него: грязь, опасности, унижения, общество немых солдат и невзлюбивших его денщиков, раболепство перед артиллерийскими капитанами, у которых на уме одни только награды, да карты, да чихирь.

Он типичный герой фразы, этот Гуськов или, как его дразнят, Гуськантины, и, в представлении Толстого, его моральное падение непоправимо. Среди прототипов этого персонажа называли встреченного Толстым на Кавказе петрашевца Н. Кашкина, которого судили вместе с Достоевским, а также Александра Стасюлевича, разжалованного в рядовые за то, что в его дежурство из караульной тюрьмы сбежал сидевший под арестом солдат. Со Стасюлевичем, брат которого был издателем «Вестника Европы», Толстой виделся и позднее, когда, прощенный при Александре II, тот служил в Туле. Кончил он плохо — все не мог выпутаться из тяжелого положения и как-то зимой, непонятно для чего облачившись в енотовую шубу, бросился в прорубь.

Черты прототипов, вероятно, присутствуют в Гуськове, но сам тип такого человека привлек Толстого скорее не на Кавказе, а в Петербурге. Свою чужеродность людям фразы Толстой, пообщавшись с ними вплотную, понял совершенно отчетливо, свое расхождение с кипящими возмущением — или только притворившимися, что возмущены, — он к той осени, когда написан «Разжалованный», осознал как нельзя более ясно. Они тоже начали понимать, как это расхождение глубоко и принципиально.

Рассказ был холодно принят даже Дружининым и Боткиным. Появился всего один отклик — в малопопулярном «Сыне отечества». Рецензент отметил, что автору хорошо удаются описания кавказских военных. Других достоинств он в рассказе не обнаружил.

*

Милейшую деревенскую барышню, которую мельком упомянул Толстой в письме Ковалевскому, звали Валерия Арсеньева. Она была соседкой Толстого, ее имение Судаково находилось всего в восьми верстах от Ясной Поляны. Настоящее общение началось летом 1856 года, когда, не оправдав надежд Некрасова, Толстой покинул Петербург с намерением наезжать в столицу только по делам. После смерти старика Арсеньева он взял на себя обязанность опекуна трех его детей. Валерия была старшей, ей в то лето исполнилось двадцать лет.

«Очень мила», — записал Толстой в дневнике после поездки в Судаково 26 июня. И сразу же: «Люблю ли я ее серьезно? И может ли она любить долго? вот два вопроса, которые я желал бы и не умею решить себе».

Мысль жениться на Арсеньевой подал ему Дьяков, и после разговора с ним в дневнике Толстого появилась запись: «Мне кажется тоже, что это лучшее, что я могу сделать». Всего месяцем раньше, по пути из Петербурга в Ясную, он в Москве навестил супругу врача Московской дворцовой конторы Любовь Александровну Берс, которую знал еще с детства. Была суббота, прислугу отпустили в церковь, и заботы о сервировке стола хозяйка поручила старшим дочерям. Дневник, запись 26 мая: «Что за милые, веселые девочки». И Лиза. И Соня.

Женитьба искушала Толстого с первых дней после возвращения с войны. Праздники «чернокнижия», на которые его приглашал Дружинин, не могли продолжаться бесконечно. Ему хотелось в отставку — она будет получена только в ноябре — и хотелось семьи. Валерия Владимировна Арсеньева, дочь уланского офицера, чей род восходил к Ослану-мурзе, приехавшему в Россию из Золотой Орды, казалась хорошей партией: небогата, но и не бесприданница, начитана и, кажется, умна. Одна беда — под большим влиянием тетки, «без костей и без огня, точно лапша. А добрая. И улыбка есть, болезненно покорная». Закончив эту запись, барин послал в деревню за солдаткой.

В дневнике летних и осенних месяцев того года Валерии принадлежит

главное место. Тон записей о ней меняется после каждого свидания в Судакове. Она то очаровательна, то неприятна в своем «гадком франтовском капоте». Какое мелкое тщеславие — непременно желает присутствовать на коронации и представляться ко двору, — однако ее вины тут нет, так она воспитана. А как мила, когда держится естественно. «Закладывала волосы за уши, поняв, что это мне нравится. Сердилась на меня. Кажется, она деятельно любящая натура. Провел вечер счастливо».

Через три дня после этого вечера — первое признание: «Валерия начинает мне нравиться как женщина». У нее, как присмотришься, красивые руки — отчего прежде они ему казались отвратительными? Впрочем, аффектация, в которую она подчас впадает, невыносима. Что это ей вздумалось говорить такие глупости про «Дэвида Копперфилда»? Похоже, она все-таки глупа. Нет, вовсе не глупа и «необыкновенно добра». Вот она уже не Валерия, а Валеринька, и ее молчание — видимо, был какой-то серьезный разговор об их будущем — «огорчает меня».

Но как раз в этот кульминационный момент происходит событие, едва не переменившее весь ход сюжета. Коронационные торжества начались в Москве 26 августа. Валерия с сестрами провела в старой столице почти месяц, она вальсировала на балах и кокетничала с флигель-адъютантами и простодушно поведала о своих светских триумфах в письме тетушке Ергольской. Для нее было сшито чудесное платье цвета смородины, имевшее некоторый успех, — об этом тетушка тоже ставилась в известность. И вот это платье, о котором Толстой, конечно, тоже узнал, отчего-то особенно вывело его из себя. Он написал ей желчное письмо о дураках флигель-адъютантах, от которых у Валерии голова идет кругом, об ужасной «смородине», — какое счастье, что на параде, в давке ее измяли, — и о тщеславных радостях «с их обыкновенным горьким окончанием». По возвращении Валерии Толстой помчался в Судаково, а из состоявшегося объяснения последовал вывод: она противна. «Мила, но ограничена и фютильна невозможно».

Едва ли за нею была какая-то вина. «Смородина» уж явно была только поводом, просто оказалось, что между ними не просто восемь лет разницы, а несходство взглядов да и душевной организации. Толстой воспринимает происходящее со всей серьезностью: «Страшно и женитьба и подлость — то есть забава ею. А жениться — много надо переделать... мне еще над собой надо работать». Для Валерии все проще, она всего лишь провинциальная барышня, которой хочется, вырвавшись в Москву, сполна насладиться комплиментами блестящих кавалеров и подышать воздухом высшего света. По легкомыслию, она принялась кокетничать и со своим

учителем музыки, французом Мортье, а это уже непереносимый удар по самолюбию претендента на ее руку.

Разрыв кажется неминуемым. Но пока он не происходит — решение жениться принято Толстым твердо. Надо лишь проверить их чувства разлукой в несколько месяцев. А пока они будут общаться письмами, в которых он станет неким господином Храповицким, она — мадемуазель Дембицкой, и под этими масками будет происходить обсуждение их вероятной семейной жизни в скором, очень скором будущем.

Уезжая в Петербург, г-н Храповицкий показывает м-ль Дембицкой страничку из дневника, где есть давно ожидаемое признание: «Я ее люблю». М-ль просит эту страничку на память. Страничка бесследно исчезнет, когда м-ль Дембицкая станет госпожой Талызиной, супругой орловского мирового судьи. Незадолго до свадьбы она поинтересуется в последнем своем письме к Толстому, по-прежнему ли свободно его сердце, будет жаловаться на свое грустное настроение, однако помолвку, конечно, не отменит. Толстой ей ответит, что сердце его свободно, но даст понять, что к ней оно остыло.

Но все это произойдет только через полтора года, а пока из Петербурга приходят в Судаково — по несколько раз в неделю — длинные письма, которые сначала вызывают у м-ль Дембицкой ликование, потому что ею одержана очевидная победа. Г-н Храповицкий, впрочем, докучает своими требованиями надежных гарантий ждущего их счастья, которого не будет, пока он влюблен в ее красоту, тогда как надо полюбить сердце и душу, а их он все еще не знает, так что впереди огромный труд для них обоих — «понять друг друга». Уверения, что г-н Храповицкий «любит вас самой сильной, нежной и вечной любовью», ласкали слух, но за ними следовали упреки в ветреном поведении и больно задевающие напоминания о Мортье, хотя м-ль поклялась, что ни интимности, ни взаимности не было. Наконец, г-н Храповицкий стал несносен: сколько можно читать ей нотации? Какая странная манера — все щеголяет своей честностью, искренностью, все никак не прекратит своих наставлений, при этом оправдывается: «Мне так хочется любить вас, что я учу вас, чем заставить меня любить вас».

В ответных письмах Валерия дает понять, что эти уроки ее утомляют, но они не прекращаются. Толстому уже давно ясно, что их натуры во многом несхожи, и все-таки для него это не помеха. В разлуке Валерия становится ему особенно дорога. «Как только со мной случается маленькая или большая неприятность, неудача, щелчок самолюбию и т. п., я в ту же секунду вспоминаю о вас и думаю: „Все это вздор — там есть одна барышня, и все это вздор“». Будущее с этой барышней видится ему таким:

они живут большую часть года в деревне, но на пять месяцев приезжают в Петербург, поскольку обойтись без столицы г-жа Храповицкая не в состоянии. Правда, у них там будет очень скромная квартира в четыре комнаты, и даже без повара, только с кухаркой, зато в этой квартире на пятом этаже станут собираться все лучшие люди России.

Об алансонских кружевах и голубых шляпках придется позабыть, зато как очаровательна будет г-жа Храповицкая в попелиновом платье, которое станет носить и в деревне, обходя избы нуждающихся мужиков и наслаждаясь сознанием, что каждый день делает что-то доброе и сама становится лучше. А г-н Храповицкий будет заботиться о жене, писать и вести хозяйство, как он его понимает, то есть исполнять долг в отношении людей, ему вверенных. Вот что самое главное: «*Работать* умно, полезно, с целью добра... в этом первое условие нравственной, хорошей жизни и поэтому счастья».

Валерия, кажется, так не думала. Кататься по Невскому в своей карете, ездить на тридцать балов в зиму — так описывал ее идеал сам Толстой — для нее было куда заманчивее, чем деревенская одухотворенная жизнь, которая грезилась ему. И, кроме того, она устала от поминутных его сомнений, что их чувство взаимно, что они вправду предназначены друг для друга. Но переделать себя он не мог и написал ей об этом: «Вы знаете мой характер сомнения во всем». Только одно для него несомненно: что существует «нравственное добро, т. е. любовь к ближнему, поэзия, красота...»

Отвлеченно говоря, все это знала и она, ни с чем не спорила, просто жила совсем другими интересами. Уже через месяц после их прощания 31 октября в Туле сильно разгоревшееся чувство начинает ослабевать. Толстому становится скучно из-за того, что «она сама себя надувает». Тетушке Ергольской, которая очень хотела этого брака, он вынужден объявить, что ему лишь казалось, что он влюблен. А два дня спустя, 7 декабря, то же самое он объявляет Валерии: нельзя друг друга любить «с различными взглядами на жизнь».

Его прощальное письмо Валерии — сплошные обличения, тон его недопустимо резкий: мы далеки друг от друга, вы притворялись, прибегая к мелким наивным уловкам, это недостойно, это, наконец, оскорбительно, ведь «я искренно думал, что вы лучшая из всех девушек, которых я встречал». И любил он ее больше всех женщин, которые ему встречались, но «все это еще очень мало». Пусть Валерия его простит за «гадкий, переменчивый, подозрительный характер», с этим ничего нельзя поделать. «Мне кажется, я не рожден для семейной жизни, хотя люблю ее больше

всего на свете».

Дневники ничего не говорят о том, насколько болезненно Толстой пережил этот разрыв. Правда, в тот день, когда он отослал последнее письмо, ему было «очень грустно». Но не проходит и недели, как они в большой компании — Дружинин, Анненков, поэт Яков Полонский — ужинают у Вольфа, в кондитерской, славившейся еще с пушкинского времени, и Дружинин записывает: «Толстой не только сам по себе ел ужасно, но съел все остатки с чужих тарелок, при общем изумлении».

Прошел год. Толстой вновь увиделся с Валерией и не испытал ни горечи, ни сожалений. Чувство у него было совершенно иное: «Боже, как я стар! Все мне скучно, ничто не противно, даже сам себе ничего, но ко всему холоден. Ничего не желаю, а готов тянуть, сколько могу, нерадостную лямку жизни». Неужели с ним, а не с кем-то другим все это было прошлой осенью: предчувствие счастья, мечты о семейной идиллии?

Той осенью Соне Берс исполнилось двенадцать лет.

«Странный человек»

Решение ехать за границу было принято без долгих раздумий. Хотелось переменить атмосферу, прогнать прочь мрачные настроения из-за неудавшейся женитьбы. Несколько недель Толстой провел в Москве, откуда мальпостом отправился в Варшаву и дальше в Париж. Был конец января 1857-го.

В Москве его общество составляли в основном славянофилы. К Толстому они по-прежнему относились дружественно. Сергей Тимофеевич Аксаков еще в первую их встречу год назад проникся уверенностью, что Толстой «способен понимать строгие мысли, в какие бы пустяки ни вовлекала его пошлая сторона жизни». Младшие Аксаковы — Иван и Константин — как и отец, верили в здоровые духовные задатки этого писателя, хотя сближение с ним давалось им трудно. Константин после какого-то их спора, произошедшего весной 1856 года, написал Тургеневу: «Был в Москве граф Толстой, и я имел случай заметить, что вы верно его очертили. Странный человек! Молод, что ли, он? Не установился? Иногда идет с ним разговор ладно; он ведет речь умно и слушает разумно; а иногда вдруг упрется, повторяет свои слова и как будто вас не понимает. Кажется, в нем нет еще центра».

Толстой успел познакомиться и с Иваном Киреевским: он умер месяц спустя, в июне 1856 года. А беседы с Хомяковым в его доме на Собачьей

площадке запомнились ему на всю жизнь: «остроумный человек», истинно христианская душа, и как старался привести к православию своего собеседника, который тогда был еще очень далек от неформальной веры. Однако стать для славянофилов своим Толстой, конечно, не мог, и по той же причине, по которой он оставался чужаком среди петербургских либералов, приверженных европейским формам общественного устройства. И те и другие были увлечены идеологией, а для Толстого она в ту пору не была ни главенствующим, ни даже существенным началом жизни. Присутствуя при спорах представителей двух этих партий, Толстой мог в один вечер обратиться из пламенного западника в жесткого славянофила, но такие перемены вовсе не смещали того «центра», которого в нем не распознал проницательный Константин Аксаков. Просто «центр» находился вне поля идеологических размежеваний. Толстому человеческое бытие было интересно и важно в своих вечно повторяющихся этических и духовных противоборствах, а все остальное он воспринимал только как преходящий и, значит, несущественный момент исторического развития. Эта позиция оказывалась неприемлемой и для московского, и для петербургского его окружения. Оно раздражалось из-за подобного безразличия к насущным нуждам времени, раздражая и его своим догматическим поклонением «идеям».

Зимой 1857 года споры на этой почве, видимо, происходили часто, и, похоже, в Москве они бывали не менее острыми, чем в Петербурге. Январский дневник Толстого запечатлел суть очередной распри: «Опять к Аксаковым, тупы и самолюбивы». Сергей Тимофеевич поругивает «Доходное место» Островского — напрасно, Толстой от этой пьесы в восторге. А если Островский, отдавший в «Современник» только что законченный «Праздничный сон — до обеда», и правда не оправдал больших ожиданий, которые с ним связывают, как не видеть, что тому виной засохшая теория, напрасно у него вызывающая такое доверие. И славянофилы, очень для него влиятельные, несут за это долю вины. В день отъезда за границу Толстой пишет пространное письмо Боткину, где рассуждает и об Островском, и о славянофилах, которые ему «кажутся не только отставшими так, что потеряли смысл, но уже так отставшими, что их отсталость переходит в нечестность».

Тем не менее некоторые взгляды этих отставших мыслителей были Толстому и созвучны, и близки. Очень вероятно, что, зная о предстоящем отъезде в Европу, они с Толстым говорили о своем понимании путей и перспектив Запада — во многом пристрастном, но нередко и безошибочном. Иван Киреевский еще в 1839 году, разбирая нашу мевшую

книгу Давида Штрауса «Жизнь Иисуса», писал о том, что в Европе наступил век «торжества формального разума над верою и преданием» и победил «идеал бездушного расчета», который порождает «состояние нравственной апатии, недостаток убеждений, всеобщий эгоизм». Те же мысли много раз посещали и Толстого во время его путешествия. По мнению Киреевского, как и всех славянофилов, жизнь Запада основана «на понятии о индивидуальной, отдельной независимости, предполагающей индивидуальную изолированность», и в результате «святость внешних формальных отношений» почитается намного больше, чем духовное состояние личности. Человек, по существу, становится не более чем «умною материей, повинующейся силе земных двигателей, выгоды и страха», и поэтому, утверждал Киреевский, «нравственное ничтожество стало общим клеймом всех и каждого». О том же самом Толстой написал в рассказе «Люцерн», навеянном его швейцарскими впечатлениями.

Какого-нибудь заметного воздействия славянофильских воззрений он, по крайней мере в ту пору, не испытывал, с кружком Аксаковых больше спорил, чем соглашался, и все-таки чувствовал, что с этим кружком мог бы сойтись скорее, чем с петербургскими мечтателями о европейских порядках в России: начала сугубо русского самосознания у них распознавались несравненно более отчетливо, чем у авторов «Современника». А Толстой как раз в Европе ощутил, насколько русским человеком он был по всем своим духовным и этическим приоритетам.

*

В Париж он приехал 9 февраля, впервые путешествуя на поезде. Промелькнувшая за окном вагона Германия оставила «сильное и приятное впечатление». Париж, где тогда находились Тургенев и Некрасов, поначалу заворожил, что случалось со всеми, кто открывал для себя этот город. В начале апреля Толстой написал Боткину, что, прожив в Париже два месяца, не предвидит времени, когда французская столица потеряет для него интерес и прелесть.

И не такая уж беда, что он здесь себя осознает провинциалом, да еще и профаном. Несколько экскурсий по Лувру, несколько посещений публичных лекций в Коллеж де Франс, Версаль, театры, концерты — обычный распорядок молодого русского дворянина, открывающего для себя мир европейской культуры. «Толстой здесь и глядит на все, помалчивая и расширяя глаза», — пишет Тургенев в письме Боткину. Они

видятся с Толстым каждый день, и Тургенев, сетуя на его трудный характер, все равно остается при своем убеждении, что «этот человек далеко пойдет и оставит за собой глубокий след». Жаль, что с ним «совсем не покойно»: с ним неловко, он «слишком иначе построен, чем я. Все, что я люблю, он не любит — и наоборот». Но талант настоящий, крепкий. «Это, по совести говоря, единственная надежда нашей литературы».

Дневниковые записи Толстого об этих встречах и разговорах чаще всего совершенно другие по тону. «Тургенев скучен». Он «ни во что не верит, вот его беда, не любит, а любит любить». У него большой ум и прекрасный вкус, но он «дурной человек, по холодности и бесполезности». И все-таки тесные отношения Толстой поддерживает только с ним одним.

Они вместе едут в Дижон, где Тургеневу нужно лечиться, и вместе возвращаются, обсуждая только что законченную Толстым повесть «Альберт». Тургеневу она нравится, он сообщает об этом Некрасову, не предвидя, какой неблагоприятной окажется реакция редактора «Современника». Некрасов заявит, что вещь не удалась, и надо бы Толстому передавать «жизнь, а не исключения». Повесть он согласится напечатать только из уважения к былым заслугам автора и с надеждой на «простые, хорошие и ясные повести», которые Толстой еще напишет. «Альберт» будет опубликован лишь через полтора года. Больше Толстой не отдаст в «Современник» ничего.

В Париже его подстерегает неожиданный приступ тоски и «сомнения во всем». Подобное случалось переживать и прежде, но, похоже, никогда еще это не было так мучительно. «Зачем? и что я такое? — записал он в дневнике 19 марта. — Не раз уж мне казалось, что я решаю эти вопросы; но нет, я их не закрепил жизнью». Ощущение одиночества становится невыносимым, Толстого изводит желание решительных перемен. Его знакомят с русской парижанкой княжной Львовой, в которой чувствуется «какой-то шарм, делающий мне жизнь радостною», и он сразу же начинает думать о браке. Но тут же гонит прочь эту мысль: он некрасив, он, может быть, просто смешон и противен ей. Через полгода они увидятся в Дрездене, и княжна опять произведет на него сильное впечатление: «Красивая, умная, честная натура; я изо всех сил желал влюбиться, виделся с ней много, и никакого! Что это, ради Бога? Что я за урод такой? Видно, у меня недостает чего-то».

А ведь греет сердце мысль о семье. Еще зимой, когда Валерию он воспринимал как свою невесту, в письме к брату Сергею Толстой просил очень серьезно отнестись к его планам семейной жизни, ведь он «семьянин по натуре». Но планы так и остались планами — и с Валерией, и с

княжной.

Париж, который возбуждал такое любопытство, вдруг делается скучен и пошл. Уже не тянет в кафе для простонародья, где распевают сатирические куплеты и все так приветливы друг к другу. Куда-то исчезло «чувство социальной свободы, которая составляет главную прелесть здешней жизни». Гробница Наполеона, гигантский саркофаг из сибирского порфира, вызывает у Толстого резко отрицательную реакцию: какое гнусное «обоготворение злодея». В газетах напечатана речь нынешнего французского императора Наполеона III, произнесенная им на открытии Законодательного собрания — она раздражает его еще сильнее: сплошное пустословие, самовлюбленность, перешедшая все пределы. Кто-то советует Толстому посетить биржу — впечатление ужасное, мерзость. Да и все остальное тоже мерзость. Кругом одни «шельмы и дурные люди». Даже железные дороги отвратительны, потому что их строят главным образом для того, чтобы эти шельмы обогащались.

Ранним утром 6 апреля произошло событие, после которого оставаться в Париже Толстой больше не мог. Отчего-то — как он потом об этом сожалел! — ему вздумалось посмотреть на казнь на площади, где была установлена гильотина. Казнили повара, который ограбил и зарезал двух своих приятелей. Собралось двенадцать или пятнадцать тысяч человек, было много женщин и детей. Преступник поднялся на эшафот, поцеловал распятие, и через минуту в корзину упала его отрубленная голова. «Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, — писал Толстой Боткину в тот день, — но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека». Всего тяжелее видеть, как толпа с жадным любопытством наблюдала «до тонкости доведенное спокойствие и удобство в убийстве». Отец объяснял своей дочери, «каким искусным механизмом это делается».

Потрясенный Толстой был решителен в своих выводах: «Закон человеческий — вздор! Правда, что государство есть заговор не только для эксплуатаций, но, главное, для развращения граждан». И быть причастным к этому заговору он не желает. Он никогда не будет служить никакому правительству. Для него существуют лишь законы нравственные, «законы морали и религии», он признает «законы искусства, дающие счастье всегда; но политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего».

Полвека спустя многие его взгляды изменятся, но этому своему правилу он будет верен всегда. В его биографии Париж важен уже потому,

что установлено оно было именно там. А через двадцать пять лет в «Исповеди» Толстой написал, как, увидев казнь, «понял не умом, а всем моим существом, что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка». Пусть выдвигают любые теории, доказывая, что это нужно, — «я знаю, что это ненужно, что это дурно».

Его преследовали кошмары, ему снилось, что нож гильотины опускается и на его голову. Надо было бежать, куда угодно — и мелькнула мысль о Швейцарии, откуда он напишет Боткину, что в Париже прожил полтора месяца «в содоме, и у меня на душе уж многоросло грязи, и две девки, и гильотина, и праздность, и пошлость». Через день после экзекуции Толстой уехал в Женеву, где тогда находилась тетушка Александрин. Тургенев считал решение Толстого правильным. «Париж вовсе не приходится в лад его духовному строю», — написал он Анненкову. Впрочем, Тургенев ожидал, что и Женева Толстому не понравится. «Странный он человек, я таких не встречал и не совсем его понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича — что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо — высоконравственное и в то же время несимпатичное».

Тургенев оказался прозорливым — в Швейцарии «странный человек» пережил еще один шок, хотя повод для этого, казалось, был самый ничтожный.

Начиналось швейцарское путешествие замечательно. Александрин, когда он вдруг явился к ней в Женеве, всерьез отнеслась к словам платонически в нее влюбленного племянника, что ей одной дано спасти его от моральных терзаний, сводивших его с ума. Ах, «ежели бы Александрин была десятью годами моложе», — записывает он в дневнике 11 мая. Но ей уже сорок. И между ними установились отношения, которые сама она охарактеризовала так: «Мы стояли на какой-то особенной почве, и могу сказать совершенно искренне, заботились, главное, о том, что может облагородить жизнь, — конечно, каждый со своей точки зрения». Это были отношения дружбы — правда, признается Александра Андреевна, «немного слепой».

В качестве фрейлины великой княгини Марии Николаевны Александрин жила с ее семьей на вилле Бокаж, откуда открывался дивный вид на озеро и синие горы. Толстой находил, что в сравнении с Кавказом «все это дрянь», но прогулки были ему в радость, население казалось «свободным и милым народом», да и сам край был «чудным». Только знаменитые швейцарские пейзажи оставляли его равнодушным. В конце мая, захватив с собой знакомого мальчика из русской семьи, Толстой

предпринял десятидневное путешествие по окрестностям Кларана, городка, расположенного верстах в восьмидесяти от Женевы. Шли пешком, а по озеру плыли в лодке, обходясь без наемных гребцов. В дорожной сумке Толстого лежала чистая тетрадь, которую он исписал почти всю. Розовые в лучах рассвета Савойские горы, потоки с переброшенными через них мостиками из еловых ветвей, синяя озерная вода в маленьких бухтах, прозрачный воздух — все должно было вызывать восторг, однако Толстой не пленился видами со смотровых площадок, устроенных для туристов. «Где-то там красивое что-то, подернутое дымкой дали. Но это что-то так далеко, что я не чувствую главного наслаждения природы, не чувствую себя частью этого всего бесконечного и прекрасного целого».

В это путешествие он отправился не ради картин природы, а чтобы побыть наедине с собой, попытаться разобраться в сложных вопросах. Он своими глазами увидел то, что именovali цивилизацией, противопоставлял ее русскому, едва ли не варварскому быту. И очень многое в этой цивилизации пробуждало у него сомнения. Социальная свобода отдавала нравственным очерствением. Триумф закона и правопорядка после того зрелища казни выглядел как «ужасная ложь». И отчего все почитаемое полезным так враждебно прекрасному, поэзии? Человек жаждет и того и другого, поэтому в его стремлениях всюду видны «несогласуемые противоречия». Выбирать ли между ними? Или предпочесть «гармоническое колебание»? Может быть, такое колебание и есть «единственное справедливое жизненное чувство»?

Пройдет всего месяц, и колебания сменятся отвращением ко всему, в чем видят здравомыслие, а значит, благо и пользу. Вслед за Александрин, которую он шутливо называл бабушкой, Толстой перебрался в Люцерн, облюбованный богатыми англичанами, проводившими летние месяцы в Альпах. Городок показался Толстому прелестным: «...тишина, уединение, спокойствие», — пишет он Боткину. На площади стоит изваянная знаменитым датским скульптором Торвальдсеном статуя умирающего льва. Домики, обвитые виноградом, яблони с подпорками, некошенная трава. «Все просто, деревенско и мило ужасно».

Но уже день спустя от умиления не остается и следа. Отчего это произошло, становится ясно из рассказа, так и названного — «Люцерн». У рассказа есть подзаголовок «Из записок князя Д. Нехлюдова» — героя, каким Толстой хотел видеть самого себя. Читателю, который запомнил это имя по «Отрочеству», дается понять, что в рассказе будут высказаны заветные мысли автора. Так и происходит.

Рассказ начинается восторженными описаниями: Люцерн — это

необыкновенное «разнообразие теней и линий», здесь удивительная «гармония красоты». Какая-то сказочная страна: бело-лиловая горная даль, бело-матовые снежные вершины, «и все залито нежной, прозрачной лазурью воздуха». Но уже на второй странице гамма меняется и совсем иное значение получает преобладающий в ней белый цвет. Теперь это «белейшие кружева, белейшие воротнички, белейшие настоящие и вставные зубы, белейшие лица и руки». Лучший в городе пансион «Швейцергоф», великолепный пятиэтажный дом на берегу озера, заполнен англичанами, а их прежде всего отличает «отсутствие потребности сближения и одинокое довольство в удобном и приятном удовлетворении своих потребностей». Ни тени душевного волнения, лишь «строгое, законом признанное приличие». За общим столом разрезают говядину, обмениваясь в сотый раз повторенными фразами о достоинствах местной кухни и о погоде. Холод этикета, скука. «Мертвые лица», пробуждающие в душе «чувство подавленности».

Контраст создан, и вскоре выяснится, для чего он понадобился. Простой сюжет «Люцерна» суммирован в одном абзаце, почти дословно переписанном Толстым из дневника, только в рассказе этот абзац выделен курсивом: *«Седьмого июля 1857 года перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в течение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушали его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним».*

Этот заурядный случай вызвал у Толстого тягостное, убийственное чувство — явно не по своему значению, если держаться принятой логики. Александрина запомнила, что племянник приехал к ней сильно возбужденный, пылающий негодованием. Выслушав его, она все не могла взять в толк, что, собственно, произошло. «Факт, конечно, некрасивый, но которому Лев Николаевич придавал чуть ли не преступные размеры».

Действительно, придавал, написав в «Люцерне», что «это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации». Тем, кто ясно представляет себе житейский масштаб, но едва ли чувствует внутренний смысл обыденных событий, подобная реакция должна была показаться странной, даже необъяснимой. На самом деле она была естественной для складывающейся системы взглядов Толстого и для устоявшейся русской традиции восприятия Европы. После парижского бесчеловечного спектакля убеждения Толстого почти определились, а пережитое в Люцерне сделало их выверенными. В том, что касается европейского опыта, эти убеждения практически совпадают с мыслями

Гоголя, Герцена, в его поздние годы, и Достоевского, через несколько лет посетившего Париж, затем Лондон и написавшего «Зимние заметки о летних впечатлениях». Расходясь друг с другом очень во многом, они, тем не менее, каждый по-своему, ощущали, что Европа, как сказано у Достоевского, утратила «высший смысл жизни», потеряла «все общее и все абсолютное». Каждый из них осознал глубокое несовпадение определившегося русского и столь же твердого европейского воззрения на прогресс, на цивилизацию западного образца. Наблюдая одни и те же факты, в ней можно увидеть благодетельное устройство условий социальной жизни, а можно, как Толстой в «Люцерне», почувствовать, что уничтожаются «инстинктивные, блаженнейшие потребности добра в человеческой натуре». И, почувствовав это, озаботиться самыми трудными, никем окончательно не решенными вопросами: «Что свобода, что деспотизм, что цивилизация, что варварство?»

Вот о чем, неловко утешив оборванного музыканта, выпив с ним, под насмешливыми взглядами лакеев, шампанского в лучшем зале дорогого ресторана, думает князь Нехлюдов, когда поздно вечером возвращается домой. Ему все вспоминается элегантная публика, которая высыпала на балконы, чтобы послушать занятое тирольское пение, но не наградила бедного малого ни одним сантимом. Вспоминается закованный в броню приличий кельнер, высокомерный привратник, который унизил певца только за то, что тот был плохо одет. «Кипящая злоба негодования» провоцирует Нехлюдова на слова, оскорбительные для Швейцарской Конфедерации: «Разве, кто платит, не все равны в гостиницах? Не только в республике, но во всем мире. Паршивая ваша республика!»

Впрочем, это только взрыв эмоций. Чуть остыв от своей «глупой детской злобы», Нехлюдов попытается проанализировать случившееся, и тогда все происшествие приобретет для него знаменательный смысл — свобода и равенство людей остаются не более чем декларацией. И в демократичной Швейцарии никто не поклоняется свободе, если понимать ее как обеспеченное каждому право нестесненного развития своей личности. И под альпийским небом человек остается все тем же самым пленником социальных условностей, рабом сословных.

Стало быть, недостижимо такое состояние, «в котором не было бы добра и зла вместе». Но о гармоническом колебании между этими полярностями речи больше нет. Спасают не эти колебания, спасает «гармоническая потребность вечного и бесконечного», потому что без нее человек теряет невосполнимо много. А когда угроза таких потерь обозначается совершенно явственно, как она обозначилась перед

Нехлюдовым, наблюдавшим сцену перед «Швейцергофом», приходит чувство, что «один, только один у нас есть непогрешимый руководитель, всемирный дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить себя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу».

Эти размышления, в которых распознаются начатки будущей философии Толстого, пришлись явно не ко времени. Написанный за несколько дней «Люцерн» был опубликован в «Современнике» осенью 1857 года, но русское общество, наэлектризованное слухами о первых шагах правительства к крестьянской реформе, встретило его почти гробовым молчанием. Интерес тогда вызывали как раз «политические законы», а для Толстого они оставались «ужасной ложью», и только. В черновиках «Люцерна» есть снятая при публикации фраза, которая свидетельствует о тогдашних его настроениях: «Только слушай этот голос чувства, совести, инстинкта, ума — назовите его, как хотите, — только этот голос не ошибается». Трудно представить себе что-то более несовместное с главенствующими интересами и взглядами той поры.

Поэтому о «Люцерне» промолчал даже Боткин, хотя рассказ написан в форме послания из-за границы воображаемому адресату, а адресатом был именно Василий Петрович. Но, прочитав это послание, Боткин в письме Тургеневу отозвался о нем как о вещи «во всех отношениях детской» да еще и неприятной по тону. Скептичен был и Анненков: что-то «ребячески-восторженное», то есть неумное. Панаев, который слушал «Люцерн» в авторском чтении на даче Некрасова сразу по возвращении Толстого в Петербург, поначалу пришел в восторг, но, поняв, что преобладает негативное мнение об этом рассказе, стал к нему относиться по-другому: «Видно, что это писал благородный и талантливый, но очень молодой человек, из ничтожного факта выводящий Бог знает что и громящий беспощадно все, что человечество выработало веками потом и кровью». Через несколько лет суровый идеолог Писарев разгромил рассказ, заявив, что его герой всего лишь «неисправимый фразер или бестолковый идеалист».

Вряд ли можно было ожидать иной реакции. Но Толстому, хоть он и сам остался недоволен художественным результатом, «Люцерн» был дорог. Поэтому через полвека, составляя «Круг чтения», где собраны мысли, которые он считал важнейшими для здоровой и полноценной духовной жизни, он включил туда отрывок из этого рассказа — последнюю страницу, где Нехлюдов думает о «непогрешимом руководителе» для нас всех.

Как только был закончен «Люцерн», Толстой уехал в Германию, в Штутгарт, намереваясь, если получится, оттуда отправиться в Лондон к Герцену, но тут произошел срыв, который, зная его тогдашнее эмоциональное состояние, можно было предсказать. Поблизости от Штутгарта находится Баден-Баден, одна из игорных столиц Европы, Рулетенбург, как он назван в «Игроке» Достоевского, который там спустил все до копейки. С Толстым произошло то же самое. За три дня он проиграл огромную сумму, пришлось одалживаться у знакомых и у Тургенева, который пристыдил, но выручил.

Поэт Полонский, с которым Толстой в Баден-Бадене и познакомился, через двадцать лет вспоминал, как его новый приятель не мог оторваться от рулетки, и его деревенский холстинный мешок с деньгами пустел после каждого посещения казино. Еще ему запомнилось, как они катались за городом в обществе Александры Смирновой-Россет, светской дамы, приятельницы Пушкина и Гоголя. На дороге вдруг выскочила лисица, и Толстой с палкой в руках погнался за нею, позабыв обо всем на свете. Полонский читал свои стихи, но Толстой слушал плохо, мысли были заняты исключительно рулеткой.

Последние пятьдесят рублей серебром он был вынужден занять у человека, которого совсем не знал, и тут Толстой почувствовал, что «милого Бадена» с него достаточно. Да и странствий тоже. В Россию он ехал, почти нигде не останавливаясь. Была и еще причина для этой спешки — он получил известие, что сестра Маша окончательно рассталась со своим супругом. «Эта новость задушила меня», — записал он в дневнике. Правда, Валерьян повел себя, насколько умел, благородно: оставил имения детям, уехал в небольшую деревню, которая принадлежала ему по праву наследства. И принялся обзаводиться новым гаремом.

«Я знаю, что ты будешь меня уговаривать, — писала Маша брату, — но вникни в это, и ты сам увидишь. Надо привыкнуть жить самой по себе, управлять своим домом и семейством... Приезжай скорей». Николенька писал о том же: «Уверяю тебя, что иначе поступить, как поступила Маша, не было возможности». В Пирогове, куда Толстой поспешил, едва закончив самые необходимые дела дома, все оказалось в расстройстве: сестра болела, дети чахли, привычки, заведенные в этой семье, раздражали. Но Маша была ему слишком дорога, и он готов был идти на уступки. Уже через месяц с небольшим Толстой пишет Боткину, что они с сестрой, хотя и

разделенные несходством взглядов, чувствуют, как им «тяжело врозь друг от друга».

Россия после заграничного путешествия показалась «противной» — «Просто ее не люблю». Это было написано в дневнике сгоряча — не прошло и недели по возвращении. Мысль о том, как непереносима «эта грубая, лживая жизнь», которая «со всех сторон обступает меня», возникла, когда староста Василий отчитывался, сколько израсходовано на взятку доктору и отчего с крестьянами он не может справиться иначе, как кнутом. «В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши... происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие», — писал Толстой «бабушке», осмотревшись в Ясной. Вот и приходится бороться «с чувством отвращения к родине... привыкать ко всем ужасам, которые составляют вечную обстановку нашей жизни». То барыня прямо на улице колотит палкой свою девку, то становой требует воз сена за свои услуги, то бурмистр, решив наказать выпивающего садовника, посылает его босого по жнивью стеречь стадо, и тот возвращается с израненными ногами. Патриотка Александрин, скорее всего, думает иначе, но на самом деле «в России жизнь постоянный, вечный труд и борьба с своими чувствами». Запись в дневнике, сделанная двумя днями ранее, вносит некоторую ясность — бороться Толстому надо и со своими слабостями: «... похоть мучит меня, опять лень, тоска и грусть».

Некрасов, узнав о том, что Толстой считает Россию «противной», написал ему 29 августа: «Ну, теперь будете верить, что можно искренно, а не из фразы ругаться». Однако ругаться, то есть сочинять обличительные повести для «Современника», Толстой вовсе не намерен. Он заканчивает третью редакцию «Погибшего», как в рукописях назывался «Альберт», и посылает ее в журнал. Ответ Некрасова — вещь «нехороша» и «печатать ее не должно». Неудачный сюжет, патологический герой, которому «нужен доктор, а искусству с ним делать нечего». Кому интересен этот пьяница, лентяй, негодяй, зачем-то изображенный чуть ли не идеалом художника? Вот если бы Толстой вернулся к литературе, которая «передает жизнь, а не исключения»!

Скрипач Георг Кизеветтер, прототип Альберта, и вправду не соответствовал представлениям о великом художнике. Толстой познакомился с ним накануне отъезда за границу в одном петербургском «танцклассе», как деликатно именовались бордели. Прежде Кизеветтер играл в императорских театрах, но за пьянство был изгнан, опустил и фактически загубил свой талант. Толстой, покоренный его игрою, позвал музыканта к себе, надеясь как-нибудь пристроить, купил ему вместо

пропитой новую скрипку, но всерьез что-то поправить было уже невозможно.

Человек этот очень заинтересовал Толстого, и все полтора месяца в Париже он работал над повестью о «погибшем», окончил первый вариант, когда ездил с Тургеневым в Дижон, и прочел его своему спутнику. Тургенев «остался холоден, гуляя, ссорились». Холодность объяснялась скорее всего тем, что Тургенев считал взгляды Толстого на искусство такими же странными, как и все в нем. К тому же было понятно, что такая повесть не может иметь успех у публики, а этот критерий для Тургенева значил намного больше, чем для Толстого.

Впрочем, Тургенева могла покоробить и некоторая старомодность стилистики, этот экстаз вдохновения и блеск в глазах играющего музыканта, этот «страшный внутренний огонь» во всей его фигуре. Решившись выступить в роли благодетеля, Делесов, который, приведя в свой дом Альберта, засыпает не без «приятного чувства самодовольствия», — он, право, не самый дурной, даже совсем не дурной человек, — мог показаться Тургеневу некой завуалированной пародией на него самого, поскольку он был склонен к подобным поступкам. Но в особенности неприятен ему был сам Альберт, «странный человек», который возбуждает смешанное чувство удивления и сострадания.

Каким бы грязным и ничтожным существом он ни представал в минуты своей пагубной страсти, это, разумеется, по всей своей природе художник, но только художник совершенно иного типа, чем Тургенев с его неукоснительно выдерживаемой творческой дисциплиной и старанием строго подчинять порывы вдохновения установленным им для себя законам композиции. А у Толстого Альберт — это сплошная импульсивность, самозабвение и непредсказуемый полет. По своему пониманию сущности и призвания искусства, которое «любит одно — красоту, единственно несомненное благо в мире», этот жалкий скрипач являлся совершенным романтиком, характером не только не востребованным, но осмеянным и отвергнутым современностью, хлопочущей о «пользе обществу», поскольку лишь в ней видит предназначение искусства.

Толстой и этой своей повестью недвусмысленно дал понять, что современности он остается чужд и во многом враждебен. Вещь «описательная», как пишет он в ответ на критику Некрасова, ему менее интересна, чем «исключительная», которая стоит не на событиях, а «на психологических и лирических местах». И сюжеты он стремится выбирать именно такие, которые будут считаться неудачными. Можно предать забвению «Альберта», поскольку он «для других будет казаться не то»,

однако переделывать себя Толстой не умеет.

Повесть все-таки была опубликована в «Современнике», но уже следующую, «Три смерти», Толстой отдал Дружинину в «Библиотеку для чтения». Это означало полный разрыв с тем направлением, которое Тургенев с иронией обозвал «юридическим». Правда, Некрасов и сам тяготился печатанием повестей о взятках и доносах на квартальных, но от критериев общественной пользы и блага не отступил, хоть и видел, как легко отвадить от журнала публику, потчuya одними произведениями «с тенденцией». После расторжения соглашения он, кажется, уже не надеялся сохранить Толстого в числе своих авторов, но все-таки очень у него выпрашивал роман на 1859 год. Втайне рассчитывал, конечно, на «Казаков», потому что знал начальные главы, но ухватился бы за любую толстовскую рукопись.

Но «Три смерти» выглядели бы на страницах «Современника» чем-то инородным, да и «Семейное счастье», над которым Толстой тогда работал, — тоже. Правда, и Дружинин, опубликовавший «Три смерти», воспринял рассказ без восторга, а Тургенев написал автору, что смысл его притчи находят довольно туманным. О том же написала Толстому Александрин, и тогда он был вынужден проставить точки над *i* для непонятливых: «Моя мысль была: три существа умерли — барыня, мужик и дерево. Барыня жалка и гадка. Потому что жила всю жизнь и лжет перед смертью... В обещания будущие христианства она верит воображением и умом, а все существо ее становится на дыбы... Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которой он жил... Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво — потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет».

Он уверял «бабушку», что напрасно она его упрекает за отсутствие «христианского чувства». Ведь в рассказе процитирован 104-й псалом Давида, славящего Бога — Промыслителя жизни: мнутя те, от кого скрыт лик Его, и умирают, когда отнят их дух, и возвращаются в персть свою, но «пошлешь дух твой — созидаются, и Ты обновляешь лице земли». Однако укоры Александры Андреевны были вполне обоснованными, потому что мудрость Давида и пафос толстовского рассказа не совпадают. Кончина, обновление — для старика Федора, это, в отличие от барыни, цепляющейся за призрачные надежды, не повод для страха и размышления. Федор знает закон, обязательный для всех, и принимает его как вещь совершенно естественную. Александрин написала, что он просто *une brute*, а Толстой возразил: да, животное, но чем же это плохо, раз у него

«гармония со всем миром, а не такой разлад, как у барыни»?

Он, конечно, и сам хотел для себя такой гармонии — когда правда сопрягалась с красотой. Каким-то неясным образом она должна была дополниться любовью и спокойствием, которые дарует вера, однако единства не получалось: два эти чувства, писал он, в нем жили, как кошка с собакой, обитающие в одном чулане. На самом деле было не столько сосуществование, сколько конфликт. И этот конфликт напомнит о себе еще много раз.

«Семейное счастье», сюжет которого Толстой начал обдумывать сразу по возвращении из-за границы, тоже отмечено конфликтом двух идей, почти отрицающих одна другую. В нем была поэзия любовного союза и рядом с нею — страх, даже отвращение, вызываемые реальностью брака. Валерия Арсеньева незримо присутствует в этой повести, написанной от лица молодой замужней дамы. Она, правда, не старшая, а младшая из сестер, которые потеряли отца, но герой ее романа тоже появляется в осиротевшем доме как опекун, и тоже намного ее старше, и подвержен знакомым мыслям о том, что любовь для него кончена, остаются «только обязанности доживанья». Как и знакомым грезам о тихой деревенской жизни, где будут труд, природа, музыка и возможность «делать добро людям, которым так легко делать добро».

Маша гораздо больше соответствует его идеалу, чем Валерия даже в их лучшие минуты со Львом Николаевичем. Героиня повести, поняв, что суженый тяготится ее кокетством, перестает заботиться о нарядах и прическах, хотя ей и не сразу удастся покончить с «кокетством простоты». Ей очень хочется «выказывать перед ним лучшие стороны моей души», и она старательно постигает самую трудную науку — жить для другого. И в начале их брака Маша в самом деле живет только для того, кто для нее «самый прекрасный, непогрешимый человек в мире», равно как «первой и прекраснейшею женщиной в мире» видит свою жену Сергей Михайлович.

От своей несостоявшейся женитьбы Толстой ожидал такой же идиллии абсолютного понимания и взаимного полного отказа от эгоистических побуждений. Женитьба расстроилась, кажется, только из-за легкомыслия Валерии, однако, прочитав «Семейное счастье», понимаешь, что флирт с музыкантом и увлечение балами были лишь поводом для разрыва. А по существу, в Толстом жил инстинктивный страх перед этим решительным шагом, и не потому, что он опасался за свою свободу. Страшил его тот оттенок пошлости, который — он это предчувствовал и об этом написал свою повесть — непременно появляется, когда проходит время поэзии и нежности, и наступают будни, и незаметно, из мелочей возникает

отчужденность, и становится смешно вспоминать, сколько восторгов было пережито вместе. Когда, каким образом все это произошло с ними, герои толстовской повести не могут сказать, но прожить «весь вздор жизни», сохранив в себе ощущение ее полноты, а стало быть, и несостоящего счастья, оказалось выше их сил — да и Дано ли это хоть кому-нибудь? Сбылось все, чего они хотели; «неясные, сливающиеся мечты стали действительностью; а действительность стала тяжелою, трудною и безрадостною жизнью», — вот истинный сюжет «Семейного счастья». Он совсем новый для литературы, во всяком случае, для русской, хотя в первых черновиках это произведение называлось «Повести Лизы Белкиной», чем вроде бы отсылало к Пушкину. Но если замысел изначально и правда имел сходство с какой-то из «Повестей Белкина», то ассоциации, которые способен пробудить законченный вариант, уже совершенно другие. Чеховские.

Толстой, конечно, не предполагал, что предугадал — в общих контурах — собственный семейный «сюжет». Он знал другое: затронуто многое, что для него имело слишком интимный смысл, и не получается как-то избежать чрезмерной откровенности. Может быть, из-за этого повесть ему казалась ужасной, когда он читал корректуры. «Мерзкое сочинение, — пишет он Боткину. — ...Я теперь похоронен и как писатель и как человек!» Либерал и сибарит Боткин не понял этих терзаний, но о повести тоже отозвался скептически, хотя совершенно по иной причине: какой «противный пуританизм». Подразумевалась сцена, когда героиня едва не становится жертвой маркиза-итальянца с его грубым и красивым ртом. Боткина, видимо, больше бы устроило, если бы появился эпизод в духе французских гривуазных романов. Без него выходило «и холодно, и скучно», хотя талант виден на каждой странице.

Толстого такие оценки должны были задеть, однако он не стал вступать в полемику и вообще сделал вид, что о «Семейном счастье» забыл, словно он никогда его и не писал. Повесть он отдал в «Русский вестник», журнал Михаила Каткова, который занимал позиции, во всем антагонистичные «Современнику», и в некрасовской редакции это расценили как определенный жест. Толстому, впрочем, действительно стала безразлична все более ожесточенная литературная война — он жил теперь другими, не писательскими интересами. Получив от Каткова за свою повесть полторы тысячи, Толстой их тут же проиграл на китайском бильярде какому-то офицеру и нисколько не пожалел, что деньги ушли так глупо.

Прочь от литературы

После «Семейного счастья» Толстой три с половиной года ничего не публиковал. «Литературные занятия я, кажется, окончательно бросил... Все это время я то пытался опять писать, то старался заткнуть чем-нибудь пустоту, которую оставило во мне это отречение: то охотой, то светом, то даже наукой... Но теперь уж жизнь пошла ровно и полно без нее», — писал он Борису Чичерину осенью 1859 года, но на самом деле «без нее», без литературы, жизнь для Толстого не могла стать полной. Рукопись «кавказского романа», который мечтал заполучить для «Современника» Некрасов, много раз извлекалась из письменного стола в течение 1858 года, однако работа шла очень туго и в конце того года была оставлена — он считал, что навсегда. Молчание Толстого начали воспринимать кто с тревогой, а кто и как вызов. Тургенев, прослышавший, что Толстой увлекся какими-то лесными посадками и забросил литературу, писал Анненкову: «Боюсь... как бы он этими прыжками не вывихнул хребта своему таланту». Из Петербурга пришло полное беспокойства письмо от Гончарова: «...от Вас ждут многого, между прочим Кавказского романа... Все здесь, Вас недостает, и в каждом собрании Ваше имя произносится, как на перекличке».

Но на петербургские литературные переклички Толстой не являлся, а в Москве побывал только на одной, когда 4 февраля 1859 произносил речь по случаю его избрания членом Общества любителей российской словесности. Это Общество состояло преимущественно из славянофилов, председательствовал в нем Хомяков, и речь Толстого должна была ему понравиться утверждением, что увлечение повестями на злобу дня было, разумеется, необходимо и благородно, когда время сделало политические интересы самыми главными, однако, как всякое одностороннее увлечение, оно не могло быть длительным. «Литература народа, — говорил Толстой, — есть полное, всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к добру и правде, так и народное созерцание красоты в известную пору развития». Но даже Хомякова не устроило столь категоричное несогласие признать «политическую литературу» законной частью «другой литературы, отражающей в себе вечные, общечеловеческие интересы». Он принялся уверять Толстого, что и «Три смерти» отчасти написаны пером обличителя: умирает от чахотки старый ямщик, а товарищи равнодушны к его страданиям, — так разве в этой картине «вы не обличили какой-нибудь общественной болезни»? «Вы

были и вы будете невольно обличителем».

Как раз этого Толстой и не хотел, и когда приятели, которым он читал «Три смерти» еще до публикации, посоветовали сделать так, чтобы больше чувствовались «реальные вопросы» жизни, в дневнике появился недвусмысленный комментарий — «вздор». Если же как обличение воспринимают и «Три смерти», написанные как раз для того, чтобы после заполнивших журналы «доносов на квартального» люди задумались не о сиюминутном, а о вечном, стало быть, ему недостает таланта и умения с художественной достоверностью передать свои главные мысли. Не попал, да и не стремился попасть в преобладающий обличительный тон. Не мог после измучившего его «Семейного счастья» пойти по этой дороге дальше, потому что выходит явно не то, о чем можно сказать, что здесь воплощено «полное, всестороннее сознание» народа. А другая литература просто не нужна — по крайней мере, ему. Дружинину, который просит не позабыть про его журнал, Толстой осенью 1859 года отвечает, что «жизнь коротка, и тратить ее во взрослых летах на писанье таких повестей, какие я писал, совестно». И Фету пишет о том же. «Стыдно, когда подумаешь: люди плачут, умирают, женятся, а я буду повести писать „как она его полюбила“. Глупо, стыдно».

То, что он переживает, — вовсе не творческий кризис, когда на время гаснет и желание, и способность писать. Скорее это кризис представлений о литературе, прежде принимаемых, пусть с оговорками, им самим, и представлений о собственном месте в ней. Закончится он нескоро, только когда будут завершены «Казачьи», над которыми, с перерывами, Толстой работал десять лет.

А пока он словно старается убедить самого себя, что вовсе не рожден писателем. Проведенная в Москве зима 1857 года заполнена разнообразными занятиями: то игры с маленькими племянниками, которые души в нем не чают, то музыкальные вечера, устраиваемые им вместе с сестрой Машей у себя в доме на Пятницкой, где зародится идея Музыкального общества, будущей Консерватории. То гимнастика в зале на Большой Дмитровке, то светские визиты — случалось, и к Берсам, — то раут или бал, куда Толстой отправляется в щегольском фраке с неизменным белым галстуком. Брат Николенька посмеивается над его особенной бекешей с седым бобровым воротником, над ненужной ему, но очень модной тростью. Девочка Таня Берс запомнила, что к ним он приходил всегда «расчесанный и нарядный».

Девушку, которая в эту пору владеет его мыслями, зовут Екатерина Тютчева. Ей 22 года, она дочь знаменитого поэта, который прошлой зимой

в Петербурге приходил познакомиться с Толстым и оставил удивительное впечатление: дипломат, привыкший говорить по-французски и по-французски пишущий свои политические статьи, а какое знание тонкостей русского языка. В свои поздние годы Толстой будет много раз перечитывать Тютчева, который станет его любимым поэтом, потому что жил тем и говорил о том, что «предвечно». Екатерине Федоровне, впрочем, не передались эти высокие духовные интересы. Она была барышней умной и хорошо образованной. Однако признаваясь себе, что новое чувство захватывает его все сильнее, Толстой в дневнике отмечал, как она бывает «холодна, мелка, аристократична». Все повторялось, как в истории с Арсеньевой: то восторг и, кажется, несомненная влюбленность, то холод анализа, убеждающего, что любви нет и все это увлечение «противно».

Живущая в Петербурге сестра Дарья, которой Вяземский рассказал, что Толстой в доме Тютчевых свой человек, убеждает Екатерину Федоровну не пренебрегать этой партией, а другая сестра, Анна, просто не понимает, «как можно сопротивляться этому мужчине, если он вас любит». Тургенев пишет Фету из Рима, что рад за Толстого, если верить слуху о его предстоящей женитьбе на Тютчевой. А сама она держится с ним ровно, любезно — и только. Философические беседы о серьезных предметах вовсе не то, чего Толстой от нее ожидает, и очень быстро приходит охлаждение. Подводя итог, Толстой напишет «бабушке», что «Тютчева была бы хорошая, ежели бы не скверная пыль и какая-то сухость и неаппетитность в уме и чувстве». Мысль о семье опять откладывается. Толстой почти уверен, что навсегда.

Тогда же, зимой 1857 года, он сблизился с Чичериным. Они были ровесники, оба принадлежали к старой аристократии и мыслили, как в то время казалось им обоим, сходно. Чичерин, блестящий правовед и умеренный демократ западного толка, обладает достоинством, которое Толстой особенно ценит: у него широкий взгляд «в мире действительном». Он видит близость неизбежных реформ и готов их всячески поддержать, но при условии, что ими не будет поколеблена стабильность общественного порядка и не наступит анархия. Ни ретрограды, ни зовущие к топору ему совершенно не близки, он доказывает, что медлить с преобразованиями более нельзя, однако в России никакие преобразования невозможны, если на то не будет твердой воли государя и правительства. Свою программу Чичерин называл «охранительным либерализмом». Она его развела с Герценом, которого Чичерин напрасно пробовал убедить в великой пользе «обдуманности, осторожности, ясного и точного понимания вещей». Она поссорила его и с «Русским вестником», для которого Герцен был

неприятным, но точно так же неприятны были и надежды на просвещенного монарха, на систему разумно организованных институтов власти и неспешное совершенствование российских общественных установлений.

Толстому должна была импонировать и самостоятельность мышления Чичерина, и его принципиальность. Они подружились, даже перешли на «ты», хотя в мире «душевном» различия между ними были очень значительные. На старости лет Чичерин с грустью будет вспоминать о том времени, когда они «плыли по одной жизненной волне»: встречались чуть ли не каждый день, вместе ужинали в лучшем московском ресторане, у Шевалье, вели долгие откровенные беседы. «Но скоро поток унес нас в разные стороны и выбросил на противоположные берега».

Они оба мечтали «построить свой честный мирок среди всей окружающей застарелой мерзости и лжи». Об этом Толстой писал своему другу из Ясной, где весной 1858 года самозабвенно обустроивал деревенский быт, стараясь позабыть про «умственные волнения». Чичерин тоже был последователен в своем поведении, которое исключало какие бы то ни было компромиссы или уступки как преобладающей лжи, так и мнениям, принятым в тогдашних передовых кругах. Однако ему было мало вознаграждения, которое Толстой, строя «честный мирок» для самого себя, находил более чем достаточным, потому что такие усилия обогащали душу «огромным новым содержанием». Чичерин всегда чувствовал себя стоящим на профессорской кафедре, откуда возвещаются истины, обретенные длительными штудиями и подчиненные строгой логике, так что их насущная важность для всех становится несомненной. Толстой, в его глазах, был просто дилетант, а то и невежа, которого, ценя его «чуткую, восприимчивую, даровитую, нежную, а вместе крепкую натуру», надлежало приобщать к либерально ориентированной мысли и удерживать от «дури», какой оказываются его попытки решить «высшие вопросы бытия» без всякой подготовки и без всякого предварительного знания.

Эти попытки вызвали у Чичерина раздражение, тем более что «дурь» каждый раз оказывалась необъяснимо упорной. Несколько лет Чичерин пробовал его воспитывать, как прежде пытались это делать петербургские «умники», и, подобно им, натолкнулся на жесткое сопротивление. Убедившись, что ему не справиться с толстовской болезнью несостоятельного «резонерства», которому дела нет до любых умозрительных откровений, Чичерин прекратил эти попытки. А Толстой постепенно пришел к выводу, что они с Чичериным только «играли в дружбу». И написал — но не решился отправить, потому что вышло

слишком резко, — письмо, где страсть Чичерина к «сведениям и классификациям» назвал детской забавой, а не исканием правды, потому что истина добывается лишь «страданиями жизни» и страстью, сколько бы ни рассуждали про «следование курсу и аккуратность».

Несколько раз они встречались и в дальнейшем. Сглаживали свои несогласия, обходя стороной острые темы, говорили по-приятельски, но серьезного интереса друг к другу не испытывали. Чичерина все больше удручали «печальные блуждания крупного таланта». Толстому он был попросту скучен со своей кабинетной ученостью и преклонением перед Гегелем, будто бы ответившим на все вопросы, над которыми веками бьется человечество.

Дружбы не получилось, как не исполнилась мысль о семейном счастье.

Весной 1858 года Толстой прочно обосновался в Ясной, написав «бабушке» Александрин, что для него настало время «внутренней переборки, очищения и порядка», когда отбрасываются «запутанные, неясные привязанности». Имелись в виду Чичерин и Екатерина Тютчева, но и сама Александрин отчасти пострадала от такого порядка. Тургенев, хорошо ее знавший, так отозвался о ней в письме к Толстому: «Она очень хорошая и умная женщина; водиться с нею, должно быть, очень „здорово“ для души; но в ней есть какая-то резкая оконченность убеждений, слов и движений даже, которая меня слегка смущает». Толстого это качество тоже смущало, и в дневнике того времени появилась — тут же, правда, зачеркнутая — нелестная характеристика «бабушки»: «Начинает мне надоедать ее сладость придворно-христианская».

В письмах Александрин по-прежнему много нежной заботы о племяннике, который, ей кажется, должен очень скучать в своей глуши, и все так же она его упрекает за пренебрежение к религии, а он защищается, то шутливо, то всерьез. Тон этой переписки прежний, слегка ироничный, с сентиментальным оттенком, с неизменной доверительностью. Но едва распознаваемая тень уже пролегла между ними, и в конце концов Толстой решает объясниться начистоту и пишет «бабушке» длинное, очень откровенное письмо, одно из самых важных во всем его огромном эпистолярном наследии.

Оно было отослано 3 мая 1859 года, после того как Толстой получил от Александрин письмо, в котором она упрекала его в скепсисе, безразличии к утешениям, даруемым церковью. Не согласиться с тем, что он действительно плохой прихожанин, Толстой не мог, но укоры в равнодушии к религии отверг решительно. «Дело в том, что я люблю, уважаю религию,

считаю, что без нее человек не может быть ни хорош, ни счастлив, — писал Толстой, — что я желал бы иметь ее больше всего на свете, что я чувствую, как без нее мое сердце сохнет с каждым годом, что я надеюсь еще и в короткие минуты как будто верю, но не имею религии и не верю. Кроме того, жизнь у меня делает религию, а не религия жизнь... У каждой души свой путь, и путь неизвестный, и только чувствуемый в глубине ее».

Свой путь он в те годы уже чувствовал как путь Льва Толстого, ничей больше. Одинокий путь.

*

На Тургенева, который гостил в Ясной Поляне летом 1858 года, произвели очень сильное впечатление произошедшие с Толстым перемены. «Он весь теперь погрузился в агрономию, таскает сам снопы на спине, влюбился в крестьянку — и слышать не хочет о литературе», — написал он Дружинину.

Теперь все свое время Толстой посвятил «агрономии». Своих крестьян он перевел с барщины на оброк еще осенью 1857 года, а почти всем дворовым дал вольную. Вел с крестьянами разговоры о своей земле, которую готов был им продать по невысокой цене, чтобы покончить с их крепостным положением. К его удивлению, никакого восторга мужики не выказали. Уже ходили слухи о большой реформе, и они верили, что их освободят с землей, которая достанется бесплатно. Привыкнув не ждать от господ ничего хорошего, к предложению барина они отнеслись недоверчиво, даже враждебно. Отголоски споров сохранились в набросках не-дописанных толстовских рассказов из деревенской жизни: в одном из них барин зовет к себе старосту пить чай и уговаривает мир взять землю в аренду «под прущенты». Только мир не проведешь: «Уж как маслил, небось дураков нашел, с чем приехал — с тем уехал...»

Все это повторится и после манифеста об освобождении, к которому Толстой считал себя готовым еще задолго до его появления. Хозяйство у него — так он, во всяком случае, думал — было устроено разумно и надежно. Сеялся клевер, что для Тульской губернии было редкостью, расчищались леса, на ярмарке в Ефремове были приобретены славные лошади. Пирогово привели в порядок, в Герцовке, деревне, расположенной в десяти верстах от Ясной Поляны, устраивалась образцовая ферма. К Герцовке у Толстого был особый интерес. Там жила Аксинья Базыкина, та самая крестьянка, которую упоминал в письме Тургенев.

Ей было чуть более двадцати, и она оставила след не только в его жизни, но в творчестве тоже — в неоконченных рассказах «Идиллия», «Тихон и Маланья», а много лет спустя в повести «Дьявол». Аксинья была замужем, но муж, который занимался извозом, нечасто заглядывал в родной дом. Если считать, что Маланья ее точная копия, то Аксинью природа наделила какой-то особой притягательностью для мужчин и необыкновенным лукавством, которое позволяло безнаказанно кружить им головы. Ее связь с барином продолжалась года три, если не больше. Когда Софья Андреевна молодой хозяйкой приехала в Ясную, ей показали крепкого сложения бабу, пришедшую мыть полы в господском доме. Сгорая от ненависти и от ревности, юная графиня могла думать только об одном: баба, похоже, в тягости, какой ужас, если ребенок родится раньше, чем их с Левочкой первенец, и неужели он вправду мог вот с нею, грязной, непричесанной, грузной...

Из дневников мужа, который счел своим долгом дать прочитать их ей перед свадьбой, она узнала, что была некто А., в которую он «влюблен, как никогда в жизни». Правда, там было и другое: А. сделалась ему «постыла». Тем не менее, их встречи то в лесу, то в укромных уголках усадьбы продолжались, и, ругая себя скотом, Толстой со страхом чувствовал свою растущую зависимость от Аксиньи, которая становилась ему необходима все больше. Спасением была бы женитьба, но ведь он почти себя убедил, что этого счастья ему не дожидаться.

Рукописи он сложил в ящик стола, а начатое бросал. Единственное разнообразие в его деревенскую жизнь вносила охота. Ею Толстой тогда был увлечен страстно. В старости он ужасался, вспоминая об этой кровавой страсти, но она продолжала в нем тлеть, напоминая о себе сожалениями о том, что невозможно охотиться, не убивая. Ведь на охоте приходит совсем особенное чувство: осеннее поле или болотце, какая-нибудь узенькая перекладка над неведомой речкой, собака, которая стремглав кидается куда-то в сторону, учуяв притаившуюся дичь. Чудные места, незабываемые дни.

Вокруг Ясной были дивные охотничьи места — вплотную подступала Засака, громадный казенный лес до пяти верст шириной, который тянулся через всю Тульскую губернию. Брат Николенька с иронией наблюдал за «агрономией», не понимая, зачем это Левочка вздумал «юфанствовать», то есть опять уподобился работнику Юфану, у которого была привычка растопыривать руки, берясь за плуг. Но к охоте Николенька относился чуть ли не как к самому серьезному делу в жизни, и нередко они с братом вместе предпринимали длительные лесные экспедиции. Одна из них едва

не закончилась для Льва Николаевича трагически.

В декабре 1858 года они поехали под Вышний Волочек, в имение знакомого литератора Громеки, пригласившего на медвежью охоту. Провожатым взяли Архипа Осташкова, лучшего медвежатника в тех краях. По правилам следовало тщательно утоптать снег вокруг засады, где охотник ждал с ружьем, прислушиваясь к гону. Из глупого молодечества Толстой этого не сделал, а когда на поляну выскочила медведица, не смог ее уложить первым выстрелом, попал в пасть вторым и тут же очутился в снегу, придавленный разъяренным зверем. Николенька и Громека, находившиеся на другом краю поля, ничем не могли помочь, но Архип подоспел в ту минуту, когда уже трещали кости на лбу, и отогнал медведицу хворостиной. Снег вокруг был весь в крови, глаз уцелел чудом, а глубокий шрам на лбу остался у Толстого на всю жизнь. Медведицу он, отлежавшись, убил через двенадцать дней. Ее шкура долго потом хранилась в Ясной. А много лет спустя он описал этот случай в рассказе «Охота пуще неволи».

Охотничья страсть не улеглась, но жить одними забавами было невозможно, а труды рачительного хозяина быстро прискучили. Наступила тоска. «Мне так гадко, грустно теперь в деревне, — пишет Толстой Александрин. — Такой холод и сухость в душе, что страшно. Жить незачем. Вчера мне пришли эти мысли с такой силой, как я стал спрашивать себя хорошенько: кому я делаю добро? кого люблю? — Никого! И грусти даже, и слез над самим собой нет. И раскаянье холодное. Так, рассужденья. Один труд остается. А что труд? Пустяки, — копаешься, хлопчешь, а сердце суживается, сохнет, мрет».

Это настроение овладевает им в разгар весны, когда цветут яснополянские сады и парки. Толстому тридцать лет. Молодость прошла, жизнь не состоялась. У него литературное имя, но, отмучившись с «Семейным счастьем», он и думать не хочет о новой повести. У него имение, которое обустроено на зависть многим, но ведь страшно представить, что оставшиеся годы так и пройдут в «юфанстве», в разговорах с мужиками о преимуществах скоропашки перед обычным плугом. Ясная Поляна, единственное, что ему по-настоящему дорого: без родового гнезда, пишет Толстой в одном из набросков, «я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней». Но бывает, что даже Ясная не согревает. Нужно дело, которое смогло бы наполнить смыслом его будни. Осенью 1859 года Толстому кажется, что он его нашел: он посвятит себя народному образованию.

В последующие два года педагогика будет главным увлечением

Толстого, таким серьезным, словно его судьба зависела от того, сумеет он или не сумеет обучить деревенских марфуток и тарасок. Школу он находил «поэтическим, прелестным делом, от которого нельзя оторваться», и за всю зиму 1859 года он ни разу не съездил в Москву. Классы были устроены во флигеле, открывались они очень рано, в восемь утра, днем был предусмотрен перерыв, а потом занимались опять, чуть ли не до полуночи. Всего учеников набралось в первую зиму около пятидесяти, некоторых родители привозили из дальних деревень, и они оставались в Ясной на ночь.

Толстой твердо решил, что у него будет школа нового типа — ничего похожего на уроки отставных солдат или сильно выпивавших дьячков, которые учили грамоте и счету, полагаясь главным образом на ремень. О телесных наказаниях в его школе не могло быть и речи, да и надобности наказывать не возникло ни разу. В крайних случаях довольно было угрозы, что совравшему прилепят на спину ярлык «лгун» и так проведут по деревне. Или — самое страшное — что провинившихся, нерадивых больше не пустят на занятия.

Толстой верил, что крестьянские дети хотят учиться и нужно только найти к ним правильный подход, чтобы школа стала им в радость. А ему самому доставляла радость вера в то, что в народе таятся огромные творческие силы и, может быть, в его классе сидят будущие Ломоносовы. Он не позволит их дарованиям пропасть. Значит, будет исполнено его жизненное назначение. Ведь «народное образование в настоящее время для нас, русских, есть единственная законная сознательная деятельность для достижения наибольшего счастья всего человечества».

Любимый ученик Толстого Василий Морозов в старости написал книжку о яснополянской школе, живо передавая атмосферу свободы и увлеченности, которая в ней царила. Занятия чаще всего вел сам граф, но были и другие учителя из числа семинаристов и студентов, тульских или московских. Многие из них привезли с собой переписанные от руки революционные статьи Герцена, и почти все они были горячими почитателями Чернышевского. Однако в Ясной их Радикализм как-то сглаживался и они отдавались делу, позабыв о пламенных речах, которые еще месяц-другой назад произносили в кружках своих единомышленников. Толстой мог гордиться уже тем, что отвадил эту славную, наивную молодежь от пламенных и пустых мечтаний о социализме, убедив, что гораздо важнее учить детей истории, ботанике, физике.

Сам он вел уроки, игнорируя методики, и благодаря этому смог пробудить в детях живой интерес к знаниям. Когда он рассказывал им о

Наполеоне, о войне, со всех сторон раздавалось: почему мы так долго отступали, как вышло, что сдали Москву? Зато, когда рассказал о торжестве Кутузова, класс просто застонал от восторга. «Окорячил его!» — выкрикнул десятилетний Федька, раскрасневшийся от волнения. И со всех сторон понеслось: «Так-то лучше! Вот те и ключи!»

Казенщина была изгнана беспощадно, принуждение и насилие запрещались. Толстой стремился превратить свою школу в большую семью. Каждый был волен приходить или не приходить на уроки, и как раз поэтому никто их не пропускал. Более способные тянули за собой отстающих, старшие помогали младшим правильно выводить буквы, и каждый был счастлив, если «вассятельство» обратит на него внимание, поправит, поощрит. «Вассятельство» не находил ничего зазорного в том, чтобы устроить с учениками кучу малу, предложив им толпой наброситься на него, повалить в сугроб, вместе ползать по гимнастическим снарядам в специально оборудованном зале, вместе покататься с ледяных гор или отправиться в лес на прогулку. Была выделена десятина графской земли, чтобы желающие — их нашлось восемь человек — попробовали ее засеять и обрабатывать по собственному разумению. Была устроена лотерея, и победителю досталась от графа лошадь. Была затеяна совместная литературная акция: писали сочинение в стихах про ка-кого-то деда в порванном тулупе, класс подсказывал и повороты сюжета, и рифмы. Получилось неплохо, Толстой хотел напечатать это сочинение, но ученики изорвали листы на хлопущи.

Нового Ломоносова в окрестностях Ясной не отыскалось, и все-таки Толстой мог считать, что его цель достигнута. Вскоре в округе появилось еще два десятка школ, и всюду система обучения, которой он держался, приносила замечательные результаты. Стало очевидным, что народное образование может быть эффективным только при условии, что оно перейдет под патронаж общества, которое одно способно развивать умственные способности и нравственные понятия, тогда как в казенной школе обучают только чтению псалтыря.

Школа заслоняла для Толстого все остальное до тех пор пока, без видимого повода, это его увлечение не начало стремительно ослабевать и вскоре совсем прошло. Сам он думал, что педагогика — это вдруг открывшееся ему истинное призвание, которое повелело оставить писательство как дело пустое и ненужное. В действительности же дело было в другом — уход из литературы являлся следствием прежде всего литературной позиции Толстого, когда он почувствовал, насколько ему чужды все современные направления — радикальные, либеральные,

консервативные, охранительные, да какие угодно — и как неприемлема для него сама эта злободневность, которой пропиталась тогдашняя русская словесность. Как писатель он не принадлежал к тем, кто был озабочен современными «вопросами», и оставался, в общем, равнодушным к предлагавшимся «ответам». По-настоящему интересно Толстому было совсем иное, то, что в финале «Люцерна» он назвал «всемирным духом», который проникает каждого и всех вместе. Идеей о «всемирном духе» пронизана и повесть «Семейное счастье». Но когда Толстой осознал, что органического единства не получается, пришло ощущение творческой неудачи, что литература вообще не его занятие, в отличие от педагогики, где он действительно сможет следовать главным образом велениям «всемирного духа», отзываясь при этом и на современные нужды.

В педагогических статьях Толстого, написанных для основанного им осенью 1861 года журнала «Ясная Поляна», эта логика, не принятая его оппонентами, прослеживается довольно четко. Статьи направлены против «раздраженных, больных либералов» и «чиновников литературы», против «старых статей Белинского и новых статей Чернышевских». Университеты он называет бесполезными учреждениями, в которых готовят людей, удобных правительству, а общество испорченным, поскольку оно живет «в понятиях, противных народу». Вовсе не очевидно, «кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» В статье, которая так и озаглавлена, Толстой проводит мысль о том, что крестьянские дети следуют «всемирному духу» несравненно более естественно и твердо, чем какой-нибудь догматик, кичащийся своим профессорством.

Цивилизация, культура, общественное мнение, социальное благо, прогресс — все это, по мысли Толстого, просто фетиши. Прогресс не в истории, он в душе каждого человека. Цивилизация измеряется вовсе не числом домов призрения или газовых фонарей на улицах, а «чистотой нравов», которая первобытному обществу была присуща больше, чем нынешнему. Сколько бы ни говорили о своем служении идеалам те, кто радеет о новых железных дорогах и о просвещенности масс, на самом деле они предают тот единственный идеал, который надлежит признать истинным. Он *«сзади, а не впереди»*, ведь «ребенок стоит ближе меня, ближе каждого взрослого к тому идеалу гармонии, правды, красоты и добра, до которого я, в своей гордости, хочу возвести его. Сознание этого идеала лежит в нем сильнее, чем во мне».

Разумеется, передовая общественность восприняла эти мысли Толстого как проявление невежества и как выпад против ее лучших

устремлений. Журнал, к которому прилагались книжки для детского чтения, не имел никакого успеха и продержался всего год — не было подписчиков. Чернышевский, которому, подавив свою неприязнь, Толстой послал два номера «Ясной Поляны» с просьбой дать о них в «Современнике» объективный отзыв, согласился с отдельными педагогическими наблюдениями Толстого. Но позицию издателя в целом он не принял категорически и написал, что все «порядочные люди» отвернутся от него, если он и впредь будет осмеивать их старания просвещать и воспитывать народ в воскресных школах.

Суждения «порядочных людей» Толстому были не так уж важны, не слишком его задело и неодобрительное молчание славянофилов, точно не заметивших его журнал. Школа прекратила свое существование к концу 1862 года не из-за того, что он признал неудачу своего эксперимента, цель которого состояла в том, чтобы покончить с «насилием в деле образования» и противопоставить принуждению принцип свободного развития творческих сил, таящихся в ребенке. Она перестала существовать просто потому, что делом Толстого являлась все-таки не педагогика, а литература, и наступил момент, когда с сомнениями в этом было покончено.

Однако он наступил лишь после того, как в жизни Толстого произошло несколько очень важных событий.

*

В 1860 году Толстой отправился во второе путешествие по Европе. 2 июля он и сестра Мария с детьми на пароходе «Прусский орел» отплыли из Петербурга в Штеттин. Путь их лежал через Германию на швейцарские курорты — Маша очень боялась, что у нее чахотка. Полтора месяцами раньше туда же увезли брата Николая, у которого туберкулез перешел в последнюю стадию. Фет, который коротко с ним познакомился в ту пору, писал, что Николай Толстой был человеком редкого обаяния, но по отношению к себе беспечный до крайности.

Третьему брату, Сергею, стоило немалых трудов убедить Николеньку, что ему необходимы немецкие доктора. Лев Николаевич, встретившись с ним в начале августа в Киссингене, испытал боль: «Положение Николеньки ужасно. Страшно умен, ясен. И желание жить. А энергии жизни нет». Было решено ехать на французскую Ривьеру, в Йер. Делали длительные остановки во Франкфурте, в Женеве — больной слабел с каждым днем. Развязка наступила 20 сентября.

Это был очень тяжелый удар. И в письме Фету, и в дневниках того времени, и много лет спустя в беседе со своим секретарем Толстой говорил, что ни одну утрату он не переживал так глубоко. До последней минуты Лев Николаевич находился рядом с братом, и Сергею через несколько дней написал: «Как это ни тяжело, мне хорошо, что все это было при мне и подействовало на меня, как должно было». Николенька проявил необычайную силу характера, только жаловался на бессонные ночи, когда изнурял кашель и преследовали кошмары. Отошел он как будто даже без страданий: покорился болезни, попросил себя раздеть и уложить, потом дыхание стало очень редким и все кончилось. «Я чувствую теперь, — писал Лев Николаевич Сергею, — что, как потеряешь такого человека, как он для нас, так много легче самому становится думать о смерти».

Перед отпеванием была сделана маска с лица покойного, которую потом, в Брюсселе, Лев Николаевич отдал скульптору Гифсу, и тот изваял два бюста для яснополянского дома. Когда в этом доме появятся дети, их часто будут заставлять играющими с Николенькой: кто-то хлопал его по щекам, кто-то хватал за нос. Софья Андреевна вздыхала: если бы с живым...

Толстой жил в Йере до середины декабря. В дневнике, который он вскоре забросил, есть записи, свидетельствующие о тяжелом духовном кризисе: «Скоро месяц, что Николенька умер. Страшно оторвало меня от жизни это событие. Опять вопрос: зачем? Уж недалеко от отправления туда. Куда? Никуда». Такие же мысли содержатся в его письме из Мера к Фету: «Для чего хлопотать, стараться, коли от того, что было Н. Н. Толстой, для него ничего не осталось». Страшно даже вообразить, а тем более пережить это «поглощение себя в ничто». Все бессмысленно, «когда завтра начнутся муки смерти со всею мерзостью подлости, лжи, самообманыванья, и кончатся ничтожеством, нулем для себя». Польза, добродетель, счастье, искусство — все это только жалкие попытки заслониться от ужасной правды, особенно искусство, эта «прекрасная ложь». К искусству он, Толстой, никогда не вернется. Если у него что-то еще осталось «из мира морального», так одно лишь «глупое желание знать и говорить правду», ужасную правду о том, что все дичь, все обман перед лицом главной истины о пустоте неба и безысходной тоске существования.

Это настроение со временем пройдет. Однако Толстого до конца дней будет мучить проблема, о которой он писал Фету в 1861 году, — чем оправдана жизнь, если она заканчивается небытием. Он попытается осмыслить и разрешить эту проблему в книге «О жизни», одном из главных своих философских сочинений. Настаивая на том, что искусство только

«прекрасная ложь», если в нем нет наглядного морального поучения, он, тем не менее, ближе всего подойдет к своему, чисто толстовскому ответу на этот вопрос, когда в середине 1880-х годов будет написана «Смерть Ивана Ильича», повесть, где нет и оттенка проповеди.

А пока Толстой просит тетушку Ергольскую прислать ему в Йер папку с рукописями кавказского романа и одновременно начинает работать над новым — о декабристе, который возвращается в Москву после тридцати лет сибирской ссылки. Нелогичное, непоследовательное решение, но в действительности его можно было предугадать точно так же, как возвращение Толстого в литературу после педагогических экспериментов.

Материалы, относящиеся к «Казакам», до Йера, похоже, так и не дошли. Работа над «Декабристами» растянулась на много лет. Видимо, несколько глав были написаны в первые месяцы после смерти Николеньки: что-то из этого романа Толстой читал Тургеневу, когда весной они увиделись в Париже, и Тургенев, отметив, что смерть брата сильно подействовала на его гостя (он «не без чудачества, но удовлетворенный и смягченный»), из этого чтения заключил: «Талант его далеко не выдохся». Однако вскоре рукопись будет отложена на неопределенное время, а затем начнет вызревать замысел «Войны и мира». Несколько позднейших попыток вернуться к оставленной книге не увенчаются творческим результатом. В конце концов тот отрывок, который был у Толстого вчерне готов к моменту возвращения на родину, появится в 1884 году в очередном, пятом издании Сочинений и будет представлять интерес главным образом в силу того, что герои этого отрывка, состарившаяся в Сибири чета пострадавших после 14 декабря, носят имена Пьер и Наташа.

Во Флоренции, случай свел Толстого с четой Волконских; декабристом князем Сергеем и его женой, в девичестве Марией Раевской, которую воспел Пушкин. Сергей Григорьевич приходился ему дальним родственником по материнской линии; теперь ему было уже за семьдесят и впечатление он производил незабываемое: длинные седые волосы, внешность ветхозаветного пророка. Что-то от князя передалось Пьеру из «Декабристов», но не так уж много: когда Толстой познакомился с Волконскими, характеры героев его романа были уже очерчены, а следов серьезной переработки рукопись не содержит.

Через несколько месяцев, прочитав выпуск «Полярной звезды» с декабристскими мемуарами, Толстой написал Герцену, что горд собой: не зная ни одного декабриста, он «чутьем угадал свойственный этим людям христианский мистицизм». Правда, с одним декабристом, Михаилом Пуцциным, он все-таки был знаком мимолетно — они встречались в 1857

году в Швейцарии. Но и в самом деле руководило им больше всего «чутье». Впоследствии Толстой прочел о декабристах все, что было доступно, и подробно расспрашивал о пережитом участника этого движения — Дмитрия Завалишина, который вернулся из Сибири в Москву позже всех, лишь осенью 1863 года. Вероятно, весь отрывок, заверченный в первой редакции, подвергся бы коренной переделке, если бы автор решил заняться им основательно. Такие мысли у Толстого, несомненно, были, однако он решил, что необходима предыстория декабристского поколения, и непосредственно о судьбах людей 14 декабря так и не написал.

Работа над романом, скорее всего, прекратилась вскоре после отъезда из Йера, поскольку в дальнейшем Толстой нигде не задерживался надолго, так как хотел как следует посмотреть Европу и, пользуясь случаем, изучить систему школьного образования. Через Флоренцию и Ливорно он добрался до Рима, потом до Неаполя, который ему показался красивым до приторности. Рим сначала тоже ему не понравился — «все камни, камни», — но после прогулок по окраинам пришло «первое живое впечатление природы и древности». В Риме обосновалась колония русских художников: Михаил Боткин, Сергей Иванов — брат Александра, и другие. Они сходились в кафе «Греко», вместе бродили по древним улицам и площадям, обедали в дешевых трактирах. Наводывались в ателье других живописцев: французов, испанцев. В Риме Толстой познакомился с молодым художником Николаем Ге, который впоследствии станет одним из его единомышленников и самых близких друзей.

Василий Петрович Боткин, любивший Рим, сообщал Тургеневу, что их общий друг подпал под чары Вечного города. В действительности у Толстого от Италии осталось более сложное чувство. Многие вправду пленяло, многое и отталкивало. И настолько, что однажды, полтора десятка лет спустя, Толстой написал своему приятелю, историку Дмитрию Голохвастову, что прославленное античное величие ландшафта казалось ему монотонным, ненатуральным, пошлым, что «скорее бы стал жить в Мамадышах, чем в Венеции, Риме, Неаполе».

Неприятные воспоминания о Париже были еще слишком свежи, и там Толстой не задержался. Повидал Тургенева, прочел ему кое-что из нового романа и отправился в Англию. Поводом для этой поездки было изучение английских школ, истинной целью — свидание с Герценом.

Изгнанный из России, но живший прежде всего мыслями о России и ее будущем, Герцен поселился в Лондоне в 1852 году. Здесь была Вольная русская типография, в которой печатались «Полярная звезда» и «Колокол». Все нити русской оппозиции власти вели в Лондон, в Орсет-хаус. Адрес этот был известен и радикалам, и мракобесам. Однако и царским шпионам. Герцена почитали, Герцена ненавидели. Игнорировать его не мог никто.

Когда Толстой после Крымской войны приехал в Петербург, его познакомили с Огаревым, который хлопотал о заграничном паспорте, чтобы тоже стать экспатриантом. О Герцене, несомненно, говорили с Толстым и Анненков, и Боткин, друзья его юности. Осенью 1856 года в дневнике Толстой записал свое впечатление от «Полярной звезды»: «Очень хорошо».

Когда он первый раз уезжал в Европу, один негласный петербургский корреспондент Герцена передал с ним какие-то материалы для готовившихся к публикации в Лондоне сборников «Голоса из России». Но пакет вернулся обратно — встречаться с Герценом Толстой побоялся. Сам себя ругал за малодушие, пытался оправдать свою «постыдную нерешительность» незнанием таможенных порядков. Кажется, за всю долгую жизнь Толстого это был единственный случай, когда страх взял верх над нравственным обязательством.

В Швейцарии Толстой прочел по рукописи сочинение Чичерина и его сторонника К. Д. Кавелина, которое Герцен поместил у себя в «Голосах из России» за подписью «Русский либерал». Неподцензурный текст открыто формулировал самые наиболее проблемные вопросы тогдашней российской действительности, которые Чичерин понимал и пытался решить совсем иначе, чем Герцен. Говорилось о том, что дальнейшее существование рабства невозможно и недопустимо, но напрямую было сказано и другое: «русский социализм», который проповедует Герцен, тоже недопустим, да и несостоятелен в принципе. Апологет либерально устроенного государства, Чичерин доказывал, что в России можно действовать и достичь каких-то результатов только через правительство, которое будет постепенно осуществлять нужные реформы, а Герцена он резко упрекал за призывы к мятежам и насилию. «Ваше кровавое знамя, развевающееся над ораторскою трибуною, — писал он, — возбуждает в нас негодование и отвращение».

Это «Письмо к издателю» имело большой резонанс, потому что затронуло темы, которые тогда волновали всех. Толстой его читал в доме князя Мещерского и его жены Екатерины Карамзиной, дочери историка; это были, по его представлению, люди чрезвычайно добрые, но и ужасно

тупые, и аргументы Чичерина они, видимо, нашли неопровержимо верными. Его реакция оказалась совершенно иной: Мещерские — «озлобленные консерваторы. Не мой круг».

Чичерин, конечно, тоже был в идейном смысле не его круг. Вся аргументация Чичерина против Герцена носила политический характер, а Толстой, наблюдавший в Париже ужасную сцену гильотинирования, теперь был убежден, что в политических законах не может быть ни лучшего, ни худшего. По той же самой причине для него никак не мог бы стать человеком его круга тогдашний Герцен.

Тем не менее в первые месяцы на родине, где после Европы все показалось ему «скверно, скверно, скверно», настроение у Толстого было такое, что с чьей-то руки вошло в обиход именовать его, поминая герценовский псевдоним, вторым Искандером. Это прозвище стало известно «бабушке» Александрин, которая не на шутку встревожилась: в немногих известных ей писаниях Искандера царит дух, «противный всякому христианскому началу», там одна «ядовитая желчь» и ненависть к отечеству. Александрин закликает племянника предъявить ей доказательства, что с Искандером у него нет ничего общего. Племянник предпочитает отшутиться, но как бы невзначай дает «бабушке» понять, что с Герценом его связывает что-то намного более существенное, чем сходство или различие идей. Он объясняет «бабушке», что теперь ему кажется смешной сама мысль о возможности устроить себе спокойный мирок, в котором живут без путаницы, но и без раскаяния, и делают «все только хорошее», радуясь собственной умеренности и аккуратности. «Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что называют счастьем... Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость». Это определение «честного» взгляда на жизнь, которое содержится в письме к Александрин, написанном в конце октября 1857 года, к Герцену подходило больше, чем к любому из современников Толстого.

Судя по записи в дневнике, он читал Герцена («разметавшийся ум — большое самолюбие. Но ширина, ловкость и доброта, изящество — русские») накануне второй поездки в Европу. Лондон притягивает его многим — здесь, по слухам, прекрасные школы, здесь Диккенс часто устраивает публичные чтения, собирающие толпы ценителей его таланта, и Толстой побывает на одном таком выступлении, запомнив его на всю жизнь. Но прежде всего ему необходимо попасть в Орсет-хаус.

Он появился там через два дня после приезда. Адрес ему дал Тургенев,

часто бывавший в этом доме. Обычно приехавшие из России сначала заходили в книжную лавку, где продавались нелегальные издания, и посылали Герцену записки через ее владельца.

Дневник в те месяцы Толстой не вел, и о его разговорах с Герценом приходится судить по немногим сохранившимся свидетельствам — причем малодостоверным, как мемуары Тучковой-Огаревой, которая весной 1857 года стала хозяйкой этого дома. Она рассказывает, что Толстой у них в гостиную вел жаркие споры с Тургеневым, — на самом деле Тургенев в то время находился в Париже, — что, аккомпанируя себе на фортепьяно, охотно исполнял сочиненные им в Крыму солдатские песни, не смущаясь присутствием дочери Герцена Наташи, которой еще не было и семнадцати.

Почти через сорок лет Наталью, жившую в Швейцарии, разыскал по просьбе Бирюкова сын художника Ге, и та смутно вспомнила, что гость не оправдал ее романтических ожиданий. Она к тому времени уже прочла повести Толстого, составила мысленный портрет вдохновенного художника, но когда в отцовском кабинете увидела человека в отличном английском костюме, который с упоением рассказывал, как ему понравились в Лондоне петушинные бои и боксерские поединки, была очень разочарована.

Сам Толстой рассказывал Бирюкову, что с Герценом в те две недели они виделись едва ли не ежедневно, «были разговоры всякие и интересные», и собеседник блистал остроумными сопоставлениями. О чем они говорили, можно догадаться, прочитав сохранившиеся три письма Толстого из Брюсселя и Франкфурта, — они написаны сразу после встречи в Лондоне.

Толстой защищается от упреков в том, что он не знает России. Ясно, что они содержались в не дошедшем до нас письме Герцена, и надо полагать, высказаны им были не в первый раз. Они с Толстым встретились в исторические дни — 17 марта иностранные газеты напечатали манифест об освобождении крестьян. Для страны начиналась новая эпоха. Рядом с таким событием утрачивало интерес и важность все остальное.

Герцен видел ближайшее будущее в радужных тонах. Ненавидимый им «петербургский деспотизм» зашатался. Перспективы нового социального устройства на началах демократии и «русского социализма», предполагающего общину, то есть совместное владение землей, обозначились как будто бы с полной ясностью. И самое замечательное, что перемены, равнозначные революции, могли, по убеждению Герцена, свершиться без катастроф, даже вообще без крови. Необходимо правительство, которое на деле будет озабочено реформами во благо

народа. Необходимо покончить с дворянством как с привилегированным сословием. Это переворот, но он, полагает Герцен, мог бы оказаться мирным и безболезненным, если инициативу возьмет на себя энергичный и совестливый человек, каким ему, не питавшему ни малейших иллюзий относительно Николая, видится занявший русский престол Александр II. «Самодержавная революция» — парадокс, однако в тогдашнем представлении Герцена, далеко не утопия.

Под впечатлением от недавней полемики (надо полагать, довольно жаркой, потому что Тургеневу Герцен пишет про упорство своего собеседника, который «не думает, а все, как под Севастополем, берет храбростью, натиском») Толстой заключает: напрасно было искать его «на том конце», где находятся издатель и страстные читатели «Колокола». Об этом в его письме Герцену из Брюсселя сказано без обиняков: он ценит способность Герцена «сбегать за микстурой для Тимашева», то бишь беспощадно отхлестать жандармского начальника, этого реакционера из реакционеров, ценит его страстное, убийственно меткое перо, но в главном они не сходятся. «Дай-то Бог, чтобы через 6 месяцев сбылись ваши надежды. Все возможно в наше время; хотя я и возможность эту понимаю иначе, чем вы».

А дальше Толстой интересуется: «Как сошла ваша иллюминация?» Он знал, что по случаю манифеста Герцен намеревался устроить у себя торжественный обед для всех сочувствующих великому делу крестьянского освобождения, какой бы они ни были партии. Обед состоялся 10 апреля, разливали шампанское, когда пришла телеграмма о волнениях в Варшаве. Стреляли в толпу, были жертвы. Пить пришлось в память погибших.

Надежды Герцена на всестороннее обновление России стараниями человеколюбивой власти очень быстро угасли. В Лондоне стали разрабатывать планы тайного революционного общества, которое получит название «Земля и воля». Огаревым была составлена прокламация «Что нужно народу?», а Герцен принялся за цикл статей «Концы и начала», где доказывал, что европейское культурное развитие увенчалось торжеством мещанина, тогда как Россия способна избежать подобной участи, пока в ней не угас порыв к революционному обновлению. Может быть, какое-то из печатавшихся в «Колоколе» писем, которые в совокупности составили эту книгу, имел в виду Толстой, когда летом 1862 года — правда, в состоянии аффекта, для чего были свои причины, — писал Александрин, что герценовские писания не вызывают у него ничего, кроме скуки. И если его вынудят покинуть Россию, к Герцену он не поедет: «Герцен сам по себе, я сам по себе».

Тем не менее и «Колокол», и выпускаемые Герценом сборники запрещенной и потаенной литературы в Ясной Поляне хранились, и хранилась фотография Герцена с Огаревым, которая была прислана из Лондона вместе с шестой книгой «Полярной звезды» за 1861 год, целиком посвященной декабристам. Прислал Герцен и тот номер журнала, где была напечатана глава «Роберт Оуэн» из «Былого и дум». Толстой благодарил, особенно за декабристский том, кратко описал замысел романа, которым был занят, и с признательностью принял «добрые советы» Герцена, видимо, его поддержавшего. А в связи с главой об Оуэне заметил, что она «слишком, слишком близка моему сердцу».

Несложно понять, чем она так его задела. Герцен и сам считал, что это, пожалуй, лучшая из всех его статей. В ней содержался блестящий портрет старшего его современника, английского философа-утописта, добивавшегося справедливости для всех, устроителя коммуны, которая очень быстро распалась, так как жизнь не желала совершенствоваться, подчиняясь благородным планам преобразований. Этот тип мечтателя, который живет святой верой в восстановление прав разума, не признаваемых «капризной и фантастической сказкой истории», был бесконечно дорог Герцену — и Толстому он тоже был соприроден настолько, что статья об Оуэне не могла его не затронуть за живое. Но уроки этой печальной судьбы он понимал совершенно иначе, чем Герцен, и тут между ними обозначилось различие, которое исключало компромиссы.

Герцен находил, что драма Оуэна проистекала из-за недостатка смелости. Оуэн пал жертвой своей веры в магическую силу морального воспитания, которое должно исправить неразумный общественный строй, обходясь без ломки «государственного быта». Это и была «Ахиллесова пята» его учения, «святая ошибка любви и нетерпения», которой он не смог избежать, как не избежали ее и другие гуманисты, полагавшиеся на убеждение, а не на политическую волю. И, помня о его неудаче, как же уклоняться от действий, от которых, быть может, зависит будущность целых народов, как же «сложить руки», уповая на историческую необходимость, не требующую активного личного вмешательства? Развязывать узлы, которые сплела история, должны все-таки мы сами, убежденно писал Герцен, и если эти попытки ничем не кончатся, послужит утешением хотя бы мысль, что история нами протрезвляется и для будущих поколений ее «сказка», быть может, уже перестанет выглядеть только фантастикой и капризом.

Для Толстого подобный вывод был неприемлем. Из лондонских разговоров и чтения других статей Герцена он знал, что подразумевается

под этими призывами личного воздействия на ход истории, что стоит за обращениями к «умным и смелым людям». Герцен и в главе об Оуэне повторял свою излюбленную мысль, что такие люди никогда не перестанут с доверием и надеждой воспринимать «самую жизнь, произвол, узор жизни», пусть даже их вчерашние кумиры оказались разбитыми, а недавние упования предстали несбывшимися. Толстой не согласился: воспеваемый Герценом произвол жизни — это никак не компенсация «огромных надежд бессмертия, вечного совершенствования, исторических законов», это всего лишь «пуговка на месте колосса». Он возражал Герцену по двум самым главным пунктам, отвергая и его апологетику активной личности, взявшей на себя роль кормчего истории, и его славословие стихии, которая, не считаясь с «кумирами», сама осуществит историческую необходимость в разумной форме.

Надежды бессмертия, подкрепляемые каждодневными моральными усилиями в земной жизни, для Толстого уже и тогда, за четверть века до того, как начало складываться его нравственное учение, являлись единственной прочной духовной опорой для личности. Отвечая Герцену, он не без вызова именовал эту личность «робкой» — не чета умным и смелым героям, — но безошибочно знающей, что она обязана идти не останавливаясь, и особенно в минуты, когда трещит под ногами лед прежних верований. Навязать свою волю истории, исправить ее «капризную сказку» эта личность не притязает, во всяком случае, не в этом осознает свое назначение. Пусть сочтут ее идеал «вечного совершенствования» эфемерным и бездейственным перед лицом неотложных исторических задач, пусть говорят о «мыльном пузыре», все равно она останется ему верна, потому что, согласно Толстому, такой идеал заложен в природе русского человека, в этом смысле действительно подобного жителю Сатурна, случайно слетевшему на Землю. И эта вера — только она одна — способна стать «силой, которая свалила колосса».

Такою, «глядя на нее с своей призмочки», Толстой видел «свою субъективную Россию» и, отвергая упреки Герцена, что он ее не знает, заявлял: знание ее у него «твердое и ясное». Прочитав это письмо, Герцен на него откликнулся, и по его написанному в тот же день письму Тургеневу можно догадаться, как именно: «У него в голове не прибрано еще, не выметено». Как петербургские «умники» несколькими годами раньше, он, очевидно, тоже находил, что толстовские «мыльные пузыри» — это только промахи очень незрелой мысли, а со временем «призмочка» исправится, придет верное и современное понимание природы вещей. До какой степени он в этом заблуждался, показало все последующее. Но в отличие от

редакторов «Современника», пытавшихся его направлять и наставлять, в отличие от Тургенева, и от Боткина, и от Чичерина, Герцен для Толстого даже годы спустя оставался притягательным собеседником.

Несмотря на несходство их позиций, Толстой его ценил как личность «выдающуюся по силе, уму, искренности», а со временем стал воспринимать почти как единомышленника. Для этого были некоторые основания: в спорах с «нигилистами», которые начинали играть все более заметную роль в русском революционном движении, Герцен нередко высказывал мысли, действительно близкие Толстому, — пробовал остановить «саперов разрушения», доказывал, что действовать необходимо не «хирургией», а проповедью. На склоне лет Толстой называл Герцена писателем, не только недооцененным, а роковым образом не услышанным новыми поколениями, для которых как раз его пример был бы особенно важен. В одном из писем 1888 года Толстой пишет, что никаких нигилистов в России, возможно, не появилось бы, если бы сочинения Герцена не прятали и не запрещали. И не было бы «динамита, и убийств, и виселиц» — всего того, что сделалось обыденностью русской жизни в последние десятилетия века.

Под старость книги Герцена стали постоянным чтением Толстого; они неизменно вызывали у него восхищение. Должно быть, возвращался он и к той главе об Оуэне из шестой части «Былого и дум», в которой когда-то нашел так много близкого своему сердцу и с которой так решительно не согласился по существу. Время сгладило эти разногласия, убедив Толстого, что в самом главном они с Герценом никак не противники. «Мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань истории, — резюмировал свои размышления Герцен. — Мы знаем, что ткань эта не без нас шьется... И это не все: *мы можем переменить узор ковра*. Хозяина нет, рисунка нет, одна основа да мы одни-одинехоньки».

Как переменить узор — это они и правда понимали по-разному. Но о том, что ткань шьется «не без нас» и что рисунок на этой ткани наносит человек своим одиноким моральным служением, спорить им бы не пришлось.

*

Герцен намеревался снабдить Толстого рекомендательным письмом к апостолу анархизма Жозефу Прудону, эмигранту, жившему в Брюсселе. Кажется, Толстой позабыл об этом письме, однако с Прудоном он все-таки

встретился, изложил ему свой план постановки народного образования, доказывал, что правильно устроенная школа станет началом обновления всего государственного организма и нашел у собеседника полную поддержку. Для Прудона, принципиального противника любого государства, которое, по его мнению, лишь разделяло людей, ожесточая их друг против друга, такая реакция была довольно странной, однако Толстой, видимо, привлек его как такой же упрямый мечтатель о счастье человечества, каким был он сам.

На письменном столе Прудона лежала только что законченная им книга. В ней говорилось о причинах войн и о возможности — или утопичности — проектов навсегда с ними покончить. Рукопись названа «Война и мир». В статье, посвященной народному образованию, Толстой упоминает и встречу с Прудоном, и эту книгу, называя ее «О праве войны». Для Прудона два эти состояния — война, мир — суть «два порядка вещей», которые, вопреки обычному мнению, не исключают, но взаимно дополняют одно другое, представляя собой «главные функции человечества». Когда Толстой будет обдумывать замысел своей самой прославленной книги, книга Прудона поможет сформулировать ее общую художественную идею.

Еще один брюссельский адрес — Иоахима Лелевеля, «благороднейшего старца польского изгнания», — тоже был указан Толстому Герценом. Лелевель, один из вождей восстания 1830 года, впоследствии ставший историком с европейским именем, был очень дряхл. Толстой запомнил груды мусора в нищей комнате, неопрятность хозяина и его горячие речи о том, что Смоленск — польский город. Стоя одной ногой в могиле, Лелевель был все так же поглощен заботами, которые Толстому, написавшему «Три смерти», должны были показаться ничтожными.

Да и Европа, где он слишком задержался, начинала ему казаться увязшей в мелочных интересах, тогда как дома — после манифеста об освобождении — должно быть, открывалось поприще для нужного и важного дела. Тетушке Ергольской он писал, что хочет поскорее вернуться в Россию, однако еще около месяца прошло в разъездах по Германии, где Толстой изучал, как ведутся школы. Осталось нерадостное впечатление: почти всюду муштра, непереносимое «воспитание», которое сводится к искоренению всякой самостоятельности. Только начальная школа в Веймаре выгодно выделялась на общем тоскливом фоне. Толстой намеревался увезти с собой сочинения учеников о своем родном крае, а поскольку ученики были из бедных семей, всем им русский граф купил в лавочке чистые тетради. Там же, в Веймаре, его познакомили с выпускником политехнической школы Густавом Келлером, и Толстой увез

его учителем в Ясную Поляну. Впоследствии Келлер был воспитателем Григория, сына Сергея Николаевича, а из Пирогова перебрался в Тулу, где преподавал немецкий язык в гимназии.

В конце апреля 1861 года Толстой был уже в Петербурге, откуда поспешил в Ясную. Предстояло решать с крестьянами земельный вопрос.

Толстой искренне верил, что, случись реформа хоть завтра, у него не будет с мужиками никаких трудностей, потому что еще летом 1858 года он свои отношения с ними устроил по справедливости — покончил с барщиной, предложил что-то наподобие артели, готов был уступить свою землю по божеской цене. Манифест произвел на него сложное впечатление: рабству положен конец, но зачем же выдавать это за великое благодеяние, да и документ, писал он Герцену, составили так, что «мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим». Сразу по возвращении Толстой созвал крестьянскую сходку и попытался растолковать, на каких условиях происходит освобождение. Его условия были самые либеральные: вся крестьянская земля оставлялась крестьянам, а из помещичьей он давал по три десятины на душу, хотя минимальный надел устанавливался всего в одну. Все делалось так, чтобы мужики были не в обиде, однако ждали они, разумеется, большего — всей графской земли, причем безвозмездно. Так будет продолжаться и дальше: «грах», нечего спорить, хороший барин, только все равно барин, свой интерес ему всегда дороже.

Отношения Толстого с дворянством Крапивенского уезда, к которому относилась Ясная Поляна, в это лето складывались еще тяжелее. Для того чтобы решать земельные споры, был введен институт мировых посредников, и тульский губернатор назначил на эту должность Толстого, хотя уездный предводитель дворянства предлагал другую кандидатуру. Та клятвенно никогда не служить никакой власти, которую Толстой дал самому себе после того, как ему в Париже довелось присутствовать при гильотинировании, не была им забыта, и все-таки в этих обстоятельствах он счел своим нравственным долгом принять назначение. Дело это оказалось хлопотное и неприятное: обиды с обеих сторон, жалобы обделенных, доносительские письма начальству. Твердо держась своих принципов, Толстой чаще всего принимал сторону мужиков, и за это его обвиняли в пристрастности, доносили губернатору, что он не признает законности и подстрекает к волнениям. Приезжая в село, он всегда шел не в помещичий дом, а в избу старосты, чтобы не возбуждать недоверия крестьян, и выносил решения, которые не могли устроить местных сатрапов: требовал от них компенсации за побои, нанесенные дворовым, не позволял удерживать старых слуг, поваров и горничных в крепостном

состоянии, прощал мужикам потравы господских лугов. Мировой съезд обычно отменял эти решения, но Толстой обращался в губернское присутствие по крестьянским делам, хотя знал, что за это его возненавидят еще больше. Так продолжалось все лето и осень 1861 года. «Меня и бить хотят, и под суд подвести, но ни то, ни другое не удастся», — писал он Боткину. Удалось третье — бесконечными жалобами его вынудили просить об отставке. Она была дана сенатом в мае 1862 года — «по болезни».

Однако отставкой дело не кончилось. Доносов накопилось так много, что на Толстого обратило внимание жандармское ведомство. Как раз в ту зиму 1862 года тверское дворянство подало на высочайшее имя прошение, в котором указывалось, что реформу необходимо продолжать, уничтожив барские привилегии и заменив правительство народным собранием без различия сословий. Поднялся большой шум, подписавших эту петицию несколько месяцев продержали в Петропавловской крепости, а затем лишили права поступать на государственную службу. Начались ужесточения. В III Отделение поступил рапорт полковника Воейкова о том, что, по слухам, в имении Толстого, где существует крестьянская школа, проживают в качестве учителей студенты, замеченные в чтении запрещенных сочинений, и ведутся речи возмутительного содержания.

Бумаге дали ход, и за Толстым был установлен негласный надзор. Его поручили сыщику Михаилу Шипову, человеку малообразованному и крепко пьющему. Вскоре Шипов проболтался в тульском кабаке о возложенной на него обязанности, за эту провинность сам попал под арест и на допросе сочинил историю про какого-то курьера, который ездит из Ясной в отдаленное курское имение графа, где налаживают типографию, чтобы печатать прокламации. И в самой Ясной Поляне Шипов будто бы видел потайные двери и лестницы, ведущие в помещение, где спрятан печатный станок.

Протокол этого допроса лег на стол шефа жандармов князя Долгорукова, о котором Толстой в старости вспоминал, что был он человек «добрейший и очень ограниченный, пустейший мот». В Тулу направили полковника Дурново, обязав его проверить сведения, предоставленные Шиповым. 6 июля Дурново с крапивенским исправником и двумя приставами явился в Ясную и объявил гостившей там Марии Николаевне, что должен произвести обыск, так как имеются сведения о незаконной политической деятельности ее брата. Обыск продолжался два дня; ни потайных лестниц, ни литографных камней не обнаружилось. Могли бы, действуя умело и быстро, найти кое-что из запрещенных в России сочинений Герцена, а также его фотографию, однако Мария Николаевна и

горничная тетушки Дуняша успели спрятать в канаве портфель с этими уликами.

Толстого дома не было. Об этом времени в «Исповеди», почти двадцать лет спустя, он писал, что «так измучился, от того особенно, что запутался, — так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась моя деятельность в школах, так противно стало мое влияние в журнале, состоящее... в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически, — бросил все и поехал в степь к башкирам — дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью». Уехал он еще в мае, взяв с собой двух любимых учеников, Василия Морозова и Егора Чернова, а вернулся только в конце июля и, услышав рассказ тетушки Ергольской, был возмущен до крайности. Наверное, этот рассказ дополнили тульские знакомые Толстого Григорий Ауэрбах и Евгений Марков, которые проводили лето поблизости от Ясной, на даче в Малиновой засеке. В день обыска их пригласили в качестве свидетелей, и они видели, как в доме все переворачивали вверх дном, как ломом поднимали полы в конюшне и сетью шарили по дну пруда, откуда должен был явиться на свет несуществующий печатный станок. Потом то же самое повторилось и в помещении школы.

Как всегда, когда приходилось вступать в диалоги с верховной властью, Толстой прибегнул к посредничеству «бабушки». Он написал ей письмо, полное негодования и упреков за то, что она, придворная дама, водит компанию с мерзавцами, которых он бы, ни минуты не задумываясь, убил, застав за чтением своих дневников и бумаг, не предназначенных ни для чьих глаз. В ярости он предавал анафеме и презренных либералов, и Герцена, которого не имеет терпения дочесть «от скуки», и Долгоруковых, и равелины. А под конец грозил уйти в монастырь — не для молитвы, а чтобы «не видать всю мерзость житейского разврата... в эполетах и кринолинах».

Ему все не удавалось унять этот приступ бешенства, в котором нашло выход давно назревшее отвращение и к любого рода казенной службе, и к политическим распрям ретроградов с радикалами, и к посягательствам на его частную жизнь, на его личное убеждение, которое одни находят нужным исправлять, чтобы оно стало более прогрессивным, а другие находят как раз недопустимо передовым, а стало быть, опасным для державного мира. Он готов уехать из России, «где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут». Через Александрин он посылает письмо императору, жалуясь на нанесенное ему оскорбление и выражая надежду, что с имени его величества будет снята

«возможность укоризны в несправедливости». Некоторое время спустя тульский губернатор получил из Петербурга бумагу с уведомлением, что «помянутую меру» его величество оставляет без последствий собственно для графа Толстого. Студентам таких гарантий не дается.

Едва ли у Толстого вправду было серьезное намерение покинуть Россию. Скорее, как с ним часто бывало, он не смог сдержать импульсивный порыв и, выговорившись со всей резкостью, тут же поставил крест на всем случившемся. Но это происшествие еще больше укрепило в нем чувство, что весь государственный обиход ему чужд и враждебен. Точно так же, как далеки ему нравы той барской среды, которая с этим обиходом сжилась, считая существующий порядок вещей естественным, а существенные перемены невозможными.

В том, что существуют совсем иные понятия о сущем и должном, Толстой еще раз удостоверился в своей посреднической деятельности, близко соприкасаясь с миром крестьян. Тогдашние впечатления отчасти и вернули его к мыслям о литературе, которые несколько лет он старался прогнать прочь. Весной 1861 года Толстой начал работать над рассказом из народного быта, но он шел с трудом, и только через полтора года был завершен. Название — «Поликушка» — было найдено, только когда переписывался окончательный вариант.

Толстой не считал удачей эту повесть о дворовом человеке, неисправимом воре, много раз битом, многим провинившемся и перед мужиками, и перед своим несчастным семейством, а в итоге оказавшемся жертвой неумелой воспитательной затеи своей чувствительной барыни. Критики тоже отнеслись к ней кто холодно, а кто и с откровенной неприязнью. Только много лет спустя, когда стали печататься народные рассказы Толстого и появилась «Власть тьмы», отношение к «Поликушке» переменялось, потому что отсюда берет начало та линия творчества, которая постепенно сделалась для писателя едва ли не самой важной. Впрочем, уже и в «Поликушке» типы и нравственные представления простонародья интересуют Толстого не меньше, чем печальная судьба лакея, который повесился, не справившись с ужасом, охватившем его при одной мысли, что придется отчитываться перед барыней за потерянный пакет, где лежали доверенные ему — с целью доказать, что барыня его перевоспитала — тысячи.

Сюжет повести был рассказан Толстому в Брюсселе княжной Дондуковой-Корсаковой, запомнившей драматический случай, который произошел в их псковском имении. В доме старого князя, который когда-то заседал в Академии наук и по этому случаю удостоился убийственной

пушкинской эпиграммы, Толстой тогда проводил почти все свободное время, потому что был увлечен его племянницей и даже подумывал сделать ей предложение. Сестра Маша ему советовала не медлить и отбросить колебания, однако не зря опасалась сидящей в нем «подколесинской закваски». Правда, выбираться из дома невесты через окно не пришлось — просто Толстой в конце концов решил, что и Екатерина Дондукова ему не пара.

С женитьбой не вышло, но запомнилась история лакея, удавившегося из-за денег, которые потом нашли и устыдились напрасно на него возведенных обвинений в воровстве и мотовстве. Действие этого рассказа Толстой перенес в знакомые ему места, дав персонажам имена и прозвища знакомых яснополянских мужиков. Сюжет у него приобрел особенный колорит: остался трагизм, заключенный в нем по самому ходу событий, прибавилась просветленность: деньги вздорной барыни в итоге сослужили добрую службу, избавив от солдатчины молодого ямщика, всего год как женившегося, и разбудив совесть прижимистого старика Дутлова, который выкупил из рекрутов своего племянника. Но эти деньги стали проклятьем для жалкого даже в своей низости Поликея с его голодными и раздетыми детьми. А в казарме место ямщика за деньги займет беспутный Алексей, который пошел в солдаты, потому что от него, беспробудно пьющего, отрешились все, даже родители. Совсем не идиллия финальная сцена рассказа, когда счастливые Дутловы возвращаются к себе в деревню. На последней странице Алексей, только что бойко плясавший в толпе рекрутов и в порыве пьяного великодушия сунувший завязанные в платок деньги старухе, уже смирившейся было, что ее Илью забрили, вдруг от умиления переходит к проклятьям, осыпая это везучее семейство жестокой бранью: дьяволы, людоеды, лапотники...

Фет, прочитав рассказ в «Русском вестнике», был сильно разочарован: зачем изображать «плесень народа», какой, по его представлениям, всегда были дворовые и лакеи? Зачем заниматься «адвокатурой в поэзии», которой, на его взгляд, посвятил себя Толстой, написавший «Поликушку» только для того, чтобы доказать, что и дворовые переживают драмы не слабее шекспировских? В таком же духе высказывались о «Поликушке» и впоследствии — то не верили в просветление Дутлова, то винили автора в незнании истинной жизни народа, утверждая, что Толстой умеет передавать одни лишь внешние ее черты. Исключение составил Тургенев. По прочтении рассказа он еще раз «удивился силе этого крупного таланта». С чем-то и он был не согласен — «уж очень страшно выходит», — однако признавал, что «есть страницы поистине удивительные», и об авторе с

уверенностью говорил: «Мастер, мастер!»

Этот отзыв в письме Фету, помеченном январем 1864 года, делает большую честь не только вкусу, но беспристрастности и благородству Тургенева. Ведь уже более двух лет он не поддерживал никаких отношений с Толстым.

*

Их ссора, нелепая, но поистине драматическая по своим последствиям, произошла в имении Фета Степановка в конце мая 1861 года. Тургенев только что вернулся из-за границы и привез законченную рукопись нового романа — «Отцы и дети». Мнение Толстого было ему особенно интересно и, приглашая его к себе в Спасское, откуда до Степановки совсем недалеко, Тургенев прежде всего рассчитывал обстоятельно побеседовать о своем произведении. Сразу по приезде Толстой унес папку к себе в комнату, где стоял диван. С дороги он устал, а рукопись показалась ему довольно скучной. Какое-то время спустя Тургенев заглянул к гостю и нашел его спящим. Словно почувствовав неладное, Толстой открыл глаза и увидел удаляющуюся спину хозяина.

В Степановке, куда они вместе уехали на следующий день, разговоров о романе не было (Толстой, прочтя его через год уже напечатанным, нашел, что «Отцы и дети» не удались автору — холодно написано, не берет за душу). Однако на второй день после приезда Тургенев за утренним чаем пустился рассуждать о воспитании, приводя в пример свою дочь, которая постоянно жила во Франции. Девочке, мать которой была крепостной в Спасском, он старался дать европейское образование, взял для нее английскую гувернантку и был страшно доволен, что мисс желает привить ей сознание нравственного долга перед несчастными. Вот, например, заставляет собирать в домах бедняков худую одежду и собственноручно ее чинить.

Дальнейшее известно по мемуарам Фета. Толстому эта умилительная картинка показалась приторной, он не сдержался и сказал, что «разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену». Тургенев вспыхнул, потребовав воздержаться от подобных комментариев. Толстой заявил, что привык говорить то, что думает. Ответный выпад Тургенева был крайне неосторожным: пригрозив, что силой заставит Толстого замолчать, он сжигал между ними все мосты. Но Тургенев уже не мог совладать с собой и

сделал еще один шаг, который сам, опомнившись, признал «безобразным поступком», — крикнул: «Если вы будете так говорить, я дам вам в рожу!» — и выбежал из комнаты, схватившись за голову.

Фет бросился успокаивать их обоих, пытался пролить масло на бушующие воды, но все напрасно. Тургенев потребовал, чтобы ему немедленно подали коляску, Толстой сказал, что ни минуты не останется там, где его оскорбили. Из Новоселок, имения зятя Фета, он известил Тургенева, что тот обязан извиниться письмом, которое было бы возможно показать тем, кто стал свидетелями их ссоры, или дать удовлетворение. Тургенев из Спасского написал, что сожалеет о случившемся и просит снисходительно отнестись к внезапно его увлекшему «чувству невольной неприязни», однако их отношения окончены навсегда, а это письмо Толстой благоволит употребить, как сочтет нужным. Однако Толстой уже послал второе письмо, и в нем был вызов. Причем стреляться он желал по-настоящему, исключив саму мысль о дуэли, которая кончается шампанским.

До поединка не дошло. Толстой довольствовался письменными объяснениями Тургенева, который признал, что правота была не на его стороне. Свою выходку он объяснял «крайним и постоянным антагонизмом наших воззрений». Вскоре Тургенев уехал за границу, напоследок, правда, заверив, что по возвращении, через год, сам потребует от Толстого удовлетворения. Толстой расценил этот демарш как трусость, и в дневнике месяц спустя написал: «Замечательная ссора с Тургеневым — он *подлец* совершенный, но я думаю, что со временем не выдержу и прощу его».

К тому времени, и даже гораздо раньше, «пыл озлобления», как сам он признавался, из него «вылетел, как вылетает заряд из ружья». Год спустя таким же облегчающим выстрелом, письмом императору, закончится приступ бешенства из-за обыска в Ясной Поляне. Но пока выстрел не прогремел, всем хотя бы причастным к происходящему приходилось полной мерой испытать на себе толстовскую «дикость». Фет сделал попытку примирить своих насмерть рассорившихся друзей, и Толстой тут же порвал с ним все отношения — правда, ненадолго, всего лишь до зимы. В этом несчастном деле Фет был на стороне Толстого, добивался от Тургенева покаяния, специально ездил к нему в Спасское, но тот и слышать ничего не хотел, отделившись «детски-капризным криком».

Своей приятельнице графине Ламберт Тургенев в те дни писал, что сознает собственную вину за несдержанность, однако Толстой ведь «сходил со мною как будто для того, чтобы дразнить и бесить меня». Какая, право, «сложная и самомучающаяся натура». Есть позднее

свидетельство Софьи Андреевны Толстой, что, быстро остыв и впад в какое-то необыкновенное смирение, Лев Николаевич почувствовал, как тяжело ему иметь врагом такого человека, как Тургенев, и написал ему трогательное письмо с предложением все забыть и снова сделаться друзьями. Парижского адреса он не знал, и письмо было отправлено петербургскому книгопродавцу, который вел дела Тургенева. Оно затерялось, но уцелело другое, октябрьское письмо, которое ставило точку в затянувшемся конфликте. Толстой извещал, что обиды не прощает, но признает и свою вину. От вызова он отказывался.

Слухи об этом конфликте распространились, по-видимому, достаточно широко. Тургенев винил Толстого в том, что тот пустил по Москве копии письма, которое его порочит, Толстой с негодованием отвергал эту клевету. Общество раскололось, однако большинство наверняка считало обиженным Тургенева, а его резкость объясняли тем, что она была спровоцирована Толстым. В конце концов, Тургенев просто заступался за свою дочь и за дорогие не только его сердцу либеральные понятия. Что касается Толстого, он еще раз показал, какой у него невозможный характер и до чего он отстал от века. Последнее утверждение в общем было справедливо. Нужна была бы только одна оговорка: он вовсе и не хотел идти вровень со своим веком.

Шрам, однако, остался, или, во всяком случае, усилилось давнее чувство, что он чужой в литературной среде, точно так же, как чужой он и рядом с теми, для кого имеют громадный вес политические вопросы, и государственные надобности, и ценности, принятые большинством. Он был одинок в прямом, почти буквальном смысле слова — ушел в свою деятельность посредника и в заботы о яснополянской школе, хлопотал о педагогическом журнале, выпустив первую книжку в начале февраля 1862 года, мало с кем переписывался, лишь по журнальным делам выбирался, и то ненадолго, в Москву. Разрыв с Тургеневым был им пережит как событие, которое подвело черту под его прежней жизнью, заполненной литературой.

Их примирение произойдет только через семнадцать лет.

Первый шаг сделает Толстой.

«Неимоверное счастье»

Зимой 1862 года он проиграл в карты огромную сумму и пришлось одалживать тысячу рублей у Каткова, редактора «Русского вестника». Деньги были взяты в счет будущего гонорара. Подумавши, Толстой даже

обрадовался своему положению, хотя в первую минуту оно казалось безвыходным. Ничего готового у него не было, однако в многочисленных набросках существовал «кавказский роман», о котором ходило столько толков еще с первого появления Толстого в Петербурге. Толстой обратился к своему бывшему батарейному командиру Алексееву с просьбой прислать казачьи песни. Весной работа над «Казаками» возобновилась. Шла она трудно, и была предъявлена публике только в январском номере «Русского вестника» за 1863 год.

В старых рукописях она называлась «Молодость» и, очевидно, была задумана как завершение автобиографической тетралогии и оставшейся трилогией. Потом заглавие поменялось: «Беглец». Окончательный заголовок Толстой выбрал, уже доведя рассказ до последнего эпизода.

После «Детства» Толстой думал писать для «Современника» цикл «кавказских очерков», в которых содержались бы поэтичные и ничуть не шаблонные образы, чтобы читатели увидели настоящий Кавказ, а не олеографию, как у Марлинского. Этот замысел он очень быстро оставил, но от самой задачи не отказался, потому что Кавказ был им пережит как уникальный мир, который от всякого, кто берется его описывать, требует покончить с банальностями вроде обольстительных черкешенок и уединенных хижин, где уставшего от крови и славы воина ожидают нежные поцелуи его рабыни. О такой хижине и о прелестной наложнице, которую он примется воспитывать, умиляясь, что ей уже по силам одолеть французскую книжку, например, «Notre Dame de Paris», грезит по пути на Кавказ герой Толстого Дмитрий Оленин (в ранних редакциях — Губков, или Дубков, затем Ржавский). И хотя чувствует, что все это вздор, как и его мечты о флигель-адъютантстве по возвращении в Россию, еще очень долго — в сущности, до самого конца — у него будет сохраняться, в разных ситуациях так или иначе себя проявляя, выдуманное, из модных повестей вычитанное представление о кавказской романтике и об увлекательных перипетиях судьбы, которая уготована каждому настоящему кавказцу.

Сюжет «Казаков» изначально строился вокруг идеи прямого соприкосновения человека, начитавшегося скверной литературы, с реальными кавказскими понятиями и нравами — кажущимися дикими в сравнении с обществом, в котором он воспитывался. В окончательном тексте эта идея выражена так: герой видит «всю ту ложь, в которой он жил прежде и которая уже и там возмущала его, а теперь стала ему невыразимо гадка и смешна». В казачьей станице, воссозданной без романтических декораций, он начинает себя ощущать свободным, превращаясь из «мрачного, скучающего и резонирующего юноши» в человека, который

почувствовал истинный характер отношений между людьми и открыл для себя истинные, вечные ценности жизни. Оказалось, что «никаких здесь нет бурок, стремнин, Амалат-беков, героев и злодеев». Все просто и оттого все настоящее, а значит, вовсе не похожее на слышанное и читанное Олениным. «Люди живут, как живет природа: умирают, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет...»

Подзаголовок «Кавказская повесть 1852 года» давал понять, что в «Казаках» Толстой коснулся пережитого юным фейерверкером артиллерийской бригады, стоявшей в тот год на Кавказе, в Старогладковской, — им самим. Дело не в совпадении реальных биографических событий с описанной в повести историей любви Оленина к молодой казачке — этого как раз не было — и не в прототипах, которые легко опознаются: дядя Ерошка — разумеется, тогдашний его приятель старик Епифан Селин, а Марьяну в Старогладковской знали под прозвищем Соболя. Однако эти непосредственные отзвуки наблюдений и впечатлений десятилетней давности остались для Толстого только материалом, когда он, много раз откладывая повесть и переделывая ее заново, все-таки нашел отчасти удовлетворившее решение. Он не хотел, чтобы получился этнографический очерк или дневник в беллетристической форме. Его повесть наполнилась коллизиями, сопряженными с миром высших смыслов человеческого существования, перед которыми мелким и случайным оказывается все преходящее, даже если речь идет о неумолимой страсти, доводящей героя до самозабвения. История бегства из «неволи душных городов», где «любви стыдятся, мысли гонят», после пушкинских «Цыган» сделалась слишком узнаваемой и ожидаемой, чтобы Толстой соблазнился еще одной версией рассказа о том, как «вольный житель мира», каким хотел бы себя видеть подобный беглец, осознает, что ему не по силам «бедность и воля». Лишь общие контуры похожей истории проступают у Толстого, причем больше в ранних вариантах, чем в опубликованном. И это поверхностное сходство только усиливает ощущение новизны, непривычности художественного решения, найденного в «Казаках».

В первых вариантах «беглецом» был не только молодой офицер, которого чувство к Марьяне заставляет строить неосуществимые планы полного разрыва со своей социальной средой. Судьба «беглеца» уготована и жениху Марьяны — Гурке, затем Кирке и Терешке, в итоге ставшему Лукашкой. Из-за Марьяны у него происходит столкновение с офицером,

которого побудили перевестись служить на Кавказ очень житейские причины — карты, долги, расстроенные дела, — и он вынужден бежать в горы к абрекам, так как после этой стычки оставаться в станице ему невозможно. Марьяна в одной из рукописей принимает ухаживания офицера и даже с ним живет как жена, но довольно быстро Толстой отказывается от подобного поворота событий, отдав предпочтение другой версии: она верна своему казаку и, оплакивая жениха, гонит прочь нового претендента — «никогда ничего тебе не будет от меня. Уйди, постылый». Так закончится соперничество Лукашки с Олениным и в опубликованных «Казаках».

Один из вариантов названия — «Казак» — говорит о том, что Толстой предполагал сделать основным персонажем или Лукашку, или Ерошку в пору его молодости. Повесть тогда строилась бы как записанные Олениным мемуары Ерошки о настоящей вольнице, которую начинает забывать нынешнее казачество. След этого замысла остался: Ерошка и в окончательном тексте часто вспоминает старину, когда сам он по всему полку гремел, да и время было другое, не то как теперь, когда «только и забавы у ребят, что семя грызут да шелуху плюют». Вся его исключительно яркая фигура выписана на фоне этой нежно им любимой старины с ее бесхитростной, несентиментальной и в нравственных своих основах здоровой, полноценной жизнью. Ерошка не проповедует и не поучает, он просто помнит, что в давние времена люди жили совсем по-иному, и тогда не было между ними ни озлобления, ни жестокости, ни корыстного расчета.

Он помнит своего батюшку, который мог на спине притащить кабанью тушу в десять пудов и в один присест выпить два ведра чихирю. Помнит свою душеньку, что бегала за ним по ночам на кордон. И себя самого, переправлявшего с кунаком-чеченцем бурки через Терек, убившего в горах Ахмет-хана, умевшего и девок любить, и шашкой управляться — надо, так с абреками, но, случалось, и с русскими, когда они нарушали тот закон жизни по правде, который для старого казачества был единственно обязательным. Он никогда этого не делал ни по злобе, ни для выгоды, а лишь из удали, из молодечества, подобающего настоящему казаку, и был он «прост» — качество, ценимое Брошкой выше любых других. А «простота» — это и есть жизнь по правде, почти забытая теперь, когда «души нет в людях». Когда, заняв аул, жгут сакли, надругаются над чеченками, убивают детей, взяв за ножки да об угол. А потом джигит, взяв ружье, идет на нашу сторону мстить и грабить, и нет этому конца, хотя не должно быть на земле ни розни, ни крови, потому как «все Бог сделал на радость человеку» и «ни в чем греха нет», когда не позабыли о Боге и о душе.

В этой нехитрой философии легко обнаружить отголоски мыслей Руссо, которого Толстой много раз перечитывал. Но умозрительные выкладки и художественный дар Толстого — вещи несовместные. «Казачи» как раз и поразили тем, что, кажется, впервые «простота» предстала в литературе не как отвлеченная концепция, а как реальное мироощущение, которое заставляет людей мыслить и поступать в согласии со своим естественным, от рождения до старости сохраненным понятием о справедливости, человечности и достоинстве. У Толстого эти люди — Ерошка, Марьяна — не становятся ни праведниками, ни провозгласителями идеалов, дорогих сердцу автора. Они на его страницах не вещают, а живут, открывая перед читателем и полноту существования, переливающегося самыми разными оттенками, и богатство характера, который не подчинен какой-то резко обозначенной доминанте, а напротив, всегда пластичен и как раз поэтому чужд всякой завершенности. В современной Толстому русской литературе преобладал герой как тип, герой-идеолог. «Казачи» возвращали в эту литературу героя как личность, наделенную сложностью, разноречивостью импульсов и побуждений, но вместе с тем обладающую очень твердым нравственным стержнем, — пушкинского, если говорить о принципе изображения человека. Причем этот герой взят из среды, которая до Толстого оставалась для литературы неразведанной территорией.

В этом отношении Оленин, хотя ему и принадлежит в развитии сюжета основная роль, рядом с Брошкой и Марьяной выглядит персонажем, который обрисован более традиционными средствами. Он, особенно в первых главах, сразу вызывает в памяти знакомых предшественников, главным образом Печорина. Но необычность Оленина в том, что его попытки переродиться, усвоив, что счастье дает «простота», начинаются не под воздействием страсти к пленительной девушке, а вследствие общения с Брошкой. А тот даже по внешним характеристикам никак не помещается в романтической галерее: громадного роста старик с могучими морщинами на красно-коричневом лице, исцарапанные корявые руки, повадки заядлого охотника и пьяницы, готовность, коли потребуется, исполнить функции сводника, не признавая тонкостей любовной игры и не ведая, что такое грех, зато твердо веря, что так назначено природой — погулять с хорошей девкой спасенье, «на то она сделана, чтоб ее любить да на нее радоваться».

Ерошка занял в повести такое место, потому что Толстому неинтересны те исхоженные тропы, на которых новый Печорин должен встретиться со своей Бэлой, чтобы ощутить, как иссушено его сердце,

неспособное разделить любовь горянки. Интересен Толстому казачий мир, цитадель «простой», то есть в полном смысле человеческой, а не оскропленной жизни, и существо Оленина должно раскрыться в соприкосновении с персонажем, в котором больше всего от этого мира, а таким персонажем может стать только Ерошка, поскольку нынешнее казачество уже утратило многое из того, что как раз ему, доживающему свою жизнь, присуще в полной мере.

Сам Оленин нужен Толстому главным образом как персонаж, которому предстоит вбирать в себя совершенно для него новый опыт, заставляющий пересмотреть все прежние верования и ценности. Критика возмущалась тем, что в Оленине совершенно не чувствуется человек современного поколения, озабоченный значительными и злободневными «вопросами», и эти нападки свидетельствовали о полном непонимании главной идеи «Казаков». Питомец московского общества, где люди к двадцати четырем годам уже устали от жизни и страдают анемией души, Оленин, который к моменту отъезда на Кавказ не успел разочароваться только в одном себе и еще ведает присутствие «всемогущего бога молодости», там, в станице, не просто сменит черный фрак на грязную черкеску. Он попытается по-новому осознать свою человеческую природу и жизнь, оставшуюся в прошлом, — как раз для того, чтобы не угас уже слабеющий и не повторяющийся порыв, когда человеку дано «сделать из себя все, что он хочет». А хочет Оленин счастья, и счастье для него — жизнь в этой станице, где он впервые ощутил моральную свежесть и силу. Счастье — это «переписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке» и ходить с Брошкой на охоту, а со станичниками в походы. Разве это глупее, чем прежние его мечтания стать министром или хотя бы полковым командиром?

Критика не поверила, что подобное перерождение могло совершиться под воздействием одних только моральных факторов. Новый секретарь «Современника» (и новый муж Панаевой) Головачев прямо объявил, что писатель обязан показывать «реальные препятствия», с которыми должны бороться его герои. Автору надлежит обрисовать «коренные причины этих препятствий, лежащие во всей совокупности общественных условий и в самом человеке как продукте этих условий». А поскольку ничего этого в «Казаках» не было, Головачев заключал, что Толстой занятный рассказчик, но поверхностный наблюдатель и уж совсем плохой мыслитель.

Предположение, что человеком могут руководить не общественные условия, а собственная потребность найти оправдание своей жизни, по мнению критиков, свидетельствовало о невежестве автора. А обретенная

Олениным вера, что счастье в родстве с «простотой», о которой ему говорил Ерошка, и что оно «состоит в самоотвержении», даже у поэта Полонского, вовсе не радикала, не вызвала ничего, кроме скепсиса. Иронично отзываясь об ищущих «отрады у диких», Полонский заметил, что «наши передовые люди», в отличие от Оленина, живут реальным делом.

Как не раз случалось и прежде, «Казачьи» явно не попали в преобладающий журнальный тон, но Толстого, давно понявшего свою чужеродность литературе, выражающей мнения «передовых людей», это ничуть не смутило. Он решал задачу высшей художественной сложности, отыскивая тот ключ, который позволил бы сделать органичными и достоверными картины «простой» казачьей жизни, а тем самым — придать несомненную психологическую правду и желанию героя раствориться в этой жизни, перенять ее лад и строй, сделаться в ней своим. Ему надо было преодолеть инерцию многократно до него использованных решений подобной темы, которая в русской литературе возникла вместе с «Цыганами» и лермонтовским «Кавказским пленником».

Помогло Толстому чтение «Илиады». Боткин рекомендовал ему Гомера как «благодатный бальзам от современности», но Толстому эпос послужил для иных целей, подсказав, что «Казачьи» должны стать повествованием об особом народе, сохранившем, хотя бы отчасти, живую связь с природой и знающем ее законы, которым подчинено каждое индивидуальное бытие. Оленина потрясают «неприступные снега гор и величавая женщина в той первозданной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего Творца». Для него, как для самого Толстого, нет разделительных линий между этими вечными снегами и Марьяной, которая, укрывшись платком, бежит на заре к скотине и потом в сады; он любит казачку, как красоту гор и неба, «потому что она прекрасна, как и они», — не экзотической прелестью дикарки, а природной красотой человека, без остатка сливающегося с этим миром, где все дышит вечностью. И сам он почувствует себя истинно, без оговорок и сомнений счастливым даже не в те минуты, когда Марьяна как будто дает ему смутные обещания, а негаданно, спонтанно — отыскав в лесу логово оленя, растянувшись на траве рядом, слушая жужжание бесчисленных комаров и себя ощущая таким же комаром или фазаном, а вовсе не русским дворянином и членом московского общества. На него в эту минуту вдруг находит «такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить кого-то». Олень — Оленин: даже не параллель, а абсолютное отождествление, которое

невозможно выразить полнее, и эта поэзия родства с миром первозданной жизни, высшее счастливое чувство, какое суждено герою испытать на Кавказе, наполняет повесть о его неудавшейся любви дыханием эпоса, резко отделив «Казаков» от всей тогдашней литературы.

Оленин ясно сознает, что Марьяна, которая, «как природа, ровна, спокойна и сама в себе», не предназначена ему, ведь он только «слабое, исковерканное существо», и ничего больше. Он слишком к себе суров, потому что в действительности можно позавидовать таящейся в нем душевной энергии, а его нравственная чистота еще вовсе не замутнена, какими бы отталкивающими ни казались теперь, после Кавказа, московские воспоминания. Несколько месяцев, которые Оленин прожил в станице, все равно стали для него временем поэзии и свободы, а об исчезнувшем — о своей праздной юности, когда он ни во что не верил и ничего не признавал, даже о последующей «египетской жизненной внутренней работе», которая приносила только чувство усталости от напрасных усилий отыскать какой-то стержень существования, — у него теперь нет и капли сожаления. Оленин прикоснулся к той красоте, которая для него есть «олицетворение всего прекрасного природы», и в нем открылась какая-то стихийная сила, победившая «одностороннее, холодное, умственное настроение», которое им владело прежде, и эта сила, в его понимании, то же самое, что любовь: не увенчанная счастливым исходом и, тем не менее, подарившая огромное счастье.

Этим ощущением счастья пронизаны многие страницы «Казаков», и в жизни Толстого наступила такая же пора. Часть текста последнего варианта, оконченного поздней осенью 1862 года, переписана женской рукой.

*

В ту зиму, когда случился последний крупный карточный проигрыш и благодаря ему возникла необходимость закончить «Казаков», Толстой стал бывать у доктора Берса, занимавшего с семьей служебную квартиру в Кремле. Берс был женат на Любви Иславиной, которую Толстой знал с детских лет. В семье росло восемь детей: старшая, Лиза, была уже девушкой на выданье, младшему, Вячеславу, не исполнилось и года.

Дом был небогатый. Толстой рассказывал, что Берсы жили как обыкновенная чиновничья семья: тесный кабинет, куда больные поднимались по шаткой, ненадежной лестнице, низкие потолки, пыльные,

просиженные диваны. Андрей Евстафьевич, сын аптекаря, получил дворянство в тридцать пять лет, когда состоял врачом сената, затем такую же должность занимал в Московской дворцовой конторе. Его юность неотделима от истории семейства Тургенева: сразу после выпуска он уехал в Париж в качестве лекаря при родителях писателя, а через несколько лет у него началась связь с Варварой Петровной, и была от этой связи девочка, единоутробная сестра Ивана Сергеевича Варя Лутовинова.

Услуги врача потребовались тяжело заболевшей в отцовском имении Красное — в тридцати семи верстах от Ясной Поляны — Любе Иславиной. Задержавшегося по делам в Туле Берса привезли к шестнадцатилетней пациентке. Дело кончилось венчанием. Лиза родилась в 1843 году. Год спустя явилась на свет вторая дочь — Соня.

В кремлевском ордонанс-гаузе вечно гостили какие-то родственники и знакомые, и прислуги было не меньше десяти человек. Мать почти не выезжала, целиком посвятив себя воспитанию маленьких Берсов, с которыми держалась строго, часто их пугая своей напускной холодностью; отец, напротив, отличался добротой, но из-за его вспыльчивости часто в доме стоял крик и происходили крупные сцены. Татьяна Кузминская, автор книги «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» — самых ценных мемуаров о Толстом, — пишет, что ее сестра Соня была очень живой, но сентиментальной девочкой, которая словно «не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им». Лиза, с которой у них еще в ранние годы начались столкновения и ссоры, прозвала Соню «наша фуфель», издеваясь над ее всегдашней меланхоличной чувствительностью. Когда летом 1856 года Лев Николаевич, автор уже прочитанных сестрами повестей, впервые побывал у Берсов, Соня, на которую он произвел большое впечатление, записала в своем дневнике: «Вернется ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве?» А Лиза добавила на полях: «Дура».

В следующий раз он приехал к Берсам через пять лет, когда пришло время выдавать милых девочек замуж, и его визиты, частые в московскую зиму 1862 года, приобрели особенный оттенок. Незадолго перед тем у Сони вышел инцидент с учителем братьев, который, помогая что-то переносить, не сдержался и поцеловал ей руку. Она была шокирована подобной смелостью, а от матери выслушала жесткий выговор: вот с Лизой такого бы никогда не случилось. Конечно, не случилось бы, ведь Лиза каменная и никого не жалеет. О Соне этого сказать было нельзя.

Племянников Толстого, детей его сестры Маши, юные Берсы хорошо знали благодаря танцклассу, который устраивался у них по субботам. И сам

Лев Николаевич незримо всегда присутствовал в их доме. Что-то о его детских годах наверняка рассказывала мать, а журналы с его произведениями у Берсов исправно читались.

Когда он начал бывать в доме постоянно, как-то сама собой пришла мысль, что все идет к его женитьбе на Лизе.

С нею он вел серьезные разговоры о своей школе, о журнале, который надумал издавать, и о статьях, которые она в этот журнал напишет, — две ее статьи действительно были напечатаны. Таня, его любимица, в свои неполные пятнадцать лет оставалась для него ребенком, и он ее катал по комнатам, усадив себе на спину. Соня ему нравилась своей серьезностью. Они играли в четыре руки на фортепиано, и она рассказывала, что готовится держать в университете экзамен на звание домашней учительницы. Экзамен был успешно сдан как раз той зимой. Очень помогли беседы с тем самым воспитателем братьев, который однажды позволил себе неслыханную дерзость — поцелуй, то есть признание в любви. Он был студент-медик, отъявленный материалист, поклонник Фейербаха, которого давал читать барышням, смущенным этой грубой философией. Впоследствии он прославился тем, что сочинил «Дубинушку», народную песню, сделавшуюся коронным номером в репертуаре Шаляпина.

О том, что у Сони серьезный роман, Толстой, вероятно, долгое время не знал. Героем этого романа был некто Поливанов, будущий лейб-гвардеец, учившийся в Петербурге в Инженерной академии. Считалось, что они с Соней влюблены друг в друга и что она его невеста, хотя пока круг младших Берсов все это держал в тайне, так же как роман Тани с ее кузеном Кузминским. «Мы все были понемногу влюблены, — вспоминает о том времени Татьяна Андреевна. — И эта любовь, такая детская и, может быть, смешная в глазах взрослых людей, понимающих жизнь, будила так много хорошего в наших сердцах. Она вызывала сострадание, нежность, желание видеть всех добрыми и счастливыми».

Лиза находила, что все это глупости. Когда затеяли любительский спектакль и она застала Поливанова, игравшего героя, припавшим к руке героини — Сони, то сухо объявила, что такое недопустимо даже на театральных репетициях. И что она обо всем расскажет мама.

Но Поливанов приезжал, только когда его отпускали из корпуса, а Толстой стал постоянным гостем, который больше всего любил проводить время с барышнями. Сочинил для них что-то вроде небольшой оперы, где был влюбленный рыцарь и грозный муж в исполнении немецкой гувернантки, облаченной по этому случаю в охотничьи шаровары. Читал

вместе с ними новую повесть Тургенева «Первая любовь» и объяснил, что настоящее чувство было не у отца, старого развратника, а у чистого душой юноши — его сына. Сцену, когда отец плеткой ударил свою возлюбленную, заподозрив ее в неверности, а она поцеловала оставшийся рубец, мама запретила читать при Тане, а той, конечно, было ужасно любопытно послушать как раз эту сцену и, притворившись спящей, она своего добилась.

В майском дневнике Толстого за этот год есть такая запись: «Как будто опять возрождаюсь к жизни и к сознанию ее».

Летом он уехал с двумя учениками своей школы в башкирские степи, а на обратном пути снова заглянул к Берсам. Настроение у него было неважное, угнетала необходимость во что бы то ни стало закончить «кавказский роман» — вернуть долг Каткову, и барышни очень его жалели, считая, что он сильно продешевил, уступив повесть всего за тысячу рублей. Поливанов к этому времени был уже почти позабыт. Соня втайне от всех, кроме младшей сестры, пишет повесть. В ней два героя — князь Дублицкий, человек средних лет, умный, но некрасивый и скованный, и пылко любящий героиню юноша Смирнов, которому приходится уехать по службе. Героиня — ее зовут Елена — обещала свою руку этому Смирнову, однако ее родители против столь раннего брака. Тем временем князь начинает все больше смущать ее неопытную душу, тем более что княгиней уже видит себя ее старшая сестра Зинаида, девица сухая и неприятная. Князь, однако, явно оказывает внимание именно ей, героине, и терзания Елены становятся совсем непереносимыми. Однако побеждает чувство долга: князь женится на Зинаиде, а Елена стоит под венцом со Смирновым.

Толстой, приехавший в Москву в начале августа и после произведенного у него обыска едва владеющий собой, выпросил эту повесть, а если она и сочинялась для того, чтобы он ее прочел, это многое говорит о характере Сони Берс. В сущности, она провоцировала Толстого на объяснение. И подавала ему надежду, угадав, как его мучает мысль, что он слишком стар, слишком невезуч в любви, чтобы ожидать настоящего чувства от совсем юной девушки. А он, исписав ровным почерком тетрадку до конца, отметил: «Что за энергия правды и простоты». Только все это не про него.

Таня первая заметила, что у сестры душевная смута: она с жадностью перечитывала письма от Поливанова, но влюблена была, кажется, уже в графа. Когда в конце лета Берсы собрались к дедушке Исленьеву в тульское имение, Толстой взял с них слово, что по дороге они заночуют в Ясной. Наступила пора решающих событий.

Ночлег приготовили внизу, в комнате под сводами, где был кабинет хозяина, и он сам раскладывал огромное кресло, предназначенное для Сони. Вечером на пикнике в Засеке пили чай у стога на красивой лужайке, потом, взобравшись на этот стог, пели «И ключ по камешкам течет». Дома был долгий разговор в сумерках на балконе, и Лев Николаевич сказал ей: «Какая вы вся ясная, простая». Соня тогда, наверное, еще не могла понять, какой это щедрый комплимент.

У деда, который тогда жил в Ивицах, собралось много молодежи, затеяли танцы. Толстой молча стоял в зале, любуясь девушкой в береговом платье со светло-лиловыми бантами. Ему боязно было оставить в Ясной сестру Машу с детьми, и все-таки он не выдержал, проскакал пятьдесят верст, чтобы снова увидеть эту девушку, о которой в дневнике написано: «Ребенок!» Они объяснились там же, в Ивицах. Таня, которую упрашивали спеть, от смущения убежала, спряталась в гостиной за ширмой и стала невольным свидетелем сцены, Памятной всем читавшим «Анну Каренину». Был ломберный столик и чтение по начальным буквам, за которыми Соня, почти не ошибаясь, угадывала судьбоносные слова. Было признание, что напрасно в нем видят будущего жениха Лизы, что его пленяет потребность счастья, которой светится та, кому он сейчас пишет мелом по зеленому сукну, и гнетет невозможность счастья для него самого.

Он помчался за Берсами в Москву, оставив мысль сопровождать Машу, надумавшую ехать за границу, и 23 августа пешком пришел к ним в Покровское, за Петровским парком (Покровское! Совсем как у него в «Семейном счастье»). Вечером он пишет в дневнике: «Я боюсь себя, что ежели и это — желанье любви, а не любовь. Я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны, и все-таки оно». Однако надеяться нельзя — даже после того вечера в Ивицах. Он ведь Дублицкий, про которого в ее повести сказано, что князь был «необычайно непривлекательной наружности». Он стар, не про него все это писано — молодость, поэзия, красота, — «там, брат, кадеты».

Так продолжается несколько недель. Толстой издерган сомнениями, приступами ревности — на днях приезжает Поливанов, к тому же оказалось, что у Сони есть еще один почитатель, университетский профессор Попов, — и припадками отвращения к своей прошлой жизни, о которой напоминает попойка с Васенькой Перфильевым и чтение старых дневников. В доме Берсов тоже нервная обстановка. Андрей Евстафьевич, кажется, в претензии из-за того, что Толстой не оправдывает его расчетов, а Лиза не хочет поверить очевидности, и Тане, смягчившейся к ней, приходится упражняться в дипломатии, сглаживая острые углы. А в

его дневнике все те же сомнения и накипающая страсть, какой в помине не было, когда графиней Толстой виделась ему Валерия Арсеньева. Да и в Соне он минутами подозревает «пошлейшее кокетство», но какие глаза! как прелестна она в своей блузе! «Никогда так радостно, ясно и спокойно не представлялось мне будущее с женой». Но уже два дня спустя: «Я слишком стар, чтобы возиться. Уйди или разруби». Он словно мальчик шестнадцати лет — мучится, мечтает, чувствует смятение и, ругая себя за нерешительность, готов застрелиться. Как все переплелось, смешалось — тоска, раскаяние, счастье. «Каждый день я думаю, что нельзя больше страдать и вместе быть счастливым, и каждый день я становлюсь безумнее».

Меж тем близится 17 сентября, когда у Берсов две именинницы — Любовь и Софья. Накануне вечером Толстой опять у них и сидит с Соней за фортепьяно, заметно нервничая. У него в кармане письмо, которое он никак не решится отдать адресату. Таня поет — голос у нее замечательный, она нынче в ударе. И если возьмет хорошо финальную ноту, он — решено — передаст это письмо. Минуту спустя Соня уходит вниз, унося листок с собой.

Он пишет, что ему невыносимо от того, что он не может уехать и не смеет остаться, что следовало положить конец путанице, внесенной им в их семейство, и опять «пойти в свой монастырь одинокого труда», да только это невозможно. Он делает ей предложение. Он просит ее об одном: быть с ним совершенно честной, и если есть тень сомнения, лучше сказать ему «нет».

Лиза пыталась ее остановить, требуя, чтобы она отказала, и матери с трудом удалось прервать драматическую сцену. Толстой ждал в маленькой гостиной, он был взволнован и сосредоточен. Соня появилась через несколько минут. «Разумеется, да!»

Дальше все происходило стремительно. Словно не доверяя себе — а вдруг вернуться недавнее неверие и страхи, — Толстой настоял, чтобы свадьба состоялась ровно через неделю. «Жених, шампанское, подарки, — записано в дневнике сразу после незабываемого вечера у Берсов. — Лиза жалка и тяжела, она должна бы меня ненавидеть. Целует». Приехавшие поздравлять с помолвкой обращались к Лизе, и происходила неловкость, когда та указывала на сестру.

Соне были вручены дневники жениха, и она рыдала над этими «ужасными тетрадями». Совсем некстати приехал из Петербурга Поливанов и, узнав новость, тут же захотел покинуть кремлевскую квартиру: только обаяние Тани заставило его остаться. Лиза вела себя

благородно, даже помогла Толстому выдержать трудное объяснение с будущим тестем, сказав отцу, что она счастлива за Соню. А жених нервничал и все так же внушал себе, что полюбить его, «старого, беззубого дурака», Соня, которой всего восемнадцать лет, никак не могла.

В день венчания, 23 сентября, он явился к невесте с утра, хотя это не полагалось, и вновь стал ей внушать, что она делает ошибку, напомнил о Поливанове, предложил все кончить, пока не поздно. Соня рыдала. Вмешалась Любовь Александровна: пристыдила, отправила назад. А Поливанов согласился быть одним из шаферов на свадьбе.

Венчались под вечер в кремлевской церкви Рождества Богородицы, переполненной приглашенными. «Гряди, голубица» — раздалось с хоров при входе невесты, чью бледность и припухшие от слез глаза скрывала вуаль. Дормез ждал у Крыльца Берсов, Соня переоделась в темно-синее дорожное платье. Уехали сразу после чая. Было по-осеннему свежо, зарядил дождь.

Первую остановку сделали на почтовой станции Бирюлево, а утром 25-го были уже в Ясной. Там молодых встречали брат Сергей Николаевич и тетюшка Ергольская. Толстой записал в дневнике: «Неимоверное счастье... Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью».

Они проживут вместе сорок восемь лет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЯСНАЯ ПОЛЯНА. ВЕРШИНЫ

Фарфоровая кукла

Перед свадьбой Толстой с восторгом говорил «бабушке» Александрин о своей невесте: «Для того, чтобы дать вам понятие о том, что она такое, надо было бы писать томы: я счастлив, как не был с тех пор, как родился».

Это чувство оставалось ничем не омраченным всю их первую яснополянскую осень. Страшило только одно — нет ли фальши? Поверить до конца, что эта юная московская барышня могла его полюбить всем сердцем и способна ему принадлежать безраздельно. Толстой не мог. А о себе знал твердо: «Все мои ошибки мне ясны. Ее люблю все так же, ежели не больше».

Первое письмо из Ясной Поляны в Москву графиня Толстая написала на следующий день по приезде. Ей здесь чуточку странно, но она счастлива, совсем счастлива, видя, что Левочка так ее любит — ведь не за что. Даже страшно становится и совестно от такой любви. И все вокруг чудесно: ласковая тетенька Татьяна Александровна, заботливый и нежный брат Сережа, кроткий старый повар Николай Михайлович, умелая экономка Дуняша. Вот только обстановка уж очень спартанская. Пока не привезли ее приданое, пришлось обходиться железными вилками и древними ложками, с которых слезло серебро. Оказалось, что барин спит на сафьяновой подушке без наволочки и укрывается ситцевым одеялом. Грязь везде ужасная, дом запущен, но все это новая хозяйка принялась энергично исправлять — ввела фартуки и белые колпаки на кухне, переменила посуду и белье, завела ванну.

Таня, читая ее реляции, живо воображает себе сестру сидящей за самоваром в чепчике с малиновыми лентами и с выражением «угнетенной невинности» на лице: так она дразнила Соню, когда той овладевала беспричинная покорность судьбе. От Левочки, с которым она теперь тоже на «ты», приходят письма, полные счастья. Но шестнадцатилетняя Таня, которая хорошо знает характер Сони, инстинктом чувствует, что и в этой идиллии, хоть изредка, но должна о себе напоминать «угнетенная невинность». Возобновленные в Ясной дневники Сони прибавляют умирительным картинам медового месяца контрастные тона.

Запись от 8 октября, всего через две недели после венчания: нужно, очень бы нужно признать глупыми все прежние мечты, что она будет знать

малейшие мысли и чувства своего избранника, а она не в силах избавиться от этих ребяческих фантазий. И как несправедливо, что ему она отдала все, кроме детства, а у него прошлое, над которым она не властна, а столько в его прошедшем грязного, столько потрачено Бог знает на что и на кого. И отчего же он не верит ее любви, такой большой, что одним этим чувством она и живет, отчего «он и я делаемся как-то больше и больше сами по себе», отчего «у нас есть что-то очень непростое в отношениях». До того непростое, что оно, страшно подумать, «нас постепенно совсем разлучит» — по крайней мере, нравственно.

Странные настроения для той, кто, не кривя душой, говорит, что мужа она полюбила «до последней крайности, всеми силами», а от его любви — неистовой и страстной — чувствует смущение и стыд. Однако слово «надрез», мелькнувшее в дневнике Толстого после размолвки, случившейся по ничтожному поводу зимой, в Москве, подхвачено Софьей Андреевной, и эта нота становится постоянной в ее записях первого года семейной жизни. Толстой страшился, что мелкие стычки и сцены оставляют незаметные следы, которые время может стереть, но может и превратить в трещину, разводящую их с Соней все дальше. Она по присущей ей мнительности воспринимала такие столкновения еще более болезненно. Уговаривала себя, что это только «несносное, переходное время», но подавить часто накатывающее чувство одиночества и тоски все-таки не могла.

Они, конечно, и не были идеальной парой: слишком разный жизненный опыт, слишком разные темпераменты. «Он так умен, деятелен, способен», с ним «можно умереть от счастья» — но и от унижения тоже, ведь рядом с ним она себя ощущает мелкой до ничтожества. И «так противны все физические проявления», а вот для него они очень важны. Да еще это «ужасное, длинное прошедшее», эта Аксинья, которая ей является в жутких снах: она в черном шелковом платье, ребенок на руках, и вот, какой ужас, графиня выхватывает этого ребенка у матери из рук, в бешенстве рвет его на клочки, ноги, голову, все. Да еще студенты и школа — как смеют они отнимать у нее Левочку, ведь он принадлежит ей одной. Да еще народ, о котором столько разговоров. «Он мне гадов со своим народом. Я чувствую, что или я, т. е. я, пока представительница семьи, или народ с горячею любовью к нему Л. Это эгоизм. Пускай. Я для него живу, им живу, хочу того же, а то мне тесно и душно здесь». Со дня свадьбы прошло ровно два месяца.

Лев Николаевич ощущает себя так, словно «украл незаслуженное, незаконное, не мне назначенное счастье» и не может до конца в него поверить, и стыдится воспоминаний, и каждую секунду от них отрекается,

чувствуя «всю свою мерзость». Школа принесена в жертву этому счастью, журнал тоже. «Это было увлечение молодости — фарсерство почти, которое я не могу продолжать, выросши большой. Все она». С «Казакami» неясно — первая часть окончена и напечатана, возможно, последует продолжение, но еще сильнее тянет вернуться к «Декабристам». Вспоминается встреча во Флоренции с вернувшимся из Сибири стариком Сергеем Волконским. Осенью 1863 года в Москве произойдет еще одно любопытное знакомство — с Дмитрием Завалишиным, который семь лет оставался в Чите и после амнистии, дарованной Александром II. Что-то об этой эпохе уже пишется в яснополянском кабинете, пока Софья Андреевна сидит с работой в углу или тихо играет внизу на стареньком расстроенном фортепьяно. Замысел «Войны и мира», дотоле неясный, начинает принимать конкретные очертания в этот первый год семейной жизни.

Первенец, Сергей, родится в июне, и чем ближе это событие, тем чаще будущей матерью овладевает плохое предчувствие, а Толстой, страдая из-за ее угнетенного состояния, не всегда способен сдержаться в дневниковых записях, хотя она их обязательно читает. Ему неловко сознавать, что теперешняя его жизнь — это «отсутствие мечтаний, надежд, самосознания». Соня изумительна; но неприятна графиня, которая любит новыи платьем и устраивает истерику, увидев, что ему оно не понравилось. В Москве они почти два месяца живут в гостинице, где Соне непривычно и тягостно — отчего они не в Кремле, где все родное и так уютно? — а Толстому подчас просто невыносимо. Дневник за январь 1863 года: «Дома мне с ней тяжело. Верно, незаметно много наикпело на душе: я чувствую, что ей тяжело, но мне еще тяжелее, и я ничего не могу сказать ей — да и нечего. Я просто холоден и с жаром хватаюсь за всякое дело».

Правда, такие настроения пока недолги и сменяются чувством восторга перед жизнью, наконец-то подарившей радости семейного очага. Соня его божество, его идеал, его великая награда. «Она не знает и не поймет, как она преобразовывает меня, без сравнения больше, чем я ее». И как она невозможно чиста, как цельна, как хороша, слишком хороша для него, который столько лет прожил бесцельно, бездарно, греховно. «Чувствую, что я не владею ею, несмотря на то, что она вся отдается мне. Я не владею ею, потому что не смею, не чувствую себя достойным».

Будни заполнены милыми хлопотами по обустройству своего гнезда, и Соня старается во все вникать, распоряжаясь перестановками, заказывая нужную утварь, сопровождая мужа на скотный двор или на маслобойню. «Мы совсем делаемся помещиками, — пишет она сестре Тане, — скотину закупаем, птиц, поросят, телят». Толстой всем этим увлечен настолько, что,

кажется, вообще перестает осознавать себя писателем. Важнее литературы заботы о винокуренном заводе, который он пробует наладить, хотя Соня находит, что производить водку и устраивать трактир, где ее будут сбывать, не прилично для аристократов. Но для Толстого подобные соображения не так уж существенны. Он хочет счастья и довольства, ничего другого. «Кто счастлив, тот прав!» — пишет он в мартовском дневнике 1863 года.

Здесь есть, конечно, некий вызов тогдашнему общественному мнению, над которым властвует мысль о гражданских обязанностях в новое, пореформенное время. Частный быт как бы вытесняет в сознании Толстого все социальные проблемы, и он, строя свой уютный яснополянский мир, пробует наглухо им отгородиться от давно ему опротивевших «вопросов», которые провоцируют яростную полемику либералов и реакционеров. К литературе он охладевает как раз оттого, что эти «вопросы» в ней тогда главенствуют почти безраздельно. А ему намного интереснее то винокурня, то яблоневый сад, то пчельник на реке Воронке, в полутора верстах от усадьбы, и он почти уверен, что больше никогда не возьмется за перо.

В Никольском, которое перешло ко Льву Николаевичу по смерти старшего брата, у Дьяковых в Черемошне им с Соней очень хорошо, но неудержимо тянет домой, в Ясную. Исключая редкие визиты в Москву, Софья Андреевна проживет в Ясной Поляне безвыездно восемнадцать лет.

Приходят корректуры «Казakov», Толстой возмущен, увидев, что редактор «Русского вестника» Катков, не спросив его, кое-где заменил «который» на «что». Повесть напечатана, тесть ею разочарован: природа, станица описаны очень живо, но Марьяна не видна с нравственной стороны, да и стоило ли с этой стороны изучать какую-то босоногую неграмотную девку. Саша Кузминский, кузен и давний обожатель Тани, вполне согласен с этим суждением, добавляя, что сюжет повести не увлекателен и вообще писать о подобных вещах есть *trop mauvais genre* — дурной тон. Толстой, конечно, слегка задет и мягко замечает, что лучше бы Андрею Евстафьевичу воздержаться от критических разборов.

Однако все это пустяки, не омрачающие яснополянской гармонии. Правда, в ней подчас чувствуется что-то натужное. Тот страшный сон Софьи Андреевны, когда она рвала в клочья ребенка ненавистной Аксиньи, имел продолжение: Левочка стал ее успокаивать, говоря, что никакого ребенка не было, просто кукла, которую он сейчас соберет и сошьет по кусочкам. А в марте с ним самим случилось странное приключение, которое он рассказал в письме к свояченице Тане. Вдруг сделалось так, писал он, что Соня стала фарфоровой куколкой с открытыми холодными плечами. На ней была фарфоровая рубашка с отбитым кусочком складки, и

двигаться она не могла, даже не могла держаться столбика из фарфора, к которому была прикреплена. Это была все та же Соня — черный пучок волос сзади, ямочка на подбородке, косточки перед плечами, — только его пальцы не вдавливались в фарфоровое тело, и он долго перекладывал фигурку из одной руки в другую, пока не заснул, согревая ее своим дыханием. Наутро Соня была опять такая, как всегда, но стоило им остаться вдвоем, как она сразу превращалась в куклу с потершейся краской на макушке.

Тане он описывает это происшествие шутливо, однако, если тут не просто каприз фантазии, предвещающей картины сюрреалистов, оно выглядит мрачно, почти зловеще. Прелестная, но какая-то игрушечная Соня, которая делается бесчувственной в супружеской спальне. Кукольный дом вместо теплого очага, который так восхищал Толстого в романах Диккенса, одного из его любимых писателей. Фарфор там, где должны быть живая плоть и кровь.

Разумеется, он гонит прочь такие мысли, но они, видимо, не проходят, и оттого идиллия вдруг сменяется бурными сценами и взаимными упреками. В июне, словно позабыв, что Соня на сносях, Толстой приревновал ее к учителю бабуринской школы розовощекому немцу Эрленвейну, стыдясь собственного неистовства, но не умея с ним справиться. И записал в дневнике: девять месяцев, прожитые в браке, ему ненавистны, потому что он стал мелок и ничтожен, в запое хозяйства погубив прежнюю «высоту правды и силы».

Но к осени колея семейного счастья установилась как будто навсегда и перестали мучить мысли, что с женитьбой им утрачено слишком много: не пирушки у Дюссо, разумеется, и не метрески, а «вся поэзия любви, мысли и деятельности народной», которую теперь заменили заботы детской присыпки и варенья. Александрин, с которой он откровенен, как ни с кем больше, получает от него в октябре 1863 года длинное письмо с декларацией полного отказа от *grubeln* — былых мечтаний, с признанием, что он вполне доволен своим положением мужа и отца, потому что это положение дает ему «ужасно много умственного простора». Ему теперь странно, отчего его в еще недавнее время могли так волновать общество и народ. Ведь, если подумать, все это только сковывало его умственные и даже нравственные силы, которые лишь теперь, когда он женатый человек, освободились. И кажется, они найдут верное применение.

Толстой абсолютно искренен, просто он позабыл свое письмо той же Александрин, написанное шестью годами раньше. Тогда, вернувшись из-за границы, он был угнетен открывшимися ему нищетой, беспорядком,

произволом, пробовал что-то изменить, бился головой о стену. И, зная, что «бабушка» не одобрит этих его стараний, все-таки утверждал: они необходимы, даже если остаются бесплодными. Потому что жизнь не признает спокойствия и умиротворенности, она «постоянный вечный труд и борьба со своими чувствами».

Впрочем, когда он говорил, что духовное равновесие достигается, если отринуты заботы о народе и обществе, у него было оправдание, аргумент, перед которым бессильны все другие: «Я теперь писатель всеми силами своей души». К осени 1863 года уже были сделаны наброски первых глав «Войны и мира».

*

Через несколько лет, когда главная книга Толстого будет закончена и опубликована, в его тетради для записей 26 марта 1870 появится такая сентенция: «Все, что разумно, то бессильно. Все, что безумно, то творчески производительно».

История, которая началась летом 1863 года в Ясной Поляне и, мучая всех в нее вовлеченных, тянулась два года, была, если судить по критериям здравого смысла, сущим безумием. Для «Войны и мира», во всяком случае, для тех глав второго тома, в которых описан роман Наташи и князя Андрея, эта история оказалась творческим стимулом необычайной интенсивности.

Тане Берс шел семнадцатый год. Она проводила у сестры лето, при ней 28 июня родился сын Толстых Сергей, она запомнила, как пили шампанское в столовой и какое бледное, страдающее лицо было у Льва Николаевича. Весной в Петербурге у нее было что-то вроде флирта с неким Анатолом Шостаком, дальним родственником по прозвищу *le cousin barbu*, потому что, следуя английской моде, он носил бакенбарды. Таня пригласила его в Ясную, но Толстым, понявшим, что серьезных намерений у Анатоля нет, он не понравился, и под предлогом родов Софьи Андреевны его попросили уехать. Таня была обижена, дулась на всех, иногда принималась плакать. Утешал ее часто приезжавший тогда в Ясную брат Левочки Сергей Николаевич.

Отец, который не чает в ней души, бранит своего ненаглядного Татьянчика верченой девчонкой и жалуется, что у нее голова набита глупостями, но Татьянчику хорошо известно, как она очаровательна. Это ее тогдашнее невольное любование самой собой передал Толстой в романе: Наташа, вернувшись из спальни старой графини, с которой обсуждалось,

как держаться с вылощенным Борисом, зачистившим в их дом, рассуждает о себе в третьем лице, точно подслушав восторги какого-то неведомого почитателя: «Умна необыкновенно, мила и, потом, хороша, необыкновенно хороша, ловка — плавает, верхом ездит отлично, а голос! Можно сказать, удивительный голос!»

Голос у Тани Берс и правда был замечательный. Осталось много свидетельств того, как пленяло ее пение, среди них — стихотворение Фета «Опять», поднесенное адресату, едва на бумаге просохли чернила:

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна любовь, и нет любви иной.
И так хотелось жить, чтоб только, дорогая,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

Как-то Лев Николаевич прочел творение Фета вслух и не удержался от иронии: «Эти стихи прекрасны, но зачем он хочет обнять Таню? Человек женатый...»

К несчастью, Сергей Николаевич был тоже человек женатый, хотя и не венчанный. Двойственность его положения стала непреодолимым препятствием, когда выяснилось, что он не просто увлекся Таней, а влюблен без памяти, и что это не безответная любовь.

О браке Таня вовсе не думала, просто с упоением отдавалась своему чувству, признаваясь сестре, что никогда еще не встречала такого исключительного человека. Сережа был с нею внимателен и ласков необыкновенно, любовался каждым ее жестом и словом, с замиранием сердца слушал, как она пела, и хотя никаких разговоров о будущем не велось, все было написано на их лицах. Однажды, доставая журналы с верхней полки шкафа, Таня потеряла равновесие и очутилась бы на полу, если бы стоявший рядом Сергей Николаевич не успел ее подхватить. И, держа на руках, стал взволнованным голосом говорить ей, что напрасно Левочка так поспешил со свадьбой — они с ним могли бы жениться в один день на родных сестрах.

О том, что произошло в библиотеке, тут же стало известно и Соне, и Льву Николаевичу. Зная о запутанных семейных обстоятельствах брата, Толстой не обрадовался случившемуся. В Пирогове Сергея Николаевича ждали цыганка Маша и дети, пусть незаконные. Союз с Машей, то нежный, то сопровождаемый сценами на грани разрыва, продолжался без малого полтора десятка лет, и Лев Николаевич, лучше всех представляя себе, как

прочно укоренен в Сергее толстовский характер — эта «дикость», враждующая с добротой, этот пыл страстей, конфликтующих с твердыми моральными правилами, — предчувствовал тяжелые испытания, через которые придется пройти его любимице Тане, а Сережу мог только пожалеть.

Решено было отложить свадьбу на год, потому что Таня слишком юна, а ее суженому необходимо поправить здоровье и привести в порядок свои дела. Втайне Толстые, вероятно, надеялись, что жаркая влюбленность пройдет у обоих. Провожая Сергея Николаевича, который уезжал на охоту в Курскую губернию, Таня вся светилась счастьем, хотя год ей казался вечностью. О существовании Маши ей было известно, однако в той среде, где она выросла, обычно не придавали подобным вещам большого значения. Да она и не знала тогда, что у Маши уже трое детей. Зимой появится четвертый.

Кузминскому, с детских лет убежденному, что он на ней женится, Таня написала, что она теперь невеста, и назвала имя будущего мужа. В июне 1864 года Сергей Николаевич предложил венчаться сразу после петровского поста, но опять оказалось, что это нельзя, есть непреодолимые препятствия. Какие именно, рассказал, призвав Таню к себе в кабинет, Левочка. Тайное стало явным — дети, и долги, требующие продажи курского имения, и намерение Сережи устроить свадьбу, ничего не сказав Маше, и ее слезы, когда она узнала о его планах, кротко приняв свою незавидную участь. Таня была потрясена, смертельно обижена и, не найдя и себе сил для откровенного разговора с Сергеем Николаевичем, уехала в Москву, чтобы больше не видеть ни этого обожания, ни этих страдающих глаз.

«Вся эта история много портит мне жизнь, — писал Толстой жене. — Постоянно неловко и боишься за них обоих... Ничего, кроме горя, и горя всем, от этого не будет. А добра не будет ни в каком случае». Сергею он говорил, что всегда нужно помнить о Боге, а брат слал ему письма, из которых видно, как извела его поздняя и мучительная любовь. Он, кажется, решил, что жениться ему нужно обязательно — но на Тане ли? на Маше? Метания между долгом и чувством становились непереносимыми, а окончательное решение все не приходило. Таня же тщетно старалась его забыть.

Точка не была поставлена до лета 1865 года. Они вновь увиделись в Ясной в мае, и, встретив Сережу после долгой разлуки, Таня не смогла скрыть, какая это для нее радость. Все вернулось — долгие совместные прогулки, поцелуи в аллеях, разговоры о свадьбе, которую сыграют

поблизости от Ясной, в Никольском. Там священник за скромную мзду обвенчает их, не потребовав бумаг, которые надо было выправлять в случае родства вступающих в брак.

И вдруг Сережа, ничего не объяснив, прекратил свои посещения. Сделать решающий шаг оказалось выше его сил. Он написал брату, что оставить Машу — значит погубить всю семью, что он кругом виноват перед Таней, что из-за его слабости и нерешительности страдает та, которая дороже ему всех на свете, что нет прощения его поступку, и еще многое в таком же роде. Выслушав это послание, Таня молча ушла к себе, чтобы написать жениху, что она возвращает ему слово.

Софья Андреевна, впав в неистовство, выплеснула свои эмоции в дневнике: Сережа «кругом подлец», ничего не было, кроме притворства и обмана, пусть все узнают правду, даже дети, — в назидание на будущее. Лев Николаевич был столь же суров, когда отвечал брату на его отчаянное письмо: «Не могу не уделить хоть малую часть того ада, в который ты поставил не только Таню, но целое семейство, включая и меня». А Сережа, бежавший к сестре в Покровское, говорил ей, что у него душа разрывается на части, когда он видит Машу, которая молится вся в слезах. А от мыслей о Тане душа тоже рвется, но не в силах он бросить детей на произвол судьбы, и нет тут никакого выхода, и он погибший человек.

Утешало одно: по крайней мере, не случилось того, что оказалось бы непоправимо. Когда минули первые ужасные недели, Таня сумела взять себя в руки, и не осталось озлобления, только обида. И Лев Николаевич тоже пришел к выводу, что брат, хотя и виноват во многом, страдает из-за случившегося больше, чем они все. Стояло знойное лето, целые дни проводили на берегу речки Чернь, ходили пешком за много верст в Мценск, на богомолье, а осенью Таня поехала с Левочкой в имение Дьяковых, где устроили охоту на дроф. Жизнь продолжалась.

Через два года Таня вышла замуж — Кузминский, в ту пору следователь при Тульском окружном суде, а впоследствии сенатор, достиг цели, к которой упрямо шел много лет. Он приходился ей двоюродным братом, нужно было либо получить разрешение, либо найти сговорчивого священника, и поэтому венчали их не в Туле, а в деревне, где какой-то старенький полковой поп все устроил за несколько сот рублей. На узкой проселочной дороге по пути в невзрачную церковь повстречали другую коляску, и в ней — ирония судьбы — сидел Сергей Николаевич, по точно такому же поводу ездивший сговариваться с батюшкой. Молча поклонившись друг другу, они разъехались каждый своей дорогой.

В законном браке Сергей Николаевич прожил еще тридцать семь лет.

Его отношения с братом выровнялись, да и Софья Андреевна постепенно к нему подобрела. Таня, ставшая важной петербургской дамой, бывала в Ясной только летом, с детьми, и, похоже, никогда не заговаривала про соседнее Пирогово, где Сергей Николаевич жил, точно бы выпав из своего века. К старости он сделался деспотом и мизантропом: не признавал ни православия, ни толстовского христианского учения, мрачно смотрел на происходившие в России перемены, отмену крепостного права называл великим несчастьем и считал, что манифестом о воле нанесено оскорбление лично ему. Целые дни он проводил за счетными книгами у себя в кабинете, где никогда не открывались окна, не выносил гостей, делая исключение для одного Левочки, и даже с прислугой предпочитал не вступать в общение: обедал всегда один, велел прорубить форточку из столовой в буфетную, откуда ему подавали тарелки. Много читал, всем интересовался, всех бранил и окончательно надломился, когда его дочь Вера — цыганская кровь! — сбежала из дома с молодым работником-башкиром, привезенным ходить за лошадьми, и потом, трепеща от ужаса, вернулась под отчий кров с ребенком на руках. Любимый сын Григорий вел в столицах разгульную жизнь, вечно оставаясь без гроша в кармане, а графиня, которая переживет мужа на четырнадцать лет, — она умерла уже после революции, в 1918 году — его только раздражала своей старушечьей набожностью.

Есть снимок, сделанный уже после его смерти: Маша — сгорбленная, в черном платке, из-под которого видны седые пряди, — и Лев Николаевич с развевающейся белоснежной бородой крепко держатся за руки, как будто боясь потерять друг друга, когда, худо ли бедно, вместе пережито столько радостных, но больше тяжелых минут. Все давным-давно в прошлом — тульский хор, и наезды цыган, когда ночи напролет не смолкали гитары в парке пироговской усадьбы, и рыдания запертой на своей половине Маши, если к графу навевались гости его аристократического круга, и возвращение несчастной Веры со своим младенцем.

История, в которой было так много счастья, но еще больше отчаяния и слез, тоже далекое прошлое. Только очень внимательно присмотревшись к старчески благородным чертам Татьяны Андреевны, можно угадать в ней ту самую Таню — крупный рот, какая-то пленительная неправильность в лице, ничего кукольного, поразительно живые черные глаза, — которая способна была вызывать такое сильное кружение сердца.

«Я твердо надеюсь, что она успокоится и все пройдет, и пройдет этот раз хорошо и совсем», — писал Толстой отцу Тани сразу после несчастной развязки ее романа. Судя по мемуарам Кузминской, надеялся он не

напрасно и не напрасно верил, что «у нее столько еще впереди с ее прелестной натурой». На самом деле впереди было всего лишь смирение с неизбежным: замужество без страсти, заботы о растущей семье. Жизнь в Кутаисе, где Александр Михайлович был уже не следователем, а прокурором, затем в Петербурге, когда он пошел на повышение. И воспоминания, доверенные бумаге уже после его смерти.

У Сергея Николаевича впереди были только густеющие сумерки старости.

*

Сестра Мария Николаевна, к которой Толстой увез свояченицу сразу после драмы, разыгравшейся в Ясной, поразила и даже немного напугала Таню своей экзальтированной любовью к божественному. У нее в Покровском, в старом каменном доме, окруженном липовыми аллеями, ведущими к реке, находили приют многочисленные странники, «божьи люди» наподобие тех, что страшились попасть на глаза старому князю, когда приходили в Лысые Горы к княжне Марье. Мысли этой героини «Войны и мира» о том, как бы было хорошо ей самой в посконном рубище ходить под чужим именем с места на место и молиться за людей, пока она не умрет где-нибудь в чистом поле, скорее всего навеяны Толстому теми настроениями, которые все больше начали овладевать его единственной сестрой как раз в эту пору. Мария Николаевна, подобно ее полной тезке княжне Болконской, тоже склонялась к убеждению, что «выше этой истины и жизни нет истины и жизни».

Толстого тревожила перемена, которая случилась с нею после возвращения из-за границы, где, порвав с любвеобильным и аморальным Валерьяном, она провела несколько лет, лишь в 1862 году ненадолго приехав в Россию. Он не очень верил в серьезность и глубину религиозного чувства, которым Маша теперь старалась поддерживать себя, и страдал, видя ее неприкаянность. Страстный темперамент, «дикость» — всем этим она была наделена в полной мере, и, думая о ней, Толстой, быть может, особенно ясно чувствовал, что та обустроенная, цветущая помещичья жизнь, которую энергично налаживает в Ясной Соня и которая так мила бывает ему самому, содержит в себе что-то несогласное с толстовской природой, что-то искусственное, подменное, как фарфоровая кукла вместо живой женщины.

Суеверия, мистицизм, склонность к предчувствиям и предсказаниям,

которую Таня сразу подметила у хозяйки Покровского, Толстому были чужды, и ему казалось, что все это лишь косвенный результат преследующих Машу несчастий. Ее душевное равновесие поколебалось всерьез и надолго. Уйти с тремя детьми от мужа, каким бы он ни оказался ничтожеством, было тяжело, и, хотя братья поддерживали ее в этом решении, наверняка оставались надежды на его покаяние и на примирение. Но Валерьян, совсем запутавшийся в своих любовных приключениях, зимой 1865 года умер в Липецке на руках своей последней пассии, мещанки, от которой у него тоже было потомство, и Толстой испытывал угрызения совести из-за того, что сознавал свое стойкое недоброжелательство к нему. «Бабушке» он с обычной в этих письмах откровенностью признавался: «Нет ничего хуже в смерти, как то, что когда человек умер, нельзя уж поправить того, что сделал дурного или не сделал хорошего в отношении его».

В Россию Мария Николаевна не решилась привезти крошечную девочку Елену, которая считалась ее воспитанницей. Крестил ее брат Сережа и дал ей свое отчество. Это была дочь Маши от виконта Гектора де Клена, с которым она познакомилась на водах в Экс-ле-Бен и находилась в связи несколько лет. Он был швед из очень родовитой, но обедневшей семьи, которая, конечно, рассчитывала поправить дела его выгодной женитьбой. Болезнь заставляла его проводить зимы на юге Франции или в Алжире: трижды ездила с ним в Алжир и Мария Николаевна. Чувство было сильным с обеих сторон, но семья виконта слышать не хотела о русской графине, обремененной долгами и детьми, да к тому же не получившей развода. В апреле 1864-го после трудного объяснения, при котором присутствовал приехавший к сестре Сережа, они расстались. Елене было полгода.

О том, что Маша ждет ребенка, узналось из ее письма, побудившего братьев к энергичным действиям. Было получено согласие Валерьяна на развод, дело утрясли с архиепископом. Толстой написал сестре письмо, полное нежности и заботы: «Кроме любви к тебе, всей той любви, которая была прежде где-то далеко, и жалости и любви, ничего не было и не будет в моем сердце. Упрекнуть тебя никогда не поднимется рука ни у одного честного человека». Он четко определил, как нужно поступать дальше: ребенка он забирает к себе, а Маша должна выйти замуж за человека, которого полюбила.

Но Гектор предпочел женитьбу по расчету. Прошло десять лет после их разрыва, когда они еще раз случайно встретились в Эксе. А вскоре был вечер в Ясной Поляне, когда Мария Николаевна вдруг вскрикнула, словно

кто-то, подкравшись, ударил ее по спине. Через несколько часов пришла телеграмма: виконт умер.

Елена, оставленная кормилице, воспитывалась затем в швейцарских пансионах, и когда семнадцатилетней впервые попала в Россию, по-русски не могла сказать ни слова. Частые разлуки с нею, мысли о ее будущем были для Марии Николаевны страшно болезненны. Выдавались минуты отчаяния. В такую минуту она как-то призналась брату Левочке, что находится на грани самоубийства. «Боже, — писала она, — если бы знали все Анны Каренины, что их ожидает, как бы они бежали от всех минутных наслаждений, которые никогда и не бывают наслаждениями, потому что все то, что незаконно, никогда не может быть счастьем».

Спасла ее вера, которая с годами становилась все более истовой.

Она не пропускала ни одной службы и очень любила совершать паломничества. Весь путь к какой-нибудь дальней обители проделывала пешком, ночуя в экипаже, где везли припасы, а случалось, и на сеновале. Подолгу беседовала в деревнях с богомольными старухами и не допускала никаких насмешек над их рассказами о чудесах. Тане Берс запомнилось, как по дороге в Мценск в то тяжелое лето 1865 года на постоялом дворе какая-то баба Матрена говорила про порченных из соседнего села и про то, как их исцелили, сведя к угоднику. Мария Николаевна слушала очень внимательно и очень боялась, как бы рассказчицу не обидела скептически настроенная молодежь.

Когда выросли и вышли замуж обе дочери от Валерьяна, а сын Николай, подав в отставку после недолгой армейской службы, начал хозяйствовать в Покровском, Мария Николаевна, как-то устроив дела Елены, полностью ушла в духовную жизнь. Ее все больше томило будничное существование, казавшееся пустым и бесцветным; приезжая в Москву, где подолгу жила, она часами говорила со своим врачом-гомеопатом Трифионовским, настроенным возвышенно, отчасти мистически, и не без его влияния, усиленного протоиереем Валентином Амфитеатовым, отцом будущего писателя, начала очень серьезно думать о монашестве. Решение окончательно созрело после знакомства со знаменитым старцем Амвросием из Оптиной пустыни, тем самым, кого считают прототипом старца Зосимы из «Братьев Карамазовых».

Софью Андреевну, всегда испытывавшую к ней смешанные чувства, раздражали эти настроения золовки. Вот ее дневниковая запись 1891 года, когда Мария Николаевна гостила в Ясной: «Только и говорит, что о монастырях, отце Амвросии, Иоанне Кронштадтском, о действии того или иного образочка, о священниках и монашенках, а сама любит и хорошо

поестъ, и посердиться, и любви у ней нет ни к кому». Видимо, в тот день между ними произошла какая-то стычка. Сестру Толстого можно было упрекнуть в чем угодно, только не в эгоизме.

В октябре 1889 года Мария Николаевна поселилась в Белёвском женском монастыре, откуда писала брату Левочке, что именно здесь надеется она со временем найти то, что ей нужно. И поясняла: «Вера в Духа Святого уяснит многое, во что тебе и подобным тебе кажется невозможным верить и во что я верю слепо, без колебания и рассуждений, и нахожу, что верить иначе нельзя».

Они с братом так и не сошлись в этом пункте, и, предвидя его возражения, Мария Николаевна заранее не соглашалась с тем, что на самом деле важно «просто наше нравственное чувство, действие нашей души, и что это зависит от нашей воли». Оба не отступили от своих убеждений. Из Белёва Мария Николаевна перешла в Шамордино, где келью для нее строили по указаниям самого Амвросия. А Толстой, навещая сестру, посмеивался над строгостями монастырского устава и говаривал, что собралось шестьсот дур на одну умную — ею он признавал игуменью.

Отношения между ними, однако, остались самые заботливые и нежные, даже после того, как Толстого отлучили, что для его сестры было страшным горем. В Ясной монахиня Мария проводила по несколько недель каждое лето, последний раз — в 1910 году. И Лев Николаевич ее навещал, бывая в соседней Оптиной пустыни, а после своего ухода навестил сестру Машу, и у них был долгий разговор в ее одноэтажном бревенчатом монашеском доме. Последний разговор.

Между ними, младшими из детей Николая Ильича, было полтора года разницы, и пережила Мария Николаевна брата тоже на полтора года. В закрытом после революции, разграбленном, брошенном монастыре ее могила затерялась, и когда по прошествии восьмидесяти лет принялись восстанавливать порушенное, с трудом удалось отыскать место погребения под кучами мусора и засохшего навоза.

*

К известию о женитьбе Левочки сестра, находившаяся тогда в Европе, отнеслась с энтузиазмом: «Воображаю ваше семейное счастье, сохраните его и не портите сами себе; вы оба можете составить вечно счастье друг друга, если не перемудрите».

Соню она приняла доброжелательно, не делая над собой тех усилий,

какие понадобились княжне Марье при первой встрече с Наташей, невестой своего брата, которую нужно было любить. Отношение Сони к золовке, особенно в первые годы, было сложное — вплоть до «тихой ненависти», в которой она как-то призналась на страницах дневника. Зная, что Машенька глубоко несчастна, Соня, видимо, ее саму винила в этих несчастьях и страшилась, как бы тень от них не омрачила яснополянской безмятежности.

Привезенных Машей в Россию дочерей Варю и Лизу она, однако, полюбила сразу, не делая различий между ними и собственными детьми — Сережей и Таней, родившейся в 1864 году. Прочитав сказку Владимира Одоевского о живущих в Америке полулюдях, полуптицах, Толстой прозвал племянниц «зефиротами». Обе они были прелестные девочки, которые чувствовали себя почти на равных с совсем юной Софьей Андреевной и помогали поддерживать в доме так покорявшую Толстого атмосферу любви всех ко всем.

Поначалу в этом доме не было никаких предвестий, что молодые супруги «перемудрят», как опасалась Мария Николаевна. Только присутствие Сережи и Тани, то и дело уединявшихся на балконе, чтобы о чем-то пошептаться, придавало некоторую натянутость отношениям. Да еще легкий диссонанс вносила Маша с ее вечной нервностью. Тургенев, ее бывший поклонник, как в воду глядел, когда в 1856 году писал о ней Толстому: «Если есть на свете женщина, которая заслуживает быть счастливой, так это она; а на такие-то натуры судьба и налегает».

Впрочем, приезжая к брату, Маша как-то успокаивалась душой и с умилением смотрела на тихое счастье, в котором было отказано ей самой. Для Толстого настало время умиротворенности, душевной гармонии и твердо определенных жизненных устремлений. Оно продлится около полутора десятилетий, пока Ясная Поляна, которую он не любил покидать хотя бы ненадолго, оставалась обителью радости, потому что там и правда царила ясность — в самом дорогом смысле этого понятия.

Конечно, бывали периоды легкой смуты, «надрезы». Однажды в какую-то их размолвку Толстой сказал жене, что в браке люди вроде листа бумаги: достаточно надорвать сверху, и две половинки разъединятся сами собой. Софья Андреевна старалась делать все, чтобы этого не произошло, но это у нее не всегда получалось. Была серьезная ссора после рождения сына — из-за грудницы она не могла кормить, а Толстой с его новыми верованиями, что все должно быть так, как назначено природой, категорически возражал против приглашенной из деревни бабы. Дело дошло до серьезного конфликта, и в дневнике Соня обвиняла мужа в том,

что он желает стереть ее с лица земли, но тут же писала о его раскаянии и нежности. Была еще одна стычка, когда летом 1866-го в Ясную пригласили нового управляющего из разорившихся дворян, и с ним приехала жена, стриженная нигилистка, бойкая, хорошенькая, охотно вступавшая с графом в споры, которые затягивались до ночи. «Она ему нравится, это очевидно, — в отчаянии записала в дневник Софья Андреевна, — и это сводит меня с ума. Я желаю ей всевозможного зла... Скоро ли окажется негоден ее муж и они Уедут отсюда?»

Толстому тяжелы были подобные вспышки, которые начались с первых месяцев семейной жизни, с чтения показанных невесте дневников, с Аксиньи, мывшей полы в графском доме. Возможно, не только настроением минуты, а скорее его не до конца укрощенной «дикостью» следует объяснить вдруг возникшее у него желание вернуться в армию, чтобы поучаствовать в польской кампании 1863 года. Соня была в ужасе и, разумеется, воспротивилась. Но ей и самой было знакомо искушение бросить все, освободиться от неизменного ритуала, когда нужно нянчить, есть, пить, спать, любить мужа и детей, и вот к одному этому сводится жизнь. Но она тут же принималась себя уверять, что, в сущности, только одно это она и может, что иного не хочет да и хотеть ей нечего.

На четвертом году совместной жизни ее прочность, основанная на верности одним и тем же нравственным установлениям, впервые подверглась серьезной проверке. Неподалеку от Ясной, в деревне Новая Колпна стоял пехотный полк, где произошло событие экстраординарное: писарь Василий Шабунин, которого ротный командир, застав пьяным, отправил в карцер, после чего предстояло наказание розгами, обозвал офицера поляцкой мордой и ударил его по лицу. Началось следствие, дело дошло до царя, распорядившегося судить Шабунина по всей строгости. Узнав об этом от одного из офицеров, Толстой решил, что не может остаться в стороне. Суд происходил неподалеку от графской усадьбы, в Ясенках, с участием командира полка и двух офицеров — один из них, брат видного журналиста, издателя «Вестника Европы» Стасюлевича, был Толстому известен еще по Кавказу. Этот Стасюлевич, сам только что произведенный в прапорщики — за служебную провинность, допущенную в Тифлисе, его разжаловали, — поддержал просьбу Толстого не применять к писарю высшую меру, приняв во внимание, что он в ту минуту не владел собой. Трибунал, однако, вынес смертный приговор, который вскоре привели в исполнение. Не помогло и ходатайство перед государем, которое было передано через посредничество Александрин.

Шабунина расстреляли, а его могилу сравняли с землей, чтобы

прекратились панихиды на месте казни. Очень много лет спустя Толстой говорил писавшему его биографию Бирюкову, что этот случай оказал на него «гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неудачи в литературе, даже потеря близких людей». Вся случившаяся история изложена и в напечатанной только фрагментами автобиографии Софьи Андреевны — причем с тем же самым ощущением ужаса перед самым ритуалом казни, которое Толстому было знакомо давно, по парижским воспоминаниям, относящимся к первой европейской поездке. В ту пору «надрезы» могли появляться по частным поводам, но если дело касалось существенных вопросов морали, никакого зазора между ними двумя не было.

Да и в частностях Софья Андреевна умела уступать, сглаживать расхождения, так чтобы в Ясной не убывала «какая-то поэтическая, покорная жизнь без тревог... с самыми святыми мыслями, с молитвами, тихой затоптанной любовью и постоянной мыслью о совершенствовании». Эпитет «затоптанная» в этой ее дневниковой записи от 14 сентября 1867 года выглядит чужеродным общей тональности, хотя он не случаен: в двадцать три года хотелось, наверное, чего-то большего, чем безвыездное деревенское сидение с детьми, которых к этому времени было уже трое — годом раньше родился Илья, и бесконечные хлопоты о благоустройстве. «Как дурно, что я молодость жила в таком уединении, — запишет она в дневнике почти через тридцать лет. — Вспоминаю, как всякое ничтожество, вроде переваренного или недоваренного кушанья, принимало большие размеры; как всякое горе было преувеличено; как все хорошее, не имея сравнений, проходило незаметно; как всякий гость имел особенный интерес; как однообразно, без просыпа, шли дни за днями, не пробуждая ни энергии, ни интереса к чему бы то ни было. Нет, я не создана была для уединения, и это подавило все мои душевные силы».

Но все равно в краткие отлучки мужа она со слезами на глазах писала ему о том, какое для нее счастье даже эти заботы о птичнике, о мериносах, которых он вздумал разводить, о барде для телят, о сухой пеленке, а Толстой отвечал: «Душа моя, я радуюсь твоим слезам, понимаю их очень, люблю их очень, очень. Только страшно, не примешивается ли к ним сожаленье, и не мог ли я сделать, чтоб не было этого сожаленья». Разлучаясь с нею, он всегда чувствовал какую-то особенную кротость, «размягчение», и старался быстрее покончить с делом, чтобы расставание оказалось недолгим.

Фет, в эти годы частый гость Ясной Поляны, писал Толстому: «Жена у

Вас идеальная, чего хотите прибавьте в этот идеал, сахару, уксусу, соли, горчицы, перцу, амбре — все только испортишь». Это не были дежурные комплименты. Фет вправду находил, что судьба подарила Льву Николаевичу замечательную спутницу. То же самое думали тогда едва ли не все, исключая студентов, уехавших, когда на время закончились педагогические эксперименты Толстого. Впоследствии многие начали о ней думать совсем по-иному, а потомки часто судили Софью Андреевну излишне строгим и оттого несправедливым судом, однако хотя бы одна заслуга останется за нею всегда: она знала, что главное дело Толстого — литература, а прочее лишь увлечения, которые будут меняться много раз. И для того, чтобы его главное дело было исполнено, ею было приложено так много усилий, что в этом отношении ни у кого не найдется повода предъявить ей малейший упрек.

Лабиринт сцеплений

25 февраля 1863 года Софья Андреевна пишет сестре: «Лева начал новый роман. Я так рада».

Роман (хотя сам Лев Николаевич никогда не считал эту книгу романом) будет завершен только шесть лет спустя. Замысел его менялся, постепенно уточняясь в ходе работы. Было несколько вариантов названия — «Три поры», «Тысяча восемьсот пятый год», «Все хорошо, что хорошо кончается». В конце концов книга получила название «Война и мир».

Такое же название дал своему философскому трактату Прудон, и любопытно, что его переведенное на русский язык сочинение, которое плохо расходило, в лавках предлагали приобрести вместе с томами первого издания книги Толстого. Герцен в русские книжные лавки тогда не допускался, но вот что должно было обратить на себя внимание образованной публики: в его сборнике «За пять лет», где опубликованы статьи 1855–1860 годов, есть специальный раздел обличительных памфлетов на злободневные политические темы, и этот раздел тоже носил название «Война и мир». А знатоки Пушкина могли припомнить слова Пимена из «Бориса Годунова», обращенные к Григорию: «Описывай, не мудрствуя лукаво, *Все то, чему свидетель в жизни будешь*: Войну и мир, управу государей».

Доказательств того, что название книги Толстого перекликается с кем-то из этих трех авторов, не существует, и в любом случае смысл понятий, вынесенных им на титульный лист, особенный, толстовский. Но и Прудон,

и Герцен, и, разумеется, Пушкин в той или иной степени обозначили свое присутствие на страницах «Войны и мира». Как, впрочем, и многие другие мыслители, литераторы, мемуаристы, историки, не говоря уже о современниках эпохи, воссозданной в главном произведении Толстого.

О том, что оно будет главным делом его писательской жизни, Толстой, приступая к повествованию, и не думал. У него даже не было вполне ясного представления, какая книга в итоге получится. Просто почувствовал, что пришло время для «свободной работы *de longue haleine*» — для протяженного рассказа, который пишется «на широком дыхании». Свояченице Лизе Берс, которую прочили ему в невесты, Толстой поведал об этом в письме еще осенью 1862 года, буквально через неделю после того, как привез в Ясную Поляну молодую жену. В ящике его письменного стола лежали прерванная на третьей главе рукопись «Декабристы» и совсем короткий набросок повести «Отъездное поле», относящийся к августу 1856 года. В повести этой некий петербургский чиновник наносит визит уединенно живущему у себя в имении старому вельможе, который прежде занимал высокие должности, а теперь слышать не хочет о государственной службе. В одном из трех вариантов начала повести читаем: «Это было еще до Тильзитского мира» — то есть зимой или весной 1807 года.

Когда, как отмечено в январском дневнике 1863 года, «сильное и спокойно-самоуверенное желание писать» сделалось неодолимым, когда выяснилось, что «эпический род мне становится один естественен», мысль Толстого устремилась к эпохе наполеоновских войн и восстания декабристов.

Видимо, первоначально он намеревался изобразить ее так, чтобы явственно ощущался контраст с современностью, «третьей порой», когда, после тридцати сибирских лет, герой «Декабристов» князь Лабазов возвращается в Москву. Предполагалась широкая картина центрального события — самого восстания — и реконструкция приведшей к этому событию «первой поры», 1812 года. Однако казалось, что эта реконструкция невозможна, если оставить за рамками рассказа то, что предшествовало вторжению Наполеона в Россию — две неудачные кампании, которые окончились разгромом русских сначала при Аустерлице, затем под Фридландом, свидание двух императоров в Тильзите и договор о союзе, воспринятый как национальное унижение. Исходная точка действия переместилась в 1805 год, и хроника, если бы Толстой следовал плану воссоздать «три поры», теперь охватывала бы больше полувека. В конечном счете она охватила только восемь — но каких! — лет.

Хроника, однако, все равно не получалась. Толстой вскоре понял, что

его цель совсем не в том, чтобы изобразить то время под знаком целостности и полноты исторического свидетельства. Когда определенно выяснилось, что действие начнется с 1805 года, он стал набрасывать авторское предуведомление, что «государственные люди» и события, которые ассоциируются с их именами, для него представляют только вторичный интерес. Намного важнее описать людей, не связанных с политикой и оттого более свободных для «выбора между добром и злом... изведавших все стороны человеческих мыслей, чувств и желаний». Этим людям их время постоянно предоставляло возможность «выбирать между рабством и свободой, между образованием и невежеством, между славой и неизвестностью, между властью и ничтожеством, между любовью и ненавистью». В эпоху тяжелых испытаний, какой стало для России начало XIX века, они жили, мыслили, страдали не как герои и не оставили следов на страницах летописи. Но напряжение выбора, встававшего перед ними всеми, сложность моральных исканий, отличавших этих людей, сделали их для Толстого персонажами более интересными и важными, чем Наполеон, или Александр, или Талейран, так и не появившийся на страницах его книги.

Люди эти — русское дворянство, русская аристократия той «первой поры», в которую — тогда Толстой чувствовал это необычайно остро — уходят и его собственные духовные корни.

«Я не мещанин, как смело говорил Пушкин, и смело говорю, что я аристократ и по рождению, и по привычке, и по положению. Я аристократ потому, что вспоминать предков — отцов, дедов, прадедов моих, мне не только не совестно, но особенно радостно. Я аристократ, потому что воспитан с детства в любви и уважении к высшим сословиям и в любви к изящному, выражающемуся не только в Гомере, Бахе и Рафаэле, но и во всех мелочах жизни. Я аристократ, потому что был так счастлив, что ни я, ни отец, ни дед мой не знали нужды и борьбы между совестью и нуждой, не имели необходимости никому никогда ни завидовать, ни кланяться, не знали потребности образовываться для денег и для положения в свете и т. п. испытаний, которым подвергаются люди в нужде. Я вижу, что это — большое счастье, и благодарю за него Бога, но ежели счастье это не принадлежит всем, то из этого я не вижу причины отречься от него и не пользоваться им». (Процитированный фрагмент Толстой исключил из окончательного варианта «Войны и мира».)

Возможно, именно в 1856 году, сделав наброски повести «Отъездное поле», у Толстого возник замысел большого романа об аристократии. А возможно, «Отъездное поле» всего лишь случайный эскиз, ведь после него

Толстой увлекся идеями совсем иного характера: опыты художественного постижения крестьянской жизни — «Идиллия», «Тихон и Маланья», — и наконец-то завершённые в 1862 году «Казак».

Как бы то ни было, именно в наброске повести «Отъезжее поле» Толстой наметил, по меньшей мере одну, сюжетную линию, которая впоследствии войдет в роман «Война и мир»: князь Василий Иларионыч, отказавшись от карьеры, решил «похоронить» себя в деревне и с неудовольствием принимает чиновника, приехавшего из Петербурга. А в первой части «Войны и мира» на сцене появляется генерал-аншеф, князь Николай Андреевич Болконский, удаленный из столиц при Павле I. В новое царствование он получил приглашение вернуться на государственную службу, однако из принципа продолжает безвыездно жить у себя в Лысых Горах, поскольку «ему ничего и никого не нужно».

Существен сам факт, что для Толстого был важен мотив осознанного неучастия в политических делах. Князь Василий Курагин, привезший в Лысые Горы сына Анатоля, чтобы женить его на богатой наследнице, княжне Марье, пытается развлекать старика Николая Андреевича Болконского новостями из Потсдама, где русские дипломаты добивались от Пруссии более энергичных действий против Бонапарта. Анатолий, не так давно вернувшийся из Парижа, куда был послан на воспитание, готов часами рассказывать о городе, где вершатся судьбы мира. Но для старого князя важен только один вопрос: действительно ли настал момент, когда дочь покинет его. Курагин для него пустой «болтунишка», не больше, а о службе Анатоля, даже не знающего, к какому полку он приписан, старый князь отзывается с презрительным смехом. «Нынче все другое, все по-новому». Настолько по-новому, что для старого Болконского неприемлем весь этот порядок жизни, не ценящий тех двух добродетелей — «деятельность и ум», — которые он признает единственно бесспорными.

Деятельность он понимает совсем не так, как князь Василий Курагин, чувствующий себя как рыба в воде, когда на светских раутах заводят «равномерную, приличную разговорную машину». И ум, в представлении Николая Андреевича, должен проявляться совсем иначе, чем в политических начинаниях, которыми, познакомившись с реформатором Сперанским, будет одно время увлечен — а затем безнадежно разочарован — князь Андрей. Для Болконских, и отца, и сына, деятельность, ум должны быть подчинены не «внешним событиям мира», которыми Пьер так старался увлечь своего старшего друга, когда, уже после Аустерлица, после пережитого князем Андреем духовного перелома, они увиделись в Богучарове. Не разделяя увлеченности Пьера либеральными идеями, князь

Андрей доказывал тогда, что все эти события значат очень мало, а вероятно, равным счетом ничего не значат перед лицом другого и высшего — «человеческого достоинства, спокойствия совести, чистоты».

Можно не сомневаться, что в этом споре двух главных героев «Войны и мира» Андрей Болконский озвучивает мысли самого автора. К тому моменту, когда Толстой писал сцену их встречи в Богучарове и разговора на пароме, он уже давно оставил общую концепцию, выраженную названием «Три поры», и сосредоточился на эпохе наполеоновских войн, однако об исторических иллюстрациях не шло и речи. Напротив, безразличие, с которым князь Андрей относится к «внешним событиям», особенно после Петербурга, где он был членом важной комиссии военных уставов, едва ли характеризует умонастроение русской аристократии в первые годы александровского правления. Однако оно свидетельствует о настроениях самого Толстого, когда он приступал к «Войне и миру».

Некоторые интерпретаторы этого романа утверждали, что в действительности Толстой создал произведение не об истории, а о современности. Это сильное преувеличение, но все-таки не совсем домысел. Сам Толстой назвал свою книгу «картиной нравов, построенных на историческом событии», то есть признавал, что описанные им «нравы» принадлежат определенной эпохе. Однако археологом в литературе он, в отличие, например, от высоко им ценимого английского романиста Теккерея, все-таки себя не ощущал. Ему бы и в голову не пришло выдавать свою книгу за свидетельство непосредственного участника событий, следуя примеру Теккерея, который в своей «Истории Генри Эсмонда», написанной через сто пятьдесят лет после царствования королевы Анны, строит рассказ как воспоминания очевидца. А для этого старательно стилизует манеры и речь персонажей, стремясь создать иллюзию, будто перед читателем недавно найденные мемуары, да к тому же печатает свой роман давно вышедшим из употребления шрифтом на старинной бумаге, с трудом им отысканной у каких-то лондонских негоциантов.

Толстой избегал параллелей с современностью, а если они все-таки обнаруживались, то не превращали книгу в завуалированный отклик на актуальные общественные вопросы. Не потому, что оставался к этим вопросам равнодушным. Он был далек от приверженцев «чистой поэзии»; Фет, лучший из них, не зря называл Толстого *Menschenverbesserer* — исправителем рода человеческого, деятелем «и по природе, и по положению». Однако увлечение новой педагогикой у Толстого прошло, а после опыта посредничества в первый год после реформы он остыл и к практическим начинаниям либерального толка. Все это, по его тогдашнему

убеждению, не должно было затрагивать область искусства.

Летом 1865 года, когда работа над «Войной и миром» шла полным ходом, Толстому прислал два своих романа Петр Боборыкин. Он тогда был редактором «Библиотеки для чтения», где Толстой когда-то печатался у Дружинина, и истинная цель Боборыкина состояла в том, чтобы заинтересовать Толстого своим журналом. Из этих стараний ничего не вышло: Толстой был связан обязательствами перед «Русским вестником», а журнал, в котором художественный раздел занимали, главным образом, сочинения плодовитого Боборыкина, ему не понравился прежде всего тем, что это была беллетристика, поглощенная «вопросами»: земством, женской эмансипацией и прочими материями, которые почитались очень важными в петербургской литературной среде.

Для искусства, утверждал Толстой в ответном письме Боборыкину, эти «вопросы» не только не занимательны, но их просто не существует. И вот почему: «Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и любить жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы».

Он верил, что написанное им на этот раз останется в литературе надолго, может быть, навсегда. А чтобы это произошло, следовало оставить в стороне волнующие современные проблемы, о которых завтра и не вспомнят, потому что явятся другие, и пойти дальше реконструкции минувшего с достижимой, по его силам и знаниям, точностью, поскольку точность все равно окажется относительной. Даже если она будет безукоризненной, как у Теккерея, это не решит основной задачи: сделать так, чтобы на страницах его книги была сама жизнь, заставляющая плакать, и смеяться, и любить ее безмерно.

Замысел требовал не историзма и не злободневности, а вторжения в мир вечных вопросов человеческого бытия. Когда, по прошествии трех лет работы, это окончательно прояснилось для Толстого, идея декабристской хроники с необходимым прологом и завершением после Сибири — «три поры» — была предана забвению. Повествование, доведенное до 1812 года, потекло не по тому руслу, которое вначале для него предполагалось.

Жанр этого повествования долгое время был не вполне ясен самому автору, а критики, которые активно отзывались и на публикацию первых частей «Войны и мира» в «Русском вестнике», и на полное издание, появившееся в 1868–1869 годах, и вовсе его не поняли, что привело ко многим недоразумениям. Писали, что читателю предложена «попытка воен-но-аристократической хроники прошедшего, местами занимательная, местами сухая и скучная». Писарев заявил, что это «образцовое произведение по части патологии русского общества», галерея уродливых типов «старого барства», для которого закрыт «мир мысли», так что все его интересы ограничиваются карьерными успехами, выгодными браками и раболепством перед властью. Правда, Пьер, князь Андрей и Наташа признавались более сложными характерами, но о них апологет «мыслящего пролетариата», увлекшись обличениями прихлебателя Бориса Друбецкого и тупицы Николая Ростова, не написал ничего. За него это сделал знакомец Толстого еще по Казанскому университету Берви-Флеровский, который утверждал, что во всем романе нет ни одной сколько-нибудь интересной фигуры — одна лишь бьющая в глаза «умственная окаменелость» да еще и «нравственное безобразие».

От нигилистов-шестидесятников трудно было ожидать иной реакции, однако и спорившие с ними ревнители «чистой поэзии», считавшие «Войну и мир» шедевром, явно терялись, когда надо было определить, что же это произведение собою представляет. Анненков сетовал в статье, что сложно обнаружить «узел романической интриги» и установить, кто же главный герой. Прочитав эту статью, Тургенев написал ее автору, что у Толстого, при всех очевидных достоинствах «романической» части, часть «историческая» смехотворна: какая-то «кукольная комедия и шарлатанство». Кому интересны смех Сперанского или носок сапога Александра, если об этих лицах ничего больше, в сущности, не сказано? Да и характеры статичны, а чувства убоги — вибрации одной и той же ноты, выдаваемые за полноту душевной жизни.

Другому адресату Тургенев писал о «детской философии» Толстого и о том, что упущен столь важный для той эпохи «декабристский элемент». Он с недоумением спрашивал, отчего в этой книге все хорошие женщины оказываются самками да к тому же дурами, а «все порядочные люди тоже какие-то чурбаны — с малой толикой юродства». Вряд ли его суждения основаны на воспоминаниях о безнадежно испорченных собственных личных отношениях — Тургенев был слишком художник, чтобы позволить себе необъективность оценки по соображениям, не касающимся литературы. Просто он судил о «Войне и мире» по своим критериям

психологически достоверного романа, в котором должен быть правдиво воссоздан строй понятий и мир отношений в изображаемое время. А эти критерии были неприложимы к книге Толстого не только в силу его писательской индивидуальности, но и по характеру жанра, понадобившегося для решения главных творческих задач.

Десять лет спустя появился французский перевод «Войны и мира», сделанный княгиней Воронцовой-Дашковой. Тургенев принес эти тома Флоберу, прежде никогда Толстого не читавшему. И все повторилось: Флобер испытывал восторг, пока перед ним был «художник» и «психолог», но решительно отверг «философа», да еще приверженного идеям, не представляющим интереса ни для кого, кроме русских. Пространные исторические отступления, мысли о границах свободы и необходимости, об истинных и иллюзорных ценностях жизни — все это неприемлемо для Флобера с его требованиями абсолютно объективного повествования.

Толстой и сам чувствовал, что его книга далеко отклоняется от норм романа — исторического ли, психологического, социального или любого другого. После выхода четвертого тома (в первом издании было шесть; четырехтомная книга стала только в 1873 году, когда печаталось собрание сочинений Толстого) в «Русском вестнике» появилась статья Толстого, в которой он попытался «изложить взгляд на свое произведение». Эти «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“» вовсе не сняли вопросов недоумевающей критики, однако они важны заявленным в них «пренебрежением автора к условным формам прозаического художественного произведения». Умышленности в таком пренебрежении не было, просто ни роман, ни поэма, ни историческая хроника не подходили к тому, что Толстой «хотел и мог выразить». Слово «эпопея» у Толстого отсутствует. Но именно оно со временем станет самым употребительным, когда будут говорить о «Войне и мире». Более точного, наверное, не отыщется. В одном из черновиков эпилога говорится, что автор ставил перед собой задачу «писать историю народа». О том, что «мысль народная» была для него главной, Толстой, годы спустя, говорил в связи с «Войной и миром» Софье Андреевне, и она записала этот разговор в дневнике. Записала и важное уточнение: эту мысль Толстой «любил... вследствие войны 12-го года». Но этой войне посвящены третий и четвертый тома, а не все произведение. И если понятие «эпопея» соотносить с «историей народа», вообще с изображением исторического процесса, применение этого понятия ко всем четырем томам «Войны и мира» окажется не самоочевидным. Можно понять, почему Толстой, говоря о своей главной книге, никогда не использовал это слово.

Его мучило, что произведение оказалось слишком необычным, неканоническим по композиции, и он пробовал приблизить его к более традиционной форме романа. Соглашался с Фетом, который по прочтении первого тома написал Толстому, что характеры, особенно князь Андрей, выглядят односторонне, поскольку почти не развиваются. Причину этого Толстой видел в том, что слишком увлекся, «занялся исторической стороной» картины. При переизданиях он попробовал убрать из основного текста почти все исторические комментарии и философские отступления, поместив их в эпилог, но тогда, оторвавшись от «истории народа», начинали мельчать персонажи. В конечном счете образовалось два эпилога: первый, перенося вперед на семь лет действия, прошедшие после освобождения Москвы, рассказывал, как устроилась судьба четырех из основных героев «Войны и мира» (и контуром намечал последующие их испытания, напоминая об исходном замысле декабристской хроники), второй представлял собой философский трактат о свободе и необходимости в истории и только опосредованно был связан с главными событиями повествования.

Для эпопеи подобное построение очень специфично, и, строго говоря, считать «Войну и мир» эпопеей все-таки нельзя. Это, если присмотреться, и не «история народа», поскольку народ — не простонародье, а русское общество вне пределов аристократического и армейского круга — начинает играть в книге Толстого действительно существенную роль лишь в последнем томе, с тех эпизодов, когда воссоздается атмосфера национального воодушевления перед угрозой самому существованию России, а затем описываются мытарства Пьера, в колонне пленных отступающего с французской армией из сожженной Москвы. В любом случае, это не история первых годов царствования Александра, и в черновиках Толстой сам указывал, что получается не хроника, а воспоминание, потому что он «пишет время... которого запах и цвет еще слышны нам», время, сближенное цепочкой неостывших ассоциаций с тем, когда создается «Война и мир». И конечно, это больше чем история нескольких ярких людей, между которыми складываются сложные, драматические отношения и существует атмосфера духовного родства, потому что все они принадлежат русской аристократической культуре с ее императивами моральной правды и поиском ответов на самые существенные вопросы бытия.

Книга «Война и мир» стала литературным свершением исключительной важности, потому что она представляла собой органичный сплав лирического и философского повествования, развернутого на фоне

исторических событий, имевших громадное значение для национальной судьбы и для всего человечества. Впоследствии было много попыток повторить это свершение, но, за исключением, может быть, «Тихого Дона» в первой редакции, еще не испорченной тенденциозными идеологическими поправками, не удалась ни одна. Понятно, ни Алексею Толстому в «Хождении по мукам», ни горячему толстовскому почитателю Ромену Роллану в «Жане Кристофе», ни Мартену дю Гару в «Семье Тибо» не удалось достичь таких же вершин. Все они исходили из определенной мысли, которая, как им казалось, объясняет ход событий в изображаемое время, и жестко привязывали судьбы героев к движению истории, постигнутому при свете этой главной, всеохватной мысли. А у Толстого подобная концептуальность на грани доктринерства исключена. Более того, вообще исключено преобладание какой-то главенствующей мысли, так что не в силу забывчивости, но вполне осознанно мысль «народная», которую он любил в «Войне и мире», отнесена им к 1812 году, а не ко всей книге.

Если же говорить о «Войне и мире» как целом, то как раз к этой книге, даже больше, чем к «Анне Карениной», работа над которой подсказала Толстому эту формулировку своего творческого кредо, следует отнести его идею прозы как «собрания мыслей, сцепленных между собой», и так прочно, что ни одна из них не может быть обособлена, ибо это сцепление не умозрительное, а другое — посредством образов, действий, положений. В «бесконечном лабиринте сцеплений» Толстой и находил сущность искусства, подчиняющегося лишь законам, по которым создается подобный лабиринт, а вовсе не диктату идеи, подавляющей творческое воображение. Не проповеди. Не той плоско понятой достоверности, когда все должно быть узнаваемо, словно, позабыв про свой магический кристалл, художник просто запечатлел всем известное.

«Война и мир» обнаружила такую неожиданность и такую прочность сцеплений, что этот опыт остался уникальным во всей мировой литературе.

*

Толстой долго искал художественный ход, который позволил бы воплотить и его масштабный замысел, и его понимание природы повествования. Было пятнадцать вариантов первой сцены «Войны и мира». Каждый из них намечал новые возможности развития всего сюжета, а значит, и новое соотношение важнейших тем книги.

Идея хроники трех эпох, доведенной до возвращения декабристов из

Сибири, была окончательно оставлена к весне 1864 года, и тогда же завязка действия передвинулась от 1812 года к 1805-му. Определился стержень рассказа: история двух аристократических семейств, Болконских и Ростовых, и тесно с нею связанная история молодого человека, незаконного сына екатерининского вельможи, наследника его громадного состояния — этот герой звался Петр Мосальский, затем Криницын, Куракин, Каракин, Медынский, пока наконец не стал Пьером Безуховым, персонажем, в котором больше всего от самого Толстого. Главные географические координаты тоже определились — действие должно было происходить главным образом в двух столицах и в имении Болконских Лысье Горы, очень похожем на Ясную Поляну.

Выбор изображаемого времени означал неизбежное соотнесение частной истории всех этих людей с событиями огромной важности, определявшими весь политический ландшафт Европы и пути России. Предстояло воссоздать и атмосферу, царившую тогда в русском обществе, тогдашние общественные и интеллектуальные интересы. Толстой приобретает комплект самого значительного русского журнала «Вестник Европы» за 1803–1804 годы, а также «Дневник студента», записки Степана Жихарева, семнадцатилетнего студента Московского университета в 1805 году и юного чиновника петербургской Коллегии иностранных дел в 1806-м, лучшую мемуарную книгу о том времени.

По тому, что Толстой читал и какие книги приобретал в ту пору, можно проследить, как шаг за шагом выстраивалась общая схема «Войны и мира». Библиограф, историк и пушкинист Павел Бартенев, который, по поручению Толстого, хранил корректуру первого издания и поэтому лучше других знал, как создавалась «Война и мир», утверждает, что в действительности «Толстой вовсе не изучал историю великой эпохи», как подобало бы романисту, принявшемуся описывать прошлое, да еще настолько насыщенное событиями. Воображению, по словам Бартенева, Толстой доверял куда больше, чем архивным материалам, но тем существеннее, что какие-то материалы он все-таки счел для себя необходимыми. Эти материалы накапливаются по мере того, как возникают новые линии сюжета и соответственно меняется роль — или судьба — уже введенных в повествование действующих лиц. Например, князь Андрей поначалу был всего лишь эпизодическим персонажем. Но Толстой не мог не подчиниться внутренней логике, которая вела его по лабиринту сцеплений, а постепенно расширяющийся список понадобившихся материалов и книг показывает, как в этом лабиринте появлялись все новые и новые ответвления, соединяясь одно с другим посредством сближений или конфликтов

основных героев, принадлежащих одной эпохе, в той или иной степени вовлеченных в разыгрывающуюся с их участием историческую драму.

Вот яснополянская библиотека пополняется книгами, изданными масонской типографией Лопухина, — «О заблуждении и истине», «Духовный путеводитель... к совершенному созерцанию и ко внутреннему миру», «Род и способ хождения с Богом», «Влияние истинного свободного каменщичества во всеобщее благо государств». К этому моменту история Пьера подошла к той черте, когда, после ужасной ошибки, какой оказался его брак, после дуэли с Долоховым и разрыва с Элен, героя преследует чувство, что *«свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь»*; Пьер мучительно ищет и не находит ответы на вопросы, которые слишком сложны, чтобы ответы получились ясными и бесспорными: «Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?» Случайная встреча на почтовой станции в Торжке со стариком-масоном Баздеевым кажется Пьеру спасением от тяжких и бесплодных усилий найти непререкаемую нравственную истину, которая покончит с преследующим его ощущением «опущенности и безнадежности». Теперь эту истину предлагают готовой, убеждая, будто и вправду есть некий «путеводитель», которому надлежит неуклонно следовать — исполнять ритуалы, освобождая в себе внутреннего человека, приближаться к мудрости, очищая себя. И тогда пройдет вся горечь неудовлетворенности, минует невыносимое сознание тупика, не будет больше нужды в очень слабом утешении, что так или иначе, а смерть положит конец всем страданиям.

Масонство оказалось для Толстого необходимой темой не потому, что без нее неполной была бы характеристика эпохи. Оно было необходимо как фазис душевного развития персонажа, которому отданы многие сомнения, искания, просветления, пережитые в молодости самим Толстым, знавшим, что такие же минуты недовольства собой, такие же срывы и взлеты, иллюзии, ложные верования, разочарования и новые поиски суждены каждому, для кого умиротворенность недостижима, пока не исправлен «главный винт» или, по меньшей мере, не сделано все, чтобы этот винт встал на свое место. Логика движения характера, вобравшего в себя лучшие черты человека русской аристократической культуры, повелевала, чтобы Пьер, подавляя скепсис при виде своих давних светских знакомых, которые облачились в фартуки каменщиков и в торжественном молчании сидят у алтаря, украшенного евангелием и черепом, со всей серьезностью отнесся к масонскому обряду посвящения, когда принимаемого вводят в ложу с завязанными глазами по комнатам хорошо ему известного

петербургского особняка, заставляют бросаться на шпаги, чтобы защитить какого-то человека в окровавленной белой рубашке, а потом вручают особенные перчатки, не предназначенные для рук нечистых.

Пьер вскоре убеждается, что все разговоры о добродетели, высшей мудрости, отказе от распутной жизни и бескорыстной помощи страждущим братьям остаются в масонской среде только разговорами, а сам он интересуется ложу главным образом по одной причине — от него следует ожидать богатых пожертвований. Тем не менее это нисколько не колеблет его энтузиазма благотворителя и реформатора, делающего одну глупость за другой, но с поистине святой верой, что наконец-то найдено достойное приложение его высоким и чистым душевным порывам, а стало быть, не вернется ощущение бесцельности своего существования, которое ему невыносимо. Он должен пройти и по этому тупиковому пути, как прежде он прошел через поклонение великой личности — Бонапарту. Через отвратительную ему самому жизнь высшего света, когда он напрасно пытался заглушить нравственное чувство кутежами в обществе Долохова и Анатоля. Через период душевной апатии и безразличия. Через резкий перелом, наступивший в тот морозный вечер, когда над Москвой стояла светлая комета и, рассматривая ее со слезами на глазах, Пьер с радостью думал о своей ободренной, расцветающей к новой жизни душе, потому что весь мир заполнился для него скрываемой им ото всех и, как ему тогда казалось, безнадежной любовью к Наташе.

Доминанта его личности — духовный и нравственный максимализм, глубина и абсолютная искренность переживания, никогда, ни в чем не допускающего фальшивой ноты, безупречная честность перед другими и особенно перед самим собой. Его характер настолько сложен, что, конечно, не приходится говорить о некоем типе, порожденном изображаемой эпохой и помогающем понять эту эпоху, но, по законам, которые выстраивают толстовский лабиринт сцеплений, герой должен соотноситься со своим временем, отзываясь и на события, определявшие тогда весь ход русской да и европейской жизни, и на тогдашние интеллектуальные или общественные веяния. Пьер никак не герой эпохи, если под этим определением подразумевается его историческая типичность. Житейски беспомощный, вечно оказывающийся жертвой реалистически и цинично мыслящих людей, в мире духовном и нравственном он поднимается на такую высоту, что невозможно судить об этих устремлениях, оставаясь в границах социального или интеллектуального контекста того периода русской истории. И все-таки пульс времени постоянно чувствуется в его крови. После Толстого такое понимание историзма станет для литературы

органичным.

Собрание писем Сперанского к П. Г. Масальскому, относящихся к 1798–1819 годам, и книга барона М. Корфа о самом известном русском реформаторе эпохи Александра I сделаются основными источниками, когда Толстой начнет описывать службу князя Андрея в комиссии воинских уставов, в которую Аракчеев определил его «без жалованья, членом». И несколькими штрихами обрисованный Аракчеев, и более подробно описанный Сперанский, разумеется, должны были присутствовать в любом романе, притязавшем создать относительно полную картину Александровского царствования. Аракчеевские «нахмуренные брови над каре-зелеными тупыми глазами» или «необыкновенно пухлые, нежные и белые руки» Сперанского вкупе с его «твердым и вместе мягким взглядом полузакрытых и несколько влажных глаз» — ставшие хрестоматийными примеры толстовского умения одной деталью сказать обо всем главном в изображаемом человеке. Такими подробностями часто восхищаются, забывая при этом, зачем они понадобились Толстому. Меж тем он их вводил вовсе не для того, чтобы достичь полноты и выразительности исторического портрета. В художественной вселенной Толстого персонаж всегда предстает не как олицетворение тех или других тенденций и поветрий, не как вещающий манекен, а живым человеком со своими уникальными особенностями. Когда выяснилось, что траектория жизни князя Андрея должна прийти в соприкосновение с кругом высших петербургских сановников, эти сановники предстали не только в своем чиновном, но и в человеческом облике. Но роль таких персонажей, собственно, только дополнительная, потому что и сами они, и весь представляемый ими мир государственной жизни существенны для Толстого главным образом в той степени, в какой знакомство с этим миром корректирует маршрут судьбы Болконского и обнаруживает новые грани его личности.

Петербургский эпизод в биографии князя Андрея был бы ненужен без пробуждения, которое случилось с ним после поездки к Ростовым в их Отрадное, и неподвижно-светлой ночи, когда он невольно подслушал, как девушка в комнате наверху, усевшись на подоконник, мечтала подхватить себя под коленки и полететь — к почти беззвездному небу, над кудрявыми деревьями с их серебристыми листьями. Минуло четыре года с того вечера, когда в гостиную Анны Павловны Шерер, заполненную разговорами о герцоге Энгиенском, безвинно павшем от рук врага рода человеческого, как тогда в России именовали Бонапарта, вошел молодой человек со скучающим лицом и объявил, что едет на войну адъютантом

главнокомандующего Кутузова. Давно остались в прошлом его тайные мечтания про собственный Тулон, про назначенную ему героическую участь, такую же, как жребий Бонапарта, который молодым офицером повел колонну на штурм неприступной крепости, получил ранение и снискал себе нетленную славу, сделавшую безвестного артиллерийского капитана властелином Европы. Уже нет среди живых маленькой княгини, умершей родами, и нет причины томиться своим семейным счастьем, которое внушало князю Андрею только одну мысль: «Эта жизнь — не по мне». Аустерлиц, кажется, навсегда погасил то «чувство удесятеренной радости жизни», которое у князя Андрея вспыхивало при одной мысли, что и вокруг него весело засвистят пули, когда он впереди всех бросится на цепь французских мушкетеров и спасет попавшую в безнадёжное положение армию, открыв себе путь к бессмертию.

Пьер, который в имении своего друга Богучарово восторженно рассказывает о благотворительных начинаниях и об осознании своего истинного назначения, обретенного в масонстве, рассуждая о любви к ближним и общественном благе, наталкивается только на скепсис и иронию Болконского. Кажется, решение жить для одного себя принято князем Андреем окончательно и бесповоротно. Он поклялся никогда не служить в русской армии, даже если Наполеон подойдет со своим войском к Смоленску и будет угрожать его родовому поместью, и держаться в стороне от всего, что лежит за пределами его частного существования. Станным выглядит даже предположение, что всего несколько месяцев спустя все станет совсем по-иному и князь Андрей вдруг поверит в «возможность приносить пользу и в возможность счастья и любви». Но случится это, причем случится совершенно естественно, в результате совокупного действия самых разных причин, которые, неочевидно соединяясь одна с другой, образуют органичное сцепление.

Здесь очень сложная и вместе с тем лишенная всякой искусственности гамма. Ее первым звуком станет ночной разговор Наташи и Сони в Отрадном. Тогда князя Андрея, боявшегося выдать свое присутствие, больно царапнуло, что это юное ощущение счастья жизни настолько ему недоступно, точно его и не было на свете. Возникнет мелодия, которая будет пробиваться через поднявшуюся в его душе «неожиданную путаницу молодых мыслей и надежд». Она звучит громче при виде угрюмого дуба, который вдруг ожил, «раскинувшись шатром сочной, темной зелени». Энергия преобразований, совершаемых вчерашним скромным семинаристом, а ныне доверенным лицом императора, как будто решившегося пойти навстречу либеральным чаяниям общества,

естественно дополнит эту изящно инструментованную музыкальную поэму, где главная тема — беспричинно охватывающее князя Андрея «весеннее чувство радости и обновления». А кульминацией станет, конечно, не тот проект нового воинского устава, в который камергер и полковник Болконский напрасно вложил так много знаний и ума. Кульминация — это бал в сочельник на Английской набережной, лицо Наташи, вино ее прелести, ее робкая грация и совсем неожиданное для самого князя Андрея решение: «Она будет моей женой».

Сперанский, который поначалу казался идеалом разумного и добродетельного человека, исчезает из повествования почти незаметно. Очаровав князя Андрея и своими расплывчатыми, но очень благородными замыслами, и едва скрываемым презрением к Аракчееву, и даром тонко льстить собеседнику, отныне не вызывает у героя Толстого иных чувств, кроме недоумения: каким образом он поддался этим чарам, растратив столько сил на совершенно праздную деятельность. Однако, заняв во втором томе всего несколько страниц, Сперанский все-таки не остался только эпизодическим лицом. Он показан без большой симпатии, хотя в общем и без того откровенного недоброжелательства, которое Толстой не мог не почувствовать, читая биографию, составленную бароном Корфом, видевшим в Сперанском прежде всего, если не исключительно, политическую фигуру, причем неприемлемую. Но для «Войны и мира» не так уж важны объективные последствия его нововведений. Важно другое: Сперанский целиком принадлежит сфере государственной деятельности, вне которой он себя не мыслит и которая целиком его себе подчинила. Не касаясь интриг, сопровождавших и возвышение, и падение этого незаурядного политика, не оценивая причин и результатов незавершенных Сперанским реформ, Толстой подходит к нему как к человеку, который всем своим существом уверовал, что он, как сказано в одном из черновиков, «гражданский Наполеон», и растворился в собственных наполеоновских замыслах, словно именно такие замыслы составляют цель и оправдание жизни. Толстому, как, после недолгого увлечения, и князю Андрею, Сперанский чужд не из-за его политической позиции, а из-за его человеческой сущности. Вот почему, оставаясь вполне нейтральным, когда дело касается государственных начинаний Сперанского, Толстой дал ему практически такую же оценку, какую дал декабрист Николай Тургенев в знаменитой, запрещенной на родине книге «О России и русских»: «Человек, неспособный вдохнуть живую душу в свои предприятия, потому что он сам был лишен души».

Удостовериться в этом князю Андрею особенно неприятно, и он с

досадой вспоминает заседания, где старательно обходили все, что касалось сущности дела, свою озабоченность точностью перевода статей римского свода, свой проект, так и не представленный государю, и самого Сперанского с его «аккуратным, невеселым смехом». Досадует он из-за того, что решение ехать в Петербург, чтобы вернуться на службу, было не столько итогом логических выкладок, сколько душевным порывом, испытанным той лунной ночью у Ростовых в Отрадном. Прежде чем это решение было принято, князь Андрей, еще недавно вознамеривавшийся просто доживать свою жизнь, не мешая другим, должен был вновь, но уже под другим углом зрения взглянуть на те философские проблемы, которые были предметом их откровенного разговора с Пьером на богучаровской переправе.

Пьер тогда говорил, что на этой земле все действительно ложь и зло, «но в мире, во всем мире есть царство правды», говорил, «что я составляю часть этого огромного, гармоничного целого... что я в этом бесчисленном количестве существ, в которых проявляется божество, — высшая сила... что я составляю одно звено, одну ступень от низших существ к высшим». А если это так, то высшее счастье человека в том, чтобы стремиться к истине, к добродетели, к Богу, и для этого «надо жить, надо любить, надо верить». А князь Андрей, стараясь сохранить скепсис и делая уточнения в том роде, что это учение Гердера, и его можно, как всякое другое учение, принимать или оспаривать, впервые почувствовал тогда, на пароме: вот опять — впервые после стольких лет — над ним высокое, вечное небо, которое он видел, умирая на поле Аустерлица. «И что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе».

Небо Аустерлица — одна из самых важных метафор «Войны и мира». Оно являет собою контраст тому «солнцу Аустерлица», о котором говорит перед Бородинской битвой Наполеон, указывая на позиции русских. Оно становится неким высшим измерением всего, что — где бы то ни было и с кем бы то ни было — происходит под реальным небом, где бушуют человеческие страсти и решаются человеческие судьбы. Не замечая, как мародеры снимают, а потом, напуганные приближением императора, опять на него надевают золотой образок княжны Марьи, не чувствуя, как его кладут на носилки и куда-то несут, князь Андрей, получивший в битве при Аустерлице рану, которая должна была оборвать его жизнь, думает об одном: «Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятого, но важнее!» Когда небо Аустерлица снова показалось из-за облаков, так долго, по возвращении с

первой войны, закрывавших его духовный горизонт, это было еще не пробуждение (оно впереди), а возвращение к миру вечных неразгаданных смыслов бытия.

Болконский, как и Безухов, вовсе не представитель поколения, пережившего 1812 год. Это герой, принадлежащий не истории, а миру этих смыслов, по Толстому, остающихся важнейшими во все времена. Но и в его крови, как в крови Пьера, бьется пульс времени. Оно напоминает о себе не только бонапартизмом, почти неизбежным в ту пору для русских молодых людей этого круга, плененных мечтой о своей героической роли в истории, которая их усилиями переменится необратимо, напоминает не только скепсисом и холодом души, когда эти иллюзии рушатся. Время должно было, вопреки всем их стараниям смотреть на вещи трезво, привить им увлечение либеральными идеями, которыми ознаменовалось, говоря пушкинскими словами, «дней Александровых прекрасное начало», точно так же, как оно должно было в них разбудить глубокий и непатетический патриотизм, когда нашествие Наполеона поставило на карту будущее России.

Вся социальная психология и строй понятий героя проникнуты, хотя это не всегда очевидно, духом времени, на которое пришлась его жизнь, но сам он, если ему, пусть только на мгновение, открылось небо Аустерлица, не исчерпан этим временем и даже ему не подчинен. Тонкость и органика сцеплений — война и мир, мир политический и мир домашний, частная, индивидуальная судьба и национальная жизнь — вот в чем заключался метод Толстого, писавшего свою главную книгу. Князь Андрей должен был испытать себя на поприще государственной деятельности — и, конечно, его покинуть, упрекнув себя за легковерие, — точно так же, как ему необходимо было оказаться в центре событий при Аустерлице, а затем при Бородине. И все это для него только приближение — прямыми или окольными путями — к «непонятному, но важнейшему», куда устремлены его мысль и душа.

*

Искать материалы Толстому активно помогали старик Берс и старшая его дочь Елизавета, теперь свояченица писателя. С их помощью была получена большая связка писем Марьи Аполлоновны Волковой, фрейлины императрицы Марии Федоровны. Письма относятся к 1812 и 1813 годам и адресованы графине Варваре Ланской, урожденной Одоевской. Обе дамы

отличались многообразием интеллектуальных интересов, у обеих был обширный круг не только светских, но литературных знакомств: Волкова дружила с Вяземским и впоследствии хорошо знала Пушкина. Ланскую писатель Владимир Одоевский называл своим ангелом-хранителем. Девятнадцатилетняя Мария Волкова описывает приятельнице московскую атмосферу первых дней войны, приближение катастрофы, накал патриотических настроений, которыми захвачена и она сама. Продолжающаяся в Петербурге обычная светская жизнь, о которой ей пишет Ланская, вызывает у Волковой недоумение и даже негодование: «Как можете вы посещать театр, когда Россия в трауре, горе, развалинах и находилась на шаг от гибели?»

Князь Вяземский, человек не военный, «возымел дерзкую отвагу участвовать в качестве зрителя в Бородинском сражении. Под ним убили двух лошадей, а сам он не раз рисковал быть убитым... Не слыхав никогда пистолетного выстрела, он затесался в такое адское дело». Важный для Толстого факт. Ведь у него Бородино будет описано во многом так, как его увидел и пережил такой же далекий от военного мира человек, Пьер, который, очутившись на батарее Раевского, «никак не думал, что это окопанное небольшими канавами место... было самое важное место в сражении», и поражает солдат своей нелепой фигурой в белой шляпе. Решение Пьера ехать к армии и его план, оставшись в сдаваемой врагу столице, убить Наполеона, который всего несколько лет назад был, в его глазах, великим человеком, образцом для подражания, показано как спонтанное, но совершенно естественное в московской атмосфере лета 1812 года. Из писем Волковой понятно, что такой же естественной была «дерзкая отвага» Вяземского, в ту пору скептического поэта, вольнодумца, воспитанного на европейской, главным образом французской культуре.

Ланская упрекает свою корреспондентку в «ненависти к Петербургу». И в общем не без причины. Волкова, подобно Ростовым пережившая московский исход после Бородина, пишет ей в ноябре 1812 года из Тамбова: «Эти два города слишком различны по чувствам, по уму, по преданности общему благу для того, чтобы сносить друг друга... все мы русские, за исключением Петербурга». В третьем томе «Войны и мира», отданном изображению победоносной пока кампании Наполеона, петербургские сцены занимают совсем небольшое место и особенно резко контрастируют с картинами отступления, горящего Смоленска, Бородина, где нашествие получило «в своем разбеге смертельную рану», огненного смерча на московских улицах. Свершается историческое событие, «которое навсегда останется лучшей славой русского народа», а петербургские

салоны поглощены пересудами по поводу назначения главнокомандующим Кутузова, хотя государь его не выносит еще со времен Аустерлица, и еще больше — пикантными слухами о сердечных терзаниях графини Безуховой, решающей, кому из двух почитателей она, при живом муже, отдаст свою руку.

Этот параллельный ряд — две столицы, олицетворяющие абсолютно разные системы ценностей и формы устройства жизни, — с самого начала являлся одной из несущих опор всей огромной постройки, потребовавшейся для толстовской «картины нравов» в эпоху великого национального потрясения. Действие начинается в Петербурге, в салоне Анны Павловны Шерер, где шумят веретена французской болтовни на свежие политические темы, а придворный лакей и идиот, как аттестует князь Андрей отца и сына Курагиных, чувствуют себя в родной стихии. Но вскоре оно переносится в старую столицу, в дом Ростовых, и, попав в этот всей Москве известный дом на Поварской, Пьер очарован царящей там атмосферой. Она бесконечно далека от петербургского светского обихода с пересудами в гостиных, придворными интригами, кутежами, актрисами и глупым молодечеством, за которое Долохов, для чего-то заставивший квартального плавать в канале привязанным к спине медведя, расплатился офицерскими эполетами. Смешная девочка в короткой кисейной юбке вбегает в залу и сразу покоряет Пьера своими детскими открытыми плечиками и маленькими ножками в кружевных панталончиках, — конечно, ни ему, ни Наташе, обучающей фигурам кадрили странного, стесняющегося своей толщины гостя, не дано знать, что жизнь соединит их навсегда. Празднуются именины Наташи — их в семье Ростовых две, — и старый граф танцует англез, а потом любимого им Данилу Купора, который похож на развеселый трепачок. Холодный этикет, негреющий блеск Петербурга сразу меркнут в сравнении с московским никогда не иссякающим радушием, не признающим расчетов хлебосольством, открытостью, сердечностью, в сравнении с этим «старым барством», вызвавшим такое презрение у желчного Писарева, но Толстому дорогим и близким, как мало что другое в мире.

Семейные предания и мемуары Жихарева помогли сделать этот образ московского «старого барства» необыкновенно живым. Жихарев подробно описывает тогдашний быт Белокаменной с ее гостеприимством, с ее пирами, на которых рекой льется цимлянское и после необыкновенной стерляди подают среди зимы персики из собственных оранжерей. С ее балами, когда матанс ревниво следят, чтобы для дочери непременно нашелся блестящий кавалер, а отцы в кабинете хозяина играют в карты за

дубовыми столами. С ее модным магазином мадам Обер Шальме, прозванной Обер-Шельмой, торжественными обедами на сто персон в Английском клубе, привезенными чуть ли не из Австралии черными лебедями на садовом пруду против дома Пашкова, гуляньями на Масленицу в Сокольниках и полетами на воздушном шаре, которые штаб-лекарь Кашинский устраивал «в саду, именуемом Нескучным».

Из записок Жихарева пришла на страницы «Войны и мира» Марья Дмитриевна Ахросимова (а по-настоящему — Настасья Офросимова), та, чье вмешательство спасло Наташу от бесчестья. Личность она была исключительно колоритная: ее называли и московским негласным воеводою, и всеми признаваемой высшей судебной инстанцией, без проволочек решавшей житейские тяжбы. Четверо ее сыновей служили в армии, пойдя по стопам отца, потемкинского генерала, которого в свое время Настасья Дмитриевна, по собственному признанию, тайно похитила из его дома и отвела к венцу. Когда армия двинулась в заграничный поход и в московских домах только и разговоров было, что не все из этого похода вернутся, Жихарев слышал, как эта «презамечательная дама» увещевала запаниковавших: «Ну что вы, плаксы, разрюмились? Будто уж так Бунапарт и проглотит наших целиком! На все есть воля Божия, и чему быть, того не миновать. Убьют, так убьют, успеете и тогда наплакаться».

Доходят до Первопрестольной первые вести о несчастье при Аустерлице, «Москва уныла, как мрачная осенняя ночь», пишет неуклюжими стихами пиита Иван Иванович Дмитриев. Утешаются присловьем «лепя, лепя и облепишься» — у Толстого оно вложено в уста кокетничающего своим легким цинизмом дипломата Билибина. Купцы, записывает Жихарев, относятся к горьким новостям философически: «Народу хватит у нас не на одного Бонапарте... не сегодня, так завтра подавится, окаянный». В дворянском собрании дают особенно пышный бал — назло переменчивой судьбе. А как пышно чествуют в Английском клубе победителя при Шенграбене Багратиона! Стол, накрытый на триста кувертов, «все, что только можно было отыскать лучшего из мяса, рыб, зелени, вин и плодов», сочиненные слепцом Николевым приветные стихи, которые князю поднесли на серебряном подносе, оглушительный польский с хоров «Гром победы раздавайся!», нескончаемые тосты, с воодушевлением распеваемая кантата: «Тщетны россам все препоны, храбрость есть побед залог, есть у нас Багратионы, будут все враги у ног!» И все это — с открытой душой, самозабвенно, истинно по-московски.

Две линии, драматически пересекающиеся в финальных эпизодах второго тома, делают самоочевидным контраст Москвы и Петербурга,

столь значимый для всей конструкции «Войны и мира». Первая из них обозначена Анатодем Курагиным, вторая — Наташей. Несчастливая страсть, которая на мгновение соединила эти судьбы, выявляет не только их человеческую несовместимость. Для Толстого этот красивый самец и законченный эгоист, которого не интересует ничего, кроме веселья и женщин, воплощает в себе все самое характерное для петербургского общества — и прежде всего абсолютную неспособность его представителей осмысливать свои поступки в категориях морали. Наташа, воспитанная так, что для нее счастье всегда в родстве со всем добрым и прекрасным, даже в момент, когда мужское обаяние Анатоля совсем вскружило ей голову, самозабвенно пытается доказать себе и другим, что ее избранник само благородство. Никакие блаженства разделенной любви для нее невозможны, если она в это не поверит всей душой.

Муки совести, которые она переживает в канун несостоявшегося бегства, причиняют не только мысли о том, каким страшным ударом для князя Андрея станет ее измена, а для домашних — венчание без благословения. Наташа безуспешно пробует бороться с собой, потому что инстинктом чувствует: она теперь «безвозвратно в том странном, безумном мире, столь далеком от прежнего, в том мире, где нельзя было знать, что хорошо, что дурно, что разумно и что безумно». Уступить безумию для нее, по всей ее природе и душевному строю, естественно, компромиссов не признает ее цельная натура, однако даже в безумии она не может отбросить самую мысль, «что хорошо, что дурно», и предать забвению «прежний мир», где эта мысль в любых ситуациях оставалась главенствующей. Она органически неспособна просто отдаться любовному зову, не задумываясь, как овладевшее ею чувство отразится на других.

Свойственная ей безоглядность совсем иного рода, чем переступающая через любые моральные табу животная страсть Анатоля. И в своем губительном увлечении петербургским адъютантом с неизменным выражением веселья и удовольствия на необычайно красивом лице Наташа остается собой — наивной и доверчивой девочкой, полной восторга перед жизнью. Это все та же Наташа, которая еще совсем недавно на детских балах у Иогеля своей грацией свела с ума огрубевшего в армейских буднях Денисова, а потом покорила остывшее сердце князя Андрея. Которая, доказывая любовь к Соне, раскаленной линейкой прижгла себе плечо. Которая пела баркаролу так, что слушателям начинали казаться вздором все их несчастья и беды. Которая не могла уснуть той волшебной лунной ночью в Отрадном, а после охоты плясала у дядюшки «По улице мостовой», да так, что никто бы не объяснил, каким образом эта одетая в

шелка графиня «умела понять все то, что было... во всяком русском человеке».

Катастрофу, которой закончился стремительный роман с Анатолем, она переживает с исступленностью и горечью не только потому, что погублено счастье, ждавшее ее, если бы она стала княгиней Болконской. Даже не потому, что брошено пятно на ее честь. Наташа получила тяжелейшую травму, уверившись, что в реальной жизни есть что-то настолько омерзительное и грязное, такое, что невозможно, недопустимо в ее «семейном, детском мире». Анатолий, стараясь поскорее забыть свое неудачное приключение, думает только о том, как бы избежать встречи с князем Андреем и дуэли с ним. Элен, взявшая на себя в той истории роль сводни, озабочена выбором между своим старым почитателем и молодым претендентом. А Наташа, медленно освобождаясь от сковавшего ее эмоционального оупения, плачет о «невозвратимом, чистом времени» и о том, что никогда не вернется «состояние свободы и открытости для всех радостей».

Это состояние, без которого для нее нет жизни, для Толстого важнее, чем доминанта характера его героини, потому что оно сопрягается с определенным кругом ценностей, традиций и установок, из которых складывается русская самобытность, ассоциируемая, конечно, не с Петербургом, где все эти ценности давно преданы забвению, а с Москвой. И еще — с Лысыми Горами, третьей главенствующей точкой в пространстве «Войны и мира».

На карте повествования Лысые Горы расположены так, чтобы сюда доносились только отголоски и московской, и петербургской хроники. Из писем Жюли Карагиной, местами очень напоминающих письма Варвары Ланской, княжна Марья узнает о происшествиях, взволновавших московский свет, а князь Василий пробует заинтриговать старика Болконского привезенными из Петербурга политическими новостями. Однако все это — большой свет, большая политика — остается очень далеким для-обитателей Лысых Гор. Их жизнь течет по совсем другому руслу, в жестко оберегаемых старым князем границах той культуры, для которой приоритетами являются «деятельность и ум», общественная независимость и духовное подвижничество, верность чести и долгу. Что бы ни думал старый князь о причинах первой войны с Наполеоном и обо всей тогдашней русской политике, честь и долг остаются безусловными императивами, и сына он напутствует напоминанием, что так было у Болконских всегда: «Коли тебя убьют, мне, старику, больно будет... А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет...

стыдно!»

Воплощенная во всех Болконских, эта культура бесконечно дорога Толстому, не случайно выбравшему прототипами для двух из них своего деда по материнской линии и свою мать. Семейные предания оказались неисчерпаемо богатым материалом. Других материалов практически не потребовалось. Даже тот золотой образок, который, уезжая на войну, князь Андрей, не удержавшись от иронических замечаний, согласился принять от сестры, чтобы не обидеть ее, — документально подтверждаемая деталь. Такой образок дала Толстому, ехавшему в армию, в Румынию, тетенька Ергольская, и с этой иконкой он воевал в Севастополе, а потом она стояла в изголовье у Софьи Андреевны до самой ее смерти.

Топография Лысых Гор с первых же описаний напоминает Ясную Поляну, а дом старого князя воссоздан по детским воспоминаниям автора, — тот большой дом, который в итоге был продан из-за долгов и увезен знакомым помещиком, а много лет спустя, когда Толстого уже не было в живых, разобран крестьянами на дрова. В последнем владельце лысогогорской усадьбы Николае Ростове много черт Николая Ильича Толстого, а княжна Марья — несомненно, дополненный воображением Толстого портрет матери, урожденной княжны Волконской. Совпадает все — от позднего брака с отвоевавшимся и разоренным гусарским офицером, который носит громкую фамилию, до особенностей внешности: некрасивое, болезненное лицо с удивительными лучистыми глазами. Но и в историю княжны Марьи, если ее сравнивать с историей другой Марии Николаевны — Волконской-Толстой, внесено, по крайней мере одно, очень существенное дополнение, которое связывает эту историю с магистральными темами «Войны и мира».

Как все люди ее круга, княжна Марья читает преимущественно французские романы и по-французски переписывается с Жюли, которая торопится ей сообщить о скандальных перипетиях борьбы за наследство старика Безухова и о планах князя Василия, проигравшего схватку за мозаиковый портфель с завещанием, поправить дело, женив Анатоля на одной персоне, скрывающейся от большого света в Лысых Горах. Постоянное общество этой персоны составляет мадемуазель Бурьен, чья голова занята только парижскими модами и мечтами вскружить голову какому-нибудь сказочно богатому русскому вельможе. И все-таки истинная жизнь княжны Марьи протекает в совершенно других духовных измерениях. Страдая от того, что она так некрасива, расставшись с надеждами на замужество и материнство, она находит утешение в общении с божьими людьми, с юродивыми и странниками, посещающими ее тайком

от старого князя и от насмешливого брата. В религиозных вопросах они оба остаются питомцами скептического века просветительства и вольтерьянства, от которого старый князь не отступит, а младший Болконский откажется, лишь увидев над собой небо Аустерлица. Но для княжны Марьи с юности самое дорогое — ее вера, причем вовсе не скованная церковным ритуалом, а идущая из глубины сердца, по сути своей простонародная, заставляющая удивляться близорукости людей, «ищущих здесь, на земле, наслаждений и счастья», ради которого они причиняют друг другу столько зла. Матримониальный прожект князя Василия, сам Анатолий, который и не представляет себе подобного образа мыслей, вызывают у княжны Марьи страдание, ведь в ее мир ворвалась абсолютно чуждая ей стихия циничного практицизма. Разглядывая испуганную, робеющую, дурно одетую и причесанную княжну, Анатолий думает о том, как будет удобно, женившись на ней, устроить все так, чтобы продолжалось прежнее приятное времяпрепровождение с попойками, актрисами и жарким лобзаньем плеч ослепительно красивой сестры. А княжна только ждет, чтобы поскорее закончилось это унижительное сватовство — и потому что ей очень хорошо понятны цели Курагиных, и из сознания долга перед отцом, который не переживет ее ухода, и, главное, из-за невозможности принести свою духовную жизнь в жертву подобному браку с его неизбежной фальшью и грязью.

Так ее греющая мечта облачиться в кафтан, лапти и черный платок, чтобы странствовать и, не делая вреда людям, молясь за них, под чужим именем переходить с места на место, не будет исполнена только потому, что старый князь этого не вынес бы, а у княжны Марьи все подчинено прежде всего заботе об отце и об осиротевшем племяннике. Но остается непоколебимым ее убеждение, что «выше этой истины и жизни нет истины и жизни», то убеждение, которое на закате своих дней все больше овладевало и Толстым после многочисленных встреч со странниками и богомольцами, каждый день проходившими мимо усадьбы по дороге. Рубашка, лапти, черный платок — все будет уже приготовлено княжной Марьей, которая без сожалений пожертвовала бы «призрачным и порочным счастьем», столь ценным в ее аристократическом кругу. Под переборы дядюшкиной запыленной гитары Наташа пляшет так, словно для нее никогда и не существовало иной музыки, кроме этих простых аккордов, из которых сам собой рождается русский безыскусный напев, и, любуясь ею, никто — ни дядюшка со своей экономкой, ни брат, ни кучер Митька — не вспоминают, что она графиня, росшая под попечением эмигрантки-француженки. Княжна Марья, вытерпев очередные насмешки, которыми

кончаются уроки геометрии с отцом, и заплатив дань французским этикетным формулам в письме своей «поэтической Жюли», наедине с собой становится точно таким же, как графиня Ростова, глубоко русским человеком, пусть иной душевной природы, но с тою же самой просветленностью, сохраняемой в любых испытаниях. С тою же верой, без умствований выраженной Наташей, когда, споря с Николаем о том, вправду ли люди когда-то были ангелами, она убежденно говорит: «Ведь душа бессмертна», а значит, и вечность реальна — «нынче будет, завтра будет, всегда будет, и вчера было, и третьего дня было...»

Небо Аустерлица простирается над ними всеми, носящими в себе чувство «чего-то непонятного, но важнейшего», и, каждый по-своему, все они — князь Андрей и его сестра, Пьер, Наташа — принадлежат той культуре духовного аристократизма, которая для Толстого в пору «Войны и мира» оставалась лучшим выражением русской сущности. Сопрягая судьбы своих любимых героев с эпохой великого национального бедствия, Толстой испытывал на прочность и главные ценности этой культуры, и ее нравственные императивы, исключаяющие любую форму своекорыстия. Стремление к моральной правде, естественное и твердое патриотическое чувство, не признающий оговорок кодекс чести и достоинства, не знающая пауз духовная работа, чтобы отыскать не иллюзорный и случайный, а действительный смысл человеческого бытия, — все это получало особенное наполнение, когда переломилась вся жизнь нации.

Собственно, этот перелом, это испытание, которое он за собою повлек, как раз и стали у Толстого магистральным сюжетом.

*

Пока действие книги, уже и отдаленно не напоминавшей первоначально задуманную эпопею «Три поры», оставалось в пределах 1805 года, Лысые Горы должны были служить центром, куда стягиваются все основные линии рассказа. Петербургские и московские эпизоды на этой стадии выглядели только дополнением к семейной истории, в большой мере навеянной Толстому воспоминаниями или преданиями о его предках. Все переменялось, когда — видимо, летом 1864 года — пришло решение начинать книгу с описания Аустерлица. В итоге это описание завершило первый том «Войны и мира», однако существенны не эти композиционные перестановки, а сам факт, что с идеей семейной хроники, для которой политическая и военная летопись воссоздаваемого времени останется

просто фоном, было покончено.

История непосредственно вошла в роман, преобразив его замысел и жанр, заставив выдвинуть на первый план персонажей, прежде почти незаметных, а тех, кто уже был довольно ясно обрисован, писать по-новому. Потребовались герои, находившиеся тогда на авансцене политики — Наполеон, Александр, — потребовались реальные лица, которые играли первые роли в двух войнах с французами, такие как Кутузов и Багратион. Сама эта тема — две войны как разные фазисы уготованного России исторического потрясения — выдвинулась не как корректирующая пространственную ось повествования, которая теперь перемещалась далеко от Петербурга, Москвы и Лысых Гор, чтобы затем вернуться к этим исходным точкам, а как меняющая внутренний смысл этого построения.

Потребовалось действующее лицо, в судьбе которого обе войны, известные по собственному армейскому опыту, оставили очень глубокий след. Князь Андрей, в ранних редакциях изображенный как избалованный светом молодой человек со скучающим взглядом, сильно проигрывающий рядом со своей оживленной прелестной женой, приобрел ключевое значение в сюжете. Никаких биографических прототипов для него не предполагалось, они были и не нужны, так как семейная история уже не устраивала Толстого. Он поначалу думал оборвать линию, связанную с младшим Болконским, на Аустерлице, но впереди — это явствовало из логики движения сюжета по лабиринту сцеплений — был 1812 год, а еще прежде — Сперанский, в черновиках охарактеризованный как «гражданский Наполеон», и реформы. Пришлось «помиловать» князя Андрея, продолжив его историю до Бородина, до смертельного ранения, до потрясающей сцены в Мытищах, когда происходит новая встреча с Наташей Ростовою, до последних трагических дней в Ярославле.

Потребовался и еще один персонаж, который напрямую соприкасался с двумя неразделимыми сферами тогдашнего русского бытия, с войной и с миром. Пьер присутствовал в книге, начиная с самых первых набросков, но сущность его характера, роль, которую он должен был сыграть в разворачивании действия, значение, придаваемое ему как герою, воплощающему определенный духовный тип и определенное умонастроение, — все это менялось много раз. Неизменным было одно: при всех модификациях сюжета Пьер сохранял в нем центральное положение. Он и в окончательном варианте появится уже на первых страницах, где описывается вечер у Анны Павловны. И его история, открытая в будущее, фактически не довершена даже в эпилоге.

Наконец, потребовался изначально не предполагавшийся материал —

реальная фактология двух военных кампаний — и была выработана философская концепция, которая объясняла их причины и следствия. «Историю Консульства и Империи», труд французского историка Адольфа Тьера, как и официальную историю Отечественной войны, созданную по поручению Александра I генералом А. И. Михайловским-Данилевским, Толстой знал еще задолго до «Войны и мира». Теперь была проштудирована еще одна парадная история — труд о 1812 году М. И. Богдановича, который подвергнет резкой критике книгу Толстого, не приняв ни изложенного там взгляда на характер кампании, ни описания Бородинского сражения.

Были прочитаны «Примечания о французской армии последних времен, 1792–1807», составленные служащим петербургской Коллегии иностранных дел Готтхильфом-Теодором Фабером, по происхождению немцем, наполеоновским офицером, потом эмигрантом из бонапартистской Франции. Они дадут много ценного для исторической части, для рассказа о событиях, приведших к конфузному для России Тильзитскому миру. О русском походе, закончившемся гибелью великой армии на Березине, Толстой немало узнал из мемуаров графа де Сегюра, который участвовал в этом походе в качестве адъютанта своего императора.

В марте 1865 года Толстой с карандашом в руках читал записки Мармона, герцога Рагузы. Эти девятитомные мемуары привлекли внимание Герцена, с иронией писавшего, что из лавровых венков герцог понаделал розог и славно ими отхлестал отяжелевшего Наполеона, чей «тухнувший гений» заменился «упорными капризами». Трактровка Наполеона у Толстого очень близка этому взгляду на императора, окруженного, как сказал Герцен, «своими кондотьерами... готовыми предать его, как предали ему республику». Истинный панегирик полководческому гению Наполеона «Мемориал Св. Елены», составленный секретарем низложенного властелина в его последней ссылке графом де Лас Казом, одним из главных творцов наполеоновской легенды, — ценители «Красного и черного» помнят, как эта книга кружила голову несчастному Жюльену Сорелю, — Толстой проштудировал от корки до корки.

Тургенев, с самого начала публикации «Войны и мира» ревниво следивший за откликами публики на это произведение, о котором поначалу не мог сказать ни одного доброго слова («роман мне кажется положительно плох, скучен и неудачен», — пишет он их общему с Толстым приятелю И. П. Борису летом 1865 года), постепенно стал находить в нем «десятки страниц сплошь удивительных, первоклассных» — но только когда воссоздается «бытовое». История, философия, словом, «система»,

заставляющая автора отрываться от «земли», — это, в глазах Тургенева, все та же непреодолимая односторонность, а значит, смертная тоска. Узнав о выходе из печати последнего тома, он искренне надеялся, что наконец-то Толстой «вместо мутного философствования даст нам попить чистой ключевой воды своего великого таланта». А прочитав этот том, был очень разочарован: «детская философия», и ничего больше. Самое скверное, что ею испорчены образы, прежде такие живые.

Реакция большинства первых читателей была примерно такой же. Зная о ней, Толстой пробовал отделить «исторические» главы от «семейных» или вовсе снять историко-философские вступления, которые предшествуют описаниям событий в жизни героев. В третьем издании своих сочинений (1873) он напечатал книгу с приложением, озаглавленным «Статьи о кампании 1812 года». Об этой композиции теперь напоминает только двухчастный эпилог, в котором сначала получают свое завершение линии повествования, связанные с основными персонажами, а затем, в виде небольшого трактата, излагается авторское понимание сути и смысла исторического процесса. Строго говоря, та версия «Войны и мира», которая публикуется уже сто двадцать лет, не должна считаться выражением последней авторской воли. Эта версия воспроизводит текст, каким он появился в «Сочинениях Л. Н. Толстого», вышедших в 1886 году, а там он был восстановлен по первой книжной публикации 1868–1869 годов, только вместо шести томов было принято деление на четыре книги. К 1886 году Толстой, который переживал духовный перелом, охладил к своим прежним произведениям, и «Сочинения» выходили без его участия. Так что последняя его воля — это как раз публикация 1873 года, где вместо французских текстов везде даются русские, где эпилог рассказывает только о судьбах героев, а «лишнее», то есть «рассуждения военные, исторические и философские», сделались только необязательным прибавлением.

Однако Софья Андреевна, которая готовила «Сочинения» 1886 года и все последующие переиздания, все-таки была права, предпочтя первую публикацию композиционной переработке, осуществленной в 1873 году самим Толстым. Разделить «историческое» и «семейное» в структуре «Войны и мира» невозможно, потому что этим наносится ущерб главной художественной идее произведения: идее испытания высших ценностей русской аристократической культуры и проверки русской сущности в обстоятельствах, угрожающих национальному существованию. История в ее драматических кульминациях 1805-го и особенно 1812 годов воспринималась Толстым прежде всего как подобное испытание, когда ясно проступает нравственный стержень его героев, для которых

безусловными приоритетами остаются духовное достоинство и поиски добра и правды на земле.

Сама по себе, представленная в своих грандиозных событиях и деяниях выдающихся людей, история интересовала Толстого лишь в той степени, насколько ею прояснялись законы предопределения, с одной стороны, и духовная или этическая мотивация человеческих поступков — с другой. Тургенев сетовал, что толстовский «исторический фатализм» становится невозможным из-за его твердой, неуступчивой последовательности, и по-своему был, разумеется, прав. Приступая к описанию французского вторжения в Россию, Толстой одну за другой отверг все политические причины, которыми было продиктовано роковое решение Наполеона, и сразу объявил, что «событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться» — из-за «миллиарда причин», совпавших «для того, чтобы произвести то, что было».

Интриги Англии, старавшейся освободиться от удушавшей ее континентальной блокады, старания русской дипломатии тайно склонить на сторону Александра I покоренную Наполеоном Австрию, амбиции самого Бонапарта, уже видевшего свою гвардию на берегах Ганга, до которых он доберется, заставив капитулировать Россию, возмущавшая петербургский двор оккупация Пруссии и приближение великой армии вплотную к русским границам — у Толстого все эти факты, столь важные для историков, когда они конструируют свое объяснение войны 1812 года, в лучшем случае вторичны или просто эфемерны. Нужно было «совпадение бесчисленных обстоятельств», чтобы Наполеон перешел Неман и двинулся к Смоленску и Москве, а затем, теряя целые армии, бежал обратно к Вильне и Ковно. Нужно было, чтобы из-за этого, не поддающегося никаким рациональным трактовкам совпадения настал момент, когда «жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы», уступила место «жизни стихийной, роевой, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы».

Политическая ситуация, столкновение непримиримых интересов, а уж тем более индивидуальная воля людей, которые, как Наполеон или Александр, оказываются на авансцене истории, — все это только очевидные, но, согласно Толстому, ничтожные по своему значению факторы, способствовавшие движению огромных вооруженных масс с запада на восток, а потом с востока на запад, от сожженной Москвы через всю Европу до Парижа. В действительности, если принять взгляд Толстого, история лишь периодически провоцирует разъединение «жизни личной» и

«жизни роевой», и когда это происходит — по причинам слишком многочисленным и слишком сложно переплетающимся, чтобы искать тут какую-то разумность или целенаправленность, — случается то, что признают великими историческими событиями.

Те, кто непосредственно вовлечены в такие события, никогда не постигают их логики и общего смысла, потому что никому не дано ни управлять такими событиями, ни чувствовать их цельности, которая вытекает «из бесчисленного количества самых разнообразных условий». Исторические герои, какими себя, несомненно, воспринимали и Александр, и тем более Наполеон, Толстым низводятся с пьедестала не только потому, что для него лишены морального оправдания те или иные их политические или военные решения. В его глазах они ничтожны именно тем, что не в состоянии избавиться от иллюзии, будто их воля действительно может каким-то образом направлять ход истории или, по меньшей мере, воздействовать на него. А ведь «стоит только вникнуть в сущность каждого исторического события, то есть в деятельность всей массы людей, участвовавших в событии, чтобы убедиться, что воля исторического героя не только не руководит действиями масс, но сама постоянно руководима».

Утверждения, что воля Наполеона привела французские войска в Россию, а уйти их заставила воля Александра, который, пересилив свою антипатию, назначил главнокомандующим Кутузова, для Толстого были сущей бессмыслицей. Он не признавал самого этого понятия — историческое величие. Не признавал и другого понятия: гений, повелевающий народами. Единственное, с чем он готов был бы согласиться, — это неизбежность присутствия и Наполеона, и Александра на тогдашней исторической сцене, но вовсе не в качестве героев, которым уготовано руководить развертывающимся на ней действием. Лабиринт просматривающихся или далеко не очевидных сцеплений выстроился так, что они двое, «оставаясь такими же людьми, как и все остальные», оказались средоточием «исторических лучей» и были сочтены вершителями судеб, хотя на самом деле только следовали «воинственному движению масс европейских народов». Да, «невозможно придумать двух других людей, со всем их прошедшим, которые соответствовали бы до такой степени, до таких мельчайших подробностей тому назначению, которое им предлежало исполнить». Однако какими бы героическими чертами ни наделяли современники обоих императоров, это назначение, как оно показано Толстым, остается, в сущности, декоративным.

Пока Александр со своей огромной свитой остается при отступающей русской армии, мысли людей, по опыту знающих, что такое война,

сосредоточены главным образом на том, как бы его удалить под благовидным предлогом. Случайностями вознесен к своему величию Наполеон, «человек без убеждений, без привычек, без преданий, без имени, даже не француз», а затем начинается действие других случайностей «от насморка в Бородине до морозов и искры, зажегшей Москву», и триумф обращается позором. Величие? Но для Толстого «нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Воля, способная обуздывать и направлять историческую стихию? Но ведь уверовавший, что он наделен такой волей, «подобен ребенку, который, держась за тесемочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит».

Из всех крупных исторических лиц, которые проходят перед читателем «Войны и мира», Кутузов единственный, над кем не имеет власти эта детская иллюзия. Князя Андрея удивляет, что командующий, не притворяясь, спит, когда накануне Аустерлица читается диспозиция, с неукоснительной логикой составленная теоретиком-австрийцем, удивляет его «аффектация служаки» при появлении перед войсками императора Александра, в котором обворожительно соединились величавость, кротость и выражение невинной молодости, удивляет старание Кутузова всеми силами удерживать рвущиеся в бой полки. Должна прийти истинная мудрость, прежде чем это удивление с несколько презрительным оттенком сменится у князя Андрея совсем другим чувством, испытанным перед Бородином: когда Россия в опасности, армии «нужен свой, родной человек». Тот, кто знает о войне самое главное — в ней все решают терпение и время, а от стоящих у руля более всего остального требуется умение понимать «неизбежный ход событий», дополненное способностью «отречься от участия в этих событиях, от своей личной воли».

При Бородине Наполеон все так же обретается в «своем прежнем искусственном мире какого-то величия», и ему ни на миг не приходит на ум, что ничего величественного нет в зрелище многих тысяч трупов, покрывших поле сражения, которое, как он говорил Лас Казу на острове Святой Елены, якобы свершилось «для великой цели благоденствия всех». Кутузов при Бородине даже не пытается руководить огромными массами людей, борющихся со смертью, и все его усилия имеют целью поддерживать «неуловимую силу, называемую духом войска». Победа в сражении формально принадлежит Наполеону, потому что русские снова отступили и отдали Москву. Но на самом деле при Бородине атакующей французской армии была нанесена рана, от которой она должна была погибнуть даже без новых усилий со стороны русского войска. И произошло это оттого, что впервые на победоносную армию «была

наложена рука сильнейшего духом противника». Кутузов это знает точно, хотя впереди тяжкое унижение — сдача старой столицы, и знает, что больше не нужны никакие наступления, никакие маневры. Просто «не надо срывать яблока, пока оно зелено». Созрев, оно упадет само, даже если бы обошлось без тех ударов по яблоне, которые нанесла «дубина народной войны».

По мнению современников Толстого, все эти идеи выглядели по меньшей мере странными. Посыпались упреки за неточность и неполноту картины. «Русский вестник», где несколько лет публиковался роман «Война и мир», поднимавший престиж журнала буквально на глазах, окончив печатание последнего тома, поместил статью П. Щебальского с характерным заглавием «Нигилизм в истории». О Толстом там говорилось, что он старается все сокрушить, все отрицать, а в результате принижена слава двенадцатого года и заслуги русских героев. Генерал А. С. Норов, потерявший ногу на Бородинском поле, говорил об «оскорбленном патриотическом чувстве» и, как очевидец, констатировал, что у Толстого все описано неверно и что у него «собраны только все скандальные анекдоты военного времени». М. В. Юзефович, помощник попечителя Киевского учебного округа, кое-что печатавший по историческим вопросам, прочтя «Войну и мир», вовсе не нашел «той художественности, о которой прокричали так много», зато нашел много грубых промахов в изображении описываемых событий. К примеру, он, проживший в Москве несколько лет сразу после изгнания французов, не помнит, чтобы на парадных обедах мужчины удалялись в кабинет хозяина выкурить трубку, а в доме Ростовых именно так и заведено. Типичная деталь: многие из писавших о «Войне и мире» все видели своими глазами и видели не то, что увидел Толстой, а значит, он намеренно исказил реальное положение вещей.

Так утверждали ветераны 1812 года генерал М. Драгомиров и профессор военной истории А. Витмер, признавая «блистательные стороны таланта» Толстого, но резко его критикуя за «односторонность теоретических воззрений». Всех, однако, превзошел князь Вяземский. Как поэт он далеко отстал от своего века, зато сделал прекрасную служебную карьеру и теперь был товарищем министра народного просвещения. Свидетель Бородинской битвы, он кипел возмущением, читая ее описания у Толстого, и возводил на него вину за «унижение истории под видом новой оценки ее» да еще и «разуверение в народных верованиях». Приговор Вяземского звучал сурово: книга Толстого «есть... протест против 1812 года», очернительство и глумление над святыми воспоминаниями.

Слева, из лагеря «нигилистов», доносились не менее безапелляционные суждения: «философия застоя», такой взгляд на искусство войны, точно «смотрят на него пьяные мародеры». Картина «старого барства», которое «граф лихо прохватил», но все прочее — «болтовня нянюшек и мамушек», а военные сцены — «одна ложь и суета». Последнее мнение принадлежит Салтыкову-Щедрину. Правда, оно известно только по мемуарам Кузминской, которая его слышала от мужа, служившего в Туле и часто встречавшегося с тамошним управляющим казенной палаты Салтыковым — тот пребывал в этой должности до 1867 года. Можно сомневаться в точности формулировок, однако, зная позицию этого обличителя и бичевателя социальных уродств, трудно предположить, что о «Войне и мире» он мог высказаться по-иному.

Когда спала волна возмущений и негодований, начался, наконец, вдумчивый разбор «эпопеи в современных формах искусства», какой признал «Войну и мир» ее первый внимательный читатель Николай Страхов. Философ и литературный критик, он вскоре станет одним из близких друзей Толстого.

Страхов не только считал, что в этом произведении «жизнь истории изображена с... изумительной полнотой», он попробовал определить главную идею, «руководящую мысль» книги, и нашел, что это «идея героической жизни», которая у Толстого тесно переплетена с мыслями о человеческом достоинстве, правде и красоте. А эти мысли относятся прежде всего к простым людям, которым совершенно чужды фантазии о своей героической роли в событиях, происходящих с их участием. К таким людям, как капитан Тушин, который при Шенграбене со своей батареей из четырех пушек отбивает натиск французских колонн, словно для него перестал существовать очень ему знакомый страх смерти. Или ставший партизаном гусар Василий Денисов с его трогательной любовью к подростку Наташе, с его непереносимой болью, когда несут хоронить погибшего из-за мальчишеской бесшабашности Петю Ростова. С его неспособностью поднять руку на пленных и твердой верой, что французы должны быть изгнаны из России и что нет дела важнее, пока их агонизирующая армия еще пробует удержаться на заснеженных русских равнинах.

Среди первых откликов на «Войну и мир» две статьи Страхова были чуть ли не единственными, где великая книга оценивалась по справедливости. Однако философию истории, содержащуюся в этой книге, Страхов свел к формуле слишком простой, а поэтому некорректной. В его рассуждениях все нити ведут к патриотическому подъему 1812 года, когда

«идея героической жизни» становится всеобщей и приходит в действие дубина народной войны. Если говорить о концепции Толстого, это недопустимое ее выпрямление. Впоследствии взгляд Страхова делается почти неоспоримым и, в грубом пересказе, отзовется даже на страницах советских школьных учебников. В итоге получилось так, что даже сегодня «Война и мир», подразумевая выраженное Толстым понимание истории, остается непрочитанной книгой.

Это понимание, к которому Толстой пришел по мере развития сюжета «Войны и мира», явно окрашено фатализмом. Великие события у него предстают не как следствие политических конфликтов, вообще не как результат какого-то целенаправленного действия, а только как фазисы никем не направляемого «передвижения всемирно-исторической стрелки на циферблате истории человечества». Событие складывается из многообразных «страстей, желаний, раскаяний, унижений, порывов гордости, страха, восторга, испытываемых огромными массами людей». Искать логику движения истории, которое привело к Аустерлицу, а семь лет спустя к Бородину, бессмысленно. Есть некий естественный закон, повелевающий людским массам устремляться с запада на восток, а затем совершать обратное движение. И все это является результатом «бесчисленного количества самых разнообразных условий» и представляет собой почти неосознаваемую деятельность, в которой чаще всего главенствуют не общие, а только личные интересы настоящего. В петербургских салонах мужчины, надевшие ополченские мундиры, говорят о самопожертвовании, о необъяснимой стратегии Кутузова, о гибели Первопрестольной, но в армии и в обозах беженцев, переживших исход из Москвы, «никто не клялся отомстить французам, а думали о следующей трети жалованья, о Матрешке-маркитантке и тому подобном».

Растопчин с его гаерскими афишками, зовущими, подняв хоругви, всем миром идти к Поклонной горе, чтобы сокрушить супостата, отвратителен Толстому и нестерпимой фальшью своих прокламаций, и старанием наперед снять с себя ответственность за мародерство и бесчинства, происходящие в опустевшем городе, и, главное, уверенностью, что он вправду может руководить народным чувством. Но все совершается помимо его воли и совершается так, как требует сама жизнь. У Ростовых сбрасывают узлы с имуществом, чтобы освободить повозки для раненых, а какие-то солдаты, пользуясь безнаказанностью, грабят лавки в Гостином дворе. На Варварке в питейном доме фабричные, подзарядившись, бьют целовальника. Потом, подстрекаемые губернатором, вошедшим в роль спасителя отечества, они растерзают Верещагина, напрасно обвиненного в

измене только за то, что перевел и кому-то показал наполеоновское воззвание. Это вот и есть история. В ней все делается «силой вещей».

Кутузов, знающий этот закон, потому и оказывается мудрее непобедимого Наполеона, которого он превзошел пониманием механизмов исторической жизни, как они виделись Толстому. Наполеон со своей непоколебимой убежденностью, что ему дано убыстрять или останавливать ход стрелки на циферблате истории, для Толстого лишь пародия на величие. Смешны его напыщенные фразы, которые отдают дурным актерством, смешно его бесплодное ожидание депутации бояр с ключами от столицы, смешна даже его внешность самовлюбленного пигмея с нависающим над лосинами животом и жирными ляжками коротких ног. Еще ребенком Толстой отыскал в отцовской библиотеке том Пушкина, где было стихотворение «Наполеон», запомнившееся ему на всю жизнь. Пушкин говорил о «чудесном жребии» этого властелина, который «тоскою душного изгнания» искупил зло, которое было им причинено человечеству. Для Толстого этот взгляд уже неприемлем. Причем он был для него неприемлем даже до написания «Войны и мира». Весной 1856 года, увидев в Париже пышную гробницу императора, он записал в дневнике: «Обоготворение злодея, ужасно». Несколько лет спустя из этой записи возникнет портрет ничтожества, верящего, что ему, как мальчику на картине, привезенной в бородинский лагерь, суждено играть в бильбоке земным шаром. «И никогда, до конца жизни не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого».

Не одному Тургеневу казалось, что такие характеристики да и вся «историческая прибавка» — это «кукольная комедия и шарлатанство». Толстого упрекали в том, что ради своей любимой мысли он игнорировал многие существенные факты или намеренно их искажал. Указывали на противоречия, заключенные в самой этой мысли: ведь из «Войны и мира» не следует, что русская слава 1812 года произошла просто «силой вещей» и что моменты исторических потрясений лишь в очень слабой степени воздействовали на «настоящую жизнь людей с своими существенными интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей». И всю философскую концепцию воспринимали как необъяснимую причуду Толстого, который высказывает слишком парадоксальные мысли, чтобы отнестись к ним всерьез.

Они действительно необычны уже тем, что вызывающе противостоят воззрениям тогдашней эпохи, которая поклонялась позитивистскому, строго

научному подходу к любой проблеме, не любила отступлений от выстроенных схем и почитала логику, а не интуицию. Весь спор Толстого с профессиональными историками, занявший второй эпилог «Войны и мира», запальчивый, доходящий до крайностей спор, в сущности, предопределен его расхождениями не столько с исторической наукой, сколько со своим веком. И неудивительно, что в доказательствах Толстой опирается на мнения мыслителей, либо принадлежащих другой эпохе, либо чуждых идеям и представлениям, которые в середине XIX века сделались почти общепринятыми.

Таких мыслителей, по меньшей мере, трое.

Знакомство в 1861 году в Брюсселе с Прудон и последующее чтение его труда «Война и мир», который, может быть, и подсказал Толстому окончательное название книги, должно было сыграть немалую роль, когда складывалась историческая концепция, так неприятно удивившая современников. Прудон крайне негативно характеризовал Наполеона, считая его авантюристом и узурпатором, которого напрасно возвеличивают историки. У Прудона император изображен без ореола. Это гений разрушения, и ничего больше, это шарлатан, который, презирая принципы, жаждет только бескрайней единоличной власти. История, создаваемая ее профессиональными служителями, не способна вместить в себя истину, состоящую в том, что исход любых исторических событий решается «правом силы». Во втором эпилоге Толстой высказывает аналогичную мысль: сила — вот и все объяснение успеха, который так долго сопровождал Наполеону.

Кульминацией истории Прудон признает войну, которая для него «есть факт божественный» в том смысле, что она обязательно активизирует нравственные стремления народа. Война ужасна в своих буднях, как ужасна она и для Толстого, по своему опыту знавшего, что война означает «бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства... поджогов и убийств». Но Прудон был склонен придавать войне значение своего рода моральной гигиены. А Толстой мог оправдать войну — и то с большими оговорками — только как «возбуждение нравственных сил народа». Причем это оправдание относилось лишь к Отечественной войне. Первый том, где речь идет о несчастливом заграничном походе, кончившемся Аустерлицем, завершается одной из тех картин, которые побудили Хемингуэя заметить, что, кроме Толстого и еще Стендаля, правды о войне не написал никто. Вот эта картина: разгром, бегство, хаос на узкой плотине, где «между фурами и пушками, под лошадьми и между колес толпились обезображенные страхом смерти люди, давя друг друга, умирая,

шагая через умирающих и убивая друг друга для того только, чтобы, пройдя несколько шагов, быть точно так же убитыми». Героизм капитана Тушина и его солдат на шенграбенской батарее, героизм князя Андрея, со знаменем в руках повернувшего лицом к неприятелю расстроенный батальон, — для Толстого все это наполнено высоким смыслом, но прежде всего как события, дающие увидеть нравственный мир его персонажей. А война — та, 1805 года, — если и может быть оправдана, так лишь тем, что она открыла князю Андрею высокое небо и подарила ему, оказавшемуся на краю смерти, чувство счастья. Кончилось все пустое, исчез обман и, кроме этого неба, «ничего, ничего нет» в целом мире.

Утверждая, что «война божественна сама по себе», Прудон берет в союзники совсем к тому времени забытого Жозефа де Местра, мрачного философа, иезуита, врага всех либеральных начинаний. С 1803 года он, яростный ненавистник Наполеона, жил в Петербурге, где числился посланником Сардинского короля, хотя король был бесправным наполеоновским вассалом. В дневнике 1865 года Толстой отметил, что читает де Местра, а потом это имя мимоходом будет упомянуто и в самой книге. Похоже, де Местр и сам появляется на страницах «Войны и мира». Он скрыт под маской аббата, который, выбрав удобный момент, приобщает Элен к «истинной вере».

В распоряжении Толстого были бумаги этого мизантропа, сообщавшего своему королю политические и светские новости, полученные из придворных кругов. Из этих отчетов едва ли не целиком взят материал для описания бесед в салоне Анны Павловны, а отчасти и для характеристики Сперанского. Однако еще существеннее, что у де Местра Толстой нашел много созвучного своим мыслям о том, каков механизм истории.

Отзвуки, порой почти цитатные, «Санкт-Петербургских вечеров», одного из главных философских сочинений де Местра, особенно выразительно говорят о том, насколько Толстому были чужды либеральные и прогрессистские веяния его эпохи, преобладавшие и в тогдашней исторической науке. Консерватизм и мистицизм де Местра принимали столь крайние формы, что подчас его высказывания шокировали даже современников, а в глазах потомков выглядели просто как одиозные. О революции он не мог говорить без отвращения, о будущем, которое она готовит всему миру, — без ужаса. Идея поступательного движения истории вызывала у него лишь горькую насмешку. Вместо идеалов социального равенства он провозглашал необходимость сильной власти и жесткой иерархии, вместо мечтаний о вечном мире обосновывал доктрину,

признающую вечными спутниками человеческой жизни страдание и войну, которая является залогом искупления бесчисленных грехов. Как и для Прудона, война была для де Местра чем-то наподобие жестокой терапии, которая необходима потому, что человек по своей природе существо аморальное и развращенное. Свобода, братство, всеобщее счастье — в глазах де Местра все это были не более чем иллюзии, которыми люди пытаются облагородить самих себя.

Трудно представить себе более непримиримого противника любых концепций, основанных на социальном оптимизме и риторическом человеколюбии, чем этот уроженец Шамбери, который почти всю свою жизнь провел в изгнании: в Лозанне, в Сардинии, в Петербурге. И как раз эта позиция де Местра привлекла к нему Толстого. Прощая де Местру его очевидные крайности, он увидел в нем почти единомышленника, поскольку тот отрицал рациональность исторического процесса, а поэтому и все попытки найти в нем некую позитивную логику. Истина для них обоих заключена не в истории, а в извечном устройстве человеческого бытия. А это устройство неизбежно требует войны — как очищения, по де Местру, как нравственного испытания, по Толстому, но и в том, и в другом случае как некоего взрыва стихии, который бессмысленно рационализировать, изобретая теории вроде «перенесения воли масс на исторические лица».

Во втором эпилоге «Войны и мира» по поводу этой теории и других, указывающих на ключевое значение идеологии, которой направляется ход событий, у Толстого сказано, что все это миражи, порождающие только «историю монархов и писателей, а не историю жизни народов». Для этой — истинной — истории нужно прежде всего признать эфемерность свободы тех, кто непосредственно вовлечен в историческое действие. Но человек никогда не откажется и не должен отказываться от чувства свободы, когда речь идет о нравственном выборе, никогда не признает свою абсолютную зависимость от исторических законов. Поэтому истинная история — это описание драмы свободы и зависимости, переживаемой каждым по-своему, и теми, кого признают историческими героями, и рядовыми участниками великих событий.

В этом рассуждении Толстой далеко отходит от философии де Местра. Однако именно к ней ведет сам тезис, во многом объясняющий, отчего столь необычно, в противовес всем утвердившимся понятиям, изображены у Толстого и Наполеон, и Кутузов, а главное, на каком фундаменте возводится вся историческая часть «Войны и мира». Де Местр отрицал свободу как утешительный самообман, а Толстой верил, что без свободы человеческое существование становится невозможным, но для него, в

противовес прогрессивно мыслящим современникам, это не была свобода людей совокупными усилиями творить новый мир, где восторжествуют гуманность и справедливость. Для него человек свободен только в своем этическом выборе, и хотя этот выбор тоже ограничен неизменными факторами исторической жизни, мера человека — это как раз его способность подчинить свой выбор принципам правды, красоты и любви.

Когда эту важнейшую свою мысль Толстой подкреплял картинами войны 1812 года, у него почти не было ни понимающих, ни сочувствующих. Но в 1868 году вышла книга, содержащая во многом схожие размышления. Называлась она «Обзор кампаний 1812 и 1813 года», автор, Сергей Урусов, был давним, еще по Севастополю, знакомцем Толстого и частым его собеседником в Москве, как раз когда шла работа над «Войной и миром». Человек он был необычный: математик, шахматист, философ, ничуть не смущавшийся тем, что статьи о философии истории снискали ему в кругах либералов репутацию невежды да еще и махрового старовера. Чичерин находил, что его писания просто «невероятная галиматья», и недоумевал, каким образом Толстой умудрился почерпнуть в них какие-то идеи. Тургенев, узнав о выходе последнего тома «Войны и мира», выражал надежду, что автор «успел немного *разуруситься*», — и напрасно: на самом деле произошло обратное. Как раз в последнем томе и в эпилоге следы бесед с Урусовым и чтения его «Обзора» всего нагляднее.

Урусов в Севастополе показал себя блестящим артиллеристом и человеком исключительной храбрости. В самом пекле Пятого бастиона он играл вслепую шахматные партии с тремя партнерами, повернувшись спиной к доске и лицом к английской батарее, а потом предложил своему командиру договориться с противником о шахматном пари на ложемент, без конца переходивший из рук в руки. Выйдя в отставку, он посвятил себя военной истории и пробовал применить к ней математические методы. Тургенев, прочитав какую-то статью Урусова, высказался в том духе, что написать такое мог только «юродивец», которого природа наделила особым даром высказывать нелепости одна невозможнее другой. Но для Толстого эти мнимые нелепости оказались чрезвычайно ценны.

Как раз суждения Урусова побудили его резко изменить тональность, в которой писался портрет Кутузова. Поначалу Кутузов изображался как хитрый царедворец и старый бонвиван, во всем ищущий прежде всего личной выгоды. Но в «Обзоре» Урусов решительно выступил против официальных историков, которые высказывались о Кутузове почти теми же словами, что князь Василий Курагин, говоривший в салоне Анны Павловны о невозможности поставить главнокомандующим человека

самых дурных нравов, к тому же дряхлого и слепого. Для Урусова Кутузов был самым нужным человеком в Отечественную войну, поскольку он обладал великим умом, а в тогдашних обстоятельствах ум требовался больше, чем военный талант. Он знал, что после Бородина придется отдать Москву, потому что истекающая кровью армия неспособна ко второму подряд генеральному сражению, знал, какие молнии негодования навлечет этот отход на его голову, и все равно решился сделать шаг, который мог стать для него гибельным, так как великий ум и понимание закона войны открыли перед ним все последующее. Когда началось бегство французов, он всеми силами удерживал претендентов на воинские лавры от лихих, но бессмысленных наскоков, твердо веря, что все сделается силой вещей. Говоря по-толстовски, он всегда ясно представлял себе меру своей зависимости, но оставался свободен, так как на его стороне была нравственная правда оскорбленного патриотического чувства.

Все это построение подкрепляется в «Обзоре» математическими выкладками, смешными для рационалистов, но не для Толстого, который под явным урусовским влиянием говорит о «дифференциале истории», который можно выявить, интегрируя бесконечно малыми единицами — «однородными влечениями людей». А выявление дифференциала, который складывается из «бесчисленного количества людских произволов», и есть цель истории, потому что лишь при таком условии в ней можно установить некий закон. Урусов писал об этом во вступлении к своему «Обзору». Толстой — во вступительной главе к третьему тому, который начинается переправой французов через Неман, а кончается арестом Пьера, оставшегося в пылающей Москве.

Переписываясь с Толстым, Урусов все время побуждал его отыскивать, пусть приблизительные, но положительные законы истории. Этому совету Толстой не последовал. Но зато он установил такие законы нравственного сознания и жизни человеческого духа, которые, по крайней мере для него самого, оставались и положительными, и даже абсолютными.

*

Присутствие на страницах «Войны и мира» еще одного мыслителя — и может быть, самого важного для капитальной художественной идеи Толстого — незримо. Он нигде не упомянут (впрочем, это было и невозможно по цензурным условиям), к нему нет явных или завуалированных отсылок. И тем не менее сам замысел и само построение

книги, когда они окончательно определились, напоминают именно о нем.

Герцен не понял и не оценил «Войну и мир», найдя в ней немало занимательного по части описания нравов давней эпохи, но и много уродств и даже глупостей. Похоже, для него эта книга была просто историческим романом вроде «Рославлева», для которого Загоскин больше перечитал о 1812 годе, чем Толстой. Фаталистический взгляд на великие события, конечно, был ему чужд, он всегда утверждал, что «мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань истории...». Но ведь в главе о Роберте Оуэне из «Былого и дум», о которой Толстой писал автору, что она «слишком, слишком близка моему сердцу», буквально через несколько строк после этой метафорической сентенции, есть и другое. Ткань истории, пишет Герцен, есть «последствие той сложной круговой поруки, которая связывает все сущее концами и началами, причинами и действиями», — лабиринт сцеплений, если прибегнуть к другой, толстовской формуле.

Можно, не преувеличивая, сказать, что подобная «круговая порука» была главенствующей мыслью Толстого, когда он описывал судьбы своих героев. И особенно — когда в эти судьбы вмешивается война.

Тогда в особенно тугой узел оказывается завязана частная и общая жизнь. Граница страданий — Пьер узнал это во французском плену — пролегает совсем рядом с границей свободы, и развязываются даже, казалось бы, безнадежно запутанные узлы, как это произошло в отношениях князя Андрея и Наташи, встретившихся в московском исходе. Историческая драма, сколько бы Толстой ни пытался подчинить ее изображение своей философии, приобретала значение, исключаящее иллюстративность. Она намного больше, чем фон для нескольких параллельно движущихся лирических и семейных сюжетов. Она важна тем, что открывает героям «круговую поруку», и они, прорываясь через все случайное и ложное, чувствуют над собой небо Аустерлица.

Пленительная Наташа в белом дымковом платье на розовом шелковом чехле должна, по логике этой «круговой поруки», стать той озлобленной Наташей, которая кричит матери «Это гадость! Это мерзость!» — узнав, что старая графиня колеблется отдать раненым повозки, заваленные домашним скарбом. И по той же логике она должна стать самоотверженной Наташей, которая просиживает ночи рядом с умирающим Болконским и словно не замечает «тяжкого запаха гнилого мяса, распространившегося от раны».

Окаменевший от нанесенной-ему жестокой обиды, испепеляемый жаждой мести ничтожному Анатолю и презрением к неверной невесте,

князь Андрей, на секунду выйдя из забытья, улыбнется и протянет руку, блестящими восторженными глазами глядя на девушку в ночном чепчике, которая «подошла к нему и быстрым, гибким молодым движением стала на колени». После Бородин померкло то случайное, слишком земное, что их развлекло, и осталась только любовь — та, которая неизмеримо выше страсти, потому что принадлежит миру высших ценностей и смыслов. Мысленно перебирая «главные картины своего волшебного фонаря жизни» и ощущая, как вдруг поблекли прежде прельщавшие его «слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество», князь Андрей останавливает этот ход мысли, слишком мелкой рядом с «теплотой патриотизма», которая сейчас самое главное и для него, и для каждого русского солдата. И это чувство — прежде всего нравственное: им возвышается душа, освободившаяся от всего случайного и преходящего. Вот отчего потом, в лазарете, где рыдает измученный непереносимой болью, обессиленный человек по имени Анатолий Курагин, князь Андрей должен испытать сострадание к своему врагу и вернуться в «мир детский, чистый и любовный», больше не отвергая истин, которым пыталась его учить сестра.

В сознании Пьера происходит такой же перелом, и война, открывшая ему закон «круговой поруки», оказывается мощным катализатором давно готовившегося перерождения. Всегда искавший непререкаемой нравственной истины, Пьер прошел в этих поисках через многие фазисы: через юношеский бонапартизм, мучительную, но безуспешную борьбу со своей чувственностью, масонство, филантропические порывы. Были бесконечные сомнения, были безумные замыслы убить Наполеона, чтобы избавить человечество от узурпатора его неотъемлемых прав и свобод. Потрясение войны и испытание пленом оставили в далеком прошлом все эти метания и порывы. В бараке для пленных он «чувствовал себя ничтожной щепкой, попавшей в колеса неизвестной ему, но правильно действующей машины». А на Девичьем поле, когда расстреливают «поджигателей» и Пьер испытывает ужас и стыд за происходящее, появляется, как ни страшно ему в этом признаться самому себе, чувство, что уничтожилась вся его вера «и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога». Наступает момент непоправимой духовной катастрофы. Но два месяца, проведенных в плену, станут для него спасением, и в его душе произойдет не разорение, а озарение, разрушенный прежний мир сменится другим, воздвигнутым «с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основаниях».

Он воздвигнется после того, как будет пройден крестный путь через

сожженную Москву и обезлюдившие деревни на Смоленской дороге. Ослабнет, словно окутается туманом, память о том, как пристреливали отставших, а уцелевшие спали на голой, сырой земле и месили грязь распухшими, все в струпьях, босыми ногами. Но открывшиеся тогда истины останутся для Пьера действительно незыблемыми. Он понял силу жизненности, какой наделен человек, и от пожилого крестьянина в солдатской шинели — Платона Каратаева — пришло к нему осознание, что жизнь имела смысл не как отдельная жизнь, а «только как частица целого». Каратаев с его спорым говорком, ловкими руками и крестьянской — христианской — психологией как персонаж выписан недостаточно ярко и крупно, чтобы действительно увидеть в нем «олицетворение всего русского, доброго и круглого». И все-таки именно с ним соотносится идея, впоследствии все больше овладевавшая самим Толстым: смирение, органика существования, подчиняющегося вечным законам бытия, добро и простота. Каратаев необходим Толстому уже потому, что в общении с ним «Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом... что так как нет положения, в котором бы человек был счастлив и вполне свободен, в котором бы он был бы несчастлив и несвободен». Страдание и счастье, которые прежде для него, как для всех людей его круга, были враждебными стихиями, предстали как необходимо дополняющие одна другую, потому что счастье — это истинная духовная свобода. А она приходит только к тем, кто способен сопрягать концы и начала, кто смог преодолеть в себе «внешнего человека» и войти в «общую жизнь».

Первый раз эти мысли приходят к Пьеру еще до плена — сразу после Бородина. Картина Бородинского сражения, так не понравившаяся ветеранам и военным историкам, обладает такой художественной убедительностью как раз потому, что создана она не столько с опорой на мемуары и сохранившиеся в архивах репортажи, сколько в психологическом измерении. Преимущественно она видится глазами совсем не военного человека, который оказывается в центре событий, не улавливая их общего смысла, но зато понимающего, что на самом деле представляют собой яростные схватки за какую-нибудь траншею или за крохотный холм, занятый русской батареей. И эта неискушенность Пьера позволяет Толстому не с высоты птичьего полета, а как бы из гущи событий показать, что реально происходит на небольшом пространстве, где под ядрами и пулями сходятся в схватке многие тысячи людей. Их накаляющееся ожесточение, неизбежный хаос штурмов, отступлений и новых атак, героизм, слабость, лужи крови в окопах, грохот канонады, заглушающий

стоны раненых, — вот чем оказывается великая битва, увиденная изнутри, без того мифологического налета, который неизбежно густеет по мере того, как великое событие отдаляется во времени. Толстой не выносил это мифотворчество, из которого складывается упрощенный и прямолинейный образ подобных событий. У него в этом смысле был предшественник — Стендаль, который в «Пармской обители» точно так же, глазами впервые очутившегося на войне юноши, увидел битву при Ватерлоо. Оба они — и Стендаль, и Толстой — были боевыми офицерами, их трудно было обвинить в незнании реальности, и поэтому обоих обвиняли в пристрастии и тенденциозности. И только через много лет после «Войны и мира», уже в XX веке, такая поэтика «ограниченной перспективы» вместо масштабного батального полотна обретет свои неоспоримые права в литературе.

Для Толстого было очень существенно выбрать для своей «ограниченной перспективы» даже не князя Андрея, получившего на Бородинском поле смертельное ранение, а Пьера, фактически почти не участвующего в самом деле: он только столкнется в окопе с французским офицером и после короткой рукопашной их обоих подхватят волны атакующих и отступающих солдат. Бородино необходимо ему еще и как первый акт духовного перерождения героя, которому во всей галерее, представленной на страницах «Войны и мира», отведено особенно важное место. После Бородина, ночуя на постоялом дворе в забитом ранеными и солдатами Можайске, Пьер со стыдом вспоминает свою слабость и думает о том, как тверды, как спокойны оставались «они» — «странные, неведомые ему доселе они», защитники батареи Раевского, на долю которых выпал такой мощный французский натиск. И тут какой-то неслышимый голос говорит ему, что без страдания человек «не знал бы границ себе, не знал бы себя самого», и голос этот уже не умолкнет. Еще будет состояние смятения, безвыходности, безнадежности, но прежняя жизнь Пьера уже надломилась. В плену она оборвется окончательно.

Он в эти два месяца научился словно не замечать лишений, испытыва такую нравственную собранность и такое чувство радости и крепости жизни, каких никогда не знал прежде. Все бывшее: озлобление против жены, страх за свою репутацию, вычисления по Апокалипсису, доказывающие, что не кто иной, как он призван покончить с Наполеоном, — теперь для Пьера и непонятно, и смешно. Реально и важно совершенно другое: «круговая порука», сцепления и сопряжения. Преломленная в человеке «общая жизнь». И та мудрость, которую Пьеру подсказал Каратаев, живший этой мудростью, пусть он никогда бы не смог выразить ее словами: «Жизнь есть всё. Жизнь есть Бог. И пока есть жизнь, есть

наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, любить Бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».

Завершив «Войну и мир», Толстой всю последующую жизнь будет стремиться к тому, чтобы и для него самого это правило сделалось аксиомой.

Подрезанная яблоня

Страница из ноябрьского дневника Толстого 1873 года: «Еду на порошу. Я смолоду стал анализировать все и немилостиво разрушать. Я часто боялся, думал — у меня ничего не останется целого; но вот я старею, а у меня целого и невредимого много, больше, чем у других людей. Орудие ли анализа у меня было крепко, или выбор верен, но уже давно я более не разрушаю; а целыми остались у меня непоколеблены — любовь к одной женщине, дети и всякое отношение к ним, наука, искусство — настоящие, без соображений величия, а с соображением настоящности наивного, охоты — к деревне, порою к севру... и все? Это ужасно много. У моих сверстников, веривших во все, когда я все разрушал, нет и $\frac{1}{100}$ того».

Пройдет всего несколько лет, начнется период тяжелого духовного кризиса. Толстому, должно быть, странно будет вспоминать прежнее свое чувство цельной, прочной жизни, в которой ничто не подлежит разрушению или хотя бы серьезному сомнению, когда дело касается главных ценностей. Но в пору работы над романом «Война и мир» и сразу по его завершении это чувство было у него почти незамутненным. Орудие анализа оставлено только для литературы и для науки, под которой Толстой понимал педагогическую деятельность, опять увлекшись ею со всей страстностью. Семейные отношения кажутся ему настолько гармоничными, что тут анализировать просто нечего. Наивность, которая для него является синонимом всего простого, неподдельного и настоящего, осознана как достигнутый идеал. Он деревенский житель и, значит, человек природы, а не цивилизации, пусть пристрастный к тонкому фарфору и к чтению французских журналов. Он не испытывает собственной причастности к миру государственному, как, впрочем, и к миру интеллектуальному. Все это — реформы, политика, земство, нигилисты, почвенники — существует как бы в другом измерении. Смолоду присущее Толстому стремление держаться в стороне от всех теорий и не связывать себя ни с одним общественным поветрием теперь, когда он окончательно

уверился в своей органической чуждости интересам и побуждениям времени, в которое ему выпало жить, становится осознанной позицией.

В «Анне Карениной» Константин Левин, персонаж, выступающий как другое «я» автора, защищается от упреков в общественной пассивности, которыми его осыпает сводный брат, «человек огромного ума и образования... и одаренный способностью деятельности для общего блага». Сергей Иванович Кознышев не верит, что отказ Левина заниматься обустройством больниц для крестьян и школ для их детей вызван равнодушием или неумением. Кознышев доказывает вещи как будто азбучные: честный человек не может не работать для народного просвещения, он обязан по мере сил противодействовать косности и несправедливости. А Левин, зная, что аргументы Кознышева теоретически неопровержимы, все-таки не может с ними согласиться по одной, но очень веской причине: он считает, что «двигатель всех наших действий есть все-таки личное счастье». И поскольку его личное счастье несколько не зависит ни от медицинских пунктов, ни от мировых судей, ни от крестьянских школ, он, пробовавший внести лепту в эти прогрессивные начинания, но уверившийся в их полной практической бесполезности, с горячностью говорит, что отстаивать готов лишь те права, которые затрагивают его личный интерес.

Левин мог бы показаться сухим эгоистом, если бы для него деревня и народ оставались такими же абстракциями, как для Кознышева, который ездит к брату просто наслаждаться летним отдыхом и бездельем. Однако для Левина «деревня была место жизни, то есть радостей, страданий и труда», а не то «противоядие от испорченности», каким считал деревенские месяцы Сергей Иванович, который, проведя несколько часов на реке с удочкой, любит повздыхать о мраке и безобразиях, творящихся в уезде. И народ для Левина вовсе не та отвлеченная субстанция, которую к месту и не к месту поминают в разговорах с либеральным душком. Народ — это «главный участник в общем труде», почти без остатка поглощающем время и самого барина, втянутого в спор о том, нужно или не нужно хлопотать о больницах, после того как весь день проведен им на пахоте и на лугах. Левин отстаивает личный интерес и личное счастье, по праву осознавая себя не в стороне от народа, а как часть народа. Не умея опровергнуть умозрительные построения Сергея Ивановича, он все-таки твердо знает, что правда в этом споре осталась за ним. Что его личное счастье — разумно построенное хозяйство, близость к мужикам, будущая семья, чистая трудовая жизнь — это, в сущности, и есть частица общего блага, о котором так хлопочет, ничего реально для него не делая, Кознышев и так

обожает толковать весь представленный Кознышевым интеллигентский круг.

Левину, каким он предстает в этой сцене, отданы мысли, выражающие заветные убеждения Толстого, пока, в самом конце 1870-х годов, не обозначились ясные признаки начинающегося перелома. Толстой словно совершенно позабыл, с какой категоричностью отрицал в молодости самую возможность построить свой отдельный спокойный и счастливый мирок. Как увлеченно доказывал в письме к «бабушке» Александрин: «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать». Как решительно расставался с пустыми грезами о счастье «без путаницы, труда, ошибок, начинаний, раскаяний, недовольства собой и другими».

Заблуждаться и мечтать — *zu irren und zu traumen*, говоря словами не раз цитируемого им в дневниках и переписке Шиллера, — было девизом его юности. Счастливый в своем семейном быте, чувствующий, что пришло время расцвета его художественного дарования, убежденный в прочности найденного им стержня жизни, Толстой как будто не нуждался в этом девизе, и слова Левина о личном интересе вполне выражали его новое верование. Однако он оставался самим собой, человеком, который без «энергии заблуждения» не мог испытывать ни веры в себя, ни творческого состояния, ни чувства полноценной жизни. Эта «земная стихийная энергия, которой выдумать нельзя», не убывала в нем и в те первые годы после написания «Войны и мира», когда он совершенно искренне был убежден, что душевное равновесие им обретено надолго, может быть, и навсегда. Он верил, что все его помыслы отныне будут отданы одному: уж конечно, не «соображением величия» да и вообще не литературе, а семье, Ясной Поляне да еще «Азбуке», которую Толстой тогда считал едва ли не самым главным делом своей жизни. Но «энергия заблуждения», пусть ее выплески оставались чаще всего незримыми, вносила творчески продуктивный беспорядок, корректируя вычерченный план жизни под доминирующим знаком личного счастья.

*

Впрочем, план этот осуществлялся практически без сбоев целых полтора десятилетия, пока небо над Ясной Полянкой оставалось безоблачным. Семья, хозяйство, личное счастье и только потом литература — Толстой тогда верил, что такую градацию ценностей установил для себя навеки. После «Войны и мира» должна была наступить творческая пауза;

она продлится четыре года, хотя за это время будет создана «Азбука» (собственно, тоже представлявшая собой своего рода бегство от литературы в другую область деятельности, в педагогику), а первая мысль об «Анне Карениной» относится еще к зиме 1870 года. Распорядок жизни в эти годы подчинен семейному обустройству. Как раз в 1870 году записав в дневнике, что творчески производительны лишь то, что безумно, а разумное бессильно, Толстой, однако, следует прямо противоположной установке. Из страха ли перед неожиданными вспышками своей потаенной «дикости» или из желания собственным примером доказать теорию личного счастья как главного побудительного интереса всех людей он стремится насаждать разумность во всем своем обиходе.

«Я чувствую себя яблоней, которая росла с сучками из земли и во все стороны, которую теперь жизнь подрезала, подстригла, подвязала и подперла, чтобы она другим не мешала и сама бы укоренялась и росла в один ствол, — писал он Александрин, прожив в браке неполных три года. — Так и я расту; не знаю, будет ли плод и хорош ли, или вовсе засохну, но знаю, что расту правильно». Из другого письма «бабушке», относящегося к тому же времени, ясно видно, что для Толстого значило в ту пору «правильно расти». Он знает, что, избрав колею семейной жизни с ее умеренностью, долгом и нравственным спокойствием, пошел «битой дорогой», пожертвовал «гордостью и потребностью самобытности». Но он готов к этой жертве. Зато «никогда я так сильно не чувствовал всего себя, свою душу, как теперь, когда порывы и страсти знают свой предел». И для него семья, которая, как ему кажется, отодвинула на второй план все остальное, даже «Войну и мир», — это опыт «внутреннего воспитания».

Он хотел бы себя видеть любящим мужем и примерным отцом, рачительным и умным помещиком, правоверным прихожанином. Хотел бы, чтобы его совсем перестали задевать злоба дня, общественные волнения и литературные конфронтации, и предложил историку Погодину совместно учредить журнал с вызывающим названием «Несовременник», в котором авторы высказывались бы не о преходящем, а о вечном, рассчитывая на читателей отдаленного будущего. Хотел бы, чтобы ценители «Войны и мира» перестали восторгаться «чувствительными сценами» и прочей «дребеденью» того же рода, а прониклись философскими идеями, выраженными автором, и прежде всего усвоили его понимание границ свободы и меры человеческой зависимости.

Фет, как многие другие, не хотел верить, что это настроение овладело Толстым всерьез и надолго, но письма, приходившие из Ясной, начали вызывать у него тревогу. Толстой, кажется, всерьез решил забросить

литературный труд и без остатка отдаться своему семейному и помещичьему быту. «Я, благодаря Бога, нынешнее лето глуп, как лошадь, — писал он Фету 14 июня 1870 года. — Работаю, рублю, копаю, кошу и о проклятой лит-т-тературе и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю». Присланное Фетом стихотворение «Майская ночь» прекрасно, но еще прекраснее доставленная накануне с завода в Ясную кобыла-трехлетка, само совершенство.

Полгода спустя свое намерение оставить литературу Толстой в письме Фету выражает еще решительнее. Он увлекся изучением греческого языка и чтением древних авторов. Эти авторы — Ксенофонт, Гомер — для него олицетворение всего истинно прекрасного, в частности, и потому, что переносят в область высших идеалов и вечно повторяющихся коллизий бытия, не то что «лит-т-тература», озабоченная мелочным и преходящим. Сам он, заплатив дань «лит-т-тературе», больше не подходит и не намерен подходить к рабочему столу. Во всяком случае, «писать дребедени многословной вроде Войны» он не станет никогда.

Эта же тема постоянно присутствует в письмах Толстого к своему самому пронизательному и дальновидному критику Николаю Страхову. Две статьи Страхова о «Войне и мире», опубликованные вскоре по завершении этой книги, обратили на себя внимание автора. Завязалось эпистолярное знакомство, вскоре переписка сделалась регулярной и продолжалась до смерти Страхова в 1895 году. Летом 1871 года Страхов впервые приехал в Ясную. С тех пор он бывал там регулярно, считая яснополянские недели и месяцы лучшим временем своей одинокой, несложившейся жизни. Сделавшись хранителем петербургской Публичной библиотеки, он стал неутомимым помощником писателя, а Толстой сблизился с ним настолько, что даже называл Страхова своим единственным духовным другом.

Сын священника, костромской семинарист, Страхов, в отличие от многих выходцев из этой среды, остался верен религиозному мирозерцанию, которое не поколебалось, а даже наоборот, усилилось после детального знакомства с материалистической философией и с современной наукой на математическом отделении университета. Он непримиримо враждовал с дарвинизмом и со всей философской школой, выросшей на этой почве, он был убежденным русским патриотом, близким к славянофильству. Как критик, впервые обративший на себя внимание статьями, напечатанными Достоевским в его журнале «Время», он раз за разом выступал оппонентом «передового направления» — Добролюбова и его последователей.

Его позиция в целом была Толстому близка, что не исключало разногласий и в философских, и в литературных вопросах. Для Страхова писатель Толстой был поистине божеством, хотя те его идеи, которые привели к конфликту с официозным христианством, он разделял с оговорками. «Когда проснусь, — признался однажды Толстой, — то первое, что представляется, — это мое желание общения с Вами». А вот что писал «бесценному Льву Николаевичу», проведя у него лето 1876 года, Страхов: «Не счастье ли, не величайшее ли счастье знать такого человека, как Вы, и побывать в таком уголке земли, как Ясная Поляна? Вы создали вокруг себя этот чудесный мир, такой цельный и стройный, и в нем господствует Ваш дух: простой, высокий и чистый... В Ясной Поляне возможны всякие человеческие бедствия, кроме одного — невозможна скука, потому что центр этого мира — человек, непрерывно растущий душою. И смысл этой жизни я не могу иначе назвать, как *святостью*; это культ чистоты, простоты, добросовестнейшее и непринужденнейшее стремление к высшим целям человека».

Со Страховым Толстой был откровенен как ни с кем больше. И как раз в письме к Страхову, помеченном мартом 1872 года, он признался в пресыщении литературой и указал причины. Среди них «стремление к высшим целям» оказалось, наверное, главной. Литература, не исключая и Пушкина, перестала удовлетворять Толстого своей искусственностью, мешающей воплотить «драгоценные мысли» так, чтобы они не оказались погребены под сугубо литературными приемами и деформированы ненатуральным, чисто литературным языком. Она, по ощущению Толстого, превратилась в бесконечную полемику вокруг таких эфемерностей, как консолидация «братьев-славян» или какое-то «хоровое начало», которое, как утверждал столп славянофильства Константин Аксаков, составляет нравственную суть крестьянской общины. Выстрелы, которые с обеих сторон гремят в этой бессмысленной полемике, попадают «только в одну башню» этой «дурацкой литературы», тогда как жизнь идет своим путем, не желая принимать во внимание подобных пустяков. Но «под выстрелами нельзя строить, надо уйти туда, где можно строить», то есть башня должна быть покинута — для того чтобы не пропали под спудом условностей «драгоценные мысли», а самое важное, чтобы пути литературы и жизни, наконец, совпали.

Для Толстого в ту пору выход из башни был только один — народная поэзия. «Азбуку», опубликованную осенью того же 1872 года, он считал самой важной из книг, что были им созданы прежде. Мелькнувший сюжет «Анны Карениной» был не просто отложен на далекое будущее — Толстой

запретил себе обдумывать и разрабатывать эту тему, считая, что «дурацкая литература» для него кончилась навсегда. Он хотел пойти «ниже», веря, что «там будет свободно». Этим попыткам, к огорчению Страхова и всех, кто дорожил писательским талантом Толстого, были отданы без малого три года. Результат оказался намного ниже того, который ожидал Толстой. Возвращение в литературу, к счастью, состоялось, однако это вовсе не означало, что исчезла духовная и нравственная мотивация, побуждавшая Толстого от нее отречься.

*

Замысел «Азбуки» был чрезвычайно ответственным. Толстой верил, что по его книге будут учиться несколько поколений всех русских детей, от мужицких до царских. И из нее получают первые поэтические впечатления.

«Написав эту азбуку, мне можно будет спокойно умереть», — пишет он Александрин, когда работа завершена и «гордые мечты» исполнены. Рукопись получилась очень большая: сама азбука, для которой, помимо сочиненных Толстым крошечных рассказов, на каждую букву давались пословицы и загадки — всего их было 254, — да еще раздел арифметических задач и обширный литературный материал. Он при переиздании 1875 года был выделен в четыре «Русские книги для чтения».

В книги эти вошли обработанные или переделанные Толстым сказки, былины, басни и составленные им самим — иногда на основе сочинений, которые писали ученики его яснополянской школы, — «были», то есть рассказы о разных случаях из жизни, помогающие усвоить то или другое этическое правило. Кроме того, в книгах имелись «описания» и «рассуждения». Цель этих описаний была в том, чтобы ребенок получил первое понятие о явлениях, которые ему известны разве что понаслышке. Толстой доходчиво рассказывал о том, что такое море и кто такие эскимосы. Объяснял, откуда берется тепло, отчего бывает ветер, почему в мороз дерево трещит, а дверь забухает. Как образуются кристаллы. Каким образом устроен компас и что собой представляет магнит.

Приводились географические и исторические сведения, почерпнутые из классических трудов — из Геродота, из Плутарха, а также из русской летописи. В конце всех разделов были методические указания для учителей. Дело учителя состояло в том, чтобы у учеников появился интерес к различным областям знания: к ботанике, химии, физике, зоологии.

Предполагалась некая универсальная книга для начального

образования. В этом своем качестве она не имела успеха, и Толстой сам констатировал, что «Азбука не идет». Впрочем, ничуть не поколебалась его уверенность, что книга еще будет востребована — и неоднократно. «Я же положил на нее труда и любви больше, чем на все, что я делал, — пишет он Александрин в январе 1873 года, — и я знаю, что это — одно дело моей жизни важное. Ее оценят лет через десять дети, которые по ней выучатся».

Учились по ней главным образом крестьянские дети. Да и создана «Азбука» прежде всего для них. Те, кто не был знаком с повседневным крестьянским обиходом, многое в «Азбуке» просто не понял бы, хотя Толстой и объяснял в примечаниях, что осекой называется место, где ставят пчел, а свясла — это соломенные жгуты, которыми связывают сноп. Зато городским не понадобились бы другие примечания: Лондон — главный город у англичан, а Париж — у французов.

В том, что дело народного просвещения должно быть прежде всего сосредоточено на сельской школе, Толстой был убежден еще с той давней поры, когда в Ясной Поляне проводил свой первый педагогический эксперимент, закончившийся женитьбой. Он верил, что среди «маленьких мужичков» непременно отыщутся новые Ломоносовы и Пушкины. Чтобы не дать им погибнуть, он начал создавать «Азбуку», без остатка отдавая ей творческую энергию, пока она не была окончена, а затем стал разрабатывать новый метод обучения грамоте. Суть и направленность своих усилий Толстой охарактеризовал в большой статье «О народном образовании», которую в 1874 году, возобновив давно прерванные отношения с Некрасовым, отдал в его журнал «Отечественные записки». В этой статье очень резкой критике подвергнута вся современная педагогика за ее «полное незнание и нежелание знать народ и его требования». А «народ» — это мужики, которым дела нет ни до передовых методов, ни до прогрессивных направлений, и детей их нужно обучить русской и славянской грамоте да счету.

Поддержки в среде педагогов эти взгляды, разумеется, найти не могли. Посыпались обвинения в ретроградстве. Язвительно замечали, что, объявив ненужными все методы, которые выработаны наукой, странно изобретать еще один — тот, который предлагает сам Толстой. Педантство профессионалов находили более приемлемым, чем педагогический нигилизм, который проповедовал Толстой.

Он защищался. В Московском комитете грамотности по просьбе Толстого на опыте проверяли его слуховой метод, который, как предполагалось, позволял выучиться читать быстрее, чем обычный, звуковой. Сам Толстой демонстрировал достоинства своей системы, дав

урок неграмотным рабочим фабрики Ганешина на Девичьем поле. Потом занятия вел один из учителей, работавших в яснополянской школе еще в 1860-е годы. С другой группой занимался назначенный комитетом педагог, приверженец принятой методики. Сравнили результаты, проведя экзамен. Сравнение оказалось не в пользу Толстого. Ему оставалось утешиться только тем, что народ сам решит, какой способ лучше. Так он и заявил на последнем заседании комитета: «Кто прав и виноват, судья в этом народ — те самые крестьяне, которые платят нам и нанимают нас, чтобы мы им работали».

Народ, и не только крестьяне, оказался безупречным судьей не в педагогических тонкостях, а в том, что относилось к «Русским книгам для чтения». Они при жизни Толстого переиздавались множество раз и стали признанной классикой литературы для детей. Даже беспристрастные педагоги, такие, как профессор Рачинский, признали, что «нет в мире литературы, которая могла бы похвалиться чем-нибудь подобным».

В эти лаконичные — от трех строк до нескольких страниц — тексты Толстой вложил неимоверный труд. Были перечитаны груды книг: Толстой считал, что для его «Азбуки» нужно знать очень многое — не только русский фольклор, но и греческую, индийскую, арабскую литературу, а также естественные науки. Словом, работы, если ее делать добросовестно, хватило бы на сто лет. Никакого щегольства эрудицией, никаких литературных изысков не допускалось: «Надо, чтобы все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно». Эта установка строго выдержана во всех четырех книгах для чтения. И жесткость, с какою Толстой следовал объявленному им художественному принципу, объяснялась, конечно, не одной только заботой о доступности текста для маленького читателя.

Если сопоставить толстовские версии с теми вариантами русских сказок, которые предлагались в изученных им сборниках лучших собирателей, или сравнить его обработки былин о Святогоре и о Микуле Селяниновиче с записями, имеющими статус канонических, сразу станет ясно, что он вовсе не пытался подражать народному творчеству. Он создавал особый вид литературы, идущей от поэтических форм фольклора, однако не имитирующей эти формы, а только их использующей для достижения ясности, лаконичности и простоты понимания. Сами эти цели, несомненно, являлись осознанным вызовом современной «дурацкой литературе», которая сделалась неприемлемой для Толстого, решившего навсегда покинуть ее «башню».

Когда работа над «Азбукой» подходила к концу, Толстой писал Страхову: «Заметили ли вы в наше время... упадок поэтического

творчества всякого рода — музыки, живописи, поэзии... Мне кажется, что это даже не упадок, а смори, с залогом возрождения в народности. Последняя волна поэтическая — парабола была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы грешные, и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплывет, Бог даст, а пушкинский период умер совсем, сошел на нет». Осознавая себя среди «нас грешных», кто начинал в границах пушкинского периода, Толстой свою надежду «выплыть» теперь, когда этот период, по его ощущению, умер, тоже связывает с народностью, то есть со способностью обрести новый художественный язык, овладев формами поэтического мышления, выработанными фольклором. «Азбука», по сути, и затевалась прежде всего с этими надеждами, как бы искренне ни увлекался Толстой того времени народным образованием и сколько бы сил ни положил на педагогическую реформу. Понятны причины, заставлявшие Толстого отречься от опостылевшей «лит-т-тературы», но подавить в себе писателя — это для него было попросту невозможно.

Простота, краткость и ясность, конечно, ощущались им не только как новый стиль. Толстой считал, что в этой простоте спасение литературы. Она обречена, если останется приверженной ложным приемам, ложному языку, «которым мы пишем и я писал». Она повторит судьбу «Бедной Лизы», которая «выжимала слезы, и ее хвалили, а ведь никто никогда уже не прочтет». Не та же ли самая участь уготована «Войне и миру», особенно той «чувствительной дребедени», которой там непозволительно много? Другое дело песни, сказки, былины — «все простое будут читать, пока будет русский язык».

Рассказы и обработки, составившие «Русские книги для чтения», общая для всех них идея «рисунка карандашом без теней», так что преобладает «простота и ясность штриха, т. е. языка», — это для Толстого преодоление литературности, губящей литературу. Но оказалось, что такую задачу он считал намного важнее, чем «понятность и интерес для детей», которым, если верить одному из авторских пояснений к «Азбуке», была подчинена вся его работа. Занимательная фабула, узнаваемое происшествие и необычный ракурс, в котором оно увидено, игра, отказ от всякой вычурности, невозможность сентиментальности или фальши, детали, делающие описание наглядным, а саму историю абсолютно правдивой, ненавязчивое поучение — после «Азбуки» нельзя будет писать детские книги по-другому. Но сам Толстой стремился к большему. Безошибочно почувствовав приметы кризиса всей той словесности, которая оставалась в границах «пушкинского периода», он пробовал этот кризис преодолеть

отказом от всех накопленных тогда литературных обретений, прежде всего от утонченности и изощренности. А отрицая «период», парадоксальным образом возвращался именно к Пушкину. Ведь «Повести Белкина», «Капитанская дочка», наброски прозы (один из них, «Гости съезжались на дачу», окажется зерном, давшим первый росток будущей «Анны Карениной») как раз и являлись самым чистым образцом той простоты и ясности, которые, по его мнению, и отличают настоящую литературу. От «Азбуки» нити протягиваются и к пушкинской прозе, и к таким будущим свершениям Толстого, как «Много ли человеку земли нужно», «Хозяин и работник», «Власть тьмы», «Алеша Горшок» (этим рассказом восхищался Александр Блок).

В самих «Книгах для чтения» уже содержались ставшие хрестоматийными примеры художественного языка, который возвращает к истокам пушкинской традиции, а вместе с тем резко противостоит всему созданному ее наследниками, в особенности Тургеневым. Вовсе не случайно среди очень разнообразного материала, использованного Толстым для обработок и переделок, полностью отсутствуют произведения, написанные его современниками, и вообще тексты, принадлежащие другим писателям. Песни, собранные в книге Кирши Данилова «Древние российские стихотворения», былины, изданные П. Н. Рыбниковым, сборник В. И. Даля «Пословицы русского народа» и «Русские народные пословицы», собранные И. Н. Снегиревым, — вот основные источники, которыми пользовался Толстой. Но никто из русских авторов, писавших на фольклорные сюжеты до Толстого, в «Азбуке» не представлен. И хотя в ней очень много басен, Толстой ни разу не обратился к Крылову. Он обращался непосредственно к первоисточнику — к Эзопу, прочитанному по-гречески, а крыловские переложения, нередко делавшиеся вслед за французскими версиями Лафонтена, отверг как разновидность «лит-т-тературы».

Среди подготовительных материалов к «Азбуке» есть список повестей, которые можно было бы, переделав, включить в будущую книгу. Это пушкинские «Барышня-крестьянка» и «Дубровский», гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Коляска». Но Толстой отказался от этого плана. Только одно произведение, созданное профессиональным литератором, нашло свое место в его «Книгах для чтения» — это «Записки из Мертвого дома». Достоевским, видимо, в какой-то мере навеян сюжет одного из самых ярких толстовских рассказов, вошедших в «Азбуку». Он называется «Бог правду видит, да не скоро скажет».

О «Записках из Мертвого дома» Толстой всегда отзывался с восхищением. Страхову в 1880 году он писал: «Не знаю книги лучше из

всей новой литературы, включая Пушкина. Не тон, а точка зрения удивительна — искренняя, естественная и христианская». Такой же оценки достоин его собственный рассказ про владимирского купца Аксенова, которого ошибочно обвинили в убийстве и двадцать шесть лет продержали на каторге. В Сибири состарившийся герой встречает преступника, погубившего его жизнь, а когда тот замышляет неудавшийся побег, Аксенов, подавив в себе чувство мести, не выдает своего обидчика, но так и не находит сил его простить. Слишком тяжела память о том, как его секли на лобном месте и потом с колодниками гнали в далекий острог, навеки оторвав от любящей молодой жены и от детей. Слишком тяжело примириться с судьбой, которая была к нему так беспощадна. И запоздавшее раскаяние того, кто повинен в трагедии Аксенова, уже ничего не переменит. И упование на Бога, которому ведома правда, оказывается слишком слабым утешением, когда в мирской жизни правда бессильна.

Но озлобленности в умирающем Аксенове нет и следа, а испытание несправедливостью, которое составляет истинный сюжет рассказа, описано Толстым так, что и без ожидаемой ноты смирения, просветления перед смертью рассказ напоминает жития праведников. В этом смысле общность с Достоевским несомненна. Но еще несомненной стремление Толстого найти форму и язык, привычные народному сознанию, которому жития мучеников понятнее и привычнее, чем любая литература.

В «Кавказском пленнике», маленькой повести, которую Толстой поместил в самом конце последней книги для чтения, это стремление столь же очевидно. Повесть навеяна воспоминаниями армейской юности: Толстой не забыл своего глупого молодчества, когда только находчивость и удаля Садо уберегли его от той участи, которая уготована герою повести офицеру Жилину, прожившему несколько месяцев в плену у немирных чеченцев. Когда велись переговоры с «Русским вестником» о печатании первого тома «Войны и мир», там же, в журнале Каткова, появились подписанные литерой Т. «Воспоминания кавказского офицера», видимо, прочитанные Толстым. Автором был кирасирский полковник Ф. Ф. Торнау, который в 1836 году попал в плен и два года прожил в ауле, откуда дважды бежал — второй раз удачно. Торнау обошелся без романтических красот, описав повседневный быт горцев выразительно и правдиво, хотя интонации Байрона и Марлинского иной раз дают себя почувствовать, когда на сцену является дикарка, без памяти влюбившаяся в узника и мечтающая выйти за него замуж.

У Толстого такая же дикарка помогает Жилину выбраться из ямы, куда его бросили, поймав после первого побега. Однако в героини любовной

истории эта черноглазая Дина не предназначена. Пленник мастерит для нее кукол из глины, да она и вправду совсем ребенок, еще не ожесточившимся сердцем чувствующий, что надо помогать человеку в беде. Сюжет «Кавказского пленника» — тоже испытание, только на этот раз не тем коварством и злобой, которые изуродовали жизнь Аксенова, а обстоятельствами, требующими от героя собранности, мужества и воли. Нет в этой истории ни правых, ни виноватых: своя правда есть и у горцев, защищающих доставшиеся от предков обычаи, какими бы они ни казались жестокими пришельцам из России, и у Жилина, который защищает собственную жизнь. И вновь история, очень обыденная в годы кавказских войн, под пером Толстого приобретает сходство с житием: пленение, сопротивление, спасение. Не понадобились ни исторические комментарии, ни романтика, ни оттенки переживаний главных действующих лиц. В русской литературе уже существовали два «Кавказских пленника» — на их фоне особенно видна новизна художественного решения, выбранного Толстым. И у Пушкина, и у Лермонтова очень важны экзотическая красочность фона, на котором происходит действие, и насыщенность чувства, испытываемого героем. Толстому необходима простота. Вместо персонажа, наделенного чертами исключительности, ему необходим рядовой человек, который достойно выносит суровые удары судьбы и собственными усилиями ее побеждает. Литературность изгоняется, чтобы достичь эффекта непосредственного присутствия самой жизни в ее безыскусной правде.

Но перед читателями «Азбуки» является все-таки не эта неприкрашенная жизнь, а именно литература, только совсем другого рода и качества, чем все, что утвердилось в границах «пушкинского периода».

*

Меж тем яснополянская жизнь шла размеренно и ничто не угрожало стабильности, прочности ее обихода, налаженного стараниями Софьи Андреевны. Рождались дети: Илья — в 1866 году, Лев — в 1869-м, Мария — в 1871-м. Последние роды были очень трудными, несколько дней опасались за благополучный исход начавшейся горячки, и, может быть, помня перенесенные тогда страдания, Софья Андреевна годами испытывала к своей второй дочери чувство, которое трудно назвать материнским. И дочь это осознавала еще в младенчестве. Сохранилось ее письмо ко Льву Николаевичу, написанное в 1897 году, — очень

откровенное, поскольку между нею и отцом установилась полная доверительность: «Мои отношения с мамой всегда были для меня с самого детства, с тех пор как помню, большим горем... Мама до такой степени привыкла не любить меня, что, обижая и делая мне больно, она не замечает этого, и то, что мне обидно, ей кажется совсем не обидным». Сам Толстой рано осознал, что это какой-то необыкновенный ребенок, и сильно тревожился за ее судьбу. Маше было всего два года, когда он писал о ней Александрин: «Очень умна и некрасива. Это — будет одна из загадок. Будет страдать, будет искать, ничего не найдет; но будет вечно искать самое недоступное». В своем предсказании он почти не ошибся.

Петя явился на свет через два года после сестры. В том же письме об этом «огромном, прелестном беби в чепце» Толстой отзывается с редким для него умилением, потому что ребенок, как правило, становился ему интересен только после того, как достигал возраста, когда с ним возможно какое-то умственное общение. С Петей оно не установилось: в ноябре 1874 года он, не дожив до полутора лет, умер от крупа. Это была первая смерть в семье, и пустоту, которая воцарилась в доме после перенесенной трагедии, родители — Лев Николаевич, Софья Андреевна — переживали крайне тяжело. А вскоре последовали новые удары: сын Николай, которого еще не отняли от груди, заболел менингитом и умер в феврале 1875 года, в октябре того же года преждевременно родилась дочь Варвара, и ее едва успели окрестить.

Ощущение безграничного счастья было омрачено, но все-таки не исчезло. На склоне лет старшие дети, все трое — Сергей, Татьяна, Илья — написали мемуарные книги, с редкой пластичностью воссоздав атмосферу, в которой они росли. Это атмосфера гармонии и радости. Уединение, очень редко нарушаемое: железной дороги еще нет, в распутицу трудно добраться даже до Тулы, расположенной совсем рядом; лишь время от времени приезжает из Пирогова, проехав тридцать пять верст, Сергей Николаевич да заглядывает по пути из Москвы в свою Степановку Фет, которому «нигде так не семейно и не тепло, как в Ясной Поляне». Мать сама учит детей читать и писать, отец занимается с ними арифметикой. Деревенские сверстники не допускаются в дом — Софья Андреевна не выносит их грязных рук, залатанных штанов, прилипшей к губам шелухи от семечек. Лишь на Святки приходят ряженые: вот тогда в усадьбе дым стоит коромыслом. Катаются на санях, причем особое удовольствие заключается в том, чтобы вываливаться из них на ухабах. Пляшут «Барыню», которую играют в четыре руки на рояле. На Сережу надевают женское платье, на Таню — костюм маркиза, и они танцуют польку с фигурами, не имеющую

успеха у дворни. Зато как уморителен папа, изображающий козу! А его старый приятель Дьяков, приехавший в гости, вырядился поводом медведя и ведет на поводке своего приятеля, который для такого случая вывернул наизнанку полушубок и встал на четвереньки.

Дочери Марии Николаевны, «зефироты», своим кузенам все-таки не компания, они намного старше, да и бывают теперь нечасто. Только летом у детей Толстых появляется общество. Это приехала со своим семейством обожаемая тетя Таня. Добираться ей сложно — муж служит в Кутаисе, путь до Ясной оттуда дальний и утомительный. Однако она знает, какой праздник каждый ее приезд, да и сама стремится к Толстым всей душой.

Шесть недель проходят в полной праздности: ни уроков, ни чтения. Младшие Толстые и маленькие Кузминские дни напролет пропадают в яснополянских лесах, где так много рыжиков, а подберезовики случалось находить даже младенцам. Ходят на чистую и прохладную реку Воронку, где оборудована купальня со специальным ящиком для детей, — Лев Николаевич любит там бывать с сыновьями. Катаются в экипаже по лугам, соревнуются, кто сделает больше кругов на *pas de grant*, карусели с большими веревочными петлями, установленной на утрамбованной площадке парка. Во флигеле, который каждое лето убирают и моют к приезду тети Тани, хлопочет кухарка, толстая Трифонова; по воскресеньям там устраивают большие совместные обеды для обеих семей.

Позднее, уже в 1880-е годы, перед лестницей в прихожей главного дома летом стоял почтовый ящик, и всю неделю туда бросали неподписанные листки: стихи, рассказы или просто забавную чепуху. В воскресенье ящик вскрывался, написанное читали вслух, и нужно было угадать, кто автор. Это оказалось нетрудно, автора выдавал если не стиль, то почерк, а Лев Николаевич свои записи помечал. Тем не менее все были заинтригованы. Листочки — истинная хроника яснополянского лета, из них становится известно, кто с кем поссорился, кто тайком бегал на псарню к старушке Агафье Михайловне, так любившей всякую живность, что она прикармливала даже тараканов и блох, кто кому признавался в своих романтических чувствах и какой получил ответ. Толстой относится к почтовому ящику серьезно. На его листках вопросы, нелегкие для юного ума, но, может быть, самые важные. Вот такие: отчего повара и лакеи должны обслуживать, а господа только кушать и сорить, когда надо влюбляться и когда выходить замуж? Хорошо или нехорошо, что существуют правила учтивости, если они относятся только к людям своего круга, а к мужикам нет?

Однажды он написал, какие у каждого яснополянского жителя идеалы.

Оказалось, что Софья Андреевна хотела бы стать терпеливой и мудрой, как Сенека, а также иметь сто пятьдесят малышей, которые бы никогда не вырастали. Ее сестра хотела бы всегда оставаться молодой и свободной женщиной, а Таня-младшая мечтает о душевной тонкости и о новых башмаках. Сын Лева стал совсем большим и видит себя редактором газеты «Новости», племянница Маша грезит о большой семье и орошает свои грезы слезами умиления, а младшим только бы напихиваться весь день разной дрянью.

О себе он написал: «1. Нищета, мир и согласие. 2. Сжечь все, чему поклонялся, — поклониться всему, что сжигал».

Но к таким настроениям он придет еще нескоро. А на исходе первого десятилетия семейной жизни Толстому показалось бы невозможным даже предположение, что когда-нибудь появится искус отречься от того, чему он искренне поклонялся, — от неомраченной гармонии яснополянского дома. Он любил в этом доме все: тишину утренних часов, когда никто не посмеет оторвать его от работы, и веселые голоса детей, вернувшихся из леса со сморчками и с букетами темных душистых фиалок. Стоящий в зале старый рояль, за которым так любит посидеть жена, когда ей удастся оторваться от пеленок и от детской. Ритуал, называемый «нумидийская конница», — отец вдруг вскакивает и, высоко взметнув руку, принимается носиться вокруг стола, а за ним с визгом бегут все обедающие.

Однообразные зимние будни нисколько не притупляют это ощущение счастья. Дочь Татьяна вспоминает, как энергично вела все дела по дому Софья Андреевна, как она сама выслушивала отчеты приказчиков и давала распоряжения экономке, занималась лечением простуды и штопкой детского белья, составлением меню и закупкой цыплят в деревне. Отца дети видят не раньше, чем за обедом, а вечерами чаще всего застают мать за переписыванием новых листков черновики. Лев Николаевич иногда подходит к ней, заглядывает через плечо, а она подносит к губам большую сильную руку, гладившую ее волосы.

Пишет он в это время роман из эпохи Петра Великого. После того как Толстой объявил о конце всего «пушкинского периода» и о своем отвращении к «лит-т-тературе», возникновение этого замысла, которым он увлекся осенью 1872 года, могло бы показаться странным, если бы не два обстоятельства. С «Войной и миром» не завершились размышления о том, как и до какой степени история подчиняет себе человеческую судьбу, — Толстой будет возвращаться к этой теме всю жизнь. А кроме того, признав «период» исчерпанным, он не относил это суждение к самому Пушкину. Совсем напротив, школа Пушкина очень чувствуется даже в «Азбуке». В

петровском романе творец «Медного всадника» незримо присутствует в первых же набросках.

Им предшествовала пространная дневниковая запись от 5 апреля 1870 года. Еще не остыв от «Войны и мира» и, видимо, довольно болезненно переживая нападки критиков, которые отказались всерьез обсуждать его представления о сути исторических явлений, Толстой доказывает, что постичь эти явления способна только «история-искусство», тогда как наука оказывается перед ними бессильной. Описать жизнь миллионов людей нельзя: даже достоверное воссоздание жизни всего одного человека в эпоху больших исторических событий требует очень скрупулезного труда. «Нужно знание всех подробностей жизни, нужно искусство — дар художественности, нужна любовь». Стало быть, в историческом сочинении надлежит прежде всего быть добросовестным, то есть «идти не в ширь, а в глубину». Вот тогда появятся «ясность, простота, утвердительность, а не предположительность». Без этих качеств история, которая притворяется наукой, мертва. Предметом истинной истории, разумеется, может стать описание жизни даже не одного, а многих народов, но им может послужить «и описание жизни одного мужика в XVI веке».

Это рассуждение почти откровенно направлено против С. М. Соловьева, чья многотомная «История России с древнейших времен» близилась к завершению. Чтение этого труда и одновременно появлявшихся теоретических статей Соловьева о методе исторической науки вызывало у Толстого негативную реакцию. Он считал, что для Соловьева в истории важны только указы царей и деяния правительства, а они и теперь «такое же безобразное», как встарь. «Жизнь народа» в этой истории отсутствует, но ведь рассказывать надо именно о тех, «кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви...». Мысль об историческом романе, где будет осуществлен такой принцип описания прошлого, тогда еще только зарождалась, но два года спустя, приступив к первым главам, Толстой сразу ощутил, как трудно будет его воплотить.

Осталось 35 фрагментов рукописи этого недописанного романа: последние 14 датируются 1879 годом, когда, уже окончив «Анну Каренину», Толстой пытался реанимировать давний замысел. На него было положено много труда. Страхову он писал 17 декабря 1872 года, что «обложился книгами о Петре 1 и его времени: читаю, отмечаю, порываюсь писать и не могу. Но что за эпоха для художника. На что ни взглянешь, все задача, загадка, разгадка которой только возможна для поэзии. Весь узел

русской жизни сидит тут». Из сохранившихся набросков, из свидетельств тех мемуаристов, которые записали свои разговоры с Толстым, касавшиеся его работы о Петровской эпохе, становится ясно, в чем он видел этот «узел». Как и для Пушкина, для Толстого Петр — преобразователь, который «уздой железной Россию поднял на дыбы». Но в толстовском восприятии величие этих преобразований, пусть они были необходимы и неизбежны, скомпрометировано и присущим всей деятельности Петра элементом шутовства — оно обязательно проступает в тех эпизодах, где на сцене появляется великий самодержец, — и жестокостью, с какой они осуществлялись.

Самая выразительная сцена во всей рукописи относится к Азовскому походу: Петр случайно роняет шляпу, упавшую посередине реки, и солдат Алексей Щепотев, едва не утонув, ее вытаскивает и удостоивается царской милости за свой подвиг. Этот Щепотев, поповский сын, сбежавший из родного дома, попал в холопы к боярину Шереметеву, был пытан за воровство, очищен огнем и стал солдатом Преображенского полка, — биография, типичная для авантюристов из простонародья, составлявших близкое окружение первого российского императора в дни его молодости. И портрет будущего императора, каким его увидел и запомнил Щепотев, особенно выразителен, потому что глаз у него острый, наметанный. Он сразу замечает неправильность черт — выдающиеся скулы, изогнутый лоб, жилистая шея, большие уши, сутуловатость, нескладность фигуры и походки, — а когда царь засмеялся, Алексей его «понял и затвердил навсегда». Потому что от этого смеха «не стало смешно, а страшно».

Выписки, которые Толстой делал из документов той эпохи, еще усиливают впечатление, что Петр вызывал у него сильную и стойкую неприязнь. Особенно тем, что не только присутствовал при допросах и пытках своих противников, а сам рубил им головы не топором, как прежде, а мечом и приглашал полюбоваться этим его умением. Для Толстого одного этого факта, почерпнутого из дневника Иоганна Корба, австрийского дипломата, очевидца Стрелецкого бунта, было достаточно, чтобы перечеркнуть все доводы в обоснование исторического величия своего героя. По толстовским понятиям, величие невозможно там, где нет правды и добра.

Однако и допетровская Московия, какой ее описывает Толстой в начальных фрагментах романа, не вызывала у него умиления. Развратная царевна Софья и такие ее приближенные, как князь Василий Голицын, описаны с нескрываемым презрением, а вся тогдашняя придворная жизнь с интригами и предательствами воссоздается сатирическим пером.

Объективно Петровские реформы и у Толстого выглядят как назревшая неотложность, и все-таки принять их — если не по существу, то по формам, в каких они осуществлялись, — он, видимо, не мог, потому что этому противилось его нравственное чувство. И опять вставал так его занимавший в пору «Войны и мира» вопрос о свободе и необходимости, о моральных критериях исторического деяния, о личности, которая оказывается втянутой в водоворот великих событий.

Он полагал, что ответ нашел у Артура Шопенгауэра, немецкого философа, оказавшего очень сильное воздействие и на западную литературу XIX века, и на русскую — на Тургенева, на Фета. О том, что он испытывает «неперестающий восторг перед Шопенгауэром», Толстой писал Фету, еще работая над эпилогом «Войны и мира», и в пору петровского романа этот восторг не сделался меньше. Понятно отчего: Шопенгауэр связывает свои основные идеи с проблемой свободы воли, которая волновала Толстого, и трактует эту проблему примерно в тех же самых категориях. В отличие от современников, которые уверовали в поступательное движение истории, немецкий мыслитель считал, что во все времена повторяются одни и те же неразрешимые моральные и духовные коллизии, а стало быть, не существует никакого прогресса, если не обольщаться внешними проявлениями. Человек никогда не бывает истинно свободен, «все, что совершается, от величайшего до последней мелочи, совершается необходимо» — утверждение, которое навлекло на Шопенгауэра гнев либерально мыслящих оппонентов, обличавших его за реакционный фатализм. Говорилось и о проповеди бездействия, этической пассивности, но вот этот упрек был несостоятельным. Противиться необходимости, по Шопенгауэру, действительно невозможно, но невозможно и оправдывать ею любой человеческий поступок, поскольку за свои деяния, за свой нравственный выбор человек отвечает сам. И каждый истинно свободный поступок, если он согласуется с критериями добра, расширяет границы свободы, хотя это не означает, что такими поступками можно изменить общий ход вещей. Свобода заключается только в индивидуальном выборе и в способности нести ответственность за него.

Тут очень много общего со взглядами Толстого: и теми, которые объясняют трактовку истории на страницах «Войны и мира», и более поздними, выработавшимися уже после духовного перелома, начавшегося десять лет спустя. В петровском романе, видимо, предполагалось художественно воплотить то же самое философское представление. Однако это оказалось невозможно и в силу сложности эпохи, в которой «весь узел русской жизни», и по той причине, что Толстой не чувствовал собственной

близости к этой эпохе и ее людям, а оттого постепенно утратил к ней живой интерес. Мир домашний притягивал, очаровывал его намного сильнее, чем события почти двухсотлетней давности, и не случайно в последнем из сохранившихся фрагментов петровского романа действие перенесено в деревню Ясная Поляна Крапивенского уезда. На этих четырех страницах эскизно намечены типы двух помещиков, которые в ней обитали, и говорится про речки Ясенку и Воронку, теперь сильно обмелевшие, про засеку, ныне почти вырубленную, про Киевскую дорогу, петлявшую по этой засеке там, где недавно появился железный путь, и про крестьянские дворы, разбросанные кто где сел.

Видимо, сюда, в Ясную Поляну, должны были стянуться все основные нити действия петровского романа, если бы он был написан. Но замысел так и остался на стадии разработки, хотя среди написанного есть страницы, позволяющие ощутить всю мощь толстовского дарования.

*

У Толстого была мысль устроить у себя во флигеле учительскую семинарию и готовить педагогов, которые стали бы проводниками его мыслей о народном образовании, но этот план сорвался, потому что тульское дворянство по-другому распорядилось средствами, отпущенными правительством для содействия просвещению: вместо школ на эти деньги был воздвигнут памятник Екатерине II. Толстого такое решение расстроило, даже возмутило, но, подумав, он успокоился. Семинария неизбежно внесла бы в привычный ему распорядок долю хаоса, а этого он никак не мог допустить. Слишком дорожил установившимся распорядком: он пишет или сидит над греческими текстами, а дети в это время занимаются с матерью или с англичанкой мисс Ханной Торси. Она прожила в Ясной несколько лет, и все, особенно Таня, души в ней не чаяли, и Софья Андреевна, немножко ревнуя, писала сестре, что для Тани, для Ильи их английская гувернантка — первый человек в мире.

С Ханной появились ежедневные ванны и выписанные из Лондона коньки, после чего замерзший пруд был превращен в каток. На нем построили горку, и спуститься с нее, удерживая равновесие, считали большим подвигом. Как-то Лева, не сумев затормозить, скатился в прорубь и едва не утонул — его вытащили бабы, полоскавшие белье. Лев Николаевич быстро выучился делать на льду замысловатые фигуры; этим искусством поражает публику в «Анне Карениной» Левин, приехавший в

Зоологический сад, где катается Кити. Когда обнаружилось, что у Ханны туберкулез, Кузминские увезли ее с собою на Кавказ, и там она вышла замуж за обедневшего грузинского князя, но прожила недолго: Кутаис с его сыростью и духотой подходил ей куда менее, чем среднерусская равнина. Таня восприняла отъезд Ханны как конец своего безмятежного детства.

После Ханны была еще англичанка, мисс Дора, а мальчиками занимался немецкий гувернер Кауфман, малообразованный человек, который запомнился детям главным образом тем, что, стесняясь лысины, носил парик. Русских учителей сменилось несколько, и самой яркой фигурой среди них был Василий Алексеев, которого пригласили зимой 1877 года. В юности он был народником, сблизился с одним из руководителей этого движения Н. В. Чайковским. Под его влиянием Алексеев увлекся идеей земледельческой коммуны и уехал с единомышленниками в Канзас, где была приобретена небольшая ферма. Эксперимент длился год с небольшим: хозяйство не наладилось, все перессорились. Алексеев вернулся в Россию с гражданской женой и двумя детьми. Он по-прежнему считал, что «нужно отказаться от всех преимуществ своего положения» и что каждый должен кормиться собственным трудом. Беседы с Алексеевым едва ли не впервые подвели Толстого к схожим мыслям, которые впоследствии сделались так для него важны. Сам Алексеев, поначалу настороженно относившийся к графскому семейству и ко всему обиходу, чуждому его убеждениям, вскоре попал под магнетическое обаяние Толстого и стал его верным последователем, из пропагандиста превратившись в ученика.

Дети очень его полюбили, в особенности Сергей, до конца жизни помнивший уроки нравственного воспитания, полученные от этого педагога. Когда Алексеев появился в Ясной Поляне, у его питомцев уже был небольшой собственный опыт в качестве учителей: в пору увлечения «Азбукой» Толстой настоял, чтобы трое старших детей попробовали учить грамоте крестьянских ребят. Его тогда заинтересовала ланкастерская система, согласно которой обучаться следует так, чтобы полученное знание немедленно передавалось другим, и даже Илья, которому еще не исполнилось семи лет, начал давать уроки деревенским сверстникам. После занятий все вместе отправлялись в парк кататься с горок на перевернутой скамейке, и тут сами учителя могли многому поучиться. Опыт был непродолжительным. Но он не позабылся.

Алексееву было несложно установить с младшими Толстыми почти родственные отношения. Он стал своим человеком в доме, а когда Сергей к лету 1881 года прошел весь гимназический курс и стал готовиться к

университету, его наставник сохранил самые тесные контакты с Толстым, хотя отношения с Софьей Андреевной были к тому времени основательно подпорчены. По-прежнему признавая труд на земле истинным призванием человека, Алексеев решил уехать в Самарскую губернию, где у Толстого было большое имение, из которого ему бесплатно выделили участок в четыреста десятин. Управлял этим имением А. А. Бибиков, давний знакомый Алексеева, четырьмя годами ранее как раз и приискавший ему место учителя у Толстых. Он в свое время тоже принадлежал к народовольцам, был арестован в 1866 году после покушения Каракозова на царя, восемь лет провел в ссылке, а потом, женившись на крестьянке, надел поддевку и сапоги, но остался типичным интеллигентом, мечтателем о земледельческой общине, в которой всех участников братски объединит целительный мужицкий труд. У Бибикова был свой небольшой хутор на реке Моча, а напротив располагалось имение, приобретенное Толстым у генерала Тучкова почти за бесценок: семь с половиной рублей за десятину. Когда через двадцать лет эту землю, полученную детьми по семейному разделу, решили продать, цена ее выросла вдесятеро.

В 1871 году доктор Захарьин, тогдашнее медицинское светило, посоветовал Толстому поехать в башкирские степи на кумыс, и летом того же года, взяв с собой семнадцатилетнего шурина Степу, Лев Николаевич отправился через Самару на речку Каралык, где жил в простой кибитке, спасаясь там от беспощадного солнца — кругом на десятки верст не росло ни одного дерева. Ни работать, ни читать не было ни малейшей возможности. Стреляли уток, гонялись по степи за дрофами. На баранину вскоре стало тошно смотреть, вода из колодца отдавала неприятным привкусом, а белый хлеб, когда хватало сил добраться за ним в неблизкую деревню Гавриловку, казался после сухарей самым изысканным лакомством.

Впоследствии построили домик из четырех комнат, и с Толстым стала приезжать вся семья. От Нижнего плыли пароходом общества «Кавказ и Меркурий», в Самаре пересаживались на брички и плетушки и к вечеру удавалось добраться до места. Там уже ждал пожилой башкир по имени Мухамедшах Романыч. Он со своими женами занимал две войлочные юрты поодаль от усадьбы и его обязанностью было следить за табуном. С темнотой появлялись и жены с закутанными головами, чтобы не видно было лиц: они ловко доили кобыл и на стол подавали свежий, с острым кисловатым запахом кумыс. Налетевшие со всей округи черные жучки, обжегшись на свечах, ползали по скатерти. Младшие дети жаловались на резь в животе от непривычной воды и от жары. Софья Андреевна впадала в

отчаяние от неустроенности, но старалась взять себя в руки.

Старшие — Сергей, Татьяна — освоились на Каралыке легко и даже полюбили эту экзотическую жизнь. Были поездки в линейке, со страшной скоростью мчавшейся по ровной, словно утрамбованной степи под пронзительное гиканье кучера-башкира, и табунщик Лутай, славившийся умением мгновенно укрощать даже самых диких лошадей, и желанный легкий ветерок на вершине холма, называвшегося Шишкой, и необыкновенно крупные, яркие звезды на ночном небе. Были скачки. Толстой сам устраивал их и раздавал призы лучшим башкирским конникам, которые съезжались со всех окрестных хуторов. Тогда повсюду вокруг дома стояли кибитки и сильно пахло бараньим салом, которое топили в котлах.

Ханна, которая провела с Толстыми лето 1873 года, восторгалась этой дикостью, находя, что так, должно быть, люди жили в библейские времена. Сам Лев Николаевич считал, что ездит в степь главным образом из чувства долга перед семьей, для которой, предвидя будущее детей, надо было обустроить купленное большое имение, и ради поправки здоровья — кумыс явно шел ему на пользу. Однако вдали от Ясной Поляны и без умственной работы он чувствовал себя неуютно, и случались приступы тоски, о которых он писал жене. Тоска подступала каждый день, словно припадок лихорадки, и тогда ему казалось, что душа отлетает от тела, а «поэтическое расположение» никогда не вернется.

В конце концов Софья Андреевна решила, что обязана его сопровождать, хотя была наслышана о тяготах башкирского житья. Разлука с неумным Левочкой была все-таки еще тяжелее. Она тревожилась за мужа, особенно после первой его довольно длительной отлучки в августе 1869 года. Тогда он отправился в Пензенскую губернию, где выгодно продавали благоустроенное поместье с большим земельным наделом. Поглощенный в ту пору заботами о семейном достатке, он не хотел упустить такой шанс. Сопровождал Толстого только его слуга Сергей.

От Нижнего надо было триста верст ехать на лошадях, заночевать решили в уездном городке Арзамасе. И вот оттуда, из Арзамаса, пришло в Ясную письмо, не на шутку напугавшее Софью Андреевну. «Со мной было что-то необыкновенное, — писал Толстой. — Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай Бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым».

Через пятнадцать лет будет написан рассказ «Записки сумасшедшего»,

который остался в архиве писателя и был обнаружен, когда разбирали бумаги покойного Толстого. Из этого, несомненно автобиографического рассказа становится понятно, что явилось причиной арзамасского безотчетного ужаса. Герой тоже едет в Пензенскую губернию покупать имение, и вдруг ему открывается вздорность всех таких затей, которые, если вдуматься, просто наивная попытка прогнать прочь чувство бессмысленности жизни, раз она все равно подойдет к неотвратимому концу. Страшно думать об этом конце, и жаль этой умирающей жизни, и всем своим существом герой чувствует, что смерть близка, и всеми силами отстаивает «потребность, право на жизнь». Он пробует молиться, не чувствуя в себе веры, и ощущение беззащитности, острейший приступ тоски, для которой нет никаких внешних причин, приводит его на край безумия.

Больше такие состояния не повторялись, но та арзамасская ночь запомнилась навсегда. В «Записках сумасшедшего» она воссоздана с такой точностью, словно Толстой принялся за рассказ наутро после перенесенного ужаса. А в «Исповеди», которую он начал писать осенью 1879 года, когда стал свершившимся фактом долго готовившийся духовный перелом, есть признание, шокировавшее близких Толстого. Оказывается, он, «счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок... чтобы не повеситься на перекладине между шкафами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни». Вот до чего мучительным было для него ощущение бесцельности существования, когда утрачена вера и впереди нет ничего, кроме полного уничтожения.

В «Анне Карениной» Левин испытывает точно такие же чувства, и, может быть, главную книгу пятого десятилетия своей жизни Толстой, помимо прочего — или прежде всего именно с этой целью, — решил написать как раз для того, чтобы подобные мысли не стали для него роковыми.

«...и Аз воздам»

Дневник Софьи Андреевны, 19 марта 1873 года: «Вчера вечером Левочка мне вдруг говорит: „А я написал полтора листочка, и кажется, хорошо...“ Начал он писать роман из жизни частной и современной эпохи». Уже через неделю Толстой сообщил Страхову, что начерно книга уже закончена. Вышел «роман очень живой, горячий», которым он —

случай невероятный — вполне доволен. Работы осталось сущая малость, каких-нибудь полмесяца.

На самом деле к печатанию первых двух частей «Анны Карениной» он приступит только зимой 1875 года и дело это будет долгое. «Русский вестник», куда Толстой отдал свою рукопись, публиковал ее выпусками с длительными перерывами. Эпилог так и не появился в журнале из-за серьезного конфликта автора с редакцией и был выпущен отдельной книжкой.

Четыре года Толстой был занят исключительно этой параллельной историей двух семейств, которые и счастливы, и несчастливы каждая по своему. Правда, уже в самом начале заявлено, что не повторяются только хроники несчастливых семей, а семейное счастье всегда одинаково. Эта фраза была вписана уже непосредственно перед публикацией. Затем эпиграф слился с текстом, появилось как бы два вступления к роману: философское и событийное. Никакого недосмотра в этом не было. Классическая форма семейного романа — наподобие английской книжки, которую Анна читает по пути в Петербург, скучая над этим рассказом о молодом джентльмене, уверенно движущемся к удачному браку и баронетству, — Толстого, разумеется, не удовлетворяла. И точно так же его не могла бы удовлетворить форма идейного романа, в котором события нужны автору только для иллюстрации его обобщающих мыслей.

У Толстого основные линии повествования — история Анны, Вронского и Каренина, история Левина и Кити — непосредственно соприкасаются только в двух эпизодах, далеко разведенных во времени. Однако они внутренне соотнесены на всем протяжении действия, так как обе эти линии подчинены единой философской идее. А она обладает такой емкостью, что семейные истории, выписанные со всей полнотой событийного ряда — счастливая и несчастливая, — воспринимаются прежде всего как истории поисков смысла жизни и попыток найти нравственное оправдание даже не тем или иным поступкам, а самому человеческому бытию.

В одной из черновых редакций Толстой, в сущности, так и определил главное содержание своей книги: «Мы любим себе представлять несчастье чем-то сосредоточенным, фактом совершившимся, тогда как несчастье никогда не бывает событие, а несчастье есть жизнь, длинная жизнь несчастная, то есть такая жизнь, в которой осталась обстановка счастья, а счастье, смысл жизни — потеряны». К Константину Левину, которого мысли о самоубийстве преследуют даже в минуты семейного блаженства, понятие «несчастья», если в него вложено такое содержание, относится

ничуть не меньше, чем к Анне, изведавшей самое горькое страдание. И поэтому сюжет романа целостен, неразделим, хотя действие движется по двум самостоятельным направлениям. Толстому говорили, что в «Анне Карениной» скверная архитектура, и поэтому получаются два романа под общим переплетом, но с этими суждениями он решительно не соглашался. «Связь постройки, — ответил он одному из критиков, — сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи». Архитектурой он как раз гордился: «Своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок».

Было найдено творческое решение, которое не имело аналогов ни в одной европейской литературе. Единственным, кто отметил это сразу после появления «Анны Карениной», оказался Достоевский. И он же первым сказал, что этот роман «есть совершенство как художественное произведение».

*

Сообщая в письме Страхову, что новый роман начерно уже закончен, Толстой рассказывает и о том, как зародился замысел. Вышло это почти случайно: он решил почитать сыну «Повести Белкина», увлекся, не мог оторваться от книги пушкинской прозы, а в ней был и оставшийся незавершенный эскиз «Гости съезжались на дачу». Толстой стал придумывать продолжение, появились лица и события, очертился сюжет. Дальше все пошло точно само собой.

Другому адресату тогда же, в первые дни работы над «Анной Карениной», Толстой настойчиво рекомендовал перечитать пушкинские повести, обратив особое внимание на «гармоническую правильность распределения предметов» — она бесподобна. Пушкин, который так часто о себе напоминает и в «Книгах для чтения», в период работы Толстого над романом был, несомненно, постоянным его спутником, об этом свидетельствует даже стилистика многих эпизодов. Однако те сцены в доме Облонских, с которых начинается действие, никак не связаны с пушкинским наброском. Похоже, сначала, под непосредственным впечатлением от этих пушкинских строк были написаны другие сцены: петербургские, те, где описан салон Бетси Тверской и разговор Анны с Вронским, когда она, страшась пробудившегося чувства, просит его никогда не говорить ей о своей любви. Помимо всего остального, пушкинские повести восхищали Толстого тем, что в них автор, избегая

вступительных лирических описаний, приступает прямо к действию. Он тоже решил начать роман непосредственно с главного события — с романа петербургской дамы большого света и офицера, носителя звучной аристократической фамилии.

Развязка этого романа, видимо, была ясна Толстому с самого начала. За год до того, как с необычайной легкостью был написан первый черновой вариант, Толстой прочел в тульских «Ведомостях» заметку о самоубийстве молодой женщины, которая на станции Ясенки, совсем рядом с толстовской усадьбой, бросилась под колеса товарного состава. Звали эту женщину Анна Пирогова, Толстые ее хорошо знали: она была экономкой их соседа, владевшего деревней Телятинки, и его сожительницей. Когда помещик объявил, что собирается жениться на гувернантке своего сына, она ушла из дома с небольшим узелком и со станции отправила письмо, в котором назвала бывшего возлюбленного своим убийцей. Тело отправили в ясенковские казармы. Толстой присутствовал при вскрытии.

Эта история произвела на него очень тяжелое впечатление. Софья Андреевна утверждала, что имя Анна Толстой дал героине романа в память о трагедии Пироговой. На самом деле это не так: героиню в ранних редакциях звали Татьяна — может быть, не без намерения вызвать какую-то ассоциацию с «Евгением Онегиным», — а внешностью Анна в окончательном варианте напоминает, по свидетельству Кузминской, дочь Пушкина Марию Гартунг, муж которой был конногвардейцем и сделал прекрасную карьеру. Мария Александровна дожила до глубокой старости, и жизнь ее, видимо, была вполне благополучной. Толстой однажды видел дочь поэта в Туле у общих знакомых. Его поразили ее необычайно изящная фигура и завитки на затылке, которые он назвал какими-то удивительными — «породистыми».

Впрочем, первоначальное название романа свидетельствует о том, что Толстой не чувствовал к своей героине ни малейшего расположения. Правда, название это, «Молодец баба», просуществовало недолго, только в первых вариантах, где еще нет Левина и всей второй сюжетной линии. Был только Вронский, который сначала носил фамилию Балашов, затем Гагин, а еще позднее Врасский, и была Татьяна Ставрович, или же Анастасия (Нана) Каренина. Ее брак оказался неудачным, а измена привела к жестокому финалу. Муж, Михаил Ставрович, или же Алексей Каренин, должен был — в первом варианте — простить неверную жену после того, как она рождает вне брака, но это решение сразу показалось Толстому неверным, и финальная сцена самоубийства героини фигурирует во всех более поздних разработках.

В пятом варианте романа появляется герой, которого зовут Константин Ордынцев — это будущий Константин Левин, и теперь композиция меняется радикально. История страсти приобретает совершенно новое смысловое наполнение, оттеняясь историей духовного искания, не менее драматичной. Контрастное противопоставление двух главных персонажей, которое стало бы неизбежным, если бы в центре рассказа по-прежнему находилась та, кого Толстой с недоброй иронией именовал «молодец баба», теперь невозможно, потому что эти персонажи существенно близки, пусть диаметрально разными оказываются итоги их жизненной одиссеи. Но ведь главным сюжетным узлом этой одиссеи и в том, и в другом случае становятся кризис привычных ценностей и жажда жизни в согласии с требованиями естественного морального чувства, а не под властью общепринятой ложной нормы. И в знакомые обоим — и Анне, и Левину, — моменты отчаяния, и в нечастые, особенно у Анны, мгновения надежды и счастья они остаются искателями какой-то высшей нравственной истины, которая оправдывает все неизбежные ошибки и сделает бессмысленными все перенесенные драмы, потому что придаст стержень и смысл человеческому существованию в скверно устроенном мире. Оба в этом отношении родственны самому Толстому, знающему, что даже те их искания, которые приведут к очередному тупику, окрашены неподдельной искренностью и такой напряженностью, которая по силам только людям, органически неспособным ни на фальшь, ни на компромисс. Недаром в их единственную встречу Левин пришел в восхищение от ума, грации, красоты Анны, но больше всего от того, что «в ней была правдивость».

Еще до того, как были написаны первые «полтора листочка», Толстой сказал Софье Андреевне, что «ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил; что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой и что, как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины». Решив ввести в роман Левина, отдав ему некоторые самые сокровенные свои мысли и даже самые интимные воспоминания, вплоть до решительного объяснения при помощи написанных мелом начальных букв, по которым будущая жена угадывает слова и целые фразы, Толстой пришел к совсем иному построению романа. Однако осталось многое и от первоначального плана, когда все действие должно было сосредоточиться вокруг Анны.

У Толстого — первым это подметил, и как раз в связи с «Анной Карениной», Достоевский — была уникальная способность, осмысляя

коллизии, вечные как сама жизнь, подходить к ним через животрепещущую проблематику современности. Критика, утилитарно смотревшая на литературу как на способ аргументации в пользу близких этой критике идей, не увидела в романе ничего, кроме такого рода злободневных вопросов, отчаянно ругая Толстого за то, что они им неверно поставлены или пристрастно освещены. Эстеты, наоборот, вздыхали из-за того, что к непреходящему для чего-то примешан сор тогдашней общественной жизни. Но в действительности Толстой, пусть в свое время он и разошелся с редакцией «Современника» из-за ее пристрастия к произведениям с «насушными вопросами» и «с тенденцией», по самой природе дарования никогда не чувствовал себя свободным от житейского волнения. Он ведь задумывал книгу как роман из современной эпохи, а стало быть, эта эпоха должна была отразиться в его произведении с полнотой и объективностью, обязательными по толстовским художественным критериям.

Злобой дня для той эпохи, которая воссоздана в «Анне Карениной», был «женский вопрос». О нем много говорили уже в ту пору, когда Толстой только появился в петербургской литературной среде. Он тогда ужаснул просвещенных столичных литераторов своим нескрываемым отвращением к чтимой ими Жорж Санд и к самому типу раскрепощенной женщины, которая отвергает назначенную ей обществом роль покорной жены и образцовой матери. Среди бумаг того времени сохранился план комедии, которую Толстой думал назвать «Свободная любовь». Она должна была стать чем-то наподобие современной версии «Ученых женщин» насмешливого Мольера. В первой же ремарке обрисована героиня, которая не могла вызывать у Толстого ничего кроме презрения. Она «в красном шлафроке, с ногами, обутыми в горностаевые туфли, лежит на большом диване и курит сигару. Подле нее на столе стоит бутылка вина». Появляется провинциалка Оленька, простая румяная девушка в застиранном стареньком платье, и эту Оленьку пробуют эмансипировать, но ничего не выходит — у нее слишком здоровая натура.

Прошло пятнадцать лет, дебаты вокруг темы эмансипации не только не утихли, а стали еще более жаркими. Не переменился и взгляд Толстого на женское равноправие. Когда сразу в двух русских переводах вышла очень шумевшая книжка английского философа Милля «Подчиненность женщины», Страхов написал статью, где доказывались святость брака и предназначение женщины нести простые материнские обязанности, если только она не хочет превратиться в бесполое существо, для которого общественные интересы важнее, чем роль, отведенная ей самой природой. Толстой откликнулся на эту статью письмом, заявив, что бесполой женщина

такой же нонсенс, как человек, у которого вместо двух ног четыре. Он мог показаться воинствующим ретроградом, когда доказывал, что женщинам нет ни малейшей нужды искать для себя «контор, кафедр и телеграфов» вместо супружеской спальни и каждый год пополняющейся детской, но мог быть воспринят и как крайний радикал, поскольку оправдывал существование «магдалин», без которых семья, если трезво смотреть на вещи, не продержится.

Это письмо он не отправил адресату, с которым тогда еще не был знаком: вероятно, опасался, что Страхов найдет его взгляды сверх меры оригинальными. Но защищаемая Страховым мысль, что семейные отношения есть «настоящий узел жизни, от которого существенно зависит ее красота и ее безобразие», оказалась глубоко созвучной Толстому, у которого уже складывался замысел романа из «жизни частной и современной эпохи». И скорее всего, он в ту пору готов был полностью принять аргументацию Страхова, для которого всякий бунт женщины против своего природного призвания хозяйки, матери, и только, был аномалией. Вскоре после статьи Страхова, в 1872 году знаменитый автор «Дамы с камелиями» Александр Дюма-сын опубликовал трактат «Мужчина — женщина», который с пониманием и сочувствием был прочитан Толстым. В этом трактате предлагалось попросту казнить неверных жен, поскольку это не женщины, а Каиновы самки. Первоначальное название будущей «Анны Карениной» говорит о том, что Толстой, хотя и не доходивший до столь радикальных выводов, думал примерно так же.

Но все это были моралистические выкладки, а как романист Толстой с самого начала знал, что, принявшись описывать женщину, потерявшую себя, он должен показать ее «только жалкой и не виноватой», потому что обличения и поучения окажутся нестерпимой художественной фальшью. Когда характер Анны принял ясные очертания, пришлось позабыть и об эпитете «жалкая». Судьба Анны вызывает не сожаление, а сострадание. Это случай не из тех, которые могли бы вызвать граничащее со снисходительностью, если не с презрением чувство, что человек, терпящий бедствие, жалок, поскольку сами его несчастья мелки и ничтожны. Это трагедия, перед лицом которой эфемерны все рассуждения о нерушимой святости семейных уз и о справедливой каре, ожидающей каждую неверную жену, какими бы обстоятельствами ни была спровоцирована ее измена.

В интеллектуальной атмосфере того времени, перенасыщенной злободневными общественными интересами, «Анну Каренину» многие восприняли как произведение с очень актуальной коллизией, но и не

больше. Этим следует объяснить ту феноменальную эстетическую слепоту, которую первые отклики на этот роман демонстрируют даже выразительнее, чем первоначальная реакция на «Войну и мир». Книгу читали как толстовское — разумеется, с реакционных позиций — вторжение в «женский вопрос». Увлечшись этой темой, не дал себе труда оценить истинный смысл романа даже такой опытный литератор, как Некрасов. Он, правда, был раздосадован тем, что не сбылись его надежды заполучить «Анну Каренину» для журнала «Отечественные записки», который Некрасов тогда редактировал, и, может быть, это обстоятельство добавило соли в его обидную для автора эпиграмму:

Толстой, ты доказал с терпением и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать.

Соредактор «Отечественных записок» Салтыков-Щедрин высказался об «Анне Карениной» куда резче — «коровий роман». И вся критика, которая требовала от литературы прямого высказывания о «насуточных вопросах», была возмущена тем, что писатель с таким неоспоримым дарованием, как Толстой, остался глух к передовым веяниям и, вместо того чтобы служить «делу», предпочел развлекать великосветскую публику «эпопеей барских амуров». Эту формулу отчеканил Петр Ткачев, революционный публицист, идеолог народников, который впоследствии, уже в эмиграции, станет одним из первых русских пропагандистов праведного террора. Статья Ткачева появилась, когда были опубликованы лишь две первые части романа, в которых внимание автора сосредоточено главным образом на отношениях Анны и Вронского. Очевидно, Ткачев ожидал, что все произведение будет посвящено острой и важной, по его понятиям, теме женской эмансипации. Он расстроился и озлобился, увидев, что для Толстого эти материи не представляют существенного интереса. Легко было предсказать его реакцию: «беллетристический вздор», «скандальная пустота содержания», «салонное художество».

Такие высказывания, конечно, не заставили бы Толстого внести коррективы в план романа, однако они его, видимо, задевали, и прежде всего тем, что он начинал сомневаться, не мизерна ли для романа большого дыхания, какой должна была стать «Анна Каренина», положенная в ее основу мысль. Сам он, как записано в дневнике Софьи Андреевны,

определял ее словами «мысль семейная», — такая же ему близкая и важная, как «мысль народная», которую он любил, работая над «Войной и миром». Теперь становилось очевидным, что эта мысль была понята еще меньше, чем фундаментальная идея романа о людях и событиях Александровской эпохи. Толстому начинало казаться, что отчасти в этом повинен он сам, потому что основное действие у него построено вокруг ситуации, которая провоцирует споры относительно женского равноправия, хотя этот сюжет остается в романе маргинальным и несущественным. Вот почему в письме к Фету, написанном вскоре после разгромной ткачевской статьи, появилась фраза, что он измучен «скучной, пошлой „Карениной“» и возвращается к ней после перерыва в два месяца с единственной целью «поскорее опростать себе место — досуг для других занятий».

Однако желанный досуг для других занятий появится еще очень нескоро, лишь через два с половиной года, когда в рукописи будет поставлена последняя точка. И тогда выяснится, что не только «женский вопрос», но даже пестуемая автором «мысль семейная» остались в «Анне Карениной» не более чем частностями, которые сказываются на характере сюжета, но вовсе не определяют его высший смысл. Исходный замысел и художественный результат далеко разошлись, и тут не было ни упущения, ни противоречия, просто сказалась коренная особенность толстовского таланта. О ней уже после «Анны Карениной» сказал сам Толстой в письме к начинающему украинскому литератору Федору Тищенко, который присылал ему свои неумелые рассказы. Толстой советовал: «Живите жизнью описываемых лиц, описывайте в образах их внутренние ощущения; и сами лица сделают то, что им нужно по их характерам сделать, то есть сама собой придумается, явится развязка, вытекающая из положения и характера лиц... и во все можно внести правду и освещение такое, какое вытекает из взгляда на жизнь автора».

На языке эстетики подобное внимание к внутренней логике развития сюжетных положений, которой определяются и поступки действующих лиц, называется принципом самодвижения характера. В русской литературе первым пришел к этому принципу Пушкин, сам удивленный решением Татьяны стать женой генерала, хотя он намного ее старше и не может вызвать со стороны героини того чувства, которое у нее было к Онегину. «Но я другому отдана и буду век ему верна» — завершение биографии Татьяны оказывается как бы перевернутым в истории Анны, которая выберет для себя совершенно другой путь: не смирение перед семейным долгом, а трагический бунт во имя свободного чувства. Но и пушкинский роман в стихах, и толстовское полотно «жизни частной и современной

эпохи» верны идее самодвижения характера, который не подчиняется даже любимой мысли своего создателя, заставляя радикально менять начальный план. Так и произошло в «Анне Карениной», начинавшейся с саркастического изображения «отвратительной женщины», как сказано о героине в одном из самых ранних набросков.

*

Предыстория этой женщины становится известной читателю, только когда основной конфликт уже достиг своей кульминации. Однако скупо обрисованной предысторией очень многое объясняется и в характере Анны, и в ее судьбе.

Мы узнаем, что тетка Анны, которая считала своей обязанностью устроить ее будущее соответственно общепринятым понятиям о благополучии и счастье, попросту свела племянницу с приехавшим из столиц новым губернатором, поставив Каренина в такое положение, когда он просто должен был или просить руки, или отказаться от должности, тогда удовлетворявшей его служебное честолюбие. Чувства, очевидно, не было ни с той, ни с другой стороны: Анна не распоряжалась собой, ее супругом с юности владели мысли не о желанном, а о надлежащем.

Все последующее — до роковой встречи с графом Вронским — обыкновенно: очень удачная карьера Каренина, который сделался чрезвычайно влиятельным лицом и непременным членом каких-то важных комитетов, холодная роскошь петербургского дома, раз и навсегда установленный распорядок будней, ритуалы светского общения, с механической аккуратностью исполняемый супружеский долг. Псевдожизнь, в которой единственное прибежище любви и человечности — детская, где растет воспитываемый отцом по строгой педагогической методе и страстно обожаемый матерью Сережа.

«Это не человек, а машина, и злая машина, когда рассердится», — скажет Анна об Алексее Александровиче уже после того, как решится на отчаянный бунт. Но Толстой видит больше, и зрение его намного острее, чем у влюбленной женщины в минуту острого эмоционального кризиса. Однако «машина» эта — умный, проницательный и по-своему глубоко несчастный сановник, которому предстоит убедиться, насколько бесплодны его старания остановить безумство страсти плотиной обязательных норм и моральных непреложностей. И несчастен он не оттого лишь, что его дом навсегда опустел, а в глазах света его имя навеки опозорено. Несчастье

Каренина, пусть он ни за что себе в этом не признается, порождено его собственной органической неспособностью хотя бы теоретически допустить какие-то формы отношений, помимо тех безжизненных, окаменевших установлений, которые обязательны для людей светского круга. Это самое обычное несчастье внешне почти образцового семейного союза. Те, кому выпадает его испытать — Каренин, невестка Анны Долли Облонская, — конечно, воспринимают свою беду как некую особенную несправедливость, непонятно за что уготованную им одним. Но для Толстого, хотя он стремился защитить «мысль семейную», тут не исключения из правил, а скорее неизбежность, порожденная несовместимостью человеческой природы и ролевых функций, которые строго предписаны всем, — тем более когда дело касается почитаемого священным институтом брака.

Долли, любуясь счастьем Левиных, вспоминает радость своей невинной, горячей любви и день, когда она стояла под венцом с сияющим Степаном Аркадьевичем, так ее потом унижавшим, столько раз обманувшим с танцовщицами и гувернантками. Вспоминаются ей и другие женщины, которые «с любовью, надеждой и страхом в сердце» вступали в таинственное будущее, вспоминается Анна пред аналогом — в померанцевых цветах и вуали, такая чистая, такая доверчивая, неспособная вообразить, чем реально для нее окажется этот союз. Измученная расстройством дел, постыдной бедностью, беспечностью доброго и пустого Стивы, нескончаемыми беременностями и каждодневными заботами о детях, Долли быстро увядает, покорно подчинившись той ролевой функции — примерная жена, мать все растущего и растущего семейства, — которая убила в ней женщину. словно никогда и не было на свете прелестной, так много ждавшей от жизни княжны Дарьи Щербацкой.

Анне как будто не грозит такая же печальная участь. Блестящая петербургская красавица, она способна в мгновение ока вскружить голову не одному Вронскому. Кормление, пеленки — все это было у нее давно и недолго, а муж легко ей предоставляет ровно столько свободы и ровно в тех рамках, какие подобают светской даме с безупречной репутацией. Не испытывая к Алексею Александровичу ничего хотя бы отдаленно напоминающего любовь, она все-таки старательно себя уверяет, что он хороший, правдивый, даже замечательный в своей сфере человек и что у нее нет повода для недовольства своим семейным или общественным положением. Но, подавляемый и гонимый прочь, ее все равно мучит страх утраты смысла жизни. Всеми силами она хочет оправдать свое существование, в точности такое же, как у других, и все яснее понимает,

что этого оправдания нет — ни в религиозных заповедях, оставляющих ее безучастной, ни в чувстве своей моральной незапятнанности. Его нет даже в любви к сыну, ради которой необходимо сохранять верность человеку с пергаментным лицом, нелепо торчащими ушами и раздражающей ее привычкой хрустеть пальцами, когда он обдумывает какой-то значительный вопрос.

Ее дальнейшая жизнь с Карениным невозможна даже не только из-за того, что чувством к Вронскому она захвачена безоглядно и без остатка. Был кризис, когда Анна едва не умерла, а Алексей Александрович в этих чрезвычайных условиях вдруг продемонстрировал терпимость и великодушие. Но восстановление брака невозможно и после этого, пусть в те минуты Каренин действительно узнал «счастье прощения». И все-таки, даже пережив тот нравственный подъем, который, вероятно, никогда больше не повторится, Каренин все равно не задумывается о смысле и об оправдании своего союза с Анной, как и всей своей отрегулированной жизни. Он способен признать, что союз Анны с Вронским — это нечто намного более сложное и драматическое, чем недолговечная интрижка с ее обычной пошлостью и грязью, способен принять чужого ребенка, проявив настоящее участие в судьбе женщины, которую в самом деле любит, насколько это возможно для его оледенелой души.

Как художник, Толстой всегда стремился воссоздать человека в его самых разнородных проявлениях, избегая прямолинейной обличительности. В каждом своем персонаже он видит и некую доминанту, определяющую суть характера, и внутреннюю противоречивость, которая подчас заставляет совершать поступки, не соответствующие уже сложившемуся представлению о воплотившемся в нем человеческом типе. Для психологической прозы это было открытие, в полной мере понятое и оцененное только десятилетия спустя, уже в XX веке. Для Толстого личность — это и завершенное единство, и совмещение очень несхожих начал. Об этом своем понимании природы человека он впрямую скажет уже в конце жизни, работая над «Воскресением»: «Люди, как реки: вода во всех одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие, и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь всё между тем одним и самим собою».

Каренин, который со слезами на глазах говорит Вронскому, что, увидев Анну при смерти, «простил совершенно», тоже не похож на себя, каким мы его видели только что, утром этого же дня. В утреннем петербургском

тумане он по пути с вокзала домой холодно размышлял про выгоды, сулимые очень вероятной смертью жены: тогда само собой будет развязано тягостное для него и унижительное положение рогоносца. Даже Анна, изумленная его новым настроением, твердит в полузабытьи, что «он добр, он сам не знает, как он добр». Но и в эту минуту просветленности желания Каренина устремлены к одному: поставить крест на прошлом, вернуть жизнь в привычное русло, чтобы отношения оставались такими же, какими они были до разразившегося несчастья. Словно Анна была способна переступить через случившееся, снова стать послушной и примерной супругой, снова, подавляя отвращение, разделить ложе с человеком, который так долго для нее оставался — и потом, после краткого примирения, опять будет — только машиной. Или, в лучшем случае, куклой, неспособной даже на настоящую ревность, которая другого заставила бы убить, разорвать на куски преступную жену.

В критических обстоятельствах из чиновничьего футляра в Каренине выглядывает что-то неподдельно человеческое и он готов, не кривя душой, по-христиански подставить другую щеку, но победить в себе приверженность норме и ритуалу, даже задуматься о необходимости ритуалов и норм — это выше его сил. Он, в сущности, защищает именно ту «мысль семейную», которая так дорога Толстому, но едва ли можно представить себе более чувствительный урон, чем тот, что нанесен этой мысли поведением Каренина, особенно после того, как рухнуло хрупкое равновесие, установившееся после появления на свет дочери Анны и Вронского. Очевидным этот урон становится как раз потому, что Каренин изображен в романе отнюдь не «машиной», не каким-то моральным монстром, а человеком, которому тоже присуща диалектика души, заставляющая совершать поступки, не согласующиеся с представлением о сухом эгоисте и сановнике без сердца. Каренин — это и в самом деле наглядное свидетельство, что «несчастье есть жизнь», вся человеческая жизнь, когда в ней потерян смысл.

Но главным свидетельством справедливости этого тезиса должна была все-таки стать судьба Анны. С нею связана в романе не только центральная сюжетная линия, но и главная нравственная коллизия, к ней относится евангельский эпиграф, который вызвал самые разные трактовки. Ни одна из этих трактовок не выглядела вполне убедительной — как раз из-за того, что для самого Толстого решение основного этического конфликта было вполне ясным только в ранних вариантах романа, когда он оставался лишь описанием измены, которая неминуемо влечет за собой возмездие. Но конфликт непрерывно усложнялся по мере того, как, в согласии с логикой

самодвижения характера, история Анны приобретала все новые оттенки, а заключенный в этой истории смысл становилось все труднее свести к каким-то бесспорным и очевидным истинам. Здесь дало себя почувствовать одно из коренных свойств искусства Толстого: его всегда интересует прежде всего нравственное состояние героев, однако это состояние не бывает ни полностью определившимся, ни застывшим. Собственно, это не состояние, а поиск, причем такой, когда итог может оказаться непредсказуемым даже для самого автора.

Первый побудительный импульс, который станет завязкой драмы, пережитой его героиней, — пробуждение женщины в безропотной рабыне своего нелюбимого мужа, страсть, особенно исступленная из-за того, что это естественное чувство так долго подавлялось, уродовалось необходимостью только выполнять обязанности брака без любви. Подразумевая те сцены романа, которые для русской литературы с ее пуризмом были уникальными по смелости выбора самого предмета изображения, — первую близость Анны и Вронского, роды Кити, — Фет заранее возмущался «дураками», кричащими о «реализме Флобера». Он был прав в том смысле, что грубо пристрастными оказались адресовавшиеся Толстому упреки в нескромности, чуть ли не в любовании физиологией: такие эпизоды написаны с безупречным тактом. Но как поэма страсти — физической страсти — «Анна Каренина» действительно превосходит все, что было создано до Толстого русскими авторами. Толстой нарушал негласно установленный закон молчания о подобных сторонах жизни, и нарушение было неизбежно, потому что искусству Толстого нужен человек, показанный не выборочно, а целостно, в совокупности всего его опыта. Для того чтобы достичь такой целостности и пластичности, создавая характер Анны, он не мог игнорировать чисто физическую мотивацию ее губительной любви. И, разумеется, не мог, в отличие от некоторых последователей Флобера, удовлетвориться преимущественно этой мотивацией, так как в его художественном мире всегда обнаруживается лабиринт сцеплений, устроенный очень сложно, но без всякого следа схематичности или искусственности.

Не так уж много событий произойдет, прежде чем жизни Анны и Вронского переплетутся, но, исподволь готовясь к решительному шагу, героиня испытает самые разные душевные побуждения и состояния. Какой-то огонек мелькнул в ее блестящих серых глазах, когда на платформе Николаевского вокзала она впервые увидела красивого молодого офицера, приехавшего встречать свою мать, которую в душе не уважает и не любит, оставаясь безупречно почтительным к ней, как требует светское

воспитание. Вронский почувствовал избыток чего-то ласкового и нежного, переполняющий эту очень красивую женщину с густыми ресницами и чуть заметной улыбкой на румяных губах. И тут же ее губы задрожат, глаза увлажнятся: пронеслась весть, что отодвигаемый состав насмерть задавил железнодорожного сторожа. Словно уже догадавшись, чем для нее станет случайная встреча на перроне, Анна скажет, едва сдерживая слезы: «Дурное предзнаменование». Сюжет только завязывается, вся история Анны и Вронского еще впереди, и характеры ее главных участников намечены только контуром. Однако оба полюса, которыми определяется пространство основного действия будущей драмы, обозначены сразу: пока не осознанная, но вскоре уже сметающая все преграды страсть, а вместе с нею и неистребимое чувство обреченности.

Два эти полюса сближаются по мере движения сюжета, предвещая неизбежность трагической развязки. Упоенная страстью, Анна даже в самые счастливые мгновения не в силах прогнать мрачные предчувствия и освободиться от ощущения своей глубокой вины: не перед светом и не перед мужем, а перед теми, кому ее самозабвение нанесло тяжелые раны, — прежде всего перед Сережей. Оттого ее облик все время двойится в восприятии читателя. Ее характер раскрывается новыми и новыми гранями, и все-таки это все тот же цельный характер, только показываемый в диалектике самых разных свойств — «люди, как реки». На том московском балу, когда она пленила Вронского, Анна «пьяна вином возбуждаемого ею восхищения», и ей нет дела до того, что рушатся поэтические мечты ее юной соперницы, что ее саму затягивает водоворот стремительно нарастающего влечения. Но эта жестокая красавица, в которой Кити интуитивно чувствует «что-то чужое, бесовское и прелестное», растеряна, напугана, беззащитна во время мимолетного свидания с Вронским на занесенном снегом перроне, и, зная, что теперь их сближение будет очень быстрым, отчаянно пытается сопротивляться неизбежному ходу событий. «Невозможная, ужасная и тем более обворожительная мечта счастья» исполнилась, а первый порыв Анны — вымолить прощение у Бога, первое ее чувство — холодное отчаяние из-за того, что она погубила себя. Но не возникает и мысли о том, чтобы вернуться к привычному положению вещей или, подобно ее светской приятельнице Бетси Тверской, считать наличие любовника вполне естественным, существенно ничего не меняющим фактом. Нет, теперь вся жизнь Анны в нем одном, в этом втором Алексее, которому возникшая ситуация просто не по силам, как бы горячо, как бы искренне он ни стремился подняться на такую же высоту чувства.

Вронский, которого первые рецензенты романа называли не иначе как «светским кобелем» или, в лучшем случае, «каким-то полукентавром», в действительности тоже сочетает в себе очень разные импульсы. И тоже глубоко несчастен, хоть его и не всегда отличает душевная тонкость.

Инстинкт завоевателя, который наделавшей шума любовной историей с женой всем известного человека компенсирует неудачи в служебной карьере и уязвленное честолюбие, управляет Вронским только в самом начале его связи с Анной, когда все его силы «направлены к одной блаженной цели». Но прежде, чем эта цель достигнута, приходит другое — любовь, ради которой он готов на немыслимые жертвы, и сознание тягостности того положения, когда приходится хитрить, обманывать, лгать, хотя само положение для него вовсе не ново. Ему не достает проницательности, чтобы почувствовать дурное предзнаменование в той трагедии, которая произошла на скачках, когда из-за неловкости всадника гибнет его любимица Фру-Фру. Вронский слишком привык жить только заботами текущего дня, чтобы каким-то образом соотнести этот тяжело им переживаемый, но вскоре позабывшийся случай со сделанным в тот же день признанием Анны: будет ребенок, а стало быть, их участь решена. Однако решимость защищать свое счастье, без Анны невозможное, только крепнет у него с каждым перенесенным унижением, в каждом новом столкновении с той светской средой, которой прежде принадлежал он сам.

До Анны жизнь Вронского была безмятежной, потому что в ней существовал свод нехитрых правил и он этим правилам не изменял. По этим правилам надлежало платить шулеру, а счета от портного оставлять без внимания. Запрещалось лгать мужчинам, а лгать женщинам считалось естественным. Оскорбления нельзя было терпеть, но можно было оскорблять самому. Флирт легко дозволялся, тогда как обязательство жениться на женщине, из-за него потерявшей голову, вовсе не являлось моральным долгом. Вронский был в этом отношении не хуже, пожалуй, даже немного лучше своих товарищей по полку и людей, встречаемых им в салонах.

Но выяснилось, что он плохо понимал самого себя. После того как в его жизнь вошла, почти без остатка ее заполнив, Анна, ротмистр Вронский уже не может всерьез завидовать генеральским эполетам своего ровесника и однокашника Серпуховского, а мысль «бросить все и скрыться куда-нибудь одним с своею любовью» постепенно вытесняет все иные устремления. У постели Анны, чьи дни, как всем тогда казалось, сочтены, Вронский переживает состояние, которое, разумеется, его сводом правил исключалось безоговорочно. Он не только чувствует себя очень

несчастливым, он осознает собственную низость перед обманутым мужем, которого прежде только презирал.

Это самая большая вершина, достигнутая им в том процессе духовного просветления, который начинается, когда Вронский постиг истинную природу своего чувства к Анне. Катастрофа, которой эти отношения закончатся и для него самого, очень во многом определена тем, что по самой своей натуре он не способен долго удерживать в себе полное моральное бескорыстие, обретенное в те страшные минуты. Ключевое слово в его авторской характеристике — эпитет «твердый»; недаром Кити, смотревшая на Вронского глазами, полными любви, ужаснулась, когда, после мазурки, которую он танцевал с Анной, вместо «твердого и независимого лица» увидела у Вронского выражение потерянности и покорности, напоминающего провинившейся умной собаке. Вронский тверд в отношениях с сослуживцами, которые, зная его, никогда не посмеют хотя бы полунамеком коснуться его истории с Анной, тверд с матерью и братом, не одобряющими этой связи, тверд в своей решимости сделаться образцовым помещиком, как и в намерении любой ценой превратить долгий, пожизненный роман в законный брачный союз. Он тверд и в своих ожиданиях, которые сопрягаются с этим романом, ожиданиях «горы счастья». Но довольно скоро выясняется, что из этой горы ему досталась только песчинка.

Анне кажется, что все дело в его охлаждении к ней, и женское чутье не совсем ее обманывает: у Вронского и прежде случались минуты, когда он смотрел на нее, как смотрит человек на им же сорванный и завядший, утративший свою прелесть цветок. Но он никогда не сомневался, что «связь его с ней не может быть разорвана», и ни разу не предпринял попыток как-то освободиться от этой связи, — подобное для Вронского невозможно хотя бы из чувства чести, а им он ни за что не поступится. И суть конфликта, которым постепенно сменяется прежде разделяемое ими обоими ощущение непростительного, незаслуженного счастья, конечно, не в том, что Вронский будто бы тайно от нее обдумывает план женитьбы, а значит, способы как-то прилично и безболезненно от нее избавиться. Суть в том, что Вронский допустил ошибку, обычную для людей, ведь их духовный горизонт вовсе не беспределен: он «представлял себе счастье осуществлением желания». То есть не допускал даже мысли, что по самому своему существу жизнь — это никогда не прерывающееся испытание ценностей, которые, воплощаясь в конкретных событиях и фактах, не бывают абсолютными.

В Италии, где они оказываются после того как отношения с

Карениным порваны окончательно, Анна испытывает такое чувство полноты и радости жизни, что даже тоска о сыне на какое-то время заглушается, отступив перед любовью к Вронскому — слепой и восторженной. Но состояние бездумного восторга не может быть долгим, как бы ни убеждала Анна себя, что с нею «случилось что-то волшебное, как сон, когда делается страшно, жутко, и вдруг проснешься и чувствуешь, что всех этих страхов нет». На самом деле страхи не проходят и сознание страшной вины, вернувшееся после тайного свидания с Сережей в его день рождения, становится непереносимым, травмируя даже сильнее, чем стыд и обида, которые она пережила, изведав на себе лицемерное презрение света, когда от нее, посмевающейся появиться в театральной ложе, высокомерно отворачивались знакомые. Решение ехать на спектакль с участием знаменитой итальянской певицы Патти — это для нее больше чем вызов, брошенный обществу, для которого она «погибшая женщина», и только. Анна, не задумываясь о последствиях, открыто заявляет свое право свободно любить и быть счастливой, насколько позволяет жизнь. Последствия драматичны, но для Вронского этот ее демарш, потребовавший предельных усилий воли, является только капризом, осложняющим положение. Анна сжигает за собой мосты. Вронский думает лишь о том, как бы сгладить неприятности, о которых он ее загодя предупреждал.

Дело не в его черствости, а в том, что у них слишком разный духовный масштаб. В откровенном разговоре с Долли, которой тоже пришлось подавлять голос благоразумия, внушавший, что поездкой к Вронским она компрометирует себя, Анна впервые признается, что будущее ей безразлично, даже если допустить, что Каренин даст согласие на развод. Ее права матери он ни за что не признает. Сережа вырастет и станет презирать ее. Нет, никогда ей не соединить два существа, без которых жизнь не может быть гармоничной, «а если этого нет, то все равно. Все, все равно». И Анна просит не презирать ее: «Я не стою презрения. Я именно несчастна. Если кто несчастен, так это я».

Но для Вронского неприемлемо как раз это ощущение несчастья. По самой своей природе он не принимает подобное состояние и, согласно его непоколебимой логике, те немалые жертвы, которые он принес во имя любви, его безупречное благородство просто обязаны быть вознаграждены не песчинками, а целой горой счастья. По какому-то странному, хотя, если следовать художественной логике Толстого, очень объяснимому совпадению им обоим, еще до кризиса и последующего бегства в Италию, снится один и тот же сон: мужик с растрепанной бородой копошится в

мешке и, грассируя, произносит по-французски какие-то странные слова. Вронского охватывает ужас, но с присущей ему твердостью он тут же берет себя в руки: «Что за вздор!» Анну этот сон потрясает как еще одно «дурное предзнаменование», и особенно из-за того, что пригрезившийся мужик говорил про железо, которое нужно не то ковать, не то толочь. Сразу вспоминается сторож, раздавленный на железной дороге в тот день, когда она познакомилась с Вронским. И этот сторож, этот бормочущий о железе мужик, возникнув из глубин подсознания, обязательно — таковы законы искусства Толстого — вспомнятся Анне в последнюю минуту перед тем, как погаснет свеча ее жизни.

Ревность, хотя для нее нет внешнего повода, вытесняет все другие чувства, и Анна лихорадочно ищет какие-то свидетельства, что ее подозрения не напрасны, но на самом деле тут разыгрывается совсем другая драма. Сама ситуация, в которой оказываются они оба, невыносима из-за того, что и Анна, и Вронский зависимы от множества социальных и этических обязательств, сохраняющих над ними свою власть. Невозможно, чтобы жизнь сосредоточилась только на незаконной любви, которая должна преодолеть любые препятствия, невозможно, чтобы страсть, даже захватывающая без остатка, смогла полностью переменить личность, истребив в ней все, принадлежащее прошлому опыту, и целиком перестроив ее структуру. Охлаждения, которого так боится Анна, зная, что для нее это будет катастрофой, в действительности нет, но есть старательно скрываемая Вронским неудовлетворенность доставшейся ему «песчинкой», когда ожидалась «гора счастья», и этим смутным недовольством исподволь разрушается ожидаемая идиллия. Анна это чувствует обостренно не только потому, что наделена более тонкой, чем у Вронского, душевной восприимчивостью. В отличие от него, у Анны даже в те минуты блаженства и гармонии, которые случались в Италии в первое время их совместного существования, любовь никогда не могла подавить, изгнать ощущение вины, а оно все нарастает и нарастает, приближая финал их несчастной истории.

Анна убеждает себя, что ее смерть станет единственным средством «восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним». Но на самом деле любовь незачем восстанавливать, а борьбу Анна ведет прежде всего с самой собою, и тут не может быть победы, потому что страсть, страх, вина и сознание невозможности ничего изменить никогда не примирятся в ее сердце.

Старичок с взлохмаченной бородой, который что-то делает над

железом, приговаривая по-французски, мерещится Анне, когда она последний раз видит Вронского спящим и, испытывая к нему особенно пронзительную нежность, с такой же пронзительностью осознает, что какое-то страшное дело делается не над железом, а над нею...

На последних страницах романа нет ни слова об общественных и семейных цепях. Анна едет на вокзал, еще не вполне понимая, зачем сейчас сядет в поезд, следующий до станции со смешным названием Обираловка. Перед нами разворачивается беспрецедентная по художественной смелости картина душевной агонии, лихорадочно работающего сознания, в котором в один ряд трагических предзнаменований выстраивается все происходящее в течение нескольких часов перед развязкой. Грязное мороженое в руках мальчишек на бульваре или вывеска, приглашающая к куаферу Тютькину, оказываются фактами столь же значительными, как старичок, что-то приговаривающий по-французски, или оттенок скрытого злорадства, мелькнувший за учтивостью Кити в их только что случившуюся нежданную встречу. «Чувство оскорбления и униженности», захлестнувшее Анну, достигает предельной остроты, но все так же ее зрение фиксирует внешний мир, только он уже постигается не как привычная обыденность, а как разладившаяся система. И эта обыденность болезненно ранит даже в своих самых заурядных проявлениях из-за того, что они неотвязно преследуют в момент, когда все усилия души, все ресурсы воли устремлены к одному: разрубить слишком туго затянутый узел, уйти, покончить все одним ударом. Невозможным оказалось «придумать положения, в котором жизнь не была бы мученьем... все мы созданы затем, чтобы мучиться... и мы все знаем это и все придумываем средства, как бы обмануть себя. А когда видишь правду, что же делать?».

Впоследствии глава, которой завершается в романе история Анны, будет по справедливости признана первым и во многом непревзойденным образцом «потока сознания». Вот как объяснял этот новаторский способ рассказа о персонаже в кульминационные минуты его жизни Набоков в своей лекции об «Анне Карениной»: «Это естественный ход сознания, то натыкающийся на чувства и воспоминания, то уходящий под землю, то, как скрытый ключ, бьющий из-под земли и отражающий частицы внешнего мира; своего рода запись сознания действующего лица, текущего вперед и вперед, перескакивание с одного образа или идеи на другую без всякого авторского комментария или истолкования». В этом объяснении не вполне точно лишь одно: Толстой на самом деле не комментирует, однако он незримо остается рядом со своей героиней и поэтому элемент истолкования все-таки присутствует. Мужик из давнего страшного сна должен

промелькнуть в смятенном сознании Анны за считанные минуты до самоубийства, потому что, как сказал в лекции Набоков, «он делает с железом то же самое, что ее греховная жизнь сделала с ее душой: растаптывает и уничтожает». Но толстовское истолкование не сводится и к этому, оно — в самом вопросе: что же делать, когда видишь правду? Как моралист он хотел бы, да поначалу и стремился, осмыслить судьбу Анны как неминуемую расплату за предательство «мысли семейной». Но художественное чувство не обмануло Толстого, заставив отказаться от этой исходной идеи, предать забвению быстро найденный саркастический заголовок. И тогда рассказ о «барских амурах» стал трагедией, затрагивающей область высших ценностей человеческого существования, заполненного неразрешимыми этическими конфликтами для тех, кто не в состоянии обманывать себя, спрятавшись за благопристойные формы отношений и стараясь не задумываться о том, что несчастье есть сама жизнь, когда потерял ее смысл.

Достоевский, посвятивший «Анне Карениной» две статьи, отмечал, что этот роман совершенно по-новому решает вечный вопрос о «виновности и преступности человеческой», и, как бы предвидя будущие вульгарные трактовки, решительно восставал против направляющей их логики. «Ни в каком устройстве общества не избегнете зла», — обращался он к «лекарям-социалистам», не желающим видеть, «что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой». Законы духа таинственны, и когда мы сталкиваемся с этими законами, не может быть никаких окончательных судей, проникнутых «гордостью своей непогрешности». Судить дано лишь Тому, чьи слова Толстой выбрал эпиграфом к своей книге.

Тогда это была совершенно неприемлемая точка зрения. Роль «окончательных судей» такие критики, как Ткачев, считали само собой разумеющейся, и апологеты Толстого тоже ее себе присваивали, рассуждая о недопустимости строить счастье на разрушении старой семьи, а значит, о справедливости постигшего Анну возмездия. Самого Толстого как будто убедила эта интерпретация; в письмах есть свидетельства, подтверждающие это, и в конце жизни он говорил одному корреспонденту о прозрачности мысли, выраженной в «Анне Карениной»: «То дурное, что совершает человек, имеет своим последствием всё то горькое, что идет не от людей, а от Бога».

Однако как раз в связи с этим романом Толстой высказал убеждение, что настоящее искусство всегда представляет собой «лабиринт сцеплений», не допускающих, чтобы обособлялось лишь какое-то одно из них, а все

остальные были оставлены без внимания. И, толкуя эпиграф «Мне отмщение, и аз воздам» на фоне всего происходящего в романе, конечно, тоже нельзя обособлять лишь какое-то одно сцепление, сводя проблему к неотвратимости возмездия за супружескую неверность.

Писатель Марк Алданов, автор одной из лучших книг о Толстом, заметил по этому поводу, что «защитительная речь художника не оставила камня на камне от обвинительного акта, построенного моралистом», причем это обвинение оказалось недоказуемым даже относительно Вронского и Каренина, не говоря уже об Анне. Несчастьем жизнь оказывается для всех троих. Алексей Александрович напрасно пытается подавить это чувство несчастья своим неукоснительным благочестием и твердым исполнением рекомендаций свыше, которые доводит до него медиум-шарлатан Ландо. Другой Алексей, Вронский, столь же тщетно стремится избавиться от своих нравственных страданий, отправившись на сербскую войну с очевидным намерением сложить на ней голову. За все прожитое, за каждый свой выбор человеку в конечном счете приходится ответить прежде всего перед самим собой, и нет возмездия страшнее, чем то, которое воздает себе он сам, — если только он не омертвел душой настолько, что больше не ищет цели и оправдания своей жизни.

*

«Анна Каренина» с самого начала мыслилась как роман «из современной эпохи» — обстоятельство, существенно повлиявшее на характер сюжета и на построение книги. История главной героини могла бы, конечно, происходить и в другие времена. Только некоторые служебные занятия Алексея Александровича напоминают о реалиях, например, обсуждаемое в его комитете дело об устройстве инородцев. Это дело, сопровождавшееся аферами, связанными с распродажей башкирских земель, приобрело в 1871 году настолько скандальный характер, что министру государственных имуществ Валуеву пришлось подать в отставку.

Для той драмы, которая разворачивается между Анной и двумя Алексеями, ход тогдашней русской истории имеет в общем и целом лишь косвенное значение. Опекаемый графиней Лидией Ивановной, старой и некрасивой, но пестующей в отношении Каренина какие-то романтические надежды, Алексей Александрович после всех своих бед ищет утешения в спиритизме — верная примета 1870-х годов, когда мода на спиритов стала повальной. Однако он мог бы утешаться, например, фанатической

религиозностью или филантропией, и это всерьез не переменяло бы течение его жизни. Сербско-турецкая война, которая началась в январе 1876 года, вызвав в России волну добровольческого движения, предоставляет безутешному Вронскому шанс осуществить мысль о героической гибели, но он бы наверняка ее осуществил и без такого повода. Большие и малые события в окружающем мире частным образом влияют на судьбы этих людей и все-таки не изменяют их внутренней логики.

О Константине Левине, втором главном герое романа, этого уже не скажешь. Левин во многих отношениях предстает именно как человек своего времени. Того, о котором сам он говорил: в России сейчас «все это перевернулось и только укладывается», а значит, главный вопрос — «как уложатся эти условия». Того, о котором полвека спустя афористично скажет Борис Пастернак: «Крепостная Россия выходит с короткой приструнки / На пустырь, и зовется Россиею после реформ».

Вронский у себя в имении поглощен деятельностью, которой, на его взгляд, больше всего требует эта Россия после реформ: вводит в хозяйстве «американские приемы», устраивает образцовую ферму, готовится открыть для своих крестьян больницу со стенами, оштукатуренными под мрамор. Его усадьба Воздвиженское — предмет зависти нищающих соседних помещиков, которым намного легче жилось прежде, на «короткой приструнке», когда липы не рубили на лубок, потому что так выгоднее, и не приходилось вести с мужиками торг по найму земли, а все шло по старинной отеческой системе управления. Со временем Вронский — он это знает — сделается губернским предводителем, и его стараниями старинная система будет сломана окончательно, а «американские приемы» станут самым обычным делом.

Стива, который тоже пытается как-то приладиться к новым временам, хотя такие заботы чужды его природе беспечного жизнелюба, выбирает самое простое решение: распродает свои земли, пока что-то еще осталось от бывшего богатства. Будущее его детей ничем не обеспечено, Долли ходит в лянных платьях и штопает свои кофточки, но всегда найдется какой-нибудь купец Рябинин, готовый купить принадлежащий Облонским лес, при этом обманув барина тысяч на тридцать. А как только сумма за этот лес выплачена, у Стивы гора сваливается с плеч. До следующего кризиса можно вовсе не задумываться о своем плачевном финансовом положении, а только опекать свою новую пассию из актеров, юную прелестницу Машу Чибисову, наслаждаться обедами в клубе и вести там праздные разговоры с бесчисленными приятелями. Словом, жить в точности как Васенька Перфильев, считающийся прототипом Стивы: женатый на дочери Толстого-

Американца, Полине, он то и дело ей изменял, не находя в этом большого греха. К Перфильеву Лев Николаевич был с юности привязан, часто гостил в его московском доме, но всегда досадовал, убеждаясь, что серьезные нравственные вопросы для него попросту не существуют.

В практической жизни Стива и Вронский — натуры противоположные, однако оба они воспринимают свои помещичьи заботы только как необходимость. Одному она в тягость, и не больше, другому такие занятия доставляют горделивое чувство превосходства над отставшими от современных веяний. Но то, что для каждого из них составляет настоящий жизненный интерес, находится в совершенно иной плоскости.

А для Левина главный интерес — это его земля, его дом, «мысль семейная», которую он считает себя обязанным реализовать во всей полноте понятия, по его мнению, обладающего не просто житейским, а своего рода философским значением. В годы, когда «все это переверотилось», Левин всем своим опытом хочет доказать, что старые аристократические формы жизни, вся эта уходящая культура, наследником которой он себя осознает, вовсе не обречены на гибель. Когда на его глазах эти формы рушатся или исчезают почти бесследно, Левин воспринимает такие факты болезненно, словно они самым непосредственным образом затрагивают его самого. Ему обидно видеть дворянское обеднение. Он убежден, что это происходит только из-за лени, непрактичности, легковерия владельцев старинных поместий, которые теперь за полцены покупает какой-нибудь Рябинин, чтобы вскоре рубануть топором по вековым деревьям, или поляк-арендатор, знающий, что барыне только бы отделаться от докуки хозяйственных дел и уехать в Ниццу, где она надеется беззаботно провести остаток дней.

Торжество барышников возмущает Левина не только тем, что оно незаслуженно, — больше из-за того, что Россия, какой она станет после их полного триумфа, для Левина и вправду «пустырь». Уходит целая эпоха, когда не могло быть и речи о «слиянии сословий», которым Стива, повторяя фразу, услышанную от какого-то болтуна из либералов, социологически оправдывает разорительную для него сделку с Рябининым. Рушится целый культурный мир, который для Левина овеян поэзией подлинности. Сюжет чеховского «Вишневого сада» конспективно был намечен Толстым за тридцать лет до появления этой пьесы, которая подвела итог русскому XIX веку. Драма Левина — по объективному счету, именно драма, хотя она и завершается на счастливой ноте, — плотно вписана в этот печальный сюжет.

На охоте у них со Стивой происходит стычка из-за мелочей, которая перерастает в спор о самом насущном. Стива восхищен охотничьими угодьями железнодорожного богача Мальтуса — как ухожены и сбережены болота с бекасами, какие экипажи, какие завтраки в палатках! А Левину противна именно эта бесчестно нажитая роскошь, это самодовольство нуворишей, которые составили себе огромные состояния, не приложив труда. И он яростно обличает банкиров, магнатов, весь этот быстро возвысившийся общественный слой, которому теперь принадлежит в России слишком много из ее достояния, — принадлежит не по праву, а лишь потому, что новый порядок вещей создал для них невиданные возможности. Он готов признать себя закоснелым ретроградом, но Мальтуса он не оправдывает даже тем, что тот действительно строит железные дороги, а это полезное дело.

С Кознышевым, своим сводным братом, который почитается как видный либеральный мыслитель, Левин тоже будет полемизировать о достигнутом обществом прогрессе и, вовсе не призывая вернуться к «короткой приструнке», попытается доказать, что потери после реформ оказались, может быть, существеннее, чем обретения. Понятно, какие это потери. Самая гнетущая из них, по мнению Левина, — дворянское оскудение. Он травмирован этим упадком, разумеется, не только и не столько из-за того, что опасается за свое собственное материальное благополучие, а прежде всего по причинам нравственного свойства. Уверенно добивающиеся своих корыстных целей Рябинин и Мальтус унижают, оскорбляют его едва ли не в той же степени, как Анну оскорбляло и унижало нескрываемое презрение, с которым она столкнулась, осмелившись появиться в театральной ложе перед ледяными взорами большого света. И травма усугубляется еще тем, что Левину нечем парировать возражение Облонского: пусть Мальтус бесчестен, но разве не бесчестен и он сам, получающий со своей земли пять тысяч, когда работающий на этой земле мужик доволен и пятьюдесятью рублями. Если уж быть последовательным, Левин со своими взглядами должен отдать землю этому мужику. Но он этого ни за что не сделает, как не мог бы тогда сделать нечто подобное сам Толстой, еще не достигший той стадии духовного развития, когда для него именно такое решение стало моральным обязательством. И, зная, что ему не опровергнуть нехитрую логику Облонского, Левин прибегает к своему последнему аргументу: «Я не могу отдать... у меня есть обязанности и к земле, и к семье».

Эти обязанности для него составляют смысл существования, и он их ищет с юности. Мы не так много знаем о его прошлом, но достаточно и

отрывочных сведений, чтобы почувствовать, какая это глубокая, целеустремленная натура. Товарищ Стивы по первой молодости, Левин как бы по инерции, а затем и по родственной связи сохраняет с ним приятельские отношения. И все-таки ему решительно непонятно, каким образом человек может быть удовлетворен столь малым: «питаться и питать всех молочком, т. е. любовью, снисхождением и смирением», как пишет Толстой о прототипе Облонского Васеньке Перфильеве в одном письме. А Стива, искренне расположенный к давнему своему знакомцу, тем не менее всегда отзывается о нем с иронией: всё какие-то деревенские затеи, всё какие-то странные мысли и взгляды, то земская деятельность, то жизнь угрюмым отшельником, и вечное недовольство собой. В отличие от сверстников, к тридцати двум годам ставших кто флигель-адъютантом, кто профессором, кто, как Стива, председателем присутствия, Левин всего лишь помещик, занятый «разведением коров, стрелянием дупелей и постройками». То есть, в глазах общества, он «бездарный малый, из которого ничего не вышло».

Так думает о себе и он сам, только причина не в дупелях и постройках. Карьера, положение в свете — для него все это пустое, а его истинная мечта и цель — обустроенный дом, семейное счастье. В старой повести под этим заглавием Толстой с жесткой прямоотой сказал, что на самом деле семейное счастье — химера, но «Анна Каренина» написана другим человеком. Над ним еще не заволокло тучами небо Ясной Поляны, он в своей семье пока еще, как он хочет верить, счастлив. И герою, в котором так много от него самого, автор дарит «мысль семейную», которую, по его собственному признанию, любил в своем романе больше всего.

Эта мысль может показаться незатейливой только очень невнимательному читателю. В сознании Толстого, состоявшаяся семья, где отношения скреплены любовью и ответственностью, — это едва ли не единственное, что имеет реальный смысл во времена, когда вокруг «все это переверотилось», а значит, потеряны или, по меньшей мере, сильно ослаблены нравственные ориентиры и почти исчезло понятие о высших целях существования. Как никто другой из героев романа, Левин знает, что без этих целей жизнь становится механистичной и пустой. Вернувшись из Москвы после отказа Кити, он думает о том, что ждет его впереди, и его охватывает ужас перед самой вероятной перспективой — жить как прежде, «с сомнениями... напрасными попытками исправления и падениями, и вечным ожиданием счастья, которое не далось и невозможно тебе». Женитьба для него, в отличие от очень многих, не общежитейское, а самое главное дело, потому что только полностью реализовавшаяся «мысль

семейная» докажет, что его жизнь не растрочена попусту.

Перед ним ужасный пример брата Николая, в котором сразу узнается Дмитрий Николаевич Толстой: тот же неудержимый характер, та же беспутная жизнь, приступы набожности, а после них — периоды буйства и самосожжения. Подобно всем другим персонажам, в которых чувствуется что-то сокровенно толстовское, Николай Левин не способен отдаться течению будней, не задумываясь, зачем он живет на свете. И в его озлобившемся уме крепнет убеждение, что природа назначила ему быть другим, оставить проторенные пути, сжечь за собою все мосты, словно в самом этом противоборстве заведенному порядку жизни откроется некая истинная и высшая ее цель. Но все кончается мертворожденными проектами вроде какой-то производственной артели, которая будто бы изменит весь строй общественных отношений, обидами из-за того, что все эти планы рушатся при первой же попытке их осуществить, презрением к себе, скрытой за враждебностью к окружающим. Робкая, забитая Марья Николаевна, которую Николай Левин взял из публичного дома и то прогоняет ее в припадке бешенства, то требует назад, когда обостряется его неизлечимая болезнь, да грязные номера обшарпанных гостиниц — вот все, что подарила судьба этому незаурядному, но безнадежно запутавшемуся человеку. И чувствуя, насколько он ему родной не только по крови, а по духовному составу личности, Константин Левин, присутствующий при его последних минутах, охвачен отчаянием еще и потому, что собственная его жизнь, если не будет совершено главное дело, очень вероятно, приведет к таким же итогам.

Омертвление души, инерция будней, успокаивающая оглядка на других, которые принимают установившиеся нормы как данность, — для Константина Левина это так же неприемлемо, как для его несчастного брата или для Анны. Все трое представляют один и тот же, всегда интересовавший Толстого человеческий тип, все они из тех, кому необходимо отыскать моральное и духовное оправдание своей жизни, потому что без такого оправдания она пуста, а стало быть, просто не нужна.

Философ Сергей Иванович Кознышев на фоне своих сводных братьев Николая и Константина выглядит личностью очень далекой от того мира, который для Толстого был действительно человеческим. И дело не в каких-то его моральных изъянах, а в том, что Кознышев олицетворяет уравновешенность, гармонию, спокойствие, достигнутые как раз отказом от поисков высшего смысла существования. Цня в нем большой ум, образованность и совершенно искреннее стремление служить общему

благу, Константин все-таки не может подавить подозрений, что вся эта деятельность ради либеральных начинаний идет не от сердца, а от рассудка. А рассудок говорит, что заниматься такой деятельностью хорошо и достойно, тем более что ею заслоняется необходимость ответить для себя на самые главные вопросы — о долге личности перед своей бессмертной душой. В системе толстовских представлений об истинном или кажущемся значении человеческого опыта подобные старания уклониться от главных вопросов выдают «недостаток силы жизни», абсолютно не свойственный ни обоим Левиным, ни Анне, сколь бы драматически ни складывались их судьбы. Они, все трое, живут полной мерой, пусть совершая губительные ошибки и принимая страшное возмездие за них. Кознышев только существует, больше всего на свете опасаясь, что наступит миг, когда уйти от главных вопросов будет невозможно.

Его непростительная, по толстовским меркам, моральная трусость проявляется, когда перед Кознышевым реально обозначилась перспектива серьезной перемены в жизни. Гостя у брата в деревне, он впервые за много лет испытывает что-то наподобие влюбленности: Варенька, девушка без возраста, похожая на «прекрасный, хотя еще и полный лепестков, но уже отцветший, без запаха цветов», которая помогла своей приятельнице Кити залечить болезненную рану, нанесенную Вронским, смогла внушить Кознышеву чувство, не лишенное романтичности. Все очень ждут предложения, и Кознышев честно себя уговаривает, что союз с Варенькой был бы очень разумным поступком, тем более что этот шаг не означает для него измены своему призванию и долгу, не идет вразрез со всем складом его жизни. В лесу, где их оставили наедине, Кознышев уже готов произнести положенные слова, но предложения так и не последует — из-за сущих пустяков, из-за не вовремя попавшейся на глаза розовой сыроежки и начавшегося по этому поводу разговора о различии между белым грибом и подберезовиком.

Точно такой же художественный ход впоследствии использует Чехов в пьесе «Вишневый сад» в сцене несостоявшегося объяснения Вари и Лопахина, хотя у него тональность совсем иная: люди, которым как будто бы предназначено быть вместе, разъединены тем, что абсолютно не совпадают формы существования, слишком ясно определившиеся для них обоих. А Толстому в этом новаторски написанном эпизоде важнее другое — неготовность, инстинктивное нежелание Кознышева подвергнуть хотя бы самому малому риску порядок своей жизни, логично выстроенный, безупречно правильный, но лишенный этического стресса. Кознышев — типичный интеллигент тогдашнего московского круга, а люди, которые

принадлежали к этому кругу, страдали, по мнению Толстого, некой апатией духа, из-за которой теряли цену все их благородные побуждения и тем более — все их теории, касающиеся самых существенных вопросов бытия.

Такое отношение к этому человеческому типу ясно выражено в черновой редакции сцены, когда, встретившись в дешевой гостинице, сводные братья касаются в разговоре Кознышева и его деятельности. Николай Левин судит о нем резко, с чрезмерной прямоотой, но его мысли все-таки вполне созвучны представлениям самого Толстого: «Удивительно мне, как все эти люди могут спокойно говорить о философии. Ведь тут вопросы жизни и смерти. Как за них возьмешься, так вся внутренность переворачивается, и видишь, что есть минуты... когда не то что понимаешь, а вот-вот поймешь, откроется завеса и опять закроется, а они, эти пустомели, о том, что еле-еле на мгновение постигнуть можно, они об этом пишут, это-то толкуют, то есть толкуют, чего не понимают, и спокойно, без любви, без уважения даже к тому, чем занимаются, а так, из удовольствия кощунствовать».

Кощунство, пустомеля — сказано в момент раздражения, но Кознышеву и правда совсем не знакомы минуты, когда «внутренность переворачивается» в предчувствии, что вот-вот откроется завеса над великой тайной существования. Он не человек озарения, а человек системы. И как раз поэтому он лишен авторского сопереживания.

«Мысль семейная» не вмещается в эту строго продуманную систему приоритетов, необходимостей и того, что Кознышев именует своим долгом, с энтузиазмом его исполняя, когда дело касается написания очень серьезной книги о государственном устройстве отечества или организации помощи сербам, страдающим от турецких притеснений. Книга не замечена или осмеяна нигилистами, усилия Кознышева, когда он старается укрепить общественное мнение, требующее деятельно участвовать в решении славянского вопроса, наталкиваются на обидное для него недоумение Левина, который не верит, что этот вопрос хоть сколько-нибудь понятен и близок русскому простому народу. Но все равно Сергей Иванович не сомневается, что его мир стоит на твердых основаниях, не допуская ни потрясений, ни сколько-нибудь существенных корректировок.

Славянскому делу Кознышев служит с энтузиазмом особенно сильным потому, что сочувствие взбунтовавшимся сербам — это для него новый аргумент в пользу теорий, которым он оставался верен всю жизнь, считая русский простой народ темным, но отзывчивым на добрые дела и разделяющим либеральные упования. Когда Левин резко ему возражает, настаивая, что в отряды добровольцев по большей части идут

бесшабашные головы, которые с такой же охотой грабили бы Хиву или пополняли разбойничьи шайки, Кознышев уязвлен в своих лучших чувствах. Он принимается патетично рассуждать о народном волеизъявлении и о подспудных течениях, о стихийной положительной силе, которая в этот исторический момент захватила все общество «и несет в одном направлении». Прочитав страницы, на которых описан этот спор, редактор «Русского вестника» Катков с его казенным патриотизмом возмущился настолько, что отказался поместить в журнале заключительную часть романа. Вместо эпилога появилась составленная Катковым статейка «Что случилось по смерти Анны Карениной». В ней говорилось, что после гибели героини в романе не произошло ничего сколько-нибудь серьезного, так что последняя часть произведения и не заслуживает опубликования: об Анне там почти не упоминается, Кити вся поглощена домашними заботами, а Левин с его «философскими страданиями» просто «дурит». Словом, «текла плавно широкая река, но в море не впала, а потерялась в песках». И лучше было бы «заранее сойти на берег, чем выплыть на отмель».

Эти упреки в художественной несостоятельности эпилога на самом деле были вызваны причинами чисто политического свойства. От Толстого прямо потребовали убрать из эпилога все, что относилось к добровольческому движению; он, разумеется, отказался и выпустил эпилог отдельным изданием. В газете «Новое время» за подписью «Одна из читательниц» было напечатано письмо Софьи Андреевны, одобренное самим Толстым: в нем сообщалось, что эпилог опущен в журнале, потому что редакция требовала, а автор не согласился «исключить некоторые места». Речь шла прежде всего о споре между Кознышевым и Левиным в связи со славянским вопросом.

Позиция Толстого, который не выказал ни сочувствия, ни особого интереса к сербскому восстанию, многих удивила, хотя она была по-своему последовательной. Его раздражал явный оттенок официозности, присущий «единомыслию в мире интеллигенции», о котором твердит Кознышев, считающий, что тут выразилась и воля всего народа, раздражала трескотня в газетах славянофильского направления, где опять заговорили о том, что историческая миссия России — водрузить крест над Константинополем. И вся эта политическая активность, подпитываемая прозрачными имперскими интересами, казалась Толстому только каким-то массовым ослеплением, из-за которого люди утрачивают понимание своих истинных обязанностей перед миром и перед самими собой. Когда Австрия оккупировала Боснию и Герцеговину, одна тамошняя жительница прислала

Толстому письмо, переполненное отчаянием, и писатель ответил ей, что совсем не такими заботами должен жить человек. «Ведь дело в том, что государство есть фикция, государства никогда не было и нет как чего-то реального. Реально только одно: жизнь человека и людей. И реальность эта до такой степени очевидна и ясна всякому человеку, что никакие условия, в которые он может быть поставлен, не могут уничтожить для его сознания этой первой для него важности реальности».

Мысли Константина Левина текут в том же направлении. Русский аристократ, которому больно думать о том, в какой упадок приходит сословие людей, никогда ни перед кем не подличавших и хранивших лучшие духовные традиции, он видит свою цель жизни в том, чтобы, наперекор набравшим силу рябинным, сберечь всю эту культуру «родового и трудового». Но у него есть интересы и более высокого нравственного порядка, а те «философские страдания», над которыми неуклюже иронизировал Катков, постепенно становятся для этого героя доминирующими. Они сопрягаются с необыкновенно органичным для Левина ощущением своей прямой причастности к крестьянскому миру, с которым он чувствует себя «участником в общем деле», понимаемом, в отличие от Кознышева, не как дело просвещения и социального усовершенствования посредством земских больниц или мировых судей, а как труд на земле, когда пот катит градом по лицу и поднесенная другими косцами деревенская тюрка или квасок с брусницей кажутся вкуснее самых изысканных блюд. Они искушают мыслью отказаться от прежних бесполезных занятий и никому не нужного образования, а жить естественно, в «простоте, чистоте, законности», с надеждой найти «успокоение и достоинство», отсутствие которых он так болезненно чувствовал, и они же, эти «философские страдания», заставляют покончить с фантазиями о женитьбе на крестьянке, потому что Левин не может принести в жертву сложность своей внутренней жизни. Счастье разделенной любви и осуществившейся семейной идиллии не может заглушить преследующее его чувство, что жизнь «слишком однообразно светла». Мучительная смерть брата, а затем припадок беспричинного ужаса — сродни тому, который пережил Толстой, ночуя в Арзамасе, — вернут Левина к его действительно самой главной заботе, к необходимости понять, кто он и зачем живет на свете.

Не только мысль о смерти, вновь и вновь возвращающаяся после того ужаса, который он пережил, присутствуя при кончине брата, отравляет даже самые светлые минуты семейного счастья Левина. Это счастье для него не станет настоящим и полным, пока он живет жизнью «без

малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что она такое». Левин считается автопортретом Толстого, и дело тут не просто в совпадении биографических фактов, а в духовном максимализме, присущем им обоим. Жизнь в обход вопросов о ее назначении и смысле для Левина невозможна, а ответа на эти вопросы у него нет, и вот почему ему, как самому Толстому, знакомы такие душевные кризисы, когда он, здоровый человек в расцвете сил, прячет шнурок, чтобы не повеситься, и опасается идти с ружьем на охоту.

Инстинкт жизни у него, конечно, слишком сильный, чтобы подобная угроза сделалась реальной. И все-таки она постоянно о себе напоминает, пока не найден какой-то действенный аргумент против той убийственной философии, с которой смирились другие: впереди нет ничего, кроме страданий, смерти и вечного забвения.

Этот аргумент предоставляет Левину сама жизнь, которая привела его к христианству. Случайный разговор со знакомым мужиком, сказавшим, что надо Бога помнить и жить для души, становится для Левина откровением: истины выше, чем эта, для него больше не существует. Философ Константин Леонтьев, один из самых проницательных и глубоких критиков Толстого, был совершенно прав, заявив, что, по существу, та религиозность, к которой приходит Левин с его неискоренимым скепсисом относительно догматики и обрядов, не является каноническим христианством и что Толстой «заменял потребности личной веры обязанностями практической этики». С Леонтьевым Толстой встречался в Оптиной пустыни зимой 1890 года, они долго беседовали и на прощание философ сказал писателю: «Вы безнадежны». Даже добавил, что долг обязывал бы его послать на Толстого донос в Петербург, добиваясь для автора «Анны Карениной» строгой сибирской ссылки, хотя «по слабодушию» он этого, разумеется, не сделает. А Толстой умолял написать донос тут же, при нем, потому что ни о чем он так не мечтает, как принять настоящее страдание за свои взгляды.

Говорилось все это, видимо, в шутку, однако расхождение между Толстым и Леонтьевым было принципиальным. Для Леонтьева высшей ценностью в мире была «поэзия религии» — с молитвой, церковью и обрядностью, — и все должно было подчиняться идеям, выраженным доктриной православия. Толстой доверял своему писательскому чувству, говорившему, что Левин, ставший воистину церковным человеком, сразу утратил бы свою художественную убедительность. Обретенная им — после долгих лет не столько атеизма, а просто безразличия к подобным материям — вера в Бога может быть только верой «в добро как единственное

назначение человека». И эта вера становится для героя пробуждением от духовного сна, описанным так, что даже Леонтьев при всей его непримиримости к толстовской подмене религии чистой этикой признал, что в романе лица «верны месту и времени своему», правдоподобны в границах эпохи, которой они принадлежат, и точны психологически. То есть не могут ни думать, ни поступать иначе, чем думают и поступают.

Левину уготовано такое же духовное прозрение, которое пришло к князю Андрею, увидевшему над собой небо Аустерлица. Даже сама эта метафора повторяется: две звезды на темнеющем небосводе и чувство открывшейся абсолютной истины — «свод, который я вижу, не есть неправда». Оно необъяснимо, это чувство, и все-таки оно не обманывает. Усилия мысли несоизмеримы с глубиной вопросов, на которые она ищет свой ответ. Только жизнь, если отказаться от «плутовства ума», подсказывает, «что хорошо и что дурно», для чего человек является в мир и с какими итогами его покидает.

Заканчивая эпилог, Толстой пишет о своем герое: «Так он жил, не зная и не видя возможности знать, что он такое и для чего живет на свете, и мучаясь этим незнанием до такой степени, что боялся самоубийства, и вместе с тем твердо прокладывая свою особенную, определенную дорогу в жизни». Здесь каждое слово — как о себе самом в ту эпоху, когда роман близился к концу, а Толстой все сильнее чувствовал необходимость отыскать эту свою особенную дорогу, которая, конечно, пройдет далеко в стороне от проторенных путей. Примерно в это же время было получено письмо от «бабушки» с новыми упреками в слабости религиозного чувства, и Толстой ответил Александрин: «Пожалуйста, не убеждайте меня. Что я думаю беспрестанно о вопросах, значении жизни и смерти, и думаю, как только возможно думать серьезно, это несомненно. Что я желаю всеми силами души получить разрешение мучающим меня вопросам и не нахожу их в философии, это тоже несомненно; но чтобы я мог поверить, мне кажется невозможно».

Однако Левин поверил — хотя и по-своему, придя к своей вере «особенной, определенной дорогой». С Толстым произойдет то же самое, только еще более необычной окажется его дорога к вере, проложенная в трудные годы, которые выпали сразу после того, как был дописан роман, где все начиналось с «мысли семейной», но сам ход сюжета привел к философским и этическим категориям высшей сложности.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПЕРЕВОРОТ

«Исповедь»

В романе была поставлена наконец-то точка, но почему-то больше похожая на многоточие. Константин Левин не повесился и не застрелился, на какое-то время обрел душевное равновесие, благодаря новому чувству, что «незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе». О чувстве он, однако, Кити ничего не сказал по давнишней привычке как Толстого, так и его героев, не доверять словам, хорошо зная, что «мысль изреченная есть ложь», а где ложь, там и искушение. Да и трудно было ему рассказать Кити о том, что с некоторыми натяжками можно было бы назвать прославлением жизни, вдруг обретшей высокий смысл. Ничего не изменилось, и все изменилось: «...так же буду спорить, буду некстати высказывать свои мысли, так же будет стена между святой святых моей души и другими, даже женой моей, так же буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом... так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться, — но жизнь моя теперь, вся моя жизнь... каждая минута ее — не только не бессмысленна, какою была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!» Словом, остановка жизни позади. Бег жизни возобновился. Свеча снова стала гореть ровным, спокойным светом. Второй финал романа, уравнивший первый, — там свеча, ярко вспыхнув, осветила то, что и должна была осветить, затем стала меркнуть и навсегда потухла. Для Анны Карениной. Константин Левин избежал (разумеется, пока, но так ведь на этом свете все пока) погружения во тьму. Ему еще веру надо найти, познать тайны мироздания и соединиться с другими верующими. Вот он и всматривается в небо, ища там ответа, разрешения измучивших его сомнений. На небе при ярких вспышках молнии исчезают звезды, но затем вновь появляются на прежних местах. И кажется, вот-вот загорятся на нем слова Канта, которые так любил Толстой: «Две вещи наполняют душу постоянно новым и возрастающим удивлением и благоговением и тем больше, чем чаще и внимательнее занимается ими размышление: звездное небо надо мной и нравственный закон во мне. То и другое, как бы покрытые мраком или бездною, находящиеся вне моего горизонта, я не должен исследовать, а только предполагать; я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием своего существования».

Веры любимый и даже автобиографичный герой еще, правда, не обрел,

но кризис преодолел и находится, можно сказать, на правильном пути. Что же касается Толстого, то он, завершив роман, вдруг и решительно преобразился, утратил не без труда достигнутое и казавшееся таким прочным равновесие и вступил в первый фазис духовного перелома, оказавшегося весьма длительным, перевернувшего жизнь его и всей его многочисленной семьи. Толстой, со свойственным ему математическим суеверием, считал, что перелом произошел в 1877 году, о чем он рассуждал осенью 1884 года в письме жене, давно уже потерявшей покой и надежду, что Левочка образумится: «Нынче я вспомнил, что мне 56 лет, и я слышал и замечал, что семилетний период — перемена в человеке. Главный переворот во мне был: $7 \times 7 = 49$, именно когда я стал на тот путь, на котором теперь стою. Семь лет эти были страшно полны внутренней жизнью, уяснением, задором и ломкой». Впрочем, Толстой все еще не уверен, что уяснение и ломка закончились. Оказывается, что он продолжает искать: «И или я умру, или буду очень несчастлив, или найду деятельность, которая поглотит меня всего на моем пути». А ведь уже написаны «Исповедь», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?» и другие сочинения, в которых весьма отчетливо выражена суть переворота. Но это так характерно для Толстого: поиски истины и истинного пути, настоящей деятельности не прекращаются никогда — открытый и бесконечный процесс, непрерывная ломка.

Но все-таки что такого необыкновенного произошло в этом переломном 1877 году? Зять Толстого Михаил Сергеевич Сухотин ответа на этот вопрос не обнаружил в записях Софьи Андреевны того времени (и более поздних), справедливо заключив, что в них много «наружно интересного», но «хода внутреннего перелома», совершившегося в душе Толстого, они не раскрывают. Сам Толстой в том году дневника не вел, да и Софья Андреевна свой дневник запустила, лишь однажды в феврале сделала запись, из которой мы узнаем о хлопотах с корректурами романа и головных болях (Лев Николаевич ходил на лыжах и сильно ушибся головой о дерево). Вот и все. Не так уж много можно почерпнуть и из ее дневника следующего года: Левушка все зайцев травит, много читает и спит, а пишет мало — какие-то наброски, вял и молчалив. Бывает у обедни. Ничего, с точки зрения жены, ни особенного, ни нового. Очередной творческий кризис. В ноябре за редким совместным чаепитием состоялся какой-то длинный философский разговор о смерти, религии, значении жизни, но суть его от Софьи Андреевны ускользнула. И хотя, пишет она, такого рода редчайшие душеспасительные разговоры на нее обычно действуют «нравственно успокоительно», изложить взгляды Толстого она не может,

так как устала и болит голова. Изложить не может, а беспокойство постепенно возрастает: на душе все мрачнее и мрачнее; по привычке мерещатся женщины, измены, надвигается какое-то сумасшествие.

В записях, с которыми Софья Андреевна позволила ознакомиться Сухотину, о переменах, происшедших с Толстым, говорится неоднократно, но больше о внешних признаках перемен — взгляд скользит по поверхности, но далее эпидермы не проникает. Иногда она делает попытку если не объяснить, то хоть контурно очертить смысл внутренней, как всегда *египетской* работы в душе мужа, но обрывает рассказ — всегда что-нибудь мешает, а потом забывается. Вот весной переломного года он начинает рассуждать о русской истории с новой и оригинальной религиозной точки зрения, потом переходит к собственным судорожным поискам веры, говорит, что не мог бы жить далее «в той страшной борьбе религиозной, в какой находился эти последние два года», и выражает надежду, что совсем близко то время, «когда он сделается вполне религиозным человеком, но не как...». И здесь поток мысли Толстого прерывается — по каким-то причинам Софья Андреевна вынуждена была прекратить записывать, а позже уже не смогла завершить — забыла, должно быть, потому что довольно равнодушна была ко всем этим «религиозным» вопросам. О «страшной борьбе религиозной», измучившей Толстого в годы работы над двумя последними частями «Анны Карениной», свидетельствует сам роман, сложным образом рифмующиеся и пересекающиеся два последних внутренних монолога Анны Карениной и Константина Левина.

Но внешнюю сторону и Софья Андреевна видит отчетливо, как и другие обитатели Ясной Поляны. Исключительное внимание, которое стал уделять Лев Николаевич обрядовой стороне православия, естественно, заметили все, но никого это не удивило — нигилистом Толстой не был, атеистических взглядов не проповедовал, следил, как почти все, за религиозным воспитанием детей, да и церковь посещал изредка, по большим праздникам и важным семейным событиям, не придавая этому большого значения. Ничего не было странного в том, что, приблизившись к пятидесяти годам, он стал больше задумываться о «душе», стал смиреннее и мягче, по мнению окружающих. Несколько удивляло очень уж большое усердие. Старшему лакею в семье Толстых Сергею Арбузову запомнилось, что стал часто ездить в церковь — вставал рано, в пять часов, никого не будил, ни слугу, ни кучера. Софью Андреевну на первых порах новое настроение мужа нисколько не тревожило, она уже привыкла к причудам склонного к юродству и крайностям Левочки, и религиозное рвение вовсе не представлялось ей опасным. Собирая для будущих поколений

материалы биографии Толстого, она записывает: «Все более и более укрепляется в нем религиозный дух. Как в детстве, всякий день становится он на молитву, ездит по праздникам к обедне... по пятницам и средам ест постное и все говорит о духе смирения, не позволяя и останавливая полусутя тех, кто осуждает других».

Такое подчеркнутое отношение к обрядовой стороне православия, при всей несомненной искренности порывов Толстого, не свидетельствовало о духовном перевороте. Это не очень долго длившийся период его религиозных исканий, смысл которых Толстой сам лучше всех и прояснил в «Исповеди». Ревностно исполняя обряды, он «смирал свой разум и подчинял себя тому преданию, которое имело все человечество», тем самым соединялся с предками и «со всеми миллионами уважаемых мною людей из народа». Цель высокая и благая; ничтожные «телесные» жертвы, маленькие неудобства и лишения должны были послужить делу очищения, возрождения и единения с другими: «...для смирения своей гордости ума, для сближения с моими предками и современниками во имя искания смысла жизни». Но смирять разум и автоматически подчинять себя преданию долго Толстой был просто не в состоянии. Неизбежно должно было победить рациональное аналитическое начало. И если до этих ставших почти обязательными хождений к обедне (а приходил Толстой раньше священника, с которым любил беседовать, как и с крестьянами), ежедневного чтения молитв с поклонами, соблюдения всех постов Толстой был просто равнодушен к обрядам и церковным службам, то теперь он невольно стал приглядываться к обрядам, жизни и языку церкви и с негодованием отбросил всю эту обрядность как обман, фальшь и косноязычную абракадабру. А вскоре совершенно прекратил ходить в церковь и стал резко и бестактно высмеивать обряды и церковные службы. Так что «укрепление религиозного духа» обернулось бунтом, враждой с православной церковью, и в отличие от сравнительно короткого «церковного» периода (два-три года) еретический продолжался до конца жизни, закрепленный последней волей Толстого.

В июле 1877 года Толстой вместе с Николаем Страховым отправился к старцам в Оптину пустынь. Остановился в переполненной странноприимной гостинице, не желая отличаться от простонародных богомольцев, однако монастырские порядки такого допустить не могли — графа перевели в другую, более удобную: возражать было бесполезно — в чужой монастырь...

Со старцем Амвросием Толстой беседовал в присутствии других монахов. Амвросий с произведениями Толстого был не очень хорошо

знаком, но тем не менее поблагодарил писателя, молвив, что его произведения столь благотворно действуют, что один из посетивших Оптину пустынь пожелал под влиянием описания исповеди в его романе поступить в монастырь. Толстой ответил, что в разговоре между священником и Левиным, так благотворно подействовавшим на этого посетителя, он был на стороне священника. Вечером в монастыре Толстой отстоял четырехчасовую всенощную. Софья Андреевна, ссылаясь на слова Толстого, пишет, что он «остался очень доволен мудростью, образованием и жизнью тамошних монахов-старцев». И хотя мы располагаем довольно скудными сведениями о первом паломничестве Толстого в Оптину пустынь (он посетит знаменитый монастырь, где ранее бывали Гоголь и Достоевский, четыре раза, последний раз незадолго до смерти), не так уж много знаем о содержании беседы со старцем Амвросием и архимандритом Ювеналием Половцевым, нет основания не доверять словам Софьи Андреевны, что в это свое посещение пустыни Толстой признал «мудрость старцев и духовную силу отца Амвросия» («удивительным человеком» называл он Амвросия). Согласно свидетельству Страхова, и Толстой произвел на старцев весьма благоприятное впечатление. Они говорили об этом знакомому Страхова, критику Павлу Матвееву, посетившему пустынь тем же летом. «Отцы хвалят Вас необыкновенно, — писал Страхов Толстому, — находят в Вас прекрасную душу. Они приравнивают Вас к Гоголю и вспоминают, что тот был ужасно горд своим умом, а У Вас вовсе нет этой гордости... Меня о. Амвросий назвал „молчуном“, и вообще считает, что я закоснел в неверии, а Вы гораздо ближе меня к вере. И о. Пимен хвалит вас (он-то говорил о Вашей прекрасной душе)...» Толстому слова старцев были приятны. Больше всех из них он полюбил отца Пимена, «спокойно и сладко» уснувшего во время беседы, у которого он столь тщетно хотел научиться любви и спокойствию.

Словом, посещение Оптиной пустыни — почти идиллическая страница в этот совсем не идиллический, а чреватый взрывами и бунтом период жизни. Совершенно очевидно, что старцы ошиблись, не угадали подноготной Толстого, подспудных и стремительных центробежных течений, на которые они никак не могли повлиять. Уже осенью того же 1877 года настроение у Толстого резко меняется. Все не ладится. Художественная работа не идет. Праздность тяготит. Толстой в «самом унылом, грустном, убитом состоянии духа». И — главное — нет внутреннего спокойствия. Страхов — единственный, кто мог понять и оценить его душевные муки, поскольку он и сам тогда переживал жесточайший религиозный кризис. «Мучительно и унижительно жить в

совершенной праздности и противно утешать себя тем, что я берегу себя и жду какого-то вдохновения, — писал ему Толстой. — Все это пошло и ничтожно. Если бы я был один, я бы не был монахом, я бы был юродивым — т. е. не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому вреда». И в том же письме Толстой раскрывает причину, почему ему так грустно и тяжело: «На днях слушал я урок священника детям из катехизиса. Всё это было так безобразно. Умные дети так очевидно не только не верят этим словам, но и не могут не презирать этих слов, что мне захотелось попробовать изложить в катехизической форме то, во что я верю, и я попытался. И попытка эта показала мне, как это для меня трудно и, боюсь, невозможно».

Это, казалось бы, небольшое событие, урок священника, так возмущивший Толстого, может быть, гораздо лучше освещает направление его религиозных исканий, чем идиллическое пребывание в Оптиной пустыни, где все протекало очень благостно и дипломатично. Характерны и первый порыв Толстого изложить свою веру «в катехизической форме», и постигшая его неудача. Столь же примечательно и желание стать «юродивым», порвать все сковывающие его узы, в том числе, понятно, семейные. Настроение тревожное и опасное. Тяжелый кризис и остановка жизни. Страхову об этом можно рассказать. Но не жене, которая видит только внешние приметы благочестивого поведения, совершенно не замечая бушующих осенних бурь. «После долгой борьбы неверия и желания веры — он вдруг теперь, с осени, успокоился, — записывает она в дневнике. — Стал соблюдать посты, ездить в церковь и молиться Богу». Заметив, что Толстой работает над сочинением религиозного содержания, отнеслась к этому спокойно и благожелательно: Лев Николаевич пишет о пользе христианства, что само по себе отрадно (а потом, когда выскажется, снова, но уже просветленный, вернется к «художественному»); к тому же и характер мужа всё больше изменяется к лучшему, так что «вечная, с молодости еще начавшаяся борьба, имеющая целью нравственное усовершенствование, увенчивается полным успехом».

Впрочем, Софью Андреевну можно понять, а искать в ее записях развернутые рассуждения о странном и ничем не объяснимом, по мнению Сухотина, перевороте в душе Толстого было бы нелепо. Ему самому случившееся представлялось «чем-то необъяснимым, каким-то скачком, чем-то, что нельзя ничем наполнить».

Пожалуй, скачка все же не было, как и крутого, неожиданного переворота. В «Исповеди» Толстой отвергает мистику необъяснимого, пишет о длительном и органичном процессе: «Со мной случился переворот, который готовился во мне и задатки которого всегда были во

мне». Точнее не скажешь — о «задатках» можно получить представление по последней, восьмой части «Анны Карениной», многие страницы которой исповедальны. Но переворот все-таки случился именно в конце семидесятых годов, его предыстория и суть запечатлены в «Исповеди», снабженной подзаголовком: «Вступление к ненапечатанному сочинению». Конечно, «Исповедь» — это уже промежуточный итог и художественное обобщение. «Исповеди» непосредственно предшествуют наброски религиозных сочинений Толстого, некоторые письма (особенно к Страхову), посещение святых мест и беседы со священнослужителями в 1877–1879 годах. Большой свод очень важных фактов, позволяющих определить направление духовных поисков Толстого, органичность и медленность совершавшегося перелома.

Необыкновенно важным представляется ответ Толстого в январе 1878 года Страхову, высказавшему в резкой форме близкие, но еще пугающие его еретические суждения. Страхов писал, что им порой «овладевает просто ярость — так... становятся противны всякие сделки с своей мыслью». И далее поясняет, какие он «сделки» имел в виду: возмутил недобросовестный перевод Исаака Сирина на русский язык: «переводчик не понимал половины того, что переводил, а очень старался о пышности выражений... Все ведь это сделки; для верующих всякая бессмыслица хороша, лишь бы пахло благочестием. Они в бессмыслицах плавают, как рыба в воде, и скорее им противно все ясное и определенное». Толстого беспокоили во многом такие же проблемы, но его все же явно покорило язык Страхова, неблагопристойность выражений, которым он подыскивает мягкий эквивалент: «Вы пишете, что „всякие сделки с мыслью вам противны“. Мне тоже. Еще пишете, что для „верующих всякая бессмыслица хороша, лишь бы пахло благочестием (я бы заменил: лишь бы проникнуто было верою, надеждою и любовью). Они в бессмыслицах, как рыба в воде, и им противно ясное и определенное“. И я тоже. — Я об этом начал писать и написал довольно много, но теперь оставил, увлекшись другими занятиями».

Другие занятия — это главным образом роман о декабристах, который Толстой также оставил, увлекшись работой над «Исповедью». И здесь же в письме, дабы развеять скептическое настроение Страхова, он излагает суть своего искания веры — в некотором роде ранний набросок к «Исповеди». Толстой противопоставляет вопросы разума вопросам сердца, на которые ответить может только религия, только предание, те верования, что «основаны не на словах и рассуждениях, а на ряде действий, жизни людей, непосредственно... влиявших одна на другую, начиная с жизнью Авраамов,

Моисеев, Христов, святых отцов, но внешними даже действиями: коленопреклонениями, постом, соблюдениями дней...». А в предании, объясняет Толстой рационалисту Страхову, для него «не только нет ничего бессмысленного», но он даже не понимает, «как к этим явлениям прилагать проверку смысленного и бессмысленного». Толстой «просто» верит, как миллионы людей, не понимая и не стремясь к пониманию, так как словами здесь ничего нельзя объяснить и доказать — лишь бы предание не «противоречило смутному сознанию», было бы правильным, а не «ложным». Он, не задумываясь, пьет вино, которое предание называет кровью Бога, в известные дни соблюдает пост, а в другие ест мясо, не понимая, но исполняя. Но когда утратившее чистоту предание («изуродованное борьбой разумной с различными толкователями») говорит, что надо молиться, «чтобы побить побольше турок», Толстой это предание отвергает — не разумом, а сердцем, сохраняя спокойствие и душевную свободу: «Я вполне плаваю, как рыба в воде, в бессмыслицах и только не покоряюсь тогда, когда предание мне передает осмысленные им действия, не совпадающие с той основной бессмыслицей смутного сознания, лежащего в моем сердце». Толстой понимает, что выражается сложно и неточно, но тем не менее рекомендует Страхову прибегнуть к такого рода хитрой эквилибристике. Пока она разрешает сомнения Толстого. Однако конструкция хрупкая и вот-вот может развалиться. В самом деле, остается неясным механизм разделения вопросов на рациональные и сердечные, разделение преданий на ложные и истинные. Конструкция вскоре и развалится, и будет срочно устанавливаться другая. А число ложных преданий будет постоянно увеличиваться, поскольку Толстой рано или поздно, но будет ко всему прилагать «проверку смысленного и бессмысленного». Долго плавать в бессмыслицах он был не в состоянии. Январское письмо 1878 года зафиксировало сравнительно спокойное состояние духа Толстого, продолжающего исполнять церковные обряды. Вопросы не исчезают, как снежный ком растут. В огромном количестве поглощаются богословские труды и философские сочинения, из которых Толстой сделает немало извлечений для своих собственных построений — нередко это смешанные не очень съедобные евро-азиатские блюда.

Летом 1879 года Толстой посещает Мекку православных — Киево-Печерскую лавру. Бродит «по соборам, пещерам, монахам», посещает прославленного схимника Антония, и остается почти всем разочарован: «...нашел мало поучительного». Не произвел благоприятного впечатления на Толстого и «заживо считаемый святым» отец Иона, который отказался с ним поговорить. «К схимнику, — вспоминал Толстой, — я пришел в

легеньком пальто и имел вид приказчика. Когда я сказал, что хочу побеседовать, он закричал: „Мне некогда беседовать“. А если бы я представился ему графом Толстым, охотно поговорил бы». Но Толстой не хотел представляться графом, как ранее не желал в Оптиной пустыни останавливаться в особой гостинице. Понравились ему только привратники (Толстой жил у них в башне, где графа нещадно ели блохи и вши) и один монах в пещерах (молодой вятский крестьянин), — «смирненные, простые, добрые люди». Остальные, особенно «высокопоставленные, схимник, считавшийся прозорливым, — отталкивающее впечатление произвели». Он увидел в Киеве сплошной обман, чинопочитание, подмену веры предрассудками и суеверием. Толстой вряд ли и ожидал увидеть иное; он уже заранее был настроен скептически. Смотрел пристрастными глазами человека, готового к отпадению и борьбе с тем, что он называл лжеверой. Увиденное и услышанное в Киеве лишь укрепит его еретические настроения. Именно после Киева мощи угодников, в частности, станут объектом иронии, а в статье «Церковь и государство», написанной в том же году, прозвучит: «Киевский митрополит с монахами набивает соломой мешки, называя их мощами угодников».

Однако внешне ничего не меняется. Толстой и осенью, согласно свидетельству Страхова, продолжает соблюдать посты и ходит по воскресеньям в церковь. И только по рекомендации врача Захарьина немного отступает в декабре от строгого поста, изнуряя себя религиозными сочинениями, антицерковная направленность которых уже и Софье Андреевне очевидна: «Пишет о религии, объяснение Евангелия и о разладе церкви с христианством. Читает целые дни, постное ест по средам и пятницам; весь пост есть запретил Захарьин, по случаю головных болей, происходящих будто от желудка. Все разговоры проникнуты учением Христа».

Побывал Толстой осенью по совету и рекомендации Страхова и в Троице-Сергиевой лавре, где беседовал наедине со знакомым ему по переписке наместником лавры Леонидом Кавелиным. Беседа была долгой, но о содержании ее можно лишь догадываться. После ухода Толстого Кавелин сказал со вздохом сожаления: «Заражен такою гордыней, какую я редко встречал. Боюсь, кончит нехорошо». Встречался он также в Москве с митрополитом Макарием (Булгаковым) и викарным архиереем Алексием (Лавровым-Платоновым). Обо всех беседах послал короткий отчет Страхову: «Был в Москве и у Троицы и беседовал с викарием Алексием, митрополитом Макарием и Леонидом Кавелиным. Все трое прекрасные люди и умные, но я больше еще укрепился в своем убеждении. Волнуюсь,

метусь и борюсь духом и страдаю; но благодарю Бога за это состояние».

Страхов, похоже, такими результатами бесед Толстого с представителями высшей иерархии Русской православной церкви был удовлетворен. Это совпало с его собственными мнениями об архиереях, истории церкви, митрополите Макарии, которые он не без удовольствия, без всякого смягчения излагает в письме к Толстому: «Архиереи не помогли — вот Вы увидели это жалкое умственное состояние. Они люди верующие, но эта вера подавляет их ум и обращает их рассуждения в презреннейшую софистику и риторику. Они не признают за собою права решать вопросы, а умеют только всё путать, всё сглаживать, ничему не давать ясной и отчетливой формы, много говорить и ничего определенного не сказать. Я ненавижу все эти приемы, хотя знаю, что при них может существовать дух действительного смирения и действительной любви. История нашей церкви в этом отношении очень жалка. Великих богословов, великих учителей — нет, нет никакой истории, ни борьбы, ни расцвета, ни падения. Я думаю, только в Индии можно найти что-нибудь подобное этой неподвижности мысли. Макарий много говорит проповедей, и я внимательно читал все последние, думая, что на месте митрополита он особенно покажет себя. Всё так сухо и холодно, что тоска берет». Страхов уже давно разочаровался в «архиереях» и не ждет никакого живого, спасительного слова от церковников. Все его ожидания связаны с Толстым, уже не как писателем, а как учителем жизни, религиозные сочинения которого он начинает пропагандировать на публике, предупреждая одновременно, что они не могут явиться печатно. Страхов, пожалуй, стал первым «толстовцем» (еще до «толстовства»), первым преданным и благодарным учеником. За ним последуют Лесков, который свою свечу потушит и пойдет за светильником Толстого, художник Ге и многие другие в России и за ее пределами. Но сам «цельный и последовательный человек» чувствовал себя очень неуверенно и смущенно и, кажется, был бы доволен, если бы эти умные и прекрасные люди поколебали его убеждения. Во всяком случае, с мнениями и жесткими обобщениями Страхова он не спешит соглашаться.

В декабре 1879 года Толстой беседовал с тульским архиереем Никодимом и сказал ему о своей готовности передать имение крестьянам, но одобрения это намерение у Никодима не вызвало — так как имение принадлежит не только Толстому, но и семье, у него нет нравственного права это сделать. Вообще же Толстой архиерею понравился: «Был он тогда очень верующим... Столько задавал жгучих вопросов! Он меня ими к стене, как гвоздями, пригвоздил». Вот только стремление жить без

компромиссов удивляло Никодима, и этот максимализм, по его мнению, и привел графа к отклонению от православия. Никодим, не убедив Толстого, рекомендовал ему обратиться к священнику Иванову, очевидно, славившемуся своей ученостью. Иванов посоветовал Толстому — и проще, даже элементарнее совета трудно придумать — прочитать «Православное догматическое богословие» митрополита Макария и «Догматическое богословие» Филарета Черниговского. Священник наивно полагал, что эти книги разрешат сомнения Толстого и укрепят его в православной вере. Результат оказался прямо противоположным: «Он не только не убедился в истине православной догматики, а напротив, больше чем прежде убедился в противном». Но христианство Толстой по-прежнему считал самой главной и истинной религией, «в которой все вероисповедания сходятся». Обстоятельство необыкновенно важное — зерно будущего единения людей, исповедующих разные веры. Своего рода экуменические ожидания Толстого, запомнившиеся Иванову: «Нужно настоять на том, чтобы все сошлись на самом главном; это главное, конечно, нужно установить, а в неглавных пунктах вероучения предоставить всем полную свободу и считать их совершенно безразличными».

Печальный итог своих бесед с «архиереями» Толстой подвел в «Исповеди», работу над которой вскоре и завершит (после «Анны Карениной» это самое значительное произведение, написанное им в 1870-е годы). Разумеется, это не автобиографическая проза и не художественная фантазия, и «я» здесь, в сущности, «мы», люди «моего» поколения и сословия, а голоса «других» не выделены, не персонифицированы. Не диалоги, а выжимка из них, резюме. Промежуточные звенья устранены, дан обобщенный, лишенный индивидуальных примет групповой портрет тех, к кому «он» обратился с вопросами: «Я, естественно, обратился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям ученым, к православным богословам нового оттенка и даже к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление». Он «ухватывался» за всех этих верующих, допрашивал их о вере и смысле жизни, терпеливо выслушивал, старался не спорить, «делал всевозможные уступки», — порой мелькала надежда, но тут же сменялась отчаянием. И всякий раз его отталкивало то, что жизнь всех этих верующих людей «была та же, как и моя, с тою только разницей, что она не соответствовала тем самым началам, которые они излагали в своем вероучении» (то есть еще хуже, так как примешано было лицемерие), и вера их «не та вера, которой я искал», вообще не вера, а «только одно из эпикурейских утешений в жизни». Это итог или приговор, идеально вписывающийся в очень жесткую,

предзаданную схему, предполагающую строгий отбор фактов и имен и очень высокий уровень обобщения. Можно развернуть огромный «археологический» реальный комментарий как к этой, так и к другим страницам и параграфам «Исповеди» — в определенном смысле он будет полезен, но будет и мешать усвоению мыслей и чувств, акцентируя внимание на слишком уж конкретном, мелочах и разнородных фактах, наконец, невольно появится абсолютно нежелательная полемика с теми или иными «лицами».

Почти все незаконченные религиозные сочинения 1870-х годов тяготеют к «Исповеди», а некоторые из них воспринимаются как черновые наброски разных ее частей. Своеобразной увертюрой к ней является, в частности, отрывок, точнее даже молитва Толстого, записанная на чистой странице одного письма к нему, датированного мартом 1879 года: «Что я здесь, брошенный среди мира этого? К кому обращаюсь? У кого буду искать ответа? У людей? Они не знают. Они смеются, не хотят знать, — говорят: „Это пустяки. Не думай об этом. Вот мир и его сласти. Живи!“ Но они не обманут меня. Я знаю, что они не верят в то, что говорят. Они так же, как и я, мучаются и страдают страхом перед смертью, перед самими собою и перед тобою, Господи, которого они не хотят назвать. И я не называл тебя долго, и я долго делал то же, что они. Я знаю этот обман, и как он гнетет сердце, и как страшен огонь отчаяния, таящийся в сердце не называющего тебя. Сколько ни заливай его, он сожжет внутренности их, как сжигал меня. Но, Господи, я назвал тебя, и страдания мои кончились. Отчаяние мое прошло. Я проклинаю свою слабость, я ищу твоего пути, но я не отчаиваюсь, я чувствую близость твою, чувствую помощь, когда иду по путям твоим, и прощение, когда отступаю от них. Путь твой ясен и прост. Иго твое благо и бремя твое легко, но я долго блуждал вне путей твоих, долго в мерзости юности моей я, гордясь, скинул всякое бремя, выпрягся из всякого ига и отучил себя от хождения по путям твоим. И мне тяжело и твое иго, и твое бремя, хотя я и знаю, что оно благо и легко. Господи, прости заблуждения юности моей и помоги мне также радостно нести, как радостно я принимаю, иго твое».

Молитва близка «Исповеди» настроениями, религиозными интенциями, однако ее невозможно представить себе как в структуре этого произведения, так и в составе статьи. Скорее всего, это фрагмент какого-то задуманного, но на самом раннем этапе брошенного произведения (видимо, художественного — монолог-молитва героя, юные годы которого еще не стали давним воспоминанием). В «Исповеди» нет молитв — они там неуместны.

Ближе всего к «Исповеди» одно большое сочинение без заглавия («Работа не художественная и не для печати»), датируемое приблизительно осенью — зимой 1879 года. Точнее, первая глава, начинающаяся словами: «Я вырос, состарился и оглянулся на свою жизнь. Радости преходящи, их мало, скорбей много, и впереди страдания, смерть». А далее повествуется об отчаянии, о том, что Толстой в «Исповеди» и «Записках сумасшедшего» называл «остановкой жизни», о мысли покончить с этой бессмысленной жизнью самоубийством и, конечно, об усиленных поисках веры. Всё это отчасти соответствует первым пяти главам «Исповеди», но изложено гораздо бледнее и больше напоминает вариации на темы Екклесиаста. Попытка исповеди, тут же свернутая и переросшая в остро полемичную публицистику, памфлетное обозрение истории Русской православной церкви, иронический разбор книг, прочитанных по рекомендации священника Иванова (катехизис Филарета — ложь, грубый и пошлый обман). В церкви он видит послушную служанку самодержавного государства. «Царство церкви» — это «царство дьявола и тьмы». Толстой с присущим ему пафосом негодует и обличает это подменное лжехристианство, прибегая к излюбленным риторическим приемам: «Оттого, что мы христиане, мы идем убивать турок, завтра — немцев, и все во имя Христа одобряют и восхищаются. Оттого, что христиане, мы вешаем 20-летних мальчиков, и все одобряют, восхищаются... Оттого, что мы христиане, мы блуд разрешаем. Оттого, что мы христиане, мамона есть наш бог». Учение Христа чудовищно искажено. Его необходимо очистить от многочисленных искажений и напластований, освободить от неясных и фантастических атрибутов, к которым Толстой, в частности, относил чудеса, мощи и пророчества, почти все обряды. А также надо перевести Священное Писание на простой, общедоступный язык. Причем Толстой считает допустимым прибегать к предельному упрощению, граничащему с кощунством, или использовать высоко им ценимые философские формулы Канта («царство небесное вне времени и пространства»), сопровождая слишком вольный перевод иногда ироническим комментарием. В Христе ему оказывается исключительно близкой идея странничества («И всю свою жизнь он ходит из места в место и ночует где дома, где под шапкой. Когда есть что — поест, а когда натошак ложится спать») и «несемейственность», как и Лесков, он в очень личном смысле трактует слова «враги человеку домашние его»: «Он учит, что надо бросить жену и детей и идти за ним, и сам не женится и не имеет семьи». Отделяет Христа от тех, кто узурпировал его учение, исказив дух и смысл: «Иисус пошел на казнь не затем, чтобы уверить людей, что надо попам в парчевых мешках лопотать

бессмысленные речи в домах с крестами, и всем купаться, мазаться маслом и есть с ложечки пшеничные крошки с вином, и десяткам монахов спасаться в пустыне, и всему миру жить по-старому».

В последних главах этой увертюры к его религиозным сочинениям критика церкви, государства, современного общественного строя усиливается. Стремясь доказать, что православное учение о церкви сегодня есть «учение чисто враждебное христианству», Толстой создает карикатурный портрет дикого, обросшего и лицемерного сообщества, внушающего ему только отвращение: «Православная церковь? Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженных людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженных людей, находящихся в самой дикой, рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ. Как же я могу верить этой церкви и верить ей тогда, когда на глубочайшие вопросы человека о своей душе она отвечает жалкими обманами и нелепостями и еще утверждают, что иначе отвечать на эти вопросы никто не должен сметь, что во всем том, что составляет самое драгоценное в моей жизни, я не должен сметь руководиться ничем иным, как только ее указаниями».

Толстой, в сущности, завершил вчерне свой полемический антицерковный трактат, высказался начистоту, но вряд ли остался доволен. Во всяком случае, он вернулся к началу и увлекся его переделкой. Результатом переделки и стала «Исповедь». В 1882 году ее вырезали из майского номера «Русской мысли», что лишь способствовало популярности этого произведения — с корректурных оттисков были сняты многочисленные копии, которые в литографированном или гектографированном виде разошлись по всей России, а вскоре появились и переводы на европейские языки: интерес к этому ключевому произведению «нового» Толстого был исключительно велик.

В «Исповеди» таких резких, порой, даже грубых выпадов против православной церкви, как в незавершенных сочинениях, посвященных поискам истинной веры, нет, хотя направление духовных исканий такое же. Возможно, правы те, кто считает «Исповедь» одним из немногих произведений Толстого, написанных после переворота, где еще ощутимо православное «настроение». «Исповедь», действительно, произведение переходное, в котором критические тенденции смягчены, а лексика может считаться сравнительно умеренной, не вызывающей. Ощутима в

«Исповеди» и грусть расставания со старой верой после тщетных попыток бессознательно раствориться в ней, смиренно принять то, что исповедует большинство народа. Но, если позволительно так выразиться, Толстой никакую веру не мог принять на веру, о чем и сказал с присущими ему искренностью и прямоотой, подводя предварительный итог своим религиозным поискам в той же «Исповеди»: «Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить».

«Исповедь» не автобиография Толстого. Он, разумеется, выделяет, очень строго выбирая, определенные, узловые факты своей жизни, «вспоминает». Однако — это не совсем факты и воспоминания, на что есть и прямое указание в тексте: «Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни — и трогательную и поучительную в эти десять лет моей жизни». Истории своей жизни Толстой не рассказывает. Не потому, что не желает, а потому, что здесь у него другая цель, требующая и другой «литературы», специфической художественности. Литературовед Александр Михайлович Панченко абсолютно справедливо отметил жанровую предопределенность структуры произведения: «„Исповедь“ построена по очень давней трехчастной схеме христианской легенды». Непременные элементы схемы («прегрешение — наказание — прозрение, обретение веры») в «Исповеди» присутствуют. Прегрешения перечисляются с неперменной в исповедях и легендах преувеличенной обнаженностью: «Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспоминать об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершил...» К грехам отнес Толстой и свою писательскую деятельность, и здесь он лицемерил и обманывал, ибо для того, чтобы иметь деньги и славу, «надо было скрывать хорошее и выказывать другое», а от сближения с такими же корыстолюбивыми и лицемерными коллегами по ремеслу «вынес новый порок — до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему». Да и с самого начала импульсы, побуждавшие писать прозу, были суетными, греховными: тщеславие, корыстолюбие, гордость. В самом осуждении художественного ремесла и писательских «соблазнов» сквозит гордость; об этом размышляет человек, достигший олимпийских высот, вкушивший славы, и даже способный превзойти всех великих: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну и что ж!..»

Можно, пожалуй, проиллюстрировать это жанрово-ритуальное самобичевание какими-то известными нам, из свидетельств Толстого и его современников, «фактами», но такое толкование-комментирование будет обывательским и наивным. Легенда предполагает создание образа великого грешника, каковым Толстой не был. Иван Бунин высмеял обывательские представления о «великом грешнике» Толстом: «„Великий сладострастник“, „по великим грехам нашим...“ Да, откуда всё это? Великая страстность натуры Толстого неоспорима, величайшая острота его чувствования всяческой плоти земной — тоже; но „сладострастие“, если понимать это слово в обычном смысле? И где можно найти в жизни Толстого фактические доказательства проявления его „великой сладострастности“? Все в один голос твердят еще и до сих пор, что он провел „очень бурную молодость“. Но что же в ней было особенного, какие там бури?... Да, иногда азартно играл в карты, иногда ездил к цыганкам... потом имел две связи до женитьбы... был влюблен в Молоствову, в Арсеньеву... Но ужели это „бури“!» Самобичевание Толстого многие восприняли буквально, на что он, кажется, и рассчитывал. В этом косвенно убеждает его совет Страхову (ноябрь 1879 года): «Напишите свою жизнь... Но только надо поставить — возбудить к своей жизни отвращение всех читателей». Страхов, кстати, тут же внял совету, прислал сжатую, но откровенную исповедь Толстому, так «заголил», что смутил и огорчил его.

Наказание грешника изображено с впечатляющей силой. Бесконечная череда бесцельных, неуместных, глупых, простых, детских вопросов, все время повторяющихся, неустанно стучащих в голову вопросов, на которые жизненно важно найти ответы, но ответы не рождались, а вопросы, умножаясь, «и как точки, падая всё на одно место, сплотились... без ответов в одно черное пятно». Остановилась жизнь, не в первый раз остановилась, но это была какая-то чрезвычайная остановка, не просто приступ тоски или сильное страдание. Вдруг жизни не стало и всё опостылело — «какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее». Мысль о самоубийстве явилась сама собой и так же «естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни». И особенно подчеркивается, что соблазнительная мысль о самоубийстве, прогнать которую не удавалось, явилась тогда, когда он достиг наивысших успехов во всем, с точки зрения окружающих — даже совершенного счастья: «У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-

нибудь прежде был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми — десяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишать себя жизни». Иначе говоря, это не временное состояние уныния, вызванного какими-то настроениями в семейной жизни, болезнями, материальными и профессиональными неудачами, обидным невниманием современников, а именно глубочайший душевный кризис, потеря смысла жизни и, естественно, отвращение к ней. «Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что всё это — только обман, и глупый обман! Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто — жестоко и глупо». Какая-то сыгранная над ним «глупая и злая шутка» кем-то, кто находится неизвестно где, неуловим и невидим, потешается над его муками, над ним, который добрался до вершины, где и стоит «дурак дураком», вдруг увидев отчетливо, что «ничего в жизни и нет, и не было, и не будет». Тьма стала слишком густой, крошечной, и ужас тьмы стал настолько велик, что хотелось немедленно от него избавиться — пусть с помощью петли или пули. Большую часть «Исповеди» занимает история поисков истины, исцеления и обретения веры, точнее, возвращение «к вере в Бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни», «сознательное» возвращение к «самому прежнему, детскому и юношескому», к христианскому вероучению, но не в том виде, в котором его толкуют богословы и архиереи, а в очищенном от лжи, чем он и намерен заняться.

К «Исповеди» непосредственно примыкают два незаконченных произведения Толстого — «Записки христианина» и «Записки сумасшедшего», над которыми он работал в 1880-е годы. В своеобразном предисловии к «Запискам христианина» Толстой коснулся судьбы «Исповеди». Он рассказал, как «сделался из нигилиста христианином» (краткий и весьма упрощенный пересказ сюжета), заодно крайне пренебрежительно отозвавшись обо всех созданных им художественных произведениях и усилив критику государства и обслуживающей его церкви: «Если я хочу описывать, как дама одна полюбила одного офицера (это почти по Некрасову — Щедрина карикатурное изложение одной из

линий романа „Анна Каренина“), это я могу; если я хочу писать о величии России и воспевать войны (похоже, что речь идет о „Войне и мире“ — сам Писарев радостно вздрогнул бы от такой поистине нигилистической формулы), я очень могу; если я хочу доказывать необходимость народности, православия и самодержавия, я очень и очень могу... Но этой книги, в которой я рассказывал, что пережил и передумал, я никак не могу и думать печатать в России...»

Критическое настроение Толстого стремительно возрастает — не только по отношению к государству и церкви, но и к своим прежним, до «Исповеди», произведениям, он уже ничего в них не видит кроме «вредной и соблазнительной дребедени». И не сомневается, что «Исповедь» рано или поздно дойдет до русских читателей: «Я знаю, что мысль, если она настоящая, не пропадет, и потому книгу я отложил: и знаю, что если там есть настоящая мысль, то правда со дна моря всплывет; и труд мой, если в нем правда, не пропадет». Толстого беспокоит, что читатель не может ознакомиться с его «новым взглядом на мир». Потому-то и предлагает читателю нечто похожее на дневник деревенской жизни.

Однако вскоре Толстой оставил «Записки христианина». Дневник деревенской жизни с яркими зарисовками крестьянских типов и размышлениями о парадоксальной странности сложившихся между ним — барин и работниками отношений с традиционным для всего творчества Толстого после переворота контрастным противопоставлением трудящихся от зари до зари крестьян и многочисленных бездельников, которым они обеспечивают льготную жизнь, очень пригодится для других произведений. Так, например, описание посещения острога — это набросок, предварительный этюд ряда сцен в романе «Воскресение»: «Я был в этом остроге и знаю его. Знаю запах этого острога, знаю пухлые, бледные лица, вшивые оборванные рубахи, параша в палатах, знаю, что такое для рабочих людей праздность взаперти день, два, три, каждый день с 24 часами, четыре, 5 — сотни дней, которые проживают там несчастные, только думая о том и слушая о том, как отомстить тем, которые им отомстили».

«Записки христианина» напрасно печатают в составе дневников Толстого (в виде приложения к записям 1881 года). Это незаконченное художественное произведение. Оно даже предисловие имеет, где объясняются цели автора, структура и заглавие. Возможно, заглавие показалось Толстому слишком полемичным и неудачным, вызывающим («Знаю, что за это заглавие меня осудят... Кто может сказать про себя: я христианин? Настоящий христианин прежде всего смиренен и не дерзает

называть себя и печатно объявлять христианином. Пускай судят, я все-таки выставляю это заглавие»), к тому же потребовавшим бы пространных разъяснений — ведь в слова «я христианин» Толстой вкладывал свой особый смысл, отличный от того, что под этим обычно понимают. Дело многотрудное — тут и десятком трактатов не обойтись. Вот, видимо, одна из важнейших причин, почему он прекратил работу над этим произведением.

Не завершил Толстой и «Записок сумасшедшего». Но и в незавершенном виде эта повесть принадлежит к числу шедевров Толстого. Лев Шестов утверждал, что «Записки» «могут считаться ключом к творчеству Толстого». Вполне возможно, хотя одного ключа явно недостаточно — потребуется большая связка: Толстой многолик и переменчив. Бесспорно, «Записки сумасшедшего» — одно из самых трагических и исповедальных его произведений. Даже «Исповедь» кажется сухой, рационалистичной, тенденциозной в сравнении с изображенным в «Записках» кризисом веры, ужасом жизни, отлитом в зримые и одновременно абсурдно-сюрреалистические образы. А ведь Толстой в «Исповеди» достигает пределов самоуничтожения, самобичевания, подробно и сильно повествует об «остановках жизни», которая стала «бессмыслицей». Восточная басня о двух мышах, подтачивающих ветку, за которую ухватился несчастный путник, и драконе смерти на дне безводного колодца, уже разинувшем пасть (аллегорическое изображение жизненного пути), и сон, замыкающий произведение, — два столба, на которых держится «Исповедь».

А вот в «Записках сумасшедшего» нет места таким снам и аллегориям. Зато там присутствуют арзамасский и московский ужасы, на которые в «Исповеди» Толстой только намекнул, весьма рельефно описав последствия. Понятно, почему — это нарушило бы баланс, ослабило проповедь, непропорционально увеличило бы вводную часть — рассказ о предыдущей жизни, о прегрешениях и наказании. Но тем самым Толстой не допустил в «Исповедь» самое интимное, болезненное. Пожалуй, «Записки сумасшедшего» в большей степени исповедь Толстого, чем то, что он сам назвал «Исповедью». Какой длинный, с какими утомительными «техническими» подробностями сон заключает «Исповедь»! Но всё равно сон воспринимается как сочиненный в назидание и в ободрение другим рассказанный, и не идет ни в какое сравнение, бледнеет рядом с кошмаром, пережитым героем повести в белом и грустном арзамасском домике, в чисто выбеленной мрачной квадратной комнате, где его настигло «оно», жизнь и смерть слились в одно, в красный, белый, квадратный ужас,

который вновь повторится в московской гостинице и затем в зимнем лесу. Повесть обрывается в тот миг, когда свет истины осветил героя, а окружающие расценили это как сумасшествие. Так, кстати, некоторые современники расценят духовные поиски Толстого. Федор Михайлович Достоевский в конце мая 1880 года передавал в письме жене слова писателя Григоровича, известного сплетника и интригана: «Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел». «Подтвердил» слова Григоровича, видимо, не без злорадства Михаил Никифорович Катков, с которым Толстой окончательно разошелся: «Слышно, он совсем помешался». Сообщил Достоевский жене и о том, что его подбивали съездить в Ясную Поляну: «Но я не поеду, хотя очень бы любопытно было». Достоевскому встретиться с Толстым не удалось — ему осталось жить немногим более полугода. Да и пугали его новые настроения Толстого. Федор Михайлович с недоверием воспринял «обращение» Константина Левина, добывшего веру в Бога от мужика, так как у таких московских баричей средне-высшего круга не может быть окончательной веры. И высказал уверенность, что Левин «веру свою... разрушит опять, разрушит сам, долго не продержится: выйдет какой-нибудь новый сучок, и разом всё рухнет». Достоевский набросал и сценарий очередного поворота, пародируя стилистику внутренних монологов героев Толстого: «Кити пошла и споткнулась, так вот зачем она споткнулась? Если споткнулась, значит, и не могла не споткнуться; слишком ясно видно, что она споткнулась потому-то и потому-то. Ясно, что всё тут зависело от законов, которые могут быть строжайше определены. А если так, то, значит, всюду наука. Где же промысел? Где же роль его? Где же ответственность человеческая? А если нет промысла, то как же я могу верить в Бога, и т. д. и т. п.». Понятно, что это говорится не только о Левине, но и о самом Толстом, религиозные искания которого болезненно задевают Достоевского.

Год перевертыш

В начале 1881 года Александрин написала Толстому, что дала прочесть его письмо с кратким изложением религиозных взглядов Достоевскому. «Он любит вас, много расспрашивал меня, много слышал об вашем настоящем направлении и, наконец, спросил меня, нет ли у меня чего-либо писанного, где бы он мог лучше ознакомиться с этим направлением, которое его чрезвычайно интересует», — объяснила она Льву Николаевичу.

В своих «Воспоминаниях» Александра Андреевна Толстая подробнее и в иной тональности рассказала о встрече с Достоевским, видимо, состоявшейся 11 января 1881 года: «Вижу еще теперь перед собою Достоевского, как он хватался за голову и отчаянным голосом повторял: „Не то, не то!..“ Он не сочувствовал ни единой мысли Льва Николаевича; несмотря на то, забрал всё, что лежало писанное на столе: оригиналы и копии писем Льва. Из некоторых его слов я заключила, что в нем родилось желание оспаривать ложные мнения Льва Николаевича».

В письмах, с которыми ознакомился Достоевский, Толстой в деликатной, но бескомпромиссной форме отвергал церковную веру с ее «фокусами» (а это и догматы, и обряды, и иконы, и мощи). Отрицал он и божественную природу Христа; всё, что говорится о Христе как Боге, втором лице Троицы, по убеждению Толстого, «кощунство, ложь и глупость», повторив то, что говорил Александрин несколько ранее при личной встрече, чуть не доведя ее до рыданий. Обсуждать вопросы веры с Александрин Толстой находил бессмысленным. На письмо с упоминанием Достоевского он не ответил и вообще прервал надолго переписку с ней. Вероятно, обиделся. Ведь его письма не предназначались для чужих глаз. А кроме того, еще свежо было впечатление от рассказов В. В. Стасова о пушкинском празднике в Москве, на котором величайший триумф выпал на долю Достоевского. От рассказа не просто иронического, а ядовитого — гнев Тургенева, умноженный на крайний скептицизм и неверие Стасова: «Все, точно пьяные или наевшиеся дурмана, чуть не на стенку лезли от открытых Достоевским русского „всечеловека“ Алеко и русской „всеженицы“ Татьяны, и плакали, и рыдали, и обнимались, словно в Пасху или радостное какое-то торжество, чокаясь яичками или поднося друг другу букеты». Стасов упражнялся в искусстве иронии. А Толстой внимательно слушал и «крепко морщился».

Возможно, Александрин хотела стать посредником между Толстым и Достоевским, способствовать их личной встрече. Но этого не произошло. Достоевский умер через десять дней после ее письма к Толстому. Смерть Достоевского, по свидетельству Софьи Андреевны, «ужасно поразила» Толстого и навела «на мысль о его собственной смерти, и он стал сосредоточеннее и молчаливее». Поразило, должно быть, и письмо Николая Страхова, где были и такие проникновенные слова: «Чувство ужасной пустоты не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось пол-Петербурга или вымерло пол-литературы... Он один равнялся... нескольким журналам. Он стоял особняком среди литературы, почти сплошь враждебной, и смело говорил о

том, что давно было признано за „соблазн и безумие“». Тогда же Страхов написал некролог (остался в черновых бумагах критика), перекликающийся с этим письмом к Толстому: «В этом человеке был истинно неистощимый запас сил, было что-то загадочное, не слагавшееся в твердые формы. От Достоевского постоянно можно было ожидать каких-то откровений, новых и новых мыслей и образов... Число читателей и почитателей покойного быстро росло и было огромно. Глубокая серьезность тем, которые он брал в своих романах, глубокая искренность „Дневника“ действовали неотразимо... Впечатление было могущественное. Его „Дневник“ и по своему внутреннему весу, и по внешнему влиянию на читателей, конечно, равнялся не одному, а, пожалуй, нескольким взятым вместе большим журналам со всеми их редакциями и усилиями. Его романы всегда стояли в первом ряду художественных произведений текущей литературы, были выдающимися ее явлениями... Он вовсе не был поклонником минуты, никогда не плыл по ветру, а всегда был писателем независимым... Свою преданность искусству, свою любовь к народным началам, свое отвращение к Европе, свою веру в бессмертие души, свою религиозность — всё это он смело проповедовал».

В тон этому некрологу Страхова и письмо Толстого, которое непременно приводят во всех биографиях Достоевского. Оно того стоит. Толстой концентрированно, точно и эмоционально выразил свои чувства в связи с печальным известием и личное отношение к Достоевскому — человеку, религиозному мыслителю, писателю: «Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек... И никогда мне в голову не приходило меряться с ним — никогда. Все, что он делал... было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость. Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось... И вдруг за обедом... читаю умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу».

В том же письме Толстой рассказал, что совсем недавно читал роман «Униженные и оскорбленные» и «умилялся». Роман далеко не из лучших произведений Достоевского. Так ведь Толстой не литературными красотами любовался, а умилялся гуманным направлением, сентиментальным тоном романа, тем, что он так ценил в произведениях Гюго, Диккенса, в «Хижине дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу, которые «заражали» читателя добрыми чувствами.

Он, надо сказать, часто перечитывал Достоевского. Осенью 1880 года, перечитав «Записки из Мертвого дома», Толстой написал Страхову: «На днях нездоровилось и я читал Мертвый дом. Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги из всей новой литературы, включая Пушкина. Не тон, а точка зрения удивительна — искренняя, естественная и христианская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю».

И в этом письме речь идет не о том, что обычно называют художественными или литературными достоинствами. Толстой действительно никаких особенных литературных достоинств в «Мертвом доме» не видел: язык Достоевского его не удовлетворял. Будь его воля, он бы книгу Достоевского переписал, обработал в том же духе, как он обрабатывал произведения других писателей, к примеру, такого блестящего стилиста, каким был Лесков (но Толстого раздражали именно блеск, чрезмерность, стилистические «фокусы» Лескова), тем более что завершённые тексты для Толстого собственно не существовали — он до бесконечности правил собственные произведения, превращал чистые корректуры в черновой текст, ввергая в отчаяние редакторов.

Но высокая христианская (в том духе, в каком понимал христианство сам Толстой) точка зрения Достоевского в «Мертвом доме», искренность, естественность, выстраданность (качества, которым он очень большое значение придавал) книги делали ее в глазах Толстого произведением, возвышающимся над всеми шедеврами русской литературы. Никакого непочтения к Пушкину в отзыве Толстого нет, как нет здесь ни нигилизма, ни утилитаризма, ни специфической «писаревщины»: он продуман, прочувствован и лишен всякой полемичности. И нет ни одного другого произведения, ориентация на которое в творчестве позднего Толстого была бы столь значительной. Сильнее всего она, естественно, в романе «Воскресение».

Страхов передал мнение Толстого Достоевскому с явным удовольствием и сообщил о его реакции в письме: «Видел я Достоевского и передал ему Вашу похвалу и любовь. Он очень был обрадован, и я должен был оставить ему листок из Вашего письма, заключающий такие дорогие слова. Немножко его задело Ваше непочтение к Пушкину, которое тут выражено („лучше всей нашей литературы, включая Пушкина“). „Как, — включая?“ — спросил он. Я сказал, что Вы и прежде были, а теперь особенно стали большим вольнодумцем».

Страхов вообще довольно регулярно передавал Толстому всякие

сведения о Достоевском (и наоборот) и его суждениях о печатающихся произведениях писателя. Роль посредника и информатора ему положительно нравилась. Так что Толстой был знаком с разными событиями в жизни Достоевского. Объясняя причины своего участия в «Гражданине» тем, что Достоевский счел бы отказ изменой, Страхов попутно писал и о скорой его отставке с поста редактора еженедельника. А в письме от 18 мая, пересказывая различные отзывы на седьмую часть «Анны Карениной», с явным удовольствием выделяет высокое мнение Достоевского, «который машет руками и называет Вас богом искусства. Это меня удивило и порадовало — он так упрямо восставал против Вас».

Однажды Толстой, Достоевский и Страхов присутствовали на лекции Владимира Соловьева в зале Соляного городка (дом на Фонтанке в Петербурге). Случилось это 10 марта 1878 года, за день до возвращения Толстого в Ясную Поляну. Достоевский с женой Анной Григорьевной уже не первый раз посещали лекции очень популярного молодого философа. Толстого пригласил Страхов. Лев Николаевич попросил своего петербургского друга ни с кем его не знакомить (он вообще не любил публичности, часто прибегал к своего рода маскарадному переодеванию, далеко не всегда помогавшему, но на этот раз в чужом и нелюбимом городе анонимность соблюсти удалось — под деликатной опекой Страхова, разумеется). Настроен был Толстой иронично. Сохранился его колоритный рассказ о зале, публике, Владимире Соловьеве и его лекции: «Можете себе представить битком набитый зал, духота невероятная, просто теснят друг друга, сидеть негде — не только стулья, но и окна все заняты. Дамы чуть ли не в бальных туалетах. И вдруг с большим запозданием, как и следует maestro, появляется на эстраде Соловьев — худой, длинный, как жердь, с огромными волосами, с глазами этакого византийского письма, в сюртуке, который висит на нем, как на вешалке, и с огромным белым галстуком, просто шелковым платком вместо галстука, повязанным бантом, как, знаете, у какого-нибудь художника с Монмартра, обвел глазами аудиторию, устремил взгляд куда-то горе и пошел читать, как пошел... через каждые два-три слова по двух и трехэтажному немецкому термину, которые почему-то считаются необходимыми для настоящей философии, просто ничего не понять... читал он это, читал, а потом вдруг дошел до каких-то ангельских чинов и стал их всех перечислять — по-поповски — херувимы, серафимы, всякие престолы и разные прочие чины, положительно не знаю, откуда он их набрал и точно всех их видел сам. Глупо как-то. Я так и не мог дослушать лекции, оставив Страхова одного».

Толстой с лекции модного философа сбежал, а Страхов объяснил свое

странное поведение Достоевскому обещанием, данным им Толстому ни с кем его не знакомить. Анна Григорьевна приводит слова огорченного мужа, обращенные к Страхову: «Как я жалею, что я его не видал! Разумеется, я не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет. Но зачем вы мне не шепнули, кто с вами? Я бы хоть посмотрел на него!.. Никогда не прощу вам, Николай Николаевич, что вы мне его не указали!» Но Страхов, похоже, не слишком желал этой встречи, ревнивее всего оберегая свою частную дружескую связь с Толстым, которому он гораздо больше симпатизировал, чем Достоевскому, о чем свидетельствуют разбросанные в его письмах литературные и психологические реплики. Само собой, он предпочитал психологическое и словесное искусство Толстого, считая, что роман «Анна Каренина» «поражает своею недоступною для массы правдою и глубиною». Изображение любви в романе Толстого не идет ни в какое сравнение со «страстными» страницами Достоевского («Почти непонятно, каким образом Достоевский, столько волочившийся и дважды женатый, не может выразить ни единой черты страсти к женщине, хотя и описывает невероятные сплетения и увлечения таких страстей»), И помимо всяких литературных предпочтений Страхов подчеркивал огромное различие между Толстым и его великими современниками: «Очень люблю и уважаю Вас. Я Тургенева и Достоевского, простите меня, не считаю людьми; но Вы — человек, и не поверите, как отрадно такому смутному и колеблющемуся существу, как я, увериться, что он встретил настоящего человека». Так изъяснялся Страхов в любви к Толстому в письме. Достоевский был коллега, литературный собрат, Толстой — исповедник и духовный вождь.

До поры до времени отзывы Страхова о Достоевском были в основном доброжелательными: старый друг по литературным сражениям 1860-х годов, ценивший его статьи и философские познания. Правда, о литературных качествах произведений Достоевского он был не очень высокого мнения — сравнения с Толстым никак не выдерживает. Сверхлестный отзыв Толстого о «Записках из Мертвого дома» оказался для Страхова неожиданным, побудил перечитать книгу, и он «удивился ее простоте и искренности, которой прежде не умел ценить».

Казалось бы, после обмена письмами-откликами на смерть Достоевского, ни Страхову, ни Толстому и в голову не придет опорочить репутацию Федора Михайловича. Вскоре Страхов приступил к работе над биографией Достоевского и написал об этом Толстому. «Предстоит... большая работа — биография Достоевского. Жду возможности поговорить с Вами об этом. Я попробую рассказать Вам, что знаю, и попрошу Вашего совета — как это делать? К чему направить весь труд?»

Работа над биографией Достоевского продвигалась достаточно быстро, но всё больше не удовлетворяла и угнетала Страхова: «...идет плохо, но продвигается вперед порядочно». Но 16 августа 1883 года прозвучали первые раскаты грозы, еще довольно мирные (так, добродушное ворчание): «Почти кончил свою „биографию“. Не ожидал я, что это так меня увлечет, и если первая половина будет скучна, то вторая, вероятно, прочтется с интересом. Какое странное явление этот человек! И отталкивающее, и привлекательное». Слова подбираются и выговариваются пока еще с большим трудом. С оглядкой — тут же следует отбой: «Я прибрал Достоевского, а сам, верно, хуже».

Гроза разразилась — да еще какая — поздней осенью. Все таившиеся подпольные чувства бурным потоком излились на голову ошеломленного Льва Толстого, который ничего подобного не ожидал. Текст биографии никаких разоблачений не содержал, вполне устраивая вдову и всех читателей и почитателей Достоевского, но очень отличался от того письма к Толстому, которое Страхов назвал «маленьким комментарием»: в нем он не просто «прибрал», а буквально вывалял в грязи Федора Михайловича. «Маленький комментарий» предназначен был скорректировать мнение Толстого о биографии Достоевского: «Много случаев рисуются мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее; но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем». Сомнительное, особенно для бесстрашного и бескомпромиссного правдолюбца Толстого, обобщение.

А между тем Страхов был склонен именно к обобщениям, крайним и злонамеренным обобщениям. Вот одно из них, поразительно беспомощное и надуманное: «Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливецом, героем и нежно любил одного себя». Ему предшествует столь же надуманное и какое-то надрывное, да еще и назидательное, ханжеское: «*Движение истинной доброты, искра настоящей теплоты*, даже одна минута настоящего раскаяния — может всё загладить; и если бы я вспомнил что-нибудь подобное у Достоевского, я бы простил его и радовался бы на него. Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная и литературная гуманность — Боже, как это противно!» Бездоказательно, сумбурно и странно, порой похоже на горячечный бред — в самом деле, кто уполномочил критика и философа Николая Страхова прощать писателя Достоевского? И за что — в чем он перед ним или страждущим человечеством провинился? Приводятся какие-то слухи и рассказ шапочно знакомого с Достоевским Висковатого о педофильских наклонностях, которыми тот будто бы похвалялся. Еще

Страхов рассказывал о каких-то мелочах, свидетельствующих о том, каким несдержанным, несносным человеком был Достоевский в быту и общении с окружающими. Всё это раздуто до невероятных масштабов и пропитано неумной, нескончаемой ненавистью. Дрожащей от гнева рукой Страхов создает портрет нравственного монстра: «Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким, и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен... Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими... Заметьте при этом, что, при животном сладострастии, у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести».

Может быть, самое поразительное и удручающее в этом постыдном и низком письме Страхова, одного из лучших и независимых русских литературных критиков, его суждения о Достоевском-художнике, ничуть в своем роде не уступающие нигилистическим перлам Варфоломея Зайцева и Михаила Антоновича: «В сущности... все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости». И вот о таком ужасном человеке и писателе пришлось бедному Страхову писать биографию (да еще по просьбе Анны Григорьевны, которая наивно доверяла старому «другу» мужа). Естественно, что в бодром темпе создавая ее, он «боролся с подымавшимся отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство».

Потому, видимо, в такие сжатые сроки и написал такую сложную работу. Хорошо управился, после чего и решил перед Толстым «исповедаться». И получить от яснополянского мудреца отпущение грехов.

История с этой чудовищной исповедью Страхова противная и омерзительная. Биограф пишет к биографии «маленький комментарий», перечеркивающий труд — другое, «подпольное» жизнеописание. Посылает его вслед за уже напечатанной биографией самому знаменитому писателю России, который не только должен знать всю «правду», но и наверняка сохранит клеветническое письмо в своем архиве, а, следовательно, рано или поздно его прочтут все и будут по нему судить о личности и творчестве Достоевского (и чем больше здесь яда и наветов, тем лучше — что-нибудь в памяти читателей да задержится: прием безупречный и безотказный). И не очень важно, что мотивация неожиданной «исповеди» (хороша исповедь, в которой выливаются бочки грязи на умершего литературного собрата, а исповедующийся кается лишь в том, что не решился огласить эту неприглядную «правду» в биографии) странная и путаная. Страхов не хотел раскрыть в письме или даже в какой-нибудь черновой заметке

главную, если не единственную причину, омрачившую его труд биографа и подвигшую его на беспрецедентную исповедь.

Работая над биографией Достоевского, Страхов имел доступ к тетрадам писателя. Там-то он и наткнулся на страничку, посвященную ему и его литературной деятельности. Недоразумения всякого рода между ним и Достоевским, конечно, были, но ведь не только одни лишь недоразумения, а и много значившие для обоих разговоры на философские и литературные темы, длительная и весьма плодотворная общая работа. Но в его портрете, набросанном Достоевским, преобладали недостатки. Портрет концептуальный и крайне недоброжелательный. «Пирог жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух видных в литературном отношении местах... Литературная карьера дала ему 4-х читателей, я думаю, не больше, и жажду славы... Главное в этом славолюбии играют роль не столько литератора, сочинителя трех-четырех скучненьких брошюр и целого ряда обиняковых критик по поводу, напечатанных где-то и когда-то, но и два казенных места. Смешно, но истина. Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и всё, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему всё равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать». Легко представить себе ярость Страхова, неосмотрительно согласившегося стать биографом человека, которому он представлялся в таком неприглядном виде.

Страхов понимал, что слова Достоевского можно, конечно, опровергать, но опровержения их не сотрут — останутся в веках клеймом и приговором. И он предпринимает великолепный защитный ход, обнажая «истинную» неприглядную суть Достоевского. Это и для будущих читателей биографии и для Толстого, от которого он не помощи и спасения ждал, а изменения того возвышенного идеального образа, который сложился в скорбных письмах по поводу его кончины и которому несколько не противоречил облик писателя в биографии.

Частично он своего достиг. Толстой огорчился, но поверил Страхову: «Письмо ваше очень грустно подействовало на меня, разочаровало меня. Но вас я вполне понимаю и, к сожалению, почти верю вам». А далее Толстой пытается объяснить, почему возник такой идеализированный образ Достоевского, которому невольно и отдал дань Страхов. Он, предполагает

Толстой, стал «жертвой ложного, фальшивого отношения к Достоевскому — не вами, но всеми преувеличения его значения и преувеличения по шаблону, возведения в пророка, святого — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла». Толстой отвергает образ, созданный озлобленной фантазией Страхова, а не просто смягчает и корректирует его. Отбросив в сторону сплетни и пристрастные объяснения критика, восхищается Достоевским — не святым и пророком — а интересным и умным человеком: «Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба. Из книги вашей я в первый раз узнал всю меру его ума. Чрезвычайно умен и настоящий. И я всё так же жалею, что не знал его». Правда, этот настоящий и чрезвычайно умный человек с «заминкой» — может и в канаву завести. Так ведь и самому нужно смотреть в оба, на то и глаза даны.

Страхов ответом Толстого остался недоволен: совсем не того ожидал. Даже был раздражен, чего не смог скрыть, заметив, что «определение» Толстого, хотя и многое ему «прояснило, все-таки мягко для него. Как может совершиться в человеке переворот, когда ничто не может проникнуть в его душу дальше известной черты? Говорю — ничто — в точном смысле этого слова; так мне представляется эта душа». Толстой промолчал, видимо, не желая спорить и рассуждать всуе о душе Достоевского.

Страхов, проявляя упорство, вновь вернулся к терзавшему его сюжету в августе 1892 года, неудачно сопоставив себя с Достоевским. «Достоевский, создавая свои лица по своему образу и подобию, написал множество полупомешанных и больных людей и был твердо уверен, что списывает с действительности и что такова именно душа человеческая. К такой ошибке я неспособен... я слишком мало влюблен в себя и вижу хотя отчасти свои недостатки». Толстой решительно с этими рассуждениями не согласился как в отношении Достоевского, так и вообще: «Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж! Результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее». И это окончательная точка, поставленная Толстым в затянувшемся диалоге о Достоевском между ним и Страховым. Назойливость Страхова привела лишь к тому, что Достоевский вновь был поднят на подобающую ему высоту — ту, которая была установлена в отклике на смерть писателя в трагическом 1881 году. А о том, как он желал бы встретиться с Достоевским не в мистическом пространстве, а в обычных земных

пределах, Толстой высказывался неоднократно. В. А. Поссе Толстой говорил, как жалеет, что не привелось познакомиться с Федором Михайловичем Достоевским: «Чем больше я живу, тем сильнее чувствую, как близок мне по духу Достоевский, несмотря на то, что наши взгляды на государство и церковь кажутся прямо противоположными».

*

Не успели еще привыкнуть, смириться с кончиной Достоевского (поток траурных публикаций не прекращался в течение всего того мрачного года перевертыша), как произошло другое трагическое событие — судьбоносного для России значения. 1 марта 1881 года был убит народовольцами Царь-освободитель Александр II. Софья Андреевна узнала об убийстве в Туле, а Лев Николаевич на обычной (регулярной — Толстой любил порядок во всем и только в чрезвычайных случаях отклонялся от расписания) своей утренней прогулке на шоссе. Узнал от странствующего итальянца с шарманкой и гадающими птицами. Почту из-за плохой погоды в тот день не доставили, но шарманщик шел из Тулы, где животрепещущую новость горячо обсуждали. Толстой, дороживший этими случайными шоссейнными встречами, с итальянцем разговорился, и тот на его вопросы ответил, что идет «из Туль, дела плох, сам не ел, птиц не ел, царя убиль» и что это был именно русский царь: «Петербург, бомба кидаль».

Информация была своеобразная, в анекдотическом стиле, но, тем не менее, точная и трагическая, ошеломившая Толстого. События развивались стремительно, и газеты, отодвинув на задний план всё остальное, подробно и эмоционально освещали это страшное цареубийство и суд над теми, кто его подготовил и совершил. Приговор суда ни у кого не вызывал сомнения — главные преступники будут казнены, и в назидание другим казнены публично. Новый самодержец, таким образом, ознаменует начало своего царствия кровавым актом. Толстого более всего волновала трагическая, безысходная ситуация, в которую невольно попал Александр III. Он стал перебирать возможные пути выхода из нее и увидел лишь один — прощение убийц отца. Эта мысль настолько поразила Толстого, что он стал думать о таком, одновременно христианском и фантастическом, исходе, постоянно воображая себя на месте убийц: «...неожиданно задремал и во сне, в полусне, подумал о них и готовящемся убийстве и почувствовал так ясно, как будто это всё было наяву, что не их, а меня казнят, и казнит не

Александр III с палачами и судьями, а я же и казню их, и я с кошмарным ужасом проснулся». Проснувшись (как тут было не проснуться), решил, что сон — небесное указание, ниспосланное ему. И сразу же написал письмо царю, должно быть, вспомнив, что и любимый им Александр Герцен обращался с письмами к Александру II.

Разница между Толстым и Герценом, впрочем, немалая. Герцен — эмигрант и атеист, Толстой — верноподданный (пусть и вольнодумствующий) и христианин (пусть и весьма своеобразный). Сохранилось только черновое письмо, что, может быть, даже ценнее. Толстой сожалел о тех дипломатических уступках, которые, вняв советам, внес в него: «Я написал сначала проще, и было хотя и длиннее, но было сердечнее... но... люди, знающие приличия, вычеркнули многое — весь тон душевности исчез, и надо было брать логичностью, и оттого оно вышло сухо и даже неприятно».

В черновом письме поражает совершенно выбивающийся из рамок приличий, душевный и, пожалуй, с некоторым задиристым и фамильярным оттенком стиль, который еще и специально подчеркивается, обосновывается. «Я буду писать не в том тоне, в котором обыкновенно пишутся письма государям — с цветами подобострастного и фальшивого красноречия, которые только затемняют и чувства, и мысли. Я буду писать просто как человек к человеку. Настоящие чувства моего уважения к вам, как к человеку и к царю, виднее будут без этих украшений».

Насилие, в данном случае революционное, террористическую деятельность Толстой категорически осуждает и отвергает. Оно и вообще-то безнравственно, а кровавый акт, совершенный фанатиками идеи 1 марта, особенно выглядит бессмысленным и жестоким. Об убиенном говорится с сочувствием, а цели и средства его идеологических убийц оцениваются Толстым как пагубные и ложные. Об этом в письме говорится просто и ясно: «Отца вашего, царя русского, сделавшего много добра людям, старого, доброго человека, бесчеловечно изувечили и убили не личные враги его, но враги существующего порядка вещей; убили во имя какого-то высшего блага всего человечества». О революции в письме говорится постоянно резко, как о болезни, поразившей уже 20 лет назад страну, излечиться от которой, несмотря на большие и разнообразные усилия, никак не удастся. Более того: положение всё время ухудшается, а деяния революционеров становятся всё более жестокими и безнравственными: «До сих пор гнездо это не только не уничтожено, но оно растет, и люди эти дошли до ужаснейших по жестокости и дерзости поступков, нарушающих ход государственной жизни».

Испробованы все методы лечения болезни, как репрессивные, запретительные (казни, ссылки, ужесточение цензуры), так и либеральные посулы и потачки (обещание больших свобод, конституции, собора). Всё оказалось тщетным — болезнь только прогрессировала и разрушала государственный механизм. Образовался порочный круг, заколдованная цепь зла, которую необходимо ради спасения порвать, остановить зловещий ход событий. Толстой предлагает одновременно простейший и труднейший путь: христианский. Надо только простить убийц, простить сыну убитого ими отца, сделать откровенно и сердечно то, что должен сделать христианин.

Толстой доходит до проповеднического пафоса, умоляет государя совершить акт христианского милосердия: лишь оно одно способно облегчить душу, обуреваемую чувством мести и подталкиваемую окружением к казням и репрессиям. Наивна и трогательна эта мольба Толстого: «Государь, если бы Вы сделали это, позвали этих людей, дали им денег и ушли их куда-нибудь в Америку и написали бы манифест с словами вверху: а я Вам говорю, любите врагов своих, — не знаю, как другие, но я, плохой верноподданный, был бы собакой, рабом Вашим. Я бы плакал от умиления, как я теперь плачу всякий раз, когда бы я слышал Ваше имя. Да что я говорю: не знаю, что другие. Знаю, каким потоком разлились бы по России добро и любовь от этих слов. Истины Христовы живы в сердцах людей, и одни они живы, и любим мы людей только во имя этих истин». На проповеднической ноте и завершает Толстой послание к царю, рисуя благодатные последствия одного лишь истинно христианского движения души: «Только одно слово прощения и любви христианской, сказанное и исполненное с высоты престола, и путь христианского царствования, на который предстоит вступить Вам, может уничтожить то зло, которое точит Россию. Как воск от лица огня, растает всякая революционная борьба перед царем — человеком, исполняющим закон Христа».

Вряд ли Толстой рассчитывал на успех. Однако использовал все свои возможности, чтобы письмо дошло до государя. Попытался воспользоваться посредничеством К. П. Победоносцева, как христианина и человека, стоящего близко к царю и высшим сферам. Инструктировал Николая Страхова, которого просил передать письмо к Победоносцеву и приложенное к нему послание царю: «Скажите ему то, что мне неловко писать, что если бы было возможно передать это письмо или мысли, которые оно содержит, не называя меня, то это бы было то, чего я больше всего желаю; разумеется, это только в том случае, если нет никакой

опасности в представлении этого письма. Если же есть опасность, то я, разумеется, прошу передать от моего имени». Об опасностях немало было разговоров в Ясной Поляне. Софья Андреевна, измученная религиозными настроениями и занятиями Левочки, была крайне обеспокоена этим его поступком и сделала приписку, прося Страхова спросить мнение Победоносцева, не может ли вызвать письмо мужа у императора недоброжелательство к нему, а если может, то сделать всё возможное и не допустить передачи письма.

Хлопоты оказались напрасными. Победоносцев отказался передать письмо и сказал Страхову, что он сторонник казни террористов, только не публичной, а тайной. Более того, нанес упреждающий удар, послав царю письмо, посвященное этому сюжету: «Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить Вашему величеству извращенные мысли и убедить Вас к помилованию преступников». Он с какой-то судорожной страстностью убеждал царя не быть милосердным, не прощать убийц: «Нет, нет, и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского в такую минуту простили убийц отца Вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется».

Страх оказался излишним. На письме духовного руководителя Александр III начертал свою волю: «Будьте покойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет прийти никто, и что *все шестеро будут повешены*, за это я ручаюсь». Письмо Толстого передали при посредстве историка Бестужева-Рюмина, который попросил о посредничестве великого князя Сергея Александровича. Царь на письмо Толстого не ответил. Он будто бы велел сказать графу, что помиловал бы покушавшихся на него, но убийц отца не имеет права простить. Такая аргументация, с точки зрения Толстого, была языческой и антигуманной — он же как раз просил государя совершить истинно христианский поступок.

Победоносцев ответил холодно, отклонив попытку еретика Толстого воззвать к его христианским чувствам: «В таком важном деле всё должно делаться по вере. А прочитав письмо ваше, я увидел, что ваша вера одна, а моя и церковная вера другая, и что наш Христос — не ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления».

Толстой был удручен. Особенно позицией Победоносцева, который «ужасен» и внушает отвращение. Зато оказался «молодцом» произведший

на Толстого комическое впечатление своей лекцией в Соляном городке молодой и модный философ Владимир Соловьев — он публично обратился к царю с просьбой о помиловании народовольцев.

Письмо Толстого к царю и все обстоятельства, связанные с ним, — важная веха в его деятельности. Всякие иллюзии рассеялись. С этого времени окончательно возобладают антигосударственные настроения, убеждение, что самодержавие устарело и удерживается только с помощью репрессивного аппарата и «лжерелигии», выдающей себя за христианскую. Окончательно определилась отрицательная часть «учения» Толстого: главные объекты критики, которая будет с годами становиться всё более и более тотальной и бескомпромиссной.

Время «исповеди» прошло. И Толстой уже не будет считаться с дипломатическими приличиями и понятиями о «хорошем» тоне в своих произведениях. Тем более не будет прибегать к тем выражениям и интонациям, которыми начинается письмо-просьба к царю: «Я, ничтожный, неприветливый и слабый, плохой человек, пишу письмо русскому императору и советую ему, что ему делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо бывали. Я чувствую, как это странно, неприлично, дерзко, и все-таки пишу... Ради Бога, простите мою самонадеянность и верьте, что я пишу не потому, что я высоко о себе думаю, а потому только, что, уже столько виноватый перед всеми, боюсь быть еще виноватым, не сделав того, что мог и должен был сделать». После казни народовольцев Рубикон был перейден. Толстой уже не оглядывался назад. Эпоха «Войны и мира» ушла в прошлое. А интонации приобретут императивный характер: «Одумайтесь!», «Стыдно», «Не могу молчать», «Пора опомниться!»

Письмо царю — это и первый значительный шаг на пути создания учения о непротавлении злу насилием, наиболее концентрированное и подробное изложение которого содержится в огромном трактате «Царство Божие внутри вас». Учение это вызовет непонимание и острую полемику. Среди эмоционально отрицавших это учение будет и «молодец» Соловьев.

Шоссе

В «Исповеди» Толстой рассказал о том, что в его религиозных исканиях, в том духовном перевороте, который он пережил в конце 1870-х годов, особенно большую роль сыграло сближение с народом: «Слушал я разговор безграмотного мужика-странника о Боге, о вере, о жизни, о

спасении, и знание веры открылось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и я всё больше и больше понимал истину. То же было со мной при чтении Четьи-Минеи и Прологов; это стало любимым моим чтением. Исключая чудеса, смотря на них как на фабулу, выражающую мысль, чтение это открывало мне смысл жизни. Там были жития Макария Великого, Иоасафа-царевича (история Будды), там были слова Иоанна Златоуста, слова о путнике в колодце, о монахе, нашедшем золото, о Петре-мытаре; там история мучеников, всех заявлявших одно, что смерть не исключает жизни; там истории о спасшихся безграмотных, глупых и не знающих ничего об учениях церкви».

Сближение с народом было интенсивным и происходило в различных формах, включая и знакомство с тем, что составляло его умственную, духовную и эстетическую пищу. Недалеко от Ясной Поляны проходило шоссе, связывавшее Москву и Киев. Очень оживленная дорога, по которой проходили и странники, совершавшие паломничество к святым местам. Выходил на эту большую дорогу и Лев Николаевич, часто в простой одежде, чтобы не выделяться в толпе прохожих и странников, с которыми он любил вести откровенные беседы. Николай Страхов, посетивший Толстого в Ясной Поляне осенью 1879 года, в письме к философу Н. Я. Данилевскому, автору книги «Россия и Европа», описал обычное времяпрепровождение Толстого: «Однажды он повел меня с собою и показал, что он делает между прочим. Он выходит на шоссе (четверть версты от дома) и сейчас же находит на нем богомолки и богомольцев. С ними начинаются разговоры, и если попадутся хорошие экземпляры и сам он в духе, он выслушивает удивительные рассказы. Верстах в двух есть небольшие поселки и там есть два постоянные двора для богомольцев (содержатся не для выгоды, а для спасения души). Мы зашли в один из них. Человек восемь разного народа, старики, бабы, и делают, что кому нужно: кто ужинает, кто Богу молится, кто отдыхает. Кто-нибудь непременно говорит, рассказывает, толкует, и послушать очень любопытно. Толстого, кроме религиозности, которой он очень предан (он и посты соблюдает, и в церковь ходит по воскресеньям), занимает еще язык. Он стал удивительно чувствовать красоту народного языка и каждый день делает открытия новых слов и оборотов, каждый день всё больше бранит наш литературный язык, называя его не русским, а испанским. Всё это, я уверен, даст богатые плоды».

Это было в своем роде хождение в народ, бегство из узкого и сословного мирка в «большой свет». Общение и сближение, совершенно необходимые Толстому — художнику, публицисту, проповеднику. Без этого

общения он не мог ни дышать, ни творить. Он жадно вглядывался своими остро схватывающими суть глазами в лица прохожих и странников, и не менее жадно впитывал их рассказы, записывая их в дневники. Ему доверяли и исповедовались — умел расположить к себе. Записывал конспективно, для себя, в нескольких строчках передавая длинную, заполненную трагическими событиями жизнь. Вот запись рассказов странника Полтавской губернии, самобытного и сильного человека. Не жизнь, а житие: «Высокий, длинноволосый, красивый старик. Всё с ним есть: ножик, ножницы, крючки, иглы, чай березовый, кирпичный. Рассказы о том, как ходил с мелким товаром. По 6 пудов 100 верст носил. 16 душ похоронил. Секли за сына, 60 розог. Ему 62 года. До 57 можно сечь. В конторе по 3 р. за розгу, в деревне по 5. Правды нет. Каторжным в сенях молоко, пирог, харч. Зимой в баню». Записывает в дневник и шуточный разговор с беззубой старушкой — обладательницей трынки (копейка серебром): «Я говорю: и у меня. Она: вам и надо много. А наше дело привычное — к бедности».

Пестрый хоровод пьяных, погорелых, просящих милостыню. Солдаты с протянутой рукой, пьяная дворянка-побирушка с дочерью, оборванные старухи, вологодский больной юноша, предлагающий купить образки и просвирки, пьяный мужик, разрубивший себе нос. Старик с улыбающимися глазами и беззубым, милым ртом (к тому времени и сам Лев Николаевич был беззуб), рассказавший легенду о вреде денег, явно понравившуюся Толстому: «Ходил Спаситель с учениками. „Идите по дороге, придут кресты, налево не ходите — там ад“. Посмотрим, какой ад. Пошли. Куча золота лежит. „Вот сказал — ад, а мы нашли клад“. На себе не унесешь. Пошли добывать подводу. Разошлись и думают: делить надо. Один ножик отточил, другой пышку с ядом спек. Сошлись, один пырнул ножом, убил, у него пышка выскочила — он съел... Оба пропали». Толстой вскоре и сам возьмется за художественную обработку такого рода легенд с моралистической подоплекой.

Особого типа записи — характерных слов, пословиц, поверий, грамматических особенностей современной народной речи, с пометами для себя и выделением курсивом наиболее колоритного: «*Посыкнулись* было купцы вновь отстроить, да не выстроили», «*„Произвел сына в грамоту“*. Мы смеемся сами, взяв у народа слово „произвел“ и неточно употребляя его в смысле „произвели в генералы“, «*По угодникам шел*», «*Посягнул на дело*», «*Выбили из дома вон*», «*Плоть играет*», «*Припало жениться*», «*Однава дыхнуть*», «Много (у меня) хожено, видено, сижено, граблено, выпито. Plusquamperfectum. А заехано, обвенчано, нагрешено-то», «От

*приседания хвоста глаза смутились», «По родителю кликнула вечную», «Способа не найду. От него способа не жди», «Давно ли ты от кнута да от плахи», «Притча — случай. Со мной всякие притчи бывали», «Поститься. Напостился вволю. Запостился вот 2-й год совсем. Опостился уж я. Допостился до того, что как тряпка. Испостился в нитку», «Нагульный скот. Загульная баба. Прогульные дни», «Посягнуть на дело. На какое ты дело посягаешь?», «Нынче народ стал мляв», «В уме заплелся. Душа займется», «Чего *приспеешь* своей душе, то тебе и будет на том свете», «А ты не костыляй, как заяц», «Шатость стала в народе», «Безмерный человек. Безмерство, в версту себе никого не ставит. Божевольный», «Достоканец вина», «Не говори правды, не теряй дружбы», «Бог по душу сослал», «Судом Божьим осталась сиротою», «*Не гребую. Милявый старик*», «Не ухватиста как-то», «Заведешь мысль, ровно слышишь», «Как ветошка стал. Париться пошел, так кости торчат, промеж ребер палец пройдет», «Полуименем не назовет, а по имени да по отчеству», «В чем душа велась», «С мужем не жила, свежая ходила», «Тоскованья перед смертью не было».*

Шоссе превратилось в лингвистическую лабораторию, в опытное литературное поле. Писатель всегда работает, даже во сне — известно, какое большое место занимали сны в творчестве Тургенева и Ремизова (да и Толстого). Когда не сочиняет, записывает. Когда не записывает — обдумывает. Но творческий процесс никогда не прерывается — продолжается и в самые интимные мгновения жизни. Дневники и записные книжки, письма — всё сгорает в поэтическом костре. И когда наступает перерыв — иногда длительный, вынужденный — он чреват неожиданными поворотами, переворотами и перерождениями. Так произошло с Достоевским в остроге и ссылке. Перерождению убеждений сопутствовало второе рождение художника (не отказ от прошлого, а внутренними причинами продиктованная органическая переплавка). Новому Достоевскому предшествовала «тетрадка каторжная» (записи, сделанные главным образом в остроге, народных словечек, поверий, пословиц, рассказов — бесценный материал для будущего творчества). Новому Толстому — «яснополянская тетрадка». (И, кстати, некоторые выражения и словечки в тетрадках Достоевского и Толстого совпадают, только расстояние от заготовок до произведений разное, так ведь и условия для воплощения замыслов у них сильно отличались; для Достоевского — это вынужденная смена деятельности и перспективы возвращения в литературу весьма неясные, в 1870-е годы он создаст еще одну тетрадку записей народных поговорок и речений, так сказать, «старорусскую», и она сразу же будет использована в работе над романами и «Дневником

писателя».) Толстому записи очень пригодятся при создании народных рассказов, драмы «Власть земли», романа «Воскресение» и многих других произведений.

Разумеется, Толстой широко использовал и книжные, но особого рода, источники. Часто он обращался к «Прологу» и сборнику А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды», но очень свободно их перелагая и непременно используя слова и выражения из записной книжки. Заново озвучивал и перекраивал сюжеты популярных легенд и сказок. Источники могли быть самыми неожиданными и в прихотливом сочетании: материал для импровизации. Рассказы «Ильяс» и «Много ли человеку земли надо» (эту притчу любил австрийский философ Людвиг Витгенштейн) впитали какие-то башкирские сказания, но с удивительным мастерством изображенные азиатские просторы и характерные восточные типы — это непосредственно увиденное Толстым, любившим этот быт и эту ветхозаветную жизнь. Само собой и моралистические тенденции принадлежат проповеднику и «учителю» Толстому. Рассказ «Где любовь, там и Бог» восходит к тексту переработанного рассказа третьестепенного французского писателя, анонимно напечатанного в одном из русских просветительских изданий. Естественно, рассказ был, и неоднократно, переделан Толстым. Но какая же, по сути, это переделка: оригинальное произведение Толстого — еще один блестящий образец нового народного стиля писателя. А об источнике рассказа «Свечка» (и о том, чем он ему так приглянулся) бесподобно рассказал сам Толстой: «Я слышал его от пьяных мужиков, с которыми мне пришлось ехать из Тулы. Он мне понравился именно своею грубою простотою — так и пахнет мужицкими лаптями». Биограф Толстого Павел Бирюков приводит слова писателя, что он «от себя почти ничего не добавил». Вот в это не верится — такого с Толстым не случилось, — он был заряжен на бесконечные переделки.

Сюжетом первого и самого совершенного народного рассказа «Чем люди живы», появление которого прервало затянувшееся после «Анны Карениной» молчание Толстого-художника, он обязан олонецкому сказителю былин Василию Петровичу Шевелеву, больше известному по прозвищу Щеголенок. Этот неграмотный крестьянин («умный и хороший старик») был не только блестящим сказителем, но и в известном смысле коллегой Толстого по «рукоделу» — искусным, мастеровитым сапожником.

Летом 1879 года Щеголенок гостил у Толстого. Рассказывал, а рассказчик он был виртуозный, о жизни северян в прошлом и настоящем. Толстой старался тщательно все записывать. В основу притчи «Чем люди

живы» легла рассказанная Щеголенком легенда «Архангел» (другой вариант легенды под названием «Ангел» вошел в сборник А. Н. Афанасьева). Конечно, речь может идти лишь о сюжетной основе — Толстой работал над любимившейся ему легендой даже для него необыкновенно долго (тридцать три рукописи и большая правка в корректурах). Всё было много раз переиначено и отделано.

Современники оценили искусство Толстого. Притча понравилась самым разным читателям: Стасову и Победоносцеву, Страхову и Розанову. Воздали должное и «народному» языку Толстого. Один из рецензентов передал общее мнение: «Язык писателя окреп еще более после „Анны Карениной“ стал трезвее и мужественнее; он поражает своею библейскою простотой... в нем видны явные следы сильного влияния народной речи, у которой автор умеет заимствовать меткость и выразительность ее оборотов».

Владимир Стасов восхищался главным образом словесным совершенством, не одобряя, как убежденный атеист, сверхъестественных волшебных сцен (еще недавно Стасов говорил Страхову, что ценит только Толстого-художника, и так как он уже не может писать романы, то потерял для него всякое значение). Василий Розанов, напротив, восторгался чудесным, видениями. Он утверждал, что Синод, как искусственная петровская надстройка, не имел права отлучать писателя, и напоминал русским читателям: «Толстой написал „Чем люди живы“. Он как бы видел Ангела у мужика; я настаиваю на слове „видел“: густота размышлений уплотнилась до осязательности того образа. Скажите: какие „видения“ видел когда-либо Синод? Никаких».

«Осязательность» образа ангела и видений в рассказе Толстого действительно почти сверхъестественная. Сначала в сумерках «что-то белеется», а что именно, определить выпивший сапожник Семен не может, так как всё в белизне растворяется, деформируется, только удивляется странности, необычности: «Камня, думает, здесь такого не было. Скотина? На скотину не похоже. С головы похоже на человека, да бело что-то. Да и человеку зачем тут быть?» Вблизи очевиднее стал человеческий облик, но продолжает смущать неподвижность — странность не исчезает, являются какие-то подозрения, побуждающие пройти мимо «чуда»: «Что за чудо: точно, человек, живой ли, мертвый, голышом сидит, прислонен к часовне и не шевелится. Страшно стало сапожнику; думает себе: „Убили какие-нибудь человека, раздели, да и бросили тут. Подойди только, и не разделаешься потом“».

Перспектива вновь меняется — сапожник уходит и видение исчезает,

затем оглядывается и видит, что «человек отслонился от часовни, шевелится, как будто приглядывается». Да и всё здесь как будто. Мертвец ожил, и это еще больше пугает Семена. Робость усиливается, и один спасительный вопрос догоняет другой, побуждая бежать от опасного видения: «Подойти или мимо пройти? Подойти — как бы худо не было: кто его знает, какой он? Не за добрые дела попал сюда. Подойдешь, а он вскочит да задушит, и не уйдешь от него. А не задушит, так поди вожжайся с ним. Что с ним, с голым, делать? Не с себя же снять, последнее отдать. Пронеси только Бог!»

Но упомянутый все Бог не «пронес». Семена «зазрила совесть», и он вернулся. Поближе разглядел чудного человека, который и вблизи производит странное впечатление: молодой и в силе, никем не побитый, а вроде бы напуганный и ослабший, сидит, прислонясь, и «глаз поднять не может». Открывает глаза только, когда Семен «вплоть» подошел — и с первого же взгляда он полюбился Семену, тут же ставшему раздеваться, чтобы укрыть от холода нежное и совершенное тело («тонкое, чистое, руки, ноги не ломаные и лицо умильное», «виски курчавые, длинные», походка легкая). Говорит мало, мягко и коротко отвечая на вопросы. Правдиво отвечает, но слишком уж коротко: не здешний, нельзя ему сказать, как в таком виде и почему попал под часовню, ни в какое определенное место не идет: всё равно. Люди его не обижали: «Меня Бог наказал». Бог в самом прямом смысле наказал ангела, а Семен воспринимает слова в метафорическом, пословичном плане: «Известно, всё Бог, да всё же куда-нибудь прибиваться надо». Иначе говоря: все под Богом ходим, всё в руке Божьей — в его воле наказать и наградить. Или еще иначе — хватит толковать о том, что и так всем известно, отвечай прямо, а не загадками. Но в том-то и дело, что ангел говорит правду и «про себя», вот только правда эта невероятна, чудесна.

В избе ангел вновь замирает: «Как вошел, так стал, не шевелится и глаз не поднимает». Садится лишь по слову Семена, назвавшего его «братом». От брани хозяйки «морщится, как будто душит его что», и еще больше замирает: руки на коленях сложены, голова опущена, глаза закрыты. Матрена изменяется после того, как муж напомнил ей о Боге. Слово оказывается магическим — «вдруг сошло в ней сердце». Разглядывая странника, она полюбила его. Любовь преображает всех — и это отражается, как в зеркале, в облике странника, который повеселел, поднял глаза, улыбнулся.

Далее следует повторение диалога с Семеном. Странник снова «не рассказывает про себя», повторяя свои ответы, повторяет и слова: «Меня Бог

наказал», добавляя пророческое: «Спасет вас Господь». Не «спаси», а утвердительно: «спасет». Говорит странник мало, всегда серьезен, держится особняком, чудаковато — отличие от землян не исчезает ни на миг, чувствуется, что его пребывание здесь вынужденное и временное, а так он постоянно ждет каких-то знаков оттуда: «Работает без разгиба, ест мало; перемежится работа — молчит и всё вверх глядит. На улицу не ходит, не говорит лишнего, не шутит, не смеется».

Замерзший ангел постепенно оттаивает (ведь он «застыл и изболелся весь»), согретый любовью. Постепенно открываются ему слова Бога — и он улыбается (а руки всё на коленках сложены), обнаруживая пророческий дар, светлеет, приближаясь к небесному, куда он так часто смотрит — и вот от него уже свет идет, знак того, что его простил Бог и близится минута возвращения. Рассказ ангела Михаила о том, почему и как он был наказан, а затем просвещен и прошен Богом, составляет заключительную часть рассказа.

Наказание внезапное, настигшее в полете — падение на землю и невозможность взмыть над ней: «Поднялся я над селом, хотел отнести душу Богу, подхватил меня ветер, повисли у меня крылья, отвалились, и пошла душа одна к Богу, а я упал у дороги на землю». Прошенный ангел стремительно преображается. От него уже исходит нестерпимый свет. Ниспадают земные одежды. Крепнет и становится громopodobным мягкий голос. Происходит чудесное преображение: «И обнажилось тело ангела, и оделся он весь светом, так что глазу нельзя смотреть на него; и заговорил он громче, как будто не из него, а с неба шел его голос». Небесным голосом возвестил ангел истины, открывшиеся ему во время многолетних земных странствий, истины, раскрывающие смысл легенды и выражающие, конечно, заветное убеждение Толстого: «Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, и что живы они одной любовью. Кто в любви, тот в Боге и Бог в нем, потому что Бог есть любовь». На ту же главную тему и рассказ «Где любовь, там и Бог», героем которого также является сапожник Мартын Авдеич, профессионально из окошка подвала узнающий людей (этот изобразительный прием так часто использовался в кинематографе, что стал штампом).

В конце рассказа «Чем люди живы» концентрация столь раздражавшего Стасова «сверхъестественного», «волшебного», чудесного усиливается. Кульминация чуда: громогласная осанна Богу и взлет на своего рода космической ракете в небо: «И запел ангел хвалу Богу, и от голоса его затряслась изба. И раздвинулся потолок, и встал огненный столб от земли до неба. И попадали Семен с женой и детьми на землю. И

распустились у ангела за спиной крылья, и поднялся он на небо». В русской прозе немного образцов столь искусного изображения чуда, фантастически реального и глазами изумленного очевидца увиденного, «достоверного». Таковы, пожалуй, сны и видения Лукерьи в «Живых мощах» Тургенева, духовное преображение Алеши Карамазова (символическая в библейском духе глава «Кана Галилейская») и «чудесные» страницы во многих произведениях Лескова, особенно в любимых Толстым рассказах «Томление духа» и «На краю света».

Однако в других, последовавших за «Чем люди живы», рассказах (легендах, сказках, притчах, нравоучительных сценках) сверхъестественного и фантастического гораздо меньше, оно эпизодично и обнаженно функционально, а то и вовсе отсутствует, что легко объясняется отрицательным, с годами усилившимся отношением Толстого к чудесному, чудотворному, суеверному. В рассказе «Где любовь, там и Бог» чудо приснилось, а сон навеян чтением Евангелия. В легенде «Два старика» чудесные видения, не столь отчетливы, как поэтическая земная картина. Они связаны одной «сияющей» деталью, скорее, натуралистического, чем сакрального свойства: «Стоит Елисей без сетки, без рукавиц, в кафтане сером под березкой, руки развел и глядит кверху, и лысина блестит во всю голову, как он в Иерусалиме у гроба господня стоял, а над ним, как в Иерусалиме, сквозь березку, как жар горит, играет солнце, а вокруг головы золотые пчелки в венец свились, вьются, а не жалят его». Вот и икона святого. Вот и земной прототип видений, о которых Ефим не стал поминать доброму старцу. Да и о чем поминать: «Божье дело, кум, Божье дело».

«Сиянье» идет и от потешных, на островке спасающихся и всё время за руки держащихся героев легенды «Три старца»: «совсем глупые старики... ничего не понимают и ничего и говорить не могут, как рыбы какие морские». Они не только катехизис, но и ни одной молитвы не знают. Вместо всего этого у них есть присловье скоморошное, нечто вроде опереточных куплетов: «Трое вас, трое нас, помилуй нас!» Тщетно обучал их архиерей молитве «Отче наш». Учили блаженные старцы ее, сотни раз твердили, а потом позабыли и пустились вдогонку за кораблем с архиереем по морю «яко по суху». Фантастический бег изображен Толстым с такой же впечатляющей силой, как явление ангела в рассказе «Чем люди живы». Что-то белеет и блестит в месячном столбе (то ли птица, то ли парусок, то ли лодка, то ли рыба — недоумевают, перебирая всевозможные реальные объяснения, архиерей). Бег быстрый, стремительный, хотя и на бег не похож: «Все три по воде, как по суху, бегут и ног не передвигают». Словом, чудесное явление, заставляющее удивиться и умалиться начитанного в

святых текстах архиерея: «Доходна до Бога и ваша молитва, старцы Божии. Не мне вас учить. Молитесь за нас грешных». Малые и неразумные, юродивые и убогие, нищие и гонимые, как правило, у Толстого являются проводниками дела Божьего на земле. Они наследуют царство Божие, они спасутся и спасут других.

Условно фантастическое и в одном из самых знаменитых народных рассказов «Много ли человеку земли надо»: черт за печкой ловит на слове самоуверенного и бахвалящегося мужика. («Одно горе — земли мало! А будь земли вволю, так я никого, и самого черта, не боюсь!») Вот землей его черт и «взял». В сущности, это притча о человеческой жизни и смерти, «похоти» и безрассудстве, тщете и суеде. Символическая линия особенно четко прослеживается в последних главках: пророческий сон, безумная гонка за призрачным счастьем, несмотря на растущий страх смерти («Помереть боится, а остановиться не может»), которая пришла точно таким образом, как привиделось жадному до земли герою. Многие расценивали эти притчи как пессимистические. Сокрушался и Чехов: «Он иногда возмущает меня. Вот он пишет совершенно удивительную вещь „Много ли человеку земли надо“. Написано так, как никто еще тысячу лет не сумеет написать. А что говорит? Человеку, видите ли, нужно всего три аршина земли. Это вздор: человеку нужно не три аршина, а нужен весь земной шар. Это мертвому нужно три аршина. И живые не должны думать о мертвых, о смертях».

Как не думать об умерших и смерти? Толстого без этих дум нет. Обо всем надо думать — нет никаких запретов и ограничений для человеческой мысли. И здесь он приобщает к тем мыслям, которые были для него главными и постоянно присутствуют в произведениях, дневниках, письмах, разговорах, простонародного читателя, говоря с ним на понятном, его языке и о том, что составляет основу его существования. В том же роде и переложение житий и легенд, часто переложение переложений, потому что Толстой устным рассказам, искусству импровизации придавал огромное значение. Вольности и переосмысления здесь очень часты, но дух сказаний передан безукоризненно. Лесков, сам много раз перелагавший Пролог и профессионально высоко оценивавший труд Толстого, дороживший его художественным и религиозным опытом, сказал дельное слово о народных рассказах: «Дух житийных сказаний — это тот дух, который в повествовательной форме всего ближе знаком нашему религиозному простолюдину. Он усвоится простонародием по устным рассказам, часто очень попорченным в устной передаче, но зерно той идеи, из которой развилось повествование, всегда в нем сохранено. Оттого-то и повести,

написанные Толстым в этом именно духе, так и приходят „по мысли“ народу... Простолюдин читает то, что до его слуха ранее доносилось с струею родимого воздуха... В ином духе и направлении от рассказа повеет холодом, формою, муштрою, казенщиной. Почва у художника свернется под ногами и произрастит не имя живое, а терние и волчец».

Народные рассказы Толстого были встречены с большим интересом. Читатель явно соскучился по художественным произведениям Толстого, а его религиозные сочинения, которые приходилось читать в гектографированном виде или привозить из-за границы, мало насыщали, а очень многих и раздражали. Даже в мягкой реакции Тургенева на «Исповедь» звучало явное сожаление по поводу случившегося с Толстым переворота, суть которого от Ивана Сергеевича, впрочем, ускользнула, была искаженно воспринята. (Вот почему он прервал большое письмо об «Исповеди» Толстому, а Григоровичу послал критику, перемешанную с комплиментами: «Вещь замечательная по искренности, правдивости и силе убеждения. Но построена она вся на неверных посылах — и в конце концов приводит к самому мрачному отрицанию всякой живой, человеческой жизни... Это тоже своего рода нигилизм...») Другие не только сожалели, но и негодовали, особенно люди православно-патриотической и монархической ориентации, которые народным рассказам Толстого обрадовались. Хорошо информированный Страхов о реакции этих читателей Толстому сообщал регулярно, особенно выделяя, как большого поклонника новых произведений, Ивана Аксакова, который отзывался о них с восхищением и говорил, что «приходится простить Вам Ваши еретичества»: «На него повеяло таким духом, что он уже отказывается судить об Вас, говоря, что у Вас свои счеты с Богом, которые нам следует уважать. Такое же впечатление сделали эти рассказы и на Вл. Соловьева». (Страхову Аксаков писал: «Вот такая проповедь его дело. Но чтобы воспринять благодать такой проповеди, нужно было уготовить почву душевную, просветить и прогреть душу такой искренностью, стать к святой истине в такие чисто сердечные любовные отношения, тайна которых не подлежит нашему анализу, и которые ставят его, автора, вне суда нашего. Очевидно, у него свой конто-куррант с Богом...»)

Самого Страхова не всё удовлетворяло в народных рассказах Толстого (не только в художественном исполнении). Больше всего он был неудовлетворен рассказом «Упустишь огонь — не потушишь» (а отчасти и «Свечой»), о чем откровенно, пользуясь правами друга — литературного критика, отзывами которого Толстой дорожил, и написал ему, упрекнув в «небрежности», «пропусках» и «больших пятнах», психологической

недосказанности, позволив себе и другое «вольнодумство»: «В Вашем рассказе есть много бесподобного; но пробелы большие... конец вовсе скомкан. Как они встречались, как затихала в том и другом злоба — это любопытно и трогательно, а этого нет... незачем Вам работать на два, на три года, когда можете работать на сто и двести лет... Буду уже вполне откровенен. В рассказе *Свеча* я нахожу слабым место, где добрый мужик объясняет, почему не следует убивать приказчика. Для избежания *угрызений совести* — я так понял. Но нужно бы другое, нужно указать самое основание этих угрызений, что-нибудь положительное — Вы это лучше моего знаете».

Страхов выделяет, как самые сильные и художественные, рассказы «Чем люди живы» и «Два старца». («Изба с голодною семьею, Елисей в своем пчельнике и разговоры, и путешествие — всё это навсегда остается в памяти и заставляет задумываться и дает силу и жизнь широкому и мирному смыслу рассказа. Нравоучения тут не нужно, когда всё сказано рассказом».) Другие рассказы понравились ему гораздо меньше, хотя они вызвали умиление у Ивана Аксакова, Победоносцева и многих других. Критик вновь повторяет свои претензии, которые затронули и мастерский рассказ «Два старца», где его не удовлетворила тенденциозно очерченная фигура старца Ефима: «Вы сами, конечно, ясно знаете разницу и *не имеете права* писать слабо и недоконченно, когда можете производить вековые и вполне законченные вещи. Даже и в *Двух старцах* заметно Ваше враждебное отношение к Ефиму. Если бы взяли тон еще более спокойный, Вы бы рассказали его благоговение (сродни страху), с которым он глядел на Иерусалим и на всю святыню. Тогда еще сильнее было бы то чувство, с которым он увидел впереди лысину Елисея, и яснее был бы его поворот к пониманию, что в своем сердце каждый может найти святыню выше Ерусалима и гроба Господня».

Критика Страхова эстетического характера — она тонка, точна и в основном справедлива. Особенно ценной делает ее близость к автору критика, с напряженным вниманием следившего за религиозными и художественными исканиями Толстого. И естественно, что лучшей критической статьей о рассказе «Чем люди живы», который Страхов особенно ценил, была вдохновенно им написанная рецензия. Страхову послышалась в маленьком рассказе «особая нота, такая глубокая и нежная, что она схватила за сердце самых равнодушных». «Удивительную сердечную теплоту» рассказа он прямо связывает с работой Толстого над религиозными сочинениями, с изучением Библии: «Евангельский дух, евангельская точка зрения — вот что поразило читателя, поразило

неожиданно и неотразимо. Неожиданно потому, что этот дух едва в нас теплится, давно заглушен и ежедневно заглушается другими влияниями; неотразимо потому, что он явился в действительно художественной форме, то есть самой ясной и выразительной из всех форм». Далее Страхов высказывает ряд глубоких мыслей о позиции автора и «простонародном» языке рассказа, сила которого в том, что «художник стал совершенно в уровень с этими людьми, что он смотрит на них не сверху и не снизу, а прямо, как на равных, как на братьев, как на своих. Он даже стал говорить их языком так же, как он здесь думает их мыслями и чувствует их чувствами... это, собственно, *народный рассказ, пересказанный Л. Н. Толстым*. Пересказ этот, однако, таков, что народное сказание делается в нем для нас вполне понятным, исполненным глубокого смысла, какого мы никогда не сумели бы найти в простом народном сказании... Художник поднимает нас до уровня этих лиц, дает нам чувствовать в их мыслях и действиях веяние истинной жизни, внушает нам, что от нас самих, пожалуй, постоянно несет „мертвым духом“ и что сапожник Семен со своею семьей более достоин общества ангелов, чем мы с вами, любезный читатель».

Толстой, как известно, критиков не жаловал, ремесло их считал ненужным и даже вредным. Но для Страхова делал исключение, чутко прислушиваясь к его мнениям. А тут еще случай был особенный, побуждавший с вниманием отнестись как к критике, так и к реакции простонародного читателя. Толстой пробовал свои силы в новом роде и весьма был озабочен тем, как это будет воспринято. Рассказу суждено было открыть дорогу другим произведениям, предназначенным для народа. Не дидактика и проповедь были целью Толстого (его, безусловно, радовало, что отмечали отсутствие дидактики, лобового морализирования), а просвещение народа. Отдельные журнальные и газетные публикации проблемы не решали. Назрела необходимость создания специального книгоиздательства. Оно вскоре и возникло: «Посредник». Организации его предшествовало знакомство Толстого с самым деятельным и верным своим сторонником и помощником Владимиром Григорьевичем Чертковым.

Чертков — личность яркая, самобытная, сильная. Сергей Львович Толстой, чьи суждения о людях (и о себе) неизменно правдивы и справедливы в отличие от пристрастных и часто слишком эмоциональных оценок других сыновей писателя (да и дочерей, хотя и в меньшей степени), точно определяет те черты характера Черткова, которые привлекали Льва Николаевича. Это «презрение к общественному мнению», «смелая независимость по отношению к власти имущим», «готовность пострадать

за свои убеждения», «настойчивость в достижении задуманного». И, пожалуй, более всего следует выделить преданность, с которой относился («жертвенно служил», по выражению Александры Толстой) к Толстому Чертков на протяжении их совместной двадцатисемилетней работы и дружбы, верность его идеям и идеалам, делу «толстовства» после смерти учителя. Он был дипломатичным и мужественным защитником гонимых последователей Толстого в 1920-е и 1930-е годы (Владимир Григорьевич умер в 1936 году).

О Черткове Толстому рассказал летом 1883-го его знакомый Гавриил Андреевич Русанов: в имении своих родителей Лизиновке Острогожского уезда Воронежской губернии живет молодой помещик, большой оригинал, сын богатых родителей, принадлежащих к петербургской аристократии (родители были близко знакомы с императорами Александром II и Александром III, бывавшими у них в гостях), оставил службу (в конной гвардии), поставив крест на ожидавшей его блестящей карьере и занялся благотворительной деятельностью среди крестьян. Родители были огорчены, но сын остался непреклонен. Тульский прокурор Николай Васильевич Давыдов вспоминал, что летом того же года в откровенной ночной беседе Чертков говорил, что «дальше так жить не может, что ему необходимо найти выход из той пустоты, в которой он находится».

В провинции чудачества Черткова создали ему репутацию сумасшедшего. Этот странный аристократ на земских собраниях вел себя в стиле героя романа Достоевского «Бесы»: демонстративно грыз семечки. От искусного повара он отказался, предпочтя услуги обыкновенной кухарки тонкостям французской кухни. Да он и раньше прославился необыкновенными и дерзкими выходками, заставляющими вспомнить другого героя «Бесов» — Николая Всеволодовича Ставрогина. Александра Толстая вспоминает, перемежая личные впечатления светскими сплетнями: «Достаточно было взглянуть на этого красивого, стройного человека, на гордую постановку его головы, громадные, выпуклые, холодные глаза, нос с небольшой горбинкой, чтобы понять, как он был избалован судьбой, как он привык играть роль и властвовать над людьми. Когда Чертков в блестящем мундире конногвардейского полка появлялся на придворных балах — дамы сходили по нем с ума, и чем холоднее и равнодушнее относился к ним Чертков, тем больше он имел успеха. Рассказывали, что одна из особ царской семьи на придворном балу подошла к нему во время вальса и положила руку на его плечо, желая с ним танцевать. Чертков вежливо поклонился и сказал, что он не танцует. Это было неслыханной дерзостью, придворные пришли в ужас, а светские кумушки с восторгом

передавали друг другу о смелой выходке молодого офицера».

Толстой — что неудивительно, его всегда привлекали люди необычной судьбы, смело освобождавшиеся от сословных и служебных уз и выбиравшие другой и свободный путь, пережившие духовный переворот — чрезвычайно заинтересовался аристократическим бунтарем, хотя странные выходки отщепенца и заставили его усомниться в уме бывшего конногвардейца, сына шефа Преображенского полка и аристократки. Сомнения оказались напрасными, в чем скоро он убедился во время первой встречи с Чертковым в доме Толстых в Москве.

Чертков вспоминал эту историческую встречу как одно из самых счастливых мгновений своей жизни: «Мы с ним встретились, как старые знакомые, так как оказалось, что он с своей стороны уже слышал обо мне от третьих лиц. Он в то время кончал свою книгу „В чем моя вера?“. Помню, что вопрос об отношении истинного учения Христа к военной службе уже был тогда в моем сознании твердо решен отрицательно и что, будучи тогда очень одинок в этом отношении... я при каждом новом знакомстве на религиозной почве спешил предъявить этот пробный камень. Во Льве Николаевиче я встретил первого человека, который всецело и убежденно разделял такое же точно отношение к военной службе. Когда я ему поставил свой обычный вопрос и он в ответ стал мне читать из лежащей на его столе рукописи „В чем моя вера?“ категорическое отрицание военной службы с христианской точки зрения, то я почувствовал такую радость от сознания того, что период моего духовного одиночества наконец прекратился, что, погруженный в мои собственные размышления, я не мог следить за дальнейшими отрывками, которые он мне читал, и очнулся только тогда, когда, дочитав последние строки своей книги, он особенно отчетливо произнес слова подписи: „Лев Толстой“».

Точка соприкосновения немаловажная — в пропагандистской и антигосударственной деятельности Толстого отрицание военной службы и поддержка тех, кто от нее отказывался (как отдельные лица, так и целые секты, как, к примеру, духоборы), занимала очень большое место. Привлекала его и независимость позиции Черткова, отнюдь не собиравшегося слепо следовать за ним во всем, предупредившего писателя, что вовсе не желает непременно с ним во всем соглашаться, и действительно он нередко выражал в письмах несогласие, пытаясь повлиять на мнения Толстого, вмешиваясь даже в художественный процесс. Но такие естественные и в общении очень близких людей «настроения» нисколько не противоречили главному, прямо высказанному Толстым: «Есть... очень близкий мне человек Чертков... мы с ним совершенно одних

убеждений и взглядов».

Толстого давно уже занимала идея издания книг для всего грамотного населения Руси. В этом деле он очень рассчитывал на своего энергичного единомышленника, которому писал в феврале 1884 года, деликатно и осторожно очерчивая задачу: «Я увлекаюсь всё больше и больше мыслью издания книг для образования русских людей. Я избегаю слова „для народа“, потому что сущность мысли в том, чтобы не было деления народа и не народа... Не верится, чтобы вышло, боюсь верить, потому что слишком было бы хорошо. Когда и если дело образуется, я напишу вам». Тогда же в московском доме Толстого состоялось несколько совещаний, в которых приняли участие издатель «Народной библиотеки» Маракуев, профессор Московского университета Усов, гласный Московской городской думы Щепкин, земский деятель Писарев, писатели и художники. На одном из этих совещаний с яркой речью выступил Толстой, очертив круг проблем, и особенно выделил мысль, что просветиться должны все, в том числе и те, кто затевает это трудное и важное дело, так как мы все «стали ужасно невежественны», «известными приемами образования, культурой заслоняем от себя всю огромную область истинного образования и, копошась в маленьком заколдованном кружке, очень часто открываем с большим трудом и гордостью то, что давно открыто моряками». Необходимо, чтобы исчезло искусственное деление читателей на народ и не народ, внушал Толстой слушателям. Все должны учиться «не в маленьком классе, у маленького учителя, а вместе в миллионном классе у великого векового учителя».

Надо учиться сообща, доброхотно делясь своими знаниями с другими — учить и учиться одновременно. «Соберемтесь все те, которые согласны в этом, и будем, каждый в той области, которая ему больше знакома, предавать те великие произведения ума человеческого, которые сделали людей, чем они есть. Соберемтесь, — будем собирать, выбирать, группировать и издавать это». Речь Толстого, понятно, была внимательно выслушана, но к каким-либо конкретным решениям участники собрания не пришли. Высказывались и мнения, с которыми никак не мог согласиться Толстой, как, например, с предложением об официальном статусе общества. Только независимое от государства и сословных объединений и кружков сообщество книгоиздателей! С такой постановкой дела вполне был согласен Чертков, которого обстоятельно познакомил с речью Толстого Писарев: «Толстой... с большим еще интересом относится к вопросу об издании доступных для грамотного люда книг. Он задается мыслию издавать такого рода книги, которые имеют вечное, мировое значение, и

при этом не имея в виду лишь один народ, но вообще всех, исходя из той точки зрения, что эти творения должны быть читаны всеми и одинаково для всех будут понятны... Мысль эта, несомненно, хорошая, и так было бы хорошо, если бы она осуществилась. Толстой очень горячо относится к ней».

Загоревшись идеей просветительского издания для всех, но все-таки предназначенного главным образом для простонародья, Толстой встречается и долго беседует с Христиной Даниловной Алчевской, педагогом и писательницей, автором «прекрасной» книги «Что читать народу?». А реальные контуры хорошая мысль стала приобретать после того, как осенью 1884 года к хлопотам подключился Чертков, предложивший периодическое издание нового типа для народа, в котором каждый выпуск «представлял бы одно целое, годное для розничной продажи».

Остановились сначала на плане издания для народа воспроизведений картин с пояснительными текстами (вариант лубочного издания). С этим планом в конце ноября к издателю лубочных книжек и картин Ивану Дмитриевичу Сытину явился «очень красивый молодой человек в высокой бобровой шапке, в изящной дохе... назвал свою фамилию и изложил свой проект издания». И человек, которым, понятно, был Чертков, и проект Сытину очень понравились, он даже выразил согласие издавать тексты, если они разрастутся, отдельными книжками. Так скромно начиналось получившее всеобщее признание, самое успешное книгоиздательство для народа — «Посредник», которому столько сил отдали Толстой и Чертков как организаторы, вдохновители и авторы.

Работа закипела сразу: многие с пониманием и сочувствием откликнулись на инициативу Толстого и Черткова. Сын Ивана Дмитриевича Сытина вспоминал: «Что это было за время! Это была не простая работа, а священнослужение... Я был счастлив видеть интеллигентного человека, так преданного делу просвещения народа. Чертков строго следил, чтобы ничто не нарушило в его изданиях принятого направления. Выработанная программа была святая святых всей серии. Все сотрудники относились к этому начинанию с таким же вниманием и любовью. Л. Н. Толстой принимал самое близкое участие в печатании, редакции и продаже книг, много вносил ценных указаний и поправок».

«Посредственные» книжки, как каламбурил Николай Семенович Лесков, один из постоянных авторов издательства, успешно в больших количествах расходились среди тех, кому они и предназначались. Толстой некоторое время почти всецело был занят делами издательства, обдумывая

и сочиняя «английского милорда», то есть народные рассказы, редактируя (как всегда обстоятельно, по сути, переделывая) рукописи, привлекая новых авторов и художников. Он придавал исключительно большое значение этой просветительской деятельности в среде народа, достойного хорошей, добротной умственной пищи, а не той серобумажной продукции, часто пошлой и низкопробной, которой его по традиции потчевали: «Миллионы русских грамотных стоят перед нами, как голодные галчата с раскрытыми ртами, и говорят нам: господа родные писатели, бросьте нам в эти рты достойной вас и нас умственной пищи; пишите для нас, жаждущих живого литературного слова; избавьте нас от все тех же лубочных Ерусланов Лазаревичей, Милордов Георгов и прочей рыночной пищи. Простой и честный русский народ стоит того, чтобы мы ответили на призыв его доброй и правдивой души. Я об этом много думал и решился по мере сил попытаться на этом поприще».

Надо сказать, что Толстой немало потрудился на этом поприще, безукоризненно служа тому направлению, суть которого четко сформулировал в одном из писем: «Направление ясно — выражение в художественных образах учения Христа, его пяти заповедей; характер — чтобы можно было прочесть эту книгу старику, женщине, ребенку и чтоб и тот, и другой заинтересовались, умилились и почувствовали бы себя добрее».

Не всегда направление и характер строго выдерживались. Порой, увлекаясь «художественностью», далеко отходил от дидактики сам Толстой, на что ему тут же в деликатной форме, но вполне отчетливо «выговаривал», выправляя тенденцию, строгий блюститель чистоты замысла Чертков. Он писал ему по поводу жестокого конца рассказа «Свечка»: «Это буквальное исполнение дурных пожеланий крестьян о „беспокойной смерти“ и о том, чтобы у него „пузо лопнуло и утроба вытекла“, всё это ужасно тяжело напоминает мне ветхозаветный рассказ о пророке, отомстившем смертью детям, смеявшимся над ним, который поражал меня своей несправедливою жестокостью». Чертков прислал даже два толерантных окончания рассказа. Толстой очень не любил вмешательства в творчество. Отклонив предложенные Чертковым варианты, он, преодолевая сильное недовольство, сочинил нечто подбробнее, но позднее все-таки вернулся к первому художественному решению, которое одно только и годилось. Толстой, признавая законность претензий ради пользы дела старавшегося Черткова, попытался исправить положение, но он ясно понимал, что это с его стороны уступка и измена тому, что тогда было принято называть художественной правдой.

Салтыков-Щедрин, в сотрудничестве с которым весьма был заинтересован Толстой, пославший ему теплое письмо-приглашение («У вас есть всё, что нужно: сжатый, сильный, настоящий язык, характерность, оставшаяся у вас одних, не юмор, а то, что производит веселый смех, и по содержанию — любовь и потому знание истинных интересов жизни народа... Вы можете доставить миллионам читателей драгоценную, нужную им и такую пищу, которую не может дать никто, кроме вас»), готов был предоставить «Посреднику» свои произведения, но с советами Черткова что-то изменить в присланных им превосходных сказках («Бедный волок», «Самоотверженный заяц», «Пропала совесть», «Рождественская елка») не соглашался, резонно, должно быть, полагая, что сверх головы довольно и других цензур — государственной и духовной. Чертков с досадой известил Толстого: «Во всех почти его рассказах, подходящих сколько-нибудь к нашей цели, есть что-нибудь прямо противоположное нашему духу; но когда указываешь на это, то он говорит, что всю вещь написал именно для этого места и никак не соглашается на пропуск». Собственно, и Толстой писал Черткову, что рассказ «Свечка» был как раз и написан ради того жестокого конца, что так не понравился Черткову. Так что Толстой вполне понимал неуступчивость Салтыкова-Щедрина, которому советовали сделать какие-то изменения ради «духа» издания, тем более что немного кудряво и темно писал сатирику об отсутствии направления («В изданиях этих есть не направление, а есть исключение некоторых направлений»). Но промолчал — не стал вмешиваться. Как и во многих других случаях, молча согласился с ревностным блюстителем «духа» Владимиром Григорьевичем Чертковым.

Если Салтыков-Щедрин готов был сотрудничать с «Посредником», то другой живой «классик», входивший в «плеяду» русских литераторов, Иван Гончаров — а ему также Толстой прислал просьбу-приглашение, — вежливо и одновременно твердо и откровенно отказался: «Вы правы — это надо делать. Но я не могу: не потому только, что у меня нет вашего таланта, но у меня нет и других ваших сил: простоты, смелости и отваги, а может быть, и вашей любви к народу».

Высказал — в очень мягкой форме — Гончаров и сожаление по поводу того, что Толстой отдает так много сил работе над народными рассказами. «Мне... жаль, если вы этому писанию пожертвуете и другим, то есть образованным кругом читателей. Ведь и вы сами пожалели бы, если бы Микель-Анджело бросил строить храм и стал бы *только* строить крестьянские избы, которые могли бы строить и другие. Пожалели бы вы также, если б Диккенс писал *только* свои „Святочные рассказы“, бросив

писать великие картины жизни для всех».

Гончаров выразил мнение подавляющего большинства русской читательской публики. Народное чтение, бесспорно, вещь важная и полезная, но читатели просто соскучились по другим произведениям Толстого, сожалея, что он всецело погрузился в сочинение «английского милорда». Не потому, что не «царское» это дело, а потому, что у царя было еще много других дел, не менее важных. «Английский милорд» плохо насыщал образованную публику. Понимал это и Толстой, которого всегда инстинктивно тянуло к настоящей и свободной художественной работе. Ожиданий своих постоянных читателей он не обманул.

Москва

Вопреки надеждам Софьи Андреевны религиозная «болезнь» Толстого оказалась затяжной, с чем было трудно смириться, но как-то надо было приспособливаться, тем более что в жизни семьи назревали большие и неизбежные перемены. Дети выросли, и их учеба и будущее требовали переезда в Москву. Старший сын Сергей поступил на естественный факультет Московского университета, но отец этому не обрадовался. Он иронизировал по этому поводу во время посещения в сентябре 1881 года частной гимназии Льва Поливанова: «Мой Сергей поступил, к несчастью, в университет. Да еще факультет-то какой выбрал! Из всех факультетов я наиболее ненавижу юридический и естественный, особенно естественный. Он и поступил на естественный». В гимназию Поливанова были приняты Илья и Лев; там можно было обойтись и без обязательной подписки родителей о «благонадежности» детей, которую требовали в казенных гимназиях, что крайне возмутило Толстого: «Я не могу дать такую подписку даже за себя. Как же я ее дам за сыновей?» Татьяна, обладавшая художественными способностями, посещала Училище живописи, ваяния и зодчества, расположенного на Мясницкой улице. Она достигла уже того возраста, когда благородных девушек вывозят в свет, о чем, естественно, мечтала.

Что касается Софьи Андреевны, то она уже давно тяготилась жизнью в Ясной Поляне. Временами недовольство становилось особенно сильным, выражаясь в жалобах и непреходящей тоске молодой женщины, чувствующей себя в заточении, лишенной светских удовольствий. Осенью 1875 года она испытывает то, что ее муж называл «остановкой жизни», изливая тоску на страницах дневника: «Слишком уединенная деревенская

жизнь мне делается наконец несносна. Унылая апатия, равнодушие ко всему, и нынче, завтра, месяцы, годы — все то же и то же». Духовный переворот, происшедший с Толстым, только способствовал росту таких «антидеревенских» настроений. Сестре Татьяне она в отчаянии пишет в 1880 году о страшно надоевшей «тюрьме», из которой только и мечтает вырваться: «Как мне иногда тяжела моя затворническая жизнь! Ты подумай, Таня, что я с сентября из дома не выходила... иногда такое чувство, что меня кто-то запирает, держит, и мне хочется... разломать все кругом и вырваться куда бы то ни было — поскорей, поскорей!..»

Решение созрело весной 1881 года, и оно совпало с мечтами старших детей. Сергей Львович вспоминал: «Моя мать, сестра и я стремились в Москву подобно чеховским трем сестрам». Но Лев Николаевич туда совершенно не стремился. Его угнетала мысль о неизбежности поселиться в этой «помойной вонючей яме», «развратном Вавилоне». Хлопотами по устройству в Москве занялась Софья Андреевна. Она и сообщила мужу, что подыскала «очень удобный и прекрасный и по месту и по расположению дом» в Денежном переулке, куда Толстые и переехали 15 сентября.

Выбор Софьи Андреевны оказался неудачным. Впрочем, он иным и не мог быть — Толстой осудил бы любой. Свое недовольство он выражал так подчеркнуто, что создало совершенно нетерпимую обстановку в доме. Первый месяц жизни в Москве, естественно, превратился в сплошной кошмар. Софья Андреевна выслала грустный отчет сестре о тоске и унынии, овладевшими всеми, чему, конечно, более всего способствовало постоянно раздраженное настроение Льва Николаевича, переживавшего переезд в Москву как непоправимую катастрофу. «Дом оказался весь как бы карточным, так шумен, что ни нам в спальне, ни Левочке в кабинете нет никакого покоя. Это приводит меня в отчаяние, и я нахожусь весь день в напряженном состоянии, чтобы не слишком шумели. Наконец, у нас было объяснение. Л. говорит, что если б его я любила и думала о его душевном состоянии, то я не избрала бы эту огромную комнату, где ни минуты нет покоя, где всякое кресло составило бы счастье мужика, — т. е. эти 22 рубля дали бы лошадь или корову, что ему плакать хочется и т. д. Но теперь всё это непоправимо. Конечно, он довел меня до слез и отчаяния, я второй день хожу как шальная, всё в голове перепуталось, здоровье очень дурно стало и точно меня пришибли».

Софья Андреевна была абсолютно права, полагая, что и в этом, не слишком удачно ею выбранном доме жизнь была бы хороша, если бы были счастливы Лев Николаевич и дети, на которых он оказывал большое

влияние. Только Сергей был доволен, чем и утешал мать. Роптала на первых порах, с грустью вспоминая о Ясной Поляне, даже Татьяна — но она вскоре закружится в вихре светских развлечений и романов с прекрасно танцующими и галантными московскими кавалерами, с головой и сердцем уйдет в эту новую и такую захватывающую жизнь, что и следовало предвидеть. Татьяне исполнилось восемнадцать лет. Она была рада вырваться из деревенского заточения даже больше матери. К тому же танцы и флирт сочетались с серьезными занятиями живописью.

В Ясную Поляну из карточного дома Волконского стремились сбежать и младшие дети. Но особенно тосковал и печалился Лев Николаевич, «впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию», перестал спать и есть. Подвел неутешительный итог первого московского месяца, «самого мучительного» месяца в его жизни: «Переезд в Москву. Всё устраиваются. Когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные! И нет жизни. Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют». А затем нашел временный компромиссный выход из тягостного и тупикового положения, нанял себе для занятий две маленькие комнаты за шесть рублей во флигеле того же дома; там его, по крайней мере, не преследовала мысль о безлошадных крестьянах.

А для променада, общения с трудовым народом и необходимой после умственных занятий и изматывающих контактов с женой физической разрядки он уходил на Воробьевы горы пилить с мужиками дрова. «Это освежает меня, — признавался Толстой, — придает силы, видишь жизнь настоящую и хоть урывками в нее окунешься и освежишься». Илья, вспоминая первую зиму московской жизни, с удовольствием пишет об этих новых занятиях отца: «Приходил он домой усталый, весь в поту, полный новых впечатлений здоровой, трудовой жизни и за обедом рассказывал нам о том, как работают эти люди, во сколько упряжек, сколько они зарабатывают; и, конечно, он всегда сопоставлял трудовую жизнь и потребности своих пильщиков с нашей роскошью и барской праздностью». Не было в жизни семьи Толстых, понятно, никакой особенной роскоши и — тем более — барской праздности, но Толстой во всем был максималистом, предъявляя себе и близким чрезвычайно жесткие моральные требования. Непомерные: поднять «60 пудов» не могла ни Софья Андреевна, ни дети. Не под силу то было и самому Толстому. И невозможно, оставаясь в семье, в доме. Вот тогда-то в Москве во время очередной семейной ссоры (как всегда из-за «пустяков», каких-то курточек

для детей, которые он не помогает шить) Лев Николаевич и воскликнул, что его самая страстная мечта уйти от семьи. Уйдет он из «семьи» еще нескоро: почти три десятилетия пролетят. Через сутки наступит примирение. Но мысль об уходе уже никогда не пройдет, мрачной тучей-угрозой нависнув над домами Толстых в Москве и Ясной Поляне. Пока же Толстой будет уходить пилить дрова за Москву-реку: занятие полезное и невинное. Льву Николаевичу не было нужды к кому-либо обращаться за разрешением. Он жил по своей воле — и очень хотел пострадать в тюрьме, остроге, ссылке. А выпала ему на долю только одна бессрочная каторга — семейная.

Пилка дров и две маленькие рабочие комнаты во флигеле не решали проблемы. Измученную и уже готовую согласиться больше не приезжать жить в эту «зараженную клоаку» Софью Андреевну Толстой огорошил тем, что в мае 1882 года энергично бросился искать «по всем улицам и переулкам» другой, более подходящий дом или, на худой конец, квартиру. Свой выбор он остановил на доме коллежского секретаря Ивана Александровича Арнаутова в Долго-Хамовническом переулке в районе Девичьего поля (Арнаутовка или Арнаутовский дом). На жену владельца дома Толстой произвел странное впечатление. Явился он первый раз поздно вечером, когда и рассмотреть толком ничего нельзя было, и вид его доверия не внушал: какой-то чужак в поношенном пальто и в порыжелой шляпе. Интересовался не так домом, как садом. Толстого действительно пленил своей «натуральностью» сад, где «было густо, как в тайге». Сад приглянулся и осматривавшему его в июне дяде жены Константину Александровичу Иславину: «Роз больше, чем в садах Гафиза, клубники и крыжовника бездна, яблонь с дерев десять, вишен будет штук 30, две сливы, много кустов малины и даже несколько барбариса. Вода тут же, чуть ли не лучше мытищинской. А воздух, а тишина! И это среди столичного столпотворения». Беседка перед террасой, столетняя липовая аллея, колодец с родниковой водой — рай, отгороженный от Содома, оазис в пустыне.

Розы, как известно, без шипов не бывают. Праздники не обходятся без безобразников. Дом был окружен, сдавлен фабриками, гудки которых постоянно напоминали о другой, отнюдь не райской жизни городского пролетариата: «Засыпают, и опять и опять продолжают ту же бессмысленную для них работу, к которой они принуждены только нуждой».

Сад дома граничил с парком психиатрической клиники. Сад и парк разделял только дощатый забор. В саду однажды прятался сбежавший

душевнобольной. С некоторыми пациентами клиники Толстые познакомились. Татьяна Львовна вспоминает, что один из них, потерявший разум после смерти единственного ребенка в возрасте ее маленького брата Вани, очень привязался к нему, дарил красивые цветы, росшие в парке. Ваня вернул его к жизни, о чем больной, выйдя из клиники, написал Софье Андреевне. Скорее всего, это легенда — еще один венок на могилу рано умершего Ванечки.

Сад нравился всем, но жить-то надо было в доме. А он нуждался в значительной перестройке и достройке: семья большая, и потребности каждого нужно было максимально удовлетворить. Лев Николаевич и взялся энергично за дело, возможно, желая загладить вину перед женой, которую положительно замучил непрерывными жалобами. Разумеется, он по всем деталям перестройки советовался с Софьей Андреевной и старшими детьми. Привозил план перестройки для обсуждения в Ясную Поляну. Достроен был второй этаж, проведен капитальный ремонт всего дома, подвалов и сторожки, устроена лестница, куплена мебель и необходимая утварь. Всеми этими делами с удовольствием руководил, участвуя в различных работах, Лев Николаевич, к большой радости жены, поощрявшей мужа в мажорном письме: «Не ослабей и вперед, милый Левочка, и помогай мне и после, а то одной и скучно, и страшно, и трудно устраиваться. А вместе и легче и как много веселей!» Тем не менее считала, что «этот переезд вторичный, это дело детей с отцом, но не мое».

Переезд состоялся 8 октября 1882 года. Толстой постарался, чтобы он был праздничным. «Мы приехали в Арнаутовку вечером, — в восторге от отца, нового дома, своей комнаты в нем записывает в дневнике Татьяна Львовна, которая с нетерпением ждала этого мгновения и отъезда из надоевшей Ясной Поляны, — подъезд был освещен, зала тоже, обед был накрыт, и на столе фрукты в вазе: вообще первое впечатление было самое великолепное, везде светло, просторно, и во всем видно, что папа всё обдумал и старался всё устроить как можно лучше, чего он вполне достиг. Я была очень тронута его заботами о нас, и это тем более мило, что это на него не похоже. Наш дом чудесный, я не нахожу в нем никаких недостатков, на которые можно бы обратить внимание. А уж моя комната и сад — восхищение».

Такого Татьяна Львовна не ожидала. Она мечтала о большой зале, где можно было танцевать, и чтобы комнаты матери и отца оказались им по вкусу — ссоры родителей всем надоели. А тут такой подарок. И ее комната расположена на втором этаже. Там же, где кабинет и рабочая комната обожаемого отца.

В кабинет Льва Николаевича проходили с особого, «черного» хода. Сделать это можно было не всегда и не всем. Младшая дочь Александра вспоминает в книге «Отец», что почти никогда дети не заходили в кабинет, это была «святая святых», куда входили только в очень важных случаях, когда Толстой хотел сам с кем-нибудь поговорить, что было исключительным событием. Да и вход других к Толстому был затруднен и ограничен, о чем он позаботился, памятуя о предыдущем карточном московском доме. Племянница Толстого Елизавета Валерьяновна с сожалением пишет о том, что «для своих близких Лев Николаевич стал мало доступен. Зайдешь днем — он или гуляет, или занят; а вечером он большей частью сидел в своем маленьком, низеньком кабинете, окруженный людьми, жаждущими его послушать. Придешь туда и чувствуешь, что лишняя, что стесняешь. Когда же Лев Николаевич выходил в большую залу, где за большим чайным столом сидели гости Софьи Андреевны, он был любезным, обворожительным хозяином». Протиснуться сквозь эту постоянную толпу гостей и посетителей, среди которых становилось всё больше и больше «толстовцев», было не так-то просто. День Толстого, как он писал в трактате «Так что же нам делать?», был жестко распределен в соответствии с четырьмя «упряжками»: «...1) деятельность мускульной силы, работа рук, ног, плеч и спины — тяжелый труд, от которого вспотеешь; 2) деятельность пальцев и кисти рук, деятельность ловкости, мастерства; 3) деятельность ума и воображения; 4) деятельность общения с другими людьми». Великий систематизатор и классификатор, он с «немецкой» пунктуальностью стремился к гармоническому сочетанию всех четырех родов деятельности.

Почти двадцать лет жизни Толстого будут связаны с этим домом. Только в начале нового века он переберется в Ясную Поляну. Тысячи посетителей пройдут через кабинет, удивляясь скромности быта и привычек Толстого. Описаний кабинета много в воспоминаниях современников. Почти все они однотипны и отличаются краткостью. Своеобразие кабинета как раз и заключалось в предельной простоте. «Помню небольшую с низким потолком комнату, более чем скромно убранную, с небольшим письменным столом и широким клеенчатым диваном», — вспоминает актер Владимир Николаевич Давыдов. Боборыкину кабинет показался похожим на мастерскую, где всё было «простецкое». В том же духе и описание А. К. Чертковой: «Комната эта — меньше всех других и с низким потолком — прежде всего поражала скромностью обстановки; как этот кабинет не похож на все „кабинеты“ всяких писателей и даже заурядных чиновников, виденные мною в

Петербурге! Нет ни традиционного, зеленого цвета ковра, ни драпри на окнах и дверях, ни мраморного камина, ни, вообще, никакой роскоши. Мебель самая скромная, и ее очень мало: небольшой письменный стол налево, у окна, широкий клеенчатый диван, у стены направо, в углу, два-три стула или жесткие креслица — вот и вся обстановка». Поистине удивительно, каким образом из этих и других, близких по духу и добавляющих только несколько не очень существенных деталей сотворил Дмитрий Мережковский символическое жилище эпикурейца: «Только те, кто всю жизнь проводит в созерцании, умеют ценить по достоинству величайшее удобство комнаты — ее совершенное уединение и спокойствие, ненарушимое, надежное безмолвие. За это можно отдать всё. Это — блаженство и глубокая нега, единственная и незаменимая роскошь мыслителей. И как она редко, как трудно достижима в современных больших городах. В сравнении с этою истинною роскошью, какими варварскими кажутся мещанские затеи нашего изнеженного и в самой изнеженности огрубелого, на американский лад одичалого вкуса».

Работа действительно требовала тишины, сосредоточенности, за чем всегда строго, иногда даже слишком строго следила Софья Андреевна. Но о какой тишине можно говорить — чего стоили одни фабричные гудки (свистки). Они красноречиво говорили о повседневной жизни московского пролетариата, с которой Толстой раньше так близко не соприкасался. Свистки тревожили, волновали. Толстой, как обычно, хотел знать значение каждого свистка, составлявшего вместе с другими фабричную симфонию, увидеть тех, чью жизнь регулируют эти свистки. И отправился на фабрику. «Ходил на чулочную фабрику. Свистки значат то, что в 5 мальчик становится за станок и стоит до 8. В 8 пьет чай и становится до 12, в 1 становится и до 4. В 4 $1\frac{1}{2}$ становится и до 8. И так каждый день. Вот что значат свистки, которые мы слышим в постели». Если раньше Толстой инстинктивно брезгливо («гадливо») сторонился пьяных, шатающихся с пьяными распутными девками из одного царского кабака в другой, фабричных, то после того, как ему стало ясно значение всех этих странных, изо дня в день звучащих свистков, он почувствовал к несчастным рабам нового времени сострадание, смешанное с чувством великого, непреходящего стыда. Теперь со свистками будут слиты картины мизерабельного и бессмысленного существования: «Засыпают, и опять поднимаются, и опять и опять продолжают ту же бессмысленную для них работу, к которой они принуждены только нуждой». По свистку просыпаться в полумраке в сырых подвалах, спешить в «гудящий

машинами корпус». По свистку начинать работу в жару, духоте, грязи. По свистку ее ненадолго прерывать, чтобы вновь продолжить изматывающий труд. По свистку заканчивать работу и уходить на несколько часов в тот же сырой подвал. После короткого сна опять вставать и брести на фабрику. «Отдушины» — короткие «праздники» с грязными распутными девками и пьяным мордобоем. А затем похмелье, часто в участке, и неизбежные свистки — завертелось фабричное колесо. Очень знакомая картина, почти лишенная национального колорита — в адские краски окрашена жизнь в «Жерминали» Золя, «Тяжелых временах» Диккенса, «Так что же нам делать?» Толстого. Последнего, кстати, раздражали «утешительные» замечания, что, мол, в Лондоне «золоторотцев» еще больше, чем в Москве, и выглядят они еще непригляднее. Да и действительно: чем тут, собственно, утешаться. Общее горе. Общая болезнь.

И уж совсем не был Толстой «созерцателем». Он вовсе не собирался отгородиться от распутного и вонючего Вавилона. Иначе не стал бы участвовать в переписи. Не работал бы так усердно несколько лет над большим трактатом «Так что же нам делать?», возможно, самым сильным своим публицистическим произведением.

Толстой в ужасе ходил по улицам Москвы, наблюдая нравы многочисленных нищих, заговаривал с ними, входил, подавив брезгливость, в их зловонные трущобы. Это было хуже, во много раз хуже жизни самых бедных и отчаявшихся крестьян. Нищие и бедность здесь в городе были другие. Здесь острог представлялся землей обетованной, а полицейские — ангелами, забирающими беспаспортных в участок. Обитатели московского дна, навеки запечатленные Толстым: худой юноша в одной разорванной рубаше, все время дрожащий от холода крупной дрожью, длинный старик, пьяный, подпоясанный веревкой, и старик маленький, «с опухшим лицом и с слезящимися глазами... с голыми коленками, торчавшими в дыры летних панталон, стучавшими друг о друга от дрожи», какой-то урод в лохмотьях, что-то офицерское, что-то духовного звания, что-то странное и безносое, дрожащее и голодное. И первый предварительный итог «московских прогулок» (так Толстой хотел назвать цикл очерков о Москве) оказался печальным итогом: «Я обходил все квартиры и днем и ночью, 5 раз, я узнал почти всех жителей этих домов, я понял, что это первое впечатление было впечатление хирурга, приступающего к лечению раны и еще не понявшего всего зла. Когда я осмотрел рану в эти 5 обходов, я убедился, что рана не только ужасна и хуже в 100 раз того, что я предполагал, но я убедился, что она неизлечима, и что страдание не только в больном месте, но во всем организме, и что

лечить рану нельзя, а единственная надежда излечения есть воздействие на те части, которые кажутся не гнилыми, но которые поражены точно так же».

Перепись населения Москвы должна была проводиться в конце января 1882 года. Толстой был так потрясен увиденным в огромном Ляпинском ночлежном доме (братья Ляпины, владельцы суконной фабрики — известные московские филантропы) в Трехсвятительском переулке, что в споре с приятелем позабыл о всякой коммодотности и светских приличиях: «Я стал возражать своему приятелю, но с таким жаром и с такою злобою, что жена прибежала из другой комнаты, спрашивая, что случилось. Оказалось, что я, сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: „Так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!“ Меня устыдили за мою горячность, сказали мне, что я ни о чем не могу говорить спокойно, что я неприятно раздражаюсь, и, главное, доказали мне то, что существование таких несчастных никак не может быть причиной того, чтобы отравлять жизнь своих близких». Толстой выступил с призывом к переписи «присоединить дело любовного общения богатых, досужных и просвещенных с нищими, задавленными и темными».

Перепись показалась Толстому не столько панацеей, позволяющей одолеть великое зло, сколько первым, предварительным шагом, призванным всем открыть глаза на подлинные размеры этого зла, началом общей и дружной работы — очистительной и восстановительной, которая должна была воскресить и самих волонтеров. Он возлагал большие надежды на свою статью-воззвание. В типографии газеты «Современные известия» Толстой разорвал рукопись на части, роздал их наборщикам и помог им разобраться в тексте. Потом прочитал корректуры и подарил счастливым наборщикам автографы.

«80 человек энергичных, образованных людей, имея под рукой 2000 человек таких же молодых людей, обходят всю Москву и не оставят ни одного человека в Москве, не войдя с ним в личные сношения. Все язвы общества, язвы нищеты, разврата, невежества — все будут обнажены». В своей статье Толстой наставлял и благословлял молодых людей на этот нелегкий, требующий самоотверженности труд: «...Нужно не бояться запачкать сапоги и платье, не бояться клопов и вшей, не бояться тифа, дифтерита и оспы; нужно быть в состоянии сесть на койку к оборванцу и разговаривать с ним по душе так, чтобы он чувствовал, что говорящий с ним уважает и любит его, а не ломается, любуясь на самого себя». Он пытался внушить себе и другим, что перепись нищих, голодных,

несчастных возбудит доброе чувство, которое, нарастая, пойдет «бесконечною волной», заражая всех. Можно сказать, эпидемия доброты. Любовное общение людей с людьми, смыслющее сословные и прочие преграды и заслоны. Надо мечтать, надо дерзать, надо надеяться. Золотой век, положим, и не наступит, но будут спасены многие и проснется в процессе общего доброго дела общество. Толстой стремится убедить скептиков и пессимистов: «Почему не надеяться, что будет отчасти сделано или начато то настоящее дело, которое делается уже не деньгами, а работой, что будут спасены ослабевшие пьяницы, непопавшиеся воры, проститутки, для которых возможен возврат? Пусть не исправится всё зло, но будет сознание его и борьба с ним не полицейскими мерами, а внутренними — братским общением людей, видящих зло, с людьми, не видящими его потому, что они находятся в нем».

Завершают статью слова, которые Мережковский сравнил с ростопчинскими афишами, написанными лихим псевдонародным стилем (но они органичны в этой горячей, создававшейся на большом эмоциональном подъеме статье): «Давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнем народом... Дружней, братцы, разом!» На стилистике статьи, видимо, сказалось и то обстоятельство, что Толстой собирался выступить с призывом-речью в Московской городской думе (характерна чисто ораторская риторика). Читал Толстой статью перед публикацией и своим знакомым, о чем позднее рассказал в трактате «Так что же нам делать?», но там даны уже итоги. Трактат отделен от статьи четырехлетним временным расстоянием — и все эти годы продолжалась равно интенсивная и неспешная работа Толстого над ним.

Главный итог был ясен Толстому уже в феврале 1882 года; показательно, что он начал новую статью «О помощи при переписи» словами: «Из предложения моего по случаю переписи ничего не вышло». А в трактате он рассказал, что внутренний голос давно уже бил тревогу, предупреждая, что ничего из этой фантастической затеи не выйдет, и только в горячке благородного, но «глупого» порыва Толстой не понял странной реакции слушателей, которые внимали, потупив глаза: «Им было как будто совестно, и преимущественно за меня, за то, что я говорю глупости, но такие глупости, про которые никак нельзя прямо сказать, что это глупости. Как будто какая-то внешняя причина обязывала слушателей потакнуть этой моей глупости». Неловким молчанием встречены были слова Толстого в Думе. А студентам-счетчикам, как показалось Толстому, было «как будто совестно смотреть мне в глаза, как совестно смотреть в глаза доброму человеку, говорящему глупости». Сомневались все, в том

числе сын Сергей и жена. Тем не менее Сергей Львович деликатно корректирует слова отца, заодно объясняя, почему он работал переписчиком под руководством профессора Янжула: «Я думаю, что слушавшие речь моего отца действительно чувствовали некоторую неловкость, но не только потому, что, как мы ни „налегнем народом“, мы социальную несправедливость не изменим, а также и потому, что он будил их совесть».

Статья вызвала гораздо больше сочувствия, чем сомнений и критики. Известный исследователь религиозных диссидентских движений Александр Степанович Пругавин, сблизившийся на этой почве с Толстым, свидетельствует, что статью живо обсуждала вся читающая Москва, что воззвание «ударило по сердцам и сильно всколыхнуло москвичей. Даже люди, стоявшие в стороне от гущи жизни, люди чисто кабинетного склада, люди более или менее далекие от текущей злобы дня, — и те волновались и вдруг захотели что-то делать, вдруг ощутили потребность что-то предпринять». Слово Толстого зажгло и художника Николая Ге, как «искра воспламеняет горючее», он сразу же поехал «обнять этого великого человека и работать ему».

Решив принять участие в переписи населения Москвы, Толстой обратился к профессору Московского университета Ивану Ивановичу Янжулу, главному руководителю переписи, с просьбой предоставить ему какой-нибудь бедный и неблагополучный участок города. Он получил труппный дом на углу Проточного и Никольского переулков, так называемую Ржановскую крепость. Однако после Ляпинского ночлежного дома увиденное здесь показалось относительно благополучным. Похоже, что Толстой уже достаточно нагляделся и надышался. Грязь, конечно, была, ужасная, вонь отвратительная, нужник — чудовищный («Нужник не был сам местом испражнения, но он служил указанием того места, около которого принято было обычаем испражняться. Проходя по двору, нельзя было не заметить этого места; всегда тяжело становилось, когда входил в едкую атмосферу отделяющегося от него зловония»).

Привыкнуть к такой грязи и вони нельзя, но со временем она уже не так ужасает, и тогда яснее проступают облики людей, обыкновенных, а не каких-то нравственных уродов, монстров, маргиналов, отбросов общества, сплошь несчастных отщепенцев, которых необходимо спасти энергичным счетчиком — то есть сначала переписать, а потом, дружно навалившись всем миром, спасти. Были, разумеется, и очень жалкие, совсем опустившиеся, опухшие от беспробудного пьянства, но в большинстве своем в этих проклятых местах проживали обыкновенные люди, не

слишком, к удивлению Толстого, нуждающиеся в спасении и благотворительной помощи, которую непонятно в какой форме и кому нужно было предоставить, так как деньги по большей части только поощряли и умножали разврат и пороки. Толстой почувствовал свое бессилие и странное разочарование, оттого что обнаружил не то, что ожидал. «Я ожидал найти здесь особенных людей, но когда я обошел все квартиры, я убедился, что жители этих домов совсем не особенные люди, а точь-в-точь такие же люди, как и те, среди которых я жил. Точно так же как и среди нас, точно так же и между ними были более или менее хорошие, были более или менее дурные, были более или менее несчастные. Несчастные были точно такие же несчастные, как и несчастные среди нас, то есть такие несчастные, несчастье которых не во внешних условиях, а в них самих, несчастье такое, которое нельзя поправить какой бы то ни было бумажкой».

Так что не очень стало понятно, кто кого должен спасать. Изменение внешних условий вело лишь к смене декораций, еще более обнажая внутреннюю связь явлений. Спасаться так всем: «благотворителям» и нуждающимся в помощи. Ведь помочь можно, только переменив мировоззрение страждущего, а «чтобы переменить мирозерцание другого человека, надо самому иметь свое лучшее мирозерцание и жить сообразно с ним». Дело, казалось бы, самоочевидное, но безумно трудное — главная причина, объясняющая, почему задуманное Толстым дело не могло получиться. Еще одна новая форма благотворительности, столь же вздорная и пустая, как и другие.

Тогда же продолжилось начавшееся осенью 1881 года личное знакомство Толстого с оригинальным народным мыслителем Василием Кирилловичем Сютаевым, фигурой колоритной и весьма популярной. Илья Репин запечатлел его на картине «Сектант», Николай Лесков написал проникновенный некролог Сютаева, скончавшегося в 1888 году. Многие слова и высказывания этого смелого и самобытного человека стали своего рода этическими формулами. Лесков приводит в некрологе его изречение: «Надо, чтобы бесприютных сирот не было!» А Толстой любил повторять изречение Сютаева: «Всё в тебе». Гостивший в доме Толстого в начале 1882 года Сютаев предложил свой вариант решения проблемы московской бедноты — разобрать всех бедняков: «Ты возьмешь, да я возьму. Мы и работать пойдем вместе; он будет видеть, как я работаю, будем учиться, как жить, и за чашку вместе за одним столом сядем, и слово он от меня услышит и от тебя. Вот это милостыня, а то эта ваша община совсем пустая».

Толстому пришлось по душе «простое слово» Сютеева. Но его вариант решения вопроса был столь же, если не более иллюзорен и утопичен, как и потерпевший неудачу проект Толстого. Возможно ли всех разобрать? Да и пожелают ли быть разобранными те, которых с таким реализмом описал Толстой: «Ужасно было зрелище по тесноте, в которой жался этот народ, и по смешению женщин с мужчинами. Женщины, не мертвецки пьяные, спали с мужчинами. Многие женщины с детьми на койках спали с чужими мужчинами. Ужасно было зрелище по нищете, грязи и оборванности этого народа... И везде тот же смрад, та же духота, теснота, то же смешение полов, те же пьяные до одурения мужчины и женщины и тот же испуг, покорность и виновность на всех лицах; и мне стало опять совестно и больно, как в Ляпинском доме, и я понял, что то, что я затевал, было гадко, глупо и потому невозможно... Я был как врач, который пришел с своим лекарством к больному, обнажил его язву, разбередил ее и должен сознаться перед собой, что всё это он сделал напрасно, что лекарство его не годится». Нисколько не больше годилось и лекарство, предложенное Сютеевым.

Работа на переписи оказалась труднее и мучительнее, чем предполагал Толстой, инструктируя и предупреждая счетчиков-волонтеров. Один из них оставил воспоминания о Толстом тех дней. Это Александр Амфитеатров, получивший известность как очень плодовитый беллетрист (из того разряда, который Толстой недолюбливал) и театральный критик. В год переписи он был оперным певцом. Амфитеатров не понимал и не разделял высоких целей, с которыми Толстой связывал дело переписи. Его гораздо больше интересовал великий писатель в столь близкой для наблюдения и необычайной обстановке, чем те, кого необходимо было переписать — все эти голодные, холодные и униженные будущего романиста мало трогали, точнее, Амфитеатрова занимало столкновение русских мизераблей, воров и проституток с всемирно известным автором «Войны и мира» и «Анны Карениной». Он вспоминает совместный обход кошмарного дома Падалки, подвалы которого кишели какими-то подобиями людей — страшных, больных, почти голых: «Когда мы поднялись из этого проклятого подземелья обратно на белый свет, Лев Николаевич был в лице блее бумаги. Я не видел его таким ни прежде, ни после».

Отметил Амфитеатров и растерянность Толстого в этом кошмарном мире, где ему было всё незнакомо: нравы, чувства, язык, выродившийся в жаргон, что невольно порождало курьезнейшие конфликтные ситуации. Он был свидетелем бесподобного «разговора» Льва Николаевича с одним «стрелком» (подворовывающим нищим): «Толстой тихо, конфиденциально спросил его в упор приглашающим к доверию тоном: „Вы жулик?“ — за

что, конечно, получил такую ругань, что как мы только из квартиры выскочили!»

Вот как Толстой начинает рассказ о переписи: «В первый назначенный день студенты-счетчики пошли с утра, а я, благотворитель, пришел к ним часов в 12. Я не мог прийти раньше, потому что встал в 10, потом пил кофе и курил, ожидая пищеварения. Я пришел в 12 часов к воротам Ржановского дома». Амфитеатров в воспоминаниях так комментирует эти слегка приправленные автоиронией слова: «Клянусь четой и нечетой: взвел это на себя Лев Николаевич. Аккуратнейше приходил к 10 часам, уходил в 11 $\frac{1}{2}$ и возвращался около двух. А это уж так написано — для наибольшего угрызения себя за барские привычки, для вящих бичей и скорпионов».

Амфитеатров абсолютно прав. Прибегая к излюбленной поэтике контрастов, Толстой противопоставляет мир счетчиков и мир подсчитываемых для каких-то целей обитателей московских трущоб. Несколько обособленно от них стоит барин-благотворитель, выискивающий, на кого бы могла излиться его благотворительность. И никого не находит. Его опережали в этом деле те самые люди, которых наивный «глупец» хотел облагодетельствовать. Именно они подали помощь без всякой рисовки и «жалких слов» так, как он не мог бы подать. Посылки оказались ложными, а вся затея плохо продуманной и легкомысленной: «Я искал просто несчастных, несчастных от бедности, таких, которым можно было помочь, поделившись с ними нашим избытком, и, как мне казалось, по какой-то особенной неудаче, таких не попадалось, а всё попадались такие несчастные, которым надо посвятить много времени и заботы».

«Я» в трактате «Так что же нам делать?» — это не Лев Николаевич Толстой, а некий обобщенный образ («мы») барина-благотворителя. Толстой никогда не был сибаритом, любителем долго нежиться по утрам в постели. Он человек строгой, даже жесткой дисциплины, озабоченный гармоничным сочетанием различных «упряжек» каждый день. А в трактате выведен именно барин, распушенный и избалованный, находящийся во власти вредных привычек (кофе, сигара), обеспокоенный процессом пищеварения, комфортно и лениво подготавливающий себя к подвигу благотворительности. Совсем немного точно отобранных и умеренно шаржированных черт, но этого достаточно для создания портрета благотворителя и определенной тональности дальнейшего обстоятельного с демонстрацией многочисленных «низких» деталей рассказа о тех, к кому «снисходит» барин. Личного в трактате мало, и оно строго подчинено главным целям произведения. Трактат не исповедь — это «Так что же нам

делать?», а не «Что же мне делать?». И не роман — здесь нет героев и романического сюжета. Но многое в трактате является своего рода «материалом» для будущего романа «Воскресение».

Так утро Дмитрия Ивановича Нехлюдова отдаленно напоминает пробуждение незадачливого барина-благотворителя трактата, но очень развернутое и с подробнейшим описанием кажущихся бесконечными гигиенических и других процедур, с перечислением различных предметов, используемых героем в уборной, где он тщательнейшим образом подготавливает тело к предстоящим дневным и вечерним событиям, к обязательному деятельному безделью аристократа. Столь же подробно описаны мебель и завтрак. Создается впечатление, что для создания комфорта и особенной атмосферы неги и чистоты, в которой привычно течет жизнь Нехлюдова, трудится целая армия людей не только в России, но и в Европе. Этому подробнейшему описанию Нехлюдова и окружающей его обстановки, где всё было самого первого, дорогого сорта, простое и ценное одновременно, всё блистало чистотой и аристократической изысканностью, комильфотностью, предшествует не менее подробное описание обычного дня Катюши Масловой в ее монотонной и страшной жизни, бесконечно далекой от времяпрепровождения соблазнившего ее князя. Описания и противопоставлены и тесно связаны, как и судьбы героев, причем связь подчеркнута и обнажена, пожалуй, столь же отчетливо, как и в трактате, где мысль об извлечении падших душ из «мрака заблужденья» беспощадно отвергнута, названа «безумной» наряду с другими благотворительными проектами: «Я воображал, что мы, те самые, которые приводили и приводим этих женщин в это состояние в продолжение нескольких поколений, в один прекрасный день вздумаем и сейчас же поправим всё это». И эта мысль, осложненная глубоким личным раскаянием героя, самоказнью, желанием очиститься, воскреснуть, спасти и спастись, станет одной из главных сюжетных линий последнего романа Толстого, в котором отразятся в различных аспектах его «московские прогулки» 1880-х годов.

Эти же прогулки определяют выбор героини романа, в котором Толстой вступил в зачумленное пространство городских трущоб, тюрем и острогов, больше знакомое ему до трактата «Так что же нам делать?» по произведениям Диккенса и Достоевского. Но литературные распутницы и профессиональные работницы борделей, которые, естественно, Толстой не регулярно и не часто, но всё же посещал в молодости, не говоря уже о казачках, за плотские удовольствия с которыми приходилось небольшую сумму платить (всегда точный и обстоятельный, Толстой и сумму в

дневнике записывал), ни в какое сравнение не шли с обитательницами московского дна «всяких сортов — от молодых и похожих на женщин, до старых, страшных и ужасных, потерявших образ человеческий», вроде тех, что набились в каморках в одной из квартир подвального помещения, которых хозяин называет проститутками, наслаждаясь звуками своего голоса и современностью своего словаря, «очевидно довольный тем, что он знает это слово, употребляемое в правительственном языке, и правильно произносит его». Толстому «страшное» слово представляется отвратительным, он явно предпочитает другое, не «правительственное»: «блядь». Не в слове, впрочем, дело, и уж тем более не в том, что каждый должен знать свое «имя» — как ни назови... Да и трудно подыскать имя «неприятно безобразной» женщине, торгующей своей столь же неприятной дочерью (они обе вызывают отвращение, а не жалость), и той жалкой шестнадцатилетней «стерве», увиденной Толстым на повороте из Зубова в Хамовнический переулок: какие-то черные пятна на снегу, заморыш с короткими ногами, что-то хрипящее и визжащее: «Грязный цвет лица, маленькие, мутные, пьяные глаза, нос пуговицей, кривые, слюнявые, опущенные в углах губы и выбившаяся из-под платка короткая прядь сухих волос».

И что тут можно сделать? Даже преодолев отвращение и брезгливость. Каким образом извлечь из «мрака заблуждения» существо, которое вовсе не считает, что оно пребывает во мраке, убежденное в том, что делает полезное и нужное дело. Оно уверено не только в необходимости своего образа жизни — иначе не было бы чиновников, заботящихся о правильном существовании таких существ. И еще эти падшие создания знают и убеждены, что «они имеют власть над людьми и покоряют их и владеют часто ими больше, чем другие женщины». Потому-то предложение пойти в кухарки неприемлемо, кажется унижительным даже для тех из «падших созданий», которые способны на истинно христианский поступок, «самым простым образом» пожертвовать, подобно евангельской вдове, всем, и одновременно считают «положение рабочего человека низким и достойным презрения». И мать, торгующая дочерью, уверена, что она ничего дурного и безнравственного не совершает, а «делала и делает для дочери все, что может, т. е. то, что она считает лучшим для себя». И мелькнувшая мысль о присылке для спасения девочки благотворительных дам, в сущности, оказывается фальшивой, глупой, вздорной, так как ведь и эти добрые и отзывчивые дамы уверены в том же, что и совершающая преступление проститутка, а «именно — что женщина должна удовлетворять похоть мужчины и за это ее должны кормить, одевать и жалеть».

Тупик. Еще один тупик. Сплошные тупики и лабиринты. Как выбраться на верную дорогу? Как найти путеводную нить? Одна проблема цепляется за другую, один вопрос рождает и тянет за собой другие. Отчаянно бьется мысль и кружится голова от бессилия распутать клубок и предложить что-то способное помочь не только армии несчастных, но всему человечеству «выйти из того дикого состояния, в которое оно быстро впадает». Толстой предлагает и лекарства, свои ответы на вопросы, поставленные в трактате «Так что же нам делать?», отчетливо понимая, что нельзя ограничиться самым точным и образным описанием язв, самым добросовестным и глубоким исследованием болезней. Иначе он не выполнил бы своего дела, пренебрег бы правилами, обязательными для любого мыслителя и художника, которые Толстой здесь же с присущим ему этическим максимализмом рельефно обозначает: «Мыслитель и художник никогда не будут спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение или утешение. Кроме того, он страдает еще потому, что всегда, вечно в тревоге и волнении: мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так сказал, не так изобразил, как надо; вовсе ничего не решил и не сказал сегодня, а завтра, может, будет поздно — он умрет. И потому страдание и самоотвержение всегда будет уделом мыслителя и художника».

Замечательное суждение, помогающее в высшей степени оценить и потрясающие картины московской жизни, с таким мастерством и с такой горечью и страданием изображенные Толстым, и его утопические проекты, с «задором», с парадоксальными перехлестами и вызовом брошенные мысли о гегельянстве, прогрессе, позитивной опытной науке и особенно «воображаемой науке» — политической экономии, деньгах, искусстве и др. Работа Толстого вызвала — и иначе быть не могло — разноречивые отклики, по поводу чего Лесков остроумно и метко сказал: «Есть хвалители, есть порицатели, но совестливых и толковых судей нет». В литературе о Толстом давным-давно существует традиция восторгаться художественными образами и порицать «нелепые» и ретроградные суждения публициста и проповедника. Философ Мераб Мамардашвили по поводу стандартных клише, используемых для объяснения «кричащих противоречий» творчества писателя, высказался в насмешливой, иронической манере: «В русской литературе был мыслитель Лев Толстой, который почему-то считается хорошим писателем и плохим мыслителем. Я не хочу сказать, что он плохой писатель, безусловно, он хороший писатель,

но он и мыслитель хороший. Его бредовые рассуждения, касающиеся концепции истории, искусства и т. д., всегда содержат в себе ядро здравого, видного только Толстому исходного проблемы. Если вчитаться и позволить себе декартовское великодушие, то можно и со вздорным стариком посидеть, — посидишь и, глядишь, может быть, поймешь, что вообще не достоин был сидеть рядом с ним. Посидеть надо. Не убудет».

Совсем не мешает «посидеть» рядом. Не только не убудет, а и прибудет много. Посмотреть на мир далеко видящими, телескопическими глазами Толстого. Почувствовать ритм его неустанно работающей мысли. Пройти маршрутом Толстого по московским улицам и переулкам. Там, где он однажды поздно вечером на снегу Девичьего поля увидел черные пятна на снегу, оказавшиеся пьяной «стервой» (по внешнему виду бальзаковского возраста, а оказалось шестнадцатый год пошел), вдрызг пьяной и определенно бы замерзшей, хотя и уверявшей хриплым и скрипящим голосом подталкивающего ее в спину дворника, что «наша сестра» горячая и замерзнуть не может, потом зацепившейся за забор, о который стала бесполезно чиркать, бросая их, серничками. Толстой, по уже выработавшейся привычке счетчика-переписчика и благотворителя, задал «заморухе» странный и неудобный вопрос о родителях (это хорошо жизнерадостный и наблюдательный Амфитеатров подметил, удивительно, что не спросил на этот раз: «Вы проститутка?») и осекся: «Она усмехнулась с таким выражением, как будто говорила: ведь выдумает же, что спрашивать!»

Пьяную девицу, откачнувшуюся от забора, увел вниз по Хамовническому переулку городской для порядка и спасая ее от замерзания (вряд ли она была такая уж горячая), а Толстой завернул в свой дом, намереваясь утром узнать о дальнейших перемещениях несчастной, однако утром неожиданно его задержала на выходе страшная история, рассказанная ему старым знакомым, тоже несчастным, давно уже сбившимся с пути пропойцей, много всего на своем веку перевидавшим, а тут вдруг на середине грустной повести захлопавшим, зарыдавшим и отвернувшимся к стене. Повесть печальная, но не столь уж чрезвычайная, в том-то и ужас, что заурядная, обыкновенная — о тихой и больной прачке («белокурая, тихая и благообразная»), задолжавшей за квартиру, обессиленной так, что на работу уже перестала ходить, а только всё кашляла, мешая другим платежеспособным жильцам спать, особенно одной восьмидесятилетней полусумасшедшей старухе, возненавидевшей кашлявшую овцу. Понятно, ее выгнали. Идти же прачке, как униженным героям Достоевского, было некуда. Ее выгоняли, а она возвращалась. То

злобная старуха выталкивала, то городской — хороший городской, с саблей и пистолетом на красном шнурке, произнося учтивые слова, из квартиры вывел. Хотела было не вернуться — день ясный, весенний, неморозный, да как начало темнеть, приморозило, испугалась, назад повернула, да в воротах поскользнулась, упала. О прачку прохожие спотыкаться начали, просили дворника убрать, принимая за пьяную, а она умерла. Вот и вся повесть, побудившая Толстого отправиться в участок еще и с дополнительной задачей что-нибудь подробнее узнать и об умершей прачке. Путь писателя освещало живительное мартовское солнце. Дышалось легко, только на душе было пасмурно. «Погода была прекрасная, солнечная, опять сквозь звезды ночного мороза в тени виднелась бегущая вода, а на припеке солнца, на Хамовнической площади, всё таяло и вода бежала. От реки что-то шумело. Деревья Нескучного сада синели через реку; порыжевшие воробьи, незаметные зимой, так и бросались в глаза своим весельем; люди как будто тоже хотели быть веселы, но у них у всех было слишком много заботы. Слышались звоны колоколов, и на фоне этих сливающихся звуков слышались из казарм звуки пальбы, свист нарезных пуль и чмокание их об мишень».

Так писатель мог бы начать «Воскресение», но до романа еще далеко, даже до рассказа Анатолия Федоровича Кони, откуда Толстой позаимствует сюжет, неблизко. Теперь же надо идти в участок, к людям, вооруженным саблей и пистолетом. В участке трясся какой-то оборванный старик, очень ослабевший, так, что ничего толком выговорить не мог. Начальник жандармов объяснил Толстому, что несовершеннолетнюю проститутку, кажется, отправили в какой-то комитет и что таких, и даже моложе (12, 13, 14 лет), хватает — «сплошь и рядом». Пустяки. Рядовой случай. Не может припомнить, где ночевала.

Ничего не узнав определенного о «заморухе», Толстой отправился в Русанов дом, где еще недавно перхала прачка. Там застал траурные церемонии, организованные на собранные жильцами-голышами деньги. Среди скорбевших увидел и навечно запечатлел брата умершей («господин, надо бы сказать»), которого умудрились разыскать — «в чистом пальто с барашковым воротником, блестящих калошах и крахмаленой рубашке»: жутковатая и неожиданная подробность. Взглянул и на покойницу, которая была в гробу особенно хорошей и трогательной: чистое и бледное, доброе и усталое лицо, но не грустное, а удивленное. «И в самом деле, если живые не видят, то мертвые удивляются».

Так что же нам делать?

Когда-то было просто и удобно. Самодержавие. Язвы капитализма,

которые, как ясно понимал каждый школьник, утопическими толстовскими проектами не излечить: заблуждался, мол, яснополянский мудрец, зеркало нашей старой революции, той, которая не была победоносной. Но вот уж и XXI век наступил, а не только не избавились от прежних болячек, а и многими новыми обзавелись. Толпы бомжей бродят по улицам и переулкам наших городов — испитые, темные, с какой-то особенной грязной лица. Роятся в бачках с отбросами, к которым не подойти — тут же шелудивые, страшные собаки и упитанные, обнаглевшие крысы. Пьяные, наглотававшиеся невообразимой сивухи, агрессивные или нечленораздельно мычащие, валяющиеся на асфальте. Ночные (да и дневные), так сказать, «бабочки» порхают повсюду, готовые за скромное «возмездие» обслужить весь мир — даже в купейные вагоны поездов, курсирующих между Москвой и Петербургом, проникли. Гимназисты, совсем зеленые, с сигаретами в зубах, беспрерывно и громко, с вызовом матерящиеся. Подоконники, усеянные шприцами, а рядом надписи, призывающие бить жидов во имя спасения России, которая ведь только для русских... Армия беспризорных детей шныряет у зловонных вокзалов и злачно-питейных мест. Полумертвые, серые лица стариков, уставших, смертельно уставших от бесконечного выживания-проживания — их больше всего жаль. Какая, сказал бы Толстой, громада зла! И пошел бы из своего чистого и уютного дома в самую гущу этого зла. Но Толстого с его состраданием и самоотвержением давно нет — скоро минет столетие, как он ушел в неизвестность из Ясной Поляны. Самим надо разбираться, вдохновляясь великим опытом.

Так что же нам делать?

Кроткие глаза смерти

Работа над трактатом была в разгаре — она очень затянулась, всё никак оптимистический финал не получался, да так и не получился. Обращение к женщинам-матерям, в руках которых «спасение мира», аккорд, положим, мажорный, да мало убедительный — когда пришла весть о смерти Ивана Сергеевича Тургенева, с которым у Льва Николаевича было много связано в прошлом: литературная молодость, споры на всевозможные темы, как правило, заканчивавшиеся ссорами. Тургенев дружил и любил, ценя литературный дар и веселый общительный нрав, брата Толстого — Николеньку, автора небольшой поэтической книги «Охота на Кавказе».

Тургенев принадлежал к тому же кругу — сословно и литературно. Толстой переживал происшедший в 1860-е годы разрыв отношений с Тургеневым. Как-то написал ему примирительное письмо, но оно затерялось, и до Толстого через доброхотов — а они есть всегда, всё знающие и своевременно передающие сплетни добровольные почтальоны, — доходили не очень лестные суждения о нем старинного литературного знакомого. Новое религиозное настроение побуждало Толстого отринуть слухи и клевету и еще раз протянуть руку собрату, что он и сделал в письме к Тургеневу от 6 апреля 1878 года: «В последнее время, вспоминая о моих с вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею». Вспомнилось всё хорошее и дорогое, явно перевесившее мелочные обиды и недоразумения. «Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как вы любили и мое писанье и меня». Религиозное отношение к жизни позволяло с некоторым назидательным оттенком напомнить: «В наши года есть одно только благо — любовные отношения с людьми». Необходимо совместными добровольными усилиями потушить и так уже еле-еле по инерции тлеющий костер вражды: «Подадимте друг другу руку, и, пожалуйста, совсем до конца простите мне всё, чем я был виноват перед вами».

Тургенева тронуло письмо Толстого. В ответном письме он выразил радость в связи с прекращением некогда возникших недоразумений и сообщил о своем намерении посетить летом Орловскую губернию и о возможном скором свидании. Получив от Тургенева телеграмму, что он будет в Туле 8 августа, Толстой поехал туда его встречать, захватив с собой молодого правоведа Степана Берса. Как они встретились после семнадцатилетнего перерыва, о чем говорили по дороге в Ясную Поляну, неизвестно — никаких свидетельств об этом нет, а журналисты событие прошляпили. Зато в Ясной Поляне долгожданного гостя разглядывали пристально, следили за каждым жестом и буквально впитывали его слова.

Тургенев всем понравился, хотя и по-разному. Его ждали. Волновалась и всегда-то подвижная, как ртуть, нервная Софья Андреевна — а тут такой именитый, долгожданный гость. Волнение очень скоро прошло — гость был прост, обаятелен, артистичен. Естественно, и на него все взглянули «дружелюбным оком». Никакой необходимости «занимать» его не было — он сам всех отменно занимал. «Тургенев очень сед, очень смирен, — вспоминала Софья Андреевна, — всех нас прельстил своим красноречием и картинностью изложения самых простых и вместе и возвышенных

предметов. Так он описывал статую „Христос“ Антокольского, точно мы все видели его, а потом рассказывал о своей любимой собаке Пегас с одинаковым мастерством. В Тургеневе теперь стала видна слабость, даже детская, наивная слабость характера. Вместе с тем видна мягкость и доброта». Взгляд острый, цепкий, но око явно доброжелательное. Понравился «красивый старик» и Татьяне Львовне.

Сергею Львовичу Тургенев показался «великаном с добрыми глазами, с красноватым лицом, с мягкими, как мне казалось, мускулами ног и с густыми, хорошо причесанными, белыми, даже желтоватыми волосами и такой же бородой». Запомнились Сергею и разные занятные европейские вещи, привезенные Тургеневым: дорогой кожаный чемодан, изящный несессер, щетки слоновой кости. Запомнилась и щеголеватая одежда модного гостя: бархатные куртка и жилет, шелковый галстук, мягкая шелковая рубаша. Бросились в глаза изящная табакерка с нюхательным табаком и двое прекрасных золотых часов, которые Тургенев любил показывать, сопровождая демонстрацию рассказом. С привычками во всем проповедовавшего опрощение отца всё это резко контрастировало. И очень шло Тургеневу. Сыграл Сергей с Иваном Сергеевичем и партию в шахматы, причем Тургенев, превосходный шахматист («Le chevalier du fou»), с трудом его обыграл.

Рассказчик Тургенев был бесподобный и очаровал всех историями о том, как сидел на гауптвахте за статью о Гоголе и тщетно заискивал перед своим сторожем, здоровенным унтер-офицером, развлекая его байками о вилле в Буживале и семье Виардо. Мастерски изображал курицу в супе, подкладывая одну руку под другую, и стойку своей легавой собаки. Положительно был во всем заводилой и душой общества. Поразил подвижностью и гибкостью движений. С мальчишеской удалью вместе с Толстым качался при всеобщем дружелюбном смехе на кем-то устроенных первобытных качелях — но это будет уже позднее, летом 1881 года, хотя хронология тут не так уж важна: все пять посещений Тургеневым Ясной Поляны слились в памяти Толстых в одно увлекательное праздничное представление.

В первое посещение Тургенев прочитал в один из вечеров рассказ «Собака», далеко не самое удачное свое произведение. Прочитал выразительно, живо и просто, не произведя, однако, ни на кого впечатления, в том числе и на Льва Николаевича, с которого присутствующие по привычке не сводили глаз. От критики воздержались — не хотелось обижать обаятельного гостя, да и правила гостеприимства того требовали. Подмечали, конечно, Толстые многое — все они были

наделены незаурядным даром наблюдения и анализа. Татьяна Львовна так передает свои общие впечатления о встрече писателей: «Между отцом и Тургеневым возобновились самые дружеские и даже нежные отношения, но ни о чем серьезном они не говорили, как будто стараясь касаться только тех предметов, на которых не могло произойти между ними разногласий». Сергею Львовичу показалось, что Толстой относился к Тургеневу «сдержанно, любезно и слегка почтительно, а Тургенев к отцу, несмотря на свою экспансивность, немножко осторожно». Чувствуется определенная настороженность и взаимная деликатность — примирение только состоялось, и писателями делалось всё возможное, чтобы его невзначай неловким словом или жестом не нарушить. Разумеется, между ними было много разных разговоров наедине в доме и на прогулках, должно быть, вполне мирных, но о сюжетах разговоров оба умолчали.

Уезжал Тургенев в самом благодушном состоянии духа, довольный и Толстым, и его домочадцами. Софье Андреевне сказал, прощаясь, что ему было здесь очень приятно, а Толстому, что тот прекрасно сделал, женившись на ней. Должно быть, Толстой внутренне улыбнулся, услышав столь странный комплимент. Пообещал осенью снова завернуть в Ясную Поляну ненадолго и сдержал слово. Они и на этот раз много беседовали, не всегда, правда, столь же миролюбиво. Однажды Толстой и Тургенев опаздывали на обед и Софья Андреевна отправилась их поискать в лесу, где и застала в самом разгаре какого-то бурного разговора: «Стоит мощная фигура Ивана Сергеевича, который, жестикулируя, весь красный, что-то оспаривает, а Лев Николаевич, также разгоряченный, ему что-то доказывает. К сожалению, это „что-то“ я не слыхала».

Жаль, конечно, что не слыхала, но и не так уж это существенно — между современниками существовал обширнейший спектр разногласий, что оба отчетливо понимали и потому-то стремились не доводить дело до бурных разъяснений — годы научили вести себя осторожнее, деликатнее и дипломатичнее, чтобы не нарушить ту таинственную «связь», природы которой не мог разгадать Тургенев («не берусь разобрать все нити, из которых она составлена... Главное то, что она есть»). Толстой точно очертил в письме — своеобразном отчете Фету стратегию сложившихся новых отношений: «Он всё такой же, и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна». А Страхову, очень не любившему Тургенева, он напишет с тонкой и одновременно злой иронией: «Тургенев... был так же мил и блестящ, но — пожалуйста между нами — немножко как фонтан из привозной воды. Всё боишься, что скоро выйдет, и кончено». Страхов «фонтану» обрадовался и выбрал Тургенева в письме

к Толстому, за что тут же получил выговор-упрек: «Зачем вы сердитесь на Тургенева? Он играет в жизнь, и с ним надо играть. И игра его невинная и не неприятная, если в малых дозах».

Толстой не без удовольствия принимал участие в невинной игре, слегка потешаясь над светскими и европейскими манерами Тургенева, таким добродушным и занятым гостем из прошлого, отвергая любые попытки перехода от игры к серьезным темам. Особенно старался избегать разговоров о своих литературных занятиях, к которым нет-нет да возвращался Тургенев, чрезвычайно огорченный новым, религиозным направлением деятельности Толстого, дошедшего до отрицания своих художественных произведений, созданных до переворота. Тургенев упорствовал, пытаясь убедить Толстого вернуться к художественной работе, не зарывать данный ему свыше талант в землю, пусть даже святую. Упорство неизбежно грозило воскрешением черной кошки, чья тень вскоре и появилась.

Тургенев, очевидно, желая порадовать Толстого, сообщил ему о переводах повести «Казаки» на английский язык, пользующейся большим успехом, о готовящемся переводе ее на французский, о том, что известный английский литератор У. Рольстон пишет большую статью о «Войне и мире» и Тургенев ему послал необходимые биографические сведения об авторе. Любому писателю польстило бы такое письмо. Но не Толстому, воспринявшему все эти новости с крайним раздражением, в полной мере вылившимся в ответном письме: «Пожалуйста, не думайте, что я гримасничаю, но ей-богу, перечитывание хоть мельком и упоминание о моих писаниях производит во мне очень неприятное сложное чувство, в котором главная доля есть стыд и страх, что надо мной смеются... мне кажется, что и вы надо мной смеетесь». И тут Толстой присовокупил несколько туманно прозвучавшее нравоучение: «Не могу не желать вам все-таки того же, что и для меня составляет главное счастье жизни, — труда, с уверенностью в его важности и совершенстве».

На нравоучение, которого он не понял, сочтя бредом в духе позднего Гоголя, Тургенев не обратил никакого внимания, не ведая даже, как на такое пожелание можно было откликнуться, а дико для него прозвучавшее предположение, что, сообщая о переводах произведений на главные европейские языки и об интересе европейских критиков к творчеству писателя, он над ним смеялся, побудило даже заподозрить Толстого в возвращении к старым обидам, к собаке, еще в 1860-е годы зарытой. «Но с какой стати смеяться? Я полагал, что Вы от подобных „возвратных“ ощущений давно отделались».

Раздражение рождает ответное раздражение: стоит лишь начать. Толстой жалуется Фету на Тургенева: «И, знаете, решил лучше подальше от него и от греха. Какой-то задира неприятный». Да и что с «игрока» взять. Игрок и есть игрок. Никакие серьезные разговоры с ним невозможны. Какие «Казачи»? Зачем ворошить это «эстетическое» прошлое? Давно было и быльем поросло. И что это за непонятные «возвратные» ощущения? Словом, взаимное непонимание-несовпадение: диалог глухого с немым. Отношений, понятно, не стоит рвать, но надо быть настороже, соблюдать дистанцию и держать черного кота на привязи, пусть это иногда и нелегко сделать.

Отношения и не прерывались. Следующее посещение Тургеневым Ясной Поляны состоялось 6 июня 1881 года, о чем даже нет упоминания в дневнике Толстого и известно о нем из переписки. Толстой собирался в Оптину пустынь и пообещал Тургеневу на обратном пути съездить в Спасское, где он последний раз был почти двадцать лет назад.

И в этот приезд между ними чуть было не пробежала черная кошка. В Ясной Поляне стояла прекрасная погода. Пели птицы, тончайшим знатоком которых был Тургенев, без-, ошибочно отличая голоса овсянок, коноплянок, скворцов. Прилетели и вальдшнепы в большом числе. Решено было отправиться на тягу. Собралась большая группа: помимо Толстого с Тургеневым, Софья Андреевна, Сергей, Илья и Татьяна. Как гостю, Толстой предоставил Тургеневу лучшую полянку, а сам расположился неподалеку. Охота вскоре началась, и успеха первым добился Толстой. «Вот кому счастье, — не без досады сказал Тургенев. — Ему всегда в жизни везло». Наконец счастье улыбнулось и Тургеневу, да как-то криво, издевательски улыбнулось. Упавший камнем после удачного выстрела Тургенева вальдшнеп провалился как сквозь землю. Его усиленно искали все. Искала и опытная охотничья собака. Тщетно. Недоумение повисло в воздухе. Толстой не мог понять, каким образом собака не могла найти вальдшнепа, высказывал предположение, что Тургенев птицу только подранил и она убежала. Тургенев стоял на своем, обиженно повторяя, что он не лжет и вальдшнеп был убит наповал. Они так старательно избегали серьезных разговоров, предпочтя приятные развлечения. И вот тягостная и почти неразрешимая дилемма: кто прав? А за этим вопросом скрывался и другой похуже: кто лжет? Скорее всего, Тургенев. Толстой, как известно, не терпел даже малейшей лжи и дорожил репутацией правдолюбца, хотя и занес сравнительно недавно в дневник народную поговорку: «Не говори правды, не теряй дружбы». Однако следовать этому мудрому совету Толстой не собирался.

Но и торжествовать не хотел — тихо шепнул детям, чтобы те тщательно поутру поискали, мало надеясь на счастливую находку. Тем не менее всё разрешилось благополучно ко всеобщему удовольствию: вальдшнеп был найден в развилине на самой макушке осины. Больше всего радовались за Тургенева, которого успели полюбить все за мягкий, общительный, дружелюбный нрав. И очень не хотелось, чтобы правда целиком оказалась на стороне строгого и нетерпимого к человеческим слабостям, требовательного Толстого. Вальдшнепа торжественно принесли домой. Счастливый конец. Триумф Тургенева и своеобразное предупреждение — примирения так хрупки и от всех требуют постоянной деликатности и осторожности.

История с вальдшнепом рельефно показала и различие характеров великих современников. Ее естественно символический смысл привлек внимание классика японской литературы XX века Рюноскэ Акутагава, создавшего превосходный рассказ «Вальдшнеп», в основу которого легли воспоминания детей Толстого — Ильи и Сергея. Акутагава, в сущности, от себя почти ничего не добавляет и в то же время переосмысляет бесхитростные свидетельства детей в художественное повествование, поляризуя характеры писателей и усиливая конфликт. Мягкий и изящный Тургенев в его рассказе противопоставлен грубоватому Толстому, задиристому, склонному к колкостям (их старается предотвратить Софья Андреевна), насмешливо глядит на «лгущего» Тургенева, в его глазах вызывающий блеск, сумрачен, вечно недоволен, бросает слова со злобной иронией, сидит с угрюмым и отчужденным видом, почти не принимая участия в разговоре, отвечает холодно, лишь бы ответить, ни малейшего признака доброжелательности — раздраженные реплики, недовольное лицо и абсолютная уверенность в своей правоте. Тургенев, устремив печальные глаза на бюст Николеньки, вспоминает, как тот, в отличие от брата, был деликатен и общителен, легок. Невольно всплывают и другие сцены — старый конфликт, взаимные оскорбления и эта ужасная холодная манера упрямого Толстого не признавать за другими никакой искренности, всех подозревать в фальши. Ему не по себе в Ясной Поляне. Предметы в отведенной ему комнате создавали неуютную обстановку, мало располагающую к теплоте, дружескому общению. На всем в доме давящий, сумрачный отпечаток личности хозяина, властного и сурового. Чем дальше, тем больше на душе Тургенева становилось тяжелее. Ему уже совсем невмоготу. Кажется, неумолимо приближается печальная развязка — вновь полный разрыв отношений и окончательный отъезд, омраченный обидой и чувством горечи: нелепое и ужасное прощание перед близкой вечной

разлукой, смерть в душе, как говорят эти легкомысленные французы. К счастью, всё вдруг, если воспользоваться любимым словечком Достоевского, устроилось, или, по Толстому, образовалось. И словно по волшебству разительные перемены произошли в облике угрюмого, хмурого и молчаливого хозяина, на лице которого появилась ясная улыбка. Он протягивает Тургеневу свою сильную руку и произносит те слова, которые так уместны в устах неумолимого к другим и себе правдолюбца: «Теперь и я могу успокоиться. Я не такой человек, чтобы лгать. Если бы эта птица упала, Дора непременно б ее нашла». Великая радость заливает душу автора «Отцов и детей», с ликованием повторяющего еще давеча с обидой и раздражением произнесенное: «И я не такой человек, чтобы лгать. Смотрите — разве я его не убил? Ведь когда раздался выстрел, он тут же камнем упал». Тучу пронесло. Призрак старой черной кошки исчез. Нашелся ведь не вальдшнеп, а автор «Анны Карениной». «Старики писатели переглянулись и, как будто сговорившись, расхохотались».

Тонким пером написанная литературная «фантазия» японского писателя на тему одного странного эпизода, случившегося во время совместной охоты Толстого и Тургенева в окрестностях Ясной Поляны. Отдавая должное психологическому дару Акутагавы, всё же нельзя не сказать, что его Толстой сумрачней и суровей Толстого, известного по свидетельствам большинства современников, равно и по дневникам самого писателя. Упущена одна немаловажная «деталь»: любовное отношение Толстого к Тургеневу, так ярко выразившееся в трудные и траурные дни. Это, конечно, Толстой глазами автора «Зубчатых колес», пронзительным взором откуда-то с небес разглядывающий его, жителя страны вечных землетрясений, и голосом пророка возвещающий: «Мне отмщение, и Аз воздам».

Обещание посетить Спасское Толстой сдержал. В Спасском Толстой провел два дня, встретив там и старого приятеля, поэта Якова Полонского. По воспоминаниям последнего, Толстой увлекательно рассказывал о пустыни и оптинских пустынниках, сектантах «воздыханцах», преследуемых правительством, запомнившейся ему сектантской «богородице», оказавшейся грациозной и поэтической девушкой, с горечью о доле русского крестьянства.

Не очень проницательному наблюдателю Полонскому показались разительными перемены в нравственном облике Толстого, который стал мягче, внимательнее, добрее и... уступчивее. Переродился и опростился донельзя. Исчез куда-то и прежний задира Толстой, неумный спорщик. «Граф никому из нас не навязывал свой образ жизни и спокойно

выслушивал возражения Ивана Сергеевича». Ясно, что Толстой дал зарок не возражать Тургеневу и держаться на чужой территории по возможности невозмутимо. Но мнение о Тургеневе и Полонском у него сложилось определенное и весьма жесткое, согласное с новыми убеждениями: «... милый Полонский, спокойно занятый живописью и писанием, не осуждающий и — бедный — спокойный. Тургенев — боится имени Бога, а признает его. Но тоже наивно спокойный, в роскоши и праздности жизни». Как будто эти милые, талантливые и многим ему дорогие люди живут на другой и благополучной планете, а не на той, где обитают «герои» трактата «Так что же нам делать?».

Последняя встреча писателей состоялась в августе того же года. 22 августа, в день рождения Софьи Андреевны, в Ясной Поляне собралось много гостей. Среди них — брат Толстого Сергей Николаевич и князь Сергей Дмитриевич Урусов, тогда увлекавшийся религиозными сочинениями Толстого, в частности, исследованием Евангелия, и делившийся своими соображениями со старым знакомым. Князь нападал на Тургенева, пытаясь и того вовлечь в разговор, тема которого мало интересовала писателя. Князь горячился, отстаивал правоту Толстого, сильно жестикулировал, и даже свалившись со стула, продолжал на полу говорить с вытянутой вперед ладонью и грозяще приподнятым указательным пальцем. Тургенев рассмеялся громко, назвав назойливого пропагандиста Трубецким. Рассмеялись и почти все собравшиеся. Кроме Урусова и Толстого, все время молчавшего, как в рассказе Акутагавы, лишь слегка и явно из вежливости улыбнувшегося — веселящийся и легкомысленный Тургенев ему положительно был неприятен.

Позднее за столом, где оказалось тринадцать человек — число зловещее, — зашел разговор о страхе смерти. Тургенев считал это чувство естественно присущим человеку, откровенно признавшись, что боится смерти. Толстой и Урусов возражали, напоирая на то, что к этому главному событию жизни надо готовиться. Тургенев предложил тем, кто смерти боится, поднять руку. Никто не поднял, и возникла неловкая ситуация. Тогда — и несомненно вновь из вежливости — руку поднял Толстой. Ему было жалко видеть этого хорошего, гуманного, умного человека боящимся смерти. Но промолчал, памятуя о прежних стычках и своих горячих выходах.

Тургенев, как обычно, много говорил о литературе: Флобере, Мопассане, других известных и популярных тогда французских писателях, о Достоевском (недоброжелательно, но тонко и остроумно), Шекспире, не в первый раз пытаясь убедить Толстого в его величии. Толстой молчал, не

желая спорить.

Демонстрировал Тургенев и всякие новые французские штучки. Рассказывал о лекции по порнографии в Париже, сопровождавшейся опытами с живыми людьми, на которой он из любопытства присутствовал. О реакции Толстого можно только догадываться. Вступился Тургенев и за канкан, пояснив, что в старом грациозном канкане не было ничего непристойного. Пригласив двенадцатилетнюю Машу Кузминскую, Тургенев, «заложив пальцы за проймы жилета, по всем правилам искусства, мягко отплясал старинный канкан с приседаниями и выпрямлением ног». Упал, тут же вскочив с легкостью молодого человека под всеобщий смех, скрывающий растерянность не привыкшей к таким европейским шалостям, воспитанной в патриархальном духе яснополянской публики; Сергей Львович вспоминает, что было как будто немножко совестно за Тургенева. Толстой не смеялся. Занес в дневник как в некотором роде заметное событие: «Тургенев сапсан. Грустно». Вскоре Тургенев уедет из России — умирать на родину канкана.

Весной следующего года слухи об очень серьезной болезни Тургенева достигли Ясной Поляны, осветив особым светом еще недавно там прозвучавшие слова о смерти и страхе перед ней, присущей людям. Толстой чувствовал, что хотя их последние свидания были вполне мирными, но в них отсутствовала сердечность и — напротив — присутствовала недоговоренность. Какая-то неустранимая перегородка, какой-то иронический привкус, нечто осуждающее и холодно оценивающее, дипломатически укрывшееся молчанием. Конечно, тогда можно было еще уповать на будущие встречи — оживленный, пляшущий канкан Тургенев менее всего производил впечатление обреченного человека. Теперь, похоже, о новых приездах Тургенева в Ясную нечего было и мечтать. Огорченный, крайне встревоженный Толстой пишет Тургеневу теплое, необыкновенно сердечное письмо, объяснясь наконец-то ему в любви: «Я почувствовал, как я вас люблю. Я почувствовал, что если вы умрете прежде меня, мне будет очень больно. В первую минуту, когда я поверил — надеюсь, напрасно, — что вы опасно больны, мне даже пришло в голову ехать в Париж, чтоб повидаться с вами. Напишите или велите написать мне определительно и подробно о вашей болезни... Обнимаю вас, старый, милый и очень дорогой мне человек и друг».

Тургенева взволновало и тронуло письмо Толстого, занявшее совершенно особое место в их многосюжетной и пестрой переписке. Отвечая Толстому, он воспользовался удобным случаем и — далеко уже не в первый раз — призвал его вернуться к художественной работе, на что

Толстой вежливо и мягко отвечал, что гораздо важнее научиться жить «как следует». Тургенева это не убедило и не успокоило. В последнем своем прощальном письме к Толстому, которое так часто цитируют и поминают в литературе, как о Толстом, так и о Тургеневе, он повторяет свой призыв, на этот раз уже не призыв даже, а предсмертную просьбу: «Долго Вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу — и думать об этом нечего. Пишу же я Вам собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником, — и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда всё другое. — Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует!! <...> Друг мой, великий писатель Русской земли — внимайте моей просьбе! Дайте мне знать, если Вы получите эту бумажку... не могу больше, устал».

Недоумевают, почему Толстой не ответил на это с большим трудом собственноручно начертанное, по его же словам, «очень доброе письмо». А ему нечего было ответить, кроме того, о чем приходилось уже неоднократно говорить и писать. Можно было, конечно, пожалеть, что и на смертном одре Тургенев продолжал думать о таких пустяках, как литературное «писание», но подобное выглядело бы как странный и возмутительный жестокий поступок. А тут еще эти несносные цветы красноречия — великий писатель русской земли. Они (чаще в инверсионной форме — великий писатель земли русской) поистине будут преследовать Толстого, заставляя недовольно морщиться, насмешливо вопрошать окружающих: «Что же это такое „русская земля“? Почему великий писатель земли русской? Почему не воды?» Возмущаться в дневнике по поводу поздравлений с днем рождения: «Поздравления прямо тяжелы и неприятны — неискренно *земли русской* и всякая глупость». Риторические формулы, сказанные на одре, особенно живучи и опасны.

Тургенев умер 22 августа 1883 года, ровно два года спустя после последней своей поездки в Ясную Поляну. Неожиданностью смерть ни для кого не стала. Она уже давно являлась больному, мучительно страдавшему писателю в разных обликах — маленькой, сгорбленной старухи с желтым, морщинистым, востроносым, беззубым лицом, в серых лохмотьях, идущей за ним повсюду легкими, мерными, словно крадущимися шагами; высокой, тихой, белой женщины, глубокие бледные глаза которой никуда не смотрят, а бледные строгие губы ничего не говорят; символической неподвижной фигуры возле кровати — в одной руке песочные часы, другая — занесена над сердцем; даже «кафкианским» чудовищным насекомым с ярко-

красными, точно кровавыми, растопыренными мохнатыми лапками и крупной угловатой головой.

Всё чаще слышался непрерывный слабый шелест утекающей жизни. И вот он прекратился, поглощенный грозным мраком, вечной темнотой, унесенный черной, как чернила, волной. Толстому, безусловно, были памятливы все эти (и другие) образы и видения смерти в ценимых им «Стихотворениях в прозе». Не мог не вспоминать и недавних рассказов Тургенева, признававшегося, что боится смерти столь сильно, что не ездит в Россию, прослышав, что там холера, и странного, какого-то надрывного «голосования» за столом в Ясной Поляне, в котором он и сам неохотно принял участие, осуждая слабого гостя. Теперь же он испытывал смешанное чувство любви и жалости к человеку, с которым так много и интимно его связывало. Много думает о Тургеневе. Много и продолжительное время днями и ночами читает, восхищаясь, его произведения. Соглашается — случай совершенно исключительный — выступить на специальном торжественном заседании Общества любителей русской словесности, посвященном памяти Тургенева.

Слух о выступлении Толстого взволновал Москву. Ожидалось большое стечение публики («страшная толпа»), что не могло не вызвать беспокойства властей, всегда готовых принять необходимые меры предосторожности на всякий случай. «Полоумный» Толстой давно уже раздражал своими трактатами и статьями, а тут еще предстояло его публичное выступление. Сложилась деликатная ситуация, из которой власти нашли поразительно неуклюжий выход: сначала возникла мысль о предоставлении ораторами текстов выступлений, на что Толстой никогда бы не согласился, а потом потребовали объявить заседание отложенным на неопределенное время, так как якобы не все подготовились к выступлениям.

Трудно было придумать что-либо глупее. Софья Андреевна, хорошо информированная и как всегда в особые и чрезвычайные минуты энергично поддерживающая мужа, ярко передает в письме к сестре реакцию в обществе и позицию Толстого: «Чтение в память Тургенева запретили из вашего противного Петербурга. Говорят, что это министр Толстой <„братец Дмитрий Андреевич“> запретил; ну, да что от него может быть, как не бестактные, неловкие выходки... чтение должно было быть самое невинное, самое мирное; никто не только не думал о том, чтобы выстрелить какой-нибудь либеральной выходкой, — но даже все страшно удивились, что же могло быть сказано? Где могла бы быть противоправительственная опасность? Теперь, конечно, всё могут

предположить... Левочка говорил, что ему писать некогда, но что он будет говорить и то, что он хотел сказать, так же невинно, как сказка о Красной Шапочке... Озлоблены все, все без исключения, кроме Левочки, который, кажется, даже рад, что избавлен явиться к публике: это ему так неприятно».

Судя по всему, Толстой желал выступить со свободной импровизацией, вспомнить и рассказать всем о том хорошем, что было в Тургеневе, что он особенно любил в нем — человеке и художнике. Излагать свои новые взгляды, произносить что-либо антиправительственное или антицерковное абсолютно не входило в его замыслы — то было бы нарушением жанра и бестактностью. А запрету он действительно немного и обрадовался — очень уж не любил общественных акций-заседаний-демонстраций, терпеть не мог являться в публике, да еще и оратором.

Но всем любителям российской словесности было жаль, что выступление Толстого не состоялось. Не сохранилось и набросков речи — Толстой ведь желал говорить, а не писать. До известной степени, правда, о содержании несостоявшейся речи можно судить по письму Толстого к Пыпину (январь 1884 года); ему Толстой по его просьбе выслал письмо Тургенева и не удержался сказать то, что он думает о Тургеневе, которого всегда любил, но по-настоящему оценил после смерти. В письме, конечно, эмоции уже приведены в порядок, несколько остужены, сюжеты и отличительные качества Тургенева-художника, так сказать, «пронумерованы». Но основная мысль задуманной лекции здесь, похоже, обозначена рельефно: «Тургенев прекрасный человек (не очень глубокий, очень слабый, но добрый, хороший человек), который хорошо говорит всегда то, самое то, что думает и чувствует... воздействие Тургенева на нашу литературу было самое хорошее и плодотворное. Он жил, искал и в произведениях своих высказывал то, что он нашел — всё, что нашел. Он не употреблял свой талант... на то, чтобы скрывать свою душу, как это делали и делают, а на то, чтобы всю ее выворотить наружу».

*

Что же касается настоятельных просьб Тургенева и других вернуться к художественной работе, дружно звучащего хора оплакивающих сбившегося с пути романиста, забросившего свое ремесло и занявшегося сочинением религиозных и социальных трактатов, неожиданно зарывшего данный ему свыше талант в землю (среди расстроенных этой «религиозной» бедой была и Софья Андреевна), то Толстой с полным основанием расценивал все

эти советы и сожаления как бесцеремонные и возмутительные. Фактически от него хотели бесконечных повторений уже полюбившегося читательской публике, не признававшей за ним права на исповедь, на отречение от прежнего, на изменение той роли, к которой привыкли, к тому положению, которое всех устраивало, — поэта и историка семейства определенного круга, со свойственными ему, по выражению Достоевского, «законченными формами чести и долга». Раздражение Толстого понятно и законно. На попытку Петра Боборыкина коснуться этого опасного сюжета Толстой ответил резко, прибегнув к рискованному, но весьма образному сравнению: «Знаете, это мне напоминает вот что: какой-нибудь состарившейся француженке ее бывшие обожатели повторяют: „Как вы восхитительно пели шансонетки и придерживали юбочки!“»

Толстой, разумеется, употребил другое выражение — «французской бляди», которое не решился воспроизвести Боборыкин — он, как известно, особенно по воспоминаниям Максима Горького, любил прибегать к крепкому словцу. Но Тургеневу в таком духе Толстой ответить не мог, хотя, видимо, всякие слова рождались и тут же замирали при виде отплясывающего канкан европейского гостя.

Толстой, разумеется, и не собирался «оставлять писанье», вот только «художественная» работа не должна была больше быть доминирующей и ее необходимо было теснее согласовать с новыми убеждениями, с новым религиозным мирозерцанием, согласовать не формально, ибо это убило бы художественность, превратило художественные тексты в ряд картинок-иллюстраций, а органично, в соответствии со структурой и жанром произведения, с теми или иными выбранными (точнее, постепенно создававшимися, самообразовавшимися) типами повествования. Художественное будет восприниматься Толстым после переворота нередко как соблазн, баловство, слабость, отклонение от главного дела, что даже по существу неверно: повести и рассказы, пьесы и роман «Воскресение» не противоречат и не противостоят трактатам и статьям. Это всё разные грани одного и цельного организма — нелепо выискивать искусственно «кричащие противоречия», противопоставлять мыслителя художнику, хотя и нельзя всё же не сказать со всей определенностью, что именно в художественной сфере Толстой чувствовал себя свободней всего, раскованнее и вольготней — родная стихия, где можно было многое себе позволить, пребывание в которой доставляло наивысшее наслаждение. Отказаться от природного дара не только неразумно, но и невозможно. Он вполне мог ответить Тургеневу так, как ответил одному современнику: «Если умеешь писать, нельзя не писать, так же как если умеешь говорить,

то нельзя не говорить». Толстому, видимо, странно было, что такой умный человек, каким в его глазах был Тургенев, не понимал таких самоочевидных истин.

Тургеневу он, собственно, ответил — художественной работой, которая никогда не прекращалась, шла подспудно и неустанно. Соответственно не прекращались и поиски новых художественных форм, нового стиля, отчетливо выразившегося не только в народных рассказах, но и в таких шедеврах для «интеллигентного читателя», созданных в основном или всецело именно в 1880-е годы, как «Холстомер», «Смерть Ивана Ильича», «Записки сумасшедшего», «Крейцера соната», «Дьявол», «Власть тьмы» наряду с «Исповедью», «В чем моя вера?», трактатом «Так что же нам делать?».

Замысел «Холстомера» Тургеневу был известен еще с середины 1850-х годов. Литератор-народник Кривенко приводит рассказ Тургенева об одной деревенской прогулке с Толстым: «Однажды мы виделись с ним летом в деревне и гуляли вечером по выгону, недалеко от усадьбы. Смотрим, стоит на выгоне старая лошадь самого жалкого и измученного вида... Подошли мы к ней, к этому несчастному мерину, и вот Толстой стал его гладить и, между прочим, приговаривать, что тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать. Я положительно заслушался. Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: „Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью. Да, вот извольте-ка изобразить внутреннее состояние лошади“».

Таков самый ранний и еще весьма неопределенный контур рассказа, к которому Толстой вернется позже, когда приблизительно в 1860 году известный коннозаводчик Александр Александрович Стахович рассказал ему сюжет повести своего брата Михаила «Похождения пегого мерина», специализирующегося на «лошадиных» сюжетах (автор пьес «Ночное» и «Наездники»), который и был частично использован писателем. Стахович погиб в 1863 году; рассказ Толстого посвящен его памяти. Тогда же была создана и первая, оставшаяся незавершенной редакция рассказа или «песни», как сначала хотел обозначить жанр произведения и подчеркнуть его поэтическую тональность Толстой.

Вернулся он к рассказу после продолжительного временного промежутка осенью 1885 года, вняв просьбе жены, принимавшей энергичное участие в издании сочинений Толстого и в высшей степени заинтересованной в новых рассказах и повестях для «интеллигентной публики». Толстой перечитал некогда брошенный рассказ: чем-то

умилился, кое-что вызвало его недовольство. Так, Толстому показалось «ужасно смешно, как мерин говорит, что он в первый раз узнал, что у людей слезы соленые. Я сам-то забыл — писал уж давно, лет двадцать пять назад, — и показалось ужасно смешно». Вспомнил и как он хотел завершить необыкновенно, легко написанный, но неотделанный рассказ: «В голове у меня, сколько помню, была ужасно ясная, живая картина смерти мерина, очень она меня трогала! Но параллель мне кажется немного искусственной».

И Толстой принялся доделывать рассказ. Как обычно, ему понадобились разнообразные сведения из жизни лошадей, а также конюхов и тех, кому они принадлежали. Он попросил М. А. Стаховича, с которым в апреле 1886 года совершил паломничество в Оптину пустынь, оказать ему необходимую помощь, присовокупив: «Напишите вашему отцу, что я мечтаю съездить к нему в Пальну — затеряться в его табунах». Александр Стахович сообщил необходимые сведения о родословной мерина, Хреновском конном заводе, о наиболее знаменитых рысаках. Толстой с благодарностью и с пользой для дела ими воспользовался, уточнив цвет лошади, изменив ее имя и — соответственно название рассказа — с Хлыстомера (неизбежно ассоциировалось с хлыстом) на Холстомер (шагает, словно холсты меряет) — перемены не частные, а весьма существенные.

Пожалуй, давно Толстой не работал с таким упоением. «Мой сын, — вспоминал Александр Стахович, — рассказывал мне, как при нем, заканчивая и отделявая повесть, Лев Николаевич говорил, что после тяжелого труда многолетних писаний философских статей, начав писать литературную вещь, он легко и вольно чувствует себя и, точно купаясь в реке, размашисто плавает в свободном потоке своей фантазии».

Толстому не удалось буквально осуществить мечту — затеряться в табунах лошадей. Он это виртуозно осуществил литературно, в некотором роде виртуально, перевоплотившись в Холстомера и других лошадей табуна, каждая из которых предстала, можно сказать, со своим «лицом», характером, индивидуальными особенностями: старая, степенно выступающая кобыла Жулдыба, молодая, первый раз ожеребившаяся вороная Мушка, первая красавица и затейщица, шалунья бурая кобылка, многозначнее ржанье которой, взволновавшее чалую кобылку, «забывшую свою должность», Толстой переводит на человеческий язык («...и я молода, и хороша, и сильна... а мне не дано было до сей поры испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видал меня»), самая старая кобыла Вязопуриха,

когда-то бывшая первой любовью мерина, очень глупая двухлетняя лысая кобылка, беспородистая, не знающая ни отца, ни матери, во всем пересаливавшая и так больно обидевшая Холстомера, спровоцировавшая неотвязчивую и жестокую молодежь, холостая караковая Ласточка с атласной, гладкой и блестящей шерстью, две жеребые кобылы, медленно передвигающие ноги, всеми уважаемые и оберегаемые. Стригунки, годовалые кобылки, еще и хвоста не имеющие, но потешно подражающие взрослым, старшие и молодые сосунки, даже совсем маленький — «черный, головастый, с удивленно торчащей между ушами челкой и хвостиком, свернутым еще на ту сторону, на которую он был загнут в брюхе матери...».

Положительно можно заподозрить, что автор «Холстомера» был в одном из своих предыдущих существований-воплощений лошадью, и притом лошадью, долгое время усиленно изучавшей-познававшей мир, природу, человеческие повадки, лошадью философствующей, явно знакомой с сочинениями Руссо и Свифта. История лошади не отделена, а, скорее, слита с человеческой. Везде господствует один и тот же всеобщий закон силы, — эгоистичной, не знающей жалости молодой, бурлящей, играющей, любующейся собой силой, закон, с особенной ясностью и правдивостью проявляющийся в не знающем лицемерия и риторического камуфляжа табуне, где нормы поведения и нравы достаточно жестко отрегулированы природой, о чем прекрасно осведомлен старый и мудрый мерин, научившийся смиряться и прощать: «Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить... по-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было всё впереди, те, у которых от ненужного напряжения дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху». «По-лошадиному» здесь синонимично «по-людски».

Человеческие слова открываются и постигаются именно лошадью, вынужденной жить, как *собственность*, по чужим «понятиям», которые мерин после долгих размышлений резко осуждает, понятно, совпадая с критикой Толстого. Отвергается сам ложный принцип человеческой жизни-игры, когда ценность имеют не дела, а слова, маскирующие неприглядную сущность истинных намерений, оправдывающие «низкий и животный людской инстинкт, называемый... чувством или правом собственности».

Но Холстомер участвует в этой человеческой игре, и нельзя сказать, что участвует с неохотой. Философские размышления придут после долгих наблюдений над людьми и лошадьми, как итог и послесловие к бурной

праздничной жизни, где он гармонично дополнял красавца хозяина и красавца кучера в самый счастливый период своей жизни у гусарского офицера. Он вопреки логике, разуму и даже инстинкту самосохранения любил своего хозяина, его любовницу, его кучера, любил за беспечную удаль, за роскошь, за красоту. («Любовница его была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец. И я всех их любил за это».) Красавцем был и сам мерин. Красавцем, наслаждавшимся собственным холеным телом, своей подчиненностью хозяину, своей безоглядной верностью ему, что, кстати, не только не осуждается философствующим мерином позднее, но даже возводится на пьедестал как «наше высокое лошадиное чувство». Чувствуется легкая ирония Толстого, так как это чувство с не меньшим основанием можно было бы назвать и «нашим высоким человеческим», во всяком случае в художественных произведениях Достоевского и Тургенева (а еще раньше в «Герое нашего времени» Лермонтова) оно не исключительное явление. Вот это парадоксальное сочетание казалось бы несовместимых, полярных эмоций в монологе-исповеди «эстетствующего», даже в декаданс впавшего Холстомера:

«Хотя он был причиной моей гибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его и люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я бывало в наши хорошие времена, я тем буду счастливее».

Толстой первоначально собирался разбить повесть не на главы, а на песни, однако отказался от этого намерения, видимо, сочтя это манерным. Между тем первые главы именно песни — музыкальные и страстные, пронизанные поэзией победоносной любви, покоряющей всех («...вон дергач, в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и кукушка и перепел поют любовь. И цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг другу»), всеильной и неуловимой живой жизни. Старый мерин появляется на таком праздничном, ликующем фоне, как какое-то чужое, постороннее, «совсем другое существо», случайно занесенное на молодежный фестиваль. Этакая живая развалина, одиноко стоящая посреди луга, способная вызвать даже чувство брезгливости своим неряшливым видом, разными отвратительными признаками старости. Таким он кажется тем, кто смотрит поверхностно и не способен ничего разглядеть за неприглядной,

увядающей плотью. «Знаток» с обостренным зрением видит старость гадкую и величественную одновременно. Видит редкую породу. И любит старым меринем не в меньшей степени, чем молодыми кобылками, стригунками и сосунками, с изумлением обнаруживая «что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы». Холстомер не портит праздника жизни, а является необходимым и особое место занимающим на нем существом, как одна из неизменных частей музыкально-природного цикла «Времена года».

История лошади неразрывно связана с историей князя Серпуховского, вплоть до конца, когда смерти хозяина и мерина резко противопоставлены. Контрастность была усилена, превратившись в полярность. Толстой был недоволен некоторой искусственностью параллели и сильно переработал финал повести, отчетливее обозначив критические тенденции. Сделал это самым тщательным образом, с присущим писателю мастерством, с акцентированием мотивов, обличающих несправедливую праздную жизнь барина, ни мясо, ни кости, ни кожа которого никуда негодились. Мертвые, хоронящие мертвых, уложили загнившее и пухлое тело в новый хороший гроб, спрятали его и засыпали землею.

Смерть барина изображена скупой и с оттенком отвращения в отличие от длинного, многоактного умерщвления Холстомера и приключений его останков после смерти. На сцене появляются драч — лошадиный палач, бесподобно изображенный несколькими штрихами («Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черном кафтане»), и две чего-то ожидающих именно от мерина собаки, постоянные спутники драча, давно уже занимающиеся шакальным промыслом, — спутники смерти. Казалось бы, страшный и мрачный эпилог истории пегой лошади. Но он не является страшным, потому что Холстомер с удивительной доверчивостью не понимает, что его непременно ждет, полагает, что драч и Васька собираются не убивать, а лечить, а, умирая, чувствует только большое облегчение, удивление и своеобразное обновление. Смерть приходит как спасительница. Даже прощальное доброе слово прозвучало: «Тоже лошадь была, — сказал Васька».

Слова Васьки перекликаются со странно и пронзительно прозвучавшими словами седого старика Чекунова над трупом арестанта Михайлова в одной, особенно любимой Толстым сцене в книге Достоевского «Записки из Мертвого дома»:

— Тоже ведь мать была! — и отошел прочь.

Но далее, оттесняя сентиментальный мотив, в повести Толстого возникает сухая реплика драча, оценивающего труп лошади с сугубо профессиональной точки зрения: «Кабы посытее, хороша бы кожа была...» Реплика обозначает слишком реальный переход к описанию пиршества сначала собак, воронья и коршунов, а затем волчьей стаи. И, наконец, последний акт: череп и два оставшихся мослака лошади уносит мужик, для того чтобы пустить их в дело.

Параллель стала ярче, контрастнее, не уничтожив тем не менее впечатления некоторой искусственности и тенденциозности. Явственнее проступили новые черты поэтики позднего Толстого, гораздо чаще, чем ранее, прибегающего к указующему персту.

Для двенадцатого тома сочинений Толстой завершил и повесть «Смерть Ивана Ильича», начатую еще в 1881 году и тогда фигурировавшую под названием «Смерть судьи». Прототипом героя повести послужил умерший в ноябре 1881 года член Тульского окружного суда Иван Ильич Мечников, брат знаменитого биолога, что имеет прямое подтверждение, сделанное писателем в беседе с журналистом, упомянувшим о встрече с Ильей Ильичом в Ясной Поляне: «В разговоре мы вспомнили, что я знал его брата Ивана Ильича — даже моя повесть „Смерть Ивана Ильича“ имеет некоторое отношение к покойному, очень милому человеку...» Татьяна Андреевна Кузминская дополнительно уточняет, что она сообщила Толстому какие-то предсмертные мысли о бесплодности прожитой жизни Мечникова, которые ей поведала вдова — не очень понятно, впрочем, чем эти сведения предельно общего характера могли понадобиться Толстому. Существенно, что другой брат Ивана Ильича Мечникова, ученый и революционер Лев Ильич, в герое повести особенного сходства со своим близким родственником не обнаружил и осудил религиозную мысль произведения: «Иван Ильич был действительно карьерист, а я карьеристов не люблю; но насколько его психический регистр был богаче того, которым наделил Толстой своего героя!.. Вот что значит просветление, думалось мне, если даже такому художнику, как Толстой, понадобилось душу опошляемого им героя обратить в квадрат плохо вычищенного паркета». Что ж, прототип и есть прототип, ему и положено отличаться от героя, и очень часто сильно.

Сохранилось тогда же написанное начало произведения, сразу же довольно прямолинейно обозначающее тенденцию автора, предваряющего своим словом записки умершего знакомого: «Нельзя и нельзя и нельзя так жить, как я жил, как я еще живу и как мы все живем. Я понял это вследствие смерти моего знакомого Ивана Ильича и записок, которые он

оставил. Опишу то, как я узнал о его смерти и как я до его смерти и прочтения его записок смотрел на жизнь». Главным образом занятый продолжающимися работами над большими публицистическими произведениями, Толстой обращался к повести лишь время от времени, урывками, отдыхая от трактатов на художественной работе. Несколько интенсивнее занимался ею в 1882 году, когда и была создана первая редакция, оборвавшаяся падением героя с лестницы, началом смертельной болезни. Критические тенденции упрочились — постепенно расширялась и сфера критики, но еще лишь намеком, приблизительно, без подноготной, одновременно очень личной и всеобщей, самой простой и обыкновенной, и потому-то «самой ужасной» истории Ивана Ильича.

В первой редакции подробнее, чем главный герой, очерчены его сослуживцы и члены его семьи — и записки явно заслоняют внутренний монолог, представляя собой литературную обработку мыслей и чувств Ивана Ильича. Толстой откажется от этой сковывающей формы повествования, сделает упор на постепенно, спонтанно разворачивающемся внутреннем монологе героя, потоке сознания, пробивающемся сквозь боль, злобу и отвращение ко всем и ко всему, к последней правде, к свету. Но такая повествовательная революция будет с блеском осуществлена в 1885 и 1886 годах, когда, по выражению Толстого, он «начал... кончать и продолжать смерть Ивана Ильича». При этом он указывал, повесть будет в таком же роде, как и «Холстомер», что говорит главным образом о преобладании художественного начала в обоих произведениях.

Толстой по распространенному в XIX веке обычаю читал отрывки из повести в узком кругу родственных и близких лиц. Софья Андреевна нашла, что «мрачно немножко, но очень хорошо». Другие слушали с благоговением, восхищаясь всем, что, похоже, вызывало у автора чувство досады; он менее всего нуждался в похвалах и одобрении. Приходилось по собственному разумению править текст, руководствуясь художественным инстинктом, правка продолжалась и в корректурах, порой весьма значительная. Текст обрастал новыми деталями, очень существенными и живыми, конкретными — пульсирующая ткань волной набегających, эмоционально окрашенных мыслей. Необыкновенно важная десятая глава вообще была написана в корректуре.

Преодолевались сухость и схематичность, чересчур обнаженная тенденциозность. Выдвигалось «я» героя, его индивидуальное начало, бунтующее против обобщающих силлогизмов, загонявших в человеческое стадо, усреднявших, включавших в интегрированные формулы, лишавших

«лица», отменявших неповторимость и право на каприз, отделение, обособление.

Силлогизм «Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен», появившийся уже в самых ранних набросках шестой главы, как справедливый в отношении Кая и других, но только не к Ивану Ильичу, — мостик к переходу от давящей действительности к отрадным детским воспоминаниям. Первоначально переход был пунктирно намечен, дан в самой общей форме, с минимумом конкретных деталей, сухо вато: «Он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо, он был Ваня, с мам~~а~~ и пап~~а~~, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, восторгами, горестями детства, юности, молодости». Позднее на полях рукописи и корректур появится множество уточнений и дополнений, «прустовских», так сказать, деталей, наполняющих плотским, конкретным содержанием этот глубоко личный мотив, отделяющий Ивана Ильича, как живое и бессмертное существо, от замороженного и усредненного смертного и давно умершего Кая из учебника: запах кожаного полосками мячика, который так любил мальчик Ваня, целовавший в детстве руку матери и вслушивавшийся в шуршание складок ее платья, а потом, уже студентом бунтовавший за пирожки в Правоведении, влюблявшийся так, как никогда не мог влюбиться этот скучный, кажется, для умирания сотворенный автором учебника логики Кай, и он, с незаурядным мастерством управлявший по окончании курса судебным заседанием. Это его жизнь, Дорогие ему, личные воспоминания. Ничего подобного с Каем не случилось и не могло случиться: он «точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно».

Кай умер правильно, выражаясь тавтологически, то есть обучая других правилам логики. Его смерть полезна, педагогически необходима, «виртуальна». Он умер, не умирая, не страдая, не испытывая боли и ужаса. Умер вдруг в процессе учебных занятий, и остался жив, так как учебный процесс бесконечен и о смерти Кая будут узнавать новые и новые поколения. Ивану Ильичу не до логики и разумных рассуждений. Это именно он умирает и ничто не может умирание остановить. Умирает, страдая, умирает один (Толстой часто цитировал слова Паскаля: «Il faudra mourir seul»), умирает, нестерпимо страдая, постоянно ощущая всем существом, как Она приходит, становится прямо перед ним, смотрит на него и делает свое сосущее дело. «Это не может быть! Не может быть, но есть».

В той самой десятой главе, которую Толстой создал на стадии корректуры, мотив одиночества, тесно связанный с мотивом неповторимой, именно им осязаемой прелести уходящей жизни, его жизни, звучит еще отчетливее, чем в шестой главе. То одиночество, которое испытывает герой, отвернувшись к спинке дивана, среди многолюдного города, среди «многочисленных знакомых и семьи», — особенное, страшное одиночество, «полнее которого не могло быть нигде: ни на дне моря, ни в земле». В бесконечно длящиеся мгновения этого давящего одиночества герой погружается в воспоминания, постепенно, с неизбежностью от недавнего давешнего возвращаясь к детской поре, представавшей необыкновенно конкретно, осязаемо, чувственно: «Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки».

Счастливые, радостные, солнечные воспоминания из удаленного на огромное расстояние детства не утешают: «слишком больно». И Иван Ильич усилием переносит себя в текущее, размышляя о непрочности дорогого сафьяна, которым обит диван, и семейной ссоре из-за него, и этот непрочный сафьян напомнил ему о другом сафьяне: «Но сафьян другой был, и другая ссора, когда мы разорвали портфель у отца и нас наказали, и мама принесла пирожки». Вспоминать о маме и пирожках было особенно больно. Вообще было больно это невольное восстановление отдаленного былого, когда неизмеримо больше было добра в жизни «и больше было и самой жизни».

Толстой с беспрецедентным искусством воспроизводит кажущийся бесконечным, прерывающийся и вновь возобновляющийся поток сознания умирающего человека, различные, переплетающиеся «ходы воспоминаний», один из которых мысль о болезни, стремительно подвигающей его к концу. Больно вспоминать о далеком прошлом, но уж совсем тягостно думать о сегодняшнем — где-то далеко, в начале жизни мерцающая светлая точка по мере приближения к настоящему всё больше темнеет, становится черной. Жуткий, стремительно ускоряющийся полет — «образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой... Жизнь, ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию». И уже остается лишь в оцепенении ждать «страшного падения, толчка и разрушения».

Все тенденции отступают, сломленные неудержимым порывом

художественного ясновидения. Очень понятна реакция читателей-критиков, о которой, смеясь, говорил Льву Николаевичу брат: «Тебя хвалят за то, что ты открыл то, что люди умирают. Точно никто не знал этого без тебя». Отказавшись от формы записок умирающего человека, неудобной и искусственной — ведь наступает время, когда уже физически невозможен дневник, не говоря уже о том, что никакой дневник не может передать дробную и прихотливую работу мысли, особенно бурную и непрерывающуюся в периоды вынужденного «безделья», Толстой воспользовался правом художника-демиурга и развернул со всеми переходами, отступлениями, мельчайшими нюансами процесс медленного умирания, «описывая из него», как несколько косноязычно (но здесь не до соблюдения правильной гладкой речи, тем более неуместно, оскорбительно красноречие), но именно поэтому точно объяснял он в одном письме структуру повести.

Но одновременно Толстой отнюдь не самоустранился. Не покушаясь на свободу самовыражения героя, даже не стремясь упорядочить иррациональный поток мыслей, идущих разными «ходами», предоставляя возможность герою вспомнить такие мгновения жизни, которые случились с ним и только с ним, а не с каким-то иноземным и нелепым Каем, оплакать эту уходящую жизнь в своем страшном одиночестве («Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога»), Толстой подчеркивает обыкновенность, заурядность истории Ивана Ильича Головина. Повесть начинается с послесловия, с газетного извещения о смерти — реакция сослуживцев и родственников. Здесь буквально всё обыденно, как бы ни выглядела парадоксальной и «бесчувственной» эта обыденность. Утверждается, что «самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я». Мертвец же выглядел так, как и положено выглядеть мертвецу; лежал, «как всегда лежат мертвецы... выставляя, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб», и «как у всех мертвецов, лицо его было красивое, гладкое — значительнее, чем оно было у живого». Только одна более или менее индивидуальная черточка — «торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу». Достаточно и этой индивидуальной черточки, чтобы внушить страх товарищу Ивана Ильича Петру Ивановичу: «Он увидел опять этот лоб, нажимавший на губу нос, и ему стало страшно за себя». Правда, лишь на мгновение стало страшно — страх был отогнан, признан данью мрачному настроению, после чего сослуживец покойного оправился и принялся с интересом расспрашивать «о кончине Ивана Ильича, как

будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему».

И страхи Петра Ивановича обычны, они всем в той или иной степени свойственны. Как обычно, их прогоняют, словно назойливых мух. Толстой не обличает и не осуждает: так заведено, так было, так есть и так будет. От обыкновенной смерти повествование естественно переходит к истории жизни героя, которая «была самая простая и обыкновенная и самая ужасная». Ничего исключительного, ничего из ряда вон. Иван Ильич не карьерист, как отец («тайный советник, ненужный член разных ненужных учреждений») и пошедший по его пути старший брат, но и не неудачник, как младший — *enfant terrible* семьи. Он средний сын, во всем умеренный и обыкновенный, комифотный, «умный, живой, приятный и приличный человек». Всему отдал дань — «но всё в известных пределах, которые верно указывало ему его чувство», «больших гадостей» не делал.

Без сучка и задоринки протекала и служба в провинции. Подслуживал, как водится, начальнику и жене начальника. Имел — нельзя же пренебрегать некоторыми потребностями организма — даму. Но всё в допустимых и одобряемых высоко стоящими людьми пределах. Успешно балансировал на разных жизненных дорожках, сохраняя безупречную репутацию. «Всё происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высоко стоящих людей». Понятно, что обыденность, обыкновенность чистой и ненужной жизни и является, по Толстому, самым ужасным во всем этом заведенном, одобренном течении пустой, насквозь лживой жизни. А здесь всё формально и обманчиво, какими бы новыми словами, прогрессивными и либеральными, ни пытались прикрыть старую фальшь. Иван Ильич — того требовали время и идеалы прогресса — становится «новым человеком», судебным следователем. Сфера его власти значительно расширяется, хотя он, конечно, разумно и умеренно ею пользуется — никаких особенных злоупотреблений. Ничего нового в «новом деле», которому так разумно стал служить герой повести, нет. На этот счет Толстой не допускает никаких смягчений; с убийственной иронией разъясняется, что, в сущности, героем только ловко и своевременно был освоен «прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность». Соблюдение формальности — вот неизменный

принцип государственной и особенно судебной деятельности, обеспечивающий торжество произвола и зла. Исключительно живучий принцип, который не смогли подорвать даже гениальные иронические образы и символы Диккенса, Толстого, Кафки, безотказно как всегда действующий.

Ничего выдающегося не было и в женитьбе героя — «мог рассчитывать на более блестящую партию, но и эта была партия хорошая». Как обычно и как у всех — «делал приятно для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным». В ранних черновых редакциях повести жена напоминала исчадие ада, собрание всевозможных недостатков: «гадкая», «самая плохая», «ревнива, скупа, бестолкова». Тем самым она решительно выпадала из господствующего неакцентированного, усредненного тона повествования. «Излишества», разумеется, были удалены. Прасковья Федоровна была самым обыкновенным существом. Жена как жена, как у всех — и вела она свой дом с непрерывной оглядкой на других. А следовательно, Иван Ильич познал вскоре не одни тихие семейные радости, пришлось почувствовать и атмосферу семейного ада, или, скажем мягче, совершить несколько inferнальных прогулок: семейный ад во всем своем безобразии еще будет предметом изображения в «Крейцеровой сонате» — здесь это мотив подчиненный, ослабленный и усредненный: вражда, ссоры, отчуждение друг от друга, компромиссы и примирения, слишком обыкновенные, заурядные истории. Господствуют в этой повести не семейные, а другие, траурные мелодии — реквием Толстого.

Семейные бури герой не устранил, конечно, но, как и всё прочее, неприятное и раздражающее, отодвинул в сторону, выработав удобное и комильфотное отношение к супружеской жизни: «Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал веселой приятности и, если находил их, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный, выгороженный им мир службы и в нем находил приятность».

Постепенно и радости службы-карьеры приелись. Померкли и радости тщеславия, самолюбия. Неизменными оставались радости карточной игры в приличной компании с хорошими игроками, испытывавшими такую же радость, что и он; после игры следовал ужин с традиционным стаканом вина и сон, особенно безмятежный, если ему предшествовал небольшой выигрыш (большой, считает необходимым уточнить Толстой, неприятен,

раздражителен — мешает сложившейся гармонии отношений в славной четверке игроков, — не крикунов, не одержимых, без всякой там «достоевщины»).

Даже попытки героя выделиться, чем-то быть отличным от других, оказываются неудачными, тщетными по каким-то инерционным законам повторением и подражанием. Так, он с энергией занялся новой обстановкой дома, был очень доволен сделанным и ожидал реакции удивления и восхищения, упивался похвалами, расточаемыми комильфотными гостями во время экскурсии по квартире. А удивляться было нечему: «В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга: штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы, темное и блестящее, — всё то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание; но ему всё это казалось чем-то особенным».

Самая обыкновенная «модная» обстановка. Такими же обыкновенными были и обеды, устраиваемые в этой заурядной и подражательной обстановке — обыкновенное времяпрепровождение таких, как и Иван Ильич и Прасковья Федоровна, светских дам и мужчин. Однообразие свойственно и другим сферам деятельности и жизни. Какие-то бесконечные зеркальные отражения. Вот и врачи весьма напоминают судебных чиновников: «Всё было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид». Профессии и занятия разные, а суть одна — ложь, фальшь, обман: не то. Николай Лесков полагал, что «вся обстановка смерти Ивана Ильича представляет собою, конечно, не картину смерти вообще, а она есть только изображение смерти карьерного человека из чиновничьего круга — человека, прошедшего жизнь в лицемерии и в заботах, наиболее чуждых памятованию о смерти». Справедливое заключение: Толстой всегда конкретен, и его забота о точности тех или иных фактов общеизвестна — будь то реальный исторический фон России времен Петра I или Александра I или повадки лошадей, что, однако, вовсе не отменяет и не ослабляет универсального звучания «Войны и мира» и «Холстомера». «Смерть Ивана Ильича» — история жизни и умирания одного судьи пореформенной России, изображенная со всеми характерными деталями того времени. Реалистическая история, в которой реализм описания граничит с ясновидением — мистичен, беременен, так сказать, сюрреализмом. Еще один вариант квадратного ужаса «Записок сумасшедшего».

И это универсальная история во многом благодаря осязаемости конкретных деталей, одновременно очень чувственных и благодаря особой перспективе многозначных, символических, особенным светом освещающих скрытую повседневной суетой истину: «Не то. Всё то, чем ты жил и живешь, — есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть». Ненависть к окружающим тем временем возрастает. Усиливаются и страдания в заключительный период трехдневного барахтанья «в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила». Возрастает отчаяние, и всё больше сгущается мрак, безысходный, крошечный — Иван Ильич испытывает невыносимое мученье, всовываясь в черную дыру и застревая в ней. Но это и кульминация страданий — только окончательно признав, что вся его жизнь была не то, кроме нескольких отдаленных светлых точек в детстве, отказавшись от всяких попыток найти для этой эгоистической и лживой жизни оправдание, Иван Ильич пролезает сквозь черную дыру к свету. Ненависть и злоба отступают, он испытывает чувство жалости и к сыну-гимназисту, целующему его руку, и к жене, с отчаянным выражением смотрящей на него.

Не просто нравственная перемена, а преображение и преодоление страха смерти, самой смерти, наконец, вместо которой был свет. Мгновение радости. Последние слова героя, прозвучавшие в его душе и подслушанные Толстым: «Кончена смерть... Ее нет больше». Но это для него очевидно и для Толстого. Присутствующие же наблюдают агонию, длящуюся два часа. «В груди его kloкотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало kloкотанье и хрипенье». Удивительное сочетание двух измерений, двух времен, двух планов — реального и ирреального (мистического, сверхчувственного). Так Толстой «открывает» тайну перехода из одного существования в другое. И смерть приносит освобождение.

Лесков в статье с экзотическим названием «О куфельном мужике и проч. Заметки по поводу некоторых отзывов о Л. Толстом» отметил перемену в отношении к русской литературе на Западе, особенно ярко выразившуюся в увлечении произведениями Льва Толстого. Присоединяясь к мнению тех, кто считает Толстого «великим и даже величайшим писателем в мире», Лесков далее писал, что, по его мнению, «иностранные критики судят о нашем великом писателе лучше и достойнее, чем критики русские, а из иностранных, кажется, всех полнее, глубже и правильнее понимает и толкует сочинения графа Толстого — виконт Мельхиор де Вогюэ».

Времена, когда Тургенев, неутомимый и блестящий пропагандист

русской литературы в Европе, прививал вкус своих французских и английских коллег к произведениям Толстого, прошли. Теперь уже европейский читатель в авторитетных рекомендациях не нуждался и новые произведения Толстого (не только художественные, но художественные особенно) переводились почти на все европейские языки почти сразу же после публикации их в русских изданиях (в том числе эмигрантских).

Успех повести «Смерть Ивана Ильича» в Европе, и особенно во Франции, был феноменальным. Французский журналист А. Дежарден, придя в восторг от повести Толстого, рассказал содержание ее Мопассану, которого Тургенев незадолго до смерти рекомендовал почитать Толстому. Осторожно рекомендовал, боясь навредить своими советами, так как знал своенравный характер неистового Льва, на всякий случай сказав, что этот талантливый молодой французский писатель его знает и очень ценит. Толстой тогда (в 1881 году) остался равнодушен к «аморальным», хотя действительно талантливо написанным рассказам Мопассана (он уже после смерти Тургенева, прочитав роман «Жизнь» и другие произведения французского писателя, переменит о нем мнение).

Так получилось, что повесть «Смерть Ивана Ильича» стала последней, прочитанной больным писателем перед погружением в бездну безумия. Повесть произвела на Мопассана не просто сильное — страшное впечатление. Подавленный прочитанным, он сказал: «Я вижу, что вся моя деятельность была ни к чему, что все мои десятки томов ничего не стоят». Верный камердинер писателя Франсуа, отчасти подобно «куфельному» (то есть кухонному) мужику Герасиму в повести Толстого, терпеливо сносивший его дикие выходки, вспоминает Мопассана, пытающегося тупым ножом перерезать себе жилы: «Его широко открытые глаза уставились на меня, как бы моля хоть о нескольких словах утешения, надежды». Но Франсуа уже ничем не мог помочь. Света не было. Ничто не могло удержать Мопассана от провала в черную трубу.

Восторги Дежардена, ужас и горькие слова Мопассана понятны: это впечатления людей литературных, искушенных, разбирающихся в тонкостях ремесла писателя. Повесть воспринимается ими как сверхлитература, близкая по духу и стилю библейскому монологу Иова. Сохранилось свидетельство Ромена Роллана о том, с каким глубоким волнением говорили о повести очень далекие от литературы обыкновенные жители французской провинции. Драгоценнейшее свидетельство универсального звучания повести, в которой речь идет не о жизни и умирании обыкновенного русского судьи, а о Смерти. Марк Алданов с полным правом считал повесть «Смерть Ивана Ильича» самым

общечеловеческим произведением всего современного искусства.

Толстой своей повестью не стремился никого напугать. Напротив, изображая с бесстрашием и полным реализмом страдания умирающего человека, в одиночестве и заброшенности пытающегося выяснить, что же в этом мире есть «то», ради чего стоило бы жить, он не оставляет его без света истины, деликатно вклиниваясь в безмолвный диалог с Ней. В сущности, это указание и слово великого утешения, естественно, неопределенное (какая тут может быть определенность?), тихо произнесенное, извлеченное из внутреннего потока мыслей в душе умирающего человека. Это слово можно и не услышать, осмеять как мистический бред. Но иногда оно вдруг поражает и кажется маленькой светлой точкой в, казалось бы, всё окутавшем мраке. Философ Лев Шестов, которого несколько неосмотрительно, но остроумно Лев Толстой сравнил с «модным парикмахером», размышляя в письме к приятелю (был сентябрь 1938 года) о непрерывных ужасах, сотрясающих Россию и Европу уже четверть века, вспомнил (впрочем, он всегда ее помнил и даже наизусть выучил) повесть «Смерть Ивана Ильича»: «Что творилось и творится в России, где люди отданы во власть Сталиных и Ежовых! Миллионы людей, даже десятки миллионов — среди них несчетное количество детей — гибли и гибнут от голода, холода, расстрелов. То же в Китае. И рядом с нами в Испании, а потом в Германии, в Австрии. Действительно, остается только глядеть и холодеть, как Иван Ильич. Но у самого Толстого рассказ кончается неожиданными словами: вместо смерти был свет. Что они значат? Кто уполномочил Толстого сказать такое? Может быть, это странно, но когда я читаю в газетах о том, что происходит, моя мысль как-то сама собой направляется от ужасов бытия куда-то к иному существованию».

Перенесенный волею судьбы во Францию, стремительно приближающуюся к катастрофе, Лев Шестов обращается к повести Толстого и находит в ней не утешение, а нечто большее — свет спасения, избавление от ужасов, которое когда-нибудь да обязательно придет, — была бы вера, превращающая эти ужасы в призраки. «Разве все эти Сталины, Муссолини, Гитлеры вечны? И разве их „победы“ не призрачны? Чем больше они торжествуют, тем более явно обнаруживается (в иной перспективе) их ничтожность. И ведь в сущности ужасы жизни не с 1914 года пошли, всегда были. И были всегда люди, которые хотя ничего не „делали“, но умели и хотели думать. И к ним — к пророкам и апостолам, еще неудержимее теперь рвется душа, чем когда-либо. Они умели глядеть на самые страшные ужасы — и не терять веру в Бога». Толстого — автора «Смерти Ивана Ильича» и «Записок сумасшедшего» Шестов несомненно

относил к пророкам и апостолам.

Письмо Шестова — поздний отклик на повесть Толстого, не критический, а очень личный, естественно родившийся в минуту отчаяния, когда поколебалась вера. Тогда, в 1880-е годы русская критика, в сущности, прошла мимо повести Толстого. Самый влиятельный критик-народник Николай Михайловский, снисходительно назвав произведение Толстого «прекрасным рассказом», добавил, что тем не менее это «не есть первый номер ни по художественной красоте, ни по силе и ясности мысли, ни, наконец, по бесстрашному реализму письма».

Исключением стал, пожалуй, лишь очерк Лескова «О куфельном мужике и проч.» (именно очерк с включением апокрифического рассказа-анекдота о Достоевском в светских салонах, антикритики, вариаций на тему книги евангелического проповедника Иогана Амброзия Розенштрауха «У одра умирающих», размышлений о слуге героя повести Толстого Герасиме и народном отношении к смерти — этому «окладному делу»). Ответил Лесков в очерке и на сомнения читателей, считающих невероятным, «утрированным», излишним проникновение в самочувствие умирающего героя, полагающим, что художник превзошел художественную меру реального: «Возможно ли что-нибудь понимать и сознавать, так сказать, в самый момент смерти? Или даже как будто сейчас после смерти». Лесков выражает полное доверие Толстому — художнику, ясновидцу, христианину-практику.

Такое восприятие слова Толстого Лесковым не было неожиданным или — тем более — озарением под мощным воздействием последней повести писателя. Ни у одного из современных писателей Лесков не обнаруживал такой силы художественной мысли, такого «страшного проникновения ума». Какой смысл вкладывал Лесков в эти слова, ясно уже из его работы 1869 года «Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому», где он точно и образно определил выдающиеся, даже исключительные, по его мнению, качества художественной мысли создателя «Войны и мира».

Проникновенный эстетический анализ там слит с глубоко личными мотивами. Несколько раз Лесков возвращается к потрясшим его страницам «Войны и мира» — к эпизоду смерти Андрея Болконского. Он писал: «Мысленный или, лучше сказать, духовный взгляд умирающего на покидаемую жизнь, на горести и заботы окружающих его людей и самый переход его в вечность — всё это выше всяких похвал по прелести рисовки, по глубине проникновения во святая святых отходящей души и по высоте безмятежного отношения к смерти... Человек уходит отсюда, и это хорошо. И чувствуешь, что это хорошо, и окружающие это чувствуют, что

это в самом деле хорошо, что это прекрасно. Одно это представление дает нам чувствовать в мирозерцании автора нечто иное, не похожее на мировоззрение целой плеяды других наших писателей...»

Искусство Толстого, по мнению Лескова, — откровение о человеке, его судьбе, жизни и смерти, ясновидение, великое открытие и утешение, высшая мудрость, облеченная в совершенную художественную форму. Вот поэтому-то Лесков и полемизирует со Страховым, автором самых значительных критических работ о Толстом, отвергая, как бессильные выразить духовное величие поэтической мысли Толстого, слова «реализм» и «здоровый реализм». Лесков пишет, что «*одухотворенный князь Андрей в свои предсмертные минуты возносится совсем над земным человеком: любовь к страстно любимой женщине в нем не остается ни одной секунды на той степени, на какой мы ее видели, пока в князе говорил его перстный Адам. Но вот „взошло в дверь оно“, и... любовь князя не падает и не увеличивается по отношению к любимому лицу, а она совсем становится иною любовью, какую не любят никакие реалисты*».

Сам Лесков, не претендуя на полноту определения, считает, что Толстого справедливее было бы причислить к «спиритуалистам», провидцам, «сильным и ясным во всех своих разумениях дел жизни не одною мощию разума, но и постижением всего „раскинутого врозь по мирозданию“ владычным духом, который „в связи со всей вселенной восходит к божеству...“». И «Война и мир» произведение не реалистическое, а пророческое и надвременное, раскрывающее тайны человеческого бытия и мироздания: «Книга графа Толстого дает весьма много для того, чтобы, углубляясь в нее, „по бывшему разумеать бываемая и даже видеть в зеркале гадания грядущее“».

Толстого-провидца, «спиритуалиста», уже знакомого ему по предыдущим произведениям, Лесков увидел и в повести «Смерть Ивана Ильича». Но теперь Толстой стал Лескову гораздо ближе. Он с волнением следил за каждым новым произведением Толстого, часто по гектографическим копиям, сочувствуя его народным рассказам и религиозным статьям и трактатам. А в повести Лескова особенно привлекал всё тот же толстовский мотив *отхода души*. Еще больше привлекал, чем ранее: оно приближалось и к его дверям.

Очерк Лескова — самая значительная из работ писателя о Толстом (а это целый цикл разнородных статей, заметок, полемических реплик). Закономерно, что в том же 1887 году, после публикации очерка, Лесков в апреле обратился к Толстому с просьбой о встрече, упомянув, что такие близкие помощники писателя, как Чертков и Бирюков, «очень желают,

чтобы могло осуществиться» его «горячее желание видаться» с ним «в этом существовании». Счел необходимым также прибавить, что не имеет никаких «газетных или журнальных целей».

Эта встреча положила начало многолетней трогательной дружбе писателей. Лесков был очарован и семьей Толстого, особенно дочерьми Татьяной Львовной и Марией Львовной, о которых неоднократно отзывался в самых теплых выражениях. Некоторое время был близок со Львом Львовичем, но позднее сильно в нем разочаровался и высмеивал его литературные опыты. Лесков переписывался с Толстым и членами его семьи, а также с толстовцами и с другими близкими Толстому людьми — с Чертковым, Бирюковым, Горбуновым-Посадовым, а с Ге и его сыном подружился. С Софьей Андреевной, правда, отношения у Лескова были натянутыми: та недолго любила его как человека и как писателя. Ухудшились вскоре отношения насмешливого Лескова и с толстовцами. Но с самим Толстым они были неизменно дружескими, очень точно обрисованными самим Лесковым в письме к Черткову: «О Льве Николаевиче мне всё дорого и всё несказанно интересно. Я всегда с ним в согласии, и на земле нет никого, кто мне был бы дороже его. Меня никогда не смущает то, что я с ним не могу разделять: мне дорого его общее, так сказать, господствующее настроение его души и страшное проникновение его ума». Да и Толстой весьма дорожил общением и сотрудничеством с Лесковым, которого он ценил как сильного человека, оригинального и независимого мыслителя, блестящего художника, бесподобно знающего все фокусы языка. Толстому была трогательна привязанность к нему Лескова, проявляющаяся постоянно и во всем. Не могло не трогать и согласие Лескова с его взглядами, согласие, присутствующее и в письмах, и в произведениях.

Безгранично веря в «страшное проникновение ума» Толстого, Лесков после традиционных почтительных реверансов в письмах (раздражавших Толстого) поверял ему свои беды и страхи. Писал, разумеется, Лесков Толстому и о смерти, этом «великом шаге», к которому следует себя неустанно приучать, дабы достойно встретить последний час, «легко и небезрассудно кончить здешнюю жизнь, с ясною верою в нескончаемость жизни».

К Толстому, автору «Войны и мира», «Анны Карениной», «Исповеди», трактата «О жизни» и, конечно, повести «Смерть Ивана Ильича», обращался больной, всё более ощущавший ее дуновение Лесков, за словом помощи, надеясь, что великий провидец облегчит страдания, развеет сомнения, прогонит страхи, придаст силы пройти достойно по «бесконечно

суживающемуся коридору» и выйти из него, «пробудившись в новую жизнь».

Толстой ответил Лескову письмом (оно, к величайшему сожалению, не сохранилось), которое того обрадовало и принесло некоторое утешение. Особенно запомнились Лескову слова о смерти: «У нее кроткие глаза». Поблагодарив, Лесков решил, что Толстой не во всем понял его терзания, и счел необходимым уточнить: не сама по себе смерть его пугает (и не шекспировский страх «чего-то после смерти»), а «муки этого перехода». А далее умолял написать ему еще на этот же сюжет, сказать что-нибудь «вдобавок к тому, что у нее „кроткие глаза“».

Даже Толстому было тяжело отвечать на такие болезненные исповедальные письма, что, конечно, Лесков хорошо понимал, но страхи пересиливали, а вера в магические свойства толстовского слова была наивной, трогательной и почти безграничной. Толстой и рад бы был откликнуться на просьбу Лескова «снизойти к его настроению», укрепить дух, помочь чем-либо перед «муками рождения в иное бытие», да нечего было ему добавить к уже сказанному пронизательному, остро чувствовавшему фальшь и также владевшему даром «ясновидения» автору «Запечатленного ангела» и «На краю света». Не очень он, должно быть, и сам был уверен в том, что у смерти были действительно кроткие глаза.

Не один Лесков надеялся узнать от Толстого тайну жизни и смерти. Даже родной брат Сергей, скептик и вольнодумец, ждал от него утешения и каких-то откровений. В переписке братьев неуклонно все больше и больше места занимали беседы о смерти. Лев Николаевич излагал свои излюбленные мысли о Разлучнице. Сергей Николаевич, подхватывая метафоры брата и дополняя их своими, немного ерничал, иногда даже рисовался своим неверием. «Ты давно *пишешь о экипаже*, — отвечал он брату, — в котором *надо ехать* в известное путешествие; хотя теперь ездят не в экипажах, а поездах, но меня интересует не то, в чем я поеду, а куда, а это мало кому известно, и сколько об этом ни пишут с незапамятных времен, никто ничего не знает об этом месте. Конечно, удобнее ехать в отдельном поезде, чем в вагоне 4-го класса и с вшами, но важно не в чем ехать, а куда: Авраам знал, куда он едет, но он был с Богом близок, а я — совсем другое дело».

Но когда боль становилась невыносимой, Сергей Николаевич согласен был и уверовать, и обращаться, как некогда Николай Лесков, с просьбой к своему великому брату помочь, утешить словом, облегчить страдания, особенно ночные, когда становилось совсем жутко и страшно и нечем было дышать, приподнять завесу над будущим: «К тебе все обращаются за

утешением, как обращается народ и верующие к старцам, в тебе что-то есть, что дает надежду, что ты поможешь. Я, близкий тебе человек, также это чувствую и всегда жду от тебя чего-то утешительного».

Лев Николаевич отвечал ему устало и грустно: «Как бы хорошо было, если бы было правда, что я могу быть утешением людям. Мне бы было еще лучше жить. Но я уверен, что этого нет. В одном желал бы уверить тебя, что страдания перед смертью, наступая постепенно, не так страшны, как нам кажется, а что после смерти нас ничего не может ожидать, кроме хорошего».

О кротких глазах смерти Толстой брату не решился сказать. На того смотрели совсем другие глаза — цепкие, холодные, вытягивающие остатки жизни. Вряд ли Сергея Николаевича удовлетворили уверения брата: последние его часы не были похожи на пробуждение в новое существование, на одухотворенный уход.

Семейные сцены. «Крейцера соната»

Софья Андреевна долгое время терпимо относилась к религиозным настроениям мужа, полагаясь на переменчивый нрав Льва Николаевича: прихоть пройдет и всё вновь станет, как прежде, в счастливую пору их дружной и в определенном смысле совместной работы над «Войной и миром». Но «прихоть» не проходила. Религиозная деятельность Толстого принимала всё более опасное и сектантское направление, которое угрожало благополучию всего дома Толстых, подрывала основы их, казалось бы, прочно сцементированного союза, вносила смуту в отлаженную семейную жизнь. Нереальны и утопичны с самого начала были планы и попытки согласовать новые убеждения с практикой семейной жизни. Лесков, семейная жизнь которого явно не удалась, во многом из-за крутого нрава создателя «Очарованного странника» и «Чертогона», имел свои серьезные резоны преклоняться перед Толстым как христианином-практиком, но с практикой дела обстояли неважно, а в собственной семье плохо.

Иначе и быть не могло. План идеальной семейно-общинной жизни или, иначе, раздачи «имения», начертанный Толстым в 1881 году, настолько примечателен и так для него характерен, что его имеет смысл здесь привести без купюр. Он утопичен и одновременно конкретен, так сказать, руководство к действию. «Жить в Ясной. Самарский доход отдать на бедных и школы в Самаре по распоряжению и наблюдению самих плательщиков. Никольский доход (передав землю мужикам) точно так же.

Себе, то есть нам с женой и малыми детьми, оставить пока доход Ясной Поляны, от 2-х до 3-х тысяч. (Оставить на время, но с единственным желанием отдать и его весь другим, а самим удовлетворять самим себе, то есть ограничить как можно свои потребности и больше давать, чем брать, к чему и направлять все силы и в чем видеть цель и радость жизни.) Взрослым троим предоставить на волю: брать себе от бедных следующую часть самарских или Никольских денег, или, живя там, содействовать тому, чтобы эти деньги шли на добро, или, живя с нами, помогать нам. Меньших воспитывать так, чтобы они привыкали меньше требовать от жизни. Учить их тому, к чему у них охота, но не одним наукам, а наукам и работе. Прислуги держать только столько, сколько нужно, чтобы помочь нам переделать и научить нас и то на время, приучаясь обходиться без них. Жить всем вместе: мужчинам в одной, женщинам и девочкам в другой комнате. Комната, чтоб была библиотека для умственных занятий, и комната рабочая, общая. По баловству нашему и комната отдельная для слабых. Кроме кормления себя и детей и учения, работа, хозяйство, помощь хлебом, лечением, учением. По воскресениям обеда для нищих и бедных и чтение и беседы. Жизнь, пища, одежда всё самое простое. Всё лишнее: фортепьяно, мебель, экипажи — продать, раздать. Наукой и искусством заниматься только такими, которыми бы можно делиться со всеми. Обращение со всеми, от губернатора до нищего, одинаковое. Цель одна — счастье, свое и семьи — зная, что счастье это в том, чтобы довольствоваться малым и делать добро другим».

Такой проект создания из собственной семьи сектантской аскетической коммунистической общины, естественно, претворить в действительность было не только трудно, но и просто невозможно. Ни Софья Андреевна, ни старшие дети (Сергей и Татьяна), желая делать добро, совершенно не собирались опрощаться, довольствоваться малым, отказываться от многих вещей и занятий, которые им казались совершенно необходимыми и важными. В свою очередь и Толстой, отличавшийся фантастическим упорством, не ослаблял усилий переломить сложившуюся ситуацию, склонить самых близких ему людей в свою веру. Столкновения с Софьей Андреевной постепенно стали непременным элементом семейной жизни, от чего страдали все. Религиозное настроение несколько не смягчило упрямый, с деспотическим отливом, нрав Льва Николаевича — Софья Андреевна с отчаянием обнаруживала в новом настроении мужа признаки «задора», сопутствующего всем начинаниям и делам Толстого. Надо было спасать семью и супружеский союз. А сделать это было адски трудно. Отчаяние и усталость чувствуются в словах Софьи Андреевны в

письме к сестре Татьяне Андреевне от 22 апреля 1881 года: «У нас часто бывают маленькие стычки в нынешнем году. Я даже хотела уехать из дому. Верно, это потому, что по-христиански жить стали. По-моему, прежде, без христианства этого, много лучше было».

Стычки были и в предыдущие годы, но никогда их не было так много, никогда дело не доходило до намерения Софьи Андреевны уйти из семьи. Не уход, конечно (уход вскоре станет неподвижной идеей Льва Николаевича), а временный отъезд, перемена тяжелой обстановки. Да и куда могла уйти Софья Андреевна от своего дома, от своей большой семьи? Даже если пришел конец «семейному счастью». К тому же она была сильной личностью, и упрямство мужа получило энергичный отпор, причем Софья Андреевна нередко прибегала в семейных «разборках» к недостойным средствам, за что ее, по правде сказать, не всегда можно осуждать.

Стычки сопровождались истериками и припадками, которые приходилось учиться переносить: «Надо понимать, что ей дурно, и жалеть, но нельзя не отворачиваться от зла».

Стычки были и со старшими детьми, пытавшимися отстоять свою независимость от сильного напора отца и оспаривавшими его мнения, что выводило Толстого из себя. Софья Андреевна обычно принимала в словопрениях на религиозные темы сторону старшего сына Сергея, иногда нападая на мужа «непонятно и жестоко». Раскол в семье увеличивался, порождая отчаяние и чрезмерные обобщения: «Они не люди». Сергей, Татьяна, Софья Андреевна, Фет и другие посетители Ясной Поляны в особенно горячо протекавших в мае 1881 года спорах говорили приблизительно одно и то же: учение Христа трудно исполнить, в полном смысле оно неисполнимо, а добро условно. Толстой сердился, считая такую аргументацию ложной и циничной: «„Добро условно“. То есть нет добра. Одни инстинкты»; «Христианское учение неисполнимо. Так оно глупости? Нет, но неисполнимо. Да вы пробовали ли исполнять? Нет, но неисполнимо».

А тут еще старые знакомые, вроде помещика Петра Федоровича Самарина, возбужденные убийством Александра II, горой встали на защиту самых крайних способов борьбы со злоумышленниками и инородцами, обостряя до предела и без того напряженную обстановку в доме Толстых. Утром тяжелый и нервный разговор с сыном, а вечером целый каскад ретроградных речей раздраженных и непримиримо настроенных гостей, вызвавших яростную реакцию Толстого: «Вешать — надо, сечь — надо, бить по зубам без свидетелей и слабых — надо, народ как бы не

взбунтовался — страшно. Но жидов бить — не худо. Потом вперемешку разговор о блуде — с удовольствием. Кто-нибудь сумасшедший — они или я».

Беседы с сыном Сергеем продолжались — Толстой был неутомимым проповедником, — но желанных плодов не приносили, порождая разочарование традиционной, ложной и лицемерной системой образования детей: «Учим их старательно обрядам и закону божью, зная вперед, что это не выдержит зрелости, и учим множеству знаний, ничем не связанных. И остаются все без единства, с разрозненными знаниями и думают, что это приобретение». Убедить сына не удавалось, однако последовательность и правдивость его нравились: «Сережа признал, что он любит плотскую жизнь и верит в нее. Я рад ясной постановке вопроса». Заблуждается, но не фальшив, независим и горд. И тем более необходимо, умножив усилия, переубедить, увлечь на истинный путь. Добиться этого, однако, оказалось необыкновенно трудно. Одни и те же разговоры растянулись на годы. Вот уже и 1884 год в разгаре, а сопротивление нисколько не уменьшается, воз по-прежнему пребывает на том же месте. Толстой болезненно это переносит, винит себя, но тут же винит сына и Софью Андреевну. Вновь возникает желание уйти из семьи, стать бродягой: «Сереже я сказал, что всем надо везти тяжесть, и все его рассуждения, как и многих других, — отвиливания: „Повезу, когда другие“. „Повезу, когда оно тронется“. „Оно само пойдет“. Только бы не везти. Тогда он сказал: я не вижу, чтоб кто-нибудь вез. И про меня, что я не везу. Я только говорю. Это оскорбило больно меня. Такой же, как мать, злой и нечувствующий. Очень больно было. Хотелось сейчас уйти. Но всё это слабость. Не для людей, а для Бога. Делай, как знаешь, для себя, а не для того, чтобы доказать. Но ужасно больно. Разумеется, я виноват, если мне больно. Борюсь, тушу поднявшийся огонь, но чувствую, что это сильно погнуло весы. И в самом деле, на что я им нужен? На что все мои мученья?»

Написав это, Толстой после долго косил, потом долго шил сапоги. А на следующий день за завтраком снова отчуждение, «злоба и несправедливость», дикая жизнь, продолжать которую невозможно, но все-таки приходится продолжать. Углубившись в собственные внутренние страдания, Толстой переставал иногда видеть, что эти злые и бесчувственные люди страдают не меньше его, только на свой, не столь возвышенный и философский уровень, что все тяготятся бесконечными ссорами и гнетущей обстановкой, именно потому, что любят его, что он очень нужен им. Не видел он и того, как страдал его старший сын от бесконечных столкновений с отцом, как жаждал он отцовской любви.

Увидел только тогда, когда очередной тягостный разговор не перешел в надрывную сцену в духе Достоевского, которую расчувствовавшийся Толстой с удовлетворением воссоздал в дневнике: «Разговор с Сережей. Он без причины сделал грубость. Я огорчился и выговорил ему всё. И буржуазность, и тупость, и злость, и самодовольство. Он вдруг заговорил о том, что его не любят, и заплакал. Боже, как мне больно стало. Целый день ходил и после поймал Сережу и сказал ему: „Мне совестно...“ Он вдруг зарыдал, стал целовать и говорить: „Прости, прости меня“. Давно я не испытывал ничего подобного. Вот счастье». Чисто толстовское счастье со слезами (у Льва Николаевича частенько глаза были на мокром месте) и откровенными объяснениями. Впрочем, мгновение счастья пройдет (но след от него останется в сердцах отца и сына) и жизнь снова войдет в уже ставшую привычной колею.

Испортились отношения и с Татьяной, с удовольствием погрузившейся в веселую светскую жизнь, к чему Толстой относился неодобрительно, о чем говорил ей неоднократно прямо, ревниво и озабоченно следя за всеми ее многочисленными увлечениями, довольно бесцеремонно на правах любящего и мудрого отца пытаюсь руководить дочерью, что ей, конечно, было отчетливо видно, о чем свидетельствует такая запись в дневнике: «Я знаю, чего бы он желал: он хотел бы, чтобы я была княгиней Марьей, чтобы я не думала совсем о веселье, об Дельвигах, об Коле Кислинском и, если бы это было возможно, чтобы я не ездила больше в Тулу».

Толстой одобритительно относился к тому, что дочери вели дневники: они формируют личность и слог, дисциплинируют. К тому же еще и помогают отцу следить за развитием детей: их дневники внимательно читал и даже требовал для просмотра. Толстой стремился к откровенным или, как сегодня говорят, позабыв о зловещей символике романа Евгения Замятина «Мы», прозрачным отношениям. Отказать отцу любящие дочери не могли. Сам же он свои дневники давал им читать редко, полагая, что с некоторыми острыми фрагментами целомудреннее познакомиться после смерти. В тогдашней практике, кстати, было принято обмениваться дневниками, что и делали дочери Толстого между собой, а иногда обмениваясь дневниками и с молодыми людьми.

Дневники, как известно, самый достоверный из всех возможных источников. Особенно это относится к дневникам Толстых, одержимых правдой, безжалостных к себе и другим, кажется, не способных солгать ни в чем — ни словом, ни жестом. Толстого раздражал веселый образ жизни Татьяны. Эту веселость он считал веселостью незаконной, праздной, так как она наступала не после физического труда, любовался дочерью с

граблями в руках: мягка, но «очень уж испорчена», хотя могла бы быть хорошей женщиной. Татьяна Львовна и стала очень хорошей женщиной, как была очень хорошей девушкой и прекрасной дочерью, что, конечно, Толстой понимал, старательно подсчитывая женихов Тани, к которым постоянно ревновал, довольно бесцеремонно вмешиваясь во все ее романы, более всего, кажется, озабоченный тем, чтобы они не завершились браком. Пока же, правда, до замужества еще было очень далеко, и Толстой, совсем как ребенок, сердился на свою повзрослевшую дочь, увлеченную танцами и флиртом с легкомысленными молодыми людьми, о чем так простодушно повествует ее дневник, который со всё увеличивающимся разочарованием изучал переменившийся и ставший таким ворчливым и часто просто неприятным отец, о чем простодушно рассказывается в такой прелюбопытной записи, сделанной в конце 1883 года: «Папа не в духе и настроен против меня, так что на каждом шагу старается говорить мне неприятные вещи. На днях я была нездорова, так что даже к обеду не могла платья надеть, а папа всё меня передразнивал и говорил, что я на пьяную солдатку похожа. Я чуть не разревелась и ушла от обеда. Сегодня он сказал, что я хуже всех из его детей. Прежде такое его обращение со мной больше меня огорчило бы, а теперь озлобляет, не знаю почему. Должно быть, я хуже стала». Как много впитала от отца Татьяна Львовна, говорит неожиданный конец записи: причину перемены в отношении к ней отца она ищет в себе, исполняя некогда данный им совет: «Когда ты ссоришься, то попробуй себя во всем обвинить и чувствовать себя кругом виноватой». Татьяна Львовна и Мария Львовна боготворили отца. Они стали ему верными и преданными помощницами. Временные и такие патриархально-наивные недоразумения между отцом и старшей дочерью, собственно, очень редко переходившие в стычки, пройдут. Дочери во многом будут способствовать тому, что в семье продолжало сохраняться долгое время хрупкое равновесие, правда, время от времени сотрясаемое вулканическими взрывами, бурями, когда Толстой испытывал острое желание покинуть семью и навсегда уйти из Ясной Поляны в большой мир, присоединиться к тому потоку бродяг и паломников, которые в любое время года и в любую погоду брели по Киевскому шоссе, этакому Невскому проспекту, пролегающему неподалеку от дома в Ясной Поляне.

Но порой становилось совсем нестерпимо. Почти весь 1884 год семейные скандалы сотрясали Ясную Поляну. Толстой чувствует себя одиноким в семье и окруженным домашними врагами, огрызающимися на «ворчливого старика», обличающего их безумство — праздную, сытую, веселую и пустую жизнь, вообще-то не такую уж безумную и праздную, а

вполне добропорядочную и деятельную, хотя и не по тем правилам, которые считал общеобязательными Толстой, хотевший от членов своей разросшейся семьи служения, жертвенности, опрощения: «Очень тяжело в семье. Тяжело, что не могу сочувствовать им. Все их радости... успехи света, музыка, обстановка, покупки, всё это считаю несчастьем и злом для них и не могу этого сказать им. Я могу, я и говорю, но мои слова не захватывают никого. Они как будто знают не смысл моих слов, а то, что я имею дурную привычку это говорить». Ситуация неразрешимая; тут, как любил шутить Николай Лесков, «коза нашла на камень». А точнее, она могла быть разрешена только самым радикальным образом, на что Толстой по очень многим причинам пойти не мог.

Существовало еще одно обстоятельство, сильно осложнявшее семейную жизнь, становившуюся совсем несносной — очередная беременность Софьи Андреевны, требовавшей от мужа предельной внимательности и осторожности. На философский и толерантный лад настраивали чтение Конфуция и шитье башмаков, но далеко не всегда и это помогало. Толстой винит себя за несдержанность: «Я имел несчастье и жестокость затронуть ее самолюбие, и началось. Я не замолчал... Она очень тяжело душевно больна. И пункт это беременность. И большой, большой грех и позор».

Повинился в грехе, заодно пронумеровав его. Раздражение всё не проходило. Безумие окружающих невыносимо. Вновь через несколько дней срыгается, на этот раз вымещая недовольство на дочери: «Стал выговаривать Тане, и злость. И как раз Миша стоял в больших дверях и вопросительно смотрел на меня. Кабы он всегда был передо мной! *Большая вина, вторая за месяц.* Всё ходил около Тани, желая попросить прощения, и не решился». Трогателен Толстой, ходящий около дочери и так и не решившийся попросить у нее прощения. Похоже, что он готов попросить прощения и у маленького Миши, вопросительно на него смотревшего. Нехорошо, стыдно, еще одна вина, еще один грех. Удивительно неугасающее чувство неудовлетворенности собой, бесконечный процесс самосовершенствования, потребность всегда ощущать устремленный на него вопрошающий взгляд невинного ребенка, уподобиться которому завещал не Конфуций, а другой учитель.

Но Миша не так уж часто вопросительно смотрел на отца, застыв в больших дверях, да и Толстой воспитанию младших детей уделял гораздо меньше времени, чем некогда старшим. Чаще всего на него смотрели глаза жены, с упреком, а то и, как ему мерещилось, с ненавистью, побуждая Толстого обращаться к Богу с мольбой: «Бедная, как она ненавидит меня.

Господи, помоги мне. Крест бы, так крест, чтобы давил, раздавил меня. А это дерганье души — ужасно, не только тяжело, больно, но трудно. Помоги же мне!»

Беременность жены сопровождалась почти непрерывными истериками и семейными сценами, всё возрастающей злобой. Толстой то отчаивается, то ставит перед собой задачу, очень трудно выполнимую: «Надо любить, а не сердиться, надо ее заставить любить себя. Так и сделаю». Но часто не владеет собой, и отчуждение между супругами продолжает расти. Накануне родов произошла новая и одна из самых тяжелых стычек, о которой известно главным образом из записи в дневнике Толстого. Этот несчастный день поначалу складывался довольно-таки удачно: косил, купался, был бодр и весел. Но позже посыпались злые, несправедливые и мелочные упреки жены. Вот тогда-то он и решил уйти совсем, но ее беременность заставила «вернуться с половины дороги в Тулу». Илья Львович так вспоминает эти драматические события, хотя нельзя исключить, что в его памяти совместились события разных лет (хронологические неточности в мемуарах Ильи очевидны, тут он далеко не так аккуратен, как Сергей Львович и Татьяна Львовна, а они этот рассказ не подтверждают, хотя и не отвергают): «Я никогда не забуду той ночи, когда за несколько часов до рождения моей младшей сестры, Александры, отец поссорился с матерью и ушел из дому. Несмотря на то что у нее уже начались родовые схватки, она в отчаянии убежала в сад. Я долго бродил по темным липовым аллеям, пока наконец не нашел ее сидящей на деревянной лавке в дальнем конце сада. Мне долго пришлось ее уговаривать вернуться в дом, и она послушалась меня только после того, как я ей сказал, что я поведу ее силой».

Роды начались под утро. В третьем часу Софья Андреевна пришла к мужу со словами: «Прости меня, я рожая, может быть, умру». А далее в дневнике следуют горькие слова чувствующего себя бесконечно оскорбленным Толстого: «Пошли наверх. Начались роды, — то, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло как что-то ненужное и тяжелое. Кормилица приставлена кормить». Кормилица особенно возмутила Толстого. Он воспринял это как жест, направленный против него. Он негодовал и жаловался Черткову, который стал для него самым нужным и дорогим человеком, неоценимым помощником: «У нас в семье всё плотское благополучно. Жена родила девочку. Но радость эта отравлена для меня тем, что жена, противно выраженному мною ясно мнению, что нанимать кормилицу от своего ребенка к чужому есть самый нечеловеческий, неразумный и нехристианский поступок, все-таки без

всякой причины взяла кормилицу от живого ребенка. Всё это делается как-то не понимая, как во сне».

Роды Софьи Андреевны давно уже в Ясной Поляне не воспринимались как нечто чрезвычайное. Деятельная хозяйка Ясной Поляны постоянно была беременной и кормящей грудью детей. Илья Львович, произведя нехитрые подсчеты, предпринял хорошо продуманную и прочувствованную защиту матери от критики, часто недобросовестной, злорадной и несправедливой. Вот характерный отрывок из сыновьей апологии матери:

«Из тринадцати детей, которых она родила, она одиннадцать выкормила собственной грудью. Из первых тридцати лет замужней жизни она была беременна сто семнадцать месяцев, то есть десять лет, и кормила грудью больше тринадцати лет, и в то же время она успевала вести всё сложное хозяйство большой семьи и сама переписывала „Войну и мир“, „Анну Каренину“ и другие вещи по восемь, десять, а иногда и двадцать раз каждую. Одно время она дошла до того, что отцу пришлось вести ее к доктору Захарьину, который нашел в ней нервное переутомление и сделал отцу дружеский выговор за то, что он недостаточно бережет свою жену».

Илья Львович (как и любимчик Софьи Андреевны Лев Львович) рисует в воспоминаниях портрет удивительно хорошей женщины, удивительной матери и удивительной жены. В том же духе и некоторые наблюдения в дневниках Татьяны Львовны, проницательно разглядевшей, что мать «больше любит папа, чем он ее, и рада, как девочка, всякому его ласковому слову». В воспоминаниях Татьяна Львовна, правда, жаловалась на одиночество в детстве, вызванное вечной занятостью родителей — отец жил по строгому рабочему расписанию, где не так уж много было «окошек» для душевного общения с детьми, которых становилось всё больше, да и мать была всегда или за работой, или кормила, или бойко строчила на ножной швейной машинке, или переписывала рукопись Льва Николаевича, или бегала по хозяйству, или отвешивала лекарство больной бабе. Безделье Софью Андреевну тяготило. В хорошем расположении духа она бывала перегруженная заботами, радовавшими и вдохновлявшими ее. Лев Николаевич, размышляя о том времени, когда вырастут все дети и весь этот цикл бесконечных забот сам собой завершится, говорил о необходимости заказать для Софьи Андреевны гуттаперчевую куклу с вечным поносом.

Запомнились старшей дочери и идиллические картины семейной жизни, которых с годами становилось всё меньше и меньше: отец, смотрящий на мать, переписывающую очередную рукопись; он с

нежностью гладит ее черные волосы, целует в голову, а она с любовью и благоговением целует большую и сильную руку мужа: «И в моем детском сердце поднимается при этом такая любовь к ним обоим, что хочется плакать и благодарить их за то, что они любят друг друга, любят нас и окутали всю нашу жизнь любовью».

Сергей Львович пишет, что постоянная озабоченность матери немного тяготила окружающих; она была слишком серьезной (очень редко смеялась и совершенно не понимала юмора, над чем подтрунивал Лев Николаевич) и нервной: «По характеру моя мать была не менее энергична, чем отец. Движения и походка ее были быстры, она всегда была занята, не могла ничего не делать, редко была праздной. Если у нее не было очередного дела — кормления детей, учения, переписки, хозяйственных забот и т. п., она находила себе дела: шила, рисовала, возилась в цветнике, варила варенье, мариновала грибы и т. д. Она редко просто гуляла, редко от души веселилась. Всегда на душе у нее была какая-нибудь забота».

Дети, надо сказать, щадят мать (даже Александра Львовна), сдерживают перо. Мария Сергеевна Бибикина, племянница Льва Николаевича, наблюдательная и ироничная, откровенно, ничего не смягчая и не улучшая, создает портрет нервной и властной, высокомерной хозяйки, которая «никогда не была спокойна, всегда суежилась, даже стоя или сидя на месте: немного покачивала головой или шевелила губами, стоя, всегда переступала с ноги на ногу», всегда была беспокойной и раздраженной, раздававшей приказания и бранившей за неисполненные, грубо и резко кричавшей на детей. Марии Сергеевне вообще не нравился домашний климат в семье Толстых, но более всего она была недовольна самодовольной и нетерпимой хозяйкой: «Когда я была уже совсем взрослой, я поняла, что она может быть и очень ласкова, но ласка ее не внушала доверия: не было в ней простоты, доброты, искренности; чувствовалось, что это человек, любивший только себя и своих и старавшийся при первом случае выдвинуться. Поэтому дух их дома был большей частью неприятен: все были довольны собой, своим положением, богатством, обстановкой, на которую так много было положено трудов».

С годами нервозность Софьи Андреевны возрастала, приобретая болезненную форму, особенно после того, как резко переменялся Лев Николаевич, за которым она, возможно, и хотела иногда последовать, о чем свидетельствуют некоторые ее поступки, да не могла, так как он действительно требовал от нее невозможного. Все уже давно привыкли к беременностям и родам Софьи Андреевны, но на этот раз они проходили в мрачной и истеричной обстановке. Роды лишь способствовали эскалации

злости и ненависти. Отказ от кормления грудью был действительно демонстративным — Александра была нежелательна, и отношения между матерью и дочерью почти всегда будут или очень холодными и натянутыми, или просто враждебными.

Не смягчили роды и разногласий между супругами. Скорее напротив. В день рождения дочери Толстой с горечью записал в дневнике: «Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно. Безжалостно относительно ее. Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идет к гибели и к страданиям ужасным». И несколько ниже: «Разрыв с женою уже нельзя сказать, что больше, но полный». Конечно, будут позднее и многочисленные примирения, идиллические совместные слезы, задушевные беседы, иногда эти относительно тихие, мирные времена будут длиться продолжительно, — но всё же это именно передышки, затишье перед бурями, в конце концов завершившимися катастрофой.

1884 год почти весь прошел под знаком семейных стычек и скандалов, принимавших всё более острый и странный характер, чему способствовала нервная болезнь Софьи Андреевны, нуждавшейся, очевидно, в утешениях и спасительной лжи, а не в безжалостной и несносной правде, от которой ее упрямый и непреклонный муж даже в мелочах не мог отступить. Временные сближения оказываются иллюзорными, да и как иначе могло быть, ежели Лев Николаевич всё ей неприятные истины говорил, наивно радуясь тому, что Софья Андреевна промолчала, не рассердилась в тот миг. На следующий же день иллюзии улетучатся, заставив Толстого занять, как единственно возможную, стоическую позицию: «Я приучаюсь не негодовать и видеть в этом нравственный горб, который надо признать фактом и действовать при его существовании». Это уже в августе. А осенью и того хуже: какая-то мелочная склока, естественно, злость. Потом Софья Андреевна, слишком возбудившись, куда-то убегает. Лев Николаевич бежит за ней. Грустное зрелище.

Не изменилось радикально, да и не могло измениться положение в семье и в следующем году. Толстой пишет в дневнике с горечью о тяжелой и неестественной ситуации, когда ему в семье отведена роль юродивого и надоевшего своими неисполнимыми проповедями чудака: «Думал о своем несчастном семействе: жене, сыновьях, дочери, которые живут рядом со мной и старательно ставят между мной и собой ширмы, чтобы не видать истины и блага, которое обличит ложь их жизни, но и избавит их от страданий». Думал он и о других своих старинных знакомых, умных и хороших людях, но так плохо и дурно живущих. Почему так получается?

Толстому представляется, что главная причина в слабости этих людей, находящихся в рабской зависимости от женщин, от ночного «права»: «От власти на них женщин. Они отдаются течению жизни, потому что этого хотят их жены или любовницы. Всё дело решается ночью. Вины они только в том, что подчиняют свое сознание своей слабости». Прелюбопытное рассуждение, вроде бы побочное, но, по сути, очень важное и совсем неслучайное — итог долгих размышлений и наблюдений над разными «несчастливыми семействами»: подступы к «отрицательной» «Крейцеровой сонате», в которой этому размышлению в дневнике соответствуют суждения Позднышева о последствиях отсутствия равенства между мужчиной и женщиной, лишенной права «пользоваться мужчиной и воздерживаться от него, по своему желанию, избирать мужчину, а не быть избираемой». Лишенная этого права женщина, по убеждению героя повести, чтобы его возместить, «действует на чувственность мужчины, через чувственность покоряет его так, что он только формально выбирает, а в действительности выбирает она. А раз, овладев этим средством, она уже злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми».

Думала о муже и своем «несчастном семействе» и Софья Андреевна. Думала с отчаянием, намного превосходившим настроение Льва Николаевича, склонного преувеличивать расхождения с домашними, тяготясь той «ролью бича», которую, как ей представлялось, навязали ей муж и дети. Жаловалась в дневнике на выпавшую ей долю вечной Марфы или, точнее будет сказать, постаревшей в заботах, смертельно уставшей Золушки: «Свалив всю тяжесть и ответственность детей, хозяйства, всех денежных дел, воспитания, всего хозяйства и всего материального, пользуясь всем этим больше, чем я сама, одетые в добродетель, приходят ко мне с казенным, холодным, уже вперед взятым на себя видом просить лошадь для мужика, денег, муки и т. п.». Мелочи жизни, на которые обрекли ее близкие, и больше всего, конечно, муж, придавившие ее, до нервного истощения доведшие, до мизантропии, отвращения к жизни, до любви к «темноте». И уже не Лев Николаевич, а она сама готова бежать куда-то или даже уйти из жизни, опостылевшей и невыносимой.

Неудержимым потоком изливаются жалобы в дневнике хозяйки дома, уставшей от бесплодной борьбы с тем, кто ей был дороже всего на свете. Неразрешимые душевные муки. «Как я хотела и хочу часто бросить всё, уйти из жизни так или иначе. Боже мой, как я устала жить, бороться и страдать. Как велика бессознательная злоба самых близких людей и как велик эгоизм! Зачем я все-таки делаю всё? Я не знаю: думаю, что так надо. То, чего хочет... муж, того я исполнить не могу, не выйдя прежде сама из

тех семейных деловых и сердечных оков, в которых нахожусь. И вот уйти, уйти, так или иначе, из дому или из жизни, уйти от этой жестокости, непосильных требований... того неопределенного, непосильного отречения от собственности, от убеждений, от образования и благосостояния детей, которого не в состоянии исполнить не только я, хотя и не лишенная энергии женщина, но и тысячи людей, даже убежденных в истинности этих убеждений».

Сомневаться в истинности страданий Софьи Андреевны не приходится, хотя и очевидно, что эти, как и многие другие, дневниковые записи предназначены для будущего читателя: они противостоят дневниковым записям мужа и всё больше и больше сочувствующих ему дочерей — реплики в бесконечном супружеском диалоге, попытка отстоять в глазах потомков свою позицию, оправдать необдуманные слова и поступки. И никуда, конечно, Софья Андреевна не уйдет, а будет твердо, с незаурядной энергией идти по пути, который считает правильным: соединять семью, переписывать сочинения Льва Николаевича, вести книжные дела, добывать необходимые для семьи деньги всеми правдами и неправдами и властно, по-хозяйски, не давать деньги для разных «пустых» трат мужу, в чем ее упрекнет обожающая отца Татьяна. Конечно, стычки и ссоры, периоды злобы и взаимной ненависти чередовались с мирными, почти идиллическими передышками или перемириями, однако они уже воспринимались именно как передышки, примирения были такими хрупкими и ненадежными, с поразительной легкостью переходили в отчужденность и взаимную озлобленность. Почти как в «Крейцеровой сонате»: «Ссоры начинались из таких поводов, что невозможно бывало после, когда они кончались, вспомнить из-за чего. Рассудок не поспевал подделывать под постоянно существующую враждебность друг к другу достаточных поводов. Но еще поразительнее была недостаточность предлогов примиренья».

В том же 1886 году, когда Софья Андреевна уясняла суть своих отношений и разногласий с мужем и выражала даже желание уйти из семьи и жизни, Лев Николаевич получил одно странное письмо, послужившее толчком для начала работы над повестью «Крейцера соната», о чем он сам счел необходимым написать через несколько лет в дневнике: «Основная мысль, скорее сказать, чувство „Крейцеровой сонаты“ принадлежит одной женщине, славянке, писавшей мне комическое по языку письмо, но замечательное по содержанию об угнетении женщин половыми требованиями. Потом она была у меня и оставила сильное впечатление». Неизвестно, кто была эта славянка, как, к великому

сожалению, неизвестно и содержание ее беседы с Толстым, должно быть, не меньше, чем письмо, повлиявшей на замысел повести. Сохранилось письмо, стиль и содержание которого так точно и лапидарно охарактеризовал Толстой: «Мужчины не пренебрегают... ловушками, лишь бы только стащить женщину с пьедестала чистоты в безнравственную лужу, и это делается с самыми красивейшими, здоровейшими девушками... Обыкновенно девушка невинная достается в когти зверя, на всё готового для своих удовольствий, не щадившего здоровья женщины-матери... Люди отбежали от природы, и она их наказала слепотой».

Разумеется, не следует понимать слова Толстого буквально. Содержание повести уже давным-давно подспудно созревало и было неразрывно связано не только с размышлениями о всевозможных несчастных семействах, но и с музыкальными впечатлениями Толстого, назвавшего произведение «Крейцера соната». Сергей Львович вспоминает о приезде в Ясную Поляну свойственника Толстого блестящего скрипача Ипполита Михайловича Нагорнова, исполнение которым сонаты Бетховена произвело сильное впечатление на Льва Николаевича. Он же высказал предположение, что какие-то черты Нагорнова послужили для характеристики Трухачевского. Это сомнительно. Запомнилась музыка, которую Толстой неоднократно слышал и позднее, в частности, в исполнении скрипача Лясотты, учителя младших сыновей Толстого (Льва и Михаила) и Сергея Львовича (фортепьяно). Летом 1887 года сонату вместе с тем же Лясоттой исполняла в Ясной Поляне талантливая пианистка Гельбиг с таким мастерством, что растроганный Толстой будто бы предложил написать «Крейцерову сонату» Репину кистью, сам же, естественно, напишет ее пером, а Владимир Николаевич Андреев-Бурлак будет читать текст на сцене, где должна была стоять картина художника. Но Толстой, которому скрипач Недбал говорил о целомудренности сонаты Бетховена, отвечал, что, возможно, музыкант и прав, но ему пришлось слушать ее в исполнении двух слабо игравших учеников (одним из них, по всей видимости, был сын Сергей), а не «благородных музыкантов», и соната показалась ему эротической, слишком чувственной.

В воспоминаниях вполне возможны ошибки и хронологические смещения. Но в основном они точны. Репин даже обещал написать музыкальную картину, некий изобразительный аналог сонаты, но так этого и не сделал: не помог и текст повести Толстого. Что же касается Андреева-Бурлака, то Толстой в какой-то степени воспользовался сюжетом рассказа случайного вагонного попутчика актера об измене жены, во всяком случае, остановился на подвижном, дребезжащем, inferнальном «интерьере», где

в полумраке звучит «внушительный» и приятный голос героя-рассказчика повести, становящийся «всё более и более певучим и выразительным». Герой повести Толстого, возможно, страдающий клаустрофобией в легкой форме («боюсь я вагонов железной дороги, ужас находит на меня»), вспоминает и другую страшную поездку по железной дороге, когда он, как затравленный зверь, метался в клетке вагона, пытаясь спастись от мучительных, ярко вспыхивавших в мозгу циничных и грязных картин, от тягостного и давящего одиночества. Наконец, произведение предназначалось не только для читателей, но и для слушателей, для чтения со сцены, для голоса вполне определенного актера — повесть и представляет главным образом монолог-исповедь. Но Андрееву-Бурлаку не суждено было читать повесть — актер внезапно умер в мае 1888 года, когда работа над ней была еще в разгаре.

«Крейцера соната» — второе «бетховенское» произведение Толстого. Первым был роман «Семейное счастье», напечатанный в конце 1850-х годов в журнале «Русский вестник», с которым Толстой окончательно порвал после конфликта с последней частью «Анны Карениной». Разница между романом и повестью колоссальная — две совершенно различные эпохи жизни, кажется, будто они разными писателями написаны.

В романе искусство, особенно музыка, является непрямым и важным элементом гармоничной жизни и семейного счастья, здесь, по тонкому наблюдению Романа Роллана, «все фазы любви, и весна ее и осень, разворачиваются на музыкальном фоне, создаваемом сонатой Бетховена „Quasi una fantasia“». Музыка там неотделима от счастья, она одно из главных условий любви, трепетная связь между прошлым и настоящим и обещание будущего. Музыка дважды соединяет героев; есть нечто провиденциальное во внезапном появлении мужа именно в тот миг, когда Маша стала играть «всё то же *andante*», которое некогда исполнила по его просьбе в преддверии счастья.

В «Крейцеровой сонате» музыка Бетховена звучит совсем иначе — проклятая, страшная, раздражающая, разрушительная музыка. «Страшная вещь эта соната, — вспоминает герой. — И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом. Она действует ни возвышающим, ни принижающим душу образом, а раздражающим душу образом». Позднышев видит своими ревнивыми, безумными глазами возникающую между женой и Трухачевским связь музыки, этой, как оказывается, «самой утонченной

похоти чувств».

Музыка порабощает, развращает, раздражает и даже убивает. Ее воздействие не подчиняется законам логики, разуму, оно прихотливо и спонтанно. Музыка заражает чужими чувствами, насильно отрывая от своих переживаний, плюс изменяя на минус, и наоборот, «действует, как зевота, как смех: мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего, смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося». Она переносит в то «душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку». А потому необходимо ограничить воздействие музыки какими-то государственными актами, устранив всякие там сонаты и симфонии, так причудливо влияющие на душевное состояние играющих и слушающих, разрешив музыку обрядовую, музыку функциональную, раз уж нельзя без нее вообще обойтись. Воззрение не просто утилитарное, совпадающее с мыслями, изложенными в создававшемся параллельно с повестью трактате «Что такое искусство?», а, пожалуй, даже фундаменталистское, невольно заставляющее вспомнить отношение к музыке аятоллы Хомейни: «Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, — нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть».

Но это именно он, Позднышев, заглушил музыку Бетховена, чудовищно исказил ее, задавил в себе идеальное начало, всецело отдавшись разрушительному порыву злобы. Изменил музыке, которая, судя по его же рассказу, оказала свое возвышающее воздействие, преобразив даже ненавистного Позднышеву Трухачевского, этого воображаемого любовника жены. Музыка вернула уставшим от бесконечной домашней войны супругам ощущение уже, казалось бы, навсегда утраченного счастья, им открылись, «как будто вспомнились новые, неиспытанные чувства». «Всё было прекрасно», — вспоминает Позднышев окончание музыкального вечера, погрузившего его в состояние полублаженства, давшего иллюзию счастья. Это уже потом будет он, подхлестываемый зверем ревности, везде подозревать обман, фальшь, измену, похотливую связь, соблазнительные сцены и, разумеется, проклинать музыку, утверждать, что *presto* преступно играть «в гостиной среди декольтированных дам».

В тот блаженный миг герой о «декольтированных дамах» и разжигающей похоть музыке совершенно не думал, а испытывал (как и жена и, видимо, Трухачевский — это позже их совместная игра будет

увидена Позднышевым как своего рода половой акт, откровенный, прилюдный) возвышающее воздействие сонаты Бетховена, лишь после названное Позднышевым ужасным: «На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно; мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Да вот как, совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как, как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета, но сознание этого нового состояния было очень радостно. Всё те же лица, и в том числе и жена и он, представлялись совсем в другом свете... Мне было легко, весело весь вечер. Жену же я никогда не видал такую, какою она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла, и эта совершенная растаянность какая-то, слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили».

В отрицательной и «злой» повести Толстого музыкальный вечер, пожалуй, единственное поэтическое и идиллическое место (и то испорченное поздними вкраплениями, «проницательным» прочтением Позднышевым прежних счастливых мгновений). Проклятия музыке в повести в конце концов переходят в апофеоз сонаты Бетховена. Сама же повесть — гениальная попытка создания вербального эквивалента музыке, этой «стенографии чувств». Композиция, ритм, смена тональностей, постановка голоса рассказчика, его главная тема с вариациями ориентированы, как много раз и обоснованно об этом писалось, не только на структуру «Крейцеровой сонаты», но вообще на жанр сонаты.

Над повестью Толстой с перерывами работал несколько лет, особенно усердно в 1899 году, продолжал дodelывать и в следующем, когда написал и публицистическое дополнение «Послесловие к „Крейцеровой сонате“». Восьмая (предпоследняя) редакция повести, созданная в сентябре — октябре, стала тогда же широко распространяться в литографированных изданиях и списках, чем Толстой был недоволен, но сделать ничего не мог — списки стремительно множились и цена их доходила в книжных магазинах до 10–15 рублей. 28 октября на вечере у Кузминских в Петербурге состоялось и первое публичное чтение повести. Он читал в присутствии Страхова, Апухтина, Тимирязева, Александры Андреевны Толстой и других литераторов и близких писателю людей. А на следующий день было чтение повести в редакции издательства «Посредник». «Трудно себе представить, — вспоминала Александрин, — что произошло... когда явились „Крейцера соната“ и „Власть тьмы“. Еще не допущенные к печати, эти произведения переписывались уже сотнями и тысячами

экземпляров, переходили из рук в руки, переводились на все языки и читались везде с неимоверной страстностью. Казалось подчас, что публика, забыв все свои личные заботы, жила только литературой графа Толстого... Самые важные политические события редко завладевали всеми с такой силой и полнотой».

Слухи о том, что повесть не будет допущена к печати, только разжигали интерес к ней в обществе и, похоже, больше огорчали Софью Андреевну, терявшую верный доход, чем Льва Николаевича. Но мнениями первых слушателей и читателей Толстой дорожил, радуясь успеху, — значит, важно и нужно, возбуждает мысль. Благодарил и за письма, содержащие критический анализ, охотно признавая «недостатки», которые, однако, совершенно не собирался устранять, а для тех, кто был недоволен и раздражен тенденцией и высказанными с «задором», подготавливал послесловие к повести, выдержанное в сухом и догматическом тоне, способном лишь еще сильнее раздражить, а не убедить.

Большое письмо прислал постоянный литературный советчик Толстого Николай Страхов, мнениями которого писатель очень дорожил. Он давал повести общую необыкновенно высокую оценку, считая, что Толстой никогда не писал ничего сильнее и мрачнее. Но одновременно Страхову показался неясным облик главного героя-рассказчика: «По некоторым местам можно подумать, что эгоизм в нем сломлен и он уже видит свои действия в истинном их значении; по другим кажется, что он готов опять и без конца убивать свою жену и в нем нет и тени раскаяния». Более того — Страхов посоветовал Толстому самым радикальным образом изменить структуру повести: «Долгие рассуждения, которые предшествуют рассказу, глубокие и важные, теряют силу от ожидания, в котором находится слушатель. Их следовало бы положить на сцены, которые, однако, не мог продолжительно рассказывать убийца, занятый больше всего последнею сценою — убийством».

Толстого, должно быть, несколько задело письмо и особенно деликатно смягченные, тонкие и, тем не менее, неприемлемые советы, о чем он и сказал Страхову, отвечая одновременно смиренно и непримиримо, освобождая его критику от вежливых комплиментов, так сказать, заостряя, подчеркивая «антихудожественность» повести: «В художественном отношении я знаю, что это писание ниже всякой критики: оно произошло двумя приемами, и оба приема несогласные между собой, и от этого то безобразие, которое вы слышали. Но все-таки оставляю так, как есть, и не жалею. Не от лени, но не могу поправлять; не жалею же оттого, что знаю верно, что то, что там написано, не то что не бесполезно, а, наверное, очень

полезно людям и ново отчасти. Если художественное писать, в чем не зарекаюсь, то надо сначала и сразу».

Два пространных письма о повести прислал и Владимир Чертков. В тяжелом, почти косноязычном стиле он давал советы: они, по его мнению, могли бы исправить некоторые существенные недостатки повести, где «рассуждения и мысли о половом вопросе слишком вплетены в самое повествование пассажира о том, как он жену убил, вследствие чего оно несколько теряет в живости и естественности, а самые рассуждения стесняются необходимостью не быть слишком подробными и обстоятельными подгибанием их в форму речи, по возможности свойственной характеру и состоянию рассказчика». Чертков и позднее пытался склонить Толстого к разного рода изменениям и сокращениям, высылал ему, получив благосклонное согласие, варианты правки.

Конкретные предложения Черткова, очевидно, Толстому не понравились. Соглашаясь охотно с замечаниями о художественных недостатках повести, Толстой оставался при своем мнении, не идя ни на какие переделки или даже поступая прямо наоборот, отшучиваясь необходимостью ради пользы дела «быть юродивым и в писании», объясняя, что он «дал место... художественности ровно настолько, чтобы ужасная правда была видна яснее», радуясь тому, что больше всего задела читателей тенденция, чему будто бы способствовало ослабление художественности: «А „Соната“ написана так, что всех задела, самых бестолковых, которые приходили бы только в глупый сладкий восторг, если бы она была написана полною художественною манерою».

Не прислушался Толстой к советам Черткова, Страхова и других корреспондентов, по всей видимости, главным образом потому, что общие рассуждения и мысли не могли не быть вплетены в повествование: в противном случае они бы просто повисли в воздухе, лишившись реальной психологической почвы, структура которой, предусматривающая именно медленный переход от теоретических высказываний к исповеди мужа-убийцы, к рассказу об обстоятельствах и конкретных деталях убийства, просто бы развалилась. Теоретическое убийство предшествует реальному. Личная трагедия не исчерпывается теорией и гневными обличениями, но она помогает понять точку зрения Позднышева, делает его аргументы если и неприемлемыми, то, по крайней мере, последовательными и логичными. Страхов, необыкновенно чуткий и, если так можно выразиться, гибкий критик, в конце концов признал преимущества именно такой структуры повести: «Как естественно, что вы торопились высказать нравоучение! Эта искренность и естественность подействовали сильнее всякого искусства».

Вы в своем роде единственный писатель: владеть искусством в такой превосходной степени и не довольствоваться им, а выходить прямо в прозу, в голое рассуждение — это только вы умеете и можете. Читатель при этом чувствует, что вы пишете от сердца, и впечатление выходит неотразимое».

Повесть читали везде. Одно время только о ней и говорили. Вопрос «Читали ли вы „Крейцерову сонату“?» заменил традиционный: «Как ваше здоровье?» Вполне естественно, что мнения о столь острой, даже отчасти скандальной, буквально начиненной парадоксальными суждениями о женщинах и женских нарядах, семейной жизни и пагубной деятельности врачей, о детях и celibate сильно разошлись. Чехов сначала, хотя и с очень существенными оговорками, расценил ее как событие: «Я не скажу, чтобы это была вещь гениальная, вечная — тут я не судья, но, по моему мнению, в массе всего того, что теперь пишется у нас и за границей, едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения. Не говоря уж о художественных достоинствах, которые местами поразительны, спасибо повести за одно то, что она до крайности возбуждает мысль. Читая ее, едва удерживаешься, чтобы не крикнуть: „Это правда!“ или „Это нелепо!“ Правда, у нее есть очень досадные недостатки... в ней есть... одно, чего не хочется простить ее автору, а именно — смелость, с какою Толстой трактует о том, чего он не знает и чего из упрямства не хочет понять. Так, его суждения о сифилисе, воспитательных домах, об отвращении женщин к совокуплению и проч. не только могут быть оспариваемы, но и прямо изобличают человека невежественного, не потрудившегося в течение своей долгой жизни прочесть две-три книжки, написанные специалистами. Но все-таки эти недостатки разлетаются, как перья от ветра; ввиду достоинства повести их просто не замечаешь, а если заметишь, то только подосадуешь, что повесть не избежала участи всех человеческих дел, которые все несовершенны и не свободны от пятен». Однако после поездки на Сахалин Чехову повесть показалась смешной и бестолковой. Неудивительно — после Сахалина многое в жизни и литературе Чехов увидел совсем в другом свете.

Читали повесть и во дворце: Александр III воспринял ее благосклонно, императрица, чего и следовало ожидать, была шокирована. Внимательно не читал, а, пожалуй, изучал «Крейцерову сонату» постоянный оппонент Толстого Константин Петрович Победоносцев. Читал он ее в три приема («сразу всё читать душа болит»); сначала было «тошно», «мерзко до циничности показалось», потом «задумался» и вынужден был признать, что это «правда, как в зеркале». Победоносцев назвал повесть «могучим произведением» и как опытный и весьма рациональный политик выступил

противником запрещения ее публикации, как акта бессмысленного и способного только нанести вред: «Оболживит меня общий голос людей, дорожащих идеалом, которые, прочтя вещь негласно, скажут: а ведь это правда. Запретить во имя *приличия* — будет некоторое лицемерие. Притом запрещение... не достигает цели в наше время. Невозможно же никоим образом карать за сообщение и чтение повести гр. Толстого».

Естественно, зачитывались повестью в семье Толстого — здесь жадно ловили и обсуждали не только произведения, но каждое его слово. Дочь Татьяна под влиянием прочитанного одно время испытывала страстное желание остаться девушкой — желание было слишком страстным, чтобы не пройти. Столь же страстно Татьяна Львовна влюблялась в молодых людей, которым Лев Николаевич и счет уже потерял. И не только в молодых — ей нравились и Чехов, и Танеев.

Что ж, как принято говорить, дело житейское, против природы не пойдешь или сломаешься. Боготворивший Толстого Лесков решительно осуждал появившуюся в связи с повестью моду на борьбу с чувственностью. По поводу отношения полов, брака, «чадорождения» он писал критику Михаилу Осиповичу Меньшикову: «Здесь я чувствую какую-то резкую несогласимость с законами природы и с очевидною потребностью для множества душ явиться на земле и проявить себя в исполнении воли Творца. Тут я Льва Николаевича не понимаю и отношу его учение к крайностям его кипучего, страстного духа, широкого в своих реяниях во все стороны: а сам я смелее прилежу к практичному москвичу Кавылину (основателю Преображенского кладбища), который думал и учил, что „естественно есть мужа к жене соизволение“, и в том есть „тайна Создавшего“, а „установление к сему человечнее: да отец будь чадам, а не прелюбодей“. И это мне кажется еще очень „довлеет злобе дня“, и незачем было сочинять „хомут не по плечам“, и тем людей пугать и давать против себя орудие пустословам... Множиться людям надо, — иначе род наш станет на том, на чем мы сейчас стоим, и в этом состоянии человечество еще не годится к воссоединению с тем, от чего оно отпало, после того как „была брань на небеси“».

По свидетельству толстовца Евгения Ивановича Попова, которым долгое время были увлечены и Татьяна Львовна, и Мария Львовна, в смоленской общине живо обсуждались «Крейцера соната» и особенно половой вопрос; после споров порешили, что браки не должны быть, а девушки клялись, что если б им случилось вдруг выйти замуж, то они бы на следующий день утопились в реке. А в 1909 году в Ясной Поляне появился «румынец» Андрей Марухин, в восемнадцать лет оскотивший

себя под впечатлением от «Крейцеровой сонаты». «Румынец» показался Толстому в высшей степени интересным человеком. Софье Андреевне запомнилось другое — разочарование приехавшего в своего рода Мекку для девственников, возжелавших жить вне Вавилона трудами рук своих, пораженного контрастом между сочинениями и «роскошью», в какой жил граф. Он будто бы очень огорчился, говорил, что хочется плакать, все время повторяя: «Боже мой, Боже мой! Как же это? Что же я скажу дома». Впрочем, Софья Андреевна могла и присочинить — она ведь тоже, как Дмитрий Мережковский (и Владимир Ульянов, но тот в другом смысле и в другой плоскости), любила обнажать противоречия между «словом» и «делом» мужа.

Толстой получал много писем от читателей с вопросами и недоумениями, что не могло не беспокоить писателя, ожидавшего большего понимания как героя, так и авторской мысли (тенденции). Недоброжелательных и отрицательных мнений оказалось гораздо больше, чем можно было предположить. Роптало и недоумевало даже окружение писателя. Огорчил Толстого молодой врач Буткевич, рассказывавший, что многие просто ненавидят «Крейцерову сонату», видя в ней описание полового маньяка.

Редактор «Русского богатства» Леонид Егорович Оболенский, сотрудничавшим с которым Толстой дорожил, писал ему, что у молодых женщин повесть вызвала негодование, которое и он, судя по всему, разделял. На этот раз Толстой счел необходимым ответить подробно, вступить за героя, объяснить замысел и некоторые особенности его монолога.

Как-то в дневнике Толстой обмолвился: «Я пишу „Крейцерову сонату“ и даже „Об искусстве“ — и то и другое — отрицательное, злое». А в письме к Оболенскому он объясняет, что никакой другой повесть не могла и не должна была быть, мягко отвечая на упреки критика: «Мне кажется, что вы неправы... в тех раздражительных нападках на рассказчика, преувеличивая его недостатки, тогда как по самому замыслу рассказа Позднышев выдает себя с головой, не только тем, что он бранит себя (бранить себя легко), но тем, что он умышленно скрывает все добрые черты, которые, как в каждом человеке, должны были быть в нем, и в азарте самоосуждения, разоблачая все обычные самообманы, видит в себе одну только животную мерзость».

Чрезвычайно важное, просто драгоценное пояснение: следовательно, Позднышев *умышленно* скрывает свои добрые черты, доходя до крайностей в *азарте самоосуждения*. И это позволяет ему обобщать, гротескно

заострять выводы, обличать, пророчествовать. Азарт осуждения в повести неразрывно связан с азартом самоосуждения.

Ознакомившись с многочисленными недоумениями, возражениями, вопросами и протестами читателей и читательниц, знакомых с восьмой литографированной редакцией повести, Толстой наоборот усилил отрицательное, злое, разрушительное. Остался верен этой тенденции и в публицистическом «Послесловии», вызвавшем еще больше нареканий, чем сама повесть. Отверг настойчивую просьбу обеспокоенного Черткова: «Я не мог в послесловии сделать то, что вы хотите и на чем настаиваете, как бы реабилитацию честного брака. Нет такого брака».

«Какая жесткая шея была...» — вспоминает Позднышев, восстанавливая картину убийства жены. Этой детали не было ни в одной из ранних редакций повести. Отказался Толстой в окончательном тексте повести и от одного мотива, присутствующего в ряде редакций, в том числе литографированной, — мотива, сочувственно воспринятого многими современниками, к примеру Лесковым, вынесшим понравившиеся ему слова, которые он в привычной своей манере очень вольно цитирует, не искажая, однако, смысла, в эпиграф к рассказу «По поводу „Крейцеровой сонаты“»: «Всякая девушка нравственно выше мужчины, потому что несравненно чище его... девушка, выходящая замуж, всегда выше своего мужа. Она выше его и девушкой и становясь женщиной в нашем быту».

Между тем этот мотив был тщательно разработан в ряде редакций, особенно в самой мягкой и «доброй» третьей, где звучит настоящий гимн невинной девушке: «Девушка обыкновенная, рядовая девушка какого хотите круга, не особенно безобразно воспитанная, — это святой человек, это лучший представитель человеческого рода в нашем мире, если она не испорчена особенными исключительными обстоятельствами... Да посмотрите, в ней нет ничего развращающего душу, ни вина, ни игры, ни разврата, ни товарищества, ни службы ни гражданской, ни военной. Ведь девушка, хорошо воспитанная девушка — это полное неведение всех безобразий мира и полная готовность любви ко всему хорошему и высокому. Это те младенцы, подобным которым нам велено быть».

Мысль, важная для Толстого. Он в лаконичной форме повторит ее, вспоминая Ергольскую, в дневнике 1903 года: «Истинно целомудренная девушка, которая всю данную ей силу материнского самоотвержения отдает служению Богу, людям, есть самое прекрасное и счастливое человеческое существо (тетенька Татьяна Александровна)».

В той же третьей редакции повести в невесте выделяется идеальное начало, искание истины, готовность принести жертву. На нее производит

сильное впечатление «Мертвый дом» Достоевского (описание наказания шпицрутенами), и знаменательно, что чтение главы книги Достоевского (по Толстому, образец христианского и нужного людям искусства) должно было предварять первое признание в любви.

В ранних редакциях и о жене говорится как о прекрасном человеке, которого не смог разглядеть Позднышев. Она «добрый, великодушный, почти святой человек, способный мгновенно, без малейшего колебания и раскаяния, отдать себя всего, всю свою жизнь другому». Вспоминает там рассказчик и об артистичности жены, даже о ее музыкальном таланте: «Я часто удивлялся, откуда у нее это бралось, эта точность, даже сила и выражение в ее маленьких, пухленьких, красивых ручках и с ее спокойным, тихим, красивым лицом». Всё это черты прекрасной, даже избранной натуры, которые восстанавливает после убийства муж, особенно часто возвращаясь к первому и идиллическому времени знакомства.

Но в окончательной редакции даже о первой невинной поре рассказывается иронически и обобщенно, как о великом затмении, заблуждении, как о фальши и обмане, западне, в которую его «поймали». Рассказывается раздраженно, цинично, с подчеркиванием теневой стороны. Ничего особенного, индивидуального в этой пленившей его девушке не было; всё до банальности неинтересно, сплошной мираж — катание на лодках, наряды-приманки. Не было и никакого духовного сближения: просто заурядный, легитимный разврат, кажущийся чем-то воздушным и чистым только «в этом сплошном доме терпимости».

В конце концов индивидуальные приметы исчезли. Всё индивидуальное, личное, особенное затушевано или устранено. Потому-то Позднышев так естественно и уверенно вплетает свою историю в поток разоблачений, инвектив, памфлетно-парадоксальных выпадов, что она типична. Он говорит вообще о невестах и женах, женихах и «жениховстве», мужьях и любовниках, детях и докторах, блудниках и модницах.

Постоянно типичность и всеобщность подчеркиваются: герой жил, как живут все, думая, что живет как надо, и женился, как все женятся в том круге общества, к которому принадлежал, и развратничал, как все развратничали, был несчастен в семейной жизни, как все. Потому-то и настаивает на том, что «все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жен, как я сделал». «Я» всё время легко и органично переходит в «мы» и «все».

Свои резкие, вопиющие суждения Позднышев преподносит как бесспорные истины, разрывающие многовековую и искусно сплетенную паутину лжи и лицемерия, опутавшую всю человеческую жизнь и более

всего семейные и половые связи. Здесь нигде и ни в чем нет простых, ясных, чистых отношений, и — главное, искажены нравственные понятия. Тут средоточие всех человеческих драм и несчастий — в душных бордельных и семейных спальнях. И Толстой, безусловно, разделяет почти всё в речах Позднышева. Это сам писатель, а не герой повести, говорил Горькому: «Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет — трагедия спальни». И это Толстой запишет в дневнике 1899 года: «Главная причина семейных несчастий та, что люди воспитаны в мысли, что брак дает счастье... но брак есть не только не счастье, но всегда страдание, которым человек платится за удовлетворение полового желания, страдание в виде неволи, рабства, пресыщения, отвращения, всякого рода духовных и физических пороков супруга, которые надо нести...»

Возрастающие с годами вражда и ненависть между супругами, бесконечная, изматывающая война, повседневная, мелочная, бытовая, на маленьком, но перенасыщенном «капканами» пространстве — таковы узы брака, такова «общая участь» всех, осужденных на вечную семейную каторгу: «А мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющих жизнь друг другу и старающихся не видеть этого».

Длинный монолог Позднышева «горит и жжет огнем нескрываемой, сосредоточенной ярости» (Марк Алданов). Все блудники и блудницы, и все семейные дома — дома терпимости. Половой акт — нечто постыдное, до невозможности скучное, и, гротескно заостряет Позднышев мысль, даже неестественное. Всё мерзко, гадко, «свиное». Все свиньи, и самая большая свинья, далеко превзошедшая животных, это человек — «поганый царь природы», удовлетворяющий свою похоть даже во время беременности женщины, грубо вторгающийся в «святое» и «великое» дело. Впрочем, такое ли уж «великое»? Ведь и дети — «благословение Божие», «радость» — только способствуют ожесточению супружеской войны. В нее втягивают детей, ими «дерутся». В азарте самоосуждения и задоре всеобщего обличения Позднышев развенчивает и всеми признаваемое представление о детях (оправдание брака и фундамент семейного счастья) — «ложь», сентиментальные бредни, слезливая чепуха: «Дети — мученье, и больше ничего».

Марка Алданова повесть в особенности поразила тем, что «внешне трагическое в ней появляется лишь в конце, а могло бы и вовсе не появляться. До самой сцены убийства это обыкновеннейшая из всех

обыкновенных историй. И когда под ногами Позднышева вдруг открывается бездна, мы не можем отделаться от сознания, что на волоске от той же бездны, на волоске от гибели находится каждый живущий человек». Монолог героя в последней криминально-музыкальной части повести достигает трагизма, казалось бы, отодвигая на задний план гротескно-памфлетные обобщения, универсальные обличительные тенденции. Однако именно неискупимая и очень индивидуальная, личная трагедия-вина Позднышева бросает тень трагизма на «общую участь» танцующих на краю бездны людей.

Раз «общая участь», следовательно, это и участь того семейства, к которому принадлежал и сам Толстой, называвший порой в отчаянии его «несчастливым». Конечно, было бы ошибкой усматривать автобиографические и семейные мотивы в «Крейцеровой сонате» как преобладающие и важнейшие для понимания смысла произведения, но несомненно они там присутствуют и не могут быть определены как второстепенные или случайные, спонтанно возникшие.

В дневниках и мемуарах Толстых и современников, как правило, вопрос о конкретных семейных реалиях, отразившихся в повести, деликатно обходится. Есть, правда, исключение — книга Александры Толстой, отношения которой с матерью на протяжении долгого времени были натянутыми, а в последние годы жизни Льва Николаевича откровенно враждебными. Младшая и нелюбимая дочь не щадит мать. Она цитирует в книге «Отец» отрывок из монолога Позднышева («Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку, за ход в винте, все дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности. Во мне, по крайней мере, ненависть к ней кипела страшная! Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви — период злобы; энергический период любви — длинный период злобы, более слабое проявление любви — короткий период злобы...»), так его комментируя: «У Софьи Андреевны была нервная привычка раскачивать ногу и часами мерно стучать ногой о пол, что раздражало ее семейных; или вбирать в себя пищу губами, громко хлюпая. Разве здесь не выражены чувства самого Толстого?»

Выражены, разумеется, выражены; как раз в таких мелочах всего рельефнее истинные чувства и выражаются. Важно то, что Толстой счел необходимым ввести эти «низкие» детали в текст повести, а дочь

постаралась сходство подтвердить. И, пожалуй, еще важнее и существеннее перекличка между многими мотивами повести с дневниковыми записями, что не могло не уколоть в самое сердце Софью Андреевну, бессильно негодующую; «Какая видимая связь связывает старые дневники <не только старые, еще в большей степени новые> Лёвочки с его „Крейцеровой сонатой“. А я в этой паутине жужжащая муха, случайно попавшая, из которой паук сосал кровь».

Паук Толстой, сосущий кровь из Софьи Андреевны, случайной жертвы его неумных похотливых желаний — это, понятно, страшное преувеличение и неудачная метафора. Но нетрудно Софью Андреевну понять: ей представлялось, что глаза всех после злополучной повести устремлены на жену и семью Толстого, обобщения обобщениями, а в основе «Крейцеровой сонаты» пронизательные и не очень даже смышленные читатели в первую очередь увидят историю вполне определенного «несчастливого семейства». Будут судачить, будут злорадствовать, будут смеяться, будут — и это самое тяжелое — жалеть ее.

За дневниками мужа она устроит настоящую охоту, не выбирая средств, а в собственных развернет полемику, с годами становящуюся всё более неистовой и болезненной. «Лёвочка» пристрастен и тенденциозен; он несправедлив в отношении молодых женщин, у которых «нет этой половой страсти, особенно у женщины рожающей и кормящей», страсть, свидетельствует Софья Андреевна, просыпается лишь к тридцати годам. Отвергает обобщающее «мы» Позднышева, уравнивающее мужчину с женщиной: «Корректировала сегодня „Крейцерову сонату“, и опять то же тяжелое чувство; сколько цинизма и голого разоблачения дурной человеческой стороны. И везде Позднышев говорит: мы предавались свиной страсти, мы чувствовали пресыщение, мы везде. Но женщина имеет совсем другие свойства, и нельзя обобщать ощущения, хотя бы половые; слишком разное отношение к ним мужчины и чистой женщины».

Корректуря «Крейцеровой сонаты» жгла руки и бредила душевные раны Софьи Андреевны и в 1891 году и позже: неприятная, ужасная, обидная повесть. Постоянно возвращаясь к ней мыслями, Софья Андреевна высказала всё, что думает о повести и ее создателе, прямо в лицо мужу: «Я ему... сказала, что... он своей последней повестью перед лицом всего мира так больно мне сделал, что счесться нам трудно. Его орудия сильнее и вернее... Не знаю, как и почему связали „Крейцерову сонату“ с нашей замужней жизнью, но это факт, и всякий, начиная с государя и кончая братом Льва Николаевича и его приятелем лучшим — Дьяковым, все пожалели меня. Да что искать в других — я сама в сердце своем

почувствовала, что эта повесть направлена в меня, что она сразу нанесла мне рану, унизила меня в глазах всего мира и разрушила последнюю любовь между нами».

Повесть в списках и копиях знали уже все, кто интересовался литературой и жаждал прочесть новое произведение Толстого. Напечатана она была и в Женеве, но на родине «Крейцерову сонату» к печати не допускали. И тут-то по собственной инициативе и вопреки желанию Льва Николаевича, неодобрительно относившегося к этой затее, Софья Андреевна отправляется в Петербург с целью получить согласие Александра III: «Завтра еду в Петербург, страшно не хочется, жутко и предчувствие неудачи». В Петербурге остановилась у сестры Тани. От Михаила Стаховича узнала, что двоюродная сестра государя Елена Григорьевна Шереметева выхлопотала согласие Александра III принять ее. Стахович показал Софье Андреевне и заготовленное им от ее лица прошение государю. Текст Софье Андреевне не понравился. После встречи с Николаем Страховым, во время которой обсуждался текст Стаховича, тот прислал свой вариант, который ей также не понравился. Из двух вариантов был составлен третий, выправленный затем братом Вячеславом. Вот этот коллективно составленный верноподданный «шедевр»:

«Ваше императорское величество, принимаю на себя смелость всеподданнейше просить ваше величество о назначении мне всемилостивейшего приема для принесения личного перед вашим величеством ходатайства ради моего мужа, графа Л. Н. Толстого. Милостивое внимание вашего величества дает мне возможность изложить условия, могущие содействовать возвращению моего мужа к прежним художественным, литературным трудам и разъяснить, что некоторые обвинения, возводимые на его деятельность, бывают ошибочны и столь тяжелы, что отнимают последние силы у потерявшего уже свое здоровье русского писателя, могущего, может быть, еще служить своими произведениями на славу своего отечества.

Вашего императорского величества верноподданная

Графиня София Толстая.

31 марта 1891 г.».

Легко представить, какое впечатление это всеподданнейшее послание произвело на не верноподданного Толстого, менее всего желавшего служить своими произведениями своему самодержавному отечеству.

С назначением приема явно не спешили. Софья Андреевна нервничала. Решилась уже возвращаться домой и на всякий случай просила Шереметеву сказать о ее отъезде царю. Реакция последовала

незамедлительно: прием был назначен в Аничковом дворце на следующий день. И вот уже она вслед за скороходом бежит по крутой лестнице, обитой некрасивым ярко-зеленым ковром. Ожидает появления государя в большом волнении; сердце учащенно бьется, трудно дышать, кажется, что еще немного — и умрет одна в этой гостиной, не дождавшись возвращения скорохода. Скороход вернулся и повел ее в кабинет Александра III; царь встретил просительницу в дверях. Государь понравился: приятный, певучий голос, ласковые и очень добрые глаза, конфузливая и добрая улыбка, высок, толст, силен, немного похож на Черткова, про которого, как обращенного Толстым, кстати, он осведомился у Софьи Андреевны. Разговор коснулся, разумеется, и запрещения к печати «Крейцеровой сонаты». Государь спросил о возможности переделать повесть, на что посетительница ответила довольно-таки странно, но очень определенно, сказав, что Толстой «никогда не может поправлять свои произведения», а эту повесть особенно, так как она стала ему настолько противна, что и слышать о ней не хочет. Толстой, как хорошо известно, мог править свои произведения до бесконечности, ввергая в отчаяние редакторов и наборщиков, да и «Крейцера соната» была в гораздо большей степени неприятна Софье Андреевне, чем автору. Государь на переделке и не настаивал. Довольно быстро согласился на публикацию повести в полном собрании сочинений.

По собственной инициативе Софья Андреевна обратилась к государю с просьбой стать добровольным цензором художественных произведений Толстого: «Ваше величество, если мой муж будет опять писать в художественной форме и я буду печатать его произведения, то для меня было бы высшим счастьем, если б приговор над его сочинением был выражением личной воли вашего величества». Александр III на столь неожиданную просьбу с радостью согласился и просил присылать сочинения графа на его усмотрение. Не согласился, а удивился и возмутился, правда, сам граф.

Выразил государь и сожаление, что Толстой отстал от церкви. Софья Андреевна никак этот общеизвестный факт отрицать не могла, но сказала о том, что Толстой никаких своих рукописей не распространяет, и даже сожалеет, что это делают без его разрешения, иногда даже прибегая к воровству, что, естественно, вызвало гневное осуждение государя. Поинтересовался монарх и тем, как относятся к учению отца дети. Ответ был двойственным: относятся с уважением, но она их воспитывает в церковной вере. Что же касается обращенной Толстым молодежи, то и тут не было ничего предосудительного, а даже некоторая польза получалась,

так как молодые люди были из тех, что находились на «ложном пути политического зла», а Толстой «обратил их к земле, к непротивлению злу, к любви». То есть, утешала государя Софья Андреевна, «если они не в истине, то на стороне порядка». И разрешение на печатание повести получила, и мужа защитила, и собственную благонамеренность показала. Успех, полный успех.

Словом, разговор был свободным, приятным и полезным. Завершился прием очень ласковым пожатием государем руки Софьи Андреевны. Затем ее провели в приемную императрицы, где и состоялась короткая и пустая светская беседа; выяснилось, что и императрицу поразило, что рукописи Толстого крадут и печатают без его позволения. Запомнились не столько слова (банальный обмен любезностями), сколько облик тоненькой и быстрой императрицы и негр, стоявший у дверей ее приемной.

*

Софья Андреевна рассказывает в дневнике о своем триумфе:

«Не могу не чувствовать внутреннего торжества, что, помимо всех в мире, было дело у меня с царем, и я, женщина, выпросила то, чего никто другой не мог бы добиться. И влияние мое, личное, несомненно, играло в этом деле главную роль. Я всем говорила, если на меня найдет на минуту то вдохновение, которым я сумею завладеть нравственно царем как человеком, я добьюсь своего, и вот это вдохновение на меня нашло, и я склонила волю царя, хотя он очень добрый и способный подпасть хорошему влиянию. Кто прочтет это, сочтет за хвастовство мои слова, — но ошибется и будет несправедлив... А настоящего мотива, самого глубокого всей моей поездки в Петербург никто не угадывает. Всему причиной „Крейцера соната“. Эта повесть бросила на меня тень; одни подозревают, что она взята из нашей жизни, другие меня жалели. Государь и тот сказал: „Мне жаль его бедную жену“. Дядя Костя мне сказал в Москве, что я сделалась une victime и что меня все жалеют. Вот мне и захотелось показать себя, как я мало похожа на жертву, и заставить о себе говорить; это сделалось инстинктивно. Успех свой у государя я знала вперед: еще не утратила я ту силу, которую имела, чтоб привлечь людей стороной симпатии, и я увлекла его и речью и симпатией. Но мне еще нужно было для публики выхлопотать эту повесть. Все знают, что я ее *выпросила* у царя. Если б вся эта повесть была написана с меня и наших отношений, то, конечно, я не стала бы ее выпрашивать для

распространения. Это поймет и подумает всякий. Отзывы государя обо мне со всех сторон крайне лестные. Он сказал Шереметевой, что жалеет, что у него в этот день было спешное дело и что он не мог продлить со мной столь интересную и приятную для него беседу. Гр. Толстая, Александра Андреевна, писала мне, что я произвела *отличное* впечатление. Кн. Урусова сказала, что ей Жуковский говорил, будто государь нашел меня очень искренней, простой, симпатичной и что не думал, что я еще так молода и красива. Все это пища моему женскому тщеславию и месть за то, что мой собственный муж не только никогда не старался поднять меня общественно, но, напротив, всегда старался унижить».

Таково донельзя тщеславное и простодушное резюме Софьи Андреевны о своей встрече с государем, сам факт которой вызвал неудовольствие Победоносцева. Исключительно много места уделено успеху Софьи Андреевны при дворе, комплиментам, которые расточали, говоря о ее молодости, красоте, искренности. О своей молоджавости она часто говорит и на многих других страницах дневника. Осторожно корректирует эти кокетливые страницы дочь Александра, вспоминая мать того времени: «Она была очень моложава. Цвету лица ее, не знавшему ни румян, ни белил, ни даже пудры, позавидовала бы любая красавица. На гладком, белорозовом лице ее не было ни единой морщинки. От частого рождения детей она вся расширела, пополнила. Во всей фигуре ее, в разговоре, в том, как она подносила лорнет к близоруким глазам, была спокойная уверенность. Быстрые движения, легкая походка не гармонировали с ее широкой фигурой... Самого Толстого никак нельзя было назвать старым. Хотя ему шел уже 60-й год, он был здоров и силен. Софья Андреевна любила говорить о своей молодости и его старости, но на самом деле это были только слова — она этого не чувствовала».

Простодушно-хвастливый рассказ Софьи Андреевны выявил всю глубину пропасти, отделявшей ее от Толстого, его убеждений, веры, жизненных принципов. Толстому было неприятно это непрошеное паломничество к царю и его милостивое разрешение допустить к печати «Крейцерову сонату». Поездка жены в Петербург его огорчала. Совершенно очевидно, что тот успех, которым так гордилась Софья Андреевна, не способствовал сближению супругов. Толстой запишет в дневнике: «Было неприятно ее заискивание у государя и рассказ ему о том, что у меня похищают рукописи». Встретится он с супругой после поездки холодно, что нашло отражение в дневнике Софьи Андреевны: «Левочка был недоволен моими похождениями и свиданием с государем. Он говорил, что теперь мы как будто приняли на себя какие-то обязательства, которые

не можем исполнить, а что прежде он и государь игнорировали друг друга и что теперь всё это может повредить нам и вызвать неприятное».

Удачное разрешение печатания «Крейцеровой сонаты» не изменило отрицательного отношения Софьи Андреевны к неприятной повести. Полемику с повестью она продолжит на художественной ниве, создав повести «Песня без слов» и «Чья вина?». Poleмика не получилась: слишком всё надумано, схематично, тенденциозно. Иного, впрочем, и не приходилось ожидать: здесь Толстой в совершенстве владел куда более могущественным оружием.

Но была сфера, где она хотя бы иногда (чем дальше, тем реже) чувствовала себя хозяйкой положения и могла хоть как-то отомстить за то унижение, которым, как казалось, подверг ее муж «Крейцеровой сонатой». Не без злорадства записала в дневник 21 марта 1891 года: «Левочка необыкновенно мил, весел и ласков. И всё это, увы! Всё от одной и той же причины. Если бы те, которые с благоговением читали „Крейцерову сонату“, заглянули на минуту в ту любовную жизнь, которой живет Левочка, и при одной которой он бывает весел и добр, — то как свергли бы они свое божество с того пьедестала, на который его поставили!»

Довольно-таки вульгарный комментарий к заурядным, собственно, событиям супружеской жизни, за которые ни возводить, ни свергать с пьедестала нет ни малейшего резона. Но Софья Андреевна ликует — хоть маленький да реванш, к тому же дана пища для пересудов потомкам. Мужа своего она в некоторых отношениях изучила досконально, хорошо зная, каким неотразимым аргументом, каким раздражающим фактором может быть постель. Простейшая игра в искушения-заманивания и отказы. Так уже было летом 1884 года после рождения Александры. Дневник Толстого не знает лжи и лицемерия, не боится суда потомков, которым надо знать правду и только правду, он, можно сказать, органично исповедален, не скрывает, а, скорее, обнажает слабости и «греховные» побуждения. С каким-то отвращением фиксируются бесконечные семейные сцены, похоть, которую не прогнать и не угасить: «Она начинает плотски соблазнять меня. Я хотел бы удержаться, но чувствую, что не удержусь в настоящих условиях. А сожитие с чужой по духу женщиной, то есть с ней — ужасно гадко». И через неделю о том же, с обидой и отчаянием: «Кажется, что в этот день я звал жену, и она, с холодной злостью и желанием сделать больно, отказала. Я не спал всю ночь. И ночью собрался уехать и пошел разбудить ее. Не знаю, что со мной было: желчь, похоть, нравственная измученность, но я страдал ужасно. Она встала, я всё ей высказал, высказал, что она перестала быть женой. Помощница мужу? Она уже давно

не помогает, а мешает. Мать детей? Она не хочет ею быть. Кормилица? Она не хочет. Подруга ночей. И из этого она делает заманку и игрушку. Ужасно тяжело было, и я чувствовал, что праздно и слабо».

В «Крейцеровой сонате» герой говорит о плотской любви, как о самой сильной человеческой страсти, о похоти и разжигании ее, но говорит обобщенно, она не изображается. Повесть о другом: о том, как фантастически ревнивый муж убил свою жену, убил как «злой и хитрый зверь», но не в бреду и не в затмении рассудка, сочинив измену, роман с соблазнительными сценами, в некотором роде создав музыкальную пьесу. Плотская любовь, похотливое томление в повести где-то в подтексте, как слишком очевидное и само собой разумеющееся. Сугубо личного, интимного, взятого из семейной жизни Толстых здесь, в сущности, немного. Только в возбужденном сознании Софьи Андреевны, подогретом досужими сплетнями, повесть была воспринята как предательский удар мужа и чуть ли не разоблачение семейных тайн. Толстой совершенно спокойно позволил жене держать корректуры повести, не предполагая, что она может быть так пристрастно истолкована. Но другую свою повесть о половой любви, жгучей и неодолимой похоти, которую он написал тогда же, он счел за благо убрать подальше от глаз Софьи Андреевны и детей, спрятав ее в обшивке стоявшего в кабинете кресла. Автограф повести Чертков увез в Петербург, где сделал копию и послал ее Толстому. Сам автограф остался в Петербурге; был отдан на хранение матери Черткова.

10 ноября 1889 года в дневнике появляются загадочные слова: «После обеда неожиданно стал писать историю Фредерикса». А уже 19 ноября этого «Фридрихса» «кончил кое-как»; на следующий день, порубив дрова, переделывал и поправлял в основном законченную историю. Неожиданно началась работа и очень быстро завершилась — значит, давно уже повесть созрела в сознании или подсознании; 24 ноября появилась удовлетворенная запись в дневнике: «Очень весело и усердно пересмотрел Фридрихса. Сходил еще с детьми на пруд и опять писал и кончил». Всё же Толстой, верный давно уже сложившимся принципам и приемам своей работы, в апреле следующего года создает второй вариант повести с другим окончанием: «Думал за это время о повести Фридрихса. Перед самоубийством раздвоение: хочу я или не хочу? Не хочу, вижу весь ужас, и вдруг она в красной паневе, и всё забыто. Кто хочет, кто не хочет? Где я? Страдание в раздвоении, и от этого отчаяние и самоубийство».

Фредерикс или Фридрихс — это Николай Николаевич Фридрихс, тульский судебный следователь. Он вскоре после женитьбы на дворянке убил выстрелом из револьвера в живот свою бывшую возлюбленную-

крестьянку Степаниду Муницыну. Спустя два месяца его самого нашли раздавленным поездом. Осталось неясным, был ли это несчастный случай (следователь плохо видел) или он покончил жизнь самоубийством. Тульский окружной суд оправдал Фридрихса.

Такова история, послужившая толчком для работы над повестью, получившей окончательное название «Дьявол». История возбудила целый ряд потаенных воспоминаний, ярко и отчетливо осевших в памяти — давних и не очень. Вспомнилась яснополянская крестьянка Аксинья Базыкина, которую любил до женитьбы, что оскорбило Софью Андреевну, ревновавшую мужа ко всем его старым увлечениям, в страшном сне растерзавшую ребенка, оказавшегося куклой, этой «толстой» и «белой» бабы. Вспомнился и сравнительно недавний и неудержимый, «дьявольский» приступ страстной похоти к кухарке Домне, о котором он рассказал в покаянном письме к Черткову (август 1884 года):

«Скажу вам то, что со мной было и что я никому еще не говорил. Я подпал чувственному соблазну. Я страдал ужасно, боролся и чувствовал свое бессилие. Я молился и все-таки чувствовал, что я без сил. Что при первом случае я паду. Наконец, я совершил уже самый мерзкий поступок, я назначил ей свиданье и пошел на него. В этот день у меня был урок со вторым сыном. Я шел мимо его окна в сад, и вдруг, чего никогда не бывало, он окликнул меня и напомнил, что нынче урок. Я очнулся и не пошел на свиданье. Ясно, что можно сказать, что Бог спас меня. И действительно он спас меня. Но после этого разве искушение прошло? Оно осталось то же. И я опять чувствовал, что наверно паду. Тогда я покаялся учителю, который был у нас, и сказал ему не отходить от меня в известное время, помогать мне. Он был человек хороший. Он понял меня и, как за ребенком, следил за мной. Потом еще я принял меры к тому, чтоб удалить эту женщину, и я спасся от греха, хотя и не от мысленного, но от плотского, и знаю, что это хорошо».

События реальные, подтвержденные воспоминаниями Василия Ивановича Алексеева, поступившего учителем в Ясную Поляну осенью 1877 года и жившего там до 2 июня 1881 года; где-то в этот временной промежуток и испытал Толстой этот неодолимый чувственный соблазн. Алексеев был человеком незаурядным, отзывчивым, добрым, тонким; Толстой с ним подружился и находился одно время в доверительной, откровенной переписке. Алексеев в воспоминаниях сообщил имя и занятия той, кем так сильно увлекся Толстой, и дал свое описание: молодуха «лет 22–23, не скажу, чтобы красивая, но — кровь с молоком, высокая, полная, здоровая и привлекательная. Муж ее, кажется, был в солдатах».

Подробно рассказал Алексеев и об этом совершенно уникальном, поразительном происшествии, в котором ему невольно пришлось принять участие:

«Не могу пройти молчанием происшествие со Львом Николаевичем, которое сильно потрясло его и оставило глубокий след на всю жизнь в его душе. Случай этот касается чувственного соблазна плоти...

Подходит однажды Лев Николаевич ко мне взволнованным и просит меня помочь ему. Смотрю — на нем лица нет. Я удивился, чем я могу помочь ему. Он говорит взволнованным голосом:

— Спасите меня, я падаю.

Такие слова меня испугали. Чувствую, что у Льва Николаевича что-то не ладно. У меня на голове даже волосы зашевелились.

— Что с вами, Лев Николаевич? — спрашиваю его.

— Меня обуревают чувственный соблазн, и я испытываю полное бессилие, боюсь, что поддамся соблазну. Помогите мне.

— Я сам слабый человек, чем же я могу помочь вам, — говорю ему.

— Нет, можете помочь, только не откажитесь.

— Да что же я должен сделать, — говорю, — чтобы помочь?

— А вот что: не откажитесь сопровождать мне во время моих прогулок. Мы будем вместе с вами гулять, разговаривать, и соблазн не будет приходить мне на ум.

Мы пошли, и тут он мне рассказал, как он во время прогулок почти каждый день встречает Домну, людскую кухарку, как он сначала молча несколько дней следовал за нею, и это ему было приятно. Потом, следуя за ней, стал посвистывать: затем стал ее провожать и разговаривать с нею, и, наконец, дело дошло до того, что назначил ей свидание. Затем, когда он шел на свидание мимо окна дома, в нем происходила страшная борьба чувственного соблазна с совестью. В это время Илья (второй сын), увидев отца в окно, окликнул и напомнил ему об уроке с ним по греческому языку, который был назначен на этот день, и тем самым помешал ему. Это было решающим моментом. Он точно очнулся, не пошел на свидание и был рад этому. Но этим дело не кончилось. Чувственный соблазн продолжал его мучить. Он пробовал молиться, но и это не избавляло его от соблазна. Он страдал и чувствовал себя бессильным. Чувствовал, что наедине он каждую минуту может поддаться соблазну, и решил испытать еще одно средство — покаяться перед кем-нибудь, рассказать всё подробно о силе подавляющего его соблазна и о душевной слабости его самого перед соблазном. Вот почему он и пришел ко мне и рассказал всё подробно, чтобы ему стало как можно больше стыдно за свою слабость. Кроме того, чтобы избавиться от

дальнейших условий соблазна, он просил меня каждый день сопутствовать ему во время прогулок, когда он обыкновенно бывает совершенно один. Я, конечно, был рад случаю побольше бывать с Львом Николаевичем, побольше говорить с ним обо всем, и мы стали гулять вместе каждый день. После этого у нас и речи не было о его соблазне. Мне неловко было поднимать разговор, да и ему-то, вероятно, неприятно было вспоминать об этом. Затем он принял меры, чтобы и Домна эта ушла куда-то на другое место».

Рассказ учителя о «происшествии», случившемся с Толстым, и о разговоре с писателем, со стенографической точностью, беспристрастно и одновременно деликатно воспроизведенный в воспоминаниях Алексева, просто драгоценен, дает редчайшую возможность заглянуть в самые потаенные уголки внутренней жизни создателя «Крейцеровой сонаты», «Дьявола», «Отца Сергия» (все три повести задумывались и писались почти одновременно, но читатель раньше ознакомился с пропагандистской и тенденциозной Сонатой; «Отец Сергей» будет спрятан в письменном столе). Рассказ, вне всякого сомнения, является и замечательным «комментарием» к повести «Дьявол», герой которой, обуреваемый чувственным соблазном, не может его преодолеть, несмотря на все меры (весьма схожие с теми, что предпринимал Толстой).

«Дьявол» не дополнение к «Крейцеровой сонате» и не полемика с ней. Тем не менее повесть представляет собой полный контраст с отрицательной и злой «Крейцеровой сонатой» и ее содержание в гораздо большей степени согласуется с евангельскими эпитафиями, против присутствия которых в произведениях еретика и смутьяна Толстого так выступал Победоносцев. В «Дьяволе» другой герой, другая атмосфера, другая, мягкая и грустная, тональность. Иртенев — прямая противоположность Позднышеву (и подпольным, ущемленным парадоксалистам Достоевского), вызвавшему такую единодушную неприязнь читателей. Он одаренный человек, к тому же в рубашке родившийся — прекрасное домашнее воспитание, блестящее образование, связи с самым высшим обществом, удачное начало карьеры в министерстве под покровительством министра, которой он добровольно предпочел деревенскую жизнь в родовом имении, что, с точки зрения Толстого, отрицательно относившегося к любым карьерам, хорошо рекомендовало благородного и честного молодого человека в расцвете физических и духовных сил. Его все любили и уважали, а мать так и обожала. Очень располагал к доверию, дружбе, любви весь его облик: «Нельзя было не верить тому, что он говорил, нельзя было предполагать обман, неправду

при таком открытом, честном лице и, главное, глазах».

И в семейной жизни Иртенева не было ничего даже отдаленно похожего на ту бесконечную и злобную войну, с такой яростью, с таким задором и азартом обрисованную в обличительном монологе Позднышева. Не только попыток самоубийства, безобразных семейных ссор, взаимных оскорблений, но даже небольших отступлений от правил хорошего тона не было в семейной жизни Иртенева: вздорную и глуповатую тещу уверенно и мягко умирала преданная, любящая, тактичная жена, правда, ревновавшая мужа, что немного досаждало — так ведь это ревность от большой любви, комильфотная, не то что бешеная звериная злоба прирожденного ревнивца Позднышева.

Лиза не просто хорошая жена, жить с которой Иртеневу стало веселее, приятнее, легче. Она идеальная жена, в которой было то, что «составляет главную прелесть общения с любящей женщиной, в ней было благодаря любви к мужу ясновиденье его души». Она собрание всех добродетелей, в ней «было пропасть вкуса, такта и, главное, тишины»; Лиза всё делала незаметно, но безупречно. Чистота, порядок, изящество воцарились в доме и имении Иртенева. На первых порах были серьезные семейные несчастья — падения, выкидыш, болезни жены, но и это миновало: Лиза благополучно и неожиданно легко родила прекрасную и здоровую девочку, кормить которую она, правда, не смогла, но это обстоятельство не повлияло отрицательно на семейную жизнь и не настроило жену в период свободы от беременности и кормления на кокетливый лад. Таким образом, приходится оценить отношения в семье Иртенева как исключение из той «общей участи», о которой так красноречиво, отменяя любые возражения, говорил Позднышев. Кстати, в «Дьяволе» необыкновенно мало (и они вторичны, боковые или на заднем плане) теоретических рассуждений, обобщений, сентенций и совсем нет отступлений. Повесть написана, если воспользоваться своеобразной и образной терминологией Толстого, «полной» художественной манерой, и рассуждения в обоих финалах, отвергающие предположение о сумасшествии убийцы (самоубийцы), кажутся ненужными и неловко приклеенными.

Все хорошо, уютно, прилично, благополучно в доме Иртенева. Кроме одного: Иртенев уважает, ценит, жалеет Лизу, очень стремится полюбить, но не любит, мысленно изменяет с другой. Его влечет неудержимо, страстно, вопреки всем доводам рассудка к румяной, веселой, озорной, бесстыжей, распутной, босоногой Степаниде (Степаше), привыкшей и любившей «шалить». Острая, обжигающая похоть, сметающая все нравственные преграды, не говоря уже о сословных. Он боится

ясновидения жены, тяготят ее добродетели, безотчетно раздражают длинные белые руки с угловатыми локтями, слабая, желтая, с неизменной сияющей улыбкой встречающая мужа, беззаветно преданная, любящая жена, с которой просто невозможно поделиться неотвязно преследующими, как дьявольское наваждение, такими «неблагородными» мыслями и чувствами. Иртенев поведал свою тайну дядюшке, обрюзгшему блуднику и пьянице, на снисхождение которого, как многоопытного грешника, мог рассчитывать (между ними состоялся комический разговор — старый распутник с удовольствием впитывал постыдные признания, осуждая лишь неосторожность выбора места для блуда «в своем именье»).

«Меры», принятые Иртеневым, дабы обуздать чувственный порыв — пост, молитва, усиленная физическая работа, исповедь дядюшке, попытка удалить Степаниду из имения, — нисколько не помогают. Босоногий «дьявол», робко улыбавшийся при давнем первом свидании, длившемся каких-то четверть часа, и определившем судьбу героя, станет его наваждением. Робость быстро пройдет, Степанида была смела, умна, догадлива и на свой лад неотразимо кокетлива — с молодым барином окажется легко, выгодно и приятно «шалить», она привяжется к нему, но гораздо сильнее привяжет к себе, поработит и будет наслаждаться своей властью, искушая жертву. Изгнанный, даже на долгое время, соблазнительный дьявол в белой вышитой занавеске, красно-бурой паневе, красном ярком платке (красный цвет преобладает — цвет страсти, чувственных наслаждений, похоти) появляется вновь и вновь, как фатум, как неизбежность, как образ одновременно грешной, преступной любви и смерти. Перед его внутренним взором будет вдруг зримо возникать, прогоняя докучливый голос совести, знакомый образ: улыбающиеся веселые черные глаза, улыбающееся лицо, высокая грудь, белые икры, грудной голос, покачивающаяся походка, свежий след босой ноги на тропинке, дурманящий запах чего-то свежего и сильного, и, разумеется, красный платок и красная панева — главные приметы Степаниды. Лескову по душе пришлись не слишком остроумные и удачные рассуждения Позднышева о «джерси» и «нашлепках», невинных женских приманках. Но что бы он сказал о паневе и платке Степаниды, если бы довелось прочитать эту повесть Толстого? Пожалуй, тут бы он возражать и полемизировать с одной опасной и вредной тенденцией не стал, слишком хорошо был знаком автор рассказа «Леди Макбет Мценского уезда» с голосом страсти. Должно быть, просто восхитился бы искусством Толстого-художника, его ясновидением, смелостью и дерзостью используемых писателем «простых» художественных средств.

Однажды Иртенев, вспомнив легендарного старца, сжегшего пальцы на жаровне и только тем победившего соблазн перед женщиной, попытался повторить этот поступок, но отдернул закопченный палец и засмеялся над собой. Это ворвавшийся в произведение мотив из другой, одновременно с «Дьяволом» создававшейся повести «Отец Сергей». Мотив зажегся и тут же погас. Иртенев уничтожил соблазн более радикальным способом, обойдясь без, так сказать, литературного «плагиата». Эти литературные параллели совершенно необходимы в «Отце Сергии», повести, которую современная исследовательница Анна Гродецкая определяет как «антижитие с героем антисвятым», где праздность монашества стала одним из главных мотивов разоблачений и обличений Толстого, а православный критик и богослов Кирилл Иосифович Зайцев (архимандрит Константин) — как «какой-то монашеский кошмар», считая, что художественный по заданию рассказ «превращается в пасквиль, который содержит элементы кощунства: чудеса начинают изливаться от упитывающего свое чрево, изощряющего свое тщеславие о. Сергия».

Толстой считал борьбу с чувственностью важным, но все-таки не главным мотивом повести «Отец Сергей» (в «Дьяволе» — это мотив доминирующий, господствующий): «Борьба с похотью тут эпизод или, скорее, одна ступень, главная борьба — с другим — с славой людской». Пожалуй, центральной сценой повести является сцена великого падения и унижения героя, может быть, самая жестокая и натуралистичная во всем творчестве Толстого. Именно об этой сцене писал Горький в своем прекрасном очерке-воспоминании: «В одном месте рассказа, где он с холодной яростью бога повалил в грязь своего Сергия, предварительно измучив его, — я чуть не заревел от жалости». Горький рассказал и о реакции Леопольда Антоновича Сулержицкого (Сулера; Толстой о нем — «самый чистый человек, какого я знаю»), приведя прелюбопытный диалог между ними:

«Читал Сулеру и мне вариант сцены падения „Отца Сергия“ — безжалостная сцена. Сулер надул губы и взволнованно заерзал.

— Ты что? Не нравится? — спросил Лев Николаевич.

— Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Эта гнилая девица, и груди у нее, как блины, и все. Почему он не согрешил с женщиной красивой, здоровой?

— Это был бы грех без оправдания, а так — можно оправдаться жалостью к девице — кто ее захочет, такую?

— Не понимаю я этого...

— Ты многого не понимаешь, Левушка, ты не хитрый...»

Достоевский вспомнился Сулержицкому потому, что у того такая уж репутация сложилась после статьи Михайловского «Жестокий талант». Стилистика Достоевского мягче и сентиментальнее; гораздо более оправданными представляются параллели с некоторыми произведениями Горького («Страсти-мордасти», «Сторож»), Луи Селина, В. Шаламова, У. Стайрона, Лукино Висконти, Луиса Бюньюэля, Ларса фон Триера. Но это рассуждение так, между прочим, и для того, чтобы не замыкаться в рамках конца XIX — начала XX века. Существенно, что такую жестокость, безжалостность Толстой считал художественно необходимой: «Он думал, что живет для Бога, а под эту жизнь так подставилось тщеславие, что божьего ничего не осталось, и он пал; и только в падении, осрамившись навеки перед людьми, он нашел настоящую опору в Боге. Надо опустить руки, чтобы стать на ноги».

Это из письма к одному из членов смоленской земледельческой общины; в том же духе и запись в дневнике: «Надо, чтобы он боролся с гордостью, чтоб попал в тот ложный круг, при котором смирение оказывается гордостью; чувствовал бы безвыходность своей гордости и только после падения и позора почувствовал бы, что он вырвался из этого ложного круга и может быть точно смиренен. И счастье вырваться из рук Дьявола и почувствовать себя в объятиях Бога».

Герой повести «Дьявол» не почувствовал себя «в объятиях Бога» и не нашел после позорного «падения» опоры, не стал на ноги. Но там, в сущности, и нет никакого «падения», тем более унижительного, срамного, постыдного не было, во всяком случае, реального (в воображении, умственно герой много раз совершает акт прелюбодеяния). Иртнев всё время балансирует над бездной, и когда ему становится слишком ясно, что он не может одолеть вожделение, что неминуемо должна последовать «гибель», совершает самоубийство (в другой версии конца — убийство «дьявола»). Повесть — об иррациональной, неодолимой чувственной страсти, вечной человеческой трагедии, от которой не застрахован никто, ни один человек, как бы высоко ни стоял он на иерархической лестнице, к какому бы сословию ни принадлежал, какими бы дарами природы ни был наделен. Никаких других существенных мотивов в этой, несомненно исповедальной повести нет, как нет и задора отрицания, обличения, равно и азарта самоосуждения. В творчестве позднего Толстого — это самое нетенденциозное произведение.

Жестокость и безжалостность почти всегда орудия тенденции. В повести «Дьявол» «падение» изображено так поэтично и мягко, что его и «падением» как-то неловко назвать, а «грех» так привлекателен и поэтичен,

что его «грешно» осуждать. Свидания в ореховой и кленовой чаще, облитой ярким солнцем, в шалаше, в караулке, в сенном сарае, в овраге, где треснула сломанная ветка и обстрекался Иртенев, теплые июньские дожди, «случайные» встречи любовников («и он и она не шли прямо на свиданье, а старались только сходиться»). Любовь — страсть: Иртенев «упивается» Степанидой, наблюдает за ней со второго этажа и тщетно долго ожидает ее появления, стоя за кустом орешника, а его воображение соблазнительно рисовало с неотразимой прелестью ее образ. Любовь-игра, захватывающая и веселая; не дождавшись любовника в обычном месте в лесу, бойкая, ловкая, легкая Степанида переломала в досаде всё, до чего могла достать рукой: черемуху, орешень, молодой клен толщиной в кол — ее приметы, память, цепи рабства, связавшие их. Слов почти нет, да они и не очень нужны; обжигающий смеющийся взгляд «говорил о веселой, беззаботной любви между ними, о том, что она знает, что он желает ее, что он приходил к ее сараю и что она, как всегда, готова жить и веселиться с ним, не думая ни о каких условиях и последствиях». Беспримесная стихия веселой, беззаботной любви-игры без всяких там дум о греховности, стыде, разных условиях и последствиях. Если это и «дьявол», то очень привлекательный, да и нельзя убить «дьявола» — убить можно только себя.

Софья Андреевна все-таки обнаружила спрятанную повесть. Толстой вдруг решил «просмотреть» ее в феврале 1909 года. Просмотром остался недоволен: «Тяжело, неприятно». Софья Андреевна уже давно шпионила за мужем, беспокоясь о скрываемых от нее дневниках, письмах и произведениях, везде подозревая коварные умыслы Черткова, дочери Александры и других. Накопила уже немалый «исследовательский» опыт, так что тайник обнаружить ей удалось, что и отразилось в ежедневниках (запись, от 11 мая): «Неприятное чтение „Дьявола“, сочинение Л. Н., которое он от меня скрывал». Дальше — больше. Чтение возбудило Софью Андреевну, вспомнившую, должно быть, не только все «соблазнительные» сцены в произведениях мужа, но и ненавистную Аксинию Базыкину. Неудивительно, что через день разразился семейный скандал, к счастью, завершившийся слезами и примирением. Хроника событий воспроизведена в дневнике Толстого: «За завтраком Соня была ужасна. Оказывается, она читала „Дьявол“ и в ней поднялись старые дрожжи, и мне было очень тяжело. Ушел в сад. Начал писать письмо ей то, что отдать после смерти, но не дописал, бросил, главное оттого, что спросил себя: зачем? Сознал, что не перед Богом для любви. Потом в 4 часа она всё высказала, и я, слава Богу, смягчил ее и сам расплакался, и обоим стало хорошо».

Осуждать Софью Андреевну нелепо и бессмысленно; она всегда была

ревнива, и в гораздо большей степени, чем выдержанная и деликатная жена героя повести «Дьявол», а в последние годы жизни Льва Николаевича отношения между супругами, как и вообще между Толстыми в Ясной Поляне и за ее пределами, были предельно напряженными. «Дьявол» — произведение очень откровенное (рассказ о «падении», которое могло бы случиться, не будь приняты разные энергичные меры) и очень «толстовское», в котором выпукло отразились неоценимые черты личности и жизненного пути писателя — бесстрашие самоанализа и постоянное самосовершенствование. Лесков с нескрываемым восхищением писал Суворину об этих драгоценных свойствах натуры Толстого: «Себя совсем переделать, может быть, и нельзя, но несомненно, что намерения производят решимость, а от решимости усилия, а от усилия привычка, и так образуется то, что называют „поведением“. Припомните-ка, каков был Лев Николаевич, и сравните — каков он нынче!.. Всё это сделано усилиями над собою и не без промахов и „возвратов на своя блевотины“. Об этом нечто известно многим, да и сам он в одном письме пишет: „Только думаешь, что поправился, как, глядишь, и готов, — опять в яме“... А если бы он не „поправлялся“, — то... каков бы он был с этим страстным и гневливым лицом?.. А он себя переделал и, конечно, стал всем милее и самому себе приятнее».

Но тут непременно надо добавить, что процесс «поправки» никогда не прекращался, постоянно было и недовольство Толстого собой, часто отмечающего в дневниках свои «грехи», нумерующего их, в первую очередь во всем винящего себя и стремящегося этому искусству, как свидетельствует Татьяна Львовна, обучить дочерей и сыновей. Татьяна Львовна, истинная дочь своего неугомонного, более всего ценящего правду отца, необыкновенно точно, в его же духе, отчетливо понимая, что лесть и идеализация были бы здесь просто преступны и нестерпимо фальшивы, сказала, отчасти согласившись с Лесковым: *«Единственная причина, почему книги, взгляды и жизнь отца настолько выше общего уровня и приковали к нему внимание всего света, это та, что он всю жизнь искренно сознавал и изо всех сил боролся со своими страстями, пороками и слабостями. Его громадный талант, гений доставили ему заслуженную литературную славу среди так называемого „образованного общества“, но что всякий крестьянин из всякого глухого угла знал, что мог обратиться к нему за сочувствием в делах веры, самосовершенствования, сомнений и т. п., — этому он обязан тем, что ни одного греха, ни одной слабости в себе он не пропустил, не осудив ее и не постаравшись ее побороть. Натура же у него была не лучше многих, может быть, хуже многих. Но он никогда в*

жизни не позволил себе сказать, что черное — белое, а белое — черное или хоть бы серое».

Голод

Голодные годы в России случались нередко — и в XIX веке, и в XVII, и раньше. И позже. Вопреки логике и здравому смыслу, с какой-то дьявольской регулярностью. Герой «Деревни» Бунина с горестным недоумением размышлял над странной и парадоксальной историей своего, казалось бы, такого изобильного края: «Господи Боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода».

Так что голод 1891–1892 годов, поразивший десятки губерний России, большой неожиданностью не был, он на первых порах даже особой тревоги не вызывал. Полагали — и этот оптимистический тон преобладал в прессе, — что разумные, энергичные меры правительства и щедрые пожертвования помогут сравнительно быстро и легко преодолеть кризис. Однако бедствие оказалось и масштабнее, и злокачественнее.

Первые тревожные симптомы надвигающегося народного несчастья появились уже в конце весны. Татьяна Львовна с некоторой растерянностью и с оглядкой на мнения отца, которому так трудно следовать, пишет в своем дневнике 24 мая: «Ужас как много бедных в эти дни приходит, и отовсюду слышно, что и предстоящий урожай будет очень плох. Рожь и овес желтеют и пропадают, а у нас, где всходы и зелены были хороши, на рожь напало какое-то черненькое насекомое, и от него колос желтеет и теряет зерна. Меня беспокоит эта бедность, но я ничего не делаю, чтобы помочь. Я знаю, что единственное средство — это всем убавить свои требования и поменьше поглощать чужих трудов; но я и этого не делаю и со страхом вижу, что мои привычки и требования всё увеличиваются».

Скоро о голоде стали говорить повсюду. Сначала Толстой был раздражен слухами, призывами к пожертвованиям и благотворительности, к которой он относился отрицательно, считая вредной и только отвлекающей от уяснения подлинных причин общего неблагополучия, главных болезней нового времени. Об этом со всей очевидностью свидетельствует дневниковая запись от 25 июня: «Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасать их. И как это противно! Люди, не думавшие о других, о народе, вдруг почему-то возгораются желанием служить ему. Тут или тщеславие — высказаться,

или страх; но добра нет... Нельзя начать по известному случаю делать добро нынче, если не делал его вчера. Добро делают, но не потому, что голод, а потому, что хорошо его делать».

Чем Толстой возмущен, абсолютно понятно. И он не собирается отказываться от своего мнения о благотворительности вообще и благотворительности денежной в особенности. Но он несправедлив ко многим своим современникам, усматривая в их словах о необходимости помощи голодающим тщеславие и страх. Сам факт, что о голоде так широко и довольно-таки откровенно и горячо заговорили, был, несомненно, большим шагом вперед, торжеством гласности, пусть и очень урезанной. Лесков свою «рапсодию» «Юдоль» (об ужасах голодного 1840 года) открыл историческим сравнением, которое было явно не в пользу старой «глухой поры»: «Теперь (с наступлением весны 1892 года) мы можем сказать, что мы очень благополучно пережили крайне опасное положение, какое подготовили нам наше плохое хозяйство и неурожай прошлого лета!.. Беда сошла с рук сравнительно легко. Страдания поселян, описываемые корреспондентами современных изданий, конечно, были велики и, как говорят, — „вопиют к небу“; но „ужас“ впечатления, какое эти описания производят, очень слаб в сравнении с тем, что сохраняет в несвязных отрывках память о прошлых голодовках, когда не было никакой гласности и никакой общественной помощи людям, „избывавшим от глада“».

В «Юдоли» обычно отмечают воззрения, которые Лесков «разоблачал», и влияние «проповеди» Толстого. Тенденциозное прочтение произведения, в котором Лесков менее всего стремился с кем-либо полемизировать. Да и о влиянии Толстого здесь можно рассуждать лишь в самом общем плане — и оно не нанесло никакого ущерба художественной мысли Лескова в мастерски и «фантазировано» (Толстой такой слишком художественный, с демонстрацией языковых «фокусов» стиль осуждал) написанной «рапсодии», основой которой стали мифологизированные отрывочные «воспоминания» «барчука», сложным образом объединенные и дополненные легендарными слухами и баснями, неотделимыми от так называемых исторических реалий. Слухи и легенды, возможно, как раз самая «реальная» и важная часть этой достопамятной ужасной истории. Слухи начинают формироваться вокруг разных «видимых признаков», «прорекающих» голод. Рождается настоящая вакханалия суеверий и великий спрос на доморощенных мастеров черной и белой магии. Наступает всеобщее озлобление и одичание, нагнетаемое уже не предчувствиями, а явными и грозными признаками беды. Совершается

«общественное преступление»: ритуальное убийство с целью получить магическую свечу, «сделанную из сала опившегося человека». Воспроизводятся традиционные, страшные легенды о людоедах, в основу которых легли гораздо более ужасные в своей «натуральной простоте» действительные происшествия, изложенные Лесковым со всеми «трогательными» и жестокими подробностями.

Подробно исследуется соотношение слухов и реальности в рассказах о женщинах, ходивших к «колодцам» в те голодные времена, когда «кошкодралы» «цинически рассказывали, что „кошка стоит грош *вместе с хозяйкою*“». В письме к Михаилу Осиповичу Меньшикову Лесков остановился на значении этого «фривольного» сюжета в рапсодии о старом голодном годе: «Голод не только мучит, но он деморализует народ во все стороны, и это потом так и остается, и развивается. Один старожил в моем родном городе Кромах говорил мне: „...воры и разбои у нас были завсегда, но блядь, за самую пустяковину, — пошла с голодного года. Тут как навывкли за *калач* блясти — так и блядуют до сей поры“». Голод — «плохой друг добродетели». Голод унижает и развращает. Оставляет неизгладимые черты на нескольких поколениях. Время, когда люди «за нуждою и утеснениями забывают о высшем». И с этим голодом тесно связан другой, который гораздо труднее утолить — голод ума, голод сердца и голод души: здесь уж точно никакая благотворительность не поможет. Здесь Лесков ближе всего соприкасается с мыслями Толстого о голоде и любви к ближнему. Голодная година миновала, вновь пошла веселая, сытая и пьяная гульба, и разливалось на косогоре, где стоял кабак: «Наваримте, братцы, пива молодого...» Однако эти звуки уже не радуют «барчука» — ему отраднее слушать другие песни, другие небесные звуки, преодолевающие времена и пространства, уносящие куда-то навстречу иным мирам, там, где Он подает то, «что делает иго его благим и бремя его легким...». Явно мистический поворот темы, больше в духе Достоевского, чем Толстого, которого Лесков попросил разъяснить, что необходимо сделать для борьбы с голодом.

Толстой давал советы в полном согласии с неоднократно и недвусмысленно выраженными им в религиозных и публицистических произведениях взглядами. Он рекомендовал «все силы употреблять на то, чтобы противодействовать — разумеется, начиная с себя — тому, что производит этот голод. А взять у правительства или вызвать пожертвования, т. е. собрать побольше мамона неправды и, не изменяя подразделения, увеличить количество корма, — я думаю не нужно, и ничего, кроме греха, не произведет... И потому против голода одно нужно

— чтобы люди делали как можно больше добрых дел... Доброе же дело не в том, чтобы накормить хлебом голодных, а в том, чтобы любить и голодных и сытых. И любить важнее, чем кормить, потому что можно кормить и не любить, т. е. делать зло людям, но нельзя любить и не накормить... И потому, если вы спрашиваете: что именно вам делать? — я отвечаю: вызывать, если вы можете, в людях любовь друг к другу, и любовь не по случаю голода, а любовь всегда и везде; но, кажется, будет самым действительным средством против голода написать то, что тронуло бы сердца богатых. Как вам Бог положит на сердце, напишите, и я бы рад был, кабы и мне Бог велел написать такое».

Довольно вялая проповедь — совершенно очевидно, что Толстой не собирался активно участвовать в борьбе с голодом. Для печати письмо не предназначалось: просто ответ на вопросы знакомого и очень уважаемого человека. Но оно туда попало без ведома и согласия как Толстого, так и Лескова, который прочитал письмо журналисту Фаресову, близкому своему знакомому. Журналистские инстинкты возобладали — и письмо появилось в одной газете, затем перепечатала другая, посыпались иронические и враждебные реплики (надо сказать, единодушные). Лесков извинился за себя и бесцеремонного журналиста. Толстой снисходительно простил его и публикатора, невольно втянувших писателя в разговор, который он предпочел бы избежать.

Казалось, появились веские основания отойти в сторону от раздражавших разговоров о голоде, народной беде, пожертвованиях. Толстого мало волновали журналистские оценки его позиции. Невыносимо было слушать рассказы тех, кому он не мог не доверять, о бедственном положении голодающих — после них трудно было уснуть. Даже Софья Андреевна писала о голоде мужу, вовсе не предполагая, что он вскоре уедет вместе со старшими дочерьми устраивать столовые для голодающих: «Дунаев и Наташа <сестра жены Ильи Львовича> рассказывали о голодающих и опять мне всё сердце перевернуло, и хочется забыть и закрыть на это глаза, а невозможно; и помочь нельзя, слишком много надо. А как в Москве это ничего не видно! Всё то же, та же роскошь, те же рысаки и магазины, и все всё покупают и устраивают, как и я, пошло и чисто свои уголки, откуда будем смотреть в ту даль, где мрут с голода. Кабы не дети, ушла бы я нынешний год на службу голода, и сколько бы ни прокормила, и чем бы ни добыла, а всё лучше, чем так смотреть, мучиться и не мочь ничего сделать».

Совсем в духе Льва Николаевича письмо, даже современный Вавилон обличающее. Что касается Толстого, то рассказы о голодающих уже

перевернули его сердце, внеся смуту в устоявшиеся и «правильные» суждения. Дневники отразили сумбур в мыслях и некоторую растерянность. Чего стоит только извилистое рассуждение о деньгах, которые и тратить на помощь голодающим — грех, и не тратить — грех: «О деньгах думал. Можно так сказать: употребление денег — грех, когда нет несомненно нужды в употреблении их. Что же определит несомненность нужды? Во-первых, то, что в употреблении нет произвола, нет выбора, то, что деньги могут быть употреблены только на одно дело; во-вторых (забыл). Хочу сказать — то, что неупотребление денег в данном случае будет мучить совесть, но это неопределенно». А что определено? Польза организации столовых и то еще сомнительна. И всё же «теорию», проповедь пришлось отодвинуть в сторону (пусть и временно). Не до нее, когда пришла беда, требовавшая действий, сильных волевых решений, последовательности поступков. Огорчила жена, оказывается, не только не собиравшаяся «на службу голода», но и его попытавшаяся отговорить. Софью Андреевну ужасал будущий отъезд мужа и дочерей в степь: опять жизнь врозь и вечное беспокойство о муже и детях, а тут еще и сын Лев собрался ехать на борьбу с голодом в Самару, и надо давать деньги на сомнительное дело по устройству столовых. Есть отчего впасть в «полную апатию». Но апатия, впрочем, длилась недолго: деятельная и беспокойная натура Софьи Андреевны ее быстро одолела, да она и сама чувствовала, что расставание неизбежно, как неизбежны и жертвы, и что народу необходимо помогать. Огорчил старший сын Сергей, с которым имел неприятный разговор. Огорчил и брат Сергей — Толстой поехал к нему в Пирогово и натолкнулся там на холодное сопротивление: брат встретил его и племянницу Татьяну очень недружелюбно, «говорил, что они учить его приехали, что вы, мол, богаче меня, вы помогайте, а я сам нищий».

Выражала недовольство непоследовательными действиями отца и дочь Татьяна, сопровождавшая его в поездках по деревням, предпринятым для выяснения истинной картины бедствия. Только что в газетах появилось заявление Толстого о том, что он предоставлял всем желающим право издавать безвозмездно в России и за границей все сочинения, написанные им с 1881 года, а равно и все будущие его произведения. Написанное до 1881 года оставлялось в пользу семьи. Для организации помощи голодающим, устройства столовых требовались деньги; пришлось обратиться к Софье Андреевне, что было, конечно, отступлением и вынужденной непоследовательностью. Татьяна Львовна со свойственными ей правдивостью и острым, бескомпромиссным аналитическим умом четко обрисовала ситуацию и свое отношение к позиции отца в дневнике 26

октября:

«Мы накануне нашего отъезда на Дон. Меня не радует наша поездка, и у меня никакой нет энергии. Это потому, что я нахожу, что действия папа непоследовательны и что ему непристойно распоряжаться деньгами, принимать пожертвования и брать деньги у мама, которой он только что их отдал. Я думаю, что он сам это увидит. Он говорит и пишет, и я это тоже думаю, что всё бедствие народа происходит от того, что он ограблен и доведен до этого состояния нами — помещиками — и что всё дело состоит в том, чтобы перестать грабить народ. Это, конечно, справедливо, и папа сделал то, что он говорит: он перестал грабить. По-моему, ему больше и нечего делать. А брать у других эти награбленные деньги и распоряжаться ими, по-моему, ему не следует. Тут, мне кажется, есть бессознательное чувство страха перед тем, что его будут бранить за равнодушие и желание сделать что-нибудь для голодных, более положительное, чем отречение самому от собственности.

Я его несколько не осуждаю, и возможно, что я переменю свое мнение, но пока мне грустно, потому что я вижу, что он делает то, в чем, мне кажется, он раскается, и я в этом участница.

Я понимаю, что он хочет жить среди голодающих, но мне кажется, что его дело было только то, которое он и делает; это — увидеть и узнать всё, что он может, писать и говорить об этом, общаться с народом, насколько можно».

Выступать в роли «проводника пожертвований» было Толстому «страшно противно». Неприятно было брать деньги у Софьи Андреевны, и терзали противоречия между словом и делом, о чем Толстой писал своим друзьям и последователям — художнику Ге и его сыну: «Не упрекайте меня вдруг. Тут много не того, что должно быть, тут деньги от Софьи Андреевны и жертвованные, тут отношения кормящих к кормимым, тут греха конца нет, но не могу жить дома, писать. Чувствуется потребность участвовать, что-то делать. И знаю, что делаю не то, но не могу делать то, а не могу ничего делать». А деятельность измучила «нравственно», куда сильнее, чем физически: «Если было сомнение в возможности делать добро деньгами, то теперь его уж нет — нельзя. Нельзя тоже и не делать того, что я делаю, т. е. мне нельзя. Я не умею не делать. Утешаюсь тем, что это я расплачиваюсь за грехи свои и своих братьев и отцов».

Благотворительная деятельность развивалась, можно сказать, и вопреки тому, о чем Толстой писал в статьях, особенно в большой работе «О голоде», которая, по словам автора, вышла нецензурною и «совсем не о голоде, а о нашем грехе разделения с братьями». Нецензурность статьи ни в

коей мере не была неожиданностью — почти все произведения Толстого после духовного перелома были в той или иной степени нецензурны, а статьи на злобу дня и религиозные сочинения в особенности, что мало смущало и автора, и читателей, оперативно знакомившихся с копиями, списками и обратными переводами текстов с иностранных языков, со всем, что выходило из-под его пера, а о том «какая у него перо-то» знали и голодающие крестьяне.

Статья была написана в спокойном эпическом тоне, без мелочной полемики и открытых антигосударственных выпадов. Напротив, он находит упреки журналистов правительству и обществу в «равнодушии, медлительности и апатии» несправедливыми, так как энергическая и кипучая деятельность идет повсюду, собираются и эффективно работают производственные комитеты и экстренные губернские и уездные собрания, совершаются многочисленные пожертвования церквями, различными учреждениями, частными лицами.

Толстой не сомневается, что это чрезвычайное бедствие будет осилено, то есть будут устранены чрезвычайные, бросающиеся в глаза его приметы. А в сущности не так уж много изменится: станут немного больше подавать и исчезнет этот ужасный хлеб с лебедой, рельефно описанный в статье. Но по-прежнему основная масса народа будет бедствовать даже в хорошие годы, особенно семьи слабых, пьющих людей, семьи сидящих по острогам, семьи солдат:

«Всегда и в урожайные годы бабы ходили и ходят по лесам украдкой под угрозами побоев или острога, таскать топливо, чтобы согреть своих холодных детей, и собирали и собирают от бедняков кусочки, чтобы прокормить своих заброшенных, умирающих без пищи детей. Всегда это было! И причиной этого не один нынешний неурожайный год, только нынешний год всё это ярче выступает перед нами, как старая картина, покрытая лаком. Мы среди этого живем!»

А затем Толстой усиливает социально-обличительные мотивы, представляя в особом и пронзительном свете помощь голодающему народу, организованную правительством и земством, указывая главные, коренные причины народного бедствия: «Мы, господа, взяли за то, чтобы прокормить... того, кто сам кормил и кормит нас... Мы, высшие классы, живущие все *им*, не могущие ступить шагу без *него*, мы его будем кормить! В самой этой затее есть что-то удивительно странное». Обжигающе прозвучало: «Народ голоден оттого, что мы слишком сыты». Разговоры о любви к народу — ложь и лицемерие: «Народ нужен нам только как орудие... Между нами и народом нет иной связи, кроме той, что мы тянем

за одну и ту же палку, но каждый к себе. Чем лучше мне, тем хуже ему, — чем хуже ему, тем лучше мне. Как же нам при таких условиях помогать народу!»

Такая острая постановка вопроса была расценена газетой «Московские ведомости» как «пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда». Сильное и злонамеренное преувеличение, искажающее суть позиции Толстого. А она заключалась в том, что помощь народу неотделима от признания своей личной (а не только общей, сословной) вины перед народом, в нравственном обосновании своей конкретной деятельности по устройству столовых для голодающих:

«Главное же то, что меня никто не приставлял к делу прокормления сорока миллионов живущего в таких-то пределах народа, и я, очевидно, не могу достигнуть внешней цели прокормления и избавления от несчастий таких-то людей, а приставлен я к своей душе, к тому, чтобы свою жизнь провести как можно ближе к тому, что мне указывает моя совесть».

Толстой противопоставляет личную деятельность, возбуждающую лучшие и добрые чувства, желание жертвы, правительственной деятельности, так как даровое распределение «по расписаниям и спискам» хлеба, денег, дров вызывает дурные чувства — зависть и жадность, злобу. Только личная любовная деятельность, заражающая других, способна сотворить чудо. Сделать же это чудо «могут... только те, которые, сознав свою вину перед народом в угнетении его и в отделении себя от него, с смирением и покаянием постараются, соединившись с ним, разделить с ним и его беду нынешнего года».

Отнюдь не революционные призывы. Скорее проповедь с сильным утопическим акцентом, на которую никто не обратил особого внимания. Уловили социальную критику, придав ей чрезмерное и злонамеренное значение. В России статья к печати допущена, естественно, не была. Она появилась в переводе Эмилия Диллона в лондонской «Дейли телеграф» под заглавием «Почему голодают русские крестьяне?», а затем в обратном переводе большие и тенденциозные фрагменты из нее напечатали «Московские ведомости», сопроводив их злобным и враждебным комментарием. Публикация имела сенсационный и скандальный успех, еще больше подогретый распоряжением не перепечатывать статью Толстого из «Московских ведомостей» в других газетах и никак ее не комментировать. В результате стоимость номера «Московских ведомостей» подскочила до фантастической суммы 25 рублей, и статью оживленно везде обсуждали. Она у многих вызвала сильное раздражение. Страхов, сочувствуя Толстому,

на которого обрушился град нападок и оскорблений, писал ему, что «обнаружилось что-то удивительное — против Вас поднялась такая злоба, такое непобедимое раздражение, что ясно было: Вы задели людей за живое сильнее всяких революционеров и вольнодумцев».

Возник даже будто бы проект заточения Толстого в тюрьму Суздальского монастыря. Видимо, слух, подобно аналогичному о ссылке автора возмутительной пропагандистской статьи в Соловецкий монастырь. Обстановка, однако, действительно сложилась весьма тревожная. Александра Андреевна Толстая вспоминала то время: «Не берусь описывать, какой сумбур последовал по всей Европе из-за этой статьи и сколько было придумано наказаний бедному Льву Николаевичу. Сибирь, крепость, изгнание, чуть ли не виселицу предсказывали ему московские журналисты...» Взволнованная таким поворотом дела, Александрин добилась встречи с государем, диалог с которым приводит в воспоминаниях:

«На вопрос государя, что я имею сказать ему, я ответила прямо:

— На днях вам будет сделан доклад о заточении в монастырь самого гениального человека в России.

Лицо государя мгновенно изменилось: оно стало строгим и глубоко опечаленным.

— Толстого? — коротко спросил он.

— Вы угадали, государь, — ответила я.

— Значит, он злоумышляет на мою жизнь? — спросил государь».

Узнав, в чем состояло дело (а всё оно основывалось на слухах, как водится, самых невероятных), государь обнадежил посетительницу: «Я нисколько не намерен сделать из него мученика и обратить на себя всеобщее негодование. Если он виноват, тем хуже для него».

Софья Андреевна, находившаяся в разгар всех этих событий в Москве, с тревогой воспринимала неприятные слухи. Выговаривала мужу: «Погубишь ты всех нас своими задорными статьями, где же тут любовь и непротивление? И не имеешь ты права, когда 9 детей, губить и меня и их. Хоть и христианская почва, но слова нехорошие. Я очень тревожусь и еще не знаю, что предприму, а так оставить нельзя». Пыталась настроить Софья Андреевна Толстого и против Диллона, который будто бы, по мнению знающих его людей, Россию ненавидит и «нарочно прибавил злое к твоей статье, едва заметное, но ехидное». Настаивала Софья Андреевна на публикации официального опровержения в «Правительственном вестнике».

Опровержение было составлено и напечатано в нескольких российских газетах (но не в «Правительственном вестнике», где полемика

не допускалась), а Софья Андреевна еще дополнительно послала в зарубежные газеты разъяснение по поводу слухов об аресте Льва Николаевича, где подчеркивалось: «Высшая власть была всегда особенно благосклонна к нашей семье». Эти вынужденные публикации никого не успокоили и не убедили, но вызвали возмущение Лескова и обиду задетого, в частности словами о слишком вольном переводе статьи на английский язык, Диллона; Толстой дал переводчику письмо следующего содержания: «Я никогда не отрицал и никого не уполномочивал отрицать подлинность статей, появившихся под моим именем».

Толстой одновременно мягко и решительно отклонил вмешательство и советы встревоженной Софьи Андреевны, ее сестры Татьяны и Александрин. В письме к жене он заявил, что ни от каких своих «задорных статей» отказываться не собирается, как не намерен в чем-либо оправдываться:

«Я по письму милой Александры Андреевны вижу, что у них тон тот, что я в чем-то провинился и мне надо перед кем-то оправдываться. Этот тон надо не допускать. Я пишу то, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам, уж 12 лет, и пишу не нечаянно, а сознательно, и не только оправдываться в этом не намерен, но надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдывался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чем не я, а вся жизнь их обвиняет... То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что я 12 лет на все лады пишу и говорю, и буду говорить до самой смерти и что говорит со мной всё, что есть просвещенного и честного во всем мире, что говорит сердце каждого неиспорченного человека и что говорит христианство, которое исповедуют те, которые ужасаются».

Яснее не скажешь. Тем самым была поставлена последняя точка в истории со статьей «О голоде» и ее английском переводчике. Разногласия же с женой и Александрин, разумеется, остались.

Сложилось так, что, в то время как на голову автора «подрывной» статьи сыпались громы и молнии и уже раздавались голоса о заключении сумятицы в сумасшедший дом (мысль, которая не минует ушей Софьи Андреевны), сам пропагандист вместе с дочерьми Татьяной и Марией, другими родственниками, друзьями и последователями находился в самой гуще народного бедствия, энергично развертывая сеть тех самых столовых, названных крестьянами «сиротскими призреваниями», которые он в преданной анафеме статье называл самым эффективным и нравственным средством в борьбе с голодом:

«Мне кажется, что столовые, — места, где кормят проходящих, — это

та форма помощи, которая сама собою сложится из отношений богатых людей к голодающим и принесет наибольшую пользу. Форма эта более всего вызывает прямую деятельность помогающего, более всего сближает его с населением, менее всего подлежит злоупотреблениям, дает возможность при меньших средствах прокормить наибольшее число людей, а главное, обеспечивает общество от того страшного, висящего над нами всеми дамоклова меча, — мысли о том, что вот-вот, пока мы живем по-старому, здесь, там умер человек от голода».

Толстой выехал из Ясной Поляны с дочерьми и Верой Александровной Кузминской 26 октября и прибыл в село Бегичевку Данковского уезда Рязанской губернии, где находилось имение старинного приятеля писателя, Ивана Ивановича Раевского, 28-го числа. Отъезд был под угрозой из-за отсутствия средств и постоянно колеблющейся позиции Софьи Андреевны, о чем сохранился рассказ Марии Львовны:

«Мы... уже приготовили часть провизии, топлива и т. п. Мама обещала дать нам две тысячи на это, мы так радовались возможности хоть чуть-чуть быть полезными этим людям, как вдруг мама (как это часто с ней бывает) совершенно повернула оглобли... Ужасно было тяжелое время. Она мучила себя и папа и нас так, что сама, бедная, стала худа и больна».

Мария Львовна немного пристрастно описывает поведение матери, которая передумала дать деньги после заявления Толстого о 12-м и 13-м томах сочинений. К тому же она рассчитывала на гонорары от проспектальной платы за «Плоды просвещения», но и здесь ничего не получилось: отказали «ввиду печатного заявления графа», обещав лишь процент со сбора. Вот она и передумала давать деньги, злясь на всех и в особенности на Льва Николаевича. В конце концов Софья Андреевна выделила 500 рублей, после чего он и уехал на Дон, в Рязанскую губернию.

Софья Андреевна, со смертью в душе проводив мужа и дочерей, поехала в Москву, где тоска еще больше увеличилась, и, по ее словам, она даже подумывала о самоубийстве. В Москве она присутствует при агонии друга Толстого Дмитрия Александровича Дьякова. Потом заболели очень популярной в XIX веке инфлюэнцей дети. Эти грустные события не подавили, а встряхнули было зацепеневшую Софью Андреевну. Интуитивно она вдруг, обдумывая и переживая события последних месяцев, решает на очень верный, драгоценный поступок: составить воззвание к общественной благотворительности, и уже на следующее утро отвезла энергично, умно составленное письмо в редакцию газеты «Русские ведомости». В отсутствии мужа она совсем прониклась его настроениями, даже его словами заговорила, о чем убедительно свидетельствует такая

запись в дневнике:

«Сегодня сели мы с детьми обедать; так эгоистична, жирна, сонна наша буржуазная городская жизнь без столкновения с народом, без помощи и участия к кому бы то ни было! И я даже есть не могла, так тоскливо стало и за тех, кто сейчас умирает с голоду, и за себя с детьми, умирающими нравственно в этой обстановке, без всякой живой деятельности. А как быть?»

Письмо жены Толстого имело громадный успех, оно было перепечатано многими русскими и зарубежными газетами. «Вся семья моя разъехалась служить делу помощи бедствующему народу, — писала Софья Андреевна. — Муж мой, граф Л. Н. Толстой, с двумя дочерьми, находится в Данковском уезде с целью устроить наибольшее количество бесплатных столовых или „сиротских призреций“, как трогательно прозвал их народ. Два старших сына, служа при Красном Кресте, деятельно заняты помощью народу в Чернском уезде, а третий сын уехал в Самарскую губернию открывать, по мере возможности, столовые.

Принужденная оставаться в Москве с четырьмя малолетними детьми, я могу содействовать деятельности семьи моей лишь материальными средствами. Но их нужно так много! Отдельные лица в такой большой нужде бессильны. А между тем каждый день, который проводишь в теплом доме, и каждый кусок, который съедаешь, служат невольным упреком, что в эту минуту кто-нибудь умирает с голоду. Мы все, живущие здесь в роскоши и не могущие даже выносить вида малейшего страдания собственных детей наших, неужели мы спокойно вынесли бы ужасающий вид притупленных или измученных матерей, смотрящих на умирающих от голода и застывших от холода детей, на стариков без всякой пищи? Но всё это видела теперь моя семья. Вот что, между прочим, пишет мне дочь моя из Данковского уезда об устройстве местными помещиками на пожертвованные ими средства столовых:

„Я была в двух. В одной, которая помещается в крошечной курной избе, вдова готовит на 25 человек. Когда я вошла, то за столом сидела пропасть детей и, чинно держа хлеб под ложкой, хлебали щи. Им дают щи, похлебку и иногда холодный свекольник. Тут же стояло несколько старух, которые дожидались своей очереди. Я с одной заговорила, и как только она стала рассказывать про свою жизнь, то заплакала, и все старухи заплакали. Они, бедные, только и живы этой столовой, — дома у них ничего нет, и до обеда они голодают. Дают им есть два раза в день, и это обходится, вместе с топливом, от 95 коп. до 1 руб. 30 коп. в месяц на человека“». И Софья Андреевна добавляет, производя нехитрый, но очень нужный,

запоминающийся расчет: «Следовательно, за 13 рублей можно спасти от голода до нового хлеба человека».

Софья Андреевна нашла простые и самые доходчивые слова. Неудивительно, что за короткий срок удалось собрать 13 тысяч рублей, прислал 200 рублей и принципиальный, неистовый противник Толстого отец Иоанн Кронштадтский. Не без гордости она высылает мужу и дочерям своего рода финансовый отчет, характерно добавляя: «Не знаю, как вы все посмотрите на мою выходку. А мне скучно стало сидеть без участия в вашем деле, и я со вчерашнего дня даже здоровее себя чувствую; веду запись в книге, выдаю расписки, благодарю, разговариваю с публикой, и рада, что могу помочь распространению вашего дела, хотя чужими средствами».

«Выходкой» Софьи Андреевны все остались очень довольны. И больше всех, похоже, Лев Николаевич, писавший жене: «Твое письмо очень хорошо. Только одно жалко, что говоришь, как бы восхваляя, о своих». Он же с удовольствием сообщал А. А. Толстой и Н. Н. Ге-сыну об установлении между ними таких дружных и любовных отношений, каких давно не было («лет за десять не было такого сближения»), что он «сошелся, как никогда не сходил, с женой». А в декабрьской дневниковой записи Толстой даже благодарит Создателя: «Радость отношения с Соней. Никогда не были так сердечны. Благодарю тебя, Отец. Я просил об этом. Всё, всё, о чем я просил, — дано мне. Благодарю тебя. Дай мне ближе сливаться с волей твоей. Ничего не хочу, кроме того, что ты хочешь». Общая работа «на службе голода» сплотила всех Толстых. Приглушила, хотя и не устранила разногласия, которые — пусть и в слабой форме — возникли во время совсем еще недавнего, в июне состоявшегося раздела. О настроениях отца в преддверии семейного земельного раздела превосходно рассказала обладавшая редким психологическим даром и тонко чувствующая Татьяна Львовна:

«На страстной все братья съехались, потому что решили делиться. Этого захотел папа, а то, конечно, никто не стал бы этого делать. Все-таки ему это было очень неприятно. И раз, когда братья и я зашли к нему в кабинет просить, чтобы он сделал нам оценку всего, он, не дождавшись, чтобы мы спросили, что нам нужно, стал быстро говорить: „Да, я знаю, надо, чтобы я подписал, что я ото всего отказываюсь в вашу пользу“. Он сказал это нам потому, что это было для него самое неприятное и ему очень тяжело подписывать и дарить то, что он давно уже не считает своим, потому что, даря, он как будто признает это своей собственностью. Это было так жалко, потому что это было как осужденный, который спешит

всунуть голову в петлю, которой, он знает, ему не миновать. А мы трое были эта петля. Мне было ужасно больно быть ему неприятной, но я знаю, что этот раздел уничтожит так много неприятностей между Ильей и мамой, что я считала своим долгом участвовать в нем. Я завидовала Маше в том, что она не входила ни во что и отказалась взять свою часть».

Инициатива раздела принадлежала Толстому. Ссор и разногласий между детьми не было. И хотя по инерции Толстому вспомнилась пьеса Тургенева «Завтрак у предводителя», в его доме всё обстояло по-другому. Угнетала вынужденная необходимость отступить от принципов — давать дарственную. Еще больше печалило явное нежелание детей (особенно Сергея и Льва) следовать его принципам; радовала только Маша («Как мне тяготится жизнью, когда у меня есть Маша»), и по-прежнему сохранялось теплое отношение к Татьяне и Льву, которые «милы», но «лишены нравственно религиозного рычага, того, который ворочает». Однако состоявшийся позднее между Татьяной и Львом разговор сильно огорчил его:

«Вчера поразительный разговор детей. Таня и Лева внушают Маше, что она делает *подлость*, отказываясь от имени. Ее поступок заставляет их чувствовать неправоту своего, а им надо быть правыми, и вот они стараются придумывать, почему поступок нехорош и подлость. Ужасно... Уж я плакал, и опять плакать хочется... Никогда не видал очевидность лжи и мотивов ее. Грустно, грустно, тяжело мучительно». Акт о разделе имений был подписан Толстым и совершеннолетними членами семьи 7 июля 1892 года. Всеми, кроме Марии Львовны, с которой через день он вновь уедет в Бегичевку. Позже, в 1900 году Толстой с горечью скажет Гольденвейзеру: «Мне теперь смешно думать, что выходит, как будто я хотел хорошо устроить детей. Я им сделал этим величайшее зло. Посмотрите на моего Андрюшу. Ну что он из себя представляет?! Он совершенно неспособен что-нибудь делать. И теперь живет на счет народа, который я когда-то ограбил и они продолжают грабить. Как ужасно мне теперь слушать все эти разговоры, видеть всё это! Это так противоречит моим мыслям, желаниям, всему, чем я живу... Хоть бы они пожалели меня!»

Вот все эти и другие разногласия и недоумения отодвинул на задний план голод, общая работа всех Толстых, сплотившая всю семью, которую можно было бы назвать подвигом, но лучше от этих высоких слов воздержаться, памятуя о том, что Толстой не любил риторики и патетики, отодвинула на время материальные и другие проблемы.

Толстые впервые приехали в Бегичевку, заранее договорившись со старинным знакомым Льва Николаевича, Иваном Ивановичем Раевским,

организовавшим вместе с членами семьи в своем имении центр помощи голодающим. Раевский не был Толстому близким человеком. Они познакомились, когда писателю было около 30 лет. Отношения между ними сложились «очень странные». Сближение произошло на почве увлечения охотой (в том числе медвежьей) и гимнастикой, естественно, длилось недолго, прерываясь на целые годы, и в конце концов они «почти разошлись». Конечно, всё не сводилось к общим спортивно-охотничьим увлечениям. Толстого привлек юноша необыкновенный, тонкий и чуткий (радовала и удивляла «нравственная совершенная чистота, теперь редкая между молодыми людьми, а тогда составлявшая еще более редкое исключение»), с которым захотелось сблизиться и перейти на «ты». Так и произошло: на «ты» перешли, но, тем не менее, настоящего сближения не произошло. Просто пути разошлись, исчезли точки соприкосновения: медвежьей охоты случались не столь уж часто, а с годами они к этому опасному и захватывающему занятию охладели.

Сошлись они после очень долгого перерыва в «тяжелую годину» «на общем деле». И им в Бегичевке «радостно, молодо, восторженно было часто... вместе быть и работать». Смерть Ивана Ивановича, этого легендарного, святого человека от инфлюэнцы (сильно простудился и сгорел за шесть Дней; перед смертью, уже в жару, он через Толстого передавал тульскому помещику Писареву последние практические распоряжения и писал жене: «Мой милый ангел! Простишь ли ты меня? Первый раз в жизни я скрыл от тебя, не написал тебе, что я болен») прервала так дружно и хорошо начавшуюся совместную работу. Раевский, в глазах Толстого, был истинно религиозным человеком не в «высшем», а в самом простом и конкретном смысле: «Больше всего в мире ненавидел всякое преувеличение и всякую фразу. Он всю жизнь свою делал, а не говорил. Он был христианином, бессознательным христианином. Он никогда не говорил про христианство, про добродетель, про самопожертвование. У него была в высшей степени черта этой встречающейся в лучших людях *rudeur* добра».

Толстой воспел естественный оптимизм и необычайную энергию друга, заражавшие других, вселявшие веру и в совсем уже было павших духом людей.

— Нет, живые в руки не дадимся, — говорил он, возвращаясь с работы или вставая от письменного стола, у которого проводил по восемь, по шесть часов сряду.

— Не-ет! Живые в руки не дадимся, — говорил он, потирая руки, когда ему удавалось устроить какое-нибудь хорошее дело: закупки

дешевого хлеба, дров, устройства хлебопечения с картофелем, с свекольными отбросами или закупки льна для раздачи работ бабам.

— Знаю, знаю, — говорил он, — что нехороша эта самоуверенность, но не могу. Как будто чувствую этого врага — голод, который хочет задавить нас, и хочется подбодриться. Живые в руки не дадимся!

Толстой из уст мужика, которому он сказал, проходя по деревне, что Иван Иванович умирает, услышал исключительно верное, образное слово: «Помилуй Бог!., что без него делать будем? Воскреситель наш был».

Народное определение — меткое, ухватывающее суть подвижнической деятельности Раевского: не мученик, не страдалец, приносящий жертву ради общего дела, а именно человек, спасающий уже почти умерших, воскрешающий, которому нельзя умирать, он ближе всего к герою очень известного, мастерски написанного «бытового апокрифа» Лескова, к легендарному (и это современная народная легенда) Несмертельному Головану. Толстой добавляет к народному и свое слово о друге:

«Для мужика он был „воскреситель“, а для нас он был тем человеком, одно знание о существовании которого придает бодрость в жизни и уверенность в том, что мир стоит добром, но не злом: не теми людьми, которые махают на всё рукой и живут как попало, а такими людьми, каков был Иван Иванович, который всю жизнь боролся со злом, которому борьба эта придавала новые силы и который беспрестанно говорил злу: „Живые в руки не дадимся!“»

Работы и забот в голодном краю было великое множество. Работы незаметной, тяжелой, бесконечной в среде жалкого, покорного, опустившего руки и только возлагавшего надежду на внешнюю помощь народа. Фатальный хлеб с лебедой, который дети сперва кидали и плакали. Дети с серьезным выражением лица, выдающим острую нужду. Не только голодно, но и холодно: крыши со многих домов уже успели протопить. А Татьяна Львовна так с большим трудом, однако упорствуя, ведет свой дневник — руки мерзнут. Холодно, дымно и угарно и в «сиротском призрении». Дрова лишь у тех, кто побогаче, а больше топят плохим торфом, картофельной ботвой, навозом, листьями, щепками. Хлеба нет и купить его негде. Пьют дешевый фруктовый чай. Тон дневника Татьяны Львовны унылый, что вполне понятно — слишком уж безотрадны голодные картины: больная и кривая старуха-побирушка в смрадной избе на нарах, зовущая смерть и жалующаяся на её медлительность; бледная девочка с грустным и взрослым лицом, еще недавно бегавшая рысью и переставшая ходить; детей больше всего жаль — покорных, бледных, больных, рядом лежащих на печи. Однообразные и грустные приметы нищеты, голода,

беспросветной жизни, и от всего этого рождается у Татьяны Львовны чувство чуть ли не бессмысленности помощи голодающим: «Дела тут так много, что я начинаю приходить в уныние: все нуждаются, все несчастны, а помочь невозможно. Чтобы поставить всех на ноги, надо на каждый двор сотни рублей, и то многие от лени и пьянства опять дойдут до того же». Похоже, что она давно бы из этого гиблого и мрачного места, где до станции 30 километров, скоро уехала в уютную, веселую, милую Москву, где так много друзей и так разнообразна и интересна жизнь, если бы не отец, которого не велела ей оставлять мать.

Посетила Бегичевку и Софья Андреевна, чтобы собственными глазами увидеть, что это за место такое, куда уехали в суровое время года муж и дети. Пробыла она там десять дней. «Противная» Бегичевка ей решительно не понравилась: «Дом тут низкий, темный, грязный; обои темные, воздух душный, природа безотрадная, народ бедный, грязный, очень добродушный и жалкий... тут всё некрасиво и скучно, и природа, и люди, и дом, и вся жизнь». Осмотрела столовые; в одной из них ей бросилась в глаза серо-бледная девушка, взглянувшая такими грустными глазами, что Софья Андреевна чуть не разрыдалась; вдруг стало ясно, как им «нелегко получать это подаяние. Не дай Бог взять, а дай Бог дать — это справедливая русская пословица...». Без дела Софья Андреевна жить не привыкла; понятно, что и здесь она трудилась много и с несомненной пользой для голодающих и мерзнущих людей: «По утрам я кроила с портным поддевки из пожертвованного сукна, и мы их сшили 23; большую радость доставляли мальчикам эти поддевки и полушубки. *Теплое и новое*: это то, чего некоторые от рожденья не имели».

Уставал от множества забот и практических дел, холода, большого постоянного психологического напряжения, трудностей быта, заброшенных литературных занятий, конечно, и Лев Николаевич, в эпицентре голода воочию увидевший масштабы несчастья: «Бедствие здесь большое и всё растет, а помощь увеличивается в меньшей прогрессии, чем бедствие, и потому, раз попавши в это положение, невозможно, не могу отстраниться». А попавши, энергично стал вносить ясность и устанавливать порядок в довольно-таки безалаберно и сумбурно организованное дело помощи голодающим, вскоре с удовлетворением и гордостью записывая в дневнике: «Здесь работа идет большая. Загорается и в других местах России». Он и сам никогда не жаловался и не унывал, и помощников своих, несколько подавленных, старался подбодрить: «Смотрите же не унывайте, милые друзья. Я сам всё собираюсь унывать и всё бодрюсь». И ему пришлось по душе сравнение работы в гуще

голодающих товарища по 4-му севастопольскому бастиону Николая Петровича Протопопова (еще один «воскреситель») с военной страдой: «Говорят, что в Петербурге не верят серьезности положения. Это грех. Я встретил у Раевского моряка Протопопова, с которым мы вместе были 35 лет тому назад на Язоновском редуте в Севастополе. Он очень милый человек, теперь председатель управы, хлопочет, покупает хлеб. Он очень верно сказал мне, что испытывает чувство, подобное тому, которое было в Севастополе».

Вера Величкина, молоденькая курсистка-медичка, запомнившаяся Илье Львовичу маленьким и беспомощным, непрактичным ребенком с огромной банкой монпансье под мышкой, близко сошедшая с Марией Львовной, доверявшей ей свои сердечные тайны, наивная, но наблюдательная и бесстрашная (позднее она станет женой секретаря Ленина Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича), в книге «В голодный год с Львом Толстым» так описывала рабочий день писателя в Бегичевке:

«Каждое утро вставали мы в седьмом часу, так как передняя была уже битком набита народом. Если мы немножко просыпали, то Лев Николаевич, проходя по коридору, стучал нам в двери. Утро работали мы вместе в передней, разбирая просьбы, нужды собравшегося народа. Затем кто-нибудь один оставался дома, а остальные разъезжались по окрестным деревням, всегда посоветовавшись раньше со Львом Николаевичем. Он неизменно был в курсе дела и всегда помнил каждую мелочь, куда и зачем нужно было ехать. Но занятие с народом в передней его всегда несколько расстраивало и мешало его литературным занятиям; и мы, по возможности, старались предупредить его приход, чтобы он мог поработать утром за письменным столом. В такие дни он чувствовал себя гораздо лучше, спокойнее. Но это не всегда удавалось, так как вставал он очень рано и не мог видеть, чтобы народ дожидался».

Толстой вникал во все мелочи, не гнушаясь никакой работой, не давая поблажки ни себе, ни другим. Пригодилась и так называемая «скупость» Толстого, а точнее бережливость и щепетильность: он мог отдать отчет в каждой копейке и того же требовал от других. Его отчеты, в том числе бухгалтерские, всегда были образцовыми. Наведенный во многом благодаря постоянным усилиям порядок в деле организации помощи голодающим дал удивительные плоды. Было открыто 187 столовых, в которых кормилось 10 тысяч человек, и несколько столовых для маленьких детей, осуществлена раздача дров, выданы семена и картофель для посева крестьянам, куплены и розданы земледельцам лошади (почти все обезлошадели в голодный год), собрано в виде пожертвований почти 150

тысяч рублей. И еще масса дел, конкретных, необходимых, была сделана за те два года, когда здесь самоотверженно работал Толстой со своими помощниками.

Приходилось нелегко, а нередко и очень трудно, да и холод, словно в сговоре, одолевал не менее голода, осложнял условия работы среди деморализованного, фаталистически настроенного народа, которого вот-вот уже, кажется, покинет и инстинкт самосохранения. Да и весной стало не лучше, хотя на душевном настроении Толстого все эти заботы и напасти не сказываются. Он бодр, ему «нравственно легче». Письма Толстого похожи на отчеты и репортажи с передовой. Вот как он рассказывает жене о своих буднях: «У нас идет напряженная работа с раздачей семян и теперь лошадей... Вчера я целый день ездил верхом... отчасти по этому делу и для открытия столовой в Екатериновке и для приютов в Екатериновку, Софьинку и Бароновку, и мне было очень хорошо нравственно, и всё сделал, как умел и мог; физически — тоже хорошо; я совершенно здоров, но погода ужасная. По полям ярового ветром несет не переставая целые тучи пыли, как это бывает по дорогам в июле. Я никогда не видывал ничего подобного. Эта сушь не обещает ничего хорошего». В том же духе о трудовых буднях и настроениях своем и помощников пишет и вдове Ивана Раевского: «Мы очень теперь заняты обеспечением посева, помощью лошадьми и столовыми, особенно детскими, и хотя очень много дела, но почему-то у меня всё время более радостное чувство, чем зимой, сознание того, что дело, которое делаешь, было нужно и теперь еще нужнее, чем когда-нибудь, несмотря на то, что дело это всем наскучило, кроме тех, для которых оно делается».

А летом ко всем бедствиям прибавилась еще одна напасть — холера, добравшаяся и до Ясной Поляны. И в борьбе с этой новой и очень опасной бедой примет участие Толстой, бесстрашно навещая вместе с любимой дочерью Марией больных крестьян.

Зимой же случались совсем безрадостные, тяжкие дни, когда накопившаяся усталость (больше душевная, чем физическая) порождала равнодушие и ощущение какой-то бессмысленности выматывающего, мелочного труда. Толстой повествует в дневнике и о таких настроениях, и о другом, властно заставлявшем продолжать работу. Изумителен рассказ об одной деревенской встрече в февральском дневнике 1892 года, воспроизведенный позднее им в «Отчете об употреблении пожертвованных денег с 17-го апреля по 20-е июля 1892 г.»:

«Третьего дня было поразительное: выхожу утром с горшком на крыльцо, большой, здоровый, легкий мужик, лет под 50, с 12-летним

мальчиком, с красивыми, вьющимися, отворачивающимися кончиками русых волос. „Откуда?“ — „Из Затворного“. Это село, в котором крестьяне живут профессией нищенства. „Что ты?“ — Как всегда, скучное: „К вашей милости“. — „Что?“ — „Да не дайте помереть голодной смертью. Всё проели“. — „Ты побираешься?“ — „Да, довелось. Всё проели, куска хлеба нет. Не ели два дня“. Мне тяжело. Все знакомые слова и все заученные. Сейчас. И иду, чтобы вынести пятак и отделаться. Мужик продолжает говорить, описывая свое положение. Ни топки, ни хлеба. Ходили по миру, не подают. На дворе метель, холод. Иду, чтоб отделаться. Оглядываюсь на мальчика. Прекрасные глаза полны слез, и из одного уже стекают светлые, крупные слезы.

Да, огрубевашь от этого проклятого начальства и денег».

В Отчете мальчик дан крупным планом и усилена эмоциональность:

«Хочу пройти и взглядываю нечаянно на мальчика. Мальчик смотрит на меня жалостными, полными слез и надежды, прелестными карими глазами, и одна светлая капля слезы уже висит на носу и в это самое мгновение отрывается и падает на натоптаный снегом дощатый пол. И милое измученное лицо мальчика с его вьющимися венчиком кругом головы русыми волосами дергается всё от сдерживаемых рыданий. Для меня слова отца — старая избитая канитель. А ему — это повторение той ужасной години, которую он переживал вместе с отцом, и повторение всего этого в торжественную минуту, когда они, наконец, добрались до меня, до помощи, умиляют его, потрясают его расслабленные от голода нервы. А мне всё это надоело, надоело; я думаю только, как бы поскорее пройти погулять!

Мне старо, а ему это ужасно ново.

Да, нам надоело. А им всё так же хочется есть, так же хочется жить, так же хочется счастья, хочется любви, как я видел это по его прелестным, устремленным на меня полным слез глазам, — хочется этому измученному нуждой и полному наивной жалости к себе доброму жалкому мальчику».

От этих с надеждой глядящих прекрасных глаз мальчика никак было «не отделаться» ни Толстому, ни другим, вдохновленным его энергией, «воскресителям». Невозможно было «пройти» мимо.

Ни грубые газетные выпады, ни попытка некоторых слишком рьяных священнослужителей восстановить против Толстого простонародье не нанесли ему ни малейшего ущерба; напротив, лишь укрепили его репутацию спасителя и «воскресителя», своего рода генерала, возглавившего борьбу с голодом. Профессор Грот, восхищаясь энергией и мужеством Толстого, назвал его «духовным царем». Чехов с

воодушевлением писал Суворину о Толстом, что он «не человек, а человечище, Юпитер». В эту трудную пору отчетливо проявились те черты характера Толстого, о которых прекрасно сказал Чехов в другом письме: «Надо иметь смелость и авторитет Толстого, чтобы идти наперекор всяким запрещениям и настроениям и делать то, что велит долг». Потому-то Толстой и был неуязвим, смело говоря горькую правду об истинном плачевном положении дел и причинах, приведших к бедствию. Слово было делом, обращенным к совести всех, а практические дела придавали слову особую убедительность и силу. Понятно, почему Суворин «позавидовал» «доле» Толстого: «Один Л. Н. Толстой гуляет по иностранным газетам со своими статьями, а „Московские ведомости“ его травят, но напрасно: его трогать нельзя, а если и тронут, то это ему только удовольствие, ибо он сколько раз мне говорил: „Отчего меня не арестуют, отчего меня не сажают в тюрьму“. Завидная доля».

Слишком ретивые и догматические священники клеймили графа Толстого как антихриста, соблазняющего людей мирскими соблазнами, отговаривая крестьян посылать детей в специальные столовые, устроенные для них в Бегичевке и других селах. О реакции крестьян вспоминал шведский писатель и путешественник Ионас Стадлинг, приводя слова одного мужика: «Если Господь похож на своих слуг — попов и чиновников, которые притесняют и мучают нас, и если антихрист это такой человек, как Толстой, который бесплатно кормит нас и наших детей, тогда я лучше буду принадлежать антихристу и пошлю своих голодающих детей в его столовую». Но если крестьяне отказывались видеть антихриста в Толстом, то в Стадлинге они готовы были его признать. Швед, в диковинном лапландском костюме, мехом вверх, неизменно бравший с собой маленький фотоаппарат, которым делал снимки крестьян, производил пугающее впечатление. Вера Величкина вспоминала рассказы встревоженных крестьян об антихристе, накладывавшем печать: «Посмотрит пристально на кого-нибудь и щелкнет своей печатью. А потом... всех, кого он припечатал, назначат к выселению. И мы теперь уж и не знаем, что делать...»

Крестьяне были возбуждены, до них в самом фантастическом виде доходили газетные новости, которые трудно было назвать добросовестными и правдивыми. Естественно, распространялись невероятные слухи, слагаясь в легенды и мифы — механизм, образно и увлекательно описанный Лесковым в «Несмертельном Головане», «Юдоли», «Импровизаторах». Неудивительно, что когда в мае 1892 года в Бегичевку приехала экспедиция генерала Анненкова с вполне мирной,

экономической и научной целью исследования причин обмеления Дона, крестьяне, заподозрив намерение арестовать Толстого, решили его защитить и собрались толпой вокруг бегичевского дома. Воскресителей негоже выдавать властям, от экспедиций которых, возглавляемых генералами и видными чиновниками, крестьяне ничего кроме неприятностей ожидать не привыкли. Толстой здесь был абсолютно солидарен с народом, и еще более укрепилось в нем отвращение ко всякого рода государственным экспедициям после встречи 9 сентября того же года на станции Узловая поезда с солдатами, которых гнали «с ружьями, готовыми зарядами и музыкой» в одно село для наказания крестьян, не дававших помещику рубить лес, считая его своим. Толстой направлялся в Бегичевку для составления годового отчета. Павел Бирюков, преданный и надежный помощник Толстого, которому он со спокойной совестью доверил руководство помощью голодающим, встретивший Толстого на крыльце, был поражен взволнованным и мрачным лицом Льва Николаевича, со слезами на глазах и сильным волнением, стоя, принявшимся рассказывать о зловещей встрече, ставшей одним из самых кошмарных впечатлений его жизни. Он расскажет о встрече в своей большой работе «Царство Божие внутри вас», обрисовав там и начальника экспедиции тульского губернатора Зиновьева, совсем недавно, 28 августа, приезжавшего в Ясную Поляну поздравить Толстого с днем рождения (писателю исполнилось 64 года), хорошего отца и сына. Провиденциальная встреча, вошедшая в труд, которому Толстой придавал особенно большое значение, где наиболее подробно развернуто учение о непротивлении злу насилием и необыкновенно зримо обрисовано зло: «Судьба, как нарочно, после двухлетнего моего напряжения мысли всё в одном и том же направлении, натолкнула меня в первый раз в жизни на это явление, показавшее мне с полной очевидностью на практике то, что для меня давно выяснилось в теории, а именно то, что всё устройство нашей жизни зиждется не на каких-либо... юридических началах, а на самом простом, грубом насилии, на убийствах и истязаниях людей».

К Толстому, как к магниту, тянулись люди необыкновенные и странные — сектанты и юродивые, чудаки всевозможных оттенков, те, кого сегодня назвали бы аутсайдерами и маргиналами. Они в большом числе являлись в Москву и Ясную Поляну. Достигали и Бегичевки такие диковинные человеческие экземпляры, как «практический философ» швед Абрагам фон Бунде. Швед сделал то, о чем мечтал Лев Толстой и что осуществить ему, как главе большой семьи, было необыкновенно трудно: отказался от богатства, раздав имущество, и от дома, выбрав страннический образ

жизни. Толстому Абрагам просто не мог не понравиться: «Моя тень. Те же мысли, то же настроение, минус чуткость». Толстой собирался отправить шведа Черткову, очень лестно его рекомендуя: старик 70 лет, живший в Америке и Индии (там-то он и услышал о Толстом, к которому и отправился с целью учить детей писателя физиологии), строгий вегетарианец, убежденный в том, что нужно самому работать, «чтоб кормиться от земли без рабочего скота, не иметь денег, ничего не продавать, ничего не иметь лишнего, всем делиться». Увлеченный новым знакомством, Толстой живо обрисовывает Абрагама в письме к Софье Андреевне, которую он не столько заинтересовал, сколько напугал появлением столь диковинного человека в окружении мужа: «Длинные волосы, желто-седые, такая же борода, маленький ростом, огромная шляпа, оборванный, немного на меня похож; проповедник жизни по закону природы. Прекрасно говорит по-английски, очень умен, оригинален и интересен. Хочет жить где-нибудь (он был в Ясной), научить людей, как можно прокормить 10 человек одному с 400 сажен земли, без рабочего скота, одной лопатой... А пока он тут копает под картофель и проповедует нам. Он вегетарианец, без молока и яиц, предпочитая всё сырое, ходит босой, спит на полу, подкладывая под голову бутылку...»

Софью Андреевну в этом мягком и сочувственном описании встревожило всё, в том числе и гастрономические причуды чудаковатого шведа, особенно когда она узнала от Елены Павловны Раевской, что Лев Николаевич заболел после каких-то сырых лепешек, которые он запивал болтушкой из овсяной муки с водой. Приехав в Бегичевку, она увидела полусумасшедшего шведа лежащим на полу и расположилась к нему стойкой антипатией: «Нравственных идеалов, духовных — никаких. Был богат — скучал, болел. Понял, что простота, первобытность жизни дают здоровье и спокойствие, и достиг их. Лежит, как корова, на траве, копает землю, пополощется в Дону, ест очень много, лежит в кухне — и только». Даже Толстой не решился отправиться с оригинальным шведом, похожим на пророка Иеремию, в Ясную Поляну, резонно полагая, что вместе они произведут нежелательную сенсацию:

— Когда я езжу по железным дорогам, то меня стесняет то, что на меня обращают внимание. А везти с собой своего двойника, да еще полуголового — на это у меня не хватило мужества!..

Встретила Абрагама в Ясной Поляне Татьяна Львовна, отнесшаяся со смешанным чувством сострадания и насмешливого любопытства к этому колоритному старику с красивыми широкими жестами. Швед был слишком уж оригинален со своими уроками физиологии и культом нагого

человеческого тела, возлегая на террасе в слишком большом «безбилъе». А однажды он страшно возмутил Софью Андреевну, увидевшую Абрагама, прогуливавшегося нагишом по траве около пруда и нисколько не смутившегося ее появлением. Очевидно было, что в Ясной Поляне жить ему было невозможно. Он и уехал оттуда вскоре, затерявшись где-то в странствиях. Но бесследно не исчез, отразившись в образе беспаспортного старика-сектанта в романе «Воскресение».

Посетил в Бегичевке Толстого в феврале 1892 года и Илья Репин, оставивший превосходное описание поездки по деревням, когда их сани провалились в снег. Репину Толстой показался мифическим богом в облаках, чародеем с решительными и красивыми движениями, с энергическим раскрасневшимся лицом и искрящейся блесками седины и мороза бородой. Богом, бесстрашно направляющим сани в жутковатом полете над черной глубиной полыни.

Таким был Толстой в зимней Бегичевке, «на службе голода», деятельным, как стрела натянутым, парящим. И совсем другим в Ясной Поляне, в чудесный солнечный августовский день, когда ему исполнилось 64 года и в честь его напевала протяжную народную песню Мария Львовна и звучала музыка, а вечером Фигнер пел арию Ленского и столь любимые Толстым цыганские романсы. Величкина вспоминает:

«Лев Николаевич был очень весел за столом, шутил, смеялся и принимал самое живое участие в разных играх, которые затевались за столом. Вечером устроилась музыка и пение... Когда я взглянула на Льва Николаевича во время пения, глаза у него были сияющие и полны слез».

Близился к концу второй голодный год. Стало ясно, что и в следующем году положение будет тяжелым, о чем писал Толстой в середине февраля 1893 года американскому консулу: «Голод в некоторых частях нашей местности грозен не менее прошлогоднего, и мы продолжаем нашу работу в этом году, хотя не в том размере, как в прошлом». Помощь голодающим была налажена, и хотя Толстой по-прежнему время от времени посещал Бегичевку, ходил и по тифозным, — всё это было уже больше для контроля или эпизодами. Голод медленно, но отступал. Можно было уже больше времени уделять другим делам, особенно работе над книгой «Царство Божие внутри вас». До художественного же несколько лет просто не будут доходить руки.

В 1898 году снова придет голод в тургеневские и лесковские места (Чернский и Мценский уезды) и вновь Толстой устремится на борьбу с ним, целыми днями, до глубокой ночи разъезжая по бедствующим деревням. Знакомая, привычная работа «воскресителя».

Трактат о непротивлении. «Несчастливая повесть»

25 февраля 1893 года Толстой написал Страхову, что работа над книгой «Царство Божие внутри вас», кажется, совсем уж близка к завершению: «Я в жизни никогда с таким напряжением и упорством не работал, как я теперь работаю над всей моей книгой и в особенности над заключительными главами ее. Должно быть, я поглупел или, напротив, ослабел творчеством, а поумнел критическим умом. Боюсь сказать, что я думаю кончить через дни 3, потому что это мне кажется уже 3-й год». И опять ошибся. Только 14 мая Толстой с удовлетворением сможет сказать: «Я свободен».

Это самый большой трактат Толстого, к которому сохранилось огромное количество черновых рукописей — «материальное» свидетельство колоссальных творческих усилий. Пожалуй, ни над каким другим произведением Толстой не работал так мучительно долго и упорно. Но это неудивительно — исследователи творчества писателя справедливо считают, что именно здесь получила логическое завершение его концепция жизнепониманий.

Впрочем, большинство современников обратили внимание не на эту концепцию, а на сильно написанные критические страницы, вроде описания карательной экспедиции под начальством тульского губернатора Зиновьева. Получил распространение «придворный анекдот» (в двух близких по смыслу вариантах) об императоре Александре III, который нашел книгу ужасной и счел, что Толстого следовало бы наказать: посадить или выслать. Император дал волю чувствам (в книге было много злых выпадов против монархий), да так и оставил всё без малейших последствий. Друзья и последователи, напротив, восторгались и весьма неумеренно. Стасов назвал трактат *первой* книгой века, поведав свои восторги автору: «У меня была только одна печаль и беда: зачем так скоро кончилась книга, зачем она не продолжается еще 200–300 страниц, зачем она не поворачивает гигантской львиной лапой еще сто других вещей».

Лесков написал восторженное письмо Татьяне Львовне, Репин оценил книгу как вещь ужасающей силы. Видный критик Меньшиков, тогда бывший горячим поклонником Толстого (позднее он радикально переменится, что, как известно, случается не только с критиками), в письме к нему выражал и восхищение, и тревогу: «Не могу отделаться от душевной тревоги и раздумья, навеянного этою мужественною, прекрасною книгой. Вся она, в особенности ее выводы и заключения производят захватывающее, могучее впечатление, будят стыд и совесть и

желание быть лучшим... Нет сомнения, что эта книга вызовет против Вас новые взрывы ненависти, но она же вызовет и искренние слезы раскаяния, сердечного возмущения, чувство глубокой признательности к единственному человеку, самоотверженно ставшему на защиту общечеловеческой, божеской правды». Противников книги также было немало. С большой статьей «Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей графа Л. Н. Толстого» выступил поэт Яков Полонский, утверждавший, в частности: «В сущности же любовь, проповедуемая Толстым, таит в себе такие семена ненависти и затем братоубийственного кровопролития, что становится страшно».

Само собой, читали книгу в запрещенных для ввоза и распространения из-за границы изданиях или в гектографических списках: пути уже давно налаженные, проторенные. Негласный надзор усиливали, но зримых результатов это усиление не давало. Толстой даже не предполагал печатание книги в России. Его тактика действовала безукоризненно, хотя, разумеется, его сторонники и помощники преследовались.

Вызывала критическое отношение, как правило, связанная с невнимательным прочтением и непониманием истинной позиции Толстого, развернутая в книге теория непротивления злу насилием.

Толстой со всей определенностью объяснял свою позицию в трактате: «Христос дает свое учение, имея в виду то, что полное совершенство никогда не будет достигнуто, но что стремление к полному, бесконечному совершенству постоянно будет увеличивать благо людей... Исполнение учения — в движении от себя к Богу». И ту же мысль, но еще отчетливее сформулирует Толстой в дневнике: «Очень важное. Непротивление злу насилием — не предписание, а открытый, сознанный закон жизни для каждого отдельного человека и для всего человечества... Закон этот кажется неверным только тогда, когда он представляется требованием полного осуществления его, а не (как он должен пониматься) как всегдашнее, непрерывающееся, бессознательное и сознательное стремление к осуществлению его».

Это объяснение для не понимающих и невольно, по инерции (или злонамеренно), искажающих мысль, которым прекрасно ответил философ Б. П. Вышеславцев:

«Каждый студент юридического факультета умел опровергать „непротивление злу насилием“, и во всех курсах государственного права фигурировал соловьевский „злодей, насилующий ребенка“. Неужели Толстой не понимал, что хорошо и похвально спасти ребенка от злодея при помощи государства? Но он предвидел, что государство займется не только

этим, не только борьбой с индивидуальными преступлениями, а вступит неизбежно на противоположный путь, на путь совершения социальных преступлений. Мысль Толстого состоит вот в чем: самое страшное зло, имевшее место в истории, и зло, которому предстоит в будущем возрастать, заключается не в отдельных злодеях, не в уголовных преступниках, нарушающих закон, могущих раскаяться и почти всегда сознающих себя преступниками: нет, гораздо страшнее зло, совершаемое в форме социально организованной, „совершаемое именем закона“ (au nom de la loi), зло совершенное, безнаказанное, более того, считающее себя оправданным, воображающее себя добром».

Эмоциональные, яркие возражения философа Владимира Соловьева Толстому в статье «Принципы наказания с нравственной точки зрения» действительно получили очень широкое распространение, впечатлили многих (но, разумеется, не всех, помимо Вышеславцева, они не удовлетворили и философа Семена Франка, считавшего, что «аргументы Вл. Соловьева, в сущности, крайне слабы, скорее бьют на чувство, чем дают рациональную критику»). Толстой был уязвлен статьей философа, приемы его полемики найдя недобросовестным передергиванием; он их высмеивал в дневниковой записи, так сказать, «антикритике»:

«Читал дурную статью Соловьева против непротивления. Во всяком нравственном практическом предписании есть возможность противоречия этого предписания с другим предписанием, вытекающим из той же основы. Воздержание: что же, не есть и сделаться неспособным служить людям? Не убивать животных, что же, дать им съесть себя? Не пить вина. Что же, не причащаться, не лечиться вином? Не противиться злу насилием. Что же, дать убить человеку самого себя и других?»

Отыскивание этих противоречий показывает только то, что человек, занятый этим, хочет не следовать нравственному правилу. Всё та же история: из-за одного человека, которому нужно лечиться вином, не противиться пьянству. Из-за одного воображаемого насильника — убивать, казнить, заточать».

Неизменным оставалось убеждение Толстого, что нельзя бороться насилием с насилием, «ставить новое насилие на место старого», что противоестественно помогать просвещению, основанному на насилии. Когда его радикально настроенный друг Владимир Стасов прислал в 1906 году письмо, содержащее риторический вопрос: «Разве вся русская нынешняя революция, разве она не из вашего огнедышащего Везувия выплеснулась?» (мнение нелепое и пристрастное, но очень распространенное, которое высказывали многие, в том числе родной сын

Лев Львович и философ Николай Бердяев, сваливавшие все беды России в двадцатом веке на его неистовую борьбу с государством, этим «холодным чудовищем»), Толстой ответил несколько раздраженно, задевая и самого корреспондента, повторив те свои мысли, которые уже неоднократно высказывал ранее:

«Для того чтобы заменить отживший порядок другим, надо выставить идеал высший, общий и доступный всему народу. А у интеллигенции и у настреканного ею пролетариата нет ничего похожего, — есть только слова, и то не свои, а чужие. Так что вот что я думаю: я радуюсь на революцию, но огорчаюсь на тех, которые, воображая, что делают ее, губят ее. Уничтожит насилие старого режима только неучастие в насилии, а никак не новые и нелепые насилия, которые делаются теперь».

Как и все произведения Толстого, трактат «Царство Божие внутри вас» тогда же был переведен на основные европейские языки. Именно на английском языке его прочитал великий Мохандас Карамчанд Ганди. Книга Толстого способствовала духовному возмужанию выдающегося политического и религиозного деятеля XX века. Вспоминая время зарождения теории ненасильственного сопротивления злу, сыгравшей такую огромную роль в освобождении его родной Индии и преображении всего облика мира, Ганди писал в 1928 году: «Сорок лет тому назад, когда я переживал тяжелейший приступ скептицизма и сомнения, я прочитал книгу Толстого „Царство Божие внутри вас“, и она произвела на меня глубочайшее впечатление. В то время я был поборником насилия. Книга Толстого излечила меня от скептицизма и сделала убежденным сторонником ахимсы ненасилия. Больше всего меня поразило в Толстом то, что он подкреплял свою проповедь делами и шел на любые жертвы ради истины».

В Индии, Китае, Японии восприятие идей Толстого, организация толстовских обществ и коммун носили особый характер. Толстой и сегодня одна из самых популярных и чтимых фигур среди конфуцианцев и буддистов. Один из самых известных буддистов Японии, президент светского буддийского общества «Сока Гаккай», удостоенный за гуманистическую деятельность звания лауреата премии ООН, Дайсаку Икеда начинает свое обращение к русским читателям своей книги именно словами из дневника любимого русского писателя, «перед творческим и духовным подвигом» которого он преклоняется всю жизнь: «Я твердо уверен, что люди поймут и начнут разрабатывать единую истинную и нужную науку, — которая в загоне, — НАУКУ, КАК ЖИТЬ».

Толстой постигал основы этой науки у великих мудрецов Индии и

Китай. И он сторицей вернул свой долг духовному Востоку, заняв достойное место рядом с этими мудрецами. Тут много что можно и должно сказать, но лучше остановиться, не перегружая текст именами и цитатами. Толстой и Восток — бескрайний океан сюжетов, идей, людей, окунувшись в который, легко и не выплыть на поверхность.

*

Организация помощи голодающим и бесконечная трудно складывавшаяся работа над трактатом «Царствие Божие внутри вас» совершенно не оставляли времени для художественного творчества. Толстой-художник безмолвствует, к великой досаде его читателей-почитателей, несколько лет. Лишь где-то подспудно, на уровне подсознания, незаметно вызревают замыслы новых рассказов и повестей. Рано или поздно потребность писать «без всякой думы о проповеди людям, о пользе» должна была прорваться.

Вполне вероятно, что во время зимних поездок по голодающим деревням в суровую зиму 1891/92 года забрезжил сюжет одного из самых совершенных творений писателя — рассказа «Хозяин и работник». Поездки были крайне тяжелыми: из-за метелей порой приходилось менять маршрут и возвращаться, ночевать в непредвиденных местах, а однажды Толстой заблудился и пришлось из Бегичевки послать человека на его поиски. Злая, переходящая в похоронный вой музыка метели пронзительно продолжала звучать в ушах писателя, рождая, если так можно сказать, национальные апокалипсические образы и видения, создающие естественный мистический колорит, где всё одновременно реально и призрачно; о русском «мистицизме» Толстого хорошо сказано Питиримом Сорокиным: «Этот мистицизм опять-таки, кажется, не случаен для нас... Бесконечные снежные равнины, песни вьюги, длинные сумерки и бесконечные леса вместе со скорбью нашей жизни еще в древности настроили душу русского человека на мистический лад. Возьмите наши сказки, былины и в особенности песни — разве не чувствуется в них наряду с тоской глубокой тайны?»

К глубоким тайнам жизни и смерти прикасается Толстой в рассказе-притче «Хозяин и работник», своеобразно перекликающемся с любимым писателем шедевром Лескова «На краю света».

Между тем всё в рассказе зримо, осязаемо, слышно (изумительный *soundtrack*, говорящий о большом музыкальном даровании Толстого), в

такой степени реалистично, что граничит со сверхъестественным: воеет волк («какой-то новый, живой звук», равномерно усиливающийся «до совершенной явственности», затем равномерно ослабевающий), и к его вою тревожно прислушиваются «хозяин» Брехунов и умная лошадь, и воеет «так недалеко, что по ветру ясно было слышно, как он, ворочая челюстями, изменял звуки своего голоса» — слишком реальное существо и потому особенно страшное, inferнальное, но Толстой слово «инфернальное» не употребит, оно из лексикона Достоевского; развешанное замерзшее белье на веревке — деталь совсем прозаическая, бытовая, вырванная стихийным ненастьем из бытовой оболочки — отчаянно трепещет от ветра, и больше всего надрывается белая рубаха, махая своими рукавами, как будто моля о спасении, позднее она сорвется и будет болтаться на одном рукаве, а потом уже и всё белье занесет снегом, — оставленное, брошенное людьми белье, которое не собрала к церковному празднику то ли ленивая, то ли умирающая хозяйка, как предполагает всё замечающий, всем сочувствующий и со всеми говорящий (не только с Мухортым, другом и самым близким ему созданием, но и овцами, курами, собачонкой, и даже с сугробом и оврагом, которых упрекает за озорство) вечный работник Никита («сюжет для небольшого рассказа»).

Бесследно промчались и исчезли в снежной мгле вдруг настигшие хозяина и работника сани с тремя пьяными мужиками (вестимо, с праздника) и бабой, укутанной, засыпанной снегом, неподвижной, нахохлившейся, из какой-то неведомой деревни («А-а-а-ские»), развеселив и ободрив Брехунова; о них в рассказе как-то сознательно совсем мало сказано, гораздо больше о лошаденке, которой больше всего и сочувствует сострадательный Никита: «Косматая, вся засыпанная снегом, брюхастая лошаденка, тяжело дыша под низкой дугой, очевидно, из последних сил тщетно стараясь убежать от ударявшей ее хворостины, ковыляла своими коротенькими ногами по глубокому снегу, подкидывая их под себя. Морда, очевидно, молодая, с подтянутой, как у рыбы, нижней губой, с расширенными ноздрями и прижатыми от страха ушами, подержалась несколько секунд подле плеча Никиты, потом стала отставать». Жалкая и несчастная лошаденка, совсем не похожая на гордых и зловещих коней Апокалипсиса, сгинула, однако, в смертоносной снежной мгле: ничего дальше не говорится об участии развеселой компании, возможно, сбились и замерзли в жутковатую метель, а лошаденке-то всяко уже не жить, ее пьяные мужики «на отделку» замучили. Еще один «сюжет для небольшого рассказа». Толстой в «Хозяине и работнике», соскучившись по «художественному», великодушно расточителен.

Однообразный бег саней во тьме по замкнутым кругам, странное, бессмысленное, кажущееся попятным движение: «Сани, казалось иногда, стояли на месте, и поле бежало назад» — нечто сродни ощущениям современного путешественника в самолете или сверхскоростном поезде. Монотонно повторяющиеся вновь и вновь строения, предметы, ощущения (иллюзия остановки времени, а оно стремительно несется вперед, всё преобразая): «поехали... той же дорогой, мимо того же двора... мимо того же сарая, который уже был занесен почти до крыши и с которого сыпался бесконечный снег; мимо тех же мрачно свистящих и гнущихся лозин и опять въехали в то снежное, сверху и снизу бушевавшее море». Море, а еще точнее, бескрайняя снежная пустыня, где со всех сторон, спереди, сзади, была везде одна и та же однообразная белая колеблющаяся тьма, иногда как будто чуть-чуть просветляющаяся, иногда еще больше сгущающаяся.

И звуки в этой белой снежной мгле (рассказ черно-белый: строгие цвета смерти и Апокалипсиса) унылые, монотонные, усыпляющие (механически засыпают герои, вот только проснуться им «некуда»). Когда безмолвие взрывает какой-то страшный, оглушающий крик, невольно овладевает страх, словно кто-то возвестил о надвигающейся гибели и Страшном суде — и хотя выясняется, что это всего лишь заржал Мухортый, «ободря ли себя или призывая кого на помощь», но страх остается, не проходит.

Самый значительный, символично-мистический образ рассказа — чернобыльник. Он мог бы стать символом сопротивления, неодолимой жизненной энергии, как татарник в повести «Хаджи-Мурат», этот «выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его всё в одну сторону и свистевшего в нем ветра», а внушает сбившемуся с дороги «хозяину» ужас, заставляя содрогнуться; куда бы он ни направлял лошадь, всё время наталкивался на межу, поросшую чернобыльником, всюду была только та пустыня, в которой он пребывал один, «как тот чернобыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти», смерти, которой он так боялся, казалось, воплотившейся в слишком реальном, действительном образе чернобыльника (а для сегодняшнего читателя неизбежно ассоциирующегося с Чернобылем).

В начале сентября 1894 года Толстой вдруг «продумал очень живой художественный рассказ о хозяине и работнике», а уже в середине месяца был готов первый вариант, тогда же переписанный Татьяной Львовной и Марией Львовной, очень близкий по стилистике и тенденции к народным рассказам. Вариант Толстого не удовлетворил, и он вернулся к работе над

рассказом в следующем году. Трудно вылепливались характеры главных героев — и Толстой не жалел усилий на их лепку, оттачивая до немыслимого совершенства каждую деталь. Еще труднее — финал произведения, где так важно было избежать малейшей фальши и морализирования, заметных в вариантах, всплывавших по инерции привыкшего к проповеди и поучениям автора трактатов и боевых задорных статей. В вариантах смерть Брехунова изображалась слишком прямолинейно, не изнутри, а, в сущности, со стороны и даже мелодраматично: «И вдруг ему стало светло, радостно. Он поднялся над всем миром. Все эти быки, заботы показались так жалки, ничтожны. Он узнал себя, узнал в себе что-то такое высокое, чего он в 40 лет ни разу не чувствовал в себе. Слава Богу, и мне тоже, и я не пропал, подумал он. И что-то совсем другое, такое, чего и назвать нельзя, сошло на него, и он вошел в него, и кончилось старое, дурное, жалкое и началось новое, светлое, высокое и важное».

Всё это Толстой даже не радикально переделает, а целиком устранил. И, не жалея времени и усилий, всё исправлял да «подмалевывал», а потом послал рукопись для передачи в предсимволистский журнал «Северный вестник» Л. Гуревич и А. Волынского (Флексера) Николаю Страхову, эстетическому вкусу и добросовестности которого доверял, с просьбой внимательно прочитав рассказ и вынести ему критический приговор. Со смиренной просьбой, так трогательно прозвучавшей:

«Вы просмотрите его и скажите, можно ли его печатать. Не стыдно ли? Я так давно не писал ничего художественного, что, право, не знаю, что вышло. Писал я с большим удовольствием, но что вышло, не знаю. Если вы скажете, что нехорошо, я несколько не обижусь...»

Страхов, ознакомившись с рукописью, пришел в совершенный восторг: «Боже мой, как хорошо, бесценный Лев Николаевич!.. Василий Андреич, Никита, Мухортый стали моими давнишними знакомыми. Как ясно, что Василий Андреич под хмельком! Его страх, его спасение в любви — удивительно! Удивительно! А Мухортый ушел от него к Никите... целая драма, простейшая, яснейшая и потрясающая».

Тончайшие критические замечания. Особенно великолепно сказанное о Мухортом, положительно одном из главных персонажей рассказа — он всё прекрасно понимает, безупречно делает, безошибочно и пронизательно чувствует («Только не говорит...», хотя его ржание красноречивее и сильнее слов), и Мухортый, действительно, покругив Брехунова по адскому кругу, уходит от него к тому, кого любит и считает подлинным хозяином.

Толстого, тем не менее, не очень удовлетворило одобрение Страхова. Он присылает ему до безобразия измарианные корректуры рассказа, усугубив и без того тяжкий труд наборщиков, настойчиво повторив просьбу высказаться как можно откровеннее: «Пожалуйста, напишите порезче всё, что вы скажете об этом рассказе, говоря не со мною. Мне интересно знать: ослабела ли моя способность или нет. И если да, то это меня так же мало огорчит и удивит, как и то, что я не могу бегать так же, как 40 лет тому назад». Страхов — Толстой напрасно подозревал его в неискренности — действительно в этом рассказе не обнаруживал никаких недостатков: «Изобразительность Ваша несравненна. Что же я могу сказать, кроме похвал? Просто, ясно, определенно у Вас рассказано то, что почти недоступно рассказу, и действующие лица, не исключая Мухортого, делаются нам страшно близкими. Мороз подирает по коже... Тайна смерти — вот что у Вас бесподобно... Душевное смягчение и его смысл — только у Вас это можно найти. А сны? Удивительно... Верность и чистота каждой черты — изумительная». Словом, верх совершенства, и неожиданно обнаруживается, что еще не верх — исправления, сделанные Толстым в корректурах, удивили Страхова своей точностью и необходимостью, рассказ стал еще совершеннее: «Вы... удивительно добавляете и удивительно вычеркиваете. Некоторые слова и мысли у всеми любимого и достойного любви Никиты, чем-то задевавшие меня прежде, оказались выкинутыми. Особенно поразило меня возвращение Василия Андреича к Никите: вдруг Вы перестаете описывать его душевное состояние и рассказываете только, что он делал и говорил. Чудо как хорошо!»

В отличие от Страхова, гораздо более прямолинейный, догматичный, со слабо развитым эстетическим чувством Чертков, не колеблясь, давал Толстому «полезные» советы; по его мнению, можно было бы пояснить, что Никита почерпнул свои воззрения из Евангелия. Толстой такое предложение отклонил: его герой стихийный христианин (как восхитивший писателя якут в рассказе Лескова «На краю света»): «Мне, главное, хотелось показать то, что душа человеческая христианка и что христианство есть нечто иное, как закон души человеческой». Никита — «нехозяин», как в высшем, духовном смысле не является хозяином и богатый Василий Брехунов, но он смиренно исполняет волю истинного хозяина над всем и всеми; потому-то и не страшна ему мысль о смерти, что, «кроме тех хозяев, как Василий Андреич, которым он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь, и знал, что, и умирая, он останется во власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит». И ему, конечно,

становится жутко в адски холодную страшную ночь; промерз до мозга костей в своей худой, рваной одежонке («дипломате», как насмешливо ее нарек Брехунов, любивший употреблять совершенно не к месту иностранные словечки, находя это, должно быть, остроумным и обнаруживающим образованность), чувствуя себя раздетым до одной рубахи — и его если не согревает, то успокаивает, простая и неизменная вера:

«Ему стало жутко. „Батюшка, отец небесный!“ — проговорил он, и сознание того, что он не один, а кто-то слышит его и не оставит, успокоило его. Он глубоко вздохнул и, не снимая с головы дерюжки, влез в сани и лег в них на место хозяина».

Вновь прозрачная «игра» семантическими оттенками слова: надеясь, как всегда, на волю главного хозяина («И замерзнешь — не откажешься»), работник ложится на место хозяина земного, только что покинувшего его в минуту смертельной опасности. Никита отнюдь не еретик и не сектант, религиозный диссидент, он помирает, соблюдая обряды своей религии, и положили Никиту после смерти согласно его воле «под святыми и с зажженной восковой свечкой в руках». Помирает, как истинно толстовский «грешный» праведник, простившись с близкими, «истинно радуясь тому, что избавляет своей смертью сына и сноху от обузы лишнего хлеба и сам уже по-настоящему переходит из этой наскучившей ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом становилась ему всё понятнее и заманчивее». Никита не вне церкви; ему, как неустоимому и всегда занятому работнику, некогда думать о церкви и строго соблюдать ее обряды. У него есть нечто гораздо выше этой внешней стороны дела: инстинктивное и истинно религиозное отношение к жизни, непосредственная, прямая связь с Богом, которого он даже ни о чем не молит, разбуженный предсмертными ударами копыт Мухортого (как и ржание, испугавшее Брехунова, знак судьбы): «Господи, батюшка, видно и меня зовешь... Твоя святая воля. А жутко. Ну, да двух смертей не бывать, а одной не миновать. Только бы поскорее бы...»

Василий Андреич Брехунов, как и положено купцу второй гильдии, хозяину, не просто ходил в церковь, он обязан был в ней бывать, исполняя обязанности церковного старосты, чем удобно пользовался, свободно распоряжаясь церковными деньгами. А от религии и Бога он очень удален. Видит в Боге и святых торговых партнеров, которых и обмануть не грех, подешевле заплатив за спасение души, да еще демагогически заверив, как привык поступать во всех земных делах, что всё идет «по чести» и «по совести». Он постоянно комбинирует, считает барыши да долги за людьми,

пытаясь извлечь как можно больше выгоды: «Пятьдесят шесть десятин, пятьдесят шесть сотен, да пятьдесят шесть десятков, да еще пятьдесят шесть десятков, да пятьдесят шесть пятаков». С наслаждением ощупывает «предплечьем руки бумажник в кармане».

В страхе перед надвигающейся смертью он вспоминает давешние молебны, и «образ с черным ликом в золотой ризе, и свечи, которые он продавал к этому образу и которые тотчас приносили ему назад и которые он чуть обгоревшие прятал в ящик. И он стал просить этого самого Николая-чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи». Выходит, что хозяин приходил в храм не молиться, а торговать, получать доход «по чести» и «по совести», да и теперь в некотором смысле пытается задобрить, подкупить Николая Чудотворца, и вдруг необыкновенно ясно осознает, что здесь, в апокалипсической снежной пустыне эти обещания бесполезны, «что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи». Исчезает и формализованная, извращенная вера.

Вот тогда-то и наступает резкий перелом, изображенный Толстым с искусством, особенно поразившим Страхова, — прекращается описание душевного состояния героя, который начинает действовать и говорить, исполняя волю главного Хозяина, превращается из хозяина в слугу, призванного спасти Работника. Исчезает страх (то ужасное состояние страха, что «он испытал на лошади, и в особенности тогда, когда один остался в сугробе» — арзамасский кошмар Брехунова), и в предсмертном мистическом сне приходит Он, куда-то зовущий бывшего маленького земного хозяина, окликающий, «освобождающий» его. Так в мистической плоскости сна земным людям, еще не коснувшимся тайны смерти, видна лишь мороженная туша с расставленными раскоряченными ногами, которую так и отвалили от угревшегося Никиты.

Критик Михайловский нашел преображение хозяина в конце рассказа слишком немотивированным и неожиданным, мол, только предал Никиту, а через мгновение стал спасать его. Перемена, что и говорить, стремительная и которая может показаться волшебной и произвольной. Как можно тут категорично судить? Конечно, всё произошло всего в одну ночь. Но какую ночь! Она вместила в себя целую жизнь, бесконечно расширив рамки времени. Символом и памятником великой ночи испытания и освобождения стал Мухортый, точнее, его снежная статуя: «Мухортый по брюхо в снегу, с сбившимися со спины шлеей и веретем, стоял весь белый, прижав мертвую голову к заостренному кадыку; ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндевели и тоже обмерзли точно слезами. Он исхудал в

одну ночь так, что остались на нем только кости да кожа». Преобразила всех до неузнаваемости, заставила пережить то, о чем можно лишь смутно догадываться тем, кому еще неведома тайна смерти и — тем более — тайна настоящего перехода из этой жизни в иную.

«Хозяин и работник» появился в мартовском номере журнала «Северный вестник», где был напечатан — бывают же такие поразительные совпадения — некролог Николая Лескова, который так много способствовал знакомству и редакторов журнала с Толстым, членами его семьи, Ясной Поляной. Напечатана была в «Северном вестнике» и записка Лескова, составленная им в 1892 году, — «Моя предсмертная просьба». Лесков просил тело «погребсти» «самым скромным и дешевым порядком... по самому низшему, последнему разряду», не возвещать ни о каких-то «нарочитых церемониях и собраниях у бездыханного трупа», не говорить никаких речей на похоронах, не ставить на могиле «никакого иного памятника, кроме обыкновенного, простого деревянного креста».

На Толстого даже не смерть (она не была неожиданностью), а посмертная просьба Лескова произвела огромное впечатление, побудив тут же написать «такое же» завещание, первых два пункта которого гласили:

«1) Похоронить меня там, где я умру, на самом дешевом кладбище, если это в городе, и в самом дешевом гробу — как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священника и отпеванья. Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай похоронят и как обыкновенно с отпеванием, но как можно подешевле и попроще.

2) В газетах о смерти не печатать и некрологов не писать».

Лесков всё же успел прочитать «Хозяина и работника» до того, как сам смог узнать, «кроткие» ли глаза у смерти: рукопись рассказа выслала для прочтения Любовь Яковлевна Гуревич. Последний драгоценный подарок не очень-то благосклонной к нему судьбы. Восторгам Лескова не было пределов. Восхищало всё, а особенно потрясло преображение хозяина, спасающего Никиту ценой собственной гибели. Это трогало до слез и было так близко по духу его собственным задушевым произведениям — «Несмертельному Головану» и «На краю света».

Восхищались рассказом и другие друзья и почитатели таланта Толстого, среди которых был и Илья Репин: «перл», «чисто художественная вещь», где тенденция присутствует «только в самой малой степени, почти незаметна и почти не мешает». Недовольным, похоже, оставался один автор и после нещадной, измучившей наборщиков гигантской правки, хотя и испытывавший от всеобщих похвал «чувство мелкого тщеславного

удовлетворения», — нехорошее чувство, грех, который надобно пронумеровать в дневнике и стараться избегать в дальнейшем. Замыслил даже нечто вроде антикритики на собственное произведение: «Рассказ плохой. И мне хотелось бы написать на него анонимную критику, если бы был досуг и это не было бы заботой о том, что не стоит того». Сильно сконфузил Ивана Бунина, посетившего Толстого в Хамовниках. Бунин приметил в руках Толстого номер «Северного вестника» с рассказом и не удержался от восторженных восклицаний. Реакция Толстого была совершенно неожиданная; он покраснел и замахал руками:

— Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!

Трудно назвать причины столь резкого отношения Толстого к своему шедевр. Может быть, он был всё же недоволен много раз переделывавшимся концом рассказа, тем, что не удалось художественными средствами выразить какую-то заветную мысль. Существовали, правда, и серьезные внешние обстоятельства, связанные с рассказом, очень тяготившие Толстого. Они обозначены в февральском дневнике 1895 года: «Несчастный рассказ. Он был причиной вчера разразившейся страшной бури со стороны Сони. Она была нездорова, ослабла, измучилась после болезни милого Ванечки, и я был нездоров последние дни. Началось с того, что она начала переписывать с корректуры. Когда я спросил зачем».

А дальше в дневнике вырван лист (очевидно, Софьей Андреевной или по ее настоянию), содержание которого отчасти восполняется по письму Толстого Страхову (Лев Николаевич просил его сжечь фрагмент, излагающий суть неприятной истории, но критик этого не сделал):

«Рассказ мой наделал мне много горя, Софье Андреевне было очень неприятно, что я отдал даром в „Северный вестник“, и к этому присоединился почти безумный припадок (не имеющий никакого подобия основания) ревности к Гуревич. Совпало это с женскими делами, и мы все пережили ужасные дни. Она была близка к самоубийству, и только теперь 2-й день она опять овладела собой и опомнилась. Вследствие этого она напечатала объявление, что рассказ выйдет в ее издании, и вследствие этого писала вам, спрашивая о размере гонорара за лист. Она хотела потребовать с Гуревич гонорар и отдать его в Литературный фонд».

Добрые и сердечные отношения, установившиеся между супругами «на службе голода», позднее начали вновь портиться. Появились и новые зловещие симптомы. Поздней осенью 1893 года в дневнике Софьи Андреевны появляется полубезумная запись суеверной женщины, переходящая в молитву:

«Я верю в добрых и злых духов. Злые духи овладели человеком, которого я люблю, но он не замечает этого. Влияние же его пагубно. И вот сын его гибнет, и дочери гибнут, и гибнут все, прикасающиеся к нему. А я день и ночь молюсь о детях. И это духовное усилие тяжело... и я погибну физически, но духовно я спасена, потому что общение мое с Богом, связь эта не может оборваться, пока я не под влиянием тех, кого обуяла злая сила... Тут, в Москве, Лева стал веселей и стал поправляться. Он вне всякого влияния, кроме моей молитвы... Только бы не ослабла во мне энергия молитвы, а то всё пропало. Господи, помилуй нас и избавь от всякого влияния, кроме твоего».

Удивительно, что Софья Андреевна не уничтожила эту единственную за весь год запись в дневнике; она явно была больше озабочена чисткой дневников Льва Николаевича. Не только сохранила, но и дала к этой, по ее же собственному определению, «безумной» странице комментариев в «Моей жизни». Софью Андреевну тяготило отсутствие Толстого, который находился вместе со своей любимой дочерью Марией в Ясной Поляне, где в тихой деревенской обстановке работал над статьей «О религии». Возвращаться в Москву отец и дочь положительно не спешили, что крайне раздражало Софью Андреевну: «Нервное возбуждение мое стало переходить в какое-то озлобление, в мистицизм, и мне вдруг показалось, что дьявол овладел Львом Николаевичем и охладил его сердце».

Озлобление не было минутным, оно всё время присутствовало подспудно, то и дело выливаясь в безобразные, сумасшедшие поступки. Неуклонно росла ненависть Софьи Андреевны к Черткову и другим «темным», как она (а вслед за ней и другие) именovala последователей взглядов мужа, «толстовцев» (весьма возможно, что слово «темные» она позаимствовала у жены брата Толстого Сергея Николаевича Марии Михайловны, придерживавшейся ортодоксальной веры, возлагавшей несчастья в своей семье на Льва Николаевича и, разумеется, толстовцев, которых не любила, боялась и называла «темненькими, чудесными»), В дневниках и письмах Софьи Андреевны, начиная с 1880-х годов, рассыпано множество недоброжелательных суждений об этих несимпатичных, ленивых и «глупых» людях, неудержимо иногда переходящих в брань: «Жалкое отродье человеческого общества, говоруны без дела, лентяи без образования».

Достаточно было любого пустякового повода, чтобы вспыхнул скандал. В конце декабря Толстой согласился на просьбу Черткова сняться с его учениками и сотрудниками издательства «Посредник» в московском фотоателье Мея, что вызвало сильный гнев Софьи Андреевны, который

нисколько не утих и спустя неделю, о чем красноречиво говорит запись в ее дневнике, достаточно вольно, пристрастно освещающая некрасивую и скандальную историю:

«Обманом от нас, тихонько уговорили Льва Николаевича сняться группой со всеми *темными*... Снимаются группами гимназии, пикники, учреждения и проч. Стало быть, толстовцы — это *учреждение*. Публика подхватила это, и все старались бы купить *Толстого с учениками*. Многие бы насмеялись. Но я не допустила, чтоб Льва Николаевича стащили с пьедестала в грязь. На другое же утро я поехала в фотографию, взяла все негативы к себе, и ни одного снимка еще не было сделано. Деликатный и умный немец-фотограф, Мей, тоже мне посочувствовал и охотно отдал мне негативы».

Мей, видимо, просто был вежлив и предупредителен с женой великого Толстого, но Софья Андреевна очень нуждалась в сочувствующих ей людям, и обычной вежливости было достаточно, чтобы такие появились. В реальной действительности всё обстояло не так: Толстой пропадал в кабинете, выходя лишь ненадолго мрачным и молчаливым к обеду. Мария Львовна избегала общения с матерью. Другие дети смотрели на нее со страхом и при первой возможности стремились улизнуть из дома. Толстовцы, естественно, делали демарши. А сама виновница этого переполоха ночью «била» негативы возмущивших ее фотографий и старалась из них бриллиантовой серьгой вырезать лицо Льва Николаевича, что удавалось плохо. Странное занятие и дикая история. Толстой, конечно, сильно расстроился, однако сдержался, был ласков с женой, оставив суховатую запись в дневнике: «Вышло очень неприятное столкновение из-за портрета. Как всегда, Соня поступила решительно, но необдуманно и нехорошо».

Так нервно и неприятно начался 1895 год, оказавшийся таким печальным для Толстых. Вскоре после истории со злополучной фотографией, в начале февраля разразился настоящий кризис. Толстой в дневнике обрисовал суть кризиса кратко, опустив многие детали и после того, как убедился, что здоровье Сони «установилось»: «Она положительно близка была и к сумасшествию, и к самоубийству. Дети ходили, ездили за ней и возвращали ее домой. Она страдала ужасно. Это был бес ревности, безумной, ни на чем не основанной ревности. Стоило мне полюбить ее опять, и я понял ее мотивы, а поняв ее мотивы, не то что простил ее, а сделал то, что нечего было прощать».

Чертков и темные, завладевшие вниманием так охладевшего к ней Лёвочки, болезни сыновей Льва и Вани, «Хозяин и работник» — всё это

вместе образовало такую гремучую смесь, что не взорваться она просто не могла. А в эпицентре взрыва оказалась обаятельная, молодая, умная Любовь Гуревич, которая, по неосторожному слову профессора Стороженко, больно задевшему и очень запомнившемуся Софье Андреевне, «обворожила» Толстого. Софья Андреевна была болезненно ревнива, с годами ревность только усилилась: ревновала она ко всем прежним простонародным любовницам мужа, заодно удивляясь его «грубому» вкусу, во многих эпизодах произведений Толстого, содержащих любовные сцены или живописующих семейную жизнь, видела нечто унижающее и оскорбляющее ее лично, молодых дам в окружении мужа никак не приветствовала, и расположенность Толстого к «интриганке» и «полуеврейке» Гуревич ее давно уже раздражала, перейдя, после того как он отдал «чудесный рассказ» «Северному вестнику», в ненависть.

Последовало длительное острейшее нервное расстройство, усилившееся после заявления мужа, что он навсегда уедет и больше никогда не вернется. Толстой не в первый раз заявлял о своем желании уйти. Софья Андреевна неизменно воображала за всеми этими заявлениями мужа где-то притаившуюся женщину; теперь она была абсолютно уверена, что причиной всему Любовь Гуревич. Дальнейшее описано чрезвычайно живо, динамично в ее дневнике:

«Я потеряла всякую над собой власть, и, чтоб не дать ему оставить меня раньше, я сама выбежала на улицу и побежала по переулку. Он за мной. Я в халате, он в панталонах без блузы, в жилете. Он просил меня вернуться, а у меня была одна мысль — погибнуть так или иначе. Я рыдала и помню, что кричала: пусть меня возьмут в участок, в сумасшедший дом. Левочка тащил меня, я падала в снег, ноги были босые в туфлях, одна ночная рубашка под халатом. Я вся промокла, и я теперь больна и ненормальна, точно закупорена, и всё смутно».

Только немного успокоилось, и опять началось: злые лица, неприятные и мелочные распри из-за корректур рассказа, которые Толстой, не без основания боясь обмана, не давал переписывать жене. В страшном отчаянии Софья Андреевна уходит из дома. За ней незаметно следует встревоженная Маша. Хотелось замерзнуть, как замерз герой обещанного Гуревич рассказа Василий Брехунов. Но Маша заставила вернуться домой. Через два дня — новая попытка побега. На этот раз вернуть мать Маше помогал брат Сергей. В голове Софьи Андреевны мелькали прежние безумные мысли: представлялось, что рука Льва Николаевича кого коснется, того и губит. А тот тщетно пытался успокоить жену, кланяясь до самого пола и прося его простить. Очень добра была с ней сестра мужа

Мария Николаевна, сочувственно выслушивавшая бред больной женщины, возражать которой было бессмысленно. Понятно, явились на сцену и доктора с традиционными для того в медицинском смысле первобытного общества средствами успокоения: бром, вода Виши и какие-то капли. Акушер Снегирев в присутствии Софьи Андреевны упомянул о «критическом периоде».

С рассказом же «Хозяин и работник» история закончилась победой (пирровой?) Софьи Андреевны. Она и торжествовала, пусть и нервно поживаясь при воспоминании о череде безобразных сцен: «И мне и „Посреднику“ повесть отдана. Но какую ценою! Поправляю корректуры и с нежностью и умилением слежу за тонкой художественной работой. Часто у меня слезы и радость от нее».

Толстой ничего похожего на нежность, умиление, слезы и радость, читая те же самые корректуры, не испытывал — слишком уж много было связано с рассказом неприятностей, надрывов, болезней. Жизнь в Москве, где Софья Андреевна мечтала изгнать из него злых духов, внушала всё то же, если не более сильное, чем десять лет назад, отвращение. Хотелось подвига, хотелось «остаток жизни отдать на служение Богу», хотелось страдать, но не от повседневной суеты и семейных дразг, неизбежно опустошавших, хотелось «кричать истину», которая жгла. Толстой устал душевно страшно. Устал от того, что «поставлен в положение невольного, принужденного юродства... должен своей жизнью губить то, для чего одного» и жил, что не может «разорвать... скверных паутин», сковавших его, так как ему «жалко тех пауков, которые ткали эти нити». Накатывало отчаяние и желание найти свой истинный дом, вырваться куда-то. В дневник заносятся исполненные высокого трагизма слова:

«Часто за это последнее время, ходя по городу и иногда слушая ужасные, жестокие и нелепые разговоры, приходишь в недоумение, не понимаешь, чего они хотят, что они делают, и спрашиваешь себя: где я? Очевидно, дом мой не здесь».

Вот этот «эффект отсутствия» Толстого хорошо почувствовал пятнадцатилетний гимназист Борис Бугаев (всему миру известный как Андрей Белый), учившийся с Михаилом Львовичем в Поливановской гимназии, на вечере, где собрались приятели сына писателя:

«Подпоясанный, в синей блузе, он стоял здесь и там, пересекая комнаты или прислушиваясь к окружающему, или любезно, но как-то нехотя давая те или иные разъяснения. Он как-то нехотя останавливался на подробностях разговора, бросал летучие фразы и потом ускользал. Он, видно, не хотел казаться невнимательным, а вместе с тем казался вдалеке, в

стороне... У меня потом осталось странное впечатление. Мне казалось, будто Толстой не живет у себя в Хамовниках, а только проходит мимо: мимо стен, мимо нас, мимо лакеев, дам, — выходит и входит».

Ванечка. Странная «любовь» Софьи Андреевны

Софья Андреевна, пытаясь объяснить себе и другим нервные срывы, следовавшие один за другим в начале 1895 года, писала в «Моей жизни»: «Со временем я ясно поняла, что мое крайнее отчаяние было не что иное, как предчувствие смерти Ванечки, которая и последовала в конце февраля... Такие периоды настроения вне нашей власти».

Здесь, очевидно, сошлось много причин, одной из самых важных была серьезная болезнь младшего и любимого сына, последнего ребенка Толстых, родившегося в марте 1888 года и умершего в феврале 1895-го.

Ванечку любили все. Это был ребенок на редкость мягкий и чуткий, понятливый и одаренный. Любили его и друзья Толстого: с доброй и преданной старушкой Марией Александровной Шмидт Ванечка подружился и, едва научившись грамоте, писал ей маленькие послания; когда в Ясную Поляну приезжал художник Николай Ге, шестилетний мальчик заставлял его повторять английские слова, и седовласый старик говорил о нем: «Это мой учитель». Им любовались и, разумеется, баловали, как самого младшего, прелестного, порхающего эльфа:

«Ванечка прекрасно танцевал, особенно мазурку. Он летел по зале, едва касаясь пола, худенький, грациозный. Он то притоптывал каблучками на месте, то ловко ударял в воздухе ногой о ногу, то становился на одно колено и обводил свою всегда более взрослую, чем он сам, даму вокруг себя. Бледное личико его розовело, глаза блестели, встряхивались выющиеся по плечам золотые кудри. На каждом детском балу, где обычно он был самый маленький, Ванечку показывали, он шел в мазурке в первой паре, и взрослые восхищались им и хвалили».

Ранняя смерть Вани, несомненно, способствовала рождению легенды о необыкновенно одаренном ребенке, которому, казалось бы, судьбой было предназначено стать наследником дела великого отца.

Более всего созданию легендарного образа ангелоподобного мальчика способствовала Софья Андреевна. Она находила, ссылаясь при этом, как на авторитетное, на суждение самого Ванечки («Мама, я сам чувствую, как я похож на папу»), что он был больше всех детей похож лицом на Льва Николаевича; сохранившиеся фотографии позволяют в этом усомниться,

больше всех похож внешне на Толстого, как известно, Илья Львович. Приводимый в «Моей жизни» Софьей Андреевной разговор слишком уж напоминает по стилю и сюжету жития или святочный рассказ:

«Незадолго до самой смерти раз Ванечка смотрел в окно, вдруг задумался и спросил меня: „Мама, Алеша (умерший мой маленький сын) теперь ангел?“

— Да, говорят, что дети, умершие до семи лет, бывают ангелами.

А он мне на это сказал:

— Лучше и мне, мама, умереть до семи лет. Теперь скоро мое рождение, я тоже был бы ангел. А если я не умру, мама милая, позволь мне говеть, чтобы у меня не было грехов».

Свой вклад в лепку образа совсем еще раннего правдолюбца-человеколюбца внесла и Александра Львовна, позабыв, должно быть, о диком вопле обезумевшей от горя матери («Но почему, почему Ванечка, а не Саша?!»), вспомнив разные детские истории:

«Ванечка радовался, когда видел добро, и горько плакал и расстраивался при всяком проявлении недоброго. „Мама, зачем няня сердится? — спрашивал он со слезами на глазах. — Зачем? Скажи ей“. — „Не смей бить Сашу!“, — кричал он на Мишу, когда здоровый, сильный драчун Миша награждал Сашу тумаками. „Зачем ты его ругала?“ — спрашивал он мама, когда она делала выговор лакею или горничной. Зачем люди были злые, портили сами себе жизнь, когда всё могло быть хорошо и радостно? Зачем?»

По воспоминаниям той же Александры Львовны, Ванечка однажды в ответ на слова матери, показывавшей ему на окрестности Ясной Поляны: «Смотри, Ваня, это всё принадлежит тебе», сказал: «...всё — всехнее».

Софья Андреевна записала в дневник слова Толстого, произнесенные после похорон сына: «Вернулись мы осиротелые в наш опустевший дом, и помню я, как Лев Николаевич внизу, в столовой, сел на диван... и, заплакав, сказал:

— Я думал, что Ванечка один из моих сыновей будет продолжать мое дело на земле после моей смерти.

И в другой раз приблизительно то же:

— А я-то мечтал, что Ванечка будет продолжать после меня дело Божие. Что делать!»

В письме Страхова к родителям Вани есть такие строки: «Он много обещал — может быть, наследовал бы не одно ваше имя, а и вашу славу». А критик Меньшиков, выражая соболезнование, писал: «Когда я видел вашего маленького сына, то думал, что он или умрет, или будет гениальнее

своего отца».

Возможно, Софья Андреевна не совсем точно передает слова Толстого. Он крайне редко прибегал к таким патетическим фразам. В детях, особенно сыновьях, он хотел видеть сочувствие и понимание его взглядам, о наследниках и не задумывался, полагая, что не стоит придавать слишком большое значение ни родовым, ни национальным вопросам, предпочитал быть гражданином мира, — всего мира, а не только христианского. Но, конечно, он тяжело переживал смерть любимца семьи, понимая, что с уходом Вани исчезнет очень важная нить, связывавшая их всех.

Это была не первая смерть в семье. Ранее умерли Петр, Николай, Алексей. Обстоятельства трагические и в то же время обыкновенные для XIX века — дети постоянно болели и часто умирали как в бедных, так и в богатых семьях — медицина была слишком часто бессильна, давая веские аргументы Толстому для отрицательного отношения к врачам и их «шарлатанскому» ремеслу. Обычная семейная жизнь, так лаконично и образно описанная в «Крейцеровой сонате»: «Это была какая-то вечная опасность, спасенье от нее, вновь наступившая опасность, вновь отчаянные усилия и вновь спасенье — постоянно такое положение, как на гибнущем корабле». Не всегда удавалось спасти маленьких пассажиров гибнущего корабля. И тогда горюющие родители получали обычные утешения: жаль, конечно, очень жаль, «но все-таки лучше, чтоб умирали маленькие, если уж нужно кому-нибудь умирать» (так утешала Толстых в марте 1875 года сердобольная и чуткая Мария Николаевна). Лев Николаевич горевал, понимая, что утешения не восполнят утраты, и преклонялся перед высокими страданиями жены: «Утешаться можно, что если бы выбирать одного из нас восьмерых, эта смерть легче всех... но сердце, и особенно материнское — это удивительное высшее проявление божества на земле — не рассуждает, и жена очень горюет» (после смерти Пети). И видел в этом тяжком испытании особый и благой знак. Он писал в начале 1886 года после смерти четырехлетнего Алеши: «Об этом говорить нельзя. Я знаю только, что смерть ребенка, казавшаяся мне прежде непонятной и жестокой, мне теперь кажется и разумной и благой. Мы все соединились этой смертью еще любовнее и теснее, чем прежде». Но Софья Андреевна ничего благого и разумного в смерти Алеши не чувствовала: очень долго не могла оправиться и всегда помнила траурный день.

Ванечка был ей особенно дорог. Он часто болел и отличался повышенной чувствительностью, умилая мать, которую часто одолевали предчувствия, что этот хрупкий и нежный цветок скоро завянет, что он не будет жить. Свои пессимистические мысли (а она очень была склонна к

пессимизму) Софья Андреевна заносила в дневник. И напроносила. Только немного утихло напряжение, связанное с «несчастливым рассказом» и с Гуревич, как последовала почти моментальная смерть сына от какой-то разновидности злокачественной скарлатины. Софью Андреевну захлестнуло горе, и поток эмоций, которые она и в относительно спокойные дни не могла и не хотела сдерживать, неудержимо, пугая домашних, вырвался наружу.

«Зачем?! — кричала она и билась головой о стену, рвала на себе волосы или, рыдая, бегала из угла в угол. — Зачем его отняли у меня?!» — и в следующий момент: «Неправда! Он жив! Ну, говорите же, что вы молчите?! Ведь он же не умер? Дайте мне его! Что вы молчите, как истуканы! Ааа! Вы говорите: „Бог добрый“! Так зачем же Он отнял его у меня? Зачем?!»

Особенно ужасно было первое время после смерти и день похорон. Софья Андреевна тогда чуть не сошла с ума. И, в сущности, она так и не оправилась от страшного удара. Татьяна Львовна, очевидец доброжелательный и беспристрастный, с грустью вспоминает: «Моя мать после пережитого ею большого горя не сумела найти успокоения... Ей не хватало какой-то моральной силы, которая помогла бы ей обратить на благо свои страдания».

Толстой возлагал немалые надежды на появление этой моральной силы, всемерно пытался поддержать жену, но его самого сотрясало горе, которое он старался сдерживать, а оно прорывалось какими-то страшными гортанными звуками (что-то среднее между стоном и кашлем). Мария Львовна пишет об отце и матери в те мрачные дни: «Мама страшна своим горем. Здесь вся ее жизнь была в нем, всю свою любовь она давала ему. Папа один может помогать ей, один он умеет это. Но сам он ужасно страдает и плачет всё время». Он сгорбился, очень постарел, погрузился, а на третий день сказал жене, что первый раз в жизни почувствовал «безвыходность».

Видимо, гигантским усилием воли преодолел он эту безвыходность, сосредоточившись на помощи потерявшей душевное равновесие Софье Андреевне и философском и религиозном осмыслении факта смерти маленького сына (и вообще маленьких детей). Смерть Ванечки стала для него столь же большим событием, как некогда смерть любимого брата Николеньки, — «нет, в гораздо большей степени, проявление Бога, привлечение к нему, — записывает он в дневнике. — И потому не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжелое событие, но прямо говорю, что это... не радостное, это дурное слово, но милосердное от Бога,

распутывающее ложь жизни, приближающее к нему событие». Близкими по смыслу словами описывает Толстой свое состояние Страхову: «Такие смерти (такие, в смысле особенно большой любви к умершему и особенной чистоты и высоты духовной умершего) точно раскрывают тайну жизни, так что это откровение возмещает с излишком за потерю. Таково было мое чувство».

Толстой часто размышлял о том, какой духовный смысл заключен в смерти маленьких детей, которую даже преждевременной невозможно назвать, скорее, довременной, и не находил ответа. Размышлял и подавленный смертью Ванечки, когда сама жизнь поставила вопрос: зачем жил и умер «этот мальчик, не дожив и десятой доли обычной человеческой жизни»? И ему кажется, что он подыскал разумное объяснение:

«Он жил для того, чтобы увеличить в себе любовь, вырасти в любви, так как это было нужно тому, кто его послал, и для того, чтобы заразить нас всех, окружающих его, этой же любовью, для того, чтобы, уходя из жизни и тому, кто есть любовь, оставить эту выросшую в нем любовь в нас, сплотить нас ею. Никогда мы все не были так близки друг другу, как теперь, и никогда ни в Соне, ни в себе я не чувствовал такой потребности в любви и такого отвращения ко всякому разъединению и злу. Никогда я Соню так не любил, как теперь».

Толстой выстраивает объективные, весьма банальные, даже «дурацкие», и разумные рассуждения. Природа забирает лучших, к приему которых мир еще не готов, назад, в некотором роде пробуя, экспериментируя, чтобы идти вперед (мистическая, в отличие от позитивистской, концепция прогресса): «Это запрос. Как ласточки, прилетающие слишком рано, замерзают. Но им все-таки надо прилетать. Так Ванечка». Таково объективное, очень распространенное и «дурацкое» рассуждение, которому не противостоит, а скорее, переключает мысль в другую и высшую плоскость рассуждение «разумное»: «Он сделал дело Божие: установление Царства Божия через увеличение любви — больше, чем многие, прожившие полвека и больше». А параллельно, рядом рождается максима в духе высоко ценимого Толстым Паскаля: «Да, жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда умираю и я».

Объяснения и рассуждения предварительные. Толстой и в дальнейшем будет возвращаться к этим неотвязным вопросам. Почти через десять лет он даст гораздо более обдуманый ответ в дневнике: «Спрашивают, зачем умирают дети, молодые, которые мало жили. Почему вы знаете, что они мало жили? Ведь это весьма грубая мерка временем, а жизнь меряется не

временем... Почему вы знаете, какой внутренний рост совершила эта душа в свой короткий срок и какое воздействие она имела на других».

Значительно сильнее Толстого волновали тогда, в 1895 году, не ответы на «вековые» вопросы, а Софья Андреевна и согласие в семье. И сначала он готов был поверить в начавшийся спасительный духовный поворот, испытывая странное и двойственное чувство: «Софья Андреевна поразила меня. Под влиянием этой скорби в ней обнаружилось удивительное по красоте ядро души ее. Теперь понемногу это начинает застилаться. И я не знаю, радуюсь ли я тому, что она понемногу успокаивается, или жалею, что теряется тот удивительный любовный подъем духа. Хотя и года всё больше и больше сближают нас, смерть эта еще более сблизил нас с нею и со всей семьею». Дочери Марии он в торжественном стиле писал о вступлении матери в новую жизнь, «которая есть ступень кверху, к свету», радуясь и благодаря Создателя за ее и свое «оживление, воскресение в смысле духовном». Разительная перемена в жене, пожалуй, потрясла Толстого больше, чем смерть сына, осветив духовную важность события: «Боль разрыва сразу освободила ее от всего, что затемняло ее душу. Как будто раздвинулись двери и обнажилась та божественная сущность любви, которая составляет нашу душу... всё, что только чем-нибудь нарушало любовь, что было осуждением кого-нибудь, чего-нибудь, даже недоброжелательством, всё это оскорбляло, заставляло болезненно сжиматься обнажившийся росток любви».

Толстой готов всегда любоваться этим нежным цветком, лелеять его, понимая, что это невозможно, так как довольно и легкого дуновения земного воздуха и росток начнет увядать, а потом закроются и раздвинувшиеся на мгновение «двери». Вот они уже и начали медленно закрываться, о чем сожалеет Толстой, бессильный передать жене свое понимание жизни и смерти:

«Но время проходит, и росток этот закрывается опять, и страдание ее перестает находить удовлетворение... в всеобщей любви, и становится неразрешимо мучительно. Она страдает в особенности потому, что предмет любви ее ушел от нее, и ей кажется, что благо ее было в этом предмете, а не в самой любви. Она не может отделить одно от другого; не может религиозно посмотреть на жизнь вообще и на свою. Не может ясно понять, почувствовать, что одно из двух: или смерть, висящая над всеми нами, властна над нами и может разлучать нас и лишать нас блага любви, или смерти нет, а есть ряд изменений, совершающихся со всеми нами, в числе которых одно из самых значительных есть смерть, и что изменения эти совершаются над всеми нами, — различно сочетаясь — одни прежде,

другие после, — как волны».

Ивану Бунину, посетившему в то время Толстого в Хамовниках, запомнились худое, темное и строгое лицо Толстого и сказанное им о смерти сына:

— Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит — умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!

Осталось в памяти и то, как они потом пошли в издательство «Посредник», как «бежали наискось по снежному Девичьему полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним, и опять говорил — отрывисто, строго, резко:

— Смерти нету, смерти нету!»

У Софьи Андреевны как-то вырвалось, что Толстой требовал от нее невозможного, поднять такую тяжесть, которая была ей не по силам. Она не только не могла, а и не желала религиозно посмотреть на жизнь вообще и на свою после смерти Ванечки и проникнуться толстовской философией смерти. Одно дело читать с интересом, одобряя, трактат «О жизни», где много утешительного и по поводу смерти сказано, и совсем другое, когда неожиданно умирает такое близкое, незаменимое существо, как самый младший и любимый сын. Тут не до объективных и разумных рассуждений: «Мой милый Ванечка скончался вечером в 11 часов. Боже мой, а я жива!» Да и жить так всегда, как будто в комнате рядом умирает ребенок, невозможно — это не по силам и человеку с такой строгой и отлаженной внутренней дисциплиной, каким был Толстой, не говоря уже о Софье Андреевне. Ей необходимо было участие, и она получала его как от мужа, так и от Марии Николаевны и дочери Маши, с которыми близко и душевно сошлась в эти страшные дни. Возможно, именно двум Мариям она больше, чем кому-либо, и обязана тем, что смогла не сломиться под тяжестью утраты. Она их с благодарностью и упоминает в очерке «Смерть Ванечки»: «В самые последние минуты при Ванечке были моя дочь Маша и Мария Николаевна, монахиня, всё время молившаяся... Мария Николаевна жила с нами и так душевно, религиозно утешала нас». И это простое, незатейливое религиозное утешение было теплым и врачующим в отличие от задорных, еретических, пугающих рассуждений мужа, которые хотелось не принять, а опровергнуть, отвергнуть.

Весной, и совсем уж определенно летом, стало ясно, что утопическим надеждам Толстого сбыться не суждено. Да и душевное равновесие Софьи Андреевны не восстанавливалось. Сыну Льву, отношения с которым хотя и несколько испортились, но до враждебности и неурядиц было еще далеко, Толстой писал в июне, подводя неутешительные итоги: «Мама очень

трудно переносит свое пребывание в Ясной Поляне. Никуда не выходит из дома, но в доме всё беспрестанно напоминает ей того, в которого она вложила все радости, весь смысл жизни. На ней поразительно видно, как страшно опасно всю жизнь положить чему бы то ни было, кроме служения Богу. В ней нет теперь жизни. Она бьется и не может еще выбиться в область божескую, то есть духовной жизни. Вернуться же к другим интересам мирской жизни, к другим детям она хочет, но не может, потому что жизнь с Ванечкой, и по его возрасту и личным свойствам, была самая высокая, нежная, чистая. А вкусив сладкого, не хочется не только горького, но и менее сладкого. Один выход ей — духовная жизнь. Бог и служение ему ради духовных целей на земле. И я с волнением жду, найдет ли она этот путь. Мне кажется, так бы просто ей было понять меня, примкнуть ко мне, но — удивительное дело — она ищет везде, но только не подле себя, как будто не то что не может понять, но не хочет, нарочно понимает превратно».

Словом, чем дальше, тем призрачнее становились надежды Толстого на то, чтобы Софья Андреевна духовно примкнула к нему: она этого и не могла сделать, и не хотела. Но гораздо хуже, что не улучшалось ее психическое состояние. Не становилось спокойнее и в семье. Александра Львовна в книге «Отец» пишет, что смерть Ванечки оставила гнетущую жуткую пустоту, которую, сплотившись, постарались заполнить как-то все обитатели дома в Ясной Поляне: «Перед лицом торжественности, чистоты и величия этой смерти, все разногласия, недобрые чувства, недоразумения исчезли как дым». О том, что смерть Ванечки сплотила и сблизила всех в доме писал и Лев Толстой, благодаря Бога за то, что он послал им всем такое «великое душевное событие».

Все разногласия и недоразумения, на очень недолгое время исчезнувшие (точнее, немного поутихшие, спрятавшиеся, приглушенные), выплыли снова на поверхность, да еще и появились новые, совсем уж удивительные. Гостившая зимой 1895 года в доме Толстых Елизавета Валерьяновна Оболенская (Лизанька), старшая дочь Марии Николаевны, была неприятно поражена шумной и беспокойной, мало похожей на семейную жизнь Толстых и — особенно — большой и несимпатичной переменой в Софье Андреевне, к которой, впрочем, и раньше относилась настороженно:

«Она стала беспокойна, никогда не бывает дома, стала наряжаться, то есть, скорее, заниматься своей наружностью, стала ездить в театры и на концерты, вообще производит впечатление человека, который страшно спешит жить и не теряет ни одной минуты. Она объясняет это тем, что

после смерти Ванечки не может вести прежний образ жизни, и еще вдруг пробудившейся любовью к музыке. Но нам всё кажется, что это просто страх перед старостью и желание еще казаться не старухой, а женщиной. Я думаю, что это физиологический процесс. Это женщина, в которой физика всегда брала перевес перед душой. Я бы отнеслась к ней строже, если бы со всем этим она не была жалка; она сама это сознает и говорит: „Я живу как-то беспорядочно и беспокоино, как потерянная, но не могу иначе“. В другой раз я нарочно заговорила с ней про Ваничку, чтобы указать ей, как мелко и ничтожно всё то, чем теперь полна ее жизнь, в сравнении с этим горем, и раскаялась, что это сделала: она страшно разрыдалась и просила никогда с ней о Ванечке не говорить. Дочери с ней очень хороши; им, в особенности умной и чуткой Тане, очень тяжело видеть мать в таком настроении, но они с ней очень мягки и деликатны; конечно, немного сверху вниз, как с ребенком, но трудно требовать другого. Лев Николаевич кроток и мудр...»

Увлечение музыкой напрямую связано с увлечением профессором и композитором Сергеем Ивановичем Танеевым, уже и ранее, в начале 1890-х, появлявшимся в Хамовниках. Весной 1895 года Софья Андреевна пригласила Танеева погостить в Ясной Поляне, где он и был это и следующее лето. Приезжал Танеев в Ясную Поляну неоднократно и позднее, бывал по-прежнему часто в московском доме Толстых. Стал, по выражению Стасова, «их великий приятель и гость в городе и в деревне» — счастливое обстоятельство для всех биографов и исследователей творчества Толстого: композитор аккуратно вел дневник, тщательно описывая в нем слова и дела Льва Толстого, которого он обожал. Толстой с Танеевым катался на коньках (в Москве), играл в шахматы. Софья Андреевна летом 1895 года с энтузиазмом занялась фотографированием — сохранилась колоритная фотография, запечатлевшая их в окружении зрителей за этим занятием. Они часто беседовали об искусстве, и, конечно, Сергей Иванович играл на фортепиано как произведения любимых Толстым композиторов (даже специально выучивал некоторые пьесы), так и раздражавшего его Вагнера («Какая гадость!»). Танеев обладал феноменальной музыкальной памятью и благородной независимостью суждений, снискавших ему репутацию «музыкальной совести Москвы». Его исполнение запоминалось и отличалось, как свидетельствует Сергей Львович, а ему тут и ноты в руки, точностью и педагогическим педантизмом: «Играл он, разумеется, всегда наизусть, играл просто, без всякой отсебятины, фразировал отчетливо и рельефно, брал настоящие темпы, не увлекаясь быстротой, подобно многим пианистам, и проявлял

силу там, где это требовалось. Он ставил себе целью верно передавать намерения композиторов. Особенно хорошо и точно, но не сухо и не академично, он играл Бетховена и Баха». Исполнял и собственные сочинения. К ним Толстой относился неодобрительно, хотя высказывался осторожно, не желая обижать автора, который ему был, возможно, даже симпатичен. Во всяком случае, он говорил Стасову: «Прекраснейший человек, и умный, и добрый, и образованный, только по музыке, кажется, не очень-то!» Когда Танеев в конце лета 1895-го уезжал из Ясной Поляны, Толстой сказал ему: «Мы с вами очень хорошо прожили лето, надеюсь, что и зимою будем видаться». Вполне возможно, что это была дежурная вежливая фраза. Никаких столкновений и бурных споров между ними не случалось.

Хорошо ладил Танеев и с детьми, с большим удовольствием слушавших в его исполнении Шопена и Моцарта и «сонату-пассонату» Бетховена, игравших с ним в волан. Танеев был мужчина корпулентный и неуклюжий, волан то и дело попадал в его толстое брюхо, и тогда он хохотал во всю глотку. Гость постоянный, веселый, общительный, легкий, талантливый. И тем не менее, как вспоминает Александра Львовна, почему-то «раздражало присутствие этого человека в доме, его захлебывающийся на высоких нотах смех... и душу наполняла горькая обида... Неизвестно на кого...».

Снова что-то неладно было в доме Толстых. Лизанька Оболенская, гостившая в Ясной Поляне и летом 1896 года, в сентябрьском письме к дочери причины разлада обрисовывает эмоционально резко:

«Последний день моего пребывания в Ясной приехала тетя Соня. Молода, весела, нарядна, красива. В первый раз, что она была мне не очень приятна. Ее странное отношение к Танееву (говорю: странное, потому что не знаю, как назвать это чувство у 52-летней женщины) зашло так далеко, что Лев Николаевич, наконец, не выдержал и стал делать ей сцены: — она говорит ревности, а по-нашему, просто обиды, оскорбления и негодования. Тогда она стала бегать на Козловку будто бы кидаться под рельсы, пропадала целую ночь в саду, вообще скандалила страшно и измучила их вконец. Таня уехала к Олсуфьевым, а Маша совсем заболела от вечного напряжения нерв. Я понимаю, что нельзя уважать такой матери. Всё это было не теперь, а летом, в августе, после отъезда из Ясной этого „мешка со звуками“, как я его называю. С нее всё, как с гуся вода; по-прежнему весела и бодра, абонировалась на все концерты и знать ничего не хочет».

Неудивительно, что переменялся и Толстой к Танееву, вдруг занявшему так много места в жизни семьи. Попытался философски

воспринять новую напасть, перенеся недоброе чувство к Танееву в дневник, рельефно запечатлевший и его растерянность: «Танеев, который противен мне своей самодовольной, нравственной и, смешно сказать, эстетической (настоящей, не внешней) тупостью и его *coq du village*’ным положением у нас в доме. Это экзамен мне. Стараюсь не провалиться».

Татьяна Львовна, издегавшись, с тревогой уезжала в Никольское-Обольяново к Олсуфьевым с безрадостными воспоминаниями о яснополянском лете:

«Последнее время в Ясной Поляне я ровно ничего не могла делать: то я стояла у окна и слушала интонации голоса разговаривающих папа и мама, то бежала разыскивать мама, то мне казалось, что Андрюша и Миша перешептываются о чем-то нехорошем, то, что от Миши вином пахнет, и это меня повергало в уныние и такую грусть, что сердце щемило и физически тошно делалось».

Софья Андреевна создает свой сценарий: поэтическое катание на лодках, какая-то славная поездка с Танеевым и дочерьми в Тулу, неожиданная встреча на обратном пути с сыном Андрюшей, беззаботное, радостное настроение, ежедневные веселые встречи со спокойным, благородным, добрым другом. И музыка, музыка, музыка. Софья Андреевна к немалому удивлению окружающих становится «консерваторской дамой» и меломаном. Она в восторге от всего, что исполняет Сергей Иванович. Она одна из всех Толстых (мнение Сергея Львовича профессиональное, оно взвешенное и относится к гораздо более позднему времени, когда произведения Танеева начали получать признание) неизменно с похвалой отзывается о его композициях. Толстой их совершенно не принимал, а Татьяна Львовна отзывалась крайне резко не только о композициях и опере Танеева, но и об «отвратительном» Мусоргском. Она абонировала кресла в шестом ряду, естественно, рядом с Танеевым, с которым во время исполнения сложной симфонии делилась своими замечаниями, демонстрируя тем самым тонкое понимание музыки, эстетичность своей натуры. С необычайным упорством, с каким-то отчаянием Софья Андреевна часами разучивала гаммы, стремясь развить пальцы, чем положительно измучила домочадцев.

О музыке с каким-то экзальтированным подъемом писала она и сестре Татьяне, объясняя происшедшую с ней поразительную метаморфозу и сильно идеализируя ситуацию:

«Моя жизнь вся сосредоточилась на музыке, только ею и живу, учусь, езжу в концерты, разбираю, покупаю ноты, но вижу, что во всем опоздала и успехов почти не делаю. Это своего рода помешательство, но чего же и

ждать от моей разбитой души? Я так и не пришла в нормальное состояние после смерти Ванечки... Левочка стал со мной необыкновенно ласков и терпелив. Я последнее время как-то особенно чувствую его над собой влияние в смысле духовной охраны. Он понял потерю моего душевного равновесия и постоянно мне помогает добро и ласково».

В поздних записках («Моя жизнь») Софья Андреевна пишет о том, что после смерти Ванечки ее спас Танеев, научивший своим прекрасным исполнением слушать и любить музыку: «Иногда мне только стоило встретить Сергея Ивановича, послушать его бесстрастный, спокойный голос — и я успокаивалась... Состояние было ненормальное. Совпало оно и с моим критическим периодом. Личность Танеева во всем моем настроении была почти ни при чем. Он внешне был мало интересен, всегда ровный, крайне скрытный и так до конца непонятный совершенно для меня человек».

Критический период оказался что-то уж слишком длительным; складывается впечатление, если проследить тридцатилетнюю хронику жизни Толстых начиная с 1880 года, что никакого другого периода и не было; просто обостренный критический период на какое-то время ослабевал, но лишь для того, чтобы после мирной передышки еще сильнее обостриться — и в 1910 году наступили кульминация и печальная развязка. Об этом убедительно говорят дневники и воспоминания, богатый и разнообразный эпистолярный членов семьи Толстых и близких ей людей, в том числе и главных участников многолетней драмы, многие эпизоды которой Софье Андреевне страстно хотелось переписать, а то и уничтожить. Сделала она для этого немало. Если бы не усилия Черткова и его помощников, преданных отцу и чаще всего откровенно ему сочувствовавших дочерей, значительное количество рукописей Толстого (особенно относится сказанное к дневникам и письмам) было бы истреблено.

Софья Андреевна желала, чтобы ее семейная жизнь предстала потомкам в цензурированном и очищенном виде. Она, конечно, ничего не могла поделать с детьми, а те почти все вели дневники (во всяком случае, дочери), следуя примеру и рекомендациям отца, имевшего к ним свободный доступ и настаивавшего на этой свободе и негласном праве знакомиться как с дневниками, так и с письмами (он был их цензором, читателем, советчиком), но за дневниками мужа она охотилась с незаурядным талантом сыщика, обнаруживая их в, казалось бы, совершенно невероятных и законспирированных местах, настаивая на многочисленных купюрах. Завела и собственный, корректирующий

дневник мужа и полемически заостренный против многих его мнений и оценок, заведомо тенденциозный и в некотором роде беллетризированный, сочиненный для будущих поколений, которые должны знать «правду», искаженную Львом Николаевичем и некоторыми другими членами семьи и близкими к ней людьми.

Софья Андреевна старалась уверить будущих читателей в том, что именно ее дневники правдивы и содержат истинные факты, что она в них вся нараспашку, абсолютно чистосердечна («Я *ничего* не скрываю: ни дневников, ни своих „Записок“, пусть весь мир читает и судит»), в отличие от Льва Николаевича, который с некоторых пор, науськиваемый Чертковым и его сворой «темных», неблагодарной и жестокой дочерью Александрой Львовной, стал вдруг прятать от нее дневник и другие бумаги: «Мучаюсь любопытством, что пишет в дневнике мой муж? Его теперешние дневники — сочинения ввиду того, что будут из них извлекать мысли и делать свои заключения. Мои дневники — это искренний крик сердца и правдивые описания всего, что у нас происходит». Чрезвычайно наивное сопоставление, передающее всю глубину обеспокоенности Софьи Андреевны. Всё обстоит как раз наоборот. Правдивость и открытость, «несочиненность», по Толстому, являются неперенными чертами дневников, которые ведутся в гораздо большей степени для себя, чем для других (настоящие дневники пишутся без оглядки на находящегося за спиной читателя-соглядатая). Он говорил: «Писать дневники, как я знаю по опыту, полезно прежде всего для самого пишущего. Здесь всякая фальшь сейчас же тобой чувствуется».

Любопытно, что в завещании Толстой предполагал возможность разного рода изъятий, разрешая выбрать из дневников лишь то, что «стоит того», но тут же сделал характерное дополнение: «А впрочем, пускай остаются мои дневники, как они есть. Из них видно, по крайней мере, то, что, несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я все-таки не был оставлен Богом и хоть под старость стал хоть немного понимать и любить Его». Такого отношения к дневникам и потомкам Софья Андреевна просто не могла понять, подозревая Левочку в тщеславии и желании приукрасить свой облик: «Левочка начинает тревожиться, что я переписываю его дневники. Ему хотелось бы старые дневники уничтожить и выступить перед детьми и публикой только в патриархальном виде. И теперь всё тщеславие».

Поразительное, почти абсолютное непонимание мужа. Толстой по просьбе жены, «случайно» прочитавшей (обтирала письменный стол, смахнула ключик и, не удержавшись от соблазна, стала читать дневник —

шпионство и неусыпный надзор давно уже стали обычными способами, к которым она прибегала, везде подозревая тайны, заговоры и недоброжелательность) больно задевшие ее слова, не только удалил их (но они остались в письме к мужу — о легкомыслии Софьи Андреевны, усилившемся после смерти Вани, бесцеремонной манере вмешиваться в разговор, выставляя себя, о кресте, который ему придется нести до конца жизни), но и в том же дневнике постарался уравновесить написанное в минуты раздражения — взвешенным и спокойным суждением: «Она была идеальная жена в языческом смысле — верности, семейности, самоотверженности, любви семейной, языческой, и в ней лежит возможность христианского друга. Я увидел это после смерти Ванечки. Проявится ли он в ней?» И поступок, и слова совершенно в духе Толстого, всегда готового сознаться в «дурных» делах и мыслях и по возможности исправить «грех». Ничего тут особенного и чрезвычайного нет, если бы не создавался опасный прецедент — возникла неограниченная возможность постороннего вмешательства в рукописи Толстого. Это сначала взволновало Марию Львовну, а позднее и других, к счастью, принявших своевременные и энергичные меры, еще более ожесточившие Софью Андреевну, сто крат усилившие ее подозрительность.

Что же касается уступок и раскаяния Льва Николаевича, то они ее удовлетворили очень в небольшой степени и, пожалуй, убедили в необходимости постоянного контроля: «христианским другом» Софья Андреевна становиться не собиралась, предпочитая оставаться в прежней должности «языческой» жены. Но, не доверяя никому — ни мужу, ни детям, ни окружающим их в Ясной Поляне и Москве людям, всё время недоброжелательно, в микроскоп рассматривающим их семейную жизнь, — она стала больше времени уделять дневнику и другим литературным занятиям, пытаясь тем самым противопоставить многочисленным врагам и клеветникам свое видение событий, защититься от нападок и искажений. Правдивости рассказа столь откровенная и постоянная полемичность наносила серьезный урон. Тенденция видна повсеместно: обиды, гнев, ненависть, отчаяние, самолюбование, подозрительность.

Тенденциозность, пристрастность, искажения, неточности в воспоминаниях Софьи Андреевны столь очевидны, что они, как свидетельствует Татьяна Львовна, привели в ужас даже ее любимую сестру Татьяну, с которой она делилась всеми переживаниями, воскликнувшую: «Точно она о другом человеке пишет! Я-то ведь видела их жизнь. Видела его любовь и доброту к ней. А у нее выходит, что она невинная жертва деспотичного, жестокого, сурового тирана!» Сочиненности, игры, фальши

сверхдостаточно и в «музыкальном романе» с утонченным пианистом Танеевым, романе романтическом, идеальном, чего не мог понять ревнивый муж. «Роман» занял немало страниц дневника, равно и Танеев превратился в одного из его главных персонажей. Он десятки раз упомянут в записях начиная с июня 1897 года (возобновляя дневник, прерванный в день смерти сына, Софья Андреевна обещала «писать строго одни факты»).

Сразу же на сцену является с невыносимой «наболелой ревностью» Лев Николаевич, отравляющий чистые и спокойные отношения к тихому и доброму музыканту, о котором она в саду беседует с Ванечкой, спрашивая, дурно ли ее чувство к Сергею Ивановичу (а во сне видит сына сидящим у Танеева на коленях — тот играет, понятно, на фортепиано; так в идиллическом, сказочном сне — наяву же сердитый, раздраженный, ревнивый муж, лишивший жену даже спасительной музыки). Неловко как-то всё это читать — бестактные и безвкусные, непозволительные мелодраматические мотивы, режущие слух. А тут еще и Любовь Гуревич неожиданно возникает, возбуждая гнев и ревность Софьи Андреевны, имевшей «неосторожность» (слишком мягкое слово выбрала) сказать, что отношения Льва Николаевича к Гуревич ей так же неприятны, как ему неприятны ее отношения к Танееву. Сказала то, что давно хотело слететь с языка, и испугалась: «Я взглянула на него, и мне стало страшно. В последнее время сильно разросшиеся густые брови его нависли на злые глаза, выражение лица дикое, а вместе с тем страдающее и некрасивое; его лицо только тогда хорошо, когда оно участливо-доброе или ласково-страстное. Я часто думаю, что бы он сделал со мной или с собой, если б я действительно хоть чем-нибудь когда-нибудь была виновата?»

Умирая, Софья Андреевна сказала Татьяне Львовне, и ее слова тогда же записал Сергей Львович: «Я вышла замуж 18 лет... любила я одного твоего отца. Я тебе перед смертью скажу: не было рукопожатия, которого не могло бы быть при всех». Никто, собственно, в этом никогда и не сомневался. Угнетали театрализованная игра, слишком затянувшаяся, неестественность жестов и слов, ненормальность ситуации. Было неловко и обидно. Больно смотреть на страдания отца, которому навязали нелепую роль, оказавшуюся тяжким испытанием, трудным «экзаменом». Лев Николаевич неизменно оставался любезным с Сергеем Ивановичем, правда, сыну Сергею казалось, что он заставлял себя быть таким. Он испробовал разные приемы и слова, но тщетно, и терпение в конце концов истощилось. Быть всеобщим посмешищем, притчей во языцех — трудно придумать долю хуже.

Танеев, человек большой наивности и благородства, очень долго

ничего не подозревал, и — вне всяких сомнений — бежал бы без оглядки, заподозрив что-то неладное. И он не соответствовал роли, предписанной в безумном сценарии женой великого человека, что выводило Софью Андреевну из себя. Это отчетливо видно в такой, к примеру, иронической и злой записи в дневнике 1898 года: «Был Сергей Иванович. Много пришлось говорить с ним сегодня вечером, и никогда я больше не убедилась, как сегодня, что он человек совершенно неподвижный, безжизненный, бесстрастный. Не в смысле брани, а прямо, констатируя то, что есть, про него можно сказать, что он только „жирный музыкант“, как Л. Н. его часто называл в припадке ревности, — и больше ничего. Внешняя доброта его — это внутреннее равнодушие ко всему миру, исключая звуков, сочинения музыки и слушанья ее». Явно, что обижало равнодушие не к миру, а к ней, «моложавой» жене всемирно известного писателя (и радовало, что муж ее «ревнует»), Танееву нравилось гостить в Ясной Поляне, где он любил всё, и особенно беседы со Львом Николаевичем и мирную игру с ним в шахматы, неспешные прогулки, крикет, теннис, музыкальные занятия, купание. О какой-либо любви и вообще о страстях и нежных романтических чувствах он и не помышлял, о бурных и резких объяснениях между супругами не имел ни малейшего представления. И как ударом грома посреди ясного и безоблачного дня был поражен «нелепым письмом» Софьи Андреевны, полученным им в ноябре 1904 года (следовательно, ее странная «любовь» длилась уже почти десять лет). Испуганный Сергей Иванович письмо, похоже, уничтожил, прислав смятенный и косноязычный ответ, из которого можно понять, что он никак не может быть у Софьи Андреевны, так как затрудняется высказать мнение по каким-то ей возбужденным вопросам. Через два дня Танеев послал еще одно письмо, несколько проясняющее ситуацию: оказывается, Софью Андреевну задело то, что он ушел в антракте со своего места, уступив его в следующем отделении другому. На возбужденные Софьей Андреевной вопросы всё еще никак не может найти время обстоятельно ответить. О вопросах говорится туманно: «Захватывают... целый ряд таких фактов, отношений, недоразумений, что объясниться ни просто, как Вы желаете, ни устно я не чувствую себя способным».

Растерянность чувствуется полнейшая — так, видимо, и не объяснился — не нашел ни сил в себе, ни времени это сделать. Объясняться пришлось многократно Льву Николаевичу. И очень жестко. Зимой 1897-го Софья Андреевна откровенно дразнила Толстого своими планами поехать (то едет, то не едет) на репетицию оперы Танеева, что уязвило и возмутило Толстого, хорошо разобравшегося в нехитрой игре: «Знаю, что и ничего из

того, что ты едешь теперь, не может выйти, но ты невольно играешь этим, сама себя возбуждаешь; возбуждает тебя и мое отношение к этому. И ты играешь этим. Мне же эта игра, признаюсь, ужасно мучительна и унизительна и страшно нравственно утомительна... Ужасно больно и унизительно стыдно, что чуждый совсем и не нужный и ни в каком смысле не интересный человек (Танеев) руководит нашей жизнью, отравляет последние годы или год нашей жизни, унизительно и мучительно, что надо справляться, когда, куда он едет, какие репетиции когда играет. Это ужасно, ужасно отвратительно и постыдно». Не помогло. Напротив, раззадорило. Софья Андреевна усилила игру, извещая в майских письмах мужа о симфонии Танеева, его музицированиях в беседке хамовнического дома.

Толстой приходит в крайнее волнение: ночами не может спать, сильно страдает, болит сердце, готов разрыдаться. Пишет Черткову: «Я испробовал всё: гнев, мольбы, увещанья и в последнее время снисходительность и доброту. Еще хуже. Страдаю я, как не стыдно сказать, от унижения и жестокости». Наконец, пришел к решению, изложив его в ряде писем (неотправленных) и записок жене, обрисовав там свое невыносимое состояние: «Твое сближение с Танеевым мне не то что неприятно, но страшно мучительно. Продолжая жить при этих условиях, я отравляю и сокращаю свою жизнь. Вот уже год, что я не могу работать и не живу, а постоянно мучаюсь... Я испробовал всё, и ничего не помогло: сближение продолжается и даже усиливается, и я вижу, что так будет до конца. Я не могу больше переносить этого». Писал о том, что не может без ужаса думать о «продолжении тех почти физических страданий», которые испытывает и которые не может не испытывать. И предлагал разные выходы из тупикового положения: уход, прекращение всяких отношений с Танеевым, отъезд за границу — одному или обоим. Позже передумал отправлять письмо, несколько успокоился, съездив к брату. В июле, когда Танеев гостил в Ясной Поляне, страдания вернулись с новой силой. Толстой пишет очередное прощальное письмо к Соне, но и это письмо прячет за подкладку клеенчатого кресла, где уже находилась рукопись повести «Дьявол». Так оно и пролежало в конверте рядом с другим письмом (его Софья Андреевна разорвала) до 1907 года, когда решили заняться мебелью. Примирились — пришло время очередной передышки, хотя, в сущности, ничего не изменилось в их отношениях, и Танеев по-прежнему остался другом семьи.

Неприятные объяснения и столкновения в связи с увлечением Софьи Андреевны продолжались и гораздо позже. Одно из них — длинный и нервный диалог, состоявшийся в ночь с 28 на 29 июля 1898 года, —

Толстой записал во всех подробностях (запись предназначалась для отправки письмом Татьяне Андреевне, очень обеспокоенной затянувшейся музыкальной историей, но письмо не было отправлено).

Тягостный, мучительный разговор. Толстой пытался убедить Софью Андреевну в том, что «исключительное чувство старой замужней женщины к постороннему мужчине — дурное чувство». Убеждал спокойно, выставляя логически безупречные доводы: «Заедет он или не заедет, неважно, даже твоя поездка не важна, важно, как я говорил тебе, два года назад говорил тебе, твое отношение к твоему чувству. Если бы ты признавала свое чувство нехорошим, ты бы не стала даже вспоминать о том, заедет ли он, и говорить о нем». Призывал покаяться в душе в своем чувстве. И наталкивался на упорное сопротивление-непонимание, на всё более и более резкие, сумасшедшие реплики: «Не умею каяться и не понимаю, что это значит», «Ты хочешь измучить меня и лишитъ всего. Это такая жестокость», «Всё это ложь, всё фарисейство, обман. Других обманывай, я вижу тебя насквозь», «Нет в тебе доброго. Ты злой, ты зверь. *И буду любить добрых и хороших, а не тебя. Ты зверь*».

А далее последовало уже нечто невообразимое, безумный и страшный бред, безумные порывы:

«Тут уж начались бессмысленные, чтобы не сказать, ужасные, жестокие речи: и угрозы, и убийство себя, и проклятия всем, и мне и дочерям. И какие-то угрозы напечатать свои повести, если я напечатаю „Воскресение“ с описанием горничной. И потом рыдания, смех, шептание, бессмысленные и, увы, притворные слова: голова треснет, вот здесь, где ряд, отрежь мне жилу на шее, и вот он, и всякий вздор, который может быть страшен».

Успокоить Софью Андреевну удалось лишь поцелуем в лоб.

Конечно, на короткое время смог успокоить. Проснется — и всё вернется на круги своя. Диалог и завершается грустным пессимистическим заключением уставшего от бесконечной семейной войны Толстого: «Не знаю, как может разрешиться это безумие, не вижу выхода. Она, очевидно, как жизнью дорожит этим своим чувством и не хочет признать его дурным. А не признав его дурным, она не избавится от него и не перестанет делать поступки, которые вызываемы этим чувством, поступки, видеть которые мучительно, и стыдно видеть их мне и детям».

Оставалось только возложить надежду на небесный промысел и таинственные законы природы: «Может быть, Таня права, что это само собой понемногу пройдет своим особенным, непонятным мне женским путем». Таня действительно оказалась права: история с Таневым (он стал

гораздо реже и на короткий срок появляться в Ясной Поляне) постепенно стала затухать и почти стерлась, хотя Софья Андреевна так и не покаялась и не признала свое чувство к нему дурным, пыталась даже цепляться за него, но не встретила взаимности. Смерть Сергея Ивановича, последовавшая в 1915 году, глубоко и болезненно отозвалась в ее сердце.

Приближалось семидесятилетие Толстого. Софья Андреевна в дневниках любила подчеркивать разницу лет между супругами, кокетничая своей моложавой и привлекательной внешностью. Получив как-то от него «длинное, доброе и благоразумное письмо», она дала волю своим «молодым» чувствам: «От него повеяло таким старческим холодом, что мне стало грустно. Я часто забываю, что ему скоро 70 лет и несоразмерность наших возрастов и степени спокойствия. На тот грех моя наружная и внутренняя моложавость еще больше мне мешает. Для Л. Н. теперь дороже всего *спокойствие*; а я жду от него порывистого желания приехать, увидеть меня и жить вместе».

Фотографии тех лет о такой уж большой возрастной разнице не говорят. Равно и воспоминания современников. Акима Волынского, посетившего Ясную Поляну в августе 1897 года, поразили «его сильные, быстрые движения. Одну секунду мне казалось, что он весь — движение: непередаваемое ощущение могучей и страстной жизненности, которая боится застоя, покоя и смерти». Запомнился ему и стремительный бег, инициатором которого, само собой разумеется, был ртутный и озорной хозяин имения: «Толстой вдруг пустился быстро и рысью бежать по склону насыпи. Все побежали за ним, но Толстой бежал неутомимым, ровным, военным бегом, не нагибая головы, как очарованный гений Ясной Поляны». Порой Волынскому даже казалось, что «между ним и графиней еще движется стихия живой страсти».

Стоял прекрасный августовский день. Все были веселы и радостны, и веселее, оживленнее всех лихо перелезавший через заборы и перепрыгивавший через канавы Толстой. Все, кроме Софьи Андреевны, находившейся в меланхолическом музыкальном настроении, наслаждавшейся похоронным маршем Шопена, огорчавшейся кокетством дочери Татьяны и со смешанным чувством наблюдавшей за слишком что-то бодрым для своего возраста мужем: «Лев Николаевич сегодня часа три играл с азартом в lawn-tennis, потом верхом ездил на Козловку; хотел ехать на велосипеде, но он сломался. Да, сегодня он и писал много, и вообще молод, весел и здоров. Какая мощная натура! Вчера он мне с грустью говорил, что я постарела в эти дни. Меня, пожалуй, не хватит для него, несмотря на 16 лет разницы, и на мою здоровую, моложавую наружность

(как говорят все)». Да и на следующий день Толстой ездил на лошади до купальни (велосипед всё еще был сломан) и увлекся игрой в теннис, вновь удивив бодростью жену: «Он, который своими утрами так дорожит, он так увлекся этой игрой, что с утра пошел играть. Сколько в нем еще молодого!»

Натура была поистине мощная. Энергия фантастическая. Сил хватало на всё: постоянную, огромную и разнообразную литературную работу, гигантскую переписку, косьбу и другой физический труд, велосипед, теннис, прогулки верхом и пешие, чтение на основных европейских языках и беседы с людьми всевозможных сословий, профессий, национальностей. Казалось, эти силы никогда не иссякнут, как никогда не прервется могучее и страстное движение.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Духоборы. Коневская повесть

Сектой духоборов Толстой интересовался давно, хорошо был осведомлен о преследованиях за веру, которым они подвергались, отказываясь подчиняться требованиям православной церкви и властей, противоречащим их религиозным и социальным убеждениям. Многие в жизни этой мирной, трудолюбивой, дружной религиозной общины было симпатично Толстому: духоборы воздерживались от курения, алкоголя, мясной пищи. А когда в 1887 году была введена воинская повинность на Кавказе (они были сюда выселены в 1840-х годах из Крыма — замечательная практика переселения-выселения неудобных и подозрительных общин и наций, достигшая апогея в советские времена, более или менее успешно осваивалась и раньше в Российской империи), духоборы, верные своим миролюбивым принципам, отказались присягнуть на верность царю Александру III.

Духовный лидер духоборов, прекрасный организатор, человек исключительно высоких моральных принципов, пользовавшийся в своей среде непререкаемым авторитетом, Петр Васильевич Веригин уже семь лет находился в ссылке в Архангельской губернии и должен был отбыть еще столько же в Тобольской губернии. В декабре 1894 года его как раз пересылали туда по этапу через Москву, где Веригин несколько дней находился в Бутырской тюрьме. Проводить Веригина приехали единоверцы, с которыми и встретился тогда впервые Толстой. Павел Бирюков так описывает эту встречу:

«Мы вошли в большой просторный номер гостиницы и увидели трех взрослых мужчин в особых красивых полукрестьянских, полуказацких одеждах, приветливо, с некоторой торжественностью поздоровавшихся с нами. Это были духоборцы: брат Петра Веригина, Василий Васильевич Веригин, Василий Гаврилович Верещагин, умерший по пути в Сибирь, и Василий Иванович Объедков. Всех нас поразила скромный, но достойный вид этих людей, представлявших не только местную, но как будто расовую или, по крайней мере, национальную особенность; никому из нас ни раньше, ни после не приходилось встречать подобных людей вне духоборческой среды.

Мы, а по преимуществу Л. Н. Толстой, стали расспрашивать их о их

жизни и взглядах. Короткое время свидания и малое знакомство с их прошлым не позволило нам вдаваться в подробности, и мы могли обмениваться только общими положениями. На большую часть вопросов Льва Николаевича по поводу насилия, собственности, церкви, вегетарианства они отвечали согласием с его взглядами...»

Толстой был весьма удовлетворен встречей с духоборами, высоко оценил он и духовный подвиг Петра Васильевича Веригина, преследуемого за то, что «оживил дух застывших в своих верованиях и опустившихся по жизни единоверцев, вызвал в них истинную христианскую жизнь» (непосредственно с ним Толстой встретиться не смог, но вступил в переписку, продолжавшуюся до смерти писателя). Духоборов поразили отсутствие в Толстом «графского», простота обращения и приятная «душевная осанка». Петр Веригин в письме из Обдорска восхищался жизнью-поступком Толстого: «Мне нравятся не писания Ваши, в форме книжных сочинений, а нравится Ваша жизнь, Ваш поступок — выход из искусственной жизни к естественной человеческой... Писать так, как Вы написали, можно было и в Москве, но жить так, как Вы сейчас живете в деревне, в Москве нельзя».

Преследования духоборов усилились в следующем, 1895 году, когда рекрутированные солдаты из духоборов стали отказываться от военной службы и возвращать билеты. В конце июня елисаветпольские, карсские и тифлисские духоборы, распевая псалмы, сожгли свое оружие. В Грузии по вине губернатора Шервашидзе казаки разгоняли нагайками духоборов. Били нещадно — трава не видна была от крови, досадуя, что никак не удавалось разбить молящихся на отдельные кучки (мужчины, взявшись за руки, смыкались в круг, загораживая находившихся в его середине женщин). Потом погнали «бунтарей» к губернатору, выехавшему навстречу к ним в коляске. Непочтительные смутьяны шапок перед губернатором не сняли. Их сбили нагайками казаки, в дикой расправе принял участие и Шервашидзе, пустив в ход палку. После кровавого побоища был организован постой казаков в селениях духоборов. Казаки безнаказанно грабили дома и насиловали женщин. И уже для окончательного торжества истинной православной веры после поста процесс усмирения возглавил старшина-мусульманин, организовавший продажу имущества духоборов за бесценок и выселение в трехдневный срок. Многих, на глаз отнесенных к зачинщикам, посадили в тюрьмы, других разбросали по разным глухим деревням, в том числе и мусульманским, отказавшихся служить забрали в дисциплинарные батальоны (нечто напоминающее штрафные роты будущих светлых времен).

Необходимо было что-то делать. Толстой, посоветовавшись с Чертковым, поручает написать очерк об этих событиях верному и во всем смыслах надежному своему помощнику Павлу Бирюкову, который отправляется корреспондентом на Кавказ. К его очерку «Гонение на христиан в России в 1895 году» Толстой написал послесловие, сравнив нынешние преследования с временами гонения на первых христиан в Риме: «Мучители, хотя и в другом роде, но не менее жестоки и глухи к страданиям своих жертв и жертвы не менее тверды и мужественны, чем мучители и мученики времен Диоклетиана».

От военной службы отказывались и некоторые близкие Толстому люди, в том числе и всеми любимый, тонкий и обаятельный Леопольд Антонович Сулержицкий. Сулеру пришлось туго: его поместили в отделение для душевнобольных при военном госпитале в Москве, где условия были столь невыносимы, что он вынужден был согласиться нести службу. Послали бедолагу на юг Туркестана. Толстой переживал, опасаясь худшего: «Письмо от бедного Сулера, которого загнали на персидскую границу, надеясь уморить его. Помоги ему Бог. И меня не забудь». Просьба, должно быть, была услышана. Сулер уцелел и вскоре занялся деятельной помощью духоборам.

Положение дел несколько не улучшалось, и Толстой всё сильнее погружается в духоборскую эпопею, увлекая своих сторонников и увлекаемый ими. Ивану Михайловичу Трегубову, скромному и тихому, немного склонному к мистицизму сотруднику издательства «Посредник», ставшему одним из самых деятельных участников помощи гонимым христианам (сам он по некоторым глухим сведениям погиб в каком-то северном лагере, преследуемый уже слугами нового Диоклетиана), собиравшему материалы о религиозном движении, он писал о духоборах: «Это образец того устройства и управления без насилия, в отсутствии которого нас упрекают враги христианства».

Осенью Толстой получает известие о смерти духобора Михаила Щербинина через три дня после порки. Его гневу и возмущению не было предела. И чувству стыда: «Как ничтожны наши письменные работы в сравнении с работой людей, под розгами исповедующих истину». Необходимо было, однако, продолжать эту «ничтожную» письменную работу, срочно редактировать и писать послесловие к составленному Бирюковым, Трегубовым и Чертковым воззванию «Помогите!», обращаться за содействием и пожертвованиями к знакомым и незнакомым, близким и далеким людям в России и на Западе.

Чертков в статье «Где брат твой?» приводил смелый ответ одного

духобора начальнику: «Дайте нам в руки крошечный камушек и скажите бросить его в человека, — мы не сможем этого сделать; но скажите нам переваливать с места на место самый тяжелый камень, — это мы охотно будем делать». Толстой пытался достучаться до сердец всех христиан: «Пилату и Ироду можно было не понимать значения того, за что был приведен к ним на суд возмущавший их область галилеянин, они даже и не удостоили узнать, в чем состоит его учение... но ведь нам нельзя не знать ни самого учения, ни того, что оно не исчезло в продолжении 1800 лет и не исчезнет до тех пор, пока не осуществится... Среди духоборов, или скорее, христианского всемирного братства, как они теперь называют себя, происходит ведь не что-нибудь новое, а только произрастание того семени, которое посеяно Христом 1800 лет тому назад, — воскресение самого Христа...»

Репрессии против духоборов, молокан, других сектантов нисколько не слабели, и ничто не предвещало наступления толерантных времен. Миссионерский съезд, проходивший в Казани, осудил вредные сочинения Толстого и принял решение применять в борьбе с сектантами суровые меры: высылка в Сибирь, конфискация имущества, отобрание детей. К Толстому за помощью и советом обратились ходоки от молокан, у которых отняли детей: ворвались ночью урядник с полицейскими и увезли их, в том числе и малолетних, для поселения в православном монастыре. Толстой развил бурную энергию, передав ходокам письма к Николаю II, А. Ф. Кони, А. А. Толстой и другим. Обратился к царю со словами: «Говорят, что это делается для поддержания православия, но величайший враг православия не мог бы придумать более верного средства для отвращения от него людей, как эти ссылки, тюрьмы, разлуки детей с родителями».

Как и в других делах, Толстой мог опереться и здесь на поддержку детей. Татьяне Львовне удалось даже добиться аудиенции у обер-прокурора Синода Константина Победоносцева. Аудиенция описана дочерью Толстого ярко и с тонким юмором (Толстой с удовольствием воспользовался многими деталями этого описания, изображая разговор Нехлюдова с Топоровым в романе «Воскресение»). «Войдя в переднюю, я сказала швейцару доложить Константину Петровичу, что графиня Толстая хочет его видеть. Швейцар спросил: „Татьяна Львовна?“ Я сказала: „Да“. — „Пожалуйста, они вас ждут“. Я прошла в кабинет, в который тотчас же вошел Победоносцев.

Он выше, чем я ожидала. Бодрый и поворотливый. Он протянул мне руку, пододвинул стул и спросил, чем может мне служить. Я поблагодарила его за то, что он меня принял, и сказала, что отец ко мне прислал молокан с

поручением помочь им. Я ему рассказала их дело и откуда они.

— Ах, да, да, я знаю, — сказал Победоносцев, — это самарский архиерей переусердствовал, — я сейчас напишу губернатору об этом. Знаю, знаю. Вы только скажите мне их имена, и я сейчас напишу.

И он вскочил и пошел торопливыми шагами к письменному столу. Я была так ошеломлена быстротой, с которой он согласился исполнить мою просьбу, что я совсем растерялась, тем более что у меня было с собой черновое прошение молокан, но имен их на нем не было. Я это ему сказала, прибавив, что я никак не ожидала такого быстрого результата своей просьбы, я надеялась только на то, что он посоветует мне, что мне предпринять. Тут я ему сказала, что крестьяне хотят подавать прошение на высочайшее имя, прочла его ему и спросила, советует ли он его все-таки подавать... Прослушав это прошение, Победоносцев сказал, что незачем его подавать, что об этом деле довольно говорили и писали и что, во всяком случае, дело это придет к нему, и решение его будет зависеть от него. Потом он сказал, что детям в монастыре так хорошо, что они и домой не хотят идти.

Я сказала, что это может быть, но что для родителей большое горе — лишение своих детей.

— Да, да, я понимаю. Это всё архиерей самарский переусердствовал; у шестнадцати родителей отняты дети. У нас и закона такого нет.

А я только что видала этот закон у Кони и не удержалась, чтобы не сказать:

— Виновата, этот закон, кажется, существует, но, к счастью, не бывал применен.

— Да, да. Так вы пришлите мне имена молокан, и я напишу в Самару.

Я подумала, не надо ли еще что-нибудь спросить, и так как ничего больше не пришло в голову, я встала и простилась. Победоносцев проводил меня до лестницы, спросил, надолго ли я в Петербурге, у кого я остановилась, и наверху лестницы опять простился со мной. Вдруг, когда я уже сошла вниз и стала надевать шубу, он опять вышел и окликнул меня:

— Вас зовут?

— Татьяной.

— По отчеству?

— Львовной?

— Так вы дочь Льва Толстого?

— Да.

— Так вы знаменитая Татьяна?

Я расхохоталась и сказала, что я до сих пор этого не знала.

— Ну, до свидания».

Такова была эта примечательная аудиенция, так развеселившая Татьяну Львовну, очень живо обрисовавшую Победоносцева: не застывшая в клишированных либеральных эпиграммах и карикатурах ретроградная фигура, а осторожный и гибкий политик, хорошо владеющий театральными приемами. Прошение и ходатайство были удовлетворены. Победоносцев принял и молокан, «мягко калякал» с ними. Написал Татьяне Львовне, что известил самарского губернатора о необходимости вернуть молоканам их детей.

Тем временем усилились и преследования всех, по просьбе Толстого или собственной инициативе принимавших участие в помощи духоборам. Прислали «любезное приглашение» Павлу Буланже явиться к министру внутренних дел. Его, как и Черткова, выслали за границу. Арестовали на Кавказе Трегубова и сослали на пять лет в Курляндскую губернию. Бывший офицер индийской службы Артур Син-Джон, привезший от Черткова деньги, собранные квакерами для духоборов, прибыл на Кавказ с рекомендательным письмом от Толстого грузинскому писателю Накашидзе (его сестра помогала духоборам и была связана с Чертковым). Син-Джон посетил Кавказ также с целью собрать сведения о жизни духоборов в Грузии, но долго там не задержался — был выслан через две недели.

Становилась всё очевиднее насущная необходимость переселения духоборов за границу. Мера вынужденная, сопряженная с многочисленными моральными и материальными проблемами, что отчетливо понимал Петр Веригин, писавший Толстому: «Я лично *почти* положительно *против* переселения... люди нашей общины нуждаются в самоусовершенствовании, и, следовательно, куда бы мы ни переселились, понесем свои слабости с собою; а что за границей свободней жить личности вообще, я думаю, разница может быть небольшая. Человечество всюду одинаково... Община может послать три-четыре человека доверенных осмотреть местность. Да еще вопрос, есть ли в Америке свободные места, чтобы население не имело ничего против заселения».

Рассуждения резонные, да только выбирать было не из чего. Сложными бюрократическими путями (императрица Александра Федоровна — Сенат — главноначальствующий на Кавказе князь Г. С. Голицын) пропутешествовавшее прошение духоборов (а параллельно посылались обращения Толстого и от имени духоборов в русские и иностранные газеты, шел интенсивный сбор пожертвований — требовалась ведь огромная сумма) было удовлетворено, разумеется, с многочисленными оговорками, ограничениями и уточнениями.

Теперь надо было реализовать грандиозный проект переселения духоборов, этих, как любил говорить Толстой, «необыкновенных людей 25 столетия». Необходимы были не только деньги, но и смелые, энергичные, умеющие преодолевать препятствия предводители, способные возглавить переселение такой массы людей.

Нужно было определить и места переселения. Как возможные, назывались штат Техас, Китайский Туркестан, Гавайские острова, Кипр. Переселение первой партии на Кипр оказалось неудачным: слишком мало предоставлялось земли, не подошел и климат. Согласилось принять духоборов, наделив их земельными участками, правительство Канады. Этому способствовало посредничество знаменитого анархиста князя Петра Кропоткина, обратившегося с просьбой содействовать переселению духоборов к профессору Джемсу Мэвору (Торонто). Толстой поручил сыну Сергею связаться в Англии с Чертковым по практическим делам переселения, а тот его познакомил с обаятельным анархистом, инициатором переселения именно в Канаду.

По просьбе отца вернувшийся из заграничной командировки Сергей Львович отправился с письмом Толстого к Голицыну вместе с Сулержицким на Кавказ, сначала без намерения сопровождать в Новый Свет переселенцев, а только для того, чтобы помочь организовать столь сложное путешествие. Письмо Толстого помогло; разрешено было и Сулержицкому немедленно уехать из Тифлиса в Батум и отправиться оттуда пароходом с духоборами в Канаду. Духоборы эмиссарам Толстого были рады (они любили Сулержицкого и всецело доверяли ему) и с радостью ожидали отбытия в страну, казавшуюся обетованной (даже бывший севастопольский солдат, столетний Гриша Боковой жаждал повидать «Канадию»).

Самых разнообразных хлопот, связанных с будущим долгим и трудным путешествием тысяч людей, было великое множество. Надо было вести переговоры о сроках прихода парохода, о выдаче паспортов, заготавливать материал для постройки нар на пароходе (материал пришлось срочно покупать втридорога на лесном рынке), закупать провизию, разрешать возникающие с властями конфликты. С первым пароходом «Гурон» уехал сопровождающим и переводчиком Сулержицкий (с тем же пароходом уехал и доктор Алексей Ильич Бакунин). Посадка была спешная и нелегкая — продолжалась всю ночь. Порядок тем не менее был идеальный. Ни ссор, ни брани. Учтивость, простота и доверчивость духоборов поражали. Приятно было смотреть на открытые и здоровые лица подростков — в очень скором будущем канадцев.

Выстрелили ракетой. Ловкий Сулер, бывший моряк, залез на рей и помахал шляпой. Было грустно. И жалко, что такие славные, работающие, дружные и красивые люди покидают Россию. Не только Сергею Львовичу было грустно. И Софье Андреевне, на первых порах так обеспокоенной новой затеей Левочки, но позже признавшей правоту дела, которое с таким блеском осуществляли отец и сын; она пишет в дневнике: «Письмо от Сережи, прекрасно описывающее отъезд духоборов из Батума... хорошо его дело — красиво, достойно, интересно. Какое безумное это дело правительства — выпустить такое прекрасное население с окраины России! И прекрасный, нравственно воспитанный народ, без ругани, без преступлений». Духоборов Софья Андреевна знала и непосредственно: одно время в Ясной Поляне жили «два рослых, сильных телом и духом мужика», которым Лев Николаевич писал прошение на имя государя.

Со вторым пароходом «Лейк Супериор» сопровождающим пришлось поехать Сергею Львовичу (по рекомендации Толстого, необходимую медицинскую помощь переселенцам в дороге должны были оказывать уже ранее прошедшие испытания «на службе голода» фельдшерицы Хирьякова и Чехович).

Третий пароход с духоборами, отплывший позднее, в апреле 1899 года, сопровождал Владимир Бонч-Бруевич. Так завершилось великое переселение духоборов, вдохновленное, организованное и в очень значительной степени материально обеспеченное Львом Николаевичем Толстым.

Немало трудностей пришлось пережить духоборам и во время длинного, почти месяц длившегося плавания-странствия по морям и океану, и в первые годы устройства на новой земле. Неизбежно возникали конфликты и недоразумения. Однако постепенно все устроилось, особенно материальное благополучие (сегодня потомки духоборов кормят свою страну, и не только одну ее), хотя новые поколения и утратили русский язык, ослабили и те нравственные правила, которые восхищали Толстого и его современников. Все же духовная связь не исчезла, как не исчезла и память о русском прошлом (современные духоборы Сасачкевана и Британской Колумбии отметили в конце уже истекшего двадцатого века столетие сожжения оружия на Кавказе и массового исхода из Российской империи). Сохранили благодарную память и о своем великом спасителе и воскресителе — Льве Толстом, без колоссальных усилий которого и мощной духовной поддержки духоборского движения этот спасительный исход не был бы возможен.

Никаких жертвований не хватило бы на столь дорогостоящую

акцию, если бы не были на нее отчислены гонорары за роман «Воскресение», название которого оказалось особенно символическим для духоборов.

Существует тут и обратная связь. Работа над романом шла уже давно, то затухая, то возобновляясь, и конца ей не было видно. Одни редакции сменялись другими, вызывая у Толстого чувство неудовлетворенности. И неизвестно, сколько бы длились эти сомнения, если бы не принятое ради материальной помощи духоборам решение закабалить себя, которое вынудило писателя в страшной спешке завершить роман. О своем вынужденном решении Толстой сообщил в письме одному из главных действующих лиц духоборского дела Черткову, вспомнив заодно старую историю с повестью «Казаки»:

«Так как выяснилось теперь, как много еще недостает денег для переселения духоборов, то я думаю вот что сделать: у меня есть три повести: „Иртенев“, „Воскресение“ и „О. Сергей“... Так вот я хотел бы продать их на самых выгодных условиях в английские или американские газеты (в газеты, кажется, самое выгодное) и употребить вырученное на переселение духоборов. Повести эти написаны в моей старой манере, которую я теперь не одобряю. Если я буду исправлять их, пока останусь ими доволен, я никогда не кончу. Обязавшись же отдать их издателю, я должен буду выпустить их, *tels quels*. Так случилось со мной с повестью „Казаки“. Я всё не кончал ее. Но тогда проиграл деньги и для уплаты передал в редакцию „Русского вестника“. Теперь же случай гораздо более законный. Повести же сами по себе, если не удовлетворяют теперешним моим требованиям от искусства — не общедоступны по форме — то по содержанию не вредны и даже могут быть полезны людям, и потому думаю, что хорошо, продав их как можно дороже, напечатать теперь, не дожидаясь моей смерти, и передать деньги в комитет для переселения духоборов».

Так Толстой и поступил, остановив выбор на романе «Воскресение», который был задуман более десяти лет назад и тогда фигурировал под условным и рабочим названием «коневская повесть».

«Коневская» потому, что Толстой воспользовался канвой одного случая из адвокатской практики 1870-х годов, рассказанного ему Анатолием Федоровичем Кони в июне 1887 года в Ясной Поляне. Сюжет рассказа Толстой нашел «прекрасным». Отчасти он напоминал надрывно-мелодраматическими коллизиями подпольные произведения Достоевского «по поводу мокрого снега» (характерно, что публичный дом в рассказе Кони самого низкого разбора и расположен в переулке возле Сенной —

город Достоевского — Некрасова, где главным образом и осуществлялись эксперименты по извлечению падших душ из «мрака заблужденья»).

Героиней рассказа Кони выступает и отдаленно не напоминающая «мотылька, опалившего свои крылья на огне порока», чухонка-проститутка Розалия Онни с сиплым голосом, выдающим давнее пристрастие к горячительным напиткам и другим излишества, и с «цинической откровенностью на всем доступных устах». Осуждена была Розалия судом с присяжными за кражу у пьяного клиента ста рублей (они были затем спрятаны бандершей, безутешной вдовой майора) на четыре месяца тюремного заключения. Зауряднейшее и скучное дело, неожиданно оказавшееся необычным и романтическим. Одним из присяжных заседателей, вынесших матерящемуся «мотыльку» приговор, оказался молодой человек старой дворянской фамилии (позднее он стал вице-губернатором), узнавший в осужденной жертву своей «молодой и эгоистической страсти». Розалию, ожидавшую ребенка, выгнали из благородного дома; ребенок был ею сдан в воспитательный дом и сомнительно, чтобы его судьба оказалась благополучной, а юная мать стремительно покатила вниз по многими уже проторенной дорожке. Опять-таки обыкновенная история.

Вот тут-то заканчивается Достоевский и начинается то, что особенно привлекло в истории Толстого. Произошел внутренний переворот в душе молодого человека, воочию увидевшего реальные плоды своей эгоистической жизни и в процессе таинственной и бурной внутренней работы пришедшего к решению непременно воспользоваться правом на наказание себя, главного виновника происшедших несчастий, искупить грех, пожертвовав всем, очиститься и возродиться. Его намерению венчаться с Розалией помешала смерть несчастной, заболевшей сыпным тифом. Так что у рассказа Кони печальный конец. Смерть тут неожиданный и случайный фактор, помешавший делу воскрешения, не перечеркивающий того, что Кони, весьма возможно, под влиянием Толстого, называет «глубоким и сокровенным смыслом» происшествия, побудившим писателя обратиться с просьбой к юристу разрешить воспользоваться этим сюжетом. Разумеется, Кони с радостью согласился.

До окончания работы над романом, всё больше и больше разраставшегося и отклонявшегося от сюжета устного рассказа Кони, было еще очень далеко, по правде сказать, окончания и в планах не существовало, да в некотором смысле роман так и остался без окончания — открытый финал, незавершенность сюжетных линий и, наконец, исчезновение романа, вытесненного мозаикой из евангельских цитат,

вольного пересказа с комментариями различных мест Нового Завета, что вызвало недоумение и разочарование у многих читателей, в том числе и Антона Чехова. Он с досадой писал Меньшикову: «Конца у повести нет, а то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить всё на текст из Евангелия — это так же произвольно, как делить арестантов на пять разрядов. Почему на пять, а не на десять? Почему текст из Евангелия, а не из Корана? Надо сначала уверовать в Евангелие, в то, что именно оно истина, а потом уж решать всё текстами». Толстой, правда, чрезвычайно дорожил именно этими последними страницами романа и сожалел о равнодушии Чехова к религиозным вопросам. Эту критику он, несомненно, не принял бы, но следует признать, что в иронических словах Чехова было много справедливого, особенно если вспомнить утилитарное высказывание Толстого о своих художественных произведениях, записанное Душаном Маковицким: «Я весь роман „Воскресение“ только для того писал, чтобы прочли его последнюю главу. Если в моих художественных произведениях есть какое достоинство, то только то, что они служат рекламой для тех мыслей, которые там попадают». Выходит, что писал повести и романы, заманивая в свою партию или церковь.

Впрочем, в середине 1898 года и до такого цитатного конца было далеко. Собственно с этого времени и началась спешная, лихорадочная работа над романом, потребовавшая от Толстого громадных усилий. Захватившая его работа.

Ведь совсем недавно Толстой готов был перечеркнуть всё сделанное, записав в дневнике: «Дойдя до его решения жениться. С отвращением бросил. Всё неверно, выдуманно, слабо. Трудно исправлять испорченное. Для того, чтобы поправить, нужно: 1) попеременно описывать ее и его чувства и жизнь. И положительно и серьезно ее, и отрицательно и с усмешкой его. Едва ли кончу. Очень всё испорчено». Тогда же вынес приговор сделанному: «Всё надо с начала переделать — всё...<...> Так слабо и попросту плохо и бесполезно, что ни в коем случае его не напечатаю».

Но теперь постепенно роман так захватил автора, что Толстой, обычно предельно требовательный и вечно недовольный сделанным, удивил художника Леонида Пастернака, иллюстратора «Воскресения», словами: «Это лучшее, по-моему, из всего, что я когда-либо написал». И чем дальше продвигался Толстой к концу, тем сильнее становилось это редчайшее чувство радости творчества. В упоении он пишет в дневнике в середине ноября: «Опять не видал, как прошли 11 дней. Очень увлеченно занят „Воскресением“ и хорошо продвигаюсь. Совсем близок к концу... Я себя

давно так умственно и физически хорошо, бодро не чувствовал». О том же, сухо вато передавая слова Толстого, записывает в своем дневнике Софья Андреевна: «Он говорит, что со времени „Войны и мира“ не был в таком художественном настроении, и очень доволен своей работой над „Воскресением“». Сухость понятна — роман Софья Андреевна расценивала как противный, ненавистный ей, злобный, фальшивый и циничный.

И лишь в декабре, завершив роман, Толстой придет в обычное скептическое состояние и взглянет на так радовавшее «Воскресение» другими глазами: «Кончил „Воскресение“. Нехорошо. Не поправлено. Поспешно. Но отвалилось и не интересуется более».

По уже сложившейся традиции Толстой сам читал или давал читать рукописные, предварительно завершённые редакции романа тем своим знакомым, чьим суждением он дорожил. Таким был, как уже давно завелось, Страхов, которому уже не суждено было прочесть окончательный текст «Воскресения» (он умер в 1896 году). Он присутствовал на чтении глав романа в Ясной Поляне (август 1895 года) и прислал письмо, высказав «маленькое суждение» о главных героях романа и судебных сценах. Далеко не всё удовлетворило критика в новом произведении Толстого, и в свойственной ему деликатной манере он изложил ему свои впечатления: «Что меня истинно восхищает — это Ваша героиня. Кажется, видишь ее живою и был знаком с нею. Суд также живой и будет тем поразительнее, чем больше ослабите комический оттенок. Ведь Вашему герою не до комизма, и следовательно, впечатления комических черт — не его. А всего менее ясно то, что всего труднее и всего важнее — Ваш герой. В нем ведь должно совершиться возрождение, и картина этого возрождения должна действовать всего сильнее. Предмет самый любопытный. В том или другом виде это будет история Черткова, и если бы Вы уловили эту фигуру и ее внутреннюю жизнь — дело было бы удивительное. Но пока — лицо героя остается бледным и совершенно общим. Какой захват Вашего рассказа! Великодушные мечты молодости. Домашний разврат, увлечение пустой жизнью, публичный разврат, суд, пробуждение совести и крутой поворот на новую жизнь — как важны все эти точки рассказа! А между тем он прост, как всё, что Вы пишете».

Толстой и сам понимал, что Нехлюдов бледноват, но, видимо, махнул на это рукой, сосредоточившись на других линиях романа, используя героя как своего рода проводника по различным сферам жизни от высших государственных учреждений до сельских сходок и тюремных камер. Поступил вопреки советам критика, многократно усилив «комизм»

(ирония, рентгеновский снимок различных слоев общества и государственных извращенных учреждений, серия групповых и индивидуальных портретов) как раз на последней стадии работы. Что же касается истории Нехлюдова, то она неуклонно сокращается и упрощается, освобождаясь заодно от мелодраматических и фальшивых ноток. В одной из редакций Нехлюдов с Катюшей живут на поселении в Сибири, где они занимаются огородничеством и садоводством; Катюша много читает, в том числе Тургенева, и учится, помогает мужу, который пишет книгу о земельной собственности и обучает детей, публикует смелые статьи в русских и зарубежных изданиях, за что его чуть не сослали в Амурскую область. Ссылки удалось избежать — они бежали за границу. Они устраиваются жить в Лондоне: там «позорного» прошлого Катюши не знают и ничто не омрачает их новую трудовую жизнь. Нехлюдов выступает горячим приверженцем политических и экономических идей Генри Джорджа, точнее, показавшейся Толстому панацеей от всех зол идеей единой подати (single tax). Таким образом, роман превращался в пропаганду и иллюстрацию идей необыкновенно высоко ценимого Толстым американского экономиста. Попытка поставить земельный вопрос в центре романа оказалась неудачной — Генри Джордж и единый налог не исчезли совсем, слишком дороги были эти идеи Толстому, однако переместились на обочину повествования. Проект Нехлюдова, предложенный крестьянам, представлял собой приближение к единому налогу Джорджа, мысли которого оказались хорошо приняты мужиками; один представительный старец с завитками всё повторял: «И голова же был этот Жоржа». (Правда, конечно, превыше всего, но почему бы иногда чуть-чуть не оттенить ее вымыслом — так и появляются опереточные мужики, восхищающиеся мыслями Генри Джорджа.) Толстой так был увлечен единым налогом и другими мыслями американского экономиста, с грустью видевшего отсутствие энтузиазма по отношению к таким важным и спасительным идеям, что с удивительной легкостью попался на невинный обман Татьяны Львовны, приславшей ему рукопись под псевдонимом «П. Полилов». Толстой, обрадованный появлением столь убежденного последователя американского реформатора, мистификации не заподозрил и откликнулся письмом, вынудив дочь чистосердечно признаться. Толстой, видимо, не только испытал разочарование, но и немного обиделся, но наружно обиду не высказал, замаскировав ее смехом и шуткой: «А где же Полилов? Я так хорошо представил себе его: аккуратный, в синем пиджаке...» Похоже, что и представительный старик с завитками в романе был своего рода крестьянским Полиловым.

До публикации читал в 1896 году рукописные редакции романа Чехов, который и присяжным заседателем был, и с жизнью ссыльных на Сахалине недавно основательно ознакомился: его конкретные замечания использовал Толстой, правя текст. Роман произвел на Чехова двойственное впечатление: «Самое неинтересное — это всё, что говорится об отношениях Нехлюдова к Катюше, и самое интересное — князья, генералы, тетушки, мужики, арестанты, смотрители. Сцену у генерала, коменданта Петропавловской крепости, спирита, я читал с замиранием духа — так хорошо! А m-me Корчагина в кресле, а мужик, муж Федосьи! Этот мужик называет свою бабу „ухватистой“. Вот именно у Толстого перо ухватистое».

Чехов лаконично высказал мнение о романе, разделявшееся многими читателями. Оно справедливо лишь отчасти. То, что расценивается как недостаток (неинтересное), является совершенно необходимым структурным принципом произведения: история Нехлюдова и Катюши Масловой, скупое, но отчетливо выписанная, постепенно, в процессе многолетней работы освобождавшаяся от мелодраматических и фальшивых напластований, не должна была заслонять панорамной картины мира, изображенной «ухватистым пером» Толстого с редкой даже у него густотой и рельефностью деталей. В «Воскресении» нет ни второстепенных героев, ни второстепенных деталей. Здесь всё значительно и важно в равной степени. Нет «фона», а есть бескрайнее половодье «живой жизни». Так что «недостаток» оборачивается несомненным и большим достоинством. Да и так ли уж неинтересны главные герои романа и их история? Опасно слишком доверять авторитетным суждениям даже очень авторитетных писателей, казалось бы знакомых со всеми секретами своего ремесла. Чехов, у которого, по мнению Толстого, совершенно не было «окна в религиозное», положим, раздражал Нехлюдов (да и к Масловой, похоже, он остался равнодушен), а вот для главного героя романа классика польской литературы XX века Станислава Дыгата «Диснейленд», желающего начать жизнь сначала, отвергающего лицемерные и фальшивые нравственные «нормы», он является духовным ориентиром. О симпатиях читателей разных поколений и разных стран к Катерине Масловой не приходится говорить. Это только ревнивая ко всему, имеющему отношение к Льву Николаевичу, Софья Андреевна негодовала, вспоминая ранние увлечения мужа: «Я мучаюсь... тем, что Л. Н., семидесятилетний старик, с особенным вкусом, смакуя, как гастроном вкусную еду, описывает сцены прелюбодеяния горничной с офицером. Я знаю, он сам подробно мне о том рассказывал, что Л. Н. в этой сцене описывает свою связь с горничной своей сестры в Пирогове. Я видела потом эту Гашу, теперь уже почти

семидесятилетнюю старуху, он сам мне ее указал, к моему глубокому отчаянию и отвращению».

Никто, кроме Софьи Андреевны и некоторых квакеров-пуристов, на истинно целомудренных страницах романа не увидел смакования чувственной любви, грязных сцен прелюбодеяния, и — тем более — никого, кроме хозяйки Ясной Поляны, не тревожила семидесятилетняя старуха Гаша, которую она с отчаянием и отвращением разглядывала. Ворчала еще, правда, жена брата Сергея Мария Михайловна (как раз в Пирогове и проживала соблазненная горничная), что после «Воскресения» все начнут брать жен из заведений, но это уж совсем курьезно — она и сама была отнюдь не столбовая дворянка.

Долгое время Толстой немеревался завершить роман женитьбой Нехлюдова на Масловой и сценами счастливой трудовой семейной жизни «воскресших» героев. Финал, отчасти похожий на руссоистский проект Оленина в «Казаках» жениться на Марьяне и остаться жить в станице, как известно, несостоявшийся, да, по правде сказать, который и не мог состояться. Переворот, сильно облегчивший и ускоривший работу над романом, произошел, согласно рассказу в дневнике Софьи Андреевны, в день семидесятилетия писателя, 28 августа 1898 года, обрадовав супругов (неизвестно, кого больше, хотя основания для радости у них были разные): «Утром Л. Н. писал „Воскресение“ и был очень доволен своей работой того дня. „Знаешь, — сказал он мне, когда я к нему вошла, — ведь он на ней не женится, и я сегодня всё кончил, т. е. решил, и так хорошо!“ Я ему сказала: „Разумеется, не женится. Я тебе это давно говорила; если б он женился, то была бы фальшь“».

Софье Андреевне невыносима была мысль о женитьбе Нехлюдова на гулящей женщине, прообразом которой послужила горничная Гаша — предмет вожделения молодого Толстого. А писателю такое, внезапно родившееся решение развязывало руки. И без того достаточно эмансипированные герои становились в полном смысле (и нравственном и юридическом) независимыми; пересекающиеся в отдельных точках линии Нехлюдова и Масловой, предоставлявшие тем самым возможность автору с разных углов зрения показать подноготную и теневую стороны жизни общества всестороннее и масштабнее, в конце романа расходятся, освобождая от традиционного эпилога и того, что принято было называть художественной завершенностью.

Работая над художественными произведениями, Толстой всегда придавал огромное значение так называемым мелочам, деталям, подробностям, реальным, часто весьма специальным приметам живой

жизни: всё равно давно прошедшей или современной, текущей. «Воскресение» — это преимущественно роман-хроника, роман-обозрение, художественно-социологическое исследование-путешествие, требовавшее от автора знаний одновременно энциклопедических и точных о самых различных сферах российской жизни, добывать которые к тому же надо было срочно.

Танееву Толстой говорил по поводу изменений, сделанных им в одном эпизоде романа: «У меня в романе была сцена, где уголовная преступница встречается в тюрьме с политическими. Их разговор имел важные последствия для романа. От знающего человека узнал, что такой встречи в московской тюрьме произойти не могло. Я переделал все эти главы, потому что не могу писать, не имея под собой почвы...»

«Почва», если принять во внимание размах повествования в романе (своего рода конспективная эпопея), — понятие исключительно широкое. Это и большая и хорошо подобранная библиотека, в которой помимо настольной книги Толстого «Записки из Мертвого дома» Достоевского были книги Чехова «Остров Сахалин», народника Л. Мельшина (П. Ф. Якубовича) «В мире отверженных», Н. М. Ядринцева «Русская община в тюрьме и ссылке», Д. А. Линева «По этапу» и другая тюремно-каторжно-ссылная литература на разных языках. Самому Льву Толстому, несмотря на много раз высказанное желание разделить участь преследуемых и гонимых, «пострадать» не пришлось. Оставалось довольствоваться книжными свидетельствами и разговорами с палачами и жертвами, преследующими и преследуемыми, расспросами судебных деятелей и тюремного начальства. «Очень ему хотелось самому лично видеть арестантов в их обыденной жизни в тюремной обстановке, но я не мог оказать в этом никакого содействия», — вспоминал надзиратель тюрьмы Виноградов. Расспросы в известной степени были вынужденными (составлялись целые списки вопросов, на которые Толстой просил отвечать как можно подробнее и точнее), они заменяли непосредственные впечатления. Последние были, конечно, необыкновенно важны. Толстой неутомимо, подавляя естественное чувство брезгливости, не страшась заразиться (или прогоняя неволью подступавший ужас), посещал притоны, трупобой, больницы, тюрьмы, остроги, впитывая запахи, звуки, запоминая выражения лиц, обстановку, одежду, лексику, иногда занося свои впечатления в дневник, как после посещения тульской тюрьмы еще в 1881 году: «Старик слабый вышел из больницы. Огромная вошь на щеке». Этот старик так поразил Толстого, что попал и в роман «Воскресение», завладев вниманием Нехлюдова: «Нехлюдов слушал и почти не понимал того, что

говорил старый благообразный человек, потому что всё внимание его было поглощено большой темно-серой многоногой вошью, которая ползла между волос по щеке благообразного каменщика».

По просьбе Толстого Давыдов провел его в тульский суд — там рассматривалось дело по обвинению молодого мещанина в покушении на убийство юной проститутки. Толстой внимательно следил за течением дела, а после окончания заседания подошел к пострадавшей с моральной проповедью, не имевшей успеха: «Стал ей говорить о том, что лучше бы она сделала, если бы простила своего обидчика, особенно теперь, когда он приговорен к тюрьме, что злоба к нему лишь тяжесть для нее самой. Но хорошие слова незнакомого странного старика не произвели на девицу надлежащего впечатления; она, кажется, даже обиделась, приняв их за насмешку, и ответила Льву Николаевичу грубо, резко и именно со злобным тупым выражением». Вряд ли Толстого огорчила небольшая неудача — во время переписи в Москве он уже сталкивался с непониманием, насмешкой, злобой и успел приглядеться к жертвам общественного темперамента, да и среди пестрой толпы разных людей, скитавшихся вокруг Ясной Поляны, были и талантливые, изощренные ругатели и обличители. Смешно было бы ожидать от отверженных, павших, опустившихся, отчаявшихся русских мизераблей изящных манер и благозвучных речей. Другая тут была «почва» — топкая и грязная, но состав и свойства ее должны были быть изучены досконально.

Эта почва изображена в «Воскресении» с тщательным выписыванием жестоких натуралистических подробностей. Стоило Дмитрию Ивановичу Нехлюдову, гигиенические привычки которого так тщательно описаны в начале романа, пошевелиться на ложе в горнице одного сибирского постоянного двора, как блохи брызнули вокруг него фонтаном. Нехлюдов и англичанин, распространяющий Новый Завет среди заключенных, проходя «до тошноты вонючий коридор», к большому удивлению, застали там двух мочащихся прямо на пол арестантов. Запечатлены в романе один сидящий голым старик, обирающий насекомых с рубахи, и — по контрасту — монахиня в клобуке, с «развевающимся вуалем и тянущимся за ней черным шлейфом», сложившая с очищенными ногтями руки, в которых держала топазовые четки.

Нестерпимая вонь, ужасающие сцены открытого разврата, вызывающие у Нехлюдова непреодолимое чувство отвращения и ужаса. Утрированная, отталкивающая, немыслимая «простота» нравов: женщина, сидящая на краю «парахи», огромной вонючей кадки, мирно разговаривающая с мужчиной, расположившимся напротив нее,

пытающимся еще и острить: «И царь воды не удержит», три неприкаянных человека, расположившихся под самой текущей вонючей кадкой, Нехлюдову особенно ужасным показался мальчик, «спавший на жиже, вытекавшей из парахи, положив голову на ногу арестанта». Героя в дальнейшем будет преследовать отчетливо запомнившееся «зрелище этих несчастных, задыхавшихся в удушливом воздухе и валявшихся на жидкости, вытекавшей из вонючей кадки, и в особенности этого мальчика с невинным лицом, спавшего на ноге каторжника...»

Чудовищная смесь звуков и запахов, неотразимо действующая на героя, отравленного этими «реалиями», к которым невозможно привыкнуть: «Послышался переливчатый звук цепей, и пахло знакомым тяжелым запахом испарений и дегтя. Оба эти впечатления — гул голосов с звоном цепей и этот ужасный запах — всегда сливались для Нехлюдова в одно мучительное чувство какой-то нравственной тошноты, переходящей в тошноту физическую. И оба впечатления смешивались и усиливали одно другое». Как пришелец с другой планеты, в каком-то оцепенении наблюдает Нехлюдов шествие арестантов по этапу: «Ряды за рядами шли незнакомые странного и страшного вида существа, двигавшиеся тысячами одинако обутых и одетых ног и в такт махавшие, как бы бодря себя, свободными руками. Их было так много, так они были однообразны и в такие особенные странные условия они были поставлены, что Нехлюдову казалось, что это не люди, а какие-то особенные, страшные существа».

Не менее призрачное, фантастическое впечатление производит и генерал, человек, от которого в столице зависело смягчение участи заключенных, занятый на спиритическом сеансе вопросом, каким образом после смерти души будут узнавать друг друга, полутруп (хриплый старческий голос, окостеневшие члены, потухшие глаза из-под седых бровей, старческие бритые отвисшие скулы), распоряжающийся жизнями тысяч людей, придумавший кошмарную программу «умственных» упражнений для политических преступников, отказывающихся читать книги духовного содержания из соответствующим образом составленной библиотеки: «Дается аспидная доска, и грифель дается, так что они могут писать для развлечения. Могут стирать и опять писать. И тоже не пишут. Нет, они очень скоро делаются совсем спокойны. Только сначала очень тревожатся, а потом даже толстеют и очень тихи делаются, — говорил генерал, не подозревая того ужасного значения, которое имели его слова». Этот ужасный во всем своем благообразии генерал был большим специалистом по успокоению поляков, кавказских горцев и строптивых заключенных, особенно политических, многократно награжденный за

службу царю и отечеству, на которую он и призывает вернуться легкомысленного и заблуждающегося сына своего товарища.

В очень сжатом, концентрированном виде вошло в роман увиденное Толстым во время переписи в Москве (и прогулок по Вавилону) и в голодных деревнях. Где-то под Бегичевкой, видимо, врезался в память беспрестанно и странно улыбающийся «всем своим старческим личиком» ребенок, напряженно шевелящий искривленными большими пальцами, «изгибая свои, как червячки, тоненькие ножки». Почти наверняка не жилец, как и большинство пассажиров рационализаторской люльки, в которой умная Маланья младенцев возила в воспитательный дом: «Так у ней было умно сделано: такая люлька большая, вроде двуспальная, и туда и сюда класть. И ручка приделана. Вот она их положит четверых, головками врозь, чтоб не бились, ножками вместе, так и везет сразу четверых. Сосочки им в ротики насует, они и молчат, сердечные». Вот в такой замечательной люльке «зачиврел», да вскоре, лишь до Москвы доехав, умер ребенок Масловой и Нехлюдова.

Правка в бесконечное число раз менявшийся текст вносилась беспрерывно. Толстой был настойчив и неустойчив, не щадил ни себя, ни других. Один московский врач вспоминал, как писатель пришел к нему, тогда заболевшему, и просидел до полуночи, заставляя штудировать акт судебно-медицинского вскрытия из романа. Адвоката Василия Алексеевича Маклакова, человека влиятельного и осведомленного, с большими связями в высших государственных сферах, писатель дотошно расспрашивал о том, как происходят заседания в Сенате, о департаментах, о повадках и костюмах сенаторов. Председатель Московского окружного суда Давыдов по просьбе Толстого писал для романа тексты обвинительного акта, врачебного исследования, приговора суда, формулировал вопросы присяжным и их ответы. Толстой сам ездил в пересыльную тюрьму наблюдать, как поведут арестантов в кандалах, и проделал с ними путь до Николаевского вокзала.

Толстого очень интересовала комната свиданий, добиться разрешения на осмотр которой и — тем более — на личное присутствие при свидании он не надеялся. Попросил начальника тульской тюрьмы прислать к нему в Ясную Поляну сведущего человека, и тот прислал опытного и толкового старшего надзирателя. Вносились изменения и на стадии корректур. Толстой читал корректуры надзирателю Бутырской тюрьмы Виноградову, то и дело прерывая чтение и подробно расспрашивая о порядках и обстоятельствах тюремной жизни, по каким причинам пересыльные арестанты долго задерживаются в тюрьмах, как совершается отправка

партий арестантов во время разлива рек. Часто возвращался к особенно интересовавшему его вопросу, каким путем политические сообщаются с уголовными. Разумеется, интересовался характерами, взглядами, поведением арестантов. Тут же вносил правку, доведившую наборщиков почти до нервного припадка.

Поэтические законы и интенции романа, возможно, отчетливее всего обнажены в XXVIII главе первой части: взволнованный внутренний монолог Нехлюдова, деликатно дополненный комментарием автора, — самоказнь, нравственные терзания героя, которому стыдно и гадко. В гостинной, у портрета матери, Нехлюдов анализирует свои последние отношения с ней, представшие в беспощадном свете истины, снимая покровы с лицемерной лжи, опутавшей его чувства: «Он вспомнил, как в последнее время ее болезни он прямо желал ее смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий, а в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида ее страданий». Нехлюдов пытается вызвать какие-то другие, хорошие воспоминания, связанные с матерью, скончавшейся всего три месяца назад, но этому препятствует ее портрет, написанный за пять тысяч рублей знаменитым живописцем, изобразившим ее «в бархатном черном платье, с обнаженной грудью». Грудь особенно вдохновила модного художника, дорожащего искусством возбуждать в зрителях чувственность: «Художник, очевидно, с особенным старанием выписал грудь, промежуток между двумя грудями и ослепительные по красоте плечи и шею». И это было нестерпимо созерцать сыну, казалось кощунством, так как именно здесь давеча лежала умирающая женщина, «ссохшаяся как мумия», бравшая его руку «своей костлявой чернеющей ручкой» и наполнявшая мучительно тяжелым запахом смерти и эту гостиную, и весь дом.

В поединке сведены два взгляда, два типа искусства. И не вызывает никакого сомнения, какого рода искусство торжествует и утверждается в романе «Воскресение», в котором преобладает бескомпромиссная критика государства и общества, разоблачаются всевозможные и пагубные человеческие выдумки, религия и искусство, их освящающие и воспевающие. Критика максималистская и универсальная, суть которой так очертил Михаил Бахтин: «Всякая деятельность в этом мире, всё равно охраняющая или революционная, одинаково лжива и зла и чужда истинной природе человека».

Любопытно, что Толстой все-таки, должно быть, неудовлетворенный концовкой романа, предполагал его продолжение. Осталась запись проекта этого продолжения в дневнике 1904 года: «И захотелось написать 2-ю часть

Нехлюдова. Его работа, усталость, просыпающееся барство, соблазн женский, падение, ошибка, и всё на фоне робинзоновской общины». Но далее этой скупой записи дело не пошло.

Отлучение

Богослужение в тюремной церкви занимает XXXIX главу романа, печатание которой по слишком понятным, очевидным причинам цензура не могла допустить. Толстой прекрасно это понимал и, пожалуй, даже был удовлетворен этим ожидаемым запретом. Да и не так уж много запрет значил в России начала XX века — налажена была машина для всякого рода «диссидентской» литературы за границей, где этим делом энергично руководил преданный Толстому Чертков. В самой России в больших количествах воспроизводились (литографировались или гектографировались) запрещенные места. Цензура, таким образом, отчасти исполняла функции рекламы. Ко всему этому уже давно привыкли и Толстой, и читатели: рутинная практика, обыкновенное явление.

И все-таки этот случай был чрезвычайным. Неудовольствие главой выражали и члены семьи романиста. Конечно, негодовала и протестовала Софья Андреевна, излившая свои чувства в дневнике 26 января: «Переписывала поправленные корректуры „Воскресения“... и мне был противен умышленный цинизм в описании православной службы... Причастье он называет *окрошкой* в чашке. Всё это задор, цинизм, грубое дразнение тех, кто в это верит, и мне это противно». Возмущалась и дочь Татьяна, говорившая ему со свойственной Толстым прямоотой, что написанное им ужасно, что он этой главой испортил весь роман и ее надо выбросить. С мнениями жены Толстой редко считался, часто и не без «задора» поступал вопреки и наоборот. Но Татьяну он любил. И всё же, выслушав ее, улыбаясь, отказался последовать совету: «Да, может быть, ты и права. Но все-таки я оставляю так, как это написано». Существует, правда, позднее свидетельство Софьи Андреевны, что Толстой обещал сестре не печатать этой главы, но Чертков пренебрег этим замечанием. Скорее всего, Софья Андреевна стремилась опорочить своего заклятого врага, которому готова была приписать все неудачи и несчастья, хотя не подлежит никакому сомнению, что Мария Николаевна была очень огорчена столь резко выраженным негативным изображением православной службы.

Вот и Иван Бунин, называвший роман «Воскресение» одной из самых драгоценных книг на земле (так, во всяком случае, он высказывался в 1910

году), по словам Александра Барлаха, роптал на смертном одре, вспоминая описание церковной службы в тюрьме: «Для чего ему понадобилось включить в „Воскресение“ такие ненужные, нехудожественные страницы...» И еще раньше Бунин «предоставляет» самому Толстому высказать сожаление (да еще и с краской стыда и боли) о кощунственных страницах романа: «Да, нехорошо, нехорошо я это сделал... не надо было...» Что-то не очень верится, это ведь Бунин в книге «Освобождение Толстого» так вольно пересказывает воспоминания Лопатиной, бесспорно, не только один лишь стиль переделывая. Похоже, что логичнее говорить о поздней переоценке антицерковной позиции Толстого Буниным, эволюции его взглядов.

Но достоверными фактами, свидетельствовавшими бы о смягчении позиции Толстого по отношению к церкви и церковным обрядам в последнее десятилетие жизни, мы не располагаем. Напротив, очевидно ужесточение критики, усиление иронии, иногда переходящей в глумление. Федор Степун обращает внимание на то, что если в «Исповеди» Толстой рассказывает о своей невозможности осмыслить тайну причастия «со скорбью и болью», то в «Воскресении» господствует мстительная озлобленность. В «Исповеди» перелом описан как личная драма человека, которому «радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших молитвы правил... радостно было единение со всеми веровавшими и верующими» до того мгновения, когда он подошел к Царским вратам и священник заставил его повторить то, что он верит, что будет глотать то, что есть «истинное тело и кровь» Бога: «Меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера». И ему стало «невыразимо больно». Тем не менее смирился, проглотил кровь и тело без кощунственного чувства, желая поверить в необходимость причастия, как действия, совершаемого «в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа». Но удар уже был нанесен, и самоуничтожение со смирением не могли вернуть утраченную веру.

В «Исповеди» — живой процесс религиозных исканий. В романе — неутешительные результаты, печальный итог. В «Исповеди» — драма, боль, грусть. В романе — негодование, карикатура, изнанка обрядовой церемонии, похожей на посредственное театральное представление пьесы «Трапеза вампиров»: «Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником кусочки и положенные в вино, при известных манипуляциях и молитвах, превращаются в тело и кровь Бога... священник, взяв обеими руками салфетку, равномерно и

плавно махал ею над блюдцем и золотой чашей. Предполагалось, что в это самое время из хлеба и вина делается тело и кровь, и потому это место богослужения было обставлено особенной торжественностью... священник, сняв салфетку с блюда, разрезал срединный кусок вчетверо и положил его сначала в вино, а потом в рот. Предполагалось, что он съел кусочек тела Бога и выпил глоток его крови. После этого священник отдернул занавеску, отворил средние двери и, взяв в руки золоченую чашку, вышел с нею в середине двери и пригласил желающих тоже поестъ тела и крови Бога, находившихся в чашке». К этому пиршеству с некоторым людоедским привкусом примкнули дети под веселое пение дьячка, извещавшего о том, что дети едят тело и пьют кровь Бога. А заключал его верховный кравчий — священник, который «унес чашку за перегородку и, допив там всю находившуюся в чашке кровь, и съев все кусочки тела Бога, старательно обсосав усы и вытерев рот и чашку, в самом веселом расположении духа, поскрипывая тонкими подошвами опойковых сапог, бодрыми шагами вышел из-за перегородки». Так весело и обстоятельно съели Бога и выпили с энтузиазмом его кровь в романе Толстого.

В одной из редакций романа Толстой хотел прибегнуть к своему излюбленному приему и показать богослужение глазами ребенка, естественно, плохо осведомленного о религиозных обрядах. Создал законченную, динамичную, с рельефно выписанными деталями сцену: «Финашка, во всё время службы стоя рядом с другими двумя шедшими за родителями в ссылку детьми, держал себя очень исправно. Если он и ошибался иногда, не кланяясь, когда это было нужно, то он выкупал это тем, что после этого крестился, встряхивая волосами, и кланялся в землю иногда так долго, что соревновавшийся ему в этом мальчик прекращал поклоны, а он всё кланялся, с самодовольством, в то время как он лежал на земле, поглядывая на них сбоку. Понравились ему особенно два места в службе, то, когда молились коленопреклоненно за царя и он спокойно мог сидеть на пятках, и еще то, когда ему, хотя и немножко слишком глубоко, всунули в рот ложку с воображаемым телом и кровью, которые оказались очень вкусны. Когда же начался акафист, напряжение усердия Финашки совершенно ослабло. Он стал было на колени, но потом совсем забыл о том, что от него требовалось, и сел боком, а потом, находясь очень близко от священника, заинтересовался вопросом о том, крепко ли держится галун на конце ризы и составляет ли он отдельный предмет или нет. Он подполз к священнику и пальцами стал исследовать интересовавший его вопрос. К сожалению, надзиратель увидал это и тотчас же восстановил порядок».

Толстой удалил эту сцену. Возможно, потому, что от частого употребления прием превратился в клише. Но скорее всего потому, что картина богослужения в тюремной церкви была панорамной и исключала индивидуальные оттенки. Это обобщение, и обобщение, принадлежащее одному человеку — всё видящему, всё слышащему, всё знающему автору, стремящемуся показать ложь, фальшь, примитивный обман ритуального представления. И не только в неприятии евхаристии тут дело. Отвергаются все догматы и обряды, все чудеса и христианские предания. Священное Писание предстает собранием нелепых сказок, легенд. Нелепость подчеркивается и высмеивается. Ирония затрагивает уже не те или иные обряды, а всю священную историю: «Хор торжественно запел, что очень хорошо прославлять родившую Христа без нарушения девства девицу Марию, которая удостоена за это большей чести, чем какие-то херувимы, и большей славы, чем какие-то серафимы».

Религия не только обслуживает власть, желая в молитвах преимущественно благоденствия государю императору и его семейству, но и самым нелепым образом запугивает и обещает всевозможные, довольно странные дары, объявляя, «что тот, кто не поверит, погибнет, кто же поверит и будет креститься, будет спасен и, кроме того, будет изгонять бесов, будет излечивать людей от болезни наложением на них рук, будет говорить новыми языками, будет брать змей, и если выпьет яд, то не умрет, и останется здоровым». Вышучивается язык церкви — разные славянские, сами по себе мало понятные, а еще менее от быстрого чтения и пения понятные молитвы, читаемые странными и фальшивыми голосами, какая-то косноязычная абракадабра с бесконечными повторениями слов «Иисусе» и «помилуй мя». И в отличие от картины пасхальной службы в «Мертвом доме» Достоевского, в романе Толстого нет и намека на какое-то раскаяние или умиление, религиозное переживание в серой толпе арестантов: они или, как по команде, падали и поднимались, встряхивая оставшимися на половине головы волосами и гремя кандалами, или, напирая, переругивались шепотом, устремлялись к кресту и руке священника, совавшего их в рот, а то и нос напиравшим. Вот на этой «рукоприкладной» сценке, иронизирует автор, и «кончилось христианское богослужение, совершаемое для утешения и назидания заблудших братьев».

Не закончил еще звучать только голос автора, подводящего итоги и выносящего свой приговор службе. В следующей главе Толстой решительно отделяет себя от тех, кто присутствовал на богослужении, и высказывает прямо свое отношение к тому, что провозглашалось и делалось в церкви и что воспринималось всеми как нечто само собой

разумеющееся и необходимое, не подлежащее обсуждению и критике, принимаемое на «веру». Толстой стремится показать различие между верой церковной и той, которую он считает истинной, искаженной учением церкви: «Никому из присутствующих... не приходило в голову, что тот самый Иисус, имя которого со свистом такое бесчисленное число раз повторял священник, всякими странными словами восхваляя его, запретил именно всё то, что делалось здесь; запретил не только такое бессмысленное многоглаголанье и кощунственное волхвование священников-учителей над хлебом и вином, но самым определенным образом запретил одним людям называть учителями других людей, запретил молитвы в храмах, а велел молиться каждому в уединении, запретил самые храмы, сказав, что пришел разрушить их и что молиться надо не в храмах, а в духе и истине; главное же, запретил не только судить людей и держать их в заточении, мучить, позорить, казнить, как это делалось здесь, а запретил всякое насилие над людьми, сказав, что он пришел выпустить плененных на свободу».

Усиливая гневные интонации, Толстой называет церковное богослужение «величайшим кощунством и насмешкой над тем самым Христом, именем которого всё это делалось», а священников, служивших службу, соблазнительями «малых сих», верующих в то, что «надо верить в эту веру», за исполнение треб которой они получали необходимые доходы. Вера эта оправдывала жестокую службу тюремщиков, без нее она была бы трудной и невыносимой, особенно для доброго зрителя, старавшегося умилиться, когда пели «Иже херувимы». Верили и арестанты (кроме немногих вольнодумцев и насмешников), что их молитвы исполнятся. Почти все (в том числе и Маслова, испытывавшая «во время богослужения смешанное чувство благоговения и скуки») были уверены в том, что церковь «есть все-таки учреждение очень важное и которое необходимо если не для этой, то для будущей жизни». Вот с этим «вредным» убеждением и борется Толстой. Во имя другой и, по его глубокому убеждению, истинной веры.

Те, кто следил за творчеством Толстого и был знаком с его произведениями последних двух десятилетий, в романе для себя ничего нового не нашли. Еретические воззрения Толстого были известны всему миру, и вопрос об его отлучении от православной церкви не мог не ставиться. Но одно дело статьи, трактаты, высказывания, публичные или в узком кругу, и другое — столь яркое и сильное (рассуждения об антихудожественности этих страниц «Воскресения» свидетельствуют только о степени негодования верующих) описание церковной службы в романе самого знаменитого и самого читаемого писателя России,

произведения которого давно уже получили мировое признание. Деятельность Толстого давно уже беспокоила церковь, побуждая искать эффективные и сильные меры для обуздания еретика. Даже сравнительно невинная и спокойная, без «задора» написанная книга «О жизни» вызывала раздражение; архиепископ херсонский Никанор, читавший ее по поручению Синода, писал весной 1888 профессору Н. Я. Гроту, дружески относившемуся к писателю: «Мы без шуток собираемся провозгласить торжественную анафему... Толстому». Чаша терпения уже давно была полна, и злополучная глава романа стала последней каплей, ее переполнившей, о чем свидетельствуют в Определении Святейшего синода от 20–23 февраля 1901 года № 557 с посланием верным чадам Православной Греко-Российской Церкви и графа Льва Толстого слова о ругательстве «над самыми священными предметами веры православного народа», о том, что граф «не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из Таинств — святую Евхаристию».

В Определении Синода осуждались противохристианское и противоцерковное лжеучение и «новый лжеучитель», который «проповедует с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской»: «Известный миру писатель, русский по происхождению и воспитанию своему, граф Толстой в прельщении гордого ума своего дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви...»

Объявлялось, что церковь «не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею». Ни слова «отлучение», ни тем более «анафема» в Определении (довольно осторожном и дипломатичном) нет. Говорится об отторжении («явно пред всеми, сознательно и намеренно отторг себя сам от всякого общения с Церковью Православною») и «отпадении». То есть с грустью и умеренным негодованием констатируется то, о чем сам Толстой многократно, со всё возрастающим «задором» писал и говорил. Принципиальной разницы между словами, пожалуй, не было: определение Синода, в сущности, мягко сформулированное отлучение, и священники вполне могли по своему усмотрению возглашать анафему «лжеучителю» Толстому.

Лев Толстой нашел отлучение «странным». Узнал он об этом из газет, перепечатавших Определение, опубликованное в «Церковных ведомостях», и воспринял сногшибательную новость спокойно: надел шапку и пошел на

традиционную утреннюю прогулку. Вскоре, однако, встревожился, столкнувшись с различными проявлениями общественного мнения, когда проходил вместе с Александром Никифоровичем Дунаевым, одним из своих единомышленников, по Лубянской площади и слышал слова, обращенные к нему: «Вот дьявол в образе человека». «И если бы толпа была иначе составлена, — пишет Толстой в „Ответе на определение Синода от 20–22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма“, — очень может быть, что меня бы избили, как избили, несколько лет тому назад, человека у Пантелеймоновской часовни». Более подробно повествуется об этом эпизоде в мемуарах А. Б. Гольденвейзера (он передает рассказ Дунаева): «На Лубянской площади у фонтана толпа узнала Льва Николаевича. Сначала позади раздался, как уверяет Дунаев, иронический голос: „Вот дьявол в образе человека!“ Это послужило сигналом. Вся толпа, как один человек, бросилась ко Льву Николаевичу. Все кричали, кидали сверху шапки. Лев Николаевич растерялся, не знал, куда деваться, и почти бегом уходил... Толпа бежала за ним. Насилу Льву Николаевичу и Дунаеву удалось на углу Неглинной сесть на извозчика. Толпа хотела задержать извозчика, многие цеплялись за сани. В это время появился отряд конных жандармов, которые, пропустив извозчика, сейчас же замкнулись за ним и отрезали толпу». Вполне возможно, что толпа была настроена сочувственно к Толстому (звучали, как следует из записи в дневнике Софьи Андреевны, суммирующей события после Определения, крики: «Ура, Л. Н., здравствуйте, Л. Н.! Привет великому человеку! Ура!»). Неизвестно, однако, что лучше — гнев или восторг толпы. Она всегда опасна, бесцеремонна и неуправляема, да и неприятно, когда в роли «спасителей» выступает отряд конных жандармов.

Получал Толстой и озлобленные письма фанатиков, с оскорблениями, неприличной бранью и угрозами убрать «прохвоста», «старого черта» своими народными средствами. Больше (гораздо больше) было писем сочувственных, выражавших крайнее возмущение Определением Синода. Толстого встречали овациями, приносили корзины с живыми цветами, слали теплые письма и телеграммы, составляли приветственные адреса. Одна дама с письмом прислала просвируку, сообщая, что недавно причащалась и вынула просвируку за его здоровье. Письмо завершалось простодушным советом: «Кушайте на здоровье и не слушайте этих неразумных иереев». Доброжелателей Толстой поблагодарил в письме, посланном в редакции газет, в котором не удержался от иронии, заметив, что сочувствие, высказанное ему, он приписывает «не столько значению своей деятельности, сколько остроумию и благовременности

постановления Святейшего синода».

Возбуждение и праздничное настроение на некоторое время воцарились в доме Толстого, где с утра до вечера толпились посетители и звучали крамольные и еретические речи. Молодежь пребывала в каком-то революционном порыве. Александра Толстая вспоминает, как она и ее ровесник Миша Сухотин, «обуреваемые духом протеста и революционным пылом, жаждали деятельности, мечтая о геройских выступлениях против правительства». Они переписывали злободневные басни и стихотворения («Лев и семь смиренных голубей», «Лев и ослы» и другие в том же примитивно-карикатурном роде), запрещенные произведения Толстого. На копиях красовалась надпись крупными буквами: «Просим распространять». Миша умудрился притащить тяжелый гектограф. Подпольная работа (понятно, ночная) закипела. Но однажды в комнату Миши вошла беспокойная и властная хозяйка дома Софья Андреевна. Разразился скандал, гектограф изъяли, копии сожгли, над смутьянами установили надзор.

Вспыхнул и религиозный бунт. Александра отказывалась говеть, и не стала, хотя ее и увещал «новый лжеучитель»: «Разумеется, иди и, главное, не огорчай мать». Мать, по ее собственному признанию, записанному в дневнике, причащалась с некоторым напряжением, вспоминая искусительные сочинения мужа: «Говеть было очень трудно: противоречия между тем, что в церкви *настоящее*, что составляет ее основу, и между обрядами, дикими криками дьякона и проч. и проч. так велики, что подчас тяжело и хочется уйти». Тем не менее она, как хранительница очага и традиций, неукоснительно исполняла обряды и следила за тем, чтобы это делали дети. Софья Андреевна осуждала еретические взгляды и поступки мужа, ее раздражали богохульство и недоброжелательное отношение Льва Николаевича к учению церкви. Она со своеобразной угрюмой иронией писала однажды сестре Татьяне: «У нас часто бывают маленькие стычки... Верно, это потому, что по-христиански жить стали. По-моему, прежде, без христианства этого, много лучше было». Мечтала, что Левочка перестанет сочинять свои опасные и непонятные религиозные сочинения и вернется к прежнему, «художественному». Эти несогласия с мужем несколько не помешали Софье Андреевне возмущаться Определением Синода. Порывистая, импульсивная, она бегала по всему дому, негодуя и возмущаясь, разделяя общее волнение (в минуты опасности Толстые плачивались, дружно выступая всей семьей, отодвигая в сторону внутренние недоумения и противоречия). Не ограничившись выражением своих чувств в домашней сфере, Софья Андреевна написала письмо

Константину Победоносцеву и митрополитам, напечатанное в «Церковных ведомостях» и затем перепечатанное другими светскими газетами, тут же переведенное на европейские языки. Успех письма очень польстил самолюбивой и тщеславной супруге «еретика» и вольнодумца, о чем убедительно говорит дышащая простодушием дневниковая запись: «Самое для меня интересное были письма, преимущественно из-за границы, сочувственные моему письму к Победоносцеву и трем митрополитам. Никакая рукопись Л. Н. не имела такого быстрого и обширного распространения, как это мое письмо. Оно переведено на все иностранные языки. Меня это радовало, но я не возгордилась, слава Богу! Написала я его быстро, сразу, горячо. Бог мне велел это сделать, а не моя воля».

Письмо Софьи Андреевны действительно написано сильно, энергично, эмоционально. Это послание оскорбленного и уязвленного гордого человека, уверенного в своей правоте, жены, защищающей мужа от грозящей ему опасности. «Для меня непостижимо определение Синода, — писала графиня Толстая. — Оно вызовет... негодование в людях и большую любовь и сочувствие Льву Николаевичу... Не могу не упомянуть еще о горе, испытанном мною от той бессмыслицы, о которой я слышала раньше, а именно о секретном распоряжении Синода священникам не отпевать в церкви Льва Николаевича в случае его смерти. Кого же хотят наказывать? — умершего, ничего не чувствующего уже, человека, или окружающих его, верующих и близких ему людей? Если это угроза, то кому и чему? Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду — или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или непорядочного, которого можно подкупить большими деньгами для этой цели?..»

Теперь уже митрополит Антоний в письме С. А. Толстой (март) отчитывал забывшуюся христианку, впавшую в ересь, наставлял ее на истинный путь: «Не то жестоко, что сделал Синод, объявив об отпадении от церкви вашего мужа, а жестоко то, что сам он с собой сделал, отрекшись от веры в Иисуса Христа, сына Бога живого, искупителя и спасителя нашего. На это-то отречение и следовало давно излиться вашему горестному негодованию. И не от клочка, конечно, печатной бумаги гибнет муж ваш, а от того, что отвратился от источника жизни вечной... Вы получаете выражения сочувствия от всего мира. Не удивляясь сему, но думаю, что утешаться вам тут нечем. Есть слава человеческая и есть слава Божия...» Ответ митрополита Софью Андреевну «не тронул». Показался слишком холодным: «Всё правильно, и всё бездушно. А я свое письмо написала одним порывом сердца — и оно обошло весь мир и просто

заразило людей искренностью».

Но митрополит не успокоился и продолжал ревностно исполнять свои обязанности, стремясь через Софью Андреевну воздействовать на отпавшего от церкви Толстого. В новом письме он увещевал ее убедить Толстого вернуться к церкви, примириться с ней, дабы умереть христианином. Софья Андреевна сообщила содержание письма мужу, и тот посоветовал ответить, что «его дело теперь с Богом» и последняя молитва: «От тебя изошел, к тебе иду. Да будет воля твоя». О примирении со всем земным и церковью перед смертью Толстой постоянно говорил одно и то же: «О примирении речи быть не может. Я умираю без всякой вражды или зла, а что такое церковь? Какое может быть примирение с таким неопределенным предметом». Он попросил дочь Татьяну передать жене, чтобы ничего не отвечала митрополиту.

Ответил митрополиту старший сын Сергей, положив конец переписке: «Ваше Высокопреосвященство, отец мой Лев Николаевич Толстой поручил мне написать Вам, что он Вас умоляет оставить его и его жену, а мою матушку, в покое, так как Вами и другими представителями православной церкви все, что можно было сказать, уже сказано, и больше говорить не о чем. С своей стороны я позволю себе добавить, что врачи предписывают отцу полный душевный покой, нарушение которого существенно влияет на ход его выздоровления». Но, разумеется, это была далеко не последняя попытка церкви добиться возвращения в лоно православия Толстого.

Определение Синода возмутило более всего интеллигенцию и студенчество, не только радикальных взглядов и атеистов. Свои симпатии к «отлученному» выражали фабричные рабочие, городские извозчики, прислуга, даже лавочники высмеивали текст Определения. Чехов свидетельствует в письме: «К отлучению Толстого публика отнеслась со смехом. Напрасно архиереи в свое воззвание всадили славянский текст. Очень уж неискренно». Короленко прислал Софье Андреевне патетическую телеграмму, а в дневнике так оценил этот документ: «Акт беспримерный в новейшей русской истории!.. Мрачная анафема семи российских „святителей“, звучащая отголосками мрачных веков гонения, несется навстречу несомненно новому явлению, знаменующему огромный рост свободной русской мысли». Зинаида Гиппиус в очерке о поездке вместе с Дмитрием Мережковским в Ясную Поляну пишет, что акт отлучения всех тогда больно возмутил.

Василий Розанов никогда не сочувствовал «учению» Толстого, как и тем, кто по недоразумению недальновидно обрадовался, воображая, что Определение «что-то разрушит» (образованные классы, где царил «полный

атеизм», «теснимые правительством сектанты») в отличие от массы «серьезно образованного русского общества, которая знает существо своей Церкви и знает ее корни», считал, что косноязычный акт Синода «потряс веру русскую более, чем учение Толстого». Он вообще полагал, что не Синоду судить Толстого: «Толстой, при полной наличности ужасных и преступных его заблуждений, ошибок и дерзких слов, есть огромное религиозное явление, может быть — величайший феномен религиозной русской истории за 19-й век, хотя и искаженный. Но дуб, криво выросший, есть дуб, и не его судить механически-формальному учреждению, которое никак не выросло, а сделано человеческими руками (Петр Великий с серией последующих распоряжений)». Розанов идет еще дальше в своем отрицании Синода, который «не есть религиозное учреждение, почти не есть, очень мало есть. И не имеет ни традиций, ни форм, никаких способов религиозное религиозно судить. Отсюда прозаичность бумажки о Толстом, им выпущенной: Синод не умеет религиозно говорить». Потому-то он акт Синода считает «невозможным теоретически, а потому и в действительности как бы не составившимся вовсе». И возмущается поразительно блеклым языком Определения: «Ни мучений, ни слез, ничего, а только способность написать „бумагу“, какую мог бы по стилю и содержанию написать каждый учитель семинарии или гимназии».

Сомнения — не в правомерности, а в эффективности и полезности отлучения Толстого — одолевали и Победоносцева. Публично он, естественно, сомнения высказать не мог, так как боялся, что это лишь повысит нравственный авторитет писателя, усилит и без того негативное или равнодушное отношение общества к Синоду и затруднит возвращение Толстого в церковь, если вдруг у него такое намерение появится перед смертью. Общественность главную вину за отлучение всё равно возложила на Константина Победоносцева — он в глазах широкой «прогрессивной» общественности был, если можно так выразиться, фигурой антихаризматической.

Между тем Победоносцев с тревогой писал редактору «Церковных ведомостей» о «туче озлобления», вызванной Определением Синода. И нисколько не преувеличивал. Стоит только припомнить бесконечно цитировавшиеся исследователями Толстого, отнюдь не кровожадными, а мягкими и добродушными в быту людьми, слова Владимира Ильича Ленина: «Святейший Синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах, жандармами во Христе, с темными инквизиторами, которые поддерживали еврейские погромы и прочие подвиги черносотенной царской шайки».

Видимо, и чем больше еврейских погромов, тем лучше. Вообще, чем хуже, тем лучше. Логика политической борьбы — беспощадная и циничная. Тогда не очень-то обратили внимание на слова Ленина: мол, просто риторическая фраза в духе незабвенного друга народа Марата. Проявили непростительное благодушие. Ленин слова на ветер не бросал...

Но были и такие, кто считал Определение Синода чересчур мягким, гневно выражая свое мнение. Негодовал и язвил, видимо, болезненно воспринявший ироническое отношение Толстого к его «философии общего дела» Н. Ф. Федоров (Толстой, кстати, высоко ценил человеческие качества этого уединенного и оригинального мыслителя): «Многогранливый художник и ремесленник и совершенно бесталаный философ, Толстой не подлежит вменению. Тем не менее тот, кто, по свидетельству самого Толстого, назвал его дьяволом в человеческом образе, был недалек от истины, той истины, которою Толстой заменил христианство, призывающий Россию к неплатежу податей обвиняет в подстрекательстве синодальное определение, отличающееся неизвинимою мягкостью. Ему очень бы хотелось поруганий, поношений, что придало бы ему ореол мученика, а он так жаждет дешевой ценой приобретенного мученичества».

Отец Иоанн Кронштадтский неистовствовал по поводу ответа Толстого на Определение Синода и на другие его антицерковные выступления: «О, Христе Боже! Доколе Лев Толстой будет ругаться над Тобою и Церковью Твоею? Доколе будет соблазнять Россию и Европу? Опять он пишет хулы на Церковь и служителей ее, опять клеветает на нас всему миру? Покажи, наконец, Владыко, всему миру адскую злобу его! Буди! Им увлечено в прелесть и пагубу полсвета! О, предтеча антихриста!» Гнев Иоанна Кронштадтского несколько не ослабевал (он даже возносил молитвы к Богу об удалении злостного еретика с лица земли накануне восьмидесятилетнего юбилея Толстого). Он пишет ответ на обращение гр. Л. Н. Толстого к духовенству (1903), называя его «апокалипсическим драконом», который «делается величайшим пособником дьяволу, губящему род человеческий, и самым отъявленным противником Христу». Отвергает «фальшивое словоизвержение его», «гнусную клевету на Россию, на ее правительство». Этот «пособник дьявола» «извратил свою нравственную личность до, уродливости, до омерзения». Предупреждает православных: «Это Лев рыкающий, ищущий, кого поглотить. И скольких поглотил через свои льстивые листки. Берегитесь его».

В целом церковный мир был солидарен с Определением, хотя, естественно, существовала и там явная неудовлетворенность его содержанием (некоторые считали Определение слишком мягким, другие —

несвоевременным и т. д.). Иначе и не могло быть. Протоиерей Александр Мень в статье «„Богословие“ Льва Толстого и христианство» лишь констатирует самоочевидное: «Как бы ни оценивать текст самого „определения“ Синода, совершенно очевидно, что Церковь должна была как-то ответить на притязания Толстого. Со всей ясностью показать, что она не может согласиться с его пониманием Евангелия». Будущий патриарх Сергей Старгородский, правда, считал, что Толстого не следовало отлучать, потому что он сам сознательно отошел от церкви. Но в конце концов дело не в слове «отлучение», которое, кстати, не прозвучало в Определении. Синод находился в весьма затруднительном положении: он не мог оставить без внимания всё более нараставшую и принимавшую крайние формы антицерковную деятельность Толстого, который, как пишет Александр Мень, «не только ожесточенно, оскорбительно, забыв об элементарном такте, писал о таинствах Церкви, о ее учении, но утверждал, что только его взгляд на понимание христианства истинен». Тем не менее Определение вызвало раскол даже в церковной и монастырской среде. Схимонах Пантелеймоновского монастыря Ксенофонт писал свое сестре из далекого Афона, что «у нас многие получают непосредственные известия из Синода, всех этот вопрос страшно интересует, и везде монастыри делятся на два лагеря: на злобствующих и ненавидящих Толстого (коих большинство) и на соболезнующих и ужасающихся этой возникшей в России борьбе».

Схимонах Ксенофонт (до принятия монашеского пострига князь Константин Александрович Вяземским) — личность примечательная, оригинальная. Выпускник Пажеского корпуса, он не выбрал военной карьеры. Стал неугомонным путешественником, членом Русского географического общества. Шестнадцать лет странствовал будущий автор книги «Путешествие вокруг Азии верхом». Он объехал Малую Азию, Сирию, Палестину, Синайскую пустыню, Египет, Судан, Месопотамию, Курдистан, Армению, пересек Сибирь до Байкала, верхом на лошади добрался через Монголию до Пекина. Передвигался по Камбодже на повозке, запряженной буйволами, по Индии на слоне, по Гималаям на яке. Был в Китае ранен фанатиками. В Туркестане две недели находился в плену у разбойников (освобожден казаками). Вернулся в Москву через Персию. Бывал (дважды) князь и в Ясной Поляне. Понравился Толстому, оставившему такую запись в дневнике от 27 июня 1891 года: «Говорили много с Вяземским и хорошо». В середине 1890-х годов Вяземский принимает постриг, а в 1900 году становится схимонахом Ксенофонтом. Но связь с Толстым сохранил, получив от него неожиданное (но, понятно, своеобразное) «благословение», о чем тот писал сестре, цитируя Толстого:

«К моему великому удивлению, он мое поступление в монашество одобрил и выразился так: „Хотя я совсем не знаю, что за жизнь на Афоне, но верю, что человеку, уставшему от суеты мирской, пустыня может казаться привлекательной, и решимость ваша мне нравится, в России я еще никогда не видал истинных монахов, все носящие здесь рясы либо лицемеры, либо дураки, но, может быть, на отдаленном Афоне есть и искренние отшельники, живущие созерцательной жизнью и стремящиеся к добру“».

Определение Синода опечалило и возмутило Ксенофонта. Он увидел в этом «незаконном» поступке «превышение власти». Не отрицая заблуждений Толстого, Ксенофонт не признает права Синода судить Толстого, видит здесь попытку свести счеты с опасным и влиятельным еретиком поддавшимся «дурным страстям» пастырям. В письме сестре из Афона он так логично и последовательно излагает свою позицию: «Дело Синода блюсти за Церковью, то есть наблюдать, чтобы духовенство вело себя пристойно... и воздерживалось бы от злоупотреблений; клясть и поносить людей за то, что они мыслят иначе, чем прочие, не входит в круг деятельности Синода; Синод лишь может увещевать. Если хотят осудить и заклеймить религиозные толкования Толстого, должны собрать собор и притом выслушать его объяснения, а не заочно решать, как Римские папы. Впрочем, кто не знает, что здесь играют роль личные страсти, оскорбленное самолюбие. Толстой — обличитель, ловко подмечивает темные стороны святейших и колко их осмеивает, вот за это-то его и ненавидят, а это дурно! В сущности, Толстой глумится вовсе не над таинствами и не над Православием, а над тупым и плоским пониманием этих таинств, над предпочтением людей к букве закона в ущерб вере... Своим объявлением Синод уронил себя во мнении всех мыслящих людей, а я об этом соболезнаю».

Неистовые проповеди Иоанна Кронштадтского (некоторое время Ксенофонт был его поклонником), ругань, поношение Льва Толстого вызвали гнев схимонаха. Потрясла его проповедь «Отношение интеллигенции к духовной жизни. Слово в день тезоименитства благочестивейшей государыни императрицы Александры Федоровны». Он недоумевал, как может «так ругательски ругаться» пастырь, «кого в России почитают за праведника, за чудотворца»: «Бывало, святые терпели хуления, поношения, гонения и мучения; а теперь сами святые хулят, поносят и ругаются по-площадному, — о, ужас! о, позор! Да, трудно не поколебаться в вере теперь, когда от пастырей Церкви вместо поддержки видишь один соблазн! Иван Кронштадтский последователей Толстого прямо зовет свиньями. Неужели злоба и зависть так охватила души наших

современных фарисеев, что уж они позабыли всякую пристойность».

Ксенофонт видит в этой «глупой», гордой и строптивой речи «российского чудотворца» «образец пустословия», «неистовый донос», голословные обвинения, колоссальное самомнение и превозношение, выражение презрения науке и образованию. Никак не ожидал он такого от «человека, которого раньше знал и уважал», «почитал, считал благочестивым, считал христианином». Сестре, вступившейся за пастыря, Ксенофонт отвечает, усиливая до шаржа и карикатуры свою критику, используя слухи и недоброжелательные отзывы о «чудотворце», которых было много (они, в частности, получили художественно-памфлетное преломление в рассказе Лескова «Полуношники»): «Это человек совсем не простой, как ты пишешь, он кончил курс в Духовной Академии магистром, он *вредный шарлатан* и человек, смотрящий на религию как на средство для наживы и приобретения популярности, он лжечудотворец, ездит по России в купе первого класса, в роскошной шелковой рясе и собольей шубе, окруженный жандармами, это возмутительный соблазн...» Ксенофонт отвергает все его проповеди, полные «самовозношением, проклятиями и руготней, ничего общего не имеющей с учением Христа. У него нет смирения... ему поклоняются легковверные, не привыкшие размышлять люди... Талант, данный ему от Бога, он не зарыл в землю, а сделал хуже: он его всецело употребил на обман, извратил его и издевается над Христом, выдавая себя за чудотворца, он комедиант, его молитва театральная...» И — соответственно — защищает Толстого: «Слепая обезьянья вера негодна Христу, вера должна быть сознательная. Толстой ярый противник нигилизма и сильно способствовал к его ослаблению и распаду, за что ему великое спасибо... души колеблющихся смущает не Толстой, а лицемерные и суеверные пастыри Церкви, соблазн от них; Толстой лишь констатирует его и предостерегает от вероломства и напускного благочестия». Он пытается убедить сестру, что хотя Толстой и заблуждается, но заблуждается «честно, откровенно», без злобы и ненависти к людям.

Розанов, которому во многом были симпатичны личность и деятельность Иоанна Кронштадтского, пытался объяснить необычайную резкость, неистовость, грубость его выступлений против злостного еретика Толстого тем, что «не он сам, но другие побудили его сказать свое мнение о Льве Толстом... чтобы заручиться этим мнением, как некоторою „палкою“, что он был здесь сам *связанный* человек, которого несли, куда хотели, и принесли в черный лагерь нашей реакции... Ему указали „перстом“ на некоторые слова у Толстого и предложили „осудить“ его; он — осудил».

«Другие», понятно, были весьма заинтересованы в проповедях такого знаменитого человека, почитаемого святым в народе, но не стоит их зловещую подстрекательскую роль преувеличивать. Борьбу с этим, как ему мерещилось, пособником дьявола Иоанн Кронштадтский вел с энтузиазмом, вкладывая в нее душу — иначе не были бы так эмоциональны его слова.

Принял участие в обсуждении Определения Синода и сам Толстой. Его ответ, опубликованный с купюрами в «Миссионерском обозрении», но, разумеется, известный многим и до публикации, по утверждению Толстого, был вызван увещательными письмами разных лиц, видевших в нем безбожника. Были, видимо, и другие причины. Толстой не мог не воспользоваться слабым, странным, на плохом языке написанном текстом Определения, равно и неуклюжими действиями правительства, неизбежно возбуждавшими внимание к его проповеднической деятельности, и не разъяснить своего отношения к церкви и церковным обрядам и отличие его христианства от церковного.

Ответ получился сжатым, энергичным, сильным, чем был удовлетворен Толстой (запишет в дневнике: «Ответ производит, кажется, хорошее действие»). Коротко перечисляются Толстым недостатки постановления, которое «незаконно или умышленно двусмысленно», произвольно, неосновательно, несправедливо, лживо (содержит не только неправду, но и клевету), подстрекательно, «очень нехорошо». Буквально все обвинения Синода Толстой отвергает, подтверждая одновременно, что не признает таинства, «непонятную троицу», «кощунственную историю о Боге, родившемся от девы, искупляющем род человеческий». Вновь, с неслабеющей энергией, отрицает таинство евхаристии, тем самым защищая вызвавшую особый гнев Синода главу романа «Воскресение»: «Кощунство не в том, чтобы назвать перегородку — перегородкой, а не иконостасом, и чашку — чашкой, а не потиром и т. п., а ужаснейшее, не перестающее, возмутительное кощунство — в том, что люди, пользуясь всеми возможными средствами обмана и гипнотизации, — уверяют детей и простодушный народ, что если нарезать известным способом и при произнесении известных слов кусочки хлеба и положить их в вино, то в кусочки эти входит Бог; и что тот, во имя кого живого вынется кусочек, то тому на том свете будет лучше; и что тот, кто съест этот кусочек, в того войдет сам Бог».

Затем Толстой излагает свой символ веры, суть своего христианства, отличного от церковного. Видящим в нем безбожника, он разъясняет, что верит в Бога, которого понимает «как дух, как любовь, как начало всего,

Бога, который „во мне и я в нем“, чья воля ясно и понятно изложена в учении Христа, которого „понимать Богом и которому молиться“ считает кощунством. Воля Бога заключается в том, чтобы „люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как хотят, чтобы поступали с ними“. Верит в молитву, но не общественную в храмах (такую прямо запретил Христос), а „уединенную“. Это его верования, изменить которые он не в состоянии, даже если они не нравятся кому-нибудь или мешают чему-нибудь. Он не превозносит своей веры и не принуждает к ней никого, но сам считает ее истинной: «Я не говорю, чтобы моя вера была одна несомненно на все времена истинна, но я не вижу другой — более простой, ясной и отвечающей всем требованиям моего ума и сердца; если я узнаю такую, я сейчас же приму ее, потому что Богу ничего, кроме истины, не нужно». А свое духовное развитие Толстой, свободно цитируя Кольриджа, делит на три важных этапа — сперва полюбил православную веру более своего спокойствия, затем веру своей церкви и, наконец, полюбил истину, совпадающую для него с христианством, которое он и исповедует.

Совершенно закономерно, что было запрещено перепечатывать ответ Толстого Синоду. Но запреты становились всё более и более бессмысленными. Только способствовали популярности и славе Толстого, который усиливает свою публицистическую и проповедническую деятельность. В том же тревожном 1901 году он заканчивает такие яркие и естественно подпадавшие под запрет произведения, как обращение «Царю и его помощникам», статьи «Единственное средство», «Солдатская памятка», «Офицерская памятка», «Что такое религия и в чем сущность ее?», «О веротерпимости». Но не забывает и о «художественном»: обдумывает повесть «Хаджи-Мурат» и замышляет продолжение романа «Воскресение». Сложилась парадоксальная ситуация, острее всего переданная в дневнике Алексея Суворина: «Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и его династии. Его проклинаят, Синод имеет против него свое определение. Толстой отвечает, ответ расходится в рукописях и в заграничных газетах. Попробуй кто тронуть Толстого. Весь мир закричит, и наша администрация поджигает хвост... Герцен громил из Лондона. Толстой громит в Лондоне из Ясной Поляны и Москвы, в России, при помощи литографий, которые продаются по 20 копеек».

Тяжелый, насыщенный событиями, главным из которых было «отлучение», год потребовал невиданного душевного и физического напряжения. Толстой часто болеет, особенно резко ухудшилось его

здоровье в конце июня. Это вызывает тревогу у окружающих. И беспокойство властей, предвидящих в случае кончины писателя ходатайства об устройстве собраний и вечеров, посвященных памяти Льва Толстого. Графиня Софья Владимировна Панина предложила Толстому свою дачу на Южном берегу Крыма в имении Гаспра. Письмо с любезным приглашением графини пришло в начале августа и было с благодарностью принято. Толстые сразу стали собираться в дорогу. В Крым Толстые прибыли в самом начале сентября; там Толстой, прежде чем достичь Гаспры, посетил «места боевой славы», осмотрел музей Севастопольской обороны. В Крыму очень ослабевший и постаревший Толстой задержался надолго.

Южный берег Крыма

Герой повести Достоевского «Кроткая» планировал после того как «подготовит» жену, подчинив ее строгой воспитательной системе, удалиться на Южный берег Крыма, где наконец и наступит счастливая жизнь в земном раю, каким представлялся ему этот благословенный край, чем-то напоминающий счастливую планету, привидевшуюся во сне «смешному человеку». На Южный берег Крыма отправил Гончаров наслаждаться идиллическими условиями жизни Андрея Штольца и Ольгу Ильинскую: тихий уголок на морском берегу, великолепный цветник, длинная тополевая аллея, скромный и уютный коттедж, сверху донизу покрытый сетью из винограда, плющей и миртов. Там счастливые супруги и погружались «в безмолвное удивление перед вечно новой и блещущей красотой природы», нежась в сумраке теплой, звездной, южной ночи. Среди цветов, на празднике жизни..

Достоевский и Гончаров в Крыму не были. Он им грезился, снился как живое воплощение рая на земле. Толстой здесь воевал. И Крым ему представлялся в звуках и красках войны как защитнику Севастополя. Вспоминать было приятно, радостно, что не очень гармонировало с пацифистскими убеждениями. Но в том-то и дело, что в перспективе и та война воспринималась как неотъемлемая часть гармонии. Толстой это остро почувствовал, приехав в Крым весной 1885 года.

Он приехал в Севастополь вместе со своим больным другом Сергеем Дмитриевичем Урусовым в ночь с 13 на 14 марта. Ожили воспоминания о севастопольской страде. По дороге в Симеиз они проезжали по местам, «казавшимся неприступными, где были неприятельские батареи, и странно,

воспоминание войны даже соединяется с чувством бодрости и молодости. Что, если бы это было воспоминание какого-нибудь народного торжества, — общего дела, — ведь могут же такие быть». Дело было общее, но назвать его народным торжеством все-таки Толстой не решается. Воспоминания, несомненно, бодрящие, приятные, возвращающие в молодость, хотя, возможно, и глупые: «Каково, я жив, еще могу жить, еще! Как бы хоть это последнее прожить по-божьи, то есть хорошо. Это очень глупо, но мне это радостно». Софье Андреевне рассказывал, что ему удалось даже вблизи дороги найти ядро горного орудия. Возможно, то самое ядро, которым он выстрелил тридцать лет назад. И это ядро видеть было радостно. Думалось славно, и мысли набегали «нового строя, хорошие мысли».

В Крыму Толстой дышал полной грудью, радуясь людям, кошкам, роман которых никак не мог кончиться, природе — солнцу, которое жжет, птицам, фиалкам. «Ночь лунная, кипарисы черными столбами по полугоре, — фонтаны журчат везде, и внизу синее море, „без умолку“». Прихотливо выьющееся в камнях шоссе. Миндаль, оливки, виноградники. И, конечно, самое главное, влекущее — «море синее, синее». Ходил со старым татаринном на его виноградник, лазил по скалам, любовался его сильными, здоровыми, веселыми сыновьями, с которыми немного с удовольствием поработал. Верхом ездил и много гулял пешком: до знаменитых Байдарских ворот в гору и до Алушки, где «напился чаю у турка», по самому берегу, еле удержавшись, чтобы не выкупаться. На лошадах съездил в Ялту к Ивану Сергеевичу Аксакову, который был в восторге от народных рассказов Толстого. Долго сидели с Урусовым на берегу под скалой: «Уединенно, прекрасно, величественно, и ничего нет сделанного людьми...» И с тоской вспоминал кошмарную Москву и собственный там дом, чужой и опостылевший, о чем не без упрека упомянет в письме жене: «И я вспомнил Москву, и твои хлопоты, и все занятия и увеселения Москвы. Не верится, чтоб могли люди так губить свою жизнь».

Съездил Толстой и в Мшатку к философу Николаю Яковлевичу Данилевскому, другу Страхова. Данилевский оставил портрет Толстого той короткой, но радостной и прекрасной крымской поры: «Он сам — еще лучшее произведение, чем его художественные произведения... В нем такая задушевная искренность, которой и вообразить себе нельзя. Он просидел у нас вечер, переночевал и до часу на другой день остался, потому что на следующий должен был ехать... Ходок он удивительный. Я слышал, что будто он дурен собой — ничего этого я не нашел — превосходное, дышащее простотой, искренностью и добродушием лицо.

Одним словом, понравился он мне очень, так понравился, как с первого взгляда и менее чем однодневного знакомства едва ли кто нравился...»

Упоительные две недели в Крыму позже вспоминались как одно мимолетное мгновение счастья: вот только из рабочей колеи вышел. Как не выйти. Просто необходимо было выйти: сочинять «английского милорда» в Крыму, пожалуй, даже было безнравственно. Неудивительно, что уставший и больной Толстой так быстро и охотно принял приглашение Паниной. Не он сопровождал больного друга, осуждая со свойственным здоровому и бодрому человеку эгоизмом Урусова за то, что тот «не видит своего положения и как будто боится узнать о нем».

Уже в середине июня 1901 года наступил физический спад после слишком бурной и тревожной весны, сочувственных демонстраций и писем с оскорблениями и угрозами. Софья Андреевна с тревогой пишет в дневнике 14 июня, предвидя быструю трагическую развязку, что Лев Николаевич жалуется на боли, очень похудел и постарел «и близок к тому времени, когда совершится с ним та великая перемена, к которой ни он, ни я — как ни старайся — не готовы и не можем быть готовы». В ночь с 27 на 28 июня положение ухудшилось. И так почти весь июль — одна болезнь переходила в другую. Дневник Софьи Андреевны превращается в взволнованную хронику болезни. Близость смерти мужа, неотвратимость конца, кажется, впервые отчетливо ощутила Софья Андреевна. Временные улучшения — это лишь отсрочки. Надолго ли? «Теперь вдруг ясно представился конец. Нет обновления, нет здоровья, нет сил — всего мало, мало осталось в Левочке». Не так уж и мало, как в этом через неделю уже убедится она. Вот уже и аппетит у Левочки прекрасный, пошли большие прогулки по лесам и шутки по поводу сочувственных писем на выздоровление, которым растроганно внимал оживший и повеселевший Толстой: «Теперь, если начну умирать, то уж непременно надо умереть, шутить нельзя. Да и совестно, что же, опять сначала; все съедутся, корреспонденты приедут, письма, телеграммы — и вдруг опять напрасно. Нет, этого уж нельзя, просто неприлично». Тут же и «Ода к радости»: «Нет, надо жить, жизнь так прекрасна!..» Простившаяся было и примирившаяся с семидесятилетним мужем Софья Андреевна поражена его энергией.

Русские «папарацци» начала XX века, естественно, не дремали. Спешили, опережая события, сообщить животрепещущую новость. Встревожился брат Сергей, признававшийся в письме: «У меня ближе тебя нет на свете человека, и когда прочел в глупом „Новом времени“, что твое положение безнадежно, то почувствовал, что, будь это правда, мне не с кем будет *никогда* и поговорить, как я мог говорить с тобой...» Газетчики

поторопились (так ведь в мобильности и один из секретов их профессии, менее всего они заинтересованы в правде — слух, сплетня, клевета, пожалуй, товар более надежный и подходящий: лишь бы первыми, лишь бы опередить коллег и ошарашить читателя), Сергей Николаевич умрет раньше, тщетно пытаясь найти утешение от великого, но не всесильного брата.

Но Толстой с большим трудом возвращался к привычному ритму жизни. Работал он этим летом поразительно мало, что и нашло отражение в августовской дневниковой записи: «Страшно сказать: не писал почти два месяца». Будущая поездка в Крым его радует (а Софью Андреевну гнетет — едет она только ради здоровья Льва Николаевича): необходима передышка, перемена климата и обстановки. Накануне отъезда (5 сентября) заболевает; жар продолжается и в дороге. В Харькове его ожидала толпа народа: звучали приветственные крики, подали адрес, бежали за отходящим поездом. Толстой был растроган. В Севастополе он дважды прогуливается, осматривает музей Севастопольской обороны. По дороге в Гаспру Толстой вспоминает прошлое и пытается узнать знакомые места. Следы былых сражений почти стерло время. Крым нравится, но это другой Крым; тот остался в героическом прошлом. «Ночи теплые, — пишет он сыну Льву из Севастополя, — и красота необыкновенная. Я немножко оглядел свои знакомые за 46 лет места, которые трудно узнать». В Байдарах, где задержались, к Толстому бросился какой-то восторженный господин с розами, принявшийся целовать руки Льва Николаевича. Он расстроился — бесцеремонные знаки внимания угнетали больше, чем письма с оскорблениями и угрозами.

В Гаспру приехали вечером 8 сентября, когда совсем стемнело. Огромный дом, не то замок, не то дворец Паниной произвел впечатление на Льва Николаевича (Софья Андреевна осталась равнодушной к красотам Крыма и роскошным дворцам — она тосковала о своем, оставленном в Ясной Поляне доме). Толстой так живописует брату с некоторой автоиронией рай, в котором он, проповедник умеренной, трудовой, скромной жизни, очутился: «Гаспра, имя Паниной, и дом, в котором мы живем, есть верх удобства и роскоши, в которых я никогда не жил в жизни. Вот те и простота, в которой я хотел жить... Въезд через парк по аллее, окаймленной цветами, розы и другие, всё в цвету, и бордюрами к дому с двумя башнями и домовою церковью. Перед домом круглая площадка с гирляндами из розанов и самых странных красивых растений. В середине мраморный фонтан с рыбками и статуей, из которой течет вода. В доме высокие комнаты и две террасы: нижняя вся в цветах и растениях с

стеклянными раздвижными дверями, и под ней фонтан. И сквозь деревья вид на море. В доме всё первосортное: задвижки, нужники, кровати, проведенная вода, двери, мебель. Такой же флигель, такая же кухня, такой же парк с дорожками, удивительными растениями, такой же виноградник со всеми самыми вкусными съедобными сортами». Красота так захватила Толстого, что он не мог не «расписаться», хотя всего сразу и не описать, о чем он вновь повествует брату, еще и обещая продолжение: «Живу я здесь в роскошнейшем палаццо, в каких никогда не жил: фонтаны, разные поливаемые газоны в парке, мраморные лестницы и т. п. И кроме того, удивительная красота моря и гор. Со всех сторон богачи и разные великие князья, у которых роскошь еще в 10 раз больше».

Природой Крыма Толстой наслаждается. Чехов, приглашая (заманивая Толстым) Горького в Крым, пишет, что тому «Крым нравится ужасно, возбуждает в нем радость, чисто детскую». И «величайшая роскошь» великих князей и Юсупова, со всех концов окружающая здесь Толстых, похоже, его мало смущает. Доставляет своеобразное удовольствие и рождает любопытные, парадоксальные ситуации. Одну из них рассказал Максим Горький, придав ей некий символический смысл или, точнее, художественно домыслив ее до яркого символа:

«У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один, — кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, — все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

— Узнали, дураки.

И еще через минуту:

— Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому».

Великих князей Толстой избегал, но одного из них, Николая Михайловича, очень желавшего с ним познакомиться, избежать не удалось. Николай Михайлович явился к нему сам. В письме к Черткову, хорошо знавшему великого князя, Толстой иронически пересказал разговор между ними, заключив несколько пренебрежительно: «Они все, очевидно, ничего не читают, кроме „Московских ведомостей“. Этот либеральничает, но как они мало образованы, просвещены». Толстой пристрастен и несправедлив. Николай Михайлович был человеком образованным, просвещенным,

независимых взглядов, во всех отношениях достойным и — самое главное — обожавшим Толстого-художника. Благодаря ходатайству великого князя Толстым будет разрешено гулять по проведенной специально для царской семьи дорожке. Николай Михайлович беседовал с Толстым о Федоре Кузьмиче, герое его незаконченной повести: оказывается, он очень интересовался этой легендой, посылал своего секретаря в те места Сибири, где жил старец — двойник Александра I. Он окажет Толстому много бесценных услуг и огорчится, когда писатель попросит князя прекратить отношения с ним, так как в них «есть что-то ненатуральное». Толстому самому не хотелось прерывать отношения с этим деликатным и полезным человеком, но положение смутяна, принципиального противника самодержавного государства и всех его институтов в некотором смысле обязывало. Князь огорчился, прислал Толстому очень любезное письмо, и переписка между ними продолжилась.

Как раз в Крыму, вскоре после знакомства, обратился Толстой к великому князю с просьбой передать письмо царю. Сделать это Николаю Михайловичу было весьма неудобно, особенно если принять во внимание содержание письма, но он просьбу Толстого выполнил. Послание Толстого к «любезному брату» Николаю II выдержано в жанре своеобразного политического завещания человека, пишущего «как бы с того света», находящегося «в ожидании близкой смерти». Толстой без всякой утайки, прямо пишет о стремительно надвигающейся катастрофе, советуя уничтожить гнет, мешающий «народу высказать свои желания и нужды», уничтожить земельную собственность. Можно себе представить, с каким чувством Николай II читал, к примеру, такие строки письма Толстого: «Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в центральной Африке, отделенной от всего мира, но не требованиям русского народа, который всё более и более просвещается общим всему миру просвещением. И потому поддерживать эту форму правления и связанное с нею православие можно только, как это и делается теперь, посредством всякого насилия...» Очень понятно и беспокойство Софьи Андреевны: как бы не рассердился царь «за жестокую правду, ничем не смягченную», ее желание, чтобы «задорное» письмо, этот «продукт больной печени и желудка», великий князь Николай Михайлович не передал. Страхи оказались чрезмерными. Николай II отнесся к письму Толстого «благосклонно»...

Мария Львовна, которая вместе с мужем сопровождала отца во время поездки, также пишет о необыкновенной роскоши («мы окружены тремя великими князьями и Юсуповыми, у которых одна купальня стоит 75

тысяч») и смешанных чувствах, которые испытывал Толстой: восторг и умиление от южной природы и роскошных дворцов, причудливой смеси языков и религий и горестное удивление, что рядом с этим богатством и великолепием существует ужасная нищета. Сложные, непривычные впечатления и сочетания, которые осмыслить и выразить было трудно. Сложное так и осталось где-то в отдаленных помещениях творческой лаборатории: «Так что же нам делать?» на специфическом крымском материале Толстой не написал. Но, возможно, Крым напомнил ему Кавказ. И там были горы и роскошная природа, хотя и отсутствовали море и блага цивилизации. Татарские и турецкие нравы и гортанные восточные голоса перекликались с кавказскими воспоминаниями, невольно врываясь в медленно и любовно сочинявшуюся повесть «Хаджи-Мурат».

Это была последняя и довольно продолжительная встреча Толстого с югом — и о пребывании в Крыму известно поразительно много. Горький в воспоминаниях о Толстом сочувственно приводит слова Чехова о «некультурности нашей»: «Вот за Гёте каждое слово записывалось, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и — наврут». Вероятно, справедливое обобщение Чехова по отношению к Толстому последних двух десятилетий неприменимо. Ему, пожалуй, повезло даже больше, чем Гёте. Кажется, каждое слово Толстого записано (иногда несколькими слушателями), каждый жест описан, каждое движение истолковано. Создается впечатление, что множество глаз устремлено на Толстого, что огромная аудитория жадно впитывает его слова. Он отнюдь не был в изоляции в Крыму — далеко не всех могла отогнать или спугнуть Софья Андреевна. Больше всего и охотнее всего беседовал Толстой с писателями — Чеховым, Горьким, Короленко, Скитальцем, Елпатьевским, Бальмонтом. Чаще всего с Чеховым и Горьким, этими симпатичными ему «безбожниками». Чехова он особенно любил — и как писателя, и как человека. Звонил ему по телефону, радуясь возможности сказать что-то доброе и приятное: «Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно — вам! Вы очень хороший, очень!» Читает «Скучную историю» и восхищается умом и мастерством Чехова, но ругает его пьесы. Сергею Львовичу запомнились внимательное, умное, не улыбающееся лицо Чехова, его благожелательность. Бесед между ними, собственно, не было. Чехов говорил мало, Толстой — много и с задором, провоцируя парадоксальными и вызывающими суждениями, которые Чехов выслушивал кротко, не возражая, не вступая в спор. Но несогласие и скептическое отношение

Чехова чувствовались. Толстой досадовал: очень хотелось добиться от Чехова откровенности, подчинить своему влиянию, преодолеть вежливое, неуловимое, но потому-то и непреодолимое сопротивление.

В основном молчал и Максим Горький. И всё же с ним Толстому было гораздо легче говорить. Любви к нему он не испытывал, но было сильным любопытство, желание понять суть этого во многом чуждого ему человека (Горький это увидит: «Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и — только»), секрет успеха его произведений в публике. Толстой, судя по воспоминаниям Горького, позволял себе с ним предельную откровенность, высказывал прямо в лицо ему неллицеприятные суждения о частых художественных промахах, дразнил, уснащая свою речь, как дипломатично и осторожно принято говорить сегодня, ненормативной лексикой. Но это был диалог, живое и эмоциональное общение: рассказы и суждения Толстого приведены Горьким без цензуры и смягчающих комментариев. И они чрезвычайно интересны и значительны. Его записи и созданные на их основе очерки — явление яркое, жемчужина в огромной мемуарной литературе о Толстом, где нередко правду существенно корректирует благоговение авторов, которые, используя счастливое и озорное сравнение самого Толстого, всеми членами делают на караул.

Мережковский, создавая портрет Толстого, в угоду схеме, назвал его «северным эпикурейцем», дом которого в Ясной Поляне идеально соответствовал «благородному, утонченному вкусу хозяина... его любви к *роскошной простоте*», до смешного тенденциозен. Всё как в Москве, так и в Ясной Поляне говорит о простоте и скромности быта, о трудовых занятиях супругов Толстых, для которых праздность была несчастьем, тяжелой болезнью. Эпикурейство и роскошь в применении к жизни Толстых самые неподходящие слова, даже если они являются частью оксюморонных определений. Их жизнь была подчинена расписанию, довольно жесткому рабочему ритму, и его нарушения воспринимались нервно. Болезнь ошутимо сказала на привычном трудовом режиме Толстого. Потому-то он и поехал в Крым, надеясь на чудо возрождения. Вынужденная сопровождать мужа Софья Андреевна, довольно-таки равнодушная к южным красотам, пребывала в Крыму в состоянии тоски и какого-то оцепенения, то и дело напоминая в письмах и дневниках о прискорбной необходимости жертвовать многим ради здоровья мужа, неблагодарного и сухого эгоиста, всё делающего вопреки ее мудрым советам, а порой и грубо, брюзгливо на нее «крысящегося». Не понимает и не чувствует, а ведь они все *свои* (этот курсив в дневнике Софьи Андреевны

бесподобен) жизни отдают ему «на служение». Непривычная тишина и частое одиночество неизбежно раздражали. Противны все эти карточные и шахматные игры. И шить не шилось. И занятия итальянским языком не увлекли. Климат показался неустойчивым и раздражающим. Только то и хорошо, что напоминает родные и милые места — Ясную Поляну, Москву: «Ясный день, лунные ночи, а я мертвая, как мертва здешняя каменная природа и скучное море. Птички всё пели у окна, и почему-то ни птицы, ни жужжащая у окна муха, ни луна не принадлежат Крыму, а все же напоминают яснополянскую или московскую весну, а муха — жаркое лето в рабочую пору, а луна — наш хамовнический сад и мои возвращения с концертов...»

В письме от 15 ноября безысходная тоска: «У нас сыро, холодно, дожди и скука. Прогулки по здешним местам уже не так интересны, как сначала... Вечера длинные, не знаешь чем занять, так как плохое зрение не позволяет читать, играть нельзя и негде, везде живут и рано спят... Хотелось бы дела, общения с людьми, музыки, приложения тех сил и энергии, которых еще так много, — а вместо этого сидишь, вяжешь ненужные вещи целыми вечерами, и от скуки даже мысли застыли и ум отупел». Софья Андреевна несколько преувеличивает в минуту всегда для нее тягостного одиночества. Дел хватало и в Гаспре, но дела были неприятные, мелочные, требовавшие не только большой энергии, а и большого такта. Горькому таким увиделся весь этот пестрый толстовский табор в Гаспре и «организующая» роль в его беспокойной жизни Софьи Андреевны:

«В Гаспре собралась вся семья Толстого: дети, зятья, снохи; мое впечатление: там было очень много беспомощных и больных людей. Я мог хорошо видеть, в каком вихре ядовитейших „мелочей жизни“ кружилась Толстая-мать, пытаюсь охранить покой больного, его рукописи, устроить удобнее детей, отстранить шумную назойливость „искренне сочувствующих“ посетителей, профессиональных зрителей и всех накормить, напоить... В этом вихре ослепляющей житейской пыли Софья Андреевна носилась с утра до вечера, нервно оскалив зубы, зорко прищулив умные глаза, изумляя своей неутомимостью, умением всюду поспеть вовремя, всех успокоить, прекратить комариное нытье маленьких людей, взаимно недовольных друг другом».

Горьким здесь, видимо, много верно и остро схвачено, хотя и очень уж высокомерно сказано о маленьких людях, окружавших больного Толстого, и их «комарином нытье». И люди были немаленькие, да и страдания они переживали нешуточные. Мрачны крымские записи в дневнике

жизнерадостной, преданной мужу и отцу, талантливой Татьяны Львовны, вынашивавшей еще одного мертвого ребенка (его здесь и похоронят, даже не показав несчастной матери), от чего можно было с ума сойти и возненавидеть весь свет. 7 ноября изливает она в дневнике свое непреходящее горе: «Сегодня я вышла на балкон, и всё мне показалось особенно фантастично и странно: Панинский дворец, море, цветы, я с мертвым ребенком во мне, с совершенно вдруг изменившимися вследствие этого мечтами и мыслями на будущее, с грозящей впереди бесплодной болезнью, без Миши, который теперь в снегах в России собирается ко мне, — всё это показалось так нелепо и негармонично, что я этого описать не сумею». Еще траурнее и безысходнее запись от 9 ноября. Все вокруг больны, нет почвы под ногами, нет и желания жить: «У нас в семье сделалось так, что все умственные и физические силы направлены на то, чтобы сохранить по возможности дальше наши тела. А на что они? Мне всё последнее время всё кажется более и более желательным избавиться от этой гадкой скорлупы... Жалко другим делать эту неприятность, а самой не страшно и, скорее, желательно». Мрачно, пессимистично, но никак не комариное нытье.

Да, надо сказать, и сама Софья Андреевна привносила свои и нередко весьма ядовитые элементы в крутившийся вихрь «мелочей жизни». Записи в ее крымском дневнике часто недоброжелательны, содержат мелочные обиды и сетования на неудавшуюся, манкированную жизнь, на трудности «служения» больному, эгоистичному, неблагодарному мужу.

Софью Андреевну легко понять — продолжительное безделье и радикально переменившийся образ жизни мучительны для натуры нервной, подвижной, для властной и деспотичной хозяйки, привыкшей править и командовать, а не гостить. Она от нестерпимой скуки пустилась философствовать и рассуждать о религии, всё больше в консервативном и традиционном духе — больше в пику Льву Николаевичу, сочинения которого (статьи, памятки, публицистические письма, «художественное» Толстой давно уже не писал) переписывала, критикуя и морщась. Отношения между супругами в Крыму не улучшились — от больших ссор уберегала лишь болезнь Левочки, то затихавшая, то вновь обострявшаяся. Крым Софья Андреевна покидала с чувством облегчения, с горечью констатируя, что «служение» было, пожалуй, напрасным: «Результат жизни в Крыму — везем совершенно больную Сашу и непоправившегося Льва Николаевича». Отчасти это так: возвращение было тяжелым; как уезжал Толстой больным, так и вернулся с жаром, привычно философствуя по этому поводу: «Я не обижаюсь. А готовлюсь или, скорее, стараюсь

последние дни, часы прожить получше».

И часов и дней будет еще Толстому отпущено много. Опасность миновала, чему, несомненно, весьма способствовал Крым. Возродились и энергия, желание писать — и не только статьи, воззвания и духовные сочинения. Вернувшись, Толстой на некоторое время почти целиком уйдет в любимого, заветного «Хаджи-Мурата».

Если судить по дневникам Софьи Андреевны, то в Крыму Толстой постоянно находился на очень близком расстоянии от смерти. Ему действительно время от времени нездоровилось, но хворь быстро проходила, возвращалась бодрость и возобновлялись прогулки: пешие и верхом на лошади. «Живоват — не изорвется!» — восклицал Горький после очередного выздоровления. Очень серьезно заболел Толстой только в январе 1902 года. Чехову он не очень понравился и в конце декабря 1901 года, но ситуацию тогда склонен был оценивать неопределенно: заметно овладевает старость, но тем не менее «он может прожить еще лет 20 и может умереть от малейшего пустяка каждый день». Тут и предостережение — необходимо очень бережно и осторожно обращаться с Толстым: «В его положении теперь каждая болезнь страшна, каждый пустяк опасен». Через месяц Толстой произвел на Чехова самое тягостное впечатление; он писал Ольге Книппер: «Толстой очень плох... Вероятно, о смерти его услышишь раньше, чем получишь это письмо. Грустно, на душе пасмурно». О том же еще определеннее в те тревожные дни и Горький извещал Поссе: «Возможно, что когда ты получишь это письмо, Льва Толстого уже не будет в живых... Положение его... безнадежно». О смертельной болезни Толстого писали газеты.

Самые тяжелые дни были в январе — феврале. Срочно вызвали из Москвы и Петербурга известных докторов. Съехались и перепуганные родственники, и близкие друзья — Татьяна Львовна с мужем, Илья Львович, Лев Львович, еще раньше в Гаспру переехала Мария Львовна с мужем, Буланже, Дунаев. В трудное время Толстые забывали или далеко отодвигали всякие обиды и недоразумения, действовали сообща, дружно, умело и самоотверженно. Старший сын Сергей Львович вспоминал: «Установились ночные дежурства. Дежурило по двое: кто-нибудь из женщин и кто-нибудь из мужчин. Женское дежурство исполняли: моя мать, моя двоюродная сестра Елизавета Валерьяновна Оболенская и подруга моей сестры Юлия Ивановна Игумнова, иногда также мои сестры. Мужское дежурство исполняли: Павел Александрович Буланже, я и вызванные по телеграфу мои братья Илья и Андрей. Приезжал также брат Лев». Бдения эти никому не были в тягость. Илья Львович с удовольствием

вспоминает, как прислушивался ночью к дыханию отца и каждому шороху в комнате. Ему, как самому сильному среди Толстых, вменялось в обязанность поднимать отца и держать его на вытянутых руках, пока меняли постельное белье. Однажды от напряжения у сына задрожали руки. Толстой удивился: «Неужели тяжело? Какие пустяки». Должно быть, вспомнил, каким он был сильным и выносливым в возрасте Ильи. А слабел он стремительно. Вот уже и пальцами стал перебирать одеяло — верный признак приближающегося конца. Никто в близкой смерти Толстого не сомневался. На совете в первой половине февраля решили погребение совершить в Крыму, для чего был куплен по соседству небольшой участок земли.

Толстой уже и с самыми близкими родственниками прощался. Продиктовал Буланже телеграмму брату, которую с большим трудом подписал: *Левочка*. Диктуя, взволновался и заплакал. Вручил и «прощальное, как бы предсмертное письмо» сыну Льву, который очень огорчал тогда отца, публично полемизируя с его взглядами. Письмо, видимо, было откровенным и задело болезненно самолюбивого сына. Очевидцы свидетельствуют, что он тут же прочел письмо, вышел в соседнюю комнату, где его разорвал на мелкие кусочки и выбросил их в корзину. Может быть, кое-что здесь и сгущено: текст «трогательного» письма не сохранился и о его содержании мы не знаем. Очевидно, что примирения не состоялось, да к нему, похоже, не стремились ни отец, ни сын. Уехав в начале февраля из Крыма, Лев написал матери письмо, прося ее передать отцу, что он не хотел его огорчить. «Скажите ему, — писал он, — что я люблю его и поцелуйте его руку и попросите у него от меня прощения за то, что я огорчил его». Софья Андреевна, разумеется, выполнила просьбу своего любимчика, которая, впрочем, мало растрогала отца. В новом письме сыну он выразил сожаление, что сказал слово, которое того огорчило, присовокупив, однако, что «о прощении речи не может быть».

Забеспокоились и власти, разославшие телеграммы, призывающие губернаторов принять необходимые меры по предотвращению демонстраций по пути во время перевоза тела Толстого. Обсуждался и репетировался разрешенный цензурой сценарий похорон. Как обычно, придумывались глупейшие запретные меры. Суворин возмущался: «31 января отобрали подписку в магазине не выставлять портретов Толстого и от Главного управления по делам печати сказали, что портрет Толстого нельзя помещать ни в коем случае и никогда. Очевидно, эти парни рассчитывают на бессмертие! Действительно, бессмертные дураки». Но

Толстой и на этот раз, кажется, того не желая, «обманул» смерть. На прибывшего в апреле в Гаспру Гольденвейзера Толстой произвел гораздо лучшее впечатление, чем он ожидал.

Куприну, увидевшему впервые Толстого (представлен был Толстому Елпатьевским на пароходе «Святой Николай», отплывающем из Крыма), он показался сначала похожим на старого еврея, стариком среднего роста. Старик был смешным и трогательным. Голос утомленный, старческий, тонкий. Большая, холодная, негнущаяся старческая рука. Очень старый и больной человек. И вдруг старец преобразился, и всё в нем изменилось: «Ему вдруг сделалось тридцать лет, ясный взгляд, светские манеры». Неуловимый, переменчивый, многоликий Толстой, совсем не похожий на безнадежно больного, угасающего старца. Врач и писатель Елпатьевский, часто встречавшийся и беседовавший с Толстым в Крыму, видевший его в том состоянии, которое все находили почти безнадежным, посетил осенью Ясную Поляну и был поражен и обрадован бодростью и молодой энергией Льва Николаевича, стремительно, легко взбежавшего по лестнице, и неожиданно, озорно предложившего присесть, и тут же показавшего огорошенному визитеру, что он подразумевал под приседанием.

— Вот так! — сказал Толстой и присел сам быстро и умело, почти до пола, потом легко и эластично вскочил.

За таким Толстым поистине трудно было «угнаться». Солнце, море, целебный воздух Крыма воскресили Толстого.

Вернувшись, он до драматического ухода осенью 1910 года оседает в Ясной Поляне. От крымских дней сохраняются поэтические зарисовки посещавших его там писателей, отретушированные до символических фресок. Сказочное видение в воображении Скитальца: «Обильный золотой свет торжественного солнца, пробиваясь сквозь густую зелень свежих весенних листьев, обвивавших террасу, нежными лучами освещал его львиную голову и замечательные руки. Он был до головы закрыт толстым и широким пледом, и мне казалось, что я говорю с одной только необычайной, сказочной головой, возвышающейся „превыше всех церквей“». Горькому он показался однажды похожим на несколько уставшего Саваофа, устроившегося на каменной скамье под кипарисами. А в другой раз — «древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том — когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море — часть его души, и всё вокруг — от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почувствовалось нечто вещное, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как

будто это он — его сосредоточенная воля — призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их». Мифологизация на полном ходу. И последний штрих в том же духе — Толстой на увозящем его из Ялты пароходе глазами Куприна: «Се бо идет царь славы».

Дочери и сыновья

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Казалось бы, всеобъемлющая формула, которая к любой семье подойдет. Но в толстовской семье всё фантастически перепуталось и «смешалось» — счастливые и несчастные периоды, мирные и кризисные, конфликтные, счастье одних и несчастье других. Семья росла, Софья Андреевна почти всегда была или беременной, или кормящей, смерть редко посещала дом Толстых, лишь в середине 1870-х напомнила о своем существовании. Взрослели дети и соответственно умножались проблемы. Конечно, так складывалась жизнь у очень многих русских людей XIX столетия, создававших счастливые и несчастливые семьи. О подавляющем большинстве этих семей мы ничего или очень мало знаем. Песчинки, смешавшиеся с другими и потерявшие индивидуальность. О семье Льва Николаевича Толстого такого не скажешь. «Наш дом был стеклянным, открытым для всех проходящих. Каждый мог всё видеть, проникать в интимные подробности нашей семейной жизни и выносить на публичный суд более или менее правдивые результаты своих наблюдений. Нам оставалось рассчитывать лишь на скромность наших посетителей». Это голос Татьяны Львовны. Лев Львович вспоминает, что в доме иногда находилось так много посетителей, что он чувствовал себя, как на каком-то большом вокзале. Младшей дочери Александре запомнилась жизнь на подмостках сцены, где не всегда предоставлялась возможность уединиться в гримерной: «Но как ни интересны и приятны были некоторые гости, постоянное присутствие чужих в доме — было тяжело. Толстые были лишены семейной жизни. Ни за едой, ни вечерами за круглым столом в зале, под широким абажуром лампы, нельзя было посидеть одним, потолковать о том, что кто читает, кто в кого влюбился, как кто провел день, какие у кого обновки, одним словом, Толстые были лишены того, чем так дорожит всякая семья — личной жизни. Они жили на виду у всех, под стеклянным колпаком». О том же говорил и Владимир Короленко: «Видно, что семья эта привыкла жить под стеклянным колпаком» — как

провинциальные обитатели в повести Достоевского «Дядюшкин сон».

Осажденный замок, окруженный армией журналистов и просто любопытствующих, вооруженных современной аппаратурой, даже приборами ночного видения, дотошно и детально изучающих бытовые и интимные движения, записывающих не только слова, а и шорохи. Посетители, постоянные, частые, случайные, желанные и докучные, не всегда, но в большинстве своем были скромны, деликатны, почтительны, хотя неизбежно пристрастны и «фантазировать». Многие тут же записывали всё, показавшееся примечательным, или составляли воспоминания по внутренней потребности или просьбам биографов Толстого позднее.

Да и почти все члены большого и всё время увеличивавшегося, по всему миру растекшегося рода Толстых оставили после себя дневники, воспоминания, художественные произведения, созданные на реальной основе, письма, устные свидетельства, фотографии и картины, по которым можно составить многотомную хронику. Не все Толстые избрали в своей литературной деятельности главным героем Правду, однако почти всем им нельзя отказать в стремлении к правде, а Сергей Львович и Татьяна Львовна, старшие дети, были, можно с уверенностью сказать, щепетильно правдивы. Интересно и значительно здесь всё — и достоверные свидетельства, и искаженные, продиктованные недобрыми чувствами, и даже просто легендарные. Удивительно разнообразная смесь судеб, характеров, эмоций, пересекающихся и сталкивающихся суждений.

А в центре всей этой, часто довольно специфической литературы, понятно, Лев Николаевич Толстой — брат, муж, отец, дядя, дедушка, близкий или дальний родственник. К нему прикованы и глаза проходящих и проходящих, друзей, гостей, посетителей. Он — фокус и центр этого мира. И для многих только он и интересен; присутствие других домочадцев даже излишне, мешает лицезреть главное, слушать великого старца. Эта тенденция с наибольшей отчетливостью проявляется в очерке Василия Розанова «Поездка в Ясную Поляну» (гость, скорее, нежеланный, которому в визите хотелось отказать, да как-то неудобно было это сделать — отзывы Софьи Андреевны, брата Сергея да и самого писателя о Розанове и его жене недоброжелательны, ироничны, что вполне понятно: в некоторых статьях Розанов писал о Толстых в недопустимом и развязном тоне). Очерк мастерский; Лев Толстой дан крупным планом — это Альпы, всё остальное — холмы и пригорки, на рассматривание которых жаль тратить время. Пригорок (или холм?) и «жена великого писателя», красивая, умная, властная, уверенно шумящая платьем, тем не менее и она неинтересна,

«когда ожидаешь Толстого». Неинтересны, тяготят и отвлекают и затейные Софьей Андреевной, «как в обществе», речи — ненужные и скучные. Были, правда, и другого рода речи — «более существенные и сложные». Хотел Розанов, но постеснялся посоветовать Толстому отдать дочерей замуж без венчания, «так», тем самым благословить своим авторитетом *абсолютно личную и абсолютно частную форму брака*: ему уже представлялся вокруг старца некий «цветущий сад размножения — счастливый и благородный, идиллический и философский», но не решился: то-то удивил бы Льва Николаевича. Важнее речей были жесты, движения, осанка, одежда, «русская» натура, «из глубоких недр земли, из темных глубин истории». Не человек, а Монблан русской жизни.

Такая тенденция обособления, выделения Толстого из окружающей его среды, присуща многим наблюдениям современников, хотя и не в таком подчеркнутом виде, как в очерке Розанова. Толстой, понятно, был магнитом притяжения для многих и центром семьи, от которой неотделим, многими нитями сросся с ней, — феноменальной, единственной в своем роде семьей. Прекрасно сказала Любовь Гуревич: «Обвеянная мировой славой, необычайно сложная жизнь толстовской семьи, со всеми ее глубочайшими внутренними противоречиями, столкновениями различных характеров и мировоззрений, вспышками человеческих страстей, со всеми ее порядками и беспорядками, с непрерывною смесью разнородных посетителей, — в своем обычном течении представляет какое-то художественное чудо: она кажется такою простою, цельною, милою, даже жизнерадостно-вольною».

«Простота» пленяла и русских, и зарубежных посетителей, европейских и азиатских. Японский писатель Токутоми Рока, автор прекрасных, образных, изящно обрамленных поэтическими узорами воспоминаний, восхищался естественностью и простотою уклада яснополянской жизни: «Пришедшим не отказывают в приеме, не задерживают и тех, кто захочет уйти: жизнь подобна течению воды или дуновению ветра. Всюду непринужденность, радушие и искренность. Отношение к гостям, к слугам, к деревенским жителям, друг к другу — естественное, без притворства и принуждения, любезное и сердечное». Датский литератор и переводчик Гансен, гостивший в Ясной пять дней, чувствовал себя в «этом милом семействе» свободно и непринужденно, как среди давно знакомых людей: «Весь склад и дух семейной жизни в Ясной Поляне отличается взаимной лаской, дружбой и непринужденной простотой». Простота, согласие, поэтический шарм яснополянской жизни, где духовное парение Льва Николаевича мягко оттеняет хозяйственная деятельность Софьи Андреевны (этой вечной Марфы) запомнились и

художнику Нестерову: «Живется здесь просто, а сам Толстой — целая „поэма“. Старость его чудесная. Он хитро устраняет от себя „суету сует“, оставаясь в своих художественно-философских грезах. Ясная Поляна — запущенная усадьба; она держится энергией, заботами графини, самого „мирского“ человека». Леонид Андреев, посетивший Ясную Поляну за полгода до ухода оттуда и смерти писателя, увидел там идиллию и ничего кроме идиллии, многое в словах и обращении Софьи Андреевны с мужем его тронуло «своей искренней любезностью, дало ложную уверенность в том, что последние дни Льва Николаевича проходят в покое и радости».

Андреев далее пишет, защищая реальность увиденной им семейной идиллии: «Не допускаю и мысли, чтобы здесь с чьей-нибудь стороны был сознательный или бессознательный, привычный с посторонними, обман; объясняю же я свою ошибку тем, что было в ихней жизни две правды, и одну из этих правд я и видел. Другой же правды не знает никто, кроме них, и никто теперь не узнает...» Глаза и уши Леонида Андреева устроены были особым, оригинальным образом, они часто преображали и преломляли действительность в сюрреалистические слуховые образы красного смеха, в мистические, гротескные видения, отсеивая то, что не попадало в фокус, противоречило цельности картины.

Впрочем, не всегда же и в последнем трагическом году в Ясной Поляне было мрачно и безысходно, выпадали и тихие, мирные дни; вполне возможно, что как раз в такой безоблачный идиллический день Андреев и посетил Толстых, уехав очарованным и счастливым: «Все люди показались мне прекрасными: такими я вижу их и до сих пор и буду видеть всегда». Короленко, которого удивила и смутила неожиданными откровенностями Софья Андреевна и познакомили с конфликтной ситуацией в семье Чертков, Булгаков и Душан Маковицкий, понятно, таких идиллических впечатлений не испытал, однако и пересказывать то, о чем услышал, принципиально не стал, ограничившись осторожной фразой: «Не секрет, что в семье далеко от единомыслия». Он, как и многие другие, об окружении Толстого, тем более о людях, родственно близких писателю, отзывался почтительно, отодвигая сплетни и слухи в сторону.

Друзья Толстого и те, кто более или менее регулярно посещал и его в Москве и Ясной Поляне, его последователи, естественно, становились и членами семейного кружка Толстых, активно поддерживая отношения, переписываясь с Софьей Андреевной, дочерьми и сыновьями. Лесков, приехав в Ясную, влюбился в семью Толстых, на первых порах восторгался Софьей Андреевной, но потом остыл (она же его всегда недолблювала, а история с Диллоном и активное содействие в появлении среди знакомых

Льва Николаевича Гуревич превратили нерасположенность во вражду), некоторое время был очень близок со Львом Львовичем, переписывался с ним, но затем в нем разочаровался (как и многие другие) и иронически отзывался о литературных опытах «Льва II»; о Татьяне Львовне и Марии Львовне Лесков говорил неизменно тепло и сохранил с ними добрые отношения. Что касается художника Николая Ге, то этот, по определению Льва Николаевича, «удивительный, чистый, нежный, гениальный, старый ребенок, весь по края полный любовью ко всем и ко всему, как те дети, подобно которым нам надо быть, чтобы вступить в царство небесное», безгранично любил всех Толстых и всё толстовское. Любили его и все Толстые, называли «дедушкой», переживали, как тяжкую и невосполнимую утрату, его неожиданную смерть в 1894 году. С Татьяной Львовной Ге связывали и профессиональные интересы: он с удовольствием давал ей устные и письменные советы.

Как-то постепенно так получилось, что самыми близкими в семье Толстому, его последовательницами и незаменимыми помощницами стали дочери, сначала Татьяна и Мария, позднее к ним присоединится Александра, самая младшая, в воспитании и обучении которой принимала участие Татьяна (была еще и четвертая Варя, прожившая всего один час — ее мать не то что накормить, разглядеть не успела). Прекрасные дочери Толстого, самые близкие ему по духу существа во всем мире. Вот их первый групповой литературный психологический портрет, написанный рукой Татьяны. 1894 год, 15 мая. Ясная Поляна. Кузминский дом. «Мы — три сестры — идем за лестницей. Маша добрее меня, а Саша еще добрее. В ней врожденно желание всегда всем сделать приятное: она нищим подает всегда с радостью. Сегодня радовалась тому, что подарила Дуне ленту, которую ей мама дала для куклы, потом сунула Дуничке пряников. И всё это не для того, чтобы себя выставить, а просто потому, что в ней много любви, которую она на всех окружающих распространяет. Маша лечит, ходит на деревню работать, а я пишу этюды, читаю, копаю питомник, менее для того, чтобы у мужиков были яблоки, сколько для физического упражнения, и веду папашину переписку, и то через пень-колоду. Плоха я; все лучше».

Запись, засвидетельствовавшая, что Татьяна Львовна многое унаследовала и многому научилась у отца — психологическое не сходство даже, а сродство поразительное.

Александра пока еще мала, ей всего 11 лет. Лев Николаевич понемногу к ней приглядывается: загадка для всех и для себя самой, но «натура хорошая». И привязывается: «Без нее пусто и без ее смеха не так весело».

Отцу еще не помощница (через десять лет придет и ее время), посетители ее почти не замечают, но всё больше и больше любуются двумя старшими дочерьми. Они всем приятны и славно оттеняют и дополняют своего великого отца. Чехов о них и Толстом сообщает Суворину: «Дочери Толстого очень симпатичны. Они обожают своего отца и веруют в него фанатически. А это значит, что Толстой в самом деле великая нравственная сила, ибо, если бы он был неискренен и небезупречен, то первые стали бы относиться к нему скептически дочери, так как дочери те же воробьи, их на мякине не проведешь...»

А Татьяна Львовна в Чехова влюбилась (она была необыкновенно влюбчива, и отец давно потерял счет увлечениям дочери, впрочем, о Чехове он, кажется, не догадывался), что с присущей ей откровенностью и засвидетельствовала в дневнике: «Вот Чехов — это человек, к которому я могла бы дико привязаться. Мне с первой встречи никогда никто так в душу не проникал». Собралась даже выйти за него замуж, ошарашив таким эксцентричным признанием Софью Андреевну, не колеблясь, отрезавшую: «Это не партия для тебя!..»

Толстой же всё больше привязывался к дочерям не потому только, что они разделяли его взгляды, просто без них жизнь в доме становилась скучна и пуста, периодические «нестроения» с женой тяготили своей бесконечностью и безвыходностью; он остро нуждался в сердечном сочувствии, которое как раз и давало присутствие дочерей; Толстой признавался в письме к ним: «Скучно без вас, милые дочери. Нет-нет и ждешь, что придет какая-нибудь и начнет говорить глупости, а все-таки мне будет приятно и успокоительно». Привязанность со временем стала исключительной, в чем незадолго до смерти Толстой каялся в потаенном (от ревнивых и острых глаз Софьи Андреевны трудно было что-либо спрятать, в конце концов и самые засекреченные вещи отыскивались) «Дневнике для одного себя»: «Чувствую грех своей исключительной привязанности к дочерям».

Дочери отвечали взаимностью, влюбленными и преданными глазами следя за быстрыми и ловкими движениями отца, впитывая его слова, покоряясь его воле, болезненно переживая упреки и язвительные замечания. Татьяна Львовна пишет в воспоминаниях: «Без папа всегда казалось, что жизнь не полна, недоставало чего-то очень нужного для нашего существования, — точно жизнь шла только пока, и начиналась настоящая жизнь только тогда, когда папа опять возвращался». Не выдерживали сравнения с отцом и те, в кого они влюблялись. «Да, это такой соперник моим любвям, которого еще никто не победил!» —

воскликнула однажды Татьяна Львовна, бесконечно вчитываясь в удивительно нежное и доброе письмо отца, умиляясь и плача.

Отец был и «соперником», и другом, с которым можно было обходиться без церемоний, накоротке, по-домашнему. Татьяна Львовна вспоминает: «В ежедневной жизни я мало боялась папа. Я позволяла себе с ним такие шутки, какие мои братья никогда не посмели бы себе позволить. Например, я любила щекотать его под мышками и любила видеть, как он неподражаемо хохотал, открывая свой большой беззубый рот». Мог Толстой вдруг при всех мимоходом дать дочери щелчок в спину, на что она отвечала шутливым восклицанием: «Не драться!»

Татьяна Львовна отличалась ровным и спокойным характером, и отношения ее с другими членами семьи складывались мирно. Она одним своим присутствием создавала дружелюбный климат, часто была палочкой-выручалочкой в семейных конфликтах и раздорах. Ей доверяли все. Заболевшего Льва Львовича в зарубежной поездке сопровождала именно она. Софья Андреевна из всех дочерей предпочтение отдавала Татьяне — друг, с которым была связана вся замужняя жизнь в счастливый период и после него: «И горе, и радость — всему она сочувствовала, всё переживала со мной. Больше ее и нет никого». Ценил чуткое отношение Татьяны Львовны к матери и Толстой, уставший от скандалов, столкновений внутри семьи; пожалуй, только со старшей дочерью он мог говорить в умиротворенном и мягком тоне о маме: «Таня милая так хорошо умеет видеть в ней — мама — всё доброе. Я ей благодарен за это». Внук Толстого Сергей Михайлович высоко оценивал тактичную и мягкую тетю Таню, которая «одна с ее умом и тактом умела примирить родителей, жалея их обоих». Толстой о размолвках с Софьей Андреевной и ее болезни с детьми говорил очень редко, в основном только с Таней, доверяя ее уму и сердцу. Она это хорошо понимала и чувствовала: «Со мной, мне кажется, ему легче, чем с кем-либо, говорить о ней, потому что он знает, что я ее не осуждаю, а жалею».

Младшая сестра Александра вспоминала о сестре, которой, по существу, была доверена опека над ней, заменившей мать, с первого крика невзлюбившую так некстати появившегося на свет ребенка, с благодарной теплотой и восхищением: «Таня не была красива, но она была привлекательна. Чудесный цвет лица, блестящие карие глаза, короткий, точно обрезанный, задорный нос, выющиеся каштановые волосы, тоненькая, грациозная фигура — всё это гармонировало с внутренней ее сущностью: талантливостью, остроумием, жизнерадостностью. Таня была одним из тех существ, которых Господь наградил и талантливостью, и

умом, и привлекательной, не банальной внешностью. Она нравилась и старым и молодым. В светском обществе она пленяла всех своим тактом, умением себя держать, остроумием и веселостью; простых людей она привлекала добротой и простотой обращения». Такой оставалась Татьяна Львовна и в старости — моложавая, легкая, энергичная, светящаяся радостью жизни.

Татьяна Львовна увлекалась занятиями живописью, находясь в самых теплых отношениях с художниками и скульпторами, постоянно гостившими в Ясной Поляне и Хамовниках (главным образом их, естественно, привлекал Толстой, которого беспрерывно рисовали, ваяли, фотографировали), особенно с Николаем Ге и Ильей Репиным; ее мастерская превратилась в своего рода художественный салон, где собирались художники и скульпторы днем, а вечером музицировали: Ясная Поляна слышала многих выдающихся музыкантов.

Толстой внимательно следил за художественными занятиями дочери, доверял ее вкусу и оценкам, включил отрывок из дневника дочери (о посещении трех парижских выставок) в трактат «Что такое искусство?» — эстетические взгляды Татьяны Львовны (равно и политические, и религиозные) почти во всем совпадали с отцовскими, что неудивительно, он активно участвовал в их формировании. Деятельное участие принимала дочь в литературных и благотворительных делах отца.

Напряженно, с ревнивым чувством Толстой относился ко всем увлечениям Татьяны (а позднее и Марии), требуя полной открытости и откровенности, скрупулезно изучая дневники и письма, выражая неудовольствие легкомысленным поведением дочери, выражавшимся в расположенности к невинному флирту и танцам. Кажется, он эгоистически желал, чтобы дочери всегда принадлежали ему и только ему, отгоняя мысль о будущих мужьях и детях. И беседы на такие темы вел с Татьяной презанятные; когда ей уже вот-вот должно было исполниться тридцать лет, Толстой вдруг сказал дочери, что ему жаль, что она не испытала радостей замужества и материнства и что ему хотелось бы дать ей «пососать этот леденец». Очень уж пренебрежительное отношение к «женским слабостям» — совсем не о «леденце» мечтала Татьяна. Тогда же, подсчитав вместе с дочерью всех ее «женихов», отец порадовался тому, что она «так благополучно прошла мимо их всех», пожелав и в будущем столь же хороших исходов.

Толстой тяжело переживал увлечение Татьяны одним из его последователей, красавцем Евгением Поповым. Он имел с Женей какой-то резкий и неприятный разговор. А, ознакомившись с перепиской

влюбленных, увидев их однажды вместе, был до глубины души возмущен (и Софья Андреевна тут была с мужем солидарна), испытал острое чувство стыда, жалости и обиды и послал дочери что-то вроде ультиматума: «Тебе не может не быть стыдно твоих писем и обращения твоего к нему. А когда я вспомню, какую я видел тебя подле него в Долгом переулке, у меня вся кровь приливает к сердцу от странного смешанного чувства жалости к тебе, стыда за тебя и за себя. Это какое-то непонятное, дьявольское наваждение... Тебе... я советую сжечь все дневники и письма, посмотреть на этот эпизод как на образец того, как хитро может поймать нас дьявол, и быть вперед настороже против него».

Толстой, конечно, человек своей эпохи и своего сословия. К идеям женской эмансипации относился, скорее, насмешливо, чем нейтрально. С точки зрения современных феминисток, ужасный ретроград и мужской шовинист. Но даже если всерьез принять все эти очень узкие и какие-то бесполое суждения и заклеить создателя «Анны Карениной» и «Крейцеровой сонаты», все равно гнев, горечь, отчаяние Толстого кажутся непонятными и чрезмерными. Уязвлено не просто отцовское чувство. Нанесено оскорбление роду. С другими может твориться всё, что угодно, даже это ужасное, безнравственное питье чая втроем, но только не с дочерью Льва Николаевича Толстого. Он никак не может успокоиться, днем и ночью переживая позорное «падение». Вновь пишет дочери: «Сейчас час ночи... лежу и думаю и более всё об одном: какое-то странное чувство позора, осквернения самого дорогого. И всё ищу, отчего такое чувство. Думаю, что оттого, что вы, обе дочери, как бы признали меня своим и себя моими, так что я особенно живо чувствую ответственность за вас — не скажу перед Богом только, а перед людьми и перед Богом. Кроме того, я так высоко привык ставить вообще женщин, и особенно вас, и особенно тебя, что это ужасное падение совсем ошеломило меня. Как бывает в несчастях: вспоминаю и содрогаюсь и думаю: да не может быть. Что-нибудь не то. И потом опять вспоминаю, что знаю, вижу доказательства».

«Дьявол», несколько не убоявшись советов Толстого, не дремал, все заговоры против него рушились, и неприятные сюрпризы следовали один за другим. Вдруг состоялась свадьба Марии Львовны и Николая Леонидовича (Колаши) Оболенского, крестника Толстого, сына дочери Марии Николаевны, — брак, так сказать, внутриродовой и мало кого обрадовавший. Колаша заканчивал Московский университет, был малый «приятный», и не больше, Толстой относился к нему более или менее доброжелательно, но с несомненной иронией, а Софья Андреевна с нескрываемым раздражением. О браке Маши Толстой отозвался спокойно,

но с разочарованием; жалко было терять дочь, записал в июльском дневнике 1897 года: «Маша вышла замуж, и жалко ее, как жалко высоких кровей лошадь, на которой стали возить воду. Воду она не везет, а ее изорвали и сделали негодной. Что будет. Не могу себе представить. Что-то уродливое, неестественное, как из детей пирожки делать». Дочери Толстой ничего подобного не сказал, видно было, что жалеет ее и грустит, но своих мыслей не высказывал, советов не давал, отстранялся: дочери показалось, что он любит Николая и верит в него. Кажется, Мария Львовна выдает желаемое за действительное или сознательно позволяет себе обмануться мягким тоном отца. В браке он видел «падение» и совершенно не собирался это мнение менять, добавляя довольно двусмысленно в письме к дочери, что радуется тому, что ей жить будет легче, «спустив свои идеалы и на время соединив свои идеалы с своими низшими стремлениями (я разумею детей)». Грустно читать эти нетерпимые, сектантские, невольно высокомерные слова Толстого, адресованные любимой дочери.

Толстой усилием воли сдержал готовые вырваться наружу чувства и политься слезы. Для него это был болезненный и тяжелый удар. Настоящий переворот в жизни. Маша была самым дорогим и близким Толстому человеком в семье. Еще недавно, в начале года, он изливал ей душу в письме с пометой «Читай одна», которое все же не решился послать: «Из всех семейных ты одна... вполне понимаешь, чувствуешь меня. Жизнь, окружающая меня и в которой я по какой-то или необходимости, или слабости участвую своим присутствием, вся эта развратная, отвратительная жизнь с отсутствием... каких-либо, кроме самых грубых животных интересов — нарядов, сладкого жранья, всякого рода игры и швырянья под ноги чужих трудов в виде денег, и это даже без доброты, а, напротив, с осуждением, озлоблением и готовностью раздражения на всё, что против шерсти, до такой степени становится противна мне, что я задыхаюсь в ней и хочется кричать, плакать, и знаешь, что всё это бесполезно и что никто не то что не поймет, но даже не обратит внимания на твои чувства, — постарается не понять их, да и без старания не поймет их, как не понимает их лошадь... Ужасно гадко, и гадко то, что я не могу преодолеть себя и не страдать и не могу предпринять что-нибудь, чтобы порвать это ложное положение и последние года, месяцы или дни своей старости прожить спокойно и не постыдно, как я живу теперь». И вот теперь это близкое и дорогое существо уходит из семьи к «приятному», но далекому, чуждому Колаше, по иронии судьбы его «крестнику», что напомнило Толстому то время, когда он принимал «участие в одном из самых жестоких и грубых обманов, которые совершаются над людьми и который называется

крещением младенцев».

Не успокоилась после болезненной как для нее, так и для отца истории с Женей Поповым и Татьяна Львовна. Аргументы отца, «Крейцерова соната» — всё это, возможно, и разумно, но еще сильнее был другой голос, иррационально восстававший против духовных преимуществ celibата, да и пример младшей сестры вдохновлял на самые неразумные поступки. Хотелось иметь мужа, рожать, воспитывать детей, иметь свою семью. Когда Тане исполнилось восемь лет и ее отец еще не был таким ригористичным моралистом, он, полушутя, писал Александрин о дочке: «Лучшее удовольствие ее возиться с маленькими. Очевидно, что она находит физическое наслаждение в том, чтобы держать, трогать маленькое тело. Ее мечта теперь сознательная — иметь детей». Мечта эта постепенно уплывала, и уже, после того как незаметно был преодолен тридцатилетний рубеж, ясно вырисовывалась участь старой девы, горьким утешением которой остались бы воспоминания о многочисленных женихах. Импульсивная, энергичная, умная Татьяна Львовна решила иначе. Когда-то, еще в семнадцатилетнем возрасте она была влюблена в орловского помещика Михаила Сергеевича Сухотина, старинного друга толстовской семьи, женатого, отца нескольких детей. Ни о каком браке, понятно, и речи быть не могло. Семейство Сухотина возросло до шести человек. Он овдовел. Формальные препятствия для брака не существовали, а чувство к доброму и чуткому соседу сохранилось. Татьяна Львовна и решилась связать свою жизнь с ним — шаг смелый и вызвавший бурю чувств в сердцах родителей. Пятидесятилетний вдовец с шестью детьми кого угодно мог ввергнуть в отчаяние. Софья Андреевна вместе с дочерью Марией оплакивают «безумную, слепую любовь Тани». Мать просто в отчаянии и всё ей видится в мрачном свете: дочь от «спокойной жизни» (такой ли уж спокойной) идет к гибели; болезненная, плохая любовь к старому и слабому и «недостойному ее человеку».

Толстой пытается, не очень надеясь на успех, отговорить Татьяну от пагубного шага, недоумевая, зачем ей так приспичило *aller dans cette galère*. Отвергает всякие ссылки на любовь и влюбленье, прибегая к медицинским сопоставлениям и призывая «деморфинизироваться»: «Если бы я был девушка, ни за что бы не выходил замуж. На счет же влюбленья я бы, зная, что это такое, то есть совсем не прекрасное, возвышенное, поэтическое, а очень нехорошее и, главное, болезненное чувство, не отворял бы ворот этому чувству и так же осторожно, серьезно относился бы к опасности заразиться этой болезнью, как мы старательно оберегаемся от гораздо менее опасных болезней: дифтерита, тифа, скарлатины».

Толстому совершенно ясно, что дочь находится в состоянии «совершенной одержимости и невменяемости». Приблизительно в таком, в каком некогда пребывал сильно подвыпивший у цыган брат Николенька, желавший непременно пуститься в пляс и которого никак не могли отговорить от скверного лomanья брат Сергей и один приятель: «Долго они упрашивали его, но когда увидали, что он был настолько пьян, что нельзя было упросить его воздержаться, Сережа только сказал убитым грустным голосом: пляши и, вздохнув, опустил голову, чтобы не видеть того унижения и безобразия, которое пьяному казалось... прекрасным, веселым и долженствующим быть всем приятным».

Те же слова брата Сергея, прозвучавшие как отцовское благословение, переадресовывает Толстой дочери: «Пляши! Больше ничего не могу сказать, если это неизбежно». Исторические семейные предания-анекдоты не помогли, точнее, они только на время отсрочили брак: 1 декабря 1897 года Татьяна Львовна отказала Сухотину. А почти через два года Лев Николаевич в Москве сопровождал дочь в церковь, где Татьяна венчалась с Михаилом Сергеевичем. В дневнике он, очень раздраженный, записал: «Таня уехала зачем-то с Сухотиным. Жалко и оскорбительно. Я 70 лет всё спускаю и спускаю мое мнение о женщинах, и всё еще и еще надо спускать». Свадьба была более чем скромной и чем-то даже напоминала похороны; в дневниках Софьи Андреевны, и всегда-то наклонной к пессимизму и постоянно буруеваемой мрачными предчувствиями, это событие окрасилось в траурные тона и неизменно соседствует с воспоминаниями о смерти Ванечки:

«14 ноября вышла замуж наша Таня за Михаила Сергеевича Сухотина. Надо было этого ожидать. Так и чувствовалось, что она всё исчерпала и *отжила* свою девичью жизнь.

Событие это вызвало в нас, родителях, такую сердечную боль, какой мы не испытывали со смерти Ванечки. Всё наружное спокойствие Льва Николаевича исчезло; прощаясь с Таней, когда она, сама измученная и огорченная, в простом сереньком платье и шляпе, пошла наверх, перед тем как ей идти в церковь, — Лев Николаевич так рыдал, как будто прощался со всем, что у него было самого дорогого в жизни.

Мы с ним в церковь не пошли, но и вместе не могли быть. Проводив Таню, я пошла в ее опустевшую комнатку и так рыдала, пришла в такое отчаяние, в каком не была со смерти Ванечки».

Кассандры, к счастью, из Софьи Андреевны не получилось. Семейная жизнь Сухотиных довольно скоро обустроилась, Татьяна Львовна нашла и верный тон с детьми Михаила Сергеевича, а тот через некоторое время стал

постоянным шахматным партнером Толстого. Подарены были в знак особого расположения Сухотину сапоги, сшитые писателем, но посредственным сапожником: носить их не было никакой возможности, хранились как ценный сувенир. Одно омрачало жизнь супругов — череда мертворожденных детей.

Татьяна Львовна безутешно горевала, оплакивая умиравших один за другим детей. Ее отчаяние не знало границ. Переживал, получая печальные известия, и Лев Николаевич; Софья Андреевна в ставшей уже обычной манере открывает дневник 1903 года так: «Печально встреченный Новый год. Вчера от Тани письмо, что младенец опять перестал в ней жить и она в страшном отчаянии... Л. Н. первый прочел ее письмо, и когда я вошла к нему утром, он сказал мне: „Ты знаешь, у Тани всё кончено“, и губа у него затряслась, и он всхлипнул, и исхудавшее, болезненное лицо его выразило такую глубокую печаль».

Когда уже никто ничего хорошего не ожидал и Татьяна Львовна достигла уже сорокалетнего возраста, произошло чудо; природа сжалилась над ней и одарила дочкой — «Татьяной Татьяновной», ставшей всеобщей любимицей и однажды сильно озадачившей дедушку, отказавшись слушать продолжение забавной истории о белочке, придуманной Толстым: неинтересно, да и рассказывает плохо. Толстой — писатель, педагог, рассказчик — был явно уязвлен. «Никто и никогда не говорил мне ничего подобного», — еле пробормотал он. И потом долго смеялся.

Татьяна Львовна прожила долгую и счастливую жизнь, оставив после себя книги и портреты, обширную переписку с братьями и другими родственниками. «Татьяна Татьяновна» вышла замуж за сына известного итальянского журналиста Луиджи Альбертини и была счастлива в браке. Наступила благополучная жизнь и для Татьяны Львовны: райский итальянский период. Там она и умерла в возрасте 86 лет, окруженная заботой и вниманием близких, особенно дочери, навещавшей мать на ее квартире в Риме каждый день. Дочь и, естественно, внуки, выросшие на итальянской почве, к ней и приросли. А ее корни, как Татьяна Львовна писала русскому корреспонденту, всё продолжали «болтаться», не прирастая к чужой почве, несмотря на то, что она здесь, в Италии, многих любила и была счастлива. Бережно хранила память об отце, превратив свою небольшую римскую квартиру в музей Толстого. Истинная дочь Толстого достойно встретила смерть, заключив с ней что-то вроде дружеского соглашения. Незадолго до кончины сказала своему племяннику: «Знаешь, я не боюсь смерти. Весной я видела ее очень близко и мы даже пожали друг другу руки». Ее похоронили недалеко от могил

великих английских поэтов Китса и Шедли.

Разница в возрасте между Татьяной и Марией была немалой — семь лет, но она почему-то не ощущается. В сознании современников и потомков это две преданные спутницы отца, готовые на любые подвиги и труды по первому его слову.

Зимой 1895 года Толстой побывал на представлении «Короля Лира», в очередной раз возмущившись «кривляньями» и «рутиной» в трагедии Шекспира и топорной игрой актеров. Некоторое время он то и дело возвращался к трагедии, и как-то, между прочим, почувствовав аппетит, шутя обратился к дочерям: «Регана! Гонерилья! А не будет ли старому отцу овсянки сегодня?» Трагедию Шекспира вспомнит Лев Толстой и в письме к брату Сергею в связи со случившимся чрезвычайным событием в его семье, точнее даже будет сказать, несколькими, огорчившими братьев, не говоря уже о жене брата Марии Михайловне, пренеприятными событиями: «Ты, кажется, несешь свое лирство (Король Лир) мужественно. Помогай тебе Бог».

Сергей Николаевич был, как шекспировский король и брат Лев, отцом трех дочерей — Веры, Варвары и Марии. Близости между суровым, замкнутым, чудаковатым, нетерпимым отцом, мало занимавшимся воспитанием, и дочерьми не было. Гораздо больше они были расположены к великому дяде, убеждения которого, переводя их на свой чувственный девичий язык, во многом разделяли и стремились воплотить в жизнь. Как и дочери Льва Николаевича, они обостренно восприняли «Крейцерову сонату»: Сергею Львовичу запомнилась комическая фраза Марии Сергеевны: «Voilà nous sommes un nid de vieilles filles et nos enfants seront aussi un nid de vieilles filles. Comme c'est triste!» Предсказание появления у старых дев дочерей всех развеселило. Ясно было, что от идеала целомудрия дочери дяди Сережи были очень далеки, что вскоре и доказали на деле. Первая — маленькая, почти карлица, но горячая и с норовом Варвара. Она влюбилась в пироговского крестьянина Владимира Васильева, работавшего в имении отца помощником садовника. Варвара усердно занималась его умственным развитием, приучив к чтению книг. Льву Толстому симпатичный и неглупый юноша нравился. Он любил с ним беседовать во время пилки дров и заявлял, что Владимир много лучше молодых людей высшего круга. Характерное для Толстого сравнение, которое, он надеялся, не будет понято слишком буквально. Ободренная его словами Варя, не решаясь сразу объявить о своем решении выйти замуж за крестьянина, обратилась сперва ко Льву Николаевичу и получила совершенно неожиданный резкий отпор: «Лучше выходи за пьяного офицера, чем за

него». Для Толстого это была «беда», почти такая же, как и у него: замужество Марии Львовны. Он сочувствует «лирству» брата и сам себя ощущает почти в таком же положении.

Варвара Сергеевна не сдалась, показав удивительно сильный и строптивый характер, устроив сцену отцу, которому кричала, что он испортил ей жизнь и она его ненавидит, уехала из Пирогова в Сызрань, где к ней присоединилась любимая дочь Сергея Николаевича Вера, чувствовавшая вину перед сестрой и помогавшая ей в покупке земель, о чем с болью и грустью писал «лирствующий» отец брату: «Но что тут делать, и винить некого, виноват и я, что это допустил и не видал ранее, но что было делать, могло ли во сне присниться что-нибудь подобное. Они думают в Сызрани и на этой земле спрятаться, но, конечно, этого нельзя, и лучше бы было всё это проделывать здесь. Чем всё это кончится? Кажется, Варя беременна. И про Веру иногда приходят страшные мысли, они правды всей не говорят». Варвара еще приедет с грудной девочкой в Пирогово повидаться с родителями, покажется отцу и жалкой и хорошей, а главное, решительной и сильной, не думающей изменять свою простую и трудовую жизнь, упрямо стремящейся доказать всем, что «надо быть с народом на равной ноге». Лев Николаевич смущен; казалось бы, он должен быть доволен жизнью племянницы, живущей согласно его же учению, а он в смятении ищет доводы, оправдывающие его позицию, не очень убедительно и несколько косноязычно излагая ее в письме к продолжающему стоически нести свое «лирство» брату: «Я думаю, что Варя права, что если люди равны и братья, то нет никакой разницы выйти замуж за мужика Владимира или за саксонского принца. Даже надо радоваться случаю показать, что поступаешь так, как думаешь. По рассуждению это выходит так, но по душе, по чувству всего существа — это не так, и я возмущен такими доказательствами равенства. И я думаю, что тут чувства вернее рассудка. Если бы это делалось только во имя признания равенства, тогда бы хорошо, а то мы знаем, что тут есть другое — и очень сильное, и эгоистическое, и не имеющее ничего общего с христианством. И это слияние двух совершенно различных мотивов и выдавание одного за другое, я думаю, неправильно». При всей туманности аргументации, получается в итоге, что предпочтение отдано чувствам и — родственным чувствам. Потому-то, возможно, Лев Толстой и добавляет, что он тут «не судья», а, вспомнив неприятный разговор с племянницей, которая была обижена его горячими и оскорбительно резкими словами, и, кажется, даже возненавидела его, закрывает опасную тему.

Не осталась в старых девах и Мария. Она вышла замуж за жившего по

соседству помещика Сергея Васильевича Бибикова, человека доброго и мягкого, но незнатного и мало образованного. С точки зрения Сергея Николаевича, это был нежелательный брак, явный мезальянс. Он устроил будущему зятю, о котором прекрасно был осведомлен, унижительный допрос, наслаждаясь тем, что тот на все вопросы (вы получили высшее образование? вы где-нибудь служите? вы говорите по-французски? у вас есть самостоятельное состояние?) вынужден был отвечать отрицательно. И дал в конце концов согласие, возможно, посоветовавшись с братом — по сравнению с крестьянином Владимиром добродушный, хотя и бедный, простоватый Бибиков мог считаться удачной партией. «Лирства», во всяком случае, здесь не было.

Справедливы оказались и опасения Сергея Николаевича о любимице Вере, часто болеющей и что-то скрывающей. Вера любила кумыс, который, как и Толстой, пила ради здоровья (у нее были слабые легкие и частое кровотечение), и верховую езду — здесь с ней могла соперничать только Татьяна Львовна (прекрасной наездницей позднее стала и Александра Львовна). Долгие верховые прогулки и сблизили Веру с молодым башкиром Абдурашидом, понравившимся всем барышням вежливостью и приятной, располагающей наружностью, ловкостью и сообразительностью. К величайшему огорчению отца, Вера уехала из дома, а вернулась после разрешения с младенцем на руках. Такое возвращение блудной дочери можно было сравнить лишь со стихийным бедствием. Младенца удалили подальше от глаз разгневанного Сергея Николаевича, который долго не желал его не то чтобы признать, но даже видеть.

Получив от Марии Львовны сообщение о возвращении Веры с ребенком, Толстой послал брату сочувственное и тщательно продуманное письмо. Случившееся вызвало в нем «ужасное чувство, доходящее до физического страдания», повинился в том, что невольно его мысли и взгляды явились «внешней», «косвенной причиной» случившегося «этого страшного горя», выразил одновременно уверенность, что «несчастье с излишком вознаграждается», что хорошо уж одно то, что Вера «вернулась не только физически, но и духовно». Сергей Николаевич отверг покаянные мотивы в письме брата, справедливо заметив, что «косвенно может быть всякий всему причиной», и расценил свершившееся как наказание за гордость — «считал, что мои дети не могут ничего такого сделать... высоко их ставил — как, мои дети?!», но его жена Мария Михайловна ко Льву Николаевичу резко переменилась, возлагая на него вину за все несчастья дочерей.

Было еще одно лицо во всей этой драматической истории — ребенок

Веры, по отношению к которому вновь чувства схлестнулись с рассудком, на этот раз — в письме брату — победа осталась на стороне рассудка: «Когда я был очень плох и потому всё думал духовно, думая о тебе, твоём положении, мне стало ясно, что Верочкин мальчик ни в чём не виноват, появившись на свет, и имеет такое же право на существование и на уважение и любовь других людей, какое имеем мы. И что поэтому отношение наше к нему не должно ничем отличаться от отношения нашего ко всякому другому ребёнку. Это я чувствовал ясно, хотелось передать тебе это чувство. Но рядом с этим — не могу скрыть этого — поднималось во мне, при воспоминании о том, как он явился на свет (и я не мог не вспоминать этого), такое чувство оскорбления, горечи, возмущения, что это чувство заглушило или, по крайней мере, очень ослабило первое рассуждение. Но всё-таки думаю, что первое должно взять верх, потому что первое есть дело настоящего (present), а возмущение и оскорбление — дело прошедшего, которое должно ослабевать и, по мере полноты нашего прощения (остави нам долги наши так же, как и мы оставляем должникам нашим), должно и совсем пройти, особенно если прошедшее будет совершенно прошедшим».

Похоже, оскорбление, возмущение, горечь, обида долгое время преобладали в душе Толстого, более всего сочувствовавшего во всех этих запутанных и драматических историях брату, его «лирству», и лишь гораздо позже заговорившего о полном прощении. С горькой судьбой короля Лира, разумеется, страдания брата Сергея несопоставимы, ещё менее дочери брата похожи на Регану и Гонерилью, как, впрочем, и на Корделию. Да и трагического во всех этих матримониальных историях не было: голос природы, горячая кровь, гордыня, свойственная всем Толстым, плюс веяния времени и влияние проповеди Льва Толстого, самого близкого родственника, на «оступившихся» девушек. Показательна здесь, пожалуй, поразительная братская и отцовская солидарность, родовая гордыня, оказавшаяся превыше всего. Или, скажем несколько мягче, возобладавшая над доводами рассудка и Другими, христианскими, гуманными чувствами.

Ещё меньше на коварных, жестоких и неблагодарных дочерей Лира были похожи Татьяна Львовна и Мария Львовна (третья дочь Александра станет верной спутницей и помощницей отца позднее, в самый последний период жизни Толстого, старшие сестры относились к ней покровительственно и снисходительно), которые, разумеется, принесли проголодавшемуся отцу овсянку, готовые выполнить любую другую, гораздо более сложную просьбу, безгранично любившие, даже боготворившие его. Умные, стремительные, чуткие, талантливые и веселые

помощницы, без их участливого и тактичного присутствия жизнь в семье была бы совсем другой, напряженной, а часто и невыносимой. Ни о каком «лирстве», даже в очень мягком варианте, здесь не могло быть и речи, к тому же Толстой, неплохо знакомый с повадками и уловками «дьявола», требовал от дочерей полной открытости и весьма эффективно осуществлял духовное руководство, хотя все-таки переоценил силу своего влияния, не смог их удержать около себя. Дочери пожелали «плясать». Что ж, Толстой не крепостник и ретроград, не какой-нибудь самодур Троекуров, не в его привычках приказывать, да и вряд ли его приказов и окриков послушались, может быть, так и лучше, может быть, всё и устроится к лучшему и у Маши, и у Тани: «Таня совсем собирается замуж. Жаль ее, а, может быть, так надо для ее души». Татьяна и Мария «ушли», сохранив связь с Ясной Поляной и домом в Хамовниках, особенно с отцом, духовными дочерьми которого они оставались всегда.

Они сильно любили отца, до ссор, до ревности, до горьких обид. Соперничали, ревниво следя за шагами друг друга, одновременно увлеченные Евгением Поповым, Павлом Бирюковым, Петей Раевским, другими интересными молодыми людьми, главным образом из окружения Толстого, который совершенно не одобрял эти «романы». Правдивый дневник Татьяны Львовны весьма живо, эмоционально освещает соперничество между сестрами — важный элемент хроники семьи Толстых. Татьяна Львовна нередко пишет о зависти к сестре, о ревности ко всем проявлениям любви к ней отца. «Странное у меня чувство ревности к Маше: вчера папа написал ей, что, как всегда, она ему недостает, и у меня на несколько часов была тяжесть на душе. Сегодня она пишет, что написала несколько писем, и это почему-то мне было неприятно. Подумала: какие у нее с кем отношения. Впрочем, не могу даже объяснить, что подумала, но было нехорошо. Я виню ее в этом. Она всегда старается во всем — это иногда даже смешно в мелочах — забежать вперед меня и дать мне это почувствовать». Соперничество и чувство ревности породили и подозрительность, побуждающую и в самых простых поступках видеть стремление хоть на шаг опередить, забежать вперед, «подлизаться», совершить что-нибудь неразумное и странное, даже во вред себе, только для того, чтобы обратить на себя внимание: «Мне стало завидно, что папа так нежен и заботлив к Маше (она нездорова), и я почувствовала себя одинокой и нелюбимой и мне даже захотелось пойти и простудиться, чтобы испытать папашину нежность ко мне». Радуетя приезду сестры и осуждает себя за это «эгоистическое чувство, что без нее папа» с ней ласковее, потому что, сравнивая с Машей, видит, что та «больше живет его

жизнью, больше для него делает и более в него верит». Не слишком хорошее чувство ревность; Татьяна Львовна пытается с ним бороться, но не очень успешно, в чем и признается своему постоянному собеседнику — дневнику: «Страшнее всего мне Машу видеть: она не сумеет пощадить мою ревность к папа, Жене и другим, и скорее напротив, возбудит ее своими рассказами. Какое это мерзкое чувство. Откуда оно у меня родилось? И как мне избавиться от него».

Испытывала Татьяна Львовна по отношению к младшей сестре и еще более сильные и неблагоприятные чувства, о чем свидетельствуют некоторые чистосердечные признания в дневнике, которые она и не подумала позднее удалить или смягчить (хорошо усвоила уроки отца, требовавшего абсолютной правдивости и откровенности, строгой фиксации ошибок и грехов): «Мне противно ее животное возбужденное состояние, и я сегодня это несколько раз, к сожалению, выразила». Показалось, что Маша слишком «кривляется» с Пошей Бирюковым, и она в недобром порыве наговаривает на нее всякое, больше такое, что мерещится: «Всякий мужчина так ее возбуждает, что просто смотреть неприятно... Хотя бы она вышла замуж поскорее, а то это киданье на шею каждому, кто возле нее поживет, — это безобразие. Как это смотреть людям в глаза, когда так испачкана, со столькими мужчинами была на „ты“, целовалась. Всякий раз, как я об этом думаю, во мне поднимается возмущение и стыд за нее и досада за то, что ей не стыдно». Узнав из одного письма, что Евгений Попов подолгу разговаривает с Машей, она испытывает смешанное со страхом и болью озлобление: «И такая злоба на Машу поднимается, что распирает всё сердце, и больно, больно нестерпимо».

Рассказала Татьяна Львовна и о совершенном ею «грехе», в котором она несколько не раскаивается, даже радуется, что так случилось. Роясь в комодах, она обнаружила дневник Маши и прочла его, почерпнув из него много драгоценных сведений о сестре (мы, к сожалению, сделать этого не можем — Мария Львовна дневник уничтожила). Поступок некрасивый, что, конечно, понимала Татьяна Львовна, мучившаяся сомнениями: «Не знаю теперь, говорить ли с ней об этом дневнике? Это было бы честнее, но политичнее ли?» Должно быть, решила, что лучше, «политичнее» не говорить: «Если я изменю с ней во многом свой образ действия и вместе с тем скажу ей, что читала ее дневник, она поймет, почему я с ней — иначе, и это не будет так действительно, как если я, ничего не говоря, понемногу буду менять свой тон с ней». В семье Толстых, простоте и естественности отношений в которой так удивлялись современники, всё было совсем не так уж просто — клубок противоречивых чувств, утонченная и разветвленная

рефлексия, множество тонких и скрытых от посторонних глаз нитей, микроконфликтов, противоборств (пожалуй, самой открытой и прямолинейной в доме была Софья Андреевна). Хорошо, что сохранились дневники (не все, правда, вели дневники, и не все дневники сохранились), они дают возможность посмотреть на людей и события с разных сторон. Так и здесь соприкоснулись, столкнулись два дневника, два характера, две самые близкие Толстому личности. Не в равном поединке, положим, а в отраженном зеркале видения мира Татьяной Львовной, неизбежно преломляющем всё в определенном свете. Дневник сестры позволяет Татьяне Львовне сделать очень серьезные и — что особенно любопытно и ценно — разные выводы. Маша, с одной стороны, «жалкая девочка», ужасное несчастье иметь такую «лживую, хитрую, и вместе с тем чувственную и фальшиво-восторженную натуру», «страшно невежественна», «бестолкова и непонятлива». С другой — удивительно в некоторых отношениях развита, «очень чутка, от нее не ускользнет ни один жест, ни одна интонация», «всё заметит и оценит», «характер чудный», спасает ее критическое отношение к себе и «страшные усилия для исправления своей натуры». С явным удовольствием пишет о своем влиянии на сестру, впрочем, трезво и скромно оценивая себя и свои способности: «Всем в глаза бросается ее слепое подражание мне, хотя она совсем не глупее меня. А скорее напротив, и верит мне и любит меня очень. Это и по дневнику, и в жизни на каждом шагу видно. Это ей делает честь, потому что я с ней дурно обращаюсь и, главное, легкомысленно».

Все современники единодушно пишут о любви Марии Львовны к отцу и натянутых отношениях с матерью, определившей ей роль Сандрильоны. Она рано, пытливо приглядываясь к отношениям родителей и чутко прислушиваясь к словам отца, вчитываясь в произведения Толстого, безоговорочно стала на его сторону, как и несколько позднее Александра Львовна, которой отчетливо запомнилась любимая сестра (она и по возрасту, и по мыслям была ей ближе Татьяны): «С матерью у нее не было близких отношений. Она обожала отца и жадно впитывала в себя его слова. Она росла, взрослела, развивалась под влиянием его взглядов... горела самоотречением и жертвенностью, убивала в себе плоть, спала на досках, покрытых тонким войлоком, вегетарианствовала и работала с утра до вечера то в поле, то уча детей, то помогая больным, несчастным, посещая крестьянские семьи и всюду внося утешение и радость. В деревне все ее знали, часто звали ее „Машей“ и говорили ей „ты“. А вечерами Маша сидела и своим мелким, аккуратным почерком переписывала рукописи отца».

Ничего аскетичного и экзальтированного в Марии Львовне не было. Это была натура страстная и увлекающаяся. Поклонников у нее было не меньше, чем у Татьяны Львовны, ревность старшей сестры имела реальную почву; Лев Николаевич, прибегая к самым различным приемам, то и дело предпринимал огромные усилия, отбиваясь от всегда нежеланных женихов — поразительно, как долго ему удавалось это, если говорить прямо, трудное и эгоистическое дело. Он не только старался убедить дочь, но и вступал в переписку и душевные беседы с поклонниками. Отговаривал Бирюкова, которого не только ценил, но и любил (Софья Андреевна тут, как и в других случаях, была настроена еще более непримиримо, чем Лев Николаевич). Имел долгий разговор с дочерью о Петре Раевском, продолжив его в письме, где тоном человека, владеющего истиной, еще раз повторял: «Всё думал о тебе. И так мне ясно, что то, что тебя трогает и огорчает, не должно трогать и огорчать. Неужели свет сошелся клином и на этом клину только один человек. Мне-то со стороны видно, что этот один человек заслоняет от тебя мир, и, чем скорее он устранился, тем тебе светлее и лучше». К письму приложил рисунок: маленький человеческий силуэт — видимо, символическое изображение Пети Раевского — посреди большой равнины. Убедил. Затем на сцене появился учитель Зандер, вдруг, ко всеобщему удивлению, попросивший руки Маши; та сначала ему отказала, но вскоре, тронутая глубиной чувств молодого человека, передумала. Этого брака никто из Толстых не одобрял, и больше всех Лев Толстой, пославший забывшемуся учителю не то отповедь, не то проповедь, напоминающую приложение к «Крейцеровой сонате»: «Вы знаете мои взгляды на брак вообще: лучше не жениться, чем жениться. Жениться можно только в том случае, когда есть полное согласие взглядов или непреодолимая страсть. Здесь же нет ни того, ни другого: взгляды, хотя вам и кажется, что они одинаковы — совершенно различны, как они и были различны месяц тому назад; а страсти, по крайней мере со стороны Маши, я знаю, что нет, а есть самое странное, быстрое, случайное, ничем не оправданное увлечение». Тогда же Толстой написал совершенно невозможное по содержанию и тону письмо Маше, призывая «вынуть эту занозу», а когда Татьяна Львовна отсоветовала его посылать, заменил другим, гораздо более дипломатичным, вложив заодно в конверт и копию письма Зандеру. И почти проиграл: Маша проявила упорство, готова была пойти против воли отца и мнения всей остальной семьи и только через несколько месяцев успокоилась и примирилась с отцом. До поры до времени успокоилась. С Колашей Оболенским Толстому уже совладать не удалось...

Только почти непререкаемый авторитет отца, любовь к нему и боязнь чем-нибудь обидеть и огорчить не позволили Марии Львовне выйти замуж раньше. Она была некрасивой, но в ней было то, что ценнее красоты — обаяние, грация, легкость и одновременно стремительность движений, доброта и готовность в любую минуту прийти на помощь. Влюбленная в нее Мария Сергеевна (самая благополучная из дочерей Сергея Николаевича) в своих прелестных воспоминаниях дает выразительный портрет Марии Львовны: «Маша очень легко увлекалась, так же и ею быстро увлекались. Она была очень привлекательна, грациозна, подвижна, с хорошенькой головкой, на висках ее вились причудливыми завитками белокурые, тонкие, нежные волосы. Я очень любила, когда Маша клала иногда свою головку ко мне на колени и задремывала. Черты лица ее были мелкие, правильные, хорошенький прямой носик, рот только чуть-чуть был велик, что было больше заметно, когда она смеялась, но и этот маленький недостаток не портил ее, а даже шел к ней, так же как и летом иногда появлявшиеся у нее под кожей веснушки. Но главная привлекательность ее лица была в красивой, умной форме лба и особенно в серых, довольно глубоко сидевших, как и у ее отца, глазах. Глаза ее составляли своим серьезным, глубоким, вдумчивым выражением всю ее красоту и привлекательность».

Мария Львовна всё быстро схватывала и легко, будто играючи, делала. Ловко месила хлебы, засучив по локоть рукава, умело затапливала печь, быстро сажала хлебы на лопату и сбрасывала в печь. Ловко вязала снопы. Стирала и полоскала свое белье в пруду. Жала рожь. Удержу в работе не знала, и считалось, что надорвала здоровье, когда, уже уставшая, продолжала помогать мужику поднимать телегу и подавать снопы. Любила доить коров, доила так мастерски, что в ведре стояла густая пена и не слышно было, как туда текло молоко. Любила теннис и другие игры. Из толстовских героинь она больше всего походила на Наташу Ростову. Плясала быстро, кружась и вертясь, в отличие от своей сестры Татьяны, также превосходной плясуньи, но плясавшей совсем в другой манере (и другом ритме) — плавной и спокойной. Быстро вертелась ее гибкая, грациозная фигура, заражая весельем и энергией окружающих. Наделенная незаурядным актерским дарованием, Мария Львовна талантливо перевоплощалась, вызывая смех у зрителей маленьких сольных комических представлений-импровизаций. Однажды она вдруг с распущенными волосами, босиком, в простой юбке, надетой на ночную рубашку, стала увлеченно плясать, нагибаясь и наклоняясь во все стороны, подражая какой-то яснополянской старухе, развеселив этим окружающих.

Современникам запомнилось артистическое исполнение Марией Львовной роли кухарки в представлении комедии «Плоды просвещения» в Ясной Поляне. Нравились и яснополянские песни «Соловей с кукушкой сговаривались» и «Гуляй, гуляюшка». Неотделим ее облик от сельских просторов России, крестьянского труда и крестьянских праздников, поэтических лесных прогулок.

Ее присутствие умиротворяюще действовало почти на всех; даже суровый и раздражительный Сергей Николаевич смягчался, беседуя с племянницей. А для крестьян Мария Львовна была ангелом-спасителем, врачительницей, к которой часто снаряжали телегу, увозившую ее к больным. С бесстрашием, усвоенным у отца, входила она в избы к самым тяжелым и заразным больным. В болезни, горе Мария Львовна была незаменима. Уже одно прикосновение ее волшебных рук, мягкое звучание ее голоса, сочувствующий взгляд серых, глубоко сидевших глаз облегчали страдание, утешали страждущих. Неудивительно, что из всех Толстых ее больше всего любили. А Лев Николаевич любил ее бесконечно.

Повзрослевшая и посерьезневшая Маша стала настоящим и радостным открытием для Толстого. Столь радостным, что он боялся этому поверить, спугнуть счастье, о чем писал Черткову осенью 1887 года: «Маша дочь так хороша, что постоянно сдерживаю себя, чтоб не слишком высоко ценить ее... Не нарадуюсь я на эту девочку, всё у ней цельно, из одного источника — от отношений ко мне, матери, прислуг до пищи и отношений к лечению». И позднее Толстой часто выделял в семье Марию Львовну как самое близкое и дорогое существо: «Большая у меня нежность к ней. К ней одной. Она как бы выкупает остальных», «Маша хороша. Одна радуется».

С матерью отношения Марии Львовны складывались далеко не так сердечно, как с отцом. Кажется, всё раздражало в дочери Софью Андреевну, особенно духовная близость к отцу. С неудовольствием, переходящим в раздражение, пишет она о ней в дневнике: «С Машей никогда у нас связи настоящей не было, кто виноват — не знаю», «Чуждое, глупое и бестолковое она создание». И даже однажды, видимо, сильно чем-то разгневанная, поспешит с решительным выводом: «Маша, вообще, — это крест, посланный Богом. Кроме муки со дня ее рождения, ничего она мне не дала. В семье чуждая, в вере чуждая, в любви к Бирюкову, любви воображаемой, — совсем непонятная».

Опираясь на эти и другие, близкие по духу слова матери и на некоторые свои личные наблюдения, Александра Львовна категорично заключает: «Для матери Маша была — крест, для отца — она была

утешением». Пожалуй, всё же эта броская формула в большей степени подходит к отношениям резковатой и прямолинейной, не признававшей оттенков и полутеней Александры Львовны с родителями. В Марии Львовне было так много любви и отзывчивости на страдание и боль, что она всех располагала к себе, заставляя Софью Андреевну жалеть ее и печалиться о том, что так сложно и трудно всё сложилось между ними, винить в этом себя, что само по себе весьма ценно — к покаянию и признанию ошибок и грехов она была мало склонна: «С Машей всё тяжело: она ездит с девчонкой к тифозным; я боюсь и за нее и за заразу, и ей это высказала. Хорошо, что она помогает больным... но она меры не знает ни в чем. Впрочем, сегодня говорила я с ней кротко, и мне так ее жаль было, и жаль, что мы непоправимо чужды друг другу». Наступил и переломный момент, когда чуждость во многом удалось преодолеть. Произошло это во время болезни Ванечки:

«Прошлую ночь, когда Ванечку душило, я побежала спросить Машу, нет ли рвотного. Она спала и мгновенно проснулась. С добротой и готовностью она вскочила... когда она, вставая, повернула ко мне свое лицо, оно показалось мне такое тоненькое, доброе, трогательное, что первое мое движение было ее обнять и поцеловать. Как она удивилась бы! Сегодня я весь день вижу в ней это доброе выражение и люблю ее. Если б я могла навсегда поддержать в себе это чувство к ней, как я была бы счастлива! Я постараюсь».

Чувствуя себя виновной в недостаточной любви к Маше, Софья Андреевна успешно преодолевает подозрительность и недоброжелательность к ней, подогреваемые преимущественно преданностью дочери идеям и идеалам отца. Теперь Мария Львовна совсем уже не «крест» — кротка, мила, полезна, «нежная, легкая и симпатичная». И ее всегда жалко — болезненную, несчастную и, с точки зрения Софьи Андреевны, запутавшуюся, сбитую с толку отцом. Она переживает серьезную болезнь Маши (август 1897 года), с ужасом прислушиваясь к ее страшному бреду; страх потерять дочь во время болезни еще больше привязал к ней. Потом будет терзаться тяжело складывающейся замужней жизнью дочери, ослабевшей, сгорбленной, нервной, с глазами, всегда наполненными слезами, из года в год рожающей мертвых младенцев — пытка, в которой она склонна обвинять Толстого и вегетарианство.

Жизнь Марии Львовны после замужества действительно изменилась к худшему. Трудовые и благотворительные будни ушли в прошлое, как и простая крестьянская одежда и почти спартанский стиль жизни. Теперь пригодилась и доля наследства, от которой некогда, порадовав отца, она

отказалась, Выписана была тщательно выбранная из каталога новая дорогая обстановка самого аристократического вида. Понадобилась и прислуга. Соответственно изменились и наряды: всё в доме и усадьбе стремилось соответствовать приличиям и хорошему тону. Супруги, правда, много занимались благотворительностью, что снискало им любовь народа, но было что-то натужное, неестественное в этой благотворительности. На всем была печать постоянного несчастья, груз несбывшихся надежд. Исчезла бодрая, веселая Маша; теперь резкие звуки вызывали слезы, музыка — рыдания.

Толстой с грустью и болью следил за страданиями Марии, вспоминая те времена, когда она так пылко поддерживала его, порой, одна в семье, сопровождала отца, посещая избы голодающих и больных, и своим мелким, аккуратным почерком неумоимо переписывала рукописи, легко и быстро, почти неслышными шагами передвигалась по дому. Никаких конфликтов и недомолвок, к счастью, между ними не было: дочь с мужем часто и подолгу жили в Ясной Поляне. Не прерывалась и переписка. Письмам дочери Толстой радовался: «От Маши милое письмо. Как я люблю ее, и как радостна атмосфера любви, и как тяжела обратная». За год до смерти дочери прислал ей прекрасное письмо — благословение и утешение: «Подкрепи тебя Бог. С другими я боюсь употреблять это слово Бог, но с тобой я знаю, что ты поймешь, что я разумею то высшее духовное, которое одно есть и с которым мы можем входить в общение, сознавая его в себе». Подвел итог ее жизни, отгоняя ставшие ему известными сомнения (во время болезни, когда на нее нашел «такой страх смерти, какого никогда не было», она вопрошала себя, не лучше ли ей было следовать заветам православной церкви, просто веруя, Толстой осудил такое настроение именно как слабость и неверие): «На моих глазах, ты жила хорошо, добро, без нелюбви, а с любовью к людям, давая им радость, первому мне. Если же недовольна и хочешь быть лучше, то давай Бог». Пытался утешить дочь и в ее самом большом и давнем горе, приводя чуть ли не в образец мораль одной крайней секты: «О твоих родах иногда думаю, что правы шекеры. Они говорят, что кирпич пусть делают кирпичники, те, которые ничего лучшего не умеют, а мы, они про себя говорят, из кирпичей строим храм. Хорошо материнство, но едва ли оно может соединяться с духовной жизнью».

Ноябрь в России и всегда-то время тоскливое, промозглое, тревожное. Ноябрь 1906 года выдался особенно мрачным: дул сильный ветер, низко нависали облака, целыми днями шел дождь со снегом (не яснополянская, а типично петербургская погода из «Двойника» и «Записок из подполья»

Достоевского). Мария Львовна, возвращаясь из деревни, жестоко простудилась. Болезнь развивалась стремительно, она буквально в несколько дней сгорела. Страх смерти Мария Львовна не испытывала, во всяком случае, скрывала его от родных. Перед смертью сказала отцу: «Я счастлива, что умру раньше тебя, так как, как бы то ни было, а твою смерть я бы не пережила». Последние часы Толстой был рядом, боясь что-либо упустить в эти, как он веровал, самые важные мгновения человеческой жизни; записал в дневнике: «Она сидит обложенная подушками. Я держу ее худую милую руку и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа — одно из самых важных, значительных времен моей жизни». И еще с некоторым мистическим и очень толстовским видением смерти: «Смотрел я всё время на нее, как она умирает: удивительно спокойно. Для меня — она была раскрывающее перед моим раскрыванием существо».

Похоронили Марию Львовну на кладбище, где покоились другие Толстые. Гроб несли долго, через всю деревню. Выбегали из домов люди — все любили сердобольную дочь Толстого. А он простился с Машей раньше, у каменных столбов, один пошел домой по прешпекту. Илья Львович посмотрел ему вслед: отец шел по тающему мокрому снегу частой старческой походкой, резко выворачивая носки ног. Не обернулся он ни разу. Толстой простился с самым дорогим и близким существом. Он с большим трудом сдерживал рыдания. Но надо было держаться, уже без Маши. Часто повторял с грустью последние годы: «Если бы Маша была жива...», «Если бы не умерла Маша...»

*

С сыновьями у Толстого таких близких, сердечных отношений не было. Он держался с ними нередко настороженно и подозрительно. Михаил Сергеевич Сухотин записал состоявшийся в феврале 1907 года разговор с Толстым по секрету и в запертном кабинете: «Спросил, не завидуют ли мне мои дети? Затем стал говорить, что, кроме сына Миши, все его сыновья имеют к нему дурное чувство зависти. Я ему доказывал, что если такое чувство у кого и есть, так только у Левы, который имеет основание испытывать *jalousie de métier*, прочие же, напротив того, должны иметь поползновение хвастать своим знаменитым отцом и украшать свое ничтожество его именем. Но Л. Н. стоял на своем».

Мудрая и неизменно правдивая, справедливая, ровно относящаяся ко

всем Татьяна Львовна в письме к только что овдовевшей жене брата Михаила, возможно, лучше всех охарактеризовала взаимоотношения отца и сыновей: «Я часто думаю о том, что папа был несправедлив к своим сыновьям... и сыновья не сделали достаточно энергичных усилий, чтобы сквозь всё, что их отделяло от отца, пробить себе дорогу и поближе подойти к нему. И у каждого была своя личная жизнь, которая его поглощала. Любящее сердце отца ответило бы на всякую попытку сближения. Может быть, была и некоторая робость со стороны сыновей. Слепая история решила, что они все были против отца, что совершенно неверно. Только Лева выступал против него. Даже Андрюша, который был иных убеждений, никогда не осуждал и не критиковал отца. Сережа, Илья и Миша были, в сущности, близки ему по взглядам и, если не соглашались с ним во всем, то во всяком случае глубоко уважали его. И разве может взрослый мыслящий человек слепо пойти за другим, даже если он и значительнее его? Для этого надо быть тупым „толстовцем“, чем мои братья не могли быть».

Михаил Львович, единственный, кого отец исключил из числа «завистников», был моложе других (Ванечка умер двенадцать лет назад и числился по разряду ангелов). Лев Николаевич его воспитанием занимался мало, по сути, сын был предоставлен самому себе, несмотря на хорошие способности, учился неважно, предпочитая всяческие соблазны — охоту, игры, веселое гулянье, вино с табаком и, разумеется, женщин (он их очень любил, и они любили ловкого, остроумного, щедрого, такого непрактичного, обаятельного, светского Мишу, хорошо игравшего на гитаре и приятно певшего). В литературных делах отца сын никакого участия не принимал, к его учению был довольно-таки равнодушен. Толстой писал дочерям, что Миша далек и всегда чем-то пьян, выражая слабую надежду, что когда-нибудь очнется и проснется (и тут же, как человек многоопытный и много выдавший, добавлял, что «всякое пьянство оставляет следы»), но безвреден и «дурного пока ничего нет». Написал сыну «длинное и слишком рассуждающее письмо», изложив свои взгляды о половом вопросе (видимо, после разговора с Софьей Андреевной, попросившей его вмешаться и просветить одержимого сладострастием Мишу). Но не отправил письма. В письме призывал его избегать соблазнов, заняться самосовершенствованием и как можно дольше не жениться. Сравнивал свое и нынешнее поколения, не стремясь приукрасить те «очень определенные правила и идеалы», которым сам некогда следовал. Эти очень глупые, «аристократические» идеалы и правила сегодня ему кажутся «дикими», но они сдерживали, не давали погибнуть «в цвету, как можете

погибнуть вы, не имеющие никаких идеалов». Полное отсутствие всяких правил и идеалов может, пророчил Толстой, привести лишь к распаду, гибели: «Вы не признаете никаких ни правил, ни идеалов, катитесь под крутую горку похотей и неизбежно вкатываетесь в вечно одно и то же болото, из которого почти нет выхода, — женщины и вино».

Это педагогическое и нравоучительное письмо Толстой, недовольный как тоном, так и содержанием, не отправил, но если бы и сделал это, вряд ли «образумил» Михаила Львовича, оставшегося верным женщинам и вину, совершенно не собиравшегося выбираться из развеселого «болота». Там и оставившего дары, которыми щедро наделила его природа (он был артистичен и пробовал себя, как все Толстые, в литературе, среди друзей и знакомых Михаила Львовича было немало знаменитостей — князь Феликс Юсупов, Шаляпин, Рахманинов, шоколадный король Менье). «Если бы ты меньше пил — ты был бы очень замечательным человеком», — писала ему, вздыхая, старшая сестра Татьяна. В эмиграции (франция, Марокко) Михаил Львович постоянно затевал какие-то деловые предприятия, неизменно заканчивавшиеся крахом — из всех Толстых, кажется, только Лев Николаевич обладал деловой хваткой и организаторским талантом. Умер Михаил Львович в Рабате — куда только не занесла судьба Толстых, некоторые очутились даже в Парагвае.

Секретарь Толстого Валентин Булгаков оставил о Михаиле Львовиче слишком уж резкие, уничижительные суждения: «Отец для Михаила Львовича как бы не существовал. Да и вся Ясная Поляна в целом была для него, по-видимому, чистым нулем, когда-то приятным и любопытным, но давно уже пережитым и отошедшим в прошлое детским воспоминанием... Этот сын уже ничем, кроме разве увлечения цыганщиной и, пожалуй, еще наружностью, не напоминал своего знаменитого отца». Сугубо личное и пристрастное мнение. Михаил Львович сохранил благодарную память об отце и Ясной Поляне в долгих зарубежных странствиях. Он действительно был самым нетщеславным из детей Толстого. Но разве это такой уж недостаток? Для творчества, карьеры, приобретения капиталов, пожалуй, да. А Михаил Львович просто любил жизнь, не слишком обольщаясь временными успехами и не впадая в уныние от неудач. Общаться с ним было радостно и легко.

Аристократ, артист, гуляка. Был благороден и добр — самые различные люди тянулись к нему. В детстве, вдохновившись словами Льва Николаевича о том, что «Бог в нас, когда мы добры», начертал полуразборчиво с трогательной орфографической ошибкой: «Нужно быть добрум». Это изречение часто повторял Лев Толстой, включив его в

«Детскую мудрость». Оно и было заповедью, которую, в отличие от некоторых других, Михаил Львович не нарушал.

Если кто и испытывал чувство зависти и недоброжелательность, переходящую иногда в злословие и клевету, то это Лев II, Лев Львович («Тигр Тигрович», как его, не слишком изощренно шутя, называл Владимир Стасов), одержимый разными комплексами, в том числе комплексом неполноценности, всё время неуютно ежившийся в тени отца. «Я очень мало вообще верю в себя и мои силы, — писал он Суворину. — Знаете, когда стоишь в свете, окружающем великого отца, чувствуешь себя таким жалким, никем не замечаемым, что последняя вера в себя угасает».

Под этим сильным и жгучим светом стояли и другие дети Толстого, не испытывая особого неудобства, скорее, им согреваемые. И только Лев Львович злился на судьбу и метался из одной крайности в другую. Был уязвлен славой отца, найдя и союзницу себе в лице дочери Достоевского; Николай Гусев записал его слова: «Нет ничего хуже, как быть сыном великого человека. Я предпочел бы быть сыном ка-кого-нибудь хулигана, чем великого человека. Всякий смотрит на тебя не просто как на человека, а как на что-то особенное. И, кроме того, вымещает на тебе свою злобу: а, мол, ты сын великого человека, а сам не великий человек... Это мне говорила дочь Д. в минуту откровенности... Это психологически вполне понятно...» Так и жил, постоянно оглядываясь и пытаясь привлечь к своей особе внимание.

Детство и юность Левы прошли в идиллической обстановке. Толстой учебе и воспитанию детей уделял тогда много времени. Любовался трехлетним сыном, похожим на ангелочка: «Хорошенький, ловкий, памятный, грациозный. Всякое платье на нем сидит, как по нем сшито. Всё, что другие делают, то и он, и всё очень ловко и хорошо». Сыну же отец представлялся быстрым, сильным, бодрым, радостным, он запомнил его большие руки. Запомнил, как отец поднимал его, словно перышко, над головой и сажал на свое широкое плотное плечо. В претенциозно названных мемуарах «Правда о моем отце» Лев Львович писал: «Будучи ребенком, я обожал моего отца, и я считал его самым умным и хорошим человеком. Я любил запах его бороды, я восхищался его красивыми руками, я любил слушать звук его голоса».

Когда сын подрос и его стали одолевать «половые инстинкты», Толстой беседовал с ним и на щекотливые, деликатные темы — о похоти, онанизме, о «лжи, под которой скрывается разврат». Толстой всегда стремился к откровенности и чистосердечию, не признавая запретных тем. Трудно, правда, утверждать, что такого рода беседы давали желательный и

— тем более — немедленный результат. Но они были совершенно необходимы, особенно с нервным и возбудимым Львом Львовичем, уже в 1890 году, когда ему было больше двадцати лет, писавшим о преследовавшем его пороке Черткову: «Я... с тех пор, как почувствовал в себе половые инстинкты, никогда не мог жить спокойно, чем-нибудь ровно и счастливо заниматься, — это постоянно отвлекало меня, заставляло забывать о том, в чем настоящая разумная жизнь, делало меня животным. Вот отчего скорее жениться, вот отчего бросать университет». Очевидно, он и стал «прототипом» бедняжки «гимназистика... в новеньком мундирчике... в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич» в повести Толстого.

Какое-то время в юности и позднее он был близок к отцу. Неизменно правдивая и справедливая Татьяна Львовна утверждала: «Был период, когда он выше всего ставил воззрения своего отца». Толстой возлагал на сына немалые надежды, считая, что тот один следует по его новому пути. В октябре 1892 года он записал в дневнике: «С Левою разговор. Он ближе других. Главное, он добр и любит добро (Бога)». Однако многие отмечали, что Лев Львович больше был похож на мать — лицом, способностями, вкусами. Александра Львовна вспоминала, что Толстой незадолго до смерти с досадой сказал ей: «Все капельки подобрал. Та же поверхностность, самодовольство». Вероятно, так и было. Однако могла и кое-что преувеличить, ведь отношения между нею и братом были враждебные, в конфликте отца и матери они оказались на противоположных полюсах. «Нервный, суетливый, он вечно метался, увлекаясь то музыкой, то литературой, надумывал свои теории гигиены, — пишет Александра Львовна. — Он рассуждал о серьезных вещах с запелляционной самоуверенностью, не продумав вопроса, часто себе противореча. Нужно было иметь всю кротость и терпение отца, чтобы переносить заявления Льва, вроде того, что крестьянам земля не нужна, что порядок не может быть установлен без смертной казни и т. п.».

Терпение Толстого, положим, было вовсе не беспредельным, в чем он сам же винулся, перечисляя грехи, а о «кротости» нечего и говорить. Но Лев Львович действительно кого угодно мог вывести из себя, а об отце он иногда говорил такое, что выглядит полной нелепицей: «Я скажу еще одну ужасную вещь. Он был завистлив. Он завидовал мне, моим годам, моим путешествиям, может быть, даже тому, что я лепил мою мать, а не его в последнее лето». Это даже странно, кажется написанным в каком-то затмении. Всё обстояло как раз наоборот; с полным основанием Лев Толстой утверждал в 1907 году: «Удивительное и жалостливое дело — он

страдает завистью ко мне, переходящей в ненависть». Толстой видит сына насквозь, нисколько не сомневаясь в точности своих выводов. Испытывает боль, срыгается и винит себя за столь нехристианское поведение: «Этому можно и должно радоваться, как духовному упражнению. Но мне оно еще не под силу, и я вчера был очень плох — долго не мог (да и теперь едва ли вполне) побороть недоброго чувства, осуждения к нему. Соблазн тут тот, что мне кажется главным то, что он мешает мне заниматься „важными делами“. А я забываю, что важнее того, чтобы уметь добром платить за зло, ничего нет».

Лев Львович был любимчиком Софьи Андреевны, и нередко они дружно поддерживали друг друга, нападая на Льва Николаевича. По отношению к старому отцу вел себя вызывающе, а, прямо говоря, — преступно. Тяжело и больно читать эти строки из потаенного дневника Толстого: «Ужасная ночь... И ужаснее всего был Лев Львович. Он меня ругал, как мальчишку, и приказывал идти в сад за Софьей Андреевной... Не могу спокойно видеть Льва», «Я совершенно искренне могу любить ее, чего не могу по отношению к Льву», «Льва Львовича не могу переносить. А он хочет поселиться здесь. Вот испытание».

Свою вину Лев Львович не отрицал, хотя и не любил к этим тяжелым временам возвращаться. После смерти отца думал о нем часто, постоянно, а иногда отец ему снился в особенно грустные минуты в каких-то сюрреалистических снах: «Если бы он был, я был бы другим. Одно его присутствие заставляло жить лучше. Его смерть и всё после этого меня погубило. Сегодня ночью вдруг ясно вижу его перед собой в тяжелом полусне. Лицо красивое, строгое, серьезное и смотрит на меня в упор. Я тоже смотрел на него жадно, ожидая совета, слова. И вдруг в отчаянии я ему закричал: „Папа, папа, папа!“ Тогда голова свернулась в сторону, поднялась в темноте и исчезла». Чаше, к сожалению, бранил отца направо и налево, высказывался о нем с осуждением и ненавистью, говорил, что стыдится его, отрекался от родства. Терпеливая, толерантная, добрая Татьяна Львовна жалела несчастного, жалкого, одинокого, бестолкового и бестактного брата, сокрушаясь и негодуя одновременно: «Это мое больное место, мой вечный крест» (в письме любимому брату Сергею 1937 года). О ничтожной и пустой жизни сына редко, но все же заговаривала Софья Андреевна; отчаяние Доры, жены Льва Львовича, в очередной раз проигравшего деньги (он был неизлечимый игрок, да и кутежи, женщины занимали неподобающе большое место для семьянина, отца восьми детей в его бесконечном досуге), побудило ее с горечью признать: «Дора говорит, что Лева проиграл около 50 тысяч. Бедная, беременная, заботливая Дора!

Тысячу раз прав Лев Николаевич, что обогатил мужиков, а не сыновей. Всё равно ушло бы всё на карты и кутежи. И противно, и грустно, и жалко! А что еще будет после моей смерти!» Ничего после ее смерти не изменилось: продолжались всё та же игра и те же кутежи, что и при жизни Софьи Андреевны, давно уже не пользовавшейся авторитетом у сыновей.

Лев Львович, при всей присущей ему изломанности, искаженности, декадентстве, принадлежит к роду Толстых, и как сын человека, написавшего «Исповедь», не чуждался и суда над собой и своей несправедливой жизнью: «Мысли и взгляды у меня самые путанные, неясные и противоречивые. То одно, то другое. Чувства — самые разные, тоже противоречивые. Симпатии — тоже. В итоге — ноль... Факт тот, что я дрянцо и что живу дрянно и жил дрянно во всё время, так или иначе», «Я гадок не только всем, но самому себе больше всех других». Но делал это он довольно редко — чаще полемизировал со взглядами Толстого, пытался что-то противопоставить его «Крейцеровой сонате», пытался истину царям с улыбкой (или слезами) говорить, хотел достичь невиданных успехов в литературе и других родах искусств. Ваял (в основном бюсты отца, некоторые из них нравились), сочинял музыку, занимался живописью с «дедушкой» Николаем Ге. Дедушка отличался редчайшим добродушием, ко всему семейству Толстого относился с благоговением, переживал затянувшуюся болезнь Льва Львовича, этого «дорогого даровитого юноши, одобрял его литературные опыты, полагал, что из него выйдет „очень хороший художник“». С одобрением и надеждой за литературными и другими художественными занятиями сына наблюдала Софья Андреевна, однако не была слепа и скептически пророчила: «Лева... много играл на рояле, который очень хвалил. Его игра, как и его мысли, перескакивают с одного мотива на другой. А мог бы хорошо играть. Так и все свои способности разметет по мелочам». Так оно, по сути, и получилось. Да и способности были не выдающиеся.

Больше всего осталось после Льва Львовича литературных произведений — рассказы, пьесы, роман, повести, статьи, воспоминания, записки о голодном годе, статьи, книга «Современная Швеция в письмах-очерках и иллюстрациях». Естественно, сына интересовало мнение такого опытного писателя, каким был его отец. Толстой в советах и критике не отказывал. Особенно на первых порах, когда сын еще не рвался в бой с отцом и к нему можно было отнестись снисходительно. Он подробно разобрал рассказы сына «Любовь» и «Монте-Кристо», обнаружил небольшой талант (дело самое обыкновенное — широко распространенная способность «видеть, замечать и передавать»), но не нашел еще

«потребности внутренней, задушевной высказаться», не рекомендовал опыты публиковать и советовал поставить перед собой более скромные задачи: «В обоих рассказах ты берешься за сверхсильное, сверхвозрастное, за слишком крупное... Попытайся взять менее широкий, видный сюжет и постарайся разработать его в глубину, где бы выразилось больше чувства, простого, детского, юношеского, пережитого».

Сын, страдавший комплексом неполноценности и обладавший колоссальным тщеславием, огорчился и затаил обиду. Стал задирать отца, сочиняя нечто в пику «Крейцеровой сонате», высмеивая толстовцев и непоследовательного, «лицемерного» Толстого, вполне заслужив репутацию «семейного *enfant terrible*» (даже Софья Андреевна иногда вынуждена была отмежевываться от некоторых вызывающих публичных заявлений сына). Раздраженность и пристрастная полемичность не способствовали улучшению литературного стиля и сильно ухудшили отношения Льва Львовича с Лесковым, Горьким, Короленко и другими писателями, с которыми он довольно близко сошелся в Ясной Поляне и Москве (далеко не все обладали таким безграничным и слепым дружелюбием, как Николай Ге). Толстой возмущался «бестактностью, бездарностью и самоуверенностью» сына, читая его сочинения, не мог победить «отвращения и досады». Не мог скрыть от сына, что он думает о его произведениях: «Я огорчил его, сказав правду. Нехорошо. Надо было сделать мягче и добрее». В редчайших случаях, когда он находил в сочинениях Льва Львовича хоть какой-то проблеск таланта (поздравил его с удачной пьесой «Швейцар генеральши Антоновой»), Толстой и писал сыну мягче и добрее. Чаще — беспощадно резал правду-матку, особенно если считал тенденцию произведения вредной и безумной, как в «подпольной» и памфлетной «Прелюдии Шопена»: «Ты можешь писать всё, что хочешь, но проповедовать войну — это безумие и преступление, которых всякий человек должен избегать».

Может быть, полезнее было бы иногда и сдержаться, выразиться деликатнее, смягчить критику какими-нибудь незначительными похвалами, не говорить всей правды, ограничившись полуправдой, но это было не в привычках Толстого, который не мог изменить правде, отступить от неколебимого правила. Близкое родство, кажется, только освобождало от излишней дипломатии и светских условностей. К детям, особенно сыновьям, Толстой предъявлял высокие требования. Несколько, правда, расслабился, «подобрел» в старости. В общении с детьми был сдержан, строг. Сентиментальность и внешнее проявление чувств не были присущи всем Толстым (Софья Андреевна также не страдала излишней

чувствительностью). Во Льве Толстом и его брате Сергее, похоже, сильнее, чем в других Толстых, проявилась характерная семейная черта — «страшная сдержанность в выражении сердечной нежности, скрываемой часто под личиной равнодушия, а иногда даже неожиданной резкости». Толстые были во всем самобытны, ироничны, а то и саркастичны. И в том же аскетичном, сдержанном духе воспитывали детей. Илья Львович пишет в воспоминаниях, что за всю жизнь отец его ни разу не приласкал. Если с дочерьми какие-то скупые ласки и допускались, то с сыновьями они просто исключались. «Взаимная любовь подразумевалась, но не выказывалась. Бывало, в детстве ушибешься — не плачь, ноги озябли — слезай, беги за экипажем, живот болит — вот тебе квасу с солью — пройдет, — никогда не пожалеет, не поласкает. Если нужно сочувствие, нужно „пореветь“ — бежишь к маме». «Телячьи ласки» высмеивались.

Толстой не признавал слов «не могу» и «устал». Приучал к быстрой езде. Сыновья не поспевали за ним, падали с лошадей, вставали, опять садились и устремлялись за отцом, продолжавшим ехать крупной рысью. И так же учил Толстой детей арифметике, латинскому, греческому, учил прекрасно и интересно, но «шел крупной рысью... и надо было за ним успевать во что бы то ни стало», напрягая все силы. И он всех и всё видел насквозь своими особенным образом устроенными глазами. «От него, как от своей совести, прятаться было нельзя... и обманывать его было то же самое, что обманывать себя. <...> Я плохо выдерживал взгляд его пытливых небольших стальных глаз», — писал Сергей Львович. О том, как много видели эти небольшие стальные глаза, свидетельствуют «эпистолярные» портреты детей в нежном возрасте, которые, разумеется, и предположить не могли, что думает о них и что им пророчит сильный и всё знающий отец. Он писал о шестилетнем Илье насмешливо, удивляясь столь ранним и сильным признакам чувственности и без всяких «сантиментов», основательно его изучив: «Ширококо́ст, бел, румян, сияющ. Учится дурно. Всегда думает о том, о чем ему не велят думать. Игры выдумывает сам. Аккуратен, бережлив, „моё“ для него очень важно. Горяч и violent, сейчас драться; но и нежен, и чувствителен очень. Чувствен — любит поесть и полежать спокойно... Когда плачет, то вместе злится и неприятен, а когда смеется, то и все смеются. Всё недозволенное имеет для него прелесть... Еще крошкой он подслушал, что беременная жена чувствовала движение ребенка. Долго его любимая игра была то, чтобы подложить себе что-нибудь круглое под курточку и гладить напряженной рукой и шептать улыбаясь: „Это бебичка“. Он гладил также все бугры в изломанной пружинной мебели, приговаривая: „бебичка“». И неутешительно

пророчествовал, что Илья погибнет без «строгого и любимого им руководителя». Долгое время таким «руководителем» Толстой и являлся для Ильи и других детей.

Сыновей жалел, беседовал, затрагивая серьезные и деликатные темы, а когда они выросли, часто спорил, но никогда не приказывал и не навязывал своих мнений. Татьяна Львовна так описывает деликатный стиль, присущий Толстому: «Я хочу подчеркнуть одну черту отца: он не только никого не поучал, никому даже из членов своей семьи не читал наставлений. Но он и вообще никогда никому не давал советов. Он очень редко говорил с нами о своих убеждениях. Он трудился один над преобразованием своего внутреннего мира. Мы не видели, как проходил процесс этого развития, и в один прекрасный день оказались перед результатом, к которому не были подготовлены».

Мнений своих и оценок Толстой не навязывал в строгой, императивной, категоричной манере, но с поразительным упорством и последовательностью их излагал, повторял, пропагандировал, оказывая сильное давление, невольно вызывавшее сопротивление. Сергей Львович, почти не принимавший участия в семейной борьбе последних лет, равно относившийся к отцу и матери и вообще не выказывавший никаких предпочтений, тем не менее писал о двух сторонах медали: «Мы не только любили его; он занимал очень большое место в нашей жизни; и мы чувствовали, что он подавляет наши личности, так что иной раз хотелось вырваться из-под этого давления. В детстве это было бессознательное чувство, позднее оно стало сознательным, и тогда у меня и у моих братьев явился некоторый дух противоречия по отношению к отцу». Всё чаще и чаще раздавался ропот, который вызывал раздражение отца, не приветствовавшего многоголосье в семье. Он резко, насмешливо осуждал желание сына Сергея поступить на физико-математический факультет Московского университета, понося естественные науки и позитивизм. А когда по окончании института Сергей обратился к отцу за советом, чем ему лучше заняться, то получил обидевший и отдаливший от мировоззрения отца ответ: «Дела нечего искать, полезных дел на свете сколько угодно. Мести улицу — также полезное дело».

Сергей Львович был замкнут, сдержан и застенчив. Сестры его любили за благородство, честность, независимость и доброту. Младшая сестра Александра писала о нем с любовью и состраданием: «Он был самый серьезный и трудолюбивый из всех братьев Толстых, жил своей обособленной жизнью, не примыкая ни к матери, ни к отцу, редко делился своими мыслями с семейными, тая всё в себе, и только когда Сергей

садился за фортепьяно и часами играл своих любимых Шопена, Бетховена, Баха, Грига и пытался что-то сам сочинять, все невольно заслушивались... только роялю одному Сергей открывал свою душу: в звуках то бурно-страстных, то нежно-певучих чувствовались и грусть, и внутренняя борьба этого некрасивого, замкнутого в себе юноши». Самый строгий и надежный из всех сыновей Толстого, которого, по мнению Татьяны Львовны, он не оценил по заслугам.

Толстой смотрел на детей как на различные отражения своего облика, и очень часто эти отражения ему не нравились, временами он даже с отвращением гляделся в безжалостные, равнодушно правдивые зеркала. Он не отделял и не мог отделить детей от себя. Нес ответственность за всё — и за благородные порывы, и за «нравственную тупость». Они были его детьми, его произведениями, его грехами, его добродетелями и пороками. «Мои дети, мое произведение со всех сторон, с плотской и духовной. Я их сделал, какими они есть. Это мои грехи — всегда передо мной. И мне уходить от них некуда и нельзя. Надо их просвещать, а я этого не умею, я сам плох. — Я часто говорил себе: если бы не жена, дети, я бы жил святой жизнью, я упрекал их в том, что они мешают мне, а ведь они — моя цель, как говорят мужики. Во многом мы поступаем так: наделаем худого; худое это стоит перед нами, мешает нам, а мы говорим себе, что я хорош, я бы всё сделал хорошо, да вот передо мной помеха. А помеха-то я сам».

Толстой считал воспитание процессом бесконечным и не оставлял без наставлений и советов уже выросших и повзрослевших, со сложившимися жизненными правилами и привычками детей; чем взрослее они становились, тем больше интересовали его — Толстой не жалел времени как на беседы, так и на переписку с ними. Споры, часто перетекавшие в ссоры, не останавливали и не смущали его. Много раз он срывался, слишком горячился, злился, гневался, обрывал с досадой разговор или брал не тот тон, актерствовал, не был искренен. Следовательно, не выдержал «экзамен», сплеховал — повод занести этот «грех» в дневник и постараться в следующий раз не провалиться. Воспитание у Толстого неотделимо от самовоспитания, от никогда не прекращающейся работы самосовершенствования. Слова отца могли задевать, обижать, больно ранить — на правах очень близкого родственника он позволял себе с детьми многое, особенно не церемонился и эмоций не скрывал — терпением Толстой не отличался, искусством иронии владел в совершенстве, но дети нуждались в слове отца и болезненнее всего переживали молчание. Сергей Львович, с которым Толстой спорил много и «придирался» к нему нещадно, измученный непривычно долгим

молчанием отца, получив наконец от него письмо, признавался: «Я был очень обрадован и тронут твоим письмом. Меня всегда мучает твое молчание, и тогда мне кажется, что ты меня бесповоротно осуждаешь. А твое мнение, какое оно резкое ни было, мне всегда чрезвычайно дорого». Толстого тронуло письмо сына, может быть, более всего правдивостью. Сергей Львович был правдив и прямодушен, что Толстой, конечно, знал. Он беспокоил его гораздо меньше других сыновей, нуждавшихся в отцовских советах и наставлениях, то и дело своими импульсивными беспутными поступками огорчавших родителей. За старшего сына вполне можно было не беспокоиться, у него был сильный характер и минимум пороков, дурных привычек. Софья Андреевна любила всех своих сыновей больше дочерей, особенно «проблемных» — Льва и Андрея (они и были на ее стороне в год ухода Толстого из Ясной Поляны). Непутевые, больные и блудные дети особенно любимы.

Андрей Львович, пожалуй, никогда не был близок с отцом, а в последние годы тем более. К взглядам отца он относился критически, уже в тринадцать лет четко обозначив свою позицию: «Нельзя же делать всё, что говорит папа». Нрава был резкого, вспыльчивого, переменчивого. Чувственный и весьма склонный к гульбе. Женщины, вино, табак, светские развлечения, цыгане, охота, словом, всегда «как вечно пьяный», по терминологии Льва Толстого. Уже с пятнадцати лет он днями и ночами гулял в деревне с крестьянками, в восемнадцать лет на одной из них собрался жениться, да отец в письме отговорил. На этот раз послушался. А так с Андрюшей сплошные нелады, истерзавшие отца — всё тот же устойчивый запах вина, гармоника, ночные гулянья. Заметка для себя в дневнике: «Чем он гаже, тем больше надо его любить. Вот этого-то не исполнил». Трудно было исполнить. Вся жизнь Андрея Львовича была прямым вызовом не только взглядам Толстого после духовного переворота, но и строгим правилам прежнего Толстого.

Очередной и совсем уж скандальный, невероятный роман сына привел к почти полному разрыву с отцом (Софья Андреевна всегда любила и жалела веселого, щедрого, честного, бедного, «безвольного вечного страдальца»). В 1907 году Андрей Львович поступил на службу чиновником особых поручений при тульском губернаторе Михаиле Викторовиче Арцимовиче, старинном знакомом Льва Николаевича. Между Андреем Львовичем и женой губернатора Екатериной Васильевной, матерью шестерых детей, и вспыхнула неодолимая страсть (Андрей Львович позднее еще много раз будет вспыхивать любовью к женщинам, он был отчаянный греховодник и сладострастник, а вот Екатерина Васильевна

будет беззаветно любить одного своего неверного Андрюшу). Лев Толстой пришел в совершеннейший ужас. Это было даже не прелюбодеяние, а черт знает что — кошмар и безумие. Только в полном затмении можно было совершить такое. Как с серьезно заболевшим человеком, мягко, стараясь не так уж часто касаться пункта помешательства, Толстой, видимо, с ужасом и любопытством выслушав горячую исповедь сына, просившего сохранить всё сказанное в тайне, необычайно мягко дал понять, что не может одобрить ни происшедшее, ни матримониальные планы влюбленных. На крыльях любви и ободренный участливым отношением отца, который и к законному приличному браку двух девственных существ не слишком благоволил, Андрей Львович удалился счастливым, как будто получил родительское благословение. Лев Толстой тем временем, решив, что с обезумевшим сыном толковать серьезно смысла нет, посылает письмо Екатерине Васильевне, «милой, несчастной сестре». («Почему я ему сестра и почему я несчастная, тогда как я такая счастливая тем, что люблю и любима?» — законно возмутилась любвеобильная губернаторша.) В письме Толстой, выбросив за борт такт и разные светские условности, призывает ее понять «всю низость» содеянного и «жестокость того греха», который намерена совершить («оставление мужа и детей»). В суровом, обличительном тоне Толстой осудил преступницу и преступление: «Вы совершили одно из самых тяжелых и вместе с тем гадких преступлений, которые может совершать жена и мать, и, совершив это преступление, вы не делаете то, что свойственно всякой, не говорю христианке, но самой простой, не потерявшей всякую совесть женщине, не ужасаетесь перед своим грехом, не каетесь в нем». Будущее преступных греховодников Толстой рисовал в самых мрачных красках: «Это будущее я вижу так же ясно, как я вижу перед собой стоящую чернильницу. И это будущее ужасно. Особенно тесное сожителство вследствие исключительного семейного положения с человеком с праздными, роскошными и развратными привычками, самоуверенным, несдержанным и лишенным каких бы то ни было нравственных основ, и при этом бедность при привычке обоих к роскоши и у каждого брошенные семьи и или заупоренная совесть, или вечное страдание». Толстой в финале поразительно бестактного и недипломатичного письма (рядом, видимо, не было мудрой советницы Татьяны Львовны) просил «сестру» подумать «только об одном, что вам перед Богом надо сделать, что бы вы сделали, если бы знали, что завтра умрете».

Екатерина Васильевна умирать не собиралась, а Андрей Львович, ознакомившись с наставлением, пришел в ярость, кричал: «Это подлость,

подлость! Он же обещал мне хранить тайну!» Андрея Львовича можно понять, как и его отца, полагавшего, что такого рода обещания дают здоровым, а не обезумевшим людям, и делавшего всё, чтобы предотвратить «преступление». Сын в гневе написал отцу оскорбительное письмо, где безудержно его отчитывал. Лев Толстой письмо разорвал.

И тем не менее вопреки логике: «Удивительно, почему я люблю его. Сказать, что оттого, что он искренен, правдив, — не правда. Он часто неправдив (правда, это сейчас видно). Но мне легко, хорошо с ним, люблю его. Отчего?» Правда, через пять лет будет писать о борьбе «с отвращением к нему» и, преодолевая с трудом это чувство, почти закликает себя: «Андрей просто один из тех, про которых трудно думать, что в них душа Божия (но она есть, помни)». Запись в так называемом «Дневнике для одного себя» от 29 июля. Помнить осталось недолго — всего несколько месяцев.

Андрей Львович ненадолго пережил отца. После очередного и очень затянувшегося кутежа (три дня безумствовал) он тяжело заболел и вскоре скончался. Хоронили его в Петербурге пышно и торжественно (отец этого, конечно, не одобрил бы, но сын был верноподданный, консервативных взглядов, православный, со взглядами Льва Толстого согласовывать свою жизнь не собирался). Среди провожавших было много женщин, хор, цыган. Венки от великого князя Михаила Александровича и от великой княжны Ольги Николаевны. Прекрасный хор в соборе. Последнее земное убежище: Никольское кладбище Александро-Невской лавры.

«Милая, несчастная сестра» и бывшая губернаторша умрет гораздо позже — в 1959 году. Сын Илья, унаследовавший от Андрея Львовича многие привычки, эмигрирует в Америку, где, став вице-президентом Толстовского фонда, будет деятельно помогать своей тете — Александре Львовне.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ УХОД

«Хаджи-Мурат»

Над повестью «Хаджи-Мурат» Толстой работал долго: с 1896 по 1904 год. Работал полосами, урывками, на несколько лет однажды отодвинув в сторону. Одновременно и параллельно писал и публиковал трактаты, статьи, обращения, а также художественные произведения («Воскресение», «Живой труп», «Отец Сергей», «Фальшивый купон»). Это были и срочные сочинения, злободневные, и не очень. «Хаджи-Мурат» был, пожалуй, самой несрочной и самой художественной работой, которой он особенно дорожил. Сколько бы ни «стыдился» Толстой своей «слабости», его неодолимо влекло к «пустякам», отвязаться от «эстетического» наваждения или удовлетвориться очередной более или менее сносной редакцией повести он не мог. Даже доведя работу над «Хаджи-Муратом» до художественного уровня «Отца Сергея», он, по его собственным словам, положив повесть в ящик, просто сделал передышку, вынужденный антракт — перед последним и решающим штурмом, точное время которого предсказать было невозможно. Положительно, «Хаджи-Мурат» был любимым детищем писателя, и выпустить его в свет он хотел в зрелом возрасте и одетым с иголочки. Не очень любил распространяться о повести, темнил, уклоняясь от ответов на вопросы заинтересованных лиц из мира журналистики. Не торопился. Жаль было расстаться с произведением, которое не-только «потихоньку от себя» писалось, но и во многом для себя. Со временем Толстой так сроднился с повестью, что, устояв перед частыми уговорами как Черткова, так и Софьи Андреевны, законсервировал рукопись, распорядившись опубликовать ее после смерти. Не всё же при жизни публиковать, надо кое-что и после нее оставить.

Сохранилось одно прелюбопытное воспоминание Павла Бирюкова, относящееся к 1905–1906 годам: Толстой, сконфузившись, шепотом, чтобы никто не слышал, приблизившись к нему заблестевшими глазами, сказал: «Я писал „Хаджи-Мурата“». И сказал это «тем тоном... каким школьник рассказывает своему товарищу, что он съел пирожное. Он вспоминает испытанное наслаждение и стыдится признаться в нем». Возможно, здесь биограф Толстого допустил хронологическую неточность: следов столь поздней «подмалевки» в повести нет. Но хронологическая точность здесь не так уж и важна. Главное — ярко передано отношение Толстого к

повести: любимая игрушка, что-то необыкновенно важное и сугубо личное, как счастливые и всегда памятные мгновения детства.

Между тем замысел и художественное построение повести родились сразу же — из знаменитой дневниковой записи 19 июля 1896 года:

«Вчера иду по передвоенному черноземному пару. Пока глаз окинет, ничего, кроме черной земли, — ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной, серой дороги куст татарина (репья), три отростка: один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, черный, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но всё еще жив и в середине краснеется. Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял ее».

Самое первое название повести «Репей». Куст татарина (репья) из дневника перекачывал в ее пролог. Встрече с «татаринком» предшествует описание лугов самой середины лета, с подробным «реестром» цветов этого времени, увиденных глазами человека, влюбленного в природу и хорошо ее знающего, который не может удержаться и не набрать большой букет цветов. К изысканному букету (своего рода икебана по фантазии Толстого) ему вдруг пришло в голову присовокупить малинового «татарина», затаившегося отдельно, в канаве. Затея оказалась плохой: «татарин» не пожелал стать частью букета, сопротивлялся изо всех сил, предпочтя гибель эстетической неволе. Оставалось с сожалением отбросить истерзанный и увядший цветок в сторону. С сожалением и восхищением: «Какая, однако, энергия и сила жизни... Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Далее следует описание черноземного вспаханного поля, восходящее к дневниковой записи, развернутой и превращенной в символическую картину всеобщего опустошения, всюду вносимого в природу деятельностью человека: «Экое разрушительное, жестокое существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни». Единственным признаком жизни на этом черном мертвом поле был кустик непокорного, дикого «татарина», ставшего символом борьбы-сражения, жестокой схватки на смерть: «Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он всё стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его».

И вновь повествователь восхищается энергией и силой жизни кустарника: «Экая энергия! — подумал я. — Всё победил человек,

миллионы трав уничтожил, а этот всё не сдается». В ранней редакции пролога было и с сильным личным эмоциональным акцентом заявленное: «„Молодец!“ — подумал я. И какое-то чувство бодрости, энергии, силы охватило меня. „Так и надо! Так и надо!“ И мне вспомнилась одна кавказская история, положение человека такое же, как и этого репейника, и человек был тоже татарин. Человек этот был Хаджи-Мурат. Вот что я знаю про это». Толстой в окончательной редакции устранил всё слишком личное и прямолинейно звучащее («Так и надо! Так и надо!»). В прологе не прозвучало и имени главного героя (оно появится в самом начале первой главы). Ясно сказано, из чего и как сложилась повесть-воспоминание: «И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот такая».

История, однако, складывалась отнюдь не легко и просто, как может показаться, а мучительно и трудно, в отличие от пролога, не претерпевшего кардинальных изменений. Красочный, мощный, символически насыщенный пролог необходимо было органично слить с давнишней историей. Первая редакция (в сущности, небольшой и камерный рассказ «Репей») явно не соответствовала прологу, выглядела как механически присоединенная к мыслям автора «художественная» иллюстрация. Не удовлетворила Толстого и следующая (всего их было десять) редакция, озаглавленная «Хазават». Толстой эту редакцию, предназначавшуюся для публикации в зарубежном издательстве «Свободное слово», четыре раза усердно переделывал и в конце концов забраковал. Попытка показать Хаджи-Мурата «как правоверного фанатичного горца-мусульманина, исповедующего идею хазавата — священной борьбы против иноверцев», оказалась неудачной, хотя она как будто бы находилась в полном соответствии с мнением Толстого, утверждавшего в довольно категоричной форме, что только «движение мысли религиозной, нравственной и ее отражение в складе жизни народов» достойны внимания историков и писателей.

Дело, конечно, здесь в том, что столь фанатичная форма религии, как священная война с иноверцами, была глубоко чужда Толстому. После многочисленных переделок он до самого необходимого минимума свел в повести все рассуждения о хазавате, исламе, религиозности Хаджи-Мурата. Подробный рассказ о том, каким образом проникся герой в отроческом возрасте идеей хазавата, как укрепилась она и слилась с ненавистью к русским под влиянием увиденной расправы над пленными горцами («не мог понять, зачем допускает Бог существование этих собак, все свои силы

употребляющих на то, чтобы мучить мусульман и делать им зло. Ему представлялись все русские злыми гадинами») — всё это осталось в промежуточных редакциях. Пожертвовал Толстой и яркой сценой экзекуции с рельефно вычерченными деталями: «Дед Хаджи-Мурата не переставая шептал беззубым ртом молитву. Хаджи-Мурат дрожал, как в лихорадке, и переступал не переставая с ноги на ногу... Начальник с брюхом и запухшими глазами всё сидел и курил трубку, которую ему подавали солдаты. Хаджи-Мурат дольше не мог видеть и убежал домой». Поставил дату и пометил: «Не годится».

О религиозности героя в окончательном тексте почти ничего не говорится: упоминается лишь о регулярно совершаемых им обрядах. Не только отпал отчетливо обозначенный в ряде редакций мотив ненависти Хаджи-Мурата к русским, но была устранена и сама концепция Кавказской войны как типично колониальной, о чем говорилось с публицистической прямолинейностью: «Происходило то, что происходит везде, где государство с большой военной силой вступает в общение с первобытными, живущими своей отдельной жизнью, мелкими народами. Происходило то, что или под предлогом защиты своих, тогда как нападение всегда вызвано обидами сильного соседа, под предлогом внесения цивилизации в нравы дикого народа, тогда как дикий народ этот живет несравненно более мирно и добро, чем его цивилизаторы, или еще под всякими другими предлогами, слуги больших военных государств совершают всякого рода злодеяния над мелкими народами, утверждая, что иначе и нельзя обращаться с ними».

Толстой отбросил эту характеристику Кавказской войны как неудовлетворительную, слишком упрощающую истинное положение дел, которое невозможно подвести под удобные и распространенные формулы. Устранил Толстой и исключительно резкую оценку деятельности Ермолова — зловещая фигура в девятой редакции, на Ермолова Толстой склонен был возлагать львиную долю ответственности за чрезмерные репрессии царской администрации на Кавказе.

Писатель вообще решительно сократил или целиком убрал публицистические отступления, отдав предпочтение художественным картинам. Место рассуждений о Кавказской войне заняли главы (абсолютно нецензурные), воссоздающие обстоятельства и последствия одной карательной экспедиции. Отношение автора к происходящему всегда определено (никаких «этических» колебаний), но оно выражено почти всегда не в откровенно субъективной форме, а художественно, что только усложнило задачу писателя, уверенного, что «художество требует еще

гораздо большей точности, чем наука».

И как всегда, когда Толстой обращался к сюжетам историческим (пусть это и недавняя история, в отдельных эпизодах которой он сам участвовал); ему понадобилась целая библиотека книг о Кавказе, исламе, Николае I. Глава о Николае много раз переделывалась и переписывалась. Книги историков разочаровывали, а многие важные документы добыть было трудно. Толстой остро нуждался в непредвзятых свидетельствах современников о частной жизни императора. С этой целью он обращается ко многим лицам (разумеется, и к любезному и обязательному, пишущему об истории великому князю Николаю Михайловичу), могущим сообщить нужные факты или предоставить доступ к закрытым документам. Александрин в ответ на ее удивленное письмо Толстой пояснил, почему ему понадобились свидетельства об императоре и что именно его особенно интересует:

«Я пишу не биографию Николая, но несколько сцен из его жизни мне нужны в моей повести „Хаджи-Мурат“. А так как я люблю писать только то, что я хорошо понимаю... то мне надо совершенно, насколько могу, овладеть ключом к его характеру. Вот для этого-то я собираю, читаю всё, что относится до его жизни и характера... Мне нужно именно подробности обыденной жизни, то, что называется *la petite histoire*».

Толстой так увлекся работой над сценами из жизни Николая I, что они грозили превратиться в самостоятельное произведение, но уже не художественное, а публицистическое — трактат о «психологии деспотизма», механизме самодержавной власти с очень далекими выводами и обобщениями. И всё же он не пошел на разрушение художественной структуры повести, допустив лишь некоторую деформацию, ограничился одной главой, несмотря на великое искушение высказаться подробнее и откровеннее. «Николаевские» фрагменты десятой редакции повести Толстой отчасти использовал в политической публицистике (особенно в трактате «Единое на потребу»).

В окончательном тексте Толстой как публицист максимально устранился. Избегая прямых суждений, он тщательно описывает внешность императора, выражая свое брезгливое отношение к этому «грубому, необразованному, жестокому солдату». Портрет самодержца сродни резким, шаржированным зарисовкам в романе «Воскресение»: восковая маска, кукла со взглядом василиска и тусклыми безжизненными глазами. В основном Николай I показан «изнутри»: как бы тщательно отредактированная стенографическая запись «внутреннего голоса» царя, в которой ясно различимы интонации и суждения слегка заgrimированного

Толстого. Но и такое компромиссное слияние публицистики и художественного слова вызывало некоторое неудовольствие Толстого. Сохранилось свидетельство Кони, должно быть, истинное: «Толстой считал главу о Николае Павловиче неоконченной и даже хотел вовсе ее уничтожить, опасаясь, что внес в описание не любимого им монарха слишком много субъективности в ущерб спокойному беспристрастию». Основания для таких опасений, безусловно, были.

Отказался Толстой и от «лестницы власти» со строго определенной долей ответственности каждого члена государственной машины. Но формула насилия и произвола не исчезла, она вошла в художественную ткань, в сюжет повести. Сразу же после главы, в которой гневными и резкими мазками набросан портрет самодержца, следует летописный рассказ о карательной экспедиции — непосредственные и зримые плоды предписания монарха, поэтапно доставленного на театр военных действий («Чернышев написал Воронцову, и другой фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис»). Так заканчивается 15-я глава, а в следующей обозначен конечный пункт зловещего маршрута: «Во исполнение этого предписания Николая Павловича, тотчас же, в январе 1852 года, был предпринят набег в Чечню». Николаевская и две последующие главы связаны мотивами жестокости, насилия, деспотического произвола — образное воплощение толстовской концепции чудовищной государственной власти. В повествовании наступает перерыв: история Хаджи-Мурата отступает на задний план, художественная мысль максимально приближается к публицистической, не сливаясь с ней. Чувство меры не позволило Толстому ввести в небольшую повесть развалившие бы ее рассуждения и сентенции, с его точки зрения, верные и справедливые, но уместные «в трактате, собрании афоризмов», а не в художественном произведении.

Николай I и Шамиль, мельком упомянутые в первой редакции, в окончательном тексте стали главными героями двух особенно идеологически насыщенных глав. Один из мемуаристов пересказывает произнесенные Толстым в самом разгаре работы над повестью слова о месте этих исторических персонажей в произведении:

«Приходится окунуться с головой в эпоху Николая и пересмотреть большой материал — и печатный и рукописный. И всё это, быть может, только для того, чтобы извлечь какие-нибудь две-три черты, которых читатель, пожалуй, и не заметит, а между тем они очень важны. Меня здесь занимает не один Хаджи-Мурат с его трагической судьбой, но крайне любопытный параллелизм двух главных противников той эпохи — Шамиля

и Николая, представляющих как бы два полюса властного абсолютизма — азиатского и европейского...»

Как частные люди Николай I и Шамиль, скорее, антиподы. Они сопоставлены как властелины, деспоты, но не в жесткой и однолинейной публицистической манере, а художественно тонко. И если «непропорциональная» николаевская глава стоит особняком в художественной структуре повести, то этого никак не скажешь о шамилевской, безукоризненно входящей в сюжетную линию истории Хаджи-Мурата, ускоряющей трагическую развязку: именно здесь легендарный имам туго натянул «конец веревки», предопределив тем самым бегство мятежного наиба; что касается императора, то он, в сущности, хотя и невольно, облегчил участь «страшного горца», не согласившись с жестоким планом изоляции, предложенным военным министром, создав возможность побега пленника.

Рассказ о Шамиле начинается с мотива лжи; описывается возвращение имама после сражения, в котором он, «по мнению русских, был разбит и бежал в Ведено, по его же мнению и мнению всех мюридов, одержал победу и прогнал русских». Подлинная картина сражения была в повести изображена раньше. Ложь очевидна, и она отчасти похожа на русскую военную «реляцию»: «В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле <„боестолкновения“> легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около ста человек убитыми и ранеными». Реляция — образец рутинной, обыденной фальсификации истории, незатейливый психологический механизм которой много раз был продемонстрирован Толстым в «Войне и мире» и описан — со ссылкой на личный опыт — в статье «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“». Толстой в повести не акцентирует внимание на наивном характере «хвастливой лжи». Просто ложь, бесконтрольно, автоматически проникающая в сочинения историков. Чем проще такая ложь, тем лучше. Потому-то здесь неуместны и нежелательны перемены: современные российские сводки, зачитываемые генералами с фамилиями, заимствованными из произведений Гоголя, выдержаны в традиционном духе (стилистика другая и много новых слов и словообразований, но суть всё та же) — число убитых и раненых в Чечне боевиков, кажется, намного превосходит число жителей горного края, а некоторых полевых командиров уже несколько раз хоронили, так что следует предположить, что там приходится сталкиваться с зомбированным противником.

Ложь мюридов еще больше не соответствует действительности, чем

военные российские реляции, что, как оказывается, прекрасно в душе понимает Шамиль, который «несмотря на гласное признание своего похода победой, знал, что поход его был неудачен, что много аулов чеченских сожжено и разорено, и переменчивый, легкомысленный народ, чеченцы, колеблются, и некоторые из них, ближайшие к русским, уже готовы перейти к ним, — всё это было тяжело, против этого надо было принять меры, но в эту минуту Шамилю ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать». Поклонение и лесть окружающих не заглушили в Шамиле понимания реальной ситуации; ложь, понятно, необходима, а иногда спасительна, но она не может и не должна скрывать истину, которую надо знать и в соответствии с ней действовать. Шамиль здесь противоположен русскому императору, давно уже не замечающему собственных противоречий, стершему грань между ложью и правдой.

Превосходен портрет Шамиля. Казалось бы, монументальная неподвижность имама («лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было, как каменное, совершенно неподвижно») сближает его с окостеневшим Николаем. Однако это внешняя близость. В царе неподвижность и окаменелость уже не маска властителя, а суть, омертвление, безжизненность. Неподвижность Шамиля — характерная «азиатская» черта, стиль поведения, освященный вековой традицией. Как будто перекликается с некоторыми деталями простого быта Николая и непритязательная одежда имама. На самом деле и здесь можно говорить лишь о внешнем сходстве. Скромный наряд Шамиля, контрастируя с роскошным убранством свиты, естественен, «предписан», эффектно создает «впечатление величия», жесткая постель и плащ Николая I — бездарное лицедейство, подражание Наполеону.

Толстой дает обобщенный портрет «азиатского» деспота, почти лишенный индивидуальных черт. Тем сильнее впечатление от всегда прищуренных маленьких глаз Шамиля — прорыв сквозь всеобщее в личное, в «преисподнюю» деспота. Прищуренные глаза имама, в которых сконцентрировалось всё злое, жестокое, вероломное, вселяют не меньший ужас, чем холодный взгляд Николая I. Почти во всем противопоставленные, разные, Николай I и Шамиль совпадают в надындивидуальной и наднациональной плоскости деспотизма, неограниченного самовластного произвола. Так Толстой достиг «крайне любопытного параллелизма», но не прямолинейными сопоставлениями двух деспотов и «полюсов» деспотизма (этого в повести нет), а неуловимым смещением повествования вглубь, подспудным сцеплением художественных мыслей.

Важно здесь сказать еще об одном. Совершенно различны среда,

окружение царя и имама. В безжизненном мире Николая всё лживо и пусто. Отрегулирован и бюрократизирован разврат. Искусство уподоблено военному параду голых женщин; его «высшая» и единственная цель — разжигание похоти («После обеда Николай ездил в балет, где в трико маршировали сотни обнаженных женщин»). Хаджи-Мурата и его нукеров сопровождает «поэзия особенной, энергической горской жизни». Ее отблеск падает и на Шамиля («высокая, прямая, могучая фигура»). Восхищают легкость, гибкость движений бывшего «силача» и «джигита», трогательная беспомощность «деспота» в домашнем быту. Пусть и скованная этикетом, пульсирует жизнь, присутствует простое человеческое начало.

Расширение повествовательного пространства не привело к размыванию и раздроблению художественной структуры произведения. Побочные, спонтанно возникшие сюжетные линии не заслоняют «давнишнюю кавказскую историю». Как, впрочем, и она не подавляет других, «малых» историй, не скомканных, не прерванных на полуслове, а отделанных и завершенных. Одна из них — история солдата Авдеева и его семьи: сюжет, с точки зрения Толстого, столь же важный для «истории-искусства», как и «описание жизни всей Европы».

Крупным планом показана смерть Авдеева, «важнейшего в этой жизни момента — окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла...».

Другие смерти (кроме, конечно, Хаджи-Мурата) воспроизведены в беглом хроникерском стиле с безжалостным обнажением жестоких подробностей. Гибнут преследующие наиба и его нукеров Назаров, Игнатов («здоровый мужик, хваставший своей силой»), Петраков («молодой, белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый»), Игнатова шашками «полосовали... по голове и рукам» двое горцев, а потом добил кинжалом «рычащий» чеченец Гамзало; он же прирезал раненого и изрубленного Назарова. Два выстрела «сожгли» Петракова. Не бой, а бойня, жестокая и зверская расправа.

Смерть настигает внезапно, и в нее не успевают поверить полные сил и энергии люди. «Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с доброю, сильною лошадей, летел по ровной дороге за Хаджи-Муратом, что ему и в голову не приходила возможность чего-нибудь недоброго, печального и страшного». В ясное небо глядит Петраков, с горестным недоумением уходящий из радовавшей и улыбавшейся ему жизни, — он «лежал навзничь с изрезанным животом, и его молодое лицо было

обращено к небу, и он, как рыба, всхлипывая, умирал».

Резня — а сигналом к началу ее послужил выстрел Хаджи-Мурата — восполняет существенный пробел в образе «страшного горца», освещает те черты его личности и «разбойничьей» жизни, о которых в повести упоминается глухо и косвенно. Картина резни абсолютно необходимо вошла в повесть вместо одной ненаписанной главы из биографии Хаджи-Мурата, содержание которой контурно обозначено в хоре голосов, обсуждающих в тифлисском дворце Воронцова личность баснословного наиба: «Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть пленных; но и на это было обычное возражение: „Что делать? А la guerre comme a la guerre“. В третьей редакции этот мотив звучал отчетливее, резче: „Так вот он какой! Лицо доброе, а какой зверь“, — подумал полковой командир, вспоминая, как два года тому назад они нашли перерезанными по приказанию Хаджи-Мурата двадцать шесть человек пленных во взятом ауле».

Толстой не развернул этот мотив и выбросил присутствующую почти во всех редакциях законченную сцену экзекуции горцев, психологически хорошо объяснявшую корни ненависти Хаджи-Мурата к русским, причину, побудившую его примкнуть к хазавату. Вместо этого в повести — уравнивающие друг друга карательный поход на аул и описание истребления конвоя. Толстой избегает прямых ассоциативных сцеплений, заменяя их внутренними, неявными скрещениями художественных мотивов. Казалось бы, тавлинская легенда о соколе (ее сюжет заимствован из книги брата Николая «Охота на Кавказе» — память о Николеньке) связывалась в воспоминаниях наиба с обликом сына. Толстой дорожил такими художественными сцеплениями. И всё же он на самой поздней стадии «подмалевки» текста повести связь ликвидировал, выбросил замечательную сцену восхождения сына на гору с соколом. Связь, видимо, показалась Толстому нарочитой, сочиненной, которую могли принять за «фантазию» автора. Можно сожалеть о чрезмерной щепетильности, даже мнительности Толстого-художника, но нельзя не признать логики этой «жертвы», лишь одной в длинном ряду других, в гораздо большей степени оправданных. Так, Толстой решительно сокращает всё связанное с «воинственной поэзией», которой более всех одержим Бутлер, и ее разоблачением. Мертвая голова наиба ничего не оставляет от утешительной, поддерживающей слабеющий дух героя лживой поэзии. Смятение Бутлера, горькое разочарование в предварительных редакциях непосредственно связаны с демонстрацией головы: «„Да как же было дело?“ — спрашивал Бутлер, испытывая страшное болезненное чувство

жалости к этому убитому милому человеку и омерзения, отвращения и ненависти даже к тем, которые сделали это, к тем, которые, сделав это, гордятся этим, показывают тот ужас, который они сделали. Вид этой головы сразу отрезвил его. Вся поэзия войны сразу уничтожилась, и ему стало физически больно и стыдно». Рассуждения и описание чувств героя Толстой отбросил, оставив недоуменные и растерянные вопросы («Как же это? Кто его убил? Где?»). Но конечно, преднамеренно расправе над конвоирами в повести предпослана «демонстрация» головы Хаджи-Мурата (результат предваряет в художественном пространстве повести рассказ о событии: читателю известен итог уже после пролога, но, в сущности, он ничего не знает, ему постепенно будет открываться герой и его история). Звучит стандартная реплика («На то война») и ее эмоциональное опровержение: «Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна. — Какая война? Живорезы, вот и все. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право...»

Иван Бунин, всегда восторженно отзывавшийся о кавказских повестях Толстого, как о недостижимых образцах художественного творчества, говорил Анатолию Бахраху: «Не знаю, читали ли вы неизданные отрывки из „Хаджи-Мурата“, опубликованные несколько лет тому назад. Среди них есть сцена, в которой хорунжему показывают мертвую голову Хаджи-Мурата. Я не знаю более жуткой сцены во всей мировой литературе. Я много раз ее перечитывал, и каждый раз мной овладевает какой-то мистический ужас, волосы поднимаются на голове...» Как бы Бунин поразился, узнав, что показ отрезанных голов миллиардам телезрителей станет обыкновенным явлением в новом XXI столетии. Возмущаются этим средневековым варварством, понятно, и сегодня, но удивляться перестали — тут замечены несомненный прогресс и успешное преодоление мистического ужаса, свойственного некоторым чересчур уж нервным литераторам прошлого (до победы постмодернизма). Но это так, реплика в сторону и по поводу.

Чем дольше длилась работа над повестью, тем аскетичнее, суше становился стиль. Внутренние монологи и оценивающее, аналитическое слово автора занимают скромное место в повествовании, как будто спонтанно, по своим внутренним законам разворачивающемся. Тщательно убираются «леса», «излишняя» психология, авторские суждения. Сильно возрастает роль, так сказать, «внешних» деталей. Динамика явно преобладает над статикой. Даже пейзаж динамичен, движется и замирает, точно копируя «маневры» солдат: «Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам деревьев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко

блестя между оголенных ветвей деревьев».

Художественный мир повести только в последней редакции становится подобен тому многокрасочному полю цветов, с развернутого описания которого начинается пролог (пейзаж-аллегория, пейзаж-размышление, пейзаж-притча). Поле — аллегория жизни, пестрой и бесконечно разнообразной. Осторожно, проулочком, в холодный ноябрьский вечер «въезжает» в повесть Хаджи-Мурат, начиная свой последний путь к трагической развязке, уже предсказанной в прологе. А параллельно пути героя постепенно оживает поле жизни, наполняется людьми, страстями, интригами, звуками, запахами. Повествование разворачивается «вширь», психологически и географически: Тифлис, русское село, Ведено, Петербург.

Для Толстого Хаджи-Мурат долгое время был фигурой неясной и загадочной. Ключ к судьбе и характеру наиба, легендарного кавказского «Мюрата», найти оказалось необычайно трудно. Документы, воспоминания очевидцев предоставили в распоряжение писателя весьма скудное количество противоречивых свидетельств, на основании которых можно было восстановить более или менее достоверную хронику событий, «внешнюю» биографию героя. Даже рассказ самого Хаджи-Мурата в передаче Лорис-Меликова разочаровывал. Не прослушивался «голос» героя: почти всё было уложено в прокрустово ложе стертых канцелярских фраз, клишировано, переведено на язык бесцветных «реляций». Толстой вдохнул жизнь в мертвый документ, сделал обратный «перевод» — в поэтическом переводе писателя зазвучал голос остроумного, страстного, мудрого человека. Документ стал «поэтической правдой», находящейся в согласии с известной (доступной) Толстому «исторической правдой».

Надо сказать, что суждения историков и мемуаристов несколько не мешали Толстому, даже удовлетворяли именно неопределенностью, гипотетичностью, растерянностью перед многосложным скрещением обстоятельств. Толстой отдал предпочтение версии Ольшевского, объяснявшего побег Хаджи-Мурата «не какими-либо колебаниями или вероломными замыслами против русских, а просто страстной любовью к своей семье, к детям. Он особенно обожал своего старшего сына и не мог снести тоски по разлуке с дорогими и для этого зверя существами: с его женою и детьми». Писателю не нужно было переводить конфликт между наибом и имамом в этическую плоскость. Это уже было сделано. Он усилил мотивы любви Хаджи-Мурата к семье и всё возрастающей тоски героя, неминуемо разрешившиеся уходом в горы. Приняв решение, герой немедленно приступает к делу. Толстой не берется предрекать дальнейшие

шаги «непредсказуемого» героя, но не потому, что отказывается от преимуществ всезнающего автора. Они не представляются ясными и даже столь уж важными самому герою, для которого главное — движение, действие, а не грядущие и гадательные результаты и последствия: «Выведет ли он семью назад к русским, или бежит с нею в Хунзах и будет бороться с Шамилем, — Хаджи-Мурат не решил. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это решение в исполнение». Никакой предположительности, напротив, ясное объяснение, вытекающее не из документированных «источников» (таковых нет и быть не может), — художественная правда, согласная с концепцией личности, с уже сложившимся характером героя.

Толстой смягчил характеристику героя. Теневые черты личности, о которых немало говорится в предварительных редакциях, в окончательном тексте или отсутствуют, или лишь слегка намечены. Ни в Хаджи-Мурате, ни в сопровождавших его нукерах (кроме Гамзало) нет чувства ненависти к русским, фанатичного духа бойцов хазавата и слепой веры в Шамиля. «Весельчак» и «кутила» Хан-Магома, психологически близкий упивающемуся «воинственной» и «горской» поэзией Бутлеру, легкомысленно играет своею и чужими жизнями и совершенно не разделяет мнения Гамзало о Шамиле — ученом и святом человеке: «Святой был не Шамиль, а Мансур... Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески и каялся в грехах, и каялся не делать дурного. Старики говорили: тогда все люди жили, как святые, — не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь...» Времена Мансура — легенда об утраченном «золотом веке», к которому возврата нет, да и не в интересах Хан-Магомы это возвращение: он прекрасно себя чувствует в новое, «упадническое» время, позволяющее жить весело и свободно, не очень обременяя себя религиозными запретами.

Хаджи-Мурат, конечно, не Хан-Магома: легкомысленное отношение к религии ему чуждо, он строго блюдет обряды. Но и не религиозный фанатик. Метания, «измены» Хаджи-Мурата долгое время были фундаментом истории героя. Отказавшись от намерения тесно и непосредственно связать в повести судьбу Хаджи-Мурата со священной войной против «гяуров», Толстой на задний план отодвинул и рассказ о трех «изменах», мотив «обмана веры».

Один за другим отпали или остались в редуцированном виде и другие,

близкие к названным, мотивы, занимавшие ключевое положение в других редакциях. Автор не присоединяется, сохраняя нейтралитет, ни к одному из множества мнений персонажей повести, «позволяя» себе, правда, иногда оценивать искренность и подноготную суждений (гости Воронцова просто тифлиссские льстецы, угождающие хозяину). Мнение большинства («история эта представлялась или счастливым оборотом в Кавказской войне, или просто интересным случаем...») мало занимает Толстого. Наибольшее значение для него имеют впечатления непредвзятые и простодушные, не отягощенные политическими соображениями. Таковым является недоуменное чувство Полторацкого, с жадностью разглядывавшего прославленного наиба и ничего похожего на рисовавшийся в его подогретом рассказами сослуживцев воображении портрет разбойника не обнаружившего: «Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским простодушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное: это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, пронизательно и спокойно смотрели в глаза другим людям».

Внешне — полный контраст с образом из мрачной и кровавой легенды. Но почему, собственно, внешне? Хаджи-Мурат, увиденный глазами Полторацкого, — это настоящий, доподлинный Хаджи-Мурат. Таким его видят и другие герои повести. Таков наиб в представлении сдружившегося с горцем Бутлера. А для Марьи Дмитриевны он не враг и разбойник. Просто несчастный человек, тоскующий о семье. Она не верит (как и автор, в отличие от Воронцова и Лорис-Меликова) в коварные планы Хаджи-Мурата, с досадой реагирует на реплики Петраковского и Ивана Матвеевича: «Неделю у нас прожил; кроме хорошего ничего от него не видали... Обходительный, умный, справедливый... зачем осуждать, когда человек хороший. Он татарин, а хороший». Впечатления Бутлера и Марьи Дмитриевны особенно ценны тем, что с ними Хаджи-Мурат чувствует себя свободно. Не пленником в стане врагов, вынужденным дипломатничать и вести политическую игру, а другом и гостем, частным человеком в домашнем быту. Наконец Толстой окончательно закрепит жутким и неотразимым аргументом мнение Полторацкого, Бутлера, Марьи Дмитриевны — описание мертвой головы наиба: «Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение».

Жесты, движения, мимика — всё это гармонично сливается в

экспрессивный и динамичный портрет Хаджи-Мурата, который скуп на слова (за исключением рассказа о своей жизни), верный пословице: «Веревка хороша длинная, а речь короткая». Движения выразительнее слов, редко роняемых героем. В них ярче отражается характер, чуждая рефлексии натура наиба, бездействие для которого хуже адских мук, а настоящая жизнь — вечная борьба и движение, вызов судьбе. В этой «внешней» плоскости уверенно находит Толстой «ключ» к личности и истории героя. Именно потому он и забрасывает корреспондентов вопросами о «мелочах», «частностях», «подробностях». В письме к вдове начальника города Нухи он представил большой реестр таких вопросов: «1) Говорил ли он хоть немного по-русски? 2) Чьи были лошади, на которых он хотел бежать? Его собственные или данные ему? И хорошие ли это были лошади и какой масти? 3) Заметно ли он хромотал? 4) Дом, в котором жили вы наверху, а он внизу, имел ли при себе сад? 5) Был ли он строг в исполнении магометанских обрядов: пятикратной молитвы и др.?.. Еще вопрос: 6) Какие были и чем отличались те мюриды, которые были и бежали с Хаджи-Муратом? И еще вопрос: 7) Когда они бежали, были ли на них ружья?»

Далеко не на все вопросы Толстой получил удовлетворительные ответы. Многие подробности стерлись в памяти современников. Это не только вопросы к корреспондентам, но и пометы для себя. Отвечать всё равно необходимо, пусть даже домысливая, сочиняя, фантазируя.

Воспользовался Толстой и другой привилегией художника — осветил внутренний мир героев, связал «диалектику души» с «диалектикой событий». Формы «сцепления» мыслей во внутренних монологах таких героев, как Пьер Безухов и Константин Левин, в этой повести были бы неуместны, выглядели бы нестерпимой фальшью. Толстой здесь редко прибегает к неразвернутым внутренним монологам, чаще вклинивает их в авторское слово (пересказ). Только в четвертой главе он счел необходимым познакомить читателя с мыслями героя, честолубивыми и суетными: «Он представлял себе, как он с войском, которое ему дает Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему». Потом наиб во сне упивается местью врагу, «с своими молодцами, с песнью и криком „Хаджи-Мурат идет“, летит на Шамиля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены». Толстой не оценивает, не «комментирует» прямо мысли и мечты героя; он их «пересказывает», делая невидимое, внутреннее зримым. Нисколько не приукрашивает и не идеализирует наиба, но бесстрастно

показывает всю тщету его грез, разительное несоответствие с тем, что происходит в действительности: «Песня „Ля илла-ха“ и крики „Хаджи-Мурат идет“ и плач жен Шамиля — это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его». Тоска по семье, печальные вести, получаемые от лазутчиков, вытесняют честолюбивые мечты. В последний раз они молниеносно промелькнули в голове Хаджи-Мурата ночью перед самым принятием решения, но как-то вяло и неуверенно.

Приняв авантюрное, безумное решение, Хаджи-Мурат изъясил себя из сферы политических расчетов и интриг, порвал связывавшие его путы. Последнее бегство героя — возвращение к истокам, к той незамутненной поре, о которой он забыл в беспокойной, насыщенной военными походами и изменами жизни. Воспоминания детства — вот та часть прошлого героя, которую он опустил или не счел нужным рассказать Лорис-Меликову. Таким воспоминаниям, как правило, нет места в «историях»: они таятся в глубине души и, как всё сокровенное, бережно хранятся, в особенные критические мгновения всплывая на поверхность. Начиная с двадцатой главы, всё сильнее вторгается в повествование «поэзия особенной, энергической горской жизни». Первая песня — о кровомщении — исполняется, правда, в «угождение» Бутлеру, но отвечает вкусам и настроениям Хаджи-Мурата, который «всегда слушал эту песню с закрытыми глазами, и когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил: „Хорош песня, умный песня“». Песня из давнего прошлого героя — напоминание о брате Османе и молочном брате, силаче Абунунцал-Хане, всё еще не отомщенных.

Сказка о соколе, завершающая XXI главу, — мрачное пророчество и поэтический переход к следующей, самой лиричной главе повести. Ночь перед побегом изображена как некое таинство, праздник жизни, вливающийся в душу воспрявшего от мучительных сомнений героя: «Как только он вышел в сени с отворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи и ударили в уши свисты и щелканье сразу нескольких соловьев из сада...» Во время второго выхода в сени к громкому свисту и щелканью соловьев подключаются другие, приглушенные звуки: «равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала», песня о Гамзате — мелодия смерти среди пира жизни: «Ему подумалось, что это так и будет, и ему вдруг стало серьезно на душе». Вот в эту-то поэтическую ночь и вспомнились Хаджи-Мурату детство, образ и песня матери (так называемая колыбельная, автором которой, по всей видимости, является Толстой). Вспомнилась мать — не старая и сгорбленная, а молодая, красивая и сильная, носившая его

пятилетнего в корзине через горы к деду, морщинистому и с седой бородой, чеканившему жилистыми руками серебро. «Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел с матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку».

Потом он мыслями перенесся в более близкое время. Вспомнил любимого сына-красавца Юсуфа, его тонкий, длинный стан и длинные сильные руки ловкого, гибкого юноши, которого собирался ослепить Шамиль. Далее вспоминать было нечего. Надо было действовать.

Песни о Гамзате и о кровомщении («Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо») из фольклора переносятся в жизнь, а реальная, земная жизнь Хаджи-Мурата предстает его умирающему сознанию бессвязной, хаотичной, с головокружительной быстротой мелькающей вереницей лиц: «То он видел перед собой силача Абунунцал-Хана, как он, придерживая рукою отрубленную, висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага; то видел слабого, бескровного старика Воронцова, с его хитрым белым лицом, и слышал его мягкий голос; то видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное, с рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля». Пестрый, разноликий хоровод, до которого ему уже нет никакого дела. Образы, промелькнувшие в голове героя, тут же погасли. Все пути и связи сами собой оборвались: «И все эти воспоминания пробежали в его воображении. Не вызывая в нем никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Всё это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него». Смерть Хаджи-Мурата, как и смерть Андрея Болконского, — возвращение «к общему и вечному источнику», «пробуждение» и освобождение: еще одна вариация постоянной темы Толстого.

Здесь Толстой обычно ставил точку. Не так в «Хаджи-Мурате». Простившийся с жизнью и отрешившийся от всего земного герой по инерции продолжает двигаться, «делать начатое». Уже бездыханный, он всё еще чувствует, «что его молотком бьют по голове», и не может «понять, кто это делает и зачем». Озверевшим врагам Хаджи-Мурат представляется заговоренным от смерти. Они «топтали и резали то, что не имело уже

ничего общего с ним». Кольцо повествования замыкается: последние нарастающие звуки — не торжествующие визги и веселые слова «живорезов», «охотников», собравшихся над трупом «хищника», а чистая мелодия жизни — пение соловьев, смолкнувших было во время боя. Финал симфонии, возвращающий к начальным тактам, к увертюре: «Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля». Краткое напоминание, размывающее границы повести, которая, можно сказать, перестает быть только «исторической», превращается в Слово о человеческой судьбе, неиссякаемых источниках жизни, о мироздании, таинственном, как «вечно прелестные, вечно изменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снеговые горы». На последнем сюжетном витке «история» исчезает, трансформируясь в легенду. Повесть — не реалистическая хроника, а «мифологизированный эпос» (определение Харальда Блума в книге «Западный Канон»), а ее главный герой ближе всего к персонажам трагедий и хроник Шекспира. Повесть, как остроумно сказано в той же книге Блума, стала своеобразным «ироническим триумфом» драматурга над писателем, так яростно с ним враждовавшим.

Развертывание истории «вширь», создание панорамной картины жизни («поля») оказалось совершенно необходимым делом, позволившим легенде обрести реальную, осязаемую «видимость». Легенда вовсе не исчезла, пожалуй, еще поэтичнее и символичнее стала фигура Хаджи-Мурата. Толстой легендами дорожил нисколько не меньше, чем фактической стороной дела. Получив от великого князя Николая Михайловича книгу «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича», Толстой, обратившийся к этому же историко-фольклорному материалу, отвечал: «исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Кузьмича», тем не менее «легенда остается во всей своей красоте и истинности». А Толстого привлекала именно легенда об императоре и старце: «Прелестный образ».

У повести Толстого исключительно высокая репутация. Марк Алданов даже однажды сказал своему другу Бунину: «Великая русская литература кончилась на „Хаджи-Мурате“...» Людвиг Витгенштейн в ответ на слова Н. Малькольма о войне как о скучном деле выслал ему повесть Толстого, пояснив свой жест: «Надеюсь, что ты много почерпнешь из нее, потому что много в ней самой». Об авторе же книги сказал: «Это *настоящий* человек, у него есть *право писать*». Между тем он не смог дочитать роман «Воскресение» до конца и объяснил почему: «Видишь ли, когда Толстой просто повествует о чем-либо, он воздействует на меня бесконечно сильнее, чем когда он адресуется читателю. Когда он поворачивается к

читателю спиной, тогда он производит *наиболее* сильное впечатление... Его философия представляется мне самой верной, когда она *скрыта* в повествовании». Иначе говоря, Витгенштейна отталкивала слишком явно присутствующая в романе «Воскресение» тенденция, мешал указующий перст автора. И гораздо больше привлекало «чистое» повествовательное искусство Толстого в «Хаджи-Мурате».

Х. Блум полагал, что это лучший маленький роман во всей мировой литературе, по крайней мере из того, что ему пришлось прочитать. Борис Эйхенбаум, книги и статьи которого представляют одно из отрадных исключений в прожженной руководящими цитатами из Ленина пустопорожней литературе о Толстом, где неумоимо «анализируются» «кричащие противоречия», хорошо сказал еще в двадцатые годы о повести «Хаджи-Мурат»: «Тут Толстой точно отдыхает от борьбы с искусством и вольно отдается своему отдохновению. Творчество как бы естественно завершилось. Оставалось разрешить проблему жизни. Она разрешилась уходом из дома и смертью на станции Астапово 7 ноября 1910 года».

«Удирать, надо удирать»

В творчестве позднего Толстого мотивы бегства-ухода, в чем-то соприкасающиеся и параллельные героическому исходу Хаджи-Мурата, встречаются часто. Это и незаконченная повесть (очень хотел завершить, но уже не было сил) «Посмертные записки Федора Кузмича» — исповедь семидесятилетнего умирающего старика, вдруг решительно переменившего «участь», пожелавшего «уйти так, чтобы никто не знал и чтобы пострадать». И небольшой рассказ «За что?», потребовавший от Толстого знакомства с целой библиотекой книг о Польше и восстании 1830 года: история тщательно продуманного и трагически завершившегося побега. И драма «Живой труп» с трагической развязкой (жестокий цыганский романс). И повесть «Отец Сергей» (антижитие с героем антисвятым, по определению А. Гродецкой), один из последних шедевров Толстого — о бегстве героя, растянувшемся на десятилетия, и преодолении им искушений и соблазнов, из которых самым сильным и трудноодолимым является соблазн славы мирской, — реализация мысли, динамично изложенной в дневнике: «Он узнал, что значит полагаться на Бога, только тогда, когда совсем безвозвратно погиб в глазах людей. Только тогда он узнал твердость, полную жизни. Явилось полное равнодушие к людям и их действиям. Его берут, судят, допрашивают, спасают — ему всё равно. Два

состояния: первое — славы людской — тревога, второе — преданность воле божьей, полное спокойствие». Достичь такого почти буддистского полного спокойствия необыкновенно трудно. Князь Касатский проходит через несколько «психологических стадий», и Толстой как можно усложняет этот путь постепенного освобождения, очищения, просветления: «Надо, чтобы он боролся с гордостью, чтоб попал в тот ложный круг, при котором смирение оказывается гордостью; чувствовал бы безвыходность своей гордости и только после падения и позора почувствовал бы, что он вырвался из этого ложного круга и может быть точно смиренен. И счастье вырваться из рук дьявола и почувствовать себя в объятиях Бога». Длинный путь к совершенству, достичь которого нельзя, но стремиться приблизиться к нему необходимо. Путь, вектор направления которого выражает лаконичная формула: «Чем меньше имело значение мнение людей, тем сильнее чувствовался Бог».

Завершил Толстой, после тринадцати переделок, в 1906 году и «историю ушедшего странствовать от жены», о «муже, умершем странником», которую еще в 1879 году он услышал от Щеголенка, занеся ее в записную книжку под названием «Иван Павлов». Щеголенок рассказал о богатом мужике Павлове, поселившемся в Петербурге и узнавшем, что его жена, оставшаяся в деревне, забеременела, а потом и родила. Известие потрясло Павлова. Он заплакал, а потом и «решил свое жите» — ушел странствовать по миру. Вернулся через много лет стариком с белой бородой, переночевал, не сказавшись, кто он, в своем доме, одарил детей гостинцами и дальше пошел. Узнал Павлова Щеголенок, а от него о возвращении отца — старший сын старика Логин. Послали искать «старика пропащего». Нашли уже умершим в соседней деревне: «Тужил, попа взяли и помер. Накрыто тряпкой. И немый».

История Ивана Павлова и легла в основу рассказа «Корней Васильев». Толстой взял лишь отдельные элементы фабулы истории: уход — возвращение — смерть (исход). Психологически насытил повествование, населив его героями со скупой и броской обрисованными характерами. Устранил мотив прелюбодеяния — жену Корнея Марфу, судя по всему, оклеветали. Сильно преобразил концовку. Не с гостинцами детям, как Павлов, возвращается после семнадцатилетнего странствия Корней, а с обидой и горечью, бессильной злобой («„Радуйся, до чего довела меня!“ — думал он про жену, и, по старой привычке, старые и слабые руки сжимались в кулаки. Но и бить некого было, да и силы в кулаках уже не было»), всё больше и больше разгоравшейся. Просветление наступает позднее, после встречи с искалеченной им давно в припадке ярости

малолетней дочерью (они, по сути, не узнали друг друга), накормившей и приютившей незнакомого странника, с немым племянником, подавшем ему ломоть хлеба и как будто узнавшем дядю, которого некогда провожал в оказавшуюся очень долгой дорогу, с сыном Федькой, повторением его в молодости, но в несколько уменьшенном и иссушенном виде (незадолго до ухода подарил сыну книжку с картинками), с женой, узнавшей, но не пожелавшей признать мужа. Злоба проходит бесследно, сменяясь другим, благостным чувством (такого же рода преобразование происходит с «хозяином» Брежуновым и другими хищными и гордыми героями Толстого: один из ведущих мотивов творчества писателя после религиозного переворота): «Он испытывал какое-то особенное, умиленное, восторженное чувство смирения, унижения перед людьми, перед нею, перед сыном, перед всеми людьми, и чувство это и радостно и больно раздирало его душу». Умирает Корней со свечкой в руке в доме дочери, попросив перед смертью у нее прощение. Рассказ получился какой-то чересчур умильный, сентиментальный, со счастливым концом. Толстой это, конечно, почувствовал и воздержался от всеобщих объятий и прощений. Марфа не успевает к умирающему мужу, которого давеча со злобой прогнала: «Ни простить, ни просить прощенья уже нельзя было. А по строгому, прекрасному, старому лицу Корнея нельзя было понять, прощает ли он или еще гневается».

Всё же рассказ вышел схематичным и морализаторским (схематизм и обнаженная тенденциозность присущи и некоторым другим поздним произведениям Толстого — в частности, раньше непременно входившему в школьные программы рассказу «После бала»). Не столько интересен сам по себе рассказ, сколько впечатляющий факт — равнодушие Толстого к рассказу о муже, ушедшем странствовать от жены, который «стоит и можно обработать, как должно», четверть века жившему в сознании писателя и только за несколько лет до его ухода из Ясной Поляны законченному.

Мысль об уходе посещала Толстого и в 1880-е годы. Когда семейные отношения становились совсем невыносимыми, предпринимались уже и первые шаги, сочинялись прощальные письма — они не передавались, отправлялись в архив, прочитывались позже (некоторые после смерти), а Толстой уже с дороги (так было в 1884 году, когда родилась дочь Татьяна), передумав, возвращался назад. Но мысль об уходе, манящая и соблазнительная, не исчезала, время от времени ярко вспыхивая, что нашло отражение в письмах, разговорах с близкими по духу людьми, дневниках: «Надо уйти» (1890), «Кажется, пришел к решению. Трудно будет исполнить, но не могу и не должен иначе» (1897). В 1897-м создается и

письмо-извещение об уходе (не передал, просил сделать это после смерти): «И я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать, — уйти, во-первых, потому что мне, с моими увеличивающимися годами, всё тяжелее и тяжелее становится эта жизнь и всё больше и больше хочется уединения, и, во-вторых, потому что дети выросли, влияние мое уже в доме не нужно, и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным мое отсутствие». Объяснение спокойное и деловое — лишь слегка проступают обида и легкая ирония. Речь идет не о каких-то маленьких разногласиях, а о несоответствии жизни верованиям. Просит понять его правильно, отпустить добровольно, не искать, не сетовать, не осуждать. А в 1900 году вновь: «Нынче поднялся старый соблазн» (то есть мысль об уходе).

Уйти, убежать, покинуть Ясную Поляну, разорвать опутавшие его веревки — это желание, то интенсивное, то на какое-то время слабеющее, с возрастающей постепенно силой пульсирует, превращаясь в неодолимый иску́с на протяжении всего последнего десятилетия. Тяжело общение с озлобленными, запутавшимися в годы революции (он писал своему единомышленнику и ближайшему помощнику Черткову в 1905 году: «Чем больше разгорается революция, тем сильнее хочется уйти в себя и не участвовать не только делом или словом, но и обсуждением этого злого дела») знакомыми, соседями. С некоторыми горячими приверженцами пришлось разорвать отношения, как, например, с Михаилом Меньшиковым, — Толстого так возмутили речи критика, что он, бросив салфетку, вышел из-за стола, и Меньшиков тут же, не простившись, уехал из Ясной, дружба в один миг переросла во вражду. Не всех, однако, можно было таким нетерпеливым жестом прогнать.

Нисколько не лучше была и обстановка дома, где продолжался бесконечный конфликт с женой и ухудшались отношения с сыновьями, вызывающе доказывавшими отцу, прекрасно зная его позицию, что смертная казнь — это хорошо. Толстой, больно задетый и возмущенный, сказал Льву и Андрею, что они его не уважают и ненавидят, вышел из комнаты, хлопнув дверями, и не мог прийти в себя два дня. Софья Андреевна вознамерилась посадить в острог яснополянских мужиков, срубивших в ее лесу несколько дубов (борьба с мужиками-преступниками в последующие годы примет ожесточенный характер, объездчик-черкес Ахмет, нанятый графинею, будет старательно осуществлять пору-ценные ему обязанности караульщика). «Минутами находит тихое отчаяние в недействительности на людей истины. Особенно дома. Нынче все сыновья и особенно тяжело. Тяжела неестественность условной близости и самой

большой духовной отдаленности. Иногда, как нынче, хочется убежать, пропасть» (1906). Так в обычном дневнике — еще не пришло время, когда дневник пришлось прятать, заводить особый «тайный» (в 1908 году), где вести отчаянный и откровенный диалог с собой всё на одну и ту же тему: «Опять хочется уйти. И не решаюсь. Но и не отказываюсь. Главное: для себя ли я сделаю, если уйду? То, что я не для себя делаю, оставаясь, это я знаю». «Считал деньги и соображал, как уйти. Не могу без недоброго чувства видеть ее». Недоброе чувство надо прогнать, и оно усилием постоянно тренируемой воли прогоняется. От соблазна ухода, однако, никак не избавиться. Но куда уйти? От кого и от чего? И куда направиться с камнем на душе — ведь оставляет ее, больную, полубезумную. «Уйти можно только в смерть». Желание смерти всё чаще посещает. Но и это соблазн, с которым надо бороться: «Когда спрошу себя: что же мне нужно — уйти от всех. Куда? К Богу, умереть. Преступно желание смерти».

Это всё записи из «потайного» дневника для себя, заведенного Толстым на восьмидесятом году жизни. Этот юбилейный, 1908 год выдался трудным. Толстой часто, долго и тяжело болел. Давали себя знать и грозные признаки старения. Начинался год сравнительно спокойно и благополучно. Зимой он был, согласно письмам Александры Львовны, бодр и здоров, да и вообще всё в Ясной Поляне было спокойно, тихо, мирно. А на Масленице была толпа народа. В марте всё переменялось к худшему. Толстой заболел инфлюэнцей, не преминув по поводу странного названия болезни поиронизировать. Но 2 марта произошло событие, испугавшее всех. Продиктовав в фонограф свой перевод рассказа В. Гюго «Неверующий», Толстой расчувствовался, заплакал, стал громко всхлипывать, прошелся несколько раз по комнате. И вдруг не стали слышны его шаги. Секретарь Гусев так излагает дальнейший ход событий: «Я инстинктивно взглянул в его сторону и вижу — он медленно-медленно опускается на спину. Я подбежал к нему, поддержал его за спину, но не в силах был остановить падение его тела, и на моих руках он медленно опустился на пол. На мой крик прибежала Софья Андреевна, стала целовать Льва Николаевича в лоб, позвала лакея, мы подняли его: он сел на полу, но, видимо, еще не приходил в себя и говорил: „Оставьте меня! Я сейчас засну... Тут где-то подушка была... Оставь, оставь...“ — Мы уложили его на диван. Минут через пять он пришел в себя и ничего не помнил, что с ним было. — Вечером Лев Николаевич встал, вышел в столовую и попросил обедать, но ел очень мало. Он как будто забыл всё — забыл, как зовут его близких родственников, и самые хорошо ему известные места. Не мог вспомнить, где Хамовники...»

Когда прибыли вызванные телеграммами из Москвы врачи Никитин и Беркенгейм, Толстой всё еще не был в памяти. Постепенно оправился, вернулась и память, стал по привычке шутить над врачами и их ремеслом... в духе любимого Мольера. Смеялись и его шуткам, а больше, радуясь выздоровлению Толстого, и врачи. Через месяц случился второй припадок. Как и первый, совершенно неожиданно. 12 апреля после обязательной утренней прогулки Толстой прилег отдохнуть, что также обычно делал. Гольденвейзер с Львом Львовичем играли в шахматы, когда увидели выходящего из дверей Льва Николаевича, произнесшего странную полубредовую фразу (слуховая галлюцинация — отчетливо звучащий голос умершего брата Дмитрия): «Я так крепко спал, что всё забыл. Иду сюда, Лева говорит, а я не могу понять, кто это говорит, и мне кажется, что это голос Митеньки». За обедом Толстому стало хуже. Он сильно побледнел и был близок к полному обмороку. Очнулся, но появились странные жесты (стал в кастрюльку со сладким класть кусок хлеба, не сознавая того, что делает), вновь заговорил об умершем брате: «Со мной что-то странное: я здоров, но я ничего не помню. Что это, мне приснилось, или правда здесь был брат Митенька?» Силился припомнить тех, кто сидел за столом, не узнавая ни своих, ни чужих. Спрашивал о сыновьях — Сереже и Илье. Ему отвечали встревоженные, напуганные домочадцы, с трудом сдерживавшие слезы. Потом вялым голосом и не вполне внятно вымолвил: «Что вы все так суежитесь? Здоров — здоров, нездоров — нездоров, умер — умер, мне безразлично. А вот, что вы все тут, это хорошо».

Толстому, конечно, были неприятны такие приступы забывчивости, провалы в памяти, словно кто-то вдруг, расшалившись, нажал на delete. Но и в приступах-обмороках он пытался найти что-то успокоительное, полезное: «Я не помню... что же я вчера такого делал?.. Я ничего не помню. Это очень хорошее состояние». Позднее Толстой и почти примирился с потерей памяти, расценив это как благо, своего рода преимущество старости: «У меня пропала память, да совсем, и, удивительное дело, я не только ничего не потерял, а выиграл и страшно много — в ясности и силе сознания. Я даже думаю, что всегда одно в ущерб другому».

И на этот раз припадок миновал, не оставив серьезных последствий. Напротив, голова прояснилась и он смог закончить статью, которая немного не задалась. Можно было и «поганое тело» взбодрить, возобновить утренние верховые прогулки; робкие попытки Софьи Андреевны уговорить его не делать этого успеха не имели, как следует из небольшого диалога, приведенного в дневнике Гусева:

— Куда ты, Левочка?
— Я хочу верхом поехать.
— Ах, Левочка!
— Мне это легче, чем идти пешком.
— Ты уж, Левочка, будь осторожней. А то случится с тобой опять припадок, упадешь и разобьешься совсем.
— Да ведь окончательного припадка не миновать.
— Да, но зачем же нарочно приближать его?
— Это уж как Бог захочет, — ответил Лев Николаевич, быстро выходя из дома.

Верховые поездки стали ежедневными. Толстой оставался верен своим привычкам, наслаждаясь после завтрака ездой на любимом Дэлуре. Ездил, не разбирая дорог в дремучем лесу, ныряя в глубокие овраги, переправляясь через ручьи и болота, взлетая по узким тропкам в гору. Дух замирал, ветки хлестали по лицу, казалось иногда, что уже и не выбраться из чащи, но таков был неумный характер Толстого — он не любил проложенных, протоптанных, уютных и безопасных дорог, джигитствовал подобно своим любимым кавказским героям. Теперь, правда, после приступов его в прогулках сопровождали верный Душан Маковицкий (трясся в отдалении на чалой беспородой кобыле Катьке) и подросшая дочь Александра, так же, как и старшие сестры, обожавшая отца. Толстой и дочь не щадил, обращаясь в том же духе, что и с сыновьями, редко оглядываясь, временами осведомляясь шутливо: «Жива?»

В полном объеме возобновилась литературная и корреспондентская деятельность. Еще откровеннее и бесцензурнее стал язык статей Толстого. Незадолго до знаменательной даты Толстой завершил работу над самой знаменитой своей статьей «Не могу молчать», страстным протестом против ставших обыкновенным явлением в России смертных казней. Толстой давно уже вынашивал замысел такой статьи. Последней каплей, переполнившей чашу гнева, стало сообщение о казни двенадцати крестьян в Херсоне. Н. Гусев свидетельствует в дневнике: «Помню, с каким радостным выражением лица, едва сдерживая слезы, он в тот день, когда начал эту статью, молча показал мне исписанные его размашистым почерком листки бумаги, и когда я спросил: „Это новое?“ — он, с тем же значительным и радостным выражением лица и с теми же слезами на глазах, молча кивнул головою».

Подавленное состояние моментально исчезло. Статья писалась с большим подъемом, на высокой эмоциональной волне, выплеснулась криком ужаса на весь мир. Статью открывали факты, мрачный итог

последних лет:

«Семь смертных приговоров: два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге. Четыре казни: две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе.

И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России, в той России, в которой народ считает преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни.

Помню, как гордился я этим когда-то перед европейцами, и вот второй, третий год непрерывающие казни, казни, казни».

С леденящими подробностями воссоздается картина казни в государстве, лицемерно и цинично называющем себя христианским:

«Двенадцать мужей, отцов, сыновей, тех людей, на доброту, трудолюбии, простоте которых только и держится русская жизнь, схватили, посадили в тюрьмы, заковали в ножные кандалы. Потом связали им за спиной руки, чтобы они не могли хвататься за веревку, на которой их будут вешать, и привели под виселицы. Несколько таких же крестьян, как и те, которых будут вешать, только вооруженные и одетые в хорошие сапоги и чистые мундиры, с ружьями в руках, сопровождают приговоренных. Рядом с приговоренными, в парчовой ризе и в эпитрахили, с крестом в руке идет человек с длинными волосами. Шествие останавливается. Руководитель всего дела говорит что-то, секретарь читает бумагу, и когда бумага прочтена, человек с длинными волосами, обращаясь к тем людям, которых другие люди собираются удушить веревками, говорит что-то о Боге и Христе. Тотчас же после этих слов палачи, — их несколько, один не может управиться с таким сложным делом, — разведя мыло и намылив петли веревок, чтобы лучше затягивались, берутся за закованных, надевают на них саваны, взводят на помост с виселицами и накладывают на шеи веревочные петли».

Толстой обратился к правительству со словами, не услышать которые было невозможно, но не нашлись власти и ответить что-нибудь самому известному во всем мире русскому человеку накануне его восьмидесятилетия. Слова жгли, вызывая бессильную злобу и растерянность:

«Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду.

Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России, и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили

меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же, как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю».

Статья имела невероятный успех, тут же появились переводы на иностранные языки, напечатанные сотнями газет в Европе и Америке, публиковались отрывки и в некоторых русских газетах, за что те, понятно, преследовались. Словом — эффект разорвавшейся бомбы, но гораздо более сильный, чем от террористических взрывов.

Толстой получил много писем — откликов на статью: сочувственных и оскорбительных, что естественно для страны, давно уже переживавшей великую смуту и находившейся в нескольких шагах от катастрофы. Какая-то «русская мать» (псевдоним; возможно, лицо мужеского пола) прислала запакованную в ящике веревку с письмецом, содержавшим «благой» совет: «Граф. Ответ на ваше письмо. Не утруждая правительство, можете сделать это сами. Не трудно. Этим доставите благо нашей родине и нашей молодежи». Толстой ответил и этому, пожелавшему ему участи Иуды Искарота, корреспонденту, выразив сожаление, что вызвал, совершенно не желая этого, такие тяжелые чувства. Просил объяснить причины, вызвавшие недоброе чувство. Подписался: «Соболезнующий и любящий вас *Лев Толстой*». Адрес оказался ложным. Ольга Ивановна Маркова, скорее всего, нигде не проживала.

Появилось в некоторых газетах и краткое поучение о. Иоанна Кронштадтского, содержащее и своеобразное «поздравление» Толстому: «Господи, умиротвори Россию... прекрати мятеж и революцию, возьми с земли хульника Твоего, злейшего и нераскаянного Льва Толстого и всех его горячих, закоснелых последователей, друга евреев Витте, погубившего Россию, даруй Царю мудрость и мужество, пошли ему многих советников благочестивых, мудрых и мужественных, юношество направь на истинный путь, воинство сотвори верным и мужественным... искорени пьянство, прелюбодейство, воровство, грабительство, убийство, непотребства, молодых покори старшим, подчиненных начальникам, подданных Царю, всех повсюду служащих покори начальству и сотвори довольными оброками своими».

Духовенство в Толстом видело злейшего врага и вероотступника, и некоторые влиятельные и темпераментные пастыри поносили его неистово, не стесняя себя в выражениях. Саратовский епископ Гермоген в «архипастырском обращении» протестовал против намерения

«торжествовать юбилейный день анафематствованного безбожника и анархиста революционера Льва Толстого». Толстого архипастырь называл «подлым разбесившимся прелестником», «подлым развратителем и убийцей юношества, проклятым хулителем Бога». Проклятий и оскорбительных слов не жалел, темпераментно выкликая: «Окаянный, презирующий Россию, Иуда, удавивший в своем духе всё святое, нравственно чистое, нравственно благородное, повесивший сам себя, как лютейший самоубийца, на сухой ветке собственного возгордившегося ума и развращенного таланта!»

Для Толстого ругательные письма были не в новинку. Он получил их в изрядном количестве совсем недавно, опубликовав в газетах открытое письмо с напоминанием всем, что никакой собственностью не владеет. Ругань тогда огорчила Толстого: «Получаю телеграммы угрожающие и страшно ругательные письма. К стыду своему должен признаться, что это огорчает меня. Осуждение всеобщее и озлобленное, вызванное письмом, так и осталось для меня непонятно». Но на этот раз Толстой к письмам и выступлениям своих врагов, противников и хулителей отнесся весьма благодушно. Особенно по душе ему были призывы с требованиями отменить или даже запретить юбилейные чествования. Подготовка к ним Толстого огорчала больше, чем хула и угрозы. Подготовка к чествованию набирала темп. В Петербурге организовался комитет почина по организации чествований, президентом которого избрали Максима Ковалевского, вице-президентами — Короленко и Репина. Решено было созвать всероссийский съезд для выработки программы юбилейных торжеств. Московская и Петербургская городские думы с энтузиазмом готовы были внести в чествования свою лепту. Движение охватило и провинцию. Не дремала и заграница; в Англии даже открыли подписку на специальный Толстовский фонд. Откликнулись не только Европа и Америка, но и Азия, Новая Зеландия.

Озабочено было Министерство внутренних дел Российской империи. Встревожился и Лев Толстой, принципиальный противник любых юбилеев, тем более своего собственного. Его обрадовало письмо Софье Андреевне престарелой княжны Марии Михайловны Дондуковой-Корсаковой, очень православной, находившейся в самых добрых отношениях с сестрой Толстого. Княжна писала о том, что чествование вольнодумца, отрицающего догматы церкви, оскорбит всех православных. Толстой обрадовался и растрогался. Дрожащим от слез голосом продиктовал в диктофон письмо Марии Михайловне: «Готовящиеся мне юбилейные восхваления мне в высшей степени — не скажу тяжелы — мучительны. Я

настолько стар, настолько близок к смерти, настолько иногда желаю уйти туда, пойти к Тому, от Кого я пришел, что все эти тщеславные, жалкие проявления мне только тяжелы... Постараюсь избавиться от этого дурного дела, от участия моего в нем, от оскорбления тех людей, которые, как вы, гораздо, несравненно ближе мне всех тех неверующих людей, которые, Бог знает для чего, для каких целей, будут восхвалять меня и говорить эти пошлые, никому не нужные слова. Да, милая Мария Михайловна, чем старше я становлюсь, тем больше я убеждаюсь в том, что все мы, верующие в Бога, если мы только искренне веруем, все мы соединены между собой, все мы сыновья одного Отца и братья и сестры между собой... Теперь же прощайте. Благодарю вас за любовь и прошу вас не лишать меня ее».

Толстой обрадовался такому прекрасному поводу отказаться от чествований, тут же написал письмо секретарю комитета с просьбой сделать всё возможное, чтобы «уничтожить юбилей» и освободить его. Толстой был настойчив. Юбилейный комитет, так успешно развернувший свою деятельность, прекратил ее. Толстой с облегчением вздохнул — удалось-таки «уничтожить» юбилей.

Что касается «архипастырского обращения» Гермогена, то оно только развеселило Толстого. Вызвало чувство сострадания к неистовому религиозному воителю. Он решил написать ему увещательное письмо, выдержанное в самых мягких выражениях: «Любезный брат Гермоген. Прочел твои отзывы обо мне в печати и очень огорчился за тебя и за твоих единоверцев, признающих тебя своим руководителем. Допустим... что я — заблудший, я — вредный человек, но ведь я — человек и брат тебе. Если ты жалеешь тех, кого я погубил своим лживым учением, то как же не пожалеть того, кто, будучи виновником гибели других, сам наверно погибает. Ведь я — тоже человек и брат тебе. Понятно, что ты, как христианин, обладающий истиной, можешь и должен обратиться ко мне со словом увещания, укоризны, любовного наставления. Но единственное чувство, которое тебе, как христианину, свойственно иметь ко мне, это — чувство жалости, но никак уже не то чувство, которое руководило в твоих обличениях... Кто из нас прав в различном понимании учения Христа, это знает только Бог. Но одно несомненно, в чем и ты, любезный брат, в спокойные минуты не можешь не согласиться, это то, что основным закон Христа и бога есть закон любви... Нехорошо поступил ты, любезный брат, отдаваясь недоброму чувству раздражения. Нехорошо это для всякого человека-христианина, но вдвойне нехорошо для руководителя людей, исповедующих христианство. Пишу тебе с тем, чтобы просить тебя

потушить в себе недоброе чувство ко мне, не имеющему против тебя никакого другого чувства, кроме любви и сожаления к заблуждающемуся брату...»

Письмо Гермогену получилась назидательным и елейным, нарочито смиренным. Толстой переслал письмо сестре Марии Николаевне, объяснив, почему не отправил его епископу и не желает его распространения: «Пожалуйста, не выпускай его из рук, дай у себя прочесть, кому найдешь нужным, но не давай списывать. Я не посылаю письмо потому, что оно не стоит того, а главное, оттого, что *le beau rôle* слишком на моей стороне. Как будто я хваюсь своим смирением и прощением».

Юбилей, конечно, «избежать» не удалось. Не было, правда, официальных торжеств, юбилейных речей, разного рода сопутствующих таким большим событиям «мероприятий», на время проведения которых рестораны или другие полезные заведения закрываются для обычных посетителей. Толстой, тяжело болевший весной, вновь серьезно захворал накануне юбилейной даты 28 августа. Начинался отек легких, он какое-то время был при смерти, так что не смог уехать, как хотел, от шума и суеты, из Ясной в Кочеты. Не так просто оказалось убежать от вездесущих газетчиков. Фотоаппараты снимали непрерывно Толстого, Ясную Поляну и ее обитателей. Толстой, на которого фотографами была устроена настоящая охота, шутил: «Я так постоянно вижу себя на фотографиях, что часто замечаю, что, когда увижу свое лицо в зеркале, мне кажется — а ведь похоже!..»

По мере приближения даты увеличивался поток поздравительных телеграмм, адресов, писем. Поздравляли университеты, Общество любителей российской словесности, журналисты, художники (альбом от Общества любителей художеств с рисунками известных художников, нарисованных к юбилею). Из Англии друг Черткова привез адрес, подписанный сотнями почитателей Толстого (среди них Томас Гарди, Герберт Уэллс, Джордж Мередит, Бернард Шоу). Прислали адреса еврейские юноши и последователи Генри Джорджа в Америке и Австралии.

Не обошлось и без трогательных подношений: коробки конфет от фирмы «Жорж Борман», которые Александра Львовна развозила по деревне, косы для крестьян Ясной Поляны, вино «*Saint Raphael*» (с развеселившим всех названием «Лучший друг желудка»). Официанты поднесли мельхиоровый самовар с выгравированными словами: «Царство Божие внутри вас есть», «Не в силе Бог, а в правде», «Не так живи, как хочется, а как Бог велит». Был и один, совсем уж неожиданный для противника курения и других видов одурманивания дар — ящик сигарет от табачной

фирмы «Оттоман». Толстой дарителей поблагодарил, но сигареты отослал назад, оставив ящик. Подаркам радовался как ребенок — он любил искусно, со вкусом сделанные вещи, внимательно их разглядывал и бережно хранил. Впрочем, туркменских ковров и яиц Фаберже ему не дарили.

Несмотря на объявление Софьи Андреевны, что она никого 28 августа не примет, в этот день было в Ясной Поляне многолюдно и празднично. Щелкали фотоаппараты. У кого-то оказался и кинематографический аппарат, увековечивший ездивших по деревне Александру Львовну с ее подругой Варварой Михайловной Феокритовой и собакой Маркизом. В парке и дома было многолюдно. Обеденный стол поставили «глаголем» во всю комнату. Толстой в этот день чувствовал себя неплохо. Татьяна Львовна вывезла его на два часа в «крымском кресле» к столу. Толстому было приятно видеть собравшихся — он любил праздничный шум и особенно дни рождения. Гольденвейзеру, близко от него сидевшему, сказал: «Как мне радостно видеть всех вас». И заплакал, что с ним в старости случалось часто. Ничего официального, пышного, торжественного. Вокруг были друзья, последователи. Дорогие, милые, радостно оживленные лица. После обеда Толстого отвезли в его комнату, где он играл в шахматы. Затем вновь отвезли в залу, где он в исполнении Гольденвейзера слушал своего любимого Шопена. Плакал, благодаря за музыку. Юбилей, которого он так страшился, благополучно завершился.

Поздравления разобрали и рассортировали. Самое интересное прочитали юбиляру, которому эта разновидность литературы порядком поднадоела. Черткову он сказал за несколько дней до юбилейной даты: «Я чувствую, что переел этой литературы — писем. И вместе с тем развернешь письмо, прочтешь — умиляешься. Но мне и умиление-то мое надоело». Осталось исполнить долг вежливости — поблагодарить поздравивших, что Толстой и сделал, продиктовав Гусеву письмо. Диктовал и плакал, умиляясь. В газетах появился сильно усущенный и сокращенный вариант письма — Толстой беспощадно удалил все чувствительные места, особенно те, которые сопровождались его плачем. Получились почти лишенная эмоциональных акцентов благодарность и извинение за то, что не имеет возможности ответить всем отдельно.

После юбилея наступил спад. Давно уже Толстой не испытывал настоящего вдохновения. Попытался в декабре заняться художественной работой, как будто она ясно обозначилась в голове, да не было «охоты писать». Вяло начался и 1909 год, с меланхолической, даже с мизантропическим оттенком дневниковой записи: «Всё тяжелее и тяжелее

мне становятся разговоры. И как хорошо одному!» Жизнь шла своими привычными рутинными путями. Рядом были преданные и скромные, уравновешенные люди. Словак Душан Маковицкий, всегда кроткий и спокойный, видел в Толстом божество, старательно записывал за ним каждое слово (сначала карандашом в кармане, потом поздно вечером расшифровывая записи). Его все любили, а дочери Толстого называли «Душанчик». Он был врач, готовый всегда, в любую погоду, в любое время суток, оказать необходимую помощь. Александра Толстая дает в книге об отце колоритный портрет молчаливого спутника Толстого: «Душан был почти святой. С утра до ночи ездил он по больным, помогал отцу и... писал. В кармане у него было множество крошечных карандашей и твердых листков бумаги. И когда отец говорил, Душан, опустив правую руку в карман, записывал его слова. Выпуклые, серые глаза его упирались в одну точку, лысая, с белокуро-седыми волосами и рыжеватой с проседью бородой голова его — застывала в напряженной неподвижности...»

Незаменим был аккуратный, исполнительный, толковый и безгранично преданный Толстому секретарь Николай Гусев, что признавала и не слишком жаловавшая толстовцев Софья Андреевна, писавшая, встревоженная его вызовом в жандармское управление в Тулу: «Сохрани Бог, если возьмут от Льва Николаевича такого полезного помощника, который и ночью спит возле его комнаты и весь день занят его письменными делами». Всегда улыбающийся, неизменно подтянутый и любезный, Гусев ладил со всеми. Его, правда, ревновала к отцу младшая, порывистая и шаловливая Александра Львовна, хорошо понимавшая, что Гусев был гораздо более полезным помощником, чем она. Гусеву доставалось от серого попугая с розовым хвостом — любимой птицы Александры Львовны. Попугай имел привычку нещадно долбить усердного секретаря в колено. Невинные детские шутки, вносившие оживление в монотонный быт Ясной Поляны, подчиненный строгому рабочему графику Толстого. Диссонансом, взрывавшим тишину слишком серьезного дома, была и игра в прятки дочери с умненьким пуделем Маркизом, умело вытаскивавшим спрятанный в кармане отца футляр от очков. Громкий хохот Александры Львовны раздавался по всему дому, раздражая Софью Андреевну и радуя по-прежнему любившего легкомысленные забавы Льва Николаевича.

Верный своей антигосударственной позиции, Толстой продолжал столь же энергично обличать произвол и лицемерие, порой даже сознательно усиливал выпады, так, сделал вставку в статью «Христианство и смертная казнь» с надеждой вызвать против себя гонения и наконец-то

пострадать, попасть не посетителем, собирающим материалы для произведения, а арестантом в тюрьму, быть судимым и ссыльным. Тщетно — судьба его хранила и от тюрьмы с сумой, и от мести черносотенцев (Толстой предвидел вероятность быть ими убитым). Но оставив «сумасшедшего» старца и его ближайших родственников на свободе (продолжался, разумеется, неусыпный надзор — о ситуации в семье Толстого власти были осведомлены превосходно и неоднократно пытались воспользоваться внутренними противоречиями), энергично преследовали последователей и помощников яснополянского смутьяна.

Предпринимались меры для удаления подальше от Ясной Владимира Черткова, вне всяких сомнений, самого дорогого и близкого Толстому человека, прекрасного организатора и неутомимого пропагандиста общих идей, умело устроившего печатание нецензурных произведений писателя в Англии с последующим распространением в России. В начале марта Черткову было объявлено постановление о его высылке в трехдневный срок из Тульской губернии «за вредную деятельность». Софья Андреевна, никогда не отличавшаяся последовательностью, удивила и на этот раз, послав письмо в редакции газет (оно было напечатано и в некоторых иностранных газетах) с протестом против высылки человека, которого она с каждым мгновением всё больше ненавидела. Ходатайствовала о сыне и его мать. Николай II отсрочил до выздоровления высылку Черткова. В апреле Чертков вынужден был уехать в Петербург, а в мае его жительство в Тульской губернии было запрещено окончательно. Толстой, посетивший его дом в Телятинках с целью встретиться с полковником Анатолием Григорьевичем Лубенцовым, расследовавшим по поручению Столыпина дело Черткова, столкнувшись с ним у крыльца, почувствовал гнев к нему и не стал что-либо выяснять, демонстративно не подав полковнику руки. Такова версия, как правило, точного и не «фантазировавшего» Гусева. Толстой, правда, позднее раскаивался в такой мальчишеской выходке, вспоминая произведенный ею эффект: «Когда я вошел в комнаты, я уже почувствовал, что сделал что-то ужасное. Все шепчутся: „Не подал руки, не подал руки...“ И действительно, это ужасно! Я мог сказать ему, что считаю вредной и дурной его деятельность; но я должен был с ним, как с человеком, быть учтивым. Мне, старому человеку, это непростительно! Я потом часто — ночью проснешься, вспомнишь и ахнешь: как нехорошо!»

Но это после можно было заниматься морализированием. Тогда приступ гнева Толстому сдержать не удалось. Он был очень огорчен, что его лишали общения с другом, отсылая того куда-то далеко. Возмущен тем, что старого, почтенного человека можно так оскорбительно наказать (и в

этом Софья Андреевна была с мужем полностью солидарна). Не менее оскорбительной была и милость; услышав от Гусева, что в «деле» Черткова наметился поворот к лучшему, Толстой брезгливо сказал: «Мне как это противно. Точно как детей, когда они забалуются, ставят в угол, потом прощают...»

Не нарушая запрета, Толстой ездил на «радостное свидание» с Чертковым в деревню Суворово Орловской губернии в середине лета, а 4 августа Толстому, осуществляя план его изоляции, нанесли еще один тяжелый удар: арестовали в Ясной Поляне и затем выслали на два года в Чердынский уезд Пермской губернии «за революционную пропаганду и распространение недозволенных книг» (запрещенных статей Толстого, — а они почти все были запрещены) Николая Николаевича Гусева. В дневнике Толстого так повествуется об этом событии, всколыхнувшем Ясную Поляну: «Вчера вечером приехали разбойники за Гусевым и увезли его. Очень хорошие были проводы: отношения всех к нему и его к нам». «Разбойники» — это становой, исправник, стражники. Гусеву повелели быстро собраться, о чем он и объявил находившимся в столовой домашним и гостям. Толстой с Гольденвейзером играли, как всегда, в послеобеденное время в шахматы. Александры Львовны не было — она уехала к Черткову консультироваться по делам, связанным с завещанием Толстого. Отсутствовал и Маковицкий, уехавший к больному в дальнюю деревню. Так что бумаги пришлось сдать Варваре Михайловне Феофритовой, Гусеву же — на скорую руку собрать самые необходимые вещи и пройти в кабинет Толстого проститься.

Прощание было коротким. Толстой патетики, чувствительных сцен не любил, как не любил и утешать. Он сказал то, что никакого отношения к отъезду Гусева не имело, неожиданно и доверительно: «А я, знаете... я не говорил вам этого... я думаю отсюда бежать». Пораженный столь неожиданной откровенностью секретарь спросил, куда он намерен бежать. Конкретного, детального плана у Толстого не было: «Не знаю... Только — бежать...» Важнее была сама идея бегства отсюда, сверлившая мозг, преследовавшая Толстого. Он был одинок и, в сущности, несчастен, уезжающему в ссылку, в гнилые места Гусеву стало жалко старика, которому «так недоставало необходимого в его преклонном возрасте покоя».

Простился Гусев сердечно и с плакавшей Софьей Андреевной (в отличие от мужа она плакала редко, Гусев пишет, что за два года своей жизни в Ясной Поляне ни разу не видел ее плачущей), и с другими яснополянцами. Сестра Толстого Мария Николаевна, монахиня, утешала

высылаемого: «Может, манифест какой выйдет...» А по свидетельствам других очевидцев не только утешала, но и дала волю гневу и возмущению, энергично плюнув вслед «разбойникам», которым совсем неуютно было проходить «сквозь строй» провожавших.

Толстой был бледен, с трудом сдерживал слезы. Но от слов и жестов воздержался. Сцена и без того была эффектной и впечатляющей — прекрасные проводы. После них предложил Гольденвейзеру доиграть партию в шахматы. На следующий день разослал в газеты заявление, содержащее и такие слова:

«Надо было видеть, как провожали Гусева и все наши домашние, и все случайно собравшиеся в этот вечер в нашем доме знакомые, знавшие Гусева. Одно у всех, от старых до малых, до детей и прислуги, было одно чувство уважения и любви к этому человеку и более или менее сдерживаемое чувство негодования против виновников того, что совершалось над ним... И этого-то человека — доброго, мягкого, правдивого, врага всякого насилия, желающего служить всем и ничего не требующего себе, — этого человека хватают ночью, запирают в тифозную тюрьму и ссылают в какое-то, только тем известное ссылающим людям место, что оно считается ими самым неприятным для жизни...»

Гусеву позволяют еще раз проститься с Ясной Поляной и ее обитателями, завезут на сорок пять минут, так что он увидится и с Душаном и с Александрой Львовной, снабдившей его в дальнюю дорогу «Войной и миром». С Толстым поговорить не удалось, только проститься (как оказалось, в последний раз), поцеловавшись. В глазах Толстого были слезы. Щелкали фотоаппараты. Они теперь часто щелкали. А вскоре будут щелкать почти непрерывно — «освобожденный» от друзей и единомышленников, осиротевший и уставший, расстроенный Лев Толстой отправится в поездку к Черткову в его подмосковное имение Крекшино.

Предстоящей поездке Толстой радовался, как ребенок, надеясь отдохнуть немного от вечной яснополянской суеты, от Софьи Андреевны, чрезвычайно разговорчивой и во всё бесцеремонно вмешивавшейся. Радовался будущей встрече с Чертковым. Не получилось отдохнуть. Выехал Толстой из Ясной с дочерью Александрой, Душаном Маковицким, преданным слугой Ильей Васильевичем Сидорковым. В поезде к ним присоединился Гольденвейзер с женой. Все близкие, надежные, спокойного нрава. Вагон второго класса был битком набит, и стало совсем тесно, когда понабежало много любопытствующих из других вагонов, но Толстому сначала это почти не мешало. Он был бодр, в праздничном настроении. Восхищаясь, декламировал любимые стихи Фета:

Осыпал лес свои вершины.
Сад обнажил свое чело,
Дохнул сентябрь, и георгины
Дыханьем ночи обожгло.

Но ближе к Москве утомился. С момента отъезда из Ясной Поляны за ним неотступно следовали корреспонденты с фотоаппаратами. Снимали его и на кинокамеру — XX век начинался шумно и самоуверенно, щеголяя техническим и научным прогрессом. Публика в дороге проявляла терпимое, но все-таки докучавшее Толстому любопытство. В Москве остановились переночевать в хамовническом доме. Москва сильно изменилась с тех пор, как Толстой писал трактат «Так что же нам делать?». Высокие дома, трамваи, новые роскошные магазины, оживленное движение, и эти бесконечные толпы, толпы, толпы людей на улицах и на вокзалах, в буфетах — жующие, кричащие, толкающиеся всюду. Нравы не смягчились — те же беспардонность и грубость. Толстой, увидев пожилую женщину, просившую дворника разобрать письмо, попытался помочь. Невзрачный, неважно одетый старик вызвал раздражение дворника, закричавшего: «Что не в свое дело мешаешься, ступай отсюда!..» Всё как в трактате и романе «Воскресение»: «Люди здесь так же изуродованы, как природа». Человеческий муравейник ужасал и притягивал, Толстой любил движение, шум, новое; он с жадным любопытством приглядывался к городу, который успел порядком позабыть. Хотел написать о своих впечатлениях: «Мне так и хочется описать всё это! Я непременно это опишу!» Не опишет: не хватало энергии, сил, времени, жить к тому же оставалось чуть больше года. Теперь почти все новые замыслы словно предназначены для рубрик «Задуманное» и «Незавершенное». Софье Андреевне это давно ясно: ничего уже он художественного не напишет. Лев Николаевич шутит: «Вот когда я вырасту большой, я про всё это роман напишу».

К Черткову поехали в привычном для Льва Толстого вагоне третьего класса — толпа была немыслимая, Гольденвейзер смог с трудом протолкаться к вагону. Опасался давки в вагоне и Маковицкий. Постепенно всё улеглось и успокоилось. В дороге мирно струилась неторопливая беседа. Толстой делился своими последними впечатлениями о Москве и москвичах, сетуя на грубость нравов и отсутствие «нравственного сдерживающего начала», о памятнике Гоголю. До Крекшина доехали без приключений и осложнений. Там были друзья, отсутствие городского шума

и устрашающих толп, возможность прогулок на лошади, без чего Толстой страдал, и литературной работы, которой Толстой уже три недели не занимался — срок для него фантастически долгий. Почти идиллия, закончившаяся с приездом Софьи Андреевны, издегавшейся в подозрениях и волнениях, не так обеспокоенной здоровьем мужа, как его разговорами с Чертковым, враждебное чувство к которому еще больше возросло. Записи в дневнике Софьи Андреевны о времени ее пребывания кратки, но спокойны, миролюбивы. Александре Львовне запомнилось другое — напряженность, которую внесло в уютный быт присутствие жены Толстого:

«У Чертковых ей всё не нравилось: „темные“, окружавшие отца, общий стол, где Илья Васильевич сидел вместе с ней. Нервы ее были в ужасном состоянии». Настороженность и подозрительность Софьи Андреевны не были беспочвенными — в это время за ее спиной обсуждалось и составлялось завещание, согласно которому Толстой отказывался от прав на сочинения, написанные после 1881 года, право редактирования их, как и хранение рукописей, предоставлилось Черткову. Можно только догадываться, какой грандиозный скандал разразился бы в Крекшине, если б она об этом узнала.

Но конспирация была соблюдена и Софья Андреевна пока ничего не узнала. Никакими серьезными конфликтами ее пребывание в Крекшине не ознаменовалось. Встреча с другом состоялась, завещание было составлено, переписано и подписано Толстым и тремя свидетелями. Пора было собираться и в обратный путь. Толстой хотел возвращаться прямо в Ясную Поляну, но тут против такого решения бурно восстала Софья Андреевна, настаивавшая на однодневной остановке в Москве. Естественно, в ход пошли упреки и слезы. Пришлось остановиться в ненавистном Толстому Вавилоне — и это, оказалось, было его последним посещением Москвы. Вновь толпа на Брянском вокзале — фотоаппаратура, киноаппаратура. Папарацци, папарацци, папарацци. Вечером Толстой посетил кинематограф на Арбате, но высидел только первое отделение: в зале было душно, фильм отменно убог и примитивен, звучала ужасная музыка разбитого фортепиано. Полное разочарование и досада. И недоумение, почему столь убогое зрелище пользуется таким успехом у публики.

О том, что в Москве остановился Толстой всего на один день, скоро узнал весь город. В Хамовниках, не умолкая, трещал телефон: осведомлялись, каким поездом он уезжает. Уже и у дома собрались люди. Становилось жутковато. У Курского вокзала стало совсем не по себе. К нему и подъехать не удалось. Толпа всегда опасна и иррациональна, всё

равно — бунтующая или празднично настроенная. Александра Львовна вспоминает: «Площадь была заполнена народом, тысячи, может быть, десятки тысяч людей ждали отца. Коляска остановилась, заколыхалось море голов, все обнажили головы. Отца встретил Маклаков, и мы направились к дверям вокзала, но идти нельзя было... Студенты сделали цепь, но толпа прорвала ее. В дверях вокзала нас сжали, нечем было дышать. Я старалась заслонить отца, но чувствовала, что даже мои широкие плечи не в силах сдержать натиск толпы. Маклаков и громадного роста жандарм с трудом осаживали толпу. При выходе на платформу тот же ужас, нас втиснули в двери, сжали, был момент, что, казалось, нас раздавят, сплющат, но толпа вытеснила, вынесла нас на платформу. Здесь люди висели на столбах, взгромоздились на крыши вагонов...»

Толпа кричала «ура!». Толстой стоял у окна и кланялся. Он был очень утомлен, бледен и взволнован. В поезде лег отдохнуть, заснул, и сон вскоре перешел в обморочное состояние. Едва прощупывался пульс. Обморок долго не проходил и дома, где он, сидя в кресле, бормотал что-то бессвязное и непонятное. Софья Андреевна во внезапном порыве стала его тормошить, желая найти ключи от ящика с рукописями, боялась, что в случае внезапной смерти всё растащат. Ей давно уже всюду мерещились заговорщики и охотники за рукописями Толстого. Пришлось и ее успокаивать. Толстой пришел в себя глубокой ночью. Длительная и трудная поездка к Черткову с остановками в Москве завершилась благополучно.

В 1909 году могла состояться и другая, более дальняя поездка, да по многим причинам она не состоялась, принесла тем не менее немало неприятных минут Толстому. В июле он получил приглашение принять участие в XVIII международном конгрессе мира в Стокгольме (а через несколько дней и вторичное), что неожиданностью никак нельзя было назвать — пацифистские настроения Толстого были широко известны. Толстой, обычно отклонявший все приглашения на конференции, юбилейные заседания, чествования, на этот раз согласился, написал письмо председателю конгресса о своем намерении выступить с речью о несовместимости христианства и военной службы, которую и стал готовить. Но тут яростным противником поездки в Швецию выступила Софья Андреевна, поведение которой трудно назвать последовательным. То она говорила о преклонном возрасте (старение мужа, особенно заметное по контрасту с молодой женой, — устойчивый мотив в ее дневниках, письмах, беседах) и трудностях плавания, то подозревала, услышав о намерении Черткова сопровождать Толстого, сговор и заговоры, то собиралась сама поехать в Стокгольм. Вдруг впадала в истерику, кричала и

угрожала самоубийством. Опять потянулись безобразные, дикие, безумные сцены. Объявила, что Душан и Гусев ее отравили. Призвала Андрея Львовича, встревоженного болезнью матери и планами о каком-то «пикнике», который хочет устроить в Швеции сестра Александра. Андрей Львович держал постоянно во всех семейных недоразумениях сторону матери, но здесь несколько смущенный удалился, не обнаружив никакого криминала в действиях против нее.

Вызвали телеграммой и Татьяну Львовну, благотворно влиявшую на мать, что немного задело Софью Андреевну, сказавшую, что ей стыдно, что побеспокоили Таню, а вечером, как будто ничего не было, щебетавшую и бесцеремонно по сложившейся уже привычке перебивавшую Льва Николаевича. Вызвали, так как встревожились. Поведение Софьи Андреевны перепугало всех. Она схватила пузырек с морфием, поднесла к губам и закричала: «Говори, поедешь или не поедешь?!» Толстой вырвал пузырек и бросил под лестницу. Обратилась с совершенно безумными словами к окружающим: «Вот так и буду сидеть две недели, не раздеваясь и не ложась, пока конгресс не кончится. Он — зверь, он проповедует любовь, в нем никогда не было ни крошечки любви. Хорошо бы он умер». Как тут было не вызвать Татьяну Львовну.

Толстой отказался от поездки, а Софья Андреевна стала обдумывать совместное путешествие в Швецию с мужем. Лев Николаевич предложил даже ей прочесть свой доклад на заседании съезда, полагая, что на Софью Андреевну не будут так нападать, как на него. Это очень польстило ее тщеславию. Возникла маленькая заминка с платьями, но и ее разрешили, послав кого-то в Москву за деньгами и туалетами. Поездка в «Штокгольм» все-таки не состоялась — забастовали рабочие в Швеции, конгресс отложили на неопределенное время, Толстой предположил, что тут какую-то роль могла сыграть его будущая, как сказали бы сегодня, не отличающаяся «политкорректностью» речь. Когда конгресс, наконец, состоялся, доклад Толстого на нем не огласили. Все волнения оказались напрасными. «Везде ложь, — говорил уязвленный и огорченный Толстой, — люди боятся правды. Отвыкли от нее. С одной стороны, собрались для того, чтобы установить мир... а рассуждают об усилении вооружения». Вот только оставила эта история еще несколько болезненных рубцов на душе и сердце. «Ну-т-ка покажи свое христианство. *C'est le moment ou jamais* (теперь или никогда). А страшно хочется уйти. Едва ли в моем присутствии здесь есть что-нибудь, кому-нибудь нужное. Тяжелая жертва и во вред всем. Помоги, Бог мой, научи. Одного хочу — делать не свою, а Твою волю». Красноречивая дневниковая запись.

О попытках и желании Толстого уйти знали давно. Привыкли. А раз привыкли, то не верили в реальность такого события. Знали и о тяжелой обстановке в семье, о постоянных «нестроениях» с Софьей Андреевной, натянутых отношениях с сыновьями Львом и Андреем. Со свойственным людям любопытством прислушивались к сплетням и слухам, принимавшим фантастические очертания в газетах (не только желтых и черносотенных). Но истинных размеров надвигающейся катастрофы не могли предугадать и самые близкие к Толстому люди. Верилось, что всё как-то устроится, Утрясется, «образуется».

Толстой старел, что в последние годы становилось заметнее, особенно в дни болезней, хотя и не только в эти дни. Не мог уже лихо, по-юношески взбежать по лестнице. Один раз попробовал, бойко шагая через две ступеньки, но бега по лестнице, ведущей наверх, не получилось, пошатнулся и остановился. Больше и не пытался: стало ясно, что отбегался, или, как любил говорить Толстой, «откупался». От поездок на Дэлире, от верховой езды по бездорожью, с перепрыгиванием ручьев, ям, деревьев и канав, с бодрящим свистом веток и ветра, разогревающим кровь, разбойничьим посвистом отказаться не мог — старая привычка, непереманный элемент сложившегося образа жизни. Все Толстые не мыслили себе существования без прогулок на лошадях — почти ежедневных, в редчайшие случаи отменявшихся, в каждом из них было нечто от абрека, Хаджи-Мурата, и во Льве Николаевиче больше, чем в братьях. Говорил не без гордости: «Брат Сергей Николаевич провел семь лет на лошади, я — больше. Если провожу в день два часа, в год — месяц. В 60 лет — пять лет». Дэлира любил, с грустью видя, что и эта умная (только что не говорит), сильная, красивая лошадь стареет: что-то делается с глазами, всего пугается, не решается перепрыгивать через большие препятствия.

Непросто было придерживаться той системы самообслуживания, которую так энергично проповедовал Толстой и чему придавал такое большое значение, что затронул эту проблему даже в письме к Ромену Роллану, весьма, должно быть, удивив его такой вызывающей фразой: «Я никогда не поверю искренности христианских, философских и гуманитарных убеждений человека, который заставляет служанку выносить его ночной горшок». А. М. Евлахов в статье «Конституциональные особенности психики Л. Н. Толстого», которую счел необходимым «реанимировать» составитель антологии «Л. Н. Толстой: pro et contra» К. Г. Исупов (удивительная антология, в которой отсутствуют Бунин, Алданов, Горький, Эйхенбаум, Скафтымов, каким-то пустяком представлен

Мережковский, где так мало про и так случайно подобрано contra), в хамском стиле пытается изобличить лицемерный, фарисейский, ханжеский характер морали Толстого и завершает ее отрывком из воспоминаний Валентина Булгакова (секретаря писателя, сменившего Гусева после его ссылки), будто бы доказывающим справедливость выдвинутых против Толстого обвинений: «Идет Л. Н., уже совсем одетый, с ведром в руках. В последнюю минуту он вспомнил о накопившихся за день нечистотах и выносил их сам, оставаясь верным своему обычаю. „Мои грехи, мои грехи“, — проговорил он, пробираясь между нами». Здесь нет абсолютно ничего лицемерного, фарисейского, ханжеского, умильного. Скорее, напротив, направленная против ханжей и лицемеров «религия горшка» (выражение «дедушки» Ге, понравившееся Толстому), напоминание о тех человеческих обязанностях, что составляют суть христианской морали: «Ведь вся христианская мораль в практическом ее приложении сводится к тому, чтобы считать всех братьями, со всеми быть равными — это сознание было главным переворотом в моей жизни, а для того, чтобы исполнить это, надо прежде всего перестать заставлять других работать для себя». Непосредственно же восходит религия горшка к педагогической практике в лучших школах Англии, так директор школы в городке Бидельсе придерживался мнения, которому и следовал сам, что необходимо ходить за собой и выносить нечистоты (об этом английском правиле Толстой напомнил своей невестке Софье Николаевне в педагогическом послании-наставлении). И Толстой упорно следовал этой привычке, не позволяя в своей комнате убирать ни прислуге, ни дочерям. Естественно, когда был здоров. К его величайшему огорчению, из-за болезней, приковывавших в последние годы часто к постели, вынужден был отступать от установленного обычая.

Тяготят и бесконечные посетители всевозможных национальностей, возрастов, профессий, конфессий и политических убеждений. Разговоры утомляют, и телеграмма о приезде Шаляпина с сотрудником газеты «Фигаро» Маршаном вызывает беспокойство: «Я бы лучше обошелся без них». Записи Маковицкого всё чаще превращаются в медицинские бюллетени — слабость, температура, забывчивость, изжога, холодеющие ноги. И усталость, нервная слабость. Правда, таких, как раньше, длительных и опасных болезней, когда Толстой то и дело находился на волоске от смерти, и пугающих окружающих припадков с временной потерей памяти в 1909 году не было (или почти не было, к временным периодам забывчивости привыкли как Толстой, так и его окружение), но процесс старения продолжался, и нервная семейная обстановка не

способствовала его замедлению. Ему очень не доставало нежного участия, сострадания, деликатной заботы Марии Львовны. Ее с бесшумными шагами и ласковым, лечащим взором сестры милосердия уже давно не было ни в Ясной Поляне, ни поблизости. А заменить ее было нечем. Не всегда могла приехать и Татьяна Львовна, занятая своими семейными заботами, — миротворица и утешительница.

В середине декабря Толстой заболел инфлюэнцей. Сильный озноб (никак не мог согреться, даже кричал), высокая температура встревожили Александру Львовну и Душана Петровича, и они вызвали телеграммами Софью Андреевну, Черткова, врача Никитина. Приехали и сыновья — служба оповещения в Ясной Поляне была хорошо налажена. Тревога оказалась напрасной — припадок прошел. Толстой совсем на короткий срок прервал литературную работу. Вскоре возобновил пешие и верховые прогулки. Съездил верхом и в деревню Дёминку с денежной помощью к больной солдатке. Потом Толстой снова захворал — болела голова, слабость, легкий озноб. В последний день 1909 года утром взбодрился — рассказывал за обедом о Хаджи-Мурате (под впечатлением от только что прочитанной статьи С. Н. Шульгина «Предание о шамилевском набе Хаджи-Мурате»), Вечером собрались родственники и друзья. Но праздничного оживления не было. Последняя запись в тетрадях Маковицкого от 31 декабря: «Шампанское, настроение невеселое. Л. Н. серьезен и один». Весьма вероятно, размышлял о совсем близком большом путешествии, в конце которого он, как недавно брат Сергей и дочь Маша, присоединится к большинству человечества (to join to majority), о переходе-переезде в другую, новую жизнь, об «освобождении». Но так как *живой живое и думает*, то в первый день нового года, ставшего его последним. Толстой после обеда отправился верхом в Овсянниково. Толстой и в феврале чувствовал себя хорошо. Был бодр и деятелен. Казалось, помолодел.

Верховые поездки продолжались довольно регулярно и в дальнейшем — вплоть до ухода из Ясной Поляны. Толстой не щадил ни себя, ни Дэлира, по-прежнему любил ездить прямо, рысью, по плохо знакомой дороге, не пропуская ни одного бугра, ни одной ямы, густым лесом, перепрыгивая через ручьи и заборы, бесстрашно взлетая на крутые склоны и спускаясь по скользким, опасным тропам. Постоянный спутник в этих поездках Душан Маковицкий рассказывает: «Какими кручами спускается и скачет наверх, какие проходит опасные места, полугнилые мосты, обочины круч. Через густой молодой лес пробирается, под низкие ветви нагибается. Лошадь как под ним шарахается! Как он вскачь и рысью едет! Я легок, люблю ездить,

я много занимался гимнастикой, но мне, 43-летнему, доказать то, что Л. Н. 82-х лет доказывает, удастся с трудом. Не успеваю (отстаю). Лошадь чуть шею не сломала себе и мне». Картина эпическая, а ведь до исхода из Ясной осталось чуть-чуть больше месяца.

Облик Толстого-наездника вдохновил скульптора Паоло Трубецкого. Толстого уже давно фотографировали, рисовали, ваяли, снимали в фильмах — одного, с Софьей Андреевной, детьми, внуками, друзьями и последователями, крестьянами, сумасшедшими, за игрой в шахматы и различными видами работ (непременная пилка и другое). В том же году, одновременно с Трубецким, его ваял (удачно) сын Лев. Толстой шутил, что он, как девица преимущественно горизонтального образа жизни, уже никому не может отказать. Тем более не мог он отказать обаятельному и талантливому Трубецкому. Тот его сразу подкупил тем, что ничего почти не читал, кроме какого-то путешествия и книжки Толстого «Для чего люди одурманиваются?» (с аргументами автора согласился, но курить не бросил), даже не был разгневан тем, что жизнерадостный скульптор купался голым с женой в пруду — обнажение тела рассматривалось Толстым как недопустимый и безнравственный поступок. Толстой, выполняя беспрекословно все указания скульптора, несколько дней позировал на Кривом, буланом степном сибирском иноходце (Трубецкой нашел, что он характернее Дэлира).

Лев Николаевич старел, но постепенно и малозаметно для окружающих. На поздних совместных фотографиях с Софьей Андреевной (Толстой терпеть не мог эти семейные, фальшивые, призванные внушать мысль о супружеской идиллии портреты, но уступал настоятельным просьбам жены, цепко держащей на снимках его руку, словно она боялась, что Левочка вдруг ускользнет) он выглядит, пожалуй, бодрее располневшей, словно одержимой недугом жены. Но почти все находили, что Толстой сгорбился и посуровел, ослаб и «потух». Наталья Алексеевна Альмединген, редактору петербургских детских и педагогических журналов, видевшей Толстого за несколько дней до ухода, он показался очень старым: болезненное лицо, изрытое глубокими морщинами, беззубый ввалившийся рот, некрасиво нависавшие седые, косматые брови. Ничего великого, ничего необычайного. Старый, смертельно уставший от жизни человек. И вдруг всё преобразивший необыкновенно глубокий и мягкий, теплый взгляд.

Это Толстой в конце октября 1910 года, измученный, издербавшийся, отчаявшийся, затравленный, боящийся каждого слова и жеста своей обезумевшей и несчастной жены. А так он даже меньше болел, чем в

предыдущем году, когда нередко вынужден был воздерживаться от пеших, а то и верховых поездок. Таким же строгим оставался рабочий режим. Не иссякали ряды паломников в Ясную Поляну. Не отказывал Толстой себе и в невинных играх — шахматы, городки, винт, забавы с детьми. Разумеется, в Ясной Поляне часто звучала музыка — играли Гольденвейзер, Сергей Львович, Ландовская. Пели, слушали граммофон (его любила Софья Андреевна). Изредка пилил дрова, рассуждая о том, как надо правильно пилить. Не забывал и о других своих привычных занятиях — посещал тифозные избы, психиатрические лечебницы, школы. И уж, конечно, не забывал выносить ведро со своими «грехами». Любовался природой, и в летнее время непременно собирал цветы; на разных столах у него в ту пору было два-три букета. Сбежав от Софьи Андреевны к дочери Татьяне в Кочеты, наслаждался свободой и «чудным одиночеством» в обществе соловьев и ландышей: «Хожу по парку, соловьи заливаются со всех сторон, ландыши так милы, что нельзя не сорвать, и так на душе радостно, и одно чувство, и одна мысль лучше другой. Только можешь быть благодарным всем и за всё». Радовался встрече с величественным трехсотлетним дубом. Залюбовался однажды высоко летавшими орлами и коршунами. Водил приезжавших смотреть, как цветет каштан.

Интересовался всем, и как-то живо, по-юношески интересовался. Наблюдал на Киевском шоссе автомобильную гонку Москва — Орел. Взволнован был какими-то новыми неизвестными доказательствами Пифагоровой теоремы. Пытался разобраться в технических приемах игры на фортепиано. Хотел понять, почему ласточки с необыкновенной ловкостью и быстротой описывали круги вокруг лошадей. Марка Алданова особенно поразила фигура глубокого старца, уже стоящего одной ногой в могиле и пытающегося зачем-то узнать, сколько времени понадобится диску солнца, чтобы скрыться за горизонтом. Молодые спутники Толстого в купе поезда (Чертков, Маковицкий, Булгаков) прилегли отдохнуть, а он всё любовался красным закатом, поминутно вынимая часы и нетерпеливо высовывая голову из окна. Картина, бесподобно рисующая натуру наблюдателя, позволившая Алданову сказать: «Это вот жадное любопытство к явлениям внешнего мира создает Пастеров и Лавуазье, когда оно не создает Толстых и Гёте».

Творческие силы далеко не были исчерпаны. Судя по дневниковым записям и воспоминаниям современников. Толстой собирался написать две пьесы для народного театра, произведение, которое было бы «ни повесть, ни стихотворение, ни роман». И после ухода, готовясь к новой и свободной жизни, продолжал работать над статьей о смертной казни (по просьбе

Корнея Чуковского) и составил список замыслов художественных произведений: «1) Феодорит и издохшая лошадь, 2) Священник, обращенный обращаемым, 3) Роман Страхова, Грушенька — эконожка, 4) Охота; дуэль и любовые».

Рядом с Толстым в последний год жизни в Ясной Поляне были трогательный и немногословный, преданный Душан Маковицкий, всюду как тень следовавший за ним (Толстой о нем благодарно в дневнике: «Душан всё больше и больше привлекает меня своей серьезностью, умом, знанием, добротой»), сменивший Гусева новый секретарь, «веселый» Валентин Булгаков, прекрасно справлявшийся со своими многочисленными обязанностями. И дочь Саша, неутомимая, веселая, энергичная, в отличие от своих сестер равнодушная к женихам, решившая посвятить жизнь отцу и с каждым днем становившаяся ему всё более необходимой. Прямой контраст с не умевшей смеяться, деспотичной и пессимистически настроенной Софьей Андреевной.

Александра Львовна как-то незаметно подросла и заняла свое самостоятельное место рядом с отцом, к величайшему неудовольствию Софьи Андреевны, всегда относившейся к ней, как к Золушке, недостойной находиться в порядочном светском обществе, как к какому-то недоразумению, наказанию, ниспосланному ей за грехи. Это был нежеланный ребенок, которого она демонстративно отказалась кормить грудью. Дочь всем своим видом и поступками вызывала у матери озлобленное раздражение. А так как характер у девочки был толстовский, норовистый, упрямый, сильный, то на придирки матери, ее грубость и оскорбления маленькая Саша отвечала дерзостью, бунтом, буйными выходками, открытым непослушанием.

Долгое время в дневниках Софьи Андреевны не будет ни одного доброго слова о младшей дочери: это ужасный ребенок, грубый, дикий, упрямый, с «невыносимым» характером, который даже бьет гувернантку. Оскорбляет «всякую минуту» «лучшие, человеческие чувства» матери. Толстая неграциозная, смотреть на нее скучно, да и не хочется смотреть. Не светская барышня, а ямщик в юбке. Но, надо сказать, что этому «ямщику» Софья Андреевна постаралась дать хорошее образование по усиленной программе. Толстой в воспитании и образовании дочери не принимал почти никакого участия, и кажется, впервые обратил на нее внимание, когда шестнадцатилетняя Саша отказалась идти в Вербное воскресенье в церковь. Рассердившаяся мать отправила дочь в кабинет к отцу. Толстой поступил тактично и педагогично, посоветовал не огорчать мать, сказав: «До того как бросать старое, нужно знать, чем ты хочешь его заменить».

Но, несомненно, он был доволен дочерью, смело заявившей о своих взглядах. Вскоре Александра Львовна станет столь же открыто, как и имевшая на нее большое влияние Мария Львовна, поддерживать отца и помогать ему, на первых порах еще довольно неумело. И чем ближе будет Александра Львовна к отцу, тем враждебнее к ней будет относиться мать. Если судить по дневникам Софьи Андреевны, то создается образ какого-то нравственного монстра, грубой, злобной, мужиковатой девки — печальное исключение среди других воспитанных и благородных, с безупречными светскими манерами членов толстовского семейства. Искаженный, карикатурный образ. Другим она запомнилась, положим, действительно полной, но одновременно чрезвычайно подвижной, быстро передвигавшейся, жизнерадостной и веселой, чей заразительный, громкий, добродушный смех (его так любил отец) раскатывался по всему дому, великолепно, как, впрочем, и все Толстые, умевшей обращаться с лошадьми.

Для Толстого Александра Львовна постепенно стала незаменима, и всякую разлуку с ней он переживал болезненно. Своим верным последователям Толстой с удовольствием пишет о том, как Саша ему помогает в переписке и других делах. А в «тайном» дневнике признается в исключительной любви к ней: «Саша вернулась со свадьбы — милая, хорошая. Я не хорошо ее — исключительно люблю».

Настоящим ударом для Толстого стала долгая и тяжелая болезнь Александры Львовны, заразившейся корью, осложнившейся воспалением легких. Состояние больной было очень серьезным, в особенно трудные дни, когда казалось, что приближается роковая развязка, Толстой в отчаянии рыдал, прижимая к губам руку дочери. Высокая температура и сильный кашель держались долго. Отец часто подходил к ней и плакал. Потом наступило улучшение, но не полное выздоровление, в апреле Александра Львовна вновь слегла с бронхитом. Ее кашель раздавался всё громче. Врачи определили туберкулез верхних легких и предписали уехать в Крым. Все в доме были удручены, лишь Софья Андреевна вопреки присущему ей пессимизму считала, что дочь очень быстро перестанет в Крыму кашлять. В Крым Александра Львовна отправилась со своей постоянной спутницей, неутомимо ухаживавшей за ней во время болезни, Варварой Михайловной Феофоровой. Толстого опечалил отъезд дочери: «Тяжело. А не знаю, что делать. Саша уехала. И люблю ее, недостает она мне — не для дела, а по душе». Часто писал во время двухмесячной разлуки ей нежные письма, изливая душу, утоляя потребность в общении с дочерью хотя бы таким эпистолярным образом: «Хочется написать тебе,

милый друг Саша, и не знаю, что писать. Знаю, что тебе желательнее всего знать обо мне, а о себе писать неприятно. О том, как ты мне дорога, составляя мой грех исключительной любви, тоже писать не надо бы, но все-таки пишу, потому что это думаю сейчас». Какое-то время писал ей письма каждый день.

Но недостатка в помощниках у Толстого в отсутствие дочери не было — Булгаков, несомненно, хороший секретарь. Дом по-прежнему был полон гостей. Часто приезжала Татьяна Львовна с дочкой Татьяной (ее обожала Софья Андреевна) и «старым» мужем, с которым сдружился Лев Николаевич; с удовольствием ездил и он к дочери в живописные и уютные Кочеты. Рядом жила «старушка» Мария Александровна Шмидт — ее в Ясной Поляне все рады были видеть, даже мало к кому питавшая симпатии Софья Андреевна, а Толстой любил ее как человека редчайшей духовной красоты. Неспешно и задушевно протекали их трогательные беседы. Сердечно привязавшийся к Толстому (и к Черткову) Александр Борисович часто приезжал в Ясную Поляну — неизменный партнер по игре в шахматы (сотни партий было сыграно) и пианист, без игры которого Толстому и жизнь была немила. Реже приезжал Сергей Львович, которому Толстой радовался, чаще — другие братья, по большей части угнетавшие и раздражавшие отца (особенно Лев и Андрей). И так уж получилось, что за время отсутствия Александры Львовны и Варвары Михайловны никаких чрезвычайных событий в Ясной Поляне не произошло. Софья Андреевна, разумеется, временами приближалась к нервному срыву и внушала тревогу (напряжение спало, но не исчезло), скорее, однако, «учебную», чем настоящую.

Ситуация резко ухудшилась после возвращения Александры Львовны и Варвары Михайловны из Крыма в конце мая. Им вскоре предстоит сыграть немаловажную роль в яснополянской драме, которую вроде бы ничто не предвещало. Крым явно пошел на пользу дочери, вернувшейся веселой, жизнерадостной и бодрой, несмотря на долгую дорогу. Софья Андреевна, кажется, готова была заподозрить ее в симуляции, но легкий кашель по вечерам говорил все же о том, что полное выздоровление еще не произошло. Отец и дочь несказанно были рады встрече после нескольких месяцев разлуки. В Ясной Поляне гостил в те дни спокойный и обаятельный Сергей Львович. Паоло Трубецкой ваял Толстого, которого во время верховых поездок по оврагам и крутым склонам сопровождал в «мастерскую» скульптора Душан. Через несколько дней приехала Татьяна Львовна, а ее присутствие действовало благотворно на всех. Словом, в Ясной Поляне на какое-то время воцарилась идиллия. Или — тут поневоле

приходится быть осторожным — почти идиллия.

Но однажды нанятый Софьей Андреевной для охраны владений объездчик-черкес Ахмет привел в усадьбу задержанного им бывшего ученика школы Толстого. Не первый конфликт с задержанными крестьянами, но особенно болезненный: «Ужасно стало тяжело, прямо думал уйти». На следующий день Толстой за обедом сказал, что ему хочется умереть. Слух о черкесе, который бьет, будоражит крестьян, сильно расстроил Толстого. Произошел тяжелый, вызвавший раздражение разговор о черкесе с Софьей Андреевной, закончившийся истерикой — первые признаки надвигающейся грозы. Толстой заболел от нервного напряжения, а Софья Андреевна застрекотала, и остановить ее было трудно; всем внушалось, что он на нее злится, потому что нездоров. Избавиться от взбудораженной жены не было никакой возможности. В глубокой тоске Толстой сказал Александре Львовне, что собрался умирать.

Кризис не удалось устранить, но, к счастью, оказалось на время возможным удалиться от главного источника напряжения, поехать к Чертковым в село Отрадное вместе с Александрой Львовной, Маковицким, Булгаковым и слугой Сидорковым. Поездка, разумеется, только раззадорила Софью Андреевну, ненависть которой к Черткову усиливалась с каждым часом, принимая чудовищные формы. Она подозревала всех и не доверяла никому — армия заговорщиков плела какие-то унижающие и оскорбляющие ее и младших сыновей интриги. Враги были коварны, поэтому за ними нужно было неусыпно следить. Понятное дело, тут все средства были хороши.

Толстой радовался временному избавлению, возможности общаться с самым дорогим и близким другом, заниматься в спокойной обстановке литературной работой. Радовался удавшемуся побегу из тюрьмы. Почти две недели свободной жизни, вдали от ставшей невыносимой Ясной Поляны.

Он всегда интересовался душевнобольными. Воспользовавшись пребыванием в Отрадном, посетил расположенные неподалеку Мещерскую психиатрическую больницу и Троицкую окружную психиатрическую больницу, беседовал с врачами и пациентами. Встречали его там торжественно и радушно, как особу самого высшего ранга. У входа собирался персонал врачей, служащие с семьями. Больницы сияли чистотой, везде ощущалось праздничное настроение. В Троицкой Толстой с Чертковым зашли к безумным женщинам, но очень скоро сбежали оттуда: одна пациентка стала кричать: «А! Толстого к нам привели! Толстого!» Другая оголилась и стала делать ужасные, цинические жесты. Толстому

стало жалко несчастных женщин, а возможно, они напомнили ему и о безумствах оставшейся в Ясной Поляне Софьи Андреевны, которая, что легко можно было предположить, заподозрила, что Толстой с Чертковым хотят запереть ее в сумасшедший дом. Толстой считал, что у безумного атрофировано или сильно ослаблено нравственное чувство, чем он более всего и отличается от разумных, «нормальных» существ. И в этом смысле его жена была безумна — ослабление нравственного чувства было слишком очевидно. Но можно ли назвать такое состояние болезнью, Толстой сомневался: «Я думаю, что это не болезнь, а отсутствие нравственных начал. Мы не должны считать таких людей больными». Дело, понятно, не в словах, терминах, названиях. Если и не болезнь, то еще хуже болезни. С ужасом наблюдая перемены в Софье Андреевне, Толстой приходил к самому неутешительному диагнозу: «Она совершенно лишена всякой религиозной и нравственной основы; в ней даже нет простого суеверия, веры в какую-нибудь икону. <...> В ней сейчас нет ни правдивости, ни стыда, ни жалости, ничего... одно тщеславие, чтобы об ней не говорили дурно».

Толстому прислали книгу профессора С. С. Корсакова «Курс психиатрии», он ее читал, размышляя о безумных поступках и речах Софьи Андреевны, и находил, что психиатрия «шаткая» наука: «Они видят всю причину в материальных изменениях, а я думаю, что всё — в нравственном состоянии человека. У них там бывают идиоты, слабоумные, но очень хорошие, тихие; и довольно разумные — озлобленные. Если есть нравственная основа, то и при разрушенном рассудке она скажется».

Большое впечатление на Толстого произвел и так называемый разряд испытуемых больных, главным образом состоявший из политических преступников. С одним из испытуемых, очень умным революционером, он долго беседовал: пациент хорошо был знаком с его сочинениями, оспаривал доводы Толстого и выдавал себя за Петра Великого, но застенчиво, бормоча слова, выдавал — видимо, действительно был здоров и симулировал сумасшествие (фотоаппарат Черткова запечатлел Толстого, беседующего с «Петром Великим»). Удивил Толстого и пациент, долго ходивший вокруг большого дерева. Прощаясь с ним. Толстой сказал: «Увидимся на том свете» и услышал поразивший его ответ: «Какой тот свет? Свет один!» Интересовался Толстой и религиозными воззрениями больных; некоторые ответы его поразили: «Я — атом Бога», «Я в Бога не верю, я верю в науку».

Раз в неделю для больных устраивался кинематографический сеанс; на одном из них присутствовал приглашенный Толстой. Снова царская

встреча, место рядом с директором больницы, распись в книге почетных посетителей. Картины были глупые и нелепые. Толстому понравился только зоологический сад и особенно обезьяны. В антракте он имел неосторожность заговорить со знакомой уже ему больной, бывшей учительницей (та, прощаясь с Толстым, отказалась подать руку, так как была не согласна с его убеждениями); на этот раз больная жаловалась на деспота врача, которого необходимо отдать под суд, так как он совершенно неправильно ее лечит. Растерявшийся Толстой сочувственно вымолвил: «Как это грустно!» — вызвав новый всплеск эмоций — голос бывшей учительницы задрожал. Придерживаясь за стену руками, она стала что-то громко и возбужденно говорить, привлекая внимание больных и здоровых: срочно пришлось ретироваться на улицу, а там уже снуют фотографы. И везде что-то вроде демонстрации жаждущих увидеть «великих людей». Нелегкое бремя славы.

Но гораздо тяжелее было то, что ожидало Льва Николаевича в Ясной Поляне. Одно дело посещать чистые и благоустроенные лечебницы для душевнобольных, и совсем другое — быть заключенным с больным человеком в одном доме и не иметь ни малейшей возможности спрятаться, уйти от бесконечного присутствия-преследования — днем и ночью.

Толстой, предчувствуя дурное, не спешил возвращаться в Ясную Поляну, хотел продлить эти выпавшие ему на долю свободные и счастливые мгновения. А известия оттуда доходили всё тревожнее — Софья Андреевна вела себя странно, и, судя по всему, начиналась истерия, остановить которую не удавалось. Билась на лестнице, крича, что умирает. Притворялась, что лишилась языка. Послала Андрею Львовичу записку фантастического содержания: «Умираю по вине Черткова. Отомсти за смерть матери, убей Черткова! Ты один его разгадал». Безумные телеграммы, подписанные Варварой Михайловной, но написанные Софьей Андреевной, вынудили Толстого вернуться домой. В телеграммах содержались требования немедленного возвращения (самые безумные, в которых содержалась угроза — «если не приедете — убьюсь», — Феокритовой удалось ее отговорить не посылать, но и посланные носили ультимативный характер). Пришлось срочно собираться в дорогу.

Толстой прибыл в Ясную 24 июня. С этого дня вплоть до исхода из Ясной начнется не просто тяжелый, а самый мрачный, кошмарный период его жизни. Безумие оказалось заразительным, в него были втянуты все вольные и невольные участники драмы, почти каждое мгновение которой можно проследить (все усердно вели дневники, вся Ясная Поляна была в курсе раздоров «грахва» с хозяйкой, посетители, как всегда, толпились в

изобилии), что, впрочем, не облегчает работу биографов, растерянно вззирающих на фатально и самым печальным образом сложившиеся неблагообразные, неблагопристойные, часто грязные, скандальные обстоятельства. И вряд ли кто из участников или зрителей драмы не чувствовал какой-то, пусть и невольной, своей вины. И вряд ли какой читатель не ощущал неловкости и стыда, знакомясь с прискорбными и такими мелочными и вздорными фактами хроники великого раздора в семье Толстых, из которого с честью вышли, пожалуй, только Лев Николаевич и его старшие дети (и, разумеется, такие чистые, без единого пятнышка, люди, как сестра Мария Николаевна и Мария Александровна Шмидт).

В Ясную приехали поздним вечером. Перед самым приездом мужа Софья Андреевна, сказавшись больной, легла в постель и стала громко стонать. Картину застали безрадостную. Истерия набирала силу и требовала от Толстого и других прибывших особенной чуткости и осторожности. Но какой нечеловеческой выдержки это требовало! («Нельзя молчать, и говорить опасно!..») Состояние Софьи Андреевны было удручающим — ревность к Черткову приняла чудовищные и непристойные формы: грязное воображение и грязный язык. На следующее утро после приезда последовала мучительная беседа, выматывающая, бессмысленная, дикая. Совсем об этом не хочется думать Толстому. Надоело всё больное, мрачное, истеричное. С отрадой останавливается взгляд на другом: «Перед домом цветы, босоногие, здоровые девочки чистят. Потом ворочаются с сеном, с ягодами. Веселые, спокойные, здоровые. Хорошо бы написать две картинки».

Не напишет — эти и многие другие «картинки» так и останутся промелькнувшими замыслами. Почти всё поглотит и исказит семейный ад, столкновение противоборствующих партий, непрерывное давление осатаневшей от подозрений и ревности Софьи Андреевны, неутомимо стрекочущей, бесцеремонно перебивающей говорящих, вклинивающейся со своими оценками и репликами в беседу, рассказывающей каждому всякие гадости о Толстом и Черткове, даже высказывающей свои суждения о шахматных партиях, хотя толком она и ходов не знала. От нее положительно некуда было деться — преследовала Толстого повсюду, организовав за ним неусыпную слежку, везде шарила в поисках каких-то рукописей, подбирала ключи к ящикам, в которых беззастенчиво рылась, откровенно подслушивала, устраивала сцены — нелепые, ужасные. Какой-то бесконечный абсурд и безграничная распущенность. Прочитав в раннем дневнике Толстого совершенно невинную запись, Софья Андреевна

сделала из нее чудовищные выводы о гомосексуальных наклонностях мужа и выложила всё это ошеломленному Льву Николаевичу. Он побледнел и бросился от нее прочь, запер на ключ все двери, перед которыми стала метаться жена, умоляя: «Левочка, я больше не буду!» Жалкая мольба — так провинившиеся дети просят прощения и смягчения наказания за серьезную провинность. Наказывать Софью Андреевну никто не собирался. И запереться от нее надолго или где-нибудь уединиться в Ясной Поляне было невозможно.

Попытались оградить Толстого от бесчинствующей и несущей всякий вздор жены, но сделать это оказалось невозможным. Она металась в одном платье под дождем по саду, билась в припадке на полу в библиотеке, угрожала самоубийством, потрясая склянкой с опиумом, куда-то убегала, предлагала Льву Николаевичу поселиться с ней в избе, а пока, до начала новой патриархальной жизни, старалась каждый миг быть вблизи него. Александра Львовна прибегла к обычному и проверенному средству: пригрозила приглашением Татьяны и Сергея. Средство и на этот раз сработало, испугав Софью Андреевну: «Саша, милая, я перестану, только ты не зови ни Таню, ни Сережу! Таня будет мне мораль читать и упрекать, что я мучаю отца; она будет смотреть на меня такими же ненавидящими глазами, как ты!» Временное затишье, после которого всё возобновлялось вновь с удвоенной силой. И всё больше ненависти и презрения в глазах Александры Львовны, нрав которой всем был хорошо известен. Любую попытку отца пойти на какие-нибудь уступки матери дочь встречала в штыки.

Александра Львовна заняла непримиримую позицию (и нашла здесь полнейшую поддержку со стороны Варвары Михайловны, возненавидевшей Софью Андреевну, неоднократно оскорблявшую и уязвлявшую ее, третировавшую как последнюю служанку). Плохие отношения быстро и естественно переросли во вражду. Ни мать, ни дочь своих чувств скрывать не умели и не хотели. Отзывы о дочери в дневнике Софьи Андреевны 1910 года резко отрицательны: «Вот еще настоящий крест. Иметь такую дочь хуже всяких Чертковых: ее не удалишь, а замуж никто не возьмет с ее ужасным характером. Я часто обхожу двором, чтобы с ней не встречаться, того и гляди или опять плюнет мне в лицо, или зло накинется на меня с ее отборно грубыми и лживыми речами»; «Тяжелы отношения ко мне Саши. Она дочь-предательница. Если бы ей кто предложил бы, как будто для спокойствия отца тихонько увезти его от меня, она бы сейчас это сделала». И другие, в том же духе, довольно верно отображающие отношения между ними в этот трагический год.

Вспоминая через полвека печальные события 1910 года, Татьяна Львовна в письме брату Михаилу, почти никакого участия в них не принимавшему, Довольно далекому и от отца и от матери, не снимает вины ни с кого из братьев и сестер, как, разумеется, и с себя: «Ты не видал страданий отца. А они были бесконечно велики. Если бы они не любили друг друга — всё это было бы очень просто: простились бы и расстались. Но дело в том, что каждый из них был привязан к другому всем сердцем, хотя и по-разному. Если бы только все их оставили в покое — нашли бы выход. Кто главным образом повредил в этом деле — это Саша. Больше, чем Чертков. Она была молода... Она видела только страдания отца, и любя его всем сердцем, она думала, что он может начать новую жизнь отдельно от своей старой подруги и быть счастливым... Я никогда не могу говорить или читать или думать об этом без тяжелого волнения. И мы напрасно мало вмешивались в это».

Татьяна Львовна рассуждает в сослагательном наклонении, в чем ее нелепо упрекать — она, бесспорно, много раз прокручивала в уме хронику событий, перебирая различные варианты: «если бы». Вряд ли эти варианты могли быть осуществлены. Даже на необитаемом острове, отрезанные от всех и от всего, супруги не нашли бы никакого выхода. Толстой не стал бы никогда жить по безумным правилам Софьи Андреевны, да и не было у нее никаких «правил», ничего, кроме безумия, делавшего жизнь с ней невыносимой; все попытки Льва Николаевича, продиктованные жалостью, образумить жену, оказывались тщетными, что приводило Толстого в отчаяние: «Она в ужасном состоянии: у нее совершенно потеряно всякое нравственное чувство — стыд, жалость, правдивость. Она может говорить о чем-нибудь совершенно противоположное тому, что было, и утверждать, что все лжецы и говорят неправду. Я стараюсь с ней говорить ласково и кротко, но вижу, что ничего не берет. Она же поворачивает по-своему». Присутствие Льва Николаевича раздражало ее, а его отсутствие, даже непродолжительное, было невыносимо, она следовала за ним как тень, вслушиваясь и вглядываясь, неожиданно появляясь в комнате, где что-то обсуждали, и напуганные собеседники моментально замолкали — далее уже стрекотала Софья Андреевна, перескакивая с одного сюжета на другой, без всякой логической связи — поток безумного сознания.

Удивительно не то, что Толстой ушел из Ясной Поляны, а то, что он так долго не мог решиться на этот абсолютно закономерный и спасительный шаг. Его сомнения понятны, и у них высокое моральное обоснование: «Живя в семье, с которой трудные отношения, человек не должен стремиться уйти оттуда. Если он уйдет, он лишит себя материала

для нравственной работы». По правде сказать, такой «материал» Софья Андреевна и сыновья предоставляли предостаточно, с избытком. Впрочем, чем суровее испытание, тем лучше — «экзамены» надо сдавать, вот только сил всё меньше и меньше.

Давно уже современники упрекали Толстого в том, что его личная жизнь не соответствует тем нормам, которые он отстаивал в своих сочинениях, некоторые, нетерпеливые и горячие, называли лицемером и обманщиком. В феврале Толстой получил очередное письмо с упреками от студента Киевского университета Бориса Манджоса, призывавшего: «Откажитесь от графства, раздайте имущество родным своим и бедным, оставайтесь без копейки денег и нищим пробирайтесь из города в город». Толстого тронуло письмо. Ответил, что уже давно отказался от своего общественного положения и имущества, тем не менее то, что он продолжает жить в семье с женою и дочерью «в ужасных, постыдных условиях роскоши среди окружающей нищеты», мучает его, мечтающего пойти еще дальше и поступить так, как советует ему корреспондент. Но не для пропаганды, не под внешним давлением, а свободно, по велению духа: «Сделать это можно и должно только тогда, когда это будет необходимо не для предполагаемых внешних целей, а для удовлетворения внутреннего требования духа, когда оставаться в прежнем положении станет так же нравственно невозможно, как физически невозможно не кашлять, когда нет дыхания. И к такому положению я близок и с каждым днем становлюсь ближе и ближе».

Александра Львовна уже давно уверилась в том, что жить так стало «нравственно невозможно», что такая жизнь убивает отца, а потому, чем раньше он решится уйти из дома, тем будет лучше. Приближала по мере сил этот уход, занимая в конфликте родителей непримиримую позицию. Винить ее в этом неправомерно — мать была неуправляема, неприлична, опасна, необходимо было оградить от нее отца, что сделать в Ясной Поляне было невозможно, уступки и колебания лишь ухудшали положение и ни к чему не вели. А следовательно, исход Толстого из Ясной, из этой «тюрьмы без решеток», стал просто жизненно необходим. Мать ее оскорбляла — она отвечала тем же, высказывая всё, что накопилось за многие годы. Александра Львовна отличалась вспыльчивым и сильным характером. Она не умела мастерски лавировать между крайностями и находить компромиссные примирительные решения, подобно Татьяне Львовне. Несвойственно было ей и редкое искусство мягкого сострадания Марии Львовны, прирожденной сестры милосердия, ангела, которого на смертном одре призывали как Лев Николаевич, так и Софья Андреевна. Александра

Львовна была прямолинейна и экспансивна, ее страстный характер не признавал оттенков и полутонов, отца она беззаветно любила, мать — столь же сильно ненавидела. И это, разумеется, не недостатки, а органические свойства натуры, оказавшиеся очень необходимыми в выпавших ей испытаниях на войне, в советской России, в эмиграции. Толстого трогала и согревала любовь младшей дочери, но огорчало ее непримиримое отношение к матери, ссоры с ним, когда он тщетно пытался воззвать к жалости. Однажды, после выраженного дочерью неудовольствия слабостью отца, Толстой, покачивая головой, сказал: «Ты во всем уподобляешься ей». В доме, и без того разьедаемом конфликтами, возникла новая напряженность. Когда отец призвал дочь, чтобы продиктовать ей письмо, она не пожелала этого сделать; Толстой повторил свою просьбу через Булгакова, но как только та заняла место за столом, разрыдался и воскликнул: «Не нужно мне твоей стенографии!» Закончилось всё мирно, в толстовском духе — слезами и полным примирением.

Кажется, это было единственное серьезное недоразумение между отцом и дочерью, несколько не повлиявшее на ее отношение к матери. Пожалуй, даже еще больше укрепившее в намерении способствовать уходу отца, его освобождению. Александру Львовну можно понять — ситуация была катастрофическая. Возможности дипломатического искусства имевшей влияние на мать Татьяны Львовны были исчерпаны. Сергей Львович устранился, сочтя, что это внутреннее дело супругов и им его самим и надо без всякого вмешательства, пусть и близких людей, улаживать. Это ошибочная, хотя и понятная позиция. Не помогло бы, должно быть, будь она жива, и сострадательное участие Марии Львовны.

Обострению психического заболевания Софьи Андреевны весьма способствовало известие, что ее главному врагу, в котором она видела источник всех бед, Черткову разрешили жить в Тульской губернии. Теперь Толстой мог часто видаться со своим другом в Телятинках и Ясной Поляне. Софья Андреевна была вне себя. Каждый приезд Черткова усиливал истерию, ставшую ее постоянным, с редкими и недолгими перерывами, состоянием. Она возбужденно металась по дому, пытаясь подслушать их разговоры, и, застигнутая на месте преступления, просила Варвару Михайловну не выдавать ее. Кипела ненавистью. Кричала, что купила пистолет, из которого убьет Черткова, и ее оправдают как сумасшедшую. Ездил к соседней помещице Анне Евгеньевне Звегинцевой, враждебно настроенной против толстовцев, стремясь добиться нового запрещения Черткову проживать в Тульской губернии. Угрожала, что будет собирать подписку среди дворян о необходимости выдворить опасного диссидента,

что дойдет до Столыпина, до царя. Продолжала распространять всякие гнусности о будто бы старых любовных отношениях между Чертковым и Толстым, что не могло не возмутить мать Черткова. Евгения Ивановна, аристократка и религиозная сектантка (редстокистка), послала ей письмо, выразив удивление и возмущение такой беспардонной и злонамеренной клеветой, а также тем, что сыновья Толстого не могут остановить мать и указать на то, что та, позабыв о приличиях, оскорбляет всю семью, обливая грязью отца (Лев Львович однажды попросил в мягкой форме мать пощадить нравственность невинных правнуков, но, похоже, движимый ненавистью в смеси с завистью, он больше злорадствовал), и призвала (попросила) опомниться: «Вырвите, графиня, из Вашей души это злое, безумно-чудовищное чувство, причиняющее столько страдания не только сыну моему и Вашему мужу, но и всем окружающим Вас и приходящим с Вами в соприкосновение». Но Софью Андреевну не могла бы остановить и армия проповедников: ответ ее был демагогичен, все обвинения отвергла, представив себя великой страдальцей («то, что я перестрадала за это время, не может сравниться ни с какой человеческой скорбью») и обвинив Черткова в деспотичном влиянии на «ослабевшего от лет» ее «старого мужа».

Отношения между Софьей Андреевной и Владимиром Григорьевичем Чертковым, ближайшим помощником и преданным последователем Толстого, испортились уже в конце 1880-х годов, а потом стали прохладнее и постепенно ухудшились и с другими членами семьи (кроме всегда выдержанного и ровного Сергея Львовича и — до поры, до времени — Александры Львовны, с которой в 1910 году Чертков действовал сообща). Чертков одновременно привлекал и отталкивал (сначала он очаровал своей красивой внешностью, отточенными аристократическими манерами, юмором и остроумием Толстых, включая и Софью Андреевну, всегда равнодушную ко всему светскому, аристократическому, придворному). С большой симпатией к нему относившийся Гольденвейзер, и тот пишет о двойственности натуры Черткова: «В нем было соединение большой умственной (слегка догматической) строгости, даже нетерпимости, с добротой и сердечностью натуры и типичной аристократической благожелательностью в обращении с людьми. Он любил молодежь и умел забавлять ее своими веселыми шутками и фокусами». О двойственности Черткова вспоминает и Александра Львовна, видевшая его в разных ситуациях, и тесно сотрудничавшая и резко спорившая с ним, одно время послушно подчинявшаяся его воле, позднее — под сильным влиянием некоторых членов семьи — восставшая против его властного, упрямого

давления: «Никогда, кажется, не встречала я человека, у которого лицо менялось бы так сильно, как у В. Г. Черткова. Порой это был воспитанный, светский человек, с необыкновенно привлекательной улыбкой, заразительным смехом, веселый и ласковый. В эти минуты даже моя мать, которая очень редко смеялась, беззвучно тряслась от смеха, слушая его анекдоты и шутки. Но если кто-нибудь спорил с ним, не соглашался, глубокие складки бороздили лоб, неприятно морщился породистый, горбатый нос, гневом сверкали большие серые глаза и всё лицо принимало злобное выражение. Он не терпел возражений. Светскость и ум, упрямство и деспотизм, смелость взглядов и узорь, нетерпимость сектанта — всё это сочеталось в этом человеке». Взгляд, претендующий на беспристрастность, но холодноватый — в 1910 году Чертков представлялся Александре Львовне несколько иным. При всех временных искажениях и субъективных пристрастиях всегда были очевидны его независимость и смелость взглядов, готовность отстаивать их, не оглядываясь на общественное мнение и преследования властей, организаторские способности, бескорыстие и преданность Толстому, равно как и то, что Толстой его выделял среди всех своих последователей, относился к нему с трогательной нежностью, любил. С годами эта сильная привязанность лишь возрастала, быть вдали от друга по воле ли властей или истерическому капризу Софьи Андреевны Толстому было мучительно. В последние годы их слишком часто разлучали, что печалило Толстого, давно уже духовным родством дорожившего больше, чем семейными связями.

Софья Андреевна увидела в дружбе Толстого с Чертковым угрозу интересам ее и семьи, злую и разрушительную волю, отторгающую мужа от самых близких родственников, подрывающую устои семейной жизни. Несколько неосторожных выражений со стороны не отличавшегося чуткостью и дипломатичностью Черткова, и вот он уже хитрый, односторонний, недобрый, лживый, деспотичный, ограниченный, даже тупой человек, опутавший лестью Льва Николаевича, виновник всех бед в семействе Толстых. В 1910 году ненависть вылилась в безумные речи и поступки. Чертков превратился в воплощение дьявола (о принадлежности к инфернальному миру говорит даже его фамилия — не слишком глубокие этимологические изыскания Софьи Андреевны). Он — инициатор и руководитель заговора, который давно ведется и которому не будет конца до смерти несчастного «старика». Стоит Черткову, этому «идолу», «идиоту», «злому фарисею», подсесть к Толстому на кушетку, и Софью Андреевну всю переворачивает от досады и ревности. Стукнет дверь, вздрагивает — не Чертков ли приехал? Холодно, льет дождь, муж уехал к

«дьяволу», а она в отчаянии ждет его на крыльце, проклиная соседство с Чертковым. Постоянно мерещится огромная и ненавистная фигура с огромным мешком — с ним Чертков приезжал, старательно складывая в него рукописи Толстого. Рукописи... иногда ее рукой переписанные, принадлежащие семье, целый капитал, выброшенный на ветер, отданный чужому, хитрому и злому человеку. И дневники, где о ней так иногда несправедливо и грубо рассказывается (что подумают потомки? в каком свете предстанет она перед их судом?), к «грубому неотесанному идиоту» перекачывали. Нельзя же такое допустить. Она пока хозяйка Ясной Поляны и может всех неугодных отвадить — не только Черткова, но и родную дочь Александру вместе с ее коварной приспешницей, передающей врагам всё, что происходит в доме. Дьявол, он дьявол и есть, одновременно в разных местах появляется, тут следует быть бдительным и никому нельзя доверять. Вот сказали, что его не ждать, другой человек приедет, а вышла на дорогу — дьявол навстречу. Уверяют, что ошибка вышла. Ерунда — никакой ошибки, ясное дело, плетут интриги, заманивают, запутывают. Нечистый дух трудно прогнать, но можно... если постараться. Отслужили в доме молебен с водосвятием, дабы изгнать дух Владимира Черткова. То-то Лев Николаевич подивился религиозному рвению супруги, одержимой мыслью о спасении мужа и мести врагу, в чем Софья Андреевна и клянется: «Мерзавец и деспот! Забрал бедного старика в свои грязные руки и заставляет его делать злые поступки. Но если я буду жива, я отмщу ему так, как он этого себе и представить не может». Этот крик ненависти прозвучал совсем близко к концу. Октябрь уж наступил.

Нельзя не воздать должного интуиции Софьи Андреевны, сумасшедшему ее ясновидению. Не все подозрения были такими уж беспочвенными. За ее спиной действительно рождались и осуществлялись беспокоившие ее планы. И кое-что Софье Андреевне удалось почерпнуть из потаенных дневников мужа (чутье сыщика в ней было отменное, редчайшее, она твердо была уверена, что тот, кто ищет, всегда найдет). Рысьи глаза, потрясающий нюх, помноженный на феноменальную подозрительность. Валентину Булгакову на всю жизнь запомнился вечер 22 июля. Ничего особенного не происходило. День тянулся вяло и лениво. Толстой был утомлен. Булгаков читал ему свое письмо какому-то убежденному атеисту, Толстой далеко не в первый раз рассуждал о сущности духовной любви. Софья Андреевна была в привычном для всех состоянии на грани нервного срыва. Гостей не ждали, специально послав с одной, приехавшей к Толстому, финкой письмо к Черткову в Телятинки с просьбой не приезжать сегодня, чтобы избежать сцены. Получилось так,

что финка и Чертков разъехались и ничего не подозревавший Владимир Григорьевич вдруг явился в Ясную. Состоялось напряженное чаепитие, так как Софья Андреевна держала себя особенно вызывающе, грубо. Все были мрачны, точно «повинность отбывали». Чертков сидел неестественно прямо, с каменным лицом. Очень скоро, не затягивая нервного чаепития, разошлись. Что-то неуловимое и беспокойное носилось в воздухе, и грубость Софьи Андреевны, вероятно, была связана с интуитивным ощущением, что случилось неприятное и непоправимое, разумеется, тайком от нее. Интуиция Софью Андреевну не обманула. Накануне Толстой в лесу, у деревни Грумант, переписывает и подписывает тайное завещание, согласно которому всё им написанное — рукописи и право собственности на его произведения — переходит к Александре Львовне, а в случае ее смерти раньше Толстого — к Татьяне Львовне Сухотиной.

Распорядителем же, что было оговорено в подписанной Толстым «сопроводительной бумаге», назначался Владимир Григорьевич Чертков. Дело было совершено в полнейшем секрете при участии необходимых по юридическим правилам трех свидетелей — А. П. Сергеенко, А. Б. Гольденвейзера (последователи и друзья Толстого, которым он мог доверять) и юного домочадца Черткова Анатолия Рыдковского.

Произошло то, чего Софья Андреевна и сыновья (кроме Сергея Львовича) больше всего и боялись — они лишались права собственности на сочинения Толстого после смерти отца, а это было для них ощутимым ударом — игры и развеселый образ жизни требовали всё новых и новых денежных поступлений. Лев Львович почти не вылезал из Ясной Поляны, и его присутствие раздражало отца, как и лихие наезды Андрея Львовича, которого то и дело вызывала на помощь мать. Именно они открыто стали на сторону матери, науськивавшей их на отца, будто бы предавшего интересы семьи, подписавшего под давлением злонамеренного и коварного Черткова завещание, разорившее их. Илья Львович и Михаил Львович также были заинтересованы в завещании другого рода, но активного участия в борьбе двух сформировавшихся «партий» (в другой были Александра Львовна, Феокритова, Чертков, Гольденвейзер, Маковицкий, нейтралитет, но с симпатией ко Льву Николаевичу соблюдали Татьяна Львовна, Сергей Львович, Мария Александровна Шмидт) они не принимали. Как было братьям не переживать — прямо изо рта уплывал хороший кусок, на который после смерти отца они очень рассчитывали. Высчитывали, как из «фальшивого купончика» выколотят «сто тысяч чистоганчиком». Допрашивали с пристрастием Александру Львовну о завещании. Грубо требовали от отца бумагу, хлопали дверьми, отчитывали

как мальчишку и оскорбляли, называя его старым дураком, окончательно выжившим из ума, которого надо лечить (Льву Николаевичу послышалось однажды, что Лев Львович даже назвал его дрянью). Владимира Черткова, как главного виновника и организатора затеи с завещанием, сыновья, естественно, тогда люто возненавидели (не остыли и позже — образ Черткова в воспоминаниях Ильи Львовича Толстого очевидно карикатурен).

У Софьи Андреевны родился план, который она и обсуждала с сыновьями: оспорить завещание и доказать, что Льва Николаевича, который «был слаб умом последнее время», «заставили написать завещание в минуты слабости умственной». Об этих планах сообщила Варвара Михайловна Феофановна, ненавидевшая Софью Андреевну, Александре Львовне и другим. О проекте узнал и Лев Толстой, о чем свидетельствует запись в «Дневнике для одного себя»: «Тяжело, что в числе ее безумных мыслей есть и мысль о том, чтобы выставить меня ослабевшим умом и потому сделать недействительным мое завещание, если есть таковое». И тем не менее он не может окончательно порвать и уйти, да и добрейшая Мария Александровна Шмидт отговаривает. Жалко, и продолжает теплиться любовь к ней, полубезумной и ужасной, теперь после бурных натисков, угроз, оскорблений пытающейся добиться нужного от него ласками (целует руку, чего никогда ранее не было), что еще тягостнее, но Льва и Андрея он презирает, убеждаясь в справедливости и необходимости именно такого завещания: «Буду стараться не раздражаться и стоять на своем, главное, молчанием. Нельзя же лишить миллионы людей, может быть, нужного им для души... чтобы Андрей мог пить и развратничать и Лев мазать».

Толстой их, похоже, возненавидел, хотя и пытался побороть столь нехорошее чувство. Это было трудно сделать — сыновья вели себя грубо, вызывая, эгоистично. Если о чем хочется забыть, вычеркнуть из дневников, писем, мемуаров участников и свидетелей драмы, перенасыщенной «низкими» подробностями, подвергнуть тексты «цензуре», так особенно эти «сыновьи» эпизоды семейной хроники 1910 года. Сыновья в полной мере заслужили презрение и гнев Татьяны Львовны, отхлеставшей их в письме к Андрею Львовичу: «Это неслыханно: окружить 82-летнего старика атмосферой ненависти, злобы, лжи и даже препятствовать тому, чтобы он уехал отдохнуть от всего этого. Чего еще нужно от него? Он в имущественном отношении дал нам гораздо больше того, что сам получил. Всё, что он имел, он отдал семье. И теперь ты не стесняешься обращаться к нему — ненавидимому тобой — еще с

разговорами о завещании. Неужели ты не понимаешь, насколько такое поведение не вяжется с простым понятием о приличии и порядочности? О нравственной стороне вопроса я умалчиваю. Далеко ты зашел».

Сдерживать страсти, бушевавшие в Ясной Поляне, Татьяне Львовне становилось с каждым днем всё труднее. Обстановка накалялась, и скандалы следовали один за другим. Софья Андреевна, не стесняясь в выражениях, поносила Александру Львовну и Феокритову за то, что те нарушили тишину в доме, Варвара Михайловна нервно, обиженно отвечала, дочь безмолвствовала, сжав губы, застыв с презрительно-насмешливой улыбкой. Секретарь Валентин Булгаков, сидевший напротив Александры Львовны, горестно размышлял о том, что все эти крики доносятся до расположенной рядом спальни Толстого: «Около него — эти бабьи сцены. Мало того, что около него: из-за него. Какая нелепость!..» Были как «бабьи сцены», закончившиеся изгнанием Феокритовой и временным уходом из дома дочери, так и бесцеремонные выходки сыновей. И успешные изыскания Софьи Андреевны, обнаружившей дневник Александры Львовны и потаенный дневник Толстого. И объяснения между участниками конфликта и Толстого с Чертковым. Словом, была неистовая борьба, а в ней, как известно, все средства хороши и поминутно страдает справедливость.

Толстому развернувшаяся борьба была неприятна. В «Дневнике для одного себя» он свои чувства выразил так: «Чертков вовлек меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела и противна мне. Буду стараться любя (страшно сказать, так я далек от этого) вести ее». Трудно, невозможно это исполнить, тут надо было быть «как лампа, закрытым от внешних влияний ветра — насекомых и при этом чистым, прозрачным и жарко горящим». Трудно и с дочерью Александрой, и с другом Чертковым, упрекающим его в слабости и уступках жене: «От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти от всех». Так ведь уйти от всех равнозначно смерти.

Как неприятны были Толстому таинственные переговоры, свидания в лесу, завещание, текст которого тщательно скрывался, интриги и недомолвки, отсутствие доверия и согласия, атмосфера подозрительности и вражды! Толстой и представить себе не мог, что придется скрываться и заводить потаенные дневники. Что однако поделаешь, если его дневник сделался предметом общего достояния и обсуждения, что стали требовать изъять из него те или иные фрагменты (как и из писем и — уже — из произведений). Но какой же это дневник, если он непрерывно подвергается цензуре и в любой миг может быть уничтожен? Пришлось

поневоле завести тайные записи — и жизнь раздвоилась: правдивая и открытая натура Толстого измучились. Не лучше и история с завещанием. Зачем эти тайны, расколовшие семью? Не лучше ли было действовать в открытую, а не украдкой, как заговорщики? И стоило Павлу Бирюкову внести некоторую смуту, Толстой с готовностью признал свою ошибку, о чем и сообщил главному вдохновителю и организатору составлению завещания Черткову: «Вчера говорил с Пошей, и он очень верно сказал, что я виноват тем, что сделал завещание тайно. Надо было или сделать это явно, объявив тем, до кого это касалось, или всё оставить как было, — ничего не делать. И он совершенно прав, я поступил дурно и теперь плачусь за это. Дурно то, что сделал тайно, предполагая дурное в наследниках, и сделал, главное, несомненно дурно тем, что воспользовался учреждением отрицаемого мной правительства, составив по форме завещание».

Письмо уязвило не только Чертова и Александру Львовну, но и Гольденвейзера и других, замешанных в дело с оформлением завещания. Немало резких слов было высказано ими так неуместно вмешавшемуся Бирюкову. Особенно был задет Чертов, пославший Толстому обстоятельное большое письмо, из которого следовало, что иначе нельзя было никоим образом поступить. Аргументы Чертова, во многом справедливые, убедили Толстого, да, похоже, то был действительно единственно возможный в сложившейся ситуации выход. В покаянном письме Толстой признал правоту друга, поставив тем самым окончательную точку в затянувшейся темной истории с завещанием и поблагодарив Чертова за его деятельное участие. Известил и Татьяну Львовну о завещании, получив ее согласие, в чем Толстой, впрочем, и не сомневался.

Спокойнее после этого в Ясной Поляне не стало. Софья Андреевна усиливала давление на Толстого, постепенно вытесняя со своей территории неугодных и препятствуя его отъездам и внешним контактам. Толстой вынужден был обещать жене совсем не видеть Чертова, не предоставлять ему своих дневников и не позволять себя фотографировать (теперь его будут принуждать фотографироваться с Софьей Андреевной в позе любящих супругов, что противно и стыдно) — фантастические, нелепые требования, выполнение которых всё равно не привело к миру в усадьбе, да и не могло привести. Ясно стало, что приближается развязка. Удаление Феокритовой и отъезд Александры Львовны встревожили старших детей. 2 октября в Ясную приехали Татьяна Львовна и Сергей Львович. Состоялся резкий разговор с матерью, которой объявили, что если она больна, то

необходимо лечиться, если здорова — необходимо опомниться и изменить поведение. В случае же, если она будет продолжать мучить отца, пригрозили семейным советом, консилиумом врачей и опекой, устранением от хозяйства и ведения дел по изданию. Александра Львовна целиком поддерживала такую твердую позицию, жалея, что эти требования не прозвучали раньше.

На следующий день — случилось длительное и постоянное нервное напряжение — вечером у Толстого был сильный припадок с судорогами и потерей сознания. Уже во время обеда стало ясно, что Толстому нехорошо, бессмысленные глаза, какие — это Софье Андреевне было знакомо — бывали у него перед припадком. После обеда Толстой прилег и стал бредить, шевеля челюстями, издавая нечто вроде мычания. Во время сильных судорог Толстого держали за ноги Бирюков, Булгаков, Маковицкий. Тело билось и трепетало. Между припадками Лев Николаевич просил свечу и карандаш и водил рукой по подушке и салфетке, как будто бы писал, пытаясь диктовать; выходило что-то бессвязное: «Общество... общество насчет трех... общество насчет трех... Разумность... разумность... разумность...» Софья Андреевна пыталась взять у него блокнот, накрытый платком, приговаривая: «Левочка, перестань, милый, ну, что ты напишешь. Ведь это платок, отдай мне его», но Толстой мотал отрицательно головой и упорно продолжал водить рукой с карандашом по платку. Валентин Булгаков вспоминает, что ему весь вечер мерещилось лицо Толстого — «страшное, мертвенно бледное, насупившееся и с каким-то упрямым, решительным выражением». Все были напуганы, но подчинялись своевременно отдаваемым приказаниям Душана Петровича. Запиской от Булгакова вызвали Александру Львовну. Рыдала Софья Андреевна, упав на колени и целуя ногу Льва Николаевича, но не вмешивалась в распоряжения Маковицкого, не вносила, как нередко бывало раньше во время болезни мужа, суету. Впечатление она производила жалкое. Когда Толстой пришел в себя, он с удивлением обнаружил в комнате Душана и Софью Андреевну, — что с ним было, не помнил. Но бред прошел. Постепенно вернулось сознание. Через день он уже занимался привычным литературным трудом.

Болезнь Толстого вернула Александру Львовну. Состоялось даже примирение дочери и матери. Увы, ненадолго. Очень скоро всё вернулось на круги своя. Надежда на мирную и спокойную жизнь затеплилась и тут же угасла. В порыве раскаяния Софья Андреевна пошла на невероятную жертву — согласилась на возобновление встреч Толстого и Черткова. Татьяна Львовна специально ездила к Черткову с приглашением от имени

графини посетить Ясную Поляну. Когда же Софья Андреевна узнала о приезде Черткова, она вдруг попросила Льва Николаевича не целоваться с ним. Будущая встреча этим уже была отравлена. После беседы, в которой друзья говорили о разных предметах, кроме самых больных, касавшихся ситуации в семье Толстых, с Софьей Андреевной случился истерический припадок. Было противно и тяжело. Тут был найден неумной супругой в сапоге Льва Николаевича его «Дневник для одного себя», и полились намеки, выпытывания, возобновились на время угасшие разговоры о завещании, те же безумные требования и подозрения, брань и дикие выходки, упреки, слезы. И жалко и невыносимо, а у Александры Львовны и вовсе терпение истощилось.

Возбуждение Софьи Андреевны не проходило, выражаясь в сложившихся формах — злых, истеричных припадках, не умолкающем стрекоте, который мог кого угодно свести с ума. Появилась и склянка с ядом, начались угрозы покончить жизнь самоубийством, строились планы будущих тяжб, оспаривающих завещание, составленного под давлением Черткова, уже после смерти Толстого. «Я не могу пережить той злобы, которая будет после его смерти, — витийствовала она. — Мы возьмем, конечно, верх, докажем его обмороки и слабоумие, и конечно, восторжествуют обиженные. Но каково же переживать эти ссоры, суды!.. Опию много, на тридцать отравлений хватит; я никому не скажу, а просто отравлюсь».

Шпионство и надзор Софья Андреевна усилила. Всё безобразнее делались истерические сцены — безумие трудно было отличить и отделить от лицедейства. Уход из Ясной Поляны стал неизбежен. Уточнялись сроки и детали ухода и поселения на новом месте. Соответственно всё упорнее в Ясной Поляне циркулируют слухи о готовящемся уходе Льва Николаевича. 20 октября в Ясную приезжает крестьянин села Боровково Тульской губернии Михаил Петрович Новиков, освобождению которого (посажен за докладную записку о бедственном положении крестьянства; он был также автором ряда статей и рассказов) способствовал Толстой, симпатизировавший и доверявший этому свободолюбивому и талантливому человеку. Разговаривали долго и на самые разные темы. Рассказал Толстой Новикову и о семейных делах, о том, что ему не хочется сделать больно Софье Андреевне и что его заветное желание уйти на печку к бедному мужику умереть. Затрагивали этот больной сюжет и на следующий день. Толстой пересказал содержание любопытной беседы Александре Львовне и сообщил о созревшем решении: «Я уеду к нему. Там меня уж не найдут. А Новиков мне рассказал, как у его брата была жена

алкоголичка, так вот, если уж очень начнет безобразничать, брат походит ее по спине, она и лучше. Помогает. Вот поди, какие на свете бывают противоречия».

Толстому понравился народный способ разрешения семейных конфликтов, невероятный в дворянском быту. Новиков выразил, вне сомнения, общее суждение простонародья, не одобрявшего поведения графини (ее крестьяне и особенно прислуга не любили за резкое, пренебрежительное обращение, высокомерный барский тон) и жалевшего терпевшего от «злой жены» графа. Сомнительно, чтобы вожжи оказали воздействие на Софью Андреевну — как веревочные, так и «нравственные». Оставался только уход. С Новиковым и на этот счет было достигнуто взаимопонимание. Александра Львовна была хорошо осведомлена о договоренности. Ей и продиктовал Толстой письмо Новикову, в котором напомнил о разговоре и просил найти ему в деревне «хотя бы самую маленькую, но отдельную и теплую хату». Предупредил, что, если будет ему телеграфировать, то не от своего имени, а от Т. Николаева.

На следующий день Александра Львовна застала его в кабинете странно бездеятельного — ни книги, ни пера, ни пасьянса, сопровождавшего процесс обдумывания новых сочинений. Сообщил дочери, что сидит и мечтает об уходе. Спросил ее: «Ты ведь захочешь идти непременно со мной?» — на что она ответила, что жить с ним врозь не может. Потом стал излагать дальнейшие мечты, всё еще пока мечты: «Ежели так, то мне самое естественное, самое приятное иметь тебя около себя как помощницу. Я думаю сделать так. Взять билет до Москвы, кого-нибудь, Черткова послать с вещами в Лаптево и самому там слезть. А если там откроют, еще ку-да-нибудь поеду. Ну, да это, наверное, всё мечты, я буду мучиться. Если брошу ее, меня будет мучить ее состояние... А с другой стороны, так делается тяжела эта обстановка, с каждым днем всё тяжелее. Я, признаюсь тебе, жду только какого-нибудь повода, чтобы уйти».

Вечером в тот же день приехал Сергей Львович. Беседа в кабинете между отцом и сыном не складывалась, без умолку говорила мать, перебивая отца, изредка, когда стрекот прерывался, пытавшегося вставить слово, в конце концов он вынужден был прекратить попытки — голос матери победил, заглушив и вытеснив мужские голоса. Сын сыграл «Ich liebe dich» Грига. Толстой расчувствовался, хотя музыку Грига вообще-то он не любил. Перед сном им удалось немного поговорить без свидетелей. Толстой не хотел, чтобы старший сын уехал. Тот пообещал скоро

вернуться. Позднее много раз вспоминал слова отца и его необычную мягкость при прощании: «Впоследствии я вспомнил, что он сказал эти слова с особенным выражением; он, очевидно, думал о своем отъезде и хотел, чтобы я после его отъезда оставался при матери. Он всегда думал, что я могу несколько влиять на нее. Прощаясь, он торопливо и необычно нежно притянул меня к себе с тем, чтобы со мной поцеловаться. В другое время он просто подал бы мне руку». В обычном дневнике Толстой о встрече с сыном записал совсем коротко: «Приехал Сережа. Он мне приятен». В «Дневнике для одного себя» в этот день только о самом больном: «Всё то же тяжелое чувство. Подозрения, подсматривание и грешное желание, чтобы она подала повод уехать».

26 октября Толстой с Душаном посетил и Марию Александровну Шмидт, то ли для того, чтобы с ней проститься, то ли желая, чтобы его отговорили от ухода. Старушка Шмидт своего мнения не изменила: «...не велит уезжать, да и мне совесть не дает. Терпеть ее, терпеть, не изменяя положения внешнего, но работая, над внутренним». Но терпение явно истощилось. Вернувшись в Ясную, Толстой говорит Александре Львовне, что, если бы ее не было, уехал бы. И спрашивал у Маковицкого, когда, утром идут поезда на юг. Ему же рассказал о другом проекте ухода: уедет к Татьяне Львовне, а оттуда в Оптину пустынь, попросит у какого-нибудь старца позволения там жить. Душан делает логичный вывод: «Итак, он наготове». Не совсем, однако, наготове. Черткову Толстой пишет об отмене плана, уход вновь отложен: «Если что-нибудь предприму, то, разумеется, извещу вас. Даже, может быть, потребую от вас помощи». 27 октября картина не меняется — верховая поездка с Душаном, обычные, согласно расписанию, литературные занятия, напряженное ожидание повода, какого-то решительного толчка: «Записать нечего. Плохо кажется, а, в сущности, хорошо. Тяжесть отношений всё увеличивается». Это последняя дневниковая запись, сделанная в Ясной Поляне.

Толчок — и мощный — произошел в ночь с 27 на 28 октября. К шпионству, высматриванию, назойливому присутствию, подслушиванию и неумолкающей стрекочущей речи Софьи Андреевны более или менее привыкли. Из пугача она стреляла редко, не каждый день приговаривала портреты Черткова к сожжению и рвала их на мелкие кусочки, убегала в парк, угрожая самоубийством, бродила по дорогам, выслеживая врагов. Это были чрезвычайные обострения, сменявшиеся, если можно так выразиться, легким истерическим состоянием — беспокойная, но не неистовая, не переходящая черту. Однако на этот раз она ее перешла.

То, что произошло глубокой ночью. Толстой описал в дневнике, уже

находясь в Оптиной пустыни: «Спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услышал отворяние дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это Софья Андреевна что-то разыскивает, вероятно, читает. Накануне она просила, требовала, чтоб я не запираю дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее мое движение слышно ей. И днем и ночью все мои движенья, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожно отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит Софья Андреевна, спрашивая „о здоровье“ и удивляясь на свет... который она видит у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать».

Софья Андреевна в день похорон Толстого попытается в ином свете представить свою ночную инспекцию: только на минуту «взошла в его кабинет, но ни одной бумаги не тронула; да и не было никаких бумаг на столе». Странное и жалкое «оправдание». Забота «о здоровье», к счастью, не фигурирует, а ведь именно она переполнила чашу терпения Толстого.

Уйти можно было только сразу и осторожно, не шумя собравшись — появление Софьи Андреевны всё сорвало бы и превратило в фарс. Разбужены были Душан и Александра Львовна. Сборы заняли немало времени. Самых необходимых вещей оказалось так много, что потребовался большой чемодан, который удалось достать без шума: все три двери между спальными комнатами супругов пришлось закрыть. Лев Николаевич договорился с дочерью, что сейчас уедет с Душаном до Шамордина, куда через несколько дней она должна будет прибыть. Толстой нервничал и всех торопил. Сам пошел на конюшню за лошадьми, пока дочь, Душан и Варвара Феофоровна упаковывали в спешке вещи. Ночь темная — глаз выколи. Толстой сбивается с дорожки, попадает в чащу, накалывается, стучится об деревья, падает, теряя шапку, насилу выбирается. Возвращается домой за фонариком и наконец достигает конюшни. Дрожит, как преступник, ожидающий погони, — этот страх будет то проходить, то возвращаться. Толстой был до смерти напуган — ему всюду мерещилась фигура ищущей и стрекочущей Софьи Андреевны: надо закрыть окно, надо бежать, бежать, бежать, уходить куда-нибудь подальше, где можно спокойно и свободно жить, без супружеской назойливой опеки, без супружеских забот «о здоровье». Становятся еще понятнее слова из дневника Толстого: «Может быть, ошибаюсь, оправдывая

себя, но кажется, что я спасал себя, не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне».

Александра Львовна, Феокритова и Маковицкий по липкой осенней грязи притащили вещи. Простились. Поехали через деревню, где уже в некоторых избах светились огни. И только когда выехали на большак, Толстой сказал Душану Петровичу (он думал, что граф собрался в Кочеты к дочери Татьяне) о том, что уезжает навсегда тайком от Софьи Андреевны, и задал ему вопрос: «Куда бы дальше уехать?» Верховая поездка была тревожной и утомительной; Толстой говорил мало, погруженный в думы о новой жизни. По лесу ехать было скользко и опасно — осень выпала холодная и ненастная (это Пушкин осень предпочитал из всех времен года, Толстой оживал весной). Перебирались через глубокий овраг с очень крутыми краями, пришлось Льву Николаевичу спешиться, осторожно спуститься, переползая по льду, а затем долго подниматься, хватаясь за ветки, по крутому склону. Бессонная нервная ночь, тяжелая дорога. Толстой очень устал, и когда опять сел на лошадь, он, виртуозный всадник, сильно перевалился вперед, чего с ним ранее не случалось. И все-таки он наслаждался ездой, осенним бодрящим воздухом, свободой. В Щекине ждали полтора часа поезд; Толстому всякую минуту мерещилось появление на платформе Софьи Андреевны. От Щекина доехали до Горбачева, где пересели в вагон третьего класса поезда Сухиничи — Козельск. Впервые отпустил страх и поднялась жалость к ней, но не сомнение в правильности поступка. Поезд был переполнен. Маковицкому не удалось добиться для Толстого хотя бы относительно приличных условий. Это был, как свидетельствует Душан, самый плохой, душный и тесный вагон, в каком ему приходилось ездить по России. Естественно, Толстой, спасаясь от духоты, вышел на переднюю площадку (на задней устроилось пять курильщиков), где сел на свою особую палку с раскладным сиденьем. Но на площадке было холодно и ветрено. Душан уговорил (что было непросто — Толстой упрямо отклонял почти все услуги) его вернуться в вагон. Толстой прилег отдохнуть на скамейку. Ненадолго — хлынула толпа новых пассажиров, в том числе женщин с детьми. В дальнейшем Толстому пришлось сидеть или вновь стоять на передней площадке.

Силы Толстого таяли. Будь уход спланирован и обдуман, таких неудобств и сложностей, конечно, не было бы. Импровизация предполагает любые неожиданности и непредвиденные повороты. Но другим уход Толстого и не мог быть, как стремительным и импульсивным порывом. Толстой и не думал жаловаться или — тем более — чего-то требовать. Он смешался с теми, кого называл «большим светом», стал частью этого мира,

ушел из своего замкнутого мирка, где был обстоятельствами приговорен к бессрочному заключению. Был бы еще больше доволен, если бы не так сильно устал: «Я здоров, хотя не спал и почти не ел. Путешествие от Горбачева в 3-м, набитом рабочим народом, вагоне очень поучительно и хорошо, хотя я и слабо воспринимал».

В вагоне была пестрая публика — крестьяне, землемер, знавший брата Сергея Николаевича, рабочие, мещане. Разговор касался разных предметов, в том числе Дарвина и образования, экзекуций и выделения общины, Генри Джорджа и его теории единого налога. Толстой спорил с землемером возбужденно, что беспокоило Душана, пытавшегося упротить его перестать говорить и отдохнуть, так как было вредно и опасно напрягать голос. Безуспешно. Возражения так и сыпались на Толстого. Особенно усердствовали землемер и гимназистка, последовавшие за Толстым и на площадку. Ах, как старалась гимназистка Туманская, как гордилась своими прогрессивными познаниями, показывая великому, но такому «ретроградному» писателю Толстому на электрический фонарик, которым он посветил себе, ища упавшую на пол вагона рукавицу — этот наглядный образец пользы науки, как старательно пыталась всё услышанное записать и ведь вошла-таки в историю с мемуарами «На пути в Козельск»! Как часто потом, видимо, рассказывала о своей встрече с Толстым! Но, может быть, и не так уж часто — куда-то бесследно сгинула гимназистка из города Белёва: времена-то в России наступали «судебные». Землемер, как и другие участники и слушатели разговора, воспоминаний не оставил. Лишь из аккуратных и скрупулезных записок Душана Маковицкого мы знаем в подробностях об этом путешествии Толстого.

Землемер с гимназисткой слезли в Белёве. Слез и Толстой, перешел в буфет второго класса, где и пообедал. Не было покойно и в буфете; беспрерывно громко хлопала дверь, нервы Толстого были до предела измотаны, и в ожидании очередного хлопка он страдальчески напрягал мышцы лица и покряхтывал. Затем вернулся к себе в третий. Там один пассажир посоветовал ему определиться в монастырь, бросить дела мирские и спасти душу. Толстой устало и добро ему улыбнулся. Фабричный бойко играл на гармошке и пел. Толстой похваливал. Крестьянин обличал железные дороги — и это Толстому было симпатично — то ли дело пешком, странником-паломником, или на лошади. Поезд тащился невероятно медленно, выматывая душу. Толстой устал сидеть. Физически и душевно устал. Рано утром дотащились до Козельска. Дальше в пролетке по ужасной, грязной, неровной дороге, через луга и канавы. Однажды ужасно трянуло — Толстой застонал.

Приехали в Оптину — благодать, приветливый гостиник о. Михаил, просторная комната с двумя кроватями и диваном. Можно было и письма написать, телеграммы — дочери Александре, Черткову. Сапоги с усилием снял с себя сам, отклонив помощь Душана: «Я хочу сам себе служить, а вы вскакиваете». Еще более упрямо отказывался от услуг, чем в Ясной Поляне. Ночь выдалась беспокойной — прыгали на мебель кошки, в коридоре выла женщина, потерявшая брата.

Утром прибыл Алексей Сергеенко с новостями из Ясной, встревожившими Толстого. А там после его ухода разыгралась настоящая драма с Софьей Андреевной в главной роли. Не дочитав прощального письма мужа (прочла только первую строчку: «Отъезд мой огорчит тебя...»), поняв, что он все-таки ушел, Софья Андреевна с криком: «Ушел, ушел совсем, прощай, Саша, я утоплюсь!» — побежала по парку по направлению к среднему пруду. За ней помчались Валентин Булгаков и дочь Александра. На мостках, с которых полощут белье, поскользнулась, проползла к краю и перекатилась в воду. Александре Львовне и Булгакову ничего иного не остается, как тоже броситься в воду. Упала счастливо, еще чуть-чуть в сторону — и ушла бы под воду: средний пруд глубок и в нем уже тонули люди. Вытаскивают Софью Андреевну на берег. Несут домой обсушиться — здоровье у нее отменное, купание в холодной воде не повредило, как ранее не нанесли вреда и лежания на сырой земле, к которым часто прибегала неистовствующая графиня. Тут же начинает действовать, посылает лакея Ваню Шураева узнать, куда были взяты Толстым билеты, и заодно отправить телеграмму: «Вернись скорей. Саша». Лакеи Софью Андреевну недолюбливали и об этом сразу же сообщили Александру Львовну.

Сообщил Алексей Сергеенко и о том, что сыщики по распоряжению губернатора следят за передвижениями Толстого, что его разыскивает полиция. Он огорчился, но не Удивился, Софья Андреевна неоднократно ранее угрожала самоубийством, а новые попытки лишь укрепили его в правильности своего поступка, о чем и написал ей немного в назидательном тоне, к которому, похоже, привык: «Возвратиться к тебе, когда ты в таком состоянии, значило бы для меня отказаться от жизни. А я не считаю себя вправе сделать это... Жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права. И мерить ее по длине времени тоже неразумно. Может быть, те месяцы, какие нам осталось жить, важнее всех прожитых годов, и надо прожить их хорошо». Дочери Саше написал с очевидной непримиримостью, даже ожесточенностью, «что если кому-нибудь топиться, то уж никак не ей, а мне... желаю одного — свободы от нее, от

этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто всё ее существо». Столь же категорично заявил Толстой и Алексею Сергеевскому: «Хочу быть свободным от Софьи Андреевны. Не пойду на уступки; ни на то, чтобы с Чертковым раз в неделю видаться, ни на то, чтобы отдать ей дневники. Захочу — буду в монастыре жить. Мне это целование, притворство противно». Толстой побеседовал с о. Пахомием и о. Василием, расспрашивал об условиях, на каких можно жить при монастыре. Вряд ли это было серьезно, так как возвращаться в лоно православной церкви отлученный Толстой не желал. Не был к тому же уверен, что жена его не настигнет и в монастыре, ей уже было известно его местонахождение. Боялся, что вот-вот приедет сын Андрей. К старцам-отшельникам идти не собирался, если не позовут. Разумеется, не позвали. В Оптиной пустыни делать было нечего и опасно долго задерживаться. Оставалось повидать сестру, проститься перед дальней дорогой. Он скучал по сестре Маше, которую не видел более года. По дороге к ней в Шамордино «всё думал о выходе... и не мог придумать никакого, а ведь он будет, хочешь не хочешь, а будет, и не тот, который предвидишь».

Приехали в Шамордино затемно. Встреча с сестрой и племянницей Елизаветой Валерьяновной Оболенской была трогательной, со слезами. Лев Николаевич рассказал сестре голосом, прерывающимся от рыданий, о последних месяцах жизни в Ясной Поляне, об уходе, попытке Софьи Андреевны утопиться. Спрашивал, можно ли ему жить в Шамордине или Оптиной. Он готов был на самое трудное послушание, лишь бы не заставляли в церковь ходить. Потом перешли к более мирным, спокойным сюжетам — брату и сестре было приятно возвращаться в старые времена. Мрачные события последнего времени были отодвинуты в сторону, потекла милая и обаятельная беседа, которую, отдыхая от трудных странствий, с истинным наслаждением слушал Маковицкий. Мария Николаевна посоветовала брату пойти к старцу Иосифу. Но Толстой и к этому прославленному старцу не пойдет. А вот квартиру в крестьянской избе подыскал и собирался туда на следующий день переехать, однако позже планы резко переменялись.

Наблюдавший Толстого как доктор, Маковицкий полагает, что болезнь Толстого началась утром 30 октября: слабость, сонливость, сильная зевота. Маковицкого удивило и что накануне, вечером, Толстой оговорился, назвав его Душаном Ивановичем. Вечером приехала Александра Львовна с Феокритовой. Добирались они окружным путем, тайком сбежав из Ясной. Привезли вещи и письма Софьи Андреевны, детей (кроме Льва, находившегося за границей, и Михаила, отказавшегося писать). Письма

Ильи и Андрея расстроили Толстого: сыновья желали его возвращения к матери в Ясную Поляну. Илья Львович писал, что необходимо успокоить мать, чья жизнь в большой опасности, и довольно-таки бесцеремонно поучал отца: «Я знаю, насколько для тебя была тяжела жизнь здесь. Тяжела во всех отношениях. Но ведь ты на эту жизнь смотрел как на свой крест, и так и относились люди, знающие и любящие тебя. Мне жаль, что ты не вытерпел этого креста до конца. Ведь тебе 82 года и мама 67. Жизнь обоих вас прожита, но надо умирать хорошо». В конце сын добавил, что был бы рад получить письмо от отца. Но Толстой ему не написал больше ни строчки. Андрей Львович писал, что своим уходом он убивает мать, «которую невозможно видеть без глубочайшего страдания». И этому сыну Толстой не ответил. Несколько разочаровало письмо Татьяны Львовны: отца она не осуждала, но и не одобряла его поступок, советов не давала, не скрывая и сочувствия к жалкой и трогательной матери. В подтексте этого дипломатичного, осторожного письма ощутимо недовольство решительным шагом отца. Удовлетворен Толстой остался лишь коротким и энергичным письмом Сергея Львовича: «Твое письмо, Сережа, мне было особенно радостно: коротко, ясно и содержательно и, главное, добро». Сын писал, что супругам, видимо, давно уже надо было расстаться, что положение было безвыходное и отец «избрал настоящий выход». Ответил Толстой сразу и только старшим детям, сообщив им, что вынужден совершенно срочно покинуть Шамордино: «Тороплюсь уехать так, чтобы, чего я боюсь, мама не застала меня. Свидание с ней теперь было бы ужасно». О том, что уезжает, не называя маршрута пути, написал одновременно и графине.

Толстой не хотел уезжать из Шамордина, где ему всё нравилось. Александра Львовна вместе со своей, как ее называла Софья Андреевна, приживалкой Феокритовой привезла с собой тревогу, сильно преувеличив опасность погони со стороны Софьи Андреевны и Андрея Львовича, на семейном совете в Ясной все (в том числе и Андрей Львович, который и не собирался организовывать «погоню» за отцом, резонно полагая, что обо всех передвижениях превосходно осведомлены и власти, и журналисты и абсурдно предполагать, что он может где-нибудь скрыться) пришли к единодушному решению удерживать мать от поездки. Александрой Львовной овладел панический страх, передавшийся Льву Николаевичу и другим. Всех охватило возбуждение. Судорожно, в спешке обсуждались различные варианты дальнейшего путешествия: Крым, Бессарабия, Кавказ. Отложили решение до утра 31-го. Толстой проснулся очень рано и сказал о своем желании уехать из Козельска первым поездом. Он не попрощался в

спешке с сестрой, оставив ей небольшое письмо с извинениями и благодарностью. Объяснял столь стремительный отъезд боязнью, что здесь застанет его жена. «Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывал к тебе такую нежность, какую я чувствовал эти дни и с которой я уезжаю» — слова брата, оказавшиеся прощальными.

Спешно стали собираться в дорогу, боясь не успеть и столкнуться с Софьей Андреевной, которая могла прибыть уже в шесть часов: предпринимались, как в приключенческих романах с непереносимой погоней, меры предосторожности, Душан проинструктировал ямщика не отвечать на вопросы любопытствующих, кого везут. Опять утомительная поездка в пролетке по замерзшей дороге, когда Толстой слезал с нее, слегка пошатнулся, то ли от усталости, то ли от болезни. В поезде обсуждение безопасного места поселения продолжилось: Кавказ, Болгария, Греция. Изучили газеты — там было мало утешительного, оживленно обсуждался уход Льва Николаевича и все его этапы. Действительно, погоня была, только не Софья Андреевна или Андрей Львович преследовали Толстого, а охочая до сенсаций и этим живущая пресса. Всюду по дороге толпились любопытные, заглядывали в купе из коридора вагона, с перрона, тем же поездом ехал и сыщик, должно быть, неопытный и туповатый — на каждой остановке он в разных одеждах торчал против вагона и упорно смотрел в окно (что-то из Кафки, неизбежный элемент фарса, подмешанный к драме).

Вагон был вполне сносным и условия гораздо комфортабельнее, чем в ту памятную ужасную поездку вместе с гимназисткой и землемером. Толстой больше один сидел в купе. Рядом были дочь Саша с Феокритовой, незаменимый, верный Душан. Ехать задумано было до Новочеркасска, а потом дальше: на Кавказ или в Болгарию. Быстро развивающаяся болезнь Толстого сорвала этот проект. Усиливался озноб; Толстой дрожал и стонал под грудой одежды. Маковицкий, опасаясь воспаления легких, решил сделать остановку на первой же большой станции, даже если поблизости не было гостиниц, договорился с начальником станции, справившись о том, какая у него квартира.

Станция Астапово. Это мало кому что говорящее название очень скоро станет известно во всем мире. С начальником станции, добродушным и гостеприимным латышом Иваном Ивановичем Озолиным, и договаривался об остановке в его квартире Душан Петрович. Озолин был ошарашен, отступил даже на несколько шагов, не веря услышанному, но после подтверждения слов Маковицкого кондуктором сразу согласился. Толстого перевели сначала из вагона на вокзал, где устроили в дамском зале ожидания (отклонил подушку, не пожелал лечь на диван — знобило всё

сильнее, стонал), пока Варвара Михайловна Феокритова (Лев Николаевич назвал ее «идеальной сиделкой») готовила кровать в гостиной у Озолиных, потом повели в дом начальника станции. В торжественной тишине повели — публика почтительно расступалась. Шел с трудом, особенно по лестнице вниз, на глазах слабел. Когда сел в кресло, попросил позвать хозяев, которых поблагодарил и принес извинения за беспокойство. В постели бредил — о догоняющей его Софье Андреевне, а потом ненадолго потерял сознание. После смерти Толстого Софья Андреевна запишет в дневнике 2 января 1911 года: «Вернулся Андрюша из монастыря, много рассказывал и больно было слышать, что Лев Николаевич страшно боялся моей погони за ним и очень плакал и рыдал, когда ему сказали, что я топилась».

Утром 1 ноября почувствовал себя лучше, собрался ехать дальше, но позже температура снова поднялась. Тем не менее пытался работать. Продиктовал письмо старшим детям и мысль о Боге, показавшуюся значительной: «Бог есть неограниченное Всё; человек есть только ограниченное проявление Его... Истинно существует только Бог. Человек есть проявление Его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлением (жизнями) других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью».

В доме не доставало самых необходимых вещей: всего одно ведро, не было посуды. Печка нещадно дымила, и ее неумело топили. Дверь без ручки отворялась с трудом и с Щелчком, а отворялась она поминутно. Столь необходимый Толстому сон слишком часто нарушался. От суеты и сутолоки уставали все. Два маленьких стола были завалены вещами. Гигиенические условия вряд ли кто мог считать удовлетворительными: ночью шуршали мыши и тараканы, водились и клопы — их Душан снимал с рубахи Льва Николаевича.

Хозяева дома были предупредительны и любезны, стоически переживая подлинное нашествие: сотни назойливых корреспондентов, шумных и много пивших, жаждали свежей информации, бесцеремонно осаждая всех, особенно безотказного и доброго Ивана Ивановича (в дом их не пускали, они прочно осели в вокзальном буфете), доктора (их число постепенно увеличивалось), сопровождавшие Толстого в поездке лица, к которым присоединились Чертков, Сергеенко и другие. Приехали старшие и младшие дети. Прибыла и Софья Андреевна — бдительно следили, чтобы она не проникла ко Льву Николаевичу. Софья Андреевна стала вести себя потише, хотя состояние ее мало изменилось — вспоминая роковую ночь, она неуклюже оправдывалась и кляла себя за то, что крепко уснула,

упрекала Душана, что не разбудил ее, говорила о своем желании поселиться там, где пожелает муж, если же уедет без нее, будет разыскивать, готова пять тысяч рублей заплатить сыщику за отслеживание, на весь буфет говорила о Толстом всё те же безумные сплетни, подхватываемые прессой, внушала корреспондентам, что Толстой ушел из-за рекламы. Допустить ее к нему, понятно, было невозможно. Запрещали это и врачи.

Присмирели и вели себя в высшей степени деликатно младшие дети — Илья, Андрей, Михаил. Несчастье, как верно определил Маковицкий, сблизило Толстых: на семейных советах было полное согласие. Татьяна Львовна, больше всех сделавшая для согласия и мира среди Толстых, в разговоре с отцом сказала, что младшие мальчики очень измучились и пытаются всячески успокоить мать, и мягко упрекнула его за то, что он к ним не обратился. Толстой эту тему не поддержал, очевидно, обида была слишком велика. И желания их видеть не изъявил. Сами же Илья, Андрей и Михаил отказывались войти, не желая тревожить отца, который не знал, что они здесь. Сергей Львович считал, что братья боялись, что если они войдут, то нельзя будет удержать мать. Сыновья входили в комнату посмотреть на отца, когда он дремал.

Сергею Львовичу и Татьяне Львовне обрадовался, хотя и устроил при первом посещении сына нечто вроде маленького допроса — страх перед внезапным появлением Софьи Андреевны никак не проходил (о приезде дочери проговорились). Общался, естественно, с Чертковым — накопилось немало дел. Беседовал и с другими своими последователями и друзьями. Выговором встретил Гольденвейзера (ему сказа-ти, что тот приехал, отменив концерт): «Когда мужик землю пашет, у него отец умирает... он не бросит свою землю. Для вас ваш концерт — это ваша земля: вы должны ее пахать». Отклонил сурово утешение Горбунова-Посадова, никогда не любил утешений и утешителей.

Толстой не предполагал долго задерживаться в Астапове. Думал, что выстоит. Увидев врача Дмитрия Васильевича Никитина, которого хорошо знал и любил, в шутливом тоне сказал: «Ну, вот как хорошо, что приехали. А я вот умирать задумал, ну да что делать — всем нужно. А может быть, и обману». Думал даже встать на ноги через два дня, но врачи сказали категорично, что вряд ли это может произойти и через две недели. Услышав столь неутешительные новости, Толстой огорчился и повернулся к стене. У докторов тогда еще была надежда, что удастся одолеть воспаление легких и сбить температуру. Надеялись на крепкий организм Толстого, ранее неоднократно опровергавший самые пессимистические прогнозы. В

заключении врачей, составленном в 1909 году, в частности, было сказано: «Органы дыхания совершенно нормальны. Сердце и сосуды для 80-летнего возраста настолько хороши, что приходится удивляться, насколько велика сила сердечной мышцы, позволяющая Льву Николаевичу совершать так много физических движений». Состояние Толстого было угрожающим, но небезнадёжным, однако оно сначала медленно, а в дальнейшем стремительно продолжало ухудшаться. В записках Маковицкого представлена в малейших подробностях кривая болезни Толстого с 31 октября по 7 ноября. Иногда жар спадал и улучшалась работа сердца. Толстой тогда оживлялся и принимался за работу, обдумывал статьи о безумии современной жизни и о самоубийствах, слушал письма и диктовал ответы, заполнял дневник, особенно, по свидетельству Маковицкого, были утомительны для него посещения Черткова. Но и без этих рабочих посещений друга и помощника мозг Толстого работал неустанно: «Всё сочиняю, пишу, складываю».

4 ноября произошло резкое ухудшение. Толстой становился всё беспокойнее. Стонал, бредил, открывался, водил Рукой по воздуху, будто хотел что-то достать — «обирался». Сергей Львович расслышал: «Может быть, умираю, а может быть... буду стараться... Плохо дело, плохо твоё дело... Прекрасно, прекрасно». Он сознавал, что умирает, говорил сам с собой, с закрытыми глазами. Потом вдруг открыл глаза и сказал громко то, от чего у сына пробежала дрожь по спине: «Маша! Маша!» Привиделась, должно быть, любимая дочь. Пить отказывался.

5 ноября наметилось незначительное улучшение (по записям Маковицкого, Сергей Львович рисует ту же картину — метание, бред, бессвязная речь, продолжает «обираться», быстро водил рукой по простыне) — чуть-чуть спал жар, перестало распространяться воспаление и — сразу же всеобщее оживление. Пытались понять, что Толстой хочет сказать, мучаясь и раздражаясь, и не могли: «Как вы не понимаете. Отчего вы не хотите понять... Это так просто... Почему вы этого не хотите сделать». 6 ноября приехали доктора Щуровский и Усов. Осмотрели Толстого, но... — надежда на благополучный исход уже почти исчезла. После ухода врачей Толстой отчетливо сказал в присутствии дочерей: «Только советую вам помнить одно: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого, — а вы смотрите на одного Льва». Ему сделали болезненные инъекции. Просил в бреду: «Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал. Оставьте меня в покое». Сказал, присев на кровати: «Боюсь, что умираю». На Сергея Львовича ужасное впечатление произвели громко сказанные отцом слова, в которых сконцентрировался весь ужас

последнего времени: «Удирать, надо удирать». Сказал и увидел сына, позвал его. Еще произнес фразу, из которой не он, а Душан разобрал всего несколько слов: «Истина... люблю много... все они...»

Воцарилась мучительная тишина, в которой отчетливо слышалось тяжелое дыхание Толстого. И так всю ночь с 6-го на 7-е. Больше Толстой не говорил. Родные и друзья входили и взглядом прощались с ним. Можно было впустить и Софью Андреевну. По воспоминаниям Сергея Львовича, она дважды прощалась с мужем. В два часа (приблизительно) подошла к нему, опустилась на колени, поцеловала в лоб и стала шептать какие-то слова, прощаясь, и потом — незадолго до смерти. Но Толстой был без сознания и вряд ли что слышал. В шесть часов пять минут он умер. Душан Петрович подвязал бороду и закрыл («застлал» написал он по- словацки) глаза. Теперь предстояло доставить Толстого в Ясную Поляну, откуда он ушел десять дней назад, и предать земле.

Утром 8 ноября гроб с телом Толстого вынесли из дома Озолина четыре сына — Сергей, Илья, Андрей и Михаил. На следующий день траурный поезд прибыл на станцию Засека, где собралась большая толпа: депутаты из Москвы и крестьяне Ясной Поляны. Толстой к торжественным и многолюдным похоронам относился отрицательно, как и ко всякого рода чествованиям, юбилеям, памятным датам. Он испытывал удовлетворение при мысли, что его, как отлученного, не будут хоронить по православному обряду. Но не менее отрицательно относился Толстой и к гражданским похоронам с непрямым политическим оттенком, к траурной прессе. Желал, чтобы всё было подешевле и попроще, без венков, цветов, речей, хотя и понимал, что это вряд ли осуществимо. По прессе, оживленно, во всех подробностях, часто фантастических и ложных, освещавшей уход, по развязному газетному тону (если, однако, сравнить с современными репортажами, то приходится сказать, что тогда была целомудренная и деликатная журналистская эпоха) легко можно было представить, каким образом будут хоронить Толстого.

Обойтись без пошлости (чего стоит один лишь венок от железнодорожников с надписью: «Апостолу любви»), декламаций и ритуальной риторики, разумеется, не удалось. Можно понять Бунина, который радовался, что не попал на это «грандиозное» и «истинно народное» зрелище, не видел собственными глазами, как несли гроб по полям к Ясной Поляне, как хоронили Толстого «благородные крестьяне», «вся русская передовая интеллигенция», «люди, чуждые ему всячески, восхищавшиеся только его обличениями церкви и правительства и на похоронах испытывавшие в глубине душ даже счастье: тот экстаз

театральности, что всегда охватывает „передовую“ толпу на всяких „гражданских“ похоронах, в которых всегда есть некоторый революционный вызов и это радостное сознание, что вот настал такой миг, когда никакая полиция не смеет ничего тебе сделать, когда чем больше этой полиции, принужденной терпеть „огромный общественный подъем“, тем лучше...».

Само собой, во многих репортажах и мемуарах фигурировали крестьяне, несшие полотнище со словами: «Лев Николаевич, память о том добре, которое ты делал нам, никогда не умрет в нас, осиротевших крестьянах Ясной Поляны». И почти никто не догадывался о том, что осиротевшие яснополянские мужики очень надеялись на вознаграждение, полагая, что такое рвение должно понравиться господам. Вопросили они: «Ну вот, мы несли эту самую вывеску. Что ж, будет нам за это какое-нибудь награждение от начальства или от графини? Ведь мы как старались! Целый день на ногах! Опять же на венок потратились». Колоритный штрих к бесконечно эксплуатировавшейся в XX веке теме «Лев Толстой и народ».

Скорбели о смерти Льва Толстого, конечно, миллионы (и не только в России) и делали это как могли и в тех формах, к которым были приучены. В накаленной обстановке тогдашней России избежать политических демонстраций было невозможно, но они не выплескивались открыто наружу, а деликатно сопутствовали траурным церемониям. Нельзя не сказать также, что на приведенное суждение Бунина оказало большое воздействие его непосредственное знакомство с «революционным» народом. Семья Толстых настояла на выполнении воли Толстого: речей было немного. Захоронили Толстого в лесу, согласно его желанию, там, где была зарыта, по рассказам любимого брата Николеньки, приносящая всем счастье «зеленая палочка». Могилу в «Заказе» вырыл вместе с другими крестьянами ученик Толстого Тарас Фоканыч.

Софья Андреевна, придавленная горем, была непривычно молчалива и не плакала. Сдержанно выражала печаль и семья Толстых, которую сплотила смерть отца. Противоречия перед лицом общего горя ступшевались, страсти вокруг завещания улеглись. Отчетливо проявились лучшие родовые черты. Исключение составлял приехавший на похороны из Парижа Лев Львович, дважды выступивший в прессе с объяснениями причин ухода отца из Ясной Поляны (другие Толстые старались не касаться этого слишком больного, кровоточащего вопроса). Сначала он опубликовал письмо, опровергая «грязные и несправедливые догадки», что Толстой будто бы уехал из-за разных семейных неприятностей и алчности наследников, противопоставив им высшие мотивы: «Я думаю, что Львом

Николаевичем тут руководила исключительно религиозная идея: одиночество в Боге. Пусть мир меня осудит, пусть будет горе жены и детей, но я „должен“ спасти душу до конца, уяснить себе мою сущность в последние дни моей жизни. Вот главная и единственная причина поступка, и никаких других тут нет и не может быть».

Вряд ли это письмо понравилось другим членам семьи, но и с возражениями никто не выступил, да и трудно было оспаривать сформулированные в самом общем виде догадки. Но другое письмо, опубликованное под названием «Кто виновник?» 16 ноября в газете «Новое время», вызвало протесты Ильи Львовича, Сергея Львовича и Татьяны Львовны. Виновником, как легко догадаться, оказался Владимир Григорьевич Чертков, на которого одного возлагает Лев Львович ответственность за «преждевременную смерть» отца. В этом удивительно бестактном и истеричном письме он называет Черткова не только злейшим врагом Толстого, но и врагом «всего русского образованного общества и всего цивилизованного мира». Неудивительно, что Толстые сочли необходимым откреститься от мнения брата, хотя их отношение к Черткову в последний год изменилось к худшему, чему способствовали история с завещанием и ряд некорректных выражений, допущенных другом Толстого в нервных и горячих объяснениях с Софьей Андреевной (графиня вела себя грубо, вызывая, оскорбительно, и всё же «идолу» ради хотя бы спокойствия Льва Николаевича следовало сдержаться). Илья Львович счел необходимым заявить, что «узкое и пристрастное толкование значения Черткова умаляет величие памяти моего отца». Сергей Львович выразил глубокое огорчение письмом Льва Львовича и брезгливо добавил, что не возражает ему только потому, что считает полемику с ним о влиянии Черткова на Льва Толстого «недопустимой». Удовлетворена печатным выступлением была, видимо, одна Софья Андреевна, связанная с сыном и общей виной, которую они не могли не сознавать в глубине души. Это вырвалось в письме Льва Львовича матери от 15 февраля 1911 года, но как-то приглушенно и жалко (он, как и мать, раскаиваться и исповедоваться не умел, отличаясь в этом отношении от других членов семьи): «Как странно, что папа нет. Чем дальше, тем это скорбнее. Как жутко, что так теперь стало принято думать, что мы утомили его, мы, любившие и любящие его больше всех остальных. Конечно, мы вели себя не идеально. Но кто же святой? И потом, разве не виноваты те, кто заставил его страдать, окончательно восстановив нас?» И чем больше терзали сына муки совести, тем темпераментнее он уверял мать, что она ни в чем не виновата и иначе не могла себя вести. И всячески пытался убедить ее (и себя) в том, что

«уход и смерть отца послужили не торжеству его взглядов, а подтверждением их слабости и односторонней узости».

Уход Толстого не мог быть только «семейным делом» или актом, инспирированным злонамеренной волей Черткова, но он, конечно, больно затронул всех членов большой и разнородной семьи, как — и в не меньшей степени — Черткова и ближайших последователей писателя. В семье, пожалуй, одна Александра Львовна восприняла поступок отца одобрительно, что понятно, она из всех сил подталкивала его к такому шагу и принимала в осуществлении ухода самое деятельное участие. Свое удовлетворение высказали и толстовцы. Чертков, узнав об уходе, писал Толстому с подъемом, рисуя ему перспективы новой и свободной жизни: «Не могу высказать вам словами, какую для меня радостью было известие о том, что вы ушли. Всем существом сознаю, что вам надо было так поступить и что продолжение вашей жизни в Ясной, при сложившихся условиях, было бы с вашей стороны нехорошо. И я верю тому, что вы достаточно долго откладывали, боясь сделать это „для себя“, для того, чтобы на этот раз в вашем основном побуждении не было личного эгоизма. А то, что вы по временам неизбежно будете сознавать, что вам в вашей новой обстановке и лично гораздо покойнее, приятнее и легче — это не должно вас смущать. Без душевной передышки жить невозможно». Чертков не предполагал, что Толстого будет только одно смущать — преследование страшно запугавшей его в последние месяцы Софьи Андреевны: в душевной передышке он нуждался больше всего. И Чертков, помимо разных других соображений, радовался тому, что он эту передышку, наконец, получит.

Валентин Булгаков выражал общие чувства не одних толстовцев, а и окружавших Толстого людей, записывая в день ухода, что это событие «глубоко-глубоко и радостно потрясало и волновало». В радостное возбуждение пришла и Александра Львовна, рассказывавшая, что лицо Толстого приобрело «необычное и прекрасное выражение: решимости и внутренней просветленности». Но это уже, кажется, из области мифотворчества — обстоятельства ухода были так тяжелы, что Толстой о просветленности и не помышлял.

Мифотворчество было просто неизбежно. Уже давно личность Толстого, его поступки и произведения воспринимались в легендарном свете. Легенда проникала в воспоминания его современников: Репина, Бунина, Розанова и других. Вот, можно сказать, типичный образец мифотворчества из воспоминаний А. Б. Гольденвейзера: Толстой, сбившийся с дороги, окруженный четырьмя огромными овчарками, с

бешеным лаем бросавшимися на сани, бесстрашно из саней выходящий и, громко гикая, с пустыми руками идущий на них. Собаки затихают, расступаются, давая дорогу смельчаку. «В эту минуту он со своей развевающейся седой бородой больше похож был на сказочного героя, чем на слабого восьмидесятилетнего старика».

Легенде давно уже было тесно в российских просторах. Она пересекла границы, своеобразно преломившись в Европе, Америке, Индии, Японии. Для посетивших Ясную Поляну Райнера Марии Рильке и Лу Андреас-Саломе Толстой не просто великий писатель-мудрец, а воплощение русского человека. Он ничего значительного не сказал им во время прогулки по Ясной Поляне, если не считать темпераментного обличения лирики и стихотворцев. Гостям не очень важны были слова Толстого, главное был сам Толстой, каждое его движение, «говорящие» походка, поворот головы, то, как он удивительным приемом, каким ловят бабочек, хватает и срывает пучок незабудок, прижимает их к лицу, а затем небрежно роняет на землю. Расслышав кое-что из почтительно-приветственного обращения к Толстому одного седого старца, пришедшего откуда-то издалека в Ясную Поляну, они, вторя ему, шепчут: «...что довелось тебя увидеть...»

Уход — яркая заключительная страница жизни Толстого, прекрасная и загадочная, захватывающая и будоражащая умы и сердца, — неизбежно воспринимался современниками в легендарном свете: преобразование, освобождение, чудо, желание завершить жизнь иноческим подвигом, религиозное просветление, мистический акт великого богоискателя, высшее торжество духа. Совсем неожиданно не совпали, правда, а соприкоснулись мысли таких антиподов, как Иван Бунин и Андрей Белый. Бунин видел в бегстве из Ясной Поляны и смерти на станции Астапово «высшую и всё разъясняющую точку» долгой и столь во всем удивительной жизни Толстого. Андрей Белый испытал настоящий религиозный восторг, восхищенный последним подвигом Льва Толстого: «Но вот Толстой встал и пошел — из культуры, из государства — пошел в безвоздушное пространство, в какое-то новое, от нас скрытое измерение: так и не узнали мы линии его пути, и нам показалось, что Толстой умер, тогда как просто исчез он из поля нашего зрения: пусть называют смертью уход Толстого: мы же знаем, что смерть его — не смерть: воскресение». Для Андрея Белого — это символическое событие огромного значения — «уход из мира сего одного из величайших сынов сего мира». Да, он не смог «одолеть мир ни словом, ни творчеством», и уж совсем непонятно, как нам, слабым, «одолеть обступившую нас ночь». Но главное, что он смог уйти,

«что он тронулся с места», и здесь уже для всех есть «величайшее знамение: стало быть, есть место, куда можно уйти».

Темная, холодная, сырая ночь 28 октября 1910 года — 82-летний Толстой уходит из Ясной Поляны, осуществляя такую давнюю свою мечту, уходит в тот широкий и бесконечный мир, который всегда его манил, уходит навсегда, единым усилием разрывая путы, в последнее странствие, без подготовки, не определив ни дороги, ни места назначения. Уходит и всё тут, не заботясь о том, что напишут, скажут, подумают о его поступке. Все детали этого фантастического последнего странствия Толстого современники переживали как событие мировой важности, как, может быть, самое значительное, чему им довелось быть свидетелями. И даже после величайших потрясений, которые суждено будет перенести им в XX веке, уход Толстого представляется чем-то близким и пророческим польскому поэту Збигневу Херберту, стихотворение которого «Смерть льва» появилось спустя восемьдесят лет после той памятной осени 1910 года. Сталкивая различные дневниковые записи и свидетельства современников, Херберт создает динамичную картину отчаянного последнего бега Льва

от ясной поляны
к темному лесу.

Его преследует, кажется, вся Россия, стремящаяся поймать Льва, вернуть на прежнее место:

Идет облава
остервенело
идет облава
на Льва

впереди
Софья Андреевна
вся мокрая
после попытки утопиться
зовет призывает
— Левочка —
голосом который мог бы
заставить смягчиться и камень

за нею
сыновья дочери
дворян приبلуды
городовые попы
эмансипатки
умеренные анархисты
христиане невежды
толстовцы
казаки
и всякая сволочь

бабы пицчат
мужики улюлюкают
ад.

Мир, окружавший Толстого, близкие, ученики и противники, мир его великих книг. Мир, из которого он бежит ку-да-то в неведомое, на мгновение остановившись на последней земной станции:

финал
маленькая станция Астапово
как деревянная колотушка
возле железной дороги.

Поэт мифологизирует кончину Льва Толстого, заставляя его дважды повторить одно пророчество из Писания, тогда никем не понятое и не расслышанное:

восстанет народ на народ
и царство на царство
одни падут от меча
других погонят в неволю
во все народы
ибо то будет время отмщения
да исполнится
всё написанное.

Пророчество гораздо позднее расслышал где-то в глубине своей измученной и страдающей души и истолковал поэт. Оно о тех давних временах и о нас, о нашей безумной, странной, скитальческой и нечистой жизни:

вот и приходит время
бегства из дому
блуждания в джунглях
безумного скитанья в море
круженья во мраке
ползанья во прахе.

Почти век назад ушел Лев Толстой из дома в недолгое, всего десять дней длившееся странствие, а кажется, оно вобрало в себя вечность. Каждая малейшая деталь его памятна и жива, радостью и болью отдается в сердце. Без этого последнего аккорда симфония жизни Толстого была бы неоконченной.

ДРАМАТУРГИЯ ТОЛСТОГО

Когда мы размышляем о русской драматургии XIX столетия, вряд ли придет на ум причислять к плеяде выдающихся отечественных драматургов Льва Николаевича Толстого. Гениальный прозаик, философ, создатель собственного учения, он никогда не претендовал на лавры театрального писателя.

И сразу возникает парадокс.

Человек, отвергавший театральное искусство, с определенной долей презрения относившийся к театральной условности, создал тем не менее понятие «театр Толстого». Причем не количеством, а уникальным качеством нескольких своих пьес, признанных шедеврами мировой драматургии. Эта уникальность сформулирована самим Толстым в 1890-е годы: «Для того чтобы точно определить искусство, надо прежде всего перестать смотреть на него как на средство наслаждения, а рассматривать искусство как одно из условий человеческой жизни. Рассматривая же так искусство, мы не можем не увидеть, что искусство есть одно из средств общения людей между собой».

Понимая под определением «искусство» литературу, музыку, изобразительные искусства, театр, Толстой тем самым объединял их в некий единый нравственный урок: все они имеют право на существование только тогда, когда помогают «проявить, высказать правду о душе человека», ибо только эта правда позволяет испытать драгоценное чувство единения людям — читателям, слушателям, зрителям.

Из этой точки зрения естественно вытекает один из главных философских выводов Льва Николаевича: произведения искусства могут называться лишь те из романов, поэм, пьес и так далее, которые способствуют нравственному совершенствованию личности, а значит — и человечества в целом. А значит, адресованы они должны быть не тонкому культурному слою публики, а значительно шире — народу.

«Условие искусства — новизна», — считал Толстой, и этот взгляд писателя на искусство был поистине нов, особенно если приложить его к искусству театральному: возбуждающему, заражающему, соединяющему людей в пространстве единого эмоционального потрясения. Кто способен в большей степени испытать это чувство слияния со всеми? — конечно, не «партер» и не «ложи», не представители культурного слоя, а «галерка», народ, простые, чаще всего малообразованные люди со своими

незатейливыми чувствами, порой не сформулированными ощущениями, но несомненной тягой к просвещению, к нравственному совершенствованию, к религиозной целостности.

Это отличие толстовской театральной эстетики верно отмечает в исследовании «Театр Льва Толстого» Е. И. Полякова: «Убежденный, что создает религиозный театр, Толстой создал этический театр, театр огромной нравственной и социальной значимости, обращенный не к ограниченному „верхнему“ слою общества, но ко всему народу».

Именно драматургическая форма дает подобный простор, поэтому с определенного времени Толстой обращается к ней при всей противоречивости своих взглядов на театр. Известна беспощадность суждений Льва Николаевича о трагедиях Шекспира, о современных пьесах А. П. Чехова, однако, не принимая театр как форму условного отображения жизни, Толстой сознательно выбирает именно ее, когда необходимо выразить глубокую нравственную мысль — и выдвигает специфическую, уникальную роль театрального искусства, которую, быть может, до Толстого никто не ощущал так обостренно и индивидуально.

Вероятно, поэтому драматургическое наследие Льва Николаевича Толстого вошло в историю мирового театра фактически одной пьесой — «Живой труп», а в историю театра отечественного тремя — «Живой труп», «Власть тьмы» и «Плоды просвещения». Самые ранние пьесы Толстого, а также более поздние («Первый винокур», «Петр Хлебник», «И свет во тьме светит», «Проезжий и крестьянин», «От ней все качества») не имеют сценической истории, кроме считанных исключений, и, пожалуй, никогда не знали одного из очень существенных театральных законов — успеха.

А если вдуматься, именно этот, сугубо внешний с философской точки зрения, но немаловажный с точки зрения театральной эстетики критерий и призван был проявить в полной мере внутреннюю задачу Толстого-драматурга, сформулированную им в трактате «Царство Божие внутри вас»: «Решителем всего, основною силою, двигавшею и двигающею людьми и народами, всегда была и есть только одна невидимая, неосязаемая сила — равнодействующая всех духовных сил известной совокупности людей и всего человечества, выражающаяся в общественном мнении». И не случайно в письмах и записях Толстого тех периодов, когда он обращался к драматургии, слово «успех» встречается — именно успех необходим был ему как выражение общественного мнения.

Г. Галаган в статье «Проблема общественного мнения в наследии Л. Н. Толстого» справедливо отмечает, что общественное мнение всегда понималось писателем как совокупность однородных представлений об

истине: подлинная соединяет людей, ложная — разъединяет. И, думается, мы вправе предположить, что театр рассматривался Л. Н. Толстым как место формирования этого общественного мнения, где истина предстает в своем подлинном, соединяющем значении. И роль драматургии, таким образом, самым писателем понималась как воспитующая, как одно из важнейших средств «общения людей между собой».

Именно этого и не находил Толстой в современном ему театре; для него успех никогда не становился критерием, и в этом, как ни парадоксально, сказывались одновременно сильная и слабая стороны Толстого-драматурга.

*

Знакомство Левушки Толстого с театром состоялось довольно поздно по тем временам — ему было девять лет, когда Толстые приехали из Ясной Поляны в Москву и отправились в Большой театр. Это было первое разочарование. «Смотрите же, дети, вот где сцена, — сказала мамаша, указывая вниз в одну сторону. Дети посмотрели туда, и им не понравилось...» — кто знает, может быть, с той поры и родилось в Толстом отношение к музыкальному спектаклю (опере, балету) как к чему-то противоестественному, чуждому жизненной простоте и жизненному подобию? Условность сюжетов и характеров, знаковая природа балета отталкивали писателя своей претензией на сложную психологию человеческих взаимоотношений.

Иным было отношение писателя к драматическому театру, хотя, судя по его записям и воспоминаниям близких, заядлым театралом Толстой никогда не был. Он мог испытать острое впечатление от общения с подлинным искусством, большим артистом (как было это, когда Лев Николаевич увидел М. С. Щепкина в роли Городничего в «Ревизоре»), но вряд ли когда-нибудь испытывал искушение повторить это потрясение или хотя бы поискать сходного впечатления в других спектаклях.

Известно, что Толстой подписал вместе с другими петербургскими литераторами приветствие Щепкину в дни его пятидесятилетнего юбилея. Думается, подпись Льва Николаевича едва ли не в первую очередь относится к словам, которые ярко иллюстрируют мысль Толстого о воспитующей роли театра: «Как сосчитать, сколько благодатных движений пробуждено артистом, сколько готовых навсегда погаснуть чувств вызвано из усыпления и оживотворено им? Это заслуга невидимая, неисследимая —

но великая; и общее сочувствие — ей награда, лучшая награда, какой может желать человек».

Кроме Щепкина, с которым Толстой был настолько хорошо знаком, что бывал в доме артиста, Лев Николаевич высоко ценил увиденного в ранней молодости в Казани в роли Хлестакова Мартынова. А. А. Стахович свидетельствовал, что Мартынов — Хлестаков настолько поразил студента Толстого, «что Лев Николаевич ставит Мартынова (которого он после видел и в Петербурге в драматических ролях) первым из всех когда-либо виденных им актеров».

Испытывал Толстой потрясение и от игры Мочалова, ценил Самарина, одним из первых разглядел большой талант Горбунова. Был буквально влюблен в пьесы А. Н. Островского. «Доходное место» Лев Николаевич считал идеалом современной обличительной комедии. Кстати, Островский был одним из немногих, с кем Толстой был на «ты». Н. Н. Гусев записал рассказ Толстого 1908 года (свидетельство того, что за полвека — а Лев Николаевич восхищался творчеством Островского уже в 1850-х годах! — отношение писателя к великому драматургу ничуть не поколебалось): «Он мне нравился своей простотой, русским складом жизни, серьезностью и большим дарованием. Он был самобытный, оригинальный человек, ни у кого не заискивал, даже в литературном мире».

Может быть, в первую очередь именно общение с А. Н. Островским (да и все развитие русской театральной жизни 1850-х годов) подтолкнуло Толстого к драматургии, в которой он искал свой идеал — возможность единения людей в общем Духовном пространстве, в единомыслии и поиске истины.

В феврале 1856 года в дневнике Толстого появляется запись: «План комедии томит меня». И с этого времени в черновиках, записных книжках, дневниках почти постоянно встречаются упоминания о будущей комедии и варианты ее названия — «Дворянское семейство», «Дядюшкино благословение»... «Главная тема — окружающий разврат в деревне. Барыня с лакеем. Брат с сестрой. Незаконный сын отца с его женой et cetera».

Здесь можно различить влияние не одного только Островского, но и Тургенева, и еще различных биографических обстоятельств (в «Воспоминаниях» Лев Николаевич упоминает давнюю связь своего отца с дворовой девушкой: «От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почтальоны и который при жизни отца жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал,

когда этот впавший в нищенство брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10, 15 рублей, которые давали ему»), и переключку с главными темами и проблемами русской литературы того времени, главным образом дискуссиями о «лишних людях», и, наконец, осязаемую традицию «Разбойников» Шиллера и «Двух братьев» М. Ю. Лермонтова.

Конфликт первой комедии Толстой строил на противоборстве двух братьев — «практического» дельца Анатолия и трагического, привыкшего топить в вине и радость, и горе, Валерьяна. Причем Валерьяну придавались автобиографические черты: уход из университета после проваленного экзамена, увлечение попеременно хозяйством, воинской службой, неразлучное существование с книгой Фихте «Назначение человека», стремление к поиску истины... Так возникал определенный контекст, в который вписывался первый драматургический опыт Толстого.

Контекст более чем обширный! Первая комедия Льва Николаевича Толстого зарождалась в горниле бурно кипевшей русской литературной и театральной жизни середины XIX века — кажется, все основные проблемы, занимавшие общество, Толстой хотел уместить в свою первую комедию, объяв необъятное.

Может быть, оттого и остался этот первый опыт незавершенным, несмотря на подробную разработанность первого акта?

А может быть, еще и оттого, что в том же 1856 году Толстой начал «томить» другая комедия — о женской эмансипации, разъедающей, подобно ржавчине, все вокруг. О женщине, забывшей свое предназначение — строить семью, рожать и воспитывать детей.

«Комедия из Оленькиной жизни» (один из вариантов ее названия — «Свободная любовь») наполнена была ненавистью писателя к «жоржзандизму», на его взгляд, острой форме заболевания для многих русских женщин, ради эмансипации готовых отказаться от исконно женских идеалов. В 1857 году Толстой был в Париже, где смотрел в театре комедии Мольера. Драматургия великого французского комедиографа стала для него, по словам Е. И. Поляковой, «постоянным литературным образцом: ему близка позиция Мольера по отношению к жизни вообще и „ученым женщинам“ в частности, его назидательность и здравый смысл, откровенность стремления к исправлению недостатков общества. „Мольер едва ли не самый всенародный и потому прекрасный художник“, — скажет о нем Толстой, продолжая принципы мольеровской комедиографии».

Здесь у Толстого мы видим то же противопоставление, что и в первой комедии. Скромной провинциалке Оленьке противостоит развращенная

столичной жизнью Лидия — испорченная, изломанная, насквозь фальшивая. Она всячески стремится «просветить» неопытную чистую провинциалку, но терпит крах.

Однако вскоре Толстой охладевает к комедии, так и не дописав ее. В чем тут дело? Драматургическая форма явно влечет писателя своими широкими возможностями, завораживает его, но, чем больше растет интерес Толстого к театру (за полтора месяца 1857 года, проведенных в Париже, он посмотрел очень много спектаклей!), тем, вероятно, отчетливее становится страх не овладеть этой формой, не донести до читателя то самое главное, что, по Толстому, необходимо для подлинного театра.

В это время он уже объявлен Некрасовым «великой надеждой русской литературы», уже завершены «Севастопольские рассказы» и зафиксировано главное отличие толстовской прозы от всей русской литературы — «диалектика души» как уникальный способ познания и самопознания его персонажей. Но как, какими средствами придать эту черту театральным персонажам? В прозе существует особая эстетика авторских комментариев, непрерывности мысли, анализирующей поступки.

А в драматургии?

Как достигнуть этого?

Как создать напряжение, в котором не просто родится, а пройдет свой извилистый, сложный, тернистый путь «диалектика души» персонажей?

Эти мысли не могли не занимать Льва Николаевича, как не могли не мешать ему закончить хотя бы одну из двух начатых комедий. Какими бы невымысленными ни были наполнившие их вопросы современной жизни, «диалектика души» не развивалась и не раскрывалась в скупых диалогах персонажей. Овладеть этим секретом Толстой еще не сумел...

Хотя точно знал, чего хочет от произведения для театра: «...сказать нечто важное для людей, об отношении человека к Богу, к миру, ко всему вечному, бесконечному».

В своем исследовании «Русский театр XIX века» В. Ф. Федорова пишет: «К 1860-м годам относятся два его законченных произведения для сцены: „Зараженное семейство“ и „Нигилист“. Обе пьесы на профессиональную сцену не попали».

В «Зараженном семействе» впервые у Толстого звучит чрезвычайно важная для него тема, которая впоследствии выльется в романе «Воскресение» в отточенную, острую, словно клинок, мысль: высшее общество заражено виной перед народом, и вину эту необходимо искупить.

1860-е годы обозначили новый этап в жизни Льва Николаевича

Толстого; здесь необходимо в первую очередь назвать его разрыв с «Современником», острую полемику с И. С. Тургеневым. Собственно, в каком-то смысле именно эта полемика и продиктовала Толстому черты персонажей и конфликтные узлы «Зараженного семейства».

Главное событие — приезд в дом нового гувернера, студента, нарушающего безмятежное течение жизни «дворянского гнезда», — заставляет вспомнить «Месяц в деревне». Но лишь вспомнить — о сопоставлении или влиянии речи здесь нет. В «Зараженном семействе» тургеневские персонажи низведены именно до уровня «заразы», тяжелой болезни. Женщины глупы и пошлы, студент груб, нагл, завистлив, и все без исключения равны между собой...

«„Зараженное семейство“ — комедия, написанная графом Толстым, брезгливо рассматривающим молодых разночинцев и дам, устремленных к участию в общественной жизни, — пишет Е. И. Полякова. — Для него нет Базаровых, нет потребности России в новых людях: для него равны в своей ненужности простодушные „отцы“, хозяева старой усадьбы, и их еще более ограниченные дети.

В молодом деятеле, пришедшем на смену старозаветному помещику. Толстой видит лишь выскочку-карьериста... Он пишет „Зараженное семейство“ как памфлет в форме комедии, направленный прежде всего против „новых людей“ и их программы обновления России».

Мысль, еще несколько десятилетий назад казавшаяся бесспорной в общем контексте взгляда на русскую литературу XIX века как исключительно социальное явление, в котором не было места ничему, не совпадающему с прогрессивно-революционными устремлениями писателей-демократов, — сегодня воспринимается совершенно по-иному.

Как бы ни заблуждался граф Лев Николаевич Толстой относительно человеческой природы с ее неустанной тягой к нравственному самосовершенствованию и осознанию вины «высших» перед «низшими», — он был тверд в своей позиции. Истина — не там, где Рахметовы и Базаровы с их картонными идеями и утверждением «клетки» как основы основ (о «клетке» толкует и студент в «Зараженном семействе»), а только там, где Бог, нравственное начало, духовная наполненность. А нравственное начало и духовная наполненность значительно выше и идей эмансипации, и споров о том, что более надобно человеку — сапоги или Пушкин, и проверки человеческого духа умением спать на гвоздях, и еще многого и многого из того, что наполняло русские умы середины столетия.

1860-е годы для Льва Николаевича Толстого — период напряженного поиска истины, невозможной без Бога, то есть без осознания своей вины в

том, что происходит с миром и человеком.

Пьеса «Зараженное семейство» стала первой из завершенных пьес Толстого, но, сформулировав очень важную для себя мысль, Толстой все же не сумел придать ей яркую театральную форму: назидательность, отсутствие внятно выраженного идеала, «указующий перст» — все это утяжеляло произведение, лишало его сценичности, необходимой для театра динамичности.

Неслучайно тонко чувствующий театральную природу Александр Николаевич Островский не одобрил «Зараженное семейство». Впрочем, авторское самолюбие опытный драматург пощадил, сказав Толстому, что в пьесе мало действия. Некрасову же писал: «...утащил меня к себе Л. Н. Толстой и прочел мне свою новую комедию; это такое безобразие, что у меня положительно завяли уши от его чтения». А сам Лев Николаевич, спустя некоторое время, писал А. А. Толстой: «Островский — писатель, которого я очень люблю, — сказал мне раз очень умную вещь. Я написал года два тому назад комедию (которую не напечатал) и спрашивал у Островского, как бы успеть поставить комедию на Московском театре до поста. Он говорит: „Куда торопиться, поставь лучше на будущий год“. Я говорю: „Нет, мне бы хотелось теперь, потому что комедия очень современная и к будущему году не будет иметь того успеха“. — „Ты боишься, что скоро очень поумнеют?“»

Эти ли слова, не раз повторенные Толстым в разных письмах, повлияли на его восприятие комедии или внезапно промелькнувшая мысль, что «не поумнеют» никогда? Кто знает... Известно лишь, что очень скоро Толстой к своему драматургическому опыту охладел: он не только стал говорить о «Зараженном семействе»: «плохая комедия», но вскоре вообще забыл как ее содержание, так и время написания. «Зараженное семейство» осталось для своего создателя таким пустячком, наподобие тех шарад, которые он сочинял в детстве, или пьес для домашнего спектакля в Ясной Поляне...

Для нас же «Зараженное семейство» остается первой завершенной пьесой Льва Николаевича, в которой сформулированы особенности Толстого-драматурга: напряженный поиск пути к Истине через осознание собственной вины и попытки ее искупления.

Лишь два десятилетия спустя Толстой вернется к драматургии.

Это был очень большой отрезок времени для бурно меняющейся жизни России и очень значительный рубеж для самого Льва Николаевича. Интерес к драме как строгой форме литературы не оставлял писателя в эти

годы; он много читал и перечитывал Шекспира, Гёте, Пушкина, Гоголя, Мольера. «Я ничего не пишу; но поговорить о Шекспире, о Гёте и вообще о драме очень хочется, — писал он Фету в феврале 1870 года. — Целую зиму нынешнюю я занят только драмой вообще и, как это всегда случается с людьми, которые до 40 лет никогда не думали о каком-нибудь предмете, не составили себе о нем никакого понятия, вдруг с 40-летней ясностью обратят внимание на новый ненанюханный предмет, им всегда кажется, что они видят в нем много нового... Хотелось бы мне тоже почитать Софокла и Еврипида».

По свидетельству Софьи Андреевны, в это время Толстой читал «бездну драматических произведений», вырабатывая и уточняя собственную «теорию драмы». Он ощущал и видел ее все более и более отчетливо и постепенно приходил к мысли, что именно театру необходима та чрезвычайная простота, которая и приведет человечество к спасению. Неслучайно в своих религиозных трактатах Толстой постоянно повторяет: «Все учение Иисуса только в том, что простыми словами повторяет народ: спасти свою душу».

В дневниках 1870 года Толстой много размышляет о природе драмы: «Сколько бы ни говорили о том, что в драме должно преобладать действие над разговором, для того, чтобы драма не была балет, нужно, чтобы лица высказывали себя речами.

Тот же, кто хорошо говорит, плохо действует, и потому выразить самого себя герою словами нельзя. Чем больше он будет говорить, тем меньше ему будут верить. Если же будут говорить другие, а не он, то и внимание будет устремлено на них, а не на него.

Комедия — герой смешного — возможен, но трагедия при психологическом развитии нашего времени страшно трудна...

Русская драматическая литература имеет два образца одного из многих и многих родов драмы: одного, самого мелкого, слабого рода, сатирического, „Горе от ума“ и „Ревизор“. Остальное огромное поле — не сатиры, но поэзии — еще не тронуто».

После переезда семьи в новый дом в Хамовниках, на московской окраине, Толстой начинает особенно пристально наблюдать за «фабричным человеком». Он видит их работу и их гулянья, пытается понять, что же нужно этим людям, и приходит к выводу, что их поиск наслаждения, отдохновения диктует создание принципиально иного театра. Не просто балагана, а сложного, нравоучительного действия, сочетающего в себе традиции фольклора, народного ряжения, игр.

В 1884 году Толстой начинает работать над пьесой «Петр Хлебник», в

которой намеревается переложить для театра популярное житие Петра Мытаря, который вел жизнь грешную и праздную, а потом прозрел, роздал имение нищим и стал жить по-иному.

Нетрудно различить здесь воззрения и поступки самого Льва Николаевича, именно в это время «опростившегося» и раскаявшегося в прежней жизни. Проповедь нового мировоззрения Толстого составила основу пьесы «Петр Хлебник», что дало возможность исследователю К. Ломунову писать о том, что «личный биографический мотив вторгается в лубочную пьесу, разрушает ее однозначность» (речь идет о второй части «Петра Хлебника», где повествуется о семейных конфликтах Петра с непонимающими его близкими).

И этой пьесе не суждено было быть завершенной. План и наброски ее Лев Николаевич вложил в том же 1884 году в книгу и — забыл об этом. Спустя десять лет в Ясной Поляне затеивался народный спектакль, Лев Николаевич продиктовал дочери подробный конспект, позволявший широко импровизировать пьесу, но спектакль так и не состоялся, а первоначальные наброски «Петра Хлебника» были обнаружены лишь в 1914 году...

Несмотря на то, что Толстой «забыл» о своей народной пьесе и даже не завершил ее, мысль о театре для народа не оставляла его. Размышляя о том, какими должны быть истинно народная драма, истинно народный театр, Толстой в 1886 году быстро и увлеченно пишет маленькую пьесу «Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил» — о пьянстве как губительной, дьявольской силе, направленной на отупление и истребление народа.

Сюжет этой пьесы-притчи по-лубочному прост и внятен: вначале перед нами предстают положительные крестьяне — они разумны, домовиты, трезвы и могут ограничиться тем немногим, что необходимо им в повседневной жизни. Но вот чертенок научает их варить зелье, они пьют и теряют облик человеческий. На понятном каждому языке сказки Толстой говорит: был мужик беден и работающ — был он божеским созданием, но поддался искушению, разбогател и попал во власть дьявола. Торгуя «дьявольским зельем», он и других тянет за собой в пропасть, потому что, опьянев, люди теряют свою душу, звереют, отдаются соблазнам...

Эту пьесу ожидала относительно счастливая судьба: хоть и с большим количеством правки и купюр, но она была быстро издана и поставлена в балаганно-народном театре при Императорском фарфоровом заводе.

В газете «Неделя» 27 июля 1886 года отмечалось: «До сих пор на этой сцене давалась такая же дребедень, какая составляет обычный репертуар

балаганных представлений вообще. Но на днях была сделана попытка придать „народному театру“ большее значение, чем он имел до сих пор со своими балаганными пьесами: была поставлена комедия графа Льва Толстого „Первый винокур“. Несмотря на ненастную погоду и накрапывавший дождь, смотреть пьесу собралось более 3000 рабочих».

Правда, представление состоялось лишь один раз — цензура запретила «Первого винокура». Но все же... все же Лев Николаевич Толстой мог радоваться первому своему успеху.

Он и радовался ему, и уповал на продолжение — свидетельством тому могут служить создание в Москве народного театра М. Лентовского «Скоморох» и стремление петербургского актера П. Денисенко создать подобный театр в Петербурге и издавать журнал, посвященный проблемам театра для народа. И Лентовский, и Денисенко почти одновременно обратились к Льву Николаевичу за «нравственной поддержкой», и Толстой отвечает петербургскому актеру с большим воодушевлением: «Дело, занимающее вас, — народный театр, очень занимает и меня. И я бы очень рад был, если бы мог ему содействовать; и потому не только очень буду рад тому, что вы переделаете мои рассказы в драматическую форму, но и желал бы попытаться написать для этого прямо в этой форме...

Отдайтесь все этому делу и, не раздумывая, не готовясь прямо, перекрестясь, прыгайте в воду; то есть переделывайте, переводите, собирайте (я сейчас напишу) пьесы такие, которые имели бы глубокое вечное содержание и были понятны всей той публике, которая ходит в балаганы, и ставьте их, и давайте, где можно — в театрах ли, в балаганах ли. — Если вы возьметесь за это дело, я всячески — и своим писаньем, и привлечением к этому делу людей, которые могут дать средства для затрат (если это нужно), буду служить этому делу. — Но дело само по себе огромного значения и доброе божье дело; и непременно, пойдет и будет иметь огромный успех».

Ничего из этой затеи не вышло — ни театра, ни журнала. «Скоморох» Лентовского тоже не обнаружил тяги к пьесам «глубокого вечного содержания». Но увлечение Толстого идеей создания подлинно народного театра «в театрах ли, в балаганах ли» — не прошло. Оно вылилось в полноценную пьесу, подлинное драматургическое создание — «Власть тьмы».

...Давний знакомый Толстого, тульский прокурор Н. В. Давыдов еще в 1880 году рассказал Льву Николаевичу о преступлении, совершенном неподалеку от Ясной Поляны.

«В бытность мою прокурором в Туле меня поразило своей обстановкой одно крестьянское дело о детоубийстве, рассматривавшееся в окружном суде, — писал он позже в воспоминаниях. — Это было дело об убийстве новорожденного ребенка одной крестьянской девушки отцом ребенка, состоявшим в свойстве с девушкой, проживавшей в одной семье и доме с ним. Особенность этого дела, кроме драматической обстановки самого убийства, составляло поведение убийцы, который сам, мучимый угрызениями совести, заявил публично об учиненном им преступлении, а впоследствии жаждал суда и наказания, которым, хотя он был приговорен на каторгу, он остался доволен, видя в наказании искупление своего греха, находя в нем успокоение и возможность дальнейшей жизни. Я подробно ознакомил Льва Николаевича с обстоятельствами дела, которое, как я и ожидал, весьма заинтересовало его; он виделся в тюрьме с осужденным и затем, вскоре же, написал первое свое драматическое произведение, в котором несколько изменил обстановку дела, прибавив обстоятельство отравления первого мужа Марфы Колосковой».

Простим прокурору незнание того долгого пути, который прошел Толстой к «Власти тьмы», — пути, растянувшегося на два десятилетия. В конце концов, не это важно. Важно, что, «заболев» сюжетом, точно совпадавшим с мыслью Толстого о грехе и необходимости его искупления, Лев Николаевич создал подлинно народную драму, о которой сам он с гордостью сообщал А. А. Стаховичу: «Или я давно ничего не писал для театра, или действительно вышло чудо, чудо!...»

Лев Николаевич признавался, что для «Власти тьмы» он «ограбил» свои записные книжки, пустив в ход все: речения, пословицы и прибаутки яснополянских мужиков, присловье горничной «однова дыхнуть», подслушанные бабьи перебранки, городские словечки тех, кто ходил на «чугунку»... Пригодились и дело Ефрема и Марфы Колосковых, и просьба старичка, пришедшего в Ясную Поляну: «Ваня мой, тае, на чугунке в ремонтарах служил, а Маришка кухарила. Было ли промеж них что, нет ли, должно, что было. Только Маришка, тае, забрюхателя. Я и говорю Ване: женись, а он рыло ворочает... Я к твоей милости, ублагоразумь Ваню».

Работа шла на удивление быстро, хотя Толстой, остро ощущая различия в работе над прозой и драмой, признавался: «Роман и повесть — работа живописная, там мастер водит кистью и кладет мазки на полотно. Там фоны, тени, переходные тона; а драма — область чисто скульптурная. Работать приходится резцом и не класть мазки, а высекать рельефы... Всю разницу между романом и драмой я понял, когда засел за свою „Власть

тьмы“. Поначалу приступил к ней с теми же приемами романиста, которые были мне более привычны. Но уже после первых листиков увидел, что здесь дело не то. Здесь, например, нельзя подготавливать моменты переживаний героев, нельзя заставлять их думать на сцене, вспоминать, освещать их характер отступлениями в прошлое — все это скучно, нудно и неестественно. Нужны уже готовые моменты. Перед публикой должны быть уже оформленные состояния души, принятые решения».

На самом деле в этой достаточно известной цитате сформулированы постулаты нового театрального языка — открытия Толстого-драматурга. С одной стороны, «Власть тьмы» представляет собой почти в чистом виде Аристотелеву трагедию со своей основной задачей потрясти и очистить душу зрителя, с другой же — бытовую драму, в которой нет места аллегории, сказочности, но есть множество жизненных подробностей, деталей быта и присутствует назидательность.

Полное название пьесы «Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть» — многозначно; первая его часть заимствована из Евангелия («Теперь ваше время и власть тьмы», — говорит Христос стражникам, пришедшим за ним), вторая являет собой одну из пословиц, которыми так щедро пользовался Толстой в названиях своих назидательных рассказов. А потому, как верно замечает Е. И. Полякова, «современную трагедию он видит пьесой-проповедью, пьесой-притчей о великом грешнике. Это уже не простенькая притча о вреде пьянства, но именно трагедия, воплощение судьбы человека, погубившего свою жизнь. Она предназначена народному театру, будь то театр Денисенко, или Лентовского, или балаганы Девичьего поля. Зрителям этого театра адресуется поучение и назидание, всем понятное, обозначенное в полном названии».

И здесь необходимо заметить, что первая часть названия — «Власть тьмы» — выражает не только религиозную мысль Толстого, но и философскую: неслучайно одновременно с этой пьесой задумана другая, с условным названием «Свет мира» (впоследствии она будет названа евангельской фразой «И свет во тьме светит»). Для Толстого «тьма» — понятие нравственное: власть диких, слепых, звериных инстинктов над человеком, не находящим в себе сил для противостояния, потому что тьма эта наступает на него не только из внешнего мира, но и из внутреннего, захваченного в плен дьяволом. Эта трагедия распавшихся устоев, вековых традиций нравственной (а значит — естественной) жизни, и понятие «греха» предстает во «Власти тьмы» многозначно и, главное, «заразительно», завораживающе.

Грех для Толстого не есть некий безнравственный поступок. Грех для

него — затягивающий в свое нутро процесс, который разрастается, подобно диким зарослям, охватывая все большее и большее пространство душ человеческих. Это тяжкая цепь, это безысходность... Но, как отмечает Е. И. Полякова, «Власть тьмы» — это и «трагедия нравственного возрождения, где свет побеждает тьму, потому что каждый человек имеет возможность раскаяния и просветления».

Впрочем, здесь можно было бы и поспорить с исследователем. Возможность «раскаяния и просветления» Толстой дарит в полной мере лишь Никите, но не Анисье и не Матрене.

Почему?

Не потому ли, что Никита шел на поводу тех, кто жестоко обдумал свои безнравственные поступки и попытался избежать последствия страшных грехов: отравления мужа, убийства новорожденного ребенка? На поводу тех, кто готов был продолжать жить дальше, неся на себе эти грехи?

А, может быть, потому, что здесь сказалось то, давнее отношение Толстого к эмансипированным женщинам, забывшим свой долг?

Сложно было бы причислить Анисью или Матрену к «жоржзандкам», но их природная дремучесть привела, фактически, к тому же, к чему давно пришли их городские эмансипированные предшественницы: к жизни, не ведающей, что есть грех...

В том же 1886 году «Власть тьмы» была опубликована и вызвала бурю эмоций. «Это такая потрясающая правда, такая беспощадная сила воспроизведения жизни», — говорил Толстому И. Репин, выражая мнение почти всех современников. Надо было, чтобы прошли десятилетия, чтобы возникла необходимая временная дистанция, с которой многое видится куда более отчетливо, чтобы в 1908 году, в дни восьмидесятилетия Толстого, Корней Чуковский сказал: «Толстой как бы контрабандой провозит под флагом отрицания жизни то, что на самом деле есть жадность к жизни и стремление зачерпнуть еще, и еще, и еще, целыми пригоршнями от бегущего, как река, бытия.

Это единственный пример в мировой литературе. Часто бывало наоборот: когда вещи тенденциозные и дидактические выдавались за художественные создания. Но чтобы художественные создания за дидактические — это произошло только с Толстым, который не мог не быть художником, даже против собственной воли».

Во «Власти тьмы» явлен сложнейший сплав таких понятий, как социальная среда, класс, личность. Казалось бы, они прочно связаны между собой, но Толстой совершенно справедливо настаивает на том, что они лишь во многом *определяют* друг друга, но не растворяются одно в

другом. Для современников Толстого «власть тьмы» стала понятием сугубо социальным, потому что народ оказался ввергнут в нищету, бесправие и невежество и в этой беспросветной тьме родились и начали крепнуть инстинкты, живущие в душе каждого человека. На ниве общего невежества они выросли пышным цветом — страсть к наживе, к пьянству, к утолению самых низменных потребностей — и привели к целой цепочке преступлений. Социальных? Разумеется. Но вряд ли были бы у нас основания называть драму Толстого гениальной, если бы она замыкалась только в этом круге знакомых социальных проблем.

Неслучайно, используя в своей пьесе сюжет, рассказанный ему тульским прокурором, Толстой еще больше сгущает краски, фактически удваивая каждое из совершенных преступлений: Никита сначала прелюбодействует с женой Петра, потворствуя убийству больного мужа, затем, женившись на Анисье, грешит с ее юной падчерицей и, кажется, не прочь развратить и Анютку, а затем совершает самое страшное преступление — убийство младенца... Первый грех тянет за собой второй, третий — из этого круга вырваться уже невозможно.

А потому «Власть тьмы» — это явление, которое значительно шире социально-экономических определений. М. Бахтин справедливо отмечал, что власть, порожденная экономическим и политическим гнетом, «исторически сложившаяся и потому исторически же упразднимая. Нет, Толстой имеет в виду вечную власть зла над индивидуальной душой, которая однажды согрешила... И победить эту тьму может только свет индивидуальной совести».

Свет, который «и во тьме светит».

Впрочем, и здесь, во «Власти тьмы» обнаруживаются характеры чистые, светлые: Аким, Анютка, Марина... Они ничего не в силах изменить в окружающей реальности, они вынуждены страдать, храня свою чистоту в охватившем все вокруг пожаре греха, но они, в сущности, и есть идеал Толстого — те робкие светлячки, что разрывают беспросветность мрака...

По поводу своего отношения к Богу как понятию Толстой писал однажды: «Вам как будто претит слово и понятие Бог... Отец. Бог с ним — с Богом, только бы то, что требует от нас наша совесть (категорический императив — слишком уж неясный и неточный термин), было бы разумно и потому обязательно и обще всем людям. В этом вся задача и задача эта вполне разрешена (для меня) Христом или учением, называемым христовым. Не я буду отстаивать метафизическую сторону учения. Я знаю, что каждый видит ее метафизическую сторону сквозь свою призму. Важно

только то, чтобы в этическом учении все неизбежно, необходимо сходились. А за свои слова и выражения, и ошибки я не стою. Дорого мне то, что и вам дорого — истина, приложимая к жизни».

Этой истиной и был для Толстого в первую очередь Аким, центральный образ трагедии, несмотря на то, что действенными, сюжетообразующими являлись другие персонажи.

Написанная для народа, для народного театра, «Власть тьмы» сразу же была запрещена цензурой. Начались было репетиции в Александринском театре, но уже в марте 1887 года заведующий труппой драматург А. А. Потехин огорченно писал Толстому: «„Власть тьмы“ срепетирована, декорации, костюмы все готовы, и вдруг запретили ее играть через министерство двора».

Категорический запрет продолжался девять лет.

Но трагедия, казалось бы, не особенно внятная за пределами России, оказалась востребованной во Франции — в 1888 году в только что созданном «Свободном театре» в Париже состоялась премьера «Власти тьмы». Акима играл создатель и руководитель «Свободного театра» Андре Антуан, увлеченный идеей «натуралистического театра», максимально близкого к реальности, с одной стороны, и «родственностью греческой трагедии» — с другой.

Вскоре «Власть тьмы» начала свое поистине триумфальное шествие по подмосткам Дрездена, Милана, Копенгагена, Будапешта, Загреба, Мюнхена (где в 1898 году спектакль шел в декорациях И. Грабаря и Д. Кардовского)... В том же 1898 году в Петербурге гастролировал итальянский театр, показавший «Власть тьмы». Интересное свидетельство об игре великого Эрмете Цаккони оставил А. С. Суворин: «Я видел г-на Цаккони во „Власти тьмы“. Я думал, что Никита будет сильно отдавать итальянцем. Оказалось, что он сыграл русского Никиту и притом так, что любо-дорого было смотреть. Если итальянец в нем слышался, то не более того, как слышится русский в русском даровитом актере, когда он играет иностранца... Надо сказать, что и итальянки играли хорошо, особенно Анисья (г-жа Алипранди-Паф). Анютку играла взрослая актриса (г-жа Варини). Она схватила детский тон, а в той сцене, когда она пугается и бежит на печь, к Митричу, она играла прекрасно и ощущение ужаса передавалось зрителям. Я на русской сцене этого не видел нигде».

Анютку мечтала сыграть в свой бенефис М. Г. Савина, но разрешения так и не было. За это время лишь однажды актерам-любителям удалось сыграть «Власть тьмы» в доме А. В. Приселкова (спектаклем руководил артист Александринского театра В. Н. Давыдов). Но зато после того, как

запрет был снят, почти одновременно в Москве и Санкт-Петербурге состоялось пять премьер — случай беспрецедентный! «Власть тьмы» показали оба императорских театра — Александринский и Малый, «Скоморох» М. Лентовского, Театр Корша, петербургский Театр Литературно-артистического кружка...

В 1902 году к пьесе «Власть тьмы» обращается К. С. Станиславский.

Именно с этого спектакля и начинается триумфальная сценическая история «Власти тьмы», продолжающаяся по сей день.

Одновременно с «Властью тьмы» Льва Николаевича захватила другая тема — яркая, комедийная, в которой нашла выражение «другая сторона» его души.

21 июня 1887 года Софья Андреевна записала в дневнике: «Вчера вечером приезжал познакомиться с Львом Николаевичем актер Андреев-Бурлак. Он рассказывал вроде рассказов Горбунова, из крестьянского быта... Рассказы были удивительно хороши, и Левочка так смеялся, что нам с Левой стало жутко».

Татьяна Львовна Толстая вспоминает, каким радостным бывал Лев Николаевич, когда работа его шла успешно: он мог, например, к изумлению окружающих, перепрыгнуть через стул, а еще любил игру в «нумидийскую конницу». Когда от Льва Николаевича уходил какой-нибудь особенно скучный посетитель, все присутствующие под водительством Толстого должны были вереницей проскакать по комнатам с поднятой рукой и самым что ни на есть серьезным выражением лица. Смеяться дозволялось только после того, как конница обскочет весь дом.

И вот эта-то сторона души и потребовала «к священной жертве» талант писателя, придумавшего сюжет, с одной стороны, развивавший традиции классической комедиографии, с другой же — абсолютно новый, никем прежде не использованный. В плане сюжетов рядом с «Властью тьмы» в 1886 году рукой Толстого обозначено: «Комедия Спириты».

Е. И. Полякова предполагает, что запись эта была сделана после посещения спиритического сеанса в доме московского барина Н. А. Львова на Смоленском бульваре, куда Толстой отправился со своим давним знакомым, бывшим тульским прокурором Н. В. Давыдовым. Давыдов вспоминает, что Лев Николаевич заранее был настроен весьма скептически по отношению к тому, что предстояло увидеть: удивлялся, как люди могут верить в реальность спиритических явлений; ведь это все равно что верить, «что из моей трости, если я ее пососу, потечет молоко, чего никогда не было и быть не может».

Сеанс не удался — раздавались какие-то стуки, мерцали огоньки, но духи к общению были не расположены. Впрочем, это не так важно. Значительно важнее, что посещение спиритического сеанса утвердило Толстого в выборе «объекта комедии». Но до ее окончательного оформления должно было пройти время — слишком захвачен оказался Лев Николаевич «Властью тьмы», потому он делает лишь наброски комедии о господах-спиритах и мужиках под названием «Исхитрилась!».

Только весной 1889 года, живя в подмосковном имении своего давнего друга князя С. С. Урусова, Толстой завершает комедию: «Кончил комедию, очень скверно», — записывает он в дневнике.

Может быть, это ощущение возникает у Льва Николаевича оттого, что он уже захвачен «Крейцеровой сонатой», а затем повестью «Дьявол»? Комедия не вписывается во внутренний настрой Толстого, а потому и не воспринимается им самим как искрометное, действительно очень смешное и поучительное одновременно произведение.

Учитель сыновей Л. Н. Толстого, Алексей Митрофанович Новиков, вспоминает, как вернулась из-за границы к Новому, 1890 году Татьяна Львовна и сразу начала что-то затевать, чтобы расшевелить яснополянских обитателей. Решили сыграть домашний спектакль, выбрали популярную пьесу А. Канаева «Бабье дело», но пьеса не увлекла.

«Видя нашу с Татьяной Львовной неудачу в выборе пьесы, Мария Львовна обратилась ко мне:

— А вы читали пьесу папа?

— „Власть тьмы“?

— Нет, другая. Я видела ее между бумагами.

Я насторожился:

— Достаньте, пожалуйста.

— Хорошо, погодите. — Мария Львовна отправилась в кабинет...

Тотчас же после прочтения первого действия нами с Татьяной Львовной было решено непременно поставить эту пьесу, а после третьего (последнего) мы уже разделили пьесу для переписки ролей и стали распределять роли между знакомыми. Появился Толстой, — оказалось, что он слушал чтение, оставаясь невидимкой в будуаре, — медленной походкой подошел к столу.

— Что вы тут делаете?

— Вот распределяем роли...

Толстой пожевал губами и молча отошел».

30 декабря состоялся спектакль, в котором были заняты и дети Толстого, и гости из Москвы и Тулы. Режиссировал Николай Васильевич

Давыдов (он же играл профессора). И в какой-то момент Толстой не выдержал, пришел на репетицию. Молодой юрист Владимир Михайлович Лопухин сыграл Третьего мужика.

«На Льва Николаевича моя игра, видимо, произвела впечатление, превышавшее мои ожидания, — вспоминал впоследствии Лопухин. — Он ею был удовлетворен, и это удовлетворение выразилось в такой почти детской его радости, которая совершенно смутила меня. Он смеялся до слез, оживленно делился своими суждениями с окружающими, ударял себя ладонями по бокам и добродушно, по-мужицки, мотал головой.

Он подошел ко мне.

— Знаете ли, — сказал он, — я всегда упрекал Островского за то, что он писал роли на актеров, а теперь вот я его понимаю: если бы я знал, что Третьего мужика будете играть вы, я бы многое иначе написал: ведь вы мне его объяснили, показали, какой он; надо будет изменить.

И Лев Николаевич взял рукопись и пошел ее переделывать».

С той поры и утвердилось мнение, что «Плоды просвещения» — пьеса, созданная исключительно для домашнего спектакля в Ясной Поляне. В это искренне верил и К. С. Станиславский, выбравший именно эту пьесу (и инсценировку «Села Степанчикова» Ф. М. Достоевского) для открытия в 1891 году московского Общества искусства и литературы, с возникновения которого мы исчисляем период обновления отечественной сцены. И не только мы — сам Константин Сергеевич в книге «Моя жизнь в искусстве» главу, посвященную этой постановке, называет «Первая режиссерская работа в драме».

Спектакль, разыгранный в Ясной Поляне 30 декабря 1889 года, заставил Толстого переработать первоначальный вариант комедии — что-то уточнить, добавить, что-то заострить. Знаменательны пометки в дневнике: «Очень низкое и увлекающее занятие». Да, для философа и проповедника комедия, естественно, представляет собой низменное занятие, но для мастера, художника — невероятно увлекательное! Ведь после первых репетиций, после столкновения с живыми артистами-любителями, многое для Льва Николаевича прояснилось в работе над драматургическим произведением. Или — еще одна запись: «Странное дело эта забота о совершенстве формы. Недаром она... Напиши Гоголь свою комедию грубо, слабо, ее бы не читали и одна миллионная тех, которые ее читают теперь. Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло. Заострить и значит сделать ее совершенно художественно — тогда она пройдет через равнодушие и повторением возьмет свое».

Все эти мысли рождаются именно после яснополянского спектакля,

заставляя Толстого продолжать работу над «низким» своим детищем. И в результате комедия перерождается — перед нами гневная обличительная сатира, но совсем не в духе традиционной русской сатиры: она окрашена толстовскими интонациями поучения, назидания.

В «Плоды просвещения» вошло очень много узнаваемого, живого — прототипом профессора-спирита Кругосветлова считали знаменитого химика А. М. Бутлерова; в толстой барыне узнавали супругу А. А. Фета; Толстые-сыновья заказывали обувь («щиблетки») в модной мастерской Жозефины Пироне; в Москве, в Газетном переулке, находилась мастерская известной портнихи мадам Бурдые (это ее посыльный томится в прихожей Звездинцевых на протяжении всей пьесы); об «Обществе разведения старинных русских пород собак» рассказывал в доме Толстых А. А. Стахович...

М. С. Альтман утверждает, что «толстовский сюжет не только эффектно театрален, но и жизненно реален, и совершенно в духе времени», приводя в доказательство фрагмент воспоминаний П. А. Кропоткина:

«Знаешь ли, — сказал мне раз отец, — наша мать являлась ко мне после смерти... Дремлю я раз поздно ночью в кресле, у письменного стола. Вдруг вижу, она входит, вся в белом, с горящими глазами.

Когда твоя мать умирала, она взяла с меня обещание, что я дам вольную ее горничной Маше. Потом, то за тем, то за другим делом, целый год я не мог исполнить обещания. Ну, вот, твоя мать явилась и говорит мне глухим голосом: „Ты обещал мне дать вольную Маше, неужели забыл?“ Я был поражен ужасом. Вскрываю с кресла, а она исчезла. На другой день я отслужил панихиду на могиле и сейчас же отпустил Машу на волю.

Когда отец умер, Маша пришла на похороны, и я заговорил с ней. Она была замужем и очень счастлива. Брат Александр шутливо передал Маше рассказ отца, и мы спросили, что она знает о привидении.

— Все это было уже очень давно, так что я могу вам сказать правду, — ответила Маша. — Вижу я, что князь совсем забыл о своем обещании; тогда я оделась в белое, как ваша мамаша, и напомнила князю о его обещании».

Вообще, «дома с привидениями» были широко известны в Москве в 1880-х годах. И господа, и дворовые верили, что можно общаться с духами, что домовый по ночам скачет на лошадах, что гадалки и юродивые могут дать совет по любому поводу... Сюжетные линии, встречающиеся в драматургии многих писателей XIX века, у Толстого выстроились в совершенно самостоятельный сюжет — острый, насмешливый и очень

современный, в котором Толстой утверждает превосходство крестьянства над барством.

Но не только это занимало Льва Николаевича в «Плодах просвещения», хотя идея превосходства народа над господами — глубокая философская тема Толстого, развиваемая им и в прозе 1880— 1890-х годов. Сама по себе тема спиритизма была в то время чрезвычайно актуальной: общение с духами стало самым модным занятием в гостиных не только Москвы и Петербурга, но и Лондона и Парижа, Женевы и Филадельфии. Казалось, весь земной шар занят исключительно общением с духами...

Технология спиритического сеанса гениально описана Толстым в романе «Воскресение»: «Старый генерал в то время, как Нехлюдов подъехал к подъезду его квартиры, сидел в темной гостиной за инкрустированным столом и вертел вместе с молодым человеком, художником, братом одного из своих подчиненных, блюдцем по листу бумаги. Тонкие, влажные, слабые пальцы художника были вставлены в жесткие, морщинистые и окостеневшие в сочленениях пальцы старого генерала, и эти соединенные руки дергались вместе с опрокинутым чайным блюдечком по листу бумаги с изображенными на нем всеми буквами алфавита. Блюдечко отвечало на заданный генералом вопрос о том, как будут души узнавать друг друга после смерти.

В то время как один из денщиков, исполнявших должность камердинера, вошел с карточкой Нехлюдова, посредством блюдечка говорила душа Иоанны д' Арк... Генерал, мрачно насупив свои густые седые брови, пристально смотрел на руки и, воображая, что блюдечко движется само, тянул его к „л“. Молодой же бескровный художник с заложенными за уши жидкими волосами глядел в темный угол гостиной своими безжизненными голубыми глазами и, нервно шевеля губами, тянул к „в“».

Порой вместо блюда действовал стол, отстукивавший ножками буквы (по количеству стуков), иногда вводился медиум — человек, обладавший особой связью с потусторонним миром. В любом случае на подобных сеансах люди испытывали потрясение, порой теряли сознание от чрезмерного нервного напряжения. И речь здесь совсем не о невежестве, не о необразованности тех, кто жаждет общения с духами. Мужики, фабричные спиритизмом не занимались — у них была твердая вера в Царство Божие, в жизнь после жизни и в спасение души.

Спиритизмом увлеклись те, чьи религиозные воззрения были поколеблены научными открытиями последних десятилетий XIX века. Публичные лекции и сенсационные статьи в журналах едва ли не по всем

отраслям знания сделали доступными для самого широкого круга просвещенных слушателей последние научные открытия в области медицины, химии, физики. Материализм далеко не всем пришелся по душе, многих он приводил к отчаянию, потерянности. Не так уж много оказывалось готовых к беспощадности атеизма — люди предпочитали, сомкнув руки над столом, общаться с душами умерших, чтобы не утратить окончательно веру в бессмертие.

Н. П. Аксаков издает книги, в которых почти стенографически излагает свои беседы с духом по имени Спиридон, красочно повествующим о потусторонней жизни. В Петербурге организуется комиссия по изучению спиритических явлений под руководством Д. И. Менделеева... Но для Толстого спиритизм — явление, которое требует высмеивания, потому что это губительное суеверие, разрушающее истинную веру. Кстати, такое же губительное, как и таинство причастия, потому что столоверчение и превращение вина в кровь Христа для Льва Николаевича равнозначны.

«„Плоды просвещения“ не начали и не кончили тему спиритизма в творчестве Толстого, — справедливо замечает Е. И. Полякова, — но продолжили „Анну Каренину“ и предварили „Воскресение“. В „Анне Карениной“ спиритизм становится отрадой отчаявшихся. Жизнь графини Лидии Ивановны, которую оставил муж, Мари Саниной, потерявшей единственного ребенка, Каренина, карьера которого остановилась, определяет отныне ясновидящий и медиум Жюль Ландо. Несокрушимо здоровый Стива Облонский чувствует себя на благоговейном собрании возле Ландо совершенно так же, как буфетный мужик Семен в „маленькой гостинной“ Звездинцевых...»

Сценическая история «Плодов просвещения» чрезвычайно богата и разнообразна. Поскольку разрешение цензуры не заставило себя ждать, уже в 1891 году пьеса была представлена на подмостках императорских театров — Малого в Москве и Александринского в Петербурге, выдающиеся отечественные артисты блистали в «Плодах просвещения», как бы открывая с течением времени обновленный смысл комедии, делая ее вневременной. И сегодня комедия Толстого с большим успехом идет на сценах самых различных российских театров, вызывая неизменный интерес публики.

В феврале 1894 года Толстой записывает: «Ясно пришла в голову мысль повести, в которой выставить бы двух человек: одного — распутного, запутавшегося, павшего до презрения только от доброты, другого — внешне чистого, почтенного, уважаемого от холодности, не

любви». В сущности, ничего особенно нового Толстой не задумывал — самые любимые его герои, начиная с Николеньки Иртеньева и Нехлюдова из «Утра помещика», и были «запутавшиеся» люди, мучительно проходящие через внутренний кризис и стремящиеся к обновленной жизни, жизни ради Истины.

Мотив ухода, разрыва начинает навязчиво мучить Льва Николаевича; он искренне убежден в том, что начать обновленную жизнь можно только одним способом — решительно порвав со старой. Еще десять лет назад, в 1884 году, он записал в дневнике: «Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу», а спустя полтора года Софья Андреевна поведает в письме к сестре: «Сижу я раз, пишу, входит, я смотрю, — лицо страшное... „Я пришел сказать тебе, что я хочу с тобой разводиться, жить так не могу, уеду в Париж или в Америку“».

Он так никуда не уйдет и не уедет еще почти четверть века, а его уход из дома будет уходом в смерть на станции Астапово.

Но страшные внутренние муки будут год от года буквально истязать Льва Николаевича необходимостью начать совсем другую жизнь.

Толстой твердо знает, как жить нельзя. Ему кажется, что путь к спасению он тоже знает — это уход, но не из жизни, а в другую, чистую, нравственную жизнь, жизнь с Истиной. Об этом он и пишет свою новую драму, начатую одновременно с «Исповедью» и «Властью тьмы» как параллель к трагедии: «И свет во тьме светит».

«Свет мира» (как первоначально называл Толстой пьесу) он пишет несколько десятилетий, и, перечитывая ее сегодня, мы можем без преувеличения сказать, что это — «Исповедь», переложенная в диалоги и авторские ремарки: «Я жил и не понимал, как я живу, не понимал того, что я сын бога, и все мы сыны бога и братья. Но когда я понял это, понял, что все имеют равные права на жизнь, вся жизнь моя перевернулась... Прежде я был слеп, как слепы мои дома, а теперь глаза открылись. И я не могу не видеть. А видя, не могу продолжать так жить».

К. Ломунов отмечал, что Сарынцов, несомненно, является одним из самых любимых персонажей Толстого; «герой драмы — не автопортрет, а литературный образ, наделенный автобиографическими чертами», в том числе — и человеческими слабостями, и неизбывным одиночеством. Но все эти слабости и нерешительность оправданы, потому что человеку противостоит вся мощь государственного устройства.

Отказ Бориса Черемшанова от военной службы приводит к тому, что его помещают в госпиталь для душевнобольных. И пришедший навестить

своего молодого друга Николай Иванович Сарынцов (под влиянием которого Черемшанов находится) видит перед собой не решительного, стойкого человека, а растерянного юношу, одинокого, смятенного.... Так же было и в реальности, когда Леопольд Сулержицкий и князь Хилков под влиянием Толстого отказались от воинской службы — Лев Николаевич не придумал, не сгустил краски ни в чем. И так же, как молится Сарынцов: «Отец, помоги мне...» — узнав, что Черемшанов попал в дисциплинарный батальон, а его невеста выходит замуж за другого, молился, наверное, и Лев Николаевич, понимая, что его знание Истины не только не помогло другим, но привело их на путь одиночества и страданий.

Толстой наметил, но не написал трагическую концовку пьесы: мать Бориса, княгиня Черемшанова, стреляет в Сарынцова как виновника всех бед ее сына, и Николай Иванович «умирает, радуясь...». Но, будь пьеса завершена, вряд ли возникло бы ощущение «света», которого так добивался Толстой, фактически «инсценируя» собственную «Исповедь». «Пьеса сделалась не гимном праведному человеку, но стоном отчаяния этого человека, его последователей, самого Толстого, который со своей обычной бесстрашной правдой воплотил противоречия жизни и взглядов Сарынцова, их несостоятельность в реальной жизни», — пишет Е. И. Полякова, но, думается, важнее иное. В ходе работы над пьесой Толстой осознал, что чужой опыт никого спасти не может; каждый человек должен пройти самим собой осознанный путь к свету, к Истине.

И этот путь для каждого — свой...

Так и не завершив «И свет во тьме светит», Лев Николаевич начинает другое драматургическое произведение, казалось бы, совершенно не связанное ни с «Властью тьмы», ни со «Светом...». Но это может лишь показаться. На самом деле, на каком-то глубинном уровне они связаны теснейшим образом так же, как связана последняя драма Толстого с его «Исповедью» — необходимостью ухода, неизбежностью разрыва со всем, что сковывает внутреннюю свободу человека, его порыв к Истине. И вновь решается эта тема на характере человека «слабого и доброго», «запутавшегося, павшего до презрения только от доброты». Сюжет Лев Николаевич находит в обстоятельствах поистине сенсационного уголовного дела, касающегося к тому же хорошо знакомых ему людей.

Начиная примерно с середины 1880-х годов в письмах Толстого различным адресатам нередко упоминается некто Федор Павлович Симон — яркий последователь его учения, молодой еще человек. После того как Симон гостил в Ясной Поляне, в дневниках Льва Николаевича появляется

запись: «Какой чудный человек. Весь светится и горит. Тоже за него жутко, когда посмотришь с мирской точки зрения, а перенесешься в его душу, то так радостно и твердо».

Толстые постепенно сблизились с семьей Симон; известно, что мать Федора Павловича просила у Толстого совета по поводу судьбы дочери Екатерины, в семнадцать лет вышедшей замуж за человека, который из-за пьянства потерял место и стал опускаться все ниже и ниже. Гимер (фамилия мужа Екатерины) был человеком добрым и слабым, он ничего не мог с собой поделать, но и жена его не могла терпеть подобную жизнь. Екатерина Павловна ушла от мужа, но ни развестись с ним, ни выйти замуж за другого человека не могла.

Лев Николаевич посоветовал Екатерине Павловне смириться с положением вещей. «Мне кажется, — писал он матери, — что ей надо жить с тем мужем, с которым она живет, любя его, сколько она может, давая возможность ему поступить с ней добро. И оставить его только тогда, когда он ей прямо скажет, чтобы она уходила». Однако Гимер, опускаясь все ниже, ни на какое добро не был способен — он начал вымогать у жены деньги, шантажировать. И тогда Екатерина Павловна решилась на крайний шаг.

8 декабря 1897 года в Московской судебной палате началось слушание «Дела о дворянах Екатерине и Николае Гимер, по обвинению 13 и 1554 статей об Уголовных наказаниях»: «24 декабря 1895 года проживающая в Москве дворянка Екатерина Павловна Гимер получила по городской почте от мужа своего Николая Самуиловича Гимер, с которым она не жила до этого уже около 10 лет и с 1894 года вела в Московской духовной консистории дело о разводе, письмо с заявлением о том, что он, Гимер, доведенный крайностью, голодом и холодом до мысли о самоубийстве, решил эту мысль привести в исполнение и с этой целью утопиться в Москве-реке».

Спустя несколько дней в реке был найден труп, жена опознала в утопившемся мужа и, получив «вдовый вид» на жительство, обвенчалась с другим. А через несколько месяцев Гимер объявился в Петербурге. Он чистосердечно признался в полиции, что идею ложного самоубийства подсказала ему Екатерина Павловна, она же проводила его в Петербург, снабдив деньгами, и обещала высылать регулярно некоторые суммы и в дальнейшем.

Оба подсудимых были признаны виновными, подлежащими церковному покаянию, лишению всех прав и ссылке в Сибирь. Лишь благодаря хлопотам известных судейских деятелей, А. Ф. Кони и Л. В.

Владимирова, Гимеры были освобождены после недолгого тюремного заключения по «царской милости».

А спустя всего три недели после начала суда Толстой записал в дневнике: «Целый день складывалась драма-комедия: „Труп“».

Знаменательно определение жанра. Первоначально для Толстого коллизия определяется где-то на границе драматических переживаний персонажей и комедийной завязки сюжета: лжеутопленник становится причиной поступка, приведшего на скамью подсудимых и его, и жену. Но в этом определении совершенно отчетливо проглядывает абсурдистское начало, та линия *трагического гротеска*, что вошла в русскую драматургию XIX века с трилогией А. В. Сухова-Кобылина и получила развитие в драматургии XX века. Но с самых первых набросков выступает в пьесе одна из самых важных для Толстого-проповедника мысль: человека судят за то, что он не совершил самоубийства, не прервал Богом данную жизнь.

Важно и то, что Толстой вновь обращается (как и в «Плодах просвещения», и в драме «И свет во тьме светит») к своему кругу и видит, что этот круг, эта среда сами выталкивают человека, который, в отличие от других, *живет, задумываясь и стремясь к правде*. Так возникает отчетливо выраженная *нравственная* тема, болезненно связанная для Льва Николаевича с мотивом ухода, потому что, если в тех же «Плодах просвещения» возникало противопоставление двух миров, двух слоев общества, здесь это противопоставление обозначено совершенно иначе — цыгане, к которым тянется Протасов, являются для него воплощением «не свободы, а воли», исконной потребности человека, как понимал ее Толстой.

Б. Михайловский отмечал: «Живой труп» «резко выделяется тем, что в нем нет того религиозно-этического поучения, которое присутствует в „Воскресении“ и в пьесе „И свет во тьме светит“». Прозрение Протасова, его протест, его искания — все это осуществляется вне всякой связи с христианскими идеалами, с воздействием религии, которой совершенно чужд герой драмы».

Разумеется, внешней дидактики в «Живом трупе» нет, но — повторим! — сама коллизия, построенная на обвинении человека в том, что он не покончил с собой, разве не согрета глубоко внутренним религиозным чувством протеста против подобной мотивировки суда?

По верному наблюдению Е. И. Поляковой, в Протасове соединились все любимые персонажи Толстого, взыскующие правды и цели: Дмитрий Нехлюдов из «Утра помещика» и Дмитрий Нехлюдов из «Воскресения», Николенька Иртеньев, Валерьян из первой пьесы, Пьер Безухов, Николай и

Константин Левины, отец Сергей... И эти персонажи соединились в восприятии Толстого с реальным лицом — любимым братом Сергеем Николаевичем, женившимся на цыганке Маше.

И немало собственных черт отдал Лев Николаевич Федору Протасову. Не просто собственных, но важных, принципиальных в характере: в частности, в одновременном страхе и притягательности смерти отчетливо сказываются воспоминания Толстого об «арзамасском ужасе» — не столько ощущение греха от прерываемой жизни, сколько почти животный страх уничтожения личности. И еще — обостренное чутье художника, точно ощущающего, где подлинное, настоящее, а где — ложное, фальшивое.

И именно это фальшивое и разрушит окончательно жизнь всех: Федора Протасова, Лизы, Маши, Каренина. Доносчик с крашеными усами — та самая гротесковая, но и трагическая сила, перед которой все они в равной степени бессильны; а в первую очередь те самые два человека, о которых задумывал Толстой свою драму.

Протасов и Каренин.

«Головной», холодный, рассудительный и безупречно порядочный человек — и порывистый, мятущийся, скатившийся в кажущуюся, только кажущуюся «волю»...

Ведь именно эта осуществленная «воля» (Маша) подсказывает Протасову единственно необходимый для того, чтобы разрубить гордиев узел, поступок.

В своей драме Толстой пытался найти звено бытия человека, которое позволило бы ему показать трагедию существования личности изнутри, всесторонне, объемно. Таким звеном на протяжении почти всего XIX века виделась русским писателям семья. Вспомним «случайные семейки» Достоевского, родовые кланы, выведенные в «Войне и мире», «Анне Карениной». Но для того чтобы трагедия личности действительно предстала объемно, само отношение к семье должно было претерпеть некоторые изменения. В «Живом труп» Толстого прежде всего волновала драма хороших людей — деликатных, чутких, не совершающих ничего предосудительного, озабоченных душевной жизнью близких, но трагически неспособных существовать вместе, преодолеть «паутину жизни».

Пожалуй, впервые в своем творчестве именно в «Живом труп» Л. Н. Толстой создал для героев условия существования, близкие тем, в которых жили и страдали герои Достоевского. Истинные свойства их натур раскрываются в ситуациях неожиданных, экстремальных и, раскрываясь, рождают мысль о том, так ли хороши, так ли деликатны и чутки эти люди.

Так ли верны их самохарактеристики и мнения о них других персонажей?..

В то время, когда задумывался «Живой труп», Толстой писал трактат «Что такое искусство?», в котором четко формулируется главный для Толстого принцип искусства вообще и театрального в частности: оно должно быть слитно с человеческой жизнью, должно возбуждать в зрителе «религиозное чувство» и быть совершенно доступным как простому народу, так и просвещенной части публики. Именно тогда открылся Московский Художественный Общедоступный театр, казалось бы, долженый быть очень близким по своим эстетическим принципам Толстому, — но, посмотрев чеховского «Дядю Ваню», Лев Николаевич резко разделил пьесу и спектакль. Он высоко оценил игру Станиславского (Астров), атмосферу, в которой все было так просто и естественно — стрекотание сверчка, перебор гитарных струн... Но драматургию Чехова решительно не принял. Именно это неприятие и вернуло Толстого к замыслу «драмы-комедии».

27 января 1900 года он запишет в дневнике: «Почти две недели не писал. Ездил смотреть Дядю Ваню и возмутился. Захотел написать драму Труп, набросал конспект».

Примечательно, что здесь жанровое определение Толстым уточняется — это уже драма, и подобное уточнение, несомненно, происходит в полемике с Чеховым. Отметив в разговоре с Вл. И. Немировичем-Данченко после спектакля, что в «Дяде Ване» «есть блестящие места, но нет трагизма положений», Толстой, в полном соответствии со своим учением и настроениями той поры, задумывается именно о «трагизме положений», в которых оказываются люди в своей повседневной жизни.

Очень точно написал об этом В. Я. Лакшин, вспомнив, как «расшевелила» Толстого пьеса Островского на создание «Власти тьмы»: «Не то ли случилось и с „Трупом“? Сам сюжет пьесы был давно облюбован, но „расшевелила“ его, зажгла желание писать чеховская драма. И как „Власть тьмы“ родилась словно под звездой Островского и старых классических традиций, так „Живой труп“ появился на свет под звездой Чехова, психологического новаторства в искусстве театра. Впрочем, и в том, и в другом случае впечатление от чужой пьесы служило лишь внешним стимулом к работе. Толстой во всем оставался Толстым с его мощной художественной индивидуальностью».

Самое парадоксальное, что последняя пьеса Толстого оказывается объективно невероятно близка драматургии Чехова. Пролежав десять лет среди многочисленных неопубликованных рукописей, «Живой труп» станет достоянием театра вместе с драматургией А. П. Чехова.

«Когда умру — играйте...» — сказал Лев Николаевич Немировичу-Данченко в тот его приезд в Ясную Поляну. Так и произошло.

«Я подавлен величием и красотой души Толстого и его смерти, — писал К. С. Станиславский Вл. И. Немировичу-Данченко в ноябре 1910 года. — Все это так необычно, так знаменательно, так символистично, что я ни о чем другом не могу думать, как о Великом Льве, который умер, как царь, отмахнув от себя перед смертью все то, что пошло, ненужно и только оскорбляет смерть. Какое счастье, что мы жили при Толстом, и как страшно оставаться на земле без него. Так же страшно, как потерять совесть и идеал».

На протяжении почти всего 1900 года Толстой невероятно увлечен своей пьесой. 15 августа он записывает в дневнике: «Писал Труп — окончил. И втягиваюсь все дальше и дальше». О пьесе начинают говорить, в Ясную Поляну навещается Вл. И. Немирович-Данченко в надежде получить ее для Художественного театра, по Москве идут слухи о новом драматургическом сочинении Толстого, но сам Лев Николаевич не публикует пьесу и не завершает ее. Он все больше задумывается о несовпадении пьесы с собственным учением: «Писал драму и недоволен ею совсем. Нет сознания, что это — дело Божие...»

Постепенно слухи затухают, оживленная публика перестает ждать драму Толстого...

Только спустя годы и годы после его смерти «Живой труп» появится на театральных подмостках и уже не покинет их на протяжении целого столетия, потому что пьеса окажется поистине неисчерпаемой. Каждые новые поколения будут находить в ней какие-то очень важные для себя мысли, ощущения и — безграничные эмоции, в которых соединяется такая разная театральная публика. Потому что, по верному наблюдению А. Я. Таирова, относящемуся к 1933 году, «основная и существенная задача постановки классического произведения в ту или иную последующую эпоху и сугубо в нашу заключается в том, чтобы путем верного, то есть соответствующего эпохе анализа, суметь, во-первых, раскрыть в произведении те его эмоциональные узлы, которые могут быть обращены в раздражители прямого воздействия, и, во-вторых, четко обозначить иные группы узлов, те узлы, которые потеряли способность прямого эмоционального воздействия и должны быть использованы для воздействия по контрасту... Таким образом, надлежит, использовав весь данный автором и эпохой материал, найти в нем те главные элементы, которые должны явиться необходимым трамплином для переборки

действия через пространства и века».

Было бы несправедливо не сказать несколько слов об инсценировках произведений Л. Н. Толстого, которые, в сущности, тоже составили понятие «Театр Толстого». В разное время инсценировали и «Анну Каренину», и «Воскресение», и «Войну и мир», и «Отца Сергия» — спектакли были порой достаточно громкими, но идеи Толстого, как правило, расплывались, не находя адекватного театрального выражения.

Пожалуй, единственный раз произошло полное и ошеломляющее совпадение — в спектакле Г. А. Товстоногова «История лошади» по повести «Холстомер» (инсценировка М. Розовского), где в единый сплав оказались слиты и философская притча, и стихийность разгула, и «история лошади» по имени Холстомер в блистательном исполнении Евгения Лебедева, и судьба человека, скрытого под маской-символом.

Об этом спектакле, ставшем большим явлением нашей театральной жизни, писали в свое время много, и сегодня редко обходятся без упоминаний о нем. Слишком большой редкостью представляются такие события в театральной практике.

Театр как явление искусства и — шире — явление общественной жизни Лев Николаевич Толстой воспринимал очень неоднозначно. Отвергая драматургию Шекспира и современную ему драматургию А. П. Чехова, он все же не мог совсем отойти от театра, внутренне ощущая его неисчерпаемые возможности не только в формировании «общественного мнения», необходимого, с его точки зрения, чувства слияния зрителей в едином эмоциональном напряжении, но и в формировании определенных идеалов, в неустанном стремлении к Истине.

Толстой искал идеал религиозно-нравственной драмы, которую полагал единственно нужной человечеству, последовательно осуществляя принцип: «Художественное, поэтическое произведение, в особенности драма, прежде всего должна вызывать в читателе или зрителе иллюзию того, что переживаемое, испытываемое действующими лицами переживается, испытывается ими самими». И был убежден, что так и не нашел этот идеал, так и не справился с непосильной задачей. Тем не менее именно Толстому удалось создать самобытный, глубоко индивидуальный театр, фактически, тремя пьесами, которые прочно утвердились в репертуаре, став необходимым источником познания «правды о человеке» и той великой, единственной Истины, которая пребывает вне нашего познания, но в эмоциональном и интеллектуальном напряжении, способном охватить многих людей и соединить их прочнее родственных уз.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Льва Толстого похоронили в том месте, где он и завещал, и почти так, как он пожелал. Ясная Поляна опустела, что особенно бросалось в глаза после всегдашнего многолюдья и непрерывной и бесконечной суеты, здесь царившей.

Еще совсем недавно в Ясной кипела жизнь. Русская деревня бросала вызов столицам, превратившись в один из духовных символов всего мира, в Мекку для взыскующих истины. Кого только не видела Ясная Поляна! Даже впечатляющий перечень посетителей, который дан в большом эссе Томаса Манна, кажется неполным, с большими лакунами: «Южноафриканцы, американцы, японцы, австралийцы и сыны Малайского архипелага, беглые из Сибири, брамины из Индии, представители всех европейских наций, ученые, поэты и художники, государственные деятели, губернаторы, сенаторы, студенты, военные, рабочие, крестьяне, французские политики, журналисты со всех концов мира и всех оттенков, и опять молодежь, молодежь со всего света. Кто только не обращается к нему, — говорит один русский писатель, — с сердечным приветом, с выражением симпатии, с мучительными вопросами! А его биограф Бирюков сообщает, что все они посещали эту деревню и рассказывали потом у себя дома, как величественны были слова и мысли престарелого провидца». Толстого, конечно, не могли не утомлять посетители, часто одновременно являвшиеся в большом числе, и далеко не все визитеры радовали глаз и слух, бывало, что он сочувствовал усилиям Софьи Андреевны, надменно и холодно встречавшей и бесцеремонно допрашивавшей некоторых «ходовков», отсеивая неудобных. Но Толстой дорожил этими встречами и беседами, совершенно необходимыми ему не только как художнику и религиозному мыслителю, но и как частному человеку. И если мир не шел к нему, то он сам выходил на свой Невский проспект, чтобы почувствовать биение жизни. Необходимы ему были и ругатели-обличители и те, кто хотел очно оспорить его мнения, понять суть позиции неудобного властям и церкви мыслителя. Мечтавший о создании единой религии для всех, жаждавший братского единения людей, Толстой благодарил провидение, давшее ему возможность, не покидая Ясной Поляны, принимать у себя мир. Он признавался не без своеобразной гордости: «Мне совестно говорить это, но я радуюсь авторитету Толстого. Благодаря ему, у меня сношения, как радиуса, с самыми далекими странами: Дальним Востоком,

Индией, Америкой, Австралией». Паломники инстинктивно тянулись к тому, кто сам мечтал стать странником и паломником, о чем писали многие, к примеру, Татьяна Львовна: «Ему нравилось быть паломником; он шел с мешком за спиной по большой дороге, общаясь с бродячим человеком, для которого он был безвестным спутником».

Не все, положим, посетители Ясной были осчастливлены и удовлетворены. Иные испытали и горькое разочарование. Бирюков был не только добросовестным биографом, но и учеником, боготворившим Толстого, и он неизбежно внес свою солидную лепту в создание толстовского мифа. Венгерский журналист и писатель Арпад Пастор, осуществивший 22 августа 1910 свою давнюю мечту увидеть Толстого и услышать его голос и, даже более того, — беседовавший как с Толстым, так и со своим земляком Душаном Маковицким, подробно и откровенно ответившим на многочисленные вопросы, был несколько смущен и подавлен надменным и холодным приемом Софьи Андреевны, безудержными и раздраженными нападками Толстого на искусство вообще и поэзию особенно, резким, даже не очень учтивым окончанием беседы. Толстой, узнав, что посетитель никакого представления не имеет о Генри Джордже, решил, что говорить с ним положительно не о чем. Миф, который разделял со многими Пастор, с трепетом ожидавший встречи с создателем великих романов, не рухнул, но дал трещину; рядом с обожанием появилось и нечто другое — озорное, комическое чувство, и он уже с состраданием стал смотреть на Маковицкого, этого «фанатика», добровольно выбравшего себе жизнь в странном доме, «в замкнутом мире идей, в атмосфере принуждения». Развеялось «колдовство», и всплыли порожденные невероятной, странной беседой вопросы: «Почему он носит крестьянскую одежду, тогда как седой, похожий на кавказца слуга — я сам видел — входит к нему в белых перчатках? Почему в этом доме такая бедность, почему никто не живет здесь собственной жизнью, а все живут жизнью этого восьмидесятидвухлетнего старца?

Почему сам он пишет художественную литературу, если так презирает ее?»

Но большая часть воспоминаний почти безупречно выдержана в апологетическом, коленопреклоненном стиле. Впрочем, важно даже не это очевидное обстоятельство, лишний раз иллюстрирующее, как устойчивы и неизбежны клише, а то, о чем размышляет Томас Манн, задаваясь вопросом: являлись ли люди в Ясную Поляну «именно затем, чтобы услышать великие мысли и слова, или ими двигала другая, более сокровенная, более стихийная потребность»? И он готов склониться к

мысли, что часто посетителями двигало чувство иррациональное, мистическое, жажда обрести исцеление и утешение, «желание узреть и прикоснуться к великой жизненной силе и благодатной человеческой природе», к тому, кто избран божеством. В этом заключении, пожалуй, есть немалая доля истины, хотя, конечно, далеко не все посетители Ясной Поляны были «паломниками» и соответствовали этому стихийно-иррациональному закону. Естественно, что после смерти «богоподобного» Толстого поток жаждущих прикоснуться к чуду иссяк.

Гусеву, увидевшему Ясную Поляну по возвращении из ссылки в 1911 году, она показалась унылой и безлюдной: «Незадолго до того кипевший оживленной жизнью яснополянский дом был пуст и мертв и напоминал кладбище. В нем жила одна Софья Андреевна». Александра Львовна, отношения которой с матерью оставались натянутыми, поселилась в своей усадьбе в Телятинках, а сам Гусев предпочел остановиться у Черткова, занявшись там подготовкой к печати неизданных произведений Толстого. В Ясную он наведывался редко «и всегда с тяжелым чувством, вызывавшимся сознанием той ничем не заполненной пустоты, которая образовалась в ней после смерти Льва Николаевича».

Правда, другому секретарю Толстого, Булгакову, приезжавшему в Ясную в следующем, 1912 году, она предстала в другом свете, как будто все обитатели были освобождены от «крепости» и выпущены на волю. «Странное дело! Дом казался теперь как-то проще, живее, незамысловатее. Люди выглядели более беззаботными, точно какой-то тяжелый долг свалился с их плеч, точно им не нужно было решать какую-то трудную и ответственную задачу, возлагавшуюся на них раньше самим присутствием великого старца... Можно было повеселиться и подумать о себе. Воскресли теннис, крокет и серсо, зазвучало пение и фортепьяно, по вечерам ставились „шарады“, организовывались поездки по окрестностям на кровных, рослых лошадях». Создавалось впечатление, что уже начало сбываться предсказание Толстого о забвении, и даже что-то уж слишком скоро стало сбываться: «Шумят, пишут, а — умру, и — через год — будут спрашивать: Толстой? Ах, это граф, который пробовал тачать сапоги и с ним что-то случилось, — да, этот?» Пророчество это, как известно, не сбылось, хотя мировая война и революции на некоторое время и отодвинули интерес к Толстому на второй план, возшла, да так и осталась на небосклоне, звезда Достоевского — пророка революции и предтечи искусства нового века (не совсем календарного, XX век, пожалуй, начался после 1914 года). Впрочем, когда Толстой произносил эти слова, похоже, он немного кокетничал.

Свидетельства секретарей, по сути, не так уж противоречат друг другу. Под суровым, осуждающим взглядом Толстого, несомненно, неловко было предаваться играм и утехам. Толстой сдерживал и отчасти сковывал, и многие обитатели Ясной, естественно, почувствовали облегчение, несколько, так сказать, «распустились», хотя Булгаков, следуя обличительным традициям учителя, и сгустил краски. Да и это «веселье» сильно пошло на убыль с началом войны и окончательно исчезло после смерти Андрея Львовича в 1916 году. В любом случае оно не коснулось Софьи Андреевны, погасшей, сломленной уходом и смертью мужа. Долго не проходило и ее душевное заболевание. Одно время продолжался и безумолчный поток речи, в котором звучали всё те же обвинения и жалобы, с каждым днем становившиеся всё бессмысленнее. Согласно Булгакову, всю вину за случившееся в последние месяцы жизни Толстого она пыталась свалить на мужа. Тут Софья Андреевна доходила иногда до озлобленного состояния и начинала, «краснея пятнами и потрясывая от нервного волнения головой», бранить столь жестоко с ней поступившего Льва Николаевича. Слушать и видеть это было нестерпимо тяжело.

Гольденвейзеру, создавшему весьма нелицеприятный портрет Софьи Андреевны в последний год жизни Толстого, так запомнилась последняя встреча с хозяйкой Ясной в декабре 1910 года: «Я никогда не забуду ее лица и всей фигуры! Она дрожащим, прерывающимся голосом стала говорить:

— Что со мной было! Что со мною было! Как я могла это сделать?! Я сама не знаю, что со мной было... Александр Борисович, если бы вы знали, что я переживаю! Эти ужасные ночи!.. Как я могла дойти до такого ослепления?!.. Ведь я его убила!»

Вряд ли Гольденвейзер точно передает слова Софьи Андреевны. Ничего подобного она не говорила никому другому, и по меньшей мере удивительно, что призналась в своей «вине» именно ему. Тут явный переклест и наивная тенденциозная прямолинейность. Михаилу Сухотину, свидетелю беспристрастному и толерантному, показалось, что после смерти Льва Николаевича «все стали хуже, одна Софья Андреевна стала лучше». И ему запомнились другие слова, искренние и печальные, беспомощные и так характерные для вечно озабоченной судом потомков Софьи Андреевны: «Заступитесь за меня, когда все будут меня ругать!.. Неужто уж я такая плохая? Неужто и во мне ничего не было хорошего?..»

Перемена во всем облике Софьи Андреевны после смерти мужа слишком бросалась в глаза. Она внушала жалость, и жутко было вслушиваться в беспрерывно лившийся поток речи. Сергей Львович вспоминал: «Меня поразило ее лицо, вдруг осунувшееся, сморщенное,

трясущееся, с бегающим взглядом. Это было новое для меня выражение. Мне было и жалко ее и жутко. Она говорила без конца, временами плакала и говорила, что непременно покончит с собой, что ей не дали утонуть, но что она уморит себя голодом». Обвиняла мужа, жаловалась на жестоких людей, которые не дали проститься с ним. Попыток насильственно покончить с собой более не было, постепенно стала спокойнее и речь, хотя и позднее она иногда срывалась, возвращаясь к больным сюжетам, но некогда бывшая ключом энергия исчезла и было мало жизни в ее движениях и словах. Невыносимая тоска, слабость, жалость к так страдавшему в последние месяцы мужу, угрызения совести переполняли всё существо Софьи Андреевны. Безвыходность измучила. Всё перебирала разные слова и поступки в памяти. И не могла уснуть, в отчаянии записывая в ежедневниках: «Ох, уж эти ужасные, бессонные ночи, с думами, мученьями совести, мрака зимней ночи и мрака в душе!» Мучилась тем, что не умела сделать в последнее время счастливее жизнь Льва Николаевича, а на следующий день неистово обвиняла его: «Воскресли Христос в душе моего умершего мужа, когда он злобно покинул меня и обездолил несчастные семьи своих сыновей? Да простит ему Господь!» Нисколько не прошла и ненависть к Черткову — ревниво, с обидой восприняла она воспоминания Н. Давыдова и В. Булгакова. Отношения не только с Александрой Львовной, но даже и с Татьяной Львовной были неровными. Софья Андреевна чувствовала себя одинокой и покинутой в этом перевернутом революцией и гражданской войной мире, ставшем чужим и враждебным.

Софья Андреевна постепенно угасала, утратив интерес к жизни. Александра Львовна свидетельствует: «Она мало говорила, все больше дремала, сидя в вольтеровском кресле, где так любил сидеть отец. Казалось, ничего не интересовало ее. Голова ее тряслась больше прежнего, она как-то вся согнулась, сделалась меньше, большие черные, прежде такие блестящие, живые глаза ее потухли, она уже плохо видела». В самом конце страшного 1918 года она запишет в ежедневниках: «Где я? Где моя любовь к искусствам, к природе, к людям? Перебранка с любимой Таней из-за чуждых людей, неудобства с людьми, недовольство всем и всеми несмотря на усиленное стремление всем угодить». В марте «незабвенного» 1919 года, незадолго до смерти, она ощущает себя лишней и всеми покинутой: «Странное отношение ко мне всех окружающих меня: точно меня *терпят* снисходительно и почти презрительно слушают, что я говорю, и спешат уйти. Видно я *лишняя* стала».

Жестоко конфликтовавшая с ней Александра Львовна о последних

мгновениях матери повествует в приличествующем трагическому событию тоне, как о смерти истинной христианки: «Она кротко, необычайно терпеливо переносила страдания.

„Саша, милая, прости меня. Я не знаю, что со мной было... Я любила его всегда. Мы оба, всю жизнь были верны друг другу...“

„Прости и ты меня, — я очень виновата перед тобой“, — сквозь слезы говорила я ей...

У нее сделался отек легких, она задыхалась. Умерла она спокойно, исповедовалась, причастилась. Я закрыла ей глаза».

Так или почти так, вероятно, и было. Вот только закрыв матери глаза, Александра Львовна ничего не забыла, о чем убедительно свидетельствуют многие страницы книги «Отец».

О кротости и смирении Софьи Андреевны перед кончиной пишет сдержанный обычно, скупой на эмоциональные излияния, неизменно правдивый во всем Сергей Львович. Вспоминала мать отношение к смерти Льва Николаевича, его произведения и бесчисленные устные и эпистолярные рассуждения: «Раз она сказала при мне: „Надо без горя уходить, как это делается у крестьян“. Она покорная и кроткая больная, не сердится и не раздражается». Всё время спрашивала: «Где Ванечкин портрет?» Умиравшая призывала сыновей Льва и Михаила и уже давно ушедшую Машу.

Покорность и смирение умирающей матери запомнились и Татьяне Львовне, полагающей, что с ней произошло «превращение», за которое Толстой «готов был пожертвовать своей славой». Татьяна Львовна здесь преувеличивает. Смирение и покорность, вне всякого сомнения, вегетарианство, видимо, тоже, но спокойствия не было, о чем пишет и любимая дочь: «Ее страшила мысль, что о ней будут писать и говорить, когда ее не станет, она боялась за свою репутацию. Вот почему она не пропускала случая оправдаться в своих словах и поступках».

Похоронили Софью Андреевну рядом с могилой Марии Львовны.

Хозяйкой, хотя и с сильно урезанными правами, Ясной Поляны стала Александра Львовна. Она остро переживала смерть отца, которому хотела посвятить свою жизнь. «Годы после смерти отца и до объявления войны были самыми тяжелыми в моей жизни, — признается младшая дочь Толстого. — При нем — у меня не было своей жизни, интересов. Всё серьезное, настоящее было связано с ним. И когда он ушел — осталась зияющая пустота, заполнить которую я не могла и не умела». Мучительно было это ощущение пустоты для деятельной, подвижной, властной и сильной натуры Александры Львовны. Неожиданным выходом из тупика

явилась война, на которую она и пошла, разумеется, медсестрой, не нарушая тем самым пацифистских заветов отца. Война оказалась замечательной школой жизни для Александры Львовны, закалив характер и здоровье, в полной мере раскрыв ее организаторские способности. В Ясную она вернулась в звании полковника, с тремя георгиевскими медалями в декабре 1917 года.

В 1918 году Софья Андреевна передала дочери в Ясной Поляне ключи от двенадцати ящиков с рукописями Толстого. И вот в одной из комнат Румянцевского музея закипела работа, в которой приняли участие Сергей и Александра Толстые, А. А. Шахматов, М. А. Цявловский, А. Е. Грузинский и другие энтузиасты. Условия для работы были невероятно тяжелыми. «Музей не отапливался. Трубы лопались, как и везде. Мы работали в шубах, валенках, вязаных перчатках, изредка согреваясь гимнастическими упражнениями. Стужа в нетопленном каменном здании с насквозь промерзшими стенами, куда не проникает солнце, где приходилось часами сидеть неподвижно, — хуже, чем на дворе. Согреться невозможно. Сначала остывали ноги, постепенно ледящий холод проникал глубже, казалось, насквозь промерзло всё нутро, начиналась дрожь. Мы запахивали шубы, старались не двигаться, но дрожь усиливалась, стучали зубы... Мы радовались, как дети, когда удавалось разобрать трудные слова, хвастались друг перед другом. Машинистки состязались в количестве напечатанных листков... Работа увлекла решительно всех. Среди нас были знатоки иностранных языков. Они выправляли французский текст переписки отца с тетенькой Татьяной Александровной. Это были дамы, гладко причесанные, в стареньких, когда-то очень дорогих шубах. Моряк-толстовец, хороший фотограф, работал в другом помещении, снимал неизданные произведения отца... К двенадцати, когда дрожь во всем теле делалась совершенно невыносимой, звали пить чай... Профессора, ученые, исхудавшие музейные работницы, сняв перчатки, грели руки о дымящиеся кружки».

Холодно, голодно, адски тяжело. И тем не менее ощущение счастья от сознания того, что делается необходимое дело, продолжается бескорыстная служба Толстому. Все участники этого подвижнического труда, должно быть, разделяли признания Александры Львовны: «Эти несколько лет, которые мы проработали в Румянцевском музее, были для меня самыми яркими и, пожалуй, счастливыми в мрачные, безотрадные дни революции. Прделанная нами работа давала большое внутреннее удовлетворение».

То был подготовительный период работы над полным собранием сочинений Толстого. Вскоре стало очевидным, что осуществить это издание можно будет только с помощью В. Г. Черткова и других толстовцев

и в государственном издательстве. Только чудом можно назвать то, что это всем известное девяностотомное издание сочинений увидело свет. История издания заслуживает монографического исследования, в ней ярко отразилась жизнь России почти за полвека. Бесконечные помехи и трудности самого различного рода, смена идеологических ориентиров и постепенная «советизация» комментария, всё более утрачивавшего научный характер (контраст между первыми томами и вышедшими после войны просто разительный), ничтожный, особенно по тем «книжным» временам тираж, необыкновенно дорогая цена томов. Словом, издание для немногих, «для научных библиотек». Но, пожалуй, потому-то еще очевиднее подвиг, совершенный теми, кто его подготовил.

Свою роль тут, надо сказать, сыграло особое отношение (род симпатии) Ленина к произведениям Толстого (а также некоторых других влиятельных при новой власти лиц — Луначарского, Бонч-Бруевича, Горького, Каменева, Калинина). Александра Львовна приводит кем-то переданные ей слова Ленина, которыми она пользовалась как своего рода паролем: «Советская власть может позволить себе роскошь в СССР иметь Толстовский уголок». «Уголок» этот с годами всё больше и больше превращался в красный. Что же касается идеологии толстовства, то она всячески осуждалась и отвергалась с опорой на цитаты из основополагающих работ того же Ленина, после смерти которого были разгромлены и перемещены частично на восток толстовские коммуны, образовавшие свой сепаратный уголок в бескрайнем архипелаге ГУЛАГ (воспоминания толстовцев — часть многотомной летописи страдальцев, мало чем отличающаяся от других частей). Толстого подчистили, укротили и поставили на идеологическую службу новому режиму, некоторые произведения издали огромными тиражами и, упаковав вместе со статьями Ленина, где так выпукло было сказано о «кричащих противоречиях» зеркала русской революции, ввели в обязательные школьные программы.

Возникла нужда и в «декорациях»-музеях. Декретом Луначарского Александру Львовну назначили комиссаром (позднее — хранителем) Ясной Поляны; одно время она была и директором Толстовского музея в Москве. По мере сил, с энергией и упорством, свойственными Толстым, Александра Львовна организовывала «уголки» Толстого в большевистской России, что становилось делать с каждым годом труднее. В конце двадцатых годов совсем уже стало трудно дышать. Даже сильная и жизнерадостная Александра Львовна изнемогла. «Работать нельзя. Больше всего хочу свободы. (Пусть нищенство, котомки; но только свободы». Жить «во лжи» дочь Толстого больше не могла. В 1929 году она уехала, получив,

разумеется, разрешение для чтения лекций о Толстом в Японию, а через два года послала в Москву письмо, в котором заявила о том, что «в данное время от возвращения на родину воздерживается». Александра Львовна на родину так и не вернется. В Соединенных Штатах Америки она на первых порах занялась крестьянским трудом на фермах, что для дочери Толстого было делом знакомым и не столь уж обременительным, даже доставлявшим удовольствие. Физический труд гармонично сочетала с лекторским и литературным, следуя примеру своего великого отца. Талантливая, могучая, неунывающая толстовская порода. И верная заветам Толстого, Александра Львовна исключительно много сделала для скрывающихся от преследования и гонимых, «перемещенных лиц» и других вынужденных эмигрантов, преследуемых за убеждения, за веру, за принадлежность к «неблагонадежной» нации.

В годы холодной войны ее, удостоенную похвалы президента Гарри Трумэна, предали анафеме на родине, заставили и некоторых потомков Толстого участвовать в грязном пропагандистском походе. Не стоит называть имена — делалось это, понятно, по принуждению и с отчаянием, в безвыходном положении, со стыдом: судить тут некого и не за что. К счастью, в 1960-е годы связь с Россией восстановилась, а к большому юбилею писателя в 1978 году Александре Львовне пришло приглашение принять участие в праздновании. Тяжелая болезнь помешала Александре Львовне посетить Москву и Ясную Поляну. А в следующем году Александры Львовны не стало. Александре Львовне (как и Татьяне Львовне) выпала счастливая доля. Зарубежье оказалось куда милостивее родины, которую как-то и мачехой слишком мягко будет назвать. Она осуществила там все свои планы, в полном смысле посвятив свою жизнь отцу и его идеалам. Вряд ли темпераментной и горячей дочери Толстого удалось бы уцелеть в кровавой мясорубке тридцатых годов. Трудно пришлось и выдержанному, дипломатичному Сергею Львовичу и другим Толстым и толстовцам. Кто-то погиб, кто-то сломался, но никогда не прекращалась работа, служба Толстому. И среди тех, кто неизменно вел себя достойно и сделал необыкновенно много, особенно необходимо выделить «Гуську», как его шутливо называла Александра Львовна, — Николая Николаевича Гусева, секретаря и летописца, автора замечательных мемуаров и книг о Льве Николаевиче Толстом.

Благодаря Гусеву, Пузину и другим подвижникам никогда не прерывалась живая связь с Толстым и его временем. Разоренную оккупантами Ясную Поляну восстановили. Сюда, как и в давние годы, приезжают поклониться Толстому из всех уголков мира. А встречает их

директор музея-усадьбы, праправнук писателя Владимир Ильич Толстой, энергичный и обаятельный, преданный родовым традициям. Регулярно, приуроченные к дню рождения Толстого, проходят международные конференции.

Отнюдь не замерла жизнь и в Хамовниках, московском музее Толстого, где хранятся все рукописи писателя. Они сегодня особенно необходимы — в разгаре работа над новым собранием сочинений Толстого. Планируется оно в 120 томах, так как юбилейное оказалось далеко не полным и нуждающимся в больших и дополнениях, и исправлениях. Так что всё как будто обстоит самым распрекрасным образом; недостатки устраняются, лакуны медленно заполняются, добродетель и справедливость повсеместно торжествуют. Вот только происходит всё это как будто в другой галактике при почти полном равнодушии припавшего к экранам телевизоров «народа», живо откликающегося на события в зарубежных и отечественных мыльных операх и на потешные шоу наших многочисленных и довольно-таки бездарных затейников, вряд ли когда-либо заглядывавших в трактат «Что такое искусство?» моралиста Толстого. Да и тираж нового Толстого такой же мизерный, как и юбилейного, но только по другим причинам, чем в советские времена. И все-таки хорошо, что тома этого издания выходят, что есть энтузиасты, губящие свое зрение, исследуя заново тексты Толстого. Может быть, и осуществится этот, кажущийся сегодня таким утопическим, проект.

Слава Льва Толстого достигла своего пика где-то на рубеже XIX и XX веков, когда, как с торжеством писал Лев Шестов, каждое новое произведение графа передавалось «чуть ли не по телеграфу в близкие и отдаленные страны». Антон Чехов на самом исходе XIX века в мало свойственной ему эмоциональной манере размышлял в письме к критику Меньшикову: «Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований и чаяний, какие на литературу возлагаются. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглость и слезливое, всякие озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один

его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения. Без него бы это было беспастушное стадо или каша, в которой трудно было бы разобраться».

Так считал Чехов, уже преодолевший могучее влияние Толстого, а он одно время испытал сильное воздействие толстовской манеры выражаться, его рассудительности, точно назвав неудержимое влечение «гипнотизмом своего рода». Чехов избавлялся от гипнотизма сильными и своеобразными методами. Кто-то из современников застал Чехова за удивительным занятием: он исчеркал карандашом и сделал много вставок в текст повести Толстого, смущенно пояснив: «Мне хотелось бы показать, как бы я ее написал...» Занятие не только удивительное, но и необходимое: преодоление чужой и необыкновенно сильной и заманивающей в полон стилистической манеры и утверждение своей. И Толстой из всех современников, похоже, больше всех любил Чехова, ему явно хотелось подчинить этого обаятельного и скромного человека своему влиянию, завербовать в полк своих единомышленников, склонить к своей вере, но чем больше он стремился добиться этого, тем очевиднее наталкивался на мягкое и потому еще более сильное, упорное, непреодолимое сопротивление, чего в душе Толстой, высоко ценивший стойкость души и личную самостоятельность, не мог не ценить.

Чехову, всецело остававшемуся независимым художником, Толстой не «мешал» (как, согласно одному личному признанию, Александру Блоку). Напротив, он был для Чехова не только всегда светившимся ориентиром, но и той нравственной силой, которая позволяла неустанно укреплять эту, как воздух необходимую, независимость. Было даже нечто наивное и религиозное в чеховской вере во всемогущество Толстого. Бунин вспоминает слова, произнесенные Чеховым в Крыму во время тяжелой болезни Толстого: «Вот умрет Толстой, всё к черту пойдет!» Всё, а особенно литература.

Судьбе захотелось так распорядиться, что первым ушел Антон Чехов. Жизнь и литература после его смерти, естественно, не остановились, но исчез какой-то крайне необходимый элемент, как-то сразу понизилось содержание и жизни, и литературы. Утрата остро переживалась еще и потому, что смерть застала писателя в самом расцвете сил: не только тяжелая, но и преждевременная. Стало вдруг ясно, что заканчивается блестящая, великая эпоха. Золотой век русской литературы. Горестно сознавал это и Лев Толстой, оплакивая не только обаятельного, скромного, милого, искреннего и честного человека, но и «несравненного художника», создателя «новых форм письма». Сначала Толстому эти формы показались

странными и «нескладными», а потом он осознал, что Чехов «именно благодаря этой „нескладности“, или, не знаю как это назвать... захватывает необычайно и, точно без всякой воли вашей, вкладывает вам в душу прекрасные художественные образы...». Как раз «новые формы письма», новое художественное видение мира и человека и восхищали Толстого в произведениях Чехова. Толстой говорил: «У Чехова всё правдиво до иллюзии, его вещи производят впечатление какого-то стереоскопа... Он кидает как будто беспорядочно словами и, как художник-импрессионист, достигает своими мазками исключительных результатов».

Неожиданная и тонкая критическая оценка, прихотливо перекликающаяся с мнением героя одного произведения Чехова, бесспорно, отразившего точку зрения автора:

«Какая сила!.. Форма, по-видимому, неуклюжа, но зато какая широкая свобода, какой страшный, необъятный художник чувствует в этой неуклюжести! В одной фразе три раза „который“ и два раза „видимо“, фраза сделана дурно, не кистью, а точно мочалкой, но какой фонтан бьет из-под этих „которых“, какая прячется под ним гибкая, стройная, глубокая мысль, какая кричащая правда! Вы читаете и видите между строк, как в поднебесье парит орел и как мало он в это время заботится о красоте своих перьев. Мысль и красота, подобно урагану и волнам, не должны знать привычных, определенных форм. Их форма — свобода, не стесняемая никакими соображениями о „которых“ и „видимо“».

Лаконично и глубоко определены в рассказе Чехова постоянная подвижность и текучесть художественной мысли Толстого, передающей все малейшие изгибы и нюансы внутренней человеческой жизни, предельно свободный, ничем не скованный словесный поток, требующий новых, каждый миг становящихся стилистических форм с характерными грамматическими отклонениями и нарушениями. Суждения чеховского героя близки к наблюдениям А. П. Скафтымова, так видевшего диалектический рисунок поэтической мысли Толстого: «Человек у Толстого ни на минуту не останавливается, и в каждый момент он разный. Толстой всегда следил и больше всего смотрел на этот непрерывающийся ход бегущих настроений и сложнейших одномоментных сочетаний в зыбком потоке психики».

Не один Чехов, а и многие другие русские знаменитые писатели, художники, театральные деятели, политики самых различных эстетических и идеологических убеждений (И. Бунин, И. Репин, А. Куприн, Л. Андреев, М. Горький, В. Короленко, А. Белый, А. Кони, В. Ленин) высочайшим образом оценивали искусство Толстого и его место в современной жизни.

Сегодня, когда литература утратила свое царственное место в мире и в писателях уже давно не видят пророков и, в некотором смысле, хранителей священного огня, учителей и врачей, это кажется странным и отчасти даже отдающим мистицизмом, патриархальной верой в неограниченные возможности слова, в особую миссию гениальных творцов, которые, кажется, всё могут. Даже колоссальные всемирные катастрофы могут предотвратить. Какая-то стихийная вера в чудо, побуждающая паломников стекаться в Ясную Поляну. Добро бы это были паломники и ходоки из народа или поэты, настроенные на восторженный лад, одержимые пафосом, подобно Рильке. Но вот ведь и уравновешенный и достаточно скептически настроенный Томас Манн признавался, что «в дни, когда бушевала война... часто думал, что она вряд ли посмела бы разразиться, если бы в четырнадцатом году глядели еще на мир зоркие и пронизательные серые глаза старца из Ясной Поляны. Было ли это с моей стороны ребячеством? Как знать. Так пожелала история: его уже не было с нами — и не было никого равного ему. Европа неслась, закусив удила, — она уж больше не чуяла над собою руки господина, — не чует ее и поныне».

Конечно, ни Чехов, ни тем более Томас Манн не только не были толстовцами, но они и не разделяли многих взглядов яснополянского мудреца. Однако их привлекали стихийная творческая мощь, «богоподобная» личность и незыблемый вопреки любым декадентским, аморальным и нигилистическим тенденциям времени нравственный авторитет Толстого. Манн размышляет о романе «Анна Каренина», вглядываясь в низвергающиеся водопадом наступающие валы прибоя: «Эта бутылочно-зеленая, с металлическим отливом стена, то вздыбленная почти отвесно, то вогнутая внутрь, как бы полая, то нависающая своим гребнем над отмелью, то наконец обрушивающаяся вниз, чтобы рассыпаться пеной, ее вечно повторяющееся падение, глухой грохот которого звучит как главный бас в оркестре по сравнению с более звонким клочкотаньем и плеском тех волн, что разбиваются ближе к берегу, — никогда глаз не наглядится досыта на это зрелище, ухо никогда не устанет внимать этой музыке».

Морской прибой и воскресил в душе писателя старую, давно знакомую ассоциацию представлений — духовное родство двух стихий: моря и эпоса. Воскресил память о гомеровской стихии, о древнем, как мир, искусстве эпического повествования, теснейшим образом слитого с природой. И далее Манн дает изумительное по силе определение «стихийного» толстовского искусства: «Чисто эпическая мощь его творений не знает себе

равных, и, общаясь с ними, всякий художник, — если он только чуток и восприимчив (а иначе он не художник) — всегда будет черпать в них... всё новые и новые силы, свежесть, чистую радость созидания и бодрость духа. Его искусство обладало редким свойством — оно было непосредственно, как природа; сама его могучая творческая личность есть не что иное, как одно из естественных проявлений природных сил, и перечитывать его вновь, вновь изумляясь пронизательности этого взгляда, острого, как у зверя, этой мощи безыскусственного резца, этому чуждому какого-либо мистического тумана, совершенному в своей ясности и правдивости великому искусству его эпики, — значит уберечься от всех искушений изощренности и нездоровой игры в искусстве, значит вернуться к изначальному, к здоровью, обрести здоровье, изначальное в самом себе!»

И необыкновенно драгоценно было для Манна, что Толстой оставался верен своему предназначению, жертвенно служа искусству, людям, Богу, не злоупотреблял данными ему природными дарами. «Никогда ни единым помыслом не унизил он того великого, что было вложено в него природой, никогда не употреблял своих прав гения и „великого человека“ на то, чтобы пробуждать в людях темное, первобытное, атавистическое, злое, но всегда с величайшей скромностью служил тому, что в его понимании было разумом и Богом».

К величайшему счастью, Толстой всегда оставался неотъемлемой частью русской культуры, предметом национальной гордости. И — не всё же можно заковать в идеологические кандалы — его произведения жили помимо и поверх руководящих указаний в предисловиях и стереотипных разъяснениях школьных и университетских преподавателей. Толстой был с нами и в мирное время, и в годы тяжких испытаний. Знаменательно, что «Запискам блокадного человека» Л. Я. Гинзбург предпослана именно толстовская увертюра: «В годы войны люди жадно читали „Войну и мир“, чтобы проверить себя... И читающий говорил себе: так, значит, это я чувствую правильно. Значит, оно так и есть. Кто был в силах читать, жадно читал „Войну и мир“ в блокадном Ленинграде». А возродиться, преодолеть кошмары войны, блокады, лагерей помогал великий толстовский закон забвения и вечного обновления.

Стихия эпического повествования Толстого оказала могучее воздействие на искусство XX века и, естественно, более всего на литературу, как отечественную, так и зарубежную. Толстому подражали, рабски копируя, имитируя, вульгаризируя и искажая приемы его письма. Только перечень всех, как правило, многотомных лжеэпопей получился бы весьма внушительным. Удивляться этому не стоит, особенно сегодня, когда

всё заполнили ремейки, пародийно-иронические, серийные подделки, которые штампуются со скоростью звука. Такова уж оборотная сторона славы. К счастью, не так уж трудно назвать и заслуженно прославленные шедевры нового времени, связь которых с толстовским эпическим повествовательным искусством прослеживается отчетливо.

«Тихий Дон» Михаила Шолохова, «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя (ему принадлежит и несколько поэтических страниц о «Казаках» в «Зеленых холмах Африки»), «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Эти три знаменитых романа XX века, абсолютно различающихся по стилю, не говоря уже об идеологических интенциях и политических воззрениях авторов, возможно, помогают конкретнее представить всё многообразие отражений толстовской художественной традиции в искусстве Нового времени (сегодня это уже классика, которая некогда воспринималась как преодоление эстетической инерции и «новые формы письма»), а заодно развеять настойчиво внедрявшийся тезис о «благотворности» ориентации на «реалистические» традиции Толстого, когда его превращали в борца с модернистским и декадентским искусством, а слово «реализм» — в синоним благонадежности, забывая о том, что у Толстого учились, между прочим, М. Пруст с Д. Джойсом.

Вот и в «Докторе Живаго» ориентация на Толстого мирно соседствует с другими традициями — Достоевского, Скрябина, Блока. О толстовской составляющей в романе хорошо сказал сам писатель: «Единство нравственного и физического мира в „Докторе Живаго“ — это от Толстого, это его принцип».

Философия истории, концепция исторического развития человечества в романе Пастернака вобрала философию истории, развернутую в эпопее «Война и мир», став ее свободным продолжением, на что непосредственно обращается внимание в тексте (мысли об истории и ее движущих силах, растительном царстве, революции): «Толстой не довел своей мысли до конца, когда отрицал роль зачинателей за Наполеоном, правителями, полководцами. Он думал именно то же самое, но не договорил этого со всей ясностью. Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как трава растет. Войны, революции, цари, Робеспьеры — это ее органические возбудители, ее бродильные дрожжи. Революции производят люди действенные, односторонние фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов или дней опрокидывают старый порядок. Перевороты длятся недели, многие годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевороту, как святыне».

Толстой был особо почитаем в семье Пастернаков, домашним

божеством. Отец поэта и иллюстратор его произведений, художник Леонид Пастернак, в письме А. Сергеевко образно выразил это постоянное благоговейное отношение к Толстому: «У меня какое-то особое чувство всегда было к нему, какое-то благоговение, что ли, я и сам не знаю, и это с первой минуты знакомства: сидел бы и смотрел только на него, следил бы его — ни разговаривать с ним не хочется, ни чтобы он говорил, а только смотреть или скорее, глядя на него, внутренне в себе выражать его „стиль“, его всего, — монументальным его выражать... Как явление природы он для меня всегда. *Что-то в нем есть стихийное*».

Борис Пастернак всю жизнь оставался верен этому семейному культу Толстого. И. Берлину он охотно рассказывал, что «вырос в тени Толстого, с которым хорошо был знаком его отец. Поэт считал Толстого несравненным гением, более великим, чем Диккенс и Достоевский, — писателем ранга Шекспира, Гёте, Пушкина. Отец, художник, взял его в Астапово в 1910 году, чтобы взглянуть на Толстого на смертном одре. Сам он не мог критически относиться к Толстому — Россия и Толстой были нераздельны».

Но Пастернак часто и интенсивно размышлял о гипнотическом стиле Толстого, о его «парадоксальности, достигавшей» оригинальности, о горевшей в нем, художнике и человеке, созидательной страсти, о неповторимых и уникальных особенностях его **ви**дения мира и человека, об исповедальных пластах его гениальных произведений. В блестящем большом эссе «Люди и положения» Пастернак в четкой концентрированной форме формулирует свои многолетние размышления о Толстом:

«Он всю жизнь, во всякое время обладал способностью видеть явления в оторванной окончательности отдельного мгновения, в исчерпывающем выпуклом очерке, как глядим мы только в редких случаях, в детстве, или на гребне всеобновляющего счастья, или в торжестве большой душевной победы.

Для того чтобы так видеть, глаз наш должна направлять страсть. Она-то именно и озаряет своей вспышкой предмет, усиливая его видимость.

Такую страсть, страсть творческого созерцания, Толстой постоянно носил в себе. Это в ее именно свете он видел всё в первоначальной свежести, по-новому и как бы впервые. Подлинность виденного им так расходится с нашими привычками, что может показаться нам странной. Но Толстой не искал этой странности, не преследовал ее в качестве цели, а тем более не сообщал ее своим произведениям в виде писательского приема».

Не прямо, подспудно поясняется Пастернаком, что ориентация писателя Нового времени на Толстого-художника может быть только

свободной, так как нельзя механически воспроизводить «приемы», родившиеся спонтанно, путем проб и озарений. Высшее напряжение страсти — явление сугубо индивидуальное, «чудесное». Никакая «литературная учеба» здесь не поможет. Да и не сумма этих писательских приемов, много раз описанных и исследованных, определяет значение Толстого для XX века и его вклад в развитие человечества, который вовсе не ограничивается сферой искусства. Пастернак считал, и с его мнением можно только согласиться, что «главное и непомернейшее в Толстом, то, что больше проповеди добра и шире его бессмертного художнического своеобразия (а может быть, и составляет именно истинное его существо), — *новый род одухотворения* в восприятии мира и жизнедеятельности, то новое, что принес Толстой в мир и чем шагнул вперед в истории христианства».

Это не абстрактное умозаключение, а то, что выстрадано поэтом лично, так как «главное и непомернейшее... стало и по сей день остается основой» его существования, «всей манеры... жить и видеть». Но одновременно этот вывод касается всех, в том числе и тех, кто отрекся от влияния Толстого. «Я думаю, — писал Пастернак, — что я в этом отношении не одинок, что в таком положении находятся люди из лагеря, считающегося нетолстовским, то есть я хочу сказать, что, вопреки всем видимостям, историческая атмосфера первой половины XX века во всем мире — атмосфера толстовская». Видимо, эти слова Пастернака с некоторыми вполне естественно возникающими оговорками можно отнести и ко второй половине века, и первым мгновениям третьего миллениума. Об этом говорят и успехи экуменического движения, у истоков которого стоял Толстой с его попыткой создать универсальную религию для всех, с его мечтой о чистом и толерантном мире без войн, угнетения, принуждения. Всё большую поддержку и отклик в мире получает и борьба писателя со всеми видами одурманивания человечества (в частности, с курением), растут ряды и вегетарианцев (во времена Толстого как только не измывались над этим его «чуждачеством», Ленин упоминал язвительно рисовые котлетки, которыми питался граф, «юродствующий во Христе»).

Труднее, разумеется, представить судьбу Толстого в XXI веке. Вполне возможно, как считает американский славист и автор переведенной на русский язык книги о Толстом Ричард Густафсон, что в будущем произойдет переоценка как Толстого-художника, так и идей Толстого-моралиста. По его эмоционально высказанному мнению, новому столетию нужен не постмодернистский Толстой, а Толстой — провидец наших бед, изобличитель повсеместно разлитого зла, бесстрашный и

бескомпромиссный борец с любыми формами насилия, произвола, лицемерия: «Толстой призывает нас к обновленному чувству ответственности за зло в мире, побуждает нас прежде всего обратиться к себе, прояснить собственные чувства... Я думаю, что эта истина важна как для отдельных людей, так и для рас, этнических и религиозных групп, наций».

Бесспорно. В конце концов все мы несвободны, уже потому несвободны, что принадлежим этому миру, вписаны в определенную культуру, живем в ограниченное историческое время. Тело, раса, класс, нация, семья — всё это приметы и формы *радикальной несвободы*, объединяющие и разъединяющие, «связывающие», закрепощающие нас. Но в то же время мы не только вписаны в этот сложный, переменчивый и несовершенный мир. Мы всегда в неоплатном долгу перед ним, перед родителями, перед языком и народом, перед природой и космосом, в котором некогда возникли и куда рано или поздно вернемся. И осознание этих истин укрепляет ту человеческую солидарность, которую Толстой называл «братством».

Великие художественные открытия Льва Толстого давно уже стали всеобщим достоянием и, казалось бы, должны были утратить обаяние новизны, примелькаться. Однако великое искусство неисчерпаемо. Рядом с хорошо известным, многократно тиражированным, слишком знакомым в художественной вселенной, Толстого существует таинственное, загадочное, неуловимое. Каждое поколение открывает Толстого, как и Шекспира, заново, дивясь слепоте и консерватизму предшественников. Слово Толстого по-прежнему сохраняет притягательную силу для читателей полярных культурных, национальных, религиозных традиций. Каждый чувствует, что голос Толстого может сообщить ему нечто важное, повествует ли он о старой Кавказской войне или Наполеоновских войнах, о петербургском высшем свете или жизни русских крестьян. Толстой с гипнотической силой вовлекает читателя в свою орбиту (своего рода эффект авторско-читательской *соборности*). «Он окутывает покровом братства — общественного братства. Он заставляет читателей почувствовать, что „мы“ не „они“, а частица „мы“ повествователя, что все мы тесно связаны одними узами. Он дает ощутить единство, существующее, несмотря на пропасти, разделяющие нас», — пишет другой известный американский славист Джордж Гибиан (он недавно умер, последний раз довелось встретиться на толстовской конференции в Ясной Поляне в конце 1990-х годов).

В Америке и Канаде, уместно тут будет сказать, интерес к Толстому сегодня, как никогда, высок. Гораздо, кажется, выше, чем на родине

писателя, где исключительно живучи нигилистические замашки и какое-то ерническое отношение к прошлому, постоянно и нещадно ревизуемому, а то и оплевываемому. Упомянутый профессор Гибиан вспоминает, как он задал вопрос о Толстом одной современной русской писательнице, какое-то мгновение бывшей в определенных кругах «элитной» публики в моде и по этой причине занесенной ветром перемен в Колумбийский университет, где она выступала с лекцией «Учителя и ученики». Вопрос, похоже, писательницу несказанно удивил. Писательница ответила американскому профессору, отставшему от века, что для нее и ее друзей Толстой существует только как миф, что их он не интересует. Изучают, правда, роман в школе, но никто там не может дочитать «Войну и мир» до конца. Во время этого ошеломительно-поучительного ответа Лев Толстой пристально смотрел с большого портрета, украшавшего университетскую стену, на американских студентов, на наивного профессора-слависта, не очень привыкшего к таким откровениям, на московскую беллетристку какой-то условной модернистской ориентации, сочинения которой обильно оснащали смелые сцены (ее, видимо, уже давно не мог смутить ничей пристальный взгляд). Ситуация, по правде сказать, с некоторым комическим оттенком, особенно если учесть, что писательница-лектриса — явление столь, если позволительно так выразиться, летучее, что ни о каком превращении ее в близком или отдаленном будущем в «миф» даже подумать нелепо. Повеет легкий ветерок — и унесет пушинку. Может быть, уже и унес.

Не в том дело. Грустно, что в современной России так мало читают Толстого и других классиков. Меньше стали уделять внимания писателю и отечественные ученые, а ведь дел непочатый край: и работа над очередными томами биографии Толстого после смерти Лидии Дмитриевны Опульской прервалась, и некоторые мемуары всё еще ждут публикации, а фонды музеев — фронтального обследования. Кое-что, конечно, делается, но как-то вяло и почему-то с оглядкой. Охладел к Толстому и театр. Как и кинематографисты (наши, итальянские вон экранизацию романа «Воскресение» в Москву привезли — думали порадовать, а больше смутили, впрочем, главный приз прославленные братья Тавиани все же получили). Похоже, что Россия, в начале XX века боготворившая Толстого, на исходе его охладела к своему великому романисту. Будем надеяться, что это странное равнодушие скоро пройдет и Толстой вновь займет подобающее ему место в духовной и культурной жизни России нового века, который уже не «в дверях», а делает первые, совсем, правда, пока неуверенные шаги.

Не так давно в прессе промелькнуло сообщение, что в США стал бестселлером и печатается миллионным тиражом издательством «Пингвин» роман «Анна Каренина». Роман весьма странно рекламировали, как в некотором роде женский, в котором нет ничего специфически иностранного (то есть русского), была и поддержка влиятельной телепередачи. Вот, мол, в чем причина неожиданного и столь оглушительного успеха на книжном рынке старинного русского романа. Эти объяснения не представляются столь уж важными и исчерпывающими. Роман Толстого давным-давно пользуется большим спросом в англоязычных (и не только) странах, да и в нем-таки необыкновенно много специфически русского, это совсем не такое уж легкое чтение, держащееся на захватывающем сюжете. Роман периодически и переиздается, удовлетворяя постоянный читательский спрос. Потрясает именно тираж, о котором в сегодняшней России даже и не мечтается, но что еще совсем недавно было нормой, обыкновением явлением.

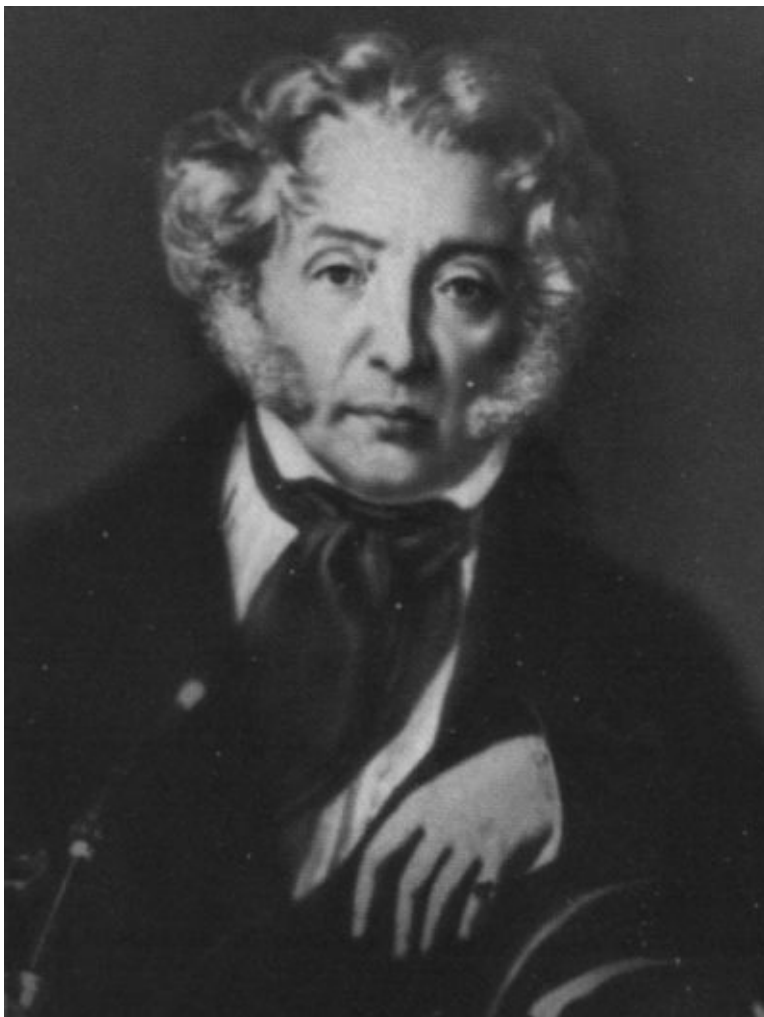
ИЛЛЮСТРАЦИИ



Николай Ильич Толстой. Неизвестный художник. 1820-е гг.



Дом, в котором 28 августа (9 сентября) 1828 года родился Л. Н. Толстой. Село Долгое. Фото 1898 г.



Федор Иванович Толстой по прозвищу Американец. Художник К. Х. Ф Рейхель. 1846 г.



Владимир Иванович Юшков. Художник К. С. Осокин (Асокин). 1836 г.



Пелагея Ильинична Юшкова. Неизвестный художник. 1812 (?) г.



Особняк Щербачева на Плющихе в Москве, который снял Н. И. Толстой для своей семьи.



Казанский университет. Неизвестный художник. 1830-е гг.



Мария Николаевна Толстая. Фото 1840-х гг.



Сергей, Николай, Дмитрий и Лев Толстые. Фото 1854 г.



Л. Н. Толстой. Фото 1854 г.



Осада Севастополя. Художник В. Ф. Тимм. 1856 г.



Офицерская комната на четвертом бастионе в Севастополе. С литографии В. Ф. Тимма. 1850-е гг.



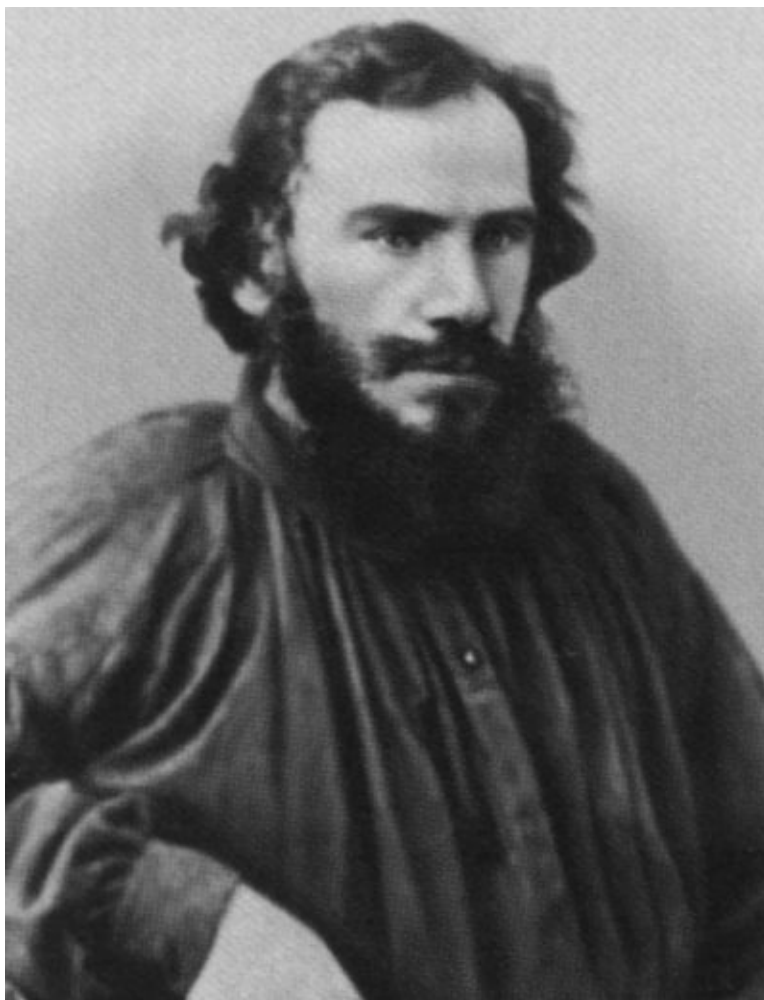
Походная чернильница Л. Н. Толстого.



Писатели — сотрудники журнала «Современник». Слева направо: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович, А. В. Дружинин, А. Н. Островский. Петербург. Фото 1856 г.



Мария Николаевна Толстая. Алжир. Фото начала 1860-х гг.



Лев Николаевич Толстой. Фото 1860-х гг.



Софья Андреевна Берс. Фото 1862 г.



Ясная Поляна. Дом Л. Н. Толстого (ныне музей Л. Н. Толстого).



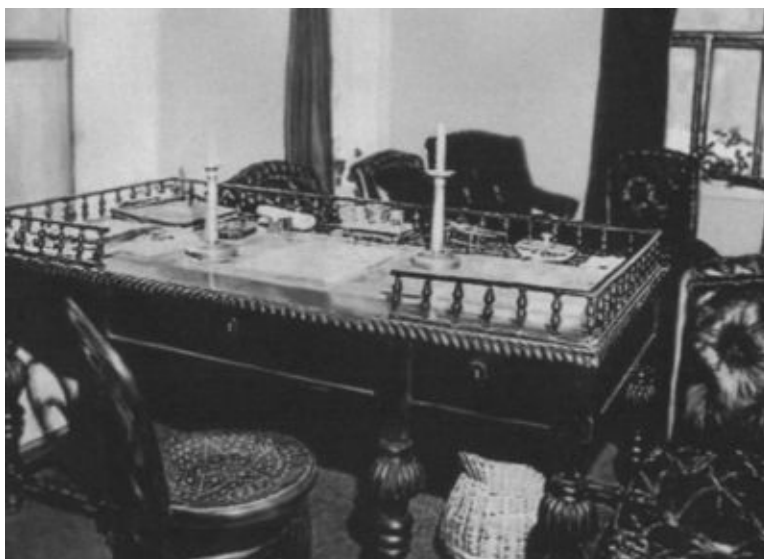
Александра Андреевна Толстая. Фото 1860 х гг.



Сестры: Софья Андреевна Толстая и Татьяна Андреевна Берс. Фото 1862 г.



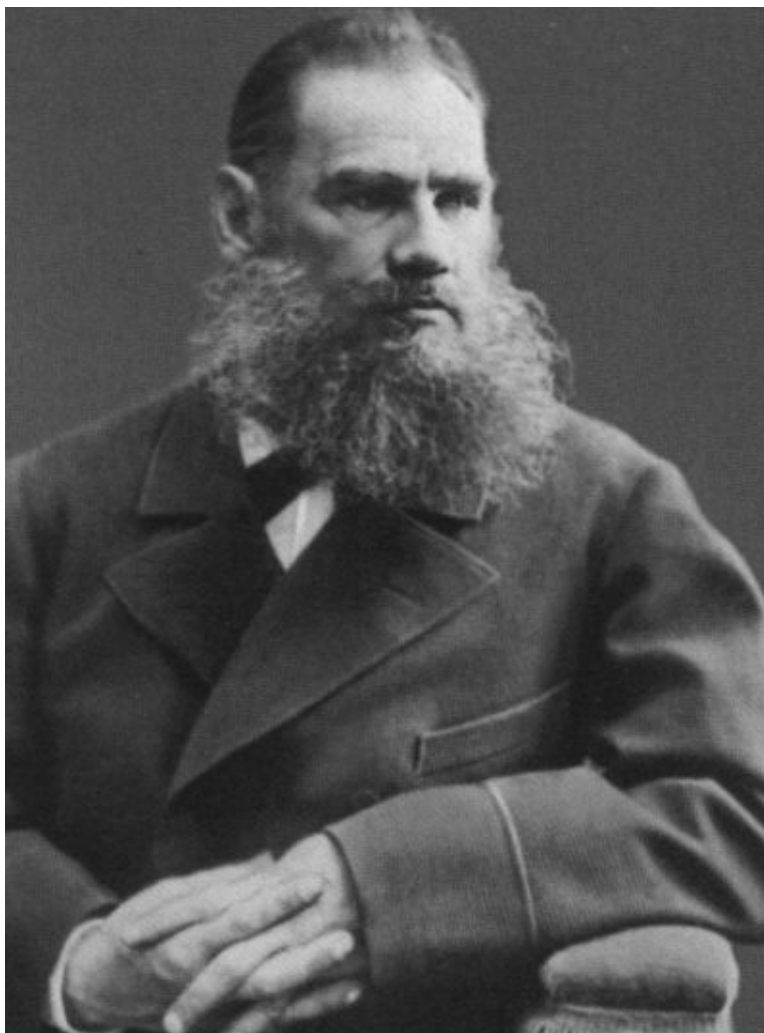
Дом Л. Н. Толстого в Хамовниках в Москве (ныне музей Л. Н. Толстого). Фото 1890-х гг.



Кабинет Л. Н. Толстого в доме в Хамовниках.



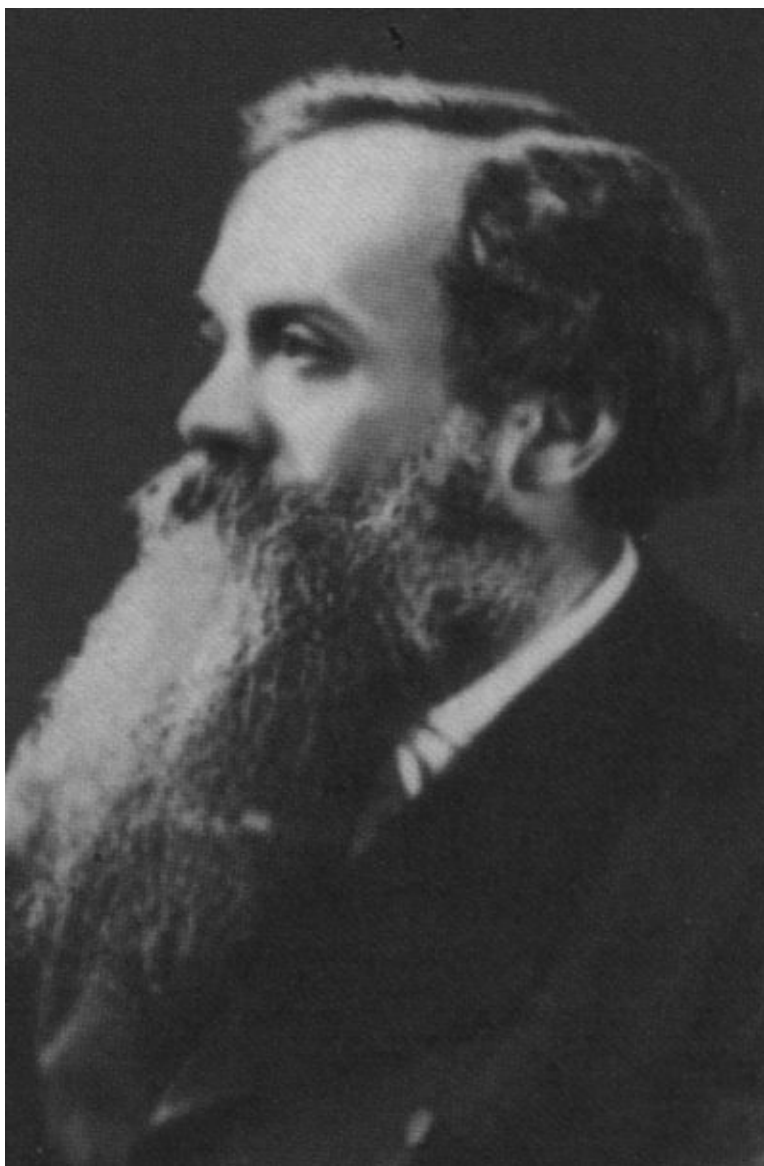
Софья Андреевна с дочерью Таней и сыном Сережей. Фото 1866 г.



Л. Н. Толстой. Фото 1876 г.



Софья Андреевна Толстая с младшими детьми. Фото 1892 г.



Н.Н. Страхов.



Лев Толстой в кругу семьи.



Л. Н. Толстой на пашне. Художник И. Е. Репин. 1887 г.



Вид на Оптину пустынь.



Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне.



Л. Н. Толстой со своими помощниками в Рязанской губернии во время голода проверяет списки голодающих. Бегичевка. Фото 1892 г.



Софья Андреевна и Лев Николаевич с членами семьи и гостями. Ясная Поляна. Фото 1899 г.



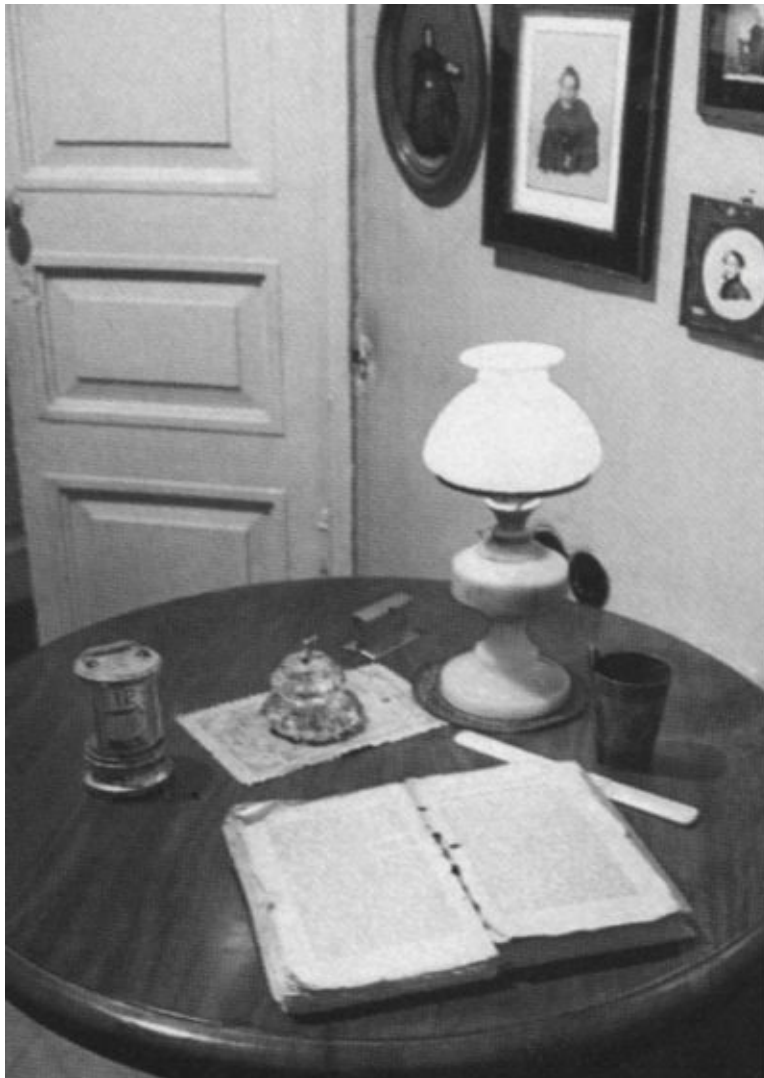
«Комната под сводами» в Ясной Поляне.



Л. Н. Толстой в «комнате под сводами». Художник И. Е. Репин. 1891 г.



Л. Н. Толстой. Фото 1892 г.



Кабинет Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.



Л. Н. Толстой и А. М. Горький в Ясной Поляне. Фото 1900 г.



Л. Н. Толстой и С. А. Толстая с В. В. Стасовым и скульптором И. Я. Гинцбургом. Ясная Поляна. Фото 1900 г.



Сергей Николаевич и Лев Николаевич Толстые. Ясная Поляна. Фото 1902 г.



Л. Н. Толстой за работой.



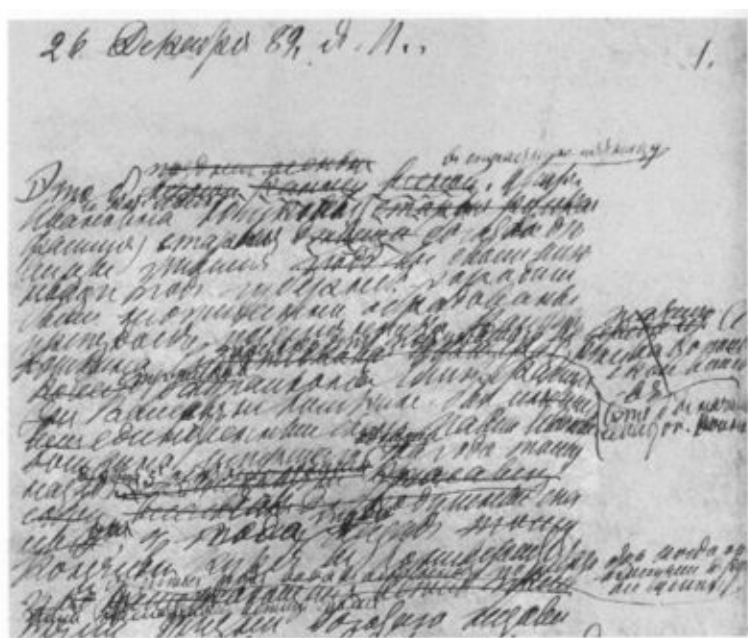
Л. Н. Толстой с крестьянами.



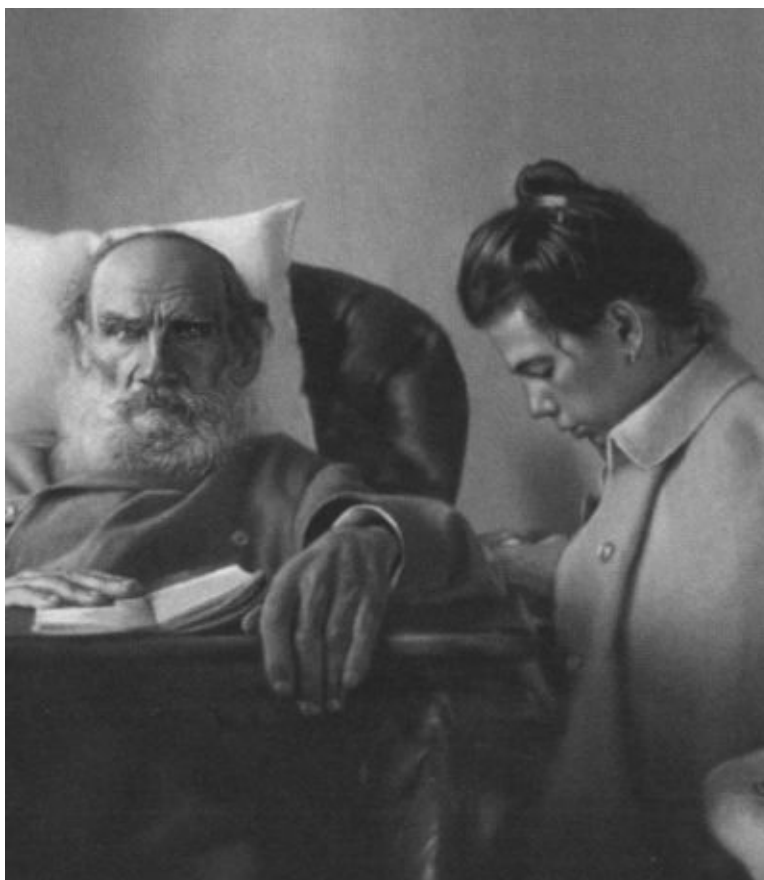
А. П. Чехов и Л. Н. Толстой. Гаспра. Фото 1901



Лев Николаевич во время болезни с Софьей Андреевной. Гаспра. Фото 1902 г.



Автограф рукописи Л. Н. Толстого.



*Лев Николаевич во время болезни с дочерью Татьяной Львовной
Сухотиной. Гаспра. Фото 1902 г.*



Л. Н. Толстой за работой. Фото 1908 г.



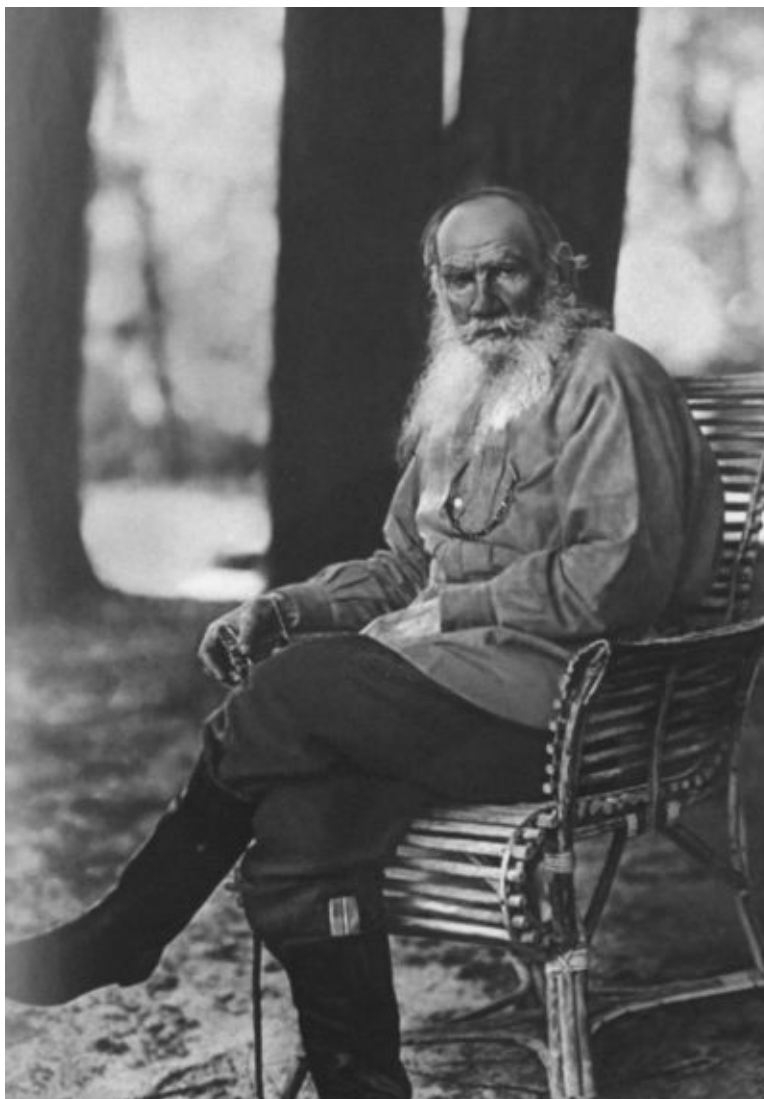
Л. Н. Толстой и И. Е. Репин. Фото 1908 г.



Л. Н. Толстой и доктор Д. П. Маковицкий. Фото 1908 г.



Л. Н. Толстой и Н. Н. Гусев разбирают почту. Фото 1909 г.



Л. Н. Толстой в Ясной Поляне. Фото 1910 г.



Лев Николаевич и Софья Андреевна в годовщину их свадьбы. Фото 1910
г.



Лев Николаевич Толстой на смертном одре. 1910 г.



Похоронная процессия по дороге от станции Козлова Засека в Ясную Поляну.



Л. Толстой. Художник Ю. И. Селиверстов.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Л. Н. ТОЛСТОГО

1828, 28 августа — в Ясной Поляне в семье графа Николая Ильича Толстого и Марии Николаевны Толстой, урожденной княжны Волконской, родился четвертый сын — Лев Николаевич Толстой.

1830, 4 августа — скончалась Мария Николаевна Толстая.

1837, 10 января — семья Толстых переезжает в Москву.

21 июля — умер Николай Ильич Толстой.

1844 — Лев Толстой вместе с родными переезжает в Казань и поступает в Казанский университет на восточное отделение.

1845, сентябрь — переводится на юридический факультет Казанского университета.

1847— подает прошение об увольнении из университета «по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам» и возвращается в Ясную Поляну.

1848, осень — уезжает в Москву.

1851, апрель — отправляется с братом Николаем на Кавказ; июнь — участвует волонтером в набеге; июль — сентябрь — пишет повесть «Детство».

1852— Толстой выдерживает экзамен на звание юнкера, его зачисляют на военную службу фейерверкером 4-го класса; сентябрь — в журнале «Современник» публикуется повесть Льва Толстого «Детство» под названием «История моего детства».

1853, март — в журнале «Современник» опубликован рассказ Толстого «Набег».

1854, январь — Толстой благодаря протекции переведен в Дунайскую армию и одновременно произведен в прапорщики;

октябрь — в журнале «Современник» опубликована повесть «Отрочество»;

ноябрь — Толстой приезжает в Севастополь и участвует в Крымской войне.

1855, апрель — май — служит на четвертом бастионе Севастополя;

июнь — в журнале «Современник» опубликован рассказ «Севастополь в декабре месяце» (отдельный оттиск рассказа был представлен Александру II);

сентябрь — в журнале «Современник» опубликованы рассказы «Рубка

леса» и «Ночь весною 1855 в Севастополе»; октябрь — падение Севастополя;

ноябрь — Толстой приезжает в Санкт-Петербург, где знакомится с И. С. Тургеневым, И. И. Панаевым, И. А. Гончаровым, Н. А. Некрасовым и другими литераторами.

1856, январь — навещает в Орле умирающего от чахотки брата Дмитрия;

в журнале «Современник» опубликован рассказ «Севастополь в августе 1855»;

май — в журнале «Современник» опубликована повесть «Два гусара»; Толстой знакомится с А. С. Хомяковым;

декабрь — публикует повесть «Утро помещика»; знакомится с Н. Г. Чернышевским.

1857, январь — в журнале «Современник» опубликована повесть «Юность»;

февраль — июль — Толстой путешествует по Европе.

1858 — пишет рассказ «Три смерти».

1859, февраль — вступает в Общество любителей российской словесности;

май — в «Русском вестнике» опубликована повесть «Семейное счастье»;

октябрь — Толстой устраивает школу для крестьянских детей.

1860, сентябрь — умер брат писателя Николай Николаевич Толстой.

1860–1861 — Лев Николаевич совершает второе путешествие по Европе; знакомится с декабристом С. Г. Болконские, Н. Н. Ге, А. И. Герценом, Ж. П. Прудоном.

1862, лето — выпускает журнал «Ясная Поляна»;

сентябрь — Толстой венчается с Софьей Андреевной Берс в придворной церкви Рождества Богородицы в Кремле.

1863, февраль — в «Русском вестнике» опубликована повесть «Казачи»; июнь — у Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых родился сын Сергей.

1864, август — сентябрь — выходят в свет Сочинения графа Л. Н. Толстого в двух томах (издательство В. Стеловского);

октябрь — в семье Толстых родилась дочь Татьяна;

ноябрь — декабрь — писатель работает над романом «1805 год».

1865, январь — февраль — журнал «Русский вестник» публикует роман «1805 год» (первый и второй тома «Войны и мира»).

1866, май — в семье Толстых родился сын Илья.

1867, сентябрь — писатель работает над третьим и четвертым томами «Войны и мира».

1868— работает над пятым томом «Войны и мира».

1869 — работает над шестым томом «Войны и мира»;

май — в семье Толстых родился сын Лев.

1871, февраль — родилась дочь Мария;

лето — Толстой покупает землю в Базулуковском уезде Самарской губернии; в Ясную Поляну впервые приезжает Н. Н. Страхов; осень — работает над первой частью «Азбуки».

1872— работает над «Азбукой» и романом об эпохе Петра I;

ноябрь — «Азбука», в составе которой «Кавказский пленник» и «Охота пуще неволи», выходит в свет.

1873, март — Толстой прерывает работу над романом из эпохи Петра I и начинает писать «Анну Каренину»;

декабрь — избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению русского языка и словесности.

1874— работает над романом «Анна Каренина».

1875, январь — начало романа «Анна Каренина» опубликовано в журнале «Русский вестник».

1877— писатель завершает роман «Анна Каренина»;

июль — вместе с Н. Н. Страховым посещает Оптину пустынь; август — издатель журнала «Русский вестник» М. Н. Катков отказывается публиковать последнюю часть романа «Анна Каренина»; декабрь — в семье Толстых родился сын Андрей.

1878— выходит в свет отдельное издание «Анны Карениной»; писатель работает над романом о декабристах.

1879, июнь — Толстой посещает Киево-Печерскую лавру;

октябрь — посещает Троице-Сергиеву лавру;

декабрь — в семье Толстых родился сын Михаил.

1880— Толстой завершает «Исповедь», работает над переводом четырех Евангелий; знакомится с В. М. Гаршиным, В. В. Стасовым, И. Е. Репиным.

1881 — пишет письмо Александру III с просьбой не казнить революционеров, убивших царя Александра II; посещает Оптину пустынь; пишет рассказ «Чем люди живы»;

сентябрь — семья Толстых переезжает из Ясной Поляны в Москву.

1882— Толстой участвует в переписи населения в Москве; покупает дом в Долго-Хамовническом переулке (ныне Дом-музей Л. Н. Толстого).

1883, сентябрь — завершает работу над сочинением «В чем моя

вера?»; октябрь — знакомится с В. Г. Чертковым.

1884, февраль — публикует начало романа «Декабристы»;

июнь — первая попытка ухода из Ясной Поляны; в семье Толстых родилась дочь Александра;

ноябрь — В. Г. Чёртков основывает издательство «Посредник».

1885 — пишет для «Посредника» рассказы «Свечка», «Два старика», публикует повесть «Холстомер».

1886 — пишет рассказ «Три старца», повесть «Смерть Ивана Ильича», драму «Власть тьмы»; знакомится с В. Г. Короленко.

1887 — работает над трактатом «О жизни», повестью «Крейцера соната»; знакомится с Н. С. Лесковым.

1888, февраль — путешествует пешком из Москвы в Ясную Поляну;

март — в семье Толстых родился сын Иван.

1889 — пишет комедию «Плоды просвещения», повесть «Дьявол».

1890 — работает над повестью «Отец Сергей»; совершает паломничество в Оптину пустынь; цензура запрещает публиковать «Крейцерову сонату».

1891 — постановка «Плодов просвещения» силами членов Общества искусства и литературы (режиссер К. С. Станиславский); Толстой отказывается от авторских прав на сочинения, написанные им до 1881 года; организует столовые для голодающих крестьян.

1892 — Толстой знакомится с А. Рубинштейном, дававшим концерты в пользу голодающих; завершает работу над трактатом «Царство Божие внутри вас».

1893 — пишет предисловие к сочинениям Ги де Мопассана; знакомится с К. С. Станиславским.

1894, январь — Толстой знакомится с И. А. Буниным.

1895 — завершает работу над рассказом-притчей «Хозяин и работник»;

февраль — умер сын Иван;

август — Толстой знакомится с А. П. Чеховым;

сентябрь — пишет статью о гонениях на духовоборов.

1896, январь — завершает работу над пьесой «И свет во тьме светит»; август — вместе с женой совершает поездку в Шамордино, где живет в монастыре его сестра М. Н. Толстая; в Шамординском монастыре написана первая редакция «Хаджи-Мурата».

1897 — поездка в Санкт-Петербург; работа над трактатом «Что такое искусство».

1898 — пишет письмо Николаю II по поводу отнятия детей у молокан;

встречается с духоборами; организует помощь голодающим в Тульской и Орловской губерниях; пишет статьи о голоде; пишет роман «Воскресение» и повесть «Отец Сергей» с намерением передать гонорар за эти произведения на переселение духоборов в Канаду.

1899 — продолжает работать над романом «Воскресение»; знакомится с Р. М. Рильке.

1900 — пишет статьи «Рабство нашего времени» и «Патриотизм и правительство»; знакомится с А. М. Горьким; работает над драмой «Живой труп».

1901, февраль — Определение Синода об отлучении Толстого от церкви. Толстой пишет статью «Ответ на определение Синода»;

июль — заболевает малярией;

сентябрь — в связи с болезнью отправляется в Крым, в Гаспру;

октябрь — знакомится с великим князем Николаем Михайловичем, через которого передает письмо Николаю II с призывом отменить право частной собственности на землю; встречается с А. П. Чеховым и А. М. Горьким.

1902 — пишет статьи о веротерпимости: «Что такое религия и в чем сущность ее», «К рабочему народу», «К духовенству»; встречается с В. Г. Короленко; возвращается в Ясную Поляну; знакомится с А. И. Куприным; работает над повестями «Хаджи-Мурат» и «Фальшивый купон» и рассказом «После бала».

1903 — пишет воспоминания и статью о Шекспире.

1904 — пишет статью о Русско-японской войне «Одумайтесь!»; завершает повесть «Хаджи-Мурат»;

май — в Ясную Поляну приезжают Д. Мережковский и З. Гиппиус;

август — умер брат писателя Сергей Николаевич Толстой.

1905 — пишет статьи «Конец века», «Об общественном движении в России», «Единое на потребу», рассказы «Алеша Горшок», «Корней Васильев», повесть «Посмертные записки старца Федора Кузьмича».

1906 — публикует в журнале «Круг чтения» рассказ «За что?»;

ноябрь — умирает дочь Мария.

1907 — составляет детский «Круг чтения»;

октябрь — арест секретаря Толстого Н. Н. Гусева.

1908 — пишет статьи «Не могу молчать», «Закон насилия и закон любви», «Письмо к индусу»; заводит тайный дневник.

1909 — пишет повесть «Кто убийцы?»;

август — новый арест и высылка секретаря Толстого Н. Н. Гусева;
октябрь — Толстой составляет завещание.

1910, февраль — пишет рассказ «Ходынка»;
апрель — в Ясную Поляну приезжает Л. Н. Андреев;
28 октября — Толстой уходит из Ясной Поляны;
7 ноября — Лев Николаевич Толстой скончался на станции Астапово,
похоронен, согласно его воле, в яснополянском лесу «Заказ».

БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения Л. Н. Толстого

Полное собрание сочинений. Т. 1—90 (юбилейное изд.), М.; Л., 1928–1958.

Собрание сочинений. Т. 1—20, М., 1960–1965.

Переписка. Воспоминания о Л. Н. Толстом

Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. 1857–1903. СПб., 1911.

Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870–1894. СПб., 1914.

Письма Толстого и к Толстому. М.; Л., 1928.

Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. 1862–1910. М.; Л., 1936.

Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878–1906. Л., 1929.

Муратов М. В. Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков по их переписке. М., 1934.

Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. М., 1962.

Толстая С. А. Дневники. Ч. 1–4. М., 1928–1936.

Островский А. Г. Молодой Толстой в записях современников. Л., 1929.

Маковицкий Д. П. Яснополянские записки. 1904–1910. Вып. 1–2. М., 1922–1923.

Чертков В. Г. Уход Толстого. М., 1922.

Сухотина-Толстая Т. Л. Дружья и гости Ясной Поляны. М., 1923.

Она же. Воспоминания. М., 1980.

Гусев И. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1928.

Толстая А. Л. Отец. Т. 1–2. Нью-Йорк, 1953.

Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1957.

Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959.

Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1960.

Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 1–2. М., 1960.

Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1965.

Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1969.

Русанов Г. А., Русанов А. Г. Воспоминания о Л. Н. Толстом. 1883–1901 гг. Воронеж, 1972.

Литература о Л. Н. Толстом

- Андреев Л. За полгода до смерти. Собр. соч. Т. 1–6. Т. 6. М., 1996.
- Алданов М. А. Толстой и Роллан. Т. 1. Пг., 1915.
- Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. Т. 1–4. М.; Пг., 1922–1923.
- Бунин И. А. Освобождение Толстого. Собр. соч. Т. 1–6. Т. 6. М., 1988.
- Вересаев В. В. Живая жизнь. Соч. Т. 2. М., 1947.
- Гусев Н. Н. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии. 1828–1855. М., 1954.
- Тоже. 1855–1869. М., 1957.
- То же. 1870–1881. М., 1963.
- То же. 1881–1885. М., 1970.
- Лакшин В. Толстой и Чехов. М., 1963.
- Леонтьев К. Н. О романах графа Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние. М., 1911.
- Родионов Н. С. Л. Н. Толстой в Москве. М., 1958.
- Сергеенко А. П. Как живет и работает граф Л. Н. Толстой. М., 1908.
- Страхов Н. Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. Т. 1. СПб., 1885.
- Шестов Л. И. Добро в учении гр. Толстого и Ницше (философия и проповедь). Соч. Т. 2. СПб., 1900.
- Шкловский В. Б. Лев Толстой. М., 1967.
- Эйхенбаум Б. М. Л. Толстой. Кн. 1–2. Л.; М., 1928–1931.